ХРУЩЕВ

Уильям Таубман

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Никита Сергеевич Хрущев — человек, оставивший заметный след не только в советской, но и в мировой истории. Секретный доклад, положивший начало разоблачению культа личности Сталина, расколол страну, в глазах одних сделав его героем, в глазах других — предателем и выскочкой. Какой была его действительная роль в массовых репрессиях в Москве и на Украине, в восстановлении народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны, во всем том, чем запомнилась его эпоха? Автор, известный американский историк, тщательно и скрупулезно восстановил весь жизненный путь этого неординарного человека, собрав огромный, во многом уникальный материал, состоящий в том числе из архивных документов, а также записей бесед с людьми, хорошо знавшими Хрущева в разные периоды его жизни.

Книга вышла в США в 2003 году и в том же году была удостоена Пулитцеровской премии.

Издание второе.

Перевод осуществлен по изданию: William Taubman. Khruschev: The Man and His Era. New York — London, W. W. Norton & Company, 2003.

- Уильям Таубман
  - НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ ТАУБМАНА И ЕГО ГЕРОЕ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ПРОЛОГ
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV

- Глава XV
- Глава XVI
- Глава XVII
- Глава XVIII
- Глава XIX
- Глава XX
- Глава XXI
- ЭПИЛОГ
- ПРИМЕЧАНИЯ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ПРОЛОГ
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ГЛАВА X
  - ГЛАВА XI
  - ГЛАВА XII
  - ГЛАВА XIII
  - ГЛАВА XIV
  - ГЛАВА XV
  - ГЛАВА XVI
  - ГЛАВА XVII
  - ГЛАВА XVIII
  - ГЛАВА XIX
  - ГЛАВА XX
  - ГЛАВА XXI
  - ЭПИЛОГ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. С. ХРУЩЕВА
- БИБЛИОГРАФИЯ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- notes
  - 1

Уильям Таубман
ХРУЩЕВ

Памяти моих родителей, Норы и Говарда Таубманов.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ ТАУБМАНА И ЕГО ГЕРОЕ

Хорошо ли мы знаем Хрущева? Необразованный человек, он устраивал проработки деятелям науки, литературы и искусства, безапелляционно судил о людях. «Кукурузник», как он сам себя называл, Хрущев искал выход из затруднений в сельском хозяйстве повсеместным разведением кукурузы, в том числе за полярным кругом. Он был недоволен Академией наук, недостаточно послушной и слишком независимой. Он даже высказался за ее ликвидацию: «Мы разгоним к чертовой матери Академию наук». Хрущев осуществил произвольный передел земель, настояв на передаче Крыма Украине. Он потребовал размещения советских ядерных ракет на Кубе, что привело к Карибскому кризису, едва не закончившемуся атомной войной. Хрущев был причастен к сталинским чисткам и репрессиям.

В 1956 году на XX съезде партии он произнес свою знаменитую речь с разоблачением «культа личности» Сталина. У него не хватило сил и возможностей для радикальной перестройки советской системы. Но он положил начало важному для дальнейших судеб страны процессу десталинизации. Была разрушена система ГУЛАГа, из тюрем и лагерей вышли на волю сотни тысяч людей, были реабилитированы невинно осужденные. Хрущев желал улучшить материальное положение народа. Он был инициатором увеличения пенсий и массового жилищного строительства. Лично участвовал в разработке проектов однотипных пятиэтажек, названных в народе «хрущевками», которые позволили тогда миллионам людей переселиться из коммуналок в отдельные квартиры. При нем была ликвидирована крепостная зависимость крестьян, которым стали выдавать паспорта и разрешили передвигаться по стране.

Это был человек, весьма одаренный от природы. Он подкупал своей прямотой, но в то же время бывал излишне самоуверен и груб. Стремясь раскрыть характер столь противоречивой личности, американский историк Уильям Таубман рассматривает деятельность Хрущева на фоне эпохи. С одной стороны, Хрущев пытался многое изменить, а с другой — вынужден был следовать традициям прошлого. «В вопросах литературы я сталинист», — говорил Хрущев писателю Илье Эренбургу. На самом деле это касалось не только вопросов литературы, но гораздо более широкого спектра общественной жизни и политики. Хрущев оказался не в силах порвать с командно-административной

системой партийно-советского строя. Он примитивно понимал свое предназначение в жизни, верил в возможность достижения коммунистических идеалов. Хрущев надеялся войти в историю как великий реформатор, но потерпел фиаско, хотя многие из поставленных им целей имели важное значение для страны.

Может показаться странным, что книга о советском руководителе Н. С. Хрущеве написана американским историком. Однако в этом нет ничего удивительного. Я много лет знаком с Уильямом Таубманом, знаю, какой большой интерес он проявлял всегда к переменам в нашей стране и к людям, с которыми были связаны эти перемены. Книга о Хрущеве — убедительное тому подтверждение. Она — плод многолетних исканий и упорного труда. Автор собирал по крупицам материал в архивах и проверял свои наблюдения в беседах с современниками, со всеми, кто знал Хрущева и работал вместе с ним.

Вслед за автором читатель книги У. Таубмана может проследить за перипетиями жизни и деятельности героя повествования, который волею судеб и собственных амбиций сначала вознесся на вершину власти, а потом, в результате заговора и провалов проводимой им политики, был с нее смыт волной истории.

А. А. Фурсенко, академик РАН.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Когда в начале 1980-х я начал работать над биографией Н. С. Хрущева, я, конечно, не думал, что моя книга будет переведена и опубликована в России, ведь до 1987 года в СССР нельзя было упоминать в печати имя моего героя. Но и после того как этот запрет был снят, мне и в голову не приходило, что первая полная биография Хрущева, изданная на русском языке, будет принадлежать перу американца.

Естественно, меня радует то, что моя книга издается в России, тем более в серии «Жизнь замечательных людей». Вполне возможно, что мой подход к герою будет казаться русскому читателю не совсем привычным. Придерживаясь американской историографической традиции, я стараюсь писать как можно объективнее, ссылаясь на все доступные источники, особенно когда они друг с другом не согласуются, и оставляю читателю самому давать оценки и делать окончательные выводы.

Должен сознаться: из-за того, что не ожидал русского издания моей книги, я сохранил не все оригинальные тексты. Иногда, особенно работая в российских архивах, я прямо на месте переводил документы с русского на английский. Готовясь к русскому изданию книги, которое публикуется с незначительными сокращениями, я с помощью переводчицы и редактора старался отыскать и эти оригиналы, но, к сожалению, не все удалось найти. В результате некоторые цитаты приходилось переводить обратно с моего английского на русский язык. Надеюсь, что этот недостаток будут компенсировать полнота и взвешенность моего труда.

Пользуюсь возможностью поблагодарить всех, кто участвовал в работе над русскоязычным изданием моей книги, и особенно редактора книги Ольгу Ярикову, переводчицу Наталию Холмогорову и Инну Бабенышеву, которая дотошно читала корректуру.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если спросить многих жителей Европы и США — а возможно, и многих русских, — что они думают о Никите Сергеевиче Хрущеве, скорее всего им вспомнится грубый и невежественный шут, стучащий ботинком по столу на заседании ООН[1]. Однако этот невысокий коренастый человек с пронзительным взглядом маленьких, глубоко посаженных глаз и неистощимой энергией в каждом движении хоть и стал героем многих советских анекдотов, не был анекдотической фигурой: это был сложный человек, в жизни которого сочетались триумф и трагедия — как для его родины, так и для него самого.

Будучи сам замешан в преступлениях сталинской эпохи, Хрущев предпринял героическую попытку очистить страну от сталинщины. Его смелые, хотя и сумбурные преобразования придали бесчеловечной системе человеческое (поначалу — его собственное) лицо. Сами ошибки Хрущева, вскрывшие глубинные противоречия советской системы, возможно, стали для страны более благотворны, чем были бы его удачи.

Я видел Хрущева в первый и единственный раз — да и то мельком — в сентябре 1959 года, во время его бурного визита в Соединенные Штаты. Тогда мимо меня промелькнул и скрылся за углом его лимузин. В 1964 году, посетив СССР в рамках программы изучения русского языка, я спускался в донецкую шахту, где работал в юности Хрущев. К тому времени как я закончил по обмену годовой курс в Московском университете, Хрущев уже лишился власти и находился в опале. Мои соученики были благодарны Хрущеву за разоблачение сталинских преступлений, однако стыдились его невежества и дурного воспитания. В целом они питали к Хрущеву сложные чувства, в которых неодобрение смягчалось искренней и теплой симпатией. Признаюсь, те же чувства испытывал я сам, когда писал эту книгу[2].

В начале восьмидесятых, закончив книгу «Американская политика Сталина»[3], я начал изучать взаимоотношения между США и СССР во времена Хрущева — однако вскоре обнаружил, что личность этого советского лидера куда интереснее его внешней политики, и от работы над монографией перешел к работе над биографией. Если бы я выпустил работу, как обещал, в 1989 году, это была бы совсем другая книга.

Хрущев был на редкость многоречив. Одни только его речи по вопросам сельского хозяйства занимают восемь томов[4]; к тому же почти каждую неделю он давал пространные интервью. После

своей отставки в 1964 году он первым среди советских лидеров написал и выпустил в свет свои мемуары. Однако публичные высказывания Хрущева перед публикацией подвергались суровой редактуре и правке, а в тексте мемуаров, опубликованном на английском языке в 1970 и 1974 годах, отсутствуют некоторые откровенные пассажи, которые его дети не решились передать на Запад[5]. В середине восьмидесятых советские архивы были еще совершенно недоступны для иностранных ученых, а западные материалы, относящиеся к деятельности Хрущева, ждали своих исследователей, но прежде всего тех, кто мог их рассекретить. Еще в 1988 году, проведя в Москве пять месяцев по программе академического обмена, я не решился признаться, что интересуюсь личностью Хрущева (вместо этого я использовал обтекаемый оборот «начало процесса разрядки в советско-американских отношениях»), опасаясь реакции советских властей, хотя теперь понимаю, что такие предосторожности были излишни. Мне удалось взять интервью лишь у горстки людей, связанных с Хрущевым, и только в самом конце своей командировки, да и то по телефону, я познакомился с сыном Хрущева Сергеем.

К 1991 году ситуация радикально изменилась. Началась эра воспоминаний о Хрущеве (в числе прочих о нем писали сын Сергей и зять Алексей Аджубей, бывший редактор газеты «Известия»); в Соединенных Штатах был опубликован третий том мемуаров Хрущева, содержащий в себе материалы, не попавшие в печать в семидесятых годах; наконец в российском журнале «Вопросы истории» начал печататься русский текст мемуаров, подготовленный Сергеем Хрущевым[6]. Получив от американского издательства заказ на перевод и научное редактирование книг Сергея Хрущева и Алексея Аджубея, я воспользовался случаем, чтобы забросать их вопросами, ответы на которые затем обогатили мою книгу[7].

С падением СССР открылись (по крайней мере, на некоторое время) прежде недоступные советские архивы. Президентский архив (бывший архив Политбюро), где хранились материалы, наиболее опасные для советских руководителей, а также архивы КГБ оставались закрыты для всех, кроме немногих избранных; однако другие партийные архивы, не только в Москве, но и в других городах страны, раскрыли свои двери для исследователей. По счастью, во многих из них обнаружились копии документов, которые, по убеждению властей, хранились лишь в архиве Политбюро.

На протяжении следующих десяти лет я работал в архивах Москвы, Киева и Донецка, а также беседовал с родными Хрущева,

его кремлевскими коллегами, подчиненными, работавшими на него или против него, и с людьми, знавшими его задолго до того, как он занял место Сталина. С помощью Сергея Хрущева я посетил Калиновку, родную деревню Никиты Сергеевича, побывал в его любимых охотничьих заказниках на Западной Украине. Советская эпоха только что окончилась, и некоторые бывшие чиновники, с которыми я стремился побеседовать, не проявляли особого желания разговаривать с американцем, а многие архивисты сомневались, имеют ли право допускать меня к работе с документами. Могу сказать, что попытки расположить к себе и разговорить людей, а также извлечь на свет божий давным-давно упрятанные под спуд документы, потребовали от меня овладения приемами истинного детектива.

Далее передо мной встала новая задача — организовать и истолковать собранный материал. Вплоть до падения СССР, особенно во времена Горбачева, общественное внимание привлекали прежде всего хрущевские реформы: причины, ход и объяснения их неудач. Однако с 1991 года вопрос о карьере Хрущева получил более глубокое значение. Жизнь его, в сущности, представляла собой зеркало советской эпохи. Революция, Гражданская война, коллективизация и индустриализация, террор, мировая война, холодная война, поздний сталинизм, послесталинские годы — ничто не обошло Хрущева стороной. Что привлекло такую массу людей к коммунизму? Что заставляло хранить ему верность, несмотря на все жестокости и зверства, чинимые партией большевиков? Почему некоторые все же решились порвать с прошлым и вступить на путь реформ? Наконец, что сорвало их планы, а их самих заставило погрузиться в долгую застойную спячку, приведшую к развалу СССР? На некоторые из этих вопросов может дать ответ биография Хрущева.

Я стремился охватить все периоды жизни Хрущева и сосредоточиться на его характере. В некотором смысле Хрущева можно назвать архетипическим советским человеком, но в то же время он уникален. Тысячам простых рабочих и крестьян после революции открылся путь к карьерным высотам, но взойти на самый верх удалось лишь ему одному. Среди своих кремлевских коллег — безликих винтиков в сталинской машине — он, возможно, единственный сумел сохранить человечность. Все сподвижники Сталина стремились угодить тирану: лишь у Хрущева это стремление сочеталось с естественным, природным трудолюбием, неистощимой энергией, искренним увлечением своим делом, способностью располагать к себе людей самых различных рангов и положений — от доярки на колхозной ферме

до главы другого государства. Все его важнейшие внутренне– и внешнеполитические решения — от разоблачений Сталина на XX съезде до карибской авантюры — также необычны, несут на себе отпечаток его яркой и своеобразной индивидуальности.

Личность Хрущева приковывает к себе внимание не менее, а пожалуй, и более, чем его деяния. Стремясь понять не только политические, но и психологические причины его действий, я обратился к теориям личности[8] и проконсультировался с несколькими психологами и психиатрами, внесшими значительный вклад в мои исследования. Однако сам я не психолог и потому старался не перегружать свое изложение специальными терминами, стремясь сделать психологический портрет Хрущева понятным и близким читателю.

Давно известная истина, что всякий исторический документ нуждается в правильном истолковании, особенно верна по отношению к советским документам, составлявшимся всегда с оглядкой на власть и текущую политическую ситуацию. Я вынужден был полагаться в основном на эти документы, однако интерпретировал их в свете других источников. Более достоверны интервью и мемуары советских политических деятелей, написанные уже после распада СССР: их авторам нет нужды лгать, однако и они рассказывают лишь о том, что помнят — или предпочитают помнить. Многие из них стремятся оправдать себя или свести старые счеты. Вот почему документы и мемуары взаимно дополняют и корректируют друг друга.

Хрущев не вел дневник и редко писал письма. Для этого он был слишком занят, к тому же в сталинские времена опасно было доверять свои мысли бумаге; кроме того, Хрущев был нетверд в орфографии и, вполне естественно, предпочитал не писать сам, а диктовать тексты стенографистке. К тому же все личные бумаги Хрущева после его смерти были конфискованы КГБ и их местонахождение до сих пор неизвестно. В отсутствие личного архива особую значимость приобретают мемуары Хрущева: однако обращение к ним связано со специфическими проблемами. Свои воспоминания Хрущев наговаривал на магнитофонную пленку, по большей части в одиночестве, под надзором вездесущего КГБ, без доступа к архивам, без возможности что-то проверить и уточнить, не пользуясь ничем кроме собственной — хотя и великолепной — памяти. Важно отметить и то, что Хрущев стремился оправдаться перед будущими поколениями, и, читая его мемуары, приходится тщательно отделять фактологическую сторону дела от умолчаний и приукрашиваний, призванных представить автора в выгодном свете. Впрочем, и последние дали мне бесценную информацию о

том, каким Хрущев стремился предстать перед потомками.

Полная русская версия воспоминаний Хрущева под редакцией его сына содержит больше материала, чем все три англоязычных издания. Однако в некоторых случаях мы встречаем в английском тексте пассажи, отсутствующие в русском[9]. Первоначальные записи воспоминаний позволяют нам больше приблизиться к пониманию личности Хрущева, хотя и нелегко бывает понять его неправильную, сбивчивую речь[10]. Я рассматривал возможность цитации воспоминаний не по печатному тексту, а по расшифровкам: однако это было бы не только жестоко по отношению к читателям, но и нечестно по отношению к самому Хрущеву, который при жизни одобрял и поощрял редактирование своих текстов. О стиле устной речи Хрущева читатель сможет составить представление по приводимым мною буквальным цитатам из его выступлений. Что же касается мемуаров — насколько я могу судить, их опубликованные версии, как русские, так и англоязычные, по смыслу не расходятся с текстом, созданию которого Хрущев посвятил последние годы жизни.

***

Огромную книгу, создаваемую на протяжении многих лет, невозможно написать в одиночку. Неизмеримую помощь оказали мне члены семьи Никиты Хрущева: его дети Сергей Хрущев и Рада Аджубей; его внуки Юлия Леонидовна Хрущева, Юрий Хрущев и Никита Хрущев-младший; его правнучка Нина Хрущева и невестка Любовь Сизых.

Благодарю также жителей бывшего Советского Союза, помогавших мне в получении доступа к архивам и переводе документов: Юрия Аксютина, ныне покойного Николая Барсукова, Александра Чубаряна, Софью Гитис, Виктора Гобарева, Михаила Наринского, Владимира Наумова, Юрия Шаповала, Олега Трояновского и Елену Зубкову.

Благодарю за гостеприимство моих старых московских друзей: Юрия Крутогорова, Инну Бабенышеву, Виктора, Лену и Ольгу Якубович.

За идеи относительно характера и склада личности Хрущева благодарю психологов и психиатров: Эми Деморест, мою коллегу по Эмхерсту (факультет психологии), вместе с которой я веду коллоквиум «Личность в политике», Нэнси Макуильямс, выступавшую на нашем семинаре по моему приглашению, а также Джерролда М. Поста, Юджина Голдуотера, Эндрю Лукера, Тэмсин Лукер и Юрия Фрейдина. Кроме того, в начале работы над книгой

большую помощь оказали мне два политолога, писавшие о роли личности в политике, Александер Джордж и Фред И. Гринстайн.

Благодарю тех, кто помог мне разобраться в происходившем в СССР, Восточной Европе и Китае: Александра Бабенышева, Джеффри Бердса, Уильяма Берра, Чен Чжана, Джона Льюиса Гэддиса, Эббота Глисона, Лешека Глуховски, Стивена М. Голдстайна, Хоуп М. Харрисон, Марка Крамера, Лан Хуа, Кристиана Остермана, Питера Реддуэя, Константина Плешакова, Михаила Николаева и Владислава Зубка. Выражаю особую благодарность Бердсу, Крамеру, Глуховски, Голдстайну, Харрисону и Зубку, снабдившим меня документами из архивов бывших коммунистических стран.

Юрий Аксютин помогал мне вести исследования в России, Юрий Шаповал — на Украине, Дэн Сомоджи — в Великобритании, Ирина Порохова, Виктория Ивлева, Светлана Новикова, Илья Сомин, Ольга Рыжкова, Марк Ричман и Константин Русанов — в США. Татьяна Бабенышева взяла на себя сложный и утомительный труд по расшифровке русскоязычных интервью, Татьяна Чеботарева расшифровывала русскоязычные рукописные тексты, Чин Пинг Чен перевел выдержки из мемуаров на китайском языке. Мария Шарикова сверила цитаты из текста воспоминаний Хрущева, Стейси Китсис помогла в подготовке рукописи, а Сэм Чарап, помимо бесценной помощи во время исследований, составил библиографию. Благодарю также моего литературного агента Леону П. Шлехтер.

Нельзя не упомянуть об архивах, в которых я работал. Все они с благодарностью перечислены в библиографии. Из директоров архивов и их заместителей хотелось бы назвать Наталию Томилину, Кирилла Андерсона, Сергея Мироненко, Руслана Пыриха, Игоря Лебедева, Олега Наумова и Виталия Афиани. Хотелось бы также отметить помощь, оказанную мне Международным проектом истории холодной войны (особенно его руководителями Джеймсом Дж. Хершбергом, Дэвидом Вольфом и Кристианом Остерманом), Исследовательским центром Вудро Вильсона, Центром Дэвиса по изучению России в Гарвардском университете, Архивом национальной безопасности в Вашингтоне, Институтом межнациональных исследований Уотсона в Браунском университете и Институтом всеобщей истории при Российской академии наук в Москве.

Во время работы я получал финансовую поддержку от следующих организаций: Гуманитарное общество Рокфеллера, Институт Кеннана по изучению России, Национальный совет по советским и восточно-европейским контактам, Фонд Карла Лоуэнстайна в Амхерст-колледже, Фонд старейшин в Институте

Гарримана (университет Колумбия), Фонд исследований Фулбрайт-Хейз, Программа советско-американского научно-исследовательского обмена при Международном обществе обмена научно-исследовательской информацией, Национальный гуманитарный фонд, Исследовательский центр Вудро Вильсона. Кроме того, мою работу постоянно поддерживал Амхерст-колледж. За поддержку в Амхерсте я должен особенно поблагодарить его президентов Питера Паунси и Тома Джирити, а также декана нашего факультета Лайзу Раскин.

Выражаю глубокую благодарность друзьям, которые прочли рукопись и сделали ценные замечания. Главы этой книги читали в рукописи Роберт Боуи, Питер Чап-младший, Н. Гордон Левин-младший, Томас Лукер, Нэнси Макуильямс, Серго Микоян, Вера Шевцова, Кэтлин И. Смит, Владимир Туманов и Владислав Зубок. Весь текст целиком осилили Эми Деморест, Джон Льюис Гэддис, Эббот Глисон, Марина Голдовская, Сергей Хрущев, Константин Плешаков, Стивен С. Розенфельд, Строуб Тэлбот, Лори Уильямс и Милтон Уильямс. Особую благодарность выражаю моему терпеливому редактору в издательстве «У. У. Нортон» Джеймсу Мэйрсу и его помощнице Кэтрин Осборн.

Величайшая благодарность, как всегда, обращена к моей жене Джейн, поддерживавшей меня и помогавшей мне во время написания этой книги. Ее свежий взгляд и критические замечания были для меня неоценимы. Благодарю моих детей Алекса и Фиби, а также брата Филипа и его семью за постоянную моральную поддержку.

У. Т.

Амхерст, Массачусетс.

Февраль 2002 года.

ПРОЛОГ

В последние годы жизни Сталина советские функционеры избегали появляться в посольствах западных стран: лишь изредка туда заглядывали дипломаты низшего ранга, но и они держались формально и скованно и норовили исчезнуть при первой возможности. При Хрущеве, особенно в середине пятидесятых годов, все изменилось: первые лица Советского государства часто и с удовольствием встречались с западными дипломатами и журналистами. Сам Хрущев регулярно посещал дипломатические приемы, свободно общался с гостями, беседовал с корреспондентами, шутил, рассказывал анекдоты, порой даже пересылал через корреспондентов послания западным лидерам[1].

Однажды вечером, в ноябре 1957 года, Хрущев был, по описанию свидетелей, «особенно жизнерадостен и разговорчив» — и не случайно: накануне он раскрыл направленный против него заговор и разоблачил заговорщиков, затем сместил с должности министра обороны маршала Жукова, который сделался чересчур популярен и, как говорили, лелеял честолюбивые планы. В тот вечер Хрущев рассказал собравшимся гостям историю, которую прочитал в юности у украинского писателя Владимира Винниченко[2].

«Однажды, — рассказывал Хрущев, — сидели в царской тюрьме, в одной камере, трое: социал-демократ, анархист, а третий — бедный необразованный еврей по имени Пиня. Они решили выбрать старосту камеры, который бы заведовал распределением провизии, чая и табака. Анархист, парень ражий и громогласный, заявил, что он против любых выборов и любой власти, и, чтобы показать свое презрение к закону и порядку, предложил сделать старостой Пиню. На том и порешили.

Долго ли, коротко ли, собрались они бежать. Сделали подкоп. Но ясно было, что в первого, кто появится из подкопа, охрана будет стрелять. Кто же пойдет первым? Все обернулись к храбрецу-анархисту — но он оказался храбрым только на словах. И тут бедный маленький Пиня поднялся и сказал: „Товарищи, вы выбрали меня главным. Значит, первым пойду я“.

А мораль этой истории такая: каким бы ты ни был, раз уж тебя выбрали на важную должность — ты должен ей соответствовать.

Так вот, маленький Пиня — это я».

В «личной характеристике» Хрущева, подготовленной ЦРУ для президента Кеннеди перед Венским саммитом 1961 года, говорилось, что эта история отражает «сознание своего скромного

происхождения», «гордость личными достижениями» и «уверенность в своем соответствии занимаемому месту»[3]. Но точно ли Хрущев был так уверен в себе? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим рассказ Винниченко целиком.

Заглавие рассказа, «Талисман», указывает на то, что преображение, произошедшее с Пиней, можно смело назвать сказочным. Ибо Пиня — не просто человек «скромного происхождения»: он — несчастный, забитый, нищий бедняк. В молодости, когда он работал подмастерьем у жестянщика, тот бил его по лицу паяльником, а другие мучители, смеясь, мазали ему разбитые губы солью и заставляли есть из собачьей миски. Все это он молча терпел, говоря себе: «Есть на свете люди большие, сильные и богатые, есть — маленькие, слабые и бедные; но ты, Пиня, меньше, слабее и беднее всех».

Товарищи по камере тоже постоянно над ним потешались, и на все их шутки Пиня отвечал лишь покорной и грустной улыбкой. И сами выборы его старостой были лишь шуткой. «Он не был готов к этой должности: он ничего не знал и не умел, он был всего лишь бедным темным рабочим». Однако буквально за одну ночь Пиня переменился: он нашел в себе и ум, и мужество, и решительность. «Без сомнения, — замечает рассказчик у Винниченко, — произошло чудо, в роде тех сказок, герой которых, неудачливый, вечно битый, всеми оплеванный Иван-дурак приобретает где-то талисман и с его помощью завоевывает славу и восходит на царство». Если Хрущев отождествлял себя с несчастным забитым Пиней — очевидно, его сомнения в себе были глубже и серьезнее, чем он отваживался признать открыто. Более того, финал рассказа предсказывает судьбу Хрущева. Настояв на том, чтобы идти первым, Пиня обрекает себя на мученичество. Он вступает в драку с охранником, а его товарищи тем временем бегут. Пиня не успевает скрыться, и другие охранники, подоспев, забивают его до смерти[4].

Как Пиня, Хрущев вознесся из жалкой нищеты к невообразимым высотам. Он не только вошел в круг приближенных Сталина и провел там невредимым почти двадцать лет, но и смог после его смерти переиграть своих соперников, которые, казалось бы, куда более подходили на роль сталинских наследников. Став руководителем страны, он попытался гуманизировать и модернизировать советскую систему. Верно прослужив Сталину почти три десятилетия, он сумел избавиться от гипноза его личности, публично разоблачил его преступления, освободил и реабилитировал миллионы жертв. Исправляя ошибки Сталина, во многом ответственного за начало холодной войны, Хрущев всеми силами стремился наладить отношения с Западом.

Кроме того, он приложил немало усилий, чтобы оживить сельское хозяйство, промышленность и культуру СССР.

Нельзя не признавать за ним всех этих заслуг. Однако чудесное восхождение Хрущева к вершинам власти омрачает его собственная причастность к преступлениям Сталина. Проведенная им десталинизация была сумбурной и явно недостаточной, что позволило его преемникам быстро и без особого шума свести ее на нет. Сам он подавил венгерскую революцию и бросил за решетку многих своих идеологических противников. Правда, Хрущев провел несколько саммитов с лидерами западных держав и был одним из инициаторов принятого в 1963 году Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, — но в то же время стал виновником Берлинского и Карибского кризисов и продолжил гонку вооружений, которую хотел остановить. Можно упомянуть и о бесконечных реорганизациях партийных и государственных органов, хаотическом управлении экономикой, авантюристических «кампаниях» в сельском хозяйстве, бурных взаимоотношениях с интеллигенцией — словом, обо всем, что в конце концов послужило обвинительным материалом при отстранении Хрущева от власти в октябре 1964 года.

Надо отметить, что не все неудачи Хрущева лежат на его совести. Хотя сталинская система, как признавали даже наиболее просталински настроенные коллеги Хрущева, остро нуждалась в переменах — она упорно сопротивлялась любым реформам. Роль Хрущева как первого секретаря ЦК КПСС вынуждала его выступать и в роли «специалиста» по множеству вопросов, о которых он ничего — или почти ничего — не знал. Но во многом Хрущеву некого было винить кроме самого себя. Его секретный доклад на XX съезде привел к кровавым беспорядкам в Восточной Европе. За время своего пребывания у власти он оттолкнул от себя почти всех, включая бывших друзей и соратников. С упорством, достойным лучшего применения, он настаивал на своем в самых мелких и ничтожных вопросах, но при этом словно не замечал ни того, что его политическая база стремительно распадается, ни того, что вокруг него стягивается паутина заговора.

Подобное поведение заставляет задуматься о личности Хрущева с психологической точки зрения. Мы не первые задаемся таким вопросом: в 1960 году по заданию ЦРУ около двадцати психологов и психиатров подготовили доклад о психологическом облике советского лидера. Согласно сообщениям об этом докладе, который хранится в архивах ЦРУ и скорее всего не будет опубликован, специалисты отметили «склонность Хрущева к

депрессиям и слабую переносимость алкоголя», но в целом определили его характер как «гипоманиакальный»[5].

Согласно психологическим канонам, характерные признаки гипомании включают в себя постоянно повышенный фон настроения, общительность, неистощимую энергию, но в то же время склонность к переоценке своих сил и способностей, поспешным и непродуманным решениям, раздражительность, подверженность бурным вспышкам гнева, а в случае серьезных неудач — склонность к тяжелым депрессиям[6]. Такие люди постоянно нуждаются в обществе и во внимании окружающих, они красноречивы, обаятельны и убедительны, легко подчиняют других себе и увлекают за собой, готовы работать без сна и отдыха (пока переутомление не даст о себе знать — тогда они могут впасть в уныние), инициативны и предприимчивы, голова их вечно полна грандиозных планов и блестящих идей, а жизнь может стать материалом для приключенческого романа — настолько она полна неожиданных перипетий, резких поворотов, взлетов и падений. Это подтверждают и слова Нины Петровны Хрущевой, сказанные жене американского посла Льюэллина Томпсона: «Он постоянно то воодушевлен, то подавлен»[7].

Таким человеком был Хрущев — «бедный Пиня», «Иван-дурак на царстве», простой рабочий, достигший абсолютной власти, ценой нечеловеческих усилий попытавшийся изменить свою страну к лучшему, но этим лишь приблизивший ее гибель.

В последние годы жизни, если верить сыну Хрущева Сергею, его отец часто говорил: «Вот умру я… Положат мои деяния на весы. На одну чашу — злое, на другую — доброе, и, я надеюсь, добро перевесит!»[8] Так это или нет — пусть судят читатели.

Глава I
ПАДЕНИЕ: 1964, ОКТЯБРЬ

На полпути между Гаграй и Сухуми, на побережье Абхазии, врезается в Черное море живописный мыс Пицунда. Он поднимается из моря на высоту около ста метров; позади него высятся величественные кавказские горы. Большую часть мыса занимает сосновый бор. За оштукатуренной стеной с массивными железными воротами, на просторной, заботливо ухоженной территории располагаются три великолепных загородных дома. Они соединены дорожками, прихотливо петляющими меж деревьев: самая широкая из них, мощенная камнем, тянется вдоль невысокой стены, огораживающей песчаный пляж. Осенью 1964 года на пляже стояло несколько сине-белых брезентовых палаток: одни — для гостей, предпочитающих спать у воды, другие — в качестве кабинок для переодевания. В нескольких десятках метров от дома располагался дощатый настил с плетеными креслами: здесь, в тени просторного навеса, часто сидели гости, угощаясь свежими фруктами[1].

Эта усадьба была возведена в середине 1950-х годов по приказу Хрущева[2]. Один дом занимал он сам с семьей, двумя другими пользовались — временно, как было принято в Советском Союзе, — другие высшие государственные руководители. Хрущев жил в двухэтажном здании с белеными стенами: просторные, со вкусом обставленные комнаты с белыми шторами выходили окнами на море. Широкий балкон опоясывал второй этаж. При доме имелись небольшой спортзал с сеткой для игры в бадминтон и другим спортивным снаряжением, а также глубокий бассейн, стеклянная стенка которого отодвигалась и открывала вид на море, и просторная веранда на каменной насыпи. Стеклянные двери вели с веранды в сравнительно небольшой кабинет со стенами, отделанными красным деревом: здесь находились диван, несколько кожаных кресел, с нарочитой небрежностью размещенных на восточном ковре, а в углу — большой стол красного дерева, уставленный целой батареей телефонов. Один из них — специальная высокочастотная линия, контролируемая КГБ, обеспечивал связь советских партийных и государственных руководителей (а также резиденций и дач их обитателей) по всей стране. Параллельные аппараты этой линии находились в кабинете и спальне Хрущева на втором этаже, в кабинетах его помощников, а также у бассейна. Именно этот правительственный телефон зазвонил вечером 12 октября 1964

года.

В ту осень Хрущев, казалось, достиг вершины своего могущества. Но реально он находился на грани катастрофы. Через три года после принятия новой программы партии, обещавшей коммунистическое изобилие к 1980 году, по всей стране начались проблемы с продовольствием. Партийные чиновники возмущались потерей привилегий и нестабильностью своего положения. Сокращение вооружений и численности армии стало последней каплей для военных. Либеральная интеллигенция потеряла веру в Хрущева; не поддерживали его ни рабочие, ни крестьяне.

Столкнувшись с серьезными проблемами, Хрущев начал поговаривать об уходе на пенсию. Однако решиться на такой шаг не смог; вместо этого он вынашивал планы дальнейших реформ. Некоторые его идеи — например, проект новой конституции, ограничивающей власть советских вождей (разумеется, не считая «незаменимых» вроде него самого) и даже обеспечивающей возможность выборов в законодательные органы из нескольких кандидатов — опережали свое время. Другие отражали его страсть к реорганизациям, представлявшуюся товарищам по партии утомительной и смехотворной. Так, для оживления советского сельского хозяйства Хрущев предлагал создать в Москве девять централизованных организаций, отвечающих за основные направления сельскохозяйственной промышленности. Называться они должны были, по советскому обыкновению, аббревиатурами: Главзерно, Главмясо, Главсахар и т. п. Предчувствуя, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, кремлевские коллеги Хрущева язвительно прохаживались насчет его идеи, спрашивая: какой же бюрократ согласится принять звание Главгуся или Главбарана?[3]

Уже к лету 1964 года Хрущев отчаянно нуждался в отдыхе. Вместо этого он предпринял визит в Египет, где пробыл две с половиной недели и почти ничего не достиг, трехнедельное турне по Скандинавским странам, где в основном любовался пейзажами, поездку по советским сельскохозяйственным регионам, где мало что могло его порадовать, и визит на казахский космодром Тюратам (позже названный Байконуром) в обществе генералов, которые уже едва терпели своего главнокомандующего. Только в начале октября он позволил себе уйти в отпуск.

Хрущев любил говорить гостям, что в Пицунде не только отдыхает, но и размышляет. «Бывают задачи, которые не решишь правильно, если как следует над ними не подумаешь, — говорил он в апреле 1963-го редактору американского журнала Норману

Казинсу. — Даже куры не вдруг яйца кладут. В серьезных делах торопиться незачем»[4].

Но сам Хрущев редко следовал собственному совету. Слишком часто он брался за новое дело второпях, хорошенько его не обдумав. Даже на отдыхе ему не сиделось на месте: он навещал близлежащие колхозы и санатории, принимал советских чиновников, иностранных лидеров и других гостей. Вот и в октябре 1964 года он все свободное время посвящал работе: читал поступающие телеграммы и готовился к ноябрьскому пленуму ЦК КПСС, на котором, как грозился своим кремлевским коллегам, собирался заменить кое-кого из них более энергичными и эффективными руководителями[5]. В перерывах между делами он по несколько раз в день прогуливался вдоль морского берега.

12 октября, во время вечерней прогулки в обществе Анастаса Микояна, главного союзника Хрущева в вопросах управления Президиумом ЦК, в доме зазвонил правительственный телефон. Партийные лидеры в сопровождении охранника прогуливались по дорожке, огибающей пляж, когда к ним подбежал другой охранник. Из Москвы звонил Леонид Брежнев — второй человек в Кремле. Хрущев снял трубку в кабинете. Брежнев сообщил, что на завтра намечено чрезвычайное заседание Президиума.

— Зачем? — спросил Хрущев. — По какому вопросу?

— О сельском хозяйстве и по другим вопросам, — ответил Брежнев.

— Решайте без меня! — резко ответил Хрущев.

— Без вас мы решить не можем, — ответил Брежнев. — Все члены Президиума уже собрались. Мы просим вас приехать.

— Я в отпуске. Что такое стряслось? Вернусь через две недели, тогда все и обсудим. — Помолчав, Хрущев добавил: — Вообще я ничего не понимаю. Что значит «все собрались»? В ноябре будет пленум, посвященный сельскому хозяйству. Там обо всем и поговорим.

Брежнев настаивал. Наконец Хрущев согласился вернуться в Москву на следующий день, если за ним пришлют самолет. Приказав охраннику связаться со своим личным пилотом, а помощникам — перенести на более ранний час назначенный на следующий день завтрак с французским посланником Гастоном Палевски, Хрущев вместе с Микояном вернулся на пляж.

Некоторое время они молча шли рядом. Затем Хрущев сказал:

— Знаешь, Анастас, нет у них никаких срочных сельскохозяйственных вопросов. Думаю, это то самое, о чем предупреждал нас Сергей[6].

Сергей, сын Хрущева, работал инженером систем управления

в конструкторском бюро Владимира Челомея. Около месяца назад он предупредил своего отца и Микояна, что против Хрущева в Президиуме готовится заговор.

Сергей узнал об этом в сентябре 1964 года от начальника службы охраны Николая Игнатова, игравшего в заговоре заметную роль. Желая предупредить руководителя страны, охранник позвонил в резиденцию Хрущева, когда сам лидер был в Казахстане, и назначил Сергею встречу. В подмосковном лесу, вдали от посторонних ушей, он рассказал все, что знал.

Ранее, еще летом, дочери Хрущева Раде, жене Алексея Аджубея, члена ЦК и редактора газеты «Известия», позвонила какая-то женщина, сказав, что хочет сообщить «важную информацию». Когда Рада отказалась встретиться с ней лично, женщина выпалила, что против Хрущева составлен заговор. Рада посоветовала ей обратиться в КГБ; на это женщина ответила: «Я потому и звоню вам, что председатель КГБ тоже в этом замешан!»

Глава КГБ Владимир Семичастный был другом мужа Рады, так что она не приняла информацию всерьез. Хрущев не раз советовал своим детям «не совать нос» в политику. Поэтому Рада вежливо попросила незнакомку больше не звонить.

Следующее известие о заговоре Рада получила от бывшего управделами Центрального Комитета. На этот раз она посоветовалась со старинным другом семьи; тот заверил, что ее информатор чересчур подозрителен, и Рада успокоилась.

Третий сигнал поступил из Грузии. Брат помощника Аджубея Мэлора Стуруа, высокопоставленный партийный чиновник, догадался о том, что происходит в Москве, по намеку, брошенному первым секретарем ЦК компартии Грузии Василием Мжаванадзе. Дэви Стуруа рассказал об этом Аджубею. Но тот ничего не сообщил Хрущеву[7].

После возвращения отца в Москву Сергею понадобилась неделя, чтобы собраться с духом и все рассказать. Он нарушил семейное табу во время воскресной утренней прогулки в резиденции Хрущева недалеко от Москвы-реки. Хрущев выслушал его молча, не проявляя никаких эмоций, и сказал только: «Ты правильно сделал, что рассказал мне». Затем он попросил Сергея повторить имена членов Президиума, будто бы вовлеченных в заговор, и, подумав немного, заметил:

— Нет, невероятно… Брежнев, Подгорный, Шелепин — совершенно разные люди. Не может этого быть. Игнатов — возможно. Он очень недоволен, и вообще он нехороший человек. Но что у него может быть общего с другими?

Вернувшись в дом, Хрущев попросил сына никому не рассказывать о беседе с охранником Игнатова. Однако на

следующий же день, на работе, сам предупредил одного из заговорщиков.

— Мы с Микояном и Подгорным вместе выходили из Совета министров, и я в двух словах пересказал им твой рассказ. Подгорный просто высмеял меня. «Как вы только могли такое подумать, Никита Сергеевич?» — вот его буквальные слова[8].

Поведение отца показалось Сергею «странным, нелогичным и необъяснимым». Чего он добился, предупредив Подгорного? «Неужели ожидал признания? В прошлом ему случалось проявлять наивность — но не в такой же ситуации!»[9]

«Странное, нелогичное и необъяснимое» — пожалуй, мягко сказано. Заговорщики метались между страхом и надеждой. Особенно Брежнев. Во время поездки в Казахстан он буквально пресмыкался перед Хрущевым: когда ветер сорвал у того с головы шляпу, Брежнев сам бросился за ней, подхватил, обогнав более молодого человека, старательно счистил с нее грязь и пыль и вернул Хрущеву[10]. В сентябре Брежнев не раз звонил председателю КГБ Семичастному, отдыхавшему на юге, предлагал готовиться к решающему удару, но тут же перезванивал и отменял свое решение[11]. Однажды утром в начале октября Брежнев попросил секретаря Московского горкома партии Николая Егорычева по дороге на работу заехать к нему в его квартиру в доме на Кутузовском проспекте. Бледный и дрожащий Брежнев увел Егорычева в самую дальнюю комнату.

— Коля, — пролепетал он, — Хрущеву все известно! Нас всех расстреляют!

Брежнев всхлипывал и едва удерживался от рыданий. Напрасно Егорычев пытался его успокоить: Брежнев ничего не хотел слушать.

— Ты плохо знаешь Хрущева, ты плохо его знаешь! — повторял он[12].

Однако сам Брежнев, как видно, тоже его не знал. Даже получив информацию о заговоре, Хрущев не сделал ничего, чтобы ему противостоять. Вскоре по приезде в Пицунду ему нанес визит один из заговорщиков, первый секретарь Краснодарского горкома партии Георгий Воробьев. Хрущев спросил, правда ли, что Воробьев вел какие-то переговоры с Игнатовым: Воробьев все отрицал, и Хрущев отпустил его с миром.

— Оказывается, ничего такого не было, — рассказывал Хрущев Сергею, который вскоре приехал к нему в Пицунду. — Он [Воробьев] заверил нас, что сообщение того человека — как бишь его — чистая фантазия. Он [Воробьев] провел здесь весь день. Принес в подарок пару индеек, и отличных. Сходи на кухню погляди[13].

Однако Хрущев не был столь беззаботен, как казалось на первый взгляд. Несколько дней спустя он позвонил члену Президиума Дмитрию Полянскому, потребовал выяснить, что происходит в Москве за его спиной, и пригрозил сам прилететь и разобраться. Когда Полянский ответил, что члены Президиума будут рады его приезду, Хрущев спросил саркастически: «Так-таки рады?» Однако это лишь побудило участников заговора действовать быстрее[14].

Брежнев и остальные опасались, что странное поведение Хрущева — лишь ловкий трюк, что он вовсе не собирается возвращаться в Москву. Весь вечер 12 октября Брежнев названивал Семичастному, требуя информации. Только около полуночи Семичастный заверил его, что самолет для Хрущева приготовлен[15]. Но и после этого Брежнев опасался неприятных сюрпризов. Ведь, как замечал позднее Семичастный, Хрущев «смял таких, как Маленков, Молотов, всех. Ему, как говорят, природа и мама дали дай бог. Сила воли, сообразительность… быстрое мышление, разумное. Когда я к нему шел докладывать, я готовился всегда дай бог. У Лени я мог… с закрытыми глазами, можно было пару анекдотов рассказать — и весь доклад»[16].

В тот же вечер в Пицунде, через час после звонка Брежнева, Сергей застал отца одного в столовой: тот пил минеральную воду и выглядел усталым и расстроенным. Сын даже не успел обратиться к отцу. «Не приставай!» — буркнул тот и медленно побрел в спальню. «Спокойной ночи», — пробормотал он, не оборачиваясь[17].

Следующее утро выдалось теплым и ясным. Сквозь туман проглянуло солнце. Сад между домом и морем пестрел цветами. После завтрака Хрущев, как обычно, вышел на веранду и просмотрел самые срочные из пришедших за ночь телеграмм. В это время на дорожке, ведущей к главному дому, показалась французская делегация во главе с посланником Палевски. Хрущев тяжело поднялся, надел пиджак и вышел им навстречу. Как правило, сперва он представлял гостей своей семье и лишь затем начинал деловые разговоры, но на этот раз даже не взглянул на Сергея. Обычно гости приходили на несколько часов; в тот день они пробыли не дольше получаса.

Легкий обед — овощной суп и вареного окуня — Хрущев и Микоян ели в молчании. Наконец настало время уезжать. Управляющая резиденцией, как обычно, преподнесла Хрущеву прощальный букет осенних цветов. Хрущев уже устроился на сиденье своего огромного ЗИЛа, когда к машине подбежал бравый генерал — командующий Закавказским военным округом. Главы ЦК партии и правительства Грузии были в Москве (все они

принимали участие в заговоре), поэтому проводить почетного гостя республики в аэропорт было поручено генералу. Он должен был присмотреть за тем, чтобы Хрущев в целости и сохранности вылетел навстречу своему политическому краху.

В аэропорту Адлера его ждал личный пилот, генерал Николай Цыбин, служивший у Хрущева со времен Великой Отечественной войны, а в последние годы вместе с ним облетевший чуть ли не весь мир. Хрущев и Микоян вошли в дальний салон самолета, пассажирские кресла в котором заменяли удобный диван, два стула и стол. Членам команды полагалось занимать салон, находящийся сразу за кабиной пилота. Во время перелетов, как и в отпуске, Хрущев терпеть не мог одиночества: если он не читал бумаги, подготовленные помощниками и стенографистками, то приглашал кого-нибудь из помощников или обслуги к себе в дальний салон поболтать. На этот раз, однако, в салон вместе с ним вошел только Микоян. «Оставьте нас вдвоем», — коротко приказал Хрущев. Когда явилась стюардесса с армянским коньяком, минеральной водой и закусками, он и ее отослал.

В середине октября в Москве обычно серо, пасмурно и моросит холодный дождь; однако день тринадцатого октября 1964 года выдался ясным. Самолет Хрущева сел во Внуково-2, аэродроме на юге города, зарезервированном для прилетов и отлетов официальных лиц, и подкатил к сверкающему стеклом правительственному павильону. Как правило, при возвращении советского лидера первые лица партии и правительства встречали его на аэродроме. Хрущев любил такие встречи, хотя и сетовал на то, что коллеги покидают свои рабочие места, прибавляя добродушно: «Неужели, думаете, я без вас дороги не найду?» В этот раз гудронное шоссе было пусто: только вдали маячили три фигуры. Когда к самолету подали трап, внизу уже ждали Хрущева глава КГБ Семичастный, а с ним — руководитель ГРУ и чиновник из Верховного Совета.

Хрущев начал спускаться по трапу первым.

— С благополучным прибытием, Никита Сергеевич, — проговорил Семичастный.

Этот круглолицый сорокалетний человек был обязан своей блестящей карьерой именно Хрущеву. В 1946 году, в возрасте двадцати двух лет, он благодаря Хрущеву получил высокую должность в украинской комсомольской организации; в 1961-м, когда ему было всего тридцать семь, возглавил Комитет госбезопасности. Его благодетель еще не вылетел из Пицунды, когда Семичастный снял с должности прежнего начальника охраны Хрущева; к тому моменту, когда Хрущев добрался до Москвы, его столичная и загородная резиденции уже находились

под контролем новой команды охранников, подчинявшихся только Семичастному[18].

Стараясь не смотреть Хрущеву в глаза, Семичастный подал ему руку.

— Все собрались в Кремле, — сообщил он. — Ждут вас[19].

— Поехали, Анастас, — сказал Хрущев Микояну.

Павильон был пуст, если не считать охранников по углам. За дверью с другой стороны Хрущева ждал массивный ЗИЛ, а за ним — еще несколько черных автомобилей: ЗИЛ Микояна, несколько менее внушительная «чайка» Семичастного, «Волги» мелких чиновников из хрущевского окружения и машины охраны.

Хрущев и Микоян сели в одну машину. Охранник захлопнул за ними заднюю дверцу и сел на переднее сиденье. Следом за ЗИЛом Хрущева ехал автомобиль охраны, за ним — Семичастный на своей «чайке». Процессия двинулась по восьмиполосному Ленинскому проспекту к центру города; милиционеры перекрывали движение на ее пути. Улица Димитрова, мост через Москву-реку… Вот и въезд в Кремль через Боровицкие ворота.

Зал заседаний Президиума располагался на втором этаже здания, в царские времена служившего для заседаний Сената, через две двери от рабочего кабинета Хрущева. Вечерняя сессия начиналась в четыре часа дня. Члены Президиума, вошедшие в зал последними, увидели Хрущева на обычном председательском месте — во главе большого прямоугольного стола, обтянутого зеленым сукном. По сторонам стола сидели члены и кандидаты в члены Президиума, а также секретари ЦК. Все присутствующие, за редким исключением, были протеже Хрущева, которых он ввел во власть, и партийные ветераны, поддерживавшие его в былых сражениях. Однако никто из них, кроме Микояна, не решился сказать хоть слово в его защиту.

Хрущев, загорелый, но едва ли вполне отдохнувший, открыл заседание[20] и попросил объяснить, чем вызван экстренный созыв Президиума. В ответ грузный, с мохнатыми бровями Брежнев набросился на своего бывшего покровителя с целым ворохом обвинений. Двумя годами раньше, когда Хрущев разделил партию на индустриальное и сельскохозяйственное крыло, Брежнев первым принялся восхвалять его решение. Теперь же он заявил, что хрущевская реформа «противоречит заветам Ленина» и «дезорганизует» и промышленность, и сельское хозяйство.

Хрущев, продолжал Брежнев, обращается с коллегами «грубо». У него развилась привычка «принимать решения за обедом»; он «игнорирует чужое мнение», часто выглядит рассеянным и безразличным. Во время подготовки к предстоящему ноябрьскому пленуму ЦК он вдруг, ни с того ни с

сего, сорвался в отпуск, так что коллеги по Президиуму «не знали, где он». И вообще, Хрущев в последнее время действует «единолично, игнорируя Президиум».

«Ваше поведение нетерпимо», — заявил Брежнев. Вот почему коллеги Хрущева вызвали его из Пицунды. На заседании, объявил Брежнев, будут обсуждаться не вопросы сельского хозяйства, а один-единственный вопрос — о руководителе партии и правительства.

Хрущев начал защищаться — отрывисто, сумбурно. Он долго служил партии и народу. Вот и сейчас, откликнувшись на вызов Президиума, немедленно вернулся в Москву. Да, ему случалось совершать ошибки; но он думал, что люди вокруг — его товарищи…

— У вас здесь нет товарищей! — выкрикнул Геннадий Воронов.

— Но почему?! — повысив голос, воскликнул Хрущев. — Зачем вы это делаете?!

— Долго мы вас слушали, теперь вы нас послушайте! — крикнул кто-то с места.

Петр Шелест — невысокий, крепкий, совершенно лысый, с густыми черными бровями — начал вежливо. «Мы многому у вас научились, — сказал он, — и привыкли уважать вас: но в последнее время вы переменились». Хрущев превратил пленумы ЦК в массовые мероприятия, на которых «невозможно говорить свободно». Его требование «догнать и перегнать Америку», выдвинутое в 1957 году без консультаций с Президиумом, привело сельское хозяйство на грань катастрофы. Хрущев «непредсказуем, высокомерен и несдержан».

Следующим поднялся Воронов — плотный человек в очках. «В Президиуме стало невозможно работать, — говорил он. — Прежде был культ Сталина, а теперь — культ Хрущева». Воронов — специалист по сельскому хозяйству, однако все вопросы в этой области Хрущев решает, не советуясь с ним. Он громогласно провозглашает «истины, которые любому крестьянину известны» (например, что «удобрения повышают урожай» или «пчелы опыляют гречиху»). За последние три с половиной года не было случая, чтобы, попытавшись высказать свое мнение, Воронов не услышал в ответ «брань и оскорбления». «Для товарища Хрущева, — заключил он, — пришло время уйти с занимаемой должности».

Следующим настал черед Александра Шелепина. Сорокашестилетний «Железный Шурик» (как звали его друзья), смуглый темноволосый красавец, не скрывающий своего честолюбия, блестящей карьерой был обязан Хрущеву. Благодаря

Хрущеву он поднялся от комсомольского лидера до члена ЦК, шефа КГБ и наконец, в 1959 году, до секретаря ЦК. Для Брежнева он представлял серьезную угрозу, однако оба они на время забыли о соперничестве, чтобы сбросить с трона своего бывшего благодетеля. Шелепин обвинил Хрущева в грубости, чванстве, неуважении к коллегам, добавив, что Хрущев чересчур поспешно принимает решения, импульсивен и склонен к интригам. Обвинение в «грубости», когда-то брошенное Лениным в адрес Сталина, «полностью к вам подходит». Хрущеву свойствен «бонапартизм»: он окружил себя «лизоблюдами» и изводит коллег «необдуманными угрозами». Он списал многомиллионный долг убыточному колхозу в своей родной Калиновке — что это, если не фаворитизм самого дурного толка? Наконец, Шелепин обвинил его в том, что во время Суэцкого кризиса 1956 года Хрущев поставил СССР на грань войны, не сумел разрешить Берлинский кризис, а на Кубе «играл судьбой человечества».

Андрей Кириленко подчеркнул изоляцию Хрущева. К нему стало невозможно попасть на прием, чтобы посоветоваться по работе. Хрущев не звонил Кириленко почти три года! Если же все-таки удается с ним встретиться, он оскорбляет собеседников, обзывает их болванами и осыпает бранью вроде: «Идите в задницу!»

Собственные ошибки Хрущев сваливает на лидеров союзных республик — так случилось с первым секретарем ЦК компартии Белоруссии Кириллом Мазуровым. На партийных собраниях воцарился настоящий культ Хрущева, исключающий свободное обсуждение партийных проблем. Лесть и пресмыкательство, поощряемые Хрущевым, уже привели к раздору в международном коммунистическом движении.

Леонид Ефремов, зампредсовнаркома РСФСР, добавил, что вопросы внешней политики Хрущев решает «как в голову взбредет», принимает решения «за обедом» или «пока читает телеграммы»[21].

Михаил Суслов стал секретарем ЦК в 1947 году, еще при Сталине, следовательно, был обязан Хрущеву меньше других. Высокий, аскетического вида Суслов казался да и был политиком более консервативного (просталинского) направления, нежели взрывной, импульсивный Хрущев, однако до сих пор во всем его поддерживал. «Никита Сергеевич, — сказал теперь Суслов, — вы даже не понимаете, как далеко все это зашло… Вы никого не слушаете. Говорите, что развитию сельского хозяйства мешают чиновники на местах — нет, Никита Сергеевич, больше всего мешаете вы… Вы слишком прислушиваетесь к своим родственникам, особенно к Аджубею. Возите родных с собой за

границу. После каждой вашей поездки нам приходится защищать вас перед иностранными друзьями. Во всех газетах беспрерывно „Хрущев то, Хрущев это“, каждый день на всех первых полосах ваши фотографии. Этому надо положить конец»[22].

Последним выступил Виктор Гришин, глава профсоюзов: он пожаловался, что не был на приеме у Хрущева уже четыре года. Наступил вечер. Далеко не все ораторы успели выступить, поэтому решено было перенести заседание на следующий день — заговорщики были так уверены в своей силе, что могли себе позволить эту отсрочку. И все же они опасались, что Хрущев выкинет какой-нибудь фортель. Когда он покинул зал, заговорщики пообещали друг другу не отвечать на его звонки — на случай, если он попытается перетянуть кого-то на свою сторону. Позже Брежнев позвонил Семичастному и спросил, куда поехал Хрущев после заседания — к себе на квартиру? За город?

— А у меня, — ответил Семичастный, — и там, и сям, и везде наготовлено. Нигде не будет неожиданностей.

— А если он позвонит? Позовет на помощь?

— Никуда он не позвонит. Вся связь у меня![23]

Около восьми часов лимузин Хрущева подъехал к воротам его резиденции на Ленинских горах. От близлежащей Воробьевской улицы дом отгораживала желтая кирпичная стена примерно пяти метров в высоту. Сергей Хрущев — из Внуково-2 он добрался домой самостоятельно и весь остаток дня провел в тревожном ожидании — вышел навстречу отцу.

— Все получилось так, как ты говорил, — проговорил Хрущев-старший. Выглядел он расстроенным и очень усталым. — Вопросов не задавай. Устал я, и подумать надо…

Хрущев дважды обошел вокруг дома, затем поднялся в спальню на второй этаж и попросил принести чаю. Никто не осмеливался его беспокоить. Нина Петровна Хрущева в это время отдыхала в Карловых Варах — по иронии судьбы, вместе с Викторией, женой Брежнева.

В тот же вечер Хрущев позвонил Микояну.

— Я уже стар и устал, — сказал он. — Пусть справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду[24].

Если телефон Хрущева, как предполагал он сам и его родные, прослушивался КГБ, после его разговора с Микояном

заговорщики могли успокоиться. Однако самому Хрущеву следующий день облегчения не принес. Даже в лучшие свои времена он терпеть не мог критики — а теперь на него обрушился целый шквал обвинений.

Заседание Президиума возобновилось в десять утра. Первым взял слово Дмитрий Полянский. «Сталин себя скромнее вел, чем вы, Никита Сергеевич, — говорил он. — Вы заболели манией величия, и, думаю, это неизлечимая болезнь. Вы умный человек, но наделали много ошибок». На случай, если Микоян вздумает вступиться за своего друга, Полянский предусмотрительно добавил, что Хрущев и Микояна оскорблял, за глаза называя его «слякотью» и «назойливой мухой»[25].

Микоян выступал следующим. Он также критиковал ошибки Хрущева, в том числе его «взрывчатость», «раздражительность» и чрезмерное доверие к подхалимам. Однако за политику Хрущева в Суэцком канале и Берлине он заступился, а по поводу Кубы напомнил членам Президиума, что все они одобряли отправку ракет. По его мнению, достаточно было бы сместить Хрущева с поста партийного руководителя, но должность председателя Совмина оставить за ним. Отставка Хрущева с обоих постов «будет богатым подарком китайцам, Мао Цзэдуну, а кроме того, все, что сделано и делается Никитой Сергеевичем, — это наше богатство. И не надо им разбрасываться».

Но даже такая половинчатая защита вызвала взрыв протеста. Шелепин вскочил со своего места; за ним последовали Юрий Андропов, Петр Демичев и другие. Мрачный, никогда не улыбающийся первый заместитель Хрущева в правительстве Алексей Косыгин в своем выступлении отверг «полумеры».

— Вы честный человек, — обратился Косыгин к Хрущеву, — но вы противопоставили себя Президиуму. У вас неограниченная власть. Вы ни с кем не считаетесь, никого не выслушиваете до конца, обрываете… Вы интриговали в Президиуме: одного решали «раздолбать», с другим заигрывали.

Николай Подгорный, которого Хрущев прочил на место Брежнева, с самого начала принял участие в заговоре. Хрущев, говорил он теперь, порицал Сталина за некомпетентность в военных делах — «но ведь вы, Никита Сергеевич, тоже в этом не разбираетесь. Военные говорят, что вы ничего не понимаете в обороне страны». Подгорный считал, что, если Хрущев будет смещен со всех постов, это вызовет вопросы у международного сообщества; поэтому лучше, чтобы он «сам попросил об отставке».

Брежнев подытожил выступления своих товарищей, вспомнив, как однажды Хрущев сравнил секретарей ЦК с «кобелями, задирающими ногу у каждого куста», и предложил,

чтобы Хрущев ушел в отставку «добровольно». Заметив, что члены ЦК уже собираются у дверей Свердловского зала в Кремле, Брежнев предложил закончить обсуждение и поставить вопрос о Хрущеве на голосование. За отставку проголосовали все присутствующие. Микоян снял свои возражения[26].

Судьба Хрущева была решена; в последний раз он выступал перед Президиумом. Он находился, как вспоминал позднее Ефремов, «в состоянии сильного нервного возбуждения». Шелест называет его в эти минуты «сломленным, одиноким». В глазах у него стояли слезы.

— Выражаю благодарность за оценку моих положительных качеств… — начал он. — Вашу честность, вашу прямоту очень ценю. Рад за Президиум, в целом за его зрелость. В формировании этой зрелости есть и крупинка моей работы.

Затем Хрущев попросил «извинения, если когда-то нанес кому-то обиду, проявил грубость… Не могу сейчас все обвинения вспомнить и ответить на них. Скажу об одном: главный мой недостаток и слабость… то, что я сам не замечал своих недостатков. Вы меня обвиняете в совмещении постов Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина. Но, будем объективны, этого я сам не добивался… Напрасно я не поднял этот вопрос на XXI съезде. Следовало бы понять и догадаться, что двойная ноша для меня будет слишком тяжела».

Глаза его снова наполнились слезами. «Это не слезы жалости. Борьба с культом личности Сталина была большой и в этом деле есть моя крупица. Вы уже все решили. Я сделаю так, как будет лучше для партии.

Понимаю, что не могу больше выполнять прежнюю роль; но все же, будь я на вашем месте, я бы не стал, совсем от меня отказываться. Нет, я не собираюсь выступать на пленуме. И не прошу у вас милости. Все решено. Как я и сказал Микояну, я сопротивляться не стану. Не стану чернить вас: в конце концов, мы с вами единомышленники. Конечно, я расстроен, но в то же время рад — рад, что партия теперь может приструнить даже первого секретаря. Культ личности Хрущева, говорите? Вот вы тут меня поливаете дерьмом, а я отвечаю: „Вы правы“. Это, по-вашему, культ личности?

Я уже давно подумывал уйти. Но трудно принять такое решение. Мне самому следовало заметить, что я не справляюсь со своими обязанностями, не поддерживаю связь ни с кем из вас. Я оторвался от вас. Вы сами виноваты, что позволили этому случиться, но, конечно, и я тоже виноват.

Я в бирюльки не играл — я работал. И теперь благодарю вас

за то, что даете мне возможность уйти на покой. Напишите сами заявление от моего имени, а я подпишу. Я на все готов, если так лучше для партии. Пожалуйста, поймите меня правильно — я ведь в партии сорок шесть лет! Может быть, можно какую-нибудь почетную должность… Но нет, я не прошу, ни о чем вас не прошу. И где мне жить, тоже решайте сами. Если настаиваете, я уеду из Москвы и буду жить, где скажут»[27].

Когда Хрущев закончил, Президиум единогласно проголосовал «удовлетворить его просьбу» о выходе на пенсию «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья».

В тот же день в бело-голубом Свердловском зале Кремля открылся пленум ЦК. Сперва выступил Брежнев с кратким сообщением об отставке Хрущева; затем на трибуну поднялся Суслов и сформулировал основные обвинения в адрес бывшего главы государства. Его речь прерывали возгласы с мест. «Исключить его из партии!.. Под суд его!» — кричали сталинисты, радуясь падению своего противника. Хрущев слушал молча, часто прикрывал глаза, а порой закрывал лицо руками. В заключение Суслов зачитал заявление Хрущева, где причинами неспособности далее «исполнять свои обязанности» назывались преклонный возраст и здоровье[28].

Обсуждения не было. Двоих членов ЦК с Украины, которые могли бы воспротивиться, попросту не допустили в зал, а вскоре после пленума освободили от должностей[29]. За принятие резолюции пленум проголосовал единогласно: так же единогласно первым секретарем был назначен Брежнев, председателем Совета министров — Косыгин. После этого Брежнев закрыл заседание[30].

Из зала заседаний Президиума Хрущев вернулся к себе в кабинет. Его многолетний помощник по иностранным делам Олег Трояновский заметил, что он «измучен и очень расстроен». «Моя политическая карьера окончена, — сказал Хрущев. — Теперь моя главная задача — пройти через все это с достоинством»[31]. Перед началом пленума Трояновский видел, как Хрущев ходит взад-вперед по маленькому кремлевскому скверику: стоял пронизывающий холод, но Хрущев, против обыкновения, был без шляпы. Позже, вернувшись к себе в резиденцию, он отдал свой черный портфель сыну и со вздохом сказал: «Я теперь пенсионер».

В тот же вечер к Хрущеву явился Микоян и за чаем, который пили в столовой, сказал:

— Нынешняя загородная резиденция и городская квартира сохраняются за тобой пожизненно. — (На самом деле и того и другого Хрущев вскоре был лишен.)

— Хорошо, — рассеянно отозвался Хрущев.

— Охрана и обслуживающий персонал тоже останутся, но людей заменят. — (Новые телохранители не столько охраняли Хрущева, сколько держали его под почетным «домашним арестом».)

Хрущев что-то проворчал в ответ.

— Будет установлена пенсия — 500 рублей в месяц и закреплена автомашина. Хотят сохранить за тобой должность члена президиума Верховного Совета, правда, окончательного решения еще не приняли. — (Утверждено это предложение не было.) — Я еще предлагал учредить для тебя должность консультанта Президиума ЦК, но они предложение отвергли[32].

— Это ты напрасно, — проговорил Хрущев. — На это они никогда не пойдут. Зачем я им после всего, что произошло? Мои советы и неизбежное вмешательство только связывали бы им руки. Да и встречаться со мной им не доставит удовольствия… Конечно, хорошо бы иметь какое-то дело. Не знаю, как я смогу жить пенсионером, ничего не делая. Но это ты напрасно предлагал. Тем не менее спасибо, приятно чувствовать, что рядом есть друг[33].

Два старика вышли на асфальтированную площадку перед домом. На прощание Микоян обнял и поцеловал Хрущева; затем повернулся и зашагал к воротам. Хрущев провожал его взглядом, не зная, что видит своего друга в последний раз. Оттого ли, что Микоян боялся за собственную карьеру, или оттого, что грубостью и бранью Хрущев и его оттолкнул от себя, — но никогда больше он не приезжал навестить старого товарища.

Глава II
ДЕТСТВО В КАЛИНОВКЕ: 1894–1908

Никита Сергеевич Хрущев родился 15 апреля 1894 года в селе Калиновке на юге России[1]. Его родители, Сергей Никанорович и Ксения (Аксинья) Ивановна Хрущевы, были бедными крестьянами, как и крестные отец и мать, окрестившие маленького Никиту в сельской Архангельской церкви. В Калиновке Никита Хрущев прожил до 1908 года, когда его семья переехала в шахтерский город Юзовку на востоке Украины. Первым четырнадцати годам своей жизни Хрущев посвятил лишь несколько страниц в многотомных мемуарах, надиктованных им в последние пять лет жизни. «С самого начала отец заявил, — вспоминает Сергей Хрущев, — что не собирается описывать свою жизнь, начиная с детства. Хронологических повествований он терпеть не мог, они нагоняли на него тоску»[2]. Однако жизни в Юзовке он в своих мемуарах уделил больше внимания да и прежде в различных анкетах и выступлениях называл своего отца не крестьянином, но рабочим или шахтером. Тому была политическая причина — лидеру рабочей партии предпочтительно иметь пролетарское происхождение — но, по-видимому, дело было не только в этом. В жизни Калиновки было немало такого, о чем ее уроженец, достигший высочайших постов, предпочитал не вспоминать[3].

В наши дни, чтобы добраться от Москвы до Калиновки, надо сесть на поезд, идущий до Курска, расположенного примерно в ста километрах от украинской границы. Оттуда вы часа два тащитесь по разбитым проселочным дорогам до Дмитриевки, поворачиваете на юг к Хомутовке (районному центру с населением в шесть тысяч жителей), а затем — на юго-запад, к Калиновке[4].

В конце июня бескрайние поля вокруг родного села Хрущева утопают в зелени. Почва здесь не столь плодородна, как соседние черноземы, но гораздо более щедра, чем на севере, в Подмосковье. Кажется, деревни, затерянные среди этих весело зеленеющих полей, должны процветать. Однако и через столетие после рождения Хрущева весной, когда ежегодный паводок превращает неасфальтированные проселки в грязь, большая часть деревень оказывается отрезана от мира. Главные улицы в большинстве из них — это грязные дороги, изрытые глубокими колеями. Дома — деревянные, по большей части покосившиеся.

На малой родине Никиты Хрущева главная улица заасфальтирована, как и дорога от Калиновки к Хомутовке. Асфальт был проложен во времена, когда Хрущев находился у власти. В то же время на главной площади села вырос потрясающий ансамбль: неоклассический Дворец культуры с четырьмя колоннами (выстроенный, говорят, на месте церкви, где крестили Никиту), общежитие сельскохозяйственного училища, перемещенного из Курска в Калиновку, и пятиэтажная школа, которая служила гостиницей для российских и зарубежных гостей, приезжавших полюбоваться цветущей Калиновкой, когда она находилась под благодетельной опекой Хрущева. За площадью раскинулся большой пруд, а с другой стороны, вдоль дороги в Хомутовку, выстроился аккуратный ряд домиков из красного кирпича, которые прекрасно смотрелись бы в любой английской деревне. Живут в этих домиках обыкновенные колхозники, чей колхоз до 1964 года носил гордое название «Родина Хрущева».

Пройдя мимо Дворца культуры и обогнув озеро, мы выходим на дорогу, вдоль которой пасутся козы. Она ведет нас в «старое село»: массивная стела сообщает нам, что «здесь родился и провел детство Никита Сергеевич Хрущев». Дом, в котором он родился, давным-давно снесен, но на его месте стоит чистенький кирпичный домик, готовый к приему туристов. Крестьянка, живущая в этом доме, с гордостью показывает нам большой портрет Хрущева в красном углу — там, где прежде висели иконы.

В 1894 году Калиновка и близко не имела того «идеального облика», какой она обрела при Хрущеве. После отмены крепостного права в 1861 году часть земли, которую обрабатывали крестьяне, перешла в их собственность: однако даже для наиболее зажиточных крестьян освобождение вовсе не означало процветания. Освобожденные крепостные получили слишком мало земли и вынуждены были выплачивать за нее непомерный выкуп. Население деревень быстро росло, а производительность сельского хозяйства падала. Прибавьте к этому индустриализацию, проводимую царским правительством, растущие цены на землю и падение цен на зерно: в результате всего этого к концу девятнадцатого столетия русская деревня переживала тяжелейший кризис. К 1900 году большинство крестьян зарабатывали земледелием едва ли четверть необходимого прожиточного минимума: прочее они получали, нанимаясь батраками к помещикам или богатым соседям и, таким образом, возвращаясь к положению полукрепостных[5].

Согласно отчету о жизни крестьянства, опубликованному в

России в 1888 году, все крестьяне, как богатые, так и бедные, за очень редкими исключениями, жили в тесных крестьянских избах, площадь которых составляла пять — семь метров в длину и ширину. «На этом пространстве, иногда разделенном на две комнаты, теснятся и взрослые, и дети. Воздух в избе столь душен и сперт, что наши гигиенисты вынуждены признать за ее бревенчатыми стенами оздоравливающие свойства — иначе остается непонятным, почему обитатели избы в буквальном смысле не задыхаются»[6].

Другой отчет, начала двадцатого века, добавляет такие детали: «Все еще распространены дома без труб… Крыши почти у всех изб соломенные, часто худые; зимой, чтобы сохранить тепло, крестьяне обмазывают стены навозом. Семья крестьянина… спит на скамьях, лавках и на печи… Бань практически нет… Крестьяне почти не пользуются мылом… Кожные заболевания… сифилис… эпидемии, недоедание… Мясо, ветчина, растительное масло появляются на столе лишь по праздникам, два-три раза в год. Обычный стол крестьянина состоит из хлеба, кваса, часто — капусты и лука; осенью к этому добавляются еще некоторые свежие овощи»[7].

За два года до рождения Хрущева население Калиновки составляло 1197 человек, из них 588 мужчин и 609 женщин. В 156 избах в среднем проживали по восемь человек[8]. В середине девятнадцатого столетия большинство изб в деревне Вирятино в соседней Тамбовской губернии были курные, темные, с закопченными от дыма стенами: в зимние месяцы вместе с людьми там жил и домашний скот. Правда, к началу двадцатого века в Вирятине остались всего две-три курные избы[9]. Что же касается работы — в том же отчете 1888 года сказано: «Всякий, кто писал о русской деревенской жизни, даже всякий, что несколько месяцев провел в деревне, знает, что трудно вообразить себе труд тяжелее и утомительнее крестьянского…»[10] Уже с шести-семи лет деревенские ребятишки ходили за водой, за дровами и приучались к полевым работам. В восемь-девять они пасли коров и овец, а к тринадцати работали в поле наравне со своими отцами, от рассвета до заката[11]. Хрущев начал работать, в сущности, едва научившись ходить. Совсем ребенком он пас телят, овец, а затем и коров в близлежащем поместье, где работал его отец[12]. Фотографий маленького Никиты у нас нет, но нетрудно представить бойкого рыжеволосого парнишку, до шести-семи лет — в одной крестьянской рубашонке, позже — в грубых домотканых штанах, льняных или шерстяных[13]. Сам он вспоминал, что мальчишкой с ранней весны и до поздней осени бегал босиком: «Каждый в деревне мечтал о паре ботинок. Для

нас, ребятишек, большим счастьем было, если перепадала пара приличной обуви. Носы мы вытирали рукавами, штаны подвязывали веревкой»[14].

Для мальчика вроде Никиты, здорового и много времени проводящего на открытом воздухе, такое существование было терпимым. Однако позже, говоря о жизни беднейшего крестьянства, он неизменно описывал ее как ужасную, жалкую и нуждавшуюся в коренных переменах. Пастухи вроде него были, по его воспоминаниям, «беднейшими из бедных»[15]. Единственной доступной обувью Хрущева в Калиновке были лапти, не защищающие ни от холода, ни от сырости. Лапти были символом крестьянской бедности. Гораздо позже, уже став во главе Советского Союза, Хрущев не раз повторял, что его страна «вышла из мужицких лаптей». По иронии судьбы, своей выходкой на заседании ООН осенью 1960 года, где он стучал башмаком по столу, Хрущев лишь укрепил мнение о себе как о грубом и невежественном «русском мужике».

Работа в Калиновке едва ли могла воспитать в ребенке вкус к изящному; то же можно сказать и о крестьянских развлечениях, главным из которых вплоть до рубежа веков оставались кулачные бои стенка на стенку. Они устраивались по праздникам — в Рождество, Богоявление, а также на Масленицу. В Вирятине «деревня делилась на два конца — две команды: они собирались на лужайке возле церкви. Дрались в обычной уличной одежде. Строго-настрого запрещалось использовать что-либо, кроме кулаков: нарушитель изгонялся с поля… В бою принимали участие не только взрослые мужчины, но и подростки. Заводилами выступала молодежь, за ней в бой вступали взрослые. Каждый боец выбирал себе партнера [то есть противника], равного по возрасту и телосложению: так, молодые не бились со стариками, и т. п. Кое-кто перед боем выпивал для храбрости. Вся деревня сходилась посмотреть на драку»[16].

Образование в жизни русских крестьян, подобных Хрущевым, ценилось невысоко. В 1881 году всего 46 из 922 взрослых жителей Вирятина умели читать. К концу столетия число учеников в деревенских школах несколько возросло; однако крестьянские дети посещали школу всего два-три года. Родители забирали детей из школы, как только те «начинали кое-как различать буквы». Один крестьянин вспоминал, как однажды весной его отец объявил: «Снеси-ка книжки обратно в школу. Хватит глупостями заниматься, пахать пора»[17].

Существовало две разновидности деревенских школ: церковно-приходские и земские[18]. Никита Хрущев, по-видимому, посещал и ту и другую, но в общей сложности не более двух

лет[19]. Земские школы считались лучше церковно-приходских, хотя обе были далеки от идеала. В Вирятине земские школы «не удовлетворяли самым основным образовательным и даже санитарным требованиям», однако в двухклассной приходской школе преподавание было поставлено «еще хуже»[20]. Учебный план в школах обоих типов включал в себя чтение, письмо, арифметику и Закон Божий, преподаваемый местным священником; однако, согласно исследованию, проведенному в 1913 году в другой губернии, «большинство учеников овладевали лишь элементарной грамотностью — умением читать; даже писать далеко не все умели». Преподавание было не только дурно организовано, но часто сознательно велось так, чтобы не внушать ученикам интереса к учебе. Так, в распоряжении главы Вирятинского уезда до 1887 года говорится: «Не следует учителям поддаваться желанию поделиться с учениками всем, что им известно о преподаваемом предмете»[21].

Дед Хрущева по материнской линии был поистине беднейшим из бедняков. «Он не умел ни читать, ни писать, — вспоминал Хрущев. — Мылся два раза в жизни: первый раз — когда его окунали в крестильную купель, второй — когда обмывали для похорон»[22]. Вернувшись из армии, где прослужил двадцать пять лет, дед Хрущева, по рассказу внука, осел и начал крестьянствовать[23]. Однако его корова «давала ровно столько молока, чтобы забелить суп» и тем скрыть отсутствие в нем картофеля[24]. У деда Хрущева было три дочери: матерью Никиты стала Ксения (Аксинья). Когда подросла, она вместе со старшей сестрой Александрой отправилась в деревню Тишкино, где зарабатывала мытьем полов у местного помещика.

Деду Хрущева с отцовской стороны больше повезло в жизни. Никанор Хрущев, родившийся в 1852 году, был сыном крестьянина, в 1816 году бежавшего от помещика[25]. Никанор служил в армии вместе с отцом Ксении. Однако, когда сын Никанора Сергей женился на Ксении и привез ее обратно в Калиновку, по рассказу Никиты Хрущева, «не успели они войти в дом, как его отец указал им на дверь. По тогдашнему обычаю, едва старший сын женился, отец отправлял его вон из дома, не выделяя ни земельного надела, ни иного имущества. Отец и мать переехали и поселились в другом месте, но жили в бедности»[26].

Здесь Хрущев ошибается: такого обычая у русских крестьян не было. Сыновья и невестки, как правило, жили вместе с родителями и вносили свой заработок в общий котел: к разделу хозяйства приводили только серьезные конфликты между поколениями. Такие разделы «происходили по желанию главы

семейства или его сына, как правило, вследствие неустранимых разногласий между отцом и сыном». Только в таких случаях отец мог выгнать сына из дому «ни с чем или почти ни с чем, или же бунтарь-сын уходил из дому, не спрашивая позволения отца и рискуя не только навлечь на себя отцовский гнев, но и лишиться наследства»[27].

Если отца Никиты Хрущева и можно назвать жертвой обычая, то только в этом, последнем смысле. Никанор Хрущев выгонял Сергея из дому не один раз, а дважды. Безземельный бедняк, не имеющий никаких перспектив в родной деревне, Сергей покинул семью и отправился за 440 километров к юго-востоку, в донбасский город Юзовку. Там, по рассказу его сына Никиты, Сергей «сперва устроился разнорабочим на железную дорогу: сортировал шпалы, ровнял насыпь, ставил столбы, копал дренажные канавы. Когда эта сезонная работа кончилась, нанялся на кирпичную фабрику. Сперва месил глину и лепил кирпичи, а потом его допустили и к печи для обжига. Однако и это была временная работа»[28].

В Юзовке отец Никиты Хрущева заработал достаточно денег, чтобы поддержать семью и, кажется, вернуть себе уважение отца. По всей видимости, Сергей с семьей вновь поселился в доме Никанора Хрущева; далее Никита Хрущев рассказывает: «Отцовские деньги кончились, и дед снова выгнал нас из дому. Мы оказались в глиняной мазанке с грязным полом и крохотными оконцами. Меня дедушка любил. На ночь он пускал меня к себе в избу, на печь. Отец отправился в соседнюю деревню и нанялся батраком к помещику. Мать тоже ушла на заработки: стирала и шила одежду другим таким же крестьянкам»[29].

Два раза подряд лишившись относительно сносного существования, Ксения Хрущева никогда не давала мужу об этом забыть. Никита Хрущев вспоминал, как родители строили себе избу и как мать «на этой работе надорвалась и потом до самой смерти страдала грыжей»[30]. Сама Ксения говорила, что вся работа легла на ее плечи, пока муж был в Юзовке. «Засосала моего шахтерская жизнь, — жаловалась она. — Сорвал он нас [в конце концов] из деревни на Успенский рудник»[31].

Вдобавок к безземельности Сергей и Ксения Хрущевы были безлошадными. В Вирятине богатство семьи оценивалось прежде всего по количеству лошадей. Почти в половине из 252 вирятинских дворов было по две-три лошади, в 71 — по одной, и лишь в 28 беднейших домах лошадей не было вовсе[32]. «Мужик без лошади — не мужик, — говорили в деревнях, — он хворост на себе таскает»[33]. Снова процитируем Хрущева: «Отец… работал зимой на шахтах, надеясь накопить денег и купить лошадь, чтобы

выращивать достаточно картошки и капусты на прокорм семье. Но лошадь мы так и не завели»[34].

Хрущев вспоминал, что его родители лелеяли эту мечту даже после 1908 года, когда переехали в Юзовку. Там отец работал на шахтах, мать стирала белье, а сам он чистил паровые котлы. Однако «и отец, и мать — особенно мать — мечтали о том дне, когда вернутся в деревню, о домике, лошади и своей земле»[35].

В том, что мечта никак не становится явью, Ксения Хрущева винила мужа. По словам невестки Хрущева Любови Сизых, впервые встретившейся с Ксенией в конце 1930-х годов, свекровь почти не заговаривала о своем недавно скончавшемся муже, если же и упоминала о нем, то «без уважения», «как о никчемном человеке». Мать Хрущева — широколицая, суровая на вид, с гладко зачесанными назад волосами — была «сильной женщиной», а ее муж — «слабым», продолжает Сизых. «Ксения была не просто умной, но по-настоящему мудрой женщиной. Будь у нее хоть какое-то образование — о, это было бы нечто!»[36] Нина Ивановна Кухарчук, племянница, жившая в семье Хрущевых с 1939 по 1949 год, описывает Ксению как «решительную женщину. Она даже с Ниной Петровной [женой Хрущева] бывала сурова». Нина Ивановна также отмечает, что о Сергее, умершем незадолго до ее появления в доме, «никто не упоминал»[37].

В 1991 году в Калиновке еще жила очень пожилая женщина, помнившая семью Хрущевых. «Мать его была женщина с сильной волей, женщина-боец. Отважная, никого не боялась. Отец — тот гораздо мягче, добрее, а вот она никому не давала спуску»[38]. Слушая эту женщину, сын Хрущева Сергей кивал в ответ. «Именно так нам о них рассказывали, — соглашался он. — Он — мягкий и слабый, а она держала его под каблуком».

Первый конфликт между отцом и сыном произошел, когда Сергей забрал Никиту из школы и отправил работать в поле. «Я провел в школе год или два, выучился считать до тридцати, и отец решил, что учения с меня хватит. Все, что тебе нужно, сказал он — выучиться считать деньги, а больше тридцати рублей у тебя все равно никогда не будет»[39]. Позже, в Юзовке, Сергей попытался пристроить сына в ученики к сапожнику. «Отец говорил, что сапожник никогда без хлеба не останется: сапоги всем нужны, так что у меня всегда будет крыша над головой и деньги в кармане». Но Никита не захотел быть сапожником. Тогда отец предложил другой вариант: «устроить меня продавцом в лавку». Ему «нравились продавцы в шахтерской лавке: какие они вежливые, как стараются услужить рабочим и предлагают им лучшие товары». Но сыну и эта профессия не пришлась по душе. «Я отказался наотрез. Даже пригрозил отцу, что, если он заставит

меня работать в лавке, убегу из дому»[40].

Предложения Сергея не устраивали Никиту тем более, что от его внимания не ускользало презрение деда и матери к отцу. Конечно, при бедности Сергея Хрущева место сапожника или продавца в лавке стало бы для его сына неплохой «карьерой»: однако сам Никита мечтал о большем. Возможно, его амбиции поддерживали любовь дедушки, а также надежды, возлагаемые на него матерью. У Никиты была сестра Ирина, двумя годами младше его, однако для матери он всегда оставался любимым ребенком. Любовь Сизых вспоминает, что Ксения «боготворила» сына, называла его «царем» и хвалилась: «Я всегда знала, что из него выйдет большой человек!»[41]

Получив в начале 1930-х годов важный партийный пост в Москве, Никита Хрущев привез в столицу своих родителей. Однако, если верить Раде Аджубей, ее дедушке и бабушке не слишком-то нравилась жизнь в большом городе. По словам Алексея Аджубея, они переехали, потому что «сын сохранил традиционно русское уважение и привязанность к родителям, а те, в свою очередь, знали, что он приглашает их к себе от чистого сердца»[42].

Однако сам Аджубей признает, что отношения Хрущева с отцом остались для него загадкой. Вскоре после переезда Сергей Хрущев начал болеть и в 1938 году умер в больнице для туберкулезников. Его похоронили на близлежащем кладбище, однако, по словам Рады, до отъезда в Киев в том же году Хрущев ни разу не побывал на могиле отца. В 1949-м, когда они вернулись в Москву, он даже не упоминал о своем покойном отце — Рада так и не узнала, где же находится его могила[43].

Родные Хрущева отказываются видеть в этом признак неуважения или недостатка любви. Коммунисты, говорят они, терпеть не могли любых проявлений сентиментальности; к тому же Хрущев работал без отдыха, и на посещение дорогих могил попросту не оставалось времени. Однако могилу своей матери в Киеве Хрущев навещал часто[44].

«Тот, кто был у матери любимчиком, — пишет Зигмунд Фрейд, — входит в жизнь как завоеватель, с уверенностью в успехе, зачастую обеспечивающей реальный успех»[45]. Стремление к политической власти, добавляет Гарольд Лассуэлл, часто уходит своими корнями в детство: сильная женщина, вышедшая замуж за недостойного ее человека, в стремлении «оправдаться» возлагает надежды на детей[46]. Однако человеку, чей отец постоянно разочаровывал родных, слишком хорошо известны горечь поражения и страх перед презрением близких. Значит, тем важнее для Хрущева было пойти дальше отца — хотя собственная

блестящая карьера и порождала в нем чувство вины перед отцом, которому не суждено было достичь таких высот. Можно сказать, что и стремление Хрущева к власти и известности, и двойственное отношение к ним объясняются условиями его детства[47].

Кроме матери, влияние на маленького Никиту оказывала учительница калиновской земской школы. В отличие от преподавателя приходской школы, который «лупил ребят линейкой по рукам и по лбу» и «заставлял нас зубрить, ничего не понимая»[48], Лидия Михайловна Шевченко была свободомыслящей атеисткой. «Она не ходила в церковь, — рассказывал Хрущев. — Вот этого мужики ей простить не могли. Хотя все ее очень уважали, но… раз в церковь не ходит, значит, что-то с ней не так».

«В доме у Лидии Михайловны я впервые увидел запрещенные [политические] книги, — продолжает Хрущев. — Однажды я к ней зашел, а у нее был ее брат, приехавший из города, он лежал в постели. И она говорит: „Это тот мальчик, о котором я тебе рассказывала. Он у меня просит запрещенную литературу“. А ее брат улыбается и отвечает: „Так дай ему. Может, он что-нибудь там и разберет — а потом, когда вырастет, об этом вспомнит“»[49].

Первая встреча с запрещенной литературой — классический сюжет русских революционных мемуаров. Брат Лидии Шевченко (если молодой человек, лежавший в ее постели, действительно приходился ей братом), как видно, обладал даром предвидения. Однако Хрущев больше вспоминает не о запрещенных книгах, а о своих успехах в «разрешенных» науках: «Особенно удавалась мне математика. Я все задачи решал в уме. Часто я замещал Лидию Михайловну, когда она уезжала в город, или поправлял ее собственные ошибки. После окончания школы — отучился я в общей сложности четыре года — Лидия Михайловна сказала мне: „Никита, тебе нужно учиться дальше. Не оставайся в деревне, поезжай в город. Такому человеку, как ты, надо учиться, надо получить образование“. Эти слова на меня сильно подействовали: но как раз тогда у отца кончились деньги и дед выгнал нас из дому во второй раз»[50].

В 1960 году, достигнув таких высот, каких Лидия Шевченко и представить себе не могла, ее бывший лучший ученик упомянул в выступлении свою учительницу. Помощники Хрущева немедленно разыскали ее и привезли в Москву, где она выступила на педагогической конференции — там она рассказывала, в частности, о нищете и неустроенном быте дореволюционной Калиновки. Внучка Хрущева Юлия приводит

этот эпизод, чтобы показать, как подхалимы, окружавшие ее деда, сделали сенсацию из случайного упоминания о человеке, который в реальности не так уж много для него значил. Однако необычный случай, произошедший с Хрущевым десять лет спустя, за день до смерти, заставляет взглянуть на это по-иному.

В сентябре 1971 года Никита Сергеевич и Нина Петровна Хрущевы навещали Аджубеев на их подмосковной даче. После обеда семья отправилась на прогулку по лесу; Хрущеву стало нехорошо, и он присел отдохнуть на складной стул, который всегда носил с собой. Когда прочие отошли подальше, Хрущев заговорил с Алексеем Аджубеем в несвойственном ему мягком, задумчивом тоне. «Когда я был маленьким, — заговорил он, — и пас коров, как-то в лесу, такой же осенью, мне встретилась на полянке старуха. Долго смотрела в глаза, я даже оторопел. Услышал от нее странные слова: „Мальчик, тебя ждет большое будущее…“»[51]

В ту же ночь Хрущеву стало хуже: случился тяжелый сердечный приступ, от которого он так и не оправился.

«Что это означало?» — спрашивал Аджубей о калиновском видении своего тестя. Очевидно, в этом видении отразилась внушенная мальчику матерью и учительницей мысль, что он создан для большего, чем достиг или желал для сына отец.

Материнскому воспитанию Хрущев обязан обостренным чувством справедливости, ответственности, живой совестью, способной пробуждать чувства вины и стыда. «Мать была очень религиозна, — вспоминал Хрущев, — как и ее отец — мой дедушка… Помню, как меня учили становиться на колени и молиться в церкви, вместе со взрослыми»[52]. Вспоминая о детстве, Хрущев мог «ясно представить ряд икон на стене нашей бревенчатой избушки»[53]. В марте 1960 года, в речи, произнесенной во Франции, он заметил даже, что был «примерным учеником по Закону Божию»[54].

В отличие от большинства своих сверстников, Хрущев не употреблял ни табака, ни алкоголя — пока Сталин не приучил его пить, а тяготы Великой Отечественной войны не заставили взяться за сигареты. В этой воздержанности тоже отразилось влияние матери. Отец также пытался научить сына умеренности, но не слишком разумным путем: пообещал Никите золотые часы, если тот не будет курить, однако выполнить свое обещание так и не смог[55].

В идеализме Хрущева чувствуются отголоски религиозного воспитания. После ужасных условий жизни в Калиновке и Юзовке не стоит удивляться тому, что он с такой радостью бросился в

пучину революции. Коммунизм представляет собой своего рода светскую религию: в сознании Хрущева коммунистические идеи упростились до веры в лучшую жизнь для всех простых людей. Однако коммунистическая партия требовала от него не только компромиссов, но и прямых сделок с совестью. Вот почему Хрущев в конце концов выступил против Сталина и сталинизма. Разумеется, сперва он достиг вершин власти, ценой бесчисленных жизней спас собственную жизнь, дождался смерти Сталина — но после этого все-таки нашел в себе силы восстать.

На первый взгляд странно предполагать, что в запоздалом и неполном покаянии Хрущева сыграло какую-то роль религиозное чувство. Он гордился своей ненавистью к «мракобесию» и зарекомендовал себя более яростным гонителем религии, чем Сталин[56]. Однако Андрей Шевченко, его ближайший помощник на протяжении двадцати пяти лет, настаивает, что в глубине души Хрущев боялся Бога. По его словам, когда они в первый раз после смерти Сталина посетили Киев, «Хрущев поставил на могиле матери крест, встал перед ним на колени и перекрестился»[57].

Не менее противоречивым, чем отношение к религии, было и отношение Хрущева к земле. Став партийным лидером, он почувствовал себя ведущим экспертом по сельскому хозяйству: постоянно посещал колхозные поля, раздавал указания колхозникам и агрономам. Речь Хрущева, сочная, образная, насыщенная солеными присказками и поговорками, позволяла ему успешнее, чем кому-либо из советских лидеров, находить общий язык с крестьянами. На территории государственных резиденций Хрущева садовники выращивали бесчисленное множество разных, в том числе экспериментальных культур, а после отставки он большую часть своего времени посвящал работе в саду.

Хрущев искренне любил землю и так же искренне хотел улучшить жизнь крестьян. Однако как в молодости, заполняя различные анкеты, так и в более поздний период — в речах и мемуарах — он называл себя не крестьянином, а рабочим. Сельскохозяйственных назначений он старался избегать и принимал их лишь когда на этом настаивал Сталин. В мемуарах Хрущева можно найти немало резких и обидных слов в адрес крестьянства. Ему хотелось модернизировать крестьянский быт, в его представлении грубый и примитивный. Хрущев наезжал в Калиновку порой по два раза в год, но не для того, чтобы окунуться в знакомую с детства жизнь, а чтобы насладиться переменами, преобразившими родное село. Нигде больше он не встречал такой благодарной аудитории; однако если бывшие

односельчане осмеливались ему возражать, он выходил из себя и принимался кричать на них. Шевченко может объяснить эти сцены только тем, что, несмотря на детство, проведенное в Калиновке, Хрущев не понимал и не чувствовал «психологии мужика».

Двойственное отношение Хрущева к крестьянам отчасти объясняется его приверженностью марксизму-ленинизму. Большевики видели в крестьянах опасных реакционеров, пленников того, что Маркс назвал «идиотизмом деревенской жизни»[58]. Ленин и его последователи призывали «стереть грань между городом и деревней». Мне могут заметить, что решимость Хрущева преобразить крестьянский быт носит скорее идеологический, чем личный характер. Пусть так, но почему его привлекла именно эта идеология? Именно потому, что, как и многие русские крестьяне, в начале двадцатого века устремившиеся в города, Хрущев прочувствовал «идиотизм деревенской жизни» на собственной шкуре и ненавидел его всей душой; потому, что, как и многие его товарищи, питал наивную веру в образование и культуру, несвойственную коренным обитателям городов[59]. Хрущев дважды прерывал многообещающую политическую карьеру, чтобы продолжить образование. Он стремился сдружиться с ведущими представителями культурной и научной интеллигенции, часто посещал театр. В конце концов он начал считать себя экспертом не только в сельском хозяйстве, но и вообще почти в любой области знания. Такой образ вполне соответствовал его представлениям о всезнающем коммунистическом лидере и приятно тешил самолюбие. Хрущев хотел преобразить не только деревню, но и себя самого. Однако, как ни старался, до конца жизни он не смог вытравить из себя наследие Калиновки.

Глава III
МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ: 1908–1917

В один из дней 1908 года дед Хрущева посадил мальчика на телегу и отвез на ближайшую железнодорожную станцию, отстоявшую от Калиновки почти на пятьдесят километров. Отсюда Никита отправился в долгое путешествие с двумя пересадками — в город Юзовку, находившийся почти в девятистах километрах к юго-востоку от Киева, в Донбассе. Его никто не встречал: четырнадцатилетний Никита, однажды уже побывавший у отца в Юзовке, сам нашел дорогу на шахту, где работал отец[1]. Через несколько недель к нему присоединились мать и сестра. Хрущевы поселились в двух крохотных комнатках, которые делили с другой семьей, в одноэтажном, барачного типа здании неподалеку от шахты Успенской, в степи.

Поезд, примчавший Хрущева в Юзовку, доставил его из захолустного села в хаотический новый мир индустриальной революции. Название города (с ударением на первом слоге) звучит совсем по-русски; однако оно происходит от фамилии англичанина Джона Хьюза, основавшего город в 1869 году. (В 1924-м Юзовка была переименована в Сталино, в 1961-м — в Донецк.) «New Russia Company», фирма Хьюза, заключила с царским правительством контракт на строительство железных дорог и производство рельсов[2]. Хьюз привез из Англии около семидесяти инженеров и техников, построил для них кирпичные и деревянные дома. В 1956 году «первым и самым ярким впечатлением» Хрущева в Великобритании стали «небольшие домики из красного кирпича… Почему же мне в память врезались они? То были домики моего детства… Как и в Великобритании, они заросли зеленым плющом. Летом видны были только окна, а все стены покрывала зелень плюща»[3].

Под руководством инженера Джона Хьюза (Юза) русские и украинские рабочие возвели огромный индустриальный комплекс, включающий в себя шахты, домны, ветряные мельницы, металлургические заводы, ремонтные и другие мастерские. Что ни день, то удлинялись на несколько километров железнодорожные пути в городе и вокруг города. К 1904 году население Юзовки выросло до 40 тысяч человек, к 1914 году — до 70 тысяч. В 1913 году Донбасс поставлял 87 % российского угля[4].

Индустриальное развитие намного опережало строительство жилья и развитие инфраструктуры. Разумеется, к англичанам и другим иностранцам — владельцам и управляющим шахтами —

это не относилось. Они жили в «английской колонии» — аккуратных домах, на улицах, обсаженных деревьями, с электричеством и централизованным водоснабжением. Но прочие районы города производили жалкое впечатление. «Грязь, вонь и насилие» — так описывал Юзовку накануне Первой мировой войны один революционер[5]. А вот слова другого свидетеля: «Черная земля, черные дороги… На всем руднике ни одного деревца, ни одного кустика: нет ни пруда, ни ручейка. Кругом, куда глаз хватает — однообразная, выжженная солнцем степь»[6].

Условия жизни и работы в Юзовке словно иллюстрировали антикапиталистические трактаты того времени. «Мне думалось, — вспоминал в 1958 году Хрущев, — что Карл Маркс словно был на той шахте, на которой работали я и мой отец. Он словно из наблюдений нашей рабочей жизни вывел свои законы…»[7] Рабочие кварталы в Юзовке часто называли «шанхаями» и «вороньими слободками»; два поселка в самом деле носили названия «Сучий» и «Вороний»[8]. В 1910 году жители Юзовки набирали воду из 27 разбросанных по городу колодцев: единственный водопровод обслуживал только иностранцев. Рабочие жили в бараках, по пятьдесят — семьдесят человек в комнате. Никакой мебели в бараках не было, если не считать расположенные рядами нары и веревку под потолком, на которой шахтеры сушили мокрую одежду и портянки. В шахту они спускались в обычной повседневной одежде, а поднимаясь на поверхность, лишь споласкивали лицо. Каждая кровать служила пристанищем двоим; работали в шахте в две смены, спали по очереди[9].

Именно в таком бараке жил Сергей, отец Хрущева, когда уходил из Калиновки на заработки. Его соседи по комнате были такими же сезонными рабочими из близлежащих деревень. На шахтах и заводах Юзовки они превращались из крестьян в пролетариев в первом поколении — превращение, по поводу которого не только у капиталистов, но и у марксистов было принято выказывать некий отвлеченный энтузиазм. В реальности же это было ужасно. Уже в 1920 году, вернувшись в Юзовку после Гражданской войны, Хрущев обнаружил, что рабочие «живут в казармах и общежитиях. Спальные места были в два-три яруса. Можно себе представить атмосферу, в которой жил человек… Никогда не забуду увиденного: некоторые рабочие справляли малую нужду прямо со второго яруса вниз»[10].

Дикость нравов, описанная Хрущевым, была связана с ужасающими условиями труда. Рабочий день продолжался до 14 часов. Шахтеры ползали по темным туннелям, волоча за собой свои тележки: зачастую весь рабочий день им приходилось

проводить лежа, согнувшись, а то и по пояс в воде. В самых глубоких шахтах, где температура достигала 30–35 градусов, люди работали нагишом — как сами они говорили, «в одежде Адама»[11].

Средняя оплата за такую работу составляла от одного до полутора рублей в день[12]. Часто шахтерам платили купонами, которые полагалось обменивать на дорогостоящие и низкокачественные товары в лавках компании. В 1908 году при взрыве газа на шахте погибли 274 человека, в катастрофе 1912 года — 118. Во всем Донбассе проживало 157 врачей, и лишь 18 из них (плюс 23 фельдшера и пять медсестер) приходилось на 100 тысяч человек, составлявших к 1916 году население Юзовки. С пугающей регулярностью косили народ эпидемии: в 1892 году только в одной Юзовке 313 человек погибли от холеры, в 1896 году — 400 от тифа и дизентерии. Во время холеры 1910 года, как вспоминал Хрущев, «заболевшие шахтеры сразу попадали в холерный барак, откуда никто не возвращался. Тогда поползли слухи, что врачи травят больных. Нашлись и „свидетели“, которые видели, как кто-то шел мимо колодца и высыпал туда какой-то порошок»[13].

Многие обитатели Юзовки искали забвения в пьянстве и насилии. В 1908 году в городе процветало не менее тридцати трех винных и водочных лавок. Неудивительно, что драки и беспорядки не были здесь редкостью. Писатель Константин Паустовский, проживший в Юзовке год, бывал свидетелем побоищ, в которых «участвовали целые улицы. Кровь текла ручьем, немало было сбитых в кровь кулаков и переломанных носов». В 1912 году заезжий журналист так описывал Юзовку: «Здесь собраны воедино все ужасы шахтерской жизни. Все темное, злое и преступное — воры, хулиганы, прочие подобные люди — ни в ком из них нет недостатка»[14].

Говорят, что одним из последствий Первой мировой войны для Европы стало «общественное ожесточение»[15]. В Донбассе на рубеже столетий жизнь и без того была жестокой. В примитивности и неразвитости шахтеров следовало винить прежде всего безжалостную эксплуатацию, которой подвергали их хозяева шахт. Мизерная оплата труда еще снижалась благодаря сложной системе штрафов, взимаемых как полицией, так и заводским начальством. Если рабочие возмущались, требуя, в числе прочего, «более уважительного отношения» к себе — их запросто могли подвергнуть публичной порке[16].

В первые десятилетия существования Юзовки забастовки были редкостью. Изолированные социально, разъединенные из-за специфики своей работы, подавленные нечеловеческими

условиями жизни и труда, шахтеры по большей части пассивно мирились со своей участью: лишь изредка их затаенное недовольство прорывалось наружу во вспышках возмущения, быстро переходивших в бессмысленные погромы и грабежи. Таковы были холерные мятежи 1902 и 1910 годов, а также забастовки 1905 года, переросшие в банальные еврейские погромы.

Революционеров в Юзовке было мало. Социал-демократы, предшественники коммунистов, привлекали к себе незначительное число последователей. Раскол партии в 1902 году на большевиков и меньшевиков до Юзовки так и «не дошел»: вплоть до 1917-го юзовские социал-демократы были едины.

Когда разразилась революция 1905 года, юзовские эсдеки были слишком слабы, чтобы создать себе на ней имя. В 1913-м лишь четыреста из тридцати тысяч рабочих называли себя большевиками. Правда, 16 апреля 1912 года юзовские шахтеры вышли на митинг протеста против Ленского расстрела — однако к началу Первой мировой войны ничто не предвещало грядущих потрясений. 1914-й стал годом относительного процветания, и все шахты и фабрики работали в полную силу.

В первые дни войны толпы рабочих, собравшись на городской площади, с одобрением внимали патриотическим речам. Однако к 1916 году, под влиянием больших потерь на фронте и все ухудшающихся условий жизни, первоначальный энтузиазм рассеялся. После отречения Николая II от престола в феврале 1917 года между рабочими и капиталистами, крестьянами и помещиками начались кровавые столкновения, постепенно приведшие от революции к братоубийственной Гражданской войне. Оглядываясь назад, легко говорить, что такой исход был неизбежен. Однако это значит игнорировать противоположную тенденцию, тенденцию к улучшению стандартов и качества жизни, которая существовала в Российской империи и, если бы не война, возможно, могла бы разрешить существующие противоречия мирным путем и привести Россию к благополучию и процветанию.

«В 1870-х, — читаем мы в истории города, — бедность и нищета казались неотъемлемым уделом огромного большинства населения. Однако к 1913 году нищий шахтер-переселенец находился уже в низах общества, сделавшего большой шаг вперед как экономически, так и социально. Шестьсот рабочих компании „Новороссия“ проживали в собственных домах…»[17] В 1897 году читать умели лишь 30 % юзовских шахтеров, в 1921-м — 40 %. Даже к 1922 году две трети местных рабочих никогда не читали ни книг, ни газет[18]. Однако число школ росло, как и доступность

библиотек, читален, концертов, театральных представлений. В 1900 году «культурные центры» Юзовки включали в себя церковь с церковно-приходской школой, две начальные школы (русскую и английскую), аптеку, книжный магазин, типографию, пять фотографических лавок и одну нотариальную контору. К 1913 году в городе было уже три частные гимназии, одно реальное училище, пять библиотек, в которых можно было брать книги на дом; летом устраивались концерты и цирковые представления под открытым небом. К лету 1917 года 56 % юзовских детей в возрасте от семи до тринадцати лет (многие — из рабочих семей) посещали школу. Помимо десяти школ компании «Новороссия» были открыты две церковно-приходские школы, армяно-григорианская школа, еврейские школы для мальчиков и девочек, государственная школа, коммерческое училище и две частные женские гимназии[19].

В этих школах обучались дети представителей класса, который должен был казаться бедняку Хрущеву пределом мечтаний, — рабочей аристократии, высококлассных профессионалов, работавших в безопасных условиях, получавших неплохую зарплату и живших в очень приличных по тогдашним меркам домах. Конечно, они не составляли основную массу рабочих — но их было довольно много. Некоторые из них (приблизительно 10 % от общего числа рабочих) даже приобретали собственность и начинали вести себя как владельцы собственности — то есть, в сущности, из пролетариев превращались в буржуа[20].

В 1881 году во всей Российской империи было 434 горных инженера, из которых в частной горно-добывающей промышленности работали лишь 127. В середине 1890-х в списке обслуживающего персонала донбасских шахт значились (помимо 137 иностранных специалистов) 80 горных инженеров, 67 техников и технологов, 150 десятников, 1150 руководителей артелей и старших рабочих в шахтах и 400 мастеров и начальников цехов на фабриках[21]. Попасть в их число было нелегко; однако энергичные, инициативные, надежные люди, способные заслужить доверие начальства, могли надеяться на карьерный рост.

В сущности, эти люди составляли зачатки «среднего класса», на отсутствие которого историки отчасти возлагают вину за экономическую отсталость и политический авторитаризм Российской империи. Эти честолюбивые пролетарии со временем могли положить начало демократическому рабочему движению, связывающему свои надежды с конструктивной модернизацией. Однако сейчас они находились в тупике — между загнивающим

царским режимом, запрещавшим даже организацию профсоюзов, и большевиками, действовавшими во имя рабочего класса, но в долговременной перспективе — вразрез его интересам.

Таков был мир, в котором обитал с 1908 по 1918 год Никита Хрущев. И, судя по всему, этот мир ему нравился. Правда, ранний биограф Хрущева Эдвард Крэнкшоу с этим бы не согласился: как ни тяжела была жизнь в Калиновке, пишет он, но «долгие часы, проведенные в полях, несли на себе отпечаток прелестей деревенской жизни. Мальчик бегал босиком — но ноги его ступали по рыхлому песку, дорожной грязи или шелковистой траве пастбищ. Он мог удить рыбу… мог впитывать звуки и запахи бесконечной русской равнины». В Калиновке было «очарование жизни» — а в Юзовке, в которой прошла юность Хрущева, автор не смог найти «ни одной симпатичной черты»[22].

Неужто в самом деле ни одной? А сам город — новый мир, бурно развивающийся, бурлящий энергией, столь схожей с энергией самого юноши? Никита приехал в Юзовку в четырнадцать лет: в 1917 году ему исполнилось двадцать три. За эти годы он обрел не только свое место в жизни, но и мечту, к тому же встретив женщину, которая разделила с ним и то и другое[23].

Родители Хрущева в дни возмущений и беспорядков отсылали сына в Калиновку — от греха подальше. Однако чем больше старались они защитить сына от городских опасностей, тем больше должна была его привлекать шумная, суетливая, полная неиссякаемых возможностей городская жизнь. Поначалу он занимался здесь тем же, что и в Калиновке — пас коров и овец, работал в саду у местного помещика. Потом, как и другие подростки, сделался трубочистом — тяжелая и опасная работа, в процессе которой нужно было залезать в узкую трубу, а потом выбираться оттуда, перемазавшись сажей и пеплом[24]. Потом стал учеником на заводе — в это время у него появилась «мечта научиться слесарному делу». Ему предложили на выбор учиться на токаря или на слесаря — он выбрал последнее и, «немного поучившись, получил удостоверение и инструменты и начал ходить по цехам, чинить оборудование. Так в пятнадцать лет я стал рабочим»[25].

Металл для слесаря — все равно что дерево для плотника. На вопрос, почему он выбрал профессию слесаря, Хрущев отвечал: «Токарь имеет дело только с отдельными деталями, а слесарь собирает всю машину целиком и запускает ее в работу»[26]. В первые же годы работы он собрал себе из обрезков труб велосипед, потом приделал к нему самодельный мотор и гордо

разъезжал по городу на этом «мотоцикле».

Хрущев стал учеником слесаря-еврея по имени Яков Кутиков на фабрике Инженерной компании Боссе и Генфельда, неподалеку от шахт, в так называемом старом городе — темном районе с узкими, мощенными булыжником улочками, — так непохожем на раскинувшийся выше на холме современный Донецк. Немецкая компания Боссе и Генфельда занималась ремонтом сложного шахтового оборудования — подъемников, вагонеток, насосов и т. п., а также производила некоторые более простые устройства, используемые на шахтах. Хрущев работал на заводе с шести утра до шести вечера, с получасовым перерывом на завтрак и часовым — на обед, и получал за свой труд двадцать пять копеек в день. Пока он не соорудил себе велосипед, на работу и с работы, за несколько километров от дома, ходить приходилось пешком[27].

Жизнь была нелегкой, но увлекательной. На групповой фотографии рабочих компании, относящейся к 1910 году, мы видим степенных, потрепанных жизнью рабочих в темных куртках и теплых шапках; и среди них, в самой середине переднего ряда, широко улыбается нам курносый круглолицый парень — ученик слесаря Никита Хрущев[28].

В своем энтузиазме Никита был не одинок. Согласно исследованию настроений молодых санкт-петербургских рабочих, ровесников Хрущева, «…ученики стремятся как можно скорее и как можно полнее втянуться в субкультуру взрослых товарищей: они гордятся своим растущим мастерством и смотрят на себя как на полноценных рабочих»[29].

Молодой московский рабочий так описывал свой профессиональный рост: «После года за станком я уже умел чертить и мог сделать не очень сложный чертеж. Я чувствовал все большую уверенность в собственных силах… Я становился смелее и увереннее в суждениях. Власть надо мной „старших“ слабела. Я начал критически относиться к обыденной морали»[30].

Дальше тот же рабочий вспоминает (словами, поразительно напоминающими знаменитый соцреалистический роман «Цемент»), как «был захвачен поэзией большого металлургического завода: мощный рев машин, струи пара, колонны труб, черный дым, вздымающийся к небесам — все это казалось мне прекрасным… Я чувствовал, что растворяюсь в фабрике, в суровой поэзии труда, поэзии, ставшей мне ближе и дороже тихого, ленивого течения сонной деревенской жизни»[31].

Важно иметь в виду, что слесари в иерархии заводской жизни стояли почти на самом верху. По категориям оплаты в компании «Новороссия» слесари занимали третье место в первой десятке[32].

Работа строителей, например, ценилась куда дешевле: в результате, как вспоминал Хрущев, «те, которые строили дома: клали стены из кирпича и выполняли плотницкие работы, считались „деревней“»[33].

Несмотря на тяжелый труд, Никита всегда находил время для общения с друзьями. Целые дни проводил он с Михаилом и Ильей Косенко, ровесниками и такими же, как он, учениками на заводе. Восемьдесят один год спустя дочь Ильи Ольга еще жила в семейной глинобитной мазанке, выстроенной в 1910 году. Улица, по которой Никита ходил в гости к своим друзьям, в 1991-м выглядела, должно быть, еще хуже, чем восемьдесят лет назад: посреди дороги — канава, полная мутной воды, обочины заросли травой, по сторонам, за изломанными заборами — мазанки дореволюционных времен. Прохожие опасливо пробирались краешком канавы, перепрыгивая через камни и обходя кучи мусора. В 1910 году, когда круглолицый рыжий паренек приезжал к друзьям на своем «мотоцикле», распугивая шумом мотора окрестных голубей, будущее виделось ему в розовом тумане и жизнь казалась прекрасной.

На вечеринках, устраивавшихся в доме Косенко, Никита был «душой общества». Он любил шутить и смеяться, мастерски рассказывал забавные истории. Правда, в компании Косенко и их друзей ему не удавалось почувствовать себя вполне своим. Никита увлекался девушками, однако три сестры Косенко оставались к нему равнодушны: мало того что «кацап», мало того что рыжий и чересчур мал ростом — еще и слишком беден для того, чтобы вызывать романтический интерес[34].

Там же, у Косенко, Никита впервые познакомился с политикой. Однажды, еще будучи трубочистами, друзья решили пожаловаться начальству на невыносимые условия работы — и были уволены[35]. Примерно в то же время Хрущев начал читать радикальные газеты, которые расклеивались на воротах шахт и фабрик. В мае 1912 года он уже собирал пожертвования в помощь семьям погибших ленских рабочих — подозрительный факт, привлекший внимание полиции[36]. Известие об этом дошло до администрации Боссе и Генфельда, и Хрущева снова уволили. Не без труда он устроился слесарем по ремонту оборудования на шахту № 31, вблизи Рученкова. Здесь, по рассказу самого Хрущева, он распространял социал-демократические газеты и участвовал в организации групп по изучению марксизма. В 1914 году он перешел на машиноремонтный завод, обслуживавший десять шахт, что помогло ему расширить круг знакомств[37].

Везде, где работал Хрущев, он становился заметной фигурой. Согласно льстивому сообщению советских источников,

«благодаря своей работе он постоянно был на виду, а живым, энергичным характером, открытостью и общительностью легко привлекал к себе людей». Шахтеры, ожидающие подъемной клети, были «подходящей для Хрущева аудиторией. А рассказчик он был удивительно ловкий — не заскучаешь»[38]. Сам Хрущев добавляет к этому: «Шахтеры считали, что я хорошо говорю, и просили меня выступать от имени всех перед хозяином, когда хотели что-то от него получить. Меня часто отправляли к хозяину с ультиматумами, потому что считали, что у меня для этого хватит смелости»[39].

Еще живя вместе с родителями, Никита начал проводить все больше времени в доме Ивана Писарева, управлявшего главной клетью на Рутченковской шахте. Как сообщалось в прижизненной биографии Хрущева, Писарев придерживался одних с ним политических взглядов: его квартира «стала надежным местом для бесед более острых и важных, чем у клети»[40]. Однако столь же, если не более, привлекал Хрущева и круг людей, собиравшихся у Писарева, — новый для него социальный слой, куда он всей душой стремился проникнуть.

Сама фамилия «Писарев» показывает, что предками Ивана были грамотные крестьяне, писавшие письма и составлявшие прошения для своих односельчан. Иван был довольно образованным человеком (хотя и самоучкой) и принадлежал к «рабочей интеллигенции». Помимо работы на подъемнике, он подрабатывал сапожным ремеслом. Семья держала двух коров и нескольких свиней и была довольно зажиточна: жене Писарева работать не приходилось. Писаревы были знакомы с французами и немцами, работавшими в администрации шахты, и по крайней мере один раз были в гостях в доме с гувернанткой[41].

Иван Писарев запомнился своей внучке как яркий, неординарный человек. Его жена — разумная, скромная, дружелюбная женщина, прекрасно воспитанная, несмотря на недостаток образования. Больше всего привлекали Хрущева сестры Ивана. Старшая, Ефросинья, родилась в 1896 году, Маруся — в 1901-м, Вера — в 1903-м, Анна — в 1905-м и младшая, Агафья — в 1908-м. Внешне девушки были похожи друг на друга, однако сильно различались характерами. Рыжеволосая красавица Ефросинья была «мягкой и женственной» в отличие от Анны — одной из активисток комсомольского движения в Донбассе, впоследствии поступившей в Московский авиационный институт. Ефросинья помогала родителям растить сестер. Все пять девушек окончили местную гимназию.

Легко понять, чем привлекла эта семья честолюбивого

юношу, но что нашли в Хрущеве Писаревы?[42] По-видимому, их очаровали легкий нрав и неистощимая веселость Никиты, его любовь к музыке и танцам. Анна Писарева вспоминала, что в то время он был «худой, поджарый, быстрый, рукастый», «все умел делать», что «вместе со своим отцом отремонтировал весь дом» и «всегда был чисто одет». Ухаживая за Ефросиньей, которую в семье называли Фросей, Никита выказывал особое уважение ее отцу.

Анна Писарева описывала сестру как «очень красивую — стройную, белолицую». Хрущев, по ее рассказам, производил впечатление серьезного молодого человека: обществу сверстников он предпочитал разговоры со старшими. Однако были в нем и неистощимая энергия, и природная веселость. Он охотно катал соседских мальчишек на своем «мотоцикле», а «как только начал более или менее неплохо зарабатывать, обзавелся фотоаппаратом, часами и [новым] велосипедом». В то время все эти вещи были настоящими сокровищами. «Был упорен. Иногда очень молчалив. Спросят его: „Ты чего сердишься?“ Молчит. Потом скажет: „Не сержусь“. — „По тебе видно, не скрывай“. Рассмеется. Не пил, состоял в обществе трезвости. И не курил тоже»[43].

Во время неформального разговора на встрече с президентом Джоном Кеннеди в 1961 году Хрущев вспоминал, как в молодости сильно переживал оттого, что выглядел моложе своего возраста, и как он обрадовался, начав седеть в 22 года[44]. Характерно, что он не только не пил и не курил сам, но и вступил в общество трезвости — это говорит о высоких требованиях, предъявляемых не только к себе, но и к другим. И подавляемые вспышки раздражения, о которых вспоминает Анна Писарева, скорее всего были связаны с неспособностью всегда следовать установленным для себя правилам.

В 1914 году Никита Хрущев женился на Ефросинье Писаревой. В следующем году у них родилась дочь Юлия, а еще два года спустя, через три дня после Октябрьской революции, — сын Леонид. Как высококвалифицированный рабочий, Никита Хрущев был освобожден от призыва в армию. Вместе с квалификацией пришли высокий заработок и ощутимые привилегии. Много лет спустя Хрущев с гордостью рассказывал зятю, что зарабатывал в месяц тридцать рублей золотом — в два-три раза больше, чем обычный рабочий[45]. «Я женился молодым человеком, в 1914 году мне было двадцать лет, — вспоминает Хрущев в своих мемуарах. — Как только женился, получил квартиру. У меня были тогда спальня и кухня-столовая, помещение приличное… А теперь? Мы не можем молодоженов

удовлетворить не только отдельной квартирой, а и местами в общежитии»[46].

В 1959 году, когда Хрущев встречался с губернатором Нью-Йорка Нельсоном Рокфеллером, последний попытался его «поддеть», заметив, что на рубеже столетий около полумиллиона жителей России эмигрировали в США в поисках свободы и больших возможностей. «Не рассказывайте мне сказок, — отвечал на это Хрущев. — За деньгами они ехали, только и всего. Я и сам едва среди них не оказался. Я серьезно подумывал, не уехать ли»[47].

«Тогда сейчас вы бы руководили каким-нибудь из наших многочисленных профсоюзов», — заметил на это Рокфеллер. Однако за океаном Хрущев едва ли достиг бы такого процветания. На фотографиях, сделанных около 1916 года, перед нами предстает подтянутый, молодцеватый щеголь в костюме с галстуком или украинской рубахе с вышивкой. На одном из снимков он в смокинге и галстуке-бабочке, под руку с молодой красавицей-женой. Как далек этот образ от толстого коротышки в дурно пошитом костюме, взошедшего на мировую политическую сцену сорок лет спустя!

Дружил Хрущев и с шахтером немного постарше себя по имени Пантелей Махиня. Пантелей стремился стать десятником, много читал и занимался самообразованием: «Вся каморка — жилище Пантелея — [была] заставлена книгами. Они на полках, на столах, на сундучке»[48]. По всей видимости, в этой комнате молодые люди часами разговаривали о жизни и политике; здесь Хрущев одолел первые в своей жизни политические сочинения и среди них — «Манифест Коммунистической партии». Махиня писал стихи, записывал их в синий блокнотик и читал своему приятелю, а Никита отвечал ему своеобразной «литературной критикой».

Одно из стихотворений Махини стоит процитировать полностью — и потому, что оно вдохновляло Хрущева в те годы, и потому, что его он вспомнил почти пятьдесят лет спустя, объясняя съезду писателей «задачи литературы» при социализме:

Люблю за книгою правдивой
Огни эмоций зажигать,
Чтоб в жизни нашей суетливой
Гореть, гореть и не сгорать…
Чтоб был порыв, чтоб были силы
Сердца людские зажигать,
Бороться с тьмою до могилы,
Чтоб жизнь напрасно не проспать.

Ведь долг мой, братья, поколенью
Хоть каплю оставить честного труда,
Чтоб там, за темной загробной сенью
Не грызла совесть никогда[49].

— Здорово! Очень здорово, Пантелей! — воскликнул Никита, впервые услышав эти стихи. — Может быть, не совсем гладко, но сказано сильно[50].

Если бы не революция, скорее всего, жизненный путь привел бы Хрущева к карьере инженера или заводского управляющего. Из его собственных слов и действий много лет спустя ясно, что это было — и в каком-то смысле, пожалуй, и осталось — его мечтой. Он поощрял и сына Сергея, и внука Юрия стать инженерами, и оба они при этом чувствовали, что исполняют не только свое, но и его желание[51]. Из всех детей любимчиком Хрущева был Сергей, сын от второй жены Нины: он хорошо учился и стал не просто инженером — специалистом по ракетной технике. Внучка Хрущева Юлия Леонидовна, воспитанная в его семье как дочь — высокообразованная и обаятельная женщина, — работала литературным консультантом в московском театре имени Вахтангова. Хрущев хотел, чтобы она стала агрономом. Когда она вместо этого поступила на факультет международных отношений, он ворчал: «Что это за работа? Кончишь тем, что будешь переводить всякую чушь, которую несут политики».

«Для него, — вспоминала Юлия, — „стоящей работой“ была работа директора завода или фабрики». Она рассказывала, как в детстве, делая уроки вместе с подругой, приходила к деду с арифметическими задачками, которые не могла решить сама. «Он внимательно нас выслушивал, улыбался и объяснял, что и как, — рассказывает она, — хотя, должно быть, ум его в это время был занят государственными делами». Дочь Хрущева Рада приобрела, с его точки зрения, более приемлемую профессию — стала биологом. Однако, если верить Юлии, «это тоже был не лучший вариант. Вот инженер — другое дело!»[52]

Мечта Хрущева о карьере инженера вполне могла осуществиться. Даже до 1917 года места инженеров и управляющих не были закрыты для честолюбивых рабочих. А после 1917-го восхождение по карьерной лестнице сделалось намного проще. Однако Хрущева отвлекла от карьеры революция. Женившись, он, казалось, остепенился, решил ограничить свою жизнь работой, домом и семьей. Но когда Юзовка ощутила на себе разрушительное действие войны, когда в городе начались

забастовки и мятежи, Никита не смог устоять перед зовом революционной стихии.

В марте 1915 года на Рутченковской шахте разразилась массовая забастовка. Началась она на заводе, где работал Хрущев, и, по-видимому, он был одним из зачинщиков. Когда рабочие собрались, чтобы потребовать повышения заработной платы и улучшения условий труда, Хрущев, по рассказам, «выступил на митинге с пламенной речью»[53]. Позже в том же году к нему пришел человек с другой шахты. «Я слышал, что вы из активистов, — сказал гость Хрущеву. — Нам нужен надежный человек, грамотный, с хорошим почерком. Не можете ли кого-нибудь посоветовать?»

«На следующий день, — продолжает свой рассказ Хрущев, — я послал к ним одного человека с нашего завода, и он самым лучшим почерком переписал резолюцию Циммервальдской конференции. Эта резолюция разошлась среди рабочих и шахтеров по всему Донбассу»[54].

Ни Циммервальдская конференция европейских социалистов, состоявшаяся в Швейцарии в сентябре 1915 года, ни ее резолюция, требовавшая мира как прелюдии к мировой революции, сами по себе не заслуживали бы упоминания в нашем рассказе. Хрущев рассказал эту историю лишь для того, чтобы показать: в Донбассе его знали как активиста, которому можно доверять. Очевидно также, что Хрущеву хотелось исполнить это поручение самому — но, увы, он не обладал необходимым для этого «хорошим почерком». Иначе к чему было бы дважды повторять столь прозаическую деталь?

В 1916 году, когда в Донбассе проходили антивоенные демонстрации, Хрущев помог рученковским шахтерам организовать несколько забастовок[55]. В марте 1917-го в Юзовку пришла телеграмма об отречении царя от престола. «Помню, с какой радостью читали мы эту телеграмму», — писал Хрущев в местной газете пять лет спустя. В первый же выходной, в воскресенье, он помчался в город — и стал там свидетелем такой многолюдной демонстрации, каких никогда прежде не видывал. «И хоть ходил еще по руднику „царь рудничный“ — пристав Безпалов и его помощник Мережко, в шпорах и с шашками, но никто их не боялся, а скорее они боялись и растерялись»[56].

Мы сказали, что революция отвлекла Хрущева от карьеры: можно ли так говорить, если вспомнить о том, что в результате он поднялся к вершинам мировой власти? Дело в том, что, как это ни странно, он был создан скорее для роли инженера или директора завода, чем политического лидера и государственного

руководителя. Те же природные данные, что помогли ему подняться на вершину, предрешили и его падение; однако в осуществлении юношеской мечты собственный характер не стал бы для него помехой. Кроме того, став инженером, он получил бы образование, нехватку которого остро ощущал всю жизнь, и не был бы принужден играть унизительную роль «недалекого мужика», не вызывающего подозрений у всесильного тирана.

Политическая роль Хрущева была ему навязана — как революцией, так и последующими событиями. Однако она указала новый путь к исполнению его мечты. Квалифицированный рабочий-металлург, инженер, директор завода — все эти профессии и должности не обещали быстрой славы. А политическая власть давала немедленное удовлетворение амбиций, хоть и таила в себе немало опасностей.

Хрущев вспоминал, как в ранние годы в Юзовке, еще до контактов с большевиками, однажды поспорил с товарищами-рабочими о том, «что важнее — власть или образование. Спор шел жаркий. Мы с одним товарищем — он потом стал видным большевиком — говорили, что власть, конечно, важнее. У кого власть, тот контролирует и школы, и университеты. Стоит нам получить власть — мы легко получим и образование. А тот, у кого есть только образование, может никогда не добиться власти»[57].

Из этой истории видно, что Хрущев стремился к образованию. Даже достижение власти он рассматривал как путь к образованию и саморазвитию; однако не понимал, что образование и само по себе дает некоторую власть — ту, что приходит с познанием себя и окружающего мира. Трагедия Хрущева в том, что на своем пути к власти он в конце концов столкнулся с требованиями, которым не соответствовал, и, отчаянно стремясь заслужить уважение окружающих, потерял уважение к себе. Под конец жизни, отвечая на вопрос, о чем он сожалеет, Хрущев сказал: «Не было у меня образования, мало культуры. Чтобы управлять такой страной, как Россия, в голове надо иметь две Академии наук. А у меня было четыре класса церковно-приходской школы, а потом сразу вместо среднего — незаконченное высшее. Шарахался часто, был непоследователен. Обижал много хороших людей… кричал, ругался… на интеллигенцию, которая, если всерьез говорить, как раз и была за мой антисталинский курс. Они меня поддерживали, а я…»[58]

Глава IV
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ АППАРАТЧИКОМ? 1918–1929

Период между 1917 годом, когда Николай II отрекся от престола, и 1929-м, когда Хрущев переехал из Донбасса в Москву, стал для России и ее «преемника» — Советского Союза поистине страшной эпохой. Мировую войну и революцию сменили Гражданская война и голод. В Донбассе, где столкнулись красные, белые, черные (анархисты) и зеленые, развернулась ожесточенная борьба: не меньше двадцати раз власть переходила из рук в руки[1]. С 1921 года жизнь начала понемногу налаживаться; однако не успели еще зажить старые раны, как большевики начали жестокую кампанию коллективизации и индустриализации страны. Кроме того, раздавив старых противников — капиталистов, помещиков, церковников — и подвергнув репрессиям украинских националистов, меньшевиков и эсеров, в конце двадцатых большевики перешли к чистке собственных рядов.

По иронии судьбы, именно в эти годы Хрущев уверился в том, что новый порядок несет с собой мир и справедливость. В своих воспоминаниях он постоянно возвращался к «воздуху» этих лет, в которые, по его словам, «всегда мечтал вернуться». На вопрос, как он мог «замахнуться на Сталина» после его смерти, Хрущев ответил: «Потому что я не из тридцатых годов, я из другого поколения». Свое идеологическое становление он относил к первым послереволюционным годам: «…у меня прямо пелена с глаз слетела. Вот с этого времени я считаю себя коммунистом»[2].

В феврале 1917 года Хрущев был ничего не значащим частным лицом; одиннадцать лет спустя стал высокопоставленным партийным аппаратчиком Советской Украины. Выбор между основной профессией и политикой пришел к нему не сразу и дался не легко. В партию он вступил только в конце 1918 года — более чем через год после прихода большевиков к власти. После окончания Гражданской войны Хрущев занял должность заместителя директора шахты. Дважды за эти годы он пытался получить образование, чтобы исполнить свою давнюю мечту о карьере инженера, — но всякий раз «отвлекался» на дела политические.

Итак, Хрущев долго не решался связать свою судьбу с партийным аппаратом — и скорее всего не только потому, что

перспективы такой карьеры были для него неясны, но и потому, что реально сознавал свои возможности. Много лет спустя он вспоминал, с какой неуверенностью преодолевал каждую ступень карьерной лестницы. Он сопротивлялся повышениям, стремился не расставаться со знакомыми местами, где его окружали старые друзья и коллеги. Конечно, многое в таком поведении следует списать на естественную нервозность новичка. Многое, но не все.

Свои недостатки Хрущев стремился максимально компенсировать неоспоримыми достоинствами: трудолюбием, энергией, прямотой и открытостью в общении. Однако его возвышение объясняется и еще одним качеством — той неуверенностью в себе, что доставляла ему столько проблем. И в бурные двадцатые, и в кровавые тридцатые партия была полна амбициозных карьеристов, и скромность Хрущева должна была приятно удивлять вышестоящих товарищей. Вопрос лишь в том, насколько эта скромность была искренней, а насколько — показной. Наш ответ будет таким: скромность и неуверенность в себе были, безусловно, искренними, однако Хрущев быстро научился использовать эти качества себе на пользу. Необходимость интриговать его не смущала. Об этой, «темной» стороне его карьеры ни словом не упоминается в его воспоминаниях, да и сохранившиеся документы той эпохи по большей части о ней умалчивают.

Падение династии Романовых круто изменило жизнь Хрущева[3]. Временное правительство царствовало, но не правило, особенно в южных губерниях империи. Консервативные и либеральные партии в глазах простых людей были одинаково дискредитированы, и минимальный порядок в Донбассе поддерживали выборные Советы рабочих депутатов. Однако и они не всегда могли совладать с анархией. В Юзовке началось то, что хозяева шахт называли «беспорядками»: под этот широкий термин подпадало, например, введение *de facto* восьмичасового рабочего дня. Однако были и настоящие беспорядки — погромы и разграбления квартир владельцев и директоров шахт, избиения, аресты, самосуды.

Большевики в то время пользовались не большей популярностью, чем ненавистные «буржуи». В Юзовке шахтеры расправились без суда с несколькими большевиками, выступавшими против войны. После июльского восстания (приведшего к переходу Ленина на нелегальное положение и аресту Троцкого) положение большевиков в Донбассе стало еще более уязвимым. Когда большевики захватили власть, Юзовский совет, большинство в котором составляли меньшевики, принял

резолюцию, осуждающую Ленина и его присных. Только изгнав своих соперников силой, большевики смогли получить в совете неустойчивое большинство. «Для спасения большевиков, — замечает современный историк, — потребовалась Гражданская война»[4].

В неразберихе 1917 года Хрущев быстро нашел свое место — но не на стороне большевиков. Он вошел в состав Рутченковского совета и 29 мая 1917 года был «единогласно» выбран его председателем. В августе он присоединяется к Рутченковской военно-политической организации «защитников революции»; в декабре — уже председательствует в Совете профсоюзов шахтеров и металлургов, объединявшем рабочих восьми заводов и шахт Юзовки и окрестностей. Руководителем Юзовского отделения партии большевиков в это время был будущий соратник Сталина Лазарь Каганович. Официозная биография утверждает, что и Хрущев в это время уже был большевиком — в душе. Так или иначе, в партию он пока не вступал[5].

«Он не революционер, — говорил почти семь десятилетий спустя Вячеслав Молотов. — В 1918 году только в партию вступил — такой активный! Простые рабочие были в партии. Какой же это у нас лидер партии оказался! Это абсурд. Абсурд»[6].

Презрительный отзыв Молотова можно объяснить личной неприязнью; однако характерно, что и сам Хрущев считал нужным оправдываться по этому поводу. «Я был известен как человек активный, однако в партию не вступал до 1918 года, — рассказывает он в своих воспоминаниях. — Когда меня спрашивают, почему я так долго тянул, я всегда отвечаю: в то время в партию вступали не так, как сейчас. Никто за тобой не бегал и не уговаривал. Было множество разных движений и группировок, и разобраться в них было не так-то легко. Но, когда случилась революция, я сразу понял, где мое место»[7].

Как это часто бывает, звучит такое самооправдание довольно жалко. Сознательного революционера нет нужды «уговаривать» вступить в партию, а замечание Хрущева о множестве движений, в которых он не мог разобраться, противоречит тут же сказанным словам: «Интуитивно я был на стороне большевиков»[8]. То, что он будто бы определил свою позицию немедленно после Октября — прямая ложь. В действительности Хрущев стоял ближе к меньшевикам, упиравшим на экономическое развитие, чем к большевикам, стремившимся к власти любой ценой. Основной опорой меньшевиков были квалифицированные рабочие, люди, которым было что терять — именно такие, как Хрущев. Пока у власти в области находились умеренные, Хрущев поддерживал их и лишь позднее, когда власть перешла в руки большевиков,

перешел на их сторону.

Революция повлекла за собой беспорядки, однако намного более страшным бедствием для России обернулась Гражданская война — в том числе и в Донбассе, где погибла треть шахтеров. Юг Донбасса заняла Белая армия. В декабре 1917 года казачьи части Донского войска под командованием атамана Каледина казнили в Ясиновке двадцать рабочих и сбросили их тела в угольные шахты. В соседней Макеевке казаки выкалывали людям глаза, перерезали горло, сбрасывали шахтеров в шахты живьем. В ответ рабочие отряды, так называемые красногвардейцы, арестовывали белых офицеров, владельцев шахт и казаков, расстреливали их на месте и бросали тела на улицах[9].

Продвигаясь к Юзовке и гоня перед собой поток беженцев, части генерала Каледина столкнулись с отрядами Красной Армии, присланными из Петрограда. Пришлось им сражаться и с рутченковским красногвардейским батальоном, в котором, по некоторым сведениям, предводительствовали Иван Данилов и Никита Хрущев[10].

В феврале 1918 года Каледин был разбит[11]. В апреле потерпела поражение другая антибольшевистская группировка — Центральная Рада в Киеве, объявившая себя правительством независимой Украины. Но теперь большевики столкнулись с более опасным противником — мощной германской армией, по-прежнему находившейся в состоянии войны с Россией и странами Антанты[12]. Когда немецкие и австрийские войска подошли к Юзовке, большевики бежали, на несколько дней оставив город в руках анархистов. Немцы и их союзник, гетман Павло Скоропадский, вернули шахты прежним хозяевам, которые начали жестокую расправу над политически неблагонадежными рабочими. В одном городе немцы в первый же день по прибытии расстреляли сорок пять шахтеров. Не прошло и нескольких недель, как большая часть шахтеров, не ушедших вместе с большевиками, либо присоединились к Красной Армии, либо вернулась к себе в деревни, спасаясь от голода[13].

Среди последних был и Хрущев[14]. Следующее сообщение о нем застает его в деревне, где в 1918 году происходит новый взрыв насилия[15]. Несмотря на изначальное недоверие к крестьянству, большевики, желая заручиться его поддержкой, пообещали ему землю (наряду с миром и хлебом). Однако при переделе земли в пользу бедноты отбирались не только земли помещиков и священников, но и наделы зажиточных крестьян; а весной 1918 года, чтобы прокормить городских жителей и бойцов Красной Армии, большевики начали конфискацию зерна.

Крестьяне сопротивлялись, и красноармейцы отбирали зерно силой, добавляя к бедствиям Гражданской войны еще и голод.

Хрущев присоединился к калиновскому Комитету бедноты. Теоретически сельские жители делились на богатых (кулаков), середняков и бедноту. В действительности, однако, разделение было не столь четким. Однако большевики стремились использовать эту «классовую рознь», натравливая соседа на соседа[16]. Мы не знаем, к чему привела и чем завершилась «классовая борьба» в Калиновке, однако логично предположить, что какую-то роль в ней сыграл и Хрущев.

В конце 1918-го или начале 1919 года Хрущев был мобилизован в Красную Армию. К этому времени немцы (перемирие с которыми было подписано в ноябре 1918 года) уже покинули Украину, однако в Юзовке свирепствовали белые. Командующий Донской армией генерал С. В. Денисов приказал схватить и повесить каждого десятого рабочего; на улицах гнили сотни трупов. Красные в ответ расстреливали инженеров и техников, подозреваемых в сотрудничестве с белыми. Полиция Скоропадского и анархисты — последователи Нестора Махно — так же расправлялись со своими противниками, не стесняясь в средствах; и все беспорядки сопровождались еврейскими погромами[17].

Южнее Юзовки, где находился теперь с Девятой армией Хрущев, борьба велась еще более варварскими методами. Хотя военком Троцкий и издал приказ, запрещающий казнить пленников, «раненых и пленных [белых] офицеров не только приканчивали пулями или штыками, но и подвергали страшным пыткам. Офицерам вбивали в плечи гвозди по числу звезд на погонах, вырезали на груди медали, резали ремни из кожи, отрезали гениталии и засовывали в рот»[18].

Силам белого генерала Антона Деникина удалось отвоевать всю Кубань и Северный Кавказ. В середине лета 1919 года Красная Армия на юге России была на грани поражения. Белые захватили Харьков, Екатеринослав (позднее переименованный в Днепропетровск) и Царицын (позднее Сталинград, затем Волгоград). 20 сентября после атаки белого бронепоезда пал Курск. Однако затем положение переменилось. Те же проблемы, что удержали Деникина от похода на Москву — нехватка людей, плохая организация и недостаток народной поддержки, — стали причиной его поражения. Май 1920 года стал концом Добровольческой армии. А ноябрь того же года, когда армия Врангеля эвакуировалась из Крыма, принято считать рубежом Гражданской войны.

О действиях Девятой армии, в которой служил Хрущев, имеются противоречивые сведения. Согласно одному из источников, она «только и делала, что бегала» от врагов[19]. Однако эта армия прошла 620 миль от верховьев Дона до Черного моря — а Хрущев за это время проделал путь от рядового члена партии до политкомиссара батальона, а затем и инструктора политотдела Девятой армии.

Институт политкомиссаров был введен в апреле 1918 года, когда большевики начали массовую мобилизацию крестьян. В обязанности комиссаров входило следить за боеготовностью и настроением армии и налаживать отношения с местным населением, в том числе и повышая культурный уровень солдат. К этой задаче большевики подходили серьезно. Задача «агитации, пропаганды и просвещения» включала в себя обучение солдат грамоте, публикацию газет и брошюр, постановку агитспектаклей, организацию библиотек и красноармейских клубов[20].

Однако сами комиссары, просвещавшие своих товарищей, по уровню образования немногим отличались от простых солдат. В январе 1919 года Сталин и Дзержинский потребовали чистки среди комиссаров, мотивируя такое решение тем, что «само это название сделалось предметом насмешек». Один из бригадных командиров Красной Армии, смещенный в 1919 году, писал, что среди комиссаров не больше 5 % «бескорыстных коммунистов», а прочие — рабочие-карьеристы, отсталые крестьяне и «подонки всех классов, в большинстве своем — зеленые юнцы или неудачники, и, конечно, почти все — евреи». Однако тот же автор вынужден был признать, что комиссары «проводят удивительно большую работу, надзирая за командирами и агитируя солдат», и что их роль в формировании «классовой ненависти в солдатских массах» «огромна»[21].

Столь же противоречив и рассказ самого Хрущева о своей комиссарской работе. Он приписывает себе подвиги на передовой: «Мы перешли в наступление. Шли под вражеским огнем… Загнали белогвардейских бандитов в море»[22]. Однако сам Хрущев работал не столько в кавалерийских частях, сколько в стройбате; не меньше двух месяцев он провел на курсах подготовки политинструкторов, а большинство его «рассказов о войне» повествует не столько о военных действиях, сколько о битвах с темнотой и бескультурьем.

«Мы не были „благородными людьми“ в старом смысле слова», — вспоминал Хрущев. Когда он и его люди попали на два дня в особняк, раньше принадлежавший помещику, «в туалет войти было невозможно, потому что люди не умели им пользоваться. Сначала его загадили, а потом принялись за парк.

Через месяц и по парку ходить стало небезопасно»[23].

В другой раз Хрущев остановился на постой в интеллигентном доме. Хозяйка дома окончила Смольный институт; среди членов семьи были юрист, инженер, учитель и музыкант. Хрущев вспоминал, что хозяйка дома говорила с ним «очень смело. Она говорила: „Теперь, когда вы, коммунисты, пришли к власти, вы втопчете культуру в грязь. Разве можете вы оценить тонкое искусство, например, балет?“ И она была права. О балете мы ничего и не слыхивали. Когда в первый раз увидели фотографии балерин, решили, что это женщины сняты в неприличном виде»[24]. Однако, хотя Хрущев и признавал себя самого и своих товарищей «темными неучами», он утверждал, что они «хотели получить образование, хотели научиться управлять государством, хотели построить новое общество и отдавали все силы, чтобы добиться того». И хозяйке дома он ответил: «Обождите, все у нас будет, в том числе и балет»[25].

Этот рассказ о многом говорит. Очевидно, пропасть, отделяющая его от старорежимной интеллигенции, не давала Хрущеву покоя не только во время Гражданской войны, но и много позже, когда он диктовал свои мемуары. Описывая темноту и дикость своих товарищей, он стремился показать, насколько все они изменились со временем. Но стоило ли вообще уделять внимание столь неприглядным подробностям? Хрущев предвидел этот вопрос. «На это я скажу, — говорит он, — что нам не сразу удалось от всего этого избавиться. Десятки лет прошли, прежде чем люди отучились от примитивных привычек»[26].

В 1921 году, по окончании Гражданской войны, Донбасс лежал в руинах. Стройбаты были переименованы в трудовые бригады. «Так ты шахтер? — спросил Хрущева дивизионный писарь. — Отлично. Как раз то, что нам сейчас нужно — комиссар [для трудбригады]!»

Хрущев не сразу согласился на это назначение. «Мы принялись ругаться. Я кричал: „Ты кем себя воображаешь?“ — а он отвечал: „А ты?“»[27] Должно быть, обменивались они и более резкими словами; но в то время Хрущев занимал еще не столь высокое положение, чтобы спорить с решением начальства. «В конце концов я согласился».

Война окончилась, и Красная Армия утратила свое привилегированное положение. Солдат, ослабленных недоеданием, косили эпидемии тифа и цинги[28]. «Условия жизни и работы были просто жуткие, — рассказывал позднее Хрущев. — Формы у нас не было, смены одежды тоже. Ходили немытыми, небритыми, работали от зари до зари. Постоянно не хватало еды»[29]. Самому Хрущеву пришлось вновь поселиться в

крестьянской лачуге и жить за счет приютившей его крестьянской семьи. Питался он остатками семейной трапезы. Только в 1922 году старый друг, ставший директором одной из рутченковских шахт, пришел на выручку и сделал Хрущева своим заместителем по политическим вопросам. А тем временем в семью Хрущева пришла беда.

В 1918 году, бежав из Юзовки в Калиновку, Хрущев взял с собой жену и двоих детей, а позднее, вступив в Красную Армию, оставил их на попечении своих родителей. Впервые разлучившись с отцом, матерью и сестрами, Ефросинья оказалась под началом суровой свекрови. Ужасы войны ее миновали, однако, несомненно, ее снедала тревога за мужа. По иронии судьбы, жертвой разрухи стала она сама: Ефросинья умерла от тифа[30].

«Ее смерть стала для меня большим горем», — лаконично, но значительно говорит в своих мемуарах Хрущев. Старожилы Калиновки рассказывают, что он приехал в деревню на другой день после ее кончины. Его родители хотели отпеть Ефросинью в деревенской церкви, а затем похоронить на местном кладбище. Но Хрущев распорядился не вносить гроб в церковь, боковая дверь которой выходила на кладбище, а перенести на руках через кладбищенскую ограду. Уже после его смерти Нина Петровна Хрущева объяснила детям, что таким образом он хотел соблюсти свои атеистические принципы. «Вот так же он действовал всю жизнь, — заметила Нина Петровна, — необычно, неожиданно, не так, как все. В то время все односельчане его проклинали. Да и теперь еще качают головами, когда вспоминают об этом»[31]. О том, как отреагировали на эту выходку родители Хрущева, мы не знаем; но, должно быть, их реакция была не менее сильной.

Юзовка, куда вернулся Хрущев в 1922 году, лежала в руинах. Добыча угля прекратилась. Все, необходимое для работы — от жилья и питания для шахтеров до поставок топлива и динамита, — нужно было организовывать заново. Владельцы шахт, инженеры и технический персонал бежали; резко сократилась и численность шахтеров. К прочим несчастьям добавилась гиперинфляция: в феврале 1922 года мешок муки стоил четыре миллиона рублей, а фунт мяса сомнительного происхождения — тридцать семь тысяч[32].

Конец Гражданской войны ознаменовался эпидемиями. Тиф и холера косили людей. Неурожай привел к нехватке хлеба, и общее число жертв голода по стране в 1921–1922 годах превысило число жертв Первой мировой и Гражданской войн[33]. Весной 1922 года в Юзовке голодали приблизительно 38 % населения. По всему Донбассу страдали от голода не менее

четырехсот тысяч детей[34]. Отец Невё, католический священник, живший в это время в Макеевке, видел сцены, «напоминавшие об осаде Иерусалима, описанной у Иосифа Флавия. Матери убивали своих детей, а затем кончали с собой, чтобы положить конец страданиям. Повсюду мы видели бледных, изможденных людей с раздутыми от голода животами; еле передвигаясь, они вынуждены были убивать и поедать собак, кошек и лошадей»[35].

Одна старуха в Шахтах торговала солониной. Когда ее дом обыскали, то нашли «две бочки с детьми, разделанными и засоленными, и скальпированные детские головы». Разъяренная толпа растерзала старуху и ее мужа[36].

В 1921 году, по настоянию Ленина, большевики ввели нэп — новую экономическую политику, которая заменила насильственное изъятие зерна продналогом и позволила крестьянам открыто продавать излишки на рынках. Нэп облегчил жизнь в стране в целом, однако его действие далеко не сразу ощутилось в Донбассе; шахты его опустели, поскольку тысячи людей, спасаясь от голода, разбрелись кто куда, и потому продовольствие поступало сюда далеко не в первую очередь. Москва отправила в Донбасс 150 руководителей, мобилизовала на работу в шахтах всех местных мужчин в возрасте от 18 до 46 лет (для шахтеров верхняя планка поднималась до 50), а также призвала на помощь донецким шахтерам добровольцев со всех концов страны[37]. Однако в самой Юзовке большевики были по-прежнему немногочисленны и крайне непопулярны[38].

Несмотря на свою слабость — а может быть, именно вследствие ее, — донецкие большевики не знали жалости к «классовым врагам». Так называемые «революционные трибуналы» направо и налево выносили безжалостные приговоры «контрреволюционерам». Донбасских шахтеров, в которых большевики видели людей «психологически запутавшихся», «с изначально невысоким, а теперь совершенно подавленным пролетарским сознанием», партия принуждала к работе самыми суровыми методами[39]. Результатом стали волнения и забастовки, продолжавшиеся на протяжении двадцатых годов[40].

Вполне естественно, что при таких условиях в рядах большевиков появились разногласия. В мае 1922 года Ленин перенес первый инсульт; после этого, если не считать нескольких месяцев, до самой своей смерти 21 января 1924 года он был полным инвалидом. В партии начался раскол между Сталиным, Зиновьевым и Каменевым, с одной стороны, и Троцким — с другой. Сталин и его союзники настаивали на продолжении нэпа, Троцкий же указывал на то, что эта политика противоречит идеям социализма — индустриализации и приоритету пролетариата над

крестьянством. Кроме того, Троцкий поднял вопрос «внутрипартийной демократии», указывая, что сталинская фракция навязывает партии свою волю. В октябре 1923 года Политбюро приняло резолюцию, подписанную сорока шестью высокопоставленными большевиками, в которой критиковались «неадекватность партийного лидерства» и «совершенно нетерпимый» режим, установившийся в партии[41].

Два года спустя Сталин одержал над Троцким политическую победу, а еще через два года, в 1927 году, отправил его в изгнание. Однако в начале двадцатых Троцкий и другие «инакомыслящие» пользовались в Донбассе необычайной популярностью. Хотя ЦК осудил «Декларацию сорока шести» и Юзовский горком одобрил решение Кремля, двенадцать (из семидесяти девяти) членов Юзовского горкома — больше, чем где-либо еще в Донбассе — выступили в поддержку резолюции[42].

Такова была ситуация в городе в 1922 году, когда сюда вернулся Хрущев. Работа на Рутченковской шахте продолжалась лишь несколько месяцев; однако именно здесь он усвоил тот открытый и энергичный стиль руководства, который позже стал его «визитной карточкой». Работая без чертежей (они исчезли вместе с владельцами шахт), он со своими помощниками «разобрал доменные печи на части, чтобы понять, что требуется для производства угля и как сделать, чтобы эти машины снова заработали. Инженеров, чтобы обслуживать машины, у нас не было. Из тех, что остались в Донбассе, многие были против нас»[43]. Хрущев сам надевал шахтерскую одежду и спускался под землю, чтобы проверить состояние машин. Не зная отдыха, встречался он с другими руководителями, партийными и профсоюзными лидерами, инспектировал шахтерские бараки, реквизировал жизненно необходимое продовольствие[44].

В отличие от других большевиков, презиравших шахтеров как людей с «низким классовым самосознанием», Хрущев испытывал к своим бывшим товарищам по работе искреннюю симпатию. «Ну вот, мы свергли монархию, прогнали буржуазию, завоевали себе свободу — но люди живут хуже, чем прежде. И, конечно, многие спрашивали: „Что же это за свобода такая? Вы обещали рай, но, похоже, раньше смерти рая нам не видать. А хотелось хоть ощутить его при жизни. Мы ведь ничего особенного не требуем — просто дайте нам угол, где жить“»[45].

Шахтеры «со мной разговаривали смело, — вспоминал Хрущев, — потому что знали меня как облупленного: до революции я работал с ними бок о бок». Однако и Хрущев с ними не церемонился. «Ну-ка покажи руки! — кричал он на тех, в ком заподозрил „враждебных элементов“. — У тебя не шахтерские

руки! У тебя руки лавочника!»[46]

Работа Хрущева на Рутченковской шахте была так успешна, что скоро ему предложили возглавить руководство соседней Пастуховской шахтой. Однако вместо этого он подал заявление на рабфак в новом учебном заведении, впоследствии Донецком шахтерском техникуме. Когда партийное начальство в Юзовке этому воспротивилось, Хрущев обратился к руководителю донбасской угледобывающей промышленности, учившемуся там же: «Вы — человек ученый, с высшим образованием, однако подали заявление в шахтерский институт. А меня туда не пускаете. По-моему, неправильно это. Почему вы меня не отпускаете? У меня за плечами всего-то четыре года в школе… а вы не хотите, чтобы я учился дальше»[47].

Такая тяга к образованию не была чем-то уникальным. Большевики рассматривали себя как авангард не только в политике, но и в культуре, и от членов партии требовалось не только «продуктивно работать», но и «культурно отдыхать», то есть как минимум — опрятно одеваться и уметь вести себя за столом, как максимум — читать русскую классику и ходить на балет[48]. Почему же начальство Хрущева не позволяло ему учиться? Неужели он был таким хорошим администратором, что его не хотели отпускать? Или партийные боссы понимали, что год или два на рабфаке не добавят ему ни образования, ни культуры? Так или иначе, в конце концов они сдались и Хрущев поступил на рабфак.

Обучение в техникуме должно было сделать инженерами 208 студентов, у большинства из которых за плечами были лишь скудное начальное образование, тяжелая работа на шахте и членство в комсомоле. У рабфака, куда поступил Хрущев, программа была более скромная. После двух-трех лет обучения, заменявших старшие классы школы, выпускник рабфака мог поступить на первый курс техникума. В заявлении, заполненном 24 апреля 1922 года, Хрущев указал цель поступления: «Получить технические знания, необходимые для более продуктивной работы на производстве»[49].

Юзовский рабфак был элементом глобальной программы, направленной на приобщение к образованию представителей низших классов. По словам западного историка, эта программа «привела к снижению академических стандартов и вызвала как сопротивление работников образования, так и недовольство родителей студентов, принадлежащих к среднему классу»[50].

Требования к поступающим на рабфак были занижены, как только возможно. От абитуриентов 1924 года требовались «твердое знание четырех арифметических действий с целыми

числами, способность четко выражать свои мысли в устной и письменной форме и элементарная политическая грамотность»[51]. По политической грамотности Хрущев, скорее всего, был первым в группе. Однако, хотя официозная биография и заверяет читателей в его успехах[52], одна из преподавательниц Хрущева вспоминала об этом иначе. По ее словам, будущий глава СССР и лидер коммунистической партии «с трудом держал в мозолистых руках карандаш». Хрущев очень старался: она вспоминает, как он долго бился над сложным грамматическим правилом и, наконец усвоив его, от радости заулыбался во весь рот и закричал: «Получилось!» Однако, несмотря на все старания, учеником он был «отстающим»[53].

Возможно, отставание в учебе было связано и с политическими обязанностями. Довольно скоро Хрущев сделался партсекретарем не только рабфака, но и всего техникума. Это означало, что он отвечает и за политическую сознательность студентов, и (наряду с директором) за условия учебы. Здание техникума, в котором до революции размещалось коммерческое училище, на дореволюционных фотографиях выглядит так же презентабельно, как и в 1991 году. Однако когда техникум впервые открыл двери для студентов, можно было лишь радоваться, что хотя бы двери в здании имеются. Большинство студентов проживали в разрушенных бараках, где когда-то останавливались на постой казаки, по сорок — пятьдесят человек в комнате[54]. Как партийный лидер, Хрущев находился в «привилегированном» положении — он делил маленькую угловую комнатку всего лишь с тремя студентами.

Перед началом занятий первым студентам пришлось своими руками ремонтировать здание техникума. По настоянию Хрущева они несколько недель ремонтировали и заменяли проржавевшие механизмы, пока наконец не смогли восстановить мастерские, лаборатории и электрогенератор[55]. Учебников не хватало, и Хрущев предложил самим печатать их в близлежащей типографии. «Никита Сергеевич часто забегал в типографию, — вспоминает один из типографских рабочих, — интересовался нашими делами, давал указания»[56]. Когда партийная ячейка выпускала газету, Хрущев надзирал за ее выпуском. Как партийный руководитель, он нес ответственность за идеологическое содержание газеты; однако, по-видимому, интересовал его и сам процесс. Многочисленные обязанности подразумевали постоянную деятельность, но, в сущности, эта деятельность не отличалась от того, чем он занимался на шахте — беготня, встречи с людьми, необходимость справляться с постоянно возникающими проблемами. На образование, к

которому он так стремился, времени не оставалось.

В сентябре 1924 года Хрущев был членом комиссии, выдававшей дипломы первым пятнадцати выпускникам техникума. Сам он диплома так и не получил. Позже он заявлял, что окончил рабфак, но документально это не подтверждено[57]. Даже если это и так, элементарность знаний, получаемых на рабфаке, и недостаток времени, которое Хрущев мог уделить учебе, заставляют предположить, что его образовательный уровень не слишком повысился.

Партийное положение Хрущева придавало ему авторитет, немыслимый для простого рабфаковца. В декабре 1923 года он представлял свою партячейку на конференции Юзовского губкома и в том же месяце вошел в губком, став одним из сорока представителей местной большевистской элиты. В этом качестве Хрущев сделался хорошо известен на шахтах, заводах и в образовательных учреждениях Юзовки. После того как он практически в одиночку прекратил забастовку на одной из шахт, его ввели во внутренний партийный круг — бюро Юзовского губкома.

Такие ответственные позиции могли занимать лишь проверенные люди. Нетрудно представить, что в эти годы Хрущев искренне разделял упрощенную, примитивизированную сталинскую версию марксизма[58]. Однако на некоторое время он присоединился к оппозиционерам-троцкистам — тяжелая политическая ошибка, впоследствии поставившая под угрозу не только его карьеру, но и жизнь.

«В 1923 году, — рассказывает в своих мемуарах Хрущев, — когда я учился на рабочем факультете, то допускал колебания троцкистского характера… Меня увлек тогда Харечко, довольно известный троцкист… В течениях социал-демократической партии я тогда совершенно не разбирался, хотя знал, что это был человек, который до революции боролся за народ, боролся за рабочих и за крестьян»[59].

Трофим Харечко был видным большевиком, подписавшим Декларацию сорока шести[60]. Вопросы внутрипартийной демократии (вернее, ее отсутствия) в то время обсуждались широко и горячо, и Хрущев не мог не понимать, на чью сторону становится. Разумеется, он не мог признаваться в этом при жизни Сталина — но не признался и позже.

Вернувшись в Юзовку в 1922 году, Хрущев часто проводил время в обществе молодых женщин — что едва ли удивительно для молодого, полного сил человека, четыре года проведшего на войне. Лишь недавно стало известно, что в этот период он

женился на семнадцатилетней девушке, едва окончившей гимназию. Маруся (ее фамилия неизвестна) встречалась с молодым человеком, романа с которым не одобрял ее отец, и родила от него дочь. Отец Маруси знал Хрущева со времен работы на шахте, считал его хорошим человеком и убедил дочь выйти за него замуж.

Занятая собственным ребенком, Маруся, по всей видимости, не хотела или не могла заботиться о детях Хрущева, которых он к тому времени привез из Калиновки. Юлии было семь лет, Лене пять; оба они росли на попечении дедушки и бабушки. Мать Хрущева критиковала Марусю за недостаток заботы о пасынке и падчерице; по-видимому, именно она убедила Хрущева бросить новую жену. Говорят, что Маруся до конца дней сожалела о разрыве с Хрущевым. Он же продолжал помогать ей, особенно когда ее дочь заболела и умерла, не достигнув двадцати лет[61].

Этот короткий брак не только заполняет пробел в биографии Хрущева. Нам открывается второй «скелет в шкафу» (первый — «троцкистские колебания»), тайно мучивший Хрущева многие годы. Возможно, именно Маруся была причиной жарких споров между Хрущевым и его третьей женой Ниной Петровной — споров, которые, по словам Сергея Хрущева, они старались скрывать от детей. Возможно, в этом же кроется причина того, что Хрущев и Нина Петровна официально зарегистрировали свой брак лишь в конце 1960-х годов[62].

Разрыв с Марусей — яркий пример характерного для Хрущева поведения: ради достижения личных целей он неоднократно нарушал собственные моральные нормы, расплачиваясь за это непреходящим чувством вины.

По рассказам его детей, семья Хрущева жила по строгим правилам. В тех относительно редких случаях, когда эти правила нарушались, он приходил в ярость. Одним из правил было следующее: дети должны жить продуктивной, творческой жизнью. Хрущев сердился, если видел, что они бездельничают, расстраивался, если их школьные успехи были не блестящими или если учителя жаловались на их поведение. Сам он гордился своей собранностью и организованностью (хотя в его политике эти качества проявлялись не слишком отчетливо) и хотел, чтобы дети росли такими же.

Еще одним законом в семье Хрущева была трезвость. Бокал-другой вина позволялся (но ни в коем случае не перед тем, как садиться за руль); по воспоминаниям приемной дочери Хрущева Юлии, отец «не выносил пьяниц; он их просто ненавидел. Снова и снова повторял, что человек должен знать меру, и презирал тех, кто меры не знает»[63].

Третье правило касалось аморальности и развода. Хрущев был в ярости, когда его сын Леонид сделался бабником и когда внебрачный сын Леонида Юрий, казалось, пошел по стопам отца. Он приходил в ужас, когда другие дети подумывали о разводе или, того хуже, решались на развод. По словам Юлии, первым принципом Хрущева было: «Когда ты вступаешь в брак, это на всю жизнь. Для него не было большей трагедии, чем развод или расставание супругов». Сама Юлия выходила замуж несколько раз, да и Сергей Хрущев дважды разводился, так что у отца было немало поводов для огорчения. Один из его детей два десятилетия жил в несчастливом браке, не желая его разочаровывать.

Вскоре после разрыва с Марусей Хрущев познакомился с Ниной Петровной Кухарчук. На шесть лет моложе его, она была, однако, более образованной и еще более убежденной коммунисткой, чем он сам, так что прекрасно подходила на роль его наставницы и «партийной совести».

Родители Нины Петровны, как рассказывала впоследствии она сама, тоже были крестьянами, однако мать ее получила в приданое «один морг (0,25 га) земли, несколько дубов в лесу и сундук (скрыню) с одеждой и постелью». Семья ее отца владела «2,5 моргами (3/4 га) земли, старой хатой, маленьким садом со сливовыми деревьями и одной черешней на огороде»[64]. Нина Петровна родилась 14 апреля 1900 года в деревне Васильеве Холмской губернии, в украинской части царства Польского, входившего до революции в состав Российской империи. Родным языком Нины Петровны, как и большинства детей в деревне, был украинский, однако в школе ее заставляли говорить по-русски и за ошибки били линейкой по рукам. Этническая украинка, она говорила по-украински намного лучше своего мужа, ставшего впоследствии лидером компартии Украины.

Как и Хрущев, его будущая жена обратила на себя внимание учителя начальной школы, который сказал ее отцу, что ей следовало бы продолжить обучение в городе. В 1912 году отец «положил на подводу мешок картошки, кусок кабана, посадил меня и отвез в Люблин, где его брат, Кондратий Васильевич, работал кондуктором на товарных поездах». Отучившись год в Люблинской школе и еще год в Холмской (дядя переехал в Холм), Нина Петровна вернулась на каникулы домой в Васильево. В это время разразилась Гражданская война. Австрийцы грабили деревню, уводили женщин и девушек; Нину спасла мать, сказав, что она больна тифом. Когда русская армия освободила деревню и организовала эвакуацию, мать Нины вместе с двумя детьми стала беженкой. Во время бегства они встретили главу семьи и

некоторое время находились при отряде, в котором служил Петр Кухарчук. Командир отряда дал Кухарчукам письмо к епископу Холмскому, который устроил Нину в школу для девочек, эвакуированную из Холма в Одессу. «Туда не принимали детей крестьян, — вспоминала позднее Нина Петровна. — Учились там дочери попов и чиновников по особому подбору. Я попала туда в силу особых обстоятельств военного времени, описанных выше».

Закончив школу в 1919 году, Нина Петровна некоторое время работала в школе — выписывала дипломы и переписывала документы. В 1920 году она вступила в партию, и в то же лето, когда Красная Армия двинулась на Варшаву, начала работать пропагандисткой в прифронтовых деревнях. Когда сформировалась компартия Украины, Нина Петровна возглавила ее женскую секцию. После того как Красная Армия принуждена была покинуть Польшу, Нину Петровну послали в Москву для шестимесячного обучения в недавно сформированном Коммунистическом университете имени Свердлова. Следующее свое назначение она получила в Донбасс, где помогала проводить чистки (в то время — еще ненасильственные) партии от карьеристов и жуликов, пролезших в нее во время Гражданской войны. Затем ее «бросили» на преподавание «истории революционного движения и политэкономии» в губернской партшколе, однако, не успев приступить к новым обязанностям, она заболела тифом и едва не умерла. После выздоровления она некоторое время работала на курсах подготовки учителей в Таганроге, а затем, осенью 1922 года, вернулась в Юзовку для преподавания в местной партшколе политэкономии.

Кроме этого, будущая супруга Хрущева работала партийной пропагандисткой на Рутченковской шахте, где преподавала шахтерам азы политической грамотности и читала лекции о политике в шахтерском клубе. Хрущев посещал ее лекции и на шахте, и в техникуме. Она стала его наставницей — и в узком, и в более широком смысле слова. В соответствии с традиционными патриархальными представлениями в своей семье он стремился выглядеть главным. «Он был главой семьи, — вспоминает Сергей Хрущев. — Никто не смел ему возражать — и не потому, что его боялись: просто такое нам и в голову не приходило. Однако реальная власть в семье исходила от мамы. Она вела хозяйство, она проверяла наши уроки, она воспитывала нас в строгости, чтобы мы не воображали, что нам все позволено. Теперь я понимаю, что школьные учителя, будь их воля, ставили бы мне одни пятерки; если этого не происходило, то только потому, что мама ходила в школу и убеждала их быть со мной построже. Они просто подчинялись ее желанию»[65].

В массовом сознании образ Нины Петровны, как и ее мужа, сформирован ее внешностью в последние годы. Небольшого роста, полная, с круглым крестьянским лицом, она напоминала матрешку. В отличие от взрывного по характеру мужа, Нина Петровна в любых обстоятельствах оставалась спокойной и собранной. Однако под этим безмятежным фасадом скрывался суровый и жесткий характер. Юлия описывает свою приемную мать как «железную леди». Если дом Хрущева был полон книг, если семья часто ходила в театры — это, несомненно, заслуга Нины Петровны. Она же настояла на том, чтобы все дети учили английский и занимались музыкой.

Влечение Хрущева к Нине Кухарчук так же понятно, как и женитьба на Ефросинье Писаревой. Обе они воплощали для него более высокий уровень культуры и более жесткие этические стандарты, к которым он стремился, но достичь их в полной мере так и не мог.

В июле 1925 года Хрущев был назначен партийным руководителем Петрово-Марьинского уезда Сталинской (б. Юзовской) губернии. В этой должности он оставался до конца 1926 года. Уезд включал в себя четыре шахты, имение Марьинку и семь окрестных деревень. Он занимал примерно шестьсот квадратных километров; население его состояло из семнадцати тысяч крестьян и двадцати тысяч шахтеров. Нина Петровна работала там же партийной пропагандисткой и (поскольку агитаторы оплачивались из Москвы, а партийное руководство получало зарплату от местных властей) зарабатывала намного больше мужа[66].

Жизнь в 1925–1926 годах, по сравнению с предыдущими и последующими периодами, была спокойной. Производство угля было восстановлено, а нэп стабилизировал положение в деревне. Союзник Сталина Николай Бухарин, желая поставить на ноги сельское хозяйство, выдвинул лозунг: «Обогащайтесь!» — несмотря на неприязнь большевиков к кулакам, процветавшим на плодородном украинском черноземе. Кроме того, условия труда на шахтах по-прежнему оставались очень тяжелыми, и, как следствие, продолжались забастовки.

Как главе районной партийной организации, Хрущеву было почти не на кого положиться: когда он приступил к исполнению обязанностей, в уезде было всего 715 членов партии, и девять десятых из них — в Петровке, где располагался уком. К концу 1925 года число партийцев доползло до цифры 1108[67]. К этому времени многие партийные чиновники «обуржуазились» и предались коррупции. В довершение всего обострилась борьба

между большевистскими лидерами. Нейтрализовав Троцкого, Сталин в 1925 году перешел к борьбе со своими бывшими союзниками — Зиновьевым и Каменевым, которые в 1926 году присоединились к Троцкому, образовав объединенную оппозицию.

На новом месте работы Хрущев стремился прежде всего обеспечить шахтеров жильем, едой, одеждой, успокоить их и призвать к порядку. Даже когда они «гневно кричали», вспоминал один из шахтеров сорок лет спустя, «ему быстро удавалось всех развеселить». Однако «временами он бывал суров. Если шахтер не желал работать… такого он увольнял немедленно»[68]. Бывший коллега по партийной работе вспоминает о «скромности Хрущева в быту», выражавшейся, в частности, в том, что он вместе с остальными коммунистами исправно трудился на субботниках и воскресниках[69].

С кулаками и середняками партия в то время старалась не ссориться. «Мы через кооперацию должны были победить торговцев и торговлю взять в свои, государственные руки, — рассказывал Хрущев, — но не путем административных мер, а путем лучшей кооперативной торговли. Мы стремились дешевле продавать, лучше обслуживать, иметь более качественный товар. Однако нам это не слишком удавалось. Торговцы, работавшие на себя, лучше рекламировали свой товар и уделяли клиентам больше внимания. Домохозяйки, которые предпочитали как следует побродить по лавкам и все осмотреть, прежде чем сделать покупку, предпочитали частные магазины»[70].

Эти воспоминания открывают для нас еще одну черту Хрущева — способность трезво смотреть на реальность, даже противоречащую его идеологическим убеждениям. Однако работа с крестьянами вытащила на поверхность и один его серьезный недостаток — раздражительность и нетерпимость при столкновении с людьми и событиями, напоминавшими ему о собственном мужицком прошлом.

«Забудьте о прежнем! — призывал он однажды крестьян, столпившихся вокруг новенького трактора. — Теперь все будет иначе!»

«Мы шли за трактором, — вспоминал один из его тогдашних слушателей, — и изумлялись его мощи, однако от него исходил неприятный запах». Крестьяне качали головами. «Эта машина отравляет землю, — говорили они, — теперь здесь ничего больше не вырастет». Услышав эти слова, Хрущев пришел в ярость. «С такими, как вы, мы никогда не построим новое общество!» — кричал он[71].

Транспортные коммуникации в уезде были очень

примитивны: никакой железной дороги, несколько автомобилей на весь уезд. Однако Хрущеву не сиделось на месте. Зимой «я отправлялся по деревням. Садился в сани — да-да, в то время ездили на санях — закутывался в шубу, чтобы мороз не кусал». В теплое время года он разъезжал на лошадях. «Если будешь сидеть у себя в кабинете, — говорил он позже, — никогда не поймешь, что происходит вокруг, и не наберешься опыта»[72].

Хотя положение уездного партийного руководителя было довольно скромным, именно в эти годы Хрущев начал свое восхождение к вершинам власти. В конце 1925 года он представлял свой уезд на IX съезде компартии Украины. Вскоре после этого был в составе делегации от Сталино послан на XIV съезд партии в Москву. К голосованию он не был допущен, однако сам факт избрания стал для него «большой радостью»[73].

В первую свою поездку в Москву Хрущев держался и вел себя как типичный провинциал. Вместе со своими приятелями из Сталино он, раскрыв рот, глазел на чудеса большого города, а после потешался над собственными промахами. Один раз, например, взял извозчика, чтобы ехать в Кремль — а оказался на окраине. Неудача была тем чувствительнее, что Хрущев надеялся обогнать товарищей-делегатов и занять — ни больше ни меньше — центральное место в первом ряду! Надо сказать, этот план не был невыполнимым: украинская делегация занимала центральные места в зале, а делегаты из Сталино сидели в первых рядах в знак признания их пролетарского происхождения и ведущей роли их организации в компартии Украины.

Не доверяя больше извозчикам, Хрущев каждое утро вставал спозаранку, заранее продумывал маршрут («чтобы добраться безошибочно в Кремль») и отправлялся на съезд пешком, причем большую часть пути до Владимирского зала, где проходили заседания, пробегал бегом. «Я увидел руководителей государства и партии. Они были тут же, близко». Особенно сильное впечатление произвел на Хрущева Сталин — не только своими речами, но и инцидентом, свидетелем которого стал молодой коммунист. Делегация из Сталино попросила Сталина с ними сфотографироваться: пришло известие, что великий человек согласен, и в перерыве делегаты собрались в Екатерининском зале.

«Пришел Сталин, — вспоминает Хрущев. — Стали рассаживаться, расселись. Сталин сел, как мы его и просили, посередине. Фотограф… Петров, крупный специалист своего дела, много лет проработал в Кремле. Петров как фотограф начал указывать, как кому нужно голову повернуть, куда кому смотреть. Вдруг — реплика Сталина: „Товарищ Петров командовать любит,

а у нас командовать нельзя, нельзя командовать!“ Этот инцидент на меня и на моих товарищей произвел (мы потом обменивались мнениями) хорошее впечатление. Нам казалось, что Сталин действительно является демократичным человеком, что его такое замечание было не случайно и что эта шутка органично присуща натуре Сталина»[74].

XIV съезд партии стал для Сталина межевой вехой в борьбе с зиновьевско-каменевской оппозицией. На этом съезде царила практика захлопывания и закрикивания оппозиционеров — включая и Надежду Крупскую, вдову Ленина. Украинская делегация в этом превзошла себя: тут в полную силу развернулся главный партийный функционер Сталина Григорий Моисеенко. Едва ли можно поверить, что такой увлекающийся человек, как Хрущев, не присоединился к общему хору; однако он был слишком молод и незначим и никаких официальных свидетельств о его участии в работе съезда не сохранилось.

Другое дело — украинская партийная жизнь. В октябре 1926 года открылась Первая украинская партконференция: в самый день ее открытия шестеро лидеров оппозиции (Троцкий, Зиновьев, Каменев, Георгий Пятаков и двое других) подали «покаянную» декларацию, надеясь сохранить хотя бы какое-то влияние в партии. Несмотря на это, сторонник оппозиции по фамилии Голубенко продолжал защищать оппозиционеров, критиковать партийного руководителя Украины Лазаря Кагановича и требовать большей демократии в партийных отношениях.

«Сейчас, — отвечал на это Хрущев, — мы заслушали товарища Голубенко. У нас в Сталинском округе мы такой роскоши, к счастью, не имеем». Его речь — «умышленная клевета на нашу партийную организацию». Хрущев продолжал: он не сомневается, что у Голубенко в речи «есть некая неясность, недоговоренность». Декларация лидеров оппозиции — «маневренный ход». Прощение для оппозиции будет возможно, лишь когда она докажет свое раскаяние не только словами, но и делами. Иначе «мы должны будем требовать от наших высших парторганов применения безоговорочно, не считаясь ни с какими заслугами отдельных оппозиционеров, самых репрессивных мер по отношению к неисправимым»[75].

В этой речи Хрущев, если можно так выразиться, оказался «правовернее» самого Сталина; Сталин из тактических соображений сделал вид, что принял «покаяние» оппозиционеров, Хрущев — нет. Конечно, под «самыми репрессивными мерами» Хрущев имел в виду не то, что вошло в практику десять лет спустя. Однако его выступление — агрессивное, саркастическое,

полное ничем не подтвержденных обвинений — было того же сорта, что и бесчисленные кровожадные речи 1937 года[76].

К середине 1920-х годов Лазарь Каганович был одним из вернейших людей Сталина. Родившийся в 1893 году под Киевом, в еврейской семье, в детстве бывший учеником сапожника (на образование для сына у семьи не было денег), в 1911 году он вступил в партию большевиков. Хрущев впервые встретился с ним в 1917-м в Юзовке. «Я не знал, что он Каганович, я его знал как Жировича. Кагановичу я не только доверял и уважал, но, как говорится, горой стоял за него»[77]. «На самом деле, — поправляет себя Хрущев в другом месте своих мемуаров, — когда я с ним познакомился, звали его не Каганович, а Канторович»[78]. В третьем месте Хрущев вспоминает его как Кошеровича[79]. Быть может, для него все еврейские фамилии звучали одинаково. Однако, хотя имена Хрущев и путал, он хорошо понимал, что, с тех пор как в 1925 году Каганович стал руководителем компартии Украины, самый прямой путь наверх — по его следам[80].

Возможно, именно Кагановичу Хрущев обязан своим продвижением в декабре 1926 года на должность главы орготдела Сталинского обкома. В качестве последнего Хрущев помогал своему начальнику, Григорию Моисеенко, руководить экономикой, преследовал и запугивал местных оппозиционеров, даже выносил смертные приговоры тем, кто в период Гражданской войны сражался против большевиков[81].

А всего девять месяцев спустя Хрущев принял активное участие в снятии Моисеенко с должности. Сперва информировал своих товарищей, что партийное начальство Украины решило освободить Моисеенко от его поста, затем сообщил, что и сам участвовал в обсуждении этого вопроса на заседании Политбюро Украины[82]. Очевидно, здесь ему помогли связи Кагановича или, возможно, дружба со Станиславом Косиором, сменившим Кагановича на посту партийного лидера Украины. Познакомились они, по-видимому, в годы Гражданской войны, когда Косиор возглавлял политотдел Девятой армии. На кадрах кинохроники с XV партсъезда, состоявшегося в Москве в декабре 1927 года, Хрущев сидит рядом с Косиором в центре украинской делегации. В черном костюме и темной рубашке, коротко стриженный, с широкой улыбкой на лице, Хрущев напоминает корабельного юнгу. На тех снимках, где он оборачивается и обращается к невысокому, плотному, лысеющему Косиору, видно, что оба наслаждаются обществом друг друга.

Моисеенко был обвинен в коррупции и моральном разложении, включая «пьянки», в которых принимали участие и высшие партийные лидеры, и городская администрация[83]. И

сорок лет спустя Хрущев считал себя в этом деле совершенно правым: Моисеенко, по его словам, «отличал сильный 5мелкобуржуазный налет… Поэтому выставили мы его потом из секретарей. Это скандальное дело дошло до ЦК КП(б) Украины, и к нам приезжала комиссия. Она разбирала наши споры, признала наши доводы основательными, и он был освобожден от должности секретаря»[84].

Однако за этим рассказом кроется нечто большее. По воспоминаниям Кагановича, Моисеенко не мог забыть заигрываний Хрущева с троцкизмом[85] — возможно, оттого, что в краткий период увлечения идеями Троцкого Хрущев критиковал «нарушения внутрипартийной демократии», допускаемые его начальником[86]. К тому же, возможно, Хрущев надеялся занять место Моисеенко. Если так, то он просчитался. Политбюро Украины назначило на это место В. А. Строганова, о котором (как нетрудно догадаться) Хрущев тоже был не лучшего мнения: Строганов оказался «старой калошей», любителем «выпить, и довольно-таки изрядно».

Впрочем, скоро подчиненные Строганова начали обращаться по важным вопросам не к нему, а к Хрущеву. «Мне, — вспоминал Хрущев позже, — это было понятно, но для него это было тяжело, принижало его роль. Ко мне они шли, потому что я вырос в этом районе… у меня был очень широкий круг друзей… К тому времени я неплохо разбирался в вопросах производства… Тогда это было главным. По тем временам руководитель, который не разбирался в добыче угля или в металлургии, химии и строительстве, считался, грубо говоря, дураком. Как раз в такое положение и попал Строганов, хотя человек он был неглупый. Он тоже позднее погиб, бедняга, и я очень его тогда жалел, да и сейчас жалею: он не заслуживал ни ареста, ни расстрела»[87].

В смещении Строганова сам Хрущев изображает себя ни в чем не повинным наблюдателем. Он рассказывает даже, что уехал из Сталина, чтобы дать «бедняге» возможность «развернуться»[88]. Однако история отъезда Хрущева в Харьков в марте 1928 года и его последующего быстрого возвышения, с перемещением сперва в Киев, а затем в Москву, заставляет поставить под сомнение мотивы, приводимые им самим.

Если верить Хрущеву, в начале 1928 года Каганович вызвал его в Харьков (в то время украинскую столицу) и предложил сделать его заместителем заведующего орготделом ЦК Украины. «Нам нужно орабочить аппарат», — заявил Каганович, по словам Хрущева.

«Считаю, что это правильно, — ответил Хрущев (опять же —

по его собственным словам), — но я хотел бы, чтобы это орабочивание было не за мой счет. Я очень не хотел бы уезжать из Сталина: там я сросся со всей обстановкой, с людьми. Поэтому мне очень трудно будет, я не знаю новой обстановки и не смогу, видимо, ужиться в орготделе Центрального Комитета». Если его переведут в Харьков, продолжал Хрущев, очень вероятно, что новые сотрудники «встретят его плохо», поскольку в этом городе принято завидовать сталинцам: «Мы, дескать, пролетарии, мы шахтеры, металлурги, химики, соль земли, соль партии». Если уж его непременно нужно куда-то перевести — пусть его переведут в Луганск: он в хороших отношениях с секретарем тамошнего парткома и мог бы возглавить там уездную парторганизацию — такой опыт у него уже есть[89].

Если верить Хрущеву, он долго отнекивался и колебался и согласился лишь на условии, что его «при первой же возможности переведут в другую область. Какую? Все равно, — говорил он Кагановичу, — хотя лучше, конечно, чтобы это был индустриальный район, потому что крестьянское хозяйство я знаю плохо и никогда подолгу не жил в земледельческих районах…»[90]

Никогда не жил в земледельческих районах? А как же первые четырнадцать лет жизни? И разве Луганск — не шаг назад в карьере? Наконец, в самом ли деле Хрущев надеялся переубедить Кагановича? Что перед нами — дымовая завеса, скрывающая амбиции, воспоминания об искренней неуверенности в себе, или то и другое вместе? Сам Каганович рассказывает, что Хрущев осаждал его просьбами о переводе в Харьков (несколько раз он являлся в ЦК без приглашения и, перед тем как зайти к Кагановичу, требовал себе обед в столовой ЦК); однако и он отмечает, что Хрущев и сам не знал, справится ли со своими новыми обязанностями в центральном аппарате[91].

«В Харькове мне не понравилось, — продолжает Хрущев в своих воспоминаниях, — как я и ожидал. Канцелярская работа: через бумаги живого дела не видишь. Это специфическая работа, а я — человек земли, конкретного дела, угля, металла, химии и в какой-то степени сельского хозяйства… У меня сложились хорошие отношения с руководством угольной промышленности… У меня были хорошие отношения с руководителем Югостали… И вдруг у меня это все оборвалось и я стал заниматься бумагами, а это пища не для меня, меня сразу отвернуло от нее»[92].

Согласно Хрущеву, он скоро начал просить у Кагановича перевода на любое другое место; наконец тот сообщил, что освободилась должность в Киеве, и Хрущев выехал в тот же вечер: «Первый раз в жизни я попал в Киев, в этот большой город…

Юзовка еще не считалась даже городом. Киев на меня произвел сильное впечатление. Как только я приехал, то с чемоданом в руке пошел прямо на берег Днепра. Меня тянуло взглянуть на Днепр, потому что я много слышал и кое-что читал о нем. Мне хотелось увидеть эту мощную реку»[93].

Однако и в Киеве ему было о чем тревожиться. Как и в Харькове, «киевская организация тогда у нас не считалась пролетарской, боевой». С другой стороны, в городе активно действовали как троцкистские элементы, так и националистически настроенная интеллигенция, группировавшаяся вокруг (украинской) Академии наук. Кроме того, как позднее вспоминал Хрущев: «Считалось, что там сложно работать, особенно русским: к ним не особенно хорошее было отношение. Поэтому я полагал, что, так как националисты считали меня безнадежным русаком, мне будет там трудно»[94].

И здесь скромность Хрущева до некоторой степени искренна. Киев, с его сказочной историей, великолепными церквами, прекрасными зелеными парками на берегах широкого Днепра, всегда воспринимался как символ Украины, что создавало для Сталина и его присных некоторые проблемы. Ранее была объявлена политика «развития национальной культуры», легитимировавшая украинский язык и украинскую культуру. Однако к концу двадцатых годов Сталина начало тревожить распространение украинского национализма, особенно то, что национализм затрагивал и лояльных в остальном коммунистов[95], а также беспартийных, во всем остальном согласных с советским режимом. В марте 1928 года советская пресса объявила об аресте более пятидесяти донбасских техников и инженеров, обвиненных во «вредительской» деятельности (например, в намеренном затоплении шахт и порче оборудования) и «экономической контрреволюции». В мае — июле в Москве прошел так называемый Шахтинский процесс, после которого по меньшей мере четверо осужденных были казнены[96].

Эти обстоятельства помогают объяснить беспокойство Хрущева относительно Киева. В рабфаковской анкете, заполненной в 1922 году, он охарактеризовал свое знание Украины как «слабое»[97]. В Сталине, районе, населенном в основном русскими шахтерами, ему не требовалось говорить по-украински, да и в Киеве он мог объясняться по-русски. Однако незнание украинского языка в сочетании с недостатком образования не могло обеспечить ему симпатий в среде местной интеллигенции.

Однако все обернулось лучше, чем представлялось Хрущеву, отчасти потому, что первый секретарь горкома Николай

Демченко взял контакты с интеллигенцией на себя, оставив Хрущеву рабочих и крестьян. И все же Хрущев скучал по Донбассу. Однажды в горком явилась делегация безработных: Хрущев предложил им работу — и они обрадовались, однако настроение их резко изменилось, едва они услышали, что работа — в Донбассе. «И вот целый год ходят они и готовы, видимо, еще год-два ходить. Но в Донбасс ехать не хотят: это провинция. Меня это возмущало, потому что я детство там провел и для меня Донбасс, Юзовка — это родная стихия, я скучал по шахтерам, сжился с ними…»[98]

Конец 1928-го и начало 1929 года Хрущев провел в Киеве, все это время не оставляя попыток перевестись в Москву. «В 1929-м мне уже стукнуло 35 лет, — вспоминал он позже. — Это был последний год, когда я мог еще думать о поступлении в высшее учебное заведение, а я окончил только рабфак, и меня все время тянуло получить высшее образование. Поэтому я стал добиваться посылки меня на учебу»[99].

Коллеги Хрущева к этой идее отнеслись скептически. Некоторые считали, что он просто хочет оторваться от Косиора и последовать в Москву за Кагановичем. Другие полагали, что ему тяжело работать с Демченко. Хрущев уверял товарищей, что с Демченко у него «наилучшие отношения». Косиору он также объяснял: «„Мне уже тридцать пять лет… Поймите меня. Я прошу ЦК КП(б)У понять и поддержать меня и прошу, чтобы ЦК рекомендовал меня в Промышленную академию в Москве. Я хочу быть металлургом“. Косиор с пониманием отнесся к моей просьбе и согласился»[100].

Из Сталино — в Харьков, из Харькова — в Киев, из Киева — в Москву; и все это — за полтора года! Однако мотивы и методы Хрущева по-прежнему не вполне ясны. Дыма без огня не бывает — а дыма (увольнение Моисеенко, напряженные отношения со Строгановым, предположение киевских коллег о ссорах с Демченко и Косиором, связь с Кагановичем) в этом периоде его биографии предостаточно. Однако коллеги Хрущева ошибались, если думали, что его желание учиться — лишь прикрытие для карьерных амбиций: к образованию Хрущев стремился искренне на протяжении всей жизни.

Семья Хрущева жила на седьмом этаже «партийного» многоквартирного дома на улице Ольгинской, на полпути от Крещатика к приднепровскому парку. Квартира Хрущевых по меркам того времени была роскошной. В ней было пять комнат, не считая маленькой кухни и ванной. Одна из комнат служила супружеской спальней и кабинетом Хрущева; комнатой, спроектированной как кабинет, он никогда не пользовался. В

третьей — спальне для Юли и Лени — семья обедала; хотя еще две комнаты оставались пустыми, Хрущев не задумывался о том, чтобы выделить детям отдельные комнаты (тем более — по комнате для каждого). Вместо этого в оставшихся двух комнатах поселилась подруга Нины Петровны Вера Гостинская со своей пятилетней дочерью[101].

Нина Петровна познакомилась с Гостинской в 1926 году, когда обе женщины получали педагогическое образование (Нина Петровна — по специальности «политэкономия», Гостинская — «история») в Педагогическом институте имени Крупской в Москве. Они были землячками и скоро очень сблизились. После выпуска в 1928 году обеих распределили в Киев (Нину Петровну — читать лекции в Киевской партшколе, Гостинскую — готовить учителей для местных польских школ), куда к тому времени уже перебрался Хрущев. (В отсутствие Нины Петровны в 1926–1928 годах Хрущев снова отправил детей в Сталино, к дедушке и бабушке.) Когда Гостинская объявила, что не может жить в крошечной комнатке в общежитии и лучше вернется в Москву, Хрущевы предложили ей «лишние комнаты» у себя в квартире.

К этому времени Юле и Лене было, соответственно, тринадцать и одиннадцать лет. После стольких лет, проведенных в загрязненном донбасском воздухе, они часто болели да и вели себя не слишком хорошо. Леня, вспоминала Гостинская, был «ужасным хулиганом». Однажды он вытащил револьвер, который отец хранил в шкафу, собрал соседских ребятишек и повел их «на завоевание новых земель» — а Нине Петровне пришлось всю ночь успокаивать их перепуганных родителей.

Нина Петровна все больше времени проводила дома, особенно после рождения Рады (4 апреля 1929 года. Первая ее дочь, Надя, родившаяся в 1927-м, умерла трехмесячной[102]). Хрущев редко бывал дома и даже в выходные не отрывался от работы — не считая двух или трех месяцев, когда он заболел, да так серьезно, что пришлось выписывать врача из Германии. («До этого, — вспоминала Гостинская, — он был красивым, но после этого гриппа с осложнениями очень изменился и подурнел».) После каждого Пленума ЦК Хрущев объезжал множество заводов, фабрик и других предприятий, везде разъясняя и продвигая в массы линию партии. Перед этим он обязательно приглашал Гостинскую, убежденную коммунистку, в пятнадцать лет — в 1920 году — вступившую в компартию Польши, вместе с ним почитать протоколы пленума и подумать, как лучше преподнести его решения рабочим. «Он любил все делать коллективно», — рассказывала она.

Не следует думать, будто Хрущев был неспособен понять и

растолковать решения пленума в одиночку. Напротив, хотя марксизм-ленинизм он изучал не по учебникам, Гостинская отзывалась о нем как о не только очень умном («гораздо умнее» своей жены), но и «высококультурном» человеке. Ни она, ни Нина Петровна «никогда не ощущали своего превосходства, хотя у нас и было высшее образование. Может быть, он меньше нашего понимал в научных вопросах — однако в том, что касалось политики, самообразованием достиг больших высот. Он был необыкновенно интересным человеком».

В свободное от работы время Хрущев любил ходить в театр, где сидел в «начальственной» ложе. Нравилось ему и выходить «в свет» вместе с Демченко, его женой (которую Гостинская описывает как очень интеллигентную женщину) и Ионой Якиром, командующим Украинским военным округом. Демченко жили на том же этаже, что и Хрущевы, Якир занимал квартиру в том же доме; оба часто заходили к Хрущеву поболтать или поиграть в шахматы. Должно быть, Хрущев не раз вспоминал эти посиделки менее десяти лет спустя, когда оба, и Демченко, и Якир, были расстреляны как «враги народа».

Вспоминала Гостинская и о том, как Хрущев в первый раз заговорил о переезде в Москву. «Если не уехать, — говорил он, — сделают меня первым секретарем в какой-нибудь Шепетовке, где придется возиться с мужиками. А мне это ни к чему: я ведь в крестьянском хозяйстве ничего не понимаю».

«Он мечтал быть директором завода, — добавляет Гостинская. — И он сказал: „Поеду в Москву, постараюсь поступить в Промакадемию и, если удастся, выбьюсь в директора. Директор из меня выйдет, а вот партсекретарь в деревне — ни за что!“»[103]

Глава V
ЛЮБИМЧИК СТАЛИНА: 1929–1937

Московская Промышленная академия имени Сталина, расположенная за Садовым кольцом, в бывшей летней резиденции царской семьи, была символом построения нового социалистического общества. В 1929 году большевики провели обширную чистку среди «буржуазных специалистов», служивших новой власти с 1917-го. Чтобы найти им замену, партия призвала бывших пролетариев в университеты и другие вузы[1]. Задачей Промакадемии было превратить кадры с опытом управления (в партии, правительственных органах, комсомоле, профсоюзах) в социалистических хозяйственников. В 1929 году в академию поступила всего сотня студентов со всех концов страны. По завершении трехгодичного курса выпускников предполагалось направлять на крупные заводы, в индустриальные комплексы и правительственные экономические учреждения[2].

Несмотря на важность этого начинания для государства, преподавание в академии шло туго. «…Когда такому человеку дают высшую математику после трех зим учебы в школе, то ему очень трудно, — вспоминала одна из преподавателей. — Кроме того, человеку в сорок пять лет очень трудно сидеть в классе, как восьмилетнему, по четыре часа, у них работа, семьи, они быстро устают. Им было очень трудно, но они старались»[3].

Хрущев был зачислен в академию в сентябре 1929-го. Нина Петровна и дети оставались в Киеве до лета следующего года. В это время Хрущеву было тридцать пять лет. Он занимал важное положение в украинском партийном аппарате и имел в Кремле могущественного покровителя — Кагановича. Однако, по его собственным словам, в академии его встретили негостеприимно. «Товарищи говорили, что я не подойду им, и рекомендовали идти на курсы марксизма-ленинизма при ЦК партии». По их мнению, для работы в сфере народного хозяйства Хрущеву недоставало опыта. В конце концов, говорили ему, «здесь создано учебное заведение для управляющих, для директоров»[4].

Даже в 1929 году, когда курсы марксизма-ленинизма еще пользовались большим авторитетом, чем в последующие годы, такое предложение звучало унизительно. Несомненно, в нем был намек не только на недостаток образования, но и на просталинские симпатии Хрущева: в то время многие в академии сомневались в Сталине и, возможно, рассматривали необразованность и неопытность Хрущева лишь как предлог,

чтобы от него избавиться. Попасть в академию Хрущев смог лишь с помощью Кагановича и лишь после того, как пообещал «подтянуться»[5]. Менее десяти лет спустя Хрущев, один из пятнадцати самых высокопоставленных партийцев, покинул Москву, чтобы стать первым секретарем ЦК компартии Украины; академию он так и не окончил.

Между 1929 и 1938 годами карьера Хрущева пошла круто вверх: май 1930-го — глава партячейки Промакадемии, январь 1931-го — первый секретарь Бауманского райкома, где располагалась академия; шесть месяцев спустя — аналогичная должность в Краснопресненском, самом большом и влиятельном районе столицы; январь 1932-го — второй человек в горкоме Москвы; январь 1934-го — первый секретарь горкома и член ЦК партии; начало 1935-го — первый секретарь обкома огромной и густонаселенной Московской области[6]. Даже в эпоху повышенной социальной мобильности карьера Хрущева поражает воображение. А самое поразительное, что победу за победой Хрущев одерживал в те самые годы, когда страну сотрясали сперва ужасы коллективизации, затем — жестокие репрессии.

Смерть косила его товарищей — а Хрущев не только оставался жив и на свободе, но и процветал. Разумеется, не он начал репрессии и не он их контролировал. Это делали Сталин со своими ближайшими сподвижниками — Вячеславом Молотовым, Лазарем Кагановичем и Климентом Ворошиловым, а также руководители НКВД Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия, управлявшие машиной репрессий. До самого конца десятилетия Хрущев не входил в ближний сталинский круг. Однако он тоже несет ответственность. Даже Рой Медведев, биограф, чрезвычайно симпатизирующий Хрущеву, не смог найти ни одного свидетельства, которое бы указывало на то, что Хрущев когда-либо противостоял Сталину или пытался защитить кого-либо из московских партийных и государственных деятелей[7]. В самый пик террора Хрущев произносил пламенные речи, побуждая «массы» к охоте на ведьм. Будучи руководителем Московской парторганизации, он лично одобрял аресты многих своих коллег и их уничтожение с помощью механизма, который сам позже назвал мясорубкой.

Как объяснить поведение Хрущева? Что сказать в его защиту? Как и многие другие, Хрущев полагал, что строит новое социалистическое общество, а ради этой благой цели самые жестокие средства хороши. Если он не видел истинного положения вещей — или, вернее, закрывал на него глаза — в этом он был не одинок. Сталин скрывал свои намерения и чередовал периоды репрессий с минутами послабления. До 1935-го,

возможно, даже до 1936 года человек, подобный Хрущеву, вполне мог верить Сталину — а потом стало уже поздно. Как и многие другие, Хрущев оказался в мышеловке. Сопротивление стоило бы ему жизни. Единственный способ спасти себя и свою семью — безоговорочно подчиняться вождю.

Примерно так мог бы оправдывать свои действия Хрущев. Однако характерно, что этого мы от него не слышим: как на вершине власти, так и позднее, в мемуарах, он прибегает к тактике обмана и самообмана, уверяя, что искренне верил в правоту Сталина и вину его воображаемых врагов. В то же время сами его воспоминания, если читать их в контексте других биографических сведений, разоблачают эту ложь[8].

У Хрущева были веские причины не говорить правды — причины политические. После знаменитой атаки на Сталина в 1956 году признание собственной вины подорвало бы не только его положение, но и советскую власть как таковую. Кроме того, по-видимому, он испытывал такое глубокое чувство вины, что боялся признаться в ней даже самому себе. Была и еще одна причина как для верной службы Сталину, так и для позднейшего молчания: тридцатые годы, ставшие для многих его товарищей эпохой падения и гибели, открыли Хрущеву дорогу к вершинам власти.

После обескураживающего приема в Промакадемии — какой головокружительный восторг должен был охватить его при знакомстве со Сталиным! Что он должен был чувствовать, сидя рядом с вождем на приемах в Кремле и семейных ужинах на сталинской даче, видя, как лидер СССР и мирового коммунизма смотрит на него с уважением и симпатией. Как известно, собственный отец не отвечал ожиданиям Хрущева: не слишком ли смело будет предположить, что в Сталине он нашел замену отцу — потому и идеализировал его, несмотря на явные доказательства обратного? «Сталину я нравился, — настаивал он позднее. — Конечно, глупо и сентиментально говорить о таком человеке, что он кого-то любил; но, без сомнения, ко мне он относился с большим уважением»[9]. И далее: «Ко мне Сталин относился лучше, чем к другим. Меня некоторые из Политбюро считали чуть ли не его любимчиком»[10].

Если эти воспоминания радовали Хрущева и в конце жизни — что же он должен был чувствовать, когда все только начиналось! Очевидно, что его вовлеченность в репрессии нельзя объяснять одной лишь слепой верой в вину обвиняемых, или стремлением выдвинуться, или страхом тюрьмы и смерти. Она была связана с обожанием Сталина — и с убежденностью, что этот человек, которого Хрущев почти боготворил, относится к нему с

симпатией.

В то время, когда Хрущев переехал в Москву, в СССР начиналась новая «революция сверху». Нэп, принесший стране относительный мир и благосостояние, был отменен. Троцкий, Зиновьев и Каменев, лидеры течения, которое Сталин называл «левой оппозицией», давно уже требовали скорейшей индустриализации; им противостояли Сталин и Бухарин, настаивавшие на том, что в стране с преобладающим крестьянским населением большевики должны приспосабливаться к нуждам крестьянства. Однако зимой 1927/28 года, когда крестьяне потребовали более выгодных условий продажи зерна, Сталин решил, что пора перевести земледелие на государственные рельсы, поставив его под жесткий контроль. В конце 1928 года почти 99 % земли находилось в частном владении. Первый пятилетний план коллективизации, принятый в апреле 1929-го, к 1933 году был выполнен лишь на 17,5 %. Бухарин с самого начала возражал против коллективизации, но его «правая оппозиция» (в которую входили также председатель Совета министров Алексей Рыков, глава профсоюзов Михаил Томский и первый секретарь МК и МГК Николай Угланов) в апреле 1929 года потерпела поражение, а семь месяцев спустя была принуждена «покаяться». В январе 1930 года Сталин объявил о *полной* коллективизации в наиболее стратегически важных районах страны и потребовал, чтобы его план был проведен в жизнь немедленно — сперва к осени того же года, затем — к началу весеннего сева[11].

То, что началось далее, можно назвать войной власти против крестьянства: насильственная экспроприация имущества, высылка миллионов кулаков в Сибирь, со стороны крестьян — возмущения и протесты, порой доходившие до вооруженных мятежей; и как следствие всего этого — голод. Из Москвы была видна далеко не полная картина происходящего, хотя и столица страдала от недостатка продуктов и была наводнена беженцами из деревни. Однако любой русский со связями в деревне — особенно человек, подобный Хрущеву, с корнями в Южной России или на Украине, где голод был сильнее всего, — просто не мог не понимать, что происходит[12].

Хрущев рассказывает в своих воспоминаниях, как весной 1930 года отправился в колхоз под Самарой, где впервые увидел голодающих крестьян: «Люди от недоедания передвигались, как осенние мухи». До того, по его собственным словам, он «практически не представлял себе действительного положения на селе… Жили мы в Промышленной академии изолированно и, чем

дышала деревня, не знали». От своих украинских друзей он слышал рассказы о крестьянских восстаниях, подавляемых Красной Армией. И тут же, на одном дыхании, он заключает: «Только много лет спустя я осознал, какой голод, какие бедствия повлекла за собой коллективизация, как ее проводил Сталин»[13].

Отчаянное положение деревни заставило Сталина в марте 1930-го опубликовать статью, обвиняющую местных руководителей в «головокружении от успехов». В своей речи тридцать лет спустя Хрущев язвительно спрашивает: «Что же это за головокружение было в тридцатом году? Головокружение от голода, а не от успехов! Есть было нечего. Я в то время, товарищи, жил в Москве, и все мы знали, от чего это головокружение»[14]. Однако в то время, настаивает он в мемуарах, он считал статью Сталина «шедевром», хотя и «был несколько смущен: как же так, все было хорошо, а потом вдруг такое письмо».

Два года спустя, рассказывает Хрущев, он с ужасом узнал, что на Украине разразился голод. «Я просто не представлял себе, как может быть в 1932 году голодно на Украине. Когда я уезжал в 1929-м, Украина находилась в приличном состоянии по обеспеченности продуктами питания. А в 1926-м мы вообще жили по стандарту довоенного времени… И вдруг — голод!» Однако тут же он возвращается к заезженной пластинке: «Уже значительно позже (узнав о том, что в Киев приходили поезда, нагруженные трупами) я узнал о действительном положении дел»[15].

Коллективизации сопутствовала индустриализация — также всеобщая и проводившаяся силовыми методами. Первый пятилетний план был сосредоточен на производстве чугуна и стали: задания плана было физически невозможно выполнить — однако их несколько раз повышали. Между 1928 и 1932 годами реальная заработная плата рабочих в Москве сократилась наполовину. Были приняты драконовские законы, запрещающие свободный переход с одной работы на другую и грозящие страшными карами (вплоть до смертной казни за хищение госимущества) за нарушения дисциплины на рабочем месте. Из-за нехватки еды и жилья часто вспыхивали забастовки как в столице, так и в других городах[16].

Все это вызывало у многих партийцев понятные вопросы и сомнения. Старые коммунисты жаловались Сталину на то, что статья о «головокружении от успехов» взваливает вину на кого угодно, кроме высшего партийного руководства[17]. В августе 1932 года бывший первый секретарь Московского обкома Мартемьян Рютин обвинил Сталина в развале страны и призвал «свергнуть…

[его и его клику] как можно скорее». Истолковав это высказывание как призыв к убийству, Сталин потребовал для Рютина высшей меры наказания, однако члены Политбюро, включая Сергея Кирова, воспротивились этому решению[18].

К 1934 году, казалось, оппозиция была разгромлена — но это только казалось. На XVII съезде партии все выступающие превозносили имя Сталина; однако перед самыми выборами в Политбюро и Секретариат, как рассказывают, к Кирову явилась делегация членов ЦК и попросила его выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря как альтернативу кандидатуре Сталина. Если верить Хрущеву, Киров рассказал об этом Сталину, на что вождь ответил: «Спасибо, я тебе этого не забуду!»[19]

Сомнения в Сталине отразились и в голосовании по ЦК. Голосование проводилось по спискам: чтобы высказать несогласие, следовало вычеркнуть фамилию нежелательного кандидата. Кандидаты, против которых подавалось меньше всего голосов, чествовались как самые популярные партийные лидеры. По Хрущеву, голосование должно было быть тайным, однако Каганович «инструктировал нас, молодых, как относиться к спискам кандидатов, причем делал это доверительно, чтобы никто не узнал». Каганович хотел удостовериться, что «Сталин не получит меньше голосов, чем… другие члены Политбюро»[20].

Позже Хрущев утверждал, что поведение Кагановича произвело на него плохое впечатление. Поразило его и то, как голосовал сам Сталин: «Демонстративно, на глазах у всех, получив списки, подошел к урне и опустил их туда не глядя». В то время Хрущев не знал — и, по его словам, узнал только много позже, — что против Сталина подали голоса не два или три человека, как утверждалось в то время, а около 160 или даже 260[21].

То, что столько делегатов (из 1225) проголосовали против него, убедило Сталина в необходимости дальнейших репрессий. Впоследствии 1108 из присутствовавших на съезде делегатов были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности и ликвидированы. Около 70 % из 131 члена ЦК (71 действительный член и 68 кандидатов), выбранных на этом съезде, также погибли как «враги народа» прежде, чем подошло к концу десятилетие[22].

В феврале 1934-го Хрущев совершил прыжок из кандидатов в действительные члены ЦК. Как сам он объяснял позже: «Сталин был умный человек. Он понимал, кто мог голосовать против него на XVII съезде ВКП(б). Только старые ленинцы могли голосовать против него. Он понимал, что такие, как Хрущев — молодые

кадры, которые поднимались наверх при Сталине и смотрели на него как на бога, ловили каждое его слово — не станут против него голосовать»[23].

Подняться к вершинам власти Хрущеву помогло не наивное обожествление тирана, а верная служба ему.

Осенью 1929 года Промакадемия была цитаделью антисталинских настроений. «Правые развернули свою деятельность, — вспоминал Хрущев. — Руководство партийной ячейкой академии было в руках правых». Старая гвардия, бывшие директора и профсоюзные лидеры, направленные в академию для повышения образования, «группировались вокруг Бухарина и поддерживали его, поддерживали Угланова, поддерживали Рыкова против Сталина»[24].

Прорвавшись в академию, Хрущев начал активную борьбу с правыми. Для этого у него были и политические, и личные причины. Те, кто смотрел на него свысока, представлялись ему, как он говорил позже, неустойчивыми и нежелательными элементами, которые «не особенно-то хотели учиться, но в силу сложившихся политических условий вынуждены были оставить партийную, хозяйственную или профсоюзную деятельность. Вот они и расползались по учебным заведениям». Согласно Хрущеву, они не пользовались теми возможностями, в которых пытались отказать ему: «Правые свили себе там гнездо, окопались там… У нас было два выходных — воскресенье, как обычно, для всех, и еще один день для проработки пройденного. Я жил в общежитии и наглядно видел эту „проработку“. Все уходили куда-нибудь с утра, а приходили — не знаю когда, просто бездельничали… В Промышленной академии училось немало бездельников, которые пришли туда не учиться, а отсидеться в период острой политической борьбы»[25].

В отличие от этих «лодырей», Хрущев, по его собственным словам, очень хотел учиться — только вот времени не было, ни тогда, ни потом:

«Помню, как-то Молотов спросил меня:

— Товарищ Хрущев, вам удается читать?

— Товарищ Молотов, очень мало, — отвечаю я.

— У меня тоже так получается. Все засасывают неотложные дела, а ведь читать надо. Понимаю, что надо, но возможности нет.

И я тоже понимал его. С каким трудом я вырвался, придя из Красной Армии в 1922 году, учиться на рабочем факультете! Но и там я и учился, и работал одновременно, был активным политическим деятелем… Партруководители тогда… не могли

жить для себя. Если кто-то увлекался литературой, то его даже упрекали: вместо того чтобы работать, читаешь. Помню, как-то Сталин сказал: „Как же это случилось так, что троцкисты и правые получили привилегию? Центральный Комитет им не доверяет, сместил их с партийных постов, и они устремились в высшие учебные заведения… А люди, которые твердо придерживались генеральной линии и занимались практической работой, не имели возможности получить высшее образование, повысить свой уровень знаний и свою квалификацию…“»[26]

В этих воспоминаниях тяга к знаниям смешана со жгучей, ядовитой завистью к интеллектуалам: опасное сочетание, если дать ему ход! Повторяя жалобы и обвинения молодых людей, подобных Хрущеву, Сталин, конечно, действовал как хороший психолог — и только. Однако заявления Хрущева, что у него не оставалось времени на книги, тоже нуждаются во внимательном «прочтении». Он не был уверен в своей способности к высокоинтеллектуальным видам деятельности и потому, возможно, на подсознательном уровне приветствовал разнообразные обязанности, отвлекавшие его от книг и учебы. В Промакадемии, как и на юзовском рабфаке, он с увлечением занялся политической деятельностью, отвечавшей его неугомонной натуре; но не исключено, что этим он еще и защищал себя и заранее компенсировал возможные неудачи в учебе.

Среди прочих предметов в академии изучали иностранный язык: студенты должны были выучить его настолько, чтобы уметь читать простой текст (200–300 слов). Хрущев, возможно, под влиянием Нины Петровны, выбрал английский. Его преподавательница, Ада Федерольф-Шкодина, вспоминала, как искала статью в английском журнале, переделывала ее, убирая наиболее сложные пассажи, выписывала трудные слова вместе с переводом на доске и просила учеников читать текст вслух. Хрущев, рассказывала она, был слишком увлечен политикой, чтобы вдаваться в премудрости латинского алфавита, и скоро вовсе перестал ходить на занятия. По окончании курса директор академии стал просить поставить ему пятерку или хотя бы тройку. Федерольф-Шкодина отказалась (заметив, что Хрущев «ни единой буквы» на ее занятиях не выучил) и вместо этого предложила просто убрать из диплома иностранный язык — мол, в партийных кругах этого упущения все равно никто не заметит.

«Есть для меня сейчас вещи поважнее английского!» — сказал ей однажды Хрущев[27]. Однако, как вспоминала она, курс древней истории также к «важным вещам» не относился. Несколько лучше учился Хрущев по техническим предметам (он не относился к тем

студентам, которые полагали, что диаметр взвешивают). Однако преподаватели отличали его не по успехам в учебе, а по тому, что говорил он больше всех в классе и на переменах часто собирал вокруг себя в коридоре группки соучеников.

«Я его почти не видела [на занятиях], только в коридорах, там он любил шутить, — вспоминает Федерольф-Шкодина, — он очень хорошо рассказывал. Не на литературном языке. Если в углу где-нибудь был хохот, значит, там Хрущев. Он был умница, знаете, есть такое выражение: крестьянская смекалка, когда у человека нет образования и надо до всего самому доходить, все решать самому. В этом есть провинциальность, и это было у Хрущева — смекалка, но не было образования, и это его погубило. Компания, которая его окружала, все были члены партии, они ему немножко льстили, а за глаза смеялись»[28].

Уже гораздо позже, по словам его зятя, Хрущев «порой откладывал книгу, задумывался и возвращался мыслями в прошлое. Он сожалел о том, что не окончил Промакадемию, да и вообще с учебой ему не везло. Другие обязанности всегда отрывали его от занятий»[29].

Так Хрущев объяснял это сам себе. Удавалось ли ему себя убедить — другой вопрос. В отличие от многих соучеников, у него была в общежитии (улица Покровка — одно время Чернышевского — дом 40, впоследствии — гостиница «Урал») отдельная комната. А когда к нему присоединилась Нина Петровна с детьми, комнаты стало две. Она вспоминала: «У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Леня и Матреша — няня, найденная Н. С. к нашему приезду»[30].

Сама академия располагалась на Новой Басманной, и от общежития до здания академии ходил трамвай. Хрущев ходил на занятия пешком. «Я не пользовался трамваем», — рассказывал он. Возможно, Хрущев все еще не доверял общественному транспорту — или же ему просто не улыбалось толкаться в переполненном вагоне среди «народных масс», от которых он с таким трудом оторвался[31].

Вследствие своего месторасположения и особой роли академия находилась под пристальным вниманием Кремля. Резолюции заседаний парторганизации академии публиковались в «Правде» как образец партийной работы для учебных заведений по всей стране. В апреле 1930 года Сталин произнес здесь речь, в которой призывал партийных лидеров усилить борьбу с правыми[32]. Стоит добавить, что молодая жена Сталина, Надежда Аллилуева, тоже училась в академии (на текстильном

отделении), и в ее переписке можно найти немало упоминаний об академии и ее делах[33].

Для такого амбициозного человека, как Хрущев, повышенное внимание властей к партийной жизни академии было просто даром свыше. «В этой борьбе моя роль резко выделялась в том коллективе, — вспоминал он позднее, — и все это было на виду у Центрального Комитета. Поэтому всплыла и моя фамилия как активного члена партии, который возглавляет группу коммунистов и ведет борьбу с углановцами, рыковцами, зиновьевцами и троцкистами в Промышленной академии»[34].

Эта борьба разгорелась осенью 1929 года. 4 сентября студент по фамилии Воробьев признался на заседании партячейки, что поддерживает Бухарина и других, разделяющих его взгляды. Позже в том же месяце партячейка академии вместе с Бауманским бюро райкома осудила то, что в то время называлось «антипартийной работой правых», и потребовала от вышестоящих властей принять меры. 4 ноября, когда первый секретарь Бауманского райкома А. П. Ширин потребовал от партячейки академии удвоить бдительность, мы впервые встречаем в протоколах заседания партячейки реплику Хрущева. Его выступление поражает своим воинственным тоном: «Правые создали вокруг Воробьева атмосферу заговора. В конце концов ячейка приняла „мудрое“ решение исключить Воробьева из академии. Но все остальные [правые] остались!!! Настало время выбрать такое [парт]бюро, которое не допустит никакой лжи и искажений вокруг политических вопросов»[35].

Очевидно, новое бюро должно было включать в себя самого Хрущева. Однако на этот раз «справедливость» не восторжествовала. Кандидатура Хрущева была отвергнута, и не один, а несколько раз. Разумеется, он клеймил ренегатами «правых» и «левых» всех сортов — а позже утверждал, что даже «не помнит», в чем между ними разница. «Правые, оппозиционеры, право-левацкий блок, уклонисты — все они, в сущности, двигались в одном направлении, а наша группа была против них»[36].

Правые в академии были ободрены как сталинской статьей «Головокружение от успехов», так и отставкой (весной 1930 года) московского партийного руководителя Карла Баумана, ставшего козлом отпущения за эксцессы сталинизма. В мае они сумели даже избрать своих единомышленников на районную партконференцию. 25 мая сотрудники Бауманского райкома сообщили Кагановичу и редактору «Правды» о махинациях правых в академии. В тот же вечер в общежитии академии зазвонил телефон: попросили Хрущева.

«Это было редкостью, потому что в Москве я ни с кем никакого знакомства не имел», — рассказывает Хрущев (по этому замечанию можно судить, как мало его интересовало что-либо, кроме политики). Звонил Лев Мехлис — человек, фанатично преданный Сталину, в свое время политический секретарь вождя, а ныне член редколлегии «Правды» (впоследствии он информировал своего бывшего хозяина о «врагах народа» в Красной Армии). По рассказу Хрущева, Мехлис попросил его немедленно приехать в редакцию и прислал за ним машину. У себя в кабинете Мехлис предложил Хрущеву подписать письмо, написанное от лица студентов академии и разоблачающее «махинации» правых по избранию своих делегатов на районную партконференцию. По словам Хрущева, он сперва заколебался, поскольку «его тогда там не было» и даже автора он не знал, — но в конце концов подписал. «А назавтра вышла „Правда“ с этой корреспонденцией. Это был гром среди ясного неба. Забурлила Промышленная академия, были сорваны занятия, все партгрупорги требовали собрания… На нем-то меня и избрали в президиум, и я стал председателем собрания… Избрали новых делегатов, в том числе и меня, на районную партийную конференцию»[37].

Этот эпизод стал проверкой. Не так уж важно, в самом ли деле Хрущев не сразу решился подписать письмо, или сорок лет спустя услужливая память преподнесла ему этот случай в более благоприятном свете; важно, что свою подпись он поставил. Секретарь партячейки академии А. Левочкин заявил, что публикация в «Правде» абсолютно неверно освещает нашу политическую линию, «очерняя ее с самого начала». Два дня спустя его место занял Хрущев[38].

Под руководством Хрущева партийная ячейка почти перестала обсуждать вопросы, связанные с учебой. Вместо этого на заседаниях клеймили «правых», исключали их из партии и выбрасывали из академии. У обвиненных давлением вымогали признания. Хрущев охотно верил слухам и прямой клевете, но не желал верить оправданиям, которые предлагали обвиняемые в свою защиту. Многие годы спустя он настаивал, что в то время (в отличие от последующих кровавых чисток) все решалось «в дискуссиях и при голосовании»[39]. Однако атмосфера, в которой проходили эти дискуссии, была уже сродни атмосфере тридцатых.

11 июня 1930 года некий И. П. Берзин, бывший партийный лидер одного из районов Подмосковья, признался, что в прошлом считал, «что Бухарина… исключать из ЦК нецелесообразно». Теперь он пришел к выводу, что в то время «глубоко был неправ».

Поначалу Хрущев удовлетворился этим признанием — но вспомнил о нем, как только Берзин осмелился выступить против самого Хрущева: «В ответ на оглашенное товарищем Хрущевым заявление, что якобы я веду на швейной фабрике фракционную работу и что брат у меня бывший белый офицер, с которым поддерживаю связь, категорически отрицаю и заявляю, что это наглая ложь»[40].

Обвинение Хрущева в самом деле было возмутительно, пусть даже в то время (в отличие от конца тридцатых) оно не грозило обвиненному смертью. Более того, Хрущев тут же обесценил признание, полученное от Берзина, добавив: «Надо подчеркнуть, что этого признания мы от него добились только под большим давлением»[41].

Другого студента, Мухитдинова, Хрущев обвинил в распространении контрреволюционных слухов, оскорблении руководителей партии и правительства, в том, что он был уволен с завода за хулиганство и исключен из Свердловского университета за троцкизм, а также в некоторых других грехах — все по сообщениям соучеников Мухитдинова[42]. Как и Берзин, Мухитдинов нашел в себе мужество протестовать: «Хрущев неправильно очернил и оклеветал меня. Заявления о моих нападках на товарища Сталина — наглая ложь». Но другие члены партийной ячейки поспешили на помощь своему новому лидеру: один даже обвинил Мухитдинова в том, что тот, «видите ли, требует доказательств своей вины». Сам же Хрущев несколько дней спустя заклеймил Мухитдинова «правым оппортунистом, [который] начал с несогласия с политикой партии в области коллективизации… и кончил распространением контрреволюционных слухов о восстаниях на Северном Кавказе [имеются в виду крестьянские волнения в Аджарии]». Согласно Хрущеву, Мухитдинов допускал выпады «против ЦК партии и вождя партии т. Сталина» и потому должен быть исключен из партии и из академии «как неисправимый уклонист»[43].

Настойчивость Хрущева в преследовании «уклонистов» скоро обеспечила ему восторженные панегирики на заседаниях партячейки. Он допускал одну-единственную ошибку — порой бывал «бóльшим сталинистом, чем сам Сталин», из тактических соображений проявлявший временами демонстративную мягкость к своим врагам. Так, 20 ноября 1930 года партбюро академии под руководством Хрущева приняло резолюцию о недоверии к «покаянию» Бухарина, а 22 ноября «Правда» отозвалась о том же «покаянии» куда более мягко. Получился конфуз: бюро пришлось собраться повторно и принять новую резолюцию, на этот раз написанную самим Хрущевым: «Данная в постановлении

прошлого собрания оценка заявления т. Бухарина — неправильна, это является политической ошибкой левацкого характера. Собрание эту характеристику отменяет»[44].

Несмотря на такие промахи, Хрущев чувствовал себя на коне. «Академия играла ведущую роль в борьбе с правыми, — вспоминал он позднее. — После этого моя фамилия стала еще более известна в Московской партийной организации и в Центральном Комитете». Собственно, она стала настолько хорошо известна, что скоро Хрущев занял место первого секретаря Бауманского райкома, сменив на этом посту Ширина, который всего год назад голосовал против него. «Он был политически недостаточно зрелым, и, видимо, у него имелись еще какие-то свои соображения»[45]. Теперь все препоны были позади: Хрущева ожидало блестящее будущее.

XVI съезд партии состоялся в июне-июле 1930 года. Официальным делегатом Хрущев не был, но получил от ЦК гостевой пропуск[46]. Однако, возглавив Бауманский райком, Хрущев вообразил, что Сталин лично следит за его продвижением.

В этом убедило его присутствие в академии Надежды Аллилуевой. По воспоминаниям всех, кто ее знал, Аллилуева была простой, скромной, доброжелательной женщиной. На текстильное отделение Промакадемии она поступила в 1929 году, имея уже двух детей — Василия и Светлану, — и специализировалась на проблемах создания искусственного волокна.

Аллилуева не афишировала свое родство со Сталиным, но, став секретарем партячейки, Хрущев, конечно, об этом узнал[47]. Хрущева восхищало то, что она «в академию приезжала только на трамвае, уходила вместе со всеми и никогда не вылезала как „жена большого человека“»[48].

Аллилуева была парторгом академической группы и часто заходила к Хрущеву, чтобы согласовать с ним свои действия. Не раз он спрашивал себя: «Она, придя домой, расскажет Сталину, и что он скажет?» Уже позднее, став заместителем Кагановича, Хрущев однажды был приглашен на ужин на дачу Сталина и немало изумился, обнаружив, как много известно вождю о его деятельности в академии.

«Я смотрел и недоумевал, — рассказывал Хрущев позднее, — откуда он знает? Потом понял, откуда он знает некоторые эпизоды из моей жизни. Видимо, Надежда Сергеевна подробно информировала его о жизни нашей партийной организации и о моей роли как ее секретаря, представив меня в хорошем свете»[49].

Во время написания мемуаров Хрущев отзывался об Аллилуевой с большой симпатией. «Цветущая, красивая такая женщина была!»[50] — восклицает он. Это очень понятно, особенно в свете ее трагической гибели. В 1932 году, в день пятнадцатой годовщины Октябрьской революции Сталин и его жена, по рассказам очевидцев, поссорились на праздничном ужине. Сталин, как рассказывают, грубо обругал ее и бросил ей в лицо зажженную папиросу (по другим свидетельствам — скатанный в шарик хлебный мякиш); а позже в тот же вечер, узнав, что он уединился у себя на подмосковной даче с другой женщиной, Надежда Сергеевна застрелилась[51].

Могла ли эта интеллигентная, тонко чувствующая женщина расхваливать мужу простого и грубоватого Хрущева? Возможно, все было ровно наоборот. Если, как можно судить по некоторым свидетельствам, многие стороны политики Сталина пугали его жену, не исключено, что она сожалела о травле правых, которую развернул Хрущев в стенах академии. Можно предположить, что жалобы Аллилуевой на Хрущева сделали то, чего не могли бы сделать ее похвалы, — заставили Сталина проникнуться к нему доверием[52].

В 1930 году Москва делилась на десять районов, из которых Бауманский был самым маленьким. Наиболее важную и почетную позицию в городе занимал большой Краснопресненский район. При централизованном советском режиме районное начальство имело мало власти по сравнению с городским. Однако первые секретари райкомов надзирали за всем, что происходило на вверенной им территории — от выполнения экономического плана до политических «чисток». В конце двадцатых — начале тридцатых работа районных властей была крайне неблагодарной: на них ложилась ответственность за невыполнение огромных, невыполнимых пятилетних планов, а хаотическое переплетение ответственности и обязанностей стесняло их работу.

Эта неблагодарная работа была словно создана для Хрущева. Благодаря сверхжестким требованиям любой успех здесь казался триумфом, а запутанная бюрократическая система руководства позволяла ему во все вмешиваться и всем руководить, выигрывая благодаря неистощимой энергии и напору. Кроме того, здесь он смог развернуться как мастер «чисток». В народных комиссариатах торговли и железнодорожного транспорта, в Объединении профсоюзов нефтяников, в Колхозном центре — везде открывались «факты оппортунистической практики и теории». На почве «политической близорукости и зажима самокритики» бауманские партийные власти аннулировали результаты выборов во Всесоюзную плановую комиссию,

разгромили партбюро в Институте нитрогена и Московском меховом тресте, а также потребовали новых выборов партбюро в издательстве «Молодая гвардия», заявив, что старое бюро «не реагировало на издание идеологически вредных книг»[53].

Не забыл Хрущев и своей старой вражды с «правыми» из Промакадемии. «Когда были разработаны указания по чистке [академии],— рассказывал он на районной партконференции в январе 1931 года, — они заявили, что эти указания направлены против лучшей части партии, что после чистки в академии останутся только стопроцентные лакеи». В ответ Хрущев обвинил «правых» в желании «отсидеться в болоте»[54], поджидая благоприятного момента.

Свести счеты с врагами из Промакадемии оказалось проще простого. А вот в руководстве экономикой Хрущев далеко не так преуспел: выполнение пятилетнего плана Бауманский район безнадежно провалил. Однако такие далеко не блестящие результаты не остановили продвижения Хрущева наверх.

Следующая остановка: Краснопресненский район — район с богатой революционной историей, овеянной романтикой баррикадных боев. Управлять им было почетно; среди других первый секретарь Краснопресненского райкома рассматривался как «первый среди равных»[55]. На городском партбюро, где Хрущев был выбран на эту должность, его попросили сказать несколько слов.

«Вел бюро Каганович, — вспоминала Е. Г. Горева, в то время секретарь московского женотдела. — Хрущева попросили кратко рассказать свою биографию. Или он сильно волновался, либо еще почему, говорил Никита Сергеевич запинаясь, зачастую неправильно произнося слова. „Неужели нельзя было для Красной Пресни найти элементарно грамотного человека?“ — тихо обратилась я к одному из своих соседей по столу. Вижу — председательствующий грозит мне пальцем, видимо, чтобы не разговаривала. После того как бюро закончилось, кандидатуру Хрущева утвердили, Каганович подозвал меня к себе. „Я все слышал, — бросил он весьма сурово. — Если хочешь, чтобы кресло осталось под тобой — помалкивай!“»[56]

Это был не единственный неудачный дебют Хрущева. Первая его торжественная речь в качестве секретаря Краснопресненского райкома так затянулась, что слушатели начали указывать ему на часы; он столько говорил об экономике, что произвел впечатление «технократа», а главное, имел неосторожность заявить, что лишь с приходом на руководящий партийный пост в Москве Кагановича были преодолены «все перегибы, искривления и извращения» и «взята верная линия». Очевидно, Хрущев

позабыл, что предшественником Кагановича на этом посту был не кто иной, как Вячеслав Молотов, ближайший сподвижник Сталина, ныне занимавший пост главы правительства СССР[57].

Оба эпизода ясно показывают, что мешало Хрущеву в его продвижении наверх. Однако он хорошо справлялся с новой работой, вполне оправдывая свое назначение. В экономическом отношении Краснопресненский район был более развит, чем Бауманский. Заседания партбюро райкома были посвящены вопросам управления производством и строительством, обеспечения заводов сырьем, пищевых поставок. Хрущев мобилизовал весь район на выполнение плана и прием в партию новых членов. Он организовал около двадцати тысяч рабочих в «ударные бригады», работавшие согласно так называемой «прогрессивке» — системе, предполагавшей минимальную оплату за определенный объем работы, а затем прогрессивно растущие премии за увеличение объема.

Для Хрущева и его коллег «не было таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Даже русский историк, враждебный Хрущеву, не может сдержать восхищения его краснопресненскими успехами. Хотя речь Хрущева на районной партконференции в январе 1932 года и содержала привычные инвективы в адрес уклонистов всех мастей — по большей части, пишет он, доклад напоминал «отчет добросовестного, знающего свое дело хозяйственника»[58].

Руководство Бауманским, а затем Краснопресненским районами стало для Хрущева важной ступенькой карьерной лестницы; однако настоящий поворот совершился, когда Хрущев стал заместителем Кагановича. Поскольку последний занимал одновременно три важных поста (первый секретарь Московского горкома и обкома и заместитель Сталина в ЦК), управление Москвой фактически легло на Хрущева. Стоит отметить, что по понятным причинам партийное и советское руководство Москвы пользовалось особым вниманием Сталина (не случайно Московский горком партии располагался на Старой площади рядом с Секретариатом ЦК).

С этих пор мнение Хрущева о том, что Сталин следит за каждым его шагом, превратилось из фантазии в реальность. Учебу пришлось бросить окончательно, и от этого Хрущев чувствовал себя особенно уязвимым: «Это требовало огромного напряжения сил, если учесть, что соответствующих знаний и опыта у меня не было»[59].

«Поражает быстрый рост Хрущева, — записывает в своем дневнике один из московских чиновников. — В Промакадемии он

учился кое-как — а теперь стал вторым секретарем при Кагановиче! Это при том, что он тупица чистой воды — только и умеет, что подлизываться к начальству»[60].

Тупицей Хрущев не был. Однако предстоящие ему задачи могли бы смутить и более образованного и разностороннего человека. В столице строились новые предприятия, расширялись и переоборудовались старые. Она превращалась в огромный оборонно-научно-индустриальный комплекс. Москва, став гигантской стройкой (только в 1931 году встали в строй сто новых заводов и фабрик, а к концу первой пятилетки были перестроены еще триста), наводнилась приезжими из сельской местности: 411 тысяч новых жителей (увеличение на 15 %) в 1931 году, 528 тысяч, то есть почти полторы тысячи в день — в 1932-м, а за весь период с 1928 по 1932 год — прирост на полтора миллиона человек, или на 70 %. Обеспеченность жильем и бытовыми услугами не поспевала за хаотическим ростом населения.

Переполненная людьми, изрытая канавами и траншеями, гудящая от грохота отбойных молотков и рычания экскаваторов — такой была Москва, над которой взял шефство Хрущев. Неудивительно, что во время своего первого выступления на Политбюро он заметно нервничал. Московские рабочие, о которых Сталин всегда выказывал особую заботу, в 1932 году буквально голодали, и вождь, неусыпно заботившийся о благе трудящихся, «выдвинул идею» заняться кролиководством. Естественно, Хрущев «с большим рвением проводил в жизнь указание Сталина… Каждая фабрика и каждый завод там, где только возможно, и даже, к сожалению, где невозможно, разводили кроликов. Потом занялись шампиньонами: строили погреба, закладывали траншеи. Некоторые заводы хорошо поддерживали продуктами свои столовые, но всякое массовое движение, даже хорошее, часто ведет к извращениям… Не все директора поддерживали их… При распределении карточек с талонами на продукты и товары было много жульничества. Ведь всегда так: раз карточки, значит, недостача, а недостача толкает людей, особенно неустойчивых, на обход законов».

Каганович предложил Хрущеву выступить на Политбюро и доложить о мерах по исправлению ситуации. «Это меня очень обеспокоило и даже напугало, — вспоминал позднее Хрущев. — Выступать на таком авторитетном заседании, где Сталин будет оценивать мой доклад!»

Доклад прошел неудачно. Обычная стратегия Хрущева — говорить вождям то, что они хотят услышать, — была вполне оправдана; Сталин часто верил хорошим новостям, даже если они

расходились с истиной. Однако в московской жизни Сталин разбирался, о проблемах с кроликами и карточками был хорошо осведомлен и сразу понял, что Хрущев приукрашивает действительность.

— Не хвастайте, не хвастайте, товарищ Хрущев, — проворчал он. — Много, очень много осталось воров, а вы думаете, что всех выловили.

Нетрудно представить, с какими улыбками и смешками начали переглядываться члены Политбюро при этих словах. Сталин высмеял Хрущева, но высмеял добродушно, так, что это не унизило, а, скорее, подбодрило его. «На меня это сильно подействовало: действительно, я посчитал, что мы буквально всех воров разоблачили, а вот Сталин хоть и не выходил за пределы Кремля, а видит, что жуликов еще много. По существу, так и было. Но то, как именно он подал реплику, понравилось мне очень: в этаком родительском тоне. Это тоже поднимало Сталина в моих глазах»[61].

Хрущев упорно работал над собой, стараясь преодолеть свои недостатки. «Приходилось брать усердием и старанием, затрачивая массу усилий»[62], — говорил он позднее. Как рассказывал Эрнест Кольман, в то время работавший с Хрущевым, «он восполнял (не всегда удачно) пробелы в своем образовании и общекультурном развитии интуицией, импровизацией, смекалкой, большим природным дарованием»[63].

Протоколы заседаний Московского горкома за 1933 год полны обсуждений повседневных вопросов, от развития промышленности до организации путевок для работников секретариата[64]. По словам Хрущева, это был «период большого подъема в партии и по стране… Именно на мою долю как второго секретаря горкома партии, а фактически первого, поскольку Каганович был очень загружен по линии ЦК, приходилось все это строительство… Москва того времени уже была крупным городом, но с довольно отсталым городским хозяйством: улицы неблагоустроены; не было должной канализации, водопровода и водостоков; мостовая, как правило, булыжная, да и булыга лежала не везде; транспорт в основном был конным. Сейчас страшно даже вспомнить, но было именно так»[65].

В 1936 году Эрнест Кольман стал секретарем горкома, курировавшим науку. Его отдел, в котором не было ни одного ученого, надзирал за деятельностью сотен научно-исследовательских институтов. «…Нужны были энциклопедические знания, такие, какими никто из нас не обладал, — вспоминал Кольман, — да в наше время никто обладать и не может. Как и всюду тогда, работали мы не только

днем, но и по ночам, до рассвета, но я убежден, что не с большой пользой, а отчасти даже с вредом для дела». Сложилась парадоксальная ситуация: интеллектуальной жизнью Москвы руководили люди, глубоко не сведущие в науке и культуре — Каганович и Хрущев. Однако о них обоих Кольман вспоминал с теплотой, по крайней мере в этот период: «Оба они перекипали жизнерадостностью и энергией — эти два таких разных человека, которых, тем не менее, сближало многое. Особенно у Кагановича была прямо сверхчеловеческая работоспособность… Каганович был склонен к систематичности и даже теоретизированию, Хрущев же к практицизму, к техницизму. Помнится, как мы с Хрущевым посетили в Политехническом музее выставку новейших советских изобретений, когда он, как ребенок, восхищался „говорящей бумагой“ — подобием магнитофонной ленты, на которую мы оба что-то наговорили, а пришедшая с нами Катя [жена Кольмана] пропела какую-то песенку».

Ни Хрущев, ни Каганович, если верить Кольману, не были «испорчены властью». «Оба они… были по-товарищески просты, доступны, особенно Никита Сергеевич, эта „русская душа нараспашку“, не стыдившийся учиться, спрашивать у меня, своего подчиненного, разъяснений непонятных ему научных премудростей».

Однажды Кольман упомянул о словах Ленина, как-то предложившего план подземной газификации угля. Хрущев, со своим всегдашним стремлением решать экономические проблемы путем технических находок, «загорелся этой идеей. Он решил направить меня в Донбасс, чтобы я ознакомился там с ведущимися опытами по газификации с тем, чтобы перенести их в Подмосковье. Хотя я протестовал, предлагая, чтобы этим занялся специалист-горняк, Хрущев настоял». Кольман вместе с женой отправился в Донбасс, провел необходимые исследования на земле и под землей и, вернувшись домой, сообщил, что не обнаружил в Донбассе (как он писал позднее) «ничего особенно утешительного». Не вняв его предупреждениям (еще одна характерная черта), Хрущев приказал организовать такое же производство в Подмосковье.

В другой раз Кольман сопровождал Хрущева и двух высокопоставленных военных при осмотре секретной военной базы под Можайском. Здесь, в глухом лесу, под надежной охраной, стоял «деревянный сарай тридцати или сорока метров в длину, без окон, но ярко освещенный». В одном конце ангара размещался громоздкий научный прибор, в другом — клетка с большой крысой. Когда изобретатель повернул рычаг, «бедная крыса свалилась набок и, вытянув лапки, навсегда замерла.

Изобретатель пояснил довольно невнятно, что это подействовал какой-то дзета-луч на сердце животного. На пристрастные расспросы Никиты Сергеевича он признал, что, для того чтобы радиус лучей увеличить до трех-четырех километров, потребовалось бы затратить в десять тысяч раз больше энергии, а следовательно, для военных целей они пока не пригодны»[66].

Скорее всего, добавляет Кольман, их пытались обмануть, а крыса погибла от обыкновенного электрошока. Надо заметить, что позднее, будучи уже главой Советского государства, в отношениях с военными Хрущев не раз проявлял самостоятельность и неуступчивость; однако перед высокими технологиями он никогда не мог устоять. Увлечение фантастическими техническими проектами стало оборотной стороной его грубого антиинтеллектуализма: в том и в другом отражалось противоречивое отношение к высшему образованию, которое, по уверениям Хрущева, вечно от него ускользало — хотя скорее уж сам он от него ускользал.

Важнейшим и грандиознейшим из строительных проектов, за выполнение которых отвечал Хрущев, был Московский метрополитен, ставший своеобразным символом сталинской Москвы. Метрополитен должен был стать лучшим и самым дорогим в мире — не потому, что в этом нуждались жители (если бы правительство заботилось только о нуждах москвичей, разумнее было бы улучшить наземные коммуникации, а сэкономленные средства направить на развитие жилищного строительства и коммунальных служб), а ради престижа страны. На случай войны тоннели и станции метро делались беспрецедентно глубокими — чтобы их можно было использовать как бомбоубежища. В то же время метрополитен должен был стать символом пути в будущее, и ради создания этого символа никакая цена не казалась слишком высокой. Только в одном 1934 году на строительство метро было затрачено 350 миллионов рублей (при 300 миллионах, затраченных на производство товаров народного потребления за всю первую пятилетку); станции возводились из мрамора, бронзы, других дорогих материалов (в том числе изъятых из соборов и разрушенных храмов), украшались скульптурой, мозаикой и витражами[67].

Работы по строительству метро начались еще в 1931 году, однако только при Хрущеве развернулись в полную силу. 7 ноября 1934-го, в годовщину революции, должна была вступить в строй первая линия московской «подземки». Опыт, полученный в юзовских шахтах, помог Хрущеву оценить преимущества закрытых тоннелей по сравнению с открытыми[68]. Однако, «когда решался вопрос об этом, — рассказывал он позднее, — мы очень

слабо представляли себе, что это за строительство, были довольно наивны и смотрели на это как на нечто чуть ли не сверхъестественное. Сейчас гораздо проще смотрят на полеты в космос, чем мы тогда — на строительство в Москве метрополитена»[69].

Несмотря на свое невежество (или, возможно, благодаря ему), в работе Хрущев шел на отчаянный риск. Вместе с главой Моссовета Николаем Булганиным он безжалостно эксплуатировал рабочих-метростроевцев, заставляя их работать по сорок восемь часов без отдыха и не обращая внимания на предупреждения инженеров о том, что тоннели могут обрушиться, увлекая за собой наземные постройки. На стройке нередки были несчастные случаи — подземные пожары и наводнения; в прессе о них писали лишь как о демонстрации героизма на службе великой цели[70].

Хрущев не жалел не только других, но и себя. «Собственно говоря, — вспоминал он, — я 80 % своего времени отдавал тогда метрополитену. И на работу в горком, и с работы ходил через шахты метро. Какой у нас реально был рабочий день, сказать просто трудно. Я вообще не знаю, сколько мы спали. Просто тратили минимум времени на сон, а все остальные часы отдавали работе, делу»[71].

К ноябрю 1934 года достроить первую линию не удалось; зато 1 мая 1935 года пустили первые поезда — от Сокольников до Парка Культуры и от улицы Коминтерна (затем — Калинина) до Киевского вокзала. Хрущев сам ехал на первом поезде вместе с Кагановичем, чье имя получил метрополитен. Процитируем воспоминания одного из инженеров-метростроевцев: «В жизни каждого человека бывают особенно памятные дни. В такие дни все, что казалось тебе давно знакомым, вдруг предстает в новом свете. Ощущаешь любовь к тому, что прежде воспринимал как должное. Таким днем для меня стал день, когда со мной заговорил товарищ Хрущев»[72].

За заслуги в деле строительства метрополитена Хрущев был награжден орденом Ленина. Один из московских электротехнических заводов получил его имя, а к списку его должностей добавился пост первого секретаря Московского обкома. О том, что означал для него орден Ленина, лучше всего сказал сам Хрущев: «Это был мой первый орден… У меня был орден Ленина с номером где-то около 110. За пять лет только 110 человек получили орден Ленина! Вот как он высоко ценился. Что ж, так и должно быть: чем больше ценится награда, тем лучше. Потом ордена Ленина начали раздавать направо и налево, и значение этого ордена понизилось»[73].

Достаточно посмотреть кинохронику, запечатлевшую

Хрущева в 1935 году, чтобы зримо представить его карьерный рост и возросшую уверенность в себе. Вот он инспектирует строительство нового моста через Москву-реку у станции метро «Киевская». Хрущев появляется в большом черном лимузине вместе со свитой функционеров. В длинном, темном, хорошо сшитом пальто (и с телохранителем из НКВД за спиной) он машет рукой собравшимся рабочим, широко улыбается и пожимает руки. Его приезд совпал с перекуром, и все стоят с папиросами — все, кроме пуританина Хрущева. Решительным шагом он проходит по мосту, раздавая направо и налево указания, затем садится в черный лимузин и уезжает, сопровождаемый свитой из еще нескольких черных машин.

В последний момент оператор снимает его крупным планом, фиксируя внимание на глазах — ярких, удивительно живых и проницательных. Много лет спустя взгляд Хрущева поразил друга его сына Сергея, в пятидесятых годах впервые встретившегося с отцом своего приятеля. Его изумил контраст между непрезентабельной фигурой Хрущева — и его живым, пронзительным взглядом. «Чтобы понять, как Хрущев достиг такой власти, достаточно было взглянуть ему в глаза»[74].

Кадры кинохроники 1935 года рассказывают нам о визите Хрущева в московский детский сад номер 12, также носивший его имя. Он со своей свитой появляется в детсаду после дневного сна, когда дети уже одеты и пьют чай в чистенькой столовой. Хрущев и его помощники в белых толстовках: на нем — темный цивильный пиджак, на других — что-то вроде кителей. Хрущев осматривает детский стульчик, вертит его в руках, проверяя, как он сделан, затем берет в руки крохотный детский башмачок. При разговоре с детьми лицо «отца города» лучится заразительной улыбкой. А вот Хрущев выступает на собрании партийных активистов электролампового завода: «сталинский» френч, все та же улыбка, сияющая ярче любых электрических ламп, энергичные «дирижерские» жесты — сразу видно, что перед публикой Хрущев чувствует себя как дома. Во время произнесения речи он перекидывается со слушателями неформальными репликами и явно наслаждается этим состязанием в остроумии.

Однако не всегда все шло так гладко. Склонность Хрущева принимать решения, не подумав, иной раз доставляла ему неприятности. Так, начатая им кампания «стахановского труда» вызвала недовольство вышестоящего начальства, обвинившего его в «слепой погоне за рекордами»[75].

В 1934 году Хрущеву передали просьбу позвонить по телефону, в котором он узнал домашний номер Сталина. Вождь

хотел поговорить с ним об общественных туалетах. «До меня дошли слухи, — сказал Сталин, — что у вас в Москве неблагополучно обстоит с туалетами. Даже „по-маленькому“ люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. Вы подумайте с Булганиным о том, чтобы создать в городе подходящие условия»[76].

В сносе старой Москвы роль Хрущева не была ведущей, однако он и не противился этому. «Мы рубим деревья, — говорил он на пленуме ЦК в 1937 году, — мы рубим там, где надо, чтобы перестроить город Москву, чтобы это была столица, а не деревня и чтобы покончить с мнением, что Москва — это большая деревня»[77].

«Некоторые большевики, — добавлял он на городской партконференции в том же году, — проливают слезы и говорят: „Смотрите, что же вы сносите?!“ Я бы сказал… такие вот слезы и рыдания мне очень напоминают героев „Вишневого сада“… Мы не можем ставить интересы людей, живущих здесь или там, выше интересов целого города»[78].

Сталин поощрял презрение своих приспешников к старине, однако, когда его ушей достигали жалобы, легко сваливал всю вину на них. Однажды известный авиаконструктор Александр Яковлев был на приеме у Сталина и после обсуждения деловых вопросов у них завязался разговор. Сталин спросил, что говорят москвичи, и, видя, что вождь в хорошем настроении, Яковлев осмелился заметить, что люди недовольны уничтожением парков и зеленых аллей и говорят: «Это оттого, что вождь не любит деревьев». Сталин в ответ обвинил во всем Хрущева и Булганина. Он, мол, однажды указал им на какой-то неприглядный куст и заметил: «Такая зелень нам в городе не нужна… Но Хрущев и Булганин поняли мои слова по-своему, по пословице: „Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет“. Вот видишь, Молотов? — добавил он, обращаясь к стоящему рядом предсовмина. — Что они ни натворят, за все мы в ответе»[79].

Вскоре после XVII съезда партии (1934 год), на котором Хрущев произнес речь, восхваляющую «нашего гениального вождя товарища Сталина» и заверяющую в «принципиальной, идеологической солидарности Московской партийной организации под умелым руководством Лазаря Моисеевича Кагановича»[80], диктатор начал готовить новую кампанию против тех, кто осмеливался ему противостоять. 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит Киров[81]. Вскоре после этого, без консультаций с Политбюро, Сталин издал указ, ускоряющий

следствие по делам, связанным с террористическими актами, и потребовал, чтобы смертные приговоры по таким делам выносились «незамедлительно»[82]. На основании этого указа было возбуждено множество дел о «контрреволюционных преступлениях», в том числе и не имеющих ничего общего с убийством Кирова; по большинству из них были вынесены смертные приговоры[83]. В январе 1935 года партийные организации получили секретное письмо ЦК, предписывавшее вычищать из партии замаскировавшихся оппозиционеров всех мастей. Следом началась волна арестов, названная в лагерях «кировским потоком». Несколько десятков тысяч человек (в основном бывшие аристократы, купцы, чиновники и их семьи, но также и рабочие, и крестьяне) были выселены из Ленинграда, немного меньше — из Москвы[84]. Внутрипартийная чистка, проведенная в столице в 1935 году, закончилась исключением из партии 7,5 % партийцев — как бывших оппозиционеров, так и ничем не запятнанных коммунистов[85].

В январе 1935 года Зиновьев, Каменев и еще семнадцать человек были арестованы по обвинению в создании «Московского центра», вовлеченного в убийство Кирова. Пока что все они были приговорены к тюремному заключению сроком от пяти до десяти лет. Период с июля 1935-го по август 1936 года стал «затишьем перед бурей». Именно в это время была принята новая советская конституция, написанная в основном Бухариным: в ней громогласно декларировались всевозможные права и свободы советских граждан. Тем временем Сталин тайно готовил новый суд над Зиновьевым, Каменевым и другими членами воображаемого «троцкистско-зиновьевского центра», на этот раз — на основании вымученных под пытками признаний в подготовке к убийству не только Кирова, но и самого Сталина.

Новый суд начался 19 августа 1936 года, в бело-голубом бальном зале Дворянского собрания, теперь известном как Октябрьский зал Дома союзов. Главный обвинитель Андрей Вышинский требовал «расстрелять этих бешеных собак — всех до единого». И все они были расстреляны, несмотря на то, что, вымогая у Зиновьева признание, Сталин лично обещал ему пощадить жизни самих «заговорщиков», их семей и сторонников[86].

Перед, во время и после суда Хрущев с неизменным энтузиазмом поддерживал Сталина. Он призывал московских партработников «воспитывать в массах ненависть к врагу, ненависть к контрреволюционным троцкистам, зиновьевцам, ненависть к осколкам правых уклонистов и вместе с тем… любовь к партии большевиков, любовь к вождю и учителю товарищу

Сталину»[87]. За три дня до окончания процесса он требовал для Зиновьева и Каменева смертной казни: «Всякий, кто радуется успехам нашей страны, достижениям нашей партии под руководством великого Сталина, найдет для продажных наймитов, фашистских псов из троцкистско-зиновьевской банды лишь одно слово: и это слово — расстрел»[88].

В январе 1937 года начался следующий показательный процесс[89]. На этот раз Хрущев требовал крови в речи, которую слушали морозным утром на Красной площади около двухсот тысяч москвичей: «Троцкистская клика — это банда шпионов и наемных убийц, диверсантов, агентов германского и японского фашизма. От этих троцкистских дегенератов исходит трупная вонь…» Страшнейшее преступление «Иуды-Троцкого и его банды» состояло в том, что они «подняли злодейскую руку на товарища Сталина… знамя всего прогрессивного человечества. Сталин — наше знамя! Сталин — наша воля! Сталин — наша победа!»[90].

Зиновьев и Каменев дали показания на Бухарина и Рыкова: однако прежде чем судить и приговорить к смерти и этих бывших соратников, Сталин должен был изгнать их из ЦК. На пленуме ЦК в феврале 1937 года, хотя Бухарину и Рыкову не дали сказать ни слова в свою защиту, мнения тридцати шести членов комитета относительно их дальнейшей судьбы разделились: одни голосовали за суд (разумеется, с последующей казнью — в решении «независимого» суда никто не сомневался), другие предлагали более мягкие наказания[91]. Единственная зафиксированная речь Хрущева на этом пленуме касалась невинного вопроса — подготовки к предстоящим выборам[92]. Он не принадлежал к тем, кто прерывал Бухарина выкриками с места[93], а при голосовании отдал голос за суд, но без предварительного утверждения смертного приговора[94].

Чистки продолжались. На очереди стоял разгром высшего командования Красной Армии, включая талантливого военачальника Михаила Тухачевского, которого так недоставало Советскому Союзу в первые месяцы Великой Отечественной войны. Сам Хрущев голосовал за включение в Московский партийный комитет наркома армии и флота Яна Гамарника. Неделю спустя, когда «Правда» заклеймила Гамарника «троцкистским выродком», Хрущев заявил: теперь ему стало очевидно, что «враг хитро маскируется и умело скрывает свою подрывную работу…»[95].

Отряды сталинских палачей направились в провинцию. Из всех первых секретарей только Андрею Жданову в Ленинграде, Берии на Кавказе и Хрущеву в Москве доверено было руководить чистками[96]. Как ни отвратительно было поведение партийных

лидеров, науськивающих народ на своих бывших кремлевских коллег, делали они и кое-что похуже — заставляли обезумевших от страха партийцев доносить друг на друга. Именно так поступал Хрущев. «Это не открытая борьба, — предупреждал он делегатов на Московской городской партконференции в мае 1937 года, — это не фронт, когда пули летят с вражеской стороны, а это борьба с человеком, который с тобой рядом сидит, который восхваляет успехи наши и достижения нашей партии и в это же время сжимает револьвер в кармане для того, чтобы выбрать момент и пустить тебе пулю, как они пустили в Сергея Мироновича Кирова». Такого предателя надо «сволторозить и хорошо набить ему морду»[97], а потом добиться от него признаний «под давлением неоспоримых доказательств, собранных товарищами из НКВД»[98].

«Нужно уничтожать этих негодяев! — гремел Хрущев в августе 1937 года. — Уничтожая одного, двух, десяток, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врага на благо народа!»[99]

Хрущев способствовал аресту и ликвидации собственных коллег и друзей. Из тридцати восьми руководителей Московской городской и областной партийных организаций выжили только трое. Из 146 партсекретарей других городов и районов Московской области были «репрессированы», выражаясь постсталинским эвфемизмом, 136. Из 63, избранных в мае 1937 года в Московский городской партийный комитет, погибли примерно 45. Из 64 членов обкома сгинули в кровавой мясорубке 46[100].

Арестованы были двое личных помощников Хрущева, Рабинович и Финкель. Та же судьба постигла Семена Корытного, когда-то работавшего с Хрущевым в Киеве. То же случилось с человеком по фамилии Марголин — когда-то киевским помощником Хрущева, учившимся вместе с ним в Промакадемии, сменившим его на посту первого секретаря Бауманского райкома и работавшим его помощником в Московском горкоме. «Одним словом, — заключает Хрущев в своих воспоминаниях, — почти все люди, которые работали рядом со мной, были арестованы»[101].

Процесс чистки требовал от Хрущева одобрения этих арестов. Региональные партийные руководители обязаны были утверждать взятие своих подчиненных под арест и вынесение им приговоров; вместе с главами местных отделений НКВД и прокурорами они образовывали так называемые «тройки», имевшие возможность выносить смертный приговор без права апелляции. Поначалу НКВД требовалось предварительное согласие партийных

руководителей; затем, по всей видимости, чекисты начали выносить приговоры сами, а партийцы одобряли их задним числом[102].

В некоторых случаях Хрущев играл и более значительную роль. Так, 27 июня 1937 года Политбюро установило «план»: в Москве и Московской области следовало арестовать не менее 35 тысяч «врагов» и не меньше пяти тысяч из них расстрелять. Хрущев предложил в рамках этого плана ликвидировать две тысячи проживающих в Москве бывших кулаков[103]. 10 июля 1937 года он доложил Сталину, что в Москве и области арестована 41 тысяча 305 «преступных и кулацких элементов». В том же документе он требует расстрела для 8 тысяч 500 «врагов первой категории»[104].

По словам историка, беседовавшего с теми, кто выжил, Хрущев ничего или почти ничего не предпринимал, чтобы помочь своим друзьям и коллегам спастись от лагерей и смерти[105]. Он помог дочери Рыкова Наталье, которой был 21 год, устроиться на работу в школу — однако позже, в 1938 году, когда Хрущева перевели на Украину, она была арестована и провела 18 лет в ГУЛАГе[106]. Когда арестовали зятя Кольмана, Хрущев попросил последнего уволиться, но сам нашел для него новую работу. Однако ни одного из своих даже ближайших и доверенных сотрудников он не спас ни от ареста, ни от расстрела[107].

Молотов, Каганович и Ворошилов по мановению Сталина подписывали длиннейшие «расстрельные списки», сквозь зубы браня осужденных, чтобы угодить тирану[108]. Допустимо предположить, что списки Хрущева были короче и что он при этом не ругался[109]. Ему случалось инспектировать тюрьмы; можно предположить, что места расстрелов, политые кровью тысяч невинных жертв, оставались ему неизвестны. Однако вина его велика, хотя в своих воспоминаниях он и пытается это отрицать.

Хрущев признает, что однажды «бросил случайный взгляд» на работу НКВД изнутри. На Московской партконференции в мае 1937 года он выдвинул в члены комитета кандидатуру известного и уважаемого военного комиссара. Слушатели уже встретили предложение громовыми аплодисментами, как вдруг «перед самым голосованием раздался звонок… „Сделай все, чтобы не отводить этого комиссара прямо, а 'проводить' его, потому что мы его арестуем. Он связан с врагами. Это хорошо замаскировавшийся враг“… Тогда я собрал секретарей партийных комитетов и рассказал им, что имеются указания относительно комиссара… Комиссар не получил большинства и не был

избран»[110].

По такому же представлению от НКВД пришлось отвергнуть кандидатуру ветерана-большевика Емельяна Ярославского. «Мне это было очень тяжело», — но еще тяжелее, рассказывает дальше Хрущев, было ему получить от уважаемой старой большевички письмо с обвинениями в недостойном поведении по отношению к Ярославскому. «Потом я говорил с ней и объяснил ей, что это было указание ЦК»[111].

Когда «был составлен список людей, подлежащих выселению из Москвы, — рассказывал позднее Хрущев, — я не знал, куда их выслали. И никогда не спрашивал. Мы работали так: если нам чего-то не говорят, значит, нас это не касается, это дела государственные, и чем меньше об этом знать, тем лучше»[112].

На другой партконференции, где делегаты, надеясь спасти свою шкуру, сыпали обвинениями в измене и вредительстве, Хрущев зачитал суровую резолюцию. «Резолюция была ужасная, — рассказывал он позднее, — столько там было накручено в адрес врагов народа. Она требовала продолжать оттачивать нож и вести расправу (как теперь уже ясно, с мнимыми врагами). Не понравилась мне эта резолюция, но я был в большом затруднении: как же быть?» В это время, если верить его воспоминаниям, «мы и не знали, что арестованные уничтожаются, а считали, что они просто посажены в тюрьму и отбывают свой срок наказания»[113].

Будучи кандидатом в члены Политбюро, Хрущев имел возможность читать поступающие в Политбюро документы. Однако, по его собственным словам, «я получал только те материалы, которые Сталин направлял по своему личному указанию. Эти материалы касались чаще всего „врагов народа“: их признания — целая кипа „признаний“, уже якобы проверенных и доказанных». Хрущев уверял, что не сомневался в истинности этих признаний. В конце концов, «их рассылал сам Сталин!»[114]

Однако легче всего понять, что знал и чего не знал Хрущев, на примере арестов его ближайших друзей. В предательство Зиновьева, Каменева и прочих далеких фигур поверить несложно; но Иона Якир и Семен Корытный? С генералом Якиром Хрущев подружился в Киеве. Они поддерживали связь и когда Хрущев переехал в Москву, поскольку сестра Якира была замужем за его коллегой Корытным. За несколько часов до ареста «Якир приехал в Огарево к сестре, — вспоминает Хрущев, — и мы с ним долго ходили по парку, беседовали»[115].

Во время Гражданской войны Якир лично расстреливал белогвардейских офицеров[116]. Коллективизация и голод на Украине — во многом на его совести. Однако, когда НКВД начал

аресты его ближайших сотрудников, Якир навещал их в тюрьме и осмелился даже открыто усомниться в их виновности[117]. Это добавило его имя к списку обреченных.

Нетрудно представить, что испытывал Якир в мае 1937 года, когда вокруг него все туже сжималось кольцо арестов. Вполне понятно, что он скрывал свой страх даже от ближайшего друга Никиты, отдыхая с ним на подмосковной даче; в такие ужасные времена даже друзья не доверяют друг другу. И вдруг, день или два спустя, вспоминает Хрущев — «Якир — предатель, Якир — враг народа! Раньше Сталин очень уважал Якира… И вдруг Якир и вся эта группа — враги народа?» Однако, говорит Хрущев, «тогда еще не было сомнений насчет того, что они могут оказаться жертвами клеветы… Тогда у нас ничто не вызывало сомнений»[118].

На следующий день, когда Сталин представил в Политбюро записку с предложением исключить Якира из партии и передать его дело НКВД, среди прочих поставил свое одобрение под текстом и Хрущев: «Голосую за предложение Политбюро. Н. Хрущев»[119]. Возможно, в конце концов он и убедил себя в том, что Якир виновен — на какие сделки с совестью не пойдешь, чтобы спасти собственную шкуру! «Я волновался, — вспоминал он позже. — Во-первых, мне было его жалко. Во-вторых, тут могли и меня потянуть: мол, всего за несколько часов до ареста Якир был у Хрущева, заходил к нему ночью, и они ходили и все о чем-то разговаривали»[120].

Что же до Корытного — он, не выдержав напряжения, попал в больницу с сердечным приступом. В тот же вечер, когда его навещал Хрущев, за ним явились из НКВД. Хрущев рассказывает: «В этом случае у меня нашлось еще какое-то объяснение. Хотя я и считал Корытного честнейшим, безупречным человеком, но раз Якир оказался изменником, предателем и агентом фашистов, а тот был его ближайшим другом… Значит, возможно, я ошибался и зря доверял этому человеку»[121].

Приемная дочь Хрущева Юлия приводит дело Корытного как доказательство того, что о невиновности многих арестованных ее отец знал[122]. И сам Хрущев подходит вплотную к такому признанию, говоря о судьбе своих помощников Рабиновича и Финкеля: «Я никак не мог допустить даже мысли, что эти двое, Рабинович и Финкель, которых я отлично знал, могут быть действительно „врагами народа“. Но на всех, кого арестовывали, имелись фактические материалы [видимо, признания обвиняемых], и я не имел возможности их опровергнуть». В случае с Марголиным на миг прорывается откровенность: «Я просто не мог допустить мысли, что Марголин — враг народа»[123].

В другом месте своих воспоминаний Хрущев говорит о людях, которых в свое время клеймил «предателями»: «Сейчас самое выгодное было бы сказать: „В глубине души я им сочувствовал“. Нет, наоборот, я и душой им не сочувствовал, а был в глубине души раздражен и негодовал на них, потому что Сталин (тогда мы были убеждены в этом) не может ошибаться!»[124]

Признание в жалости к предполагаемым преступникам вовсе не было выгодно для Никиты Сергеевича — ведь оно означало бы, что уже тогда он сомневался в их виновности. Ему оставалось одно — не только уверять всех вокруг, что он свято верил в их виновность, но и постараться убедить в этом самого себя. Противоречия и натяжки в этой части воспоминаний Хрущева столь сильны, что один из его биографов замечает: «Сами по себе, ничем не подтвержденные, его слова ничего не стоят»[125]. При всем своем искусстве обмана и самообмана одурачить читателей Хрущеву не удается.

Тридцать седьмой год стал для коммунистов годом непреходящего ужаса. Множество помощников и подчиненных Хрущева попали в застенки НКВД, и резонно было ожидать, что следующим станет он сам. На партийной конференции, где «переизбирались» высшие партийные лидеры, делегатам вдруг показались подозрительными биографические сведения об участии Маленкова в Гражданской войне. Маленкова спасла только горячая защита Хрущева; по окончании конференции Хрущев подошел к Кагановичу и признался в собственном проступке — в том, что в 1923 году увлекался троцкизмом.

Каганович побелел (поскольку грех Хрущева бросал тень на него самого) и предложил Хрущеву переговорить об этом с самим Сталиным. Приняв Хрущева у себя в кабинете, Сталин спокойно посоветовал ему не упоминать об этом на партконференции. Однако Молотов, присутствовавший при разговоре, высказал мнение, что лучше было бы поднять этот вопрос, и Сталин кивнул. «Да, — сказал он, — лучше расскажите, потому что если вы не расскажете, то кто-нибудь может привязаться, и потом завалят вас вопросами, а нас — заявлениями»[126].

Как же повезло Хрущеву! Что другим грозило страшной смертью — для него обернулось безобидным «привязыванием»! Ободренный поддержкой вождя, Хрущев сообщил собранию о своем прегрешении, добавив, что товарищи Сталин, Молотов, Каганович и другие члены Политбюро «уже знают о моей ошибке», но он решил, что о ней «должна знать и наша Московская партийная организация». Неудивительно, что такое «признание» вызвало аплодисменты и немедленное переизбрание

в бюро. Все это, рассказывает Хрущев, «еще больше укрепляло мое доверие к Сталину, рождало уверенность, что те, кого арестовывали, действительно враги народа».

Однако милость Сталина легко могла обернуться бедой. Во время прогулки по территории Кремля Сталин сообщил Хрущеву, что недавно арестованный нарком почт и телеграфов Николай Антипов дал на него показания. Глядя Хрущеву в глаза, Сталин ждал ответа. «Случайно, видимо, я вел себя так, что мои глаза не дали ему повода сделать заключение, будто я связан с Антиповым. Если бы у него сложилось впечатление, что я как-то „выдал“ себя, то вот вам через какое-то время и новый враг народа»[127].

Итак, он готов был защищать себя — но не других. А отказ подписывать смертные приговоры обернулся бы приговором самому Хрущеву и его семье. Когда Молотова впоследствии спросили, подписывал ли Хрущев расстрельные списки, он ответил: «Безусловно, конечно. Иначе бы он не выдвинулся. Было такое время… Разумному-то человеку ясно»[128].

Менее известные чиновники бежали из Москвы и пытались раствориться в провинции. Томский, Гамарник и другие в ожидании ареста кончили жизнь самоубийством. Серго Орджоникидзе также предпочел покончить с собой. Хрущев отказываться от жизни не собирался. В 1937 году он сделался в Москве вездесущ. В 1935-м он произнес 64 речи на митингах и собраниях, в 1936-м — по меньшей мере 95[129]. Во время демонстрации на Красной площади 5 декабря 1936 года, по случаю принятия новой конституции, демонстранты несли его портрет наряду с портретами других партийных лидеров.

Кинохроника тех лет отражает как быстрое возвышение Хрущева, так и удовольствие, с которым тот взбирался по карьерной лестнице. На похоронах на Новодевичьем кладбище он наклоняется к Булганину и что-то шепчет, широко улыбаясь собственной шутке. Оба молоды, сильны, полны энергии и наслаждаются жизнью. На других похоронах Хрущев стоит в кругу высокопоставленных лидеров: Сталин в своем знаменитом френче, с холодным, немигающим взглядом, Молотов в щегольском костюме, с аккуратными усиками и в пенсне; а рядом с ними — Хрущев в белой рубашке, и взгляд его устремлен на Сталина[130].

Даже в публичных речах Хрущев предпочитал неформальный стиль, теплоту и открытое обращение к публике. Некоторые его речи запечатлены на пленке. Мы видим в кинохронике, как он извиняется в ответ на упрек пожилой женщины из первого ряда, жалующейся, что в зале слишком жарко, и улыбается своей

«фирменной» смущенно-плутоватой улыбкой, словно говоря: «Ну что ж тут поделаешь». Голос Хрущева — странно высокий, певучий, с произношением немного «в нос» — плохо сочетается с круглым полным лицом и коренастой фигурой. Говорить он старается в сталинском стиле — короткими рублеными фразами, подчеркивая периоды движениями правой руки. «Если уж говорить о себе, — рассказывает Хрущев в мемуарах, — то я считался неплохим оратором. Выступал всегда без текста, а чаще всего даже без конспекта». Однажды, когда ему пришлось выступать вслед за Кировым (который считался блестящим оратором), Хрущев сильно нервничал. Но после выступления Каганович поздравил его: «Замечательно, блестяще выступили. Это отмечено Сталиным. Он сказал: „С Кировым рядом выступать тяжело, а Хрущев выступил хорошо“»[131].

Сталина Хрущев обожал: в особенности восхищали его те качества диктатора, которые он старался развить в самом себе. С самого начала он оценил «ясность ума Сталина и четкость его формулировок». Позже, когда он узнал Сталина поближе, то «был буквально очарован Сталиным, его предупредительностью, его вниманием, его осведомленностью, его заботой, его обаятельностью и честно восхищался им»[132].

Конечно, в этих утверждениях немало уже знакомого нам обмана и самообмана — но чувствуются в них и искренние нотки. Сталин обладал огромной энергией и несгибаемой волей. Его способность сводить сложные вопросы марксизма-ленинизма к простым силлогизмам импонировала малообразованным людям, подобным Хрущеву. Тщательно скрывая свой чудовищный эгоцентризм, Сталин умел казаться прямым и открытым. Много лет спустя, уже после того как Хрущев ниспроверг с пьедестала своего бывшего вождя, один из его ближайших помощников с удивлением заметил, что, несмотря ни на что, Хрущев «завидовал Сталину»[133].

Как заместитель Кагановича, Хрущев по меньшей мере дважды был в Кремле уже осенью 1932 года (одна встреча длилась 35 минут, вторая — 40). В период между 1 апреля и 18 мая 1934-го записи в журнале приемной Сталина свидетельствуют о четырех визитах Хрущева, которые длились от получаса до двух с половиной часов[134]. Кроме того, Хрущев встречал своего идола на заседаниях Политбюро, которые разрешалось посещать членам ЦК. Приглашал его Сталин и на неформальные встречи. «Когда Сталин шел в театр, он порой поручал позвонить мне, и я приезжал туда или один, или вместе с Булганиным. Обычно он приглашал нас, когда у него возникали какие-то вопросы и он хотел, находясь в театре, там же

обменяться мнениями по вопросам, которые чаще всего касались города Москвы. Мы же всегда с большим вниманием слушали его и старались сделать именно так, как он нам советовал»[135]. Проходили встречи и в домашней обстановке: «Сталин, бывало, нас… приглашал на семейные обеды и всегда шутил: „Приходите обедать, отцы города“»[136].

О чем еще мечтать?! «Это были такие непринужденные семейные обеды, с шутками и прочим. Сталин на этих обедах был очень человечным, и мне это импонировало. Я еще больше проникался уважением к Сталину и как к политическому деятелю, равного которому не было в его окружении, и как к простому человеку»[137].

И Сталин, казалось, отвечал ему тем же. В декабре 1937 года он выступал на Московской партийной конференции, где председательствовал Хрущев. «Товарищи, — сказал Сталин, — должен признаться, я не собирался выступать перед вами. Но наш уважаемый Никита Сергеевич буквально вытащил меня сюда, на собрание. „Обязательно приходи, — говорит, — и скажи что-нибудь“». В словах Сталина звучат теплота и симпатия к Хрущеву. Более того: в его передаче Хрущев обращается к нему на «ты»! Едва ли такое неформальное обращение и вправду было возможно; но очевидно, что Сталин стремился продемонстрировать слушателям самые дружеские чувства к Хрущеву[138].

Да и почему бы Сталину не любить Хрущева? Помимо того что Хрущев верно служил ему и искренне его боготворил, достоинства и недостатки его натуры как нельзя лучше дополняли характер самого Сталина. Сталин не любил выступать — а Хрущев обожал это занятие. Сталин был неразговорчив и угрюм; Хрущев — открыт и дружелюбен. Сталин редко покидал Москву (не считая отпусков на Кавказе) — а Хрущеву не сиделось на месте. До своей безвременной и загадочной кончины ближайшим приближенным Сталина был Киров, тоже на вид «открытый и бесхитростный»[139]. Теперь его сменил такой же «добродушный и безобидный» Хрущев.

Сталин был непривлекателен. Будучи небольшого роста[140], отправляясь на публичные мероприятия, он надевал сапоги на каблуках и выступал только с возвышений. Лицо его было изуродовано оспой, зубы неровные, подвижность левой руки и плеча ограничена после травмы, полученной в детстве. Торс слишком короткий, а руки чересчур длинные. «Для него настоящее несчастье, — говорил о нем Бухарин, — что он не способен никого, в том числе и самого себя, убедить, что он выше

всех»[141]. Так что, возможно, сыграл свою роль и маленький рост Хрущева.

Знания, полученные Сталиным в Тифлисской семинарии, не шли ни в какое сравнение с университетским образованием Ленина и Троцкого. Сталин собрал огромную библиотеку, много читал (делая заметки на полях), занимался философией, писал (если можно так выразиться о процессе, в котором, несомненно, участвовал не он один) зубодробительные труды по самым разным предметам, от экономики до лингвистики, и, в конечном счете, являлся главным советским цензором. И все же, по словам Бухарина, «его снедает тщетное желание стать видным теоретиком. Он чувствует, что это — единственное, чего ему не хватает»[142]. Большинство подручных Сталина (кроме Молотова, Микояна и Жданова) были примитивны даже по сталинским стандартам (так, Ворошилов вообще нигде не учился — он работал с восьми лет), но из всех них Хрущев, пожалуй, производил впечатление наиболее безобидного и приятного человека.

Были у Хрущева и еще две бесценные черты. Во-первых, если молчаливость человека замкнутого всегда подозрительна, то болтливого Хрущева можно было не опасаться; если бы у него и были какие-нибудь секреты, ничего не стоило их выведать. Во-вторых, Хрущев искренне восхищался своими кремлевскими коллегами и стремился наладить с ними хорошие отношения. Кагановича он восхвалял как «человека, преданного партии и практическому делу. В работе, которую он проводил, он, как говорится, наломал немало дров, но не жалел при этом ни сил, ни здоровья. Трудился преданно и упорно»[143]. С Маленковым он также «дружил. Мы вместе работали в Московском горкоме партии». Более того, Хрущеву «всегда нравился» Ягода, до 1936 года возглавлявший энкавэдэшную мясорубку. Он «всегда находил понимание» и с Ежовым, который был его куратором от ЦК во времена работы Хрущева в партячейке Промакадемии[144].

После того как Ежов занял должность главы НКВД, рассказывал позже Хрущев, «началась буквально резня, множество людей попало в эту мясорубку». Тем не менее Ежов казался ему человеком «надежным»[145]. Со временем Сталин ликвидировал и Ежова (который, как до него Ягода, слишком много знал и стал удобным козлом отпущения) и заменил его Берией, страшным человеком, прославившимся не только массовыми репрессиями, но и серийными изнасилованиями. Однако в тридцатых, если верить мемуарам Хрущева, ему и Берия «понравился»[146].

В списке людей, с которыми Хрущев поддерживал «хорошие

отношения», значатся и самые кровавые сталинские мясники. Если бы над сподвижниками Сталина был проведен посмертный «Нюрнбергский процесс», на скамье подсудимых оказалось бы немало друзей Хрущева. Разумеется, не все друзья Хрущева были преступниками. И не со всеми коллегами Хрущев дружил. Однако то, что в своих воспоминаниях он не жалеет для этих людей хороших слов, хотя комплименты им теперь способны только замарать его самого, показывает, как важен был для Хрущева имидж «своего парня», всеобщего друга-приятеля, вызывающего мгновенную симпатию у любого, кто его встретит. Он хотел быть «приятным человеком» — и, пожалуй, по сравнению со своими кремлевскими коллегами, таким и был[147].

На еще одной кинохронике мы видим Хрущева на партийном собрании с Ежовым и членом Политбюро Андреем Андреевым. Все трое разговаривают: широкая улыбка Хрущева, его оживленная поза составляют яркий контраст с его собеседниками. А вот другая съемка, сделанная во время парада: вожди стоят на трибуне Мавзолея, Хрущев подбегает к Сталину и Кагановичу сзади и начинает что-то им рассказывать. Они слушают, не поворачивая голов, с каменными лицами; а круглая простецкая физиономия Хрущева так и светится радостью и оживлением, пока он торопливо выкладывает свои новости им в спину.

Образ, запечатленный на этих кадрах, двойствен: с одной стороны — бодрость и энергия, с другой — напряжение и неуверенность (кому приятно, когда тебя слушают, повернувшись спиной?). Источником напряжения служила не только работа, но и личная жизнь. Как восходящая кремлевская звезда, Хрущев жил, по советским стандартам, очень благополучно. Однако он постоянно находился под невероятным давлением, и причиной тому была не только его общественная роль, но и скрытые от чужих глаз домашние обстоятельства.

В 1934 году Хрущев и его семья переехали в недавно отстроенный Дом Правительства, прославленный в романе Трифонова «Дом на набережной». Возведенный в 1931 году и предназначенный для жилья высшей партийной и государственной элиты (за исключением самых высоких чинов, живших в самом Кремле), Дом Правительства представлял собой массивное одиннадцатиэтажное здание, состоящее из нескольких корпусов с отдельными дворами. Двадцать пять подъездов вели в 506 многокомнатных квартир, которые были обставлены «пышной, но безвкусной казенной мебелью»[148]. Услуги, предоставляемые жильцам, были по тому времени просто фантастическими: центральное отопление, газ, горячая вода круглые сутки, телефон в каждой квартире (и это — в то время,

когда простые москвичи телефонов дожидались годами), два лифта в каждом подъезде плюс грузовой лифт — на черной лестнице, магазины, парикмахерская, поликлиника, кафе, даже кинотеатр. Нет нужды говорить, что дом находился под неусыпным надзором соответствующих служб: чекисты и охраняли высокопоставленных жильцов, и следили за ними.

В эпоху, когда большинство москвичей теснились в коммуналках, семья Хрущева получила просторную пятикомнатную квартиру. По советским стандартам, этого было более чем достаточно — хотя и в такой квартире порой возникали проблемы с размещением пятерых детей (Рады, Сергея, родившегося 6 июля 1935 года, Елены, родившейся 17 июля 1937 года, а также Юли и Лени — детей от первого брака), родителей Хрущева и охраны, занимавшей отдельную комнату[149]. У Хрущева была машина с шофером, однако позже он настаивал, что жил скромно: «Сейчас, к сожалению, не то. В ту пору никто и мысли не допускал, чтобы иметь личную дачу: мы же коммунисты! Ходили мы в скромной одежде… А костюма, в современном его понимании, не имели: гимнастерка, брюки, пояс, кепка, косоворотка — вот, собственно, и вся наша одежда. Сталин служил и в этом хорошим примером»[150].

Принадлежа к *начальству,* Хрущев получал не только хорошую зарплату, но и определенные блага и привилегии, которые за деньги не покупались. Одни из них — например, служебный автомобиль — были всем видны; но закрытые магазины, кафе, курорты и ежемесячные премии «в конверте» скрывались от простых людей. Сам Хрущев признавал, что он со своими коллегами «привык закидывать в рот бутерброды, сосиски и чаем запивать между заседаниями в Кремле», однако настаивал, что «дома часто есть было нечего»[151]. Его московский сослуживец Эрнест Кольман, однако, вспоминал обильные завтраки, которые «уборщица в красном платочке приносила в кабинет на большом подносе», и деликатесные обеды в кремлевском кафе — «лучшем из всех городских ресторанов». Это же кафе по выходным предлагало высококачественные блюда «навынос». Цены были невысоки, вспоминает Кольман, а еда «приготовлена по-королевски». Никаких очередей, никаких карточек: «Стол ломился от вин и всевозможных изысканных закусок, каждый ел не порциями, а сколько мог и хотел»[152].

Поместье Огарево, где позже находилась государственная дача Хрущева (а ныне и Ельцина), до революции принадлежало генерал-губернатору. Теперь его главное здание было отведено для руководителей партии и правительства. Хрущевы занимали две комнаты на втором этаже в другом доме, прежде служившем

для приема гостей царской крови. Булганин и его семья жили этажом ниже. В соседних комнатах обитали другие московские чиновники, в том числе и злосчастный Семен Корытный[153]. Мария Сорокина прошла путь от горничной до помощника директора дачи Хрущевых. Ее сын Дима в начале тридцатых дружил с Леней Хрущевым. В фотоальбоме Сорокиной сохранились фотографии Димы и Лени: на них мальчики загорают в шезлонгах, плавают и катаются на лодках по Москве-реке, играют в теннис[154].

Однако за этим блестящим фасадом не все шло так гладко, как казалось с первого взгляда. Отец Хрущева помогал занятому сыну по хозяйству: ходил за продуктами в спецмагазины и, когда лифт не работал, относил Раду в детский сад, расположенный на одиннадцатом этаже, на руках. На Диму Сорокина он производил впечатление типичного, словно из книжек, мужика, никогда не расстающегося с самокруткой вонючего табака-самосада. В ответ на упреки сына старик грозил уехать обратно в Калиновку: «Там буду курить, что хочу, и никто мне мешать не станет».

Однажды мать Никиты Хрущева сказала сыну, что отец на него сердит, потому что сын «не уважает отца, слова не держит». Оказывается, Хрущев обещал отцу новую пару ботинок, а потом об этом забыл. Хрущев позже пересказывал эту историю со смехом; однако за ней скрыт конфликт, связанный с унизительной зависимостью отца от сына[155].

Мать Хрущева также потеряла прежнее главенство в семье: она тоже оказалась в зависимости от сына, часто принуждена была сидеть одна на кухне или вместе с другими старухами во дворе перемывать кости соседям, как когда-то дома, в Калиновке. Ксения Ивановна выходила во двор со своей табуреткой, и скоро к ней присоединялись другие «бабушки». Хрущев не одобрял этих старушечьих сплетен, которые, как позже замечала его жена, «в тридцатые годы могли стоить жизни». Однако, продолжает Нина Петровна, мать «его не слушала». Однажды, когда Ксения Ивановна потребовала, чтобы маленькая Рада ее слушалась, потому что она старше и умнее, девочка спросила: «Умнее Сталина?» — «Конечно!» — ответила бабушка[156].

Еще одним предметом постоянных споров Хрущева как с матерью, так и с женой было поведение Лени. Леня не ладил с сестрой Юлией. Продукты и одежду, получаемые из спецраспределителей, он раздавал товарищам. Однажды съехал вниз по лестнице Дома на набережной на мотоцикле. Бабушка любила внука и все ему прощала, а мачехе приходилось молчать. Урезонивать Леню следовало Хрущеву; однако он оказался на удивление близоруким отцом. Вместо того чтобы наказывать

мальчика, он винил во всем Лениных друзей. Леня и Дима Сорокин хотели вместе поступать в летную школу, но Хрущев запретил. Дима, сказал он, «дурно влияет» на Леню. Пусть найдет себе какое-нибудь другое занятие[157].

Призывать Леню к порядку Хрущеву было особенно сложно, поскольку более серьезные прегрешения сына во многом повторяли его собственные. К 1937 году, когда ему было всего 20 лет, Леня сошелся уже с двумя женщинами (обе были еврейками) и обеих бросил, причем одну — с ребенком. В 1935 году от него забеременела Эсфирь Наумовна Эттингер. По рассказу ее сына, офицера ВВС и летчика-испытателя Юрия Леонидовича Хрущева, Эттингер была художником-оформителем и познакомилась с Леней в летнем лагере недалеко от Москвы. Пара недолго пробыла вместе — и не потому, что Никита Хрущев этого не хотел. Более того, старший Хрущев был настолько разгневан поведением сына (странно отражающим его собственные грехи 1922 года), что практически выставил его из дома[158].

Второй любовью Лени стала Розалия Михайловна Трейвас, хорошенькая белокурая и голубоглазая актриса, дядя которой, Борис, работал под началом Хрущева в Бауманском райкоме, а затем стал комсомольским функционером. Хрущев позже характеризовал Трейваса как «очень дельного, хорошего и умного человека», однако рассказывал и о том, как Каганович «предупредил, что у него имеется политический изъян: он в свое время… подписал декларацию в поддержку Троцкого». Разумеется, вскоре Трейваса арестовали: в следующий раз Хрущев встретился с ним в тюрьме, инспектируя тюрьмы по приказу Сталина. «Когда началась мясорубка 1937 года, то и он не избежал ее», — сокрушается Хрущев в своих мемуарах[159]. Однако как бы он ни симпатизировал Трейвасу, известие, что сын связался с его племянницей, Хрущева шокировало. Хуже того, 11 ноября 1937 года Леня женился на Розе! Знакомясь с молодой невесткой, Хрущев, вспылив, разорвал свидетельство о браке. После этого до января 1938 года молодые жили у друзей; вскоре Леонид бросил Розу и переехал вместе с родными в Киев[160].

Большое хозяйство Хрущева требовало заботливого присмотра. Однако сам Хрущев, погруженный в работу, почти не виделся с семьей. Даже редкие свободные вечера и выходные он предпочитал проводить на даче с коллегами и друзьями. Дети знали его как человека веселого, вечно улыбающегося: он пел им песни, читал стихи и даже устраивал забеги на лыжах. Однако «у него никогда не было времени на детей», — вспоминала Рада[161]. Домашнее хозяйство лежало на Нине Петровне; но и она до 1935 года была загружена работой на Московском электроламповом

заводе, где отвечала за «агитацию и пропаганду» и вела партийную учебу.

Работа Нины Петровны отнимала все ее время. «Выполняла первую пятилетку в два с половиной года, получила почетную грамоту от администрации, парткома и профкома, — вспоминала она. — Познакомилась с большим кругом активистов, с литераторами, старыми большевиками и политкаторжанами, приходившими на завод по поручению своих организаций, с подшефными колхозниками… Те годы считаю наиболее активными годами своей политической и вообще общественной жизни». Однако она работала на пределе сил. На заводе было занято около трех тысяч рабочих, трудившихся в три смены. Нина Петровна уходила на работу в восемь утра и возвращалась «самое раннее» в десять вечера. Работала она по пятидневке с плавающим выходным, поэтому «никогда не имела выходных вместе с Н. С, он работал с постоянным выходным». Нина Петровна рассказывала, как «жалела», что не может пойти вместе с мужем и его друзьями в театр в воскресенье — она по воскресеньям работала. «И все другие культурные мероприятия, в которых участвовал Н. С. мне были недоступны из-за „непрерывки“».

Свои родственные отношения с Хрущевым Нина Петровна старалась держать в секрете. Она сохранила девичью фамилию и ездила на работу не на служебной машине, а на трамвае, хотя такая дорога и отнимала «не меньше часа». Однажды партсекретарь с ее завода позвонил Хрущеву поздно вечером и, когда трубку сняла Нина Петровна, сухо спросил, кто говорит. «Кухарчук», — автоматически ответила она. «„А ты что там делаешь? Я звоню на квартиру товарища Хрущева“. Очень он был поражен тем, что я, оказывается, жена Хрущева»[162].

Напряжение усиливалось, если болели дети. Когда Рада слегла со скарлатиной, ее «положили в больницу рядом с заводом. По вечерам я бегала смотреть через окно, что делает дитя, и видела: дали ей миску с кашей, большую ложку, а няня ушла к подругам поболтать. Рада была маленькая, немного больше года; вижу, ребенок стал ногами в миску с кашей и плачет, а няня не идет, и ничем помочь нельзя… Забрали ребенка под расписку досрочно, еле выходили».

После рождения Сергея Нина Петровна оставила работу. Несколько лет, до рождения Елены, она работала в Объединенном профсовете инженерно-технических обществ. Начиная с 1938 года, когда семья переехала в Киев, «все, что я делала с этого времени, была работа по поручениям райкома партии. В киевский период я преподавала историю партии в

районной партийной школе (при Молотовском райкоме г. Киева), выступала с лекциями, учила на вечерних курсах английский язык. Дети маленькие (трое), часто болели». Уйдя с работы, Нина Петровна, по воспоминаниям Рады, стала «не такой раздражительной». Со старшей дочерью она оставалась строга («Очень трудно, почти невозможно было что-либо у нее просить»), но с младшими была мягче и даже их «баловала»[163].

По словам Рады, Нина Петровна «никогда не сожалела о том, что прекратила работать — по крайней мере, при детях». Впрочем, она была не из тех, кто жалуется. Только после смерти мужа, доживая свой век почти в полном одиночестве, она иногда говорила своей домработнице: «Настоящей-то жизни я и не видала».

Конечно, эту ношу она в большой степени взвалила на себя сама. Но, несомненно, немало проблем добавлял ее высокопоставленный муж. Мы никогда не узнаем, делился ли с ней Хрущев своими мыслями и потаенными страхами, — известно лишь, что при детях Никита и Нина Хрущевы никогда не говорили о политике, не критиковали (разумеется) Сталина, но и не хвалили его.

Глава VI
«ВИЦЕ-КОРОЛЬ» СТАЛИНА НА УКРАИНЕ: 1938–1941

«Мы хотим послать вас на Украину, чтобы вы возглавили там партийную организацию. Косиор перейдет в Москву к Молотову первым заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров и председателем Комиссии советского контроля».

Такими словами Сталин в конце 1937 года сообщил Хрущеву об очередном повышении. Вот как описывает Хрущев свою реакцию на это предложение:

«Я стал отказываться, так как знал Украину и считал, что не справлюсь: слишком велика шапка, не по мне она. Я просил не посылать меня, потому что не подготовлен к тому, чтобы занять такой пост. Сталин начал меня подбадривать. Тогда я ответил: „Кроме того, существует и национальный вопрос. Я человек русский: хотя и понимаю украинский язык, но не так, как нужно руководителю. Говорить на украинском я совсем не могу, а это тоже имеет большой минус. Украинцы, особенно интеллигенция, могут принять меня холодно, и я бы не хотел ставить себя в такое положение“.

Сталин: „Нет, что вы! Косиор — вообще поляк. Почему поляк для украинцев лучше, чем русский?“

Я ответил: „Косиор — поляк, но он знает украинский язык и может выступать на украинском языке, а я не могу. Кроме того, у Косиора больше опыта“.

Однако Сталин уже принял решение и твердо сказал, что я должен работать на Украине.

„Хорошо, — ответил я, — постараюсь все сделать, чтобы оправдать доверие“».

Хрущев получил не только пост главы компартии Украины (точнее, «исполняющего обязанности»), но и должности руководителя Киевского горкома и облисполкома.

«Это было просто немыслимо. Но Сталин сказал: „Подберите людей себе в помощь“»[1].

Мог ли Хрущев, обуреваемый необузданными амбициями, упустить шанс стать руководителем региона, в котором жил и работал много лет? Однако его сомнения в себе, хотя и преувеличенные с целью произвести впечатление на Сталина, также были реальны. Не говоря уж об опасности (о которой он, конечно, в разговоре со Сталиным не упоминал) пополнить собой

все удлиняющийся список украинских партийных лидеров, сложивших голову на плахе.

Хрущев приехал в Киев в январе 1938 года. В последующее десятилетие он часто бывал в Москве на заседаниях Политбюро и других встречах и только в конце 1949-го вернулся в Москву в качестве вновь назначенного секретаря ЦК, на этот раз — насовсем. К тому времени он стал самостоятельнее, освободился от влияния Сталина и утратил многие свои иллюзии. Больше всего изменила Хрущева война. Однако начались эти изменения на Украине в три предвоенных года.

Ключом к обретению Хрущевым независимости — и, парадоксально, к увеличению эффективности его работы — стала удаленность от Москвы. Разумеется, никто из сподвижников Сталина — тем более его «вице-король» на Украине — не мог действовать, не сообразуясь с центром. Однако удаленность Киева позволяла предаться тому, что на советском бюрократическом жаргоне называлось «местничеством». Хрущев полагал, что знает Украину лучше, чем знают ее в Кремле. Постепенно он начал видеть в новом свете не только людей, окружающих Сталина, но и самого вождя.

Удаленность от Москвы позволила Хрущеву разработать собственный стиль руководства, наиболее отвечающий его дарованиям. Он «ни на кого не был похож», — рассказывает о нем Василий Костенко, комсомольский функционер, работавший в Киеве под началом Хрущева. Он «знал жизнь», знал «конкретные дела», «умел к каждому подходить». Знал, с кем можно шутить, а кого — молодых людей, вроде Костенко, — шутки начальства смущают. «Бесстрашный» человек и «замечательный руководитель»[2].

Вернувшись в Киев, Хрущев узнал много нового о коллективизации, голоде и терроре, свирепствовавшем на Украине. Во время поездки в Петрово-Марьинский район, где он работал в 1925 году, Хрущев открыто интересовался судьбой крестьян, с которыми дружил в то время, включая и кулаков, с которыми он тогда был в хороших отношениях. «Боялся, что их раскулачили, — рассказывал Захар Глухов, в 1938 году занявший пост первого секретаря местного райкома. — С Хрущевым можно было говорить откровенно. У него был друг по имени Гомля, с которым они прежде были неразлучны, — этого человека Хрущев очень уважал и расспрашивал его обо всем, что здесь происходило»[3].

Когда Хрущев приехал в Киев, украинских должностных лиц всех родов и специальностей косили репрессии. Компартия Украины была буквально обезглавлена: на заседаниях ЦК

невозможно было собрать кворум. В тюрьме оказались и несколько преподавателей Сталинского металлургического института, которых Хрущев «очень уважал». Одного из них Хрущев встретил позже: «Однако это был уже не прежний Герчиков, а его тень. Я спросил: „Как поживаете?“ Он выглядел мрачным, замкнутым. Буркнул, что плохо, что был арестован. Потом уже другие люди рассказали, что его страшно избивали, он лишился здоровья и в скором времени умер»[4].

Впечатлением от таких встреч можно объяснить редкие случаи, когда Хрущев делился своими сомнениями и разочарованиями со старыми друзьями. Однако тот же Хрущев председательствовал на «чистках», которые с его появлением на Украине только усилились. В 1938 году было арестовано 106 тысяч 119 человек, с 1938-го по 1940-й — в общей сложности 165 тысяч 565. Если верить Молотову (свидетелю едва ли объективному, но прекрасно информированному), Хрущев, «будучи членом [украинской] тройки, 54 тысячи человек приговорил». Хрущев неоднократно произносил кровожадные речи, и нам известен по крайней мере один случай, когда он собственноручно написал на рапорте «Арестовать», предрешив судьбу одного из высших комсомольских лидеров Украины[5].

Здесь, как и в Москве, Хрущева вдохновляла вера в советскую систему. Руководитель региона, соразмерного крупной европейской стране, он убедил себя, что лишь от него зависит благосостояние местных жителей, и с обычной своей энергией взялся за руководство промышленностью, сельским хозяйством и культурой. Разумеется, преследовал он и собственные интересы. У Хрущева было уже пятеро детей, не говоря о других родственниках, также проживавших в Киеве. Все они наслаждались благами, о которых прежде им даже и помыслить было трудно. Неудивительно, что Хрущевым владел страх за себя и семью. Его предшественники потеряли всё: погибли и жены их, и дети. И в то же время, как ни парадоксально это звучит, Хрущев переживал, быть может, лучшую пору своей жизни. Над ним не было больше неусыпных надзирателей, он мог действовать по своему усмотрению, постоянно ощущал одобрение и поддержку Сталина, и каждый собственный успех, как и каждая чужая ошибка (в том числе и ошибки самого Сталина) добавляли ему уверенности в себе.

В конце тридцатых годов наряду с проблемами, общими для всего СССР, Украина переживала и проблемы особого рода, связанные как с ее весомым положением среди союзных республик (в негласной «табели о рангах» Украина занимала

второе место после России), так и со сложным вопросом украинского национализма.

Украинский национализм зародился и развился в XIX веке: падение империи дало ему новый толчок, позволив националистически настроенной местной интеллигенции мечтать о независимой Украине. Стремясь удержать Украину под контролем, а также в связи со своим идеологическим неприятием великорусского шовинизма, Ленин принял в качестве лидеров компартии Украины людей националистически настроенных, таких, как Панас Любченко и Григорий Гринько (оба погибли во время Большого Террора). Другие ведущие украинские коммунисты, такие, как Николай Скрыпник, оспаривали договор 22 декабря 1922 года, согласно которому Украина вошла в состав СССР на правах формально независимой, но реально подчиненной центру республики. Советский Союз был создан, несмотря на возражения националистов; однако и после этого Скрыпник и председатель Совнаркома Украины Влас Чубарь сопротивлялись попыткам Москвы взять экономическую жизнь республики под свой контроль.

Украинские «национал-коммунисты» не сумели отстоять политическую самостоятельность республики, однако в вопросах культурной самостоятельности — так называемой украинизации культурной жизни — Москва их некоторое время поддерживала. Украинизация была частью обширной кампании по внедрению на национальных окраинах России коммунистических идей, задрапированных в одеяния местных языков и культур. Она предполагала выдвижение украинцев на ответственные партийные и государственные посты, признание украинского языка государственным, обязательным для госучреждений, продвижение украинского языка в школах, усиленное развитие украинской литературы, искусства, историографии.

Сталину идея украинизации не нравилась с самого начала — об этом свидетельствует назначение первым секретарем ЦК КП(б)У в 1925 году Лазаря Кагановича. К 1928 году Каганович так настроил против себя таких, как Гринько и Чубарь, что они подали жалобу Сталину, и тот заменил Кагановича Косиором[6].

По иронии судьбы, отзыв Кагановича знаменовал собой начало конца украинского «национал-коммунизма». Весной 1930 года прошла серия процессов над беспартийными украинскими националистами, к тому времени еще довольно влиятельными. Напряжение возросло в результате коллективизации и ее следствия — голода, достигшего апогея в 1933 году[7]. Теперь даже коммунисты-сталинисты, до сих пор верно исполнявшие ужасные приказы своего вождя, начали сомневаться в его правоте. Вот

почему Сталин отправил в Киев Павла Постышева с приказом заменить нелояльных коммунистов-украинцев надежными русскими кадрами[8]. Скрыпник, на протяжении лета 1933 года жестоко атакуемый партийной прессой, в июле покончил с собой. Его сторонники из числа интеллигенции были «разоблачены», объявлены членами подпольной «Украинской военной организации» и осуждены на показательных процессах[9].

Как и в Москве, воцарилось затишье перед бурей 1937 года. В начале этого года подвергся опале сам Постышев — из Киевской парторганизации были исключены его сторонники. Затем Сталин заявил, что некая женщина по фамилии Николаенко, «верный член партии… обычный „маленький“ человек», обнаружила в Киеве «троцкистских вредителей», но, когда попыталась их разоблачить, была «выгнана [из Киевской парторганизации] как надоедливая муха». Москва провела свое расследование, продолжал Сталин, и «оказалось, что Николаенко права, а партийная организация ошибалась»[10].

В марте 1937 года партийный комитет Украины освободил Постышева от занимаемой должности. Атаку на своего бывшего заместителя возглавил сам Косиор[11]. Любченко оставался на свободе до августа, когда ЦК КП(б)У проголосовал за исключение его из партии и санкционировал его арест. Всего несколькими неделями ранее Хрущев возил Любченко, Косиора и Постышева по Москве на сталинском автомобиле. «Отношения между нами были самые крепкие, партийно-товарищеские», — вспоминал Хрущев[12]. А 30 августа Любченко застрелил свою жену, а затем покончил с собой, и в тот же день в Москве был арестован Гринько, в то время — нарком финансов СССР. Косиор, которого сменил Хрущев на Украине, вместе со своим бывшим киевским коллегой Чубарем был временно переведен в Москву. Его арестовали в конце апреля 1938 года, и широкая публика узнала об этом лишь по тому, что киевская радиостанция, которая раньше носила имя Косиора, стала называться просто «Киевское радио». В июне Чубарь был снят со своего поста, отправлен работать на Урал и там через некоторое время арестован. Суд над Косиором и Чубарем состоялся в феврале 1939-го. 26 февраля, «признавшись» во всем, в чем их обвиняли, они вместе с Постышевым были расстреляны. Казнены были и выжившие братья Косиора (один из братьев до этого покончил с собой, другого расстреляли еще раньше) и его жена Елизавета. Расстреляли и старшего сына Постышева, а других детей отправили в лагеря. Жена его подверглась пыткам и, по-видимому, также была расстреляна. Погибла и жена Чубаря[13].

Как видим, Хрущеву было чего бояться. Он знал лишь один способ избежать судьбы своих предшественников — исполнять указания Сталина еще ревностнее, чем они. «После того как на Украину приехал верный сталинец Никита Сергеевич Хрущев, мы начали всерьез расправляться с врагами народа», — утверждал шеф украинского НКВД Александр Успенский[14]. Разумеется, у него были резоны льстить Хрущеву; напротив, уверяют защитники Хрущева, после появления последнего на Украине обороты маховика репрессий снизились. Ход репрессий во всех подробностях нам не известен, но общие закономерности ясны. Арестованы были все (кроме одного) члены Политбюро, Оргбюро, Секретариата КП(б)У. Все украинское правительство было заменено полностью, как и первые и вторые секретари во всех двенадцати областях Украины и почти во всех корпусах и дивизиях Красной Армии. Из 86 членов ЦК, избранных в июне 1938 года, лишь трое сохранили за собой эти места с предыдущего года. В Киеве была осуждена половина членов партии, в одном из районов города — даже 63 %. Лишь начиная с июня 1938 года масштабы репрессий начали понемногу уменьшаться. В 1939-м были арестованы 12 тысяч человек, в 1940-м — около 40 тысяч[15].

Хрущев распорядился, чтобы его речи на съездах КП(б)У и пленумах ЦК не включались, как обычно, в стенографические отчеты, а хранились в специальном, секретном архиве партаппарата. Перед своим возвращением в Москву в декабре 1949-го он приказал перевезти в столицу все эти материалы (составившие в общей сложности 52 листа). Судьба этих документов показывает, что Хрущеву было что скрывать — а сохранившиеся выдержки из них объясняют, что именно.

«Мы должны вести решительную борьбу с врагами, провокаторами и клеветниками, — говорил он в июне 1938 года на XIV съезде КП(б)У. — До сих пор борьба велась слишком вяло. Мы должны… безжалостно расправляться со шпионами и предателями. Надо с ними покончить»[16]. А следующей весной в Москве он хвастал, что уже в первый свой год на Украине «раздавил гадину».

Хрущев подписывал множество ордеров на аресты партийных и комсомольских функционеров. Сам он никогда в этом не признавался, но об этом свидетельствовал будущий руководитель украинского комсомола[17], да и в мемуарах самого Хрущева можно найти этому косвенные подтверждения: «Руководители такого даже, как я, довольно высокого положения (я в то время был уже членом Политбюро) оказывались в полной власти документов, представленных работниками НКВД, которые

определяли судьбу и того или иного члена партии, и беспартийного»[18]. «В полной власти» — по-видимому, означает и то, что Хрущеву приходилось эти документы подписывать.

Одной из невинных жертв, к чьей гибели приложил руку Хрущев, стал Степан Иванович Усенко, двадцатидевятилетний чиновник, арестованный 14 ноября 1938 года по ордеру НКВД, помеченному предыдущим числом. Обвиняемый в руководстве «контрреволюционной право-троцкистской организацией», он сперва отрицал свою вину, но затем во всем «признался». Усенко отправил Хрущеву письмо, написанное от руки на семи страницах, где, признавая свою вину, молил о помиловании, указывая, что он еще молод и раскаивается в содеянном — однако 7 марта 1939 года он был расстрелян. На допросах из Усенко выбили, среди прочего, признание в подготовке покушения на Хрущева. Это — ложь; а правда в том, что на рапорте от 13 ноября, суммирующем «улики» против Усенко, стоит размашистая, в сталинском стиле, резолюция: «Арестуйте его! 18/11/38. Н. Хрущев»[19].

Итак, Хрущев верой и правдой служил делу террора; правда, сомнения его не только не рассеивались, но пробуждали иные, более сильные чувства. Во время первой своей поездки в Сталино в апреле 1938 года он навестил старого друга Илью Косенко. Косенко, живший здесь с дореволюционных времен, выбрал в жизни иную дорогу. В свое время родители Хрущева ставили ему в пример тихого мальчика Илью, певшего в церковном хоре, и расхваливали его сестру Лушу. После революции Хрущев убедил Илью вступить в партию, однако, когда от него потребовали участвовать в раскулачивании, Косенко из партии вышел. Его дочь Ольга позже вспоминала, что, когда она спросила отца, почему его не коснулся террор, унесший жизни стольких коммунистов, тот ответил: «Потому что я вовремя положил партбилет на стол — вот почему!»[20]

Весенним днем 1938 года Косенко возился у себя в саду за домом, когда к дому, вздымая клубы пыли, с рычанием подкатили семь черных лимузинов. Высыпавшие из них охранники двумя рядами выстроились у крыльца. Из одной машины вышел Хрущев. Увидев маленькую Ольгу, он подозвал ее: «Ты дочка его, что ли? Позови-ка отца».

— Папа, беги, тебя арестовывать приехали! — закричала девочка.

Бледный, с дрожащими руками вышел Косенко навстречу высокому гостю — и узнал в нем старого друга. Вместе с несколькими помощниками и охранниками Хрущев вошел к нему

в дом.

— Ну, расскажи, как ты, — попросил он.

— А что рассказывать-то? — отвечал Косенко.

— Как живешь? Что нового?

Ольга вспоминает, что, наклонившись к Хрущеву, ее отец прошептал:

— Не о чем мне говорить. Будь ты один — рассказал бы. А так ты укатишь, а меня заберут. И ты даже не узнаешь, что со мной стало.

Два года спустя Хрущев появился здесь снова. Теперь с ним был лишь один телохранитель, который остался у дверей.

— Брось дурить, — сказал Хрущев Косенко, — вступай в партию. Я возьму тебя с собой в Киев. Пора дать твоим ребятам образование.

— Нам с тобой никто образования не давал, — ответил Косенко. — Сами взяли. И они сами возьмут. А я никуда отсюда не уеду и в партию — такую, как сейчас — вступать не стану. Это все равно что в дерьмо вступить. Настоящую партию, ту, в которую мы оба вступили когда-то — партию Якира, Тухачевского, Кирова, — вы уничтожили.

Хотя двое старых друзей когда-то и были очень близки друг с другом, такая откровенность могла обернуться для Косенко большой бедой. Однако Хрущев ответил:

— Ты меня этим не попрекай, я был к этому непричастен. А я когда смогу, когда это будет в моей власти и силах, рассчитаюсь с этим Мудакшвили сполна. Я ему никого не прощу — ни Кирова, ни Якира, ни Тухачевского, ни самого простого работягу и крестьянина.

Хрущев, разумеется, имел в виду Сталина, настоящая фамилия которого — Джугашвили. Когда он уехал, Ольга, которой тогда было 12 лет, спросила у отца, о чем они говорили.

— Ты что, все слышала? Ну смотри, если скажешь хоть одному человеку, хоть одно слово, и его [Хрущева], и меня расстреляют[21].

Ясно, что в разговоре со старым другом Хрущев стремился обелить себя и возложить всю вину на других; но поражает то, что он вообще счел нужным встречаться с Косенко и оправдываться перед ним.

Состоялась у Хрущева и встреча с еще одним старым другом — Петром Коваленко, с которым он был близок в двадцатых. Позже тот был арестован и заключен в тюрьму, затем выпущен на свободу. Весной 1939 года Хрущев принял Коваленко у себя в кабинете, расспрашивал его об аресте, попросил описать побои, которым его подвергали, чтобы вынудить сделать «признание».

Когда Коваленко закончил, Хрущев, казалось, был потрясен услышанным.

— Ты думаешь, Петр, я понимаю, что происходит в стране?! — воскликнул он. — Ты думаешь, я понимаю, почему я сижу в кабинете первого секретаря ЦК КП(б)У, а не в камере на Лубянке или Лукьяновке?![22]

Беседа Хрущева с Петром Коваленко проходила в здании ЦК компартии, где у стен, конечно, были уши. Последняя фраза несколько смягчила тон высказывания Хрущева и сделала его более «безопасным»; однако и первые фразы звучали не так рискованно, как могло показаться. В 1939 году даже Сталин признавал, что во время чисток было арестовано много невинных людей — хотя и объяснял это тем, что в органы проникли «враги народа», использовавшие свое положение для уничтожения верных партии лиц[23].

«Порой, — вспоминал Хрущев, — Сталин высказывал трезвые суждения об арестах и несколько раз осуждал их в разговорах со мной с глазу на глаз». Но чаще казалось, что все и каждый, включая и Сталина, охвачены какой-то паранойей. «Началась буквально резня, — писал Хрущев в своих воспоминаниях. — Во имя класса, во имя победы и закрепления победы пролетариата рубили головы, и кому? Тем же рабочим, крестьянам и трудовой интеллигенции… Мне трудно объяснить все действия Сталина, его побуждения»[24].

Подчеркивая иррациональность Большого Террора, Хрущев дистанцируется от него. Всеобщее помрачение рассудка — удобное объяснение тому, почему хорошие люди «ни с того, ни с сего» сделались плохими. Ежов, при первой встрече в 1929-м показавшийся Хрущеву «простым человеком, бывшим петербургским рабочим», теперь «совершенно потерял человеческий облик»[25]. И другие офицеры НКВД, «не обязательно жестокие люди», превратились в «машину… руководствуясь мыслью: если я этого не сделаю, то это же мне сделают вскоре другие; лучше я сам это сделаю, чем это сделают надо мной»[26].

Хрущев не желал признавать, что так же рассуждал и сам. Однако его рассказ о шефе украинского НКВД Успенском ясно показывает, насколько вовлечен был Хрущев в кошмарно-гротескный процесс Большого Террора. Когда Хрущев приехал в Киев, Успенский «буквально завалил ЦК докладными записками о врагах народа». Но однажды Хрущеву позвонил Сталин, упомянул какие-то неназванные «показания», доказывающие вину Успенского, и спросил:

— Вы можете арестовать его?

— Можем.

— Но это вы сами должны сделать.

Сперва Хрущев не расслышал фамилию и подумал, что речь идет о другом человеке, — впрочем, добавляет он, «и на него имелись показания». Но в конце концов Хрущев разобрался, о ком речь, и уже готов был арестовать Успенского, как вдруг Сталин отозвал свой приказ. Планы изменились, сказал он, он вызовет Успенского в Москву и арестует по дороге. Трудно сказать, почему он решил, что Успенский попадется на эту старую уловку. Успенский не попался: он сбежал, оставив фальшивую «предсмертную» записку о том, что бросается в Днепр. Водолазы из НКВД обшарили весь Днепр, но не нашли ничего, кроме дохлой свиньи. А Успенский в конце концов получил то, что заслужил. Пять месяцев он провел в бегах, но потом, рассказывает Хрущев, «поймали Успенского в Воронеже»[27].

Вскоре после переезда в Киев беда едва не разразилась с самим Хрущевым. Человек, которого он привез с собой из Москвы и сделал украинским наркомом торговли, которого «уважал и доверял ему», был арестован. Вскоре Лукашова отпустили — это успокоило Хрущева, но ненадолго, лишь до разговора с подчиненным. Лукашов рассказал, что его «били нещадно и пытали», пытаясь добиться от него показаний… на самого Хрущева! Обвинения в том, что Хрущев якобы отправил Лукашова в загранкомандировку для установления связей с белогвардейскими организациями, были смехотворны (на самом деле Лукашов закупал за границей семена лука и других овощей) — но не смехотворнее прочих подобных обвинений, по которым погибли уже сотни людей. Согласно Хрущеву, его друг «оказался крепким человеком, отчего и остался в живых». Ничего не добившись, его отпустили — случай нечастый. Сам Хрущев тоже проявил редкую смелость — обратился к Сталину и рассказал ему обо всем.

— Да, — спокойно ответил тот, — это все чекисты стали делать, туда тоже затесались враги народа и подбрасывают материал, вроде бы кто-то им дал показания. И на меня есть показания, что тоже имею какое-то темное пятно в своей революционной биографии[28].

Заговорив об этом первым, Хрущев доказал Сталину, что ему нечего скрывать: подозрительный тиран любые проявления страха и неуверенности воспринимал как доказательства вины. Казалось бы, этот случай должен был ясно показать Хрущеву, что в мясорубке НКВД гибнет множество невинных людей. Возможно, так оно и было: но «на публику» Хрущев продолжал заявлять, что несправедливые аресты случайны и подстраиваются проникшими в органы «врагами народа».

Об этом Хрущев говорил в своем выступлении на XIV съезде компартии Украины: «Товарищи, мы должны разоблачать врагов народа и беспощадно с ними бороться. Но нельзя позволить, чтобы от этого пострадал хоть один честный большевик. Будем вести борьбу с клеветниками». Один из таких клеветников, добавляет Хрущев, направил в местные партийные органы такую просьбу: «В борьбе с врагами я подорвал здоровье и прошу дать мне возможность отдохнуть в курортных условиях». *(Смех в зале.)*[29] На XV съезде, состоявшемся в 1940 году, Хрущев повторяет это предупреждение: «Клеветники крадутся темными переулками и делают свою грязную работу. Много ума для этого не требуется. Просто записываешь фамилии в записную книжку и идешь по ней, пока не пройдешь весь алфавит от А до Я». *(Смех в зале.)*[30]

Едва ли подобные слова могли послужить компенсацией за активно раздуваемое Хрущевым пламя страха[31]. Впрочем, в своих воспоминаниях он приводит и примеры «добрых дел» — например, случай, когда он усомнился в представленных НКВД материалах на одного киевского партийного деятеля и добился свидания с узником — увы, слишком поздно, ибо этот человек уже мог лишь покорно повторять «признания», навязанные ему палачами. Однако Хрущев сумел спасти другого подозреваемого, взятого по связанному с этим делу. «Меня не оставляла мысль, что все-таки что-то здесь неладно»[32].

Разумеется, несколько случаев «добрых дел», о которых Хрущев рассказывает в своих мемуарах, мизерны по сравнению с десятками отправленных на смерть людей, о которых он умолчал. Так или иначе, он убедил самого себя, что помогает беззащитным, и это убеждение помогло ему пройти через страшные годы террора, хотя бы отчасти сохранив уважение к себе и силы жить дальше.

Назначая Хрущева на Украину, Сталин знал о «слабости» своего протеже к «городскому хозяйству и промышленности» и предупредил, чтобы тот «не увлекался Донбассом» и «больше внимания обращал на сельское хозяйство». «Такой линии я и придерживался, — пишет Хрущев, — хотя мне это было нелегко, потому что я чувствовал тягу к промышленности, а особенно к углю, машиностроению и металлургии… Я стал больше заниматься сельским хозяйством, деревней, ездить по Украине, искать передовых людей, слушать их и учиться у них»[33].

Первым делом Хрущев постарался найти себе помощника, который мог бы все свое время посвящать сельскому хозяйству. Он выбрал Андрея Шевченко из киевского Института земледелия.

Двадцативосьмилетний Шевченко доказал, что способен трудиться без устали, изо дня в день, и был взят на работу. Хрущев, вспоминает Шевченко, уже понял, что система управления сельским хозяйством нуждается в изменениях: меньше указаний сверху, больше решений, принимаемых самими колхозниками. Однако прежде, чем убеждать в этом Москву, Хрущев отправил Шевченко опробовать эту идею на самих крестьянах.

«Не приезжай на машине, — наставлял его Хрущев. — Явись в деревню пешком, чтобы мужики видели: ты — такой же, как они. Ты вроде не куришь? Все равно, возьми с собой табак: почти все мужики курят, а тебе нужно расположить их к себе, чтобы они раскрылись. Не засыпай их всякой бюрократией. Дай им подумать. Просто аккуратно спроси, как бы они отнеслись, если бы не получали план сверху от Сталина, а разрабатывали сами. Не торопись, не навязывай им своих мыслей, посмотри, смогут ли они планировать сами».

Шевченко вернулся в Киев с готовой схемой реформы. Хрущев поработал над ней еще несколько дней, а затем представил ее в Москву. Вместе с Шевченко он изложил свою идею Сталину, который поначалу ее отверг: «Если мы сделаем, как вы говорите, они перестанут сажать свеклу. Сахарную свеклу растить тяжело, и доход от нее небольшой, так что они ее растить не будут. Перейдут на овес». Хрущев уверял, что крестьянам можно доверять; Сталин отвечал на это, что Хрущев «несет чушь», что без дисциплины и принуждения сверху «все развалится». В конце концов Сталин согласился ввести некоторые изменения, но только на Украине: колхозам разрешили принимать свой план на некоторые культуры (рожь, овес, ячмень и просо); на все остальное план по-прежнему спускался сверху. «Мало будет ржи — кого-то посадим, — проворчал Сталин. — Если они не станут сеять рожь, отвечать будешь ты».

Хрущев создал специальный комитет по развитию скотоводства и поручил драматургу Александру Корнейчуку написать пьесу о дальновидном председателе колхоза. Кроме того, он попытался реорганизовать систему оплаты труда так, чтобы колхозник, больше работающий и больше производящий, получал бóльшую плату — реформа, аналогичная той, которую он ввел уже после смерти Сталина[34]. Хрущев, много времени проводивший в сельской местности и хорошо знавший реальные условия крестьянского труда, лучше других советских вождей понимал истинные нужды и интересы колхозников.

В 1940-м он приехал в Петрово-Марьинский район, где в 1925 году был секретарем местной партячейки. Человек, ныне

занимавший этот пост, Захар Глухов ожидал появления Хрущева с целой свитой — но тот приехал с одним помощником и водителем. Первым на глаза ему попался пьяный председатель колхоза. Хрущев вспылил, но, успокоившись, начал сочувственно расспрашивать об ужасных условиях жизни и труда, толкающих крестьян к пьянству. Именно во время этого визита он спрашивал о том, выжили ли кулаки, которых он знал в двадцатых. Хрущев произвел на Глухова самое благоприятное впечатление: «Простой и прямой. Поговоришь с ним пять минут — и уже кажется, что знаешь его всю жизнь, что с ним можно говорить обо всем»[35].

В апреле 1938 года первый секретарь Украины нанес визит еще в одно памятное место — сталинский техникум. В это время большинство студентов были на занятиях, однако, услышав о его приезде, высыпали в коридор и приветствовали его аплодисментами. Хрущев прикинулся рассерженным, выговорил ректору за то, что тот позволяет срывать занятия, но согласился выступить перед студентами и преподавателями. Как обычно, говорил он без бумажки и быстро установил контакт с аудиторией. Бóльшую часть студентов, вспоминал позже один из них, волновали прежде всего репрессии, в результате которых техникум лишился многих преподавателей. Хрущев, однако, заговорил об угрозе со стороны нацистской Германии и о бдительности против внутренних врагов; говорил очень просто, «по-свойски», а под конец речи с широкой улыбкой извинился за то, что помешал занятиям[36]. В этом выступлении Хрущева ярко отражаются те особенности, которые были свойственны его поведению на всех официальных встречах и собраниях, не исключая пленумов ЦК. Даже здесь, вместо того чтобы слушать других, он постоянно привлекал внимание к себе — подавал реплики с места, перебивал выступающих (иной раз — до того, как они начинали говорить), подбадривал их, поправлял или язвил[37].

В 1939-м на Украине собрали на 21,5 % больший урожай, чем в предыдущем году. Росла производительность донецких угольных шахт, вводились в строй новые заводы. Трудно сказать, какова здесь была заслуга Хрущева; однако и в Киеве, и в Москве главную роль в экономических успехах приписывали ему. В своих воспоминаниях он с гордостью рассказывает о том, как разрешил «загадку автомобильных шин». Поддерживая свой имидж «человека из народа», Хрущев сблизился со своим шофером, Александром Журавлевым, которого его дети называли дядей Сашей. Однажды «дядя Саша» пожаловался на то, что шины советского производства быстро изнашиваются; Хрущев отнесся к этой жалобе так серьезно, словно она исходила от Академии

наук, и даже сообщил об этом Сталину, хотя вождь и «не любил, когда мы критиковали что-либо собственного производства».

Сталин в самом деле не любил дурных новостей и «отомстил» по-своему — приказал самому Хрущеву исправить ситуацию. Ответ Хрущева был преисполнен не совсем ложной скромности: «Но ведь я совершенно незнаком с данным видом производства!.. Выпуск шин мне совершенно незнаком». Позднее он вспоминал: «Я, честно говоря, немного побаивался: не знал, сколько это займет времени и смогу ли вообще разобраться в этом вопросе».

Финал истории предсказуем. Хрущев отправился на лучший в СССР завод по производству шин (укомплектованный американским оборудованием), лично ознакомился с производственным процессом, задал кучу вопросов и поставил «диагноз»: шины изнашиваются оттого, что, спеша перевыполнить норму, рабочие нарушают инструкции по изготовлению — делают шины на один-два слоя резины тоньше. Когда Хрущев сообщил об этом Сталину, тот был «страшно раздражен», однако своему приближенному сказал благосклонно: «Я согласен с вами, давайте ваши предложения, и мы их утвердим».

«Я потому и привел рассказ о данном эпизоде, — заключает Хрущев, — чтобы показать государственный подход Сталина к делу. Он был, конечно, большим человеком, организатором, вождем. Но был он и большим деспотом и поэтому боролся с варварством, встречавшимся в нашей жизни, деспотическими методами»[38].

Отправляясь на Украину, Хрущев беспокоился, что местная интеллигенция встретит его враждебно, однако этого не случилось. Напротив, многие, опасаясь за свою жизнь и положение, льстили ему и бесстыдно перед ним пресмыкались. Хрущев, всю жизнь мечтавший заслужить уважение «культурных людей», да к тому же страстно желавший показать Сталину, что в Киеве он настоящий хозяин, стал легкой добычей льстецов.

В 1938 году политика украинизации сменилась на Украине прямо противоположной тенденцией — русификацией. Украинская история подчищалась, в ней подчеркивались эпизоды, свидетельствующие об «исторически сложившихся братских узах между русским и украинским народами». Русский язык вернулся в школы; украинский «обогащали» словами типа «пятисотница» (героическая колхозница, собравшая не меньше пятисот центнеров сахарной свеклы с гектара) и одновременно «вычищали» из него слова, неразрывно связанные с крестьянским бытом, такие, как «постолы» или «очкур» (башмаки на деревянной подошве и веревочный пояс, какие носил в Калиновке сам

Хрущев)[39].

Хрущев рьяно взялся за русификацию Украины. В 1938 году он громил «польско-германских агентов и буржуазных националистов», которые «делают все, чтобы покончить с русским языком на Украине», и «мерзавцев, которые пытаются изгнать русский язык из украинских школ»[40]. Однако не забывал он и заигрывать с украинскими интеллигентами, которые из-за своего неустойчивого положения жадно ловили знаки внимания со стороны властей. Так, он организовал награждение орденом смертельно больного украинского композитора и, явившись к больному на квартиру, лично вручил ему высокую награду. Согласно свидетельству будущего комсомольского лидера Украины Костенко, интеллигенция восприняла жест Хрущева «как знак благоволения, особенно на фоне всего, что тогда происходило»[41].

Уже через несколько недель после своего прибытия в Киев Хрущев начал налаживать связи с известными писателями. Наиболее выдающимся из украинских поэтов того времени был, пожалуй, Максим Рыльский, родившийся в 1895 году, неоклассицист, в 1917 году организовавший творческое объединение, резко дистанцировавшееся от всевозможных «пролетарских поэтов». Еще в 1925 году Рыльский резко высказывался о коммунистических литературных объединениях, замечая, что они «хороши лишь для бездарей», а в 1931-м подвергся критике как «правый», в чьих произведениях «сильны мотивы националистического волюнтаризма» и «идеализируются кулаки и буржуазия». В том же году Рыльский был арестован и провел полгода в тюрьме; после этого он публично отрекся от своего прошлого и пополнил ряды лояльных литераторов[42]. Сталина он пережил — и за это, пожалуй, следует благодарить Хрущева. В 1938-м, когда Рыльского собирались арестовать, Хрущев напомнил тогдашнему шефу украинского НКВД Успенскому, что поэт — автор знаменитого стихотворения о Сталине, положенного на музыку и ставшего популярной песней. «А вы хотите его арестовать! Этого никто не поймет»[43].

Сдружился Хрущев и с двумя другими известными поэтами — символистом Павло Тычиной и неоромантиком Миколой Бажаном. Оба после революции присоединились к объединениям пролетарских писателей, однако сопротивлялись попыткам большевиков руководить «литературным фронтом». Тычину в 1927 году обвиняли в «протаскивании националистического опиума под видом пролетарской литературы», а Бажана в 1934-м — в «несоответствии требованиям рабочего класса». В начале тридцатых подобные обвинения звучали достаточно зловеще. Так,

Микола Хвылевый, писатель-коммунист, стремившийся защитить украинскую культуру от российского централистского контроля, в 1933 году покончил с собой. В этом же году «покаялся» Тычина, а в 1934-м — Бажан. Оба принялись воспевать Сталина и были щедро вознаграждены за свое обращение «на путь истинный». Тычина стал главой Союза писателей Украины, а Бажан после войны представлял Украину в ООН.

Бажан не был так близок к Хрущеву, как Рыльский. Однако его вдова Нина, врач по профессии, вспоминает, что знала не только самого Хрущева, но и Нину Петровну, которая приводила детей к ней на прием, и старшую дочь Хрущева от первого брака, работавшую лаборанткой в Институте физиологии. Свидетельства о том, как влияло на жизнь Бажанов благоволение Хрущева, можно найти в их шестикомнатной, элегантно обставленной квартире и в семейном альбоме, запечатлевшем поэта с Хрущевым и другими украинскими партийными руководителями[44].

Говорят, что Тычина и Бажан, решившись продать свой талант сталинизму, испытывали «моральные мучения»[45]. Однако, похоже, никаких мучений не испытывал Александр Корнейчук, с которым также подружился Хрущев. Корнейчук с самого начала ни в чем не отступал от генеральной линии партии; за это он получил немало наград, ведущую роль в Союзе писателей, а после войны — назначение украинским «министром иностранных дел». Из-за его доносов пострадало немало писателей; однако и под ним однажды зашаталось кресло, когда Сталин остался недоволен либретто оперы «Богдан Хмельницкий», написанным им вместе с женой Вандой Василевской. При этом Хрущев оставался для Корнейчуков неизменным другом и защитником.

Кинорежиссер Александр Довженко был предан революции, однако воспринимал ее неортодоксально, по-своему. Его самый знаменитый фильм «Земля» (1930) посвящен коллективизации, которую Довженко изображает в позитивном свете — но не настолько позитивном, как хотелось бы критикам-сталинистам, обвинившим его в «контрреволюционности» и «пораженчестве». Следующий фильм Довженко, «Иван», показавший индустриализацию глазами простого рабочего-днепростроевца, был изъят из проката, так как в нем увидели пропаганду фашизма и пантеизма, а режиссер фильма был уволен с Киевской киностудии[46].

Боясь, как рассказывал он другу, что его «посадят и съедят живьем», Довженко обратился лично к Сталину, когда-то с похвалой отозвавшемуся о его раннем фильме «Арсенал», посвященном революции и Гражданской войне. Как ни

удивительно, меньше чем через двадцать четыре часа всемогущий диктатор принял его лично, представил Молотову, Ворошилову и Кирову «как давнего и хорошего знакомого» и попросил, ни о чем не тревожась, спокойно работать над следующим фильмом «Аэроград» (в котором доблестные советские пограничники защищают новый город Аэроград от проникновения японских шпионов и диверсантов). Так началось двадцатилетнее покровительство Сталина Довженко — странный союз, в котором Сталин выступал в роли персонального критика и цензора, как в свое время Николай I для Пушкина[47].

Покровительство Сталина обеспечило Довженко высшую награду — орден Ленина[48]. Неудивительно, что Хрущев ценил знакомство с Довженко, с которым впервые встретился в 1934 году в Москве, и, когда в 1938-м тот начал снимать на Киевской киностудии фильм о красном командире Щорсе, проявил к этой работе особый интерес. Консультантом выступил бывший помощник Щорса Иван Дубовой; можно себе представить смятение и Довженко и Хрущева, когда Дубовой был арестован и расстрелян за убийство своего командира. Хрущев оставался близок к режиссеру; еще больше он сдружился с Довженко в 1939 году, после выхода на экраны документального фильма «Освобождение» — об оккупации советскими войсками Западной Украины, в которой Хрущев принимал непосредственное участие[49].

Больше, чем поэты и режиссеры, Хрущева привлекали ученые и инженеры: с ними он чувствовал себя свободнее, к тому же они могли внести более весомый вклад в экономику региона. Рассказ Хрущева о знакомстве с академиком Патоном полон ностальгии по утраченным возможностям.

«В кабинет вошел плотный человек, уже в летах, весь седой, коренастый, со львиным лицом, колючими глазами. Поздоровавшись, тут же вытащил из кармана кусок металла и положил на стол: „Вот, посмотрите, товарищ Хрущев, что может делать наш институт. Это полосовое железо (кажется, 10-миллиметровой толщины), и я его таким свариваю“.

Посмотрел я сварку. Так как я сам металлист, то со сваркой мне приходилось встречаться. Здесь был просто идеальный шов, внешне гладкий, как литой.

Он говорит: „Это сварка под флюсом“».

Этого термина Хрущев никогда раньше не слышал. Патон объяснил, что такую сварку можно использовать при строительстве мостов и в перекрытиях зданий. «Я был буквально очарован встречей и беседой с Патоном, — рассказывает Хрущев. — Он заставлял считаться с собой и умел влиять на

людей, с которыми встречался… Глаза у него буквально горели, и в словах была такая уверенность, что он заставлял и других поверить в свою идею».

По рекомендации Хрущева сварка металла под флюсом была внедрена сначала в промышленность, а затем и в производство танков. Во время войны Патон обратился к своему покровителю с просьбой принять его в партию, несмотря на «старорежимное воспитание» и первоначальную «неприязнь к Октябрьской революции». «Глубоко тронутый» Хрущев передал эту просьбу Сталину, который «тоже был взволнован — а он редко выдавал свое волнение, — и сказал: „Ну вот и решился Патон, он заслуживает всяческого уважения“»[50].

Как же легко подпадал Хрущев под обаяние харизматических ученых, обещавших чудеса! Какую проявлял сентиментальность, когда ему давали возможность ощутить себя благодетелем! И при жизни Сталина, и после его смерти Хрущеву каким-то образом удавалось четко отделять преступления, совершаемые коммунистической партией, от ее великой цели. Сколько бы крови ни пролилось во имя социализма — стоило Патону объявить о своем «обращении», как на глаза Хрущева навернулись слезы.

Завоевал его сердце и Трофим Лысенко — «босоногий ученый» (как он сам себя назвал в статье, напечатанной в «Правде» в 1927 году и знаменовавшей начало его стремительной карьеры), человек, опровергавший не только Менделя, но и Дарвина, и с легкостью необыкновенной решавший все проблемы советской агротехники. В совершенстве овладев искусством саморекламы, интриганства и очернения соперников, Лысенко сделался «главным советским биологом». В 1940 году Хрущев выступил в защиту очередного смелого плана Лысенко — использования цыплят для борьбы с долгоносиком, поражающим сахарную свеклу. Лысенко заявил по этому поводу, что другие специалисты критиковали его план, однако «верное и своевременное вмешательство Никиты Сергеевича» сразу показало, что он прав, а его оппоненты ошибаются[51].

В июле 1939 года Хрущев назвал Лысенко «прекрасным человеком», возглавляющим «целую школу прекрасных людей»[52]. Псевдонаука Лысенко вполне отвечала большевистскому менталитету. Сталин и его сподвижники не признавали для своих планов ни социально-экономических, ни физических преград; неудивительно, что их привлекало шарлатанство, облаченное в одежды дерзких научных прозрений. Даже истинные ученые поддерживали Лысенко, опасаясь за свою жизнь и карьеру[53]. Так что поддержка, оказанная ему Хрущевым, не была лишь причудой

хрущевского характера. Однако очевидно, что у лидера компартии Украины была и личная причина питать к Лысенко симпатию: он мог уважать Трофима Денисовича, не завидуя его эрудиции.

Вскоре после прибытия Хрущева в Киев Молотов предложил назначить его заместителем председателя Совнаркома. От этого предложения (очевидно, не вполне серьезного — иначе его поддержал бы Сталин) Хрущев отказался, заявив, что на Украине он нужнее. Была тому и личная, эгоистическая причина: на Украине Хрущев мог наслаждаться культом собственной личности[54].

Краткая биография, опубликованная по случаю вступления Хрущева в должность, описывает его в таком ключе: он «показал высокую принципиальность, беззаветную преданность партии Ленина — Сталина, умение упорно и до конца проводить начатое дело. Большевистская прямота, чуткость, исключительная скромность — характерная черта этого сталинца»[55]. «Правда Украины» выражала «безграничную радость» по случаю избрания Хрущева в декоративный Верховный Совет СССР, располагавшийся в Москве. По словам заместителя Хрущева Демьяна Коротченко, только «лучший сын нашего народа, безупречный большевик, донецкий шахтер Никита Сергеевич Хрущев» сумел «разгромить троцкистско-бухаринских врагов и их союзников — украинских националистов»[56]. Коротченко был классическим «Молчалиным». «На заседаниях [украинского Политбюро] он всегда молчал, — рассказывает Василий Костенко. — Молчание было его козырем. Он дожидался, пока Никита Сергеевич что-нибудь предложит, и восклицал: „Да, да, конечно, совершенно верно!“»[57]

Лицо и фигура Хрущева (в то время еще относительно стройная) постоянно мелькали в украинской прессе. Вот он, в залихватски заломленной набок кепке, принимает парад физкультурников; вот в украинской вышитой рубахе заседает в Верховном Совете Украины; вот он рядом со Сталиным и Ждановым на неформальном групповом портрете. Вот снимок, который должен был особенно нравиться Хрущеву: на нем Хрущев запечатлен вместе с делегатами XIV съезда компартии Украины, совсем так же, как всего десяток лет назад шахтеры из города Сталино, среди которых был и он сам, были удостоены сняться вместе с вождем[58].

23 декабря 1939 года первые полосы украинских газет обошел снимок, на котором Хрущев разговаривает с Молотовым, а Сталин благосклонно слушает их беседу. 12 мая 1940-го еще

один снимок почти во всю страницу показывает нам, как Хрущев, с блокнотом и карандашом наготове, выслушивает указания Сталина. А тремя днями спустя мы видим Хрущева на трибуне — он выступает на XV съезде КП(б)У. В «Правде» и «Известиях» подобным образом дозволялось изображать только Сталина — но на Украине Хрущев сделался «Сталиным» местного масштаба.

Неумеренное восхваление вождей «второго ряда» было в сталинские времена обычным делом; Хрущев, по всей видимости, искренне этим наслаждался. Кинохроника запечатлела награждение его орденом Красного Знамени, состоявшееся в Кремле в 1939 году. Мы видим, как Хрущев идет по красному ковру, как принимает награду из рук официального главы государства Калинина, как пожимает ему руку и произносит короткую речь. При покадровом просмотре хорошо видно, что Хрущев смотрит на награду в руках Калинина голодным взглядом, словно хищник на добычу. Получив наконец заветное сокровище, он с облегчением расплывается в улыбке и на миг от восторга прикрывает глаза. Затем, глубоко вздохнув, решительным шагом поднимается на трибуну и начинает говорить, помогая себе энергичными взмахами руки.

Второй эпизод кинохроники относится к XVIII съезду партии, состоявшемуся в марте 1939 года; тогда Хрущев привез с собой всю семью, остановившись в прежней московской квартире. На экране мы видим, как члены Политбюро собираются в зале, где им предстоит фотографироваться с заслуженными делегатами. Когда вожди входят, Хрущева от Сталина отделяют несколько человек; но к тому времени, как они начинают рассаживаться, он ухитряется протиснуться к вождю и занять место рядом с ним. Молотов и Каганович, которых Хрущев буквально оттирает, кажется, не возражают; Сталин мрачен и погружен в свои мысли. Устроившись на соседнем стуле, Хрущев победоносно улыбается, затем тревожно оглядывается кругом — не обидел ли он кого? Дружески подтолкнув Молотова и Кагановича локтем, он обводит комнату довольным взглядом и вновь расплывается в улыбке.

1939 год принес новые треволнения. За знаменитым Пактом о ненападении, заключенным с фашистской Германией, и началом Второй мировой войны последовала советская оккупация Западной Украины и Западной Белоруссии. Хрущев принимал в этом активное участие — что говорит не в его пользу, ибо аресты и депортация сотен тысяч жителей присоединенных территорий лежат и на его совести.

В дипломатических маневрах, предшествовавших заключению пакта, Хрущев не участвовал. Однако во второй

половине августа 1939 года ему случилось быть в Москве, где он руководил организацией работы украинского павильона на ВСХВ. О визите германского министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа Хрущев узнал накануне его прибытия. Сталин с удовольствием поделился этой новостью со своим ничего не подозревающим приближенным. «Смотрит он на меня и улыбается, выжидает, какое эта новость произведет на меня впечатление? Я тоже на него смотрю, считая, что он шутит: чтобы к нам да прилетел Риббентроп? Что он, бежать из Германии собирается, что ли?»[59]

Неудивительно, что на переговоры Хрущева не пригласили. 23 августа он вместе с Маленковым, Ворошиловым и Булганиным отправился на охоту. Хрущеву уже случалось охотиться под Москвой, но на этот раз он впервые попал в закрытое охотничье угодье Завидово. «Хорошо, поезжайте, — сказал ему Сталин. — Я с Молотовым приму Риббентропа и послушаю, а потом вы приезжайте с охоты, я расскажу, каковы цели Гитлера и каков результат разговора».

И три десятилетия спустя Хрущев вспоминал об этой охоте с неподдельным восторгом. Совсем рядом решались судьбы мира — а он, позабыв обо всем, наслаждался жизнью. «Поохотились мы, погода была чудесной, тепло, сухо, охота прошла очень удачно. Прошу не понимать меня как некоего типичного охотника-хвастуна. Но мне действительно удалось тогда убить на одну утку больше, чем Ворошилову. Почему об этом говорю? Да потому, что везде у нас тогда гремело: „Ворошиловские стрелки“. Ворошилов, дескать, стреляет из винтовки и из охотничьего ружья лучше всех»[60].

Хрущев знал, что после охоты Сталин позовет их на ужин, и «повез с собой уток, как говорится, для общего котла. Я похвалился своими охотничьими успехами. Сталин был в хорошем настроении, шутил».

Пакт Молотова — Риббентропа с секретным протоколом, в котором двое диктаторов договорились об очередном разделе Польши, повлек за собой ужасные последствия для жителей Западного края. Правда, при польском правительстве национальным меньшинствам — русским, украинцам и белорусам, проживавшим на этих территориях, — приходилось очень несладко; но их беды под польским владычеством нельзя сравнить с тем террором, который обрушился на новых граждан СССР после присоединения к Советскому Союзу.

В событиях, последовавших за вводом войск на Западную Украину, Хрущев играл ключевую роль. Сталин неусыпно

наблюдал за ним, ставки были высоки, время — дорого. В аннексии новых территорий СССР стремился соблюсти видимость демократии. 22 сентября советскими войсками был занят Львов, крупнейший город Западной Украины, — а уже 26–27 октября «свободно избранные» национальные собрания Западной Украины и Белоруссии обязали своих представителей подать просьбу о присоединении к СССР. 1 ноября Верховный Совет СССР принял их прошения, вызвав в ответ такие выражения благодарности Сталину: «Из царства тьмы и бесконечных страданий, в которых прозябал народ Западной Украины шестьсот долгих лет, мы переходим в сказочную страну свободы и счастья народа»[61].

Такое чудо удалось сотворить Хрущеву за неполных два месяца. Советская пресса превратила аннексию Западного края в настоящее шоу — и звездой этого шоу стал Хрущев. В одном городе неподалеку от новой советско-германской границы, узнав, что один из слушателей его выступления — слесарь, он воскликнул: «Ну а я тоже слесарь!» — чем вызвал «восторженные возгласы и аплодисменты» толпы[62]. На кадрах кинохроники мы видим, как Хрущев вместе с маршалом Семеном Тимошенко, командующим Киевским военным округом, приветствует радостных поселян: на Хрущеве френч и военная фуражка, которые он носит с явной гордостью, не смущаясь даже тем, что на фоне высокого статного Тимошенко смотрится непрезентабельно. Обращаясь к толпе с речью, Хрущев заламывает фуражку, озорно улыбается в ответ на аплодисменты, а затем, когда слово переходит к Тимошенко, слушает его, выпрямившись и заткнув большие пальцы за пояс. Далее мы видим, как высокие гости стоят кружком и разговаривают: все, кроме Хрущева, — с сигаретами. А вот они в сопровождении охраны идут к черным правительственным автомобилям, и Тимошенко уступает дорогу Хрущеву, позволяя ему сесть в машину первым.

В фильме Довженко «Освобождение» присоединение новых территорий изображается в стиле Лени Рифеншталь, в красочных образах, отражающих победу добра над злом. Злобная буржуазия, прежде властвовавшая на этих землях и угнетавшая народ, теперь подметает улицы. Польскую помещицу, безобразную старуху, выкидывают из дома. Пленные польские солдаты, едва держась на ногах, плетутся к желанной свободе. Бравурные крестьянские пляски… монахи, голосующие за советскую власть… И красной нитью проходит через фильм образ Хрущева — вот он выступает перед людьми, вместе со всеми поет осанну Сталину, наслаждаясь хорошо отрежиссированным «народным признанием».

В некоторых случаях Хрущев старался смягчить репрессии,

обрушившиеся на новых граждан СССР. Хотя в 1938 году Сталин распустил компартии Польши и Западной Украины, на выборах 1939-го Хрущев использовал их бывших членов в качестве добровольных организаторов. Он старался замедлить темп коллективизации и раскулачивания на новых землях (впрочем, завершить то и другое советская власть не успела — до начала войны оставались считаные месяцы)[63]. Однако и тридцать лет спустя оккупация вызывала у него искренний восторг. Он приветствовал объединение Западной и Восточной Украины[64], радовался расширению территории СССР и укреплению западной границы. Когда крестьяне из недавно созданного колхоза запели на собрании «Интернационал», он испугался, что они не смогут допеть до конца. «И только представьте, — восклицал он, — они знали все слова и прекрасно спели все до последнего слова!» Проблемы, если верить Хрущеву, возникали только с образованными поляками, не понимавшими, чем может обогатить их советская культура. «Воспитанные на буржуазных традициях… эти люди как бы теряли свою самобытность, свое лицо. Они не могли понять, что польская культура и польская нация продолжают развиваться на территории, отошедшей к Советскому Союзу»[65].

С особым наслаждением Хрущев «воспитывал» и поучал чиновников низшего звена — простых, грубых людей, очень похожих на него самого в молодости. Однажды, будучи во Львове, он зашел к партийному функционеру, переаттестовывавшему бывших чиновников городского муниципалитета. У него, рассказывал Хрущев, «из шинели торчало два револьвера. Одним словом, только пушки недоставало у него за плечами, потому что слишком тяжела. Люди сидели и смотрели на него». Хрущев прочел чиновнику целую лекцию о том, как должен вести себя настоящий коммунист: «Вы производите плохое впечатление не только насчет себя, но и о советских органах власти, о всех наших людях, о нашей трусости. Что вы сделаете вашими пистолетами, если кто-нибудь из террористов придет и захочет вас убить? Он застрелит вас вашими же пистолетами. Зачем вы их демонстрируете? Почему у вас торчат рукоятки? Спрячьте их в карманы и оденьтесь поприличнее»[66].

Теперь Хрущев имел возможность распекать и более высокопоставленных фигур. НКВД отправил на Западную Украину двух агентов (один из них потом прославился под именем полковника Рудольфа Абеля — советского шпиона, арестованного ЦРУ в 1957 году) для вербовки этнических немцев, которым, согласно секретному протоколу Молотова — Риббентропа, разрешалось вернуться в Германию. Один агент

пропал, и Хрущев не стеснялся в выражениях, объясняя Берии, что думает о тех, кто посылает на задания некомпетентных работников. Павел Судоплатов, находившийся в это время в кабинете Берии, рассказывает: «Благодаря высокочастотной телефонной линии я слышал его голос в трубке, даже сидя с другой стороны стола». Когда трубку взял сам Судоплатов, Хрущев «не потрудился меня выслушать… оборвал… а затем… бросил трубку»[67].

22 сентября 1939-го в деревне неподалеку от Львова Хрущев, потрясая кулаками, бранил генералов НКВД за поведение их подчиненных. С одной стороны, они ничего не делают: «Какая это работа — ни одного расстрелянного!» С другой — пытаются командовать партийцами: «Знаем мы, как ваши работники стараются подмять партийное руководство под себя!» Докладывая об этом Берии в Москву, глава украинского НКВД Иван Серов добавлял, что Хрущев — «человек высокомерный, не прочь разыграть демократа, ему страшно нравится, когда окружающие льстят ему…»[68]. Но интереснее всего вопиющая противоречивость желаний Хрущева: он требует одновременно, чтобы энкавэдэшники больше расстреливали и давали ему больше свободы действий.

Распекая и поучая подчиненных, Хрущев с удовольствием выслушивал потоки лести, изливаемые на него, например Александром Корнейчуком и его будущей женой, писательницей Вандой Василевской. Василевская бежала на восток из оккупированной Варшавы — как раз вовремя, чтобы помочь советской власти в агитации своих земляков-поляков, проживавших в Западном крае. «У меня, — вспоминал Хрущев, — остались добрые воспоминания об этой женщине, большой общественнице, преданнейшем гражданине, человеке неумолимой честности и прямоты. За это я ее весьма уважал». Далее он добавляет: «Сама она из знатного польского рода. Она была дочерью того Василевского, который в правительстве Пилсудского был министром, а кроме того, его ближайшим другом… Ходили слухи, что Ванда Львовна — крестная дочь Пилсудского». С увлечением рассказывает Хрущев о том, как Василевская бежала из Варшавы пешком, «в коротком полушубке и простых сапогах»[69]. Некоторое время спустя при помощи Хрущева она стала заместителем председателя Совета министров Украины.

Розовые воспоминания Хрущева достигают кульминации в описании собрания, принявшего постановление о присоединении Западной Украины к Советскому Союзу. Когда украинские делегаты собрались во Львове, «я не услышал ни одного оратора,

который выражал бы хотя бы сомнение в том, что у них должна быть установлена советская власть. Они с радостью, с пафосом заявляли, что их заветная мечта — быть принятыми в состав Советской Украины». Когда Верховный Совет СССР ответил на эту просьбу согласием, Хрущев ощутил «гордость», поскольку именно он «от начала до конца находился в западных областях Украины и организовывал все дело». «Не стану скрывать, — замечает он, — для меня это было счастливое время». И с легкостью, от которой захватывает дух, добавляет: «И в то же время мы продолжали арестовывать людей. Нам казалось, что эти аресты послужат укреплению Советской власти и расчистят путь к построению социализма на марксистско-ленинских принципах»[70].

Была у Хрущева и еще одна забота — управляя Украиной, он стремился расширить круг могущественных друзей и завести новые связи. В 1940 году, когда Красная Армия «освободила» от румынской оккупации Бессарабию, Хрущев вместе с маршалом Тимошенко отправился через румынскую границу в родную деревню Тимошенко Фурманку. Тимошенко, кавалерийский офицер, был выходцем из деревни; по замечанию Микояна, он «никаких книг никогда не читал»[71]. Имела ли эта поездка какие-то военные цели, неизвестно; очевидно только, что она стала для Хрущева великолепным развлечением. В своих воспоминаниях он охотно и оживленно делится подробностями своего путешествия, рассказывает о бородатом крестьянине, ругавшем на митинге румынских офицеров: «Я давно не слышал такой отборной, неповторимой русской ругани», и о застолье с родственниками Тимошенко, длившемся всю ночь: «„Как, — спрашиваю, — маршал? Спит или встал?“ — „Маршал еще и не ложился“»[72].

Особенно восхищался Хрущев молодым военным командиром Жуковым, принявшим командование Киевским округом в 1940 году, когда Тимошенко стал наркомом обороны. Понравилось ему, как на учениях в Харькове в 1940-м танкист Дмитрий Павлов «буквально летал по болотам и пескам». Но, когда Павлов вышел из танка и заговорил, Хрущев с чувством превосходства отметил, что танкист «малоразвит» и «со слабой подготовкой»[73]. У Михаила Кирпоноса, позднее занявшего место Жукова, «не было опыта руководства таким огромным количеством войск». А Льва Мехлиса, к которому Хрущев во времена Промакадемии «относился с уважением», он теперь считал «сумасбродным»[74].

Лучшими друзьями Хрущева в Кремле были Маленков и Булганин. Маленков разделял страсть Хрущева к охоте. Булганин как-то осмелился заметить при нем, что читать передовицы «Правды» незачем — все они одинаково предсказуемы и

бессодержательны[75]. Внешне верные сталинцы сохраняли между собой хорошие отношения; однако зависть и взаимное недовольство росли, и Хрущев здесь не был исключением. На пленуме ЦК в феврале 1939 года, вспоминал он, «каждый старался покритиковать других». Сам он критики в свой адрес избежал, получив лишь одно, довольно несерьезное обвинение — в том, что поощряет «всех в Московской парторганизации называть его Никитой Сергеевичем»[76].

Хрущев в самом деле предпочитал, чтобы к нему обращались запросто, по имени-отчеству: это отражает его приземленный, популистский стиль. По мнению Хрущева, его кремлевские коллеги были слишком оторваны от народа. Ворошилов «только красовался на праздниках в военной форме, а состоянием армии и ее оснащенностью не интересовался». Вместо того чтобы готовиться к войне, он «улыбался перед фотоаппаратами и киноаппаратами». Кроме того, он «прославился как ценитель и знаток оперы. Помню, однажды при мне заговорили о какой-то оперной певице, и жена Ворошилова, закатив глаза, проронила: „Климент Ефремович о ней не лучшего мнения“»[77].

Хрущев, разумеется, тоже водил дружбу с писателями и артистами, не говоря уж о позировании перед кинокамерой Довженко. Но больше всего ценил он приглашения на дачу к Сталину во время своих поездок в Москву в 1938-м и 1939-м. «В те времена с ним всегда приятно было встречаться, послушать, что нового он расскажет, доложить ему. Он всегда рассказывал что-либо подбадривающее или разъяснял то или другое положение. Одним словом, выполнял свои функции руководителя и вождя, беседовать с которым каждому из нас (я, во всяком случае, говорю о себе) было приятно»[78]. Далее он добавляет: «Всегда было легче откровенно говорить с ним с глазу на глаз»[79]. Однако к этому времени Хрущев уже начинает разочаровываться в Сталине.

Хрущев никогда не сомневался, что финская война 1939–1940 годов была вызвана «нашим желанием обезопасить себя». Не смущало его и то, что «война обошлась нам, может быть, даже в миллионы жизней». Беспокоили его лишь «стратегические просчеты с нашей стороны». В первый день войны он был в Москве. Сталин «был уверен, и мы тоже верили, что не будет войны, что финны в последнюю минуту примут наши предложения»[80]. Однако Финляндия предпочла сопротивление.

Война затягивалась, солдаты гибли, и между главой страны и наркомом обороны возникли разногласия. Сталин «очень разнервничался, встал, набросился на Ворошилова» за поражения в Финляндии. Ворошилов «вскипел, покраснел, поднялся и в

ответ на критику Сталина бросил ему обвинение» и даже «схватил тарелку, на которой лежал отварной поросенок, и ударил ею об стол»[81]. От этой сцены у Хрущева остался неприятный осадок, которого не смягчила даже отставка Ворошилова.

Неподготовленность Москвы к войне стала очевидна лишь 22 июня 1941 года. Но еще до этого, уверяет Хрущев, он начал догадываться, что за показной самоуверенностью Сталина скрывается страх. Впервые Хрущев заметил этот страх в 1940-м, когда Германия оккупировала Париж. Тогда Сталин «очень нервно выругался в адрес правительств Англии и Франции за то, что они допустили разгром своих войск». Кроме того, у Сталина появилась привычка собирать гостей у себя на даче и не отпускать их допоздна, «я думал, чтобы в этой компании как-то отвлечься от мыслей, которые его беспокоят». До 1940–1941 годов, по рассказу Хрущева, на этих дачных вечеринках он был свободен пить или не пить: если он отказывался, Сталин не настаивал, «и мне это нравилось». Но той зимой Сталин «стал пить, и довольно много пить, причем не только сам, но и стал спаивать других». При поддержке Берии, стремившегося развязать гостям языки, Сталин держал их на даче до рассвета: они якобы обсуждали дела, но реально «сидишь другой раз у него и ничего не делаешь, а просто присутствуешь на всех этих обедах, которые стали противными, подрывали здоровье, лишали человека ясности ума и вызывали болезненное состояние головы и всего организма». Всякий, кто отказывался пить, подвергался «штрафу» — дополнительной порции крепкого напитка. «А потом, — рассказывает Хрущев, — человека, который пил „в шутку“, заставляли выпить всерьез, и он расплачивался своим здоровьем. Я объясняю все это только душевным состоянием Сталина»[82].

Не в последнюю очередь Киев был привлекателен для Хрущева тем, что здесь он мог жить, как ему нравилось. Семья Хрущева разместилась в элегантном особняке (до революции здесь обитал богатый сахарозаводчик) с коваными воротами, подъездной аллеей, усаженной рядами высоких деревьев, широкой лестницей, начинающейся прямо от входной двери, огромным роялем в гостиной и большим садом, окруженным высокой зеленой стеной[83].

Еще великолепнее была загородная вилла Хрущева, располагавшаяся в пятидесяти километрах от Киева, на восточном берегу Днепра. Прежде на этом месте стоял монастырь. Хрущев жил здесь в большом кирпичном доме; его помощники, Михаил Бурмистенко и Леонид Корниец, занимали

два дома по соседству. Из дачного поселка под названием Межгорье открывался захватывающий вид на реку и острова. На поблекших от времени фотографиях из семейных альбомов Хрущевых мы видим широкую каменную террасу, уступами спускающуюся к песчаному пляжу. Алексею Аджубею, впервые попавшему в Межгорье после войны, запомнился сад, полный вишен, яблонь и слив. Рада Аджубей вспоминала нескончаемый поток гостей, в том числе артистов Киевского оперного театра[84].

К особняку в Киеве и вилле на Днепре прилагался многочисленный обслуживающий персонал — охранники, повара, шоферы. Нина Петровна впервые узнала об этом на одном из редких приемов для партийных и государственных руководителей и их жен, устроенном Сталиным, пока Хрущевы были еще в Москве. Она сидела рядом с женой Станислава Косиора. Зашел разговор о кухонной утвари, Нина Петровна попросила совета — что ей взять с собой в Киев. Жена Косиора откровенно изумилась. Оказалось, рассказывает Нина Петровна, что на кухне в киевском особняке ее уже ждет «столько и такой посуды, какой я никогда даже не видела. Так же и в столовой… Так мы начали жить на государственном снабжении: мебель, посуда, постели — казенное, продукты привозили с базы, расплачиваться надо было один раз в месяц по счетам»[85].

Обосновавшись в Киеве, Хрущев сохранил за собой и московское жилье, еще более роскошное, чем прежняя квартира в Доме на набережной. Новая московская квартира располагалась всего в двух кварталах от Кремля, на тихой красивой улице Грановского, в массивном пятиэтажном здании с просторным внутренним двором, обсаженным деревьями. Здесь были три спальни для детей, одна — для их родителей, две комнаты для гостей, кухня, гостиная (она же столовая), кабинет Хрущева и большая ванная. В квартире напротив в 1940 году поселился Булганин со своей семьей. Маленковы жили прямо под Хрущевыми, на четвертом этаже. На улице Грановского Хрущев жил во время своих визитов в Москву до войны и позже, в военное время.

Словом, материальное положение семьи Хрущевых лучше и быть не могло. Однако семейные проблемы давали о себе знать и теперь. Некоторые из них были связаны с растущим кланом Хрущевых. Отец Хрущева умер от туберкулеза в 1938 году, но мать была еще жива. Вместе с его семьей жили родители Нины Петровны, которых она в 1939 году вывезла из оккупированной нацистами Польши[86], ее племянник и племянница, Вася и Нина, которых она тоже вытащила из родной деревни. Разумеется, здесь же жили и дочь Хрущевых Рада, которой в 1938 году исполнилось

девять, и трехлетний Сережа, и годовалая Лена. Добавьте к этому детей Хрущева от первого брака — двадцатитрехлетнюю Юлию, переехавшую с отцом в Киев, и двадцатиоднолетнего Леонида, делившего время между Киевом и Москвой.

Вести дом и хозяйство в таком семействе было, конечно, нелегко. Хрущев был поглощен работой, а младшие дети часто болели. Весной 1941 года Сергей слег с туберкулезом, давшим осложнение на ноги. Следующие два года ему пришлось провести неподвижно в гипсе: только верхняя часть тела, руки и одна ступня оставались свободными. Той же весной Юлия, тоже заразившаяся туберкулезом, перенесла операцию на легких[87].

Нина Петровна была заботливой хозяйкой и строгой матерью. По словам Рады, она «считала заботу о семье своим партийным долгом и ввела в семье партийные порядки». Она «держала у себя в руках» зарплату мужа (хотя все нужды семьи оплачивались государством), ввела режим строгой экономии, «ничего не выбрасывала» («после ее смерти мы нашли горы старых платьев и свитеров, латаных-перелатаных»), тщательно следила за школьными успехами своих детей, особенно Рады. «У нее были суровые партийные принципы, — рассказывает Рада. — Маме всю жизнь было тяжело со мной, а мне с ней, хотя мы очень любили друг друга»[88].

Однажды, еще до болезни, маленький Сережа бросил на пол кусок хлеба. Мать дала ему пощечину, а отец (он в тот день был дома) выволок Сергея из-за стола и приказал: «Подними!» Как посмел Сережа швыряться хлебом, который так тяжело достается простым людям?! От больших детей — и неприятности больше; Леня огорчал мачеху более серьезными проступками — курил, несмотря на прямой запрет отца, брал вещи без спросу и забывал их возвращать. Он «не признавал авторитета Нины Петровны», рассказывает Любовь Сизых, вышедшая замуж за Леонида в 1938 году. Мать Хрущева, Ксения Ивановна, открыто принимала сторону любимого внука. В довершение всего Леонид рассорился с родной сестрой Юлией, с которой они не ладили с детских лет, поскольку Юля имела обыкновение жаловаться Нине Петровне на его шалости. В 1940 году, когда у Леонида родилась дочь, Люба хотела назвать ее Юлией, но муж воспротивился — пусть сестра не воображает, что это в ее честь! Девочку совсем было собрались назвать Иоландой, в честь знакомой киноактрисы, но тут запротестовала Ксения Ивановна, потребовав, чтобы правнучку назвали по-русски и по-христиански. В конце концов сошлись на «Юлии»[89].

Характером Люба очень походила на своего мужа — «озорника» и «сорвиголову». Ее отец, банковский служащий, был

глубоко религиозен и порвал с дочерью, когда она стала комсомольской активисткой. Если бы они не поссорились тогда, вспоминала она, это случилось бы чуть позже, когда она увлеклась воздухоплаванием — хотя именно ее полеты, о которых много писала пресса, помогли ей в конце концов помириться с отцом.

На фотографиях в семейном альбоме перед нами предстает красивая, жизнерадостная молодая женщина в летной форме. Неудивительно, что она привлекла внимание Леонида Хрущева, который окончил летную школу и работал в Киеве инструктором аэроклуба. Он был высок и хорош собой, в первый же вечер отвез ее домой на машине, а на следующий день явился с веткой цветущей сирени. После этого они почти не расставались. «Никогда я не встречала такого обаятельного мужчину», — рассказывает Люба[90].

Однако, при всех комсомольских и человеческих достоинствах Любы, было и у нее пятно на биографии. Как-то раз «подруга» обнаружила у нее в комнате перепечатку статьи Троцкого «Уроки Октября». Любу исключили из комсомола, правда, два месяца спустя восстановили (к подобным прегрешениям молодых людей власть относилась не слишком строго); однако для семьи Хрущева опасна была даже тень подозрения в связи с троцкизмом.

Неизвестно, знал ли Никита Сергеевич Хрущев о прошлом Любы во время их первой встречи. Он попросил сына вечером привести Любу к ним домой и подождать его возвращения. Вернувшись домой около полуночи, Хрущев сел за стол вместе с Леней, Любой и сестрой Лени Юлией. Нину Петровну не пригласили. Леонид не желал знакомить невесту с мачехой. Во время семейного ужина Нина Петровна вошла, взяла из посудного шкафа тарелку и молча вышла, даже не поздоровавшись с Любой.

За знакомством последовали совместные походы в театр, а затем — и приглашения в Межгорье. Люба особенно сдружилась с Ксенией Ивановной. После свадьбы Леонид и Люба поселились в квартире Хрущева в Москве; там они оживленно справляли Новый, 1939 год — это празднование запечатлено на пленке. На одном из снимков мы видим компанию молодых людей: две девушки и один юноша выглядят относительно трезвыми, но еще один гость хлещет водку прямо из бутылки, второй, кажется, вот-вот рухнет лицом в салат, а сама Люба, в центре группы, возлежит на диване в картинной позе, с бутылкой шампанского в руке и широчайшей улыбкой. Позднее Люба уверяла, что гости вовсе не были настолько пьяны, что это шутка. Но Хрущев-

старший таких шуток не понимал — тем более что дурное поведение родственников могло его скомпрометировать.

— Что это такое?! — кричал он. — Как ты себя ведешь?! Как ты можешь так себя вести? Комсомолка ты или нет? Позор! Как тебе не стыдно?!

Хрущев был вспыльчив, но отходчив: он не мог долго сердиться ни на сына, ни на невестку, и скоро возобновились их задушевные беседы с Любой на кухне.

Много лет спустя Люба припомнила еще один семейный инцидент. Хрущев, Леонид, Люба и Толя, ее сын от первого брака, приехали в Москву из Киева в личном вагоне Хрущева. Хрущев просил, чтобы прибывший за ним черный лимузин подождал родных, однако из соображений безопасности охрана настояла на немедленном отъезде. Позже, когда Леонид и Люба приехали домой, они услышали, как Хрущев кричал на начальника охраны: «Где мои дети? К чему все эти ограничения? Почему я не имею права подождать детей?»

Глава VII
В ГОДЫ ВОЙНЫ: 1941–1944

За два дня до нападения фашистской Германии на СССР Хрущев был в Москве. Там он, по его собственным воспоминаниям, «буквально томился», но не мог добиться позволения Сталина вернуться в Киев. Он хотел быть на своем рабочем посту. Что толку в пребывании на «обедах и ужинах питейных», которые «просто были уже противны»?

Но Сталин настаивал: «Да останьтесь еще, что вы рветесь? Побудьте здесь»[1].

В конце концов вождь смилостивился, и утром 21 июня 1941 года Хрущев вернулся в Киев. Прямо с вокзала он отправился на работу и до дома добрался только вечером. Однако час спустя, около десяти вечера, его вызвали обратно в ЦК, где заместитель по военной обороне предъявил Хрущеву документ, из которого следовало, что немцы готовы напасть: до начала войны остаются считаные дни, возможно, даже часы. И почти тут же пришла весть с Западной Украины, из города Тернополя: германский перебежчик сообщает, что нападение состоится в три часа утра. Всю ночь Хрущев провел на рабочем месте. И в самом деле — вскоре после трех часов ночи, едва на востоке позолотили небо первые лучи рассвета, пришло известие о нападении немецких войск. А час спустя вражеские бомбардировщики уже бомбили киевский аэродром.

Хрущев знал, что Советский Союз к войне не готов. Его старый друг, нарком обороны Тимошенко недавно инспектировал западные военные округа и обнаружил множество серьезных упущений на всех уровнях. В декабре 1940 года, во время военных учений, Жуков, сменивший Тимошенко на посту командующего Киевским военным округом, действуя за «синих» (немцев), одержал решительную победу над «красными». В дела сугубо военные Хрущев посвящен не был, однако Жуков и Тимошенко делились с ним своими тревогами. В докладе, направленном Сталину в апреле 1941-го, Хрущев отмечал чрезвычайно медленное продвижение работ по строительству укреплений и просил направить сто тысяч рабочих, чтобы закончить строительство к 1 июня 1941 года[2].

Однако, несмотря на все это, Хрущев не сомневался в победе Красной Армии. Неподготовленность СССР к войне стала в полной мере ясна только после 22 июня. Репрессии обезглавили армию, лишив ее не только ведущих маршалов и генералов, но и

командующих военными округами, 90 % начальников штабов и их заместителей, 80 % командиров дивизий и корпусов, 90 % штабных офицеров. Правда, СССР значительно превосходил Германию по числу танков и самолетов, однако модернизация была начата слишком поздно: полевые и штабные учения не были ориентированы на оборону, слишком много важных военных объектов оказалось сосредоточено на уязвимых приграничных территориях, войска были плохо организованы и недостаточно маневренны, артиллерийские части и запасы снабжения также были расположены чересчур близко к границе[3]. В довершение всего, вспоминает Хрущев, «не хватало оружия, не было даже винтовок»[4].

Сталин игнорировал многочисленные предупреждения: сообщение Черчилля в апреле 1941-го о том, что немцы собирают войска на восточной границе; сообщение советского посла от 22 мая, где говорилось, что нападение запланировано на 15 июня; телеграфное предупреждение советского посла из Лондона о том, что Гитлер нападет на СССР «не позднее середины июня». Всего за несколько часов до начала войны Сталин уверял Жукова, что «конфликт еще возможно разрешить мирными средствами», и ворчал: «Нет, Гитлер развязывать войну не собирается. Просто хочет нас спровоцировать»[5].

Чем более зловещие тучи собирались над горизонтом, тем упрямее игнорировал их Сталин. Вот почему первый приказ, полученный Хрущевым и его коллегами в то страшное утро, был: не открывать ответный огонь. В середине дня, когда военные действия уже шли вовсю, советским самолетам было приказано не залетать на вражескую территорию дальше 100–150 километров от границы, а войскам — вообще не переходить границу «до получения приказа»[6].

Только после полудня вышел знаменитый приказ № 3, в котором Сталин приказывал армии сопротивляться врагу, разбить его и вторгнуться на его территорию. Однако «мы еще точно не знаем, где и какими силами противник наносит свои удары, — докладывал Жуков заместителю начальника Генерального штаба Николаю Ватутину. — Не лучше ли до утра разобраться в том, что происходит на фронте, и уж тогда принять нужное решение?»

— Я разделяю вашу точку зрения, — отвечал Ватутин, — но дело это решенное[7].

Несколько часов спустя Жуков и Хрущев были в Тернополе: Жуков прилетел из Москвы в Киев, откуда оба они отправились в долгое и опасное путешествие в Западный край на автомобиле. В это утро Сталина разбудили в двадцать пять минут четвертого. Политбюро собралось в Кремле на рассвете. К концу дня было

уничтожено около 12 тысяч советских самолетов, что дало нацистам полное превосходство в воздухе, а немецкие войска вторглись вглубь советской территории. Прошло еще несколько дней, прежде чем ужасная правда открылась в полной мере: советские войска на Западном фронте были разбиты, уничтожены или окружены, и немцы получили полную свободу действий[8]. Только на юго-западном участке фронта, где Хрущев стал главным политкомиссаром, советским войскам удалось некоторое время удерживать свои позиции. Однако германские танки рвались на восток со скоростью 200 километров в неделю, и уже к середине июля под угрозой оказался Киев.

Двадцать семь миллионов советских граждан погибли в этой войне, по праву носящей в России название Великой Отечественной[9]. А те, кто выжил, стали свидетелями и жертвами поистине неисчислимых ужасов и зверств — как нацистских агрессоров, так, увы, и НКВД, не прекращавшего свою работу даже в самые страшные военные годы.

Парадоксально, однако, что многие выжившие впоследствии вспоминали годы войны с ностальгией, как едва ли не лучшее время в своей жизни. Иллюзорные «враги народа» забылись перед лицом реального врага. Большая часть советских граждан (исключая население Западной Украины, Прибалтики и Бессарабии, где многие поначалу видели в немцах освободителей) сплотилась перед лицом общего противника. Сталин сделал ставку на патриотические и националистические чувства русских, начал использовать в своей пропаганде отсылки к традиционным ценностям — вплоть до религии. Люди стали свободнее и смелее; многие надеялись на более свободную жизнь после войны[10].

В своей знаменитой речи 1956 года Хрущев саркастически обвинял Сталина в том, что тот якобы планировал военные операции «на глобусе»[11]. В действительности Сталин был талантливым стратегом и непревзойденным организатором — однако планирование длительных кампаний ему не давалось, к тому же он был полным невеждой в военной тактике. Стремясь как можно быстрее добиться превосходства над врагом и не думая о цене победы, он вел войну, не щадя своих солдат[12]. Однако из испытаний войны он вышел еще более могущественным, чем прежде — архитектором победы, символом нации, властелином половины Европы.

Война изменила Хрущева. С самого первого ее дня он находился в гуще сражений: вместе с Красной Армией отступал от Киева к Сталинграду, а затем вернулся обратно и вновь

приступил к своим обязанностям руководителя компартии Украины в ее освобожденной столице. Тысячи людей гибли у него на глазах — от простых солдат до генералов. И Хрущев чувствовал себя обязанным не только оплакивать эти потери, но и пытаться их предотвратить.

Хрущев служил главным политическим комиссаром (после 1941 года название этой должности изменилось) на нескольких основных фронтах. Он присутствовал на военных советах, в которые входили командующий, начальник штаба и глава политотдела. Ответственность последнего была не меньше, чем двух первых: ни один приказ не отдавался без его подписи. На деле многие командиры предпочитали чисто формальное участие политруков в военных советах, настаивая на том, чтобы те поддерживали в войсках боевой дух, «выбивали» из московских властей снабжение и подкрепления, а в военные дела не лезли. Однако Хрущев стремился к активному участию в планировании операций, и, поскольку он был членом Политбюро, ему не решались возражать.

Он стал чем-то вроде посредника в отношениях между военным командованием на местах и властями в Москве. Сталин использовал его, чтобы держать военных на коротком поводке; военные — чтобы через него влиять на Сталина. В конечном счете отвечал Хрущев, разумеется, перед Сталиным — однако внутренне отождествлял себя с военными. Такое же восприятие, на советском бюрократическом жаргоне именовавшееся «местничеством», было характерно и для его работы в Киеве. Боевые генералы воспринимали его как своего: некоторые осмеливались даже замечать ему, что негоже отправлять солдат на смерть за землю, которая им, в сущности, не принадлежит[13]. С этим Хрущев спорил, но с их негодованием по поводу губительных стратегических ошибок Москвы — соглашался.

Из всех коллег Хрущева по Политбюро схожие роли играли в армии только Жданов и Булганин — и оба не слишком хорошо с этим справлялись[14]. Остальные были весьма активны в Москве, но не на поле боя. Маленков управлял партаппаратом: он бывал на нескольких фронтах, в том числе и под Сталинградом, однако, как утверждает историк Дмитрий Волкогонов, «не оставил там никакого следа по причине полной некомпетентности в военных вопросах»[15]. Молотов занимал пост зампредседателя Государственного Комитета Обороны, вместе со Ставкой, Генштабом советских Вооруженных сил и Народным комиссариатом обороны следившего за общим ходом войны. Берия и Ворошилов, а позднее — Каганович, Микоян и молодой экономист Николай Вознесенский также были членами ГКО с

правом посещать заседания Ставки.

Хрущев с трудом скрывал неприязнь к своим московским коллегам, когда они, приезжая на фронт с инспекцией, вынюхивали признаки нелояльности и отдавали высокомерные распоряжения ему самому и боевым генералам. Он считал их ничтожествами — как, впрочем, и все, кто сталкивался с ними в военные годы. «Всякий раз, когда я приходил в Кремль, — рассказывал начальник транспортного управления Иван Ковалев, — то заставал в кабинете у Сталина Молотова, Берию и Маленкова. И всегда они были у меня как бельмо на глазу. Сидят, молчат, изредка что-то черкнут в блокноте. Сталин занимался делом — отдавал приказы, говорил по телефону, подписывал бумаги… а эта троица просто сидела и ничего не делала…»[16]

Война оставила в душе Хрущева глубокий след. На фронте он начал пить и курить; войне уделено огромное внимание в его мемуарах, однако даже в отставке он отказывался читать чужие воспоминания об этих годах[17]. Война прибавила к его коллекции несколько наград. В 1942 году в Москве, на церемонии по случаю 20-летней годовщины вступления Украины в СССР, отсутствующий Хрущев был провозглашен «большевистским вождем нашей армии, бьющей врага». 12 февраля 1943 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Военной формой Хрущев гордился: носил ее до конца войны, даже вернувшись к гражданским обязанностям. В том же году он получил ордена Суворова II степени и Кутузова II степени. На кадрах кинохроники того времени мы видим, как серьезно и торжественно он следит за процедурой награждения, а затем, получив орден, расплывается в широкой улыбке.

Эти ордена отражают участие Хрущева в победах под Сталинградом и на Курской дуге. Однако доля вины лежит на нем и за поражения под Киевом и Харьковом, где без особой необходимости погибли сотни тысяч советских солдат. Роль Хрущева в этих военных действиях была, конечно, не главной — но довольно значительной. Суждение Волкогонова, заявляющего, что «в военном плане Хрущев совершенно ничего из себя не представлял», возможно, и несправедливо: однако недавно обнаруженный документ 1930 года ясно свидетельствует о серьезных пробелах в его военной подготовке. Командир отряда запаса, в котором Хрущев проходил службу как политкомиссар, характеризует его подготовку, особенно в части тактики, всего лишь как «удовлетворительную», и добавляет: «*Нет системы* в мышлении по оценке обстановки и принятии решения» (выделено мной. — *У. Т.*)[18].

Позже Хрущев рассказывал, что ему «[во время войны] не раз

приходилось вступать в спор со Сталиным… и иногда удавалось переубедить его. Хотя Сталин метал при этом громы и молнии, я настойчиво продолжал доказывать, что надо поступить так-то, а не эдак… проходили часы, порою и дни, он возвращался к той же теме и соглашался»[19]. Возможно, так оно и было. В одном разговоре во время войны Сталин сетовал: «Что с вами говорить: вам что ни скажешь, вы все: „Да, товарищ Сталин“, „Конечно, товарищ Сталин“, „Совершенно правильно, товарищ Сталин“, „Вы приняли мудрое решение, товарищ Сталин“… Только вот один Жуков иногда спорит со мной…»[20] Жуков и Молотов в самом деле спорили со Сталиным; возможно, спорил и Хрущев — хотя бы для того, чтобы заслужить его уважение. Однако немало времени Хрущев тратил и на интриги и грубую лесть — забрасывал Сталина льстивыми докладами, восхвалял его при любой возможности, всеми правдами и неправдами старался как можно чаще попадать в поле зрения великого человека.

Не считая редких свиданий с женой и дочерью Радой, которые приезжали повидать его в Москву, с июня 1941-го до конца 1943 года Хрущев почти не виделся с семьей[21]. В этот период на семью Хрущевых обрушились три бедствия, несомненно, тяжко подействовавшие и на ее главу. Нина Петровна старалась не добавлять к заботам мужа своих горестей, однако скрыть от него происшедшее было невозможно — если бы Хрущев и не получал сведений в силу своего служебного положения, жена не смогла бы утаить от него свое горе и смятение. Семейное несчастье, как можно предположить, особенно поразило Хрущева тем, что было связано с Леней — любимым старшим сыном, в котором он узнавал себя в молодости.

3 июля 1941 года семья Хрущева покинула Киев. Проведя несколько недель в Москве, они отправились в Куйбышев — место эвакуации советского правительства и дипломатического корпуса. Семейство включало в себя Нину Петровну, ее трех маленьких детей и двоих племянников, Нину и Васю. Шестилетний Сережа по-прежнему не ходил и передвигался в коляске. Он не вставал на ноги до конца 1942-го: болезнь привлекала к нему общее сочувственное внимание, и, по словам одного из родственников, пожелавшего остаться неназванным, это его «страшно избаловало». Вместе с Ниной Петровной ехали также Ксения Ивановна, мать Хрущева, и его сестра Ирина Сергеевна с дочерьми Роной и Ирмой. В Москве к ним присоединились жена Леонида Люба и ее двое детей — полуторагодовалая Юля (в пути подхватившая дизентерию) и

семилетний Толя. Уже в Куйбышеве семейство Хрущевых встретилось с родителями Нины Петровны, а по возвращении в Москву в 1944-м на ее плечи легла забота о Вите Писареве, племяннике первой жены Хрущева, и двоюродной племяннице самой Нины Петровны Зине Бондарчук. В общей сложности во время войны Нине Петровне приходилось думать и заботиться по меньшей мере о пятнадцати родственниках[22].

Перед войной Леонид и Люба жили в московской квартире Хрущева, заказывали еду из кремлевской столовой и часто ходили в театр. О детях заботилась нанятая няня. Леня, в 1939 году поступивший на военную службу, учился управлять бомбардировщиком на военной базе под Подольском. В ночь с 21 на 22 июня в квартире у него, как часто случалось и до этого, ночевали несколько друзей-летчиков (и этот штрих тоже многое говорит о боеготовности Красной Армии). Ранним утром из Киева позвонил муж Ирины Сергеевны с известием, что немецкие самолеты бомбят город — и Леня с друзьями поспешил на аэродром.

Жизнь эвакуированных в Куйбышеве была вовсе не легкой. Писатель Илья Эренбург вспоминал пятидневное путешествие в вагоне пригородной электрички; по его словам, один спальный вагон занимали дипломаты, другой — члены Коминтерна[23]. Семье Хрущевых пришлось дожидаться поезда два или три часа; правда, ехали они по первому классу, как вспоминала Люба, «словно в доме на колесах».

Куйбышев, сравнительно небольшой город, оказался битком набит эвакуированными; по воспоминаниям Василия Гроссмана, «было что-то странно привлекательное в сочетании тяжеловесной громоздкости госаппарата с кочевой жизнью эвакуации». Превратившись во временную столицу, Куйбышев обзавелся не только правительством и дипкорпусом, но и писателями, театрами, оперой и балетом. Гроссман пишет:

«Все эти тысячи московских людей ютились в комнатушках, в номерах гостиниц, в общежитиях и занимались обычными для себя делами — заведующие отделами, начальники управлений и главных управлений, наркомы руководили подведомственными им людьми и народным хозяйством, чрезвычайные и полномочные послы ездили на роскошных машинах на приемы к руководителям советской внешней политики; Уланова, Лемешев, Михайлов радовали зрителей балета и оперы; господин Шапиро — представитель агентства „Юнайтед Пресс“, задавал на пресс-конференциях каверзные вопросы начальнику Совинформбюро Соломону Абрамовичу Лозовскому; писатели писали заметки для отечественных и зарубежных газет и радио; журналисты писали

на военные темы по материалам, собранным в госпиталях.

Но быт московских людей стал здесь совершенно иным, — леди Криппс, жена чрезвычайного и полномочного посла Великобритании, уходя после ужина, который она получала по талону в гостиничном ресторане, заворачивала недоеденный хлеб и кусочки сахара в газетную бумагу, уносила с собой в номер; представители мировых газетных агентств ходили на базар, толкаясь среди раненых, длинно обсуждали качество самосада, крутя пробные самокрутки, либо стояли, переминаясь с ноги на ногу, в очереди к бане; писатели, знаменитые хлебосольством, обсуждали мировые вопросы, судьбы литературы за рюмкой самогона, закусывали пайковым хлебом»[24].

Поначалу Хрущевы, вместе с родственниками Маленкова, Ворошилова, Булганина и Семена Буденного, жили в специальном многоквартирном комплексе «Кремль-Восток», занимавшем целый квартал на берегу Волги. Семье Хрущева выделили квартиру из семи комнат, не считая отдельной трехкомнатной квартиры для Любы с детьми и Ирины Сергеевны с дочерьми. Позднее Нина Петровна и ее ближайшие родственники снимали пополам с родственниками Маленкова большую дачу в санатории Волжского военного округа. Неподалеку стоял просторный каменный дом со множеством подземных комнат и коридоров; он был выстроен специально для Сталина, на случай падения Москвы. Когда немцы подошли к Сталинграду, семья Маленкова эвакуировалась в Свердловск; Нина Петровна, измученная заботами о большой семье, осталась на месте.

В это трудное время дом Хрущевых оставался безопасной пристанью. Дальние родственники всех сортов стремились прибиться к этой гавани и громко возмущались, когда им отказывали в гостеприимстве. Нина Петровна приняла в дом племянницу и племянника, однако отказала их родителям, своему брату и невестке. Да и сестру Хрущева впустила в дом лишь потому, что война не оставила выбора. По словам Любы, Нина Петровна смотрела на Ирину Сергеевну — простую деревенскую женщину — свысока, а та отвечала ей понятной неприязнью. Дочь Ирины Сергеевны Рона добавляет к этому: «Никита Сергеевич мою мать просто не замечал. Никогда не прощу ни ему, ни Нине Петровне. Такое их отношение прежде времени свело мою мать в могилу»[25].

Сара Бабенышева, знавшая Ирину Сергеевну в эвакуации, вспоминает ее как среднего роста, смуглую, говорливую женщину, постоянно жаловавшуюся на родных. Хрущев настоял на том, чтобы сестра учила дочь играть на фортепьяно, и оплачивал ей уроки — сто рублей в месяц. «Ничего он в жизни не

понимает, — возмущалась Ирина Сергеевна. — Не знает даже, что за такие деньги и хлеба на рынке не купишь. Да и откуда ему знать? Им-то все на дом доставляется, а нам достаются объедки… Только поглядите, какую харю себе разъела! — продолжала Ирина Сергеевна, имея в виду невестку. — Свинья свиньей! А ноги? Ноги у нее вот такущие!» — и широко разводила руками[26].

Ксения Ивановна тоже не любила невестку. Мать Хрущева хворала и много времени проводила в больницах. Она очень привязалась к Любе, когда они с Ириной Сергеевной получили отдельную квартиру, переехала вместе с ними, вела с ней бесконечные разговоры о сыне, но почти никогда — о муже, которого называла «дурнем». Племянница Нины Петровны Нина Кухарчук, носившая матери Хрущева обеды, вспоминает, как та ворчала: «Неужели и умирать придется в этом гадюшнике? Ну зачем тебе понадобилось лезть в это болото?»

Пока маленький Сергей не встал на ноги, коляску с ним приходилось спускать вниз и заносить вверх на четвертый этаж. «Когда Сереже давали кушать, он мог сначала лизнуть еду, чтобы понять, нравится ему или нет, — и, если не нравилось, наотрез отказывался есть», — рассказывает один из членов семьи. Сережа доставлял Нине Петровне больше всего хлопот, но хватало ей огорчений и с другими детьми и внуками. Однажды Люба повела маленькую Юлю гулять. «Юлечке захотелось по-большому, — вспоминает Люба, — а туалетной бумаги у меня с собой не было, и пришлось вытереть ей попку листом „Правды“. Когда я вернулась домой с порванной газетой, Нина Петровна так на меня и накинулась: как я могла! Это же некультурно! Ну я, конечно, молчать не стала».

Но, как и прежде, самые серьезные огорчения доставил семье Леонид. До войны его успехи и в учебе, и по службе были как минимум неровными. Закончив семилетку и пройдя короткие вечерние курсы, в 1933 году он последовал по стопам отца — поступил на металлургический завод. Затем начал учиться летному делу, но не в престижной московской военно-воздушной академии, где обучались дети элиты, а в Балашовской школе гражданской авиации. Оттуда в 1937 году был переведен в другую школу, в Ульяновск, по окончании которой работал инструктором в авиаклубах Москвы и Киева. Леня вступил в комсомол и стал активистом, хотя и в Балашове, и после получал выговоры за «безответственность и пьянство», а также за неуплату членских взносов. В партию сын Хрущева так и не вступил. Однако, несмотря на все это, в июле 1939 года, поступив в армию, он был в чине младшего лейтенанта прикомандирован к 134-й группе бомбардировщиков[27].

В дипломе, полученном Леонидом 21 мая 1940 года в Училище гражданской авиации имени Энгельса, его летный талант превозносится до небес. В первые же полтора месяца войны он сделал двадцать семь вылетов, по большей части без прикрытия. В рапорте от 16 июля 1941 года его представляют к награде, ордену Красного Знамени: этот «смелый, бесстрашный летчик», говорится в документе, 6 июля выдержал воздушный бой. Самолет его был изрешечен пулями, однако он быстро вернулся в строй, чтобы заменить погибших товарищей[28].

Даже если Леонид в самом деле был «летчиком от Бога» (по словам его вдовы), понятно, что к нему, как к сыну Хрущева, относились по-особому. Рапорт командования от 9 января 1942 года характеризует его как «опытного боевого летчика», которого можно назвать «хорошим сыном своего отца»[29]. Некоторые его вылеты были описаны в прессе: в заметке «Правды» мы видим фотоснимок блестящего молодого летчика, широко улыбающегося в камеру[30]. Когда сына представили к ордену, Хрущев послал ему телеграмму: «Рад за тебя и твоих боевых товарищей. Так держать, сынок! Поздравляю с успехами в боях. Бей немецких ублюдков днем и ночью. Твой отец Н. Хрущев». Примерно в это время, как сообщают, Хрущев говорил: «Наши ребята храбро дерутся. За это я Лене все прощаю»[31].

26 июля 1941 года самолет Леонида был атакован немецкими истребителями: он потерпел крушение, и Леонид при падении сломал ногу. Несколько месяцев — до марта 1942-го — он провел в больнице. Хотя в результате травмы одна нога у него стала короче другой (на кадрах кинохроники 1942 года мы видим, что он опирается на трость), он был намерен вернуться в строй. Но тут разразился скандал, столь тяжелый и безобразный, что в семье он на долгие десятилетия сделался запретной темой.

Самолет Леонида потерпел крушение под Москвой (по рассказу друга семьи, врач в полевом госпитале хотел ампутировать ногу, но Леня отогнал его, угрожая пистолетом)[32], но лечился в Куйбышеве, где жила семья. Это, разумеется, была привилегия, не всем доступная. Леонид жестоко страдал — не только от раны, но и от вынужденного безделья. Едва встав на костыли, он сделался неразлучен с Рубеном Ибаррури (сыном Долорес Ибаррури, знаменитой героини гражданской войны в Испании), лечившимся там же.

На военном снимке из фотоальбома Любы мы видим шутливую сцену: Леонид в кожаной куртке, с сигаретой в зубах, широко улыбаясь, приставляет к голове Ибаррури маленький пистолетик (или, возможно, зажигалку в форме пистолета). Несколько раз Люба видела, как друзья выстрелами сбивали с

голов друг друга винные бутылки или бокалы — трюк, которому Леонид научился в Москве, доведя его до совершенства. В Куйбышеве, в большой компании, когда какой-то пьяный моряк усомнился в его меткости, Леонид поставил ему на голову бутылку и первым же выстрелом отбил горлышко. Но моряк настаивал, чтобы Леонид выстрелил в саму бутылку. Во второй раз Леонид промахнулся — попал моряку в лицо и убил наповал[33].

Его отдали под суд, однако в штрафбат не отправили, а разрешили пройти обучение в качестве пилота истребителя[34]. Летный экзамен он сдал в ноябре 1942 года с оценкой «хорошо» (но не «отлично», которую он получил как пилот бомбардировщика), однако поначалу командиры не разрешали ему участвовать в боях, полагая, что он не вполне к этому готов. Когда они наконец смягчились, Леонид, как позже писал Хрущеву-старшему командир Первой военно-воздушной эскадрильи генерал Иван Худяков, «атаковывал врага смело, преследовал неотступно», а позже «буквально ликовал, вспоминая подробности схватки и бегство „фрица“»[35].

11 марта 1943 года, около полудня, лейтенант Хрущев и восемь других пилотов вылетели с Калужского аэродрома. Цель их была — защищать наступающие советские части от вражеских бомбардировщиков. Завидев немецкие истребители, советские самолеты разделились на три группы: Леонид и лейтенант Заморин бросились на два вражеских самолета и погнали их обратно, на оккупированную территорию. Заморину удалось сбить один самолет; Леонид держался справа, прикрывая ему тыл. Когда другой немец начал стрелять в Хрущева, Заморин увидел, как Леонид поворачивает и под крутым углом ныряет вниз. Позже он докладывал, что Хрущеву удалось оторваться от врага; однако на аэродром Леонид не вернулся.

«Мы организовали тщательный поиск, как с воздуха, так и на земле, силами местных партизан, — писал Никите Хрущеву генерал Худяков, — но безрезультатно. Целый месяц мы не теряли надежды… однако обстоятельства и само прошедшее время заставляют прийти к печальному заключению — ваш сын, старший лейтенант Леонид Никитич Хрущев, погиб смертью храбрых в бою с немецкими захватчиками».

«Леонид был пилотом и погиб в бою, — пишет Хрущев в своих мемуарах. — Была война, и много хороших людей гибло, как всегда бывает на войне»[36]. На более чем двух тысячах страниц полного текста воспоминаний Леонид упоминается лишь дважды. Фотография сына позже висела на стене семейной гостиной, но Хрущев редко о нем упоминал. Даже после того как территория,

где погиб Леонид, перешла под контроль советских войск, тщательные поиски на месте крушения не проводились. Такой поиск был организован лишь в 1960 году — но и он не помог узнать ничего нового о судьбе Леонида Хрущева.

Загадочная смерть, естественно, не могла не породить слухов. Рассказывали, что Леонид выжил, попал в плен и согласился сотрудничать с немцами, но Сталин якобы приказал советским десантникам выкрасть его и казнить, что и было исполнено. Не забывали упомянуть и о том, что Никита Хрущев якобы на коленях молил Сталина сохранить сыну жизнь, но тот ему отказал. Этим авторы слухов и объясняли то, что Хрущев впоследствии пошел против Сталина[37]. Молотов позднее настаивал, что сын Хрущева был «вроде изменника», что Сталин «не захотел его помиловать» и Хрущев за это «лично ненавидел Сталина»[38]. Как будто у Хрущева не могло быть для этого других причин! Если бы немцы взяли в плен сына Хрущева, разумеется, они раструбили бы об этом повсюду — как и произошло, когда в руки к ним попал сын Сталина Яков. Историки, изучая протоколы допросов советских военнопленных, не нашли в них упоминаний о Леониде Хрущеве[39]. Лейтенант Заморин позже признался, что видел, как самолет Леонида развалился в воздухе, но не сообщил об этом сразу — возможно, из боязни нести ответственность за смерть сына члена Политбюро[40].

Почему же Хрущев как будто боялся вспоминать о сыне? Возможно, ответ прост: думать о таких вещах слишком больно. И трудно сказать, какие воспоминания были больнее — о гибели Леонида или о его нескладной, бесшабашной жизни.

Судьба вдовы Леонида и ее сына также сложилась трагично. Когда муж погиб, Люба работала в Институте иностранных языков, эвакуированном из Москвы в не слишком далекий от Куйбышева Ставрополь. Когда она получила страшное известие, Волга уже замерзла; поскольку из Куйбышева в Ставрополь и обратно обычно добирались на пароме, она вместе с подругой отправилась в путь пешком — через реку, по льду. А на следующий день вместе с Ниной Петровной вылетела в Москву, чтобы встретиться с Хрущевым.

Вера Чернецкая, дочь советского композитора и жена француза, работавшего во французском посольстве в Куйбышеве, убедила Любу изучать французский язык. Чернецкая с мужем жили в гостинице, где часто бывали Леня и Люба. Дружба с иностранцами (не говоря уж о браке с иностранцем) была опасна даже во время войны, когда ослабли многие ограничения. После возвращения Леонида на фронт Люба однажды позволила себе

сходить в театр с французским военным атташе (по ее воспоминаниям, «необыкновенно привлекательным мужчиной»)[41].

Дети Любы жили в Куйбышеве, Толя — с Ириной Сергеевной, Юля — с Ниной Петровной. Однажды, в жаркий день июня 1943 года (такой жаркий, что асфальт плавился под ногами, вспоминает Толя), она взяла сына, села с ним на пароход, добралась до Ставрополя и прошла пешком несколько километров до бывшего санатория в лесу, где теперь размещался Институт иностранных языков. Толю она оставила у своей преподавательницы, а сама поселилась в общежитии.

Но вскоре Любу арестовали. Сама она полагала, что ее оклеветал начальник службы безопасности Хрущева, обиженный пренебрежением, которое проявляли к нему они с Леонидом. Двое агентов НКВД отконвоировали ее на поезде в Москву и, конфисковав все наличные вещи, включая дорогие часы — подарок мужа, заперли в камере с двумя другими женщинами, в которых она сразу определила «подсадных уток». Поначалу она думала, что произошла какая-то ошибка — однако поняла, что все гораздо серьезнее, после первого же допроса у Виктора Абакумова, заместителя главы НКВД и главы СМЕРШа[42].

Абакумов умел добывать нужные признания. Позднее Люба узнала, что одному из родственников Веры Чернецкой он на допросе выбил зуб. Однако с Любой высокий, широкоплечий, черноволосый Абакумов держался дружелюбно, почти галантно. Он ни в чем ее не обвинял. «Не говорил, что я шпионка, — рассказывала Люба, — сказал только, что, по его сведениям, я ходила в театр с французским военным атташе и он передал мне какую-то бумагу». Люба отказалась давать показания, «потому что и говорить-то было не о чем». «Может быть, вы просто не хотите говорить? — с улыбкой спросил Абакумов. — Может быть, могли бы кое-что рассказать, если бы захотели?» Затем пригрозил, что переведет ее в Лефортовскую тюрьму. «Там не так, как у нас, — говорил он, — это страшное место. Там полно крыс, и вы там скоро без зубов останетесь». Но Люба отказалась признаваться в преступлениях, в которых ее даже не обвиняли. На следующих допросах другой следователь кричал на нее и угрожал избить, если она не признается. Восемь месяцев ей почти не давали спать (известная лубянская технология «конвейера»), два месяца продержали в одиночной камере в Бутырке, а затем приговорили к пяти годам лагерей.

В мордовском лагере Люба работала на лесоповале, пока не попала в больницу. Выздоровев, она осталась в лагерной больнице в качестве медсестры и санитарки и трудилась там,

пока снова не заболела. Болезнь была тяжелейшей: Люба потеряла около двадцати восьми килограммов, перенесла преждевременный климакс и почти ослепла на один глаз. Однажды, лежа в бреду на больничной кровати, она увидела, что летит верхом на лебеде, и услышала голос Никиты Хрущева: «Освободите Любу!» Позже ей пришла анонимная посылка с парой сапог, телогрейкой, ушанкой и другой необходимой одеждой. Люба полагала, что посылку прислала Ирина Сергеевна — она и раньше присылала ей кое-какие вещи, а от Никиты Сергеевича и Нины Петровны Люба так ничего и не получила.

Выйдя на свободу в 1948 году, Люба еще пять лет прожила в ссылке в Казахстане, где нашла себе работу в геологической экспедиции и постоянно отказывалась от предложений о сотрудничестве с НКВД. В Караганде она оставалась, пока Сталина не сменил Хрущев — отчасти из-за того, что произошло, когда в 1954 году она приехала в Москву. Хрущев тогда не позволил ей увидеться с четырнадцатилетней Юлией, которую Хрущевы удочерили и которая считала Никиту Сергеевича и Нину Петровну своими родителями. Однако Нина Петровна, по-видимому, не желала лишать внучку родной матери и позже, когда Юля сдала вступительные экзамены в университет, открыла ей правду[43]. В 1956 году, выбрав момент, когда Хрущева не было в Москве, Нина Петровна устроила Любе свидание с Юлей. «Да ты — вылитый Леня!» — воскликнула Люба. Нина Петровна уговаривала ее остаться, но Люба отказалась, чувствуя, что она здесь лишняя. Позже, уже в отставке, Хрущев несколько раз разговаривал с невесткой по телефону, но никогда не заговаривал о ней с родными и всего раз встретился с ней.

Возможно, Хрущев боялся потерять Юлю. Люба подозревала также, что он верил в обвинения НКВД. «Должно быть, ему много плохого наговорили о ней», — предполагала Юлия. Она добавляла также, что ни Никита Сергеевич, ни Нина Петровна не обнимали ее так горячо, как мать при встрече в 1956 году. Собственно говоря, они вообще ее не обнимали. «Такой уж человек была Нина Петровна. Сама холодная по натуре, и меня не научила проявлять любовь и доброту».

Люба была не единственной арестованной родственницей члена Политбюро. Жена Молотова, жена Калинина, брат Кагановича — никого из них не смогли защитить могущественные родственники. Нельзя винить Хрущева за то, что он не вытащил Любу из тюрьмы. Но почему затаил на нее обиду? Возможно, дело было не в надуманных обвинениях, а в неприемлемом для него поведении невестки. Жизнерадостная, бесстрашная, умевшая

наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, Люба была очень похожа на своего мужа; и Толя, которому в 1943 году исполнилось девять, хотя и не был Лениным сыном, удивительно походил на него по характеру.

«Я был из тех, кто ни на чем не способен сосредоточиться, — рассказывает Толя. — Вечно был в движении, вечно куда-то рвался и чего-то хотел. Когда приехал Леня, он привез с собой чудесный пилотский шлем: я тут же завладел этим шлемом и катался в нем с горки. А однажды прицепился к машине и проехался за ней по обледеневшей дороге. Леня не возражал, но мама очень сердилась. У Лени был ящик с огнестрельным оружием и патронами. Его держали запертым, но однажды, когда мама с Леней были в театре, я сумел его открыть, достал пистолет и отправился играть с приятелем — сыном хрущевского шофера, который жил в подвале нашего дома. Я принес с собой обойму, и он уговорил меня пострелять. Первой же пулей я разбил окно, и вся комната наполнилась дымом. Мы так испугались, что спрятались под одеяло — на случай, если кто-нибудь войдет. На следующий день, когда Леня стал меня расспрашивать, я сначала говорил, что ничего не знаю, но скоро во всем признался. Леня поставил меня в угол, но потом простил. А в другой раз я выкинул из окна бутылку и чуть не попал в Вышинского, который как раз проходил через двор».

Прямое попадание в голову знаменитому сталинскому обвинителю, возможно, принесло бы Анатолию славу — но попытка придушить собаку шелковым шарфом, который подарила ему Ирина Сергеевна, славы определенно не принесла. Особенно когда пес вырвался и убежал с дорогим подарком в зубах. В первом классе Толя был выше всех, но очень неуклюж; товарищи постоянно его дразнили, и Люба забрала его из школы и наняла гувернантку — пожилую даму, в характере которой дореволюционная интеллигентность сочеталась со сверхъестественной строгостью. Мать Никиты Хрущева обожала Толю[44], а Маленковы на него жаловались. Нина Кухарчук вспоминает, как Толя мочился в раковину и Нина Петровна кричала: «Он развратит моих девочек!» Как только Люба с детьми переехала в отдельную квартиру, встречи Толи с остальными Хрущевыми почти прекратились. «Я как будто выпал из семьи», — вспоминал он.

Когда мать арестовали, Толе сказали только, что она «уехала». В то же утро один из работников института отвез его в Ставрополь и поместил в детский дом. Детские дома сталинской эпохи были ужасны и в мирное время, в войну же превратились в настоящий ад. О Любе, о сестре, о прочих куйбышевских

родственниках Толе ничего не говорили. «Все они меня бросили», — думал мальчик. Месяц спустя он убежал из приюта, доплыл на пароходе до Куйбышева и — грязный, обовшивевший, покрытый сыпью — объявился на пороге Ирины Сергеевны. Бывшая гувернантка лечила его, добывая лекарства из специальной кремлевской клиники. Однако скоро Нина Петровна, сказав лишь, что мать Толи уехала в Москву по делам, снова сдала его в детдом.

С собой Нина Петровна дала Толе колбасы. Питание в детдоме было столь мизерным (300 граммов хлеба в день), что дети подогревали на печи и пытались есть костяные пуговицы. Директор детского дома некоторое время позволял Толе есть колбасу тайком, но его собственные дети смотрели на Толю такими голодными глазами, что в конце концов он не выдержал и отдал остаток им.

Дети Толиного возраста посещали школу — это дало Толе возможность снова сбежать. Он воровал пирожки на вокзале, просил милостыню на рынке. В феврале 1944 года Толя снова вернулся в Куйбышев — и узнал, что Хрущевы уже в Москве. Чтобы раздобыть денег на билет, Толя украл набор столовой посуды и попытался его продать, но был пойман и снова водворен в детский дом. Еще несколько неудачных побегов — и детдом от него избавился, отправив в Ленинград, в военно-морское училище.

Продолжение его истории еще печальнее. На медосмотре в училище у Толи были выявлены проблемы с сердцем, так что его отправили в Кронштадт, на лакокрасочную фабрику под патронажем ВМФ, несовершеннолетние работники которой дышали ядовитыми лаками и ели клей, пытаясь этим восполнить свой скудный рацион. Толя решил бежать в Москву: ночью он перешел по льду Финский залив, сел на поезд, но там был обнаружен и снова отправлен в детский дом — теперь в Псков. Отсюда он тоже сбежал, затем сбежал из еще одного детдома — в Вологде, в конце концов добрался до Москвы, но на Курском вокзале снова был пойман милицией. Опять сбежал, отправился на Украину. В Киеве жил в вентиляционной шахте на вокзале. Снова попался милиции, был отправлен в исправительную колонию, откуда убегал трижды. Наконец, опасаясь нового ареста и тюрьмы, нашел себе работу, а в 1952 году пошел служить в армию.

В 1955-м, вернувшись в Москву, Толя сумел разыскать свою сестру по матери Юлию. За эти годы она превратилась в элегантную, хорошо воспитанную девушку из привилегированной семьи; рядом с ней Толе было тяжело и неловко, он с особой

силой ощущал свою ущербность. Поэтому он вернулся в Киев, где в конце концов разыскала его мать.

Пытался ли он наладить контакт с семьей Хрущевых? — спросил я у Анатолия. «Нет, — угрюмо ответил он. — Я их забыл. Мне ничего от них не нужно было. Они меня не интересовали. Они для меня перестали существовать. Эти люди сдали меня в детдом».

Знал ли Никита Хрущев о судьбе Толи — неизвестно. Возможно, лучше ему было и не знать.

Вскоре после нападения Гитлера, когда стал ясен истинный масштаб катастрофы, у Сталина сдали нервы. «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это про… али», — говорил он Молотову и Берии. На несколько дней Сталин заперся в одиночестве у себя на даче. 29 июня, когда коллеги приехали убедить его вернуться на пост, он испугался, словно ожидал, что его арестуют. Позднее, уже в июле, Хрущев встретился с ним в Ставке, в бомбоубежище, глубоко под станцией метро «Кировская»: «Он был совершенно неузнаваем. Таким выглядел апатичным, вялым. А глаза у него были, я бы сказал, жалкие какие-то, просящие… Помню, тогда на меня очень сильное и неприятное впечатление произвело поведение Сталина»[45].

Пока Сталин боролся со своими страхами, Хрущев и его коллеги сражались за Киев. Недолгая оборона и неизбежное падение города, сопровождавшееся ужасающими потерями с советской стороны, стали для Хрущева первым кризисом войны.

29 июля начальник Генерального штаба Жуков расстелил карты на длинном, обитом зеленым сукном столе в просторном кремлевском кабинете Сталина. Жуков предполагал, что немцы намерены отложить наступление на Москву и сперва ударить по «слабейшему и опаснейшему сектору» — в центральном и южном направлениях. Если такое случится, сурово продолжал Жуков, «Киев придется оставить».

— Как вы могли додуматься сдать врагу Киев? — возмутился Сталин[46].

— Если вы считаете, что начальник Генерального штаба способен только чепуху молоть, — ответил, как рассказывал позднее, Жуков, — тогда ему здесь делать нечего.

Сталин принял отставку Жукова и приказал удерживать Киев до последней возможности[47]. 10 сентября, когда большая группа немецких танков глубоко вклинилась в позиции Юго-Западного фронта, генерал-майор Василий Тупиков заключил, что, «если мы не отступим немедленно, катастрофа будет неминуема»[48]. Сталин отступать запретил. Тупиков предупреждал о «катастрофе»,

которая «разразится через пару дней» — но в ответ получал лишь обвинения в «паникерстве» и требования выполнять приказ.

Тимошенко был так встревожен, что 15 сентября совместно с Хрущевым отдал устный приказ отступать *без* позволения Сталина. Однако, когда командир Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос, испугавшись, снова связался со Сталиным, он получил противоречивый приказ: «Оставить Киев, но ни при каких обстоятельствах не выходить из окружения»[49].

Через сутки Киев пал. Кирпонос, Тупиков и бывший заместитель Хрущева в украинской компартии Михаил Бурмистенко, теперь выполнявший роль комиссара Юго-Западного фронта, погибли. Немцы похвалялись, что захватили в плен 655 тысяч человек; согласно сведениям русских, лишь 150 тысяч 541 из 677 тысяч 085 солдат сумели выбраться из ловушки. В тот момент, когда Хрущеву и его подчиненным не оставалось ничего, кроме как покинуть Киев, пришла телеграмма от Сталина, «в которой он несправедливо обвинял нас в трусости и угрожал, что „будут приняты меры“. Обвинял в том, что мы намереваемся сдать врагу Киев»[50]. Однако арестовывать Хрущева Сталин не стал — лишь полностью игнорировал его во время его следующего приезда в Москву, предоставив распекать Хрущева заместителю председателя правительства Николаю Вознесенскому[51].

Этот опыт прочно впечатался в память Хрущева. Однако, если верить Жукову, и самого Хрущева было в чем винить. Когда в августе Жуков пытался уговорить Сталина отступить, тот ответил, что «только что вновь посоветовался с Н. С. Хрущевым и он убедил его, что Киев ни при каких обстоятельствах оставлять не следует»[52].

Свидетельство Жукова можно поставить под сомнение — ведь именно Хрущев в 1957 году опозорил его и уволил. Однако вполне возможно, что Хрущев поначалу в самом деле клялся отстоять Киев — лишь бы не говорить того, что будет неприятно слышать вождю. Угодливость приближенных Сталина шла во вред им самим: позже, когда они пытались переубедить вождя, он не желал их слушать, а затем возлагал на них вину за неудачи.

По тому же сценарию развивалось самоубийственное контрнаступление под Харьковом в мае 1942 года. Осенью 1941-го опасность угрожала самой Москве: 28 ноября немецкие войска находились менее чем в тридцати километрах от Кремля. Однако советским войскам удалось перейти в контрнаступление и отбросить врага от Москвы[53]. «Не сидеть же нам в обороне сложа руки, не ждать, пока немцы нанесут удар первыми! — заявил

Сталин в марте 1942-го на заседании ГКО. — Надо самим нанести ряд упреждающих ударов на широком фронте…»[54] Об этом он говорил еще зимой, но тогда офицерам Генштаба удалось уговорить его отложить эти преждевременные планы. Борис Шапошников, бывший офицер царской армии, сменивший Жукова на посту начальника Генштаба, предлагал придерживаться «оборонительной тактики», по крайней мере до начала лета. Однако у Юго-Западного фронта, где командовал Тимошенко, начальником штаба был Баграмян, а главой политотдела — Хрущев, обнаружились свои грандиозные планы.

Тимошенко и Хрущев намеревались разбить немецкую группу армий «Юг» и выстроить новую линию фронта — от белорусского города Гомеля через Киев до черноморского Николаева. Предполагалось, что девяносто две советские дивизии обрушатся на шестьдесят четыре немецких — такого соотношения было достаточно, чтобы чуть ли не гарантировать победу. У Баграмяна имелись некоторые сомнения, однако Хрущев и Тимошенко не сомневались, что Москва одобрит их план, и Баграмян держал свои тревоги при себе[55].

Генеральный штаб тоже был против. Однако после того, как Тимошенко, Хрущев и Баграмян изложили план Сталину, он его одобрил (правда, в урезанном виде — предложил для начала отбить у немцев один Харьков) и пригласил их на ужин[56].

Начались приготовления к контрнаступлению. Под командованием Тимошенко находились 640 тысяч человек, 1200 танков, 13 тысяч орудий и пулеметов, 926 самолетов. В начале мая Хрущев и Баграмян посетили прифронтовые части, остановившись в деревне, которую в 1919 году части Красной Армии, где служил Хрущев, отбили у белых. Никто не подозревал, что гитлеровцы разгадали план советских военачальников и готовят им ловушку[57].

Советское наступление началось 12 мая. Поначалу командование Юго-Западной группы войск доносило, что им удалось прорвать немецкие линии обороны к северу и к югу от Харькова. Доклад от 15 мая источал оптимизм. Сталин радовался удаче и писал заместителю начальника Генштаба Александру Василевскому, что «сурово упрекал Генштаб за его нерешительность, едва не заставившую меня отменить столь успешную операцию»[58].

Два дня спустя ситуация кардинально изменилась. Войска Тимошенко сгрудились в районе Барвенково, оставив открытыми фланги. В три часа утра 17 мая немцы напали на их южный фланг — и к полудню уже прорвали позиции, удерживаемые Девятой армией. В то же время другие немецкие части начали

наступление с севера, зажав русских в гигантские клещи. Советским войскам грозило окружение[59].

Василевский настаивал на том, чтобы немедленно остановить наступление; однако Сталин, переговорив с Тимошенко, отказался[60]. В тот же день Тимошенко и Хрущев отправили Сталину доклад на двух страницах, озаглавленный: «Успешное наступление Юго-Западного фронта на Харьковском театре военных действий». Дальше шло перечисление военной добычи, захваченной с 12 по 16 мая[61].

18 мая командование армии решило приостановить наступление, однако из Москвы пришел приказ продолжать. В три часа утра, когда Хрущев уже ложился спать, явился Баграмян с дурными вестями. «Я очень прошу вас лично поговорить со Сталиным, — заключил он. — Единственная возможность спастись, если вам удастся убедить товарища Сталина утвердить наш приказ и отменить указание об отмене нашего приказа и о продолжении операции».

Хрущев позвонил в Генеральный штаб. Ему ответил Василевский. «Александр Михайлович, — сказал ему Хрущев, — вы знаете по штабным картам и расположение наших войск, и концентрацию войск другой стороны, более конкретно представляете себе, какая сложилась у нас сейчас обстановка. Конкретнее, чем ее представляет товарищ Сталин. Пожалуйста… объясните товарищу Сталину, что произойдет, если мы будем продолжать операцию».

— Товарищ Сталин сейчас на Ближней даче, — отвечал Василевский.

— Вы поезжайте туда, он вас всегда примет… Вы с картой поезжайте… Сталин увидит конфигурацию расположения войск, концентрацию сил противника и поймет, что мы поступили совершенно разумно, отдав приказ о приостановке наступления.

— Нет, товарищ Хрущев, нет, товарищ Сталин уже отдал распоряжение.

Хрущев бросил трубку. Потом позвонил снова — но Василевский стоял на своем. Хрущеву оставалась одна надежда — поговорить с самим Сталиным. «Очень опасный был для меня момент, — рассказывал он позднее. — В то время Сталин уже начинал рассматривать себя таким, знаете ли, военным стратегом». Хрущев позвонил на дачу Сталина, трубку снял Маленков. «Я знал, что Сталин находится на Ближней даче, — рассказывает Хрущев, — хорошо знал ее расположение. Знал, что и где стоит и даже кто и где сидит. Знал, где стоит столик с телефонами, сколько шагов надо пройти Сталину, чтобы подойти к телефону». Но Сталин не стал с ним разговаривать. «Товарищ

Сталин сказал, что надо наступать, а не останавливать наступление, — ответил, вернувшись к телефону, Маленков. — Товарищ Сталин говорит, что ты… навязал [решение о приостановке наступления] командующему. Это было [только] твое предложение». Когда Хрущев повесил трубку, у Баграмяна, стоявшего рядом, «слезы из глаз покатились. Его нервы не выдержали, вот он и расплакался. Он переживал за наши войска, за нашу неудачу»[62].

Рассказ Хрущева производит поистине страшное впечатление. Но насколько он точен? Если верить Жукову, 18 мая Сталин был озабочен ситуацией. Однако Тимошенко по-прежнему преуменьшал опасность, а Хрущев «поддержал мнение Тимошенко». Уверения Хрущева, что он пытался предупредить Сталина, «не соответствуют действительности, — писал позднее Жуков. — Я это свидетельствую потому, что лично присутствовал при переговорах И. В. Сталина по ВЧ с Н. С. Хрущевым»[63].

Советский «Военно-исторический журнал» цитирует три послания Хрущева Сталину (два из них отправлены им и Тимошенко в 17.30 17 мая и 12.30 19 мая соответственно и еще одно, личное, в 2.00 19 мая): ни в одном из них нет и речи об остановке наступления[64]. Однако Хрущев пишет, что звонил, а не писал (доступа к расшифровкам телефонных разговоров у редакции журнала не было), а Баграмян и Василевский, опубликовавшие свои мемуары уже после отставки Хрущева, отчасти подтверждают его версию. Баграмян рассказывает, что на продолжении наступления настаивал Тимошенко, а Хрущев пытался его отговорить. Василевский вспоминает, как Хрущев позвонил ему девятнадцатого, сообщив, что Сталин «отказался останавливать наступление, и попросил меня еще раз поставить этот вопрос перед Верховным Главнокомандующим». Кроме того, Василевский подтверждает рассказ Хрущева о том, что «разговор с Верховным Главнокомандующим происходил через Г. М. Маленкова и прежнее решение о продолжении наступления было подтверждено»[65].

Истина в том, что в харьковском разгроме виноваты все: Хрущев и его единомышленники навязали свою идею Сталину, а потом свалили всю вину на него, Сталин без критики принял их план и отказывался его пересмотреть, а Генштаб не осмелился вовремя указать Сталину на гибельность наступления. За просчеты военачальников армия заплатила страшную цену: 267 тысяч человек погибли, более 200 тысяч были взяты в плен[66]. К тому же, добавляет Василевский, именно победа под Харьковом дала немцам возможность прорваться к Сталинграду и на Кавказ[67].

Хрущев, разумеется, заплатил неизмеримо меньшую цену — хотя Сталин, по своему обыкновению, не упустил случая отыграться на нем. Сместив Баграмяна и Тимошенко, он полностью распустил юго-западный сектор командования и вызвал Хрущева в Москву. «У меня было очень подавленное настроение, — рассказывает Хрущев. — Мы потеряли много тысяч солдат, утратили надежду, которой жили…» А главное — Хрущева снедала тревога за будущее. Ибо Сталин «на все пойдет, но никогда не признает, что допустил ошибку. Поэтому… я морально был подготовлен ко всему, не исключая и ареста».

Несколько дней Сталин играл со своей жертвой как кошка с мышью. Немцы заявляют, что захватили более двухсот тысяч пленных, — может быть, врут? «Нет, товарищ Сталин, не врут», — отвечал Хрущев. Во время Первой мировой войны, продолжал Сталин, когда один царский генерал отдал армию прямо в руки немцам, его за это повесили. «Товарищ Сталин, помню этот случай», — отвечал Хрущев.

Несколько дней продолжалась томительная неизвестность; Хрущев старался сохранять хорошую мину при плохой игре. Сталин чередовал замаскированные угрозы с практическими вопросами о том, как же теперь защитить Донбасс. Чем дольше Хрущев оставался в Москве, «тем более томительно тянулось время, которое должно было чем-то кончиться для меня лично. Думал, что Сталин не пройдет мимо такой катастрофы… не простит и захочет найти козла отпущения, продемонстрировав свою неумолимость, принципиальность и твердость… Я даже догадывался, исходя из прежнего опыта, как Сталин может формулировать. Он был большой мастер на такие формулировки».

К неизмеримому облегчению Хрущева, ему было разрешено вернуться на фронт. Но прощение тирана могло быть и ловушкой: Хрущев «знал случаи, когда Сталин ободрял людей, они выходили из его кабинета, но тут же отправлялись совсем не туда, куда следовало, а туда, куда Сталин указывал тем, кто этим делом занимался и хватал их. Я вышел. Ничего. Переночевал. Наутро улетел и вернулся на фронт»[68].

Но гнев Сталина еще не утих. Тем же летом, в присутствии нескольких командиров, он выбил о лысую макушку Хрущева свою знаменитую трубку. «Это римский обычай, — объяснил Сталин потрясенным зрителям. — Когда в Древнем Риме командир проигрывал битву, он садился на кострище и посыпал себе голову пеплом. В те времена это был для военного самый страшный позор»[69].

В отличие от Баграмяна и Тимошенко, Хрущев даже не был

уволен: вместо этого он получил назначение в Военный совет Сталинградского фронта. Однако он чувствовал себя глубоко униженным («Я недостаточно разбираюсь в военных вопросах, — отвечал он, когда его просили походатайствовать в Москве об улучшении снабжения армии, — боюсь, мне не удастся ни в чем убедить Ставку»)[70], и время не излечило его боль. «И сейчас, — писал он в отставке, — я все еще обдумываю события того лично для меня самого тяжелого времени, поворотного для положения дел в 1942 году»[71]. По словам его дочери Рады, «его это мучило до конца его дней»[72]. Если бы Сталин послушался его предупреждений! Если бы на месте Василевского был более смелый Жуков![73] Однако собственную вину Хрущев так никогда и не признал — по крайней мере, не признал открыто[74].

В 1942 году Гитлер рассчитывал захватить южные районы Советского Союза, включая жизненно важные кавказские нефтяные скважины, а затем вновь повернуть на север — к Москве. В Ставке понимали, вспоминает Жуков: «С падением Сталинграда вражеское командование получило бы возможность отрезать юг страны от центра. Мы могли также потерять и Волгу — важнейшую водную артерию страны…»[75]

Август, когда началось германское наступление, и последующие ужасные месяцы Хрущев провел в Сталинграде. «Каждый дом в Сталинграде превратился в поле боя, — рассказывает историк Джон Эриксон, — заводы, вокзалы, улицы, площади, даже отдельные стены становились рубежами битвы». В огромных корпусах Сталинградского тракторного завода развернулось ожесточенное сражение; помещения были заполнены трупами. Раненые отползали на берег Волги, где, если повезет, их подбирал паром и под яростной немецкой бомбежкой перевозил на другой берег. К концу октября территория западного берега, контролируемая советскими войсками, сузилась до одного километра[76]. Однако уже в ноябре Советская Армия начала внезапное контрнаступление, сломавшее хребет вермахту.

Хрущев выполнял роль посредника между сталинградскими генералами и Ставкой. Сталин советовался с ним по вопросам назначения или снятия с должности таких командиров, как Андрей Еременко или Василий Чуйков. Перед контрнаступлением Хрущев ездил по фронтам, проверял боеготовность и боевой дух войск, лично допрашивал пленных, некоторых из них завербовал для пропаганды, а некоторых (по крайней мере, по его собственным словам) спас от расстрела или издевательств со стороны советских солдат[77].

Однажды Хрущев едва не погиб — немецкие самолеты разбомбили его командный пост. Он находился к югу от города, когда немецкие «мессершмиты» атаковали советские бомбардировщики, направлявшиеся в сторону фронта. Нескольким советским пилотам удалось катапультироваться — но их расстреляли советские войска, приняв за немцев. Хрущев вспоминал, как один летчик отчаянно кричал: «Я свой, свой!» Автоматная очередь заглушила его крик — все было кончено[78].

Трупы немцев вмерзали в землю: их вырывали, укладывали штабелями, перекладывали железнодорожными шпалами и поджигали. «Это производило очень тягостное впечатление, — вспоминал Хрущев. — Говорят, Наполеон или кто-то другой сказал, что труп врага приятно пахнет. Не знаю, для кого как, а для меня и запах был неприятен, и смотреть на эту картину тоже было неприятно!»[79]

Кинорежиссер Довженко, ездивший по фронтам вместе с Хрущевым, описывал сцену, которой они оба стали свидетелями: «На дороге лежал горящий самолет; очевидно, он упал не больше получаса назад. Рядом — летчик: без рук, без ног, с искореженным торсом, зияющими белыми костями черепа. Из рукавов его комбинезона торчали белые кости. Второго пилота выбросило из самолета; он лежал неподалеку. У него был раздроблен череп; розовый мозг пачкал землю, и над ним кружились крупные зеленые мухи. Я заглянул в лицо летчика, прикрытое какой-то тряпкой. Во лбу у него зияла огромная дыра, темная от засохшей крови»[80].

Эти картины войны и много лет спустя не давали Хрущеву покоя. Быть может, страшная смерть летчиков напомнила ему о Лене? Однако он умел держать себя в руках. Вдова генерала Родиона Малиновского, бывшая на фронте вместе с мужем, вспоминает случай, когда во время немецкой бомбежки она вжалась в угол, с ужасом ожидая смерти. И в этот момент вошел Хрущев. «А что такого случилось?» — спросил он бодро, с обычной широкой улыбкой на лице[81].

В отличие от Киева и Харькова, в Сталинграде Хрущев сыграл, безусловно, положительную роль. Однако впоследствии он ревниво относился к своим заслугам и преуменьшал заслуги других. Позднее он упрекал Жукова и Василевского за то, что они якобы приписывают успех решительного контрнаступления себе: «Жуков только один раз был в Сталинграде. Побыл с нами немного, уехал и больше не возвращался. Он приехал, когда решение об операции было уже принято»[82]. Главное, заявлял Хрущев, «почтить победу советского народа», а не спорить о том, кому мы обязаны этой победой[83]; однако, как обычно, он

преувеличивал свою роль. Конечно, Хрущев не приписывал себе авторство идеи контрнаступления под Сталинградом, но всегда старался подчеркнуть свое активное участие и в принятии решения, и в самой операции[84].

Жуков тоже не отличался скромностью, однако его рассказ более убедителен. 6 октября, когда Хрущев и Еременко предложили контрнаступление, Верховный главнокомандующий и Ставка уже сами пришли к этому решению. Жуков утверждает, что Хрущев об этом не знал, поскольку Верховный главнокомандующий приказал ему держать планы масштабного контрнаступления в строжайшем секрете[85].

Хрущеву очень хотелось побывать в Москве и поговорить со Сталиным лично; но он был далеко не так влиятелен, как впоследствии старался изобразить. Несколько раз он звонил Василевскому и просил предложить Сталину пригласить его. «Почему вы сами ему не позвоните?» — спрашивал Василевский. Но «Хрущев находил какие-то предлоги для отказа и продолжал настаивать, чтобы позвонил я. „Вам это будет легче, ведь вас он уже вызвал“».

— А что с ним такое? — спросил Сталин, когда Василевский, поддавшись на уговоры, рассказал ему о просьбе Хрущева. — Что он так рвется в Москву? Зачем? — Но наконец согласился: — Ладно. Пусть прилетает. Возьмите его с собой[86].

Хрущев завидовал тем, кто встречался со Сталиным чаще него, особенно если обсуждались вопросы, в которых считал себя компетентным. Некоторые вопросы были связаны с постоянными и неизбежными конфликтами между Ставкой и полевыми командирами: Сталин не понимал трудностей, стоявших перед фронтовым командованием, а его эмиссары стремились ограничить инициативу на местах и требовали полного подчинения. К эгоизму и зависти примешивался страх за себя — Хрущев понимал, что, если не будет постоянно показываться Сталину на глаза, подозрительный тиран может вообразить его «предателем».

Всякий раз, когда положение становилось тяжелым, — вспоминал Хрущев, — прилетали Маленков, Василевский, Воронов, Новиков или еще кто-нибудь. «Я был не очень высокого мнения о людях, которые приезжали из Ставки. Конкретно они нам ничем помочь не могли… просто отнимали у нас время, не принося никакой пользы»[87].

Особенно злило Хрущева, когда Маленков с Василевским принимались тихо совещаться где-нибудь в углу. «Как раз в то время (а это всегда бывало в самый критический момент) я чувствовал обостренное внимание к себе со стороны Сталина. Я

не раз видел, как при острых поворотах событий шушукаются между собой Василевский с Маленковым. Они, видимо, выгораживали собственные персоны. Видимо, готовили сообщение, чтобы при неудаче свалить вину на кого-то другого. На кого же? Конечно, на командующего войсками и члена Военного совета фронта в первую очередь… Сам-то Маленков в военных вопросах ничего не понимал, но в вопросах интриганства обладал шансами на успех»[88]. Единственной пользой от появления Маленкова в Сталинграде стал, по словам Хрущева, «шикарный туалет. Правда, в туалетную, которая до того была в образцовом состоянии, после того как уехали представители [Ставки], стало невозможно зайти»[89].

В своих воспоминаниях Хрущев отрицает, что добивался встреч со Сталиным, однако здесь противоречит сам себе. В своих мемуарах, говорит он дальше, он упоминает эти встречи только потому, что «в конце концов я был членом Военных советов на фронтах и членом Политбюро, и Сталин меня знал и со мной считался…»[90].

Постепенно Хрущев начал относиться к Сталину теплее — главным образом потому, что потеплел к нему и сам вождь. Советские войска одерживали победу за победой, Сталин повеселел, и докладывать ему теперь «было одно удовольствие», вспоминает Хрущев[91]. Все его рапорты на протяжении войны производят такое впечатление, словно написаны с целью порадовать или развеселить Сталина. В двух докладах июня 1942 года он приводит выдержки из дневника убитого немецкого офицера и нелестное сравнение американского танка М-3 с советскими танками[92]. В другом докладе мы встречаем забавную историю о горячей перепалке между полковником и генералом, оборванной возгласом генерала: «Товарищ полковник, не забывайтесь!» «Эта история, — вспоминал Хрущев, — Сталину особенно понравилась. И много лет спустя он мог улыбнуться и сказать: „Товарищ полковник, не забывайтесь!“ Это означало, что младший по должности должен подчиняться старшему…»[93]

Как ни старался Хрущев, ублажить Сталина ему удавалось далеко не всегда. В марте 1943 года, по воспоминаниям Жукова, Сталин позвонил Хрущеву, находившемуся в это время на Воронежском фронте, и «резко отчитал» его за «непринятие Военным советом мер против контрударных действий противника». В этом же разговоре Сталин «припомнил Н. С. Хрущеву все его ошибки… допущенные в процессе летних сражений 1942 года»[94]. Другой источник подтверждает, что, «когда Голиков и Хрущев потеряли контроль над войсками на Воронежском фронте под Белгородом, Жукову пришлось

буквально брать командование на себя…»[95].

Июль 1943 года ознаменовался прославленной битвой на Курской дуге — величайшим танковым сражением в истории, в котором почти четыре тысячи советских танков противостояли трем тысячам немецких танков и самоходных установок[96]. Хрущев, естественно, рассказывает о битве со своей точки зрения, явно преувеличивая свою роль[97]. По его рассказу, перебежчик-эсэсовец предупредил его, что завтра немцы готовятся пойти в атаку, и Хрущев позвонил в Москву, чтобы поставить в известность высшее командование: «Сталин выслушал меня спокойно, и это мне понравилось: не проявил ни грубости, ни резкости»[98]. Хрущев рассказывает, что Сталин спросил, какие у него будут предложения, и Хрущев ответил: «Наши укрепления солидные, и у нас существует уверенность в том, что мы на этих укреплениях заставим врага положить свои силы и истечь кровью. Сами наступать мы еще не можем, но оборону держать готовы: обороняться можно и при меньшей силе».

Мы не знаем, в самом ли деле Хрущев осмелился столь уверенно давать Сталину советы по военным вопросам; он тут же спешит оговориться: «Не знаю, говорил ли он раньше с Ватутиным… Иногда Сталин звонил мне, а в другой раз раньше командующему. Хотел бы, чтобы меня правильно поняли: вот, дескать, звонил ему Сталин. Мол, Хрущев выпячивает себя. Нет, не выпячиваю… Сталин меня хорошо знал и считался со мной, даже несмотря на свое бешенство в моменты тяжелейшего положения для страны, когда он незаслуженно переносил свое настроение на других, когда искал „козла отпущения“… В принципе Сталин относился ко мне с доверием. Он часто звонил мне и спрашивал о моем мнении. Так было и в Сталинграде, и на юге, и на Курской дуге»[99].

Дмитрий Суханов впервые встретился с Хрущевым в 1940 году. В Сталинграде Хрущев поразил его «интриганством»: этот человек «любил критиковать других, но сам не терпел критики», «окружил себя льстецами» и «с удовольствием пользовался своими привилегиями. Он возил с собой собственного повара (он любил поесть — Сталину это нравилось) и пил тоже свое. Будучи членом Военного Совета, он даже на фронте всюду ходил с охраной»[100].

У Суханова были причины ненавидеть Хрущева (много лет проработав помощником у Маленкова, он был арестован после смещения своего покровителя), однако его свидетельство во многом заслуживает доверия. В том, что у Хрущева были личный повар и телохранители, ничего удивительного нет, как и в том,

что такой энергичный человек любил поесть. Более расположенный к Хрущеву свидетель, проведший вместе с ним немало времени, кинорежиссер Довженко, согласен с тем, что Хрущев окружал себя незначительными и угодливыми помощниками[101].

В начале 1943 года, когда Хрущев уже подбирал кадры для будущего государственного и партийного управления послевоенной Украиной, он вызвал на свой командный пункт в лесу комсомольского руководителя Василия Костенко. «Пронзительный взгляд его небольших глаз как будто вонзался в меня, — вспоминает тот. — Я старался говорить поменьше, в основном отвечал „да“ и „нет“. Говорил он. Он любил поговорить и часто отходил далеко от темы беседы. Это был нормальный, демократический разговор». Но хотя Хрущев и «выглядел простым, незаносчивым человеком, фамильярности он не любил и не позволял; напротив, ему нравилось, когда ему кланяются».

Оказалось, Хрущев хочет, чтобы Костенко возглавил комсомольскую организацию Украины. Он спросил, знал ли Костенко своих предшественников. «Что за вопрос? — подумал Костенко. — В конце концов, почти все комсомольские секретари на Украине погибли, и по крайней мере один из них — уже после того, как Н. С. [Хрущев] прибыл в Киев».

Костенко ответил, что знал. «Сколько именно?» — поинтересовался Хрущев. Костенко ответил: «Двенадцать». — «Составьте мне список», — потребовал Хрущев.

«Этот приказ меня просто потряс, — рассказывает Костенко. — Зачем ему это понадобилось? Но я напечатал список и принес ему».

«Отвезите его в отделение НКВД [в ближайшем городе], — приказал Хрущев, — и передайте им от моего имени этот список. Пусть выяснят, кто из этих людей еще жив».

Костенко так и сделал. Два месяца спустя он получил список обратно: напротив всех фамилий стояли жирные красные минусы. «Никого не осталось в живых», — понял он. Костенко поехал к Хрущеву и застал его в кабинете одного. «Я рассказал ему, что получил список и что никого из этих людей нет в живых. Он встал, подошел к окну, долго молчал, потом прошелся по кабинету. Повернувшись ко мне, он сказал: „Сколько людей убили ни за что“»[102].

В том же 1943 году помощник Хрущева Павел Гапочка послал главе украинского НКВД Сергею Савченко другой список из сорока восьми фамилий — украинская интеллигенция, историки, артисты, писатели, композиторы, физики, лингвисты. Савченко должен был выяснить, кого из них «можно вернуть на Украину

для продолжения научной и культурной работы». Из сорока шести человек, о которых НКВД удалось найти сведения, двадцать шесть были приговорены «к высшей мере наказания» (с пометкой «приговор приведен в исполнение»), а еще шестнадцать — к разным срокам тюремного заключения, и «нынешнее их местонахождение не известно»[103].

О реакции Хрущева мы ничего не знаем. Однако из истории с этими двумя списками можно сделать несколько выводов: Хрущев в самом деле не представлял себе истинного размаха террора, но узнал правду не в пятидесятых, а гораздо раньше. Мы видим также, что даже в тяжелые годы войны Хрущев придавал огромное значение работникам науки и культуры. В это трудное время он находил возможность отвечать на всевозможные письма и просьбы украинских интеллектуалов[104]. Он организовал прием в партию поэта Тычины[105] и пригласил Довженко, к этому времени снова оказавшемуся в фаворе, с собой в поездку по фронтам[106].

Оценив пропагандистские возможности фото– и кинохроники, Хрущев хотел быть уверен, что его деятельность будет достаточно полно представлена и в той, и в другой. Его помощник Гапочка работал при нем неофициальным фотографом — то и дело «щелкал» Хрущева в различных выгодных положениях. Довженко согласовывал с Хрущевым свои кинематографические планы и получал взамен добрые советы. Так, за несколько дней до харьковского разгрома, Хрущев наставлял своего друга в сложных вопросах марксизма-ленинизма и их соотношении с национальным сознанием, подчеркивая, что он любит Украину, однако опасается, что украинцы «забыли марксизм и историю»[107].

Он предложил «создать документальное повествование об освобождении Украины из-под нацистского ярма. Изобразите это событие торжественным, значительным и прекрасным, чтобы люди запомнили его на века, чтобы его перепечатывали, цитировали и включали в сборники». Что за «прекрасная, великолепная мысль со стороны Н. С! — восхищался Довженко в дневнике. — Непременно этим займусь. Размер: 15–20 страниц, может быть, и меньше. Надо подготовиться к работе. Привлечь поэтов, писателей, композиторов. Н. С. поднял также вопрос об украинской проблеме»[108].

Летом 1943 года Довженко преподнес своему покровителю сценарий фильма, озаглавленного «Украина в огне»: «Я читал Н. С. сценарий до двух часов утра. После этого у нас был долгий и приятный разговор. Н. С. очень понравился сценарий; он считает, его надо опубликовать отдельной книгой, по-русски и по-

украински. Пусть люди прочтут об этом, пусть узнают, что это было нелегко»[109].

Хрущев отдал распоряжение «опубликовать сценарий немедленно и целиком»[110]. Однако замысел Довженко не пришелся по вкусу Сталину. «В этой работе, — заявил он Политбюро в январе 1944-го, — мягко говоря, пересматривается ленинизм… В сценарии Довженко имеются грубейшие антиленинские ошибки. Это открытое нападение на политику партии. Всякий, кто прочтет „Украину в огне“ Довженко, увидит, что это именно нападение»[111].

Все, кроме Хрущева. Быть может, сочувствие к пострадавшим от войны украинцам затмило для него «ошибки» Довженко — то, что в фильме показаны в основном простые крестьяне, а имя Сталина упоминается всего четырежды; что почти все герои фильма — украинцы; наконец, замаскированные намеки на то, что именно советское руководство сделало Украину уязвимой для нападения врага. Очевидно, Хрущев не заметил того, что Довженко считал в своем сценарии главным: «Мы ошиблись, когда бросили всю Украину в пасть проклятому Гитлеру, и освобождаем Украину мы неправильно. Мы, освободители… тоже отчасти виновны… перед освобожденными. А мы смотрим на них свысока и думаем, что это они перед нами виноваты»[112]. Неудивительно, что 31 декабря 1943 года Хрущев отказался встретиться с Довженко, а их встреча 3 января 1944-го прошла не слишком гладко. «Как будто мы с Н. С. перестали быть самими собой, — записал Довженко в дневнике, — он превратился в холодного, беспощадного судью, а я — в презренного преступника и врага народа». Хрущев говорил: «Мы еще вернемся к рассмотрению вашей работы. Мы это так не оставим». «Господи, дай мне силы! — продолжает в дневнике Довженко. — Пошли мне мудрость простить доброго Н. С., столь ярко продемонстрировавшего свою слабость — ибо он человек слабый»[113].

По требованию Сталина Хрущев назначил Довженко суровое наказание — подписал приказ об отстранении кинорежиссера от работы. Падение Довженко стало знаком нового поворота в политике Сталина: прежде он использовал украинский национализм против врага — теперь снова объявил его «буржуазным» и «реакционным». Однако «за кадром» Хрущев старался смягчить и ограничить антидовженковскую кампанию — пусть даже хотя бы для того, чтобы не пострадать от этого самому[114]. Он признался Сталину, что читал «Украину в огне», однако «на три четверти мои мысли были заняты ходом битвы. Я объяснил это Сталину… Он посчитал, что тут просто была с моей

стороны отговорка…»[115]. Сталин был прав. Хрущев хитрил: после смерти Сталина он добился «реабилитации» Довженко[116].

Хрущев восхищался теми из армейских офицеров, кто был храбр, энергичен, принципиален и заботился о нуждах простых солдат. Люди грубые и некультурные, напыщенные и претенциозные, а в особенности хвастуны и пьяницы вызывали у него презрение. Короче говоря, в других он ценил или отвергал те же качества, что и в самом себе.

Особенно сдружился он с Родионом Малиновским, которого впоследствии сделал своим министром обороны. Происхождение Малиновского было еще скромнее, чем у Хрущева, однако он тоже сумел «выбиться в люди». «Своего отца он не знал, — рассказывал Хрущев. — Мать его, кажется, была незамужней и сына не воспитывала. Он был воспитан тетей…»[117] Нам трудно себе представить, что Хрущев и массивный, с каменным лицом Малиновский делились друг с другом детскими воспоминаниями. Однако рассказывает Хрущев и о том, как Малиновский «рыдал в три ручья», узнав о самоубийстве своего друга-офицера. С этим самоубийством связана любопытная история: самоубийца закончил свою записку словами «Да здравствует Ленин!». Почему Ленин? — забеспокоился подозрительный диктатор. Почему не Сталин? И приказал Хрущеву: «Надо будет за Малиновским последить. Следите за всеми его действиями, приказами и распоряжениями». После смерти Сталина Хрущев осмелился признаться в этом самому Малиновскому — и услышал в ответ, что тот «давно все понял — как только я начал ходить за ним по пятам и ночевать в соседней комнате». К счастью, добавляет Хрущев, Малиновский «понимал всю сложность моего положения и не стал таить на меня злобу. Он знал, что, пока он работает честно, я не стану ему мешать и буду докладывать Сталину только хорошее».

Умно сказано, если учесть, что к тому времени Хрущев сделался его начальником! Помимо находчивости Малиновского, эта история демонстрирует нам три важные черты Хрущева: во-первых, он не одобрял распоряжений Сталина («Такое наблюдение было мне неприятно»), во-вторых, все равно их выполнял, и в-третьих, и двадцать пять лет спустя тешил себя мыслью, что именно его влияние на Сталина спасло ситуацию. «Не знаю, кто именно спас Малиновского… Или мне это приписать себе в заслугу — мое влияние в Политбюро (а, видимо, оно было немалым) и ту характеристику, которую я дал ему еще в 1941 году?»[118]

После операции по освобождению Киева на командный пункт

к Хрущеву приехал Андрей Гречко — маршал, работавший с ним в Киеве после войны, а в 1960 году возглавивший объединенные силы стран Варшавского договора. «Помню, заходило солнце, — вспоминал позднее Хрущев. — Стоял теплый вечер, но все-таки осенний, мы вышли в бурках внакидку. Приехал Гречко, докладывает мне. Так как рост у него огромный, а я его давно знал и относился к нему с уважением, то пошутил: „Товарищ генерал, вы, пожалуйста, отойдите подальше. Мне трудно смотреть вам в лицо, когда вы делаете доклад“. Он засмеялся, а я попятился назад, и он продолжал докладывать»[119].

Хрущев любил военных и стремился чувствовать себя с ними на равной ноге. «Есть у меня свои человеческие слабости, в том числе гордость, — признавался он, — так что я с удовольствием вспоминаю, что был членом Военсовета…»[120] Даже Василевский, которого Хрущев потом заставил выйти в отставку, признает, что Хрущев «был человеком энергичным, смелым, не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видеться и разговаривать с людьми — и, надо сказать, люди его любили».

Однажды, проезжая по приволжским степям, Хрущев и Василевский остановились перекусить под навесом у дороги. Неподалеку они заметили пожилую пару. Когда Хрущев поздоровался и спросил: «Ну, как тут, как идет жизнь?» — угрюмый бородатый старик мрачно ответил: «Ну какая тут жизнь, что это за жизнь?»

Оказалось, что этот человек до войны был председателем колхоза где-то на Украине; он однажды встречался с «Микитой» и разговаривал с ним. Однако теперь, когда Хрущев был в военной шинели без погон и бекеше, узнать его было нелегко.

— А вот этого человека вы не знаете? — поинтересовался Василевский.

— Не знаю.

— Может, знаете. Ну-ка, приглядитесь.

Старик пригляделся — и вдруг воскликнул:

— Так то ж Микита! Ты-то как здесь?

«Страшно обрадовался Хрущев, — заканчивает историю Василевский, — и стал его обнимать. А тот с неменьшей охотой стал обнимать его. А потом, конечно, позвал позавтракать вместе с нами»[121].

Переход через Днепр в любом случае должен был повлечь за собой большие жертвы; однако Сталин настоял, чтобы Киев взяли не позднее 5–6 ноября, ибо хотел отпраздновать в освобожденном городе двадцать шестую годовщину Октябрьской революции[122]. Советские танки и пехота форсировали реку неподалеку от киевской дачи Хрущева в Межгорье[123]. В день освобождения в

полуразрушенный город первыми въехали несколько американских джипов, полученных по программе лендлиза: в первом из них сидели Жуков и его охрана, а на заднем сиденье — Хрущев и Довженко. «Просто нет слов, чтобы выразить ту радость и волнение, которые охватили меня, когда я отправился туда, — рассказывал позже Хрущев. — По старой, знакомой дороге, по которой до войны мы ездили на дачу… Проехали пригород Киева, вот мы и на Крещатике…» Напротив центрального универмага какой-то седобородый старик с кошелкой «кинулся ко мне на шею, стал обнимать, целовать. Это было очень трогательно». Фотограф запечатлел, как Хрущев утешает плачущую женщину — а у самого по щекам текут слезы[124].

Кортеж свернул к памятнику Шевченко, перед которым Хрущев склонил голову. Горел Киевский университет — его подожгли перед отступлением немцы. «Да этих варваров самих сжечь надо!»[125] — воскликнул Хрущев. Но восторг был сильнее гнева: «Для меня это была особенная радость. В конце концов, я ведь „отвечал“ за Украину, я был здесь секретарем ЦК, и здесь прошли мои детство и юность…»[126]

Еще большей радостью — и для Хрущева, и для всего советского народа — стала окончательная победа над Гитлером[127]. Для Хрущева это чувство было смешанным. То, что столько людей сражалось и погибло за Советский Союз, укрепило его веру в социализм. Хрущев неизменно вспоминал о Сталине. После взятия Киева он отправил вождю письмо — «просто хотел порадовать Сталина»[128]. После капитуляции Германии позвонил ему по телефону, чтобы поздравить — но в ответ услышал резкую и грубую отповедь. «Я просто остолбенел, — вспоминает Хрущев. — Как это? Почему? Очень я тогда переживал и ругал себя: зачем я ему позвонил? Я ведь знаю его характер и могу ожидать чего угодно. Знаю, что он хочет показать мне, что происшедшее — уже пройденный этап, что он уже думает о новых великих делах. Поэтому, мол, чего там говорить о вчерашнем дне?»[129]

Глава VIII
СНОВА НА УКРАИНЕ: 1944–1949

Семнадцать тысяч городов и поселков разрушены, семьдесят тысяч деревень и хуторов выжжены, тридцать две тысячи заводов и фабрик взорваны или приведены в нерабочее состояние, тысячи километров железнодорожных путей уничтожены, сто тысяч колхозов и совхозов опустели — таков был страшный итог войны, в результате которой, как доложил Сталину в январе 1946 года ведущий правительственный экономист Николай Вознесенский, СССР лишился 30 % своего национального богатства[1].

Потери Украины, если рассматривать их в сравнении с исходными данными, были еще ужаснее: погибло от трех до пяти миллионов человек, то есть одна шестая населения; еще 2,3 миллиона угнаны на работы в Германию; более семисот городов и двадцать восемь тысяч деревень лежали в руинах; полностью или частично разрушены шестнадцать тысяч предприятий и двадцать восемь тысяч колхозов; погибло 40 % национального богатства республики[2].

Но и эта ужасающая статистика не в полной мере отражает горе и страдания разоренной страны. Не отражается в ней и надежда советских людей — надежда на то, что понесенные жертвы не будут напрасны, что победа в войне, прогремевшей над страной, как писал Борис Пастернак, «очистительной бурей», принесет с собой свободу[3].

Надеялся на перемены и Хрущев. Разумеется, его мечты не включали в себя либерализацию или вестернизацию: в его обязанности входило восстанавливать на Украине партийную власть, поднимать из руин ненавистные многим крестьянам колхозы, бороться с вооруженными бандами националистов в Западном крае. Однако и он страшился возвращения к «эксцессам» предвоенного периода, к голоду начала тридцатых, к преследованиям украинских интеллектуалов, которым он по мере возможности покровительствовал.

Хрущев по-своему любил Украину и украинский народ и полагал, что и украинцы относились к нему «по-доброму»[4]. Он видел страдания украинцев во время войны и готов был трудиться не покладая рук, чтобы помочь им вернуться к мирной жизни. Конечно, его украинский «патриотизм» был ограничен советским интернационализмом — однако вполне реален. И тот же Хрущев, что вел непримиримую борьбу с националистами Западной Украины, порой готов был спорить со Сталиным,

отстаивая интересы украинцев. Послевоенный голод на Украине не был его виной; именно из-за своей позиции по этому вопросу Хрущев лишился поста украинского лидера.

Послевоенное время на Украине сочетало в себе трагедию и фарс. На Западной Украине шла гражданская война, в которой обе стороны проявляли немыслимую жестокость, а чиновники, страшившиеся за свою жизнь, — чудеса изворотливости. В 1946 году в деревне разразился голод, порой доводивший людей до людоедства; в это же самое время вновь было обращено внимание на роль Хрущева в провалившемся харьковском контрнаступлении 1942 года. Победу в войне Сталин относил прежде всего на счет русского народа. «Всякий другой народ, — заявил он в своем победном тосте в мае 1945 года, — сказал бы правительству: вы не исполнили наших ожиданий, убирайтесь вон, заключайте мир с Германией и оставьте нас в покое»[5]. Целые народы, обвиненные в сотрудничестве с нацистами — крымские татары, чеченцы, ингуши, калмыки и балкарцы, — были депортированы. «Если украинцы избежали этой участи, — говорил Хрущев в своем секретном выступлении 1956 года, — то только потому, что их слишком много — высылать некуда. А то бы он и их выслал»[6].

В сюрреалистической действительности, характерной для послевоенной Украины, немалую роль играли личные качества Хрущева. Шла ли речь о борьбе с бандами националистов или о коллективизации крестьянских хозяйств Западной Украины — он неизменно обещал куда больше, чем мог выполнить, а когда невыполненные обещания угрожали его самооценке и служебному положению, сваливал вину на подчиненных и утешался поощрением абсурдного культа собственной личности.

В начале 1947 года Сталин сместил Хрущева с поста первого секретаря компартии Украины (хотя разрешил остаться главой украинского правительства) и прислал ему на замену Кагановича. Вскоре Хрущев совершенно исчез из публичной жизни: он тяжело заболел, едва не умер. И вдруг — настоящее чудо! Осенью 1947 года к Хрущеву вернулись и прежнее здоровье, и прежний пост. Более того: 1948 и 1949 годы, едва ли не худшие в советской истории, стали лучшим временем в карьере Хрущева.

Освободив в июле 1944 года Львов, Советская Армия вскоре достигла границы, проложенной в 1939-м в результате договора Сталина с Гитлером, и двинулась дальше — на Германию, на Берлин. Однако для новой границы, включавшей в себя Западную Украину, Советскому Союзу предстояло еще отстоять право на существование в глазах окружающего мира.

В конце 1944 года главной задачей Хрущева было восстановление разрушенного украинского хозяйства. При этом он не мог противиться соблазну своеобразного «военного туризма». Когда Киев посетил Микоян, Хрущев возил его по полям недавних сражений. Да и сам он то и дело появлялся вблизи линии фронта, «побыть с военными товарищами, послушать их, посмотреть на немецкую землю… взглянуть в глаза немцам, прочесть на их лицах… каково им отведывать войны, которую навязал нам Гитлер»[7]. Даже находясь в Киеве, он постоянно следил за военными действиями с помощью телефонной связи. Однажды ему позвонил Жуков и радостно объявил: «Скоро я Гитлера в клетку посажу и привезу тебе. Когда буду его доставлять в Москву, то пошлю через Киев, чтобы ты тоже на него посмотрел»[8].

После освобождения Западной Украины летом 1944 года 750 тысяч человек были призваны в армию. Все мужчины от девятнадцати до пятидесяти, невзирая на состояние здоровья, после всего лишь восьмидневного обучения встали под ружье и отправились в бой. По уверениям Хрущева, «военнообязанные из освобожденных областей понимали свой долг, их не надо было просить присоединяться к Советской Армии…». Однако многие сопротивлялись призыву или дезертировали при первой возможности, пополняя собой ряды партизан-националистов, развернувших настоящую войну против советизации Украины[9].

Восстанавливать украинскую экономику остались — за исключением шахтеров, инженеров и квалифицированных рабочих, освобожденных от призыва, — «старики, инвалиды и непригодные к военной службе, главным образом женщины». Хрущев уверял, что все они «шли туда охотно. Объяснение тому двоякое: с одной стороны, большую роль играли патриотизм и агитация Коммунистической партии…». По следующей же его фразе мы понимаем, что реальная картина была далеко не идиллической: оказывается, к работе на заводах и фабриках людей привлекало и то, что «в восточноукраинских промышленных районах снабжение было все-таки как-то организовано: например, питание населения было лучшим, чем в других районах Украины»[10].

Уже в 1943 году Хрущев вновь занял пост первого секретаря компартии Украины, а в 1944-м был назначен и главой украинского правительства — став, таким образом, единственным, кроме самого Сталина, лидером, совмещающим эти два поста.

Верно служа Сталину, Хрущев в то же время по мере сил противостоял тому, что сам предпочитал считать не сущностными

чертами советской системы, а лишь ошибками нижестоящих чиновников. Советские граждане, во время войны оказавшиеся на оккупированных территориях, как и советские солдаты, попавшие в плен, в глазах Сталина казались подозрительными и подлежали суровому наказанию. Хрущев утверждал, что защищал свой народ («Мы ведь всю Украину оставили, так что те, кто остался, сами имеют какое-то право нас обвинять за то, что мы ушли и оставили их»[11]), и существуют свидетельства, подтверждающие, что это правда. На встрече специалистов по кадровой политике партии в апреле 1944 года Хрущев назвал оставшихся на оккупированной территории «нашими людьми» и призвал слушателей «не порочить» их[12]. Той же весной он снова отправился к старому юзовскому другу Илье Косенко. Самого Косенко дома не оказалось; но его дочь, услышав, как помощник Хрущева шепчет ему на ухо, что Косенко пережил войну на оккупированной территории, взорвалась: «Если это плохо, зачем вы тогда к нему приехали? Он не работал на немцев: только чистил сортиры, потому что иначе его бы повесили!» Хрущев в ответ погладил ее по голове и проговорил: «Молодец, хорошая дочь — знаешь, что отца надо защищать!»[13]

В длинном письме Сталину, написанном в июле 1944 года, Хрущев рассказывает о своей встрече с бывшими советскими военнопленными. Все они, сообщает он, боялись бежать, опасаясь не только немцев, но еще более — того, что дома, как пугали их немцы, расстреляют или повесят свои же. «Надо разоблачить немецкую ложь о том, что мы арестовываем и казним пленных, — советовал Хрущев. — Надо разбросать листовки с призывами к русским, украинцам и белорусам бежать в леса»[14]. Увы, бывших военнопленных *действительно* арестовывали и посылали в лагеря. Называя эту практику «немецкой ложью», Хрущев осторожно, но тем не менее решительно возражал против нее.

Намного более открыто и прямо выразился он в следующем году на пленуме ЦК компартии Украины. В Одесской области местные органы НКВД арестовали какого-то гражданского, который ходил по домам в военной форме и агитировал за выдвижение маршала Жукова в Верховный Совет. На пленуме Хрущев жестоко высмеял главу одесской парторганизации: «Нужно было просто членам партии заняться, зачем же НКВД?.. Да вы бы его вызвали, может быть, у него просто такое настроение, а может быть, психика расстроена… Что же здесь антисоветского? *(Смех в зале.)* А вы звоните в органы, которые вовсе не для этого предназначены. Неужели не понимаете, что такое поведение дискредитирует… нашу систему? Так нельзя. Мне теперь неудобно будет встречаться с Жуковым. Он

непременно спросит, почему арестовали человека, который его поддерживал: может, это шутка какая, в конце концов, Одесса и все такое. Не надо путать бдительность с глупостью, вот что я вам скажу».

На том же пленуме глава пропагандистского отдела Черновецкой области пожаловался на крестьянку, осмелившуюся поинтересоваться, почему в «великой и могучей» стране нет в продаже ни соли, ни керосина, и заявил, что за такие вопросы следует примерно наказывать. «А вы бы лучше ответили ей, — прервал его Хрущев, — *когда* будут керосин и соль. Почему же вы ей не ответили? Я бы на ее месте спросил о том же самом… Вам керосин не нужен — у вас есть электричество; а им-то как без керосина?» Когда тот же чиновник назвал другого крестьянина «кулаком», Хрущев снова обрушился на него: «Кулак, значит? А вы проверили, точно ли он кулак? Знаю ведь, что не проверили — но не стесняетесь это повторять направо и налево. Наклеиваете на людей ярлыки, словно мы тут в игрушки играем»[15].

Партия и правительство, возглавившие восстановление Украины, и сами нуждались в восстановлении. Их ряды были не только прорежены войной, но и опустошены предвоенным террором. В конце 1946 года, докладывал Хрущев, заняли свои места 38 % районных партсекретарей, 64 % председателей местных советов и более 60 % директоров МТС; в основном эти должности занимали чужаки, присланные из России или (на Западную Украину) из восточных областей республики. Организация работы этих новых кадров легла на Хрущева. С этой задачей он справился блестяще: на протяжении 1944 и 1945 годов он во главе команды чиновников ездил по Украине из одной области в другую. Свой пятидесятилетний юбилей Хрущев отпраздновал в Сталино — как из сентиментальных соображений, так и ради того значения, которое имел для жизни Украины донбасский уголь. Он спустился в шахту, где работал мальчишкой: на кадрах кинохроники мы видим его в рабочей одежде шахтера, с фонариком на каске и широкой улыбкой на лице. Бывшим землякам, жаловавшимся на недостаток продовольствия, Хрущев посоветовал разводить кроликов, ловить рыбу и расширять свои садовые участки. Когда местные руководители выразили сомнение в действенности таких советов, Хрущев указал на близлежащую заболоченную лужайку: «Видите эту балку? Вода без всякой пользы течет из шахты в степь. А ведь раньше тут выращивали отличную капусту!»[16]

Посетил он в 1944-м и Петрово-Марьинский район, где в 1925–1926 годах был секретарем райкома. Районный центр лежал

в руинах, но местные власти бросили все силы на открытие фабрик и заводов. Хрущев поправил их: «Сначала надо накормить людей, дать им воду, а потом уже работать на заводах». Первый секретарь райкома Глухов ездил по району на сломанной телеге, Хрущев прислал ему из Киева автомобиль. «Можете себе представить, — восторгался Глухов несколько десятков лет спустя, — сам, лично позаботился выслать автомобиль, хотя я об этом не просил!»[17]

Побывал Хрущев и в Калиновке — но лишь после упрека, полученного от Сталина. По воспоминаниям помощника Хрущева Андрея Шевченко, Сталин однажды шутливо спросил Хрущева, откуда он родом.

— Из Калиновки, — ответил Хрущев.

— Где это? — спросил Сталин.

— В Курской области, — ответил Хрущев.

— И когда вы последний раз там были?

— Да уж довольно давно, — признался Хрущев.

— Что ж, — заметил Сталин, — это вам чести не делает[18].

Из приблизительно 800 человек, ушедших на фронт из Калиновки, вернулись только 276. Не осталось ни тяглового скота, ни электричества, ни сельскохозяйственных машин. «Приходилось лучины жечь, — вспоминал сорок пять лет спустя один из деревенских жителей. — Днем сдирали лыко с лип, а вечерами при лучине плели лапти. Так и жили».

«Мы пахали на коровах, а он приехал прямо к нам в поле, — рассказывает другая деревенская жительница. — Подъехал и заговорил с нами. Хотели мы его встретить, как полагается, — а встретить-то и нечем. Помню, как ходили к Федосье Лаврентьевне спрашивали, не найдется ли у нее чего. А кончилось тем, что Никита Сергеевич сам стал нас угощать — дынями, жареными курами и горячим чаем».

«Когда он приехал, мы перед избой просеивали зерно, — вторит ей другой старик. — Бабушка моя встала с табурета и говорит: „Садись, ты ведь у нас теперь царь“. А он в ответ: „Да нет, я только царевич“»[19].

Шевченко, сопровождавший Хрущева в этой поездке, рассказывает, что крестьянам отчаянно не хватало лошадей. По просьбе Хрущева его старый друг генерал Гречко прислал в деревню пятьдесят крупных тягловых лошадей из Германии, которым требовался обильный корм. Вернувшись на следующий год, Хрущев обнаружил, что лошади умирают от голода. «Все, что у нас было, уходило им на прокорм», — объяснили крестьяне.

— А вы чего хотели, — взорвался Хрущев, — чтобы они святым духом питались?! Я вам прислал лошадей — а вы их

голодом заморили!

Рассерженный и раздосадованный, он приказал Шевченко подыскать для Калиновки нового председателя колхоза — поумнее и пообразованнее. Несколько кандидатур были признаны неподходящими, однако после долгих поисков, сопряженных с разными приключениями (например, ночлегом в крестьянской избе, где ночью одного из кандидатов схватил за волосы и начал их жевать теленок), Шевченко нашел подходящего человека. Хрущев продолжал помогать односельчанам, однако все его усилия разбивались об «отсталое» мышление деревенских жителей, с которым он столь долго и безрезультатно боролся. Когда двоюродная сестра, жившая в Калиновке, попросила его помочь в постройке нового дома, Хрущев выложил пятьсот рублей — свою зарплату на должности депутата Верховного Совета; Шевченко пришлось объяснить ему, что дом в деревне стоит намного больше. Хрущев предложил женщине квартиру в доме городского типа; та вместо благодарности поинтересовалась, где ей держать поросенка и где у нее будет огород. Хрущев заверял, что колхоз предоставит ей все необходимое, но она отказалась.

Хрущев был в ярости. «Вы не понимаете психологии крестьянина», — пытался объяснить ему Шевченко. «Ну вас к черту! — рычал в ответ Хрущев. — Какой огород, какое хозяйство?! Ленин нас учил, Ленин завещал: никакого личного хозяйства, а вы идейно и физически в нем погрязли и никак не выберетесь»[20].

Верный (в меру своего понимания) марксист, Хрущев стремился стереть грань между городом и деревней — добиться того, чтобы и там, и там жизнь была одинаково хороша. В 1944–1945 годах эта утопия была вовсе не достижима, но Хрущев не забывал о ней. Он мечтал окружить Киев цветущими садами. «Хотел вспахать и засеять миллион гектаров между Днепром и Ирпенем, — вспоминает Шевченко. — Собирался выращивать там для Киева овощи, в первую очередь типично украинские — огромные тыквы и ранний редис. Предлагал создать по образцу газопровода „молокопровод“ — подземные трубы, по которым будет доставляться в город молоко от пятисот тысяч коров. Молоко будет поступать на раздаточные базы, а оттуда — свежее, парное — доставляться прямо в сверкающие новые магазины. Хрущев собрал комиссию и приказал ей подсчитать, сколько для этого потребуется труб, дорог и новых зданий. Координатором проекта назначил какую-то женщину без всяких агрономических знаний, а Сталину ничего об этом не сообщил. Однако до Сталина, очевидно, дошли слухи через Кагановича: он объявил, что этот проект — дело отдаленного будущего, и назвал Хрущева

„агрономом-фантазером“»[21].

Предавался Хрущев и другим фантазиям — об увеличении территории Украины. Район за Карпатскими горами, так называемое Закарпатье, до войны принадлежал Чехословакии. Хрущев посетил этот район инкогнито осенью 1944 года: на встречах с местными коммунистами он высказал расхожее мнение о необходимости объединения этого района с Украиной и обсудил, как это лучше сделать. Встретившись со Сталиным, он сообщил, что местное население «единодушно» присоединится к Советской Украине, и посоветовал ему в этом «помочь». В результате, как гордо заявляет в своих воспоминаниях Хрущев, «Закарпатье стало одной из областей Советской Украины». Разумеется, он не упоминает о том, что жалобы на «насильственную украинизацию» два года спустя достигли Москвы, откуда Хрущеву поступил приказ исправить ситуацию[22].

Стремился Хрущев завладеть и частью польской территории — Холмской областью, которая, как он докладывал Сталину, «исторически принадлежала Украине и была частью Российского государства». Он предложил «организовать советское правительство области с тем, чтобы при удобном случае объявить, что эти районы входят в состав СССР и Советской Украины». Зная неприязнь Сталина к украинскому национализму, Хрущев привел в защиту своего предложения геополитический резон: надо «выпрямить границу». Однако Сталин отверг предложение Хрущева, не желая включать в состав СССР несколько сотен тысяч поляков: вместо этого он приказал украинцам, жившим в Холмской области, «добровольно» покинуть Польшу и переселиться на Украину[23].

До передачи Украине Крыма (вызвавшей столько проблем после падения СССР) оставалось еще десять лет, но уже в 1944 году Хрущев попытался сделать нечто подобное. Крым нуждался в украинских крестьянах, которые заняли бы место крымских татар, высланных Сталиным. Будучи в Москве, рассказывал Хрущев год спустя украинскому коллеге, он обратился к Сталину с такими словами: «Украина в разрухе, а все из нее тянут. А вот если ей Крым отдать, тонка кишка?»[24]

Передать Украине Крым Хрущеву не удалось, однако другие его действия были более успешны: к октябрю 1945-го производство угля на Украине достигло 40 % предвоенного уровня, а площадь возделанных земель — 71 % уровня 1941 года[25]. Цифры выглядят не слишком впечатляюще; однако, если вспомнить о том, какое разорение принесла стране война, мы увидим, что сделано было очень много. В феврале 1945-го Хрущев

был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за успешное выполнение плана по сельскому хозяйству на 1944 год», а в мае того же года получил орден Суворова I степени за организацию на Украине партизанского движения. В дополнение к этому его пятидесятилетие, в апреле 1944 года, было ознаменовано еще одним орденом Ленина.

С начала 1930-х годов советская пресса постоянно публиковала хвалебные телеграммы Сталину от рабочих и колхозников, пространные рассуждения о его достоинствах, фотоснимки и портреты великого человека. Примерно так же в украинской прессе 1944 года прославлялся Хрущев. В оде «Великому Сталину от народа Украины», написанной тринадцатью выдающимися украинскими поэтами и подписанной более чем девятью миллионами украинских граждан, две строфы были посвящены Хрущеву.

Больше всего льстивых восхвалений пришлось на долю Хрущева в апреле 1944 года, по случаю его пятидесятилетия: на первых страницах всех газет — огромная фотография Хрущева в военной форме и с орденами на груди, еще одна — Хрущев со своим усатым хозяином, а в дополнение к этому — воспоминания ведущих украинских писателей и артистов. «Позволю это сказать, — запевает Максим Рыльский, — люблю личной любовью… так, как я говорю о нем в кругу друзей». Далее «наш дорогой Никита Сергеевич» оказывался «великим ленинцем», «славным сталинцем», человеком «несравненной воли, ясного ума и доброго, искреннего сердца». Особое мастерство проявил Рыльский в восхвалении тех добродетелей, которых у Хрущева не было, но которые он хотел бы приобрести. Догадываясь, что порывистый Хрущев втайне завидует сдержанности и самообладанию Сталина, Рыльский писал: этот человек никогда не торопится с ответом. «Торопливость вообще глубоко чужда ему. Он не только сам размышляет, но и заставляет размышлять своего собеседника. И часто собеседник, еще до того, как заговорит Никита Сергеевич, начинает вдруг понимать, что дело, о котором он завел речь, может быть освещено совсем по-иному»[26].

Поздравления сыпались со всех сторон — от рядовых коммунистов до маршала Баграмяна и заместителя Хрущева по партийной линии Коротченко[27]. Сам именинник заявлял, что ненавидит лесть. «К юбилеям и прочим торжествам, — рассказывает его дочь Рада, — он относился очень спокойно. Мы никогда их не отмечали». По словам племянницы Нины Петровны Нины Кухарчук, «он не любил подхалимов. Не любил тратить на них время». Костенко настаивает, что «он не терпел пышных

речей. Всегда держался очень просто, всегда был самим собой. Когда какой-нибудь неумный человек, вроде Шелеста [Петр Шелест стал главой КПУ после Хрущева], въезжал в город, то требовал, чтобы его встречали хлебом-солью девушки в национальных костюмах. Это просто смешно. Хрущев, прилетев куда-нибудь, сразу брался за дело. Вот почему я не согласен с тем, что якобы существовал какой-то культ Хрущева. Конечно, отдельные подхалимы всегда найдутся, но Хрущев их не поощрял»[28].

Хрущеву, заметим, и не приходилось их поощрять — он просто принимал лесть как должное и, жалуясь на льстецов, не делал ничего, чтобы их остановить. Все разговоры о том, как он не любит чествований и похвал, по-видимому, служили для него лишь средством маскировки, призванным скрыть жажду почестей — не столько от окружающих, сколько от самого себя.

Особняк Хрущева во время войны сгорел дотла, но ему предоставили новую, еще более роскошную резиденцию. До революции этот дом принадлежал богатому фабриканту; располагался он на улице Осиевской (впоследствии улица Герцена), на безопасном расстоянии от центра города. Особняк представлял собой массивное одноэтажное здание с несколькими крыльями и верандами, с богатой резьбой по каменным стенам. Хрущев переехал туда в начале 1944 года: в апреле, на день его рождения, к нему приезжали родные, но окончательно семья переселилась в Киев только в сентябре. Никита Сергеевич и Нина Петровна жили в одном крыле, мать Никиты Сергеевича — в другом, а остальные члены семьи — в центральном корпусе[29].

Просторные земли, окружающие дом, Хрущев превратил в нечто среднее между садом, экспериментальной фермой и зверинцем. Одна их часть представляла собой классический парк с прудами, аллеями, мостиками и статуями. Узкая тропинка вела к живописному озеру: путь к нему охранял мраморный лев. Вместе с детьми по парку бегали козел, две собаки (немецкие овчарки, подаренные Хрущеву в качестве «трофеев» советскими генералами) и ручная лиса, которая ходила за Хрущевым, как собачонка, но досаждала матери Нины Петровны Екатерине Григорьевне — таскала ее кур. В другой части сада Хрущев посадил персиковые деревья, желая посмотреть, приживутся ли они в украинском климате.

В свободное время Хрущев гулял по парку вместе с детьми или катался с ними на лыжах. На одной фотографии мы видим семью перед домом в ясный зимний день: Никита Сергеевич и Нина Петровна обнимают внучку Юлию. На другом снимке — пикник в Межгорье: Хрущев и Рада лежат на траве (причем он —

в пиджаке, а рядом лежит светлая фетровая шляпа). А вот Хрущев держит за руку восьмилетнюю Лену: вместе с группой офицеров они осматривают выставку военных трофеев в московском Парке культуры. По выходным на вилле Хрущева собирались коллеги — секретари ЦК, помощники главы правительства, военные. Купались в Днепре (возле виллы запруда образовывала неглубокое озеро), катались на моторках или на надувной спасательной шлюпке, попавшей на Украину во время войны с американского бомбардировщика, которому Сталин разрешил сесть в Полтаве. Зная увлечение Хрущева техникой, военные прислали ему шлюпку вместе с подробными инструкциями. Согласно инструкциям, крохотная на вид лодка должна была выдержать шестерых: двоих рослых коллег Хрущев посадил на нос и на корму, их жен (с букетами сирени в руках и нервными улыбками на лицах) — на банку, а сам, в форме генерал-лейтенанта и с сияющей улыбкой, сел за весла.

Осенью вся компания часто посещала ближайшие колхозы — «повосхищаться урожаем», объяснял Хрущев. Позже, на роскошных дачных ужинах, он так живо и красочно повествовал о своих впечатлениях, что дети то и дело заливались смехом. Но больше всего Хрущев любил охоту. Иногда он со своими гостями прочесывал лес, надеясь выгнать из укрытия и подстрелить зайца или лису. Когда охотники утомлялись, роль загонщиков переходила к детям и охране. В другие дни Хрущев в одиночку отправлялся поохотиться в заказник на полпути от Киева к Полтаве, изначально предназначенный для ударников труда. Он вставал на рассвете, надевал охотничью куртку с большими карманами, брюки для верховой езды и шапку и садился в моторку вместе с егерем, которому предстояло заряжать и перезаряжать две винтовки. Поначалу, пока лесная живность еще не опасалась охотников, Хрущеву удавалось подстрелить полсотни уток за каких-нибудь полтора часа. Некоторые из них отправлялись на домашнюю кухню, а остальные — в кафе киевского Дома правительства, где обедающим говорили: «Сегодня вас угощает Никита Сергеевич». Хрущев «любил пошутить» с егерями, а ругался «крепко», как настоящий охотник[30].

Год, когда закончилась война, был для Хрущева особенно спокойным. Однако даже тогда, если верить некоторым членам семьи, в доме Хрущевых «особого тепла не чувствовалось». Племянница Нины Петровны, Нина Кухарчук, так боялась старших Хрущевых, что не осмеливалась их ни о чем просить. Внучка Юлия подтверждает, что между старшим и младшим поколениями существовала холодность. Жизнерадостный и

дружелюбный на людях, дома Хрущев часто бывал не в духе. К тому же он не любил и не умел ни выражать собственные чувства, ни проявлять сочувствие. Когда Вася, племянник Нины Петровны, погиб на войне за несколько дней до победы, Хрущев попытался «утешить» его отца — долго молчал, не зная, что сказать, и наконец брякнул: «Хочешь, подарю тебе ружье?»

Юлия вспоминает, как Нина Петровна наряжала елку на Новый год, собирала в доме гостей, водила детей в театр и в кино, читала им вслух. Однако и она по большей части была строга и сурова. Она настаивала на том, чтобы, помимо занятий в школе, дети учили английский дома, с репетитором. Даже удовольствия в этом доме были строго регламентированы: дети не просто купались в Днепре, а брали уроки плавания, катания на лыжах и на коньках. О смерти Леонида и аресте Любы в доме не упоминалось. Люба была по-прежнему в тюрьме; где ее сын Толя и что с ним — никто не знал (или делали вид, что не знали). Сын Леонида Юрий и его мать во время войны эвакуировались в Барнаул и после возвращения в Москву в 1943 году не поддерживали связь с Хрущевыми. «Кто были они и кто — мы?» — замечает Юрий. Только летом 1947-го Хрущев восстановил связь с Розой и ее сыном. Много позже, в 1963 году, Хрущев указывал на Юрия и его мать-еврейку, желая опровергнуть обвинение в антисемитизме, выдвинутое американским издателем Норманом Казинсом: «Я — дед еврейского мальчика. Мой сын был женат на еврейке. У них родился ребенок. Потом сына убили на войне. А мать и ребенок вошли в нашу семью. Я вырастил внука, как собственного сына. И после этого вы говорите, что я антисемит?»[31]

Юрий вовсе не рос в семье Хрущевых — лишь иногда бывал у них в доме. Это началось летом 1947 года, Юрий тогда учился в Суворовском училище. Однажды к нему в дверь постучал какой-то офицер — и два дня спустя Юрий уже летел на военном самолете в Киев. На вилле Хрущева его встретила Нина Петровна, познакомила с Радой, Еленой и Юлией, шутливо предложила угадать, кто из девочек приходится ему тетками, а кто — единокровной сестрой. Юрий провел в Межгорье лето, однако «воссоединение семьи» оставило по себе смешанные воспоминания. Внешность и «трудный» характер Юрия слишком напоминали Нине Петровне Леню и Толю. Она «не стеснялась выражать мне свое недовольство, — рассказывает Юрий, — особенно по поводу моего интереса к лошадям и мотоциклам». В первый же день Юрий взял без спроса моторку и отправился кататься по Днепру — охране Хрущева пришлось его разыскивать. Свои единственные военные сапоги он так измочалил, что домой

ему пришлось лететь в девичьих домашних тапочках. Неудивительно, что Нина Петровна постоянно твердила ему: «Будь осторожнее!», «Будь серьезнее!», «Думай, что делаешь!» Сам Хрущев однажды, рассердившись за что-то на Юру, крикнул: «Замолчи, Леня!» Эта оговорка помогает понять, как относился Хрущев к своему внуку и почему так и не принял его в семью[32].

Делегацию Службы помощи населению при ООН (UNRRA) на Украине возглавлял после войны американец, маршал Мак-Даффи. Ему не удалось познакомиться с Хрущевым так близко, как впоследствии послу США Льюэллину Томпсону — но не потому, что Хрущев не проявлял энтузиазма. Первая его встреча с Мак-Даффи состоялась в современном здании правительства Украины, высоко на холме, с которого открывался вид на Днепр. Кабинет Хрущева, писал позже Мак-Даффи, оказался необычайно просторен — однако «кроме размера, да еще двойных, обитых кожей дверей, ничего выдающегося в нем не было. Единственное, что привлекло мое внимание, — стопка сложенных в углу листов гипсокартона; как объяснил мне хозяин кабинета, они имели какое-то отношение к материалу для строительства новых домов».

Двойные двери, обитые кожей, как и спартанская обстановка, были типичны для кабинетов советского начальства. Однако самого хозяина кабинета никак нельзя было назвать «типичным начальником»! В беседе Хрущева с американцем участвовал переводчик — «затянутый в новенькую синюю форму, в которой только начали тогда ходить работники украинского Министерства иностранных дел, и явно очень гордый собой». Самого же Хрущева Мак-Даффи описывает так: «курносый», «лопоухий», «веселый добродушный взгляд», смотрит на гостя «с нескрываемым любопытством, как на диковинку». Следующая их встреча произошла на официальном приеме с участием высших должностных лиц Украины; все было очень чинно и церемонно, произносились обычные тосты за мир и дружбу — пока не поднялся с бокалом в руке хозяин торжества. Хрущев указал на своего помощника по сельскому хозяйству, Василия Старченко, который был еще меньше ростом и круглее, чем он сам («У Хрущева фигура круглая, а у Старченко прямоугольная», — замечает Мак-Даффи), и объявил: «Я, должно быть, умом тронулся, когда *его* послал в Соединенные Штаты просить для Украины *продуктов*!»

Перед иностранцами Хрущев старался, что называется, показать себя. Когда один из чиновников Службы помощи населению в разговоре с ним выразил надежду встретиться со Сталиным, Хрущев молча вышел в другую комнату и несколько

минут спустя вернулся со словами: «Я только что говорил по телефону с товарищем Сталиным. Он примет вас завтра в два часа»[33]. В отличие от других советских руководителей, он не скрывал своего интереса к США. В последний день пребывания миссии Службы помощи населению на Украине Хрущев устроил гостям роскошный обед, а потом повез их к себе в Межгорье. К их удивлению, почти до трех часов ночи он просидел с ними на веранде, засыпая их вопросами об Америке: где они живут, сколько зарабатывают, чем будут заниматься после возвращения в Штаты[34].

Милован Джилас, будущий югославский диссидент, а в то время — один из доверенных помощников Тито, весной 1945 года побывал в Киеве вместе со своим начальником. Хрущев произвел на югославов двойственное впечатление: с одной стороны, «неудержимо болтливый», с другой — «простой и естественный в обращении и манере речи»; юмор у него «простонародный, часто довольно грубый», однако, в отличие от Сталина, Хрущев «не любит циничных шуток, призванных подавить и обидеть собеседника»; марксистские идеологические клише в его устах «свидетельствуют о чистосердечном невежестве — он просто повторяет зазубренные фразы, но повторяет их с искренней убежденностью».

Хрущев, писал позднее Джилас, «был единственным из советских лидеров, действительно уделявшим внимание жизни рядовых коммунистов и простых граждан». Его «замечательный здравый смысл» особенно ярко проявлялся на встречах с экономистами: «В отличие от югославских министров, его комиссары хорошо знали свое дело и, что еще более важно, реалистично оценивали свои возможности». Сравнивая Киев с Москвой, Джилас отмечал «более приятную атмосферу» и связывал это не только с красотой города, но и с «практичностью и безграничной энергией» «городского головы».

От проницательного Джиласа не укрылись не только достоинства, но и недостатки Хрущева. «Он постоянно учится, — замечал он, — старается почерпнуть новые знания и навыки во всех областях, с которыми сталкивают его разнообразные обязанности руководителя». Однако «редкие познания сочетаются в нем со столь же редкостным невежеством в самых элементарных вещах». Джиласа поражали не только «замечательная память Хрущева, его живая и энергичная речь», но и его обжорство (если «Сталин производил впечатление гурмана», замечает он, то Хрущев «просто сметал со стола все, что перед ним ставили»); а пил он, на взгляд Джиласа, «даже больше» Сталина.

У Джиласа сложилось впечатление, будто Хрущев «менее

других коммунистов-недоучек и самоучек страдает от чувства собственной неполноценности» и не чувствует необходимости «скрывать невежество и другие личные слабости за блестящим фасадом общих слов и пустых разглагольствований». Однако укрыться за «блестящим фасадом» Хрущев, пожалуй, не смог бы при всем желании. Он избрал другую тактику — не прятал недостатки, а старался уравновесить и обезвредить их неиссякаемой энергией, обаянием, а также заявлениями о своих особых отношениях со Сталиным. «Всякий раз, заговаривая о Сталине, — пишет Джилас, — он старался подчеркнуть свою близость к нему»[35].

Организация украинских националистов (ОУН), образованная в 1929 году, после аннексии Западной Украины в 1939-м получила немало новых сторонников. Поначалу Хрущев попытался договориться с националистами миром, но скоро эта проблема поступила в ведение НКВД, который стал разбираться с противниками свойственными ему методами — арестами, депортацией, отправкой в лагеря. Неудивительно, что многие западные украинцы восприняли нацистов как освободителей. 30 июня 1941 года фракция ОУН, руководимая Степаном Бандерой, провозгласила во Львове Украинскую независимую республику (впрочем, просуществовавшую очень недолго) и подняла вооруженное восстание против отступающей Красной Армии.

Немцы, как вскоре выяснилось, симпатизировали украинскому национализму не более советской власти. Многие украинские националисты напоминали европейских правых националистов-антисемитов, которых Гитлер поддерживал. В глазах нацистов украинцы были такими же недочеловеками, разве что чуть получше евреев. Некоторые украинцы помогали нацистам в истреблении евреев, однако многие другие сражались с ними — если не в Советской Армии, то в УПА (Украинской повстанческой армии), которая, слившись с другими партизанскими отрядами, в 1944 году насчитывала уже 150–200 тысяч человек[36]. Когда в том же году на Западную Украину с победой вернулась Советская Армия, большинство солдат УПА подняли оружие против нее.

Беспокоили Хрущева и еще две проблемы. Первой была Украинская греко-католическая (униатская) церковь, изначальная носительница идеи независимости Украины, перед войной насчитывавшая до трех миллионов прихожан[37]. В 1939–1941 годах коммунисты пытались снизить ее влияние (с помощью дискриминационных налогов, антирелигиозной пропаганды, а также собирания или фабрикации компромата на церковных иерархов), однако, учитывая сложное международное положение

и популярность церкви среди народа, Хрущев действовал осторожно. Были у него основания для осторожности и в 1944-м. Страны Запада признали право СССР на территорию Западной Украины — и задача борьбы с Греко-католической церковью встала перед ним в полный рост[38].

Второй проблемой Хрущева была коллективизация сельского хозяйства Западной Украины. Перед войной были коллективизированы только 13 % крестьянских хозяйств и 15 % пахотной земли. Настало время закончить дело, тем более что перевод крестьянства на колхозные рельсы затруднил бы снабжение продуктами партизан-националистов. Коллективизация вызывала неприятие у крестьян, которые сопротивлялись ей, порой — с помощью партизан и с оружием в руках[39].

Говоря в целом, ситуация на Украине была тяжелейшей. Однако об этом едва ли следовало докладывать Сталину — не говоря уже о том, что сам Хрущев, по-видимому, не в полной мере понимал, с чем столкнулся. В январе 1944 года, объехав несколько освобожденных областей, он доложил Сталину, что настроение народа «очень хорошее, советское» и что он не обнаружил «никаких признаков больших [националистических] формирований». Три месяца спустя он писал Сталину, что «разговоры о действиях украино-германских националистических банд сильно преувеличены» и что, хотя руководители ОУН используют тактику запугивания, «у нас теперь есть все возможности для разгрома бандеровско-бульбовских банд». К ноябрю 1944 года настроение у повстанцев было, если верить Хрущеву, «подавленное» и многие из партизанских отрядов находились «на грани исчезновения». В январе 1945 года Политбюро ЦК КП(б)У приняло решение «использовать зимние месяцы для завершения [их] разгрома и ликвидации». В феврале была назначена и дата «полной ликвидации» националистических банд: 15 марта 1945 года[40].

В действительности украинские партизаны не были побеждены до начала 1950-х годов[41]. К приходу Советской Армии едва ли не в каждом крестьянском доме был оборудован схрон с оружием, боеприпасами, запасом еды и одежды: в 1945–1946 годах советские Вооруженные силы доложили об обнаружении 28 тысяч 969 таких тайных складов. В 1944–1945-м националисты перешли от открытых позиционных боев к тактике партизанской войны и, благодаря этому, заняли довольно устойчивую позицию. В феврале 1947 года «остатки» партизанских сил составляли около 70 тысяч человек, не считая еще 63 тысяч ополченцев, организованных в особые части[42].

Борьба велась жестоко с обеих сторон. По советским данным, подпольщики-националисты совершили 14 тысяч 500 вредительских и террористических актов, уничтожили более 30 тысяч советских должностных лиц и местных жителей[43]. Инструкции ОУН приказывали «ликвидировать двойных агентов (а также членов их семей, как взрослых, так и детей) всеми доступными методами — расстрел, повешение, четвертование с запиской на груди: „За сотрудничество с НКВД“». В одном только 1944-м зафиксировано множество случаев, когда бандиты снимали с убитых одежду, перебивали им руки и ноги, уродовали лица, выкалывали глаза, кастрировали и обезглавливали[44].

В период с февраля 1944-го по май 1946-го Советская Армия и НКВД уничтожили 110 тысяч 825 партизан и еще 250 тысяч 676 арестовали. Всего с 1944 по 1952 год на Западной Украине было арестовано не менее 600 тысяч человек, треть из них расстреляна, остальные две трети отправлены в лагеря или ссылку[45]. Существовали и законспирированные «спецгруппы», выдающие себя за националистов. В одном случае группа фальшивых «националистов» спровоцировала крестьянскую семью на выражение националистических симпатий, а затем арестовала за «сотрудничество с бандитами». Известны случаи, когда спецгруппы совершали жестокие преступления, выдавая их за работу националистов и стремясь тем самым отвратить от партизан местное население[46].

Не доверяя западноукраинцам, советская власть присылала на партийные и силовые должности в Западном крае коммунистов из других районов страны. Положение этих людей было нелегким: с одной стороны, правительство давило на них, требуя «успехов», с другой — их жизни угрожали партизаны. Многие из них фальсифицировали работу по ловле «шпионов» и уничтожению «бандитов», искали успокоения в алкоголе, переживали нервные срывы[47]. От Хрущева, в сущности, требовалось только надзирать за работой органов безопасности; однако благодаря своему стилю руководства он скоро начал принимать в борьбе с националистами активное и порой жестокое участие. В письме Сталину от 1944 года он предлагает, чтобы партизан после публичных Судов «приговаривали к смерти» трибуналы НКВД, «причем не расстреливали, а вешали». Он предлагает также создавать из руководителей областей «тройки» с правом выносить смертные приговоры и «приводить их в исполнение немедленно»[48].

Нерешительных местных руководителей Хрущев желчно высмеивал и требовал от них крови. Такие осторожные «сами пугаются и людей неправильно ориентируют. Тут прямо у лысых

дыбом волосы станут». Другие, замечал он в ноябре 1944 года, вовсе не стремятся уничтожить всех мятежников: ведь, если их не станет, не на кого будет сваливать плоды собственных промахов[49]. «Найдите членов семей тех, кто им [мятежникам] помогает, и арестуйте их, — требовал он от своих людей в 1945-м. — Нас не станут уважать, если мы не будем принимать суровые меры. Арестовывать надо всех, даже самую мелочь. Одних будем судить, других просто вешать, третьих — высылать. За каждого нашего — сто врагов… Слишком уж вы боитесь применять силу! Захватили деревню, где убили двух женщин, — уничтожьте всю деревню!»[50] Пять месяцев спустя он спрашивал: «Почему вы не перестреляли этих бандитов?.. Вы ничего не сделали… Пока вы разбираетесь, кто бандит, а кто нет, они готовятся напасть… Говорите, они угнали девяносто коров: сколько проходит стадо коров — три километра в день? И вы его еще не нашли? Даже с самолета? Да будь на вашем месте мужики с дубинами, они бы лучше справились… Я сам могу пройти шестьдесят километров в день»[51].

В 1946 году многие города и деревни Западной Украины были блокированы отрядами Вооруженных сил и госбезопасности, а также приданными им в поддержку «подразделениями ликвидации» численностью до 300[52]. Поначалу Хрущев использовал Униатскую церковь, чтобы побудить боевиков принять серию предложений об амнистии. Однако, когда выяснилось, что церковь не может или не хочет ему помочь, он начал арестовывать ее предстоятелей (митрополит Иосиф Слипый провел в лагерях и ссылке в общей сложности 18 лет), а затем организовал «добровольный» самороспуск Церкви и «воссоединение» ее в марте 1946 года с Русской православной церковью, признанной государством[53]. Греко-католический архиепископ Гавриил Костельник, поначалу поддержавший эту акцию, утратил иллюзии, когда репрессии против священнослужителей продолжились. В 1948 году он был убит; убийцу тут же застрелили из проезжавшего мимо автомобиля.

Участие в этом преступлении органов советской власти не доказано[54]. Однако неоспоримо доказано участие Хрущева в другом, аналогичном преступлении — убийстве в октябре 1947 года епископа Феодора Ромжи, осуждавшего карательные акции НКВД в Закарпатье. Ромжа возвращался из деревни, где освятил новую церковь, когда дорогу его повозке преградил милицейский грузовик, по пятам за которым следовал автомобиль. Выскочившие из автомобиля люди набросились на Ромжу с железными прутьями. Случайное появление почтовой машины спугнуло убийц; Ромжу отвезли в больницу, прооперировали, но

затем довели дело до конца, впрыснув ему смертельный яд (свидетельницей этого преступления стала работавшая в больнице униатская монахиня)[55]. Хрущев просил у Сталина разрешения на убийство, а затем, когда первая попытка провалилась, обратился за помощью. Глава МГБ Украины Савченко и эксперт по токсикологии Майрановский побывали на приеме у Хрущева, который дал им недвусмысленные указания и пожелал удачи. Два дня спустя, получив от Хрущева последнее подтверждение, Майрановский передал «медсестре», состоявшей на службе в том же ведомстве, ампулу яда кураре, который она и ввела больному[56].

Хрущев, разумеется, об этом не распространялся. В сущности, в своих мемуарах он почти не говорит о той роли, которую сыграл в послевоенных беспорядках на Западной Украине[57]. Если он и чувствовал свою вину — то не за то, что сокрушил националистическое движение. Он не мог представить себе ни СССР без Украины, ни Украину без западных регионов. Кроме того, партизаны-националисты действительно пользовались поддержкой сначала немцев, а затем западных спецслужб[58]. В довершение ко всему, они замучили дядю Нины Петровны Антона и его дочь, а также убили близкого друга Хрущева генерала Ватутина[59]. Вот почему Хрущев испытывал вину не за то, что вел борьбу с повстанцами жестоко и безжалостно, а лишь за то, что не смог расправиться с ними немедленно.

В сентябре 1944 года ЦК партии упрекнул киевских коммунистов в «крупных и серьезных недостатках» в работе по восстановлению порядка и пропаганде социалистического образа жизни среди населения Западной Украины[60]. В 1949-м Судоплатов, прибывший во Львов для расследования убийства украинского писателя Ярослава Галана, нападавшего на Ватикан и Греко-католическую церковь за сотрудничество с Гитлером, нашел Хрущева «в дурном настроении; он страшился, что Сталин разгневается на его неспособность организовать сопротивление вооруженным украинским националистам»[61]. Твердо решив покончить с партизанами, Хрущев был готов идти ради этого на любые меры.

Но не только национализм в Западной Украине омрачал настроение Хрущева в 1946 году. В первые послевоенные годы СССР столкнулся с немалым числом политических и экономических проблем как внутри страны, так и за рубежом. Летом 1945 года Сталин надеялся подчинить себе всю Восточную Европу, распространить свое влияние на Западную, а также на Ближний Восток и Азию — и при этом сохранить хорошие

отношения с Западом[62]. Однако к 1946 году возросла напряженность между Западом и Востоком; а план Маршалла, принятый в 1947 году, преградил путь влиянию СССР на Западную Европу. Началась холодная война; теперь Советскому Союзу предстояло полагаться только на собственные ресурсы. Но хватит ли их? В провинциях недоставало продуктов, в Прибалтике и на Западной Украине продолжались вооруженные выступления. Многие советские граждане надеялись на ослабление государственного контроля и были вовсе не готовы к новым жертвам[63].

В ответ Сталин начал новую репрессивную кампанию, оставившую у интеллигенции особенно недобрую память. Так называемая «ждановщина» (по имени Андрея Жданова, формально открывшего кампанию), начавшись с очернения двух писателей — Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, — скоро перекинулась сперва на театр, музыку, историю и философию, а затем на биологию и филологию[64]. Тем временем Сталин заметно дряхлел — и физически, и умственно. Жуков, увидев его в мае 1945 года, был поражен. «Во всем его облике, в движениях и разговоре чувствовалась большая физическая усталость. За четырехлетний период войны И. В. Сталин основательно переутомился. Работал он всю войну очень напряженно, систематически недосыпал… Все это не могло не отразиться на его нервной системе и здоровье»[65].

Осенью 1945 года шестидесятипятилетний Сталин взял длительный отпуск, который провел на Черном море. По словам его дочери, «он плохо себя чувствовал и проболел несколько месяцев». Летом 1946-го он отправился на юг на машине, останавливаясь в городах, чтобы «своими глазами увидеть, как живут люди. Он увидел, какие разрушения принесла стране война». В августе 1947-го, гостя у отца в Сочи, Светлана заметила, что он «постарел еще сильнее». «Хотел мира и покоя. Точнее, сам не знал, чего хочет». Вечерами он смотрел довоенные музыкальные комедии, затем ужинал и пил до поздней ночи[66].

Милован Джилас, проведший вечер на даче у Сталина в начале 1948-го, был поражен «явными признаками дряхлости». Хотя Сталин всегда любил поесть, «теперь его обжорство сделалось просто болезненным, как будто он боялся, что еды не хватит… Просто непостижимо, как он переменился за какие-то два-три года». Джиласу запомнился «живой, остроумный» человек с «тонким чувством юмора» — теперь же Сталин «смеялся над плоскими и глупыми шутками»; например, «разразился громким, неудержимым смехом», услышав грамзапись, на которой пронзительному голосу певицы «аккомпанировал» вой и лай

собак.

Сталин был «по-прежнему упрям, резок и подозрителен ко всем, кто с ним не соглашался», добавляет Джилас, так что его коллеги «старались не выражать свое мнение, пока он не выскажет свое, и тогда дружно с ним соглашались»[67]. Он сделался еще придирчивее, стал еще более склонен к поиску виноватых, когда что-то шло не так.

К несчастью для Хрущева, дела на Украине шли далеко не лучшим образом. В 1946 году он признал, что «подготовка, отбор и назначение руководящих кадров в ЦК и областные парткомитеты проводятся неудовлетворительно…»[68]. Но этого оказалось недостаточно. Украинские коммунисты получили выговор за «недооценку идеологической работы», за то, что позволяли выпуск книг, журналов и газет, содержащих «идеологические ошибки, искажения и попытки возродить буржуазно-националистические концепции»[69].

Настроение интеллигенции оставляло желать лучшего: вездесущие информаторы докладывали, что люди жалуются не только друг на друга, но и на самого Сталина[70]. Во время войны Хрущев, желая привлечь интеллигенцию, взывал к националистическим чувствам украинцев. С началом «ждановщины» он начал нападать на все, что имело в себе хоть какой-то отзвук национализма — в том числе на тех писателей и те книги, которые сам же раньше поддерживал. Летом 1946 года украинский ЦК раскритиковал Союз писателей Украины и его председателя Максима Рыльского за терпимость к «тенденциям, чуждым советской литературе». Несколько дней спустя критике подвергся уже сам Рыльский — он, видите ли, «думает, что ему позволено совершать идеологические ошибки»[71]. Позже Хрущев писал: «Мне с большим трудом удалось оградить от разносной критики такого заслуженного писателя, каким является Максим Рыльский…»[72] Единственный способ защитить друга, а вместе с ним и себя он увидел в том, чтобы напасть на него самому[73].

Тем временем экономические условия на Украине все ухудшались. Осень 1945 года выдалась слишком сухой, зима — чересчур суровой. Весна тоже прошла почти без дождей, и в регионе началась засуха. Хрущев вспоминал, что «неурожай был вызван тяжелыми климатическими условиями, а кроме того, слабой механизацией сельского хозяйства, подорванного отсутствием тракторов, волов, лошадей. Недоставало рабочей тягловой силы. Организация работ тоже была плохой: люди вернулись из армии, взялись за работу, но еще не притерся каждый как следует к своему месту, да и квалификация у одних была потеряна, а другие ее совсем не имели»[74].

Все это верно — Хрущев не упоминает лишь о грабительской системе государственных налогов, вынуждавшей колхозы сдавать все зерно подчистую[75]. Урожай в 1946 году ожидался хуже, чем в 1944-м и 1945-м, — однако, вместо того чтобы снизить налогообложение, правительство его повысило — одной из причин было желание поддержать продовольствием коммунистических союзников в Восточной Европе[76]. «Мы стремились в первую очередь заботиться о государстве и только во вторую — о себе», — писал позже Хрущев. План на Украине был установлен «волевым методом, хотя в органах печати и в официальных документах он „обосновывался“ научными данными… При этом исходили главным образом не из того, что будет выращено, а из того, сколько можно получить в принципе, выколотить у народа в закрома государства. И вот началось это выколачивание. Я видел, что год грозит катастрофой. Чем все закончится, трудно было предугадать»[77].

Налоги в самом деле были непомерными, но ответственность за их завышенные цифры лежала прежде всего на самом Хрущеве[78]. Как и в случаях с Киевом и Харьковом во время войны, он дал Сталину повод для необоснованных надежд — и слишком поздно, сообразив, что делает, попытался спасти ситуацию. По словам домоправительницы Сталина, «некоторые партийные руководители, которые потом поднялись очень высоко, приезжали к нему с юга (летом 1946 года. — *У. Т.*) и докладывали о состоянии сельского хозяйства на Украине. Привозили с собой такие огромные дыни, что в руках не удержишь. И овощи, и фрукты, и пшеницу — все, чтобы показать, как богата Украина. А тем временем шофер одного из руководителей — Никиты Хрущева — рассказывал обслуге, что на Украине голод, что в деревнях нечего есть, что крестьянки пашут на коровах»[79].

Тем тяжелее вина Хрущева, что из писем крестьян он прекрасно знал, как обстоит дело в действительности. «Вот, товарищ Хрущев, — писал ему председатель одного из колхозов, — выполнили мы свой план хлебозаготовок полностью, сдали все, и теперь у нас ничего не осталось. Мы уверены, что держава и партия нас не забудут, что они придут к нам на помощь». «Автор письма, следовательно, считал, — замечает Хрущев, — что от меня зависит судьба крестьян. Ведь я был тогда председателем Совета народных комиссаров Украины и первым секретарем ЦК КП(б)У, и он полагал, что раз я возглавляю украинскую державу, то не забуду и крестьян». Однако, как бы Хрущев ни хотел помочь, «когда хлеб сдается на государственный приемный пункт, я не властен распоряжаться им, а сам вынужден умолять оставить нам какое-то количество зерна, в котором мы

нуждались»[80].

Даже при этом горестном воспоминании Хрущев не забывает полностью повторить все свои титулы. Хотя временами он и вправду защищал народ от собственного правительства. Приехав в свою бывшую «вотчину», Петрово-Марьино, он с изумлением и ужасом узнал, что государство отобрало у местных колхозов все зерно, а теперь требует еще и посевной материал. «Мы ж не цыгане какие! — по словам местного партсекретаря, воскликнул Хрущев, когда об этом услышал. — Нам же надо сеять!»[81]

«Пошел голод. Стали поступать сигналы, что люди умирают, — писал он позже. — Кое-где началось людоедство. Мне доложили, например, что нашли человеческие голову и ступни под мостом у Василькова (городка под Киевом). То есть труп пошел в пищу».

Алексей Кириченко, первый секретарь Одесского горкома, проверявший условия жизни и быта крестьян, описывал Хрущеву следующую сцену: «Видел, как женщина на столе разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки, и приговаривала: „Вот уже Манечку съели, а теперь Ванечку засолим. Этого хватит на какое-то время“. Эта женщина помешалась от голода и зарезала своих детей». «Рассказывая эту историю, — добавляет Хрущев, — я вновь переношусь мыслями в то время. Прямо вижу эту ужасную сцену. Но что я мог сделать?»

Зрелище новых и «ненужных» страданий народа (к «необходимым» страданиям он давно притерпелся) заставило Хрущева решиться на рискованный шаг. Если верить его мемуарам, в конце концов он открыл Сталину неприукрашенную правду: «В прошлом мне иногда удавалось прорываться через бюрократические рогатки… Иногда, если мне удавалось хорошо подобрать факты и связать их стройным логическим изложением, факты говорили сами за себя и Сталин становился на мою сторону»[82]. Но в этот раз было иначе. Рассказав Сталину по телефону о голоде, «повесил телефонную трубку, думал — все. Сталин ничего мне не сказал, я слышал только его тяжелое дыхание». В другой раз Сталин жестоко распек своего подчиненного: «„Мягкотелость! Вас обманывают, нарочно докладывают о таком, чтобы разжалобить и заставить израсходовать резервы“. Он считал, будто я поддаюсь местному украинскому влиянию, что на меня оказывают такое давление и я стал чуть ли не националистом, не заслуживающим доверия»[83].

Архивные документы подтверждают рассказ Хрущева. В письме Сталину от 15 октября 1946 года он просит снизить цифры поставок зерновых. Около 1 декабря пишет, что «ситуация крайне напряженная», а 17 декабря просто умоляет о помощи[84].

Однако в то же время Хрущев затеял интригу, снижавшую риск. Он предложил ввести распределение по карточкам, которое обеспечит крестьянам необходимый минимум питания, — но заговорил об этом не со Сталиным. «Маленков и Берия могли тогда решать вопросы от имени Сталина, — пишет он, — многие документы, которых он и в глаза не видел, выходили за его подписью». Предложение Хрущева он тоже, скорее всего, читать не стал бы — однако «они послали наш документ к Сталину прямо в Сочи».

Неизвестно, стараниями ли Маленкова и Берии или без их участия, но смелость Хрущева навлекла на него неприятности. «Сталин прислал мне грубейшую, оскорбительную телеграмму, где говорилось, что я сомнительный человек, пишу записки, в которых доказываю, что Украина не может выполнить госзаготовок, и прошу огромное количество карточек для прокормления людей. Эта телеграмма на меня подействовала убийственно. Я понимал трагедию, которая нависала не только лично над моей персоной, но и над украинским народом, над республикой: голод стал неизбежным и вскоре начался».

И Хрущев снова бросился в Москву. «Я был ко всему готов, — вспоминает он, — даже к тому, чтобы попасть в графу врагов народа. Тогда это делалось за один миг — только глазом успел моргнуть, как уже растворилась дверь и ты очутился на Лубянке»[85]. Идею карточек Сталин отверг, однако, смягчившись, предложил Украине некоторую помощь — продукты, семена и деньги для организации бесплатных столовых[86]. Недовольство диктатора своими помощниками по сельскому хозяйству заставило его собрать в феврале 1947 года пленум ЦК — мероприятие, при Сталине проходившее нечасто.

«Кому сделать доклад? — спрашивал, по воспоминаниям Хрущева, Сталин. — Маленкову? Он занимается этим делом. Какой же он сделает доклад, если даже терминов сельского хозяйства не знает?»[87] Следующим кандидатом стал Хрущев; однако он, по его собственным словам, испугался такого поручения. «Я мог бы сделать доклад об Украине, которую знаю, — говорил он Сталину. — Но я же не знаю Российской Федерации. О Сибири вообще понятия не имею, никогда там не был и не занимался этим делом… А Средняя Азия? Да я никогда не видел, как хлопок растет».

Сталин настаивал — но на этот раз проявил упорство и Хрущев: «Нет, товарищ Сталин, очень прошу вас, освободите меня. Я не хочу ни подводить ЦК, ни ставить себя в глупое положение, взявшись делать доклад на тему, которой я, собственно, не знаю».

Хрущев пользовался давно отработанным приемом — из «скромности» принижал себя и свои способности. Пусть он никогда не был в Средней Азии; трудно сомневаться, что при составлении доклада у него нашлись бы помощники, которые там бывали. Дело в другом: приглашение сделать доклад было ловушкой. В докладе о сельском хозяйстве Хрущев должен был либо открыто (и с понятными последствиями) заговорить о своих разногласиях со Сталиным, либо похоронить их раз и навсегда.

К счастью для Хрущева, Сталин в конце концов согласился поручить доклад кому-нибудь другому. Но когда он спросил Хрущева, что тот думает об Андрее Андрееве, Хрущев не удержался от критики в адрес своего товарища. «Вот вы отказались докладывать, — заметил по этому поводу Сталин, — а теперь критикуете».

Хрущев критиковал Андреева, чтобы защитить себя, — он знал, что Андреев не одобряет его руководство украинским сельским хозяйством. Но, возможно, к этому времени он начал уставать от самоуничижения. В разговоре он напирал на два пункта: необходимость перед сдачей зерна государству отложить нужный процент на семена и учесть риски сева яровой пшеницы согласно государственным квотам.

Его смелость возымела неожиданные последствия. «Вдруг, — рассказывает Хрущев, — Сталин сам поднял вопрос о том, что Украине надо оказать помощь»[88].

В марте 1947 года ЦК компартии Украины постановил «усилить партийную и государственную работу», разделив посты руководителей партии и правительства, которые до сих пор совмещал Хрущев. Первым секретарем ЦК был избран Каганович, а Хрущев остался лишь первым секретарем Киевского горкома и обкома.

Речь Хрущева на заседании ЦК прозвучала неожиданно скромно. Вместо обычных шуток, пословиц и едкой критики в адрес товарищей он вдруг занялся «самокритикой», признал «серьезные ошибки в партийном и правительственном руководстве сельским хозяйством, ошибки, слишком хорошо заметные на Украине»[89]. До сих пор имя Хрущева постоянно мелькало в украинской прессе: с мая 1947 года его становится не видно и не слышно. Многие из жертв Сталина прошли этим путем: отставка — замалчивание — арест — расстрел.

Позже Хрущев рассказывал, что был тяжело болен. И это правда: простыв, он подхватил воспаление легких. Рада Аджубей вспоминает, что «отец был на грани смерти: если бы не Каганович, он бы не выжил». Каганович привез из Москвы врача,

который начал лечить Хрущева пенициллином — что требовало немалой гражданской смелости, поскольку Сталин не одобрял западных антибиотиков[90]. Однако и пенициллин не принес немедленного облегчения. Сын Хрущева рассказывает, как двое профессоров «скорбно качали головами», выходя из спальни больного. Сергей вспоминал «безжизненное серое лицо отца, хриплое дыхание, бессмысленный взгляд»[91].

Но болезнь отступила, и доктора рекомендовали Хрущеву отдых на море. Поначалу он просто сидел, завернувшись в пальто, на латвийском берегу, пока дети храбро плескались в холодной воде, — но скоро уже начал охотиться на уток на близлежащих озерах. В середине августа он слетал в Калининград посмотреть на новую шерстяную ткань, разработанную немецкими учеными, а в первых числах сентября вернулся в Киев.

Это был первый «отпуск» Хрущева с предвоенных лет. Удивительно, как он не надорвался задолго до сорок седьмого. Возможно, простуда стала последней каплей, сломившей оборону измученного организма. Неудивительно, что переутомленный Хрущев не пытался бороться за власть. Когда Сталин спросил, не нужна ли ему «помощь», вспоминает Хрущев, — он искренне обрадовался. Прибыл Каганович, «все разошлись по своим местам и занялись своим делом»[92]. Рада «тоже не заметила в семье никаких перемен. Все мы прекрасно знали Кагановичей… Приехав в Киев, они заняли дачу номер один; наша дача, номер два, была как раз напротив. Мы дружили с их детьми, часто вместе ходили в кино. Кагановичи бывали у нас в гостях, а мы — у них. Они с Никитой Сергеевичем часто гуляли вместе, вместе ездили на работу. Так что, по крайней мере на уровне семьи, смещение отца не выглядело трагичным»[93].

Если Хрущев и чувствовал себя униженным — ему хватило гордости этого не показывать. К тому же опасность еще не миновала — особенно когда Каганович начал кампанию против «буржуазного национализма». Он не просто клеймил националистических «уклонистов» (намекая, что Хрущев к этой задаче подходил недостаточно ответственно), но и нападал на людей, связанных с Хрущевым. «Сам еврей, против евреев? — удивлялся Хрущев. — Или, может быть, это было направлено только целевым образом против тех евреев, которые находились со мной в дружеских отношениях?»[94] Кроме этого, Каганович критиковал Рыльского и Довженко[95].

Кризис в промышленности и сельском хозяйстве Каганович объяснял происками «украинского буржуазного национализма». К пленуму ЦК, намеченному на зиму 1947/48 года, он начал готовить выступление под названием «Борьба с национализмом

как главной опасностью, угрожающей Коммунистической партии Украины»[96]. На горизонте собирались грозовые тучи — а Хрущев все еще зализывал старые раны: съездил вместе с Радой в Петрово-Марьинский район, по словам секретаря местного райкома Захара Глухова, явно с целью показать, как уважали его эти простые люди[97]. Однако вскоре, собравшись с силами и вернув себе былую форму, Хрущев начал борьбу со своим бывшим наставником. Каганович, писал он позднее, «обвинял в политических ошибках всех, кого видел вокруг себя», и многие из его обвинений «направлялись прямиком к Сталину».

«В конце концов до того дошло, — вспоминает Хрущев, — что Сталин мне позвонил: „Почему Каганович шлет мне записки, а вы эти записки не подписываете?“

— Товарищ Сталин, Каганович — секретарь республиканского ЦК, и он пишет вам как генеральному секретарю ЦК. Поэтому моя подпись не требуется».

В нарочито скромном ответе Хрущева содержался явный намек — сместив его с руководящего партийного поста, власть совершила ошибку, которую нужно исправить. Именно так и понял его Сталин.

«— Это неправильно, — сказал он. — Я ему сказал, что ни одной записки без вашей подписи мы впредь не будем принимать».

Дни Кагановича в Киеве были сочтены. «Не старайтесь поссорить меня с народом Украины», — предупредил его Сталин в декабре 1947 года[98]. Снова предоставим слово Хрущеву: «Однако мне почти не пришлось подписывать записки, потому что их поток иссяк: Каганович знал, что его записки никак не могли быть подписаны мною… Для меня лично главное заключалось в том, что Сталин как бы возвращал мне свое доверие. Его звонок был для меня соответствующим сигналом. Это улучшало мое моральное состояние…»[99]

Еще больше он обрадовался, когда Кагановича отозвали в Москву, а затем, 26 декабря, было принято решение о восстановлении Хрущева в должности первого секретаря ЦК КП(б)У (главой правительства стал его верный подпевала Коротченко). После неудачного заговора «антипартийной группы» в 1957-м, в котором участвовал и Каганович, Никита Сергеевич и его последователи описывали поведение Кагановича в Киеве в 1947 году как чудовищное[100]. Однако сам Хрущев в то время был не меньшим сталинистом. Кроме того, ему было за что благодарить Кагановича: тот не только помог ему во время болезни, но и допустил промахи, на фоне которых деятельность Хрущева смотрелась сравнительно выгодно. В любом случае

Каганович не смог бы долго руководить Украиной — хотя бы из-за своей национальности. Кратковременное появление на Украине Кагановича свидетельствует о том, что, как ни был Сталин сердит на Хрущева, он понимал его затруднения и старался ему помочь.

Последние два года Хрущева на Украине протекли спокойно и почти мирно. Правда, на западе порой вспыхивали очаги сопротивления; однако урожаи 1947 и 1948 годов оказались выше, чем ожидали. К середине 1949-го коллективизацией были охвачены уже 60 % крестьян. Стремясь «стереть грань между городом и деревней», Хрущев настаивал на слиянии колхозов и превращении их в «агрогорода» с муниципальными службами и всеми бытовыми удобствами. Со своей обычной торопливостью он уже заявлял, что «в самом ближайшем будущем наши деревни преобразятся». В действительности до отъезда из Киева Хрущев успел создать лишь один демонстрационный агрогород в Черкасской области, каковой и «преподнес» Сталину к его семидесятилетию[101].

В речах Хрущева снова появилась живость, исчезнувшая было в 1947 году. В январе 1949-го на XVI съезде компартии Украины его встретили продолжительной овацией и криками: «Слава товарищу Хрущеву!» Письма Хрущева Сталину 1948–1949 годов касаются в основном маловажных дел — например, вопроса о том, следует ли Украине принять делегацию польского крестьянства из нескольких сот человек[102]. В 1948 году по случаю тридцатилетней годовщины УССР Хрущев и другие высшие руководители Украины были награждены орденами Ленина. В 1949 году, во время празднования десятилетия присоединения Западной Украины, первые полосы газет украсили тройные портреты Ленина, Сталина и Хрущева. Характерно, что Хрущев находился на переднем плане: сам того не зная, художник предсказал его будущий успех.

Летом 1949 года семья Хрущева отдыхала в бывшем царском дворце в Ливадии, поблизости от Ялты, где четыре года назад проходила встреча Сталина с лидерами западных держав. Хрущевы жили в большом флигеле; другой флигель занимала дочь Сталина Светлана со своим вторым мужем Юрием Ждановым. По словам Алексея Аджубея, семьи почти не общались. Высокопоставленные руководители и члены их семей отдыхали за высокими заборами, под неусыпным надзором охранников с собаками, в уединении и мертвой скуке. Даже о поездке в Ялту — например в ресторан или на концерт — думать не приходилось[103].

Однако это приглашение не могло не радовать Хрущева, ибо было знаком сталинского благоволения. Неудивительно, что об этом периоде у него сохранились самые светлые воспоминания: «1949-й — последний год моего пребывания на Украине… Оглядываясь назад, скажу, что украинский народ относился ко мне хорошо. Я тепло вспоминаю проведенные там годы. Это был очень ответственный период, но приятный потому, что принес удовлетворение: быстро развивались, росли и сельское хозяйство, и промышленность республики. Сталин мне не раз поручал делать доклады по Украине, особенно по вопросам прогресса животноводства, а потом отдавал эти доклады публиковать в газете „Правда“, чтобы и другие, по его словам, делали то же, что мы делали на Украине. Впрочем, я далек от того, чтобы переоценить значение моей собственной персоны… Напряженно трудилась вся республика»[104].

Для Хрущева все было безоблачно — но об украинцах того же не скажешь. В феврале 1948 года Верховный Совет УССР принял указ «О выселении из Украинской ССР лиц, злонамеренно саботирующих трудовую деятельность в сельском хозяйстве и ведущих антисоциальный паразитический образ жизни». Указ позволял колхозному руководству выселять из деревень тех, кто трудился недостаточно усердно. Этот указ предложил сам Хрущев — в пространном письме к Сталину, в котором он, обосновывая свое предложение, ссылался, в частности, на дореволюционные порядки. Несложно было предсказать, что проведение закона в жизнь приведет к тому, что даже сами власти сочли «перегибами»: среди изгнанных оказывались старики, больные, инвалиды войны, в наказание за одного «тунеядца» выселялись целые семьи; иной раз, желая продемонстрировать усердие и бдительность, местные власти выселяли людей вообще без всякой вины. Хрущев написал Сталину новое длинное письмо, в котором жаловался на перегибы; однако тут же, желая повеселить «хозяина», красочно описывал ему колхозное собрание, на котором крестьяне честили друг друга «такими словами, от которых покраснел бы и турецкий султан». Хрущев даже рекомендовал принять аналогичные постановления и в других советских республиках, обещая, что «повсеместное применение этого указа укрепит трудовую дисциплину, что, в свою очередь, гарантирует своевременное решение сельскохозяйственных задач, повышение урожайности, рост производительности животноводческих ферм и общее ускорение развития колхозов»[105].

В период с февраля 1948-го по июнь 1950 года с Украины были выселены 11 тысяч 991 «тунеядец»[106]. Были в сталинской

внутренней политике на Украине 1948–1949 годов и другие издержки, которые уже никак нельзя отнести целиком на счет Хрущева. Среди них необходимо назвать борьбу с «буржуазным национализмом», кампанию против «космополитов», главными мишенями в которой стали евреи и прозападная интеллигенция, и поддержку Лысенко, приведшую к погрому генетиков и прочих «еретиков от науки»[107]. Все эти начинания Хрущев активно поддерживал — чем и обеспечил себе восхождение на следующую ступень карьерного Олимпа: был переведен в Москву и вошел в «ближний круг» приспешников Сталина.

Глава IX
НЕОЧЕВИДНЫЙ НАСЛЕДНИК: 1949–1953

В 1947 году Рада Хрущева поступила в Московский университет на факультет журналистики. Там она полюбила соученика, студента Алексея Аджубея, мать которого Светлана Аллилуева вспоминала как «лучшую в Москве портниху», «одевавшую всех женщин из „первой десятки“. Она была по-настоящему талантливым человеком, и большая часть ее таланта и энергии передалась ее единственному и любимому сыну»[1].

Окончив школу с золотой медалью, Рада продемонстрировала родителям свою серьезность и ответственность, и ей разрешили жить самостоятельно — в квартире на улице Грановского. Домработница Рады была нанята службой безопасности; кроме того, по просьбе Нины Петровны за девушкой приглядывала жена Маленкова, чья квартира находилась этажом ниже. Супруга Маленкова «без большого энтузиазма узнала, — вспоминал позднее Аджубей, — что у Рады появился жених». «Тебе только двадцать лет!» — говорила она Раде. Но дочь Хрущева не терпела вмешательства в свои дела[2].

Мать Аджубея шила платья жене Берии, и однажды та с ноткой сожаления в голосе спросила ее: «Зачем Алеша вошел в семью Хрущева?»[3] Вопрос звучал зловеще. Однако Аджубей был не менее настойчив, чем его нареченная.

С Хрущевым он впервые встретился весной 1949 года на даче Хрущевых в Подмосковье. «Никита Сергеевич не сказал мне тогда и двух слов, ни о чем не спрашивал, как будто жених его дочери вовсе ему не интересен. Думаю, что он был смущен не меньше меня и просто не знал, что в подобном случае полагается говорить».

В то же лето Нина Петровна пригласила Аджубея в Киев; в Межгорье он купался, удил рыбу, загорал и вообще идиллически проводил время. В конце его визита Нина Петровна объявила, что они с Никитой Сергеевичем дают согласие на брак. Однако на свадьбу в Москве родители Рады не пришли. «Сама мысль о свадебной церемонии была им совершенно чужда», — вспоминал Аджубей. 31 августа 1949 года охранник из службы безопасности Хрущева сопроводил пару в районный загс, а затем новобрачные вместе с несколькими друзьями отправились в Абрамцево, чтобы отпраздновать это событие на лоне природы[4].

Молодые супруги поселились в квартире на улице Грановского. Квартира, обставленная в суровом «сталинском» стиле, без ковров и украшений, казалась особенно «пустой и нежилой» оттого, что вся семья еще жила в Киеве, а Хрущев бывал в Москве не часто и не обращал внимания на окружающую обстановку.

Однажды, через несколько недель после свадьбы, готовясь к экзаменам, молодые супруги услышали в прихожей голоса. Оказалось, приехал Хрущев вместе с украинским драматургом Александром Корнейчуком и его женой Вандой Василевской. Рада бросилась на кухню — помочь домработнице: гости расселись за чаем. Хрущев только что встречался со Сталиным; по дороге он захватил Корнейчука и Василевскую, чтобы подбросить их до гостиницы. Хрущев объявил, что его назначили первым секретарем Московского горкома партии. «На Украине вас будет так не хватать, Никита Сергеевич!» — со слезами в голосе воскликнула Василевская[5].

Корнейчук и Василевская были многим обязаны Хрущеву[6]. Однако после отставки Хрущева Корнейчук прервал все отношения с ним самим и его семьей (даже не прислал соболезнования по поводу смерти Никиты Сергеевича); Ванда Василевская умерла в том же 1964 году, однако можно не сомневаться, что, будь она жива, она повела бы себя так же. Таков, по Аджубею, был мир советской номенклатуры: «Ел, пил с кем-то нужным, охотился, рыбачил, наезжал в гости, спрашивал совета, а приходит час — будто и не был знаком. Дрожь пробирает до костей: как бы кто не вспомнил, что и ты, брат, ходил в друзьях…»

Стремление Хрущева завоевать признание у интеллигенции делало его особенно уязвимым. В тот вечер, вспоминал Аджубей, «Хрущеву, видимо, были просто необходимы собеседники» — и не из семейного круга[7]. То ли дело Василевская, оплакивающая его уход! Почти двадцать лет спустя Хрущев все еще наслаждался этой сценой: «Она: „Как же вы уедете с Украины? Как же так?“ Полька оплакивала тот факт, что русский уезжает с Украины! Несколько курьезно. Видимо, это объяснялось тем, что у меня сложились очень хорошие, дружеские отношения с ней. Я ее очень уважал… И она платила мне таким же уважением. Я не скрываю этот штрих, может быть, немного тщеславный, но, безусловно, приятный для меня»[8].

В тот вечер Хрущев заметно нервничал. «Замолкал отрешенно, потом спрашивал: „О чем это мы говорили?“ Просил гостей не торопиться, хотя было далеко за полночь»[9]. Ему явно не хотелось оставаться в одиночестве. Впечатление Аджубея

подтверждает и сам Хрущев. Он был во Львове, когда ему позвонил Маленков и попросил на следующее утро прилететь в Москву. «Я был ко всему готов, — рассказывал позднее Хрущев. — Не знал, в каком качестве вернусь на Украину — и вернусь ли вообще»[10].

Сталин встретил его дружески: «Ну что же, вы будете долго сидеть на Украине? Вы там превратились уже в украинского агронома. Пора вам вернуться в Москву». Он предложил Хрущеву занять его прежнюю должность в Московском горкоме, а кроме того, стать одним из четырех (не считая самого Сталина) секретарей ЦК и одним из одиннадцати членов Политбюро. «Я, конечно, поблагодарил за оказанное доверие, — вспоминает Хрущев. — Сказал, что с удовольствием приеду в Москву, потому что был доволен своей прежней работой в столице одиннадцать лет назад…»[11]

В прошлом Хрущев в подобных случаях, как правило, проявлял искреннее или притворное смущение — и на этот раз имел на то немало причин. В эти годы Сталин искал врагов с большей подозрительностью, чем когда-либо прежде. В том же 1949 году были арестованы и год спустя расстреляны Николай Вознесенский и Алексей Кузнецов, двое самых молодых членов Политбюро, о которых Сталин прежде говорил как о своих возможных наследниках[12]. Опасность нависла над головами Молотова, Микояна, Ворошилова. Маленков и Берия казались неуязвимыми; возможно, Сталин для того и вызвал Хрущева из Киева, чтобы чем-то уравновесить их влияние. Это дало им повод невзлюбить Хрущева, и позже он рассказывал (как мы увидим далее, не вполне искренне), что боялся и ненавидел их обоих. Берия в мемуарах Хрущева предстает настоящим воплощением зла; Маленков «был типичный бюрократ, чинуша. Такие люди, когда им дают власть, становятся опаснее всех. Готовы заморозить и убить все живое, что преступает предписанные рамки»[13].

Одним словом, Кремль представлял собой настоящее змеиное гнездо; правда, Хрущев не пытался пересидеть последние годы жизни Сталина в далеком и относительно безопасном Киеве. Разумеется, у него не было выбора, раз уж вождь сам призвал его в Москву; однако имелись и другие соображения. Единственный способ избежать проигрыша в смертельном поединке, развернувшемся в Кремле в последние годы сталинщины, был — победить; заняв важный пост в правительственной иерархии и заручившись поддержкой Сталина, Хрущев мог рассчитывать на победу. «При всем том, — писал он, — Сталин ко мне относился хорошо. Если бы он относился плохо и питал какое-то недоверие,

то ведь он имел возможность легко расправиться со мной, как расправлялся со всеми, неугодными ему… Я бы даже сказал, что он относился ко мне с каким-то расположением. Не раз после своих грубостей он выражал мне свое расположение»[14].

Самым опасным из кремлевских коллег Хрущева был Берия. Правда, как и у всех сталинских сатрапов, у него были свои слабости; а Хрущев к этому времени обзавелся немалым количеством сильных сторон, важнейшей из которых была репутация, заставлявшая соперников его недооценивать. В их глазах он выглядел все тем же «мужиком», придворным шутом, что покинул Москву одиннадцать лет назад. Однако к этому времени он стал куда более уверен в себе, а к моменту смерти Сталина уверенности у него еще больше прибавилось. Очевидным наследником Сталина казался Маленков. Некоторые планы на будущее строили Молотов, Микоян и Ворошилов. Хрущев на их фоне был абсолютно темной лошадкой. В 1949–1953 годах никто и подумать не мог, что в мечтах Хрущев представляет себя наследником Сталина[15].

Последние три года жизни Сталина стали самыми мрачными не только для страны, но и для него самого и его приспешников. В репрессиях 1950–1953 годов погибло значительно меньше людей, чем в тридцатые годы или во время войны. Но теперь померкла и надежда, прежде хоть немного облегчавшая людские страдания[16]. К 1950 году коммунистическая идеология выродилась в великорусский шовинизм, а на элиту обрушилась новая волна репрессий.

По некоторым сообщениям, Сталин перенес два инсульта — в 1945 и 1947 годах. В 1947–1951 годах его ежегодный отдых на Черном море затягивался с конца августа до начала декабря[17]. Сказывался атеросклероз, ставший причиной его смерти в 1953-м. «С приближением старости, — рассказывала Светлана Аллилуева, — отец начал остро ощущать свое одиночество. К этому времени он находился настолько выше остальных, что жил как будто в вакууме. Не с кем было словом перемолвиться… Он ненавидел весь мир, повсюду искал врагов. Это превратилось в болезнь, в манию преследования — все от одиночества и отчаяния»[18].

В последние годы Сталин почти не собирал у себя правительство, а вместо этого решал деловые вопросы на застольях, продолжавшихся ночи напролет. Хотя по уставу партии каждые несколько лет должны были проводиться партийные съезды, с 1939 по 1952 год не было ни одного. Пленумы ЦК тоже созывались редко, и Политбюро почти не собиралось в полном составе[19]. Решение политических вопросов поручалось комиссиям

из шести-семи членов Политбюро (они назывались «шестерками» или «семерками»), однако друг с другом эти люди почти не общались. Вместо этого Сталин собирал свой «внутренний круг» — Берию, Маленкова, Хрущева и Булганина — в Кремле на просмотр кинофильмов, после которого все вместе ехали к нему на дачу, ели, пили и разговаривали до рассвета.

У Сталина был свой кинозал с ветхим старым проектором[20]. Он часто смотрел американские фильмы. «Много было американских, ковбойских. Он их очень любил, — вспоминал Хрущев. — Ругал их за примитивность и правильно оценивал, но тут же заказывал новые». Поскольку пленки вывозили с Запада нелегально, субтитров не было. Руководитель Госкомкино Иван Большаков «переводил» фильмы со множества языков, которых не знал. «Его сотрудники рассказывали ему содержание фильмов, — объяснял Хрущев. — Он старался получше запомнить и потом „переводил“. В отдельных эпизодах он говорил иной раз вообще невпопад либо просто произносил: „Вот он идет“ и т. п. А Берия тут же начинал помогать: „Вот, смотри, побежал, побежал!“»[21]

История не сохранила сведений о том, действовали ли замечания Берии на Большакова так же, как замечания Сталина — на одного советского режиссера, присутствовавшего при просмотре своего фильма. Предполагалось, что создатель фильма выслушает критику непосредственно из уст руководителя страны. «Это должно помочь нашим режиссерам в их работе», — сказал по этому поводу Сталин. Во время просмотра секретарь Сталина принес ему какой-то документ, просмотрев который Сталин бросил: «Что за чушь!» Режиссер услышал его шепот, вообразил, что речь идет о его фильме, и грохнулся в обморок[22].

Порой фильмы неприятно перекликались с реальностью. Так было с исторической драмой о капитане пиратского судна, беспощадно истреблявшем своих соратников, пока наконец те не прикончили его самого. Однако еще хуже было то, что следовало за киносеансами. Хрущев называет это «кормлением». «„Ну, поехали, что ли?“ — говорил Сталин». По словам Хрущева, «кушать мы не хотели, ведь это был уже час или два ночи, надо отдыхать, завтра рабочий день». Мало того: «Я в обеденный перерыв пытался поспать, потому что всегда висела угроза: не поспишь, а он вызовет, и будешь потом у него дремать. Для того, кто дремал у Сталина за столом, это кончалось плохо». Но «все говорили, что они „голодные“, выработали рефлекс и врали»[23].

Усталая компания загружалась в несколько автомобилей (Берия и Маленков — в сталинскую копию бронированного «паккарда», а Хрущев — в машину Булганина) и мчалась по темным пустым улицам в Кунцево, на дачу Сталина. Всякий раз

Сталин выбирал новый маршрут, чтобы обмануть возможных убийц: только выехав из Кремля, он сообщал шоферу и телохранителям, как ехать на этот раз. Окрестности дачи, выкрашенной в маскировочный темно-зеленый цвет, были залиты асфальтом, чтобы легче обнаружить непрошеных гостей, дача была окружена высоким забором и заграждениями, а леса вокруг были заминированы и постоянно патрулировались службой безопасности. Дом, выстроенный в 1934 году, заменил прежнюю дачу в Зубалове, куда Сталин перестал ездить после самоубийства жены. По словам его дочери, новая дача была «чудесным местом — одноэтажная, просторная, уютная, в саду, среди цветов и деревьев». Однако беспокойный диктатор, которому даже на совещаниях не сиделось на месте — он то и дело вскакивал и принимался мерить комнату шагами, попыхивая своей трубкой, — «снова и снова перестраивал дачу». По воспоминаниям Аллилуевой, «…то же самое происходило со всеми его домами. Он уезжал на юг в отпуск, а когда возвращался туда же в следующем году, дом был уже совершенно перестроен».

В 1948 году Сталин добавил к кунцевской даче второй этаж, однако использовал его только один раз — для приема китайской делегации. Коллег из Политбюро и иностранных гостей он принимал в просторной гостиной-столовой с деревянной обшивкой на стенах, длинным столом, тяжелыми креслами, мягким ковром на полу и камином — «единственная роскошь, которую позволял себе отец», по словам Аллилуевой. По описанию Джиласа, это была «просторная, без всяких украшений, почти аскетическая столовая», с длинным столом, половина которого «была заставлена всевозможными блюдами на подогретых серебряных подносах, а также тарелками, стаканами и прочей утварью. Каждый накладывал себе сам и садился, где хотел, на свободной половине стола. Сталин никогда не садился во главе, но всегда занимал одно и то же кресло — первое слева от конца стола»[24].

В дальнем конце столовой располагась почти незаметная дверь, за ней — спальня Сталина: кровать, два небольших шкафчика и умывальник. Часто он спал и в библиотеке — еще одном скромном помещении, тесно заставленном шкафами, наполненными книгами и бумагами. В этом кабинете, на диване у стены, умирал Сталин в марте пятьдесят третьего[25]. А на ночных застольях, которые описывает в своих воспоминаниях Хрущев, «умирали» гости вождя. «Страшные обеды», — говорит он о них. Сталин боялся яда, и поэтому все гости (кроме Берии, который приносил еду с собой) должны были пробовать блюда перед тем, как их станет есть вождь. «„Вот гусиные потроха. Никита, вы еще

не пробовали?“ — „Нет“», — отвечал верный Хрущев. «Тут я попробую, и он начинает есть. И вот так каждое блюдо имело своего дегустатора, который выявлял, отравлено оно или не отравлено, а Сталин смотрел и выжидал»[26].

После того как гости Сталина упивались до невменяемости, вспоминает его дочь, «входили их личные телохранители, и каждый „страж“ увозил своего „подопечного“»[27]. Молотов рассказывал, что Ворошилова, Булганина и Берию (который пить не любил, но пил, чтобы угодить хозяину) быстро развозило; Хрущев «выпивать стал сильно позже»[28]. Хрущев в своих воспоминаниях уверяет, что он и другие просили официанток приносить вместо вина воду, подкрашенную вином или соком, но Сталин, заметив эту хитрость, «взбесился, что его обманывают, и устроил большой скандал». Если верить Микояну, Сталин ждал, пока у его подчиненных «развяжутся языки», — хотел выяснить, «кто что думает». Хрущев полагает, что Сталин забавлялся, ставя людей, которые от него зависят, в неудобные и порой неловкие положения. «Совершеннейшая бесконтрольность!»[29] Ему казалось, Сталин вполне может дойти и до того, что в один прекрасный день «станет штаны при нас снимать и облегчаться за столом, а потом говорить, что это в интересах родины»[30].

Бывший трезвенник Хрущев особенно страдал от утреннего похмелья: «Стыдно было бы… встречаться с людьми, потому что обязательно встретится кто-то, и ты станешь с ним говорить, а он увидит, в каком ты состоянии. Это было позорно»[31]. Не говоря уж о розыгрышах: то кому-нибудь в кресло подкладывали помидор, и, «когда жертва садилась, раздавался громкий хохот», то в водку или коктейль подсыпали соли. Обычной мишенью таких шуток был помощник Сталина Александр Поскребышев, которого Серго Берия описывает как «узкоплечего карлика», «напоминавшего обезьяну»: часто, рассказывает Аллилуева, его «оттаскивали отлеживаться в ванную, а потом мертво пьяным отвозили домой»[32]. Часто страдал и сам Хрущев — особенно от шуток Берии. Однажды Берия написал на клочке бумаги слово «мудак» и потихоньку прилепил бумажку к пальто Хрущева. Хрущев, ничего не заметив, надел пальто и собирался уходить, когда вся компания разразилась громким хохотом. По словам его помощника, «Хрущев был гордым и ранимым человеком; этот случай ему было неприятно вспоминать и много лет спустя»[33].

Затем начинались танцы. Польский коммунист Якоб Берман вспоминал, как в конце сороковых танцевал с Молотовым. «Вы хотите сказать, с Молотовой?» — спросили его. «Нет, ее там не было, она в это время была в лагере. Я танцевал с Молотовым — кажется, вальс… Танцевать я совершенно не умею, так что просто

переступал ногами в такт. Молотов вел. Это давало возможность, — добавил Берман, — заметить шепотом что-нибудь такое, чего не стоило говорить вслух»[34]. Хрущева же особенно раздражала необходимость танцевать украинский гопак: «Приходилось ходить вприсядку и выбивать такт каблуками, а это, откровенно говоря, мне было не так-то легко. Но я старался, как мог, да еще и улыбался. Как я потом сказал Анастасу Ивановичу Микояну: „Когда Сталин велит плясать, умный человек отказываться не станет“»[35].

Умный человек был готов не только плясать по команде, но и слушать бесконечные рассказы вождя. Особенно любил Сталин рассказывать о том, как в сибирской ссылке ходил на охоту. Если верить Хрущеву (возможно, преувеличившему хвастовство Сталина), однажды вождь рассказал, как прошел на лыжах двенадцать километров, заметил на дереве двадцать четыре куропатки, дюжину убил двенадцатью выстрелами, вернулся в город за патронами (оставшиеся двенадцать куропаток терпеливо дожидались его возвращения), подстрелил оставшихся и привез добычу домой. «Когда уходили и, готовясь уехать, заходили в туалет, — рассказывал Хрущев, — то там буквально плевались… Берия говорил мне: „Слюшай, как мог кавказский человек, который на лыжах очень мало ходил, столько пройти? Ну брешет!“ У нас ни у кого не было сомнения в этом»[36].

Как ни ужасны были эти попойки, никто не смел отказаться от приглашения, ибо все понимали: лучше быть униженным, чем уничтоженным. То же касалось и сопровождения Сталина в отпуске. Однажды Хрущева и других руководителей, проводивших лето на Черном море, вызвали в Боржоми, где отдыхал Сталин. В большом доме, где они остановились, прежде располагался музей: «Поэтому спален не было и жили мы очень скученно. Я тогда спал в одной комнате с Микояном, и мы оба чувствовали себя плохо, во всем завися от Сталина. У нас-то были разные режимы дня: мы уже набродились, нагулялись, а он еще спит. Когда поднимается, тогда и начинается день». Ночи посвящались жестоким развлечениям вроде того, какое устроил Сталин с венгерским диктатором Матьяшем Ракоши. Ракоши явился к Сталину во время отпуска и усугубил свое положение, неодобрительно отозвавшись о пьяных застольях у вождя. В наказание Сталин влил в венгра столько вина, что Хрущев, по его собственным словам, начал опасаться за его жизнь. После отъезда Ракоши на следующее утро, вспоминает Хрущев, «Сталин подшучивал: „Вот до какого состояния я его довел!“»[37]

Но еще страшнее, по словам Хрущева, было, когда Сталин оказывал ему «большую честь» — приглашал ехать в отпуск

вместе. «Это считалось наказанием для нас, — рассказывает Хрущев, — потому что это был уже не отдых. Все время надо было находиться вместе со Сталиным, проводить с ним бесконечные обеды и ужины. Берия подбадривал: „Послушай, кому-то же надо страдать!“»[38]

Если бы Берия верил в то, что говорил — он не был бы Берией. Что может быть желаннее для опытного придворного, чем несколько дней, даже несколько недель почти наедине с монархом! И сам Хрущев признает, что «в таком порядке были и свои плюсы. Часто велись разговоры, которые можно было выгодно использовать, из которых можно было почерпнуть сведения, важные для твоих целей»[39].

Уже хорошо зная темную природу Сталина, Хрущев все же восхищался его умом и полагал, что может у него учиться. «Мы на него смотрели уже не так, как во время первых разоблачений „врагов народа“, когда нам казалось, что он на три метра в землю видит… Но после победы над гитлеровской армией он в наших глазах был окружен ореолом славы и гениальности». Хотя некоторые действия Сталина и были Хрущеву отвратительны, все же он «оставался в принципе марксистом» и «делал все, что было в его силах, для победы рабочего класса… — говорил позже Хрущев. — Я отдаю здесь должное Сталину. До самой своей смерти, когда он диктовал или что-нибудь формулировал, то делал это очень четко и ясно. Сталинские формулировки понятны, кратки, доходчивы. Это был у него большой дар, в этом заключалась его огромная сила, которую нельзя было у него ни отнять, ни принизить. Все, кто знали Сталина, восхищались этим его даром, поэтому мы и гордились тем, что работаем со Сталиным… Особенно хорошо получалось, когда он находился в здравом уме и трезвом состоянии. Тогда он давал окружающим много полезного советами и указаниями. Скажу прямо: я высоко его ценил и крепко уважал»[40].

Такая оценка выглядит трагикомичной, когда мы вспоминаем, что речь идет об одном из величайших злодеев в истории: однако она помогала Хрущеву сохранять присутствие духа в опаснейшей политической борьбе. Сталин становился все подозрительнее, однако с возрастом память его ослабла и это давало пространство для маневров. Вокруг вождя царила тягостная атмосфера всеобщего недоверия и интриганства: на тех, кто клялся тебе в дружбе, нельзя было положиться; к тем, кто не скрывал своей вражды, приходилось подлаживаться и льстить, втайне мечтая о расправе над ними[41].

Молотов снова и снова доказывал свою лояльность[42]. Его способность работать без отдыха была поистине легендарна. Он

не только подписывал тысячи смертных приговоров «врагам народа», но и десятилетия спустя по-прежнему оправдывал аресты их жен и детей: «Они должны были быть в некоторой мере изолированы. А так, конечно, они были распространителями жалоб всяких… И разложения в известной степени»[43]. В марте 1949 года Молотова заменил на посту министра иностранных дел знаменитый «герой» чисток тридцатых годов Андрей Вышинский, а месяц спустя была арестована жена Молотова Полина Жемчужина. Жемчужина поднялась от заместителя наркома пищевой промышленности до наркома рыбной промышленности, а затем — до руководителя парфюмерной промышленности СССР. По словам Светланы Аллилуевой, «она была „первой леди“ Москвы, хозяйкой дипломатических приемов на собственной даче и в других дипломатических резиденциях… Наши унылые правительственные апартаменты в Кремле, — пишет дочь Сталина, — не могли сравниться с квартирой Молотовых…»[44].

Жену Молотова обвиняли в краже документов, развратном поведении (двое служащих ее министерства «признались», что были ее любовниками), а также в сионизме. Приговор гласил: пять лет сибирских лагерей[45]. Жемчужина действительно была еврейкой, имела сестру в Палестине и брата в Америке, однако единственный ее контакт с сионистами был осуществлен по прямому указанию Сталина: как бывший член существовавшего в военное время Еврейского антифашистского комитета, она в 1948 году принимала в Москве первого посла государства Израиль Голду Меир. Сам Молотов позже признавал, что жена пострадала из-за него: «Ко мне искали подход, и ее докапывали…»[46]

«Вдруг ему взбрело в голову, что Молотов является агентом американского империализма, продался американцам, — вспоминал Хрущев, — потому что ездил, будучи по делам в США, в железнодорожном салон-вагоне. Значит, имеет свой вагон, продался!»[47]

Клим Ворошилов так и не оправился после своих неудач во время финской войны и при обороне Ленинграда. Он утешался ролью покровителя искусств, однако у кинорежиссера Михаила Ромма создалось впечатление, что Ворошилов не так уж разбирается в культуре, как старается показать. «Чувствую, что старею и глупею», — признавался он Ромму[48]. Но даже этот претенциозный глупец (который разъезжал по своей даче верхом на лошадях, полученных в дар от подчиненных, и даже на семейных ужинах произносил напыщенные политические речи)[49] не избежал подозрений в шпионаже. Однажды, посреди одного из обычных ночных застолий, Сталин вдруг спросил: «Как пролез Ворошилов в Бюро?»[50]

Каганович находился под подозрением с тех самых пор, как застрелился его старший брат Михаил, уволенный с должности наркома авиапромышленности и изгнанный из ЦК за мифические «связи с нацистами». Каганович не стал защищать брата, но это не обелило его в глазах Сталина. Как лизоблюд по призванию, как ретивый и безжалостный администратор, наконец, как еврей, на которого Сталин мог указывать в ответ на обвинения в антисемитизме, он был полезен. Однако к 1952 году и Каганович был исключен из «внутреннего круга».

Более приятное впечатление производил Микоян. Аллилуева пишет, что он и его жена Ашхен («милая тихая женщина, отличная хозяйка») соблюдали в семье «простоту и демократичность»[51]. Как и всем подручным Сталина, Микояну приходилось отдавать ужасные приказы; однако в 1952 году и его жизнь висела на волоске. На пленуме ЦК, состоявшемся после XIX съезда партии, Сталин обрушился на Молотова и Микояна с резкой критикой. Писатель Константин Симонов, который при этом присутствовал, рассказывал, что Сталин «жестоко упрекал Молотова, обвинял его в трусости и пораженчестве… Потом повернулся к Микояну — и тут стал еще жестче и грубее. В зале наступило тяжелое молчание. Все члены Политбюро словно окаменели. Они ждали, кто станет следующим. Молотов и Микоян были бледны, как смерть»[52].

Хрущев уверяет, что он сам, Маленков и Берия старались смягчить отношение Сталина к Молотову и Микояну. Когда Сталин прекратил приглашать их на дачные вечера, Хрущев и другие потихоньку сообщали им о предстоящих застольях, так что они все равно старались как бы случайно туда приехать. Однако через некоторое время стало ясно, что упорствовать бесполезно, «и мы эту деятельность прекратили, потому что она могла плохо кончиться и для них, и для нас: и им не поможем, и свою репутацию в глазах Сталина подорвем… Мы были настороже, думали, что, видимо, Молотов и Микоян обречены»[53].

Но кому же предстояло заменить старую гвардию? После войны за положение «наследников» боролись две фракции относительно молодых лидеров. Одну из них возглавляли Берия и Маленков, другая, известная как «ленинградская фракция», включала Жданова, Вознесенского и Кузнецова[54]. Маленков и Берия казались неуязвимыми. Оба с 1939 года занимали в Москве ключевые посты (Маленков руководил кадровой политикой, Берия возглавлял службу госбезопасности), оба во время войны работали в ГКО, а после войны замещали Сталина в Совете министров, оба в 1946 году стали полноправными членами

Политбюро[55]. Однако реально ни тот ни другой не могли считать свое положение непоколебимым.

Согласно Молотову, Маленков был «хорошим исполнителем, „телефонщиком“, как мы его называли — он всегда сидел на телефоне: где что узнать, пробить, это он умел». Он был «очень активный, живой, обходительный. В главных вопросах отмалчивался. Но он никогда не руководил ни одной парторганизацией, в отличие от Хрущева, который был и в Москве, и на Украине»[56].

Андрей Маленков описывает своего отца как «просвещенного технократа» с широким кругом интеллектуальных интересов и без малейшего вкуса к интригам. Многолетний помощник Маленкова Дмитрий Суханов уверяет, что его начальник «был свободен от многих идеологических догм». Но даже если это правда (а проверить эти утверждения сейчас уже невозможно), эти достоинства легко оборачивались недостатками. Аллилуева писала о Маленкове как о «без сомнения, самом разумном и трезвом члене Политбюро», однако кремлевские коллеги считали его слабым человеком. Маленков и Андрей Жданов были во многом похожи: сын Жданова стал химиком, дети Маленкова, пишет Аллилуева, «росли в интеллектуальной среде». Однако, добавляет она, Жданов презирал Маленкова и постоянно называл его «Маланьей» — прозвище, прилепившееся к Маленкову из-за его круглого «бабьего» лица[57].

Что же до Берии — он, мягко говоря, слабостью характера не отличался. Это был умный, расчетливый, абсолютно циничный политик. У него была своя база на Кавказе, своя тайная полиция; по-видимому, в последние годы он подмял под себя и самого Сталина. «Я не случайно говорю, — пишет Аллилуева, — о влиянии Берии на отца, а не наоборот. Берия был коварнее, бесстыднее, искушеннее в интригах, упорнее и настойчивее. Попросту говоря, сильнее характером».

Помощники Берии позже обрисовывали его теми же красками, что и дочь Сталина. Разумеется, перводвигателем террора был не Берия, а сам Сталин; однако и Берия был настоящим чудовищем. Правда, после его появления во главе НКВД в 1939 году террор пошел на убыль; однако известно, что он лично пытал людей в своем рабочем кабинете. Его семья производила приятное впечатление. Нина Теймуразовна, настоящая красавица, химик по образованию, «играла роль жены и хозяйки, хотя уже давно не была ни той, ни другой», пишет Аллилуева, а их единственный сын Серго «знал немецкий и английский и был одним из первых в стране инженеров-ракетостроителей… Это был мягкий, уступчивый человек — как и

его мать»[58]. Зато сам Берия был садистом и насильником.

«Обычное» донжуанство было при дворе Сталина любимой забавой. Кроме Поскребышева и шефа охраны Сталина Николая Власика, в этой игре активно участвовали престарелый седобородый Михаил Калинин (неясно, до или после ареста его жены) и Булганин. Последний сожительствовал с известной певицей, которую поселил в своей квартире на улице Грановского, а другую свою любовницу однажды представил как жену[59]. Но Берия развлекался неслыханным способом: курсировал по Москве на своем лимузине, подбирал молодых женщин и девушек, отвозил их к себе на улицу Качалова, угощал вином с подсыпанным в него снотворным, а затем насиловал[60].

Милован Джилас описывает Берию так: «Пухлый, иззелена-бледный, с мягкими влажными руками. Жесткая линия рта и маленькие глазки за стеклами пенсне вдруг напомнили мне Вуйковича, шефа Белградской королевской полиции, который специализировался на пытках коммунистов»[61]. Его боялся и сам Сталин: однажды он позвонил в квартиру Берии, где в это время в гостях у Нины Теймуразовны была его дочь, потребовал Светлану к телефону и с бранью и проклятиями приказал ей немедленно уйти оттуда: «Быстро марш домой! Я не верю Берии!»[62] «Сталин, видимо, сделал вывод, — пишет Хрущев, — если Берия делает это по его поручению с теми, на кого он указывает пальцем, то может это сделать и по своей инициативе, по собственному выбору. Сталин боялся, как бы при случае такой выбор не пал на него… Конечно, он никому об этом не говорил. Но это становилось заметным»[63].

Но даже у такого злого гения, как Берия, были свои слабые стороны. В 1918 году он некоторое время находился на службе антибольшевистского азербайджанского правительства; впоследствии это изобразили как предательство. Его неуемное честолюбие тревожило и пугало коллег. Берия «был высокомерен во всем, — вспоминал Хрущев. — Ничего не решалось без него… Предположим, делаешь доклад Сталину в присутствии Берии, предварительно не обсудив этот доклад с ним — можно не сомневаться, что он порвет этот доклад в клочки вопросами и возражениями»[64].

Недостатки Берии играли на руку Жданову. В 1934 году Жданов заменил убитого Кирова в ленинградской парторганизации, второй по значению и престижу после московской. В 1939-м, за шесть лет до Маленкова и Берии, он стал полноправным членом Политбюро. Как и Хрущев, Жданов не участвовал в работе ГКО; вместо этого он решал неблагодарную задачу — руководил обороной Ленинграда. В конце войны его

отослали в Финляндию, где он представлял СССР в Союзнической контрольной комиссии в Хельсинки. Однако беспредельная лояльность и покорность вкупе с трудолюбием помогли ему восстановить свои позиции в глазах Сталина.

Жданов старался слыть интеллектуалом: этот человек, после войны разгромивший русскую литературу и музыку, играл на фортепиано. Кроме того, он был ловок и находчив и на поле интриг порой переигрывал Маленкова и Берию. В 1946 году Маленкова исключили из Секретариата ЦК, а Берия потерял прямой контроль над силовыми ведомствами[65]. Место Маленкова занял ленинградский заместитель Жданова Кузнецов, а другой его протеже, Вознесенский, в 1947-м сменил ставленника Маленкова на должности председателя Госплана и полноправного члена Политбюро[66].

Кузнецов и Вознесенский также отличались энергией и честолюбием, однако были более образованны, чем их старшие товарищи; кроме того, на руках у них было куда меньше крови. Некоторое время Сталин поручал Вознесенскому вести в свое отсутствие заседания правительства и даже говорил о нем как о будущем главе правительства, а о Кузнецове — как о возможном генсеке[67]. Однако, возвысив Жданова, чтобы уравновесить Маленкова и Берию, Сталин вполне мог поступить и наоборот. По всей видимости, Берия убедил Сталина вернуть доверие Маленкову[68]. В августе 1948 года Жданов умер при не вполне ясных обстоятельствах (он страдал ожирением и астмой и много пил), а после визита Маленкова в Ленинград в начале 1949-го Кузнецов, Вознесенский и другие ленинградские руководители были обвинены во фракционности, русском национализме и многих других грехах. Кузнецова арестовали (не где-нибудь, а в кабинете у Маленкова) в августе 1949-го, Вознесенского — в октябре. В тот день, когда Кузнецов был уволен с занимаемой должности, его семья праздновала помолвку дочери с Серго, сыном Анастаса Микояна. Каганович предупреждал отца Серго: «Ты согласен на эту свадьбу? Ты что, с ума сошел? Неужели не понимаешь, что Кузнецов обречен?» Он был прав. В сентябре 1950 года члены Политбюро, включая и Хрущева, подписали Кузнецову, Вознесенскому и нескольким другим смертный приговор. Несколько недель спустя состоялся негласный «суд»; был зачитан приговор, немедленно после этого осужденным надели на головы белые мешки, вывели из зала суда и расстреляли. Жена Кузнецова, а также сестра Вознесенского Мария и его брат, возглавлявший Ленинградский государственный университет, были арестованы и отправлены в лагеря[69].

«Ленинградское дело» подняло акции Маленкова и Берии. На XIX съезде партии в октябре 1952 года Маленков зачитывал отчетный доклад, что в глазах присутствующих делало его очевидным наследником Сталина. Положение Берии было более шатким. В конце 1951 года Сталин начал аресты партийных работников мингрельского происхождения, на родине Берии, приказав новому главе госбезопасности Семену Игнатьеву не забывать о «большом мингреле». Берия сумел перехватить инициативу — поспешил в Грузию и принялся рьяно арестовывать членов собственного клана. С «делом врачей» такой фокус не удался. Сталин объявил, что кремлевские врачи готовили серию убийств, и «Правда» констатировала, что органы государственной безопасности под руководством Берии «не сумели вовремя раскрыть террористическую организацию врачей»[70]. Когда много лет спустя Молотова спросили, в самом ли деле легенда о заговоре врачей была необходима для смещения Берии, тот ответил: «Так тоже не бывает. Надо, чтобы для других было убедительно. Промолчат, но не поверят…»[71]

Кремлевские врачи, большей частью евреи, были арестованы в январе 1953 года. Микоян страшился повторения террора тридцатых годов. Если, как гласили слухи, Сталин действительно намеревался сослать тысячи евреев на Дальний Восток, не было сомнений, что новая волна террора должна была бы захлестнуть всю верхушку власти, в том числе Берию, Маленкова и Хрущева[72].

Роль Хрущева в этой борьбе не вполне ясна. Сам он отрицал, что знал об арестах Кузнецова и Вознесенского «во всех деталях»: «Со мной о „ленинградском деле“ Сталин никогда не говорил». Однако ему было известно, что с 1946 года Берия и Маленков строили заговоры против своих соперников. Сталин, если верить Хрущеву, не сразу решился уничтожить Кузнецова, но Берия и Маленков давили на него. Хрущев признает, что подписывал «материалы расследования» «ленинградского дела», однако, когда Сталин предложил ему провести аналогичное расследование в Москве, Хрущев (опять же, по его собственным словам) предотвратил распространение «этой заразы» в столице[73].

«У нас плохо обстоят дела в Москве и очень плохо — в Ленинграде, где мы провели аресты заговорщиков, — заметил Сталин Хрущеву в декабре 1949 года. — Оказались заговорщики и в Москве. Мы хотим, чтобы Москва была опорой ЦК партии». Он передал Хрущеву пространный документ, содержащий обвинения в адрес партийного руководителя Георгия Попова и других московских чиновников. «Положил я записку к себе в сейф, — рассказывает Хрущев, — и решил не говорить Сталину о ней

какое-то время, считая, что чем больше времени пройдет без такого разговора, тем лучше».

Игнорировать указания Сталина само по себе было дерзостью. Однако, когда вождь снова заговорил о документе, Хрущев осмелился сказать ему, что приведенные в нем обвинения ошибочны. «Если бы подстраиваться под настроение Сталина, захотеть отличиться и завоевать его дополнительное доверие, то это очень легко было бы сделать, — признает он. — Нужно было только сказать: „Да, товарищ Сталин, это серьезный документ, надо разобраться и принять меры“. Попов и его „группа“… конечно, на допросах „сознались“ бы, вот вам заговорщическая группа в Москве. А я стал бы человеком, которому, возможно, приписали бы, что, дескать, он пришел, глянул, сразу раскрыл и разгромил заговорщиков». Чтобы спасти Попова, рассказывает Хрущев, он распорядился о его переводе из Москвы, чтобы, если забывчивый диктатор случайно вспомнит о нем и спросит: «А где Попов?» — можно было бы спокойно ответить: «В Куйбышеве»[74].

После XIX съезда Сталин неожиданно заменил Политбюро расширенным до двадцати пяти человек Президиумом, состоящим из более молодых руководителей. Очевидно, он готовил финальную чистку «старой гвардии». «Я ничего не понимал, — пишет Хрущев. — Как же это получилось?» Он утверждает, что был еще более изумлен арестами кремлевских врачей, не сомневался в их невиновности и позже винил себя за то, что молчал: «В этом я себя и упрекаю. Надо было проявить больше решительности в то время, не позволить развернуться этой дикой кампании… Я беру и на себя вину за то, чего тогда не доделал»[75].

В самом ли деле Хрущев был совершенно непричастен к этому делу? Двое известных историков, а также Павел Судоплатов в этом сомневаются, а Молотов прямо и неоднократно утверждал, что в последние годы жизни Сталина Хрущев входил в «тройку» наряду с Маленковым и Берией[76]. Однако, даже если он был ближе к Маленкову и Берии, чем признавал впоследствии, его возвращение в Москву в 1949 году должно было осложнить отношения между ними. Хрущев начал в Московском горкоме и некоторых госучреждениях собственную чистку, удаляя оттуда ставленников Маленкова[77]. Когда в 1951-м главой МГБ стал Игнатьев, несколько человек, работавших с Хрущевым, были назначены его заместителями, а другие протеже Хрущева заняли ключевые посты в ЦК. Маленков и Хрущев в беседах друг с другом отрицали, что кто-либо из них помогал Сталину в подборе кандидатур для Президиума. Однако Маленков позже признавался сыну, что подсказал Сталину несколько кандидатов:

вполне возможно, что и Хрущев был столь же неискренен. Да и, если Хрущев не участвовал в подборе Президиума, как попали туда его люди с Украины? Если Хрущев соперничал с Берией и старался очернить его в глазах Сталина — можем ли мы быть уверенными, что он не поощрял развитие «дела врачей»?[78]

Разумеется, все это лишь предположения. По-видимому, Хрущев в самом деле защищал тех, кого мог защитить — например, энергичного молодого московского партработника Николая Сизова, который внезапно куда-то исчез, а некоторое время спустя снова «вынырнул» в качестве директора авиационного завода и популярного комсомольского лидера. Когда комсомольские активисты потребовали, чтобы обвинения против Сизова были предъявлены публично, Хрущев пригласил их на встречу. Сперва он развлекал аудиторию рассказами о своей юности и разговорами об экономической ситуации в Москве, а затем, завоевав доверие слушателей, изменил тон и холодно объявил, что судьба Сизова их не касается. «Так вот, молодые товарищи. Дел много, надо подчиняться партийным решениям, на то вы и комсомол». После этого он вышел из зала, так и не дав комсомольцам возразить. Однако при этом Хрущев спас Сизова от гибели; уволив его с поста секретаря комсомольской организации, он отправил его «от греха подальше» на учебу в Высшую партийную школу. «Таким способом, — замечает Аджубей, — иногда удавалось выводить человека из-под более сильного удара»[79].

Приблизительно в то же время работу в аппарате ЦК предложили бывшему вожаку украинского комсомола при Хрущеве Костенко. Когда тот спросил у своего шефа совета, Хрущев прошептал: «Не соглашайся! Не приезжай в Москву! И забудь, что я тебе это сказал!» Костенко пересидел последний год жизни Сталина в провинции — и остался невредим[80].

Какова бы ни была роль Хрущева в последние годы жизни Сталина, игра, в которую он играл, требовала от него и изображать дружбу с Берией и Маленковым, и быть готовым в любую минуту их предать. По его воспоминаниям, в тридцатые годы, когда Хрущев работал вместе с Маленковым, они были «друзьями». Во время приездов в Москву в военные годы Хрущев останавливался у Маленкова на даче и часто гостил у Маленковых, приезжая из Киева. Хрущев и Маленков вместе охотились, а в начале 50-х их семьи часто ходили вместе по грибы, а потом ужинали друг у друга на дачах. Хрущев даже приглашал Маленкова на вечерние прогулки, к которым пристрастился в Киеве; при дворе Сталина такое времяпрепровождение было непривычным. Вместе с женами и

детьми (и нервничающими телохранителями на хвосте) они шли по улице Грановского, сворачивали на проспект Калинина, продолжали свой путь по Моховой, поворачивали на улицу Горького и возвращались домой. Иногда выбирали и кружной путь — по Александровскому саду, мимо Кремлевской стены[81].

На вопрос, с кем дружил ее отец в 1949–1953 годах, Рада Аджубей холодно ответила: «Это сложный вопрос. Трудно сказать. С тридцатых годов мы дружили семьями с Булганиными и Маленковыми и здесь, в Москве, живя с ними в одном доме, часто встречались. Были и многие другие… но я бы не назвала это дружбой»[82].

Сталин не поощрял дружбу между своими подчиненными. Однако невозможно работать вместе, не заводя никаких личных связей. Сын Маленкова Андрей вспоминает, что Хрущев был единственным из коллег, с кем проводил свободное время его отец. Они называли друг друга «Никитой» и «Егором», ходили друг к другу на дни рождения, а их дети постоянно бывали друг у друга в квартирах на улице Грановского. Однако, хотя Нина Петровна, по воспоминаниям Андрея, была «интеллигентной женщиной», а ее муж — «самым живым» из коллег Маленкова, Хрущев производил впечатление человека «невероятно грубого». «Мои родители были из интеллигентных семей, — объяснял Маленков-младший, — учились в гимназии, получили высшее образование, в гостях у нас часто бывали академики и профессора. Хрущев же был совершенно неотесан, с на редкость грубым чувством юмора, очевидно, ничего не читал и совершенно не знал литературу»[83].

Маленков, разумеется, не демонстрировал своей неприязни — однако Хрущев не мог ее не почувствовать. «Во время войны, — рассказывал позже Хрущев, — Маленков начал смотреть на меня свысока, особенно когда замечал, что Сталин мною недоволен»[84]. Открытых ссор между ними не было — но только потому, что каждый боялся невольно укрепить положение другого. В общении друг с другом эти люди постоянно носили маски; то же, и в еще большей степени, касалось их отношений с Берией.

У Хрущева было немало причин бояться Берии. По рассказу Аджубея, в 1951 году оперативники Берии пытались обыскать рабочий кабинет Хрущева в здании горкома, угрожая его секретарю, находившемуся на рабочем месте, серьезными последствиями, если он не позволит «проконтролировать надежность сейфов и телефонных аппаратов». Однако тот не позволил, и оперативники с проклятиями удалились. Никаких последствий этот случай не имел: помощник Хрущева пришел к выводу, что Берия не решился вступить с его шефом в открытую

схватку[85].

Вскоре после свадьбы Рады и Алексея служба безопасности сообщила, что молодая пара «болтает» о «красивой жизни» семьи Хрущевых. Хрущев возложил вину на Аджубея (и справедливо, по замечанию Сергея Хрущева); Аджубей и Рада сваливали все на своих университетских друзей, бывавших у Хрущевых на даче. Позднее Хрущев объяснил Аджубею, что скандал был «специально раздут», чтобы его скомпрометировать.

Однажды летом, когда Хрущев и Берия отдыхали на Кавказе, Берия пригласил Хрущева подняться вместе на высокую гору, откуда открывался вид на море. «Какой простор, Никита. Давай построим здесь наши дома, будем дышать горным воздухом, проживем сто лет, как старики в этой долине». Когда Берия предложил «куда-нибудь переселить» людей, живущих на этом месте, Хрущев почуял «провокацию» — как и в другом случае, когда Берия попытался «вовлечь его в антисталинский разговор, а потом донести Сталину»[86].

Несмотря на махинации Берии или, точнее, из-за них, Хрущев опасался открыто выказывать Берии свое негодование или чуждаться его. По утверждению Молотова, Маленков, Берия и Хрущев составляли неразлучную «троицу»[87]. После университета, поступив на работу в «Комсомольскую правду», Аджубей часто ездил с работы домой вместе со свекром. Иногда — очевидно, по предварительной договоренности — где-нибудь на темной улочке автомобиль Хрущева встречался с лимузином Берии; Аджубей менялся с ним местами, чтобы они с Хрущевым могли поговорить. Когда два автомобиля подъезжали к воротам хрущевской дачи, рассказывает Аджубей, «Никита Сергеевич выходил из машины, долго жал руку Лаврентию Павловичу. Стоял, сняв шляпу и глядя вслед, пока машина не скрывалась из виду. Он прекрасно знал, что дежуривший на воротах офицер непременно сообщит по начальству, с каким почтением Хрущев провожал Берию»[88].

Если верить Хрущеву, с начала 1939 года Берия предупреждал его о том, что Маленков был чересчур близок с расстрелянным главой НКВД Ежовым. Десять лет спустя или около того Берия убеждал Хрущева: «Слушай, Маленков безвольный человек. Вообще козел, может внезапно прыгнуть, если его не придерживать. Поэтому я и… хожу с ним. Зато он русский и культурный человек, может пригодиться при случае». Это признание стало для Хрущева откровением. «Удивляюсь, неужели ты не видишь и не понимаешь, как Берия относится к тебе? — сказал он Маленкову как-то вечером на сталинской даче в Сочи. — Ты думаешь, что он тебя уважает? По-моему, он

издевается над тобой!» После долгого молчания Маленков ответил: «Да, я вижу, но что я могу поделать?» — «Я просто хотел бы, чтобы ты видел и понимал, — ответил Хрущев. — А это верно, что сейчас ты ничего не можешь поделать»[89].

В играх сталинских приспешников Хрущев был не последним игроком. Одним из замыслов Берии было стремление окружить Сталина грузинской прислугой. При каждой встрече с грузином — главой службы безопасности, которого Берия сделал генерал-майором, Хрущев замечал у него на груди новые орденские ленточки и медали. Однажды Сталин заметил, как Хрущев смотрит на эти медали, и обменялся с ним многозначительным взглядом. «Он знал, что думаю я, и я знал, что думает он, но никто из нас не сказал ни слова», — вспоминал Хрущев[90]. Несколько раз во время поздних ужинов на сталинской даче, на которых Берия исполнял роль тамады, Хрущев отказывался петь соло. «Я отказывался, а Сталин поглядывал на меня и на Берию, ждал, чем все это кончится. Берия видел, что я не сдамся, и отставал от меня, чувствовал, что Сталину нравится мое упрямство»[91].

Трудно сказать, что больше поражает в этих эпизодах — проницательность Хрущева, научившегося безошибочно «читать» мысли Сталина и Берии, или актерский талант, с которым он скрывал свое растущее интриганское мастерство под убедительной маской грубого, простоватого и ограниченного «мужлана».

Достижения в промышленности и сельском хозяйстве помогали Хрущеву удерживать свои позиции перед Сталиным; однако ему случалось допускать грубые ошибки, которые позволяли соперникам и дальше его недооценивать.

Борьбу с жилищным кризисом в Москве Хрущев повел энергично и изобретательно. К 1949 году большинство населения столицы обитало в коммуналках, зачастую по две семьи в комнате, а десятки тысяч людей и вовсе прозябали в бараках. Хотя население столицы за десять лет выросло на миллион человек, жилые дома с 1940 года почти не строились[92]. Хрущев произвел революцию в жилищном строительстве, впервые введя использование железобетона[93]. Продолжалось и строительство метро, однако наряду с этим — бездумный снос исторических застроек (например, Китай-города); как и в тридцатые годы, Хрущев не проявлял никакого интереса к историческим архитектурным ценностям[94].

Советское сельское хозяйство к 1950 году так и не вышло на уровень 1913-го. Вместо того чтобы вкладывать ресурсы в

агропромышленный сектор, режим предпочитал их выкачивать. Колхозы вынуждены были продавать свою продукцию по заниженным ценам, в то время как цены на индустриальные товары, в том числе грузовики и тракторы, возросли в несколько раз. В результате многие колхозники работали бесплатно, оказавшись в своеобразном рабстве. Единственным способом выжить для них оставались приусадебные участки — однако налоги на них постоянно росли. Колхозник не мог даже уехать в город в поисках лучшей доли — у него не было паспорта[95].

Московская область, сельскохозяйственные условия которой по сравнению с черноземной полосой были неблагоприятны, находилась в особом небрежении. Едва водворившись в столице, Хрущев отправил своего помощника Андрея Шевченко в инспекционную поездку по области. Крошечные нищие колхозы, которые посетил Шевченко, носили гордые названия вроде «Смерть капитализму!», но не имели ни электричества, ни машин, ни даже работников-мужчин. В одной деревне, где Шевченко посетил школу — полуразрушенную хибару с единственной комнатой, — учительница угостила его супом. Шевченко выловил из супа и выбросил что-то, с виду напоминающее крысиный хвост. «Что вы делаете?! — воскликнула учительница. — Это же мясо!»

Вскоре после этого Хрущев и Шевченко вместе посетили один колхоз, отрекомендованный им как «ударный». В обшарпанном кабинете председателя никого не было, ключи от всех помещений лежали на столе. «Он уехал, — объяснил кто-то. — Просто оставил ключи и уехал. Сказал, воровать у нас все равно нечего». Хрущев вызвал местного учителя, передал ему ключи и назначил его новым председателем. Когда Хрущев вернулся в Москву, Сталин упрекнул его за то, что тот «шляется по деревням»[96].

Хрущев предложил некоторые сельскохозяйственные новшества, включавшие в себя развитие животноводческих и птицеводческих ферм, укрупнение полей и принятие новых схем землепользования. Эти меры принесли успех; не столь успешны были попытки внедрить в подмосковных колхозах среднеазиатские дыни и израильские артишоки[97]. Крестьяне с трудом принимали новые технологии, назначенцы зачастую оказывались некомпетентны, а Хрущев воспринимал их неудачи как личное оскорбление. «Меня выводила из себя ограниченность наших колхозников», — вспоминал он позже. Когда власти распоряжались вносить в почву удобрение, «чаще всего крестьяне оставляли его гнить на станции. Два-три года лежал большой кучей этот навоз, и зимой ребятишки катались с этой горки»[98]. В 1950 году Хрущев посетил подмосковный институт, специализирующийся на картофеле. Когда директор института

доложила, что на ее экспериментальных полях урожай получается вполовину меньше, чем в соседних колхозах, Хрущев взорвался. «Она, бедная, такого совсем не ожидала. У нее слезы потекли, она прямо зарыдала: „Мы так ждали вашего приезда, а вы приехали и такое нам говорите!“ Ей, должно быть, никто еще не говорил правды о том, чем она там занимается»[99].

В апреле 1950 года, на встрече с колхозниками и агрономами, Хрущев рвал и метал. Раздраженный чередой невнятных и беспомощных выступлений, он выкрикивал приказы («Выясните, кто виноват, и накажите!», «Исключите из партии!», «Отдайте под суд за формализм!») и личные оскорбления: «Врете!», «Идите к черту!»[100] Когда один из местных чиновников не только посетовал на невозможность очистить навоз зараженного скота, но и осмелился возложить вину на самого Хрущева, тот отмахнулся от критики: «Товарищ директор, это у нас не самый главный вопрос. Если мы станем возиться с зараженным навозом, то сами по шею в нем окажемся». Но критик отказался замолчать, и Хрущев орал на него почти час без перерыва[101]. Грубые «выволочки» подчиненным при Сталине были в порядке вещей, однако прежде Хрущев этим не увлекался. Нельзя сказать, что власть развратила его; скорее, она позволила проявиться раздражительности и вспыльчивости, всегда таившимся в глубине его натуры.

Подобные инциденты ничем не угрожали Хрущеву; куда опаснее оказалась его борьба за идею агрогородов. Летом 1949 года Кремль продавливал слияние небольших коллективных хозяйств в крупные колхозы. Причин тому было две: одна, лежавшая на поверхности, — повышение эффективности труда; другая — необходимость усиления контроля за колхозниками[102]. Хрущеву, который уже занимался слиянием колхозов на Украине, эта деятельность представилась прекрасной возможностью выделиться и завоевать признание. Поскольку колхозы Московской области были особенно мелкими, для слияния открывались большие возможности. Однако Хрущев, как обычно, перестарался. В марте 1950 года он призвал переселить колхозников из «маленьких и неудобно расположенных деревень» в «новые деревни с хорошими жилищно-бытовыми и культурными условиями», включающими в себя «удобное высококачественное жилье» — и все это «в самом ближайшем будущем». Приусадебные участки предполагалось отрезать от домов и разместить на отдельной территории. Тут забеспокоился даже Сталин, но Хрущев не видел в своей идее ничего особенного: «Просто отрежем кусок земли, огородим заборами, и все»[103].

В речи от 18 января 1951 года Хрущев подробнее раскрыл

свое видение урбанизированной деревни: мелкие села сливаются в крупные поселки, в каждой общине имеются «школа, больница, ясли, клуб, агрономический центр и другие учреждения, необходимые в колхозе», а также «водопровод, электричество, уличное освещение, тротуары», «многоквартирные дома» вместо «частных избушек»; приусадебные участки возле домов сильно сократятся в размере, а для индивидуального хозяйства колхозникам будут выделены специальные земли вне территории поселка[104]. Присутствовавший на собрании корреспондент «Правды» попросил текст выступления. Почувствовав опасность, Шевченко посоветовал шефу не спешить. Однако Хрущев жаждал внимания — и его получил: его речь заняла целый разворот «Правды» от 4 марта. Сталину прочитанное не понравилось. Он позвонил в редакцию, и на следующий день в газете на первой странице появилась коротенькая заметка «Исправление ошибки»: «По недосмотру редакции при печатании во вчерашнем номере газеты „Правда“ статьи товарища Н. С. Хрущева „О строительстве и благоустройстве в колхозах“ выпало примечание от редакции, где говорилось о том, что статья товарища Н. С. Хрущева печатается в дискуссионном порядке. Настоящим сообщением эта ошибка исправляется»[105].

На следующий день Хрущев распинался перед Сталиным в униженных извинениях: «Вы совершенно правильно указали на мои ошибки… После этого я постарался обдумать все еще раз… Моя грубая ошибка… нанесла вред партии… Если бы я проконсультировался с ЦК… Прошу вас, товарищ Сталин, помочь мне исправить мою грубую ошибку и, насколько возможно, загладить вред, который я нанес партии»[106]. Но этого оказалось недостаточно. Сталин назначил комиссию под председательством Маленкова, «чтобы покрепче дали Хрущеву». Комиссия подготовила секретную директиву на восемнадцати страницах для распространения по парторганизациям страны: в документе утверждалось, что Хрущев «поставил под угрозу всю систему колхозов». В апреле тот же вопрос обсуждался на пленуме горкома. Два ставленника Берии, главы компартий Армении и Азербайджана, развязали антихрущевскую кампанию в местной прессе. Маленков поднял ту же тему на XIX съезде партии в октябре 1952 года, где критиковал «некоторых наших руководителей» за предложение «снести дома колхозников» и «возвести на новых местах агрогорода»[107].

Хрущев всячески старался скрыть свое огорчение. Выходя с совещания, на котором Сталин жестоко его раскритиковал, он шепнул министру сельского хозяйства Ивану Бенедиктову: «Много он знает. Руководить вообще легко — а ты попробуй

конкретно…» — однако, спохватившись, тут же уточнил, что имел в виду только самого себя[108]. Помощники Хрущева видели, что он в отчаянии. «Он ужасно страдал, думал, что это конец, что теперь его сместят», — рассказывал Шевченко. «Это было ужасно, — подтверждает Петр Демичев. — Он был на грани. Перестал спать. На наших глазах постарел на десять лет».

Однако все прошло без последствий. Сурово осудив идею агрогородов, Сталин не утратил доброго расположения к самому Хрущеву. Прочтя черновик рапорта комиссии Маленкова, он заметил Молотову: «Надо помягче, смягчить». А вскоре после этого, при встрече с Хрущевым, шутливо постучал своей трубкой ему по лбу и с улыбкой проговорил: «Звук-то какой — пусто!»[109]

Можно сказать, что Хрущев легко отделался; однако воспоминания об этой истории мучили его и много лет спустя. В начале 1958 года, едва он занял, в дополнение к руководящему посту в КПСС, пост главы советского правительства, была отозвана резолюция Политбюро от апреля 1951 года, объявлявшая план создания агрогородов ошибкой[110]. Если верить Аджубею, такое решение принял не сам Хрущев, а его «прихлебатели». Если так, надо признать, что они хорошо изучили своего хозяина[111].

В конце 1952 года, когда Сталин наконец решился созвать XIX съезд партии, сам он чувствовал себя не лучшим образом и не решился произносить основной доклад. Это он поручил Маленкову, а Хрущев, как это было принято, должен был выступать в прениях. Поручение заставило «понервничать» Хрущева, как сам он позже признавался. «Я заранее знал, что все „набросятся“ на мой текст, особенно Берия. А он и Маленкова потянет за собой. Так оно и случилось». Берия критиковал не содержание речи, а ее стиль. По его мнению, доклад Хрущева получился чересчур длинным. Проблема была в том, признавал Хрущев, что он в своем черновике «подражал» существующим образцам, прежде всего речи Жданова на съезде в 1939 году. «Не знаю, насколько это было необходимо, но я полагал, что такой стиль уже апробирован, и шел этим же путем»[112]. Словно школьник-троечник, он повторял ответ отличника в надежде произвести впечатление на учителя. Неудивительно, что после своего доклада Хрущев заболел. «Я не мог уйти, пока мой доклад обсуждали на съезде. Но после этого мне пришлось несколько дней пролежать в постели»[113].

Много времени Хрущев посвящал заполнению пробелов в своем образовании, к которым был так чувствителен; однако, вместо того чтобы пользоваться широкими возможностями,

которые предоставляла для самообразования культурная Москва, он предпочитал снова и снова возвращаться к уже известному. Аджубей вспоминал, что Хрущев очень любил ходить в театр. Особенно нравились ему бытовые комедии А. Н. Островского: пьесу «Горячее сердце» он смотрел не меньше десяти раз. «Предвкушая удовольствие, — рассказывает Аджубей, — Никита Сергеевич заранее доставал носовой платок, чтобы утирать веселые слезы»[114]. Сам Хрущев позднее уверял, что главный герой «Горячего сердца», сумасбродный тиран, напоминал ему Сталина. Скучающий купец «говорил: „Ну, что сегодня будем делать?“ И приближенный придумывал, что делать. Они и в разбойников играли, и всякими прочими затеями занимались. И Сталин, вроде этого купца, тоже говорил нам: „Ну, что сегодня будем делать?“ Он-то уже не способен был что-нибудь серьезное делать»[115].

С удовольствием Хрущев ходил и в Большой театр на оперные спектакли, а когда в Москву приехал с гастролями Киевский оперный театр, пригласил ведущих певцов к себе на дачу. Там, вспоминал Аджубей, его свекор «пел, точнее сказать, напевал русские и украинские народные песни. Шло своеобразное музыкальное соревнование (голоса у Хрущева вовсе не было) на знание песен редких, фольклорных. К чести украинских артистов, они почти всегда подхватывали слова самых „забытых“ песен и припевок и пели уже в полный голос. Рассказывали, что и его мать Ксения Ивановна любила петь — „кричать“ песни, как она говорила на деревенский лад».

Любил Хрущев и цирк, зато в балет ходил только на выступления Галины Улановой и других прославленных звезд. С удовольствием смотрел документальные фильмы, особенно посвященные новостям науки, техники и сельского хозяйства. Если на экране появлялись интересные люди или технические новинки, он поручал своим помощникам собрать о них информацию. «Увы, — замечает по этому поводу Аджубей, — не всегда то, что пропагандировалось на экране, существовало на самом деле. „Кинолипа“ страшно раздражала Хрущева, а вранье он воспринимал как личную обиду. Фильмов „о себе“ Хрущев никогда не смотрел».

Позднее, став лидером государства, Хрущев не стеснялся высказывать суждения по любым вопросам культуры. В начале же пятидесятых, вспоминает Аджубей, «он вовсе не считал себя судьей ни в театральных делах, ни в кино, ни в литературе. Возвращаясь в машине из театра, мог обронить: „Ерунда какая-то“, — но не больше». Согласно мнению зятя, «тяга Хрущева к театру, музыке в зрелые годы, конечно, не была вызвана стремлением к самообразованию», поскольку «он об этом не

думал, не говорил, не разбирал увиденное». Для него это было «просто переключение, отдых»[116].

Возможно, самообразование ему бы не помешало. «Нет, Хрущев не такой глупый, — вспоминал Молотов, — он малокультурный… Он на мещан ориентировался. Хрущев не интересуется идеями… Он же сапожник в вопросах теории… Примитивный очень»[117]. Но Хрущев хорошо сознавал, какое впечатление производит на коллег, и использовал это в своих целях. «Человек хитрый, скрытный, — характеризует его Аджубей, — постоянно разыгрывавший при Сталине простачка-работягу»[118].

В довершение ко всему, Хрущев жил в изнурительном режиме. «Завтракал около 11 утра, — вспоминает Аджубей, — днем приезжал обедать (в это время почти никого дома не было), спал несколько часов, а в предвечерье опять отправлялся [на службу]». После ночных попоек на даче у Сталина Хрущев часто возвращался домой на рассвете, однако даже в столь поздний час не ложился, не совершив обязательной ежедневной прогулки. По выходным он также вынужден был ждать приглашений Сталина — и зачастую целый день ничего не ел, ибо являться к Сталину с полным желудком было рискованно[119].

«Атмосфера была тяжелая, — вспоминает Рада Аджубей. — Как будто воздуха не хватало»[120]. Семья Хрущева жила в «мире политической стерильности, молчания, отсутствия откровенности», — рассказывает Алексей Аджубей; «нечего было думать о том, чтобы о чем-то спросить Никиту Сергеевича или Нину Петровну»[121]. Нина Петровна установила в доме строгие правила: «Не задавай ненужных вопросов! Не суй нос в разговоры, которые тебя не касаются!» Когда, рассказывает зять Хрущева, его охранник звонил с сообщением, что Хрущев задерживается на даче Сталина, «Нина Петровна не подавала виду, что волнуется, она умела держать себя в руках; но в душе, конечно, тревожилась. В Москве она жила в постоянном напряжении»[122]. Жена Хрущева вела для обслуги дома на улице Грановского семинар по истории партии. Тесно общалась она с Валерией Маленковой и Еленой Булганиной, с женами других высокопоставленных лиц встречалась только на больших официальных приемах, например на праздничных парадах, куда все первые лица приглашались вместе с семьями[123].

Отношения с детьми также были холодны и официальны. Старшая дочь Рада и ее муж (который когда-то мечтал стать актером) обязаны были сопровождать Хрущева на спектакли. «Я не оговорился, — замечает Аджубей, — [это была] именно обязанность. Не принято было отказываться от приглашения,

даже если это и расстраивало иногда наши личные планы». И добавляет: «Родственная душевность проявлялась мало… Пожалуй, не было ее и между детьми. Повзрослев, все они разбежались в разные стороны»[124]. В присутствии детей Нина Петровна называла мужа «Никитой Сергеевичем» или «отцом», а сам Хрущев обращался к зятю по имени-отчеству, хотя в разговоре с дочерью, вдали от чужих ушей, мог назвать его «Алешей». Семейные тайны охранялись так же строго, как политические — в сущности, это было одно и то же. Лишь много лет спустя Аджубей узнал, что вдова Леонида Хрущева Любовь в это самое время отбывала срок в лагере и ссылке[125].

Семья жила по строгому расписанию: «…завтрак для детей, уходивших в школу, обед, ужин, подготовка уроков… Никаких нарушений». Дети «не подвергались никакому особому контролю», но лишь потому, что «занимались прилежно и ответственно — это был стиль дома, определенный подтянутостью и требовательностью хозяйки»[126].

Семья обладала немалыми привилегиями, но Нина Петровна старалась их ограничивать. Они с мужем никогда не помогали Аджубеям деньгами и настаивали, чтобы молодая семья жила на две студенческие стипендии. Вначале молодым помогала мать Алексея; затем Аджубей устроился (не без помощи звучного имени своего свекра) на работу в престижную и многотиражную газету «Комсомольская правда»[127]. Узнав, что Аджубей вместе с делегацией журналистов приглашен в Австрию, Хрущев встревожился. «Смотрите, чтобы все было в порядке, а если что — держитесь как подобает», — наставлял он зятя. «Хрущев, конечно, знал, — замечает Аджубей, — что я окажусь „под колпаком“ бериевского ведомства»[128].

Однако, несмотря ни на что, и в эти годы Хрущев бывал счастлив.

Одним из светлых моментов стал семидесятилетний юбилей Сталина 21 декабря 1949 года. Великий человек, как обычно, делал вид, что все эти торжества ему безразличны: «Не вздумайте дать мне еще одну звезду! (то есть звезду Героя Советского Союза. — *У. Т.*)» — говорил он Маленкову[129]. Однако его прихлебатели, хорошо изучившие своего господина, знали, что от них требуется. За несколько месяцев до наступления знаменательной даты центральные газеты наполнились поздравлениями. 21 декабря над Кремлем взмыл в воздух огромный воздушный шар, на который проецировался портрет Сталина. По городам и весям проходили многотысячные демонстрации с плакатами, восхваляющими «величайшего гения

всех времен и народов».

Кульминация празднества пришлась на вечер в Большом театре. На сцене, богато декорированной цветами и знаменами, под гигантским портретом Сталина восседали руководители СССР и иностранных компартий: Мао Цзэдун, Пальмиро Тольятти, Вальтер Ульбрихт, Долорес Ибаррури, Матьяш Ракоши и другие. Зал заполняли специально приглашенные, тщательно отобранные и рассаженные по ранжиру гости. «Прошла семья Берии, — писал позже Аджубей, — затем Маленкова, Молотова. Молодежь вместе со старшими. Как только та или иная семья приближалась к первым рядам кресел, с них поднимались дюжие молодцы, занявшие места для своих хозяев. Из семьи Хрущевых только Нина Петровна получила право сидеть в одном из первых рядов — вместе с семьей Маленкова». Сам Аджубей и его жена сидели на куда менее престижных местах — в амфитеатре[130].

Речи продолжались часами. Хрущев свою речь закончил так: «Слава нашему дорогому отцу, мудрому учителю, великому вождю партии, советского народа и рабочих всего мира, товарищу Сталину!»[131] Ораторы были почти неотличимы друг от друга. Исключение составляла Долорес Ибаррури, знаменитая Пасионария, героиня гражданской войны в Испании: она «бросала в зал слова с такой силой, энтузиазмом и радостью, что напоминала подвижников, которые во имя своей веры шли на костер». Когда она начала говорить, Сталин пошевелился в кресле и немного поднял голову.

Аджубея поразило, каким «маленьким и тщедушным» выглядел Сталин: «на голове этого маленького, даже жалкого на вид человека светилась огромная плешь». Дмитрию Горюнову, молодому журналисту, сидевшему на балконе, Сталин внизу, на сцене, казался «букашкой»[132]. Партийных лидеров, видевших Сталина каждый день, интересовало совсем другое: они украдкой следили друг за другом, подмечая, кто где сидит. За день до того Сталин согласился отказаться от своей обычной «скромной» манеры садиться во втором ряду. Он сидел в центре первого ряда, по правую руку от него — Мао Цзэдун, по левую — Хрущев. Это почетное место объяснялось положением Хрущева на празднике: как первый секретарь Московского горкома и обкома партии, он был официальным хозяином торжества — что, несомненно, грело ему душу. Но и здесь Хрущев знал свое место. Заметив, что пышный ворох цветов почти закрыл от публики лицо Сталина, Аджубей шепотом спросил жену: «Отчего Никита Сергеевич не отодвинет букеты?» — «Но Сталин не просит об этом», — ответила Рада[133].

Первого мая 1952 года, когда на Красной площади под ярким весенним солнцем еще маршировали демонстранты, Сталин и его подручные собрались в Кремле. На кинохронике, снятой в этот день, мы видим, как Сталин жмет всем руки, а подчиненные слегка кланяются в ответ. Хрущева среди них выделяет то… что он почти не выделяется. Ничто больше не отличает его в толпе функционеров — ни молодость, ни заразительная улыбка, ни косоворотка, ни забавная кепочка. Как и на всех прочих (кроме Сталина и Маленкова, носивших френчи военного покроя), на нем светлый деловой костюм и шляпа-«пирожок». Он стал, как сам писал в своих мемуарах, «полноправным гражданином» высших эшелонов власти[134]. Единственное, что выделяет его в этой сцене — после рукопожатия, слегка наклоняя голову, он одновременно подносит руку к голове, словно отдавая Сталину честь; этот жест, случайный или намеренный, призван показать хозяину и остальным, что Хрущев помнит свое место.

На вечеринке, посвященной встрече Нового, 1953 года, поспорив с дочерью, Сталин схватил ее за волосы и сильно дернул. Светлана покраснела, на глазах у нее выступили слезы; Хрущеву стало ее очень жаль. Однако в целом этот праздник оставил у него светлые воспоминания: «Внутреннее настроение было, конечно, повышенным. Новый год! Обедали, закусывали, пили. Сталин был в хорошем настроении, поэтому сам пил много и других принуждал».

Сначала Сталин ставил на патефон пластинки с русскими и грузинскими народными песнями. Затем он перешел к танцевальной музыке, «и все начали танцевать… Из меня танцор, как корова на льду. Но я тоже „танцевал“». Даже Сталин, обычно неподвижно стоявший у патефона, присоединился к общему веселью: «передвигал ногами и расставлял руки».

«Я бы сказал, что общее настроение было хорошим», — заключает Хрущев. Даже для безобразного поведения Сталина с дочерью он находит оправдание: «Просто таким способом он выражал отцовские чувства. А делал это грубо не потому, что хотел сделать ей больно. Но он не умел иначе»[135].

Думается, нечто подобное можно сказать и об отношении Сталина к самому Хрущеву.

Глава X
ПОЧТИ ПОБЕДИТЕЛЬ: 1953–1955

Новость пришла в дом Хрущева 1 марта поздно вечером. Он был у себя на даче. Накануне — 28 февраля, в субботу, — Сталин и его «внутренний круг» проводили день как обычно: кинофильм в Кремле, затем поздний ужин на даче в Кунцеве. Гости Сталина разошлись в четыре утра: Берия и Маленков уехали на одной машине, Хрущев и Булганин — каждый на своей. Ничто, вспоминал Хрущев, не предвещало дурного: Сталин «был навеселе, в очень хорошем расположении духа. Он много шутил, замахнулся, вроде бы пальцем, и ткнул меня в живот, назвав Микитой. Когда он бывал в хорошем расположении духа, то всегда называл меня по-украински Микитой»[1].

Следующий день был выходным, однако Хрущев некоторое время ожидал, не будет ли каких-то важных телефонных звонков. Ничего не дождавшись, он наконец лег спать.

В то утро прислуга и охранники Сталина ожидали, что он встанет, как обычно, между 10 и 12 часами утра. Они заметили, что в его полутемной комнате горит свет, и ждали, что он позвонит и попросит завтрак. Звонка не было, и прислуга решила, что Сталин удовлетворился чаем из термоса, стоявшего у него в спальне. До самого вечера из комнаты не доносилось ни звука. Хотя охрана располагалась всего в нескольких шагах дальше по коридору, у них были четкие указания: без приказа вождя не беспокоить. В окнах Сталина по-прежнему горел свет. Наконец между 22 и 23 часами телохранители решили использовать поступление вечерней «почты» как предлог заглянуть к Сталину — и увидели, что он лежит на полу. Рядом валялись бутылка минеральной воды и газета «Правда». Сталин едва шевелил рукой, пытался что-то сказать — но выходило только нечленораздельное мычание. Часы его остановились в 18.30. Очевидно, едва встав с кровати, он перенес обширный инсульт[2].

Охранники подняли Сталина и положили на диван. Позже его перенесли на другой диван, в гостиной. Бросились звонить министру госбезопасности Игнатьеву: тот, опасаясь брать на себя ответственность, приказал найти Маленкова и Берию. Маленков сказал, что Берию разыскать будет нелегко (по воскресеньям тот обычно проводил время с любовницей на особой вилле). Наконец перезвонил Берия. «Никому не говорите о болезни товарища Сталина», — приказал он[3].

Вскоре появились Берия и Маленков. Маленков снял ботинки,

громко скрипевшие по начищенному паркету, взял их под мышку и на цыпочках прошел в столовую. Когда они с Берией стояли над больным, Сталин вдруг начал громко хрипеть. После инсульта прошло уже не меньше восьми часов, однако вместо того, чтобы распорядиться об оказании немедленной медицинской помощи, Берия (он, казалось, был сильно пьян) разразился бранью: «Не видите, товарищ Сталин крепко спит! Марш все отсюда и не нарушайте покой Иосифа Виссарионовича!»[4] Если верить Хрущеву, при этой сцене присутствовал и он, однако охранники показывали, что он появился на даче только в семь утра на следующий день, когда Берия и Маленков вернулись с кремлевскими врачами. Едва ли Хрущеву отказала память: скорее, он убедил себя в том, что этот исторический момент не мог произойти без него[5].

Ко времени приезда врачей Сталин был без сознания уже 12 часов. Едва ли можно объяснить такую задержку, как это делает Хрущев, «неудобством» оттого, что великий человек оказался в столь «неблаговидном» положении[6]. 3 марта, когда Сталин умирал, его «блудный» сын Василий кричал на Хрущева и других: «Сволочи, загубили отца!»[7] И сам Берия позднее говорил Молотову: «Я с ним покончил, я спас вас всех»[8]. По крайней мере один биограф Сталина считает Берию убийцей и выдвигает свою версию преступления[9]. Однако задержку в оказании помощи можно объяснить и проще: Берия и Маленков боялись за себя. Сталин уже довольно давно чувствовал себя не лучшим образом, страдал от гипертонии. Он бросил курить, но не отказался от бани, вредной в его состоянии (отчасти потому, что Берия убедил его не делать этого), и до самого конца не доверял врачам[10]. Если бы помощь пришла немедленно и Сталин бы выжил — кто знает, чем бы это обернулось для Берии и Маленкова?[11]

Наконец прибыли дрожащие от страха доктора. У главного кремлевского врача, когда он расстегивал на тиране рубашку, тряслись руки. «Вы врач, — прикрикнул на него Берия, — так берите, как следует!» Другие специалисты, столпившиеся в комнате вместе с членами Политбюро, не осмеливались подойти близко. Когда стоматолога попросили извлечь изо рта Сталина вставную челюсть, он уронил ее на пол. Были поставлены банки и сделан рентген легких, однако сложный кислородный аппарат остался неиспользованным. На каждую манипуляцию с больным врачи запрашивали разрешение членов Политбюро, которые, будучи совершенно некомпетентны в медицине, разумеется, не могли решить, что и как делать[12].

У постели Сталина постоянно дежурили по двое члены Политбюро: днем — Берия и Маленков, по ночам — Хрущев и

Булганин, в промежутках — Каганович и Ворошилов. Согласно Молотову, всем распоряжался Берия. То и дело они с Маленковым отходили в сторонку и о чем-то шептались; иногда к ним присоединялся и Хрущев, но чаще он скромно стоял в дверях гостиной (руководители рангом поменьше теснились в прихожей). Когда Сталин был без сознания, Берия не скрывал своей ненависти к нему, но стоило больному открыть глаза, Берия кидался целовать ему руки. «Вот истинный Берия, — замечает по этому поводу Хрущев в своих мемуарах. — Коварный даже в отношении Сталина, которого он вроде бы возносил и боготворил»[13]. Но лучше ли было верить в Сталина ровно наполовину, как это делал Хрущев?

3 марта врачи объявили, что состояние Сталина безнадежно. К моменту его смерти Берия, Маленков, Хрущев и Булганин вместе с Молотовым, Кагановичем, Микояном и Ворошиловым провели несколько импровизированных совещаний. Председательствовал на них Маленков, и все предложения исходили от него и Берии. Решено было, что Маленков унаследует пост председателя Совета министров. Берия, Молотов, Булганин и Каганович (в этом порядке) станут его первыми заместителями. Берия вернет себе контроль над Министерством внутренних дел, которое будет слито с Министерством госбезопасности. Хрущев оставит свой пост в Московском горкоме и целиком сосредоточится на обязанностях одного из восьми секретарей ЦК. Президиум партии, расширенный Сталиным в 1952 году, сократится с двадцати пяти до десяти полноправных членов, из которых все, кроме двоих, будут ветеранами сталинской гвардии.

Пока что казалось, что наследники Сталина едины. Но однажды ночью, дежуря у постели Сталина, Хрущев заговорил с Булганиным о том, что Берия хочет вернуть себе пост министра госбезопасности. «Это будет начало нашего конца. Он возьмет этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас. И он это сделает!» Булганин согласился, однако заметил, что здесь не обойтись без поддержки Маленкова. Как писал позже Хрущев, «Маленков знал… что Берия издевается над ним… однако считал, что быть вместе с Берией выгодно для его персоны». Более того, «теперь, когда умер Сталин, Берия не сомневался, что Маленков будет послушной марионеткой в его руках»[14].

Вечером 5 марта руководители страны созвали общее собрание (согласно недавно принятому уставу партии, незаконное) ЦК, Совета министров и Президиума Верховного Совета. Сталин еще цеплялся за жизнь, но они уже сместили его с поста главы правительства (хотя оставили в списках членов

Президиума). Председательствовал на собрании Хрущев, но реально всем распоряжались Маленков и Берия: редактор «Литературной газеты» и кандидат в члены ЦК Константин Симонов ясно почувствовал, что главные здесь — они. Маленков выступил первым, затем предоставил слово Берии. Берия предложил назначить Маленкова главой правительства. Вернувшись на трибуну (для чего ему пришлось протиснуться на узкой лесенке мимо жирного Берии), Маленков предложил дать Берии пост министра госбезопасности. Позднее Симонов вспоминал, что все лидеры — кроме неподвижного, с каменным лицом, Молотова — «вышли с каким-то затаенным, не выраженным внешне, но чувствовавшимся в них выражением облегчения. Это как-то прорывалось в их лицах…». Особая бодрость и энергия чувствовались в речах Маленкова и Берии[15].

Поделив добычу, приспешники Сталина бросились в Кунцево, чтобы стать свидетелями агонии вождя. «Лицо его страшно изменилось и потемнело, — вспоминает его дочь, — губы стали совсем черными, он сделался неузнаваем… Он буквально задыхался на наших глазах. В последний момент он вдруг открыл глаза и обвел взглядом комнату вокруг себя. Взгляд у него был страшный — безумный, гневный или, может быть, полный страха смерти… Вдруг он поднял руку, словно указывая на что-то вверху — как будто призывал на всех нас проклятие… А в следующий миг после этого последнего усилия душа его покинула тело».

В тот же миг, рассказывает Аллилуева, Берия пулей вылетел из комнаты. «Воцарившееся в комнате молчание… было прервано его громким криком, в котором звучало нескрываемое торжество: „Хрусталев! (водитель Берии. — *У. Т.*) Машину!“»[16] «Берия, когда умер Сталин, буквально просиял», — подтверждает Хрущев. Он «считал, что пришла его эра. Что нет теперь силы, которая могла бы сдержать его и с которой он должен считаться. Теперь он мог творить все, что считал необходимым»[17].

Сам Хрущев оплакивал смерть Сталина — отчасти из-за страха перед туманным будущим, но отчасти и искренне, «душою». Когда Аллилуева заплакала, вспоминал он позднее, «не смог сдержаться. Сильно разволновался, заплакал». Аллилуева подтверждает, что Хрущев плакал — как и Ворошилов, Каганович, Маленков и Булганин. Дмитрий Шепилов, впоследствии редактор «Правды», присутствовал на утреннем совещании 5 марта, где обсуждалась подготовка похорон. Он вспоминал, что Берия и Маленков «были явно в приподнятом настроении, говорили больше других и постоянно прерывали своих коллег. Берия просто цвел от радости. Хрущев говорил очень мало, чувствовалось, что он потрясен». На церемонии прощания в

Колонном зале Шепилов заметил, что глаза у Хрущева «красные, воспаленные, а по щекам текут крупные слезы. Время от времени Хрущев смахивал их ладонями»[18].

Рыдала вся страна — даже многие жертвы Сталина в лагерях обливались слезами. Симонов, знавший о преступлениях Сталина больше, чем старался показать впоследствии, рассказывал, как 5 марта сел писать стихотворение о Сталине для «Литературной газеты», написал две строчки — и «вдруг неожиданно для себя, сидя за столом, разрыдался. Мог бы не признаваться в этом сейчас… но, наверное, без этого трудно даже самому себе объяснить меру потрясения. Я плакал не от горя, не от жалости к умершему, это не были сентиментальные слезы, это были слезы потрясения»[19].

Для Хрущева смерть Сталина, как и его покровительство, оказалась и ужасной, и благодетельной. Живой Сталин был для него учителем и мучителем, благодетелем и источником постоянной смертельной опасности. Его смерть освободила Хрущева от физического страха и психологической зависимости. Однако она же принесла с собой новые опасности — исходящие и от кремлевских коллег, и от него самого, и, наконец, от ужасного наследства, оставленного Сталиным, — наследства, которое в конце концов погубило их всех.

В последние месяцы жизни Сталина Хрущев занимал в кремлевской иерархии второе или третье место (в зависимости от того, как оценивать положение Берии). В списках нового Президиума Хрущев занял пятое место, после Маленкова, Берии, Молотова и Ворошилова. Очевидным наследником был Маленков, очевидным «серым кардиналом» — Берия. Молотов, работавший со Сталиным дольше всех остальных, также мог претендовать на «престол». То, что именно эти трое произносили надгробные речи на Красной площади, также доказывает, что именно они должны были составить правящий триумвират. Никто ни в СССР, ни за рубежом и вообразить не мог, что Хрущеву удастся их всех переиграть[20].

Два с половиной года спустя Берия был арестован и казнен, Маленков смещен со своего поста, Молотов — подвергнут уничтожающей критике. Правда, Маленков и Молотов сохранили за собой места в Президиуме; однако к этому времени, если не раньше, полновластным хозяином страны стал Хрущев. В августе 1954 года он возглавил советскую делегацию, направлявшуюся в Пекин. Летом 1955-го на четырехсторонней конференции в Женеве советскую делегацию возглавлял Булганин, однако западные лидеры поняли, что переговоры следует вести с

Хрущевым.

Никто (кроме, возможно, самого Хрущева) не мог предвидеть такой победы. Даже в сравнении с прочими неожиданными поворотами его карьеры этот триумф выглядел чудом. Однако в том, каким способом Хрущев добился своего, ничего чудесного не было. Подобно Сталину в двадцатые годы, он подменял цели коммунистической партии своими личными целями, использовал против своих соперников партийный аппарат, использовал в своих целях проблемы внутренней и внешней политики, сближался с соперниками, а затем их предавал. Так он поступил и с Берией, и с Маленковым, и с Молотовым.

Настоящая загадка — не в том, как Хрущеву это удалось, а в том, как это допустили его соперники. Ответ прост: они все еще его недооценивали. До 1953 года Хрущев не был новичком в искусстве аппаратных интриг — однако до времени скрывал свое мастерство. В 1953–1955 годах впервые открыто проявилась новая, макиавеллиевская сторона его натуры — она хорошо заметна и в мемуарах, где Хрущев с гордостью описывает шаг за шагом свою победу над Берией. Откровенно рассказав об этом, он едва ли мог бы отрицать, что практиковал подобное искусство и до того, и после. Берию Хрущев изображает настоящим исчадием ада и поэтому не видит ничего дурного в том, как с ним поступил. Другое дело — предательство Маленкова и Молотова, особенно если учесть, что сам Хрущев с негодованием обвинял в предательстве их самих. Историю этой дружбы-вражды еще предстоит воссоздать на основании неполных и не вполне искренних свидетельских показаний. То же касается и заговора против Берии. Несмотря на свою гордость этим эпизодом, Хрущев никогда не рассказывал историю заговора целиком, старательно обходя вопрос о своем партнерстве с Берией в первые месяцы после смерти Сталина — так же, как скрывал и союз с Берией и Маленковым в последние годы жизни диктатора.

Первые публичные заявления наследников Сталина звучали бодро и уверенно. В надгробной речи Берия восхвалял «единство» руководства страны и предупреждал врагов, рассчитывающих на «беспорядок и смятение» в рядах компартии, что «никто не застанет нас врасплох». В официальном сообщении о смерти Сталина уверенно сообщалось, что при новом руководстве советский народ «еще теснее сплотится» вокруг Центрального Комитета и советского правительства[21].

В действительности приспешники Сталина знали, что столкнутся с немалыми проблемами, — однако едва ли понимали, насколько эти проблемы серьезны. На 1 января 1953

года в лагерях находилось почти два с половиной миллиона заключенных; полмиллиона из них числились «политическими»[22]. Что с ними делать? Выпустить на свободу живых и реабилитировать мертвых? Казалось бы, как же иначе! Однако цена такого шага могла оказаться слишком высока. Если в лагерях сидят невинные — значит, виновны те, кто их туда отправил. Скоро наследники Сталина начали освобождать «неполитических» заключенных, а в 1953–1954 годах были расстреляны Берия, Абакумов и бывшие начальники отделов по расследованию особо важных преступлений. Однако эти шаги, сопровождавшиеся уничтожением уличающих документов, были вызваны скорее стремлением наследников Сталина укрепить свое положение, чем желанием восстановить справедливость[23]. Начавшиеся в лагерях восстания подавлялись военной силой: в мае 1953 года в Норильске, где было убито около тысячи человек и еще две тысячи ранены, летом того же года в Воркуте, в мае-июне 1954-го в Кенгире (Казахстан), где заключенные захватили лагерь и удерживали его сорок дней, пока их не истребили танками и авиацией[24].

Все население, не исключая и партийную элиту, было в панике. Успокоение элиты стало первоочередной задачей — особенно для Хрущева, который в своей борьбе за власть опирался на партийный аппарат. Особую проблему представляла собой интеллигенция, способная задавать неудобные вопросы и делать еще более неудобные выводы. Постепенно начиналось то, что Илья Эренбург назвал «оттепелью»; однако позже Хрущев признавал: «Решаясь на приход оттепели… мы одновременно побаивались ее: как бы из-за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас и с которым трудно будет справиться»[25].

Суперцентрализованная сталинская экономика совершила чудеса при индустриализации и послевоенной реконструкции (ужасные человеческие потери, не говоря уже о вреде для окружающей среды, в то время никого не заботили), однако оказалась неэффективна во многих других обстоятельствах. Постоянно не хватало потребительских товаров и жилья. В 1952 году Маленков объявил, что проблема с хлебом в стране наконец-то решена — однако это было далеко от истины. Урожаи собирали низкие, меньше, чем до Первой мировой войны, количество скота не достигало уровня 1928-го, а в некоторых регионах и 1916 года. Большая часть мяса, молока и овощей производилась на личных приусадебных участках, однако власти постоянно сокращали их площадь и облагали непомерными налогами[26].

Взаимоотношения Советского Союза с внешним миром к 1953

году также зашли в тупик. Во время войны Сталину удалось наладить союзнические отношения с Западом, но к 1953 году Запад мобилизовал против него все свои силы, и даже многие друзья или нейтралы перешли во враждебный лагерь. Власть Москвы над Восточной Европой (не считая Югославии) казалась нерушимой; однако экономика восточноевропейских стран была на грани коллапса, а антисоветские настроения росли. Китайский вождь Мао Цзэдун публично пресмыкался перед Сталиным и тайно копил недовольство, которое вскоре выплеснулось наружу. В общем, по определению Олега Трояновского, который вскоре стал главным консультантом Хрущева по иностранным делам, наследие Сталина «было ужасно. Международная обстановка так накалена, что любой поворот винта мог привести к взрыву»[27].

Сталин полагался на военную мощь страны. В глазах Запада Вооруженные силы СССР казались достаточными для завоевания всей Западной Европы. Советский Союз подтвердил опасения западных стран, проведя в 1949 году первые испытания атомной, а в 1953-м — термоядерной бомбы. Однако реально СССР был слабее, чем казался. Единственный советский стратегический бомбардировщик Ту-4, копия американского Б-29, даже в самоубийственной миссии не смог бы достигнуть Соединенных Штатов. В середине 1953 года Совет по обороне США предупреждал, что русские способны сбросить на Штаты сотню атомных бомб, что приведет к 13 миллионам человеческих жертв и потере одной трети американского индустриального потенциала. Однако, по словам Хрущева, Ту-4 «устарел раньше, чем поступил в производство», а несколько других моделей бомбардировщиков, проходившие испытания в 1956–1957 годах, разбились во время испытательных полетов. Когда один авиаконструктор объявил, что его самолет сможет, сбросив бомбы на США, приземлиться в Мексике, Хрущев ответил: «Мексика — не наша теща, мы не можем там приземляться, когда нам вздумается»[28].

Сталин пытался развивать межконтинентальные ракеты, но до их создания оставались еще долгие годы. Кроме того, в вопросах ракетостроительства Хрущев и его коллеги чувствовали себя полными «технологическими неучами». Когда конструктор ракет Сергей Королев доложил на заседании Президиума о своих разработках, бывший пастух из Калиновки и его товарищи «смотрели тогда [на ракету], как баран на новые ворота. В нашем сознании еще не сложилось понимание того, что вот эта сигарообразная огромная труба может куда-то полететь… Мы ходили вокруг нее, как крестьяне на базаре при покупке ситца: щупали, дергали на крепость»[29].

США далеко превосходили СССР в военно-воздушных силах. «Америка обложила нас авиационными военными базами, — вспоминал Хрущев. — Они располагались в Турции, я уж не говорю о Франции, Германии, Италии, Греции и Северной Африке». В первые послевоенные годы американские самолеты постоянно летали над советской территорией: одни вели аэросъемку, другие проверяли советские радары и средства защиты, третьи забрасывали шпионов и снаряжение для них. Хотя довольно большое число самолетов было сбито, а пилоты — убиты или захвачены в плен, эти полеты производили на советских руководителей тягостное и унизительное впечатление. «США вели против нас наглую и агрессивную политику, — говорил Хрущев, — не упускали ни одной возможности продемонстрировать свое превосходство. Американцы… засылали самолеты вглубь нашей территории, до Киева долетали»[30].

В довершение ко всему, высшее руководство страны раздирала борьба за наследие Сталина. Партийные лидеры тешили страну иллюзией коллективного руководства, однако каждый из них понимал: править может только один и за место на вершине придется драться. Вопросы внутренней и внешней политики были орудиями в этой борьбе: каждый вел двойную и тройную игру. Это делало страну уязвимой для внешних опасностей. «Руководство страны, — рассказывал позже Хрущев, — было, если можно так выразиться, нехорошим. Собрались в кучу разношерстные люди»[31].

Теперь представляется очевидным, что страна нуждалась в коренных переменах. Однако даже тридцать два года спустя, в конце 1980-х, когда, казалось бы, система наглядно продемонстрировала свое банкротство, перемены шли долго и мучительно. Могло ли быть легче в 1950-х, когда экономические достижения быстро росли и множество людей искренне верило в коммунистические идеалы, не заходя в своих мечтах дальше «коммунизма с человеческим лицом»? Не стоит забывать и о том, что нынешние руководители СССР были не только наследниками Сталина, но и его учениками.

После четырехдневного траура, во время которого в Колонный зал выстраивались очереди желающих попрощаться с вождем, в холодный серый день 9 марта на Красной площади состоялись похороны[32]. Молотов и Маленков в тяжелых пальто и меховых шапках — в отличие от Берии, чье знаменитое пенсне поблескивало из-под надвинутой на глаза широкополой черной шляпы, произносили речи с трибуны Мавзолея, получившего теперь название «мавзолея Ленина — Сталина», и дыхание их

сизым паром клубилось в морозном воздухе. У одного лишь Молотова, по словам Симонова, любовь вместе с горечью потери прорывалась даже каким-то содроганием в голосе этого твердокаменнейшего человека. В речах Маленкова и Берии «отсутствовала хотя бы тень личной скорби, сожаления или волнения, или чувства утраты»; ясно чувствовалось, что «душевное состояние обоих ораторов было состоянием людей, пришедших к власти и довольных этим фактом»[33]. Хрущев, как ведущий мероприятия, стоял слева; он был необычно мрачен и подавлен.

Заменив Сталина на посту председателя Совета министров, Маленков теперь вел заседания Президиума, как было принято с ленинских времен. К Президиуму присоединились двое его протеже, Михаил Первухин и Максим Сабуров; еще один его ставленник, Николай Шаталин, занял место в Секретариате ЦК. Очевидно, по просьбе коллег, опасавшихся чрезмерной концентрации власти в одних руках, 14 марта Маленков снял с себя полномочия секретаря ЦК. Зато Берия держал в своих руках не только МГБ, но и ядерную и ракетную промышленность; кроме того, он конфисковал из личных документов Сталина материалы, с помощью которых мог шантажировать или уничтожить своих товарищей[34].

Молотов, несмотря на свое никем не оспариваемое старшинство, удовлетворился должностью министра иностранных дел. Хрущев 14 марта был назначен секретарем ЦК, но его обязанности касались только идеологии и пропаганды — политическими и экономическими вопросами занимались Маленков и Берия. Как секретарь ЦК, Хрущев должен был на заседании Верховного Совета 15 марта представить нового предсовмина — Маленкова; однако эту роль узурпировал Берия. Прежде протоколы заседаний Политбюро подписывал генеральный (первый) секретарь; теперь они коллективно одобрялись Президиумом ЦК[35].

По этим и другим признакам Константин Симонов заключил, что Берия рассматривает Хрущева как «второстепенный персонаж». Так же, если верить Петру Демичеву, помощнику Хрущева в 1950–1953 годах, думал и Молотов. Сын Анастаса Микояна Серго, профессиональный историк, предположил, что Маленков и Берия стремились вернуться к досталинской схеме управления, в которой секретари ЦК КПСС выполняли скорее технические, чем политические функции, и полагали, что Хрущев благодаря своим талантам (точнее, их отсутствию) легко смирится с таким уменьшением своей значимости[36].

В общих чертах решив проблему распределения власти, новое

правительство обратилось к вопросам внутренней и внешней политики. Все лидеры формально одобряли перемены (и некоторые, возможно, искренне в них верили), однако главным двигателем перемен стал Берия. Он вовсе не был тайным либералом; Берия играл роль реформатора лишь потому, что знал за собой слишком много прегрешений. Стремясь улучшить свою репутацию и очернить остальных, он решил взвалить всю вину за репрессии на Сталина, приказы которого они все исполняли. Как глава службы безопасности, Берия прекрасно понимал реальное положение СССР. Ситуацию нужно было исправлять любыми средствами, а идеологию циник Берия не ставил ни в грош. Если бы он победил, то, скорее всего, уничтожил бы своих коллег — хотя бы для того, чтобы избавиться от угрозы с их стороны. Однако его реформы во многом предвосхитили действия Хрущева и даже Горбачева[37].

В день похорон Сталина, совпавший с днем рождения Молотова, Берия освободил Полину Жемчужину и лично «вручил» ее мужу, не сомневаясь, что теперь министр иностранных дел будет поддерживать его во всех начинаниях[38]. 10–13 марта он отдал своим подчиненным приказ пересмотреть фальсифицированные дела, в том числе и «дело врачей», и о результатах доложить ему лично. 17 марта Берия предложил передать значительную часть индустриальной и экономической империи МВД гражданским службам, а три дня спустя сделал предложение приостановить работы на стройках, где используется труд заключенных. 26 марта он сообщил Президиуму, что в настоящее время в тюрьмах и лагерях находятся 2 миллиона 526 тысяч 401 политических и неполитических заключенных (в том числе 438 тысяч 788 женщин, из которых 35 тысяч 505 имеют детей и 62 тысячи 886 беременны), с грустью заметил, что тюремное заключение «ставит самих приговоренных, их родственников и других близких к ним лиц в крайне тяжелую ситуацию, часто разрушающую семьи и негативно влияющую на всю их дальнейшую жизнь», и предложил массовую амнистию, в результате которой вышли на свободу 1 миллион 181 тысяча 264 неполитических заключенных, осужденных на срок до пяти лет. 28 марта Берия предложил передать исправительные учреждения из МВД в ведомство Министерства юстиции. 2 апреля он сообщил Маленкову, что знаменитый еврейский актер и режиссер Соломон Михоэлс был убит в 1948 году по приказу Сталина, а два дня спустя публично заявил, что «дело врачей» — фальшивка. В тот же день он отдал приказ прекратить «жестокие избиения арестованных, сковывание рук за спиной, иногда продолжающееся в течение нескольких

месяцев, длительное лишение сна, содержание заключенных раздетыми в изоляторах и т. п.»[39].

Через несколько дней после освобождения арестованных врачей члены ЦК были приглашены ознакомиться с документами по делу. По словам Симонова, который изучал документы в течение трех или четырех долгих заседаний, из них неоспоримо следовало непосредственное участие самого Сталина; в частности, он лично приказал пытать арестованных, чтобы добиться признания. Документы исходили из МВД — это подтверждает, что идея их обнародования принадлежала Берии[40].

Грузинский режиссер Михаил Чиаурели благодаря своим льстивым фильмам о Сталине стал собутыльником диктатора. Поскольку Берия входил в ту же компанию, сценарий нового фильма, восхваляющего покойного хозяина страны, Чиаурели, естественно, показал ему. «Забудь ты об этом сукином сыне! — взорвался вдруг Берия. — Сталин был негодяем, мерзавцем, тираном! Кровопиец! Он весь народ угнетал страхом! Только в этом была его сила. К счастью, мы от него избавились. Царство небесное этому гаду!»[41]

Другой мишенью Берии стала сталинская практика русификации национальных республик. В серии записок, обращенных к членам Президиума, он жестоко критиковал преобладание русского руководства и повсеместное использование русского языка в деловой практике Белоруссии, Литвы, Эстонии и (недобрый знак для Хрущева) Западной Украины. Глава МВД Украины, ставленник Берии Павел Мешик, поразил ЦК украинской компартии, обратившись к нему с речью на украинском языке. Тот же Мешик приказал главе контрразведки Львовской области Тимофею Строкачу (хрущевскому протеже) заняться сбором компромата на местных партработников. Когда Строкач сообщил об этом другому коллеге Хрущева, местному партийному руководителю Зиновию Сердюку, Берия, как рассказывают, накинулся на него с бранью: «Что вы там делаете, вы ничего не понимаете, зачем вы… рассказали Сердюку о полученном вами задании?.. Мы вас выгоним из органов, арестуем и сгноим в лагерях, мы вас сотрем в порошок, в лагерную пыль вас превратим»[42].

Во внешнеполитических вопросах Берия также отказался от политической и идеологической ортодоксии. После ареста в его секретном сейфе среди прочих бумаг было найдено не утвержденное на Президиуме секретное послание к Александру Ранковичу, первому заместителю Тито, с предложением «фундаментального укрепления» советско-югославских отношений и просьбой о «секретной встрече» для переговоров[43].

На встрече с лидерами ГДР в Москве 2 июня и с венгерским руководством одиннадцать дней спустя советские руководители гневно упрекали коллег из «братских стран» за проведение в жизнь тех самых директив, которые те еще несколько месяцев назад получали из Москвы. Особенно усердствовал Берия. «Как это можно, — кричал он на главу венгерской компартии Матьяша Ракоши, — как можно в Венгрии, все население которой — девять с половиной миллионов человек, арестовывать полтора миллиона?!.. Даже товарищ Сталин совершил ошибку, [когда] отдал прямой приказ о допросах арестованных… Человек, которого избивают, скажет все, что следователь захочет от него услышать. Признается, что он и английский шпион, и американский, и какой угодно. Но правду вы так никогда не узнаете. Зато невинный человек может отправиться в тюрьму. Есть закон, и закон надо уважать»[44].

Особенно серьезной была проблема Восточной Германии. В результате жесткой индустриализации, насильственной коллективизации и грубой антирелигиозной кампании, проводимой режимом Ульбрихта, за два года по меньшей мере полмиллиона восточных немцев бежали на Запад. Германская Демократическая Республика столкнулась с тем, что Маленков позже назвал «опасностью внутренней катастрофы». Интересно, что Берия был готов отказаться от ГДР, покинуть на произвол судьбы германскую компартию и пойти на воссоединение Германии — разумеется, в обмен на существенную компенсацию от Запада. 27 мая 1953 года, на заседании в Кремле, посвященном немецкому вопросу, Берия восклицал: «ГДР! Да что такое эта ГДР?! Даже не настоящее государство. Держится только на советских штыках, хоть и называется Германской Демократической Республикой». В ходе дискуссии Молотов предложил резолюцию против «насильственной социализации» Восточной Германии, но Берия рекомендовал вычеркнуть из текста слово «насильственная». «Почему так?!» — воскликнул Молотов. Ведь это означало бы конец социализма в Германии как такового! «Потому, — ответил якобы Берия, — что нам нужна только мирная Германия, а будет там социализм или нет, нам все равно»[45].

Общая сумма действий Берии в эти «сто дней», несомненно, производит впечатление. Хотя некоторые его инициативы (как, например, предложения по дерусификации в стране, где преобладают русские) угрожали его репутации, поначалу он обошел своих соперников. Само число инициатив, многие из которых выходили за рамки его служебной компетенции, ясно указывает на презрение к коллегам. В одной записке, обращенной

к Хрущеву, Берия не «просит рассмотреть» свое предложение, а открыто требует его «утвердить». Есть свидетельства о том, как он грубо распекал по телефону Маленкова, Хрущева и Булганина. В первые дни после смерти Сталина коллеги Берии, растерянные и подавленные, возможно, заслуживали такого обращения. Однако его нескрываемое высокомерие заставило их собраться с духом — и дало им в руки оружие против него[46].

Сразу после смерти Сталина Хрущев, казалось, был так же близок с Берией и Маленковым, как и они друг с другом. По утверждению Молотова, они составляли неразлучную троицу[47]. Молотовым, разумеется, двигала неприязнь к Хрущеву — однако и сам Хрущев подтверждает его заявление: Берия «во время похорон Сталина и после проявлял ко мне большое внимание, выказывал свое уважение. Он вовсе не порывал демонстративно дружеских связей с Маленковым, но вдруг начал устанавливать дружеские отношения и со мной. Если, бывало, они вдвоем соберутся пройтись по Кремлю, то и меня приглашают. Я, конечно, не противился, хотя мое негативное отношение к Берии не изменилось, а наоборот, укрепилось еще больше»[48].

Выступая в ЦК после ареста Берии в июне 1953 года, Хрущев как будто защищается: «Некоторые могут сказать: „Как же так? Ведь Маленков с Берией везде ходил рука об руку“… А другие, может быть, скажут, что и Хрущев все время рядом терся. *[Смех в зале.]* И это верно. Так оно и было. Берия не тот человек, которого легко понять и разоблачить… После смерти Сталина его отношение ко мне вдруг переменилось. Если за день я ему не позвоню, он звонил сам и спрашивал: „Почему ты не звонишь?“ Я ему: „Некогда, занят“, — а он: „Звони почаще“». В некоторых разговорах «Берия поливал их (Молотова и Маленкова. — *У. Т.*) ядом, давал мне понять, что я лучше их. Я им потом об этом рассказывал»[49].

Став почти неразлучными, Берия, Хрущев и Маленков не перестали подкапываться друг под друга. «У нас в министерстве [внутренних дел] полный бардак, — рассказывал чиновник среднего ранга знакомому писателю. — Берия дает приказ, а Маленков звонит из Кремля, отменяет его и дает свой»[50]. В апреле 1953 года Хрущев, по-видимому, помог Берии удалить из Секретариата ЦК ставленника Маленкова Семена Игнатьева, того, который возглавлял МГБ во время «дела врачей»[51]. Однако Берия едва ли обрадовался, когда, по-видимому, с помощью Маленкова, пост нового лидера компартии Украины занял протеже Хрущева Алексей Кириченко.

Окончательный разрыв между Хрущевым и Берией был вызван отнюдь не политическими разногласиями. Хрущев не

одобрял явной готовности Берии «отдать 18 миллионов восточных немцев во власть империалистов», однако одного этого было недостатрчно, чтобы организовать против него рискованный заговор. Позднее Хрущев обвинял Берию в попытках «вбить клин между национальностями». Однако в то время он не только поддерживал Берию в национальном вопросе, но и по собственной инициативе проводил аналогичные реформы в Латвии и Эстонии. Во время подготовки к похоронам Сталина Хрущев взял Кагановича за руку и сказал: «Лазарь, как же мы будем жить и работать без Сталина?» Именно он поддержал предложение дать имя Сталина ВЛКСМ. При этом так же, как и Берия, Хрущев стремился подорвать репутацию умершего вождя: когда в «Литературной газете» появилась статья от редакции с призывом к писателям прославить имя Сталина, на следующее утро Хрущев угрожал уволить ее редактора, Константина Симонова[52].

«Когда Берия был на коне, — вспоминал бывший помощник Хрущева Петр Демичев, — Никите Сергеевичу, разумеется, приходилось с ним ладить, хотя он ненавидел его и боялся. Берия чувствовал, что игнорировать Хрущева нельзя, поэтому обращался с ним осторожно»[53]. В конечном счете Хрущев выступил против Берии из страха — страха, что иначе тот нападет первым.

Главную роль в заговоре приписывали себе и Хрущев, и Маленков[54]. Молотов, ненавидевший обоих, и Микоян, с обоими ладивший, оставляли первенство за Хрущевым[55]. Открытая просьба к Маленкову о помощи против Берии поставила бы Маленкова в тяжелое положение: узнав обо всем, Берия мог его уничтожить, а если бы Берия был побежден, Маленков потерял бы свое положение и был бы скомпрометирован как его бывший союзник. Поэтому Хрущев начал с более скромного предложения: «одернуть» Берию, блокировав некоторые из предложений, которыми он заваливал Президиум. «Беда в том, — говорил он Маленкову, — что ты на заседаниях Президиума никому говорить не даешь. Стоит Берии шевельнуться, и ты сразу вскакиваешь, чтобы его поддержать… А ты дай возможность высказаться другим, попридержи себя, не выскакивай… Мы ведь составляем повестку дня. Давай поставим острые вопросы, которые, с нашей точки зрения, неправильно вносятся Берией, и станем возражать ему»[56].

Когда именно был заключен этот договор, не вполне ясно. Однако, очевидно, именно после него на одном из заседаний члены Президиума отвергли предложение Берии о сокращении максимального срока заключения до десяти лет («Имелось в

виду, — объяснял Хрущев на пленуме ЦК в июле 1953 года, — что человека сажают на десять лет, потом еще на десять, и так превращают в лагерную пыль»[57].) То же произошло во время дискуссии по германскому вопросу. Оппозицию планам Берии в отношении ГДР возглавил Молотов. Хрущева он считал союзником Берии и был приятно удивлен, неожиданно встретив его поддержку. Министр иностранных дел был так благодарен Хрущеву, что после заседания, вопреки своей обычной чопорности и неприступности, предложил ему перейти на «ты». После этого совещания, вспоминал Хрущев, «со стороны Берии отношение ко мне внешне вроде бы не изменилось. Но я понимал, что тут лишь уловка, „азиатчина“… Я понимал, что Берия проводит двуличную политику, играет со мной, успокаивает меня, а сам ждет момента расправиться со мной в первую очередь, когда наступит подходящее время»[58].

В середине июня Хрущев перешел от сопротивления Берии к подготовке его свержения[59]. «Берия стал форсировать события. Он уже чувствовал себя над членами Президиума, важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно срочно действовать»[60].

Берия сам дал Хрущеву в руки козырь, попытавшись втянуть его в заговор против Маленкова. Это позволило Хрущеву убедить Маленкова, что альтернативы нет — нужно избавиться от Берии как можно скорее[61]. Маленков согласился; осталось убедить остальных. Булганин не заставил себя долго упрашивать, но с другими пришлось потрудиться. Если бы кто-нибудь из них дал знать Берии — игре пришел бы конец. Но даже и это было необязательно: у Берии были свои способы узнавать о содержании конфиденциальных разговоров.

Прежде всего Хрущев направился к Ворошилову. Однако едва он вошел в кабинет последнего в здании Верховного Совета (как предлог для разговора было выбрано общее членство в одной из правительственных комиссий), как тот принялся «громко восхвалять Берию: „Какой у нас, товарищ Хрущев, замечательный человек Лаврентий Павлович, какой это исключительный человек!“» Хрущев в ответ лишь пробормотал что-то вроде: «Может, ты зря так говоришь, преувеличиваешь его качества?» — сказал пару слов по тому поводу, который использовал для встречи с Ворошиловым, и быстро удалился. Он прекрасно понял, что означала эта сцена: «Ворошилов мог так говорить, считая, что его подслушивают, и говорил это для „ушей Берии“. С другой стороны, он считал меня близким к Берии». Теперь, если бы Хрущев заговорил о своем деле напрямую, Ворошилов «мог не

согласиться просто из самолюбия: только что, когда я вошел, он восхвалял его, а потом сразу перешел на мою позицию»[62].

Хрущев не ошибся в оценке истинных взглядов Ворошилова. Когда позже Маленков намекнул ему на заговор, Ворошилов поспешил прикрыть близстоящие телефонные аппараты, прошептал, что согласен, а затем, прослезившись, обнял Маленкова и поцеловал[63].

Кагановича Хрущев пригласил к себе в кабинет. Опасность придала Хрущеву несвойственную ему сдержанность: он молча выслушал пространный рассказ Кагановича, только что вернувшегося из инспекционной поездки по сибирским лесопилкам. «Я его не останавливал, хотя голова у меня была занята совершенно другим. Я проявлял вежливость, тактичность, ждал, пока его тема иссякнет. Когда я увидел, что наступил конец, то сказал: „Это все интересно, что ты рассказывал. Теперь я тебе хочу рассказать, что делается у нас“».

«А кто за?» — был первый вопрос старого лиса Кагановича. Узнав, что на стороне Хрущева и Маленкова большинство, Каганович немедленно выразил желание присоединиться: «Я тоже за, конечно, за, это я просто так спросил». «Но я его правильно понял, — вспоминал позже Хрущев, — и он меня понял»[64].

Не хуже понимал Хрущев и намерения Молотова. Поскольку тот «сам все знал и видел похожее еще при жизни Сталина», и Хрущев «лично слышал, как он очень резко высказывался против Берии», с Молотовым Хрущев заговорил напрямую. Тот тоже поинтересовался позицией Маленкова, а затем без колебаний согласился, добавив, что желательно не только снять Берию со всех постов, но и принять «более крайние меры»[65].

Труднее всего было начать разговор с Микояном. Его заговорщики оставили напоследок, как объяснял Хрущев, потому что «мы все знали, что у Берии и Микояна существовали наилучшие отношения, они всегда стояли один за другого». Однако то же можно было сказать и о Маленкове, и о самом Хрущеве, так что, по-видимому, истинная причина была не в этом. Сын Микояна Серго предполагает, что дело заключалось в этническом предрассудке: Хрущев полагал, что Микоян не захочет строить козни против земляка-кавказца. Поэтому Микояна ни о чем не предупреждали до самого утра 26 июня. В тот день по дороге в Кремль Микоян заехал к Хрущеву на дачу, и оба вели долгий разговор в саду, на безопасном расстоянии от бдительной охраны. Сергею Хрущеву этот ранний визит показался необычным — как и «серьезные лица» обоих мужчин, когда они садились в машину Хрущева, бронированный автомобиль, используемый им в первый раз после смерти Сталина. В разговоре Хрущев

предложил только сместить Берию с поста министра госбезопасности и вместо этого назначить министром тяжелой промышленности; Микоян согласился. Истинные цели заговора Хрущев открыл Микояну уже в Кремле[66].

Вечером накануне события, положившего конец карьере Берии и открывшего путь наверх для Хрущева, «неразлучная троица», как обычно, возвращалась домой из Кремля вместе. Берия довез коллег до улицы Грановского и дальше поехал один. На прощание они пожали друг другу руки. Неделю спустя на пленуме ЦК Хрущев рассказывал, что в тот момент думал: «…Ну, думаю, подлец, последнее пожатие, завтра в два часа мы тебя подожмем. *(Смех в зале.)* Мы тебе не руку пожмем, а хвост подожмем»[67].

Берия был уверен, что ему ничто не угрожает. Несколько дней назад он дал им понять, что за ними следит. «После того как Берия подвез их на улицу Грановского, Хрущев, Маленков и Булганин остановились поболтать, а затем, поскольку дни стояли жаркие, решили разъехаться по дачам. Берии об этом никто не говорил; однако на следующее утро в кабинете Маленкова Берия, указав на Хрущева и Булганина, проговорил: «Они хитрят. Поднялись в квартиру, а потом уехали на дачу». «Мы решили превратить это в шутку, — рассказывал Булганин. — Никита Сергеевич говорит: „Как ты здорово узнаешь, у тебя что — агенты?“». Нетрудно себе представить, как зловеще прозвучала для Хрущева «шутка» Берии[68].

Самоуверенность Берии была не совсем беспочвенной. Под его командованием находились две расквартированные в Москве дивизии внутренних войск, ему подчинялась кремлевская охрана, а начальник Московского военного округа, генерал-полковник Павел Артемьев, начинал службу офицером НКВД. У соперников Берии был доступ к другим военным силам, однако мобилизовать их заранее — означало бы предупредить врага. Пехотинцы и танки Таманской дивизии (той самой, что поддержала Ельцина во время неудавшегося путча в августе 1991 года) вошли в Москву и двинулись в район Красной площади, но не раньше, чем Берия был схвачен. «А кто именно его задержит? — спрашивал Хрущев. — Наша охрана подчинена лично ему»[69]. Заговорщики решили незаметно провести в Кремль вооруженных людей, схватить Берию и сменить кремлевскую охрану прежде, чем подчиненные Берии поймут, что происходит.

Чтобы не возбуждать у Берии подозрений, Хрущев предложил созвать заседание не Президиума партии, а Совета министров. В какой-то момент Маленков должен был предложить перейти к обсуждению партийных вопросов и внести предложение о снятии

Берии со всех постов. В это же время Берию арестуют. Однако «во время заседания охрана Президиума сидит в соседней комнате, — рассказывал позже Хрущев. — Как только мы поднимем наш вопрос, Берия прикажет охране нас самих арестовать»[70].

Заговорщики организовали отъезд Павла Артемьева из Москвы на маневры, а в самый день заговора куда-то отозвали и коменданта Кремля. 26 июня около девяти часов утра Хрущев позвонил Кириллу Москаленко, командующему Московским военным округом, и попросил его выбрать нескольких надежных людей и вместе с ними ждать вызова в Кремль для обсуждения вопросов противовоздушной обороны. «И захватите с собой папиросы, — добавил он. — Понимаешь меня?»

«Я все понял, — вспоминал потом Москаленко. — „Папиросы“ означали оружие». Поскольку входить в здание Кремля с оружием запрещалось, Москаленко и его люди спрятали пистолеты в портфелях и под пиджаками. Булганин предоставил им правительственную машину, которую не стали обыскивать при въезде в Кремль. Маленков и Хрущев обратились также к маршалу Жукову и еще трем людям (в их числе был и Леонид Брежнев), которые приехали в Кремль с Жуковым на его машине.

Обе группы офицеров были препровождены в кабинет, который прежде занимал секретарь Сталина Поскребышев. К этому времени военные уже в общих чертах знали, что им предстоит, а вскоре Хрущев, Маленков, Молотов и Булганин объяснили им их задачу во всех подробностях. По сигналу помощника Маленкова Суханова, сидящего в «предбаннике», они должны были войти в зал заседаний и арестовать Берию. Тот еще не показывался — он, как обычно, опаздывал. Наконец вошел Берия: одет он был неформально, без галстука, однако с портфелем в руках. Около пятнадцати его помощников и охранников остались ждать шефа снаружи. По рассказу Жукова, он был предупрежден, что Берия владеет джиу-джитсу[71].

Заседание началось в полдень и продолжалось около двух часов. Выступление против Берии начал Маленков, прочие его поддержали[72]. Хрущев, по свидетельству Микояна, говорил особенно резко: обвинил Берию в работе на английскую разведку, в том, что после смерти Сталина он старается «подорвать социализм» и «легализовать произвол». Берия — «вообще не коммунист, — продолжал Хрущев. — Он — карьерист, который пролез в партию из карьеристских побуждений. Ведет же он себя вызывающе и недопустимо. Невероятно, чтобы честный человек мог так вести себя».

Поначалу Берия не понял, насколько серьезна ситуация. «Что это ты, Никита?! — воскликнул он. — Что ты мелешь?!» Затем

признал свои «ошибки», но просил не исключать его из партии. Произнеся краткую заключительную речь, Маленков нажал кнопку вызова военных, ждавших в соседней комнате, и объявил: «Предлагаю вам, как председатель Совета министров СССР, задержать Берию». Когда Жуков закричал: «Руки вверх!» — Берия рванулся к портфелю, лежавшему на подоконнике. Испугавшись, что в портфеле оружие, Хрущев схватил его за руку[73].

Москаленко, Жуков и другие офицеры вывели Берию в соседнюю комнату. С него сняли ремень и срезали пуговицы на брюках, чтобы затруднить движения. Ближайшие помощники Берии также были арестованы, верная ему охрана нейтрализована. Все происходило в обстановке строгой секретности. Берия несколько раз просил отвести его в туалет, видимо, надеясь в разговоре наедине перетянуть кого-либо из офицеров на свою сторону — но никто не пришел ему на помощь. Прошло несколько часов (высокопоставленные стражи Берии не имели возможности пообедать, и Суханов готовил им бутерброды). Наконец, под покровом относительной темноты, Москаленко вывел Берию из здания, затолкал в машину, присланную из штаба Военно-воздушных сил, прикрыл ковром и отвез его на хорошо охраняемую гауптвахту, откуда Берию на следующий день переправили в подземный бункер Москаленко в проезде Комиссариата, неподалеку от набережной Москвы-реки. Поздно вечером 26 июня усталый Хрущев вернулся к себе на дачу. «Сегодня арестовали Берию, — сказал он жене и сыну. — Оказалось, что он враг народа и иностранный шпион»[74].

Так завершился один из блистательнейших триумфов Хрущева. Он вел опасную игру, и заговор легко мог быть раскрыт, если бы не самоуверенность Берии. По всей видимости, он недооценивал своих коллег, не считая их способными на решительные действия. Однако есть и другая, куда более сложная гипотеза, заслуживающая рассмотрения, — возможно, Хрущев вел не двойную, а тройную игру. Возможно, он обманул Берию, убедив его, что заговор направлен против Маленкова.

По словам сына Маленкова Андрея и его помощника Суханова, Маленков опасался именно такого развития событий: вот почему он решил «продублировать» Москаленко Жуковым. Позже Маленков рассказывал, что почти все время заседания Берия оставался удивительно спокоен и уверен в себе; когда Хрущев вышел в соседнюю комнату, где находились офицеры, на губах Берии заиграла удовлетворенная усмешка. Та же усмешка будто бы появилась, когда в зал ворвались с пистолетами наготове Москаленко и его люди. И лишь когда Берия увидел Жукова и услышал его крик: «Руки вверх!» — самообладание его

покинуло: он был так поражен таким оборотом событий, что, «несмотря на свою быструю реакцию, сообразительность и решимость, не закричал, не бросился на Жукова, вообще ничего не предпринял»[75].

Разумеется, этот рассказ не стоит безоговорочно принимать на веру. Однако он отчасти объясняет самоуверенность и спокойствие Берии. Возможно, тайные службы получили информацию о заговоре — установили, например, что члены Президиума чаще обычного бывают у Хрущева на даче. Правда, самые секретные разговоры велись на берегу реки, где их никто не мог подслушать, — но иные беседы велись и в квартирах, и в рабочих кабинетах. Вполне возможно, что агенты Берии проявили некомпетентность и не расшифровали вовремя записи «жучков» или что Иван Серов, ставленник Хрущева в окружении Берии, принял меры, чтобы эти записи не попали к шефу[76]. Но также возможно и другое: Берия не обращал внимания на признаки готовящегося заговора, поскольку был уверен, что этот заговор направлен не против него.

Если так, Берия должен был ожидать, что заседание 26 июня окончится арестом Маленкова. «Что это ты, Никита?! — вскричал он, схватив Хрущева за руку, когда понял, что ловушка подготовлена для него»[77]. Такой двойной заговор кажется слишком сложным замыслом для простоватого Никиты Сергеевича — однако мы уже имели немало случаев заметить, что его «простота» давно стала лишь удобной маской.

Победители 26 июня, действуя в классической сталинской манере, объявили Берию «врагом народа» и арестовали его жену и сына, а также ближайших помощников из МВД. Допросы Берии и его приспешников, начавшиеся в начале июля, вели Москаленко и Роман Руденко, бывший прокурор Украины, ставший теперь генеральным прокурором СССР. Опасаясь, что Берия попытается возложить вину на них, его бывшие коллеги слушали секретное заседание суда, состоявшееся в декабре 1953 года, по радио. Однако Берия понимал, что его единственная надежда — не злить бывших товарищей, а вымолить у них помилование; хотя ему не давали бумаги и перьев, он находил возможность забрасывать бывших коллег записками, в которых умолял о прощении. С особой теплотой он обращался к «дорогому Георгию». Маленков «очень волновался, когда читал эти записки, — вспоминал Хрущев, — он боялся, что дело, направленное против Берии, обернется против него. Но мы ему сказали, что *сейчас* обсуждается не этот вопрос» (выделено мной. — *У. Т.*)[78].

В начале декабря Хрущев сказал Руденко: «Пора кончать». 18

декабря начался шестидневный процесс над Берией и шестью его сообщниками, проводившийся в полном согласии со сталинскими приемами: никаких присяжных, никаких апелляций, приговор выносится немедленно. Состав суда (Москаленко и несколько высших партийных и государственных чиновников) не имел конституционного обоснования. Формальные обвинения включали государственную измену, терроризм и контрреволюционную деятельность. Особенно заинтересовал судей длинный список женщин, в том числе известных актрис, а также жен и дочерей элиты — жертв похоти Берии[79].

Следуя директиве Президиума, вынесшего приговор еще до суда, судьи признали Берию и его подчиненных виновными по всем пунктам и приговорили к расстрелу в том самом бункере, где проходил процесс. После оглашения приговора охранники сняли с Берии тюремную робу, оставив его в нижней белой рубахе, связали ему руки за спиной и привязали веревку к крюку, вбитому в деревянную доску особой формы, призванную оградить свидетелей от рикошетящих пуль. Берия попытался заговорить, и Руденко приказал заткнуть ему рот полотенцем. Расстреливал Берию не обычный палач, а генерал-полковник Павел Батицкий. За мгновение до казни свидетели видели, как Берия дико вращает глазами. Батицкий выстрелил в упор ему в лоб. Немедленно вслед за тем тело было сожжено в Донском крематории[80].

Приговор был вынесен и приведен в исполнение 24 декабря. Неделей ранее в советской прессе был опубликован список выдвинутых обвинений. ЦК, разумеется, не дожидался суда: его члены еще в июле постановили сделать Берию козлом отпущения, взвалив на него страшнейшие из сталинских преступлений и оставив незапятнанной репутацию самого Сталина — и свою собственную. Маленков, председательствовавший на пленуме, был особенно осторожен, словно боялся, что поток обвинений против Берии утопит и его. Такую же сдержанность проявляли Каганович и Микоян; Молотов предпочел говорить только о внешней политике. Самую пламенную речь, живую и искреннюю по тону, но явно тщательно продуманную, произнес Хрущев. В своих обвинениях он касался прежде всего тридцатых годов, когда его коллеги имели более непосредственное отношение к террору, чем он сам. Поскольку время нападать на Маленкова еще не пришло, он ограничился лишь намеком на близость последнего к Берии. Стремясь защитить себя, Маленков в ответ намекнул, что за происходившее в годы правления Сталина отвечает прежде всего сам Сталин. Хрущев играл на пленуме главенствующую роль. Константин Симонов был поражен «страстным удовольствием», с которым он описывал пленение

Берии. «Для меня было совершенно очевидным, когда я слушал его, — вспоминал Симонов, — что Хрущев был инициатором этой поимки с поличным, потому что он оказался проницательнее, талантливей, энергичней и решительней, чем все остальные»[81].

Весной и летом 1953 года Рада Аджубей и Сергей Хрущев проводили много времени на даче отца — в роскошном двухэтажном дворце в псевдоготическом стиле, который когда-то принадлежал дядюшке Николая II, московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу. Как только позволила погода, Никита Сергеевич покинул квартиру на улице Грановского с окнами во двор. Он любил цветение яблонь и вишен, сирени и шиповника и долгие прогулки по берегу Москвы-реки. Рада не часто видела отца — он уезжал на работу рано утром, а возвращался поздно вечером, — но запомнила его реакцию на возвышение Берии: «Он прекрасно понимал, что для него самого это может означать либо конец, либо величайшую победу. Теперь все висело на волоске»[82].

Когда выяснилось, что победа остается за ним, вспоминает Алексей Аджубей, «Хрущев даже внешне очень изменился. Стал более уверенным, динамичным». «Еще приметнее стала манера Хрущева вести разговор куда самонадеяннее, чем было недавно». Эту перемену заметили и другие — и сделали соответствующие выводы. Охрана Хрущева начала «иначе, более нагло вести себя». Коллеги по Президиуму уступали ему первое место; когда все руководство куда-либо отправлялось, первым приезжал и уезжал автомобиль Хрущева[83].

По воспоминаниям Аджубея, в июле 1953-го Хрущев решил, что «настал час» — сладкий миг, к которому он будет снова и снова возвращаться в своих воспоминаниях, всякий раз дополняя историю новыми красочными подробностями. Несколько лет спустя, отдыхая на своей крымской даче, Хрущев выйдет из моря в своих мешковатых купальных трусах, плюхнется на песок и начнет рассказывать помощникам, как перехитрил Берию. Во время Совещания коммунистических и рабочих партий в 1960 году эмоциональный Хрущев поразит советских и иностранных лидеров рассказом о том, как Маленков в критический момент «побелел» и его «пришлось пнуть ногой под столом», а сам Берия «позеленел и наложил в штаны». Слаще всего для Хрущева, по словам Константина Симонова, было сознание, что Берия считал его «жирным, неуклюжим, красноорожим дураком, которого он, Берия, всегда переиграет и вокруг пальца обведет». Неудивительно, что совещание в ноябре 1960 года Хрущев закончил пересказом уже известной нам истории Винниченко и

очередным сравнением себя с «сапожником Пиней»[84].

Однако, несмотря на роль, которую сыграл Хрущев в смещении Берии, Маленков и другие по-прежнему его недооценивали. В сентябре 1953 года они допустили его выдвижение из рядового секретаря ЦК в первые секретари (должность, благодаря которой он сумел использовать партаппарат к собственной выгоде) лишь потому, что верили: он будет знать свое место. По словам министра сельского хозяйства Бенедиктова, коллеги Хрущева видели в нем «временщика». В постановлении пленума ЦК пункт о его повышении в должности стоит одиннадцатым из двенадцати — одно это показывает, как мало его ценили[85].

И напрасно! В последующие месяцы Маленкову предстояло осознать и оплакать свою ошибку. Но было ли неизбежным его столкновение с Хрущевым? Маленков не был сверхчеловеком, однако не уступал Хрущеву ни умом, ни талантами. Хрущев был импульсивен, Маленков — более вдумчив и выдержан. Хрущев стремился главенствовать, Маленков охотно удовлетворялся и вторыми ролями. У них были общие цели (особенно в вопросах политики и сельского хозяйства); между ними даже существовало что-то вроде дружбы — насколько это было возможно для членов Политбюро.

Сергей Хрущев характеризовал отношения своего отца с Маленковым не как «дружбу», а как «союз». Однако Нина Петровна высоко ценила жену Маленкова, Аджубеи дружили с его дочерью и ее мужем — архитекторами, а сам Сергей был близок к сыновьям Маленкова — Андрею и Егору, выбравшим научную карьеру. После смерти Сталина Маленков предложил семье Хрущевых вместе переехать в новые дома, строившиеся на Ленинских горах. Пока что оба жили в соседних особняках на проездах Еропкина и Померанцева. Оба дома были построены на рубеже веков, имели просторные дворы (у Хрущева — с садом и пересохшим бассейном, у Маленкова — еще роскошнее, настоящее патио с четырьмя греческими колоннами). Сады соединялись калиткой. За высокими стенами, ограждающими обитателей особняков от любопытных глаз, обе семьи часто встречались. Маленков даже решил выстроить себе новую дачу в Ново-Огареве, неподалеку от дачи Хрущева — «чтобы всегда можно было заехать и спросить совета», вспоминал Сергей Хрущев. Однако вскоре после переезда Маленкову пришлось навсегда покинуть Президиум — а дачу его тридцать лет спустя использовали для переговоров с иностранными делегациями Горбачев и Ельцин[86].

Чем же объяснить вражду, возникшую между Маленковым и

Хрущевым? Политическая культура Кремля подразумевала взаимные подозрения, однако они не достигли бы такой силы, не подкрепляемые личной враждой. По-видимому, Маленков не мог смириться с тем, что Хрущев оказался на первом месте, а Хрущев не мог отказать себе в удовольствии лишний раз унизить Маленкова. Мало того: другие члены Президиума скоро разделились на две партии. «Всем было известно, что Молотов, Каганович и другие члены Президиума ненавидят Маленкова», — писал зять Маленкова Владимир Шамберг. Все они были готовы стоять за Хрущева — которого скоро возненавидят куда сильнее[87].

После ареста Берии Маленков укрепил свои позиции в центральном государственном аппарате, назначив своими заместителями нескольких своих ставленников. Его подчиненные распространяли слух, будто он — племянник Ленина (девичья фамилия матери Маленкова — Ульянова); сам он подчеркивал свою дружбу с академиком Глебом Кржижановским — другом и соратником Ленина, женатым на тетке жены Маленкова[88].

Однако Хрущев превосходил его по многим пунктам. Будучи партийным лидером, он мог использовать в своих интересах аппарат партии, авторитет которой после смерти Сталина значительно укрепился. Он расширял свое влияние, назначая членами ЦК местных партийных боссов[89]. Маленков был выше его в интеллектуальном и культурном отношении, однако как личность — совершенно бесцветен. Хрущев, в противоположность ему, производил впечатление открытого, бодрого жизнелюба, энергичного и практичного руководителя, готового встретить любой вызов с открытым забралом. Геннадий Воронов, первый секретарь Читинского обкома, с удовольствием вспоминал о встрече с этим «открытым и прямым» человеком, «возродившим ленинские нормы в партийной жизни». Иван Бенедиктов, впоследствии выступавший против Хрущева, одобрительно отзывался о его «природном остроумии и находчивости, крестьянском юморе и смекалке, способности проявлять инициативу и привлекать на свою сторону людей любого типа…». Александр Шелепин позже слышал от старших товарищей по Президиуму рассказы о том, как «демократично» держался Хрущев в эти годы, «прислушивался к мнению товарищей, уважительно к ним относился. Часто воскресные дни члены Президиума ЦК, секретари ЦК КПСС проводили с ним на государственной даче, под Москвой, вместе с семьями. Почти ежедневно вместе обедали в Кремле, здесь иногда решались текущие вопросы, в том числе и важные»[90]. Даже Молотов признает, что Хрущев «много ездил на места, он бывал в

колхозах, совхозах. Он сам бывал среди ходоков очень часто, и в этом его не упрекнешь, он как раз в этом отношении имеет положительное качество. Везде бывал — в котельной и конюшне, не в этом дело. Конечно, он встречался больше, чем Ленин, чем Сталин, с простыми крестьянами и рабочими. В наиболее простой обстановке. Нельзя отрицать. Его и меньше стеснялись, его считали своим, народным»[91].

Помимо энергии и личного обаяния, был у Хрущева и еще один козырь — компрометирующие документы, извлеченные из сейфа Берии. Маленков сумел завладеть «признанием» Ежова, сделанным незадолго до казни и обращенным против него; однако «доказательства» того, что он якобы организовал заговор с целью убить Кагановича, ему уничтожить не удалось[92]. Сам Хрущев уверял, что даже не читал эти документы; но новый глава КГБ Иван Серов, конечно, читал[93].

Центральным пунктом программы Маленкова были предложенные им реформы сельского хозяйства. В августе 1953 года он предложил сократить налоги, повысить государственные закупочные цены на сельхозпродукты и поощрять развитие индивидуального крестьянского хозяйства, обеспечивавшего страну значительной долей овощей и молока. Эти меры завоевали широкую популярность; в деревнях до сих пор помнят тогдашнюю поговорку: «Пришел Маленков — поели блинков»[94]. Он отменил добровольно-принудительное распространение облигаций государственного займа.

Кроме того, Маленков заигрывал с интеллигенцией. Как уверяет его сын, именно по его инициативе полотна импрессионистов, долгое время скрывавшиеся в запасниках музеев, снова были выставлены на всеобщее обозрение. Маленков просил ведущих экономистов предлагать более широкие экономические реформы и спрашивал у ведущих ученых их мнение по поводу положения дел в науке; последние нелицеприятно отзывались о Лысенко, биологе-шарлатане, которого Хрущев поддерживал до самого конца своего правления[95].

Как для Хрущева, так и для Маленкова основным препятствием на пути реформ представлялся сформированный при Сталине пропагандистский образ внешнего мира. Если капиталистические страны — непримиримые враги СССР и новая мировая война неизбежна, едва ли Советский Союз может позволить себе сокращение вооружений или снижение бдительности во внутренних делах. Маленков выступил против этих тезисов, настаивая, что «в отношениях СССР с другими государствами нет таких спорных вопросов, которые нельзя было

бы решить мирными средствами», и что ядерная война уничтожит не только капитализм, но и «мировую цивилизацию»[96].

Хрущев никогда не был идеологом, однако «вольнодумство» Маленкова вызывало у него такой же протест, как и попытки последнего укрепить государственную бюрократию за счет партийного аппарата. В ноябре 1953 года Маленков обвинил высших партийных чиновников в коррумпированности и пригрозил вывести органы государственной власти из-под их контроля. Его речь была встречена «гробовой тишиной»: на лицах слушателей «недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность со страхом, страх с возмущением». И тогда раздался из президиума голос Хрущева: «Все, конечно, верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат — это наша опора». И зал взорвался восторженными аплодисментами[97].

Программа Хрущева также основывалась на реформе сельского хозяйства. По утверждению Молотова, Хрущев «решил ввести новую политику» и «негодовал», когда Маленков опередил его своими августовскими предложениями. Хрущев «не мог ни забыть, ни простить», добавляет Микоян, того, что «вся слава» досталась Маленкову. Вот почему на сентябрьском пленуме ЦК Хрущев попытался вернуть себе инициативу[98]. В более открытом обществе принятие решений включало бы в себя обязательное широкое обсуждение, слушания в законодательных органах и парламентские дебаты. Здесь же двое помощников Хрущева, двое редакторов «Правды» и один специалист-агротехник проводили дни и ночи за закрытыми дверями одного из кабинетов ЦК на Старой площади, пытаясь определить истинную глубину кризиса сельского хозяйства, требуя от Центростата точных цифр и получая в ответ раздутую статистику, которой чиновники надеялись порадовать начальство[99].

Несмотря на все усилия статистиков, было очевидно, что сельскому хозяйству грозит катастрофа. Хрущев прямо сказал об этом на пленуме — и завоевал репутацию человека, который не боится смотреть горькой правде в лицо. Более того, стало очевидно, что Маленков лгал в 1952 году, уверяя, что проблема с зерновыми «решена». Четыре месяца спустя, направив коллегам по Президиуму еще более откровенную записку по тому же вопросу, Хрущев в первой же фразе процитировал — хоть пока и не называя имени Маленкова — заявления из его доклада[100].

Предложения Хрущева во многом повторяли идеи Маленкова: снижение налогов, повышение закупочных цен, развитие индивидуального хозяйства. Все это, несомненно, имело смысл — однако по большому счету не устраивало самого Хрущева. Несмотря на всю свою практичность и мужество, он не мог

принять самого принципа, лежащего в основе реформ, — принципа освобождения крестьян от коллективизации[101].

Сентябрьская речь Хрущева сделала его ведущим в правительстве специалистом по сельскому хозяйству. Другие руководители могли возлагать вину за плохие урожаи на погоду или прошлые испытания — но не Хрущев. В 1955 году он начал свою очередную речь по этому вопросу таким вступлением: «Товарищи, идет уже 38-й год Советской власти. Срок немалый. Значит, ссылаться на Николая II нам уже стыдно *(смех в зале),* его давно нет в живых». На другом собрании Хрущев заявил: «Народ говорит нам: „Мясо будет или нет? Молоко будет или нет? Штаны хорошие будут?“ Это, конечно, не идеология. Но нельзя же, чтобы все имели правильную идеологию, а без штанов ходили. *(Смех. Аплодисменты.)*»[102]

Под реформами, предложенными Маленковым и развитыми Хрущевым, имелась в виду прежде всего реорганизация уже имеющихся колхозов и совхозов. Следующее предложение Хрущева — уже целиком его собственное — было новым и неожиданным: ударное освоение так называемой целины — нетронутых степей Казахстана и Западной Сибири[103]. Казахские партийные руководители, с которыми консультировался Хрущев, были против этой идеи, опасаясь, что исконно казахские земли перейдут в руки русских и украинских крестьян, — однако в 1953 году они еще не смели возражать открыто. Вместо этого они попытались принизить ценность потенциальных полей. «Казахстан — область скотоводческая, а не земледельческая. Не стоит развивать целину», — заявил первый секретарь ЦК КПК Жумабай Шаяхметов. «Но неужели мы не сможем распахать хотя пятьдесят тысяч гектаров? — спрашивал Хрущев своего помощника Андрея Шевченко. — Родные мне писали, что и сто тысяч сможем»[104].

Своим родственникам, проживавшим в Северном Казахстане, Хрущев доверял больше, чем лидеру казахской компартии, в выступлении которого он усмотрел «вирус национализма». Поэтому Шаяхметова вскоре заменил украинец Пантелеймон Пономаренко, а его первого заместителя — Леонид Брежнев, а Андрей Шевченко отправился изучать обстановку в Казахстан и Западную Сибирь. Два месяца спустя, когда Шевченко вернулся, Хрущев лежал в постели с высокой температурой. Нина Петровна предупредила Шевченко, что Хрущева «нельзя волновать» — однако тот настоял на том, чтобы его выслушать, затем приказал составить документ с предложениями, подписал его и почти без изменений направил в Президиум.

В записке обещалось быстрое достижение значительных

результатов (не меньше 13 миллионов гектаров распаханной земли за два года, 2,3 миллиона в одном 1954 году)[105] вполне «идеологически выдержанными» мерами. Вместо подкупа крестьян «индивидуальными материальными благами» можно было сыграть на энтузиазме и любви к приключениям, свойственным молодежи. Советская система умела мобилизовывать большое число людей и техники; Хрущеву нравилось думать, что у него в этом особый талант. Кампания по освоению целины предоставляла Хрущеву возможность сыграть любимую роль: объявить об опасности, призвать отважных коммунистов и комсомольцев на борьбу с ней, вдохновить их на бескорыстные подвиги ради общего блага и, в конце концов, торжественно отпраздновать победу.

Весной — летом 1954 года специальными поездами отправились на восток триста тысяч хрущевских «добровольцев», по большей части — горожане, неподготовленные к суровым походным условиям и не менее суровому сибирскому климату. Пока добровольцы воздвигали палаточные городки, Хрущев организовывал подвоз десятков тысяч тракторов и комбайнов. Старые, нецелинные пахотные земли, лишенные необходимой сельскохозяйственной техники, приходили в еще большее запустение, что повышало ставки в игре Хрущева[106]. Он рисковал не в одиночку: большинство коллег поддерживали его даже после того, как он объявил об удвоении объема земель, которые предстояло окультурить. Через несколько лет кампания по освоению целины обернулась экономической и экологической катастрофой — но зато позволила Хрущеву проявить лидерские качества, которых так недоставало Маленкову.

Хрущев «открыл» Кремль не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова. При Сталине древний архитектурный комплекс был закрыт для всех, кроме высшего эшелона партийной элиты. С 1920-х годов в Кремле жили высшие партийные лидеры — Молотов, Каганович, Микоян и Ворошилов. За несколько месяцев до смерти Сталина Сергей Хрущев вместе с несколькими школьными товарищами, пройдя долгий утомительный досмотр, сумел побывать за кремлевскими стенами. А уже в 1954 году по предложению Хрущева в Кремле впервые было проведено детское новогоднее представление, и затем его ворота распахнулись для посетителей. Ворошилов жаловался, что теперь спокойно погулять возле дома не может; не таков был Хрущев — он любил гулять по Кремлю среди туристов, которые обычно его не узнавали, ибо им и в голову не приходило, что руководитель страны станет ходить среди простых людей без охраны[107].

Открытие Кремля имело большой общественный резонанс. Весной 1954 года несколько комиссий Верховного Суда СССР, состоявших из молодых чиновников военной прокуратуры, начали пересмотр судебных процессов сталинской эпохи. В апреле 1954-го были реабилитированы Кузнецов, Вознесенский и другие фигуранты «ленинградского дела», а вскоре и посмертно восстановлены в партии. В начале мая Хрущев отправился в Ленинград на встречу с местными партработниками. Он винил во всем органы КГБ и не называл имени Маленкова — но лишь потому, что этого и не требовалось; к тому моменту протеже Маленкова Василий Андрианов, ставший первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии в 1949-м, был уже уволен. Суд и казнь бывшего главы МГБ Абакумова, состоявшиеся в Ленинграде в декабре 1954-го, увеличили опасность, нависшую над Маленковым. В результате, по словам одного из российских историков, Хрущев окружил Маленкова «свинцовыми стенами, парализующими волю», лишив его способности не только бороться, но даже и выполнять свои непосредственные обязанности[108].

Для коммунистов, хоть немного способных к предвидению, тенденция была очевидна. К концу 1953 года ни одно мало-мальски важное решение не принималось без одобрения Хрущева. До февраля 1954-го на торжественных собраниях Президиума в Большом Кремлевском дворце председательствовал Маленков, в дальнейшем — Хрущев. 26 апреля 1954 года не глава правительства, а руководитель партии утверждал бюджет для Верховного Совета. С начала июня фамилия Маленкова исчезла из верхней строчки официальных бюллетеней: теперь список членов Президиума публиковался в алфавитном порядке. В ноябре канцелярия Президиума, возглавляемая многолетним помощником Маленкова Сухановым, была заменена общим отделом, который контролировал Хрущев. В результате в его руках оказался весь ЦК. В довершение этого в марте 1954 года ставленник Хрущева Иван Серов занял пост главы КГБ[109].

Той же осенью Хрущев — один, без Маленкова — возглавил делегацию, посетившую Китай в честь празднования пятой годовщины образования Китайской Народной Республики. Он вел и партийные, и государственные переговоры с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем. По дороге домой Хрущев встречался с местным партийным руководством Дальнего Востока и Сибири. Все это еще сильнее укрепило его позиции; но характерно и то, что он не опасался надолго покидать Москву.

Личные отношения Хрущева и Маленкова, естественно,

крайне ухудшились. Прежде они вели себя друг с другом как равные; теперь Хрущев принялся «наставлять» Маленкова тоном, от которого даже Нине Петровне и Сергею Хрущеву становилось неловко. Поначалу Маленков с этим мирился, но скоро начал проявлять недовольство. Хрущев даже жаловался домашним на Маленкова, упрекая его за безынициативность — однако, по проницательному замечанию Сергея Хрущева, «если бы Маленков начал проявлять инициативу, отцу это не понравилось бы еще сильнее». Во время отдыха в Крыму в 1954 году двое лидеров ожесточенно схлестнулись по вопросу строительства в Крыму сети санаториев. В ответ на замечание Маленкова, что стране это не по карману, Хрущев взорвался. Его помощник Андрей Шевченко вспоминает: «Спор был жаркий, дошло даже до очень резких выражений. Скажем так: оба поминали друг друга по матушке»[110].

Открытый разрыв произошел в начале 1955 года: сперва — в конце января, на пленуме ЦК, а затем — в феврале, на сессии Верховного Совета, где Маленков из председателя Совета министров превратился в министра электрификации. На пленуме Хрущев обвинил Маленкова в том, что тот был «правой рукой» Берии. «Лаврентий и Георгий, Георгий и Лаврентий, — насмешливо поддакнул Молотов, — они всегда были неразлучны, пили вместе, ездили в одной машине, отдыхали друг у друга на дачах». Суровая резолюция возложила на Маленкова «моральную ответственность» как за «ленинградское дело», так и за другие дела, «сфабрикованные Берией и Абакумовым». Когда Сталин умирал, говорилось в резолюции далее, Маленков «облегчил Берии путь к власти».

За свое короткое единоличное правление Маленков успел дважды проявить себя еретиком. Заявленное им внимание к легкой промышленности (в том числе к производству потребительских товаров) за счет тяжелой, объявил теперь Хрущев, «было вызвано стремлением завоевать дешевую популярность. Это была речь оппортуниста, а не руководителя». «Зачем он вступил в партию, — вопрошал Молотов, — если даже не понимает, чем коммунистический курс отличается от капиталистического?» При «теоретически и политически неверных» формулировках Маленкова, говорилось в резолюции, неудивительно, что некоторые «лжеэкономисты» начали в полный голос высказывать «открыто антимарксистские, антиленинские, правооппортунистические взгляды по ключевым вопросам советской экономики».

Предупреждение Маленкова о том, что ядерная война может уничтожить цивилизацию, «поразило товарищей», заявил Хрущев.

«Черт знает что за чушь», — добавил Молотов. Более столетия назад Маркс предсказал неизбежную гибель капитализма; а значит, у того, кто видит в ядерном оружии угрозу цивилизации, «на плечах не голова, а противоположная часть тела».

Хрущев обвинил Маленкова и в том, что тот поддерживал бериевский план продажи Восточной Германии. Каганович заявил, что Маленков отстаивает «капитализм, социал-демократию, меньшевизм» и «политическую трусость», и процитировал высказывание о нем Сталина: «Человек может быть физически храбр, но как политик труслив»[111].

При Сталине такие обвинения неизбежно привели бы к аресту и ликвидации. Однако времена изменились, и теперь Маленкову разрешили даже остаться в Президиуме, где он лелеял свои обиды и обдумывал планы мести[112]. Одной из причин сдержанности Хрущева было то, что и сам он был близок к Берии и разделял многие идеи, в пропаганде которых теперь обвинили Маленкова. Другой — то, что следующими целями Хрущева были Молотов и Каганович, и в борьбе с ними Маленков мог еще пригодиться[113].

Некоторое время союзу Хрущева и Молотова, казалось, ничто не угрожало. Хрущев продолжал питать к старейшему соратнику Сталина большое уважение. Сразу после смерти Сталина он отстранился от всех внешнеполитических вопросов, предоставив Молотову заниматься ими по своему усмотрению: пока дело не касалось внешней политики, эти двое вполне способны были мирно работать вместе[114]. Когда Маленкова сместили с поста главы правительства, именно Молотов предложил, чтобы его место занял Хрущев[115]. Однако еще до того Молотов и Хрущев начали спорить друг с другом как по внутренним, так и по внешним вопросам, и скоро отношения их заметно ухудшились.

«Нет ни единого серьезного вопроса, по которому Молотов не выдвигал бы возражений, — говорил Хрущев на пленуме в июле 1955 года, где их разногласия впервые стали явными. — Почему? Мне кажется, виной тому его полная оторванность от жизни»[116]. Молотов возражал, когда Хрущев предложил распахать тринадцать миллионов гектаров целины, возражал, когда Хрущев добавил к ним еще два миллиона, и протестовал еще жарче, когда общее число целинных пашен дошло до двадцати восьми — тридцати миллионов гектаров. План Хрущева был не просто «не обдуман», доказывал Молотов, — «это была нелепость. В таком масштабе — авантюра»[117]. Молотов предлагал вкладывать деньги в развитие уже разработанных земель; однако это, вспоминал Хрущев, требовало «вложения больших денег, увеличения выпуска минеральных удобрений и прочих материальных

средств»[118]. В аргументах обеих сторон была своя правда, хотя Хрущев полагал, что «здесь все ясно и без доказательств». На случай, если у кого остались сомнения, Хрущев заявил на пленуме: предыдущая речь Молотова, мол, явно показала, что «о сельском хозяйстве он практически ничего не знает». За все годы, что он прожил у себя на даче, добавил Хрущев, он «в соседний колхоз ни разу и не заглянул» — в отличие от самого Хрущева[119]. Сам же Молотов впоследствии говорил, что Хрущев, увлекшись идеей освоения целины, «нашел путь и несется, как саврас без узды!.. Хрущев мне напоминал прасола. Прасола мелкого типа. Человек малокультурный, безусловно. Прасол. Человек, который продает скот»[120].

Еще одним яблоком раздора стало жилищное строительство. Архитектурные вкусы Сталина вызвали к жизни появление «сталинских высоток» — громоздких, пышных, перегруженных украшениями небоскребов. «Мы выиграли войну, мир смотрит на нас как на победителей, — вспоминал Хрущев слова Сталина. — Что же будет, если (иностранные гости. — *У. Т.*), приехав в Москву, не увидят ни одного небоскреба? Будут нелестные для нас сравнения с капиталистическими городами». Хрущев же предпочитал массовое строительство дешевых многоквартирных домов — в пять этажей (чтобы не тратиться на лифты). Когда Молотов на заседании Президиума заговорил о недовольстве народа жилищными условиями, «я, — вспоминает Хрущев, — смотрел на него тогда, как на новорожденного. Он что же — только теперь узнал, что нет жилья и что люди живут в домах-клоповниках?»[121].

Кроме того, Хрущев начал вмешиваться в советскую дипломатию, особенно в вопросы отношений с другими коммунистическими странами как на государственном, так и на партийном уровне. В 1954 году он посетил Варшаву и Прагу. Но самым серьезным ударом для Молотова стало предложение Хрущева примириться с югославским лидером Тито. Это предложение Хрущев выдвинул с целью исправить «ошибку» Сталина, но также и для того, чтобы насолить Молотову и подорвать его положение.

В 1948 году, когда Тито (по иронии судьбы, бóльший сталинист, чем сам Сталин) был с позором изгнан из социалистического содружества, одним из архитекторов конфликта стал Молотов. После смерти Сталина он одобрил возобновление дипломатических связей с Югославией — но не более того. Югославия, настаивал он, «не социалистическая страна». Восстановление отношений с Тито поощрит «ревизионизм» в других восточноевропейских странах; чтобы

восточный блок не распался, СССР необходимо не умасливать Тито, а демонстрировать силу. Благодаря неустанному повторению, эти сталинистские формулы въелись в мозг и самому Хрущеву. «Мы тогда настолько оторвались от реальности, что сами стали верить в эти глупости»[122].

Ах, если бы Хрущев умел так же трезво относиться к другим мифам, которые пропагандировал сам!

В феврале 1954 года Президиум указал Министерству иностранных дел на необходимость улучшения отношений с Югославией. Однако Молотов продолжал говорить о ней как о фашистском государстве. Хрущев предложил образовать комиссию, которая решит, к какому же типу относится общественная система Югославии; в конце концов комиссия объявила, что там имеет место социализм. Это открыло путь к прямым переговорам с Тито. Молотов потребовал, чтобы югославская делегация приехала в Москву; Хрущев возразил, заметив, что «это будет выглядеть так, что Югославия пришла к нам с поклоном» — и его коллеги согласились в конце мая 1955 года отправить в Белград советскую делегацию с ним самим во главе. Молотов в числе делегатов не значился[123].

Этот визит действительно помог двум государствам сблизиться[124]; однако Молотов остался недоволен. Его сопротивление дало Хрущеву долго ожидаемый шанс, и в июле 1955 года на пленуме ЦК он повел на своего коллегу открытую атаку. Поначалу его реплики звучали сдержанно. Однако, когда Молотов заявил, что Хрущев «говорит все, что в голову взбредет», тот выпалил признание, которое Москва отказывалась официально подтвердить и тридцать лет спустя. Поясняя, как внешняя политика Молотова настраивала весь мир против СССР, Хрущев указал на Корею. «Это мы начали корейскую войну, — заявил он. — Об этом всем известно». — «Всем, кроме нашего народа», — резонно возразил Микоян. Эта перепалка была вычеркнута даже из секретной распечатки стенограммы пленума[125].

А началось все с замечания Молотова, что Президиум решал югославские вопросы в его отсутствие. Хрущев: «Мы вам сказали, когда вы еще были здесь». Молотов: «Я говорю правду». Хрущев: «Правду говорим мы». Вопрос о том, отклоняется ли Молотов от генеральной линии партии, повлек за собой такой обмен репликами. Хрущев: «Вы были против». Молотов: «Нет. Я выражал свое мнение». Хрущев: «Но вы с нами не соглашались». Молотов: «Я выражал свою точку зрения». Хрущев: «Ясно. Все идут не в ногу, один Молотов в ногу».

Прочие члены Президиума, не исключая и Маленкова,

присоединились к Хрущеву[126]. Каганович, еще в сталинские времена известный беспримерной льстивостью и угодничеством, теперь стелился перед Хрущевым: «Товарищ Хрущев выполняет свои обязанности… неустанно, энергично, активно и изобретательно, как подобает большевику-ленинцу и первому секретарю ЦК партии»[127]. Молотов отчаянно защищался и сдался лишь под конец: «Полагаю, что Президиум правильно указал на ошибочность моей позиции по югославскому вопросу… Буду честно и активно работать над исправлением своей ошибки»[128]. Это вызвало очередной выпад Хрущева: «Тридцать четыре года он сидит в Президиуме и из них десять лет несет чепуху!» Если Молотов и дальше собирается работать в том же духе, — продолжал Хрущев, невольно предсказывая собственную судьбу, — «почему бы вам не уйти на пенсию? Мы вам положим хорошую пенсию, будем относиться к вам с уважением — только не вмешивайтесь в нашу работу!» Верно, продолжал он, «самые горячие споры в Президиуме» всегда происходили между ним и Молотовым — однако «я не давал ему повода критиковать меня». Молотов всегда «нападал первым», поскольку привык «задавать тон в Президиуме, а я ему в этом не потакал».

Заключительная речь Хрущева звучит еще задиристее. Молотов хотел подарить Восточной Германии то ли двадцать, то ли двадцать пять автобусов советского производства — «не из серьезных партийных соображений», возмущался Хрущев, а просто чтобы произвести впечатление на восточных немцев. Жена Молотова, как говорят, принимала у себя в доме посла США Чарльза Болена и его жену. «Просто скандал! — негодовал Хрущев. — Мы, члены Президиума, с иностранными корреспондентами не разговариваем без разрешения Президиума — а жена министра открывает частную дипломатическую лавочку и принимает у себя любого, на кого ей захочется взглянуть. Вы — министр иностранных дел, но ваша жена у вас в министерстве не работает!.. Должен сказать вам откровенно, Вячеслав Михайлович, ваша жена вас компрометирует». Взять хотя бы то, что она ездила вместе с Молотовым в Берлин и в Женеву!.. Пройдет несколько лет, и сам Хрущев начнет брать с собой в поездки Нину Петровну и детей — это ему тоже припомнят в октябре шестьдесят четвертого[129].

По окончании пленума Молотов остался и министром иностранных дел, и членом Президиума. На XX съезде, назначенном на следующую зиму, партия должна была продемонстрировать свое единство, и значит, для чисток время было неподходящее[130]. Под конец своей речи Хрущев снизошел до любезности: «Я приложу все усилия для плодотворной и

дружеской работы с товарищем Молотовым, чтобы его знания и опыт по-прежнему помогали укреплять мощь нашей партии»[131]. Видимость мира была сохранена; однако Молотов, как и Маленков, не простил Хрущева и затаил обиду, дожидаясь лишь подходящего случая для ответной атаки.

Глава XI
ОТ СЕКРЕТНОГО ДОКЛАДА ДО ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 1956

14 февраля 1956 года, в 10.00, в Большом Кремлевском дворце открылся XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Около 1355 голосующих и 81 неголосующий депутат представляли на съезде 6,8 миллиона членов и 620 тысяч кандидатов в члены КПСС. Здесь присутствовали представители пятидесяти пяти коммунистических и рабочих партий, в том числе лидеры всех восточноевропейских стран, кроме Югославии. Предполагалось, что на этом съезде, первом после смерти Сталина (и первом — после 1939 года, — проходившем в установленные уставом партии сроки), будет официально прояснена постсталинская политика партии — в том числе статус самого Сталина и взаимоотношения нынешних руководителей, формально осуществляющих коллективное руководство страной. Семьдесят пятая годовщина рождения Сталина в декабре 1954 года и двухлетие со дня его смерти в марте 1955-го были отмечены пышными восхвалениями в прессе. О семьдесят шестой годовщине в декабре 1955 года «Правда» сообщила сухо и кратко[1].

Войдя в зал, депутаты увидели на обычном почетном месте большую статую Ленина. Рядом с ней не было ни портрета, ни фотографии Сталина. Первые слова Хрущева, обращенные к съезду, звучали так: «За период между XIX и XX съездами мы потеряли виднейших деятелей коммунистического движения — Иосифа Виссарионовича Сталина, Клемента Готвальда и Кюити Токуда. Прошу почтить их память вставанием»[2]. Готвальд был лидером чешской компартии, Токуда — генеральным секретарем компартии Японии. После нескольких секунд молчания, вспоминал итальянский делегат Витторио Видали, «мы начали в недоумении оглядываться друг на друга. Что это значит? Кто такой этот Токуда? И что за странная торопливость — как будто Хрущев боится или стыдится называть эти имена»[3].

Основными мероприятиями съезда были отчет ЦК о внутренней и внешней политике СССР, прочитанный Хрущевым, и доклад Булганина о выполнении шестой пятилетки. За ними, как обычно, последовала «дискуссия», состоявшая из заранее подготовленных речей советских и иностранных коммунистов. Оба доклада были посвящены в основном экономическим

вопросам и достаточно бесцветны. Однако в речи Хрущева прозвучало несколько намеков на то, что странное соседство Сталина с никому не известным японцем во вступительном слове было не случайно. ЦК, объявил он, «решительно отвергает культ личности как чуждый духу марксизма-ленинизма». В другом месте он обрушился на «атмосферу беззакония и произвола». Это может относиться только к Сталину, подумал Видали. Однако бразильский депутат, сидевший рядом, шепнул ему, что, скорее всего, речь идет о Берии[4].

Та часть речи Хрущева, что была посвящена внешней политике, также представляла собой знаменательный разрыв с догматами сталинизма (новая мировая война «не неизбежна»; разные страны могут идти к социализму *различными* путями; возможен даже мирный, *нереволюционный* путь), однако имя Сталина не упоминалось и здесь. Аналогичные намеки проскальзывали и в речи Анастаса Микояна: «…В течение примерно двадцати лет у нас фактически не было коллективного руководства, процветал культ личности…»[5] Услышав лестное упоминание о Сталине в письме Мао Цзэдуна, депутаты разразились аплодисментами, а когда лидер французской компартии Морис Торез начал восхвалять Сталина с трибуны, поднялись с мест и приветствовали его бурной овацией[6].

Заседания проходили в течение десяти дней; наконец, 25 февраля съезд завершил свою работу. Иностранные делегаты и гости уже паковали чемоданы, когда советские делегаты были приглашены на закрытое, не значащееся в расписании заседание. Когда Хрущев и другие члены Президиума заняли свои места на сцене, «лица у них были красные и взволнованные», вспоминал специалист ЦК по культуре Игорь Черноуцан, который сидел в первом ряду и мог рассмотреть все детали. Хрущев говорил почти четыре часа, лишь один раз сделав перерыв. Суть его речи заключалась в жесточайшей критике Сталина, который, по словам Хрущева, был виновен в серьезнейших «злоупотреблениях властью». Во время его правления «массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и без нормального расследования порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление». Обвинения в контрреволюционных действиях были «нелепыми, дикими, противоречащими здравому смыслу». Невинные люди признавались в преступлениях благодаря «применению физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства». И за все это несет персональную ответственность Сталин: он «сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были

единственные — бить, бить и бить»[7]. Хрущев перечислил «честных и ни в чем не повинных коммунистов», которых замучили и убили, несмотря на исторгнутые у них пыткой фальшивые признания и мольбы к Сталину о милости. Он обвинил Сталина в некомпетентном руководстве во время войны, в «чудовищной» депортации кавказских народов, в «мании величия», благодаря которой он мог себе позволить фразы типа: «Вот шевельну мизинцем — и не будет Тито. Он слетит…», в поощрении «тошнотворно-льстивых» восхвалений в свой адрес, наконец, в полном разрушении сельского хозяйства, ибо Сталин был человеком, который «никуда не выезжал, с рабочими и колхозниками не встречался», а страну «изучал только по кинофильмам. А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел…»[8].

Хрущев сказал многое, но о многом и умолчал. В его изображении Сталин сделался тираном не ранее середины тридцатых. Хотя троцкистская и бухаринская оппозиции не заслуживали «физического уничтожения», это были «идеологические и политические враги». Хрущев симпатизировал не всем жертвам Сталина, а лишь невинно убиенным *коммунистам,* у многих из которых руки были по локоть в крови. Хрущев не только пощадил Ленина и советский режим, но и вознес им хвалу. Сталин, по его словам, предал Ленина — и Ленин предвидел это предательство, как следовало из документов, которые Хрущев представил делегатам съезда[9].

Хрущев предлагал вернуть страну к ленинизму. В то же время он оправдывал себя и других наследников Сталина. «Где же были члены Политбюро? — спрашивал он. — Почему вовремя не выступили против культа личности? Почему начали действовать только сейчас?» Ответ он давал тот же, что и позже в своих мемуарах — довольно слабый ответ: оказывается, члены Политбюро «в разное время смотрели на вещи по-разному», они, мол, не знали, что творит от их имени Сталин, а когда узнали, было уже слишком поздно. Хрущев повторил слова Булганина, сказанные ему однажды в машине по дороге из Кремля на дачу: «Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему как друга. А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут: или домой, или в тюрьму». В последние годы, продолжал Хрущев, «Сталин, видимо, имел свои планы расправы со старыми членами Политбюро», он хотел «уничтожить старых членов Политбюро и спрятать концы в воду по поводу неблаговидных поступков Сталина, о которых мы сейчас докладываем»[10].

Закончил он так: «Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести

за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят все эти мероприятия»[11].

Многие на съезде были «классическими» сталинистами: эти люди, уничтожавшие бывших коллег и взбиравшиеся наверх по их трупам, теперь испугались за собственные головы. Другие, тайно ненавидевшие Сталина, не верили своим ушам. По воспоминаниям будущего главы КГБ Владимира Семичастного, поначалу речь была встречена «мертвым молчанием; слышно было, как муха пролетит». Наконец послышался шум — сдержанный, приглушенный. Захар Глухов, преемник Хрущева в Петрово-Марьинском районе Донецкой области, чувствовал «одновременно восторг и тревогу» и восхищался Хрущевым, «решившимся заговорить о таких вещах перед такой аудиторией». Дмитрий Горюнов, главный редактор «Комсомольской правды», проглотил пять таблеток нитроглицерина: у него было больное сердце. «Мы спускались с балкона и в лицо друг другу не смотрели, — вспоминал Александр Яковлев, в то время — рядовой функционер отдела пропаганды ЦК, а впоследствии — один из „прорабов перестройки“. — То ли от чувства неожиданности, то ли от стыда или шока». Выходя из зала вместе с другими, Яковлев слышал, как некоторые бормочут себе под нос: «Да-а… Да-а…» — вкладывая в это простенькое междометие целую бурю противоречивых эмоций[12].

Хрущев говорил «эмоционально и взволнованно», вспоминал Черноуцан, перемежая свою речь красочными отступлениями. «Самое интересное из того, что он говорил», как утверждает Яковлев, не попало в официальную стенограмму, опубликованную на Западе в 1956 году, а в СССР не печатавшуюся до 1989 года. Его ненависть к Сталину особенно ярко проявилась в рассказе о страшных поражениях под Киевом и Харьковом в 1941 и 1942 годах. По рассказу Черноуцана, «он взорвался и начал кричать в ярости: „Он был трус! Он просто боялся! За все время войны на фронте не побывал ни разу!“»[13].

Коллеги Хрущева по Президиуму слушали его инвективы с каменными лицами. Рассказывают, что Хрущев обращался поочередно к Молотову, Маленкову, Кагановичу и Ворошилову, предлагая им объяснить свое поведение при Сталине — однако ни во время его речи, ни после нее они не произнесли ни слова[14]. В какой-то момент Хрущев рявкнул на Ворошилова: «Вот ты, Клим, — неужели тебе не надоело врать?!» Ворошилов, пишет Черноуцан, «покраснел до корней своих седых волос». Однако

Хрущев не унимался: «Ты человек уже старый, тебе недолго осталось. Неужели не найдешь в себе совести и мужества сказать правду о том, что видел своими глазами?»[15]

Во время перерыва Черноуцан и Константин Симонов вышли покурить в коридор. «Мы и до того знали немало, — писал позже Черноуцан, — но теперь были потрясены открывшейся нам правдой. Но вся ли это правда? И как отличить истинную трагедию общества от обвинений, которые докладчик сердито швырял во все стороны?»[16] Федор Бурлацкий, в то время молодой партработник, на съезде не присутствовал. Он ждал окончания доклада в редакции партийного журнала «Коммунист». Его начальник Сергей Мезенцев вернулся из Кремля «белый, как снег — нет, точнее даже, какой-то серый, цвета соляной глыбы». «Ну, что там было, Сергей Павлович?» — спросил Бурлацкий. Мезенцев «не отвечал, даже губами пошевелить не мог, словно у него язык прирос к нёбу». После долгого молчания Бурлацкий повторил свой вопрос: что случилось, кого-то исключили из партии или выбрали в ЦК неожиданного кандидата? Или, может быть, шутливо добавил он, решили закрыть наш журнал?

«Журнал?.. Нет, не журнал… Там сказали… Господи, что же теперь думать… что будет дальше… что нам делать?» Что именно поведали ему на закрытом заседании, Мезенцев так и не рассказал. «Нас предупредили, что утечек быть не должно. Иначе враги нас разорвут».

Четыре года спустя Бурлацкий слышал, как Хрущев описывал свой секретный доклад группе иностранных коммунистических лидеров. При этом Хрущев размахивал в воздухе бокалом, «расплескивал вино на белоснежную скатерть, пугал тех, кто сидел с ним рядом, но сам этого не замечал». Только позже «он осторожно поставил бокал на стол и продолжал жестикулировать освободившейся рукой». Зачем он произнес этот доклад? Ответ мы находим все в том же рассказе, прочитанном им в школе: «При царизме в тюрьмах сидели политзаключенные — эсеры, меньшевики и большевики. И был среди них старик сапожник по имени Пиня… Вот что я сделал на XX съезде, — продолжал Хрущев. — Раз меня выбрали первым [секретарем ЦК], значит, надо быть первым — как сапожник Пиня. Я должен был сказать правду о прошлом, чего бы мне это ни стоило»[17].

Секретную речь Хрущева, несомненно, можно назвать самым опрометчивым и самым мужественным поступком в его жизни. Поступком, после которого советский режим так и не оправился — как и сам Хрущев. Маленков и Молотов еще до этой речи были политически побеждены. Хрущев собрал на съезд своих

сторонников и укрепил свои позиции в ЦК. Теперь он был первым среди равных и мог надеяться, что со временем избавится от всех своих соперников. Однако смелое выступление на съезде подорвало его положение; пятнадцать месяцев спустя большинство коллег по Президиуму проголосовали за его смещение с должности главы партии. По установленным правилам игры (Президиум решил, ЦК поставил печать), Хрущев должен был подчиниться и уйти в безвестность. Однако, прижатый спиной к стене, он вступил в драку — и победил. Поединок был столь драматичным, а победа — столь решительной, что стоит спрашивать не о том, как он выиграл, а, скорее, о том, как ухитрился едва не проиграть.

Часть ответа можно обнаружить, следуя логике кремлевской борьбы за власть: соперники Хрущева стремились избавиться от него, пока он не успел сделать то же с ними. По формулировке известного советолога Роберта Конквиста, «ведущая фигура в „коллективном руководстве“ подвергается постоянной опасности, пока полностью не раздавит своих врагов в Президиуме и не завоюет себе прочное и непоколебимое положение»[18]. Другой ответ: наследство Сталина было слишком взрывоопасно, его невозможно было обезвредить без тех потрясений, что прогремели в Восточной Европе осенью 1956 года, подорвав авторитет Хрущева. Однако отправной точкой стал именно секретный доклад. Неужели Хрущев не предвидел его последствий? Действовал ли он импульсивно, стремился укрепить свою власть — или пытался примириться с остатками совести?

Арест Берии и суд над ним расширили круг тех, кто знал о преступлениях сталинской эпохи. С обвинительным актом против Берии на сорока восьми страницах ознакомили местных партийных руководителей и агитаторов. После казни Берии посыпались просьбы о пересмотре дел, связанных с «чистками» — просьбы, которые, по настоянию Хрущева, пересылались сперва в прокуратуру, КГБ и Комитет партийного контроля, а затем — в Президиум для окончательного решения[19].

К концу 1955 года тысячи политических узников вернулись домой, принеся с собой истории о том, что творилось за колючей проволокой. Однако система ГУЛАГа работала по-прежнему, громкие процессы тридцатых годов были еще не пересмотрены, а в лагерях и колониях содержались 781 тысяча 630 заключенных плюс еще 159 тысяч 250 в тюрьмах. До сентября 1955 года на запросы родственников КГБ отвечало стандартной фразой: «Приговорен к десяти годам лишения свободы без права

переписки, нынешнее местонахождение неизвестно». К 1955 году сестра генерала Яна Гамарника, покончившего с собой перед неминуемым арестом в 1937-м, провела в тюрьме и ссылке семнадцать лет. Она обратилась напрямую к Хрущеву, которого знала по работе в Киеве, и он видел ее письмо, однако ЦК отклонил просьбу о помиловании на том основании, что к сестре «врага народа» никакого снисхождения быть не может[20].

Ссыльные начали возвращаться в родные края, многие — не дожидаясь официального разрешения. ЦК был завален письмами; во многих из них, адресованных лично Хрущеву, задавались вопросы о сталинском прошлом[21]. Пострадавшие искали справедливости; партийные и государственные работники боялись повторения террора. Прибавьте к этому изменения во внутренней и внешней политике — особенно демонстративные объятия с главным врагом Сталина Тито, — и станет ясно, что Кремль не мог избежать публичного пересмотра роли Сталина. Однако миллионы простых людей по-прежнему поклонялись его памяти, а тысячи офицеров КГБ, тюремщиков, доносчиков, палачей изнывали от безделья и жаждали награды за свои труды. Даже самые просталински настроенные из коллег Хрущева стремились к частичной десталинизации — хотя бы для того, чтобы поражение в политической борьбе больше не вело к физическому уничтожению проигравшего. Однако все понимали, что обвинения против Сталина будет нетрудно повернуть против каждого из них.

Хрущев взял инициативу на себя: он занимался сбором информации, отдавал распоряжения о пересмотре дел и освобождении заключенных — и хранил наивную веру в то, что социализм, очищенный от пятен сталинизма, станет для своих последователей только привлекательнее. Его доклад стал и своеобразным актом покаяния, призванным восстановить самоуважение. Сам Хрущев вспоминал позже, как в ночь перед выступлением «ему померещилось, что он слышит голоса погибших товарищей»[22].

В рассказе Хрущева о своих мотивах мы встречаем ту же смесь обмана и самообмана, что и в его повествовании о тридцатых годах. Оказывается, только в 1955 году у него «возникла потребность приподнять занавес и выяснить, как же все-таки велось следствие, какие имели место аресты, сколько людей всего арестовали, какие существовали исходные материалы для ареста и что показало потом следствие по этим арестам». Свидетельства, которые собирала целый год специальная комиссия при Президиуме, «явились для многих из нас совершенно неожиданными, — рассказывает он. — Я говорю

и о себе…»[23]. В действительности Хрущева могли поразить лишь истинные масштабы репрессий, сообщение, что преступления партийцев были сфальсифицированы не отчасти, а полностью, да еще, возможно, детальное описание жестоких пыток во время допросов[24].

Между XVIII и XIX съездами прошло тринадцать лет; XX съезд Хрущев решил собрать точно по расписанию, в начале 1956 года. 7 апреля 1955 года он сообщил об этом Президиуму, на следующий день было принято решение, и 12 июля 1955-го это решение было утверждено ЦК. Осенью 1955-го спецслужбы начали пересмотр дел 1936–1939 годов. Примерно в то же время генеральный прокурор СССР Руденко доложил Хрущеву, что «с юридической точки зрения не было оснований» для массовых арестов в конце тридцатых, «не говоря уж о казнях»[25].

У Хрущева было несколько долгих бесед со старыми товарищами, только вернувшимися из лагерей. В конце двадцатых на Украине он знал Алексея Снегова; увы, Снегов знал также и Берию — и знал слишком хорошо, что и стало причиной его ареста в 1937-м. Каким-то чудом Снегову удалось выжить после шестнадцати лет, проведенных за полярным кругом, и после смерти Сталина он сумел отправить Хрущеву письмо из лагеря. Хрущев вызвал Снегова в Москву, использовал его как свидетеля против Берии, а затем не только освободил, но и дал ему важную должность в системе ГУЛАГа, чтобы в дальнейшем ускорить освобождение других заключенных. Хрущев рассчитывал, что Снегов и другие бывшие узники выступят на XX съезде; этого не случилось, но материалы, присланные Снеговым, он использовал в своей речи — и это в то время, когда к «отсидевшим» еще относились как к людям второго сорта и власти не всегда давали им разрешение проживать в Москве[26].

Микоян позже рассказывал, что призывал Хрущева выдвинуть обвинения против Сталина, говоря: «Надо ведь когда-нибудь если не всей партии, то хотя бы делегатам первого съезда после смерти Сталина доложить о том, что было. Если мы этого не сделаем на этом съезде, а когда-нибудь кто-нибудь это сделает, не дожидаясь другого съезда, все будут иметь законное основание считать нас полностью ответственными за прошлые преступления»[27]. По утверждению сына Микояна Серго, первым с Хрущевым заговорил об этом Снегов: «Либо ты расскажешь об этом на следующем съезде, либо сам окажешься под следствием». Анастас Микоян возмущался тем, что в своих мемуарах Хрущев приписал инициативу себе, отказавшись «разделить славу с другими».

Кто бы ни советовал Хрущеву, действовал он сам: именно он настоял на прочтении секретного доклада. В октябре 1955 года он предложил сообщить делегатам съезда все, что известно о сталинских преступлениях. 31 декабря он предложил создать комиссию по рассмотрению деятельности Сталина. «Кому это выгодно? — спрашивал Молотов. — Что это даст? Зачем ворошить прошлое?» Каганович возражал: «Сталин олицетворяет множество побед советского народа. Рассмотрение возможных ошибок продолжателя дела Ленина поставит под сомнение правильность всего нашего курса. Да нам просто скажут: „А где вы были? Кто дал вам право судить мертвого?“»[28]

Внимание Президиума было сосредоточено на чистках конца тридцатых, в особенности на арестах делегатов XVII съезда партии в 1934 году. Хрущев обещал, что комиссия рассмотрит «нарушения социалистической законности», в которых виновен в первую очередь Берия; возглавить комиссию должен был архисталинист Петр Поспелов. Поспелов с 1940 по 1949 год занимал должность редактора «Правды», готовил второе издание «Краткой биографии» Сталина (в одном только 1951-м эта книга была выпущена тиражом семь миллионов экземпляров) и, по воспоминаниям Хрущева, после смерти Сталина рыдал так горько, что Берии пришлось на него прикрикнуть: «Что ты?! Прекрати!» «Мы считали, — объяснил Хрущев, — что это внушит доверие к материалам, которые подготовит его комиссия». Умение Поспелова утопить любое дело в ворохе длинных нудных документов было на руку Хрущеву[29].

Хрущев приказал членам комиссии уделить особое внимание расправам с партработниками, в том числе с его предшественниками на Украине, Павлом Постышевым и Станиславом Косиором. Комиссия работала с документами больше месяца. Тем временем 1 февраля 1956 года Президиум вызвал бывшего первого заместителя главы отдела по расследованию особо важных преступлений НКВД Бориса Родоса, выбивавшего «признания» из Косиора, Власа Чубаря и Александра Косарева. Родос, рассказывал Хрущев на XX съезде, был «ничтожеством с цыплячьими мозгами», «моральным выродком», который, однако, «решал судьбу видных членов партии». Но Родос сообщил Президиуму, что действовал согласно личным приказам не только Берии, но и самого Сталина[30].

Ответы Родоса на вопросы Президиума вызвали между его членами горячий обмен мнениями. «Хватит ли у нас смелости сказать правду?» — спросил Хрущев. «Если это правда, — воскликнул Сабуров, — можно ли называть это коммунизмом?! Это непростительно!» Маленков высказался в пользу доклада на

съезде. С ним согласились Булганин и Первухин. Возражал Молотов, его поддержали Ворошилов и Каганович[31].

Несколько дней спустя комиссия представила доклад на семидесяти двух страницах вместе с копиями приказов Сталина, открывших эпоху Большого Террора. В период с 1935 по 1940 год, сообщалось в докладе, за антисоветскую деятельность были арестованы 1 миллион 920 тысяч 635 человек, 688 тысяч 503 из которых расстреляны. Все громкие дела о «заговорах» и «контрреволюционной деятельности» были полностью сфабрикованы; Сталин лично санкционировал пытки для добывания признаний. Другие члены Политбюро видели копии протоколов допросов и знали о применении пыток. «Факты были настолько ужасающими, — вспоминал позднее Микоян, — что в особенно тяжелых местах Поспелову было трудно читать, один раз он даже разрыдался»[32].

Когда Поспелов закончил, слово взял Хрущев: «Теперь нам ясно банкротство Сталина как руководителя. Что это за руководитель, который всех уничтожает? Надо набраться храбрости и сказать правду». Молотов возражал, настаивая, что Сталина следует представлять исключительно как «великого последователя Ленина». В конце концов «под руководством Сталина партия жила и трудилась тридцать лет, провела индустриализацию, выиграла войну, достигла величайшего могущества». Каганович выступил против Молотова — кто знает, из чувства вины (он упомянул своего репрессированного брата Михаила) или из желания угодить Хрущеву: «Нельзя обмануть историю. Нельзя закрывать глаза на факты. Предложение Хрущева правильно… Мы несем ответственность, однако ситуация была такова, что мы не могли возражать». Но, добавил он, сообщить обо всем делегатам съезда следует таким образом, чтобы «не допустить анархии».

В ходе спора Каганович изменил свое мнение. В конце концов он, Молотов и Ворошилов выступили против Хрущева, однако при голосовании большинство приняло его сторону. Маленков: «Повальное уничтожение кадров невозможно и дальше объяснять борьбой с врагами». Аверкий Аристов: «Говорить: „Мы ничего не знали“ недостойно членов Политбюро». Шепилов: «Мы должны все рассказать партии, иначе партия никогда нам не простит». В заключительном слове Хрущев попытался примирить стороны, заметив, что не видит между ними серьезных разногласий: «съезду нужно сказать правду», но «без смакования»[33].

13 февраля, за день до начала съезда, Президиум постановил, что речь Хрущева должна быть произнесена на закрытом заседании. Позже в тот же день он представил в ЦК предложение:

«…до сих пор мы не ставили вопрос о культе личности так, как он должен быть поставлен… Делегаты съезда должны знать больше, чем они могут узнать из прессы. Иначе они будут чувствовать, что их собственная партия что-то от них скрывает. Им необходимо больше фактического материала, чтобы понять, что происходило. Думаю, члены ЦК со мной согласятся». Нет нужды добавлять, что несогласных не оказалось[34].

Как только речь Хрущева была одобрена, текст стал предметом сложного маневрирования, в котором задачей Хрущева было отредактировать свою речь самому и представить ее в Президиум в последний момент, когда будет уже поздно что-либо менять[35]. 15 февраля он просит Поспелова и Аристова подготовить черновик. Поспелов торопливо составляет тридцатисемистраничный текст (копия которого хранится в архиве) и 18 февраля представляет его Хрущеву. Текст Поспелова короче окончательной речи Хрущева (он касается только конца тридцатых годов), а по содержанию — скучнее, но одновременно и содержательнее. Черновику Поспелова не хватает личных воспоминаний и отступлений, которые придали речи Хрущева такую живость, однако в нем есть статистика, которую Хрущев оставил за кадром: на 383 листах приложения перечисляются 44 тысячи 465 имен партийных и государственных чиновников, а также частных лиц, расстрелы которых были санкционированы лично Сталиным только в 1937–1938 годах[36].

19 февраля Хрущев надиктовывает своей стенографистке дополнительный материал, в том числе и пассажи, отмеченные особенным волнением и гневом. Он обвиняет Сталина в некомпетентном руководстве во время войны, в послевоенном терроре («ленинградское дело», «дело врачей»), в разрушении сельского хозяйства, а также осторожно пытается объяснить, почему он сам и его коллеги были бессильны остановить «тирана». «Он нас использовал»; «всякий, кто возражал… был обречен»; «иной раз посмотрит тебе в глаза, — а он старался сверлить своими глазами… и говорит: что-то у вас глаза сегодня бегают, или: что-то вы сегодня отворачиваетесь, не смотрите прямо в глаза, или, наоборот, — что-то вы сегодня упорно смотрите…»[37]

За четыре дня до этой диктовки Хрущев приказал Шепилову, ставшему редактором «Правды» после Поспелова, который в июле 1955 года был назначен секретарем ЦК, подготовить еще одну версию доклада. Среди ставленников Хрущева Шепилов был необычной фигурой: высокообразованный человек, выпускник МГУ, сотрудник Института красной профессуры. 15 февраля, в начале съезда, он только что закончил свое приветственное

выступление и сидел с правой стороны сцены вместе с другими высокопоставленными лицами, когда к нему подошел Хрущев. Им уже случалось обсуждать Сталина; о сталинских репрессиях Хрущев говорил открыто и «с ненавистью». По дороге из Кремля в здание ЦК на Старой площади Шепилов спросил, что же он должен написать. «Мы с тобой все обсудили, — ответил Хрущев. — Настало время действовать». 25 февраля, слушая речь Хрущева, Шепилов узнал в ней немало своих фраз и абзацев, однако они были перетасованы. Кто редактировал речь? Если сам Хрущев, размышлял позднее Шепилов, то «он, должно быть, ее надиктовал, потому что Никита Сергеевич никогда не писал сам; у него были проблемы с грамотностью, и он об этом прекрасно знал. Один раз я видел его резолюцию на документе, в которой слово „ознакомиться“ было написано так: „ознакомица“»[38].

Итак, около 20 февраля на основе версий Поспелова — Аристова и Шепилова, а также диктовок самого Хрущева был создан новый черновик речи. К этому времени Микоян, Сабуров и другие союзники Хрущева уже предложили упомянуть внешнюю политику и национальные репрессии в послевоенное время — дополнения, особенно привлекательные для Хрущева, поскольку в этот период он находился дальше всего от Сталина и его ближайших приспешников. 23 февраля, за два дня до закрытия съезда, окончательная версия была роздана членам Президиума. Одна копия, сохранившаяся в архивах, испещрена карандашными пометками разных цветов. После описания пыток партработника Роберта Эйхе и его отчаянной мольбы, обращенной к Сталину, кто-то приписал на полях: «Вот он, наш „дорогой отец“!» Другой комментарий добавляет к последней фразе-предупреждению: «Это не должно выйти за границы партии, тем более — просочиться в прессу» слова «не следует обнажать наши раны»[39].

22 февраля Хрущев получил письмо от Василия Андрианова, бывшего первого секретаря Ленинградского горкома, готовившего сцену для кровавого «ленинградского дела»: Андрианов предлагал выступить на закрытом заседании съезда и сообщить «то же, о чем я писал в своем меморандуме и что рассказывал на встрече с вами». Два дня спустя сталинградский товарищ Хрущева генерал Еременко предложил рассказать, как приказы Сталина едва не привели к падению Сталинграда[40]. В тот же день, в десять вечера, Хрущев вызвал своих помощников Григория Шуйского и Петра Демичева, надиктовал дополнительные вставки стенографистке (которая, как рассказывают, посреди диктовки не выдержала и разрыдалась) и приказал представить ему окончательный текст на следующее утро, 25 февраля[41].

В сороковую годовщину секретного доклада, на конференции, посвященной юбилею XX съезда, Михаил Горбачев восхищался «огромным политическим риском», на который пошел Хрущев, его «политическим мужеством» и решимостью, с какой он, «начав разоблачение преступлений сталинского режима», продемонстрировал, что «оказался человеком нравственности»[42]. Но даже если забыть о секретном докладе, первый после смерти Сталина съезд стал для Хрущева «проверкой на прочность» — и эту проверку он выдержал. После своей вступительной речи в первый день съезда, как вспоминал Сергей Хрущев, отец «вернулся домой смертельно усталый, но очень довольный». Он «просто сиял. Произносить вступительный доклад на съезде — для него это была высшая возможная честь»[43].

Съезд укрепил положение Хрущева во власти. Четверо его сторонников (Георгий Жуков, Леонид Брежнев, Екатерина Фурцева и Нуритдин Мухитдинов) стали кандидатами в члены Президиума, Брежнев и Фурцева также вошли в Секретариат; кроме того, состав ЦК существенно обновился за счет новых членов, многие из которых, первые секретари обкомов и горкомов, были обязаны своим положением Хрущеву[44]. Когда Молотова спросили, почему он не осмелился открыто возразить Хрущеву на съезде, тот ответил: «Партия была к этому не готова; нас бы просто вышвырнули». К началу 1956 года «я уже совершенно сошел со сцены, и не только в министерстве [иностранных дел]. Люди старались держаться от меня подальше. Слово мне давали только на официальных заседаниях [Президиума]»[45].

Популярность при советской системе управления не имела такого значения, как положение во власти — однако она тоже шла Хрущеву на пользу. Особенно это касалось популярности в кругах интеллигенции. В 1956 году молодой Андрей Сахаров, спрашивая своего знакомого, нравится ли ему Хрущев, добавлял, что ему — «в высшей степени [нравится], ведь он так отличается от Сталина»[46]. Упрочившееся положение доставляло и материальные блага, от которых Хрущев никогда не отказывался, хотя порой и выражал недовольство, — например, новая резиденция, в которую он переехал с семьей в конце 1955 года[47]. Новый дом был возведен вместе с четырьмя другими на Ленинских горах, напротив спорткомплекса «Лужники» и неподалеку от величественного здания МГУ. Особняк, окруженный высокой бело-желтой оградой, с многочисленной охраной, стоял на крутом берегу Москвы-реки, откуда открывался великолепный вид на Москву: при нем имелся небольшой парк с дорожками для прогулок и уютными полянами (на одной из

которых Хрущевы обычно играли в теннис без сетки); с западной стороны имелся фонтан, а дальше извилистые тропы вели в густой сосновый бор. Сам дом представлял собой массивное двухэтажное здание: просторный холл с мраморными колоннами, большая гостиная с деревянным полом и роскошной чешской люстрой, не менее впечатляющая столовая, где за длинным столом легко можно было рассадить двадцать человек. На втором этаже располагались несколько спален, кинозал (он же бильярдная) и обшитый дубовыми панелями кабинет, в котором Хрущев почти не бывал, предпочитая работать и принимать посетителей в столовой[48].

По соседству с Хрущевыми поселились Микояны, Булганины и Кагановичи. Молотову и Ворошилову новых резиденций не досталось; правда, у них имелись роскошные квартиры в центре города и великолепные дачи, так что в этом им едва ли приходилось завидовать Хрущеву. У старших товарищей было множество других оснований недолюбливать Хрущева — а непредвиденные последствия секретного доклада предоставили им возможность действовать.

Доклад недолго оставался секретным. Хрущеву этого и хотелось[49]. «Очень сомневаюсь, что отец хотел держать это в тайне, — писал Сергей Хрущев. — Наоборот! Его собственные слова подтверждали обратное — он хотел, чтобы его доклад стал известен народу. В противном случае все его усилия были бы бессмысленны. Секретность заседания была лишь формальной уступкой с его стороны…»[50]

1 марта Хрущев отправил в Президиум отредактированный вариант доклада, который, «если не возникнет возражений, будет разослан партийным организациям»[51]. Четыре дня спустя Президиум одобрил распространение доклада — в виде брошюрки в красной обложке с пометкой, гласившей сначала «Совершенно секретно», а в окончательном варианте «Не для печати», — парткомитетам страны, которые, в свою очередь, должны были «ознакомить всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийных активистов, включая рабочих, служащих и колхозников» с его содержанием[52]. Иными словами, в следующие несколько недель доклад Хрущева читался на заводах, в госучреждениях, в колхозах, в институтах и даже в старших классах школ; с ним ознакомились семь миллионов коммунистов и восемнадцать миллионов комсомольцев[53].

Коммунистические лидеры восточноевропейских стран услышали доклад в ночь с 25 на 26 февраля: им его зачитывали советские послы, причем очень медленно, чтобы те успевали делать заметки. Делегация ГДР была поражена, но ее

руководитель Вальтер Ульбрихт быстро оправился; когда на следующее утро его спросили, что же теперь говорить молодым восточным немцам, обучающимся в партийных школах СЕПГ, Ульбрихт цинично ответил: «Скажите им, что Сталин — больше не классик». Правда, в дальнейшем выяснилось, что доклад потряс Ульбрихта больше, чем он хотел показать; он скрывал эту информацию от своего народа, пока она не просочилась в ГДР через западную прессу[54].

Поляки оказались не столь осторожны. Их Политбюро позволило членам ЦК и ведущим партийным активистам зачитать русский текст на партийных собраниях. Меньше месяца спустя по всем польским партячейкам был распространен официальный перевод. Вначале было напечатано около трех тысяч нумерованных копий, но типографии по своей инициативе допечатали еще около пятнадцати тысяч. Хрущев «дал нам понять, что доклад можно опубликовать, — вспоминал Эдвард Моравский, руководитель отдела пропаганды, занимавшийся распространением доклада. — Многие в руководстве были против, и это меня не удивляло. Нужно было идти на [партийные] собрания, отвечать на вопросы; эти люди чувствовали себя преступниками»[55].

Одна из польских копий в начале апреля попала через израильскую разведку в Израиль, а затем и в ЦРУ. В конце мая Госдепартамент США передал копию «Нью-Йорк таймс», и 4 июня 1956 года она была опубликована[56]. Советские власти не подтверждали, но и не отрицали ее подлинность. В ответ на вопрос западных репортеров Хрущев шутливо отослал их к шефу ЦРУ Аллену Даллесу[57]. В самом СССР доклад распространялся так широко, что ни о какой секретности речи уже не шло, однако официально опубликован так и не был. Формально Сталин оставался «великим вождем», и его портреты по-прежнему висели повсюду. Новый югославский посол Велко Мичунович, прилетевший в СССР в конце марта, заметил во Львовском и Киевском аэропортах «огромные портреты Сталина, выполненные в ярких красках и с позолотой на всех возможных местах… как будто не было ни XX съезда, ни секретного доклада Хрущева».

Тот же театр абсурда происходил и в самом Кремле. Первая встреча Хрущева с Мичуновичем продолжалась четыре часа (вместо запланированных пятнадцати минут), и большую часть этого времени Хрущев произносил гневную филиппику в адрес покойного диктатора, портрет которого все еще висел у него в приемной. Если такое творится в Кремле, спрашивал себя Мичунович, «что же происходит в остальном Советском Союзе? Если Хрущев не в силах избавиться от Сталина в собственном

кабинете — как избавится от него Россия?».

Другие советские руководители, с которыми встречался Мичунович, о Сталине почти не упоминали. Молотов избегал любых неудобных тем, «даже не намекнул на то, что десять лет между нашими странами длилась идеологическая и политическая война, которую сам Молотов и начал…». Ворошилов, по-прежнему номинальный глава государства, которого Хрущев описал Мичуновичу как «развалину», ограничился несколькими дипломатическими любезностями. Речи Кагановича звучали совершенно по-старому. Из всех русских, с которыми встречались с 27 марта по 18 апреля Мичунович и его подчиненные, «ни один (кроме, разумеется, Хрущева и Булганина) не отзывался об осуждении Сталина с чувством личного удовлетворения или с убежденностью, что это было сделано правильно»[58].

Открытая публикация доклада могла бы способствовать более решительному разрыву со сталинистским прошлым. С другой стороны, полное замалчивание могло бы предотвратить разразившуюся вскоре смуту. Хрущев стремился к большей публичности, остальные — к меньшей: в результате был принят компромиссный вариант. Но Хрущева раздирали противоречивые эмоции. «Благодаря Сталину он поднялся на вершину, — говорит его дочь Рада. — Его героизм состоял прежде всего в том, что он сумел преодолеть Сталина в себе… Но во многих вопросах он считал Сталина правым, потому что и сам думал, как Сталин»[59]. Сразу после доклада, по словам Алексея Аджубея, «Хрущев… почувствовал, что своим докладом нанес слишком сильный удар. До поры до времени он еще вел линию на разоблачение сталинского произвола, приводил в своих выступлениях на различных собраниях и заседаниях новые факты, поддерживал разоблачение кровавого террора, но чем дальше, тем больше не хотел, чтобы рамки критического анализа расширились. Не хотел, чтобы шла „стенка на стенку“»[60].

«Теперь арестованные вернутся, — сказала в марте 1956 года поэтесса Анна Ахматова, — и две России взглянут друг другу в глаза: та, которая сажала, и та, которая сидела»[61]. На многочисленных собраниях, где зачитывался и обсуждался доклад, критика Сталина выплескивалась за установленные Хрущевым рамки. Антисталинисты касались самых больных мест, которых избегал Хрущев: почему о преступлениях Сталина так долго молчали? Где были в то время нынешние члены Президиума? А сам Хрущев? Почему он молчал и начал критиковать Сталина только после его смерти? Почему Хрущев не оплакивает тех из жертв Сталина, которые не были коммунистами? А может быть, вся советская система ошибочна?

На некоторых собраниях предлагались и даже принимались резолюции по вопросам, не обсуждавшимся публично до конца 1980-х: необходимость реальных прав и свобод, а также многопартийных выборов как гарантии свободы. Собрание в МГУ превратилось в хаос, когда местные партийные руководители попытались изгнать с собрания беспартийных, пришедших послушать доклад Хрущева. В термотехнической лаборатории Академии наук кто-то выкрикнул с места: «Власть принадлежит кучке негодяев! Наша партия заражена духом рабства!» — эти слова были встречены аплодисментами. Председательствующий попытался прервать собрание, но почти половина присутствующих, презрев «партийную дисциплину», проголосовала за его продолжение. Прокурор Кабардинской АССР, возможно, не получив соответствующих указаний Хрущева (или, наоборот, получив их), сообщил местным партактивистам число людей, арестованных и расстрелянных в республике в 1937 году, описал пытки, применявшиеся для выбивания признаний, и назвал имена виновных. В Сибири молодой комсомольский функционер, зачитав доклад Хрущева на студенческом собрании, не знал, что к нему добавить; он беспомощно повернулся к секретарю партийной организации — но тот тоже не знал, что сказать, и в конце концов взять слово пришлось преподавателю физкультуры[62].

В апреле КГБ сообщал о случаях самовольного сноса или уродования памятников и бюстов Сталина, о том, что на одном собрании коммунисты постановили считать Сталина «врагом народа», а на другом — потребовали, чтобы его тело было изъято из Мавзолея. Однако еще больше было тех, кто Сталина защищал. Среди тех, кто присылал сообщения, мы встречаем имя молодого комсомольского работника Михаила Горбачева. Он делал доклад о XX съезде в сельском райкоме неподалеку от Ставрополя. Когда функционер Ставропольского обкома предупредил его: «Народ не поймет, люди этого не примут», Горбачев предположил, что он имеет в виду партаппаратчиков, а не простых людей. Однако последующие две недели заставили его пожалеть о своей самоуверенности. Молодые и образованные люди, особенно те, кто сам пострадал от Сталина или близко знал пострадавших, встречали доклад Хрущева с удовлетворением. Вторая группа «отказывалась верить… или отвергала его утверждения», а третья спрашивала: «К чему это? Зачем полоскать грязное белье на публике?» Но самая неожиданная реакция последовала от простых граждан: они восхваляли Сталина за то, что тот «наказывал» партийных чиновников, которые жестоко их угнетали. «Поплатились они за наши слезы!» — говорили

слушатели Горбачева. «И это, — вспоминал он, — в регионе, по которому в полную силу прокатилось кровавое колесо 1930-х!»[63]

Ни в одном регионе не пролилось крови больше, чем в родной Сталину Грузии, — и ни один регион не оставался так непоколебимо верен его памяти. На третью годовщину его смерти грузины собрались на улицах Тбилиси и некоторых других городов. Мирная траурная демонстрация в память о Сталине превратилась в четырехдневные массовые протесты против доклада Хрущева. Более шестидесяти тысяч человек принесли цветы к памятнику Сталину в Тбилиси; сотни других разъезжали по городу с портретами Сталина на грузовиках. Люди скандировали лозунги: «Слава великому Сталину!», «Долой Хрущева!», «Молотова в Председатели Совета Министров!», «Молотова — в Генеральные секретари!» Некоторые демонстранты требовали даже отделения Грузии от СССР. Когда они двинулись к зданию радиостанции, правительство пустило в ход войска и танки. Произошло два столкновения, одно из них — у памятника Сталину: в нем пятнадцать человек были убиты, пятьдесят четыре — ранены, пятеро впоследствии умерли от ран. В конце концов общее число убитых составило двадцать человек, а раненых — шестьдесят. Многие были арестованы и оказались за решеткой. Когда беспорядки только начинались, вспоминает Сергей Хрущев, его отец надеялся, что молодежь «побуянит немного и успокоится». Однако в конце концов «пришлось вмешаться очень жестко», — говорил Хрущев послу Югославии Мичуновичу. Несколько человек, сказал он, были убиты и ранены; другие одумались и разошлись по домам. Теперь, добавил Хрущев, «мы будем настороже»[64].

Бурное собрание в термотехнической лаборатории вызвало обращение Президиума к коммунистам страны. В нем осуждались «вражеские выходки», все участники собрания в лаборатории были уволены и исключены из партии; вернуться было позволено «только тем, кто способен не только на словах, но и на деле проводить генеральную линию партии…»[65]. «Правда» клеймила неких не называемых по именам коммунистов за «клеветнические фабрикации», «антипартийные выступления» и «непартийные высказывания» и требовала положить конец «чрезмерно либеральному отношению» к «антипартийным клеветникам». 7 апреля официальная газета ЦК КПСС перепечатала обращение из китайской прессы, призывающее молодых коммунистов изучать и хранить работы Сталина и его «историческое наследие». Отступление Хрущева достигло кульминации 30 июня, когда ЦК в своей резолюции фактически переписал его секретный доклад так, как хотелось бы коллегам-сталинистам: в сухом, безличном

тоне, обвиняя Сталина лишь в «серьезных ошибках», отвергая любые попытки «найти источник этого культа в самой природе советского общественного строя», а под конец восхваляя «истинных ленинцев», которые «взяли курс на решительную борьбу с культом личности… немедленно после смерти Сталина»[66].

Ни одно из этих посланий не остановило реабилитацию и восстановление в правах жертв Сталина; напротив, этот процесс ускорился. До съезда было реабилитировано около семи тысяч человек — после съезда счет пошел на сотни тысяч. Продолжалось и освобождение заключенных: около сотни комиссий Верховного Совета СССР разъезжали по лагерям «с целью проверки основательности вынесения приговоров политического характера»[67]. Однако от реабилитации известных жертв Хрущев воздерживался. Комиссия, назначенная в 1955 году для пересмотра дела маршала Тухачевского и других высокопоставленных военных, закончила свою работу, и в январе 1957 года было объявлено о их реабилитации. Однако другая комиссия, разбиравшая дела Зиновьева, Каменева и Бухарина (председателем ее был Молотов, а членами — Ворошилов и Каганович), прозаседав несколько месяцев, объявила, что для пересмотра дел «нет оснований», поскольку обвиняемые «вели антисоветскую деятельность»[68]. В июле 1957-го, после разоблачения заговора, Хрущев обещал вернуться к этим делам — но так и не вернулся, видимо, не желая дискредитировать иностранных коммунистических лидеров, которые, как и он сам, приветствовали эти приговоры[69].

Хрущев хотел продолжать десталинизацию, пусть и более умеренными темпами. Однако, когда 30 июня Молотов настоял на принятии резолюции ЦК, Хрущев вынужден был с этим согласиться. За два месяца до того, на банкете по случаю праздника Первого мая, югославский посол Мичунович заметил признаки напряженных отношений между советским руководством. После парада на Красной площади советские лидеры и иностранные гости сели за роскошный стол. Хрущев как хозяин произнес больше дюжины импровизированных тостов. Затем он вдруг обрушился на Сталина, перемежая свою речь едва замаскированными намеками в адрес Молотова и Ворошилова. По видимости он защищал своих коллег (Молотов — честный коммунист; Ворошилов вовсе не был, как утверждал Сталин, английским агентом), но на самом деле обвинял их в близости к покойному диктатору. После того как Булганин попросил его держаться ближе к теме, Хрущев объяснил, зачем произнес свой секретный доклад, — в пересказе Мичуновича это звучало так:

«Он [Хрущев] человек немолодой, может уйти в любой момент» и потому, «прежде чем покинет этот мир, хотел рассказать всем, что он сделал и как».

Послы, тронутые очевидной искренностью Хрущева, зааплодировали. Реакция его коллег была нескрываемой и выразительной. Явно поддерживали Хрущева только Булганин и Микоян. Молотов, Маленков и Каганович «все это время оставались пассивными». Особенно поразил Мичуновича Молотов, сидевший за столом с ним рядом: «Временами мне казалось, что Хрущев поворачивает нож у него в открытой ране». Ясно было, что члены Президиума чисто по-человечески «не выносят друг друга». Молотов и Маленков с трудом терпели «восторг и наслаждение, с которыми Хрущев играл роль хозяина и повелителя»[70].

В июне Хрущев нанес своим критикам ответный удар. 1 июня, в день, когда президент Югославии Тито прибыл в СССР для двадцатитрехдневного визита, Молотов был вынужден уйти с поста министра иностранных дел, который занимал с 1939 года (не считая четырехлетнего перерыва в последние годы жизни Сталина), передав его ставленнику Хрущева Шепилову. Несколько дней спустя Каганович оставил пост председателя Госкомитета по ценам. Оба остались в Президиуме, однако их отставки ясно показывали, что Хрущев пережил бурю. Переговоры Хрущева с Тито прошли великолепно, начиная с импровизированного визита двух руководителей в кафе-мороженое на улице Горького (причем оказалось, что у обоих нет в кармане ни копейки) и вплоть до роскошного приема, на котором все советские руководители, не исключая и Молотова, во всеуслышание порицали Сталина за его обращение с Югославией, а также поездки в Сталинград и на Черное море, куда Хрущев лично сопровождал Тито[71]. Однако триумф был лишь внешним; югославы отвергли давление Хрущева, направленное на сближение Югославии с Россией. А через два дня после отъезда Тито рабочие в польском городе Познань начали восстание под лозунгом «Хлеб и Свобода», окончившееся лишь после гибели по меньшей мере пятидесяти трех человек, расстрелянных польской армией[72]. Пять месяцев спустя аналогичные, но гораздо более страшные события развернулись в Венгрии.

Истинные корни послевоенных беспорядков в Восточной Европе лежали в глубоко укоренившейся среди поляков и венгров неприязни к русскому правлению, и особенно — к навязанной им после Великой Отечественной войны власти Сталина. Ни в одной из этих стран коммунисты не смогли бы прийти к власти в

результате честных выборов. Коммунистическое руководство Польши, возглавляемое Болеславом Берутом, старалось смягчить худшие стороны сталинизма, включая насильственную коллективизацию, и воспротивилось физическому уничтожению репрессированного коммунистического лидера Владислава Гомулки. Венгр Матьяш Ракоши действовал иначе — он подражал Сталину во всем, в том числе и в организации показательного процесса и казни своего соперника Ласло Райка.

После смерти Сталина польский и венгерский режимы зашатались. Варшавское руководство некоторое время оставалось неизменным — это дало ему время и возможность приспособиться к новшествам без особых потерь для себя. Ракоши Москва позволила остаться у власти, но навязала ему в качестве премьер-министра либерально мыслящего Имре Надя. Ракоши составил заговор с целью изгнания Надя из правительства и в 1955 году, сыграв на падении Маленкова в Москве, преуспел. Обвиненный, подобно Маленкову, в «правом уклонизме» Надь был изгнан из правительства и из партии; однако в результате Венгрия превратилась в пороховую бочку, к которой поднес спичку секретный доклад Хрущева[73].

Впервые Хрущев познакомился с лидерами обоих государств в 1945 году, затем несколько раз посетил Польшу. И Польшу, и Венгрию он неплохо знал, и ему казалось, будто то, что хорошо для СССР; будет хорошо и для них. Во время своего визита в Варшаву в 1955-м он попытался убедить поляков пустить четыре миллиона акров под кукурузу. «Можете мне поверить, — вспоминал позже заместитель министра сельского хозяйства Стефан Сташевский, — Политбюро буквально впало в отчаяние». Особенное уныние навел на них красочный рассказ Хрущева о своей бабушке, у которой росла замечательная кукуруза; «у вас ведь у всех есть бабушки», говорил он польским колхозникам и агрономам. Когда одна польская специалистка по агрокультуре возразила, что Хрущев напрасно разговаривает с ними, словно с ничего не знающими невеждами, тот взорвался и начал кричать Сташевскому, который ему на этой встрече переводил: «Слышите?! Слышите, что они говорят?! Вот вам поляки: всегда думают, что все знают лучше всех!»[74]

Консультироваться с иностранными руководителями перед оглашением секретного доклада Хрущев не стал. Как сам он позже признавал, «особенно болезненно доклад был воспринят в Польше и Венгрии». Польский руководитель Берут читал доклад, лежа с воспалением легких в кремлевской больнице. У него произошел сердечный приступ, и 12 марта он умер. (Интересно, что и сам Хрущев в то время болел. «Только я оказался сильнее

его», — говорил он позже Сташевскому[75].) Доклад «грянул словно удар молотком по голове», — вспоминал преемник Берута Эдвард Охаб. Польские партсобрания, на которых он зачитывался, превращались в антисоветские и антирусские митинги[76].

Заигрывания Хрущева с Тито, который был с венгерским лидером на ножах, подорвали авторитет Ракоши еще до XX съезда, а секретный доклад едва его не прикончил. Хотя Хрущев позже признавал, что было «большой ошибкой» «полагаться на этого идиота Ракоши», Москва позволила ему оставаться на своем месте до лета. Волнения, вызванные докладом Хрущева, в июне выкристаллизовались в бурное собрание в «Кружке Петефи», интеллектуальном форуме, который организовал Ракоши в марте того же года для партийной молодежи, но который скоро превратился в центр оппозиции; на заседании 27 июня, которое советские руководители позже называли «идеологической Познанью» и «Познанью без оружия» (имея в виду июньские волнения в Польше), была принята резолюция, осуждающая сталинизм[77]. На заседании Президиума 12 июля его члены клеймили события в Познани и в «Кружке Петефи» как «идеологическую диверсию империалистов», призванную «разделить [социалистические страны] и уничтожить их по очереди». На следующий день в Будапешт срочно вылетел Микоян. Он рекомендовал Ракоши выйти в отставку; по решению Политбюро его сменил Эрне Гере, впрочем, не более Ракоши способный удержать власть в стране[78].

Следующие четыре месяца волнения в Польше и Венгрии продолжались, не давая покоя Хрущеву и его коллегам. Ставки были высоки и поднимались все выше. Однако советские руководители не видели выхода. Позволить событиям развиваться своим чередом значило привести к крушению социалистического строя; оккупировать Польшу и Венгрию — дискредитировать коммунизм. Кремлевские соперники Хрущева возлагали всю вину на него. Он отчаянно стремился разрешить кризисы, вызванные десталинизацией, продолжая десталинизацию. Провал этой линии означал бы немалый риск и для него самого.

Уже в марте 1956 года беспорядки в Польше потребовали личного присутствия Хрущева. Он отправился в Варшаву на похороны Берута и оставался там, пока ЦК польской компартии не выбрал Беруту преемника. «Мы думали, — замечает по этому поводу Сташевский, — что свободного времени у генерального секретаря великой партии не так уж много». Однако Хрущев не только оставался в Польше гораздо дольше, но и говорил гораздо больше необходимого: он старался объяснить полякам, почему начал десталинизацию, обращаясь не столько к ним, сколько к

самому себе, пытаясь говорить в терминах морали, но постоянно сбиваясь на политические клише, беспрерывно противореча самому себе, как только речь заходила о его личных отношениях со Сталиным.

«Мы освободили тысячи, десятки тысяч, мы реабилитировали своих друзей, — гордо начал он. — А потом — что мы могли им сказать? Просто отводить глаза и говорить, что ничего особенного не случилось?.. Мы решили зачитать весь доклад членам комсомола, восемнадцати миллионам молодых людей с горячими сердцами; если они не будут знать всего, то не поймут нас, просто не поймут. А также собраниям рабочих, не только членам партии, но и беспартийным, чтобы они почувствовали, что мы им доверяем… Вот почему растет солидарность народа с ЦК… И в результате этой нашей работы, товарищи, — я абсолютно в этом уверен, в сущности, головой за это отвечаю, — мы добьемся беспрецедентного смыкания и рядов внутри партии, и людей вокруг нашей партии.

Это была трагедия, — продолжал он, говоря о сталинских временах. — Если вы спросите, товарищи, как мы теперь оцениваем Сталина, кто такой был Сталин, что он из себя представлял, был ли он врагом партии и рабочего класса — ответ „нет“, и в этом-то, товарищи, и заключается трагедия. Это был не враг — это был жестокий человек, убежденный, что вся его жестокость, несправедливости, злоупотребления, все, что он творил, было необходимо для партии. — А через несколько минут, разведя руками, воскликнул: — Не знаю, не понимаю! Черт его знает, как объяснить гибель стольких людей!

Что бы вы сделали, товарищи, — спросил он дальше у своих слушателей, — если бы вам прислали подписанные признания? Что бы вы сказали, прочтя их? Вы были бы в негодовании. Вы бы сказали: да, это враг народа. [Голос из зала: „Нет!“] Нет? Нет, товарищи? Говорите, вы бы так не подумали? Что ж, я не обижаюсь. Потому что вы это говорите в 1956 году, после моего доклада. Как говорится, на ошибках учатся». Если бы он, Хрущев, стал защищать жертв Сталина при его жизни, «меня самого объявили бы врагом… Если ты с ним [со Сталиным] не ешь и не пьешь — значит, враг. Если бы он не был так опасен, мы бы его давно привели в чувство — сказали бы: слушай, голубчик, хватит пить, иди работай, на нас весь народ смотрит. Почему мы не действовали раньше? Товарищи, у меня маленький внук, он все время спрашивает, почему то, почему это. Знаете, были обстоятельства, с которыми приходилось считаться…».

И снова возвращаясь к Сталину: «Думаете, он был глупее нас? Нет. Умнее нас? Как марксист, он был сильнее. Надо отдать ему

должное, товарищи. Но Сталин был больной человек, он злоупотреблял властью». И все же «он всем сердцем и душой хотел служить обществу. В этом я абсолютно убежден. Вопрос в путях и средствах. И это отдельный вопрос. Как увязать все это вместе? Сложно ответить. Очень сложно. Каждый должен все это сам переварить… Мы сейчас пересматриваем темную сторону истории. Но, товарищи, Сталин — хотел бы я рассказать о его светлой стороне, о том, как он заботился о народе. Это был настоящий человек, революционер. Но у него была мания, понимаете, мания преследования. Вот почему он не мог остановиться, казнил даже собственных родственников»[79].

Хрущев проговорил несколько часов. Надеясь, что он наконец уедет, поляки объявили двухчасовой перерыв. Хрущев остался. Подали чай. В ответ на вопрос об отношении Сталина к евреям Хрущев с неожиданным одобрением отозвался о «процентной норме», негласно принятой в Советском Союзе и ограничивающей число евреев на высоких постах. Этот вопрос сам по себе являлся табу, пишет Сташевский; но Хрущев «начал говорить об этом так, что мы чуть не попадали с кресел». «У нас два процента, — брякнул он, — в министерствах, в университетах, везде — два процента евреев. Вам нужно это знать. Я не антисемит, и у нас есть министр-еврей… и мы его уважаем, но всему есть предел». В этот момент экономист Хиларий Минц, еврей, наклонившись к Сташевскому, прошептал «с ужасом в голосе»: «Остановите его, ради бога, прекратите это, он же ничего не понимает, ничего! Прекратите это!»[80]

Хрущев не замечал чувств, обуревавших его слушателей — «голубчиков», как он один раз обратился к ним в своей речи. Много раз он хвастал своей способностью читать по лицам — однако сейчас не вглядывался в них, не понимая, что его болтливая откровенность не укрепляет империю, а лишь усиливает тенденции, грозящие ее разрушить.

В июне, после познаньского мятежа, польские коммунисты впали в отчаяние. В октябре они приняли решение избрать главой государства недавно выпущенного из тюрьмы Гомулку и снять советского маршала Константина Рокоссовского, которого Москва навязала им в качестве министра обороны. Гомулка поднялся «на волне антисоветизма, — вспоминал Хрущев. — Польша могла отколоться от нас в любой момент». Понимая, что «времени терять нельзя», он потребовал себе приглашения в Варшаву[81]. Поляки отказались, однако 19 октября в 7.00 утра в Польшу вылетела делегация в следующем составе: Хрущев, Молотов, Каганович, Микоян, Жуков, командующий объединенными военными силами стран — участниц Варшавского договора

маршал Конев и еще одиннадцать советских генералов. Присутствие Молотова и Кагановича ясно показывает, насколько был подорван кризисом авторитет Хрущева. В аэропорту, по словам Хрущева, произошла «бурная сцена». Если верить полякам, это еще мягко сказано.

Зная свой характер, Хрущев попросил говорить от имени советской стороны Микояна; однако, выйдя из самолета и увидев, что Рокоссовский держится в стороне от поляков, а те демонстративно не обращают на него внимания, он взорвался. «Он еще издали начал грозить нам кулаком», — рассказывает Охаб. Подойдя ближе, Хрущев «стал размахивать кулаком у меня перед носом». Он кричал: «Мы знаем, кто здесь враг советской власти! Нам уже известно, что Охаб — предатель! Этот номер у вас не пройдет!» Позже Гомулка заметил своим коллегам: «Это за пределами моего понимания. Весь разговор шел на таких повышенных тонах, что его слышали все, кто находился в аэропорту, даже шоферы»[82].

Все еще крича, Хрущев вошел во дворец «Бельведер», где советской делегации пришлось почти два часа ждать, пока в соседнем зале соберется польский Центральный Комитет. Поляки демонстрировали, что не желают видеть русских, и Хрущев воспринимал это «как плевок в лицо». После провала советско-польских переговоров (если это можно так назвать)[83] советские войска двинулись на Варшаву. Поляки в ответ мобилизовали собственные силы безопасности. У Гомулки, вспоминал позже Хрущев, «пена на губах появилась» — но он все-таки сумел выдавить из себя нужные слова: «Товарищ Хрущев, прошу вас остановить движение советских войск. Вы думаете, что только вы нуждаетесь в дружбе с польским народом? Я как поляк и коммунист клянусь, что Польша больше нуждается в дружбе с русскими, чем русские в дружбе с поляками. Разве мы не понимаем, что без вас мы не сможем просуществовать как независимое государство? Все будет у нас в порядке, и вы не допустите, чтобы советские войска вошли в Варшаву, потому что тогда будет сверхтрудно контролировать события»[84].

Хрущев, явно смягчившись, приказал остановить армию. По дороге в Москву он совсем успокоился и даже припомнил поговорку: «Утро вечера мудренее». Микоян, тоже совершенно успокоившийся, тем же вечером нежился в горячей ванне, когда явился председатель КГБ Серов и попросил его немедленно явиться домой к Хрущеву. Заседание Президиума было назначено только на следующий день; однако когда Микоян, демонстративно не спешивший, вошел в резиденцию Хрущева, то застал там Президиум в полном составе. «Мы решили, что завтра

утром наши войска все-таки войдут в Польшу», — сообщил ему Хрущев. Микоян был единственным, кто решился возразить. Молотов поддерживал Хрущева с особенным жаром. Булганин и Жуков, на которого возлагалось непосредственное руководство операцией, молчали. Однако Микояну удалось уговорить Хрущева отложить принятие решения до официального заседания Президиума на следующее утро — а назавтра Хрущев вновь передумал. На этот раз он призвал своих коллег к «терпению» и порекомендовал «воздержаться от вооруженного вмешательства», а два дня спустя, на новом заседании, в котором участвовали не только члены Президиума, но и восточноевропейские лидеры, попросил «избегать нервозности и спешки». «Причины для конфликта найти легко, — сказал он, — а вот положить конфликту конец может быть очень сложно»[85]. В конце концов Хрущев проявил терпение и выдержку. Однако в этой истории ярко проявились и его слабые стороны — несдержанность, импульсивность, склонность решать проблемы грубыми силовыми методами. Хрущеву очень повезло, что Гомулка оказался более разумным человеком и что он сам сумел успокоить своих земляков.

Если бы Кремль вовремя заменил Ракоши Надем, у Венгрии тоже был бы шанс перейти к более умеренному социализму мирным путем. Надь был не так умен, как Гомулка, но пользовался куда большей популярностью, чем Гере, который проводил политику ракошизма, а во время кризиса, в довершение ситуации, уехал на два месяца в отпуск и вернулся буквально накануне 23 октября, когда в Будапеште разразилась буря. В этот день состоялась студенческая демонстрация: молодежь приветствовала назначение Гомулки и требовала в Венгрии аналогичных реформ, прежде всего назначения Надя премьер-министром. Сотни тысяч демонстрантов, разделившись на несколько групп, двинулись к парламенту, где собирались слушать речь Надя; к радиостанции, чтобы потребовать прямой трансляции митинга; и к памятнику Сталину, который собирались снести. В других венгерских городах также начались беспорядки под лозунгом отставки правительства. Уже вечером венгерские силы безопасности открыли огонь по безоружным демонстрантам возле радиостанции. В последовавшем затем вооруженном столкновении мятежники легко одолели венгерскую милицию[86].

В тот же вечер в Москве все члены Президиума, кроме Микояна, проголосовали за ввод в Будапешт советских войск. «Венгрия разваливается!» — кричал Молотов. «Власть вот-вот

падет», — вторил ему Каганович. «Это не то, что было в Польше, — подытожил Жуков. — Надо послать войска». Микоян предложил дать венграм возможность «самим восстановить порядок», с помощью Надя, который уже вошел в правительство: «Что мы теряем? Если введем войска, то сами все испортим. Надо сперва испробовать политические средства и только потом действовать силой». Поддавшись давлению своих соперников и собственным страхам, Хрущев также поддержал вооруженное вторжение, но постарался смягчить удар, согласившись с Микояном в том, что с Надем необходимо сотрудничать, и отправив Микояна и Суслова отслеживать обстановку на месте[87].

Ранним утром 24 октября в Будапешт вошли советские пехота и танки. Однако эта мера не успокоила город, а лишь углубила кризис. Бронированные машины окружила молодежь с «коктейлем Молотова». От венгерской полиции помощи было мало; многие перешли на сторону мятежников. К середине дня не менее двадцати пяти восставших пали убитыми и более двух сотен — ранеными. Микоян и Суслов докладывали о «распространении паники среди высшего руководства Венгрии»[88].

26 и 28 октября кремлевские лидеры встречались снова. К этому времени Гере уже заменил новый генеральный секретарь ВКП Янош Кадар и было сформировано новое правительство, включившее в себя политиков докоммунистической эры — однако сопротивление советским войскам не прекращалось. Молотов: «Дело идет плохо. Обстановка ухудшилась, по частям идет дело к капитуляции». Ворошилов: «Товарищи Микоян и Суслов ведут себя спокойно, плохо информированы… Американская агентура действует активнее, чем товарищи Суслов и Микоян». Булганин и Жуков выступили в защиту Микояна, однако и они не отрицали, что положение крайне серьезно. В выступлении Хрущева слышатся смятение и страх: «Мы за многое отвечаем. [Надо] считаться с фактами. Будем ли мы иметь правительство, которое с нами, или будет правительство, которое не с нами, и будут просить вывести войска. Как тогда?… Нет там твердого руководства ни в партии, ни в правительстве. [Восстание] перекинулось на провинцию. Войска могут перейти на сторону восставших…» Однако, несмотря ни на что, «другого выхода нет» — нужно поддерживать нынешнее правительство, какие бы подозрения оно ни вызывало[89].

К 30 октября погибли около трех тысяч человек — венгров и советских солдат. Положение становилось все хуже, но советское правительство, кажется, готово было с этим смириться. «Вывести войска из Будапешта, — заявил Жуков, — если потребуется — вывести из Венгрии… Для нас в военно-политическом отношении

урок». «Нельзя руководить против воли народа», — заметил Сабуров (как будто не этим занимались большевики последние сорок лет!). Молотов и Каганович были согласны с общим мнением.

«Все мы единодушны, — объявил Хрущев. — Есть два пути. Военный — путь оккупации. Мирный — вывод войск, переговоры». Как ни трудно в это поверить, советское правительство действительно готово было смириться с потерей Венгрии[90].

Но только на несколько часов. В тот же день советское правительство опубликовало декларацию, в которой Москва признавала «серьезные ошибки» и «нарушения принципа равенства в отношениях с социалистическими странами», обещая в будущем «признавать полный суверенитет каждой из социалистических стран». Будь эта декларация выпущена несколько месяцев назад и имей Надь возможность цитировать ее самым непримиримым критикам коммунистического строя, венгерская революция могла бы умереть в зародыше. Однако к 30 октября события стремительно выходили из-под контроля, а сам Надь, стремясь удержаться на гребне волны, становился все более радикален. В ответ на более ранний инцидент, когда силы национальной безопасности Венгрии открыли огонь по толпе на площади Парламента и убили не меньше ста демонстрантов, разъяренная толпа ворвалась в здание горкома партии в Будапеште, схватила нескольких офицеров госбезопасности, которых выдали форменные светлые ботинки, и вздернула их на фонарях прямо на площади. Через несколько часов фотографии этой сцены появились в советских выпусках новостей. Несколько венгерских танков, направленных к зданию горкома, были подбиты. В тот же день Надь объявил о выходе Венгрии из Варшавского договора и потребовал у Микояна и Суслова вывода из Венгрии советских войск.

30 и 31 октября Хрущев возвращался в свою резиденцию на Ленинских горах очень поздно. «Будапешт гвоздем сидел в голове и не давал уснуть», — писал он. Всю неделю напряжение росло. 23 октября, вспоминает его сын, Хрущев выглядел «озабоченным, но не мрачным». Два дня спустя во время обычной прогулки по парку «молчал и неохотно отвечал на вопросы». Лишь много лет спустя он рассказал о том, как «колебался», «не зная, что делать» во время кризиса[91]. Его страшила не только потеря Венгрии, но и — еще более — то, что мятеж грозил распространиться на соседние страны. Студенческие демонстрации в Румынии заставили местные власти закрыть границу с Венгрией. Чехословакия и ГДР также выглядели уязвимыми. Казалось,

советский блок вот-вот распадется. «Что нам остается? — спрашивал Хрущев у Тито три дня спустя. — Если мы позволим всему идти своим чередом, на Западе скажут, что мы глупы или слабы, что, в сущности, одно и то же. Этого мы не можем допустить — ни как коммунисты-интернационалисты, ни как руководители советского государства. Тогда капиталисты нас сожрут». Теперь, продолжал Хрущев (в пересказе Мичуновича), люди скажут, что «при Сталине все слушались и не было никаких потрясений, а теперь, когда *они* пришли к власти [тут Хрущев употребил грубое слово для характеристики нынешних советских лидеров], Россия потерпела поражение и потеряла Венгрию. И у них еще наглости хватает в чем-то винить Сталина!»[92].

«Нынешние советские лидеры?» — Хрущев обругал «грубым словом» (из-за дипломатичности Мичуновича мы не знаем, каким именно) самого себя. «Слабым и глупым» Запад мог счесть не только Советский Союз, но и самого Хрущева. С 23 октября, когда прибыла в Москву китайская делегация во главе с Лю Шаоци, Хрущев вел переговоры с Китаем. Еще 30 октября Мао заявлял, что «рабочему классу Венгрии» нужно позволить «восстановить контроль над ситуацией и усмирить восстание своими силами». Однако в ту же ночь, получив от китайского посла в Венгрии доклад о самосуде над офицерами госбезопасности, Мао изменил свое мнение и сообщил об этом в Москву.

Нам неизвестно, когда и как именно Хрущев получил совет Мао; так или иначе, уже 31 октября он совершенно изменил свою позицию[93]. «Пересмотреть оценку, войска не выводить из Венгрии и Будапешта, — заявил он Президиуму, — и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов, империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать. Мы проявим тогда слабость своих позиций. Нас не поймет наша партия. К Египту им тогда прибавим Венгрию. Выбора у нас другого нет!»[94]

За несколько дней до того, говоря о долгом и, как казалось, бесперспективном конфликте Великобритании и Франции с президентом Египта Гамалем Абдель Насером, Хрущев привел эту ситуацию как пример, подтверждающий, что Венгрию нужно оставить в покое: «Англичане и французы сами устроили себе проблемы в Египте. Не стоит идти по их следам». Однако 31 октября, когда английские и французские войска высадились в районе Суэцкого канала и, по сообщениям, победоносно продвигались вперед (как ошибочно полагали в Москве — при поддержке американцев), Хрущев увидел в этом еще одну причину раздавить венгерскую революцию[95].

31 октября из Москвы поступил приказ готовиться к военным действиям. Однако на этом муки Хрущева не закончились. Тем же вечером, вернувшись из Будапешта, Микоян позвонил Хрущеву, которому в первый раз за два дня удалось заснуть. Микоян предупредил, что вооруженное вмешательство будет «страшной ошибкой», и умолял отозвать приказ, «чтобы не подрывать репутацию нашего государства и нашей партии». Хрущев настаивал, что «решение уже состоялось». На следующее утро перед рассветом, когда Хрущев готовился присоединиться к Молотову и Маленкову для совместной поездки по восточноевропейским странам, на пороге его резиденции снова появился Микоян. Вместе они вышли к воротам, где Хрущева ждал лимузин ЗИС-110.

— Думаешь, мне сейчас легко? — взволнованно говорил Хрущев. — Но мы должны действовать. Другого выхода нет.

— Если прольется кровь — я не знаю, что я с собой сделаю! — вскричал Микоян.

— Это было бы большой глупостью, — отрезал Хрущев, направляясь к машине. — Но я верю в твое благоразумие. Ты поймешь правильность нашего решения. Даже если прольется кровь, она убережет нас от большей крови. Подумай, и сам все поймешь[96].

Хрущеву показалось, что его коллега намекает на самоубийство. (На самом деле, как уточнял впоследствии Микоян, он имел в виду, что уйдет в отставку.) На следующем заседании Президиума, в отсутствие Хрущева, Микоян умолял подождать еще дней десять — пятнадцать, или хотя бы три дня, и дать венграм возможность справиться с проблемой самим. Даже Янош Кадар, бывший партнер Надя, которого СССР эвакуировал из Будапешта, предупреждал, что использование силы может «оскорбить социалистические страны» и «снизить дух [венгерских] коммунистов до нуля»[97].

В конце концов Кадар изменил свое мнение. Микоян понял безнадежность своих усилий и махнул рукой. Вместе с Молотовым и Маленковым Хрущев вылетел в Брест для встречи с Гомулкой. Оттуда они с Маленковым полетели в Бухарест, где провели встречу с румынами и чехами, затем в Софию и, наконец, на остров Бриони в Адриатическом море для встречи с Тито. Суетливые беспорядочные перемещения вполне соответствовали состоянию духа Хрущева. Хрущев и Маленков путешествовали инкогнито (насколько это было возможно) на двухмоторном Ил-14. Когда они подлетали к Югославии, по рассказу Хрущева, «погода была отвратительной. Внизу горы, кругом ночь. Начался ураган, сверкают молнии. Я не спал, сидя у окна самолета.

Раньше я много летал, всю войну пользовался самолетом, но в такой переплет никогда еще не попадал».

Наконец Хрущев и Маленков приземлились в аэропорту Пула и оттуда направились по морю в Бриони. «Маленков превратился в живой труп, — вспоминал Хрущев. — Его вообще очень укачивало, даже при езде в автомобиле по ровной дороге. А тут на море — сильная волна. Сели мы в маленький катер. Маленков лег и глаза закрыл. Я уже стал беспокоиться за него. Но выбора у нас не было»[98].

На острове их ждал Тито вместе с послом Мичуновичем. «Темно было, как в колодце, невозможно собственную руку разглядеть, — вспоминал Мичунович. — Хрущев и Маленков выглядели совершенно измученными, особенно Маленков — он едва держался на ногах. Русские расцеловали нас в обе щеки». И четыре дня спустя Мичуновичу вспоминались «неожиданное объятие Маленкова и его пухлая щека, в которой утонул мой нос».

Переговоры начались полчаса спустя, в 19.00, и продолжались до рассвета. Это была уже четвертая ночь, проведенная Хрущевым без сна. Он не просил Тито о поддержке (хотя в конце концов ее получил); какова бы ни была реакция Югославии, завтра утром советские войска войдут в Будапешт. Однако говорил он долго и с большим волнением; Мичунович ясно почувствовал, что Хрущев не уверен в собственной правоте и как будто старается оправдаться.

По окончании переговоров наступило долгое напряженное молчание. Утром 3 ноября Хрущев и Маленков вылетели из Пулы в Москву. Летные условия, по Мичуновичу, оставались «исключительно неблагоприятными»[99]. А два дня спустя Советская Армия сокрушила венгерскую революцию, потопив ее в крови около двадцати тысяч венгров и пятнадцати сотен советских солдат.

Глава XII
ЦЕНА ПОБЕДЫ: 1956–1957

От поражения в Венгрии Хрущев спасся страшной ценой. Развитие событий подтвердило: Сталин был прав, когда предсказывал, что наследники погубят созданную им империю. Правда, Хрущев старался сделать хорошую мину при плохой игре. «Все решилось в один день, — записал Мичунович его слова, сказанные 7 ноября. — Сопротивления практически не было. Кадар — хороший коммунист, он сумеет укрепить власть»[1]. Однако радость Хрущева на праздновании годовщины Октябрьской революции (он разговаривал с Мичуновичем незадолго до торжественного приема в Георгиевском зале; Хрущев был в строгом темном костюме с двумя золотыми звездами на груди) была напускной. На самом деле он был мрачен и погружен в депрессию. Венгерский кризис усугубил его неуверенность в себе. После первого потрясения он удвоил усилия по укреплению своих позиций. Но все его действия выглядели судорожными, беспорядочными — и вместо того, чтобы упрочить положение, к лету 1957 года привели его на грань катастрофы.

В день, когда советские войска начали боевые действия в Венгрии, Хрущев излил свое недовольство на членов Президиума. Когда Молотов упрекнул новое правительство Кадара за критику режима Ракоши, Хрущев отрезал: «Не понимаю товарища Молотова. Вреднейшие мысли вынашивает». А два дня спустя обрушился на Кагановича: «Товарищ Каганович, когда ты исправишься и откажешься от подхалимства?»[2] 12 ноября Хрущев выглядел «озабоченным, как человек, страдающий от серьезных проблем». Когда Мичунович в разговоре с ним упомянул о XX съезде, Хрущев пробормотал: «А теперь некоторые думают, что те наши решения всему виной».

Встреча с Хрущевым растянулась почти на три часа. Никогда еще Мичунович не видел своего собеседника «в таком состоянии». Ярость Хрущева вызвала речь Эдварда Карделя, помощника Тито, в которой отразилось охлаждение советско-югославских отношений после интервенции в Венгрию; особенно возмутили Хрущева слова Карделя, в которых он усмотрел прямой намек на себя: «политика майцы [кукурузы] и картошки». Больше месяца спустя Хрущев все еще выходил из себя, вспоминая об этом; он не сомневался, что Кардель хотел посмеяться именно над ним — ведь «всем известно, как Хрущев интересуется сельским

хозяйством»[3].

В ноябре Молотов был назначен министром государственного контроля (то есть надзора за исполнением решений правительства) — должность не столь важная, как министр иностранных дел, однако показывающая, что он возвращается в большую политику. Кроме того, Хрущев резко изменил тон в разговорах о Сталине. На многолюдном приеме для дипкорпуса и советской элиты в канун Нового года он поразил присутствующих, заявив, что и сам, и его коллеги по-сталински бескомпромиссно борются с классовым врагом. А три недели спустя, перед восемьюстами гостями на приеме в китайском посольстве, объявил, что «быть коммунистом — значит быть сталинцем», хотя в борьбе за марксизм-ленинизм Сталин и допускал «ошибки», и что «дай бог, чтобы каждый коммунист боролся за интересы рабочего класса так же, как Сталин». Враги коммунизма, продолжал он, пытаются использовать критику ошибок, допущенных Сталиным, во вред советскому строю. Но «ничего у вас не выйдет, господа, не видать вам успеха, как своих ушей без зеркала!»[4]

Новая линия в отношении Сталина была не только тактическим отступлением, но и отражением внутренних метаний Хрущева. Эти метания проявились даже в одном из его праздничных выступлений перед комсомольцами, обычно совершенно формальных и бессодержательных. В этом выступлении 8 ноября он набросился с упреками на Микояна — якобы за то, что тот сомневается в перспективности освоения целинных земель, но в глубине души, возможно, Хрущеву хотелось выместить на нем гнев в первую очередь за то, что тот поддерживал десталинизацию и возражал против жестких мер в Венгрии[5]. На приеме в китайском посольстве Хрущев неожиданно заговорил о своем преклонном возрасте: позже было подмечено, что о своих годах Хрущев публично вспоминал еще несколько раз, и всегда — в тяжелых ситуациях[6].

Кризис в Польше и Венгрии, вызванный XX съездом, повлек за собой брожение в самом Советском Союзе. 25 октября не где-нибудь, а в клубе Министерства внутренних дел студенты Московского государственного историко-архивного института провозглашали тосты за развитие Польши и Венгрии и за «четвертую русскую революцию». Студенты МГУ открыто спорили со своими лекторами, когда те пытались оправдать вторжение. В Ленинграде распространялись самиздатовские журналы. Во время демонстрации 7 ноября в Ярославле школьники, шагавшие в рядах демонстрантов мимо местных партийных активистов, развернули большой плакат с призывом вывести войска из

Венгрии. Примерно в это же время юный Владимир Буковский (в будущем — знаменитый диссидент брежневской эпохи) организовал тайное общество «петрашевского» типа, разделенное на пятерки, члены которых не должны были знать друг друга; правда, никакими делами это общество себя не проявило[7].

Волновалась не только молодежь. Согласно рапортам КГБ, знаменитый физик Лев Ландау открыто возмущался попытками оправдать интервенцию: «Как можно этому верить? И вы верите этим мясникам? Они же мясники, убийцы!» Биолог Александр Любищев связывал мятеж в Венгрии с антисталинской речью Хрущева: «Он сделал больше, чем „Голос Америки“ и „Радио Свобода“ вместе взятые». Когда первый секретарь Московского горкома партии Екатерина Фурцева попыталась успокоить разбушевавшееся собрание в Московском институте геодезии и картографии, участники собрания большинством голосов запретили ей вмешиваться. Когда наконец ей все-таки дали слово, она попыталась успокоить собравшихся («Вы хотите больше узнать о событиях в Венгрии? Вы совершенно правы. Это мы виноваты, что даем так мало информации») и даже выразила готовность поддержать требование о роспуске комсомола, превратившегося в бюрократическую организацию. Правда, едва ей удалось покинуть зал, наиболее активных протестующих схватили и отправили под арест[8].

В Севастополе, на хлебозаводе, неизвестные изрезали ножом четырнадцать портретов руководителей. В Серпухове рабочий изуродовал портрет Хрущева. В докладе Хрущеву от 5 декабря первый секретарь Ленинградского обкома Фрол Козлов приводит слова какого-то рабочего: если условия жизни не изменятся к лучшему, то «у нас будет то же, что в Венгрии». Согласно другому официальному докладу, некий автомобильный конструктор из Ярославля, тридцати одного года, член партии, характеризовал партийную политику как: «Молчи — или попадешь за решетку» и спрашивал: «Неужели урок Венгрии ничему нас не научил?» Он же приводил слова своего товарища, побывавшего во Франции: «Они там скорее согласятся умереть, чем жить, как мы»[9].

Таких протестующих было немного, и они были разобщены. Однако отчуждение народа вызвало в руководящих кругах настоящую панику. 19 декабря на заседании ЦК принимается секретное письмо всем партийным органам, подготовленное специальной комиссией с Брежневым во главе[10]. Упомянув, что «враги поднимают голову», автор письма настаивал на том, что «диктатура пролетариата» должна «безжалостно» «пресекать эти преступные действия»[11]. Однако само это письмо подняло в партийных кругах еще больше шума и беспокойства. В начале

1957 года несколько сотен протестующих были арестованы и приговорены к заключению сроком до семи лет. В первые три месяца этого года Верховный суд РСФСР рассмотрел тридцать два дела о «контрреволюционной деятельности», а в последующие шесть недель — еще девяносто шесть. Многие дела пересылались в Верховный суд местными следователями для ускорения процессов. Среди «контрреволюционеров» были: школьник, которого поймали с «антисоветским плакатом», студент, «открыто делавший антисоветские заявления», и рабочий, наклеивший на забор «антисоветскую листовку». Все они были осуждены по печально известной 58-й статье сталинского УК. Та же судьба постигла многих из тех, кто писал анонимные письма в газеты — они не знали, что эти письма переправляются в КГБ. А всего через несколько месяцев Хрущев заявил во всеуслышание, что в СССР больше нет ни одного политзаключенного[12].

Были у Хрущева и хорошие новости. Благополучное разрешение Суэцкого кризиса (подробнее мы расскажем о нем в следующей главе) он рассматривал как триумф своей внешней политики. С целинных полей собрали рекордный урожай[13]. С другой стороны, новый, шестой пятилетний план, принятый на XX съезде, оказался настолько нереалистичен, что его пришлось пересматривать — в декабре 1956 года, на пленуме ЦК, где имя Хрущева почти не упоминалось, а его протеже Шепилов был выведен из Секретариата ЦК[14]. Неудивительно, что Хрущев немедленно отправился в долгую поездку по сельскохозяйственным регионам, награждая медалями местных руководителей («Такой массовой раздачи орденов и медалей здесь, кажется, еще не бывало», — записал у себя в дневнике Мичунович 14 января 1957 года) и напоминая им, что они всем обязаны ему, а не Молотову и не Маленкову. В этот момент он вел себя как американский политик, ведущий избирательную кампанию — и, пожалуй, с 1956 года сходство и вправду было налицо[15].

Все эти поездки Хрущева знаменовали собой своего рода контрнаступление, этапы которого проявились в радикальной индустриальной реформе, обещании «догнать и перегнать Америку» и первом конфликте Хрущева с творческой интеллигенцией. Стремясь продемонстрировать свою способность динамично и решительно руководить, Хрущев серьезно подорвал свои позиции на нескольких фронтах.

В феврале Хрущев предложил упразднить большую часть экономических министерств и заменить их региональными экономическими советами[16]. В этом был некоторый резон: в

самом деле, сложно управлять из Москвы огромным хозяйством, расположенным в одиннадцати часовых поясах. Кроме того, у децентрализованной системы управления был шанс пережить ядерную войну. Реформа Хрущева имела и политический смысл: местные партийные руководители, которые получали возможность управлять этими советами, были в основном его сторонниками, а министры и плановики, опасавшиеся изгнания в провинцию (в СССР — наказание похуже смерти), естественным образом оказались на стороне его критиков.

У хрущевской системы были защитники; некоторые одобряют ее и сейчас[17]. Однако, хотя центральным министерствам в самом деле не хватало знания местности и внимания к местным нуждам, при новой системе должно было пышным цветом расцвести местничество и невнимание к глобальным интересам страны. Если бы реформа была чисто экономической и проводилась постепенно, можно было надеяться на успех; но Хрущев рассматривал ее как политическую акцию и слышать не хотел об отсрочках. Правда, перед принятием нового закона (10 мая 1957 года) он разрешил ограниченную «общенациональную дискуссию» в прессе. Однако само преобразование — создание ста пяти экономических советов, по числу регионов — совершилось буквально за несколько дней.

Молотов и Каганович возражали против этого плана — и не они одни. Молотов настаивал, что преобразование «не подготовлено». «Хрущев испортил неплохую идею, — писал позже Каганович. — При правильной организации она могла бы принести пользу, если бы не стремление Хрущева открывать свою „эврику“ в мировом масштабе»[18]. Когда Фрол Козлов представил план преобразования ленинградским партактивистам, те засыпали его вопросами: что будет с работниками расформированных министерств? Что станет с жильем и коммунальными службами, принадлежащими министерствам?[19] Управленцы и экономисты критиковали отдельные разделы нового закона (но, боже упаси, не всю реформу в целом). Скоро критики Хрущева начали использовать против него его любимые риторические приемы — анекдоты, пословицы и поговорки: Мичунович записал, что новую реформу сравнивают с «тришкиным кафтаном»[20]. После провала антихрущевского заговора член Президиума Фурцева назвала критику экономического регионализма «вражескими выступлениями». Правда, она не уточнила, что сама была растеряна, когда началась, по выражению Шепилова, «эпопея» с региональными советами. «Я экономист, — рассказывал Шепилов, — и мне было ясно, что децентрализация необходима. Но здесь надо было все

тщательно продумать». Шепилов вспоминал, как Фурцева восклицала: «Что же делать? В эти советы назначают людей, о которых мы даже никогда не слышали. Все сгоряча, все не продумано!»[21]

22 мая в Ленинграде Хрущев заявил, что в ближайшие годы СССР догонит и перегонит США по производству мяса, масла и молока на душу населения. Мысль о том, что социалистическое хозяйство способно за несколько десятков лет добиться того, на что капиталистическим странам потребовалось несколько столетий, была одним из догматов большевистской веры. И в самом деле: коллективизацию и индустриализацию удалось провести почти мгновенно — неужели же с каким-то там мясом-молоком будут проблемы? Однако скоро выяснилось, что конкретные задачи порой оказываются намного сложнее глобальных.

Хрущева вдохновляли недавние успехи сельского хозяйства: с 1953 года прирост производства мяса составил 162 %, молока — 105 %, зерновых — 189 %. (Он почему-то полагал, что этот рост будет продолжаться. Но даже если так — США ведь тоже не стояли на месте.) После сорокадневной поездки по американскому Среднему Западу министр сельского хозяйства Владимир Мацкевич подтвердил то, в чем Хрущев и так не сомневался: сельскохозяйственным изобилием Америка обязана не капиталистическому строю, а большим фермам, трудолюбию и изобретательности фермеров, а также широкому распространению кукурузы.

Поначалу Хрущев говорил о «нескольких годах» или «ближайших годах», не называя конкретные сроки. Чтобы догнать Америку, сказал он, необходимо увеличить поступление мяса на 1956 год в 3,2 раза… и вдруг, не в силах сдержаться, добавил: «Уже к 1960 году мы догоним Соединенные Штаты по мясу на душу населения!»

Подобные прогнозы не делаются без предварительного утверждения Президиума, но Хрущев говорил на свой страх и риск. От предупреждений экономистов он благодушно отмахивался: «Я попросил экономистов выяснить, сможем ли мы догнать США по производству продуктов питания, которые я упомянул. Скажу вам по секрету: они мне принесли бумагу — вот такую, с подписями, даже с печатью. И там было сказано: если мы увеличим производство мяса в 3,5 раза, то догоним США к 1975 году! *[Смех в зале.]* Извините меня, товарищи экономисты, если я задел больное место».

Экономисты, продолжал Хрущев, «с точки зрения арифметики» были правы; однако они не учли, на что способен

советский народ. «Иногда человек способен сделать нечто такое, что, казалось бы, превыше его сил. Что ж, пусть наши оппоненты посмотрят, на что способен рабочий класс». А скептики пусть посмотрят на Калиновку. Если его родная деревня смогла так чудесно преобразиться за годы социализма — «кто сказал, что мы не сможем выполнить задачу, которую перед собой поставим?»[22].

Именно эта импульсивность и вызвала основной удар критики. «Подошел к нам, — вспоминал Каганович, — с хвастливым видом изобретателя „великой идеи“». Когда члены Президиума предъявили ему статистические данные, опровергающие его прогноз, — он «сердился, грозно подымал свой маленький кулачок, но опровергнуть цифры Госплана не смог»[23]. По словам тогдашнего союзника Хрущева Алексея Косыгина, «Молотов потратил немало времени, собирая материалы, доказывающие, что никто — ни партия, ни народ, ни руководитель сельского хозяйства, ни крестьянство — не сможет обогнать Америку по производству мяса»[24]. Однако Хрущев не сдался — напротив, повторил свое обещание в интервью, данном телекомпании Си-би-эс. Услышав о том, что американские специалисты называют его прогноз нереалистичным, Хрущев уступил им один год — уточнил, что, возможно, СССР обгонит США не в 1960-м, а в 1961-м. «Но если и так, — шутливо добавил он, — мы не очень расстроимся, и советский народ на ЦК и партию за это в обиде не будет»[25].

Увы, обещания Хрущева не сбылись и тридцать лет спустя.

Среди областей жизни советского народа, контролируемых партией, литература, конечно, стояла далеко не на первом месте; однако в своем стремлении держать под контролем интеллектуальную жизнь народа советские лидеры не могли не уделять внимания культуре. Процесс, позже названный «оттепелью», потихоньку начался сразу после смерти Сталина, однако обрел силу только после XX съезда. После долгой ночи позднего сталинизма, вспоминает Майя Туровская, «явление Хрущева и XX съезд стали для нас настоящими именинами сердца»[26]. В повести Ильи Эренбурга «Оттепель», давшей название целому десятилетию, подвергались жесткой критике представители правящей элиты. Само по себе это было не в новинку для читателей: новостью оказалось то, что такие функционеры изображались не как «пережитки гнилого прошлого», а как плоть от плоти советской системы. Поначалу власти поощряли критику снизу, но затем, испугавшись, начали травить писателей и увольнять тех, кто их издавал[27]. На первых порах роль Хрущева в этом процессе была невелика: стремясь укрепить свой авторитет, он опасался вмешиваться в вопросы

культуры. На Украине ему уже случилось быть и покровителем, и гонителем искусств в одном лице, ту же роль приходилось играть и в Москве. Он по-прежнему неловко себя чувствовал в обществе писателей и художников, особенно на больших собраниях, где законодателем становился он, но судьями — его слушатели. Идеологическая дисциплина, на которой настаивал Хрущев, вызывала у творческих людей естественное отторжение; неудивительно, что отношения были напряженными с самого начала. Люди искусства не понимали, что их нескрываемая неприязнь подрывает не только партийную линию Хрущева, но и его самооценку. Вот почему столкновения с «творческой интеллигенцией» заставляли его буквально набрасываться на аудиторию, разражаться гневными оборонительно-наступательными речами, грубыми и бессвязными; таким поведением он, естественно, не только не достигал цели, но и еще более отталкивал от себя образованных и культурных людей.

Секретный доклад Хрущева на XX съезде подбодрил авторов либерального образа мыслей. Среди новых книг в 1956 году появился роман «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева, роман об инженере-идеалисте, преследуемом безмозглыми и бессовестными бюрократами. В ноябре 1956 года вышел альманах «Литературная Москва» — собрание прозы, поэзии, драматургии, литературной критики и статей на общественно-политические темы. В стихотворении одного из его редакторов, Маргариты Алигер, высмеивался штампованный образ «нового советского человека», а в поэме молодого Евгения Евтушенко «Станция Зима» отмечалось огромное влияние, оказанное десталинизацией на молодое поколение[28].

Партийные пропагандисты пытались прикрикнуть на писателей — но впервые за несколько десятилетий писатели отказались повиноваться. В марте 1957 года на собрании Московского союза писателей некоторые из них, в том числе Дудинцев и Алигер, проявили то, что власти заклеймили ярлыком «нетерпимости к критике»[29]. Хотя Хрущев и пятился назад, к сталинизму, громить литературу он пока опасался. В конце концов именно интеллигенция поддерживала его, когда сталинисты наступали со всех сторон! Однако скоро Хрущев понял: с такими союзниками, как независимые, неуправляемые, свободомыслящие люди искусства, врагов ему не потребуется. Вот почему в мае он присоединился к погрому.

На встрече с партийными лидерами 13 мая 1957 года члены Союза писателей не знали, чего ожидать, — однако, вспоминает Вениамин Каверин, была «надежда, что Хрущев поддержит „либеральные“ тенденции в литературе». Собрание продолжалось

весь день — яркое свидетельство тому, с какой смертельной серьезностью подходила партия к вопросам «культурного строительства». Хрущев говорил последним; речь его продолжалась почти два часа. Та часть его речи, что была подготовлена заранее, звучала весьма предсказуемо: некоторые писатели «односторонне и неправильно поняли сущность партийной критики культа личности Сталина», истолковали ее как «полное отвержение всего, что сделал И. В. Сталин для партии и страны»; роман Дудинцева, несмотря на «сильно написанные страницы», «фальшив в своей основе»; в «Литературной Москве» содержатся «идеологически порочные» произведения. Однако кое-что Хрущев счел нужным добавить от себя.

По словам Каверина, речь его была похожа «на обваливающееся здание». «Начал он с заявления, что нас много, а он один. Мы написали много книг, но он их не читал, потому что, если бы он стал их читать, его бы „выгнали из Центрального Комитета“. Потом в середину его речи ворвалась какая-то женщина „нерусской национальности“, которая когда-то обманула его в Киеве. За женщиной последовал главный выпад против Венгрии с упоминанием о том, что он приказал Жукову покончить с мятежниками в три дня, а Жуков покончил в два. Вот здесь, кажется, он и перешел к „кружку Петефи“, подражая которому некоторые писатели попытались „подбить ноги“ советской литературе».

Во время этой тирады на сцену поднялась Мариэтта Шагинян, армянская писательница, начинавшая свою карьеру с модернистской поэзии, а при Сталине ставшая «живым классиком». Само появление старухи со слуховым рожком, приставленным к уху, вызвало оживление в аудитории; но еще больше не понравился Хрущеву заданный громким голосом вопрос: почему в Армении нет мяса? «„Как нет, как нет?! — закричал Хрущев. — А вот здесь находится такой-то…“ И он назвал фамилию крупного армянского деятеля, который побледнел и встал, услышав свое имя». Однако Шагинян не сдавалась. И несколько дней спустя Хрущев с неудовольствием вспоминал «эту армянскую колбасу»[30].

«Литературная Москва» представляла собой внушительный двухтомник. Хрущев, обращаясь к председателю Союза писателей, назвал ее «грязной и вредной *брошюркой*» (выделено мной. — *У. Т.*) — из чего, говорит его помощник Игорь Черноуцан, стало ясно, что Никита Сергеевич альманаха «в глаза не видел». По утверждению драматурга Николая Погодина, на «Литературную Москву» Хрущева натравил его друг и наушник с киевских времен

Александр Корнейчук: в одной из критических статей альманаха его творчество было названо «бесконфликтным и искусственным», и он решил отомстить. Корнейчук «такого не забывает и не прощает», говорил Погодин Черноуцану. «Единственное, о чем он забыл — объяснить Хрущеву, что в этой „брошюрке“ несколько сотен страниц»[31].

Позднее Хрущев отчасти понял, что стал жертвой дезинформации. Он даже наполовину извинился перед Черноуцаном. «Кажется, я вас обидел, — заметил он. — Почему же вы мне не сказали, что в этой „брошюрке“ два тома? А, ладно, все это ерунда. Давайте-ка подумаем, как нам приободрить этих литераторов. Что, если в следующее воскресенье собрать всех московских писателей и артистов у меня на даче? Пусть погуляют, поудят рыбу, потом подадим им обед на свежем воздухе. Идите, распорядитесь»[32].

В самом деле, не прошло и нескольких недель, как на даче у Хрущева был устроен грандиозный гала-пикник при участии кремлевского руководства. Около трех сотен гостей «катались на лодках, — рассказывает Аджубей, — а на тенистых полянах их ждали сервированные столики, отнюдь не только с прохладительными напитками. Легкий летний дождь, запахи травы и вкусной еды — все должно было настраивать на благостную беседу. Однако получилось иначе. Выступали многие известные писатели, актеры, художники, музыканты. Каждый со своей болью. И чем больше эта боль выплескивалась, тем все большее возбуждение охватывало Хрущева»[33].

В некоторых рассказах об этой встрече утверждается, будто Хрущев был сильно навеселе; на наш взгляд, он был не столько пьян, сколько взволнован. Он старался держать себя в руках, даже сам покритиковал старорежимных «лакировщиков». Но затем снова обрушился на «Литературную Москву» и лично на Маргариту Алигер. «Вы идеологический диверсант! — орал Хрущев. — Отрыжка капиталистического Запада!»

— Никита Сергеевич, что вы говорите! — в ужасе восклицала маленькая, хрупкая Алигер. — Я же коммунистка, член партии…

— Лжете! — оборвал ее Хрущев. — Не верю таким коммунистам!..

Посреди этой перебранки хлынул дождь. Тенты едва не обрушились; высокопоставленных гостей прикрыла зонтами охрана, простые гости промокли до костей. Гремел гром, сверкала молния — а Хрущев все продолжал ораторствовать. Даже у Молотова вытянулось лицо. Микоян прошептал что-то на ухо Хрущеву, стараясь его успокоить. Наконец, едва держась на ногах, Алигер вышла из-за стола; от нее, словно от зачумленной,

шарахались все, кроме писателя Валентина Овечкина[34].

Режиссерами этого сюрреалистического спектакля Черноуцан считает Корнейчука, Леонида Соболева, вскоре возглавившего особенно реакционный Московский союз писателей, и Николая Грибачева, тоже из «старой гвардии», которого Хрущев считал экспертом по вопросам эстетики. Так или иначе, поведение Хрущева дало еще один козырь его критикам в Кремле. Молотов открыто заявил свое недовольство тем, что Хрущев «втоптал женщину [Алигер] в грязь». Не то чтобы судьба Алигер его сильно беспокоила; гораздо сильнее не устраивало Молотова то, что Хрущев «постоянно и по любому поводу подчеркивал наши с ним разногласия. Особенно возмутило меня то, что все это говорилось перед беспартийными»[35]. Каганович и Маленков также использовали этот инцидент против Хрущева. «Стенограммы за столом не вели, — замечает Каганович. — Вряд ли нашлась бы хоть одна стенографистка, которая сумела бы записать сказанное». В появлении этого «непревзойденного „шедевра ораторского искусства“», добавляет он, отчасти виноват алкоголь[36]. По словам Микояна, и без того напряженные отношения в Президиуме «после встречи с писателями стали просто невыносимыми»[37].

Разумеется, отнюдь не грубость Хрущева по отношению к писателям вызвала попытку июньского заговора 1957 года — она послужила лишь одним из предлогов. Сам он позднее утверждал, что критика его поведения была «только поводом» для попытки восстановления сталинизма. Однако, хотя трое из заговорщиков (Молотов, Каганович и Ворошилов) в самом деле были сталинистами, остальных (Маленков, Сабуров, Первухин, Булганин и Шепилов) в этом обвинить было трудно; да и многие из сторонников Хрущева уже начали выражать недовольство его взрывным и непредсказуемым поведением.

Роль Молотова в заговоре неудивительна. Он сам вспоминал, что «постоянно был в оппозиции» к Хрущеву еще с 1954-го, в особенности после открытого столкновения в июле 1955-го, а в 1956–1957 годах их отношения только ухудшились. Хрущев не случайно назвал Молотова «идеологическим лидером» заговора: он противостоял Хрущеву по многим вопросам, но в особенности по вопросу десталинизации, которая угрожала и его убеждениям, и его благополучию[38].

У Кагановича также были причины ненавидеть своего бывшего протеже, которому приходилось теперь подчиняться. Однако с Молотовым они, вспоминал их бывший коллега по Политбюро Андрей Андреев, были «прямыми противоположностями». «Молотов не выносил Кагановича; все

время совместной работы в ЦК они друг друга ненавидели». Что же касается Маленкова — основного «организатора» путча, по словам Хрущева, — его Молотов также терпеть не мог и еще в январе 1955 года поддержал Хрущева, проголосовав за его смещение. «Каганович был вечно недоволен Маленковым, — вспоминает Андреев, — и подозревал, что тот хочет его сбросить»[39]. В отличие от Молотова и Кагановича, Маленков поддерживал инициативы Хрущева; однако он присоединился к заговору, поскольку другого выхода не видел. «Или мы их, или они нас», — сказал он Сабурову[40]. К активным действиям Молотова, Маленкова и Кагановича подтолкнул сам Хрущев, заговоривший о том, что собирается осенью расширить Президиум: в этих словах они увидели предвестие грядущей чистки.

Ворошилов не играл в заговоре заметной роли. Номинально занимая высшую должность в государстве, реально он был декоративной фигурой, которую никто не принимал всерьез. По словам Хрущева, он был способен на самые дурацкие выходки — например, оскорбил иранского шаха в беседе с новым послом, заявив ему при вручении верительных грамот: «У нас тоже были цари, но мы Николая прогнали и с тех пор прекрасно без царей обходимся»[41]. К заговору он присоединился не только потому, что был искренним сталинистом и на руках его тоже было достаточно крови, но и из-за постоянных насмешек Хрущева. «Он просто в грязь втаптывает тех товарищей, которые с ним не согласны», — сетовал позже Ворошилов. Шепилов вспоминал, что Ворошилов одним из первых начал жаловаться ему на Хрущева. «Голубчик, — говорил ему Ворошилов, — этот человек оскорбляет абсолютно всех!»[42]

Булганин также не был гением. «Пост председателя Совета министров не предназначен для идиота», — с усмешкой говорил Хрущев Мичуновичу после провала заговора[43]. Знаменитая оперная певица Галина Вишневская вспоминает об «интеллигентной внешности и приятных манерах» Булганина: ей виднее, поскольку Булганин много лет преследовал ее своими домогательствами — в том числе и у себя на дне рождения, роскошном празднике, где гости говорили «громко и властно», пили «без удержу», «льстили Булганину, снова и снова называя его „нашим интеллектуалом“, потому что знали, что ему это нравится», и вспоминали о тридцатых годах как о золотом веке[44]. Булганину тоже случалось делать промахи, приводившие Хрущева в ужас и негодование. Так, на приеме в Калькутте в 1955 году он сравнил Ганди с Лениным. «Когда он это сказал, я дрожал от гнева», — вспоминал Хрущев. А в 1956-м Булганин назвал

верным ленинцем Тито. «Мы тогда осудили Булганина за это, о чем вы знаете из документов, которые рассылались. Конечно, Булганину это была заноза в сердце». В Финляндии, еще слишком хорошо помнившей войну с СССР, Булганин заметил, что из фермы, которую он посетил, получился бы отличный военно-наблюдательный пункт. «Я чуть не ахнул. Слушай, говорю, что ты говоришь. А он мне отвечает: ты гражданский, а я военный. Ну какой ты военный! Ты же должен думать, прежде чем говорить. Есть такая поговорка: в доме повешенного не говорят о веревке»[45].

Хрущев поддержал назначение Булганина главой правительства отчасти и для того, чтобы блистать на его фоне. Булганина коробили насмешки Хрущева, однако возражать он не осмеливался. С другими заговорщиками он никогда не состоял в дружбе (по крайней мере, так утверждал он сам), однако начал сближаться с ними по мере того, как росло общее недовольство. В сущности, для путча он был необходим. Как глава правительства (пост, который до него занимали Ленин и Сталин), он обладал ресурсами и информацией, которые сильно облегчали подготовку заговора. «Если бы не Булганин, — говорил позже Хрущев, — Сабурова и Первухина тоже там бы не было»[46].

Сабуров и Первухин не были близки к Хрущеву, а его план децентрализации угрожал их служебному положению. По признанию самого Первухина, он решился примкнуть к заговору 20 мая, после памятного пикника с писателями; эта сцена подтолкнула его к тому, чтобы сделать выбор[47]. Сабуров «разогревался» дольше. В начале мая Булганин пожаловался ему, что председатель КГБ Серов следит за членами Президиума. Примерно в то же время Маленков предупредил Сабурова, что Хрущев намерен от него избавиться; тогда же они перешли на «ты». Однако Сабуров продолжал колебаться до самого начала активных действий — когда, как сказал ему позднее на пленуме Хрущев, «черт вас втянул в это дело»[48].

Шепилова Черноуцан характеризует как человека «образованного, разумного и культурного»[49]. Сам Шепилов хвастал, что мог «безошибочно, очень ритмично и точно напеть около дюжины опер, включая все хоровые, женские и оркестровые партии»[50]. В выдвижении Шепилова на высочайшие посты (от редактора «Правды» до секретаря ЦК, кандидата в члены Президиума, а затем — министра иностранных дел) сказалось уважение Хрущева к интеллектуальной и культурной утонченности. Однако интеллигентность Шепилова болезненно напоминала Хрущеву о том, чего недоставало ему самому. Чувствуя это, Шепилов был осторожен: по словам Черноуцана, он

«старался не высказывать своих суждений о литературе, чтобы угодить Хрущеву». На обеде с Тито в 1955 году Хрущев, рассказывая о чем-то, несколько раз просил Шепилова подтвердить справедливость своих слов. «Шепилов откладывал салфетку, — вспоминает Мичунович, — вставал из-за стола, рапортовал: „Точно так, Никита Сергеевич!“ — и снова садился. Меня это очень удивило — особенно поразило то, что Хрущев это терпит»[51].

Отношения Хрущева и Шепилова были не только необычными (Шепилов стал первым и единственным рафинированным интеллектуалом, которого Хрущев взял под свое крыло), но и достаточно близкими. Они работали вместе в ЦК и в Президиуме, а семья Шепилова по крайней мере один раз была в гостях на хрущевской даче. Высказывались предположения, что Хрущев считал Шепилова своим возможным преемником; если так, тем большим ударом стало его предательство. С тех пор Хрущев никогда уже не доверял высокообразованным помощникам, в которых так нуждался. «Шепилов, наш „академик“, сыграл в этом деле самую гнилую роль, — говорил Хрущев на пленуме, последовавшем за попыткой переворота. — У всех есть свои слабости; моя — в том, что я поддерживал выдвижение Шепилова»[52].

Сам Шепилов уверял, что «полюбил» Хрущева за широкую, демократическую натуру. Однако в 1957 году он начал записывать в свой блокнот жалобы Хрущева на коллег и коллег — на Хрущева, в том числе, как простодушно рассказывал сам Хрущев, «всякую дрянь и пакость», которая сообщалась ему «по секрету». После провала заговора союзник Хрущева Аверкий Аристов назвал Шепилова «политической проституткой»: «Надо было видеть, с каким цинизмом и сарказмом, с каким самодовольством он выступал в Президиуме — ни дать ни взять профессор, важная фигура; в своих выступлениях он чернил людей и бессовестно клеветал на них»[53]. 18 июня, в день несостоявшегося путча, Шепилов зачитывал Хрущеву отрывки из своей записной книжки, чтобы показать, что думают о нем даже те, кого Хрущев считает своими союзниками. Шепилов был «одним из тех отвратительных людей, которые запоминают, кто что сказал, неважно где, а потом вытаскивают на свет и используют», — говорил первый секретарь Ленинградского обкома Фрол Козлов[54]. «Знаете, что он обо мне говорил? — рассказывал потом Хрущев египетскому журналисту, с которым был в приятельских отношениях. — Что на встрече с президентом Финляндии я чесался, как завшивленный…»[55]

В бесчисленных официальных постановлениях и пресс-

релизах, посыпавшихся после провала заговора, основные заговорщики перечислялись в таком порядке: Молотов, Маленков, Каганович и «примкнувший к ним Шепилов» (в СССР еще долго ходила шутка, что «и примкнувший к ним Шепилов» — самое длинное русское сочетание имени и фамилии). По всей видимости, Шепилов примкнул к заговору в последнюю минуту, после нескольких бесед с Кагановичем, который, проживая с ним по соседству, несколько раз приглашал его погулять по лесу и во время этих прогулок убедил, что большинство — против Хрущева[56]. Присоединившись к заговорщикам, Шепилов уже не чувствовал нужды щадить уязвимую психику своего патрона. «Все сводилось к тому, — вспоминал он много лет спустя, — что Хрущев был глубоко необразован, хотя имел голову на плечах. Но вместо того чтобы разобраться в предмете, он говорил: „Я нюхом чую“. А это непозволительно для руководителя — особенно для руководителя огромной страны». Или, по другому случаю: «Не может неграмотный управлять государством»[57].

«Вы сделались „экспертом“ во всем — от сельского хозяйства до науки и культуры», — упрекал Хрущева Шепилов во время путча. Тогда Хрущев спросил, какое образование у самого Шепилова. Тот ответил: десять классов, четыре года в университете, еще три — в Институте красной профессуры.

— А я, — рявкнул в ответ Хрущев, — отучился всего две зимы, и за мою учебу отец заплатил попу двумя мешками картошки!

— Тогда с какой стати вы претендуете на всезнание?

В ответ на это, вспоминает Шепилов, «Хрущев заявил, что не ожидал услышать от меня ничего подобного и считает мои слова предательством»[58].

Итак, в заговоре участвовали восемь человек (семеро из которых составляли большинство членов Президиума). Маршал Георгий Жуков, как и Шепилов, был кандидатом в члены Президиума; ему отводилась такая же заглавная роль, как и при аресте Берии. После провала заговора Жуков обрушился на заговорщиков с жесточайшей критикой. Впрочем, он давно уже высказывал и недовольство действиями Хрущева. Еще в мае 1956 года, на кремлевском приеме для офицеров иностранных военно-воздушных сил, когда Хрущев, будучи, по-видимому, под хмельком, пренебрежительно отозвался о Великобритании и Франции, «Жуков и другие высокопоставленные лица, — писал позднее посол США Чарльз Болен, — не скрывали своего возмущения и открыто говорили, что эта реплика неуместна». После того как Хрущева деликатно удалили со сцены, Жуков

обратился к Болену со словами: «Не обращайте внимания, это у нас обычное дело»[59].

Зная отношение Жукова к Хрущеву, Маленков попытался привлечь его на сторону заговорщиков. «Пора покончить с Хрущевым», — говорил ему Булганин[60]. Шепилов, знавший Жукова с 1941 года, считал его своим самым близким другом в советском руководстве. Несогласны они были только в одном — в оценке личности Хрущева, и только тогда, когда Шепилов был «очарован» его «простотой и доступностью». «Весной 1957-го, — рассказывал Шепилов, — Жуков как-то обронил вскользь, что надо бы собраться и поговорить. Хрущев, сказал он, забрал себе столько власти, что от коллективного руководства ничего не осталось. Разговаривали мы на прогулках, зная, что везде — на дачах, в квартирах, в автомобилях — установлены „жучки“»[61].

Шепилов обвинил в участии в заговоре также ставленницу Хрущева Екатерину Фурцеву[62]. Та практически подтвердила обвинение, заявив, что Шепилов «вел разговоры наедине [очевидно, с ней самой], настраивая людей друг против друга»[63]. Если это так, очевидно, что, помимо большинства в самом Президиуме, заговорщики чуть не получили большинство среди кандидатов в члены Президиума (трое из пяти — Шепилов, Жуков, Фурцева). У Суслова — закоренелого сталиниста — также не было причин защищать Хрущева. На его стороне оставался один Микоян — да и тот, по некоторым сведениям, колебался. Свидетельство об этом Первухина, конечно, подлежит сомнению — однако то же самое подозревал и сам Хрущев. Позднее он рассказывал Мичуновичу, что Микоян сохранял нейтралитет, пока исход дела не стал ясен, и «если бы события пошли другим курсом, вполне возможно», что речь Микояна в ЦК «была бы приспособлена к такому обороту»[64].

У Микояна в самом деле имелись относительно Хрущева некоторые сомнения: Хрущев «был склонен к крайностям», «перебарщивал в какой-то идее», «проявлял упрямство и в своих ошибочных решениях или капризах», — однако Микоян по-прежнему считал, что Хрущев — «необработанный алмаз», который «быстро схватывает и быстро учится», что он «мужествен, настойчив и упрям». В 1957 году, вспоминал Микоян, он встал на сторону Хрущева, поскольку «Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов были недовольны разоблачением преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса десталинизации партии и общества»[65].

Заговорщики, едва не отправившие Хрущева в отставку, подражали его тактике в заговоре против Берии. Сговорившись между собой, трое лидеров заговора (Молотов, Маленков и

Ворошилов) начали сопротивляться инициативам Хрущева. 10 июня, пока Хрущев с Булганиным были в Финляндии, они подвергли критике его предложение закупать печатные станки в Австрии, а пять дней спустя воспротивились ему в другом вопросе, связанном с торговлей[66].

Соперники Хрущева не были новичками в интригах; они прошли много подковерных схваток — и по большей части выходили в них победителями. Если бы им удалось выиграть и эту — горе тем, кто отказался встать на их сторону! Впрочем, заговорщики рассчитывали не только на страх, но и на партийную дисциплину — не на устав, согласно которому Президиум и первые секретари ЦК избирались Центральным Комитетом, но на негласный порядок, согласно которому первого секретаря избирал сам Президиум, а ЦК только скреплял его решение печатью. Соперники Хрущева составляли в Президиуме большинство — и не сомневались, что ЦК последует за ними. Правда, в ведении Хрущева были партийный аппарат, а также КГБ и армия (через Серова и Жукова), — однако они надеялись, что он уступит, как уступили они сами в 1955 году.

Капкан должен был захлопнуться 18 июня. Стремясь усыпить бдительность жертвы, заговорщики созвали заседание президиума Совета министров, членами которого были большинство партийных руководителей (но не Хрущев). Официальным поводом стала предстоящая в следующем месяце поездка руководства в Ленинград на празднование 250-летия со дня основания города[67]. Предполагалось, что непосредственно по ходу дела оно будет объявлено заседанием Президиума ЦК. Спрашивается: возможно ли, чтобы Хрущев не разгадал эту хитрость, которую сам несколько лет назад использовал против Берии? Неужели он не понимал, что готовят ему враги? Или, может быть, расставив собственную ловушку, сознательно провоцировал их на решительные действия?

В феврале 1957 года обком Ярославской области сообщал о слухах, что «товарища Хрущева назначат министром сельского хозяйства, а первым секретарем партии будет товарищ Маленков». Доходили до ЦК и смутные разговоры московских чиновников о «больших переменах на самом высоком уровне, грядущих в ближайшем будущем»[68]. Разумеется, отзвуки заговора не могли не дойти до КГБ. Неужели Хрущева не насторожило, что старые враги, прекратив ссоры между собой, дружно голосуют против его инициатив? Неужели не встревожило даже то, что произошло на свадьбе сына?

На свадьбе Сергея Хрущева 16 июня присутствовало все партийное руководство. Отец, вспоминает Сергей, «не смог

удержаться», чтобы не похвастать предстоящим событием — а раз уж он об этом упомянул, обычай требовал, чтобы его коллеги по Президиуму «почтили церемонию своим присутствием». К огорчению Нины Петровны, толпа гостей не поместилась в просторной столовой и столы были накрыты на веранде. Сергей был поражен поведением Маленковых: они приехали с большим опозданием, выглядели угрюмыми и, в противоположность своим прежним роскошным подаркам — набору чертежных инструментов в полированной деревянной шкатулке, которую они преподнесли Сергею по случаю поступления в университет, и набору увеличительных стекол, подаренному позднее, — вручили новобрачным дешевый будильник с нарисованным на циферблате слоном. Можно еще понять, почему Хрущев не обратил на это внимания — но были и другие детали. Когда Хрущев, произнося пространную речь (в которой восхвалял в основном собственную мать), задел Булганина, премьер-министр «отреагировал яростно. Он просто взорвался. Начал орать, что никому больше не позволит себе указывать и затыкать себе рот, что скоро всему этому придет конец». По окончании свадебного обеда, вспоминал Жуков, Молотов, Маленков, Каганович и Булганин демонстративно поднялись из-за стола и уехали на дачу к Маленкову[69].

Помощник и союзник Хрущева Петр Демичев настаивал, что Хрущев знал о заговоре. «Кто ему сообщил, трудно сказать — возможно, сам почувствовал. Уже 1 мая, когда все партийное руководство собралось на даче у Булганина, очевидно было, что присутствующие настроены против Хрущева. Хрущев не мог этого не заметить — в этом отношении он был достаточно чувствителен»[70]. Так ли? Быть может, он просто не мог поверить, что кто-то способен отнять у него завоеванные наконец власть и славу?

18 июня, когда Хрущев находился у себя в резиденции на Ленинских горах, ему позвонил Булганин и попросил приехать на заседание Совета министров. Поначалу Хрущев не хотел ехать (совсем как в октябре 1964 года, когда Брежнев вызвал его из Пицунды), говорил, что с поездкой в Ленинград уже все решено и обсуждать тут нечего; но во второй половине дня все же поехал в Кремль. Присутствовали восемь членов Президиума из одиннадцати. Ставленник Хрущева Алексей Кириченко в этот момент произносил речь на заседании ЦК компартии Украины; он едва успел закончить, когда ему позвонили и приказали немедленно лететь обратно в Москву. Сабуров был в Варшаве — предусмотрительно нашел способ удалиться в решающий момент,

якобы по семейным обстоятельствам. Суслов отдыхал за городом, но также прибыл в Москву, как только ему позвонили. Из семи кандидатов в члены Президиума присутствовали Шепилов, Брежнев, Фурцева и Николай Шверник. Через час прибыл из Солнечногорска Жуков; намного позже — Козлов и Мухитдинов, соответственно, из Ленинграда и Узбекистана. Отсутствовали секретари ЦК Николай Беляев и Поспелов, не входившие в Совет министров, а также секретарь ЦК Аристов, который был болен[71].

Первым заговорил Маленков: он предложил обсудить поведение Хрущева и потребовал, чтобы заседание вел не Хрущев, а Булганин. (Педантичный Молотов замечает, что председательствование Хрущева на заседаниях Совета министров вообще было против правил: эту обязанность всегда исполнял предсовмина — Ленин, Рыков, сам Молотов, а затем Сталин[72].) Нетрудно вообразить реакцию Хрущева, когда появился Жуков: Маленков все еще дрожал, а Хрущев лупил кулаком по зеленому сукну стола с такой силой, что стакан Жукова подпрыгивал. Но против предложения Маленкова выступили только Хрущев и Микоян — и оказались в меньшинстве.

Булганин занял место председателя собрания — что само по себе было для Хрущева оскорблением, — и противники Хрущева начали высказывать все, что у них наболело. Маленков утверждал, что Хрущев совершает «одну ошибку за другой». Ворошилов назвал Хрущева «невыносимым» и потребовал его отставки. Каганович объяснил стремление Хрущева пересмотреть итоги 30-х годов его колебаниями в пользу троцкистов в 1923-м. «Чья бы корова мычала, а твоя — молчала», — заметил он, в ответ на что Хрущев рявкнул: «Что ты все намекаешь?! Мне это надоело!!» К этому обвинению присоединился и Молотов. Добавили свою лепту Булганин и Первухин. По рассказу Кагановича, Молотов старался урезонить Хрущева и отчасти в этом преуспел. Хрущев отверг большинство обвинений, однако некоторые признал и даже обещал исправить свои ошибки. Вместе с Микояном они потребовали отсрочки заседания до появления всех членов и кандидатов в члены Президиума. Решено было продолжить заседание завтра. Хрущев тяжело переживал свое поражение[73]. На приеме в болгарском посольстве в тот же вечер он выглядел «озабоченным, даже подавленным». Обычно разговорчивый — тут он был «мрачен и молчалив»[74]. В тот же вечер первый секретарь ЦК компартии Украины Кириченко попытался подготовить своего босса к неминуемому, как казалось, поражению: «Что ж, будете жить на Украине. У вас там будет дом и дача». Помощник Хрущева Андрей Шевченко вспоминает: «Он был в отчаянии, его буквально трясло»[75].

Некоторые видели, как он плакал[76]. Жуков позже вспоминал, что Хрущев буквально умолял спасти его, обещая, что никогда этого не забудет[77].

Он не остался в одиночестве. Несмотря на свои сталинистские настроения, на сторону Хрущева встал Суслов — возможно, убежденный Микояном, что в конце концов победа останется за ним[78]. Кириченко, Брежнев и Фурцева также поддерживали своего патрона. Сабуров вернулся из Варшавы в два часа ночи; Микоян немедленно позвонил ему, и на следующее утро они встретились. Однако Сабуров примкнул к лагерю противников Хрущева[79]. Хрущев позвонил Булганину: «Друг, приди в себя. Куда тебя занесло? Они тебя втянули в это дело, чтобы использовать в своих целях… Брось их». И это был не единственный звонок. «Николай, — говорил Булганину Маленков, — держись! Будь мужчиной! Не отступай!»[80] Булганин колебался, не зная, что предпринять.

Девятнадцатого числа, войдя в зал заседаний, Хрущев и Булганин первым делом начали спор за председательское место — спор, семью голосами против четырех решенный в пользу Булганина. Если считать как секретарей ЦК, так и кандидатов, у Хрущева было большинство — одиннадцать против семи; однако кандидаты не имели права голоса. Маленков и его союзники продолжили ту же игру, что и в первый день. Каганович заявил, что Хрущев «всю страну перевернул вверх дном» и ничего хорошего не сделал. В ответ кандидат в члены Президиума Шверник назвал заговорщиков «антипартийной группой» — ярлык, напоминавший об «уклонистах» недоброй памяти тридцатых годов. Как может большинство в партии быть «антипартийной группой»? — парировал Каганович. В какой-то момент, когда Каганович набросился на Брежнева и других кандидатов, спрашивая, как они смеют противоречить старшим и более опытным товарищам, Брежнев побелел и рухнул в обморок; охрана вынесла его из зала заседаний и уложила в соседней комнате, а кремлевские врачи привели в чувство[81].

Весь день антихрущевское большинство твердо удерживало свои позиции. После заседания, когда заговорщики собрались в кабинете у Булганина, еще ничто не предвещало беды; однако вечером на приеме в югославском посольстве Булганин был мрачен и угрюм — никогда еще, пишет Мичунович, он не появлялся «в таком дурном настроении, казалось, забыв о своей обычной вежливости, в любой момент готовый к ссоре». Что же касается Хрущева — он вел себя «почти как всегда», старался быть «настолько веселым и любезным, насколько возможно в такой ситуации»[82]. Булганин понимал, что затягивание борьбы

уменьшает его шансы: чем дольше длится неопределенность, тем легче Хрущеву перетянуть на свою сторону колеблющихся и мобилизовать ЦК, перед которым Президиум формально ответствен.

В ту ночь обе стороны вели отчаянные маневры. Микоян и Жуков давили на Булганина, Первухина и Сабурова, уговаривая их покинуть тонущий корабль. Помощники Хрущева составили письмо за подписями двадцати членов ЦК с требованием собрать пленум. С помощью КГБ и армии сторонники Хрущева подготовили доставку членов ЦК в Москву. За председателем Оренбургского обкома Геннадием Вороновым был послан специальный самолет. Мухитдинову позвонили, когда он осматривал овцеводческое хозяйство в Ферганской долине. Со всей страны срочно летели в Москву на специальных самолетах члены ЦК. Это было «как битва за урожай», — вспоминал позднее Андрей Шевченко. «Это был настоящий фракционный акт, ловкий, но троцкистский, — говорил позднее Каганович. — Но мы вели критику Хрущева по-партийному, строго соблюдая все установленные нормы!»[83] Разумеется, в тридцатых годах Каганович (как и сам Хрущев) неоднократно нарушал все партийные правила — однако теперь заговорщики, понадеявшись на «законопослушность» Хрущева, не заручились поддержкой вне Президиума. Они не подумали о том, что многие члены ЦК заняли свои нынешние должности благодаря Хрущеву — и, разумеется, будут на его стороне.

20 июня «антипартийная» группа начала отступление. Они уже не требовали полной отставки Хрущева — предлагали только, чтобы он снял с себя должность первого секретаря. Ближе к вечеру в Москве собрались 87 членов ЦК: вместе с членами Президиума и секретарями ЦК они составляли 107 человек (полный состав ЦК — 130). В 18.00 20 из них привезли в зал заседаний Президиума петицию с 57 подписями. Хрущев, разумеется, распорядился их принять. Его противники кипели гневом и досадой, «Как будто бомба взорвалась», — вспоминал об этом Жуков. Делегацию вместе с председателем Горьковского обкома Николаем Игнатовым возглавляли маршалы Конев и Василевский; это вызвало крики о том, что «мы окружены танками», но и возымело «успокаивающий» эффект. После часа препирательств Президиум выслал нескольких человек встретить делегацию. В коридоре Ворошилов ткнул пальцем в грудь Александру Шелепину и рявкнул: «Ты, мальчишка, еще из коротких штанишек не вырос, а туда же!» Дело было почти проиграно. Президиум согласился назначить на завтра внеочередной пленум Центрального Комитета[84].

Пленум, начавшийся 22 июня в два часа дня, продолжался до 28-го. Соперники Хрущева с самого начала поняли, что их дело проиграно. Некоторые еще пытались сопротивляться, но большинство сдалось сразу. В конце пленума только Молотов отказался проголосовать за собственную отставку. В этом смысле все прошло гладко. Однако пленум без преувеличения можно назвать одним из самых необычных в истории СССР — чтобы расправиться со своими врагами, Хрущев использовал здесь тему преступлений Сталина, и нынешние его речи не шли ни в какое сравнение с секретным докладом 1956 года. На этот раз докладчики не только называли число казненных, но и имена виновных в бессудных расправах. Молотов, Маленков и Каганович по большей части пытались защитить себя — однако их попытки вызывали у Хрущева ярость.

Вопреки партийному уставу, меньшинство Президиума (то есть прохрущевская группа) подготовило программу пленума, даже не сообщив об этом большинству[85]. Собственно говоря, большинству и не давали слова: оппозиционерам были позволены только короткие выступления и реплики, причем с Молотовым, который упрямо продолжал защищаться даже после того, как все остальные сдались, решили разбираться в самом конце. Открыл пленум Хрущев, общее обвинение против «антипартийной» группы огласил Суслов. С наиболее серьезными разоблачениями выступил Жуков. Так было решено заранее, возможно, потому, что герой Великой Отечественной был наиболее популярным членом Президиума; и Жуков выполнил свою задачу с силой и энергией, поразившими даже его союзников[86].

Он назвал Маленкова, Кагановича и Молотова «главными виновниками» «арестов и казней партийных и государственных кадров». Только в период с 27 февраля по 12 ноября 1938 года, заявил он, Сталин, Молотов и Каганович лично подписали 38 тысяч 679 смертных приговоров. В один день — 12 ноября 1938-го — Сталин и Молотов 3 тысячи 167 человек «как скот, по списку гнали на бойню». Страшные списки составлялись неаккуратно, фамилии в них приводились с ошибками, иные — по нескольку раз. Жены «врагов народа» также получали «пулю в затылок». Командарм Якир (бывший другом Хрущева) умолял Сталина о милосердии, рассказывал Жуков. Сталин написал на его прошении: «Подлец и проститутка». «Совершенно точное определение», — добавил Молотов. «Мерзавец, сволочь и б…, — добавил Каганович. — Одна кара — смертная казнь». Вина Маленкова, продолжал Жуков, еще больше, поскольку он по должности обязан был контролировать работу НКВД. «Если бы

только народ знал, что у них с пальцев капает невинная кровь, то он встречал бы их не аплодисментами, а камнями». Однако речь идет не только об этих вождях. «…Виновны и другие товарищи, бывшие члены Политбюро. Я полагаю, товарищи, что вы знаете, о ком идет речь, но вы знаете, что эти товарищи своей честной работой, прямотой заслужили, чтобы им доверял Центральный Комитет партии, вся наша партия, и я уверен, что мы их будем впредь за их прямоту, чистосердечные признания признавать руководителями. *(Бурные аплодисменты.)*»[87] Речь, разумеется, шла о Хрущеве: Жуков обвинил его, чтобы затем оправдать. Нетрудно догадаться, какие чувства переживал Хрущев во время этого неожиданного пассажа.

Маленков, обвиненный в создании «ленинградского дела» 1949 года, начал отрицать, что имел к нему какое-либо касательство. «Неправда!» — выкрикнул Хрущев. «Ты у нас чист совершенно, товарищ Хрущев!» — саркастически отвечал Маленков. «Все Политбюро», настаивал Каганович, подписывало смертные приговоры, а в «тройках» состояли местные партийные руководители (и в их числе — Хрущев). «А кто установил систему троек?» — парировал Хрущев. «Неужели вы не подписывали расстрельные списки на Украине?» — воскликнул Каганович. «Да ладно вам! — отвечал Хрущев. — Или вы думаете, что НКВД и судебные органы стали бы слушаться приказов партии? Да меня самого обзывали польским шпионом!» — «Как и меня, — огрызнулся Каганович. — Но я защитил сотни тысяч… А вы, товарищ Жуков, как командир дивизии, неужели ничего не подписывали?» Жуков: «Я ни одного человека не послал на казнь». Хрущев: «Да, мы все давали согласие. Я сам голосовал против Якира и потом много раз называл его предателем. Потому что сам в это верил, верил, что он предатель и злоупотребил нашим доверием. Я этих обвинений не проверял, а вот вы [Каганович], думаю, проверяли. Вы ведь тогда были членом Политбюро. Вы не могли не знать»[88].

Если не считать этих перебранок, Маленков и Каганович почти не оказали сопротивления. Булганин, Сабуров и Первухин молчали. Только Молотов защищался отчаянно, несмотря на свист и проклятия в зале. Не было никакого заговора, заявил он, и, разумеется, никакой «антипартийной» группы — была лишь справедливая критика. Хрущев сам виноват: он монополизировал все вопросы, обращается с остальными словно с «мальчиками для битья», коллег честит «выжившими из ума стариками», «дуралеями» и «карьеристами». Тому, что самые разные люди объединились против Хрущева, продолжал Молотов, причиной его «высокомерие». «Он от всех требует скромности, но для себя

ее считает излишней. *[Шум в зале.]* Когда мы выбрали его первым секретарем, я думал, что он останется таким же, как был; но он очень изменился и становится все хуже и хуже».

Жуков напомнил Молотову о его участии в преступлениях Сталина. «Я признаю свою ответственность, — ответил Молотов, — наряду с другими членами Политбюро». — «А кто требовал пытать арестованных, чтобы добиться от них фальшивых признаний?!» — крикнул Хрущев. «Все члены Политбюро», — твердо отвечал Молотов. «Но вы были вторым человеком после Сталина, — продолжал Хрущев, — значит, несете основную ответственность, а после вас — Каганович». — «Я, — отвечал на это Молотов, — возражал Сталину чаще, чем вы все, вместе взятые, и, уж конечно, чаще, чем вы, товарищ Хрущев»[89].

Шепилов настаивал, что пленум должен рассмотреть критику в адрес Хрущева, а не клеймить оппозиционеров. Позднее Хрущев назвал его речь «омерзительной» и сообщил Мичуновичу, что она встретила «особенно суровый прием»[90]. Только Микоян отчасти поддержал критику: у Хрущева, сказал он, в самом деле «есть горячность, поспешность, он говорит резкости, но он их от души говорит, без интриганства», в то время как «группа товарищей использовала отдельные недостатки Хрущева для того, чтобы решать свои политические задачи». Он защитил Хрущева от обвинений в пьянстве на дипломатических вечерах (он «больше других не пьет», сказал Микоян) и в неуместных во время дипломатического визита ночных развлечениях в финской сауне («Что Хрущев пошел в баню мыться — это был признак уважения Кекконену, а не потому, что ему нужна была баня и негде было вымыться»). Другие союзники Хрущева защищали его деятельность при Сталине. Аристов цитировал речи Молотова и Кагановича 1937 года, полные призывов к расправам, — но ни словом не упомянул о таких же речах своего патрона. «Товарищ Хрущев, — заключил Аристов, — никогда не предлагал никого арестовать или расстрелять». Когда Фрол Козлов заговорил о «ленинградском деле», Хрущев с места крикнул Маленкову: «Твои руки, Маленков, в крови, совесть твоя не чиста. Ты подлый человек!»[91]

Наконец, после шести дней бурных обсуждений (завершившихся «покаянием» оппозиционеров, позволивших публично втоптать себя в грязь) сам Хрущев взял слово, чтобы подвести итоги. Каганович, 18 июня рычавший, «как африканский лев», теперь похож на «битого кота». «И вдруг Булганин оказался в этой навозной куче». Первухин — «это сплошные колебания во всех вопросах… в политике это флюгер, а то и хуже… Но какую гнусную роль сыграл здесь „академик“ Шепилов!.. на деле

получилось, что он оказался грязным сплетником и интриганом… Разве это политики? — вопрошал Хрущев, обращаясь к своим противникам. — Нет, это жалкие интриганы». Единственный из оппонентов, кого хотя бы есть за что уважать, заключил он, — это Молотов.

Однако, продолжал Хрущев, «Молотов всегда был ближе всех к Сталину и по существу долгое время при жизни Сталина был вторым лицом в нашей стране…». Когда Хрущев начал цитировать молотовский панегирик Сталину по случаю его 60-летия в 1939 году, Молотов крикнул с места: «Почему о своих речах не расскажете?!» — «Кто вынуждал вас так глумиться над людьми? — парировал Хрущев. — Ведь вы писали не под диктовку Сталина, а хотели угодить Сталину, вот, мол, какие мы бдительные. С усмешкой и издевательством посылали ни в чем не повинных людей на смерть. Остались в живых матери, жены и дети невинно расстрелянных. Или пролито целое море слез. Многие родственники просят теперь дать им возможность хотя бы посмотреть на фотографии своих мужей, отцов, так как их принудили уничтожить все, что относилось к репрессированным людям… Как вы можете спокойно смотреть в глаза оставшимся в живых родственникам?»

А сам Хрущев? Как он смотрел им в глаза? Почему считал себя чище своих коллег? Потому что подписывал меньше смертных приговоров? Или из-за того, что не царапал на них ругательства? Его оппоненты по крайней мере покаялись — хоть и неискренне — в своих грехах. Маленков в конце концов признал свою вину, осудив «ленинградское дело», и выразил готовность «понести ответственность». Молотов заявил, что «никогда не снимал политической ответственности за… ошибки» 1937 года. («Преступления!» — крикнул кто-то с места.) Каганович также назвал свою ответственность политической. «И уголовной», — добавил Жуков[92]. Хрущев огласил страшные цифры — только в 1937–1938 годах было арестовано более полутора миллионов человек, из которых 681 тысяча 692 расстреляны, — но не признал своей вины. Да, он «призывал народный гнев» на своих друзей Якира и Корытного — но лишь потому, что верил в их виновность. «Я понимаю страдания этих людей. И верю, что виновные за это ответят. Если бы рядом со Сталиным не было двух злых гениев, Берии и Маленкова, многое можно было бы предотвратить».

На июльском пленуме 1957 года сталинские палачи были ближе всего к возмездию. Однако новый «нюрнбергский процесс» так и не состоялся — прежде всего потому, что прокуроры и судьи

сами были виновны. Не было ни формальных обвинений, ни показаний свидетелей, ни выступлений защиты — если не считать перебранок обвиняемых с обвинителями — и даже стенограмма пленума была засекречена в течение почти сорока лет. В официальное заявление ЦК поначалу был включен короткий абзац о «массовых репрессиях» в тридцатые годы, однако затем его сочли чересчур смелым и вырезали. Поступившее предложение опубликовать документы, процитированные Жуковым, проигнорировали. Соперники Хрущева были публично унижены и потеряли высокие посты, однако остались членами партии. О грехах Булганина, Ворошилова, Первухина и Сабурова речь вообще не шла.

В последующие годы Хрущев снова и снова с удовольствием вспоминал свою «победу»; однако, говоря откровенно, триумфального в ней было немного. Алексей Косыгин, сменивший Хрущева на посту премьер-министра в 1964 году, на вопрос, почему он поддержал в то время Хрущева, ответил: «Если бы победил Молотов, снова пролились бы потоки крови»[93]. Между тем заговорщики, от которых ожидали возобновления террора, не смогли даже подготовить и успешно провести переворот. И сам Хрущев во время бурных дебатов в Президиуме воскликнул: «Что вы все о Сталине да о Сталине! Да все мы вместе не стоим сталинского г…!»[94]

Это поразительное признание, принижающее не только соперников Хрущева, но и его самого, показывает, что он так и не сумел преодолеть психологическую зависимость от мертвого тирана. Разделавшись с соперниками, Хрущев вместо того, чтобы покончить с «вождем», принялся его воскрешать. 15 июля 1957 года Мичунович записывает в дневнике: «Похоже, происходит то же, что после речи о Сталине на XX съезде. Как будто люди боятся собственных антисталинистских решений. Хрущев… теперь говорит то же, что прежде говорили члены „антипартийной“ группы».

Возможно, добавляет Мичунович, Хрущев старался «привлечь на свою сторону единомышленников Молотова в СССР и странах „социалистического лагеря“, и таким образом… „сохранить единство“ партии и страны»[95]. На XX съезде Хрущев стремился отделить социализм от преступлений, совершенных Сталиным во имя социализма. Однако бурные события 1956–1957 годов показали ему, что полная дискредитация Сталина может повлечь за собой крушение социалистического строя — и его собственной власти.

Глава XIII
ВНЕШНИЙ МИР: 1917–1957

Еще до разгрома «антипартийной» группы Хрущев, среди прочего, взял в свои руки руководство советской внешней политикой. Сталин за тридцать лет своего правления был за рубежом всего дважды — во время войны, на Тегеранской и Потсдамской конференциях. Хрущев же к июню 1957-го уже несколько раз посетил Восточную Европу, в 1954-м возглавлял советскую партийно-правительственную делегацию в Китае, в июле 1955-го встречался с главами США, Великобритании и Франции на Женевской конференции, в том же году посетил Индию, Бирму и Афганистан, а в апреле 1956-го — Великобританию. Все эти поездки были призваны оживить советскую внешнюю политику, укрепив отношения как с союзниками, так и с противниками и нейтральными государствами. Во внешней политике Хрущев применял тот же стиль, что и во внутренних делах — брался за решение нескольких задач сразу, действовал энергично, старался ошеломить своих оппонентов и не боялся рисковать. Поначалу такая тактика, казалось, приносила успех. Однако к 1957 году обнаружились слабости нового подхода, связанные отчасти с сопротивлением внешнего мира, но отчасти и с теми личными и политическими качествами Хрущева, которые приводили к проблемам и у него на родине. В июне 1957 года в числе прочих сфер, где Хрущев проявил себя не лучшим образом, «антипартийная» группа упоминала и дипломатию.

Хрущев достиг высшей власти в Кремле, однако внешнеполитическая арена оставалась для него местом борьбы. Внешний мир представлял собой и смертельную угрозу, и неодолимый соблазн мирового господства. Хрущев был не первым политиком, использовавшим внешнеполитические вопросы как способ отвлечь народ от внутренних проблем — и не первым, чьи претензии противоречили национальным интересам других стран. Однако у внешней политики СССР были свои особенности. Марксистско-ленинская идеология требовала от Москвы активной роли в мировой политике: у первого в мире социалистического государства просто не могло не быть преданных союзников и яростных врагов. Масштабы и очевидная сила СССР, позволяющая третировать и запугивать соперников, также вызывали раздражение и вражду. Хрущев и его коллеги, привыкшие к беспрекословному повиновению своих подчиненных и стран-

сателлитов, порой не понимали, как вести себя с политиками, не готовыми подчиняться их воле. Этот же авторитаризм не позволял им проводить предварительное широкое обсуждение своих внешнеполитических решений — мера, которая иногда (хотя и далеко не всегда) спасает демократические государства от больших ошибок.

Поначалу Хрущев плохо представлял, какие силы ему угрожают. В первые пятьдесят лет жизни он мало что знал о внешнем мире и не имел доступа к большой политике. После смерти Сталина тоже поначалу держался в стороне; он был невежествен и плохо подготовлен и понимал это. Однако пришло время, когда Хрущев вкусил прежде запретный плод: теперь он представлял свою страну за границей, купался в лучах славы и на равных беседовал с мировыми лидерами — великими, не слишком великими, а порой и попросту раздутыми фигурами[1].

Двадцатые годы были в СССР временем расцвета интернационализма. Украинскую партийную организацию возглавлял сперва еврей Каганович, затем поляк Косиор. «Я убежден, большинство членов партии не знали, что Косиор — поляк, — рассказывал Хрущев. — Это я говорю к тому, что такого вопроса не стояло… Главным для нас было его социальное происхождение, а самое главное — его принадлежность к партии… Это определяло, кто он таков»[2].

В начале 30-х Хрущев встречался в Москве с иностранными коммунистами — например, в 1935-м, когда выступал в роли хозяина на приеме и торжественном обеде для делегатов VII съезда Коминтерна. Клемент Готвальд, ставший в 1946-м премьер-министром, а в 1948-м президентом Чехословакии, согласно рассказу Хрущева, «имел наклонность к вину». Жена Готвальда, «сама любившая выпить», являлась на приемы в золотых серьгах и с золотым кольцом на пальце — а Хрущев и его коллеги «тогда жили аскетически. Это выражалось и в одежде, и в манере держаться. А она пришла в дамских украшениях и, на наш взгляд, была подвержена мелкобуржуазному влиянию»[3].

Ван Мина, китайского представителя в Коминтерне, Хрущев часто просил выступить перед рабочими московских заводов, и Ван Мин «никогда не отказывал». Заочно Хрущев знал и других китайских руководителей — Чжу Дэ и Лю Шаоци, но «о Мао Цзэдуне [на VII съезде избранном в исполком Коминтерна] я тогда ни разу не слыхал»[4].

В первый раз Хрущев оказался за границей в 1939-м, когда Советская Армия вторглась в Польшу. После войны он несколько раз бывал в Польше и по одному разу — в Германии, Австрии и

Чехословакии. Эту последнюю поездку можно назвать «политико-туристической». Инкогнито, под именем «генерала Петренко», Хрущев полюбовался Западным Берлином из окна советской военной машины. В Австрии ему повезло больше — он осматривал заводы, прачечные, дворец Шенбрунн (особенно привлек его дворцовый парк с фонтанами), Венский лес, американскую оккупационную зону, видел даже шотландских солдат в килтах[5].

После войны Хрущев также встречался с несколькими иностранными руководителями, однако скорее на светских, чем на дипломатических мероприятиях. Как первый секретарь ЦК компартии Украины он участвовал в переговорах с Польшей. Поскольку новая прокоммунистическая армия Польши сражалась на территории Украины, Хрущев познакомился (и довольно близко) с ее командирами. Когда между поляками и украинцами возникло напряжение и поляки обратились с жалобой к Сталину, Хрущев участвовал в разрешении конфликта.

После того как в Люблине было сформировано коммунистическое правительство Польши, Хрущев то и дело ездил туда из Киева, чтобы помочь организовать его работу. Кроме того, «Сталин, не желая вступать в пререкания с польскими руководителями, подбрасывал мне все неприятные ответы на их претензии». Роль Хрущева на этих встречах — он должен был отвергать просьбы польской стороны, которые Сталин исполнять не желал, — давала Сталину повод для насмешек над неопытностью своего протеже в иностранных делах. «Сталин сейчас же отвечал им: „Это касается Украины, вот пусть Хрущев и решает. От него все зависит, с ним и договаривайтесь“. А сам смотрит на меня и ожидает (я по интонации чувствовал, чего он ожидает), чтобы я дал отказ»[6].

В карательных операциях против польских антикоммунистов Хрущев напрямую не участвовал, однако считал их необходимыми. Ведь «рано или поздно Польша должна была стать социалистической страной и нашей союзницей. Многие из нас, и я в том числе, чувствовали, что рано или поздно Польша станет частью одной великой страны или социалистического содружества наций»[7].

В 1945 году Хрущев контролировал восстановление электричества, водопровода и канализационной системы в Варшаве. В это же время он ездил на один день в Лодзь для встречи с генералом Михалом Роля-Жимерским, который «был очень весел и хорошо вел стол»[8]. Встречался он и с будущим польским лидером Владиславом Гомулкой (а во время войны — также с Тито и немецким коммунистом Вальтером Ульбрихтом).

В 1948 году Сталин телефонировал ему из Ялты, где отдыхал вместе с Готвальдом: «Приезжайте, как только сумеете, здесь Готвальд, а он без вас никак жить не может и требует, чтобы вы обязательно приехали». Хрущев бросил все и полетел в Ялту, к бесконечным ужинам, застольям, взаимным восхвалениям — ради давления на Готвальда, которого Сталин призывал очистить чешскую компартию от затаившихся в ней врагов народа[9]. В том же году в Ялте Хрущев встречался с болгарскими лидерами, а в 1951-м, на даче у Сталина в Сочи, — с румынским руководителем Петру Грозой. Он принимал в Москве корейца Ким Ир Сена и Хо Ши Мина, который так (искренне или не очень) благоговел перед Сталиным, что выпросил у «великого вождя» автограф на номере советского журнала, который тот, впрочем, приказал у него забрать, ибо, как утверждает Хрущев, беспокоился о том, как Хо Ши Мин может его использовать[10].

С некоммунистическим внешним миром Хрущев почти не сталкивался — однако о немногих встречах вспоминал с удовольствием и жаждал большего. В декабре 1945 года в Москве провел восемь дней Шарль де Голль: обсуждались вопросы признания прокоммунистического польского правительства и возобновления франко-советского договора, на которое Франция возлагала большие надежды. Согласно де Голлю, он получил то, что хотел (возобновление договора без признания так называемого «Люблинского комитета»), лишь покинув роскошный банкет и пригрозив уехать домой, если договор не будет подписан немедленно. Позднее он рассказывал, что во время подписания договора (в два часа ночи) Сталин высказал ему свое одобрение: «Отлично сыграно! Мне понравилось. Приятно иметь дело с человеком, который знает, чего хочет, — пусть он и не разделяет мои взгляды»[11]. Хрущев присутствовал только на официальных мероприятиях, однако волевой и несгибаемый иностранец произвел впечатление и на него: «Де Голль вел себя гордо, держался достойно, не гнул спины и не склонял головы, а ходил, как человек, проглотивший аршин. Внешне он производил впечатление человека необщительного, даже сурового»[12].

К лету 1944 года Сталин и Молотов уже несколько лет вели переговоры с Америкой. Хрущев встречал американских шахтеров в 1922-м в Юзовке и американских коммунистов — в Москве; первым из встреченных им американских политических деятелей стал генерал Эйзенхауэр, которого Сталин пригласил на торжественный парад на Красной площади в июне 1945 года. В тот раз Хрущев едва ли обменялся хотя бы несколькими словами с человеком, который десятилетие спустя стал сперва его партнером, а затем — злейшим противником.

По большей части Сталин занимался внешней политикой сам, при помощи Молотова (министра иностранных дел), Жданова (занимавшегося делами коммунистического блока), Вышинского (наследника Молотова) и Микояна, выполнявшего некоторые специальные поручения. «Мы, остальные, были просто мальчиками на побегушках, — вспоминал Хрущев, — и на любого, кто забывал о своем месте, Сталин рявкал так, что тот живо вспоминал, кто он такой»[13]. ЦК и Политбюро после войны собирались редко, а Совет министров «вообще был тогда только списочный», так что Хрущеву приходилось добывать информацию своими средствами[14]. Он не знал, в самом ли деле Сталин «намерен создавать в Восточной Германии социалистическое государство», должен был гадать о том, почему в 1948-м Москва блокировала Берлин, поскольку «Сталин такие вопросы ни с кем не обсуждал». Полная история разрыва СССР с Югославией также оставалась ему неизвестна: «Я в то время работал на Украине и иностранными делами не занимался, а документы по этим вопросам ко мне не поступали»[15].

Когда в 1951-м был объявлен предателем руководитель чешской компартии Рудольф Сланский, Хрущев получил только «материалы» — то есть информацию с готовым решением, которую Сталин разослал всем членам Политбюро. Однако, по его собственным воспоминаниям, «никаких сомнений это у меня не вызвало. В то время у меня не было собственного мнения». О советско-китайских отношениях он знал «только то, что полагалось знать». Впрочем, и это было немало по сравнению с познаниями Хрущева о Западе. «В дипломатических связях с капиталистическими государствами личного опыта мы не имели, кроме Молотова». Хрущев не осмеливался демонстрировать интерес к оборонной политике государства (не без оснований опасаясь, что Сталин заподозрит в нем «иностранного агента, завербованного империалистами»), а после признавался, что не видел ни одного документа, посвященного корейской войне, кроме сводок о боях, которые направлял Сталину Мао Цзэдун[16]. Некоторые из этих заявлений Хрущева — в особенности те, что касаются чисток в Восточной Европе, — слишком напоминают его «незнание» об ужасах, творившихся дома. Возможно, он знал об иностранных делах больше, чем потом говорил. Однако факт остается фактом: после смерти Сталина он оказался неподготовлен к ведению самостоятельной внешней политики.

Во внешних, как и во внутренних делах Хрущев оставался прежде всего учеником Сталина: он никогда не сомневался в том, что дело СССР — справедливое дело. Он сознавал, например, что

многие поляки настроены антисоветски и антирусски, особенно после пакта Молотова — Риббентропа. Знал и то, что выборы в Польше в 1945 году были фальсифицированы — но что с того? «Польский народ не оказал вновь избранным властям никакого сопротивления. Если они и голосовали за Станислава Миколайчика, то ничего не сделали, когда вместо него пришел Гомулка — что, по крайней мере на мой взгляд, означало, что им недостает глубоких, осознанных политических убеждений»[17]. На самом деле антикоммунистических выступлений в Польше было немало — однако все они легко подавлялись, а значит, по мнению Хрущева, о них и говорить не стоило.

Самой маленькой и слабой из компартий Восточной Европы была румынская: ее лидеры прибыли в послевоенный Бухарест по железной дороге в товарных вагонах вместе с советскими партработниками, которые заставили короля Михая бежать из страны. По упрощенной версии Хрущева, «коммунистическая партия оказывала все большее влияние на народ», так что «король спокойно, хотя и без желания, уехал из Румынии с разрешения нового руководства. На этом королевская власть в Румынии кончилась. Затем Румыния объявила себя страной, которая будет строить социализм»[18].

Хрущев надеялся, что социализм восторжествует и в Западной Европе. Он не сомневался, что после войны «в Германии возродится сильная коммунистическая партия, весь рабочий класс объединится вокруг нее, и она займет достойное место при строительстве новой Германии». То же самое он думал о Франции и Италии. Разделял ли эти надежды сам Сталин — неясно, поскольку французская и итальянская компартии не столь поддавались контролю, как болгарская и румынская[19].

Хрущев не сомневался, что СССР в опасности. Разве Запад не вторгся в Россию во время Гражданской войны? Разве США не ждали 16 лет, прежде чем признать Советский Союз? Разве англичане и американцы не «старались выкачать из нас всю кровь, чтобы явиться в последнем акте [войны] и решить судьбу мира»? А когда война окончилась, американцы «старались довести нас до банкротства». По счастью, Советскому Союзу удалось разорвать «кольцо врагов». Теперь в Европе и Азии появилось множество социалистических стран: они «консолидируются и вдохновляют всех коммунистов, которые с таким мужеством борются за социализм и справедливость»[20].

Согласно марксистско-ленинистским воззрениям, внешняя политика капиталистических стран определяется экономическими требованиями. Характерно, однако, что Хрущев обращал первостепенное внимание на личности западных

политиков. Уинстон Черчилль был для него «грузным дряхлым стариком», «наиболее яростным противником нового социалистического строя». Гарри Трумэн «не обладал истинно государственным умом». Дин Ачесон отличался «политической тупостью». Однако умел Хрущев и отдавать должное тем, кто, по его мнению, этого заслуживал — или, точнее, тем, кого уважал Сталин[21]. Вслед за Сталиным он с уважением относился к Рузвельту (который «всегда относился к нам с пониманием»). «А Трумэна Сталин и не уважал, и не ценил», — добавляет он. Хрущев слышал, как Сталин говорил: «Если бы со стороны союзников был не Эйзенхауэр… то мы бы Берлин не взяли». Позднее, ведя с Эйзенхауэром переговоры, Хрущев «помнил слова, сказанные Сталиным, и верил им. Ведь Сталина заподозрить в симпатиях к кому-либо никак было нельзя. В классовых вопросах он был неподкупен и непримирим»[22].

Как часто бывает с учениками, Хрущеву необходимо было верить, что он способен превзойти своего учителя — тем более что Сталин неоднократно высмеивал коллег, в особенности Хрущева, за дипломатическую некомпетентность. Время от времени Сталин предупреждал, что после его смерти империалисты передушат его наследников, «как котят» или «как цыплят». Не лучшего мнения о них был и бывший комиссар иностранных дел Литвинов, которого в 1939 году сменил Молотов: «Тугодум Молотов, карьеристы Каганович, Микоян, Берия и еще Мехлис, недалекий Маленков, дурак Хрущев…»[23] Сам Сталин однажды спросил своих приспешников: «Кого после меня назначим Председателем Совета Министров СССР?» — и не нашел ни единого достойного кандидата, кроме Булганина. Берия — грузин, Каганович — еврей, Молотов слишком стар, Маленков и Ворошилов слишком слабы. А Хрущев? «Нет, — ответил Сталин, — он рабочий, нужно кого-нибудь поинтеллигентнее»[24].

В отличие от Сталина, уверял Хрущев, он принимал американскую помощь во время войны искренне и без задних мыслей. В 1948 году, блокировав Берлин, Сталин «сделал это без учета наших реальных возможностей. Плохо продумал проблему»[25]. Корейскую войну Хрущев поддерживал: «Никакой коммунист не стал бы удерживать Ким Ир Сена… Это противоречило бы коммунистическому мировоззрению». Когда северные корейцы «освободили» Сеул, «все радовались и желали Ким Ир Сену дальнейших достижений». Хрущев сожалел лишь о том, что Сталин не оказывал Ким Ир Сену достаточной поддержки, а когда в войну вступили американцы, и вовсе решил его бросить. Однако в этом, как оказалось позднее, прав был

Сталин, готовый признавать и исправлять свои ошибки, а не Хрущев[26]. Этот эпизод повторяет еще один, относящийся к июню 1945-го, когда СССР готовился вступить в войну с Японией. Следовало ли Советской Армии вторгнуться на Хоккайдо — на что, по утверждению Жукова, потребовалось бы четыре армии? Молотов предупреждал, что западные союзники Москвы расценят это как грубое нарушение ялтинских соглашений. Жуков назвал это авантюрой. Единственным сторонником этой идеи в Политбюро остался Хрущев. Но Сталин ему не внял[27].

Хрущев больше всех беспокоился об опасности войны. Американцы превосходили СССР в военно-воздушных силах и ядерном вооружении. «Америка обложила нас авиационными базами. Они располагались в Турции, я уж не говорю о Франции, Германии, Испании, Италии и Северной Африке… От Норвегии до Турции нашу страну окружали военные базы». Он приветствовал усилия Сталина по развитию ядерного оружия, однако позднее заверял, что «Сталин дрожал, был напуган» при мысли о нападении США, «до трусости боялся войны с Америкой». Добившись власти, Хрущев твердо решил не только не показывать собственного страха, но и нагнать страху на своих западных противников. В результате мир едва не погрузился в пропасть ядерной войны[28].

Берия и Маленков первыми постарались загладить просчеты Сталина во внешней политике: Берия попытался уладить дело с Восточной Германией, Маленков принял в отношениях с Западом более мягкий тон[29]. Даже Молотов, который, по словам его бывшего помощника, «отвечал, как заведенный граммофон, *буквальным повторением* одной и той же изначально произнесенной им формулы»[30], по словам американского посла Чарльза Болена, «немного смягчился». Болен и его босс Джон Фостер Даллес уважали дипломатический талант Молотова. Британский посол сэр Уильям Хейтер находил его «немного смешным — с его заиканием и пенсне», однако «производящим впечатление»; когда в 1956 году он был снят с поста министра иностранных дел, «большинство послов в Москве жалели о его отставке; с ним мы чувствовали, что имеем дело с реальной силой». В отношениях с Западом Молотов следовал правилу: «Ни столкновений, ни серьезных уступок» и по большей части не проявлял никакой инициативы[31].

После ухода Берии и оттеснения Маленкова внешней политикой СССР руководил Молотов. Типичным для него было поведение на конференции министров иностранных дел четырех держав в январе-феврале 1954 года в Берлине. Обсуждались все важные проблемы, однако ни одна сторона не сдвинулась ни на

дюйм. Согласно американскому делегату С. Д. Джексону, Молотов заметно «выделялся» среди других, его чувство юмора «развлекало нас даже в переводе» — в то время как его помощник Андрей Громыко производил впечатление слабого человека, выглядел как доходяга[32]. Серьезных сдвигов конференция не принесла. Даллес с каменным лицом заверил Молотова, что объединенная прозападная Германия не будет угрожать безопасности СССР. Молотов в ответ предложил Западу отказаться от создания организации по безопасности в Европе и НАТО.

Отличительные черты всех троих соперников сочетались в Хрущеве с недостатками, присущими только ему самому. Он был смел, как Берия, однако в идеологических границах, которым Берия не подчинялся; боялся войны, как Маленков, но, в отличие от Маленкова, был склонен блефовать и пускать пыль в глаза; как Молотов, он искренне верил в социалистические догматы, однако, в отличие от флегматичного и дисциплинированного Молотова, не умел сдерживать свои порывы[33]. В 1953-м Хрущев мало интересовался внешней политикой: все его внимание было сосредоточено на внутренних делах и проблемах соцлагеря. По рассказу Георгия Корниенко, работавшего в бюро информации Министерства иностранных дел и составлявшего для руководства страны отчеты о разведдонесениях, члены Президиума возвращали его отчеты с пометками на полях. «Легко было понять, кто читал внимательно, а кто нет, — рассказывает Корниенко. — Экземпляры Хрущева возвращались без всяких пометок, как будто он их и не открывал. Внешней политикой он начал заниматься только в 1954-м. Помню, весной 1954 года, когда мы собирались на конференцию по вопросам Кореи и Индокитая, Хрущев несколько раз говорил о том, чего мы там хотим добиться»[34].

В это время Хрущев начал активно встречаться с западными дипломатами — и на большинство из них особого впечатления не производил. Маршалл Мак-Даффи, впервые встречавшийся с ним после войны, в октябре 1953-го нашел, что внешне Хрущев не изменился — «та же плотная фигура, оживленное круглое лицо, неизменная улыбка» — однако начал лучше одеваться: теперь на нем был синий саржевый костюм, белоснежная рубашка и запонки с красными камнями. О влиятельности Хрущева свидетельствовал и большой кремлевский кабинет с дубовыми панелями, двумя картами и портретом молодого Сталина. Он вел себя «спокойно и вполне разумно», однако во время переговоров «нервно вертел в руках карандаш, словно неловко себя чувствовал на этом мероприятии», а также «проявил удивительно

догматический взгляд на страны Запада — создалось впечатление, что он охотно поглощает пропаганду, в создании которой сам же участвует»[35].

Британцы, общавшиеся с Хрущевым в 1954-м, отзывались о нем еще менее лестно — возможно, потому, что ему явно недоставало столь ценимых в Англии аристократических манер. В августе Москву по дороге в Китай посетила делегация от партии лейбористов во главе с Климентом Эттли и Анейрином Бивеном. Премьер Маленков пригласил их отужинать у себя на даче, а на следующий дензь состоялся ужин в английском посольстве, куда вместе с Маленковым, Молотовым, Микояном и другими явился и руководитель партии — Хрущев. Маленков «несомненно обладал самым острым умом во всей компании»: он говорил «не более, чем хотел сказать», за столом «был удивительно приятным соседом», почти не притрагивался к выпивке; говорил он «приятным музыкальным голосом на хорошем, литературном русском языке» и даже вполголоса порекомендовал переводчику из английского посольства Сесилу Пэрротту почитать Леонида Андреева, которого в то время клеймили как декадента. Хрущев, по контрасту с ним, поразил посла Хейтера: «невоспитанный, нахальный, болтливый, несдержанный и, что хуже всего, совершенно невежественный в вопросах внешней политики». Говорил он «короткими фразами, на повышенных тонах и очень убежденно… Добродушно улыбаясь», часто «затруднялся в выборе слов» и «говорил не то, что хотел сказать» — переводчику Олегу Трояновскому приходилось исправлять его ошибки. Он «никак не мог понять мысль Бивена», и Маленкову пришлось объяснить ему, что хочет сказать англичанин, «односложными словами». Он постоянно «перебивал» остальных и не столько слушал, сколько говорил сам. «Энергичный и целеустремленный, но недалекого ума, — подытожил свои впечатления Хейтер, — словно молодой бычок: стоит указать ему направление — и он все снесет на своем пути». Британская делегация считала первым лицом в стране Маленкова и потому почти не обращала внимания на Хрущева.

В первых своих докладах в Лондон Хейтер сравнивает Хрущева с «типичным крестьянином, как он предстает в классических русских романах XIX века: хитрый, проницательный, подозрительный, осторожный и в душе глубоко презирающий „бар“». Кроме того, он сравнивал Хрущева с лидером британских профсоюзов Эрнестом Бивином. У этих людей и вправду было много общего: оба из крестьянских семей, почти без образования, оба — «тяжелые сотрудники и хорошие начальники», однако с одной значительной разницей: Бивин — «великодушный, щедрый, уверенный в себе человек, а Хрущев,

хотя и обладает сейчас огромной властью, явно не способен держаться на уровне своего положения…». Позднее Хейтер признал, что, «приложив к внешней политике свой мощный ум и энциклопедическую память, Хрущев вскоре освоил эту область в совершенстве»[36]. Однако посол США Болен тогда разделял его первоначально негативное отношение к Хрущеву. Маленков, по его словам, «говорил лучше всех советских лидеров, которых я когда-либо слышал», его «речи были логичны и прекрасно построены», вообще он отличался «наиболее „западным“ умом». А с Хрущевым и остальными «невозможно было найти смежных точек, общего языка». Да и вообще Хрущев казался Болену «не слишком умным человеком»[37].

На взгляд внешних наблюдателей, китайско-советские отношения в 1953 году были безоблачны. В Китае восторжествовал коммунизм, КПК во всем ориентировалась на Москву, китайская армия била американцев в Корее. Однако на самом деле отношения между Москвой и Пекином были далеко не идилличны. Во время долгого пути Мао к власти Сталин сомневался, что в Китае удастся установить коммунистический режим, и порой, кажется, готов был отказаться от этой цели — отчасти выполняя обязательства перед своим союзником в войне Чан Кайши, отчасти стремясь ублажить США, а также, возможно, подозревая, что столь огромным и сильным «сателлитом» управлять будет нелегко. Даже после победы Мао Сталин относился к нему прохладно. Во время своей первой поездки в Москву в декабре 1949 года Мао два с половиной месяца добивался поддержки и сотрудничества и в конце концов получил гораздо меньше, чем надеялся[38]. Отдельным источником напряжения стала корейская война — особенно после того, как Сталин отказался бросить Северную Корею и потребовал от китайцев спасти Ким Ир Сена от разгрома[39].

На праздновании семидесятилетия Сталина в декабре 1949 года Хрущев сидел возле Сталина и Мао, однако не принимал участия в их разговорах. Но он много слышал и о Мао, и об отношении к нему Сталина. «Мао опирается на крестьян, а не на рабочий класс, — не раз говорил Сталин во время ночных „посиделок“. — И это марксист?» Сталин насмешливо называл Мао «пещерным марксистом», а после его визита в Москву «никогда не отзывался о нем хорошо». Хрущев полагал, что Сталин совершает «ошибку», стремясь добиться от Мао односторонне выгодных соглашений, а когда Мао был в Москве, «я видел, что Сталин проявлял неискреннюю вежливость. Чувствовалось какое-то его высокомерие в отношении Мао. Мао

вовсе не глупый человек, сразу это понял, и это его раздражало, хотя сам Мао никакого недовольства внешне не проявлял…»[40].

Не проявлял недовольства и сам Хрущев. Однако после 1953 года он постарался наладить с Мао более теплые отношения. Сталин едва не погубил отношения с Китаем, и теперь у Хрущева появился шанс превзойти своего учителя. Сталин презирал Мао за «пещерность»; Хрущев готов был сыграть роль доброжелательного наставника. Каково же было потрясение Хрущева, когда вместо благодарности и уважения Мао ответил ему откровенным презрением!

Первое время, однако, дела шли недурно. В 1953–1956 годах русскими или с помощью русских было построено 205 заводов и фабрик общей стоимостью два миллиарда долларов, причем 727 миллионов долларов были предоставлены советской стороной — и это в то время, когда самим русским не хватало средств на подъем промышленности. В октябре 1954 года СССР согласился отправить в Китай корпус специалистов; в 1957-м уже не меньше двух с половиной тысяч русских обучали китайцев всему на свете, от строительства до ядерной физики. В апреле 1955-го СССР дал обещание помочь Пекину разработать в мирных целях ядерную технологию. В те же годы в Советском Союзе обучались около десяти тысяч китайских студентов, а еще семнадцать тысяч проходили обучение у советских преподавателей в самом Китае[41].

Помимо экономической помощи, Москва предоставляла Китаю дипломатическую и военную поддержку. Наследники Сталина помогли завершить корейскую войну, спонсировали участие Пекина в Женевской конференции 1954 года, посвященной судьбе Индокитая и Кореи, и настаивали на его включении в переговоры по европейским делам. В конце 1954-го СССР помог Китаю вернуть себе прибрежные острова Цзиньмэнь и Мацзу. Китайские представители присутствовали на заключении Варшавского договора в 1955-м, предварительно получили информацию о примирении с Тито, а во время восточноевропейских волнений 1956 года Хрущев постоянно консультировался с Мао. Советские военные советники помогали китайцам овладевать советской военной техникой, а в 1957-м Москва даже предложила снабдить Пекин образцом ядерной бомбы[42].

В общем, все это складывалось в картину того, что историк Уильям Кирби назвал «грандиознейшей передачей технологий в мировой истории». Согласно бывшему переводчику Мао Ян Минфу, Хрущев «в отношениях с Китаем продвинулся далеко вперед по сравнению со Сталиным», и Мао это «оценил»[43]. Однако в эти «хорошие годы» уже были посеяны семена будущих

разногласий. Воспоминания Хрущева о визите в Китай в 1954-м полны яда. Он благородно предложил вернуть Китаю Порт-Артур и Далянь. Но Мао, вместо того чтобы поблагодарить, возразил (указав на необходимость советской защиты от американцев), затем неохотно согласился, а под конец попросил Хрущева оставить в Порт-Артуре советскую тяжелую артиллерию. «Мы согласились оставить им вооружение, — вспоминал Хрущев, — но за плату. Чжоу же настаивал на том, что Китай хочет получить вооружение бесплатно». Кроме того, Хрущеву крайне не понравилась атмосфера при дворе Мао — «типично восточная. Все невероятно вежливы и любезны, но я видел, что это все притворство». В довершение ко всему, у Хрущева сложилось впечатление, что «Мао относится к другим нациям свысока… Мы-то искренне, по-братски относились к Китаю… После возвращения в СССР мы откровенно обменялись мнениями по этому вопросу в Президиуме ЦК КПСС… Докладывал я как глава делегации. Мое мнение сводилось к тому, что в наших отношениях с Китаем заложены опасные перспективы»[44].

Скорее всего, память на сей раз обманула Хрущева — воспоминания о первой поездке в Китай окрасились в тона позднейшего гнева и разочарования. Однако китайцы в самом деле вели с Москвой игру, стараясь получить как можно больше, а отдать взамен как можно меньше. Перед поездкой китайские дипломаты озвучили большой список требований, отказавшись подать его в письменной форме; а затем Чжоу Эньлай заставил Хрущева выполнять обязательства, которые Москва, в сущности, на себя не брала. Хрущев полагал, что визит в Пекин прошел успешно, однако дома его стратегия вызвала сомнения и критику.

За предварительные переговоры с китайцами отвечал Микоян: его главным помощником был К. И. Коваль, заместитель министра внешней торговли. По рассказу Коваля, «Хрущев принял свое решение [дать китайцам все, что они просят] только исходя из внешнеполитических оснований, не думая ни о цене, ни о тех проблемах и трудностях, которые это решение повлечет за собой». Коваль утверждал, что советское тяжелое машиностроение не сможет обеспечить запросы китайцев — однако «каждый раз, когда я об этом заговаривал, Хрущев выходил из себя…». Первый секретарь «не умел выслушивать мнений, не совпадающих с его собственным, и терпеть не мог тех, кто с ним не соглашался». Хрущев «сверлил меня уничтожающим взглядом. Ясно было, что я попал в список его врагов». Микоян уговорил Хрущева отложить выполнение некоторых планов до 1960 года. Но даже урезанный список вызвал возражения Ворошилова. Хрущев пригрозил, что не поедет вовсе, если ему

придется ехать «с пустыми руками». Бранью и угрозами он заставил Ворошилова отозвать свои возражения, а потом, когда коллеги разошлись, подозрительно поинтересовался у Коваля, не он ли настроил Ворошилова против его решения[45]. Вкладывая столько сил и средств в экономическое и политическое развитие Китая, Хрущев, несомненно, надеялся многое получить взамен. Тем сильнее было его разочарование, когда Мао ответил ему черной неблагодарностью.

Дело осложняли культурные различия между двумя странами, часто приводившие к взаимному непониманию. Китайцы превзошли самих себя в гостеприимстве, устроив советской делегации продолжительный тур по стране. В Кантоне им подали знаменитое местное блюдо «Бой дракона с тигром», где дракона и тигра символизируют змея и кот, — однако советская делегация, не исключая и Хрущева, даже в рот его не взяла, а обе дамы, Екатерина Фурцева и Ядгар Насриддинова, в слезах выбежали из-за стола. Даже чаепитие превращалось в мучение. «Пили вообще преимущественно чай, — вспоминал Хрущев. — Как только выпьешь чашку — приносят следующую. Если не успевал выпить, чай забирали и ставили новый. Спустя некоторое время — опять то же». В результате советская делегация ночью не могла уснуть, а советский врач рекомендовал сократить количество употребляемого кофеина. «Мы к такой церемонии не привыкли, — пишет Хрущев, — но пользовались ею ради уважения к хозяевам»[46].

1956–1957 годы казались лучшими в советско-китайских отношениях. «Отношения были самые близкие», — вспоминал сорок лет спустя Ян Минфу. «Это был пик дружбы», — вторит ему бывший чиновник советского ЦК Лев Делюсин. Однако уже появились первые трещины. Хрущев не консультировался с китайцами перед знаменитым секретным докладом на XX съезде и не пригласил китайскую делегацию его выслушать. У Мао были к Сталину свои претензии, однако он хорошо понимал, что отменять культ Сталина — значит подрывать свой собственный. Хрущев «устроил беспорядок», — говорил Мао своим коллегам 17 марта 1956 года. «Он направил на нас меч, выпустил из клеток тигров, готовых разорвать нас», — жаловался он своему личному врачу, доктору Ли Чжисюю. Его переводчик Ли Юэжэнь вспоминает слова Мао: «Сталина можно было критиковать — но не убивать». «Мао решил, что Хрущев недостаточно зрел для управления такой большой страной», — рассказывает Ян Минфу. «Мао так и не простил Хрущеву нападения на Сталина», — заключает доктор Ли[47].

В то время китайцы не только сами нуждались в советской

помощи, но и были убеждены, что всему социалистическому лагерю без нее не обойтись. Вот почему Мао решил «поправить» Хрущева. Китайские издания настаивали на том, что, несмотря на «серьезные ошибки», Сталина следует рассматривать как «великого марксиста-ленинца». Пекин указывал китайским студентам в СССР, какую позицию им следует занимать в разговорах о XX съезде. Первого мая 1956 года на Красной площади изображений Сталина не было, а на площади Тяньаньмэнь демонстранты несли в этот день огромные портреты покойного вождя[48].

Польский и венгерский кризисы 1956 года подтвердили нелестное мнение Мао о Хрущеве. И той осенью, и впоследствии отношения СССР и Китая заметно изменились. Уже не Хрущев давал советы Мао, а Мао — Хрущеву (например, совет ввести войска в Венгрию): ясно было, что тщеславный и мнительный Хрущев не станет долго терпеть такую перемену ролей[49].

К концу 1956 года Мао окончательно утвердился в мысли, что Хрущев губит дело Сталина. Люди, подобные Хрущеву, «не преданы марксизму-ленинизму, — заявил он в речи той осенью, — у них нет аналитического подхода, им не хватает революционного духа». В январе 1957-го он заявил, что советские лидеры «ослеплены жаждой наживы», так что «лучший способ с ними справиться — задать им порку»[50]. В том же месяце китайский премьер Чжоу Эньлай посетил СССР и Восточную Европу, стремясь сгладить напряжение в отношениях. На приеме в китайском посольстве Хрущев пошел на попятный, назвав Сталина «истинным марксистом-ленинцем». Лев Делюсин, составлявший репортаж о приеме для «Правды», находился рядом. По его воспоминаниям, Хрущев был сильно пьян и часто оговаривался, так что Делюсин был поражен, когда ему приказали подготовить речь советского лидера для печати[51]. По-видимому, заключил он, руководство решило использовать промах Хрущева для налаживания отношений с Китаем. На Чжоу выступление Хрущева также не произвело впечатления. Советские руководители, заявил он по приезде в Пекин, «зачастую неспособны преодолеть субъективизм, ограниченность мышления и эмоциональность». Они «сосредотачиваются на отдельных изолированных событиях и не стремятся рассмотреть вопрос с различных точек зрения». Им «не хватает способности к предвидению и понимания того, как ведутся дела в мире; даже горькие события прошлого года ничему их не научили». При этом «им недостает уверенности в себе, их мучают тайные страхи, и потому они используют в отношениях с внешним миром и братскими партиями тактику угроз и запугивания».

Едва ли можно было более точно и подробно описать слабые стороны Хрущева. Чжоу оказались известны даже тайны Хрущева, о которых он не упоминал ни в секретном докладе, ни в приватных беседах. «Он не предпринял даже попыток самокритики», — докладывал Чжоу, в личной беседе поинтересовавшийся у Хрущева, почему наследники Сталина «отказываются признавать свою личную ответственность». Хрущев ответил на это, что «если бы они не боялись за себя, то могли бы сделать больше, чтобы сдержать развитие ошибок Сталина». Однако, «перед тем как выйти из машины в [Московском] аэропорту, Хрущев объяснил мне, что такая самокритика, как у нас, у них невозможна и может доставить руководству большие неприятности»[52].

Оппозиция Молотова, Маленкова и Кагановича усугубила потребность Хрущева в поддержке Китая. Китайский посол в Москве Лю Сяо заметил, что в начале 1957-го советский лидер сделался особенно внимательным к пожеланиям Пекина. Когда Ворошилов посетил Китай, где его приняли с необычайным гостеприимством, Хрущев завидовал ему — по крайней мере, так говорил принимавшей стороне сам Ворошилов. Однако победа Хрущева над «антипартийной» группой в июне 1957-го отнюдь не порадовала Китай. Как мог такой старый и заслуженный большевик, как Молотов, оказаться во главе «антипартийной группы»? — спросил Пэн Дэхуай у советского посла, сообщившего ему эту новость. «Почему вы так это назвали? — продолжал он. — Неужели не могли ничего умнее придумать?»[53]

Правда, несмотря на свои сомнения в Хрущеве, Мао поддержал победителя. Осенью 1957-го он совершил свой второй и последний визит в Москву, куда был приглашен вместе с руководителями других компартий на празднование сорокалетия Октябрьской революции. Вскоре он откажется от советской модели развития и бросит вызов СССР — однако пока он продолжал возносить хвалы Хрущеву, хоть и явно неискренние. По его словам, в июне 1957-го Кремль стал свидетелем столкновения «двух линий: одной — ошибочной, и другой — относительно правильной»[54]. Звучит не слишком убедительно; но еще слабее эта похвала прозвучала в русском переводе. Согласно свидетельству посла Югославии Мичуновича, переводчик произнес что-то о «двух тенденциях», из которых возобладала «тенденция, проводимая Хрущевым». А что на самом деле сказал Мао, известно только китайцам. По-видимому, что-то понял или о чем-то догадался Микоян: он «резко поднялся с места, и выражение его лица было отнюдь не дружелюбным»[55].

Если слова Мао возмутили сдержанного Микояна — что же

должен был почувствовать Хрущев? «Ленин сказал однажды, что нет человека, который бы не совершал ошибок, — говорил Мао. — Я в своей жизни совершил немало ошибок, и эти ошибки были благотворны, ибо многому меня научили… китайская пословица гласит: „Цветок лотоса прекрасен, но, чтобы подчеркнуть его красоту, необходима зелень листьев“. Вы, товарищ Хрущев, прекрасный лотос: но вам не хватает зелени листьев. И мне, Мао Цзэдуну, хоть я и не лотос, тоже не обойтись без зелени листьев. Есть еще одна китайская пословица, и она гласит: „Трое простых ремесленников, собравшись вместе, становятся равны одному Чжугэ Ляну — великому мастеру и мудрецу“. Это схоже с тем, что говорит товарищ Хрущев о коллективном руководстве»[56].

Комплимент это — или наоборот? И как понять рассуждения Мао о войне? «Если империализм навяжет нам войну, — говорил Мао на ноябрьском совещании, — а у нас сейчас 600 миллионов человек, и мы потеряем из них 300 миллионов, так что же, это ведь война, пройдут годы, мы вырастим новых людей и восстановим численность населения». Если Запад вторгнется на территорию СССР, продолжал он, не следует сопротивляться — лучше отойти за Урал и удерживать оборону год, два, три, пока китайцы не придут русским на помощь. «У меня вызвало удивление, как это Мао может так мыслить, и я не мог дать себе ответа», — рассказывает Хрущев[57].

Поведение Мао в Москве, в отличие от его двусмысленных речей, выглядело вполне однозначно. В отличие от Сталина, Хрущев окружил Мао гостеприимством на высочайшем уровне. Он поселил высокого гостя в роскошном дворце, когда-то принадлежавшем Екатерине Великой, обеспечил бесконечным потоком фруктов, шоколада, сигарет, напитков, каждое утро заезжал его проведать, сопровождал его на политические встречи и культурные мероприятия. Невозможно было вести себя более «уважительно и дружелюбно», пишет личный врач Мао. В ответ Мао буквально источал раздражение и презрение к любезному хозяину. Огромная мягкая кровать в екатерининской спальне ему не подошла, так что он устроил себе постель на полу. Роскошный туалет в ванной тоже не понравился — вместо него Мао пользовался ночным горшком. От услуг двух русских шеф-поваров он отказался и ел только китайские блюда, приготовленные его личным поваром. На представлении «Лебединого озера» в Большом театре отказался занять приготовленное Хрущевым место в ложе, заявив, что предпочитает сидеть «с массами» (которых, впрочем, там не было — особенно в первых трех рядах, плотно нашпигованных

работниками госбезопасности), а почти сразу после начала спектакля покинул зал — как будто, по словам доктора Ли, «сознательно отказывался от контакта с русской культурой». В личных беседах с китайскими коллегами (которые, разумеется, подслушивались КГБ) Мао то и дело «подпускал шпильки» в адрес своего хозяина. Искренние попытки Хрущева загладить унижение, которому подвергся Мао в 1949-м, обернулись против него. «Видите, теперь они с нами обращаются совсем по-другому, — презрительно говорил Мао. — Даже в коммунистической стране они не могут забыть о том, кто слаб и кто силен. Что за снобы!»

Поведение Мао было красноречиво и однозначно. Он обращался с Хрущевым как с «невоспитанным и назойливым дураком», вспоминал Лев Делюсин. Хрущев, добавляет Ли Юэжэнь, «не понимал Мао. Он не понимал, что Мао — великий руководитель и при нем нельзя болтать все, что в голову взбредет»[58].

Поездка Хрущева в Белград в мае 1955 года таила в себе еще больше опасностей, чем путешествие в Пекин. Он стремился перестроить советский блок по новым правилам: терпимо относясь к частным различиям и к некоторой автономии социалистических стран, подчеркивать их идеологическую и политическую общность с СССР, укреплять экономические и военные связи, а также личные отношения с руководителями[59]. Однако осуществлению его планов препятствовали как восточноевропейские сталинисты, так и его собственные сомнения. Хотя Хрущев и признавал, что Сталин эксплуатировал восточноевропейцев, но, когда они отказались уступить КПСС «ведущую роль», разразился упреками: «Хотя в наших отношениях с социалистическими странами мы часто бывали неуклюжи… но никогда не использовали их для достижения своих эгоистических целей». Само такое отношение, вкупе с представлением о превосходстве русских, составляло часть проблемы. Поляки, не ценившие советскую помощь и постоянно требовавшие большего, «проявляли неблагодарность». Вообще все социалистические страны, замечал Хрущев в конце жизни, «смотрели на Советский Союз как на большую кормушку. Я знаю — я с ними со всеми имел дело»[60]. Добавим к этому излюбленную Хрущевым тактику угроз и запугивания — хорошо понятную другим коммунистическим лидерам, поскольку они сами часто использовали ее как друг против друга, так и против собственных народов, — и мы поймем, почему укрепление советского блока оказалось столь нелегким делом.

В конце сороковых, когда в Восточной Европе начались

«чистки» по образцу сталинских, самым страшным прегрешением «предателей», вроде венгра Ласло Райка или чеха Рудольфа Сланского, назывался шпионаж в пользу Тито. Силы Запада играли на расколе между СССР и Югославией, стараясь укрепить с Тито политические и даже военные связи. Вот почему так важно было вернуть Югославию в «социалистическое содружество». Поездка в Белград в мае 1955-го потребовала от Хрущева недюжинной смелости — и, казалось, это рискованное предприятие увенчалось успехом. Советский и югославский руководители заверили друг друга во «взаимном уважении к суверенитету, независимости, целостности и равенству наших государств в отношениях как друг с другом, так и с другими государствами». Позже Тито заметил своим коллегам: «Это мог сделать только Хрущев. Молотов, Маленков, Ворошилов — никто из них не смог бы ничего изменить»[61].

Первая их встреча происходила по образцу, который потом стал для Хрущева настоящим проклятием. Тито был готов к примирению, но на собственных условиях. Он стремился реформировать соцлагерь, выговорить для Югославии большую самостоятельность, укреплять, а не свертывать связи с Западом. Кроме того, гордый и щепетильный Тито не забыл своего конфликта со Сталиным. Он был готов укреплять связи между КПСС и КПЮ — но не раньше, чем сталинизм в СССР будет похоронен.

Напряжение проявилось уже через несколько минут после прибытия Хрущева, в белградском аэропорту. После вежливого приветствия Тито к микрофону шагнул Хрущев. Его речь была тщательно составлена и одобрена Президиумом. Вина за конфликт с Белградом возлагалась не на Сталина, а на Берию. По окончании речи Тито прервал переводчика. «Переводить не надо. У нас все знают русский язык», — бросил он и двинулся прочь, махнув советским гостям в сторону ожидающих их автомобилей. Позднее Хрущев любил вспоминать этот случай как доказательство того, что бессмысленно было оправдывать Сталина, возлагая его грехи на Берию. Однако в тот момент он был глубоко раздосадован. В сущности, Тито оскорбил своего гостя. В Москве «группировки, выступавшие против восстановления добрых отношений, были довольно сильными», вспоминал позднее Хрущев, и «холодный прием в Белграде мог быть расценен как враждебное недружелюбие и отбросить нас назад»[62].

За первой неприятностью последовали другие. Тито и его главные министры прибыли на вечерний прием в роскошном Белом дворце при полном параде — в вечерних костюмах, с

женами в вечерних платьях и драгоценностях, — а на Хрущеве и его спутниках были мешковатые летние пиджаки. Во время тура советской делегации по стране ее принимали с явной холодностью. Когда они шли на яхте по Адриатическому морю, у Хрущева на глазах у Тито разыгралась морская болезнь. На приеме в советском посольстве Хрущев умудрился напиться. Позже, на ужине с Тито и его женой, пока Микоян произносил тост за тостом, а Булганин пытался поддерживать беседу, Хрущев лез целоваться со всеми, особенно с Тито, и умильно уговаривал его: «Йося, хватит дуться! Вот не знал, что ты такой обидчивый! Ну, давай выпьем и забудем старое!»[63]

На встречах, где соблюдать дипломатический протокол не требовалось, Хрущев проявлял себя совсем иначе. На заводе в Загребе он сел за круглый стол и стал просматривать чертежи. В числе прочих журналистов за этим наблюдал Эдвард Кренкшоу, корреспондент «Обсервера». «Он преобразился: не было больше шута, хвастуна, грубияна… Он полностью сосредоточился на своем деле». Хрущев рассматривал чертеж не из праздного любопытства — ему необходимо было опровергнуть утверждение югославов, что советы рабочих могут управлять экономикой лучше, чем директора заводов и государственные службы, и «это было сделано — спокойно и абсолютно неопровержимо». В этой ситуации, продолжает Кренкшоу, Хрущев «не кричал, не повышал голос — однако все почувствовали, кто здесь хозяин, и никому не пришло в голову оспаривать его авторитет». Как будто «вся энергия, вся жизненная сила людей, собравшихся в этой комнате, передалась этому невысокому человеку — он точно знал, чего хочет, и добился своего с минимальными усилиями…»[64].

С Тито было не так легко совладать. В конце 1955-го и первой половине 1956 года Хрущев удвоил свои усилия по умасливанию гордого югославского лидера. Самая смелая уступка была сделана на XX съезде: говоря о том, что у разных стран — разные пути к социализму, Хрущев, несомненно, имел в виду Югославию. Оценил Белград и его усилия по улучшению отношений между Югославией и другими восточноевропейскими странами, и формальный роспуск (в апреле 1956-го) Коминформа, который в последние годы превратился в клуб по битью Белграда. Когда в июне 1956 года Тито посетил СССР, на границе его встречали артиллерийским салютом, на вокзалах в Молдавии, на Украине и в Москве толпился народ, вдоль улиц Ленинграда выстроились около миллиона горожан, а в Сталинграде воодушевленная толпа едва не раздавила Тито и самого Хрущева. Советские лидеры держались как нельзя лучше. На ужине в югославском посольстве даже Молотов «вместе с другими самым жесточайшим образом

критиковал сталинскую политику в отношении Югославии»[65].

Однако переговоры шли трудно. Относительно легко решались межправительственные вопросы: Советы не упрекали Тито за связи с Западом и не требовали немедленного признания ГДР. Выделение кредитов зависело от готовности Тито к «сотрудничеству», но особенно вдаваться в эту тему Хрущев не стал. На идеологическое единообразие Тито не соглашался ни в какую. Так и не добившись полного примирения, Хрущев попытался создать хотя бы его видимость — появился вместе с Тито перед десятью тысячами зрителей на стадионе «Динамо». Однако, сообщает Мичунович, русские «были разочарованы. Они столько вложили в этот визит, но их вклад не окупился»[66].

В последующие четыре месяца разочарование Хрущева усилилось. Вместо того чтобы укреплять коммунистическое единство, гордость и независимость югославского руководства ускоряли его развал. Вскоре после беспорядков в Познани Мичунович, приглашенный на прием в Кремль, заметил необычную мрачность Хрущева. Тито, пожаловался Хрущев, издал его речь, произнесенную на стадионе «Динамо», подвергнув ее цензуре. Он с коллегами принимал Тито «с самой искренней сердечностью» — а югославы в ответ «грубейшим образом нарушают достигнутые соглашения». Говоря об этом, Хрущев кипел от гнева. Он никому не позволит «играть с советским руководством»![67]

Мичунович, ничего об этом не знавший, попытался оправдаться: должно быть, в югославской прессе произошел какой-то «технический сбой». Советские руководители сравнили номера советской «Правды» и югославской «Борбы» строчка за строчкой. Немного успокоившись, Хрущев заметил, что не хотел этой ссоры — его натравили на Югославию коллеги. Однако сам инцидент был знаменателен. Тито не просто защищал свое видение коммунизма — он пытался его экспортировать, прежде всего в Польшу и Венгрию. Возможно, у самого Хрущева и были сомнения в Тито, но он вынужден был доказывать Президиуму, что не ошибся в его доброй воле. Поэтому Хрущев попытался завлечь югославского лидера на свою сторону, показав ему «секретный» фильм об испытаниях советской водородной бомбы, а его помощников засыпав подарками и подношениями. Куда бы ни поехали югославские гости в СССР — и летом, и позже, в сентябре, когда Тито по приглашению Хрущева прибыл в Крым отдохнуть, — в спальнях их ждали подслушивающие устройства. Кроме того, их накачивали водкой — хотя этот дипломатический прием однажды вышел боком: Булганин, напившись, выразился о югославах крайне резко и недипломатично. Когда югославские

гости находились на отдыхе в Крыму, туда неожиданно для них прибыл Эрне Гере, венгерский лидер-сталинист, сменивший Ракоши. Очевидно, Хрущев хотел, чтобы югославы завязали контакт с новым венгерским руководителем; даже если бы этого не случилось, он мог заявить, что его встреча с Тито состоялась[68].

Тито обошелся с Гере вполне дружески и даже пригласил его в Белград. Однако венгерская революция уже набирала обороты, а вскоре югославы вновь проявили себя не лучшим образом. Четвертого ноября они дали Имре Надю убежище в югославском посольстве. (22 ноября он покинул убежище, соблазнившись обещаниями СССР, — однако советские власти арестовали его, заключили под стражу в Румынии, а затем повесили.) А 11 ноября в городе Пула Тито произнес речь, в которой дистанцировался от советской интервенции в Венгрию. Не успев дочитать эту речь, Мичунович отправился на прием в Кремль; там его ждал такой холодный душ, по сравнению с которым предыдущее июльское столкновение казалось детской забавой. Даже не поздоровавшись с послом, Хрущев отвел его в соседнюю комнату и там, в присутствии Молотова и Булганина, буквально орал на него почти час без перерыва. Под конец, заметив, что через приоткрытую дверь эту сцену могли наблюдать другие, Хрущев вывел Мичуновича в другое помещение и там распекал еще около часа. Булганин ему поддакивал; Молотов по большей части молчал, и на лице его ясно читалось: «Я же говорил!» Выплеснув гнев, Хрущев предложил лично отвезти Мичуновича и его жену домой, в посольство. Когда машина остановилась в Хлебном переулке, госпожа Мичунович вышла из машины; однако, как выяснилось, разговор с ее мужем Хрущев еще не закончил. Было уже далеко за полночь, и на улице трещал мороз. Хрущев изменил тон: скорее жалобно, чем гневно, он заговорил о том, что от улучшения отношений с Югославией во многом зависит его личный престиж, что теперь ему придется присоединиться к своим коллегам и возобновить публичную критику Югославии, а это неизбежно приведет к ухудшению отношений между Москвой и Белградом. «Если бы вы видели мои письменные отчеты, которые я посылал после переговоров в Югославии и Крыму! — горестно восклицал он. — Если бы знали, как я надеялся, что наши отношения улучшатся!»

«Более странной беседы с Хрущевым, — замечает Мичунович в своем дневнике, — у меня еще не было». Советский руководитель — прекрасный актер, он умел при необходимости изображать и гнев, и дружелюбие; сейчас он, пожалуй, преувеличил свои разочарование и обиду. Однако сама обида была вполне реальна, и несомненно, что он в самом деле

воспринял речь Тито как личное оскорбление. В декабре, прибыв в Кремль для короткой беседы, превратившейся в очередной трехчасовой марафон, Мичунович «встретил Хрущева в таком состоянии, каким его не видел еще никогда, даже после речи Тито в Пуле… Хрущев понял, что [вице-президент Югославии] Кардель, говоря о „политике кукурузы и картошки“, намекал на него». Об этом Хрущев вспоминал и два месяца спустя. А через неделю на концерте советский руководитель пригласил Мичуновича сесть с ним рядом и шепотом выразил недовольство «отвратительной» карикатурой на себя и Булганина в белградской газете «Политика». С этими словами он протянул послу газету «как вещественное доказательство». Мичунович спокойно ответил, что лысый толстяк рядом с Булганиным — не Хрущев, а Эйзенхауэр[69].

Хрущев всегда был чувствителен к обидам, а неуверенность в своей правоте и неустойчивое политическое положение увеличивали его дискомфорт. Увы, такой теплоты, как летом 1956-го, советско-югославским отношениям более достигнуть было не суждено. Польша и Венгрия остались в соцлагере, а звезда Югославии скоро закатилась — и на Востоке, и на Западе. Однако, если Хрущев и победил — это была пиррова победа. Тито еще более укрепился в своей решимости отстаивать «югославскую модель». Хрущев попытался оградить от заразы другие страны, начав кампанию против югославского «ревизионизма». Однако то, что ему все-таки пришлось это сделать — после долгих переговоров, старательного улещивания и умасливания югославов, — само по себе свидетельствует о поражении[70].

Китай и Югославия смущали покой СССР; США могли его уничтожить. Уже в 1954-м, если не раньше, Хрущев начал проявлять пристальный интерес к отношениям Востока и Запада. Его сын заметил, что отец «особенно нервничал» в январе 1954 года, во время Берлинской конференции министров иностранных дел. «Он возвращался домой очень поздно и подолгу говорил по телефону» — с Молотовым. По словам помощника Молотова, Хрущев был недоволен «вялостью и безынициативностью» министров иностранных дел; он постоянно жаловался на них коллегам — особенно «разогревшись» на дипломатических приемах. В то время помощь Молотова против Маленкова была ему необходима, и до начала 1955-го Хрущев не решался открыто ему противоречить. В это же время он вплотную занялся оборонной политикой Советского государства, поставив себе цель: снизить расходы на оборону, тяжким бременем лежавшие на советской экономике, не ослабив, а напротив, усилив

национальную безопасность. Решение проблемы Хрущев видел в ядерном оружии.

Ко времени смерти Сталина его программа по разработке атомного вооружения действовала уже восемь лет[71]. В 1952-м разведка США сообщала, что к середине 1953-го СССР будет обладать не менее чем двумястами ядерными бомбами. На самом деле к этому времени у Москвы было всего сто двадцать бомб, а бомбардировщиков, способных донести смертоносный груз до США и вернуться домой, СССР не имел до 1956 года[72]. Быстрое развитие атомного вооружения не уменьшало затрат на оборону — скорее напротив. Тогда Хрущев решил блефовать. Ядерное оружие, полагал он, так разрушительно, что никто никогда не решится его применить; он замечает, что, когда впервые «узнал все факты о ядерной мощи, после этого несколько дней спать не мог. А потом понял, что мы ведь все равно никогда не станем им пользоваться… и снова заснул спокойно»[73]. В результате он грозил миру ядерной войной, не собираясь претворять в жизнь свои угрозы, и в то же время сокращал обычное вооружение — военно-морские и военно-воздушные силы. Поскольку американцы сильно превосходили русских в числе и качестве бомбардировщиков, Хрущев решил положиться на ракеты. Первая ядерная ракета, 270-тонная и полутораступенчатая Р-7, сконструированная Королевым, прошла испытания только зимой 1956-го — однако еще до этого Хрущев вовсю «применял» ее в столкновениях с государственными деятелями США[74].

Центральная идея новой политики Хрущева — то, что позднее стали называть «разрядкой». По мысли Хрущева, снижение международной напряженности должно было снизить сопротивление Запада коммунистическим идеям, соблазнить капиталистов на развитие торговли между Западом и Востоком и создать имидж СССР, привлекательный для стран третьего мира. Сталин и Молотов тоже не пренебрегали «передышками» — Хрущев предпочитал неограниченно долгий период «мирного сосуществования». Он не отказывался от революционной миссии большевиков, но считал, что выполнять ее удобнее в странах третьего мира, мало интересовавших Сталина и Молотова. В международной политике он полагался прежде всего на личные отношения: стремился завоевать симпатии иностранных лидеров, окружив их вниманием, и преодолеть их недоверие своими открытостью и упорством. Будь жив Сталин — ему все это пришлось бы не по нраву. Помощник Молотова вспоминает замечание своего шефа: по его словам, «во внешней политике такая наивность сродни преступлению»[75]. Однако чем больше ворчал Молотов, тем яростнее Хрущев стремился доказать

правильность своего подхода.

Кремль устраивал для дипломатов роскошные ужины и гала-концерты в Георгиевском зале. В августе 1955-го была проведена загородная дипломатическая вечеринка в Семеновском, в шестидесяти километрах к юго-востоку от Москвы: дипломаты катались на лодках, отдыхали в гамаках и ужинали под звуки военного оркестра — все было, по словам Сесила Пэрротта, «очаровательно». Под легкий летний пиджак Хрущев надел свою знаменитую косоворотку. Неудивительно, замечает Пэрротт, что чопорный и неприступный Суслов скоро, «как белый кролик, посмотрел на часы и нырнул в какую-то нору». Вечеринка напомнила английскому дипломату «шекспировские сказки, в которых Булганин играл роль то Просперо, то герцога Арденнского леса».

Впрочем, не все дипломатические мероприятия проходили так удачно. Едва взглянув на Хрущева и Чжоу Эньлая на приеме в июле 1954-го, посол Хейтер понял, каково истинное силовое и культурное соотношение между СССР и его «сателлитом» Китаем. Чжоу общался с коллегами «на прекрасном, беглом английском, из которого его русские слушатели не понимали ни слова». Во время воздушного праздника в Тушине в июне 1956-го, вспоминает Хейтер, Хрущев, выпив больше, чем следовало, «принялся поливать грязью буквально все зарубежные страны». Булганин тщетно пытался его остановить; Молотов слушал молча, поджав губы; «Все это совершенно не нужно!» — скривившись, прошептал Каганович. Несколько иностранных дипломатов поднялись с мест и откланялись — а Хрущев, не замечая этого, все продолжал говорить[76].

Первая значительная инициатива Хрущева в отношениях с Западом касалась Австрии. После войны Австрия, как и Германия, подверглась оккупации. Хрущев решил, что СССР ничего не потеряет, если советские войска оставят Австрию в обмен на договор, согласно которому Австрия, как Швейцария, обязуется хранить нейтралитет. Переговоры с Австрией затянулись на несколько лет, и ведший их Молотов обвинял в затягивании дела Хрущева. Тот «не имел опыта международных контактов… и… оказался в положении той Дуньки, которая (в пьесе „Любовь Яровая“) готовилась уехать в Европу»[77]. Однако Хрущева это не останавливало.

Первым западным лидером, с которым Хрущев вел переговоры лично, стал австрийский канцлер Юлиус Рааб. «Первый раз в жизни, господин Рааб, — сказал ему Хрущев при первой встрече, — мне доводится сидеть рядом с капиталистом». Переговоры с Австрией стали для Хрущева и его коллег «пробным

шаром, демонстрацией того, что мы можем вести сложные переговоры и провести их хорошо». В конце концов, хвастал он, «выезд Дуньки в Европу оказался успешным, с демонстрацией того, что мы ориентируемся в международных делах и без сталинских указаний. Если образно говорить, то мы в своей международной политике сменили детские штанишки на брюки взрослых людей. Наш успешный дебют был признан не только в СССР, но и за рубежом, что тоже имело большое значение. Мы ощутили свою силу»[78].

Следующим испытанием стал для Хрущева женевский саммит в июле 1955-го. В пятидесятые годы в саммитах участвовали четыре стороны: внимания к себе требовали и Лондон, и Париж. Однако главным игроком — игроком, ведущим жесткую игру, — в советских глазах оставались США. Даллес был более гибок, чем казался (он внимательно следил за трещинами в советском блоке и готов был при необходимости снижать напряженность холодной войны); однако он предсказывал, что саммит окажется безрезультатным. Эйзенхауэр, как и Хрущев, делал ставку на личные отношения и надеялся выиграть при помощи своего обаяния и авторитета. Накануне саммита Даллес признался другу, что «ужасно обеспокоен». Эйзенхауэр «любит, чтобы между людьми все шло ровно и гладко», и «устает от неприязни и неопределенности». Даллес опасался, что Айк примет тактическую любезность за «признак внутреннего тепла» и поверит обещаниям, которым верить не стоит[79].

И Хрущев, и Эйзенхауэр ценили личные контакты больше соглашений по существу отчасти потому, что последние казались недостижимыми. Проблема Германии и связанные с ней вопросы европейской безопасности не оставляли возможности для компромисса: Запад настаивал на объединении Германии и свободных выборах, Советы предпочитали, чтобы Германия осталась разделенной. Самое яркое предложение Эйзенхауэра в Женеве — идея «открытого неба», то есть разрешения наблюдательных полетов над военными базами друг друга — поразило Хрущева, увидевшего в этом предложение легализации шпионажа[80]. Болен назвал Женеву «одной из самых бесплодных и разочаровывающих встреч». Хейтер рассказывает, что на большинстве заседаний перечитывал «Войну и мир»; а Анатолий Добрынин, впоследствии советский посол в США, а в то время молодой дипломат, вспоминает такой показательный случай: в ответ на заявление Эйзенхауэра, что НАТО — не агрессивная организация, Хрущев поинтересовался, почему же туда не может вступить СССР. «А вы подавали заявку?» — изумленно спросил

Эйзенхауэр. «Несколько месяцев назад», — ответил Хрущев. Эйзенхауэр растерялся и не знал, что ответить; эту мини-дуэль он явно проиграл[81].

Поскольку перспективы реальных соглашений были очень сомнительны, женевский саммит стал для Хрущева экзаменом в ином отношении: сумеет ли он вести себя как подобает руководителю великой державы? Сможет ли достойно представлять свою страну? Подойдет ли к встрече трезво, без нереалистических надежд, не поддастся ли соблазну запугивания противоположной стороны? 4 июля, перед отлетом из Москвы, Хрущев энергично отрицал, что советская сторона «ползет в Женеву на коленях», «с переломанными ногами». Однако сам, по словам его сына, «подозрительно следил за соблюдением дипломатического протокола, опасаясь, что его оскорбят, не оказав каких-либо из принятых знаков уважения». Вообще соблюдение этикета стало для него серьезной проблемой. «Он то и дело возвращался к этой болезненной теме». Что надеть, как к кому обращаться, какими столовыми приборами пользоваться на дипломатических ужинах? Булганин бывал за границей не чаще его самого, и за консультациями по вопросам этикета Хрущеву приходилось обращаться к Молотову. Надо ли ему надевать белый галстук и перчатки как министру иностранных дел? «Ну нет, пусть принимают нас такими, какие мы есть! — ворчал он в кругу семьи. — Мы не станем им подыгрывать. Мы — пролетарское государство, страна рабочих и крестьян: вот пусть и говорят с рабочими»[82].

Хрущев боялся, что так и не попадет в Женеву. Он отчаянно хотел участвовать в саммите, вспоминает его сын: «Просто не мог вынести мысли о том, что первое со времени смерти Сталина совещание лидеров великих держав пройдет без него». Советскую делегацию официально возглавлял глава государства Булганин, и поскольку Хрущев формально не занимал государственных должностей, его присутствие могло выглядеть странно. Много лет спустя он так и не мог решить для себя этот вопрос: «Не знаю, правильно или неправильно мы поступили. Сейчас поздно судить об этом. Я же не скрою, что мне хотелось участвовать в данной встрече, познакомиться с представителями США, Англии и Франции, немного приобщиться к международной политике на высшем уровне»[83].

Унижения начались уже в аэропорту. Западные делегации прибывали на четырехмоторных самолетах, а советская — на двухмоторном. «Наш самолет не свидетельствовал о высоком уровне развития советской авиационной техники, — признавал позднее Хрущев. — Это, если можно так выразиться, несколько

принижало солидность нашей делегации». *Несколько?* «До самой своей смерти, — рассказывает его сын, — он не мог забыть того унижения, которое испытал, когда двухмоторный Ил-16 приземлился в Женеве». Рядом с западными воздушными лайнерами «он выглядел какой-то букашкой». Когда Булганин, согласно церемониалу, двинулся вперед, вспоминал Хрущев, «… вдруг перед самым моим носом выросла спина протоколиста правительства Швейцарии. Я хотел его отстранить, но потом понял, что он сделал это умышленно, получив директиву лишить меня возможности пройти вместе с Булганиным. Так как я занимал тогда пост первого секретаря ЦК КПСС, то, с их точки зрения, было недопустимо, чтобы я участвовал в официальной процедуре»[84].

Помещение, где проходили переговоры — зал совещаний Лиги Наций в Пале де Насьон, — приводило в трепет. Главное место занимал огромный четырехсторонний стол с двумя рядами кресел для высокопоставленных дипломатов и скамьями на заднем плане для их помощников. Стены были расписаны картинами на античные темы; из большого окна открывался великолепный вид на Женевское озеро и окружающие его горы. Каждая делегация занимала за столом пять кресел. Эйзенхауэр сидел в середине, по правую руку от него — Даллес. Напротив них восседали Булганин с Хрущевым и маршалом Жуковым по одну сторону и Молотовым и Громыко — по другую. Английскую делегацию возглавлял Энтони Иден, французскую — премьер-министр Эдгар Фор и министр иностранных дел Антуан Пине[85].

С этими-то проставленными государственными деятелями Хрущеву приходилось вести не только переговоры, но и светские беседы. Эйзенхауэр предложил заканчивать каждое пленарное заседание неформальным «полдником», чтобы смягчать возникшее напряжение за рюмкой мартини. На одном из таких «полдников» он представил Хрущеву Нельсона Рокфеллера, советника американской делегации. Удивленный тем, как «демократично» Рокфеллер одет, Хрущев шутливо ткнул первого американского миллионера кулаком в бок. «Так это и есть тот самый мистер Рокфеллер!» — воскликнул он. И, без сомнения, ощутил облегчение, когда практичный и приземленный Рокфеллер «принял шутку и ответил тем же со своей стороны»[86].

На заседаниях от советской стороны выступал в основном Булганин: по замечанию одного из американцев, речи его порой звучали «как отчет председателя крупного благотворительного общества на ежегодном заседании». Хрущев не стеснялся прерывать его, если считал нужным, а на дипломатических ужинах перехватывал главную роль. Иден пишет, что он «встревал

в разговоры» и «старался перехватить инициативу у своих товарищей». На ужине на американской вилле Хрущев высмеял слабость Булганина к выпивке. На приеме у русских официальным хозяином торжества был Булганин, однако, по словам помощника госсекретаря США Ливингстона Т. Мерчанта, «Хрущев привлекал всеобщее внимание как говорливостью, так и прежде всего необычайными застольными манерами». В другой раз перед ужином «мистер Хрущев пространно и красноречиво рассказывал о необыкновенном успехе, которого они добились, скрестив зебру с коровой. По его словам, получились полосатые коровы — самые настоящие коровы, с рогами и со всем прочим»[87].

Если даже американцев, привыкших к неформальному стилю общения, поражала невоспитанность Хрущева, то более утонченные европейцы были от него просто в ужасе. «Хрущев — для меня загадка, — записал 22 июля в дневнике Гарольд Макмиллан. — Как может этот вульгарный, бесконечно болтающий толстяк с поросячьими глазками править огромной страной с многомиллионным населением, в сущности, исполнять роль царя?» Антуана Пине также поражал «этот коротышка с пухленькими ручками». Макмиллан почти готов был пожалеть бедных русских, которые так хотят, «чтобы их признали — и даже полюбили»[88].

По сравнению с неформальными мероприятиями, переговоры шли легко: все, что требовалось от советской делегации — твердо стоять на своих позициях по вопросу о Германии и о разоружении и не допускать вмешательства в дела Восточной Европы. Хрущев не только отказывался уступать империалистам, но и полагал, что они должны уступить ему. Во время ужина на американской вилле Эйзенхауэр горячо настаивал, что «война в ядерную эпоху бессмысленна», что, применив ядерное оружие, любое из государств рискует уничтожить самое себя вместе со всем Северным полушарием. Помощник госсекретаря Мерчант позже одобрительно отозвался об этой тактике: «Благодаря этому саммиту мы прежде всего дали понять советским лидерам, что США не следует бояться — мы на Россию не нападем. Президент, благодаря своей открытости и искренности, сумел убедить в этом советское руководство, избавив нас от риска советских действий, вызванных непониманием наших собственных намерений». Однако реальный эффект оказался почти противоположным. Хрущев покинул Женеву «воодушевленный, обнаружив, что противники, похоже, боятся нас не меньше, чем мы их». Это подтолкнуло его к тактике блефа и угроз ядерной войной как средству давления на американцев[89].

Уверенность Хрущева укрепило еще одно впечатление. Он заметил, что Эйзенхауэр во время переговоров во всем полагается на Даллеса, что Даллес постоянно передает ему записки, которые Эйзенхауэр «добросовестно, как школьник, зачитывал», — и «мне было жаль его: нельзя так себя вести перед всеми делегациями. Президент США терял свое лицо». После Женевы Хрущев сообщил на заседании Президиума: «Я не могу судить, насколько хорош Эйзенхауэр как президент. Это пусть американский народ решает. Но, как отец и дед, скажу: в школе или в детском саду я бы с радостью доверил этому человеку своих детей». Добрынин позже писал, что Хрущев доверял Эйзенхауэру «как ветеран ветерану», полагая, что человек, переживший войну, не допустит развязывания новой войны. Эта уверенность позволяла Хрущеву без всяких опасений блефовать, в кризисных ситуациях угрожая США ядерным ударом[90].

Поездка в Женеву принесла и другие дивиденды. Сам Хрущев по магазинам не ходил, но отправил своего помощника узнать, сколько стоят швейцарские часы. В Юзовке, еще до революции, он носил швейцарские часы — и вспоминал о них, по словам сына, «с благоговением». Узнав, что сейчас такие часы недороги, он заказал часы для себя и всей семьи, а вслед за ним то же сделали и другие члены делегации. Кроме того, он купил швейцарский армейский нож, которым срезал грибы и чистил яблоки до самой смерти[91].

Если верить его зятю, Хрущев вернулся из Женевы «довольным, даже радостным». По его собственным словам, он доказал, что может «достойно представлять свою страну»[92].

Будь его воля, Хрущев немедленно после Женевы отправился бы в Вашингтон. Хрущев и Булганин даже спросили о приглашении, и Эйзенхауэр отмечал на заседании конгресса: «Они ломаться не станут. Эти люди любят быть на публике». Интуиция Эйзенхауэра подсказывала ему ответить согласием; но Даллес «счел, что я чересчур импульсивен», и президент ограничился обещанием проработать этот вопрос[93].

Однако на встрече министров иностранных дел в октябре 1955-го не было принято никаких соглашений; в сущности, министры не договорились даже об общих принципах, исходя из которых можно было бы вести переговоры. По возвращении Даллес объявил, что холодная война продолжается. В реакции Хрущева чувствуется нешуточное раздражение. «Успех, которого мы достигли на женевском совещании, очень небольшой, в сущности, микроскопический», — заявил он 24 ноября. Затем он заметил, что «готов ждать, как говорится, пока не каплет». Однако и два дня спустя нетерпеливо отмечал, что ядерное оружие

«действует на нервы тем, кто хотел бы развязать войну», добавив к этому: «Мы должны использовать все свои возможности, чтобы заставить агрессивные круги в некоторых странах поменьше говорить о войне и побольше — о контактах… и разрядке международного напряжения»[94].

Оправившись после разочарования в американцах, Хрущев обратил свои взгляды в сторону Бонна. К тому времени западные державы уже прекратили оккупацию Западной Германии и позволили ФРГ вступить в НАТО, однако опасались, что СССР каким-либо образом сумеет переманить Бонн на свою сторону. Вот почему известие о том, что канцлер Конрад Аденауэр летит в Москву, вызвало сенсацию. Результаты советско-германских переговоров в сентябре 1955 года были довольно скромными (СССР согласился амнистировать и вернуть в Германию немецких военнопленных, Аденауэр смирился, по крайней мере временно, с существованием двух Германий), однако Хрущев был доволен. «Мы как-то нарушили изоляцию, которая существовала раньше вокруг нас»[95].

В октябре Хрущев и Булганин отправились в длительную поездку по Индии, Бирме и Афганистану. Сталин интересовался делами на Ближнем Востоке, однако не вмешивался, полагая, что такого вмешательства Великобритания не потерпит. Вообще Индия, как и другие малоразвитые страны, по словам Хрущева, «Сталина не слишком интересовала». Однако теперь, когда колониальная система рушилась и на бывшие владения европейских держав нацеливались США, Хрущев поспешил им наперерез. Молотов, рассказывал позднее Хрущев египетскому президенту Насеру, назвал его новый политический курс «авантюризмом». На это Хрущев ответил: «Лучшая оборона — нападение. Я сказал, что нам необходима новая, активная дипломатия, поскольку невозможность ядерной войны означает, что борьба между нами и капиталистами будет теперь вестись другими средствами. Я не авантюрист, сказал я им, но мы должны поддержать новые освободительные движения…»[96]

Азиатское турне Хрущева и Булганина длилось почти два месяца: советская делегация преодолела тысячи километров на самолетах, поездах и автомобилях. Миллионы людей собирались посмотреть на них и послушать. Они посещали индустриальные и культурные центры; Хрущев ездил на слоне («Слон на слоне», — язвил по этому поводу Молотов). Официальным «спикером» делегации являлся Булганин, но обычно Хрущев скоро перехватывал у него инициативу. Он говорил обо всем на свете; его речи порой поражали и смущали слушателей (особенно та, в которой он сравнил британских империалистов с Гитлером), и

общее впечатление от советских гостей побуждало местных хозяев сохранять осторожный нейтралитет. Результаты поездки остались неясны[97].

Среди прочих инициатив Москвы этого периода нужно назвать отказ от требований немедленного разоружения, согласие урезать численность Вооруженных сил до 640 тысяч человек и возвращение Финляндии военно-воздушной и военно-морской баз на полуострове Порккала, хотя до окончания пятидесятилетнего срока их аренды оставалось еще сорок два года[98]. Булганин забрасывал американского президента письмами с предложениями дружбы и сотрудничества, вызывавшими у Эйзенхауэра реакцию типа: «Не трудитесь, я сам с вами свяжусь». В марте на приеме в Кремле Булганин отвел Болена в сторонку и сказал, что, если тот желает «открыто и сердечно» побеседовать с ним или с Хрущевым, советские лидеры к его услугам. Болен только об этом и мечтал — но, «к сожалению, Даллес так и не дал мне разрешения на такой разговор». Одной из причин сопротивления Даллеса стал секретный доклад Хрущева. Если, как полагал американец, одной из причин советских реформ стала жесткая позиция Америки, то давление следовало продолжать. Одним из актов такого давления стал полет шпионского самолета У-2 над Москвой и Ленинградом 4 июля 1956 года — в то самое время, когда Хрущев со своими коллегами отмечал День независимости на приеме в американском посольстве[99].

В Соединенные Штаты его пока не приглашали, и, чтобы не терять времени зря, Хрущев вместе с Булганиным отправился в Великобританию, куда получил приглашение от Идена в прошедшем году[100]. «Не считая Женевы, — пишет Хрущев в мемуарах, — это было мое первое путешествие за границу»[101]. Это, конечно, не совсем так; но, очевидно, социалистические страны и страны третьего мира Хрущев за «заграничные» не считал. Перед высокоцивилизованными англичанами он хотел предстать не только руководителем великой державы, но и культурным человеком, способным держаться с достоинством.

«Отец волновался, — вспоминал позднее Сергей Хрущев. — Особенно беспокоился о том, как бы не выглядеть в их глазах дураком». Что, если советское Министерство иностранных дел не сумеет должным образом подготовить его к путешествию? Боясь совершить ошибку, Хрущев сначала отправил в Лондон Маленкова как подопытного кролика — и с облегчением узнал, что ему там оказали самый уважительный прием. Если бы, думал Хрущев, прилететь на четырехмоторном Ту-104! Это был, рассказывает он, «первый в мире реактивный пассажирский

самолет, и мы хотели, чтобы они на него посмотрели». Маленкову позволили рисковать жизнью на новом самолете; однако Хрущев и Булганин отправились в Англию морем, на боевом эсминце, на борту которого отпраздновали шестидесятидвухлетие Хрущева. Хрущев организовал доставку себе в Англию почты на новом самолете — и с удовлетворением замечал, что «наш самолет заходил на посадку как раз неподалеку от королевского дворца». На приеме королева вежливо упомянула о том, что видела новый советский самолет — «мы стали рассказывать ей про самолет, какой он хороший, современный, лучший в мире, а другие страны пока такого самолета не имеют»[102].

Были у Хрущева и другие поводы для беспокойства. Не доверяя сметливости Булганина, он просматривал все его речи, напечатанные мелким шрифтом на малоформатных листочках бумаги, умещающихся в кармане пиджака. Почему делегацию поселили в «Клэридже», роскошном отеле, а не на отдельной вилле, как обычно СССР устраивает своих гостей? Вдруг это от недостатка уважения? На прием к королеве Хрущев наотрез отказался надеть обычный по такому случаю фрак, но согласился на строгий черный костюм, который пришлось шить в последнюю минуту. Комната Хрущева в «Клэридже» была нашпигована подслушивающими устройствами — однако, докладывал служащий МИ-15 Питер Райт, никаких государственных тайн подслушать не удалось, «только бесконечные монологи, адресованные помощникам и посвященные тому, как он выглядит, как держится и как его принимают. Необыкновенно тщеславный человек. Часами прихорашивался перед зеркалом, приглаживал волосы»[103].

Волос у Хрущева к тому времени уже почти не было. Члены семьи уверяют, что собственная внешность его не заботила. Однако если уж блистать, то где как не в компании элегантного Идена и его коллег? Сам Хрущев в беседах с хозяевами неоднократно называл себя «человеком простым», однако «открыто говорил, что хотел бы произвести на хозяев хорошее впечатление». Он очень старался вести себя сдержанно: не претендовал на познания в специальных вопросах, позволял членам делегации говорить на специальные темы, не прерывая их. Когда же зашла речь о базовых политических вопросах, Хрущев отодвинул в сторону формального главу делегации — Булганина. Когда делегация вернулась домой, Молотов упрекнул Хрущева в том, что он «подавлял главу правительства и делегации». Сам Хрущев позже говорил: «Не буду сейчас играть в скромность. Ведь потом выяснилось, что Булганин, правильно понимая свои возможности, на ряд вопросов не смог бы ответить

так, как нужно было». Британские наблюдатели заметили, что «Хрущев часто подшучивает над Булганиным, но никогда — наоборот»[104].

Согласно заявлениям британских официальных лиц, Хрущев излагал свои взгляды «ясно и убедительно», знал предмет разговора, говорил «без бумажных планов и текстов речей» и умело сводил сложные проблемы к «простым и четким схемам». Даже когда ему случалось говорить резко и грубовато, «все искупала его уверенность в себе и приземленный, народный юмор». По словам советского дипломата и переводчика Олега Трояновского, «он вел себя почти как джентльмен». Почти, но не совсем. У памятника принцу Альберту гид объяснил, что принц-консорт не имел никаких государственных обязанностей, а лишь исполнял обязанности супруга королевы. «А чем же он занимался днем?» — лукаво улыбнувшись, спросил Хрущев[105].

Кстати, о супругах. Миссис Иден, должно быть, была немало удивлена, когда на рассвете услышала стук в дверь своей спальни в Чеккерсе (загородном особняке премьер-министра): это советский руководитель, заблудившийся в особняке, разыскивал своего премьер-министра («Мы посмеялись, — вспоминал Хрущев, — но решили не объяснять хозяевам, кто же постучал в дверь комнаты госпожи Иден»); не меньше изумила ее застольная «шутка» Хрущева, заявившего за ужином, что советские ракеты «не только могут достать Британские острова, но и полетят дальше» (сам Хрущев потом признавал, что «это вышло с моей стороны несколько грубовато»). Королева Елизавета принимала гостя любезно и произвела на него хорошее впечатление. На ней было «светлое платье неяркой расцветки», вспоминал Хрущев; «в Москве на улице Горького можно встретить летом молодую женщину в таком же одеянии». «Она не проявила никакой королевской чопорности». «Обычная женщина, жена своего мужа и мать своих детей»[106].

Хрущев изо всех сил старался вести себя как джентльмен, однако иногда все же поддавался на провокации и давал волю раздражению. Однажды зеваки на улице встретили его неодобрительными криками. Хрущев спросил у Хейтера, что означают «эти звуки — „бу-у, бу-у“». Хейтер, поколебавшись, объяснил, что криком «Бу-у! Бу-у!» англичане выражают неодобрение[107]. Всю оставшуюся поездку Хрущев то и дело бормотал себе под нос: «Бу-у! Бу-у!» Обед с лидером партии лейбористов Хью Гейтскеллом прошел неплохо, хотя у Гейтскелла и сложилось впечатление о Хрущеве как о «сущем поросенке, хотя и симпатичном». Но на последовавшем затем ужине лейбористский оратор Джордж Браун отпустил серию шуток

касательно Сергея Хрущева (он был в составе делегации), осмелившегося в чем-то не согласиться со своим отцом. Хрущев обиделся и в ответ разразился пространной речью, по словам Гейтскелла, «резкой и даже нестерпимо грубой». «Никогда не забуду, — добавляет Р. Х. С. Кроссман, — безответственных заявлений Хрущева о том, что мы должны немедленно присоединиться к русским, а иначе они смахнут нас с лица земли, словно тараканов».

Браун и Бивен несколько раз прерывали Хрущева. Один раз Браун спросил о судьбе своих товарищей-социалистов, ликвидированных коммунистами. «Если хотите помогать врагам рабочего класса, — взревел в ответ Хрущев, — ищите себе других дураков!» Когда Браун поднял бокал и выразил надежду, что они останутся друзьями, Хрущев отрезал: «Только не со мной!» — и вышел из комнаты. На следующий день он отказался пожать Брауну руку, в ответ Бивен, не сдержавшись, проворчал: «Он невозможен. Ведет себя как ребенок!» Хрущеву эту реплику, разумеется, не перевели[108].

Открытая ссора между левыми партиями-союзницами отнюдь не была беспрецедентной — однако Хрущев еще долго не желал мириться. «Я таких, как вы, тридцать лет не встречал!» — объявил он Брауну. «Грубость» Брауна глубоко его задела, быть может, именно потому, что отчасти повторяла его собственную. Иден, разумеется, наслаждался этой историей. «Люди такого воспитания и темперамента, как господин Хрущев, — язвительно отмечал он, — не выносят ничего, хоть сколько-нибудь напоминающего интеллектуальную опеку»[109].

Сам Иден полагал, что Хрущев и Булганин «способны прекрасно отстаивать свое мнение в дискуссии по любому вопросу», и относился к их поведению «с уважением». В переговорах с Иденом Хрущев был безукоризненно вежлив (даже когда они схлестнулись по вопросу о Ближнем Востоке), но сам портил впечатление своими простодушными репликами — так, когда советская делегация заняла свои места за столом переговоров на Даунинг-стрит, Хрущев заметил: «Вы посмотрите, как мы выдрессированы — идем, как лошади в стойло»[110].

Поездка «Б и Х» (как именовали их британские таблоиды) не принесла существенных результатов, однако для Хрущева стала значительным шагом вперед. Но впереди его ждали новые испытания. Начались волнения в Восточной Европе, вину за которые — по крайней мере на публике — Хрущев возлагал на Запад. За польскими беспорядками, заявил он Мичуновичу в июле 1956 года, «стоят Соединенные Штаты и Даллес». «Он

полагает, — записал Мичунович 25 октября, — что Запад стремится пересмотреть результаты Второй мировой войны, что он начал с Венгрии и теперь будет стараться сокрушить социалистические страны поодиночке»[111].

Волнения в Восточной Европе и в самом деле возбудили в Вашингтоне определенные надежды. Отказ СССР от Венгрии, заявил Эйзенхауэр 31 октября, будет означать «рассвет нового дня». Это будет «огромный рывок к справедливости, доверию и взаимопониманию между народами»[112]. В надежде «освобождения» Польши и Венгрии США открыли радиостанцию «Свободная Европа», передачи которой как будто призывали жителей социалистических стран к восстанию[113]. Из страха превратить региональный кризис в глобальную войну Эйзенхауэр отказался от идеи прямой военной помощи мятежникам. Лучший способ помочь венграм, решили Эйзенхауэр и Даллес, — успокоить русских, заверив их, что США не станут участвовать в конфликте[114].

Объяснение восточноевропейских проблем «происками империалистов» было выгодно Москве, в том числе и в политическом отношении. Благодаря Венгрии, говорил Хрущев Мичуновичу, Запад убедился, что Советский Союз «силен и решителен», а западные страны «слабы и разъединены»[115]. Он продолжал: «Теперь возобновится холодная война — но для Советского Союза это не так уж плохо» — заявление, подтвержденное результатами Суэцкого кризиса, разразившегося примерно в это же время[116].

К лету 1956 года СССР взял Египет под свое покровительство. Москва снабжала Каир чешским оружием, а вскоре после национализации Насером Суэцкого канала Хрущев заявил Хейтеру: «Война Египта против Англии была бы священной войной, и если бы мой сын пришел ко мне и спросил, стоит ли ему пойти добровольцем против англичан, я бы ответил ему: „Конечно, стоит“». Кремль пытался предотвратить конфликт, однако 29 октября Израиль при поддержке британских и французских сил вторгся на территорию Египта. 30 октября в Москву прибыл сирийский президент Шукри аль-Куатли; он умолял о помощи. «Что же мы можем сделать?» — спросил Хрущев. Он повернулся к маршалу Жукову; тот расстелил на столе карту Ближнего Востока и спросил: «Что же, нам следует послать армию через Турцию, Иран, Сирию и Ирак на Израиль, чтобы воевать там с англичанами и французами?» — «Посмотрим, что мы сможем сделать», — пробормотал Хрущев, сворачивая карту[117].

Лучшим выходом он счел атомный шантаж. «Что будет с

Великобританией, — спрашивал Булганин в письме к Идену от 5 ноября, — если ее атакуют более сильные государства, обладающие всеми видами современного оружия массового поражения?» Эйзенхауэру, который дистанцировался от Англии и Франции и добивался прекращения огня, Булганин предложил действовать совместно. Набросок угрожающих писем Булганина сделал сам Хрущев. Он же мечтал о совместных советско-американских действиях (позже он вспоминал, что Молотов противился этой идее) и настаивал, что добился позитивного результата: отказавшись, американцы продемонстрировали, что все их заявления о стремлении к миру, справедливости и следовании принципу ненападения — ложь. «Мы их разоблачили!» — восклицал Хрущев[118].

Когда 6 ноября было заключено соглашение о прекращении огня, Хрущев объявил Мичуновичу, что это — «прямой результат» советских угроз, обнародованных двумя днями раньше. «Отец был необычайно горд своей победой», — вспоминал Сергей Хрущев. Благодаря Суэцкому кризису Хрущев убедился во всесилии призрака ядерной войны — как и в том, что этот призрак может с успехом заменять реальную военную мощь[119].

В действительности прекратить огонь агрессоров заставило скорее американское, чем советское давление. Советские угрозы последовали тогда, когда ход событий был уже предопределен. Это было понятно египтянам — но не Хрущеву: «Мне рассказывали, что когда Ги Молле [французский премьер-министр] получил наше письмо, то в пижаме бросился к телефону и стал звонить Идену. Не знаю, правда это или нет; но независимо от того, были ли на нем брюки, нельзя отрицать, что через двадцать четыре часа после получения нашего письма агрессия прекратилась». Что же касается американцев, продолжает Хрущев, то они своим союзникам помогли, «как веревка повешенному». Даллес любил хвастать своим хладнокровием, говорил Хрущев несколько лет спустя египетскому журналисту Мохаммеду Хейкалу, однако, когда «мы отправили ультиматум в Лондон и Париж, у Даллеса нервы сдали». «Выигрывает тот, у кого нервы крепче, — заключил Хрущев. — Вот что важнее всего помнить в наше время. Люди со слабыми нервами всегда остаются в проигрыше»[120].

Глава XIV
ОДИН НА ВЕРШИНЕ: 1957–1960

4 октября 1957 года, садясь в Севастополе в самолет, который должен был доставить его в Югославию и Албанию с дипломатическими визитами, маршал Георгий Жуков не предполагал, что через какие-нибудь три недели будет уволен и попадет в опалу. Напротив: он был на вершине власти, и казалось, что его положению министра обороны и члена Президиума ничто не угрожает — по крайней мере пока страной правит Хрущев.

Хрущев и Жуков знали друг друга с конца тридцатых; особенно сблизила их война. Хрущев признавал, что Жуков отличался «умом, знанием военного дела и сильным характером», и сочувствовал ему, когда после войны Сталин (видимо, сознавая те же качества маршала и опасаясь их) отправил прославленного героя в ссылку в Одессу[1]. Именно Хрущев позаботился о том, чтобы после смерти Сталина вернуть Жукова в Москву, в 1955 году назначить министром обороны, а в 1956-м — кандидатом в члены Президиума. Так он вознаградил Жукова за участие в аресте Берии. В июне 1957-го, после того как он помог Хрущеву разгромить «антипартийную» группу, Жуков стал членом Президиума. На свой шестидесятилетний юбилей в конце 1956 года он получил награды, обычно вручаемые руководителям партии[2]. В июле 1957-го весь Ленинград встречал его как героя: Жуков медленно ехал по Невскому проспекту в открытом ЗИСе под аплодисменты и восторженные крики десятков тысяч ленинградцев[3]. Тем же летом Жуков часто бывал у Хрущева на даче, где оба руководителя подолгу гуляли вместе по лесам и лугам, а в августе по приглашению Хрущева навестил его в Крыму[4].

Нетрудно понять, почему Хрущев стремился удержать прославленного военачальника на своей стороне. «Вы лишаете себя вашего лучшего друга», — предупредил Жуков Хрущева в телефонном разговоре в конце октября, когда решалась его политическая судьба[5]. Действительно, вместо того чтобы укреплять отношения с Жуковым, Хрущев тайно готовил его отставку. И в Крым он Жукова пригласил отчасти для того, чтобы тот был на виду[6]. Едва Жуков вылетел на Балканы, как Хрущев бросился в Киев на, как он сам позднее выразился, «политическую охоту» с другими ведущими генералами, желая убедиться, что они поддержат увольнение своего начальника[7]. 19 октября

Президиум принял резолюцию, осуждающую Жукова. Пять дней спустя, узнав, что происходит в Москве, он созвонился со своим старым другом, главой КГБ Иваном Серовым, и бросился домой, чтобы спасти свою карьеру. Однако его (как и самого Хрущева семью годами позже) прямо из аэропорта отвезли на заседание Президиума, где объявили, что с ним покончено. Два дня спустя, на пленуме ЦК, в его защиту не было сказано ни единого слова. Решение сместить Жукова «для меня было очень болезненным», вспоминал Хрущев, но «мы вынуждены были с ним расстаться»[8].

Наиболее серьезным обвинением было утверждение, будто Жуков готовится захватить власть с помощью отряда спецназа, тайно размещенного под Москвой; первый секретарь Московского горкома Фурцева назвала его «отрядом диверсантов». По утверждению Сергея Хрущева, его отец действовал столь быстро и решительно именно потому, что хотел предупредить действия спецназовцев Жукова[9]. Кроме того, Жукова обвинили в том, что он стремится сократить влияние партии на армию, запрещая политрукам критику боевых командиров и стараясь переместить под свое командование военные части МВД и пограничные войска КГБ. Третье обвинение (благодаря которому более правдоподобно выглядели два первых) состояло в том, что Жуков пестует культ собственной личности. Он якобы настаивал на пересъемке документального фильма о Параде Победы 24 июня 1945 года, поскольку при выезде из кремлевских ворот споткнулся его белый конь, верхом на котором он красовался в тот день на Красной площади[10]. На октябрьском пленуме Хрущев заявил, что Жуков ввел для военно-морских сил темно-синюю форму для того, чтобы самому на их фоне щеголять в белом кителе, «словно белая чайка». Маршал Рокоссовский там же рассказывал: «Во время войны он был не просто груб. Его стиль командования ни в какие рамки не укладывался; мы от него не слышали ничего, кроме брани, матерщины и угроз расстрела»[11]. Маршал Москаленко клеймил «тщеславие, эгоизм, беспредельное высокомерие и самовлюбленность» Жукова. Маршал Малиновский упрекал его за «упрямство, деспотизм, амбициозность и склонность к самовосхвалению». Маршал Баграмян заключил: «Да он просто больной. У него мания величия»[12].

С такими друзьями и коллегами врагов Жукову не требовалось[13]. Многие из обвинений были сильно преувеличены, некоторые — очевидно лживы. Сейчас трудно установить, сколько в них было правды; однако Хрущев, похоже, поверил всему. В августе 1957 года, когда Хрущев посетил Восточную Германию, командующий расквартированными в ГДР советскими войсками Андрей Гречко начал готовиться к приему советской делегации.

Однако Жуков приказал ему оставаться в поле, где проходили маневры, и Гречко пожаловался на это Хрущеву[14]. «Одно дело — уважение или неуважение ко мне лично, — говорил Хрущев на пленуме, — но, когда министр обороны заявляет, что первого секретаря встречать не нужно — это подрывает связь между армией и партией, и неважно как зовут секретаря: Хрущев, Иванов, Петров или как-нибудь еще. Это вредительство. Товарищи, я не себя защищаю — я защищаю партию»[15].

Не только Шепилов утверждал, что Жуков с самого начала выступал за то, чтобы убрать Хрущева. То же обвинение выдвинули Булганин и Сабуров[16]. Во время кризиса июня 1957 года, когда соперники Хрущева восклицали, что он готов двинуть против них танки, Жуков, как рассказывают, пробормотал сквозь зубы, что танки двинутся или не двинутся «только по его приказу». На пленуме в июне 1957-го Хрущев процитировал эти слова с одобрением, заметив, что они выражают «строгую партийную линию». Однако из стенограммы пленума это одобрение исчезло; а в октябре Микоян обратил эти же слова против Жукова[17]. Сыграл против Жукова и его воинствующий антисталинизм на июньском пленуме. Одно дело — метать громы и молнии в адрес Молотова, Маленкова и им подобных, и совсем другое — намекнуть, что и сам Хрущев был сообщником Сталина, а затем, словно от имени самой партии, торжественно его «простить»[18].

Тем же летом несколько высших должностных лиц праздновали день рождения секретаря ЦК Андрея Кириленко у него на черноморской даче. Июньский кризис разрешился благополучно, и партийным лидерам было что отпраздновать. Стол ломился от яств, вино лилось рекой. Аристов играл на гармонике, и члены ЦК нестройно подпевали. Конечно, произносились тосты: и разумеется, начинались они с восхвалений именинника, но заканчивались хвалами Хрущеву. Сам Хрущев ораторствовал без перерыва. Жуков вспоминает, как несколько раз просил его дать сказать и другим, и наконец Хрущев рявкнул: «Да что же, мне уже и говорить нельзя, если ты не хочешь слушать?!» Когда дали сказать несколько слов самому Жукову, он, отдав должное Кириленко, поднял тост за Ивана Серова, добавив: «Не забывай, Иван Александрович, что КГБ — это глаза и уши армии!» Хрущев вдруг вскочил и воскликнул: «Запомните, товарищ Серов, КГБ — это глаза и уши партии!»[19]

Все эти прегрешения, как реальные, так и воображаемые Хрущевым, предопределили падение Жукова. Дело осложнялось еще и тем, что после разгрома «антипартийной» группы Хрущев чувствовал себя особенно уязвимым. Основное его выступление

на октябрьском пленуме состояло почти из одних оправданий — по поводу секретного доклада, обещания догнать и перегнать Америку, индустриальной реорганизации, отношений с интеллигенцией, ведения внешней политики. Не помогало делу и то, что победой над соперниками Хрущев был обязан Жукову. В своей речи он изобразил Жукова как самородка, возгордившегося своими успехами[20]. Когда они впервые встретились, общность происхождения и воспитания способствовала их взаимопониманию и дружбе. И, перестав доверять Жукову, Хрущев продолжал судить о нем (в частности, о его амбициозности) по себе.

Победа над Молотовым, Маленковым и Кагановичем в июне 1957 года, а несколькими месяцами спустя — отставка Жукова сделали власть Хрущева в стране единоличной и непререкаемой. На XXI съезде партии в начале 1959-го многие депутаты выходили на трибуну лишь для того, чтобы выразить свое восхищение и благодарность «лично дорогому Никите Сергеевичу». Теоретически Президиум представлял собой коллективный орган управления; однако по речам на съезде это было незаметно. «Все мы с глубочайшим восхищением заслушали замечательный доклад Никиты Сергеевича Хрущева» — так начала свою речь Екатерина Фурцева. Алексей Кириченко восхвалял «выдающуюся энергию, ленинскую твердость, приверженность принципам, инициативность… и огромный организаторский талант» Хрущева. Александр Шелепин назвал вдобавок к этим качествам «бодрость духа, личное мужество и твердую веру в силу партии». Эти трое составляли (по крайней мере, в то время) группу вернейших сторонников Хрущева; однако и старшие, более независимые руководители, такие, как Суслов и Косыгин, лишь немногим уступали им в подхалимстве[21]. Тридцать пять лет спустя Николай Егорычев, бывший в то время первым секретарем Московского горкома партии, объяснял: «Нужно понимать, что со времен Сталина Президиум не слишком изменился. Все прекрасно знали, что всякий, кто осмелится высказаться против Хрущева, немедленно покинет Президиум. Как можно было прямо сказать Хрущеву: „Вы неправы“? Никто бы на такое не решился»[22].

Хрущев праздновал победу и в других областях. Урожай 1958 года был на 30 % больше, чем в 1957-м, и на 70 % больше, чем средний урожай за 1949–1953 годы, во многом благодаря хрущевской программе освоения целины[23]. Глядя на быстрый экономический рост, не только отечественные подпевалы Хрущева, но и многие зарубежные специалисты признавали, что

такими темпами СССР скоро перегонит Соединенные Штаты[24]. В октябре 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1959-м — первая ракета на Луну. В том же году мирные инициативы Хрущева увенчались первым в истории продолжительным турне советского лидера по США, а на май 1960 года были назначены четырехсторонние переговоры.

И в этом, и во многих других отношениях 1957–1960 годы стали для Хрущева лучшими. Но в то же время намечались и грозные признаки грядущих неудач. Свидетели единогласны в том, что эти годы стали временем перелома к худшему, и расходятся лишь в том, когда именно начался этот перелом. Те, кто впоследствии повернулся против Хрущева, имели свои эгоистические причины описывать происшедшее как резкий поворот: это объясняло, почему они поддерживали «хорошего Хрущева» в первой половине 1950-х, но свергли «плохого Хрущева» в 1964-м. Однако их версию подтверждают и другие, в том числе и самые горячие защитники Хрущева — члены его семьи.

Согласно мнению члена Президиума Геннадия Воронова, человека столь близкого к Хрущеву, что в 1964-м заговорщики не сообщали ему о своих планах до последней минуты, «Хрущев в 1956-м и Хрущев в 1964-м — совершенно разные люди, во многом даже непохожие. Его изначальный демократический подход, обаянию которого невозможно было не подчиниться, постепенно уступил место отчуждению, стремлению закрыться в узком кругу людей, некоторые из которых потакали его худшим склонностям»[25].

«После победы над „антипартийной“ группой, — вспоминает бывший министр сельского хозяйства Бенедиктов, — Хрущев начал меняться буквально на глазах. Его демократический подход начал уступать место авторитарным манерам…» Победа над соперниками «дала ему свободу действий», замечает Александр Шелепин. Он «начал проявлять высокомерие, настаивать на непогрешимости своих решений и преувеличивать достигнутые успехи». По словам Микояна, после 1957 года Хрущев «просто зазнался», «почувствовал вкус власти, поскольку ввел своих людей в Президиум и решил, что может ни с кем не считаться, что все будут только поддакивать»[26].

Георгий Корниенко в 1959 году работал в советском посольстве в Вашингтоне. И из собственных наблюдений, и из разговоров с московскими друзьями (в том числе с Громыко, заместителем которого он вскоре стал) он вынес впечатление, что эра Хрущева «делится почти пополам на два периода, до и после 1958 года». После 1958 года Хрущев перестал слушать чужие

советы и окружил себя «подпевалами»[27]. Олег Трояновский, с 1954-го личный переводчик Хрущева, а с 1958-го его помощник по внешней политике, датирует «начало перемен» 1957 годом, когда рассеялась последняя явная оппозиция Хрущеву[28]. Рада Аджубей вспоминает, как суждения ее отца о литературе и искусстве становились все более «безапелляционными. Он не сомневался, что вещает истину, даже когда попросту не понимал, о чем идет речь». К тому же Хрущев «сделался жестче в отношениях с людьми» — и не только в семье, хотя это проявлялось и там. «Раньше он выслушивал других всегда, даже если те не соглашались с ним или его критиковали. А теперь начал говорить: „Хватит! Чтобы я этого больше не слышал. Надоели эти разговоры. Слушать их больше не хочу“. Не желал слышать ничего неприятного. Когда это началось? Думаю, в конце 1950-х»[29].

Одиночество на вершине не пошло Хрущеву на пользу. Лишив себя критиков, он парадоксальным образом оказался беззащитен не только против собственных слабостей, но и против глухого, упрямого сопротивления бюрократии. Более не сдерживаемый и не направляемый серьезными критиками вроде Молотова, теперь он был свободен судить о вещах, в которых ничего не смыслил, прислушиваться или не прислушиваться к чужим советам, вести импульсивную внешнюю политику, поддаваться на провокации — и, в конечном счете, готовить свою отставку. Ему противостояла вездесущая бюрократия, опутавшая своими сетями всю страну. У бюрократов были свои интересы, которыми они не собирались поступаться, — а личный штат самого Хрущева был крайне мал. В отличие от персонального секретариата Сталина, с помощью которого тот манипулировал и тайной полицией, и партией, и государственными органами, штат Хрущева состоял всего из четырех помощников (Трояновский — по внешней политике, Шевченко — по сельскому хозяйству, Владимир Лебедев — по культуре и идеологии и Григорий Шуйский — по общим вопросам) да нескольких клерков и стенографисток. К этому можно добавить пресс-группу, состоявшую из Аджубея, редактора «Правды» Павла Сатюкова, генерального директора ТАСС Дмитрия Горюнова, чиновника ЦК Леонида Ильичева и пресс-секретаря Министерства иностранных дел Михаила Харламова: эти люди готовили речи Хрущева — не сочиняли за него, а записывали под его диктовку и редактировали (впрочем, толку от этого было мало, поскольку во время выступлений Хрущев редко придерживался заранее подготовленного текста). Разумеется, эти несколько человек не могли эффективно контролировать огромную и разветвленную

партийную систему[30]. Партийные и правительственные функционеры не осмеливались открыто критиковать Хрущева — однако можно сказать, что это и не требовалось. Не опасаясь больше чисток и расстрелов, они искажали информацию, от которой он зависел, откладывали (а то и вовсе отменяли) проведение в жизнь его решений или, напротив, проводили их с таким рвением, что эти решения превращались в пародию на самих себя. В особенности отличались этим партаппаратчики: поддержав Хрущева в 1957-м, они полагали, что отныне Хрущев обязан поддерживать их благосостояние.

Осенью 1958 года, когда группа чиновников была в гостях у Хрущева на даче, член Президиума Николай Игнатов, помогавший Хрущеву в борьбе с «антипартийной» группой, завел разговор с Сергеем Хрущевым. Игнатов говорил, что «нельзя позволять обижать» Хрущева. Сергей был «поражен тем, каким покровительственным тоном он говорит об отце»[31].

Летом того же года югославский посол Мичунович обратил внимание на «проявления недовольства и враждебности» по отношению к Хрущеву. Источники Мичуновича сообщали, что «организованной оппозиции нет, но имеются спонтанные вспышки недовольства» в связи с «постоянными сюрпризами» и «скачками генеральной линии». За десятилетия сталинского правления люди привыкли к тому, что власть говорит мало, веско и по делу; Хрущев же говорил столько, что «уследить за его мыслью было невозможно при всем желании»[32].

В начале 1958 года, когда Николай Булганин (последний из «антипартийной» группы, не считая дряхлого Ворошилова) подал в отставку с поста председателя Совета министров, его место занял сам Хрущев. В 1964 году, когда противники упрекали его в присвоении двух высших должностей сразу, Хрущев отвечал, что они сами его к этому подтолкнули. Однако в мемуарах он признает, что «критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких ответственных постов», но, когда та же возможность представилась ему самому — «сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя мое сопротивление»[33]. Жаль, что он понял это слишком поздно.

Подавив оппозицию, Хрущев решил свести счеты с поверженными противниками. Их сместили с высших партийных и государственных постов — это было вполне понятно. Они получили незначительные посты в провинции — что ж, по сравнению с жертвами Сталина, можно сказать, дешево отделались. Однако личная обида, которую они нанесли Хрущеву, требовала отмщения. Маленков не сомневался, что Хрущев его

ненавидит[34]. Согласно Шепилову, Хрущев проявил себя «человеком мстительным и ничего не прощающим»[35]. Но, даже если бы сам Хрущев и не желал зла своим былым соперникам, его подчиненные не сомневались, что, преследуя их, угодят боссу. Резонно предположить, что Хрущев организовывал травлю своих врагов — поскольку он имел обыкновение сам принимать решения по куда более мелким вопросам.

Молотов отделался легче прочих — возможно, потому, что, несмотря ни на что, Хрущев продолжал относиться к нему с уважением. Как и другие проигравшие, Молотов опасался ареста. Вместо этого его поспешно лишили резиденции и подмосковной дачи и отправили послом в Монголию — в результате, как жаловался потом Молотов, он лишился ценной библиотеки, погибшей, когда прорвало трубы в подвале здания Министерства иностранных дел[36]. В Монголии дел у нового посла было немного, и в свободное время он забрасывал ЦК критическими замечаниями в адрес Хрущева. Дважды он звонил Суслову и предупреждал, что Хрущев портит отношения с Китаем, а в мае 1959-го предложил, чтобы спасти положение, организовать новое «Содружество социалистических государств»[37]. В письме, адресованном в Комитет партийного контроля, он опровергал утверждение Хрущева, сделанное в беседе с президентом Никсоном, что Молотов противился подписанию советско-австрийского договора 1955 года: «Решительно возражаю против попытки Н. С. Хрущева изобразить меня, коммуниста, в виде адвоката войны с „Западом“ и заявляю, что это утверждение содержит клевету, аналогичную той грязи, которую лили меньшевики на большевиков»[38]. В начале 1960 года Молотов отправил в редакции нескольких советских газет статью, посвященную 90-летию со дня рождения Ленина. Значительное место в статье занимали упоминания автора о личных беседах с Лениным (чем Хрущев похвастать не мог). Статью, разумеется, не опубликовали, и только один редактор потрудился ответить[39].

В политическом отношении действия Молотова были «булавочными уколами» — однако Хрущев воспринимал их всерьез. Комитет партийного контроля подготовил пространный доклад, опровергающий письмо Молотова о советско-австрийском договоре[40]. Советская делегация, приехавшая в Монголию на партийный съезд, третировала Молотова с нескрываемым презрением: его не приглашали ни приветствовать делегацию по прибытии, ни присутствовать на ее встречах с монгольским правительством, запретили даже появляться на съезде (где глава делегации Николай Игнатов в своих выступлениях крыл его на чем свет стоит); а на гала-приемах, куда не пригласить Молотова

было невозможно, ему не доставалось кресла и он вынужден был стоять. «Эта сцена повторялась изо дня в день», — записывал у себя в дневнике присутствовавший на съезде Мичунович. Отнюдь не являясь поклонником Молотова, он все же замечал, что «Советский Союз и Хрущев выбрали самый неудачный способ продемонстрировать свое отношение к нему»[41].

Мичунович позвонил Молотову; тот был угнетен и подавлен дикостью страны, в которую забросила его судьба. Сплошные кочевники и скот. «Даже министр иностранных дел у них — ветеринар», — ворчал Молотов. Он был почти изолирован от мира; однако Игнатов счел нужным подслушать его разговор с Мичуновичем из соседней комнаты, а при следующей встрече с югославом не постеснялся заметить, что с Молотовым тот разговаривал «натянуто», совсем не так открыто и непринужденно, как с Хрущевым[42].

В 1960 году Молотова в качестве советского представителя Международного агентства по атомной энергетике перевели в Австрию — подальше от Китая, где усиливались антихрущевские настроения. Накануне XXII съезда партии Молотов выступил с детальной критикой новой партийной программы, которой очень гордился Хрущев. После этого на него и на других ветеранов «антипартийной» группы с новой силой обрушилась пресса; все они были исключены из партии[43].

Маленкова в 1957 году отправили в Казахстан руководить гидроэлектростанцией неподалеку от Усть-Каменогорска. Ему с семьей дали десять дней, чтобы освободить резиденцию на Ленинских горах и подмосковную дачу; прежние слуги и охранники, превратившиеся в надсмотрщиков, отказались помогать в сборах. Как и Молотов, Маленков потерял большую библиотеку. В сорока километрах от Усть-Каменогорска Маленкова с женой сняли с поезда и отвезли прямиком в деревушку Албакетка, где в темном бревенчатом домишке они прожили до лета 1958 года. Маленкова избрали делегатом областной партконференции, и, узнав об этом, Хрущев отправил его еще дальше — в Экибастуз, где служаки из КГБ следили за каждым его движением, по пятам ходили за его детьми, когда те приезжали навестить родителей, и даже украли его партийный билет, а потом обвинили в его потере, чтобы ускорить исключение Маленкова из партии. Однажды Маленкова вызвали в Москву: в Комитете партийного контроля шло разбирательство, касающееся его участия в сталинских репрессиях. Несколько раз во время разбирательства до Маленкова доносился голос Хрущева: тот слушал его из соседней комнаты и высказывал свое мнение об услышанном громко и не стесняясь в выражениях[44].

Через два дня после июньского пленума 1957 года Каганович позвонил Хрущеву. Он умолял оставить его в живых: «Мы с тобой много лет знаем друг друга. Не позволяй поступить со мной так, как поступали с людьми при Сталине». Хрущев, как рассказывают, позволил себе зло подшутить над бывшим наставником. «Посмотрим», — ответил он[45]. Каганович был отправлен в Соликамск (Пермская область), где возглавил производство поташа. В 1962 году его исключили из партии, перед этим вернув в Москву и назначив ему обычную пенсию.

Шепилова сослали в Киргизию, где он возглавил Институт экономики. В 1959-м его выбрали делегатом киргизской республиканской партконференции, и помощник Хрущева Леонид Ильичев срочно вылетел во Фрунзе, чтобы уговорить местные власти «не связываться с Шепиловым» и вычеркнуть его из списков. Жена Шепилова осталась в Москве, в квартире, где они жили с тридцатых годов. В 1959-м, узнав, что жену выселяют, Шепилов покинул больницу, где ожидал операции, и бросился в Москву. Там он обнаружил, что в квартире все перевернуто вверх дном, а его библиотека из нескольких тысяч книг (Сталин требовал, чтобы членам Политбюро доставлялись буквально все книги, издающиеся в Советском Союзе — видимо, в надежде, что это поможет осуществлять идеологический контроль) разбросана по подъезду. «Ничего не знаю», — отвечал Микоян, к которому Шепилов обратился за помощью. Шепилов уже готов был повеситься на веревке, которой перевязывал стопки книг. Тогда его жена обратилась к Нине Петровне Хрущевой. Неизвестно, благодаря этому или нет, но Шепиловым разрешили остаться в Москве, переселив их в двухкомнатную квартиру с окном на темный двор, над которым днем и ночью дымила труба какого-то завода. В том же 1959-м Шепилов был исключен из Академии наук СССР (потеряв при этом немало привилегий), а в 1962-м — из партии[46].

Ворошилов оставался формальным главой государства до 1960 года, а членом Президиума Верховного Совета — и после этого. Михаил Первухин до 1958-го возглавлял Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, а затем был отправлен послом в ФРГ; Максим Сабуров, до 1958-го его заместитель, получил должность директора машиностроительного завода в Куйбышеве. Булганин возглавил Ставропольский совнархоз. «Дурак, — говорил о нем Хрущев, — дураком и останется». А «пост председателя Совета министров СССР не предназначен для дурака»[47].

В конце 1958 года ушел со своей должности и еще один ключевой участник июньской схватки. Прошлое Ивана Серова,

который запомнился Серго Микояну как «невысокий, лысеющий, вечно с шутками и прибаутками на устах», в общем, «приятный человек», было мрачным: он участвовал в организации катынского расстрела польских офицеров, в сталинизации Западной Украины и Прибалтики, помогал выселять крымских татар и другие «малые» народы, усмирял оккупированную советскими войсками Восточную Германию, а в последние годы жизни Сталина был первым заместителем министра внутренних дел. На руках у него было немало крови — возможно, именно поэтому он верно служил Хрущеву. Когда Микоян предложил уволить Серова, Хрущев поначалу его защищал («Он не фанатик, он действует умеренно»), но затем согласился заменить его Александром Шелепиным. «Хрущев, — замечает Аджубей, — как бы сжигал за собой мосты, связывающие с теми, кто постоянно напоминал о его зависимости от их поддержки. Он уже хотел быть сам по себе, отстранить всех, кто помогал ему расчищать дорогу к власти»[48].

Добившись полной самостоятельности, Хрущев прежде всего обратил свое внимание на сельское хозяйство. Временами его высказывания звучали как тезисы в защиту свободного рынка. «Вы извините меня за резкость, — говорил он перед собранием колхозников, — но если бы это было коммерческое предприятие, которое находилось бы в условиях капиталистической конкуренции, то хозяин, который расходовал бы на килограмм привеса восемь килограммов зерна, без штанов бы остался. А у нас директор такого совхоза, думаю, имеет „добри штаны“, как говорят украинцы. Почему? Потому что он не отвечает за такое безобразие, ему и упрека никто не сделает»[49]. И тот же Хрущев метал громы и молнии в адрес капитализма: «Там ведь один человек наживается за счет разорения другого». При капитализме «крупный фермер — владелец капиталистического предприятия, он смотрит на рабочую силу как на источник прибыли. Если рабочий теряет здоровье, если он не способен дать максимум прибыли, капиталист его выбрасывает»[50].

Еще в сентябре 1953 года Хрущев защищал подсобные хозяйства колхозников и их право иметь собственный скот: «Только те, кто не понимает политики партии, видят в существовании личного скота какую-то опасность для социализма…» Однако буквально в следующей же фразе он противоречил сам себе, заявляя, что «основной наш путь — совместное владение скотом» и что сельскохозяйственное производство скоро достигнет таких высот, что собственный скот крестьянам уже не потребуется[51].

Альтернативой материальным вливаниям стали мобилизация и укрупнение хозяйств. Хрущев торжествовал, когда примером успешности нового курса стало его родное село. В Калиновке было решено построить общий коровник и перевести более половины коров в коллективную собственность. Разумеется, прибавлял Хрущев, «дело это сугубо добровольное: кто не захочет продавать, не надо, пусть держит корову у себя». Однако — что совсем неудивительно — вскоре после того, как он выехал из Калиновки, «колхозники решили продать всех коров колхозу, и они это сделали, но прежде очень хорошо подготовились»[52]. На случай, если кто-то из колхозников не поймет, что от него требуется, была издана серия законов и указов, сильно ограничивающих размеры тех самых приусадебных участков, которые Хрущев вроде бы стремился защитить[53].

Хрущева привлекали как запретный плод рыночной мотивации, так и чудеса организации и технологии; неудивительно, что он был буквально очарован страной, лидировавшей и в том и в другом. Еще в сороковые годы он предлагал перенять американский метод посадки кукурузы и картофеля — вдоль веревок, на которых через равномерные промежутки завязаны узлы. Дойдя до узла, комбайн сбрасывает в борозду картофелину и початок. Достоинство этого метода в том, что он позволял полностью механизировать посевные работы. Выполнение его на практике оказалось чересчур сложным[54], однако это не отвратило Хрущева от американских изобретений. В разгар холодной войны, когда немногие американцы осмелились бы торговать с Россией, главным американским поставщиком Хрущева стал простой фермер из Айовы Росуэлл Гарст, которого интересовали в жизни две вещи: снижение международной напряженности и продажа семян гибридной кукурузы.

После речи в феврале 1955-го, в которой Хрущев призвал к массовому выращиванию кукурузы по айовским образцам, «Де-Мойн-реджистер» пригласил его «обменяться опытом в области производства высококачественного крупного рогатого скота, овец и птицы». Тем же летом Айову посетила русская делегация, возглавляемая заместителем министра сельского хозяйства Владимиром Мацкевичем. Гарст встретил группу в Джефферсоне и увлек Мацкевича на свою ферму в Кун-Рэпидс площадью 2600 акров. Заместитель министра целый день любовался гибридной кукурузой, которой не страшна засуха, и слушал, как Гарст нахваливает свой товар[55]. Успехи американцев Мацкевич отчасти отнес на счет природной изобретательности, благоприятного климата, а также того, что на территории Айовы не было ни войн,

ни рабства. Но в то же время он обратил внимание на организацию и проведение работ, которые полезно было бы заимствовать в России, — например, специализированные фермы и широкое развитие сети сельскохозяйственных услуг по всей стране. Вернувшись, Мацкевич доложил Хрущеву: «То, на что американцам требовались десятилетия, мы можем пройти и пройдем за немногие годы»[56].

Гарст идеально подходил на роль наставника Хрущева. Оба любили поболтать, пересыпая свою речь шутками и прибаутками. Резкость Гарста (например, когда он распекал советских колхозников за то, что те сажают кукурузу, предварительно не удобрив почву) тоже импонировала Хрущеву, поскольку вполне отвечала его представлениям о том, как нужно разговаривать с подчиненными. Когда осенью 1955 года Гарст приехал в Россию, Хрущев пригласил его погостить на своей ялтинской даче. Гарст провел там почти целый день, во время которого Хрущев показал себя с лучшей стороны — радушный и гостеприимный хозяин, живой и остроумный собеседник. Гарст поинтересовался, почему русские так мало знают об американском сельском хозяйстве, если секрет атомной бомбы они сумели украсть у США всего за три недели. «За две, — поправил Хрущев. — Атомную бомбу вы прятали, так что нам пришлось ее красть. А информацию о сельском хозяйстве предлагали задаром — вот мы и думали, что она ничего не стоит». Великолепный трехчасовой ужин с отличным грузинским вином мог бы затянуться еще дольше, если бы Нина Петровна своей властью не запретила мужу много пить. За столом, где, кроме Хрущева, сидели Микоян, Мацкевич и другие, речь шла в основном о кукурузе. В конце концов СССР заказал пять тысяч тонн семян американского гибрида[57].

Понимая, что растить кукурузу в СССР нелегко из-за сурового климата, Гарст развернул карту и показал на ней самые многообещающие области в южной части страны. В брошюре, переведенной и широко распространенной русскими, он перечислил и другие необходимые условия: посадку гибридных семян, удобрения, ирригацию, механизацию, а кроме того, использование инсектицидов и гербицидов. Многих из тех средств, которые рекомендовал Гарст, в СССР не было — но, раз Хрущев решил сеять кукурузу, ничто не могло его остановить.

«На огородах в Курской губернии кукуруза росла с давних времен, — пишет Хрущев в своих мемуарах. — Бабушка кормила меня пареной кукурузой, которая считалась лакомством». Росла кукуруза и на Украине, но полностью Хрущев понял ее потенциал («я за силосную кукурузу, потому что не видел более экономичной кормовой культуры для скота») лишь в 1949-м,

когда вернулся в Москву[58]. Американскую кукурузу он сперва испытал на собственном дачном участке, а затем распорядился засеять ею участок поля в соседнем колхозе. Председатель колхоза «въехал в кукурузное поле верхом на коне, и мы его вновь увидели, только когда он выехал на дорогу. Вот такая была кукуруза!». Так что Хрущев сделался «кукурузофилом» еще до знакомства с Гарстом. А вскоре его увлечение превратилось в навязчивую идею.

Сам Хрущев и его защитники утверждают, что за широчайшее распространение кукурузы в ущерб другим культурам он не в ответе. «К сожалению, — пишет он в своих мемуарах, — в советских условиях рекомендации человека, занимающего высокий пост, порой приводят к обратным результатам. Часто кукурузу сеяли бездумно. В угоду начальству. В печати и по радио призывали больше сеять эту культуру на силос, и тот, кто не умел ее выращивать, тоже сеял, чем и отчитывался. Этим они дискредитировали кукурузу и прежде всего меня, как человека, который искренне ее рекомендовал и верил в нее»[59].

Хрущев в самом деле предостерегал против кукурузной мании. Высмеивал энтузиастов, которые, дай им волю, «всю планету засеют кукурузой». Настаивал, чтобы партийные власти «не прыгали в воду, не узнав броду»[60]. В другой своей речи он предупреждал: «Насильно ничего не выйдет! (…) Нужно организовать людей, подобрать хорошую землю, подготовить семена, вовремя посеять, тщательно обработать плантации и вырастить 500–700 центнеров зеленой массы на гектаре»[61]. Он даже посмеивался над собственной слабостью к кукурузе. Выступая в Смоленской области, для иллюстрации своей речи он прихватил с собой из Москвы трехметровый кукурузный стебель[62]. В одном латвийском колхозе предположил: «Некоторые из вас сидят вот здесь и наверняка думают: скажет Хрущев что-нибудь о кукурузе или не скажет? Признаться, я и сам так думал: сказать о кукурузе или не надо?» После чего, разумеется, заговорил о кукурузе да еще и упрекнул слушателей за то, что сажают ее слишком мало[63].

Но не энтузиасты на местах, а сам Хрущев настаивал: «Мы обязательно вырастим кукурузу в Якутии, а может быть, и на Чукотке. Картофель там растет? Растет. Думается, что и кукуруза будет расти»[64]. Если кукуруза не давала ожидаемых урожаев, «этому есть только одна причина — недостаток внимания и заботы при культивации». Не сделал ли ЦК ошибку, порекомендовав сеять кукурузу на всей территории СССР? «Нет, товарищи, это не ошибка». Факты доказывают, добавил Хрущев, «что кукуруза дает высочайший урожай во всех областях нашей

страны, что этой культуре нет равных»[65].

Он восхвалял кукурузу как «царицу полей»[66]. Заявлял, что «кукуруза и только кукуруза» поможет ему сдержать свои обещания[67]. «Что значит обогнать Соединенные Штаты Америки по производству продуктов животноводства? Это значит научиться повсеместно выращивать кукурузу на силос — такую задачу мы ставим для Советского Союза»[68]. Сами многократные повторения этих тезисов показывают, что идеи Хрущева встречали сопротивление. «Хочу вам высказать и еще некоторые неприятные вещи, — объявил он в январе 1958 года на собрании председателей колхозов Московской области. — Правда, я говорю вам все о том же вот уже в течение восьми лет, но пока толку мало. Я имею в виду, товарищи, кукурузу»[69].

Однажды Хрущев привез в Варшаву пять мешков кукурузных семян. «Ради мира и спокойствия», как вспоминает Сташевский, поляки засеяли кукурузой, по документам, миллион акров, а реально — только сто пятьдесят тысяч. Хрущев рассказывал Сташевскому, что главный агроном Москвы осмелился сказать, будто Хрущев ничего не понимает в сельском хозяйстве. «Можете вы в это поверить? — спрашивал Хрущев Сташевского. — Я ничего не понимаю в сельском хозяйстве! Он заявил, что я ничего в этом не понимаю! Да, прямо так и сказал. Разумеется, я с ним мог сделать все, что пожелаю, мог его уничтожить — ну, знаете, организовать так, чтобы он исчез с лица земли. Но я этого не сделал. Вместо этого сказал: убирайтесь из Москвы, куда угодно, но чтобы я вас больше не видел. Он уехал в Сибирь, на том все и кончилось»[70].

Благодаря прежде всего самому Хрущеву, в конце пятидесятых «организовать» чье-либо исчезновение с лица земли было уже немыслимо. Вместо этого Хрущев распекал тех, кто не хотел или не мог выполнять его требования. Все дело в кадрах, утверждал он, «в людях, дело в том, кто председатель колхоза, кто бригадиры, звеньевые»[71]. «Когда у людей появляется уверенность в своих силах, они творят чудеса»[72]. Они непохожи на тех, что «сидят в конторе и упражняются с цифрами» вместо того, чтобы «организовывать людей на конкретное дело»[73]. Впрочем, еще хуже их — не признающие научных достижений люди. «Тот, кто хочет вести дело без науки, без знания, только опираясь на опыт своего дедушки, — тот плохой хозяин», — отмечал Хрущев[74]. Но горе тем районным руководителям, которые не знают, «сколько дней курица на яйцах сидит, чтобы вывести цыплят». Они напоминали Хрущеву «интеллигентика, который говорит: „Фу, коровой пахнет“ — и нос воротит, но сам телятину кушает, хотя не знает, откуда телята берутся. *(Смех в*

зале.) Мы — рабочие люди, вышедшие из среды рабочих, колхозников, из среды трудовой интеллигенции, не можем быть белоручками и смотреть так, что, мол, деревенская работа — грязная работа»[75].

Идеал районного руководителя весьма напоминал сильно приукрашенный портрет самого Хрущева. «Как я изучал сельское хозяйство? — говорил он на встрече с секретарями райкомов в апреле 1957 года. — Ездил в колхозы, совхозы, слушал людей, знакомился с передовым опытом и распространял его, читал специальную литературу. Вот как накапливались и приумножались знания»[76]. Когда сельские руководители признавались, что не могут решить какие-то проблемы, Хрущев кричал на них: «Дайте мне самый трудный район, в котором вы поработали и не нашли возможности решить задачу, поставленную январским пленумом ЦК. Дайте мне этот район. Перед всем честным народом заявляю, что мы пошлем людей, сам выеду, если пошлет ЦК, и даю подписку на этом заседании, что мы задание… не только выполним, но и перевыполним»[77].

Хрущев не сомневался, что «правильно настроенные» люди способны творить чудеса, — и эта уверенность стала его проклятием. Пока дела шли хорошо, людям верили и поощряли их. Но стоило случиться неудаче (а при существовавшей системе неудачи были неизбежны) — вину возлагали на тех же самых людей и на их кремлевского покровителя. Как пример можно привести отказ в 1958 году от системы МТС (машинно-тракторных станций) и распродажу их оборудования колхозам. МТС были организованы в конце двадцатых — начале тридцатых, когда только что образованные колхозы еще нетвердо стояли на ногах и не имели средств для содержания собственной техники. Кроме того, поскольку колхозы считались «менее развитой» формой собственности (теоретически они принадлежали не государству, а сообществу колхозников), считалось идеологически неверным выделять им собственные «средства производства». Да и в политическом смысле новые колхозы, куда многих крестьян приходилось затаскивать силком, были ненадежны. Поэтому МТС служили своеобразными цитаделями партии и НКВД в сельской местности. С течением времени многие колхозы развились, укрепились и получили возможность содержать собственную технику. Однако многие другие были еще не готовы к реформе, которую навязал им Хрущев.

Свои действия он обосновывал пословицей: «У семи нянек дитя без глазу». Но при нем одном результат оказался таким же. Он дал колхозам большую ответственность, но не дал средств, с помощью которых они могли бы эту ответственность реализовать.

Когда, вспоминал Хрущев, он впервые предложил расформировать МТС, Молотов, в то время еще входивший в состав правительства, «с ума сходил, утверждая, что мы совершаем антимарксистский шаг, ликвидируем социалистические завоевания. Глупо, конечно… Я думаю, сейчас не найдется ни одного здравомыслящего человека, разбирающегося в экономике сельского хозяйства, который считает, что это было сделано неправильно»[78].

Однако в то время Хрущев послушался Молотова. И даже в конце 1957 года, когда Молотов давно был в Монголии, Хрущев лишь осторожно спрашивал, «не пора ли пойти на то, чтобы *некоторым* колхозам (выделено мной. — *У. Т.*) передать технику МТС». Подняв этот вопрос для формального обсуждения, он говорил о выполнении своего проекта в течение двух-трех лет, добавляя: «С этим не следует торопиться»[79]. Однако к концу 1958 года более 80 % колхозов приобрели бывшие МТС в собственность[80].

Последствия оказались ужасающими. Выплатив стоймость тракторов и комбайнов, даже самые крепкие колхозы потеряли возможность инвестировать средства в другие необходимые предприятия. Кроме того, выяснилось, что использование техники самими колхозниками менее эффективно. Рабочие МТС были чем-то вроде сельской элиты. Присоединение к колхозам означало для них понижение в статусе и в заработке, и многие из них, бросив работу, разъехались по городам. В результате, как пишет Рой Медведев, «сельское хозяйство понесло невосполнимый урон»[81].

Местные руководители, стремившиеся ублажить своего властелина, разумеется, поставляли лишь ту информацию, которую он хотел услышать. Помощники Хрущева также не докладывали ничего такого, что могло его огорчить и рассердить. В этом смысле бюрократия знала его лучше, чем он себя. Судьба одного из таких исполнителей на местах, рязанского партийного руководителя Алексея Ларионова, обернулась трагедией для него самого и легла несмываемым пятном на биографию Хрущева.

История Ларионова (по аналогии с гоголевскими «Мертвыми душами» назовем ее «Мертвые коровы») начинается в конце 1958 года, когда производство зерна в СССР заметно росло, а вот производство мяса выросло только на 5 %[82]. Ларионов, поддавшись искушению, пообещал в 1959 году поднять производство мяса в Рязанской области втрое. Помощник Хрущева Андрей Шевченко, по его собственным воспоминаниям, предупреждал Хрущева, что это «невозможно», — в ответ Хрущев бросил телефонную трубку и при личной встрече на следующий

день выглядел мрачным и недовольным[83]. Редакторы газет также отказывались сообщать об обещаниях Ларионова — однако Хрущев настаивал. Как он сам вспоминал год спустя: «Рязанцы взяли, рязанцы и будут свои обязательства выполнять. Знаю товарища Ларионова как серьезного, вдумчивого человека. Он никогда не пойдет на такой шаг, чтобы взять какое-то нереальное обязательство… Он на это не пойдет»[84]. Однако время показало, что Хрущев ошибся.

7 января 1959 года обещание Ларионова было торжественно опубликовано в «Правде». В том же месяце Хрущев объявил об этом на XXI съезде партии, а затем отправился в Рязань, чтобы лично наградить Рязанскую область орденом Ленина. «Мне нравятся люди высокого порыва, умеющие проявить себя в любом деле», — сообщил он слушателям[85]. В октябре того же года Хрущев поздравил рязанцев и призвал их не останавливаться на достигнутом (четыре года спустя эта речь не вошла в собрание выступлений Хрущева). Если так и дальше пойдет, говорил лидер государства, «вам потребуется немного времени для того, чтобы догнать Америку по производству мяса и, как образно говорится, ухватить бога за бороду. *(Оживление в зале, аплодисменты.)*»[86] Месяц спустя: «Можно, конечно, назвать цифры и, как поступали в прошлом цыгане, убежать от своих обещаний. *(Смех в зале.)* Но ведь рязанцы не собираются никуда убегать. Они дали обещание и успешно его выполняют. Это замечательно, товарищи! *(Бурные аплодисменты.)*»[87]

В декабре 1959 года Хрущев присвоил Ларионову звание Героя Социалистического Труда. На том же пленуме Ларионов произнес пламенную речь о кукурузе, заявив, что она приносит стране «неисчислимые выгоды». Хрущев поддразнивал первого секретаря компартии Украины Подгорного и белорусского лидера Мазурова: «Ну что, обскакал вас Ларионов? Показал вам кузькину мать?»[88] Тем временем в Рязанской области под нож пошел буквально весь скот, включая молочных коров и племенных быков, а в общественные стойла были командированы коровы и свиньи из индивидуальных хозяйств. Этого оказалось недостаточно, и рязанские «агенты» отправились на закупку скота в другие области, вплоть до Урала. Но у других регионов были свои планы по мясозаготовкам; дошло до того, что на дорогах соседних с Рязанью областей выставлялись милицейские кордоны, но рязанцы уводили скот под покровом ночи по нехоженым проселкам. В отчаянии Ларионов наложил на область мясной налог: сдавать мясо обязаны были не только колхозы и отдельные колхозники, но даже школы и другие учреждения. Люди закупали мясо в магазинах и приносили его в колхозы,

которые продавали это мясо обратно государству.

В конце концов Рязанская область сдала государству 30 тысяч тонн мяса — одну шестую от обещаннных 180 тысяч. Для расследования деятельности Ларионова ЦК отправил в Рязань специальную комиссию. Когда правда раскрылась, Ларионов застрелился у себя в кабинете[89].

«Как же можно не радоваться, товарищи, — вопрошал Хрущев в 1958 году, — гигантским достижениям нашей промышленности?.. Какое еще государство может похвастать таким ростом? Нет и не было такого государства. Только в нашей стране, с ее замечательным народом — народом борцов, народом первопроходцев — такое возможно. *[Бурные аплодисменты.]*»[90] Точные цифры роста советской экономики за этот период неизвестны; но, очевидно, их было достаточно, чтобы привести в восторг Хрущева. Еще более радовал его грандиозный прорыв в науке и технике, ознаменованный запуском первого искусственного спутника Земли. Хрущев в это время был в Киеве, встречался в Мариинском дворце с гражданскими и военными чиновниками. Услышав новость, он, по рассказу сына, «просиял» и тут же сообщил об этом слушателям: «Американцы кричали на весь мир, что готовятся запустить спутник Земли. Спутник у них с апельсин размером. А мы помалкивали — зато теперь вокруг планеты крутится наш спутник. И немаленький — целых восемьдесят килограммов»[91]. В январе 1958 года он объявил, что СССР «обогнал ведущую капиталистическую страну — США — в области научно-технического прогресса». А в апреле добавил: «Теперь уже США думают, как бы им догнать Советский Союз…»[92]

Советский спутник поразил весь мир, и в особенности американцев. Однако эйфория Хрущева зиждилась на хрупком основании. Когда США запустили свой спутник, в тридцать раз легче советского, югославский посол Мичунович заметил, что Хрущев «мрачен и подавлен»; зато последующие запуски советских спутников, по словам сына, были ему «как бальзам на душу»[93]. В августе 1957 года Хрущев объявил, что в России разработаны межконтинентальные ракеты, способные достигнуть «любой точки на глобусе». Некоторые американцы, заявил он в октябре корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Джеймсу Рестону, ему не поверили, но «теперь сомневаться в этом могут только совершенно невежественные в технике люди»[94].

Разумеется, Хрущев блефовал. Ракета Р-7, выведшая спутник на орбиту, для военных целей не годилась. Чтобы обеспечить ее горючим, следовало бы построить по заводу на месте каждого запуска. А чтобы довести Р-7 до цели, необходимо было

разместить два радиомаяка «на расстоянии в 500 километров от стартовой позиции». Более того, запуск такой ракеты стоил около полумиллиарда рублей — намного больше, чем мог себе позволить Хрущев. Позже он сам признал, что новое оружие «представляло собой только символический ответ на угрозы США». Реально межконтинентальные баллистические ракеты появились в СССР только в шестидесятых[95].

Впрочем, Хрущев полагал, что даже пустые ядерные угрозы приносят ему большие дивиденды. Но военные не разделяли его самоуверенности — не только потому, что знали реальное положение дел, но и потому, что под громкие разговоры о межконтинентальных ракетах урезалось финансирование всех видов обычного вооружения[96].

Первыми пострадали бомбардировщики — заводы по их выпуску переквалифицировались в ракетные или стали производить пассажирские самолеты. Военно-воздушные базы (как Шереметьево под Москвой или Бровары под Киевом) сделались гражданскими аэродромами. Следующий удар пришелся по артиллерии и флоту, который Хрущев в беседе с Никсоном назвал «кормом для акул»[97]. Подводные лодки, особенно те, что можно было оснастить ракетами, разумеется, не пострадали — сокращение коснулось надводных кораблей, уязвимых для атак возможного противника. «На море противник имел огромный флот, — вспоминал Хрущев, в мемуарах, — отказ от соревнования на море мог привести нас к подчиненному положению». Однако он пришел к выводу, что это соревнование может завести в тупик: «Хорошо бы иметь такие корабли, но это оказалось нам не по средствам. Лучше не распыляться».

У СССР имелось несколько почти новых крейсеров, на строительство которых были затрачены большие деньги. Сперва Хрущев хотел поставить их на прикол, но решил, что это обойдется слишком дорого. После «долгого обсуждения», на котором рассматривалась возможность их переделки в рыбацкие траулеры, пассажирские суда или плавучие гостиницы, «пришлось пойти на болезненное решение: уничтожить ценности, созданные своими руками». Позднее Хрущев начал продавать эсминцы и суда береговой охраны. В качестве уступки флоту построил четыре новых крейсера, хотя и считал, что они построены «на случай, если потребуется представителям СССР прибыть на военно-морском судне за границу». «Лишь для того, чтобы встречать и провожать гостей и самим ходить по морю в гости. Красиво на крейсере выйти в море, прихвастнуть перед иностранцами»[98].

За 1955–1957 годы СССР сократил численность Вооруженных

сил на два миллиона человек. В январе 1958-го «ушли на гражданку» еще 300 тысяч, а в январе 1960-го было сокращено еще 1,2 миллиона человек, из них 250 тысяч офицеров[99]. Увольнения производились в спешном порядке, без необходимой подготовки: в результате многие бывшие офицеры оказались буквально на улице, без жилья и без работы. Скоро в армии началось брожение. Весной 1960 года капитан ВМФ, который был в гостях у своего друга, молодого дипломата Аркадия Шевченко, рассказывал, что его товарищи-офицеры «буквально слезы льют, глядя, как почти достроенные крейсера и эсминцы по приказу Хрущева отправляются в металлолом»[100]. По словам Сергея Хрущева, его отца обвиняли в «невежестве, ограниченности, превращении армии в хаос и разоружении перед лицом врага». Сергей характеризует оппозицию как «скрытую», однако замечает, что его отец «знал об этих настроениях, но твердо держался своего курса. Он считал, что, если дать волю военным, они погубят страну, а потом скажут: „Вы дали нам слишком мало ресурсов“»[101].

Со всех сторон Хрущева бомбардировали вопросами, требующими решения; неудивительно, что у него голова опухла. Ракетные конструкторы, которым Хрущев давал работу и которых окружил почетом, засыпали его комплиментами. Впрочем, в некоторых случаях Хрущев действительно заслуживал похвалы. Первые советские ракеты, как и в США, предполагалось запускать с наземных станций, что делало их уязвимыми для превентивных вражеских ударов. Именно Хрущев додумался размещать ракеты в подземных шахтах. Летом 1958 года он отдыхал в Крыму, неподалеку от санатория «Нижняя Ореанда», где жили высшие лица государства — министры, партийные боссы, а также ученые, и в их числе создатель Р-7 Сергей Королев. Хрущев часто заходил в санаторий пообщаться. Едва он появлялся, его окружала толпа. Здесь-то он и поведал Сергею Королеву об осенившей его идее. Конструктор возразил, что ракета, помещенная в тесном замкнутом пространстве, сгорит от испускаемых собственным двигателем раскаленных газов; на это Хрущев ответил, что ракету нужно поместить в стальной цилиндр — тогда газы будут рассеиваться между цилиндром и стенками шахты.

Рассказывая об этом эпизоде в своих воспоминаниях, Хрущев скромничает: «Я понимал, что не имею права проталкивать эту идею. Я ведь не специалист — так что просто сказал об этом и забыл»[102]. На самом деле, когда Королев отверг его предложение, Хрущев стал искать себе других союзников. Он пригласил в свою роскошную резиденцию Владимира Бармина, строителя пусковых механизмов для королёвских ракет, и Михаила Янгеля, главного

соперника Королева, — но их эта идея тоже не впечатлила. Сергею Хрущеву, который при этом присутствовал, стало даже жаль отца. Однако позже он наткнулся на упоминание в американском техническом журнале нового метода защиты ракет — размещение в стальных цилиндрах в подземной шахте. Увидев чертеж, иллюстрировавший статью, Хрущев-старший «обрадовался, как ребенок», а ученым вскоре пришлось выслушать лекцию о том, как полезно читать технические журналы. В сентябре 1959 года в СССР был произведен первый запуск ракеты из шахты — и Хрущев воспринял его как «личную победу»[103].

В сентябре 1958 года Хрущев решил познакомить генералитет и высшее партийное руководство с достижениями современной военной техники. Знакомство состоялось в Капустином Яре, на главном ракетном испытательном полигоне СССР, в ста километрах к юго-востоку от Сталинграда. Была запущена серия ракет, запуск комментировался по громкоговорителю. Хрущев «широко улыбался. Он явно был в восторге от того, что видел»[104].

После представления самые важные гости (в том числе члены Президиума Кириченко и Брежнев, министр обороны Малиновский и маршал Соколовский) собрались в специально оборудованном железнодорожном вагоне неподалеку от полигона, где Хрущев произнес импровизированную речь. «Отец уже все для себя решил, — рассказывал присутствовавший на встрече Сергей Хрущев. — Он не сомневался, что следующая война, если она будет, будет ракетной войной». Долго и воодушевленно, едва делая паузы, чтобы вздохнуть или глотнуть чаю, Хрущев объяснял, что устаревшее вооружение надо отправить в утиль, а все внимание обратить на развитие ракетной техники. Пока он говорил, слушатели «хранили осторожное и упрямое молчание. Слышался только звон ложечек, которыми они помешивали чай… Чем больше говорил отец, тем упорнее Малиновский, шумно дыша, смотрел в стол. Когда монолог отца наконец подошел к концу, никто не возразил ему — но никто и не поддержал. Почувствовав, что над столом повисло неловкое молчание, отец добавил: „Конечно, все это надо обдумать и подсчитать, а потом уже действовать“»[105]. Однако формальное подтверждение высказанных им идей не заставило себя ждать.

На всем протяжении своей карьеры Хрущев стремился демонстрировать одновременно уважение к интеллигенции и близость к народу. То же самое он делал и после 1957 года — но, пожалуй, второе удавалось ему лучше, чем первое.

В числе прочего Сталин оставил своим наследникам

жилищную проблему. В городах люди жили очень тесно: армии молодых рабочих ютились в общежитиях, множество семей — в коммуналках. Жилищный вопрос возник еще до революции; его усугубили быстрая индустриализация и урбанизация тридцатых годов и разрушения войны. При Хрущеве цифры ежегодной сдачи жилья были почти удвоены. С 1956 по 1965 год в новые квартиры вселилось около 108 миллионов человек. Стремясь поскорее обеспечить советских граждан тем, чего они были так долго лишены, Хрущев возводил непритязательные блочные пятиэтажки без лифтов и мусоропровода. Многие новые дома заселялись до окончательной отделки, местами — без соблюдения правил безопасности. Миллионы людей благодарили Хрущева за новое жилье, однако сами новые дома скоро заслужили нелестное прозвище «хрущобы». Сам Хрущев считал «хрущобы» временной мерой, полагая, что через десять — двадцать лет сможет переселить их обитателей в новые дома более высокого качества. Действительно, в шестидесятых начали строиться панельные девятиэтажки, более удобные и современные; однако «хрущобы» пережили падение СССР, а многие из них стоят и по сей день[106].

По мнению Хрущева, нуждалось в реформе и советское образование. В первые годы советской власти педагоги пытались совместить академическое образование с профессиональным; при Сталине школьное образование стало необходимой основой для карьерного роста. Хрущев предложил заменить десятилетнюю школу одиннадцатилеткой, посвятив последний год ручному труду на близлежащих заводах и фабриках, а также облегчить доступ в университеты для детей из рабочих семей. «С таким порочным положением, когда в нашем обществе воспитываются люди, не уважающие физический труд, оторванные от жизни, мириться дальше нельзя», — говорил Хрущев на заседании Президиума. Неудивительно, что эта идея встретила сопротивление со всех сторон: для директоров заводов нашествие буйных старшеклассников грозило обернуться дополнительной головной болью; интеллигентные семьи боялись, что реформа сузит перспективы их детей; а педагоги высших учебных заведений протестовали против размывания академических стандартов. В результате предложения Хрущева так и не были осуществлены до конца, а после его отставки были поспешно свернуты[107].

Культура постсталинского СССР представляла собой яркое и своеобразное явление. В 1957 году, во время Международного фестиваля молодежи и студентов, Москву наводнили тысячи молодых людей со всего мира — и тысячи молодых москвичей, вышедших на улицы встречать иностранных гостей. До поздней

ночи на московских улицах читали стихи, звучала экзотическая музыка, шли танцы под звуки африканских барабанов, шотландских волынок и джаз-оркестров. Предыдущие фестивали (в Бухаресте в 1953-м и Варшаве в 1955-м) проходили под неусыпным надзором пропагандистов. Теперь Хрущев стремился поразить мир широтой московского гостеприимства. Так и случилось; однако был и обратный результат: молодые москвичи ощутили вкус к западной популярной культуре[108].

Джаз и рок-н-ролл, прежде подозрительные или даже запретные, зазвучали в Москве — сперва по «Голосу Америки», затем на пластинках, привозимых из-за рубежа, и наконец на «квартирниках» в исполнении русских музыкантов. На улицах появились «стиляги» в широчайших пиджаках и узких брючках, «штатники», одетые на американский манер, и «битники» — любители рока в свитерах и джинсах. Возник и новый жанр «авторской» или «бардовской песни» — демонстративно аполитичные лирические баллады о любви, дружбе, далеких краях и жажде странствий; они исполнялись под гитару и широко распространялись на магнитофонных пленках[109].

Возникли новые журналы: «Юность», «Молодая гвардия», «Наш современник». Расцвели популярные жанры — детективы, приключения, научная фантастика. В фильмах молодых режиссеров по-новому раскрывались старые темы (Гражданская война в фильме Григория Чухрая «Сорок первый», Великая Отечественная — в фильмах «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Баллада о солдате» Чухрая) или описывалась частная, домашняя жизнь простых людей («Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова). Консервативные идеологи, разумеется, оказывали сопротивление новым веяниям на всех фронтах; но полем битвы, в которой Хрущеву довелось участвовать лично, стала литература.

Писатели в России традиционно считались совестью нации, «вторым правительством» (по выражению Солженицына). Казалось бы, лидеру, стремящемуся обновить советскую систему, нечего делить со свободомыслящими писателями и художниками; беда в том, что либеральная интеллигенция стремилась двигаться вперед быстрее и дальше, чем хотел Хрущев, а консерваторы от искусства, используя его старомодные вкусы, натравливали его на либералов. Сохранить баланс между либералами и консерваторами было бы нелегко даже для более образованного и культурного лидера — для Хрущева это оказалось попросту невозможно. У него не было времени пополнять свое образование чтением книг или посещением театров. Самое большее, что он себе позволял, — по воскресеньям просил кого-нибудь из

домашних почитать ему вслух. «Пусть мои глаза отдохнут, а ваши поработают», — говорил он. О спорных литературных произведениях он знал только то, что считали нужным ему сообщать «советники по культуре», — да если бы и читал их, скорее всего, мало что бы в них понял[110].

После выволочки, которую устроил Хрущев писателям на печально известном пикнике в Семеновском весной 1957-го, опубликованные выдержки из его выступления подтолкнули его к консервативному лагерю[111]. Однако в июле того же года Хрущев дважды встретился с Александром Твардовским, либеральным поэтом и издателем, к которому тепло относился из-за его крестьянского происхождения. В 1954-м Хрущев согласился на изгнание Твардовского с поста редактора «Нового мира»; теперь он поразил поэта рассудительностью, терпимостью и взвешенностью суждений. Хрущев вежливо выслушал речь писателя о нуждах и проблемах литературы и сам посетовал на «бюрократию». 31 июля состоялась вторая беседа, продолжавшаяся два с половиной часа. Твардовский защищал Маргариту Алигер и Владимира Дудинцева, которых Хрущев поносил в мае, и просил проявлять в литературных делах терпение. «Н. С. все время говорил: „Это интересно“, „все, что вы говорите, интересно“, „да, это нужно изучить“ и т. д.»[112]. Он даже согласился принять Алигер и Дудинцева, но консерваторы из Союза писателей сумели помешать этой встрече. В разговоре Твардовский упомянул «Войну и мир» и «Поднятую целину» — и Хрущев поспешил заверить его, что читал и то и другое. Вот Маленкова, добавил он, считают культурным человеком — а ведь на самом деле он просто «червяк». Потом Хрущев начал вспоминать, как Сталин ликвидировал собственную родню, но быстро оборвал себя: такие истории — «не для ушей поэта».

Когда Твардовский уходил, у дверей его перехватил заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов: «Неужели ты не понимаешь, что в тебе здесь заинтересованы больше, чем в ком бы то ни было из писателей страны, что ты — первый поэт…» Твардовскому показалось, что лицо у Хрущева «не такое толстое и глупое, как на фотографиях, а более стариковское, пожухлое, но оживленное внутренним соображением, мыслью, хитростью. При этом впервые мне мелькнуло, что он стар и наивен кое в чем, как дитя. Например, в вопросах собственно литературных. „Лучше нам плохое, лакировочное, но наше… чем талантливое, но не наше“», — сказал ему во время разговора сам Хрущев[113].

Той же весной, несмотря на сопротивление консерваторов, имевших большинство в СП и возглавлявших большую часть журналов, Твардовский был вновь назначен редактором «Нового

мира». Новая политика Хрущева была отмечена умеренностью и сдержанностью; однако осенью 1958-го он дал вовлечь себя в травлю Пастернака. Замечательный поэт Борис Пастернак бросал вызов партийному официозу не столько своими политическими взглядами, сколько демонстративной аполитичностью своих стихов и прозы[114]. Его роман «Доктор Живаго» не ставил под сомнение завоевания революции; однако его заглавный персонаж, «негероический герой» Юрий Живаго, самим своим существованием бросал вызов общепризнанным ценностям. Полагая, что роман будет опубликован в СССР, Пастернак передал его в рукописи итальянскому коммунисту Джанджакомо Фельтринелли. Когда «Новый мир», еще под руководством Константина Симонова, отказался его опубликовать, Фельтринелли сделал перевод и, несмотря на протесты (впрочем, явно формальные) Пастернака, добился его публикации в Европе. 23 октября 1958 года Пастернак получил Нобелевскую премию.

Вскоре развернулась яростная кампания против Пастернака. Редакционная статья в «Литературной газете» заклеймила его «Иудой». Его исключили из творческого союза, а московские писатели приняли резолюцию, в которой призывали лишить «предателя Бориса Пастернака» советского гражданства. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Семичастный произнес перед 14 тысячами слушателей (включая и самого Хрущева) речь, в которой сравнил Пастернака со свиньей — в пользу последней, ибо она «никогда не гадит там, где ест и спит», и добавил, что этот «внутренний эмигрант» должен «стать эмигрантом на деле и отправляться в свой капиталистический рай»[115].

Сперва Пастернак, впав в отчаяние, предложил своей давней возлюбленной Ольге Ивинской совершить двойное самоубийство, затем написал слезное письмо Хрущеву. От Нобелевской премии он уже отказался и теперь умолял, чтобы ему разрешили остаться на родине. Скоро кампания затихла. Хрущев позже признавался, что так и не прочел скандальный роман; по воспоминаниям сына, он получил «несколько машинописных листков с цитатами из „Доктора Живаго“, подобранными так, чтобы обличить его антисоветский характер». На этой-то основе, пишет Сергей Хрущев, отец и начал антипастернаковскую кампанию; однако он же ее и остановил, сказав: «Довольно. Он признал свои ошибки. Прекратите»[116]. В мемуарах Хрущев уверяет, что долго мучился из-за «Доктора Живаго», почти решился его напечатать и потом сожалел, что все-таки этого не сделал[117]. Однако, если верить Семичастному, именно Хрущев приказал ему «проработать» Пастернака, продиктовал фразу о гадящей свинье и сказал, что советское правительство не будет стоять у Пастернака на дороге,

если он «так жаждет подышать воздухом свободы, что ради этого готов покинуть родину». Когда Хрущев продиктовал последнюю фразу, Семичастный будто бы воскликнул: «Никита Сергеевич, я от имени правительства такое говорить не могу!» — «Ничего-ничего, — ответил Хрущев. — Ты скажешь, мы все похлопаем. И все всё поймут. Так оно и вышло»[118].

Покончив с делом Пастернака, Хрущев попытался восстановить либерально-консервативное равновесие. Он уволил Всеволода Кочетова, ультраортодоксального редактора «Литературной газеты», первым опубликовавшего ругательную статью о Пастернаке, и в мае 1959-го обратился с речью к Третьему съезду писателей. Но и здесь его благим намерениям помешали собственные невежество и неосторожность. Чиновник ЦК Игорь Черноуцан и писатель Борис Полевой подготовили для него черновик речи, просмотренный и завизированный либеральным советником по культуре Владимиром Лебедевым. Однако, поднявшись на сцену, Хрущев объявил, что, хотя «ребята» подготовили для него очень хорошую речь, он всю ночь думал и понял, что лучше говорить без бумажки, «от себя». И дальше, вспоминает Черноуцан, началось «что-то невообразимое» — безумный словесный поток, скачки от темы к теме, в которых ничего невозможно было понять.

Начал Хрущев с Пантелея Махини, своего юзовского друга, шахтера и поэта, причем продекламировал те самые стихи (о необходимости «бороться с миром мрака до могилы»), которые критиковал почти пятьдесят лет назад. Затем поведал, что недавно распорядился освободить уголовника, написавшего ему трогательное письмо. (Через несколько дней после освобождения, добавляет Черноуцан, этот человек совершил убийство.) Дальше Хрущев сказал, что писатели — это солдаты и их задача — стоять на передовой против «автоматчиков», покушающихся на позиции партии. Свободомыслящих и заблуждающихся интеллигентов он сравнил с «бандитами», которых «перевоспитывал» знаменитый чекист Дзержинский. Не успели писатели переварить это не слишком ободряющее сравнение, как Хрущев разразился следующим пассажем: «Хочу привести пример выращивания кукурузы в нормальных и тепличных условиях и провести некоторую аналогию с воспитанием молодых литераторов. *(Оживление в зале. Аплодисменты.)*»[119]

Критику Саре Бабенышевой, присутствовавшей в зале, Хрущев напомнил «деревенского дурачка» или «чудика» из шукшинских рассказов — «феномена-самоучку, который знает понемногу обо всем и жаждет поразить мир своими познаниями»[120]. Во время перерыва писатель Владимир

Тендряков подошел к своему другу Черноуцану и прошептал: «Слушай, что же это такое? Он же просто идиот!» — «Ты неправ, Володя, — ответил Черноуцан. — Он умный и талантливый человек, просто импровизация — не самая сильная его сторона»[121].

Хрущев заметил, что произвел на слушателей не самое приятное впечатление, и после перерыва попытался извиниться. «К сожалению, я мало читал книг… и не потому, что не хочу читать. Читал-то я не меньше вашего, только не книги, а донесения послов и записки министров». К несчастью, некоторые книги «нагоняют сон. Хочешь дочитать до конца, потому что другие товарищи уже прочли, делятся впечатлениями, хотят услышать твое мнение. Но читать трудно, глаза сами закрываются». Затем он попросил у слушателей прощения за «упрощения» и «грубые сравнения» в своем выступлении. «Если я что-либо сказал не так, думаю, что вы мне простите это. Признаюсь, я очень волновался и беспокоился. Сперва думал выступить по заранее подготовленному тексту. Но вы знаете мой характер — не люблю читать, люблю беседовать». «Когда речь написана и приготовлена — можно спокойно спать. А когда предстоит выступать без текста — так и спится плохо. Проснешься и начинаешь думать, как лучше сформулировать тот или иной вопрос, начинаешь сам с собой спорить. Выступление без текста — это очень тяжелый хлеб для оратора». Так что «если какие оговорки вы и заметили, то не судите слишком строго»[122].

Зрелище руководителя страны, просящего прощения у тех самых писателей, которых он только что распекал, было почти трогательное. (Разумеется, не успел Хрущев сойти со сцены, как его приятель и наушник Корнейчук вскочил и воскликнул, что оратор «осветил путь» и «открыл новые горизонты» перед советской литературой.) Однако спрашивается: если импровизировать так трудно, почему Хрущев не воспользовался письменным текстом — тем более перед высококультурной и, следовательно, особенно критичной аудиторией? Возможно, хотел поразить и привлечь слушателей своей простотой и открытостью. А может быть, эта задача привлекала его именно своей трудностью — и следовательно, тем, что произведенное на слушателей дурное впечатление можно было свалить на неумение импровизировать.

Каковы бы ни были мотивы Хрущева, его неосторожность использовали в своих интересах оба враждующих лагеря. Консерваторы играли на его враждебности к модернистским произведениям, которых он не понимал; либералы использовали его антисталинизм. В начале шестидесятых Твардовский шутливо

объяснял своим коллегам, что «с культом приходится бороться посредством культа»[123]. Именно так и появилась в поэме Твардовского «За далью — даль» антисталинская глава «Как это было». Цензор наложил на главу вето, и Твардовский отправился к Хрущеву. Лебедев посоветовал ему преподнести главу Хрущеву на день рождения, 17 апреля 1960 года. «Знаете, я вам скажу: он — человек, — сказал Лебедев Твардовскому. — И ему будет просто приятно (мне незачем вам делать комплименты и т. п.), что великий поэт нашего времени… и т. д.».

Так оно и вышло, особенно после того, как Твардовский написал поздравление, в котором выразил Хрущеву «уважение и признательность» и пожелал «дорогому Никите Сергеевичу доброго здоровья, долгих лет деятельной жизни на благо и счастье родного народа и всех трудовых людей мира»[124]. Лебедев одобрил текст поздравления, организовал передачу главы Хрущеву, который отдыхал на юге после утомительной поездки во Францию, и в тот же вечер позвонил Твардовскому с хорошими новостями: «Прочел с удовольствием. Ему понравилось, очень понравилось, благодарит за внимание, желает… Я, конечно, не сомневался, но вместе с вами еще раз переживаю радость»[125].

29 апреля и 1 мая глава, преподнесенная в дар Хрущеву, была напечатана не где-нибудь, а в газете «Правда». А три месяца спустя была опубликована вся поэма целиком, без изъятий[126]. Однако битва — и между двумя культурными лагерями, и между двумя сторонами личности самого Хрущева — была далеко не закончена.

Одиночество Хрущева на вершине хорошо прослеживалось и в его отношениях с союзниками/противниками из стран соцлагеря. В октябре 1958-го, когда посол Югославии Мичунович, покидая страну, нанес прощальный визит в Пицунду, между СССР и Югославией разгорелась новая ссора. Тито отказался участвовать во встрече коммунистических лидеров в ноябре 1957-го, а в марте 1958-го Белград принял программу партии, где вернулся к своим «еретическим» принципам. Хрущев бойкотировал съезд компартии Югославии, на котором была принята новая программа, дал указание открыть против нее кампанию в советской прессе и в одностороннем порядке приостановил выдачу Югославии основных кредитов. А затем, сравнив предательство Белграда с «изменой» Имре Надя, с ноября 1956-го находившегося в заключении, приказал повесить последнего — что и было исполнено 17 июня 1958 года.

Однако последняя беседа Хрущева с югославским послом — на веранде, откуда открывался вид на море, — прошла вполне

мирно. Приземистому советскому лидеру не сиделось на месте: он, по рассказу Мичуновича, «прыгал, словно пробка на воде». Вдали от Кремля, наедине со своим гостем (если не считать членов семьи) он выглядел куда сговорчивее и дружелюбнее: у посла сложилось впечатление, что по югославскому вопросу Хрущева систематически дезинформируют — как противники Тито, так и «безыдейные» подхалимы, говорящие только то, что хочет услышать босс. Три раза Хрущев рассказывал о дурном обращении югославских властей с советскими гражданами — и все три раза Мичунович показывал, что эти обвинения лишены оснований. Слегка смутившись, Хрущев проворчал, что эти случаи «сами по себе не так важны; важнее, что в советско-югославских отношениях появилась „нехорошая струя“». Мичунович продолжал опровергать и другие антиюгославские сообщения, появившиеся в советской печати. «Знаете, — вздохнул Хрущев, — вы думаете, что это все делается по моим указаниям, но я об этом ничего не знаю. Есть много такого, о чем я слышу только задним числом».

Ночь перед отлетом Мичунович провел на соседней даче (в прошлом — резиденции Берии). Там он обнаружил семерых или восьмерых высших советских чиновников, весь день дожидавшихся возможности встретиться с Хрущевым. Заговорить с Мичуновичем соизволил только один из них, секретарь ЦК Леонид Ильичев — и тот проворчал, что посол «загубил ему рабочий день». Трудно представить себе более яркий контраст между поведением Хрущева и его подчиненных! Очевидно, заключает Мичунович, бюрократия систематически поставляла Хрущеву ложную информацию. Особую опасность этой взрывчатой смеси добавляли подспудные сомнения Хрущева в правильности собственной проюгославской политики. Как он ни предавал анафеме сталинизм, сам так и не смог до конца избавиться от сталинских привычек[127].

Советско-китайские отношения еще осенью 1957 года казались многообещающими: на ноябрьском Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве Мао поддерживал лидерство СССР в восточном блоке; Хрущев в ответ согласился предоставить Пекину образец ядерного оружия и помочь китайцам в конструировании ракет[128]. Однако летом 1958 года положение изменилось[129]. К этому времени Мао прервал кампанию «Пусть расцветают сто цветов!» и объявил о начале «Большого скачка» — того самого, который несколько лет спустя привел к страшнейшему в китайской истории голоду. А главное — Мао поставил под сомнение право СССР вести к коммунизму другие страны и народы.

Именно тогда, когда Мао стремился развивать «самодостаточность» Китая, Хрущев предложил ему новую форму военной зависимости. Советский ВМФ планировал разместить в Тихом океане несколько новых подводных лодок. Связь с ними с территории Советского Союза была очень дорога и ненадежна, поэтому Москва предложила построить на китайском побережье несколько радиостанций, работающих на длинных волнах, с перспективой создания в дальнейшем совместного советско-китайского подводного флота. «Мы полагали, что в строительстве радиостанции Китай заинтересован не меньше, чем мы… рассматривали это, как само собой разумеющееся дело», — вспоминал Хрущев[130]. Однако на встрече с советским послом Юдиным 22 июля 1958 года Мао не только ответил решительным отказом, но и произнес немало горьких слов по поводу советского шовинизма в целом и хрущевского в частности.

По-видимому, Мао заподозрил русских в намерении разместить в Китае свои военные базы и навязать совместный подводный флот, чтобы не позволить развивать свой собственный. Если Москва хочет «совместного владения и совместных действий», саркастически говорил он Юдину, почему бы тогда не владеть совместно «армией, флотом, военно-воздушными силами, промышленностью, сельским хозяйством, культурой, образованием?». Тогда в собственности СССР окажется «больше десяти тысяч километров китайского побережья», а у Пекина — «только народное ополчение». Советские предложения ясно показывают, что «некоторые русские смотрят на китайский народ свысока». Слишком долго между советской и китайской компартиями не было «братских отношений» — скорее, «отношения отца с сыном или, вернее сказать, кошки с мышью». Последние предложения Хрущева напомнили Мао «позицию Сталина». Хрущев «критикует Сталина, но сам проводит в жизнь ту же политику»[131].

Переговоры Юдина с Мао длились два дня. В конце первого дня, 21 июля, Мао воскликнул: «Отправляйтесь домой! Вы ничего не способны толком объяснить! Убирайтесь и передайте Хрущеву, чтобы приехал сюда сам. Пусть сам объяснит мне, чего он от нас хочет»[132]. Юдин отправил шифровку в Москву. «Мы вдруг получили от Юдина тревожную телеграмму», — рассказывает Хрущев[133]. На следующий день, когда Юдин повторил китайскому руководителю свои доводы, Мао отрезал: «Вы так и не ответили на мой вопрос. Я спрашивал, чего именно вы хотите. Вы ничего не понимаете в своем деле. Пусть сюда приедет Хрущев. Передайте ему, я приглашаю его сюда, и немедленно. Мне нужно с ним поговорить»[134].

Хрущев, бросив все, помчался в Пекин. Он решил, что китайцы неправильно поняли Юдина и для устранения конфликта достаточно будет, если он сам объяснит ситуацию[135]. Однако вместо этого обвинениям и унижениям подвергся он сам. Прием в пекинском аэропорту был холоден. Высшие фигуры в китайском правительстве (Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин и, наконец, сам Мао) присутствовали; однако, по рассказу очевидца с китайской стороны, не было «ни красной ковровой дорожки, ни почетного караула, ни объятий»[136]. Переговоры на вилле китайского руководства начались спокойно[137]. Мао заявил, что советско-китайское сотрудничество не прекратится еще десять тысяч лет. В таком случае, заметил Хрущев, «на девять тысяч девятьсот девяносто девятый год можно будет встретиться и заключить договор еще на десять тысяч лет». Оба руководителя признались, что из-за конфликта несколько ночей не могли заснуть. Хрущев пространно объяснил суть советского предложения, сделав особый упор на чистоте намерений Москвы. Все это время Мао курил, словно забыв о нелюбви Хрущева к сигаретному дыму, и время от времени прерывал гостя язвительными репликами. Выслушав все до конца, он небрежно махнул рукой и заявил: «Говорили вы долго, но до сути дела так и не дошли».

По рассказам очевидцев, изумленный и смущенный Хрущев пробормотал что-то вроде: «Да не беспокойтесь, я продолжу». Однако, когда он повторил, что для паритета с Седьмым флотом американских ВМС необходим «общий флот», Мао «хлопнул своими большими ладонями по дивану и сердито поднялся. Лицо его побагровело; тяжело дыша, он ткнул пальцем прямо в лицо Хрущеву: „Я спросил, что такое общий флот — и вы так и не ответили!“»

Хрущев сжал побелевшие губы; маленькие глазки его полыхали гневом. Тяжело сглотнув, он развел руками. «Не понимаю, зачем вы это делаете! — воскликнул он. — Мы ведь приехали сюда, чтобы вместе все обсудить». — «Что значит „все обсудить“?! — рявкнул в ответ Мао. — Что обсуждать?! Есть у нас независимость или нет?»[138]

Сделав героическое усилие, чтобы не взорваться, Хрущев пожал плечами и поинтересовался, не разрешит ли Китай советским субмаринам по крайней мере заправляться топливом в китайских портах? В обмен на это он пообещал Китаю доступ к Арктике. «Это нас не интересует», — отвечал Мао, глядя на Хрущева (по отзыву китайского очевидца), «словно взрослый — на ребенка, который пытается его обмануть». Когда Хрущев побагровел от ярости, на лице Мао отразилось нескрываемое

удовольствие. «Нам не нужен ваш Мурманск — и вы не лезьте в нашу страну». И, не удовлетворившись этим: «К нам уже лезли и англичане, и японцы, и многие другие иностранцы. И мы их всех отсюда выгнали, товарищ Хрущев. Если вы не поняли, повторю еще раз: мы больше не хотим, чтобы кто-то использовал нашу страну для достижения своих целей»[139].

Следующий день прошел чуть легче. Мао объявил, что тучи рассеялись, однако продолжал нападать на гостя — только теперь более тонко. Явившись в резиденцию Мао, Хрущев обнаружил его в купальном халате и тапочках. Без предупреждения он пригласил Хрущева поплавать в бассейне. Поначалу Хрущев плескался на мелководье, затем, попросив у китайской прислуги спасательный круг, осмелился зайти поглубже. С усмешкой понаблюдав за его неуклюжим бултыханием, Мао нырнул с бортика и начал плавать взад-вперед различными стилями. Дальнейшая беседа лидеров происходила в воде, а переводчики бегали вдоль бортика, стараясь поспеть каждый за своим вождем[140]. По словам врача Мао доктора Ли, «председатель наслаждался ролью императора, а с Хрущевым вел себя, словно с варваром, привезшим дань. Таким способом, сказал мне сам Мао на обратном пути, он „загнал иглу ему в зад“»[141].

В своих воспоминаниях Хрущев уверяет, что ничуть не огорчился: «Сразу же мы как пловцы „подняли руки“ и сдались Мао, признали его первенство»[142]. Однако в 1962 году, в речи, обращенной к художникам и писателям, он приоткрыл свои истинные чувства: «Он-то призовой пловец, а я горняк, я же, между нами говоря, плаваю-то кое-как, я же бултыхаюсь, я же не умею. А он плывет, козыряет. И все время всякие материи излагает, политические вещи. Переводчик мне это на плаву переводит, а я и ответить как следует не могу. И он получается передо мной в преимущественном положении. Ну, надоело мне это, поплавал я, поплавал, думаю — да ну тебя к черту, вылез на бортик, сел на краешек, свесил ноги. И что же, теперь я наверху, а он внизу плавает… Он в это время говорит мне что-то про коммуны, про ихнии эти коммуны»[143].

Вернувшись домой, советская делегация думала, что худшее позади. Однако 23 августа Мао, не предупредив Москву, подверг бомбардировке прибрежные острова Цзиньмэнь и Мацзу[144]. Бомбардировка вызвала международный кризис. Американцы выдвинули в Тайваньский залив мощные военные силы, в том числе более двухсот самолетов с ядерными ракетами. Если бы разразилась война США с Китаем, очень возможно, что в нее оказался бы втянут и Советский Союз. У Москвы не было выбора: она объявила о решительной поддержке Пекина, что американцы

восприняли как заявление, что Хрущев будет на стороне Мао, что бы тот ни сделал[145].

4 сентября государственный секретарь США Даллес заявил, что для защиты островов Америка готова вступить в войну. На следующий день советский министр иностранных дел Громыко помчался в Пекин. По его словам, Мао поделился с ним своими военными планами: если американцы начнут атомную бомбардировку Китая, войска КНР отступят вглубь страны, увлекая за собой врага. А как только американцы зайдут достаточно далеко, продолжал Мао, русские «ударят по ним всем, что у вас есть». По словам Громыко, он был «ошеломлен» таким предложением и вежливо свернул беседу[146].

Одной из причин, по которой Мао провоцировал кризис, было, несомненно, недовольство проводимой Хрущевым политикой разрядки. По словам доктора Ли, Мао хотел «показать и Хрущеву, и Эйзенхауэру, что им не удастся подчинить его своей воле и что мечты Хрущева о мире необоснованны». Или, как говорил он сам: «Острова — это дубинки, которыми я бью Хрущева и Эйзенхауэра и заставляю их прыгать туда-сюда. Правда, они здорово пляшут?»[147]

Тайваньский кризис затих, и отношения Москвы и Пекина на несколько месяцев стабилизировались. Однако летом 1959 года разразился новый, куда более серьезный кризис. Перед самым пленумом ЦК КПК в июле 1959 года, где руководители китайской компартии должны были утвердить программу «Большого скачка», Хрущев подверг новые китайские коммуны открытой критике. Вскоре Мао обвинил Пэн Дэхуая, имевшего прочные связи с Москвой, в предательстве и тайном сотрудничестве с Хрущевым. Когда между Китаем и Индией начались пограничные столкновения, Москва заняла нейтральную позицию. А 20 августа 1959 года СССР сообщил Пекину, что не намерен предоставлять ему образец атомной бомбы[148].

В конце сентября, немедленно после возвращения из богатой впечатлениями двухнедельной поездки по США, Хрущев отправился в Пекин на празднование десятилетия китайской революции. По рассказу советского посла в Китае Степана Червоненко, входившего в состав делегации, Хрущев был настроен оптимистично. Однако прибыл он с опозданием — лишь на второй день, что едва ли способствовало налаживанию отношений; а прием был еще хуже, чем в 1958-м: ни почетного караула, ни речей с китайской стороны, а когда сам Хрущев все же настоял на произнесении речи, ему даже не предоставили микрофон[149].

Далее последовали переговоры, по сравнению с которыми

беседы двух руководителей в 1958-м следовало бы назвать дружескими посиделками[150]. США являлись для Китая злейшим врагом. А Хрущев, по рассказу китайского переводчика Ли Юэжэня, описывал свою поездку в Америку «с горящими глазами и таким тоном, словно открыл новый континент: Я был в Америке, я все там видел своими глазами! Как они богаты — вы знаете, действительно богаты!». В заключение он попросил китайцев освободить пятерых американских летчиков, захваченных в плен во время корейской войны и томящихся в китайских тюрьмах. Едва сдерживая бешенство, Мао ответил отказом.

Хрущев упрекнул Мао за то, что тот «обидел» Неру («И ради чего? — добавил он. — Ведь этот спорный клочок земли — просто пустыня, там никто не живет!»), за то, что «упустили» далай-ламу[151], за то, что вздумали бомбить острова, не посоветовавшись с Москвой («Мы у себя не знаем, что вам завтра в голову взбредет!»). Ответ маршала Чэнь И («Обвиняя нас, вы поддерживаете Чан Кайши и американских империалистов») поверг Хрущева в ярость. Побагровев, он начал орать на Чэня: «Конечно, вы маршал, а я — всего лишь генерал-лейтенант! Но я — первый секретарь ЦК КПСС, а вы меня оскорбляете!»

— Верно, вы генеральный секретарь, — отвечал Чэнь. — И когда вы правы, мы к вам прислушиваемся. Но когда вы ошибаетесь, мы не стесняемся вам возражать.

Далее Хрущев пожаловался, что китайцы численно превосходят его делегацию: «Нас здесь трое, а вас — девять человек, и все вы твердите одно и то же!»

Мао, по воспоминаниям переводчика, улыбнулся и заговорил негромко и спокойно: «Я вас долго слушал. Вы бросили нам много обвинений. Говорили, что мы… не должны были ссориться с Неру, не должны были бомбить Цзиньмэнь, что не следует нам проводить Большой скачок, не следует хвалиться своей верностью марксизму. Теперь позвольте и мне обвинить вас в ответ. Думаю, вы виновны в приспособленчестве и оппортунизме».

Поначалу Хрущев как будто не понял, о чем речь; затем, когда то же обвинение повторил Чэнь И, взорвался. «Если мы, по-вашему, приспособленцы, — воскликнул он, — то я вам теперь руки не подам!»

— Я не боюсь вашего гнева, — отвечал Чэнь И.

— И не старайтесь плюнуть нам в лицо — слюны не хватит! — рявкнул Хрущев.

По окончании переговоров (если к этой перепалке можно применить такое слово) дела пошли не лучше. На банкете в Большом народном дворце, в присутствии пяти тысяч гостей,

Хрущев, стремясь восстановить дружескую атмосферу, завел очередную пространную речь, в которой посоветовал Китаю не испытывать «американских империалистов» на прочность. Ответную речь Мао произносить отказался, поручив это Чжоу Эньлаю[152]. Оставшись со своими коллегами наедине, Хрущев принялся высмеивать китайцев, рифмуя их имена с русскими нецензурными словами, а самого Мао называя «старой калошей» — хотя едва ли не понимал, что помещение прослушивается[153].

Предполагалось, что визит продлится неделю. Однако уже через три дня русские улетели домой. Бывший работник ЦК Лев Делюсин вспоминает восклицание Хрущева: «Что случилось?! Вы спрашиваете, что случилось?! Да если бы я сам понимал!»[154] Его спутники, по словам Червоненко, тоже в основном хранили молчание, однако чувствовалось, что они во всем винят Хрущева. Впрочем, виноваты они были и сами — им следовало предупредить своего патрона о том, какие темы для Мао особенно чувствительны. Делюсин полагает, что разрыва можно было бы избежать, прояви Хрущев больше «терпения и понимания». В этом с ним (что неудивительно) согласны и помощники Мао. Как ни «умен и сообразителен» был Хрущев, замечает переводчик Ли Юэжэнь, однако «до Мао ему было далеко». «Мао видел себя тореадором, — добавлял Ян Минфу, — а Хрущева — быком»[155].

Отправляясь домой один, оставив в Пекине почти всю советскую делегацию, — Хрущев выглядел «страшно угнетенным». Он не полетел прямо в Москву, а, чтобы развеяться и сгладить тяжелые впечатления, предпринял двухдневное путешествие по советскому Дальнему Востоку. Политрук корабля, на борт которого поднялся Хрущев во Владивостоке, был потрясен тем, что увидел: «Это был совсем не тот человек, которого мы привыкли видеть по телевизору — ни физически, ни душевно. Тот Хрущев, которого мы знали, был живым, энергичным, неутомимым, с неизменным чувством юмора. Но сейчас перед нами стоял другой человек — угрюмый, подавленный, ко всему безразличный». Даже охота на близлежащем острове (где ручные олени сами шли навстречу охотникам — только успевай перезаряжать ружье) не улучшила его настроения. «Это не охота, а убийство», — проворчал Хрущев. Большую часть времени на корабле он проводил у себя в кабине[156].

Похоже, что абсолютная власть, к которой так рвался Хрущев, не принесла ему счастья.

Глава XV
БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС И ПУТЕШЕСТВИЕ В АМЕРИКУ: 1958–1959

В эпоху Хрущева пышные и торжественные «дружеские встречи» были обычным делом. В столицу то и дело наведывались лидеры братских компартий, и тысячи советских «энтузиастов», собранных по разнарядке, приветствовали их в огромных залах московских дворцов. Вот и 10 ноября 1958 года Хрущев принимал во Дворце спорта Владислава Гомулку и других польских руководителей. За два месяца до того правительство Восточной Германии потребовало, чтобы западные державы включили их страну в подписание мирного договора, тем самым узаконив статус-кво в Европе. Западная Германия в ответ предложила объединить две Германии с помощью свободных выборов. Ни то ни другое предложение не было новостью; за спинами двух Германий стояли Москва и Вашингтон, так что никаких сюрпризов не ожидалось. Однако 10 ноября Хрущев взорвал бомбу: «Очевидно, для участников Потсдамского соглашения настало время… нормализовать ситуацию в столице Германской Демократической Республики. Советский Союз, со своей стороны, готов передать правительству в Берлине те функции, которые сейчас исполняются советскими учреждениями… Если Соединенные Штаты, Франция и Англия заинтересованы в вопросах, касающихся Берлина… они должны достигнуть соглашения [с ГДР]. Что касается Советского Союза, мы чтим наши обязательства по отношению к нашему союзнику — ГДР…»[1]

В переводе на простой язык: если Запад не признает Восточную Германию, СССР нарушит Потсдамское соглашение, передав Вальтеру Ульбрихту свои полномочия по доступу к Западному Берлину. Если западные державы попытаются этому помешать, Москва начнет войну для защиты своего союзника.

Заявление Хрущева повлекло за собой спешные консультации в столицах западных держав. Посол США в СССР Льюэллин Томпсон, лучше многих знавший Хрущева, предположил, что тот пытается навязать Западу признание ГДР и запрет ядерного оружия для Западной Германии. Однако Томпсон и его западные коллеги «терялись в догадках», каким образом Хрущев надеется этого добиться. Быть может, он «настолько недооценивает Запад»? В Вашингтоне президент Эйзенхауэр пытался скрыть свои

опасения под маской бравады. Интуиция, заявил он госсекретарю Кристиану Хертеру, подсказывает ему единственный ответ: «Если русские хотят войны за Берлин — они ее получат». Однако его администрация молчала, не желая выдавать своей нервозности[2].

Вторая бомба взорвалась 27 ноября, на официальной пресс-конференции Хрущева. В четыре часа пополудни он вошел в овальный, отделанный красным деревом кабинет Совета министров в Кремле. Был День благодарения, и американские корреспонденты явились в последнюю минуту, прямо из-за праздничных столов. «Мы предприняли много шагов, чтобы снизить международную напряженность», — объявил Хрущев: он выглядел бодро, говорил «эмоционально и энергично». Однако западные державы «хотят сохранить напряженность, а не уничтожить ее». Западный Берлин превратился в «злокачественную опухоль». Вот почему, как сообщается в двадцать восьмой дипломатической ноте, разосланной этим утром западным послам, Советский Союз решил «предпринять хирургическую операцию». В ноте содержится ультиматум: либо западные страны подписывают мирный договор с ГДР и в течение шести месяцев превращают Берлин в демилитаризованный «свободный город», либо СССР передаст Восточной Германии свои полномочия регулировать доступ из Западной Германии в Западный Берлин[3].

Эйзенхауэр получил новости в Огасте, штат Джорджия, где отмечал День благодарения вместе с семьей. Если Западный Берлин падет под советским давлением, сказал он сыну, «никто в мире не станет больше верить нашим обещаниям». А если попытки защитить Западный Берлин приведут к войне — что ж, «пусть Хрущев знает, что мы не станем с ним церемониться. Воевать — так воевать всерьез». Однако несколько дней спустя, трезво оценив ситуацию, президент заметил, что защита Берлина, расположенного в глубине Германии, — «тот случай, когда политическая необходимость заставляет нас предпринимать совершенно безумные в военном смысле действия», и что американская позиция по Берлину напоминает ему «банку, полную червей»[4].

Хрущевский ультиматум положил начало долгому противостоянию, не закончившемуся и ко времени Карибского кризиса, разразившегося четыре года спустя. В первом приближении тактика Хрущева была оправдана: он наконец получил приглашение в США, которое перед этим все откладывалось, и согласие западных держав на проведение в мае 1960 года саммита по Берлину. Однако стратегически Хрущев совершил ошибку. Те уступки по Германии, которых он требовал,

для Запада были попросту невозможны. Одностороннее подписание мирного договора угрожало и Западу, и Востоку. А попытка силой заставить Запад подчиниться вступала в противоречие с его собственным стремлением к снижению международной напряженности[5].

Позже, в разговоре с американским сенатором Губертом Хэмфри, Хрущев признавался, что «несколько месяцев раздумывал над проблемой Берлина». Возможно, поэтому он не видел необходимости с кем-либо консультироваться. По словам Микояна, Хрущев вообще не обсуждал с коллегами свое заявление от 10 ноября, хотя это и было «грубейшим нарушением партийной дисциплины». Далее Микоян рассказывает, что он возразил и попросил Громыко представить соображения Министерства иностранных дел, в ответ на что Громыко пробормотал что-то невнятное. По утверждению одного из его помощников, Громыко «боялся Хрущева до неприличия», даже несмотря на то, что выслушивал его «разносы» в основном по телефону. Кроме того, Громыко прекрасно понимал, что его советов здесь не ждут. Немного ранее он представил Хрущеву докладную записку по Берлину. Министр уже поправил очки и начал читать меморандум, когда Хрущев не слишком вежливо его прервал: «Погоди, ты вот послушай, что я скажу — стенографистка запишет. Если совпадет с тем, что у тебя там написано — хорошо, а если нет — выбрось свою записку в корзинку». И, продолжает помощник Громыко Андрей Александров-Агентов, Хрущев «начал диктовать (как всегда, сумбурно и неряшливо, но достаточно ясно по смыслу) свою идею насчет провозглашения Западного Берлина „вольным демилитаризованным городом“»[6].

По словам Олега Трояновского, незадолго до того ставшего помощником Хрущева по вопросам внешней политики, записка от 27 ноября была с небольшими поправками одобрена Президиумом — возможно, лишь потому, что его члены уже не осмеливались противоречить Хрущеву. Сам Трояновский высказал некоторые сомнения, опасаясь «получить от ворот поворот», — однако Хрущев внимательно выслушал, а затем процитировал призыв Ленина 1917 года (в свою очередь, заимствованный у Наполеона) «ввязаться в бой, а там будет видно»[7]. Сергея Хрущева также одолевали сомнения: что будет, если американцы не захотят подчиниться? «Отец высмеял мои страхи и сказал, что из-за Берлина никто войну начинать не станет». Но что если шестимесячный срок ультиматума истечет, а Запад так и не выполнит требования СССР? «На это отец прямого ответа не дал. Сказал, что будет действовать по обстоятельствам,

в зависимости от реакции партнеров. Он надеется, что хорошенько их напугает и они согласятся на переговоры». А если переговорами мы ничего не добьемся? — спросил Сергей. «Тогда попробуем что-нибудь еще, — с ноткой раздражения в голосе ответил отец. — Какой-нибудь выход обязательно найдется»[8].

К 1958 году прошло пять лет с начала «разрядки». Хрущев открыл свою страну для западной культуры, несмотря на тот идеологический риск, которому подвергался режим; он отказался от сталинской концепции неизбежности новой мировой войны, сократил Вооруженные силы, вывел советские войска из Австрии и Финляндии, способствовал реформам в Восточной Европе.

Что же он получил взамен? Согласно Льюэллину Томпсону (который, несомненно, выражал не только точку зрения Хрущева, но отчасти и свою) — ничего. «Мы отвергаем его мирные предложения, — телеграфировал Томпсон в Вашингтон в мае 1959 года, — или обставляем свое согласие такими условиями, на которые он как коммунист пойти не может. Мы вооружаем Германию и усиливаем военные базы, окружающие территорию СССР. Наши предложения по решению германской проблемы, на его взгляд, ведут к разрушению восточного блока и угрожают прочности режима в самом СССР. Он предлагал сохранить в Европе статус-кво — это предложение мы тоже отклонили. Теперь он намерен решить проблему сам, не дожидаясь нашего согласия»[9].

После паузы 1956 года, вызванной Венгерским и Суэцким кризисами, Хрущев продолжил обхаживать Запад. Булганин засыпал США письменными предложениями; в июне Даллес заметил, что, похоже, «русские наняли бюро рассылки». «Как лучший в мире эксперт по переговорам с русскими, — добавил он в декабре, — могу засвидетельствовать, что полагаться на Советы нельзя: они не выполняют своих обещаний»[10]. Западные державы действовали согласно его рекомендациям, так что ни переговоры по разоружению в Лондоне, ни обмен мнениями по поводу Германии не указывали путь выхода из тупика.

Несмотря на столь мрачную ситуацию или, точнее, именно вследствие ее, с мая по декабрь 1957 года Хрущев дал западным журналистам не меньше восьми интервью, в которых обычное бахвальство ракетами чередовалось с предложениями переговоров. «Между нашими странами нет таких проблем, которые нельзя было бы решить», — говорил он 13 мая редактору «Нью-Йорк таймс» Тернеру Кэтледжу. Но, если полагаться на Даллеса и Громыко, «они и за сто лет ни о чем не договорятся». Когда его спросили, не хочет ли он посетить США, Хрущев с

важностью ответил: «Как турист я поехать не могу, а как государственный деятель — сейчас не вижу смысла»; однако встреча с Эйзенхауэром, безусловно, была бы очень полезна, поскольку «я глубоко уважаю президента Эйзенхауэра и уже беседовал с ним лично»[11]. К ноябрю Хрущев заговорил решительнее: если его мирные предложения отвергаются, заявил он корреспонденту Юнайтед Пресс Генри Шапиро, «тем хуже для мира»[12].

Интерес Хрущева к США особенно ярко проявился на роскошном кремлевском приеме в канун Нового, 1958 года, где присутствовала почти тысяча человек. Ужин начался около одиннадцати вечера и длился до семи утра. В отличие от прошлого Нового года, на котором Хрущев произнес столь враждебную речь, что послы западных держав принуждены были покинуть зал, на этом празднике царила радостная и дружелюбная атмосфера. В первый раз за много лет Хрущев предложил вспомнить войну и поднял тост «за союзников», особенно отметил помощь Соединенных Штатов, а закончил восхвалением Эйзенхауэра — единственного из западных политиков, которого он называл по имени. «О странах соцлагеря Хрущев и не вспомнил», — замечает югославский посол Мичунович.

Посол США Томпсон и его жена Джейн сидели за одним из боковых столов, лучами расходившихся от стола Президиума. Томпсон предупредил жену, что, если Хрущев снова начнет «выступать», она должна будет встать и выйти из зала вместе с ним. Миссис Томпсон плохо понимала по-русски и не уловила смысл речи Хрущева; поэтому, когда муж поднялся, она, нахмурившись и поджав губы, вскочила вместе с ним и приготовилась двинуться к выходу. Каково же было ее удивление, когда посол, широко улыбаясь, подошел к столу Хрущева и чокнулся с ним и со всем кремлевским руководством![13]

Три недели спустя Юрий Гвоздев, советский разведчик, работавший под прикрытием в советском посольстве в Вашингтоне, спросил одного американца, имевшего связи в правительстве: как тот считает, возможно ли организовать неофициальный визит Хрущева в Вашингтон для разговора с Эйзенхауэром? Согласится ли на это правительство?

— Вы хотите сказать — совершенно неформальный визит, без переговоров, без вопросов, вынесенных на обсуждение? — уточнил американец.

— Именно, — ответил Гвоздев. — Мистер Черчилль и главы многих других государств приезжали сюда, чтобы пообщаться с президентом неофициально… На такой же основе хотел бы

приехать и Хрущев.

— А вы откуда это знаете? — поинтересовался американец.

— Знаю! — уверенно ответил тот. — Могу вам сообщить, что наше правительство ищет способ получить такое приглашение. Для Хрущева это очень важно[14].

В первой половине 1958 года Хрущев начал проявлять нетерпение. В тот самый день, когда прощупывал почву разведчик Гвоздев, Хрущев в Минске произнес в адрес США пламенную обличительную речь. К тому времени Булганин написал Эйзенхауэру еще два письма с предложением саммита (а также запрета на испытания ядерного оружия, на ядерные бомбы для ФРГ и предложением серии культурных обменов). Даллес охарактеризовал эти предложения как «колыбельную мистера Хрущева», и Эйзенхауэр ответил, что предпочитает общаться по регулярным дипломатическим каналам[15].

«Чего хотят от нас Эйзенхауэр и Даллес? — гневно вопрошал Хрущев. — Разрушить социалистический строй? Того же хотел и Гитлер — но ему это не удалось, и американцев ждет та же судьба»[16]. А в марте Хрущев уже публично выпрашивал приглашение: «Расстояние от нас до Америки не такое уж огромное. Можно позавтракать здесь, пообедать в самолете, а поужинать в США»[17].

Тем временем события шли своим чередом. Казнь Имре Надя вызвала на Западе выступления протеста, на которые советские граждане «по собственной инициативе» ответили демонстрациями[18]. В июле был убит прозападно настроенный король Ирака Фейсал II; Вашингтон и Лондон ввели войска в Ливан и Иорданию, в ответ на что Хрущев пригрозил применить силу для защиты «иракской революции». По словам Сергея Хрущева, поначалу отец нервничал, но быстро обрел спокойствие: «В пылу схватки он чувствовал себя как рыба в воде». Президенту Египта Насеру, прибывшему в Москву в разгар кризиса, Хрущев заметил: «Ситуация очень опасна, и, думаю, победит тот, у кого крепче нервы». Вообще Хрущев любил «игру на скорость — когда приходится действовать очень быстро, не задумываясь о том, что собирается сделать противник. Все равно что играть в шахматы в темноте»[19].

Еще более усугубил напряженность в отношениях Востока и Запада Тайваньский кризис осени 1958 года. Вначале Хрущев заявлял, что нападение на Китай СССР будет рассматривать как нападение на себя, а уже под конец кризиса отправил Эйзенхауэру такое грубое письмо, что президент вернул его как неприемлемое. При этом советский лидер не переставал добиваться саммита — отчасти, как объяснял он Мичуновичу 8

октября, потому, что Советскому Союзу «очень нужен мир на ближайшие лет пятнадцать — двадцать», после которых «никто уже не сможет начать войну, даже если захочет», в том числе потому, что «снятие напряжения в Европе… ослабит систему доминирования США в мире, ослабит военных союзников США и их военные базы, а это вызовет политические проблемы в самих Соединенных Штатах»[20].

Двумя днями ранее на даче у Хрущева в Пицунде гостил Эрик Джонстон, президент Американской киноассоциации: у этого человека были хорошие связи в правительстве США, в свое время он выполнял роль эмиссара Рузвельта у Сталина. Хрущев приглашал Джонстона остаться на ночь, а наутро отправиться на охоту, но тому надо было возвращаться в Москву. Во время этой встречи Хрущев несколько раз повторил, что хотел бы увидеться с Эйзенхауэром: «Знаете, он мне по-настоящему нравится. На Женевской конференции мы с ним каждый вечер после переговоров ходили в бар и выпивали вместе. Надеюсь, он в добром здравии. Хотелось бы мне посидеть с ним и потолковать»[21].

По-видимому, и берлинский ультиматум Хрущева был не чем иным, как средством вытащить Эйзенхауэра за стол переговоров. К осени 1958 года, вспоминает Трояновский, в отношениях между Востоком и Западом так и не случилось «прорыва»: напротив, «на некоторых политических направлениях положение… ухудшилось». Западная Германия «вооружалась быстрыми темпами и все прочнее вовлекалась в западный военный блок. Гонка вооружений наращивала обороты и была готова вырваться в космос. В переговорах о сокращении вооружений стороны топтались на месте, а расходы на вооружение ложились все более тяжелым бременем на экономику нашей страны. Восточная Германия по-прежнему находилась в изоляции и подвергалась различным формам давления. Вдоль периметра СССР множились американские военные базы, новые военные базы создавались в Азии и на Ближнем Востоке». В дополнение ко всему прочему, росла напряженность в отношениях с Китаем, и, по Трояновскому, «все громче раздавались голоса о том, что, если придется выбирать между Западом и Китаем, лучше выбрать Китай».

Перспектива получения ФРГ ядерного оружия, по словам Трояновского, стала последней каплей. «Было очевидно, что, если бы это произошло без сопротивления со стороны Кремля, престиж Хрущева покатился бы вниз». Кроме того, Трояновский подозревал, что его босс все еще жаждал доказать Молотову и его единомышленникам свою правоту в вопросе о Германии[22].

Ввязываясь в рискованную игру, Хрущев недостаточно ясно представлял, какие препятствия ждут его на пути. Он догадывался, что восьмидесятидвухлетний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр будет «вставлять ему палки в колеса», однако явно недооценивал «старого лиса»[23]. По сравнению с Восточной Германией Западная процветала, однако неопределенное положение Западного Берлина и сомнения в поддержке НАТО делали Аденауэра уязвимым. Он стремился интегрировать ФРГ в Западную Европу, но понимал, что при этом рискует потерять возможность объединения Германии. Аденауэр жестко отвергал любые предложения о признании ГДР; его непреклонность выводила из себя Эйзенхауэра (а затем и Кеннеди), однако, понимая значение ФРГ, Вашингтон по большей части поддерживал Аденауэра.

Де Голль опасался, что отказ западных держав от Берлина вызовет нейтрализацию Германии и, в дальнейшем, советско-германский союз. Президент стремился восстановить положение Франции как великой мировой державы, и для этого ему требовалась помощь Аденауэра. Кроме того, он понимал Хрущева лучше, чем кто-либо из его западных коллег, и ясно видел, что советский лидер блефует — он не станет затевать войну. Поэтому в разразившемся кризисе де Голль занимал еще более жесткую позицию, чем Аденауэр.

Главной надеждой Хрущева в западном лагере стала Британия. Ее премьер-министр Макмиллан опасался войны, а подавляющее большинство англичан полагало, что вопрос о том, какая власть — советская или восточногерманская — будет ставить печати на документах в Берлине, не стоит ядерной катастрофы. Кроме того, приближались выборы, и консерваторам требовалась народная поддержка. Вот почему британцы готовы были признать Восточную Германию и заключить новые соглашения касательно Берлина. Однако они оказались в меньшинстве[24].

Эйзенхауэр полагал, что капитуляция перед Хрущевым дестабилизирует положение в ФРГ, расколет НАТО и ударит по престижу США. Однако он, как и Хрущев, страшился эскалации международной напряженности и стремился к разрядке. Его пугала перспектива ядерной войны, в которой, по оценкам американских военных, при первом же ракетном ударе будет убито или ранено до 65 % процентов населения США и полностью разрушена инфраструктура страны[25].

Надо заметить, что эти цифры были сильно преувеличены: расчеты основывались на блефе Хрущева, а не на реальном состоянии советских ядерных вооружений. В этом плане уловка

Хрущева отчасти удалась; правда, ему не удалось обмануть Даллеса — но Эйзенхауэр поверил ему и искренне надеялся, что советский руководитель «предпочтет дружбу»[26].

К началу 1958 года Эйзенхауэр чувствовал себя не слишком уверенно. США проигрывали пропагандистскую войну и, что еще хуже, теряли шанс на примирение с СССР. 9 февраля Эйзенхауэр признался Даллесу, что он «в отчаянии». Может быть, пригласить Хрущева в США? Не стоит, возразил Даллес; «никто не поверит, что вы не собираетесь вести с ним переговоры». Тогда, продолжал Эйзенхауэр, может быть, пригласить других лидеров КПСС, не занимающих государственных постов? С ними никаких официальных переговоров быть не может: «просто покажем им страну». В ответ Даллес процитировал закон, запрещающий въезд в страну коммунистам без санкции генерального прокурора или государственного секретаря. Наконец Эйзенхауэр предложил пригласить десять тысяч советских студентов для обучения в американских учебных заведениях. «Мы не сможем уследить за таким количеством молодежи», — ответил Даллес, и Эйзенхауэр вынужден был с ним согласиться — однако продолжал «искать любые средства, способные снизить напряженность»[27].

Наконец, не уделял Хрущев должного внимания и своему восточно-германскому союзнику. У Ульбрихта были свои интересы: он стремился к признанию на Западе, но еще больше стремился заполучить Берлин. Западный Берлин был для него не политическим рычагом, как для Хрущева, а желанным призом. Ульбрихт постоянно требовал от СССР экономической помощи — и Советский Союз помогал, чем мог, при том что его собственная экономика находилась не в лучшем состоянии. Благодаря особым внутригерманским соглашениям Восточная Германия получила доступ к западным рынкам. Потеря этой возможности больно ударила бы не только по режиму Ульбрихта, но и по положению самого Хрущева — не говоря уж о том, что эскалация конфликта потребовала бы повышения расходов на оборону. И это в то самое время, когда Хрущев стремительно сокращал Вооруженные силы!

Лидеры западных держав не знали, блефует ли Хрущев, и предпочли принять меры, чтобы доказать ему, что они-то точно не блефуют. Они подтягивали к границам Германии войска и готовились прокладывать себе путь на Берлин. Но Хрущев был уверен, что, даже если начнется стрельба и беспорядки, как в ГДР образца 1953 года, войны удастся избежать. А если нет? Его общая стратегия (если она вообще заслуживает такого названия) была странной с самого начала. Однако больше года такая тактика действовала.

Поначалу реакция Запада на берлинский ультиматум Хрущева была осторожной. Ни Великобритания, ни Франция не были готовы к применению силы — пусть и в ограниченных масштабах. В любом случае, они предпочитали сперва испробовать мирные средства. Эйзенхауэр и Даллес готовы были рассматривать восточногерманских пограничников как советских агентов, но после возражений со стороны ФРГ отступили. Вопрос о том, в каком случае и в каком объеме применять военную силу, требовал расширенных консультаций союзников. Но прежде всего, как заявил Эйзенхауэр 11 декабря, «главная наша задача — понять, чего хочет Хрущев»[28].

Сенатор Губерт Хэмфри попытался это выяснить. Его встреча с Хрущевым, затянувшаяся на восемь часов, по его собственным словам, была, наверное, самой бурной в истории холодной войны.

1 декабря 1958 года сенатор Хэмфри прибыл в Кремль для разговора с Хрущевым, который, по расписанию, должен был начаться в 15.00 и продолжаться час. В разговоре Хэмфри пытался понять, чего хочет Хрущев, а Хрущев, по словам Трояновского, столь же решительно пытался выяснить желания и намерения Эйзенхауэра и Даллеса[29]. Оба оратора отличались кипучим темпераментом, и ни один не хотел заканчивать разговор, не добившись четкого ответа на свои вопросы. Через полтора часа Хэмфри заметил, что время переговоров истекло, но Хрущев настоял на продолжении беседы. Сидя друг против друга за длинным столом в кремлевском кабинете, в присутствии одного лишь Трояновского, они проговорили без перерыва до семи часов вечера. Хрущев приказал подать ужин, затем вызвал Микояна — и беседа продолжалась до одиннадцати.

Когда разговор наконец был окончен, несгибаемый Хэмфри едва сдерживал свою радость. Во-первых, он выжил. «Я — единственный американец, который три раза за один день ходил в туалет в Кремле», — шутил он впоследствии. Во-вторых, ему понравился Хрущев. «У этого парня отличное чувство юмора, и он очень умен, очень умен. Поверьте мне, вы не с ничтожеством имеете дело. Ему палец в рот не клади». Особенно когда дело доходит до США: «Этот парень так разбирается в наших делах [имеется в виду политическая ситуация в Нью-Йорке, Калифорнии и Миннесоте, в том числе выборы Юджина Маккарти, которого Хрущев назвал „этим новым Маккарти“], как хотел бы разбираться я сам!» В какой-то момент хозяин Кремля разразился «длинной речью — хотел бы я ее запомнить или записать! Это была лучшая антирасистская речь, какую я когда-либо слышал!.. Мы с ним поладили. Он мне понравился, несмотря ни на что».

Мы не знаем, вызвал ли Хэмфри ответное восхищение у Хрущева. Однако известно, что встреча была вовсе не безоблачной. Порой переговоры принимали жесткий и даже пугающий характер. Во время спора Хрущев выдал «секрет, о котором еще ни один американец не слышал» — что СССР недавно взорвал пятимегатонную водородную бомбу. А еще у Советского Союза есть новая ракета с такой дистанцией полета (9 тысяч миль), что ее негде испытать. Лукаво улыбнувшись, Хрущев спросил у Хэмфри, где тот родился, и, встав из-за стола и подойдя к висящей на стене большой карте США, обвел Миннеаполис голубым карандашом. «Чтобы я не забыл приказать пощадить этот город, когда мы пустим ракеты», — объяснил он.

Хэмфри извинился за то, что не может ответить такой же любезностью и распорядиться пощадить Москву.

Раз двадцать или больше советский лидер возвращался к Берлину: называл его «колючкой», «раковой опухолью», «костью в горле» — разве что не назвал «яйцами Европы», как в 1962 году[30]. «Мы здесь не в игрушки играем», — говорил он Хэмфри; да и советские войска в Восточной Европе «не картишками балуются». Хрущев не повышал голоса, но наклонялся вперед, стучал кулаком по столу, маленькие глазки его гневно сверкали, голос звучал резко и отрывисто.

Но Хэмфри оказался не из тех, кого легко запугать. Он без видимых усилий парировал шпильки в адрес своей страны (например, на замечание Хрущева об экономических проблемах в США пожал плечами и спокойно ответил: «Честное слово, не понимаю, о чем это вы»), на шутки отвечал шутками, на резкости — резкостями. Хэмфри заметил, что такие полушутливые перепалки Хрущеву нравятся; однако, когда он сказал, что США не позволят угрожать Берлину, Хрущев принял это на свой счет и несколько раз сердито повторил: «Вы мне не угрожайте!»

Хэмфри обнаружил, что Хрущев «держит в памяти список всех американских генералов, сказавших о нем хоть одно дурное слово» — особенно рассуждавших о том, что и как будут делать американцы, если начнется война. «Всякий раз, когда вы говорите что-то подобное, — заметил Хрущев, — я должен отвечать». Однако сам он понимал, что этот обмен оскорблениями непродуктивен, и стремился перейти к более спокойному разговору; поэтому и в его беседе с Хэмфри жесткие слова и угрозы соседствовали с предложением «жить дружно». Надо только решить берлинскую проблему, говорил он, — тогда «все наладится». Если Запад недоволен советскими предложениями — «пусть выдвигает встречные. Мы готовы принять любое разумное предложение. Что вы предлагаете?»

Он «очень хочет саммита и мечтает о приглашении в Америку», — рассказывал позже Хэмфри высокопоставленным лицам из администрации президента. Разумеется, советский лидер не говорил об этом прямо — но темы, выбираемые им для светской беседы, говорили сами за себя. Он любит путешествовать; ему очень понравилось в Англии; Микоян (которого Хрущев постоянно поддразнивал) был в Америке и узнал там много интересного. «Представляю, сколько я смогу узнать, если туда поеду», — добавил Хрущев.

Личные впечатления сенатора от Хрущева были двойственны. «Этот человек не уверен в себе, он убежден, что мы — большая, богатая страна, и… это не дает ему покоя». Он «защищается, нападая, борется с неуверенностью в себе, демонстрируя сверхсамоуверенность, но выдает себя преувеличениями». Любимые слова Хрущева, замечал Хэмфри, — «дурацкий» и «дурак». Он несколько раз повторил, что «в современном правительстве дуракам не место». Например, таким дуракам, как «антипартийная» группа: «„Они думали, что со мной справятся!“ — говорит он, расплывшись в улыбке. И принимается об этом рассказывать — точь-в-точь охотник, который хвастает добычей. „Знаете, что я сделал? — говорит он. — Сразу собрал пленум ЦК: и я вам скажу, сенатор, я был так убедителен, что даже эти семеро [которые сначала голосовали против него] в конце концов проголосовали 'за'“».

Больше всего Хрущев боялся, что американцы примут его за дурака. Хэмфри рекомендовал администрации внимательно изучить личность Хрущева и составить его психологический портрет: «Рассказы тех, кто с ним общался, следует изучать не дипломатам, а психоаналитикам». Однако те же качества Хрущева, которые требовали осторожности, открывали для американцев блестящие перспективы: «Этот человек нам подходит… Именно такой человек, с которым сможет вести дела кто-нибудь вроде Айка».

Угрожая Эйзенхауэру, Хрущев в то же время опасался, что американский президент примет его угрозы слишком уж всерьез. Скоро Гвоздев передал вице-президенту Никсону новое послание: «Не беспокойтесь о Берлине. Войны из-за Берлина не будет». А месяц спустя, в декабре, заметил, что Хрущев «очень заинтересован» в визите Никсона в СССР и «возлагает большие надежды на этот визит в свете решения берлинской проблемы». Вскоре от администрации президента пришел ответ: Никсон может приехать, если на берлинском фронте «наступит период относительного спокойствия»[31].

Два месяца после объявления ультиматума не принесли никакого прогресса. «Прошла треть отмеренного срока, — пишет Сергей Хрущев, — и ничего не изменилось. Отец начал нервничать». По словам Трояновского, Хрущев «оказался как бы на перепутье: ему было неясно, что же делать дальше». Теоретически он мог использовать переговоры как предлог для оттяжки срока исполнения ультиматума. Однако после высказанных им угроз переговоры казались невозможными[32]. Как заставить Эйзенхауэра начать переговоры, не отзывая своих угроз? Ни советский посол в США Михаил Меньшиков, ни министр иностранных дел Громыко не подходили для выполнения такой деликатной задачи, и Хрущев остановил свой выбор на давнем кремлевском коллеге — умном и проницательном Анастасе Микояне. Вот кто поедет в Вашингтон! «Ты эту кашу заварил, ты и расхлебывай! — резко ответил ему поначалу Микоян. — Да меня никто туда и не приглашал». — «Нет, я ехать не могу, — возразил Хрущев. — Я глава страны. А ты поедешь как личный гость Меньшикова»[33].

Микоян отправился в Америку в начале января. Помимо Вашингтона, его маршрут включал в себя Нью-Йорк (где он встретился с представителями деловых кругов), Чикаго (где его забросали яйцами), Лос-Анджелес (где демонстранты несли открытый гроб с надписью «Для Микояна»). Микоян дал бесчисленное множество пресс-конференций, вопросы на которых можно назвать как угодно, только не «дипломатичными». «Представляю себе, как бы реагировал на это Хрущев!» — восклицает Трояновский, сопровождавший Микояна в США. «Но у Микояна был свой стиль — ирония, сарказм, юмор или спокойное опровержение»[34].

В переговорах с Эйзенхауэром, Даллесом и Никсоном Микоян пытался снизить градус международной напряженности. Он почти умолял их понять, как изменился СССР со времен смерти Сталина, заверял, что Москва не собирается подрывать позиции Запада в Берлине, уверял, что новые предложения СССР — не ультиматум и не угроза. Кремль, говорил он, хочет только переговоров — однако «не встречает со стороны США ничего нового»[35].

Из Америки Микоян привез двойственные вести. Видные бизнесмены, с которыми он встречался (например, Аверелл Гарриман и Джон Дж. Маклой), мыслили вполне трезво. Даллес намекнул, что свободные выборы — не единственный путь к объединению Германии, а Эйзенхауэр положительно отнесся к идее встречи министров иностранных дел. Однако президент отказался от саммита и ни на дюйм не сдвинулся по отношению

собственно к Берлину. По словам Сергея Хрущева, эти переговоры «не только разочаровали отца, но и заставили его ощутить свою уязвимость». Однако «рассказы Микояна о США он вспоминал с улыбкой. Рано или поздно, говорил он, американцы согласятся сесть за стол переговоров»[36].

Следующей надеждой Хрущева стал Гарольд Макмиллан. Британский премьер-министр страшился войны и готов был на многое, чтобы ее избежать; поэтому он напросился в Москву, воспользовавшись приглашением, которое сделали его предшественнику Хрущев и Булганин еще во время своего визита в Англию в 1956 году.

Вашингтону эта инициатива пришлась не по вкусу. Эйзенхауэр и Даллес опасались, что британцы «готовы размякнуть». Макмиллан позже настаивал, что получил от американцев карт-бланш на переговоры; на самом деле Даллес заявил, что, если Макмиллан поедет в Москву, пусть говорит только от своего имени[37].

Хрущев встретил гостя со всей теплотой, какая только была возможна в заснеженной Москве. 21 февраля, когда Макмиллан (в черном зимнем пальто и белой шапке-ушанке, в которой он ходил еще в 1940-м, когда работал в английском посольстве в Хельсинки) прилетел в Москву, Хрущев встречал его в аэропорту[38]. После роскошного обеда в Кремле они отправились в Семеновское, где катались по заснеженным полям на тройке, стреляли куропаток и даже съехали вдвоем на санках с ледяной горы. Хрущев с удовольствием демонстрировал свое гостеприимство. Позже изысканно вежливый Макмиллан замечал, что катание на санках «одни восприняли с улыбкой, а другие — с изумлением. По мнению экспертов, это означало высокую степень близости»[39].

Макмиллан лестно отозвался о деятельности Хрущева во время войны; тот встретил его комплименты «сияющей, почти пиквикской улыбкой»[40]. Но когда премьер начал защищать права западных держав в берлинском вопросе и отверг идею летнего саммита, Хрущев вспылил. Если Запад не желает принимать советскую позицию, заявил он за обильным (не только едой, но и выпивкой) обедом, «то переговоры придется вести мертвецам с мертвецами». Обычно сдержанный Макмиллан ответил не менее резко: «Не пытайтесь нам угрожать, иначе развяжете Третью мировую войну». Тут Хрущев вскочил на ноги с криком: «Вы меня оскорбили!»[41]

И в ответ оскорбил Макмиллана сам. Советский лидер собирался сопровождать премьер-министра в Киев, «увлеченно

расписывал гостеприимство киевлян и красоту Днепра». А теперь вдруг объявил, что в Киев не поедет, потому что у него разболелся зуб. «Страшно болит зуб, — пожаловался Хрущев, — а что толку от главы государства с зубной болью?» Зубная боль не помешала ему в тот же день принять иракскую делегацию. Британские таблоиды окрестили это происшествие «зубным оскорблением», а одна из газет охарактеризовала всю поездку Макмиллана как «монументальный провал»[42].

Макмиллан признал необходимость пойти на уступки. Переговорив со своим секретарем по иностранным делам Селвином Ллойдом, он решился на серьезный разговор с самим Хрущевым. («Вообразите себе, — писал он позже, — двое пожилых, если не сказать, старых политиков, закутанные до бровей в меховые шубы, в меховых шапках и неизбежных галошах, в сопровождении советников бродят взад-вперед по засыпанному снегом саду, погруженные в долгий и нелегкий разговор! Это было бы смешно, если бы вся ситуация не была столь опасна».) Во время того разговора Макмиллан сформулировал два ключевых пункта своей позиции и попросил Хрущева «хорошенько их обдумать. Во-первых: ситуация в Германии опасна и может окончиться трагически для всех нас. Во-вторых: этой трагедии можно избежать, если мы согласимся сотрудничать друг с другом и прислушиваться к голосу разума»[43].

«Наступила пауза, — продолжает Макмиллан, — во время которой Громыко и Микоян поглядывали то друг на друга, то на своего босса». Неудивительно! Премьер-министр озвучил именно ту точку зрения, которую повторял едва ли не в каждой своей речи сам Хрущев. Если именно с этой мыслью Макмиллан вернется домой, Москва сможет сказать, что его поездка принесла пользу.

В результате этого визита Хрущев сумел, не теряя лица, отказаться от назначенного первоначально срока ультиматума — 27 мая. Если Западу не нравится 27 мая, заметил он с показной небрежностью, пусть назначат другое число, которое их больше устраивает — в июне или в июле: «Нам торопиться некуда»[44]. Если на саммит Запад не согласен — как насчет встречи министров иностранных дел, которая начнется где-нибудь в конце апреля и продолжится не менее двух-трех месяцев? Если к 27 мая переговоры будут идти вовсю, срок ультиматума отодвинется автоматически.

Англичане были буквально заворожены поведением Хрущева. Он «подавлял всех своих коллег», кроме Микояна, который «держался со спокойным достоинством второго человека в государстве», в то время как прочие «поглядывали на него с

осторожным почтением». Хрущев «говорил без бумаг, не делал записей и, кажется, совсем не консультировался со своими коллегами». Он «прекрасно схватывал детали», однако «изложение сложной или тонкой логической аргументации не всегда ему удавалось». Он проявлял «определенную враждебность к интеллектуальности» и «заметную эмоциональность» в своих реакциях. В нем чувствовалось «острое сознание своей силы» наряду с «глубоко засевшим комплексом неполноценности… Чрезвычайно чувствительный к любым мелочам», он едва не взорвался, когда Макмиллан и Ллойд проявили невежливость, позволив себе шептаться друг с другом, пока переводчик переводил им слова Хрущева[45].

Высококультурный и дипломатичный Трояновский был «изумлен» тем, как «агрессивно и провокационно» вел себя Хрущев со своим гостем. После одного заседания, где Хрущев открыто и резко нападал на Макмиллана, он довольно заметил своему помощнику, что «отымел [он употребил более грубое слово] англичанина», а затем добавил, словно извиняясь: «Вы человек культурный, вам, должно быть, неприятны такие выражения»[46].

Хрущев не мог не понимать, что перенесение сроков ультиматума, по сути, означает поражение. Его блеф удался лишь наполовину, и, хотя он и стремился убедить себя и коллег в своей победе, «глубоко в душе», по словам сына, понимал, что проигрывает[47].

Министры иностранных дел собрались в Женеве 11 мая. В тот же день, произнося речь на Украине, Хрущев позволил себе эйфорическое заявление: «Обязательно состоится встреча глав государств». Макмиллан, продолжал Хрущев, уже согласен, а Эйзенхауэр и де Голль непременно согласятся. Международное положение Советского Союза «стало лучше, чем когда бы то ни было раньше»[48].

Однако к середине июня министры иностранных дел зашли в тупик. Западные державы были готовы освободить Берлин из-под своей «опеки» (они по-прежнему требовали проведения в Германии свободных выборов) и изменить свою роль в Берлине, сократив гарнизоны и подписав новые соглашения; однако не желали ни отказываться от своих основных прав, ни признавать Восточную Германию. СССР готов был признать промежуточное соглашение, оставляющее за Западом прежние права на время переговоров между двумя Германиями, однако Громыко не мог гарантировать, что эти права останутся в неприкосновенности после достижения соглашения — что означало, что угроза

аннулировать права Запада по-прежнему висела в воздухе.

Еще до 11 мая Эйзенхауэр объявил необходимым предварительным условием саммита достижение прогресса на переговорах министров. Он не определил, что именно понимает под прогрессом: однако то, что в Женеве никакого прогресса достигнуть не удалось, сомнений не вызывало. Спрашивается: почему Хрущев не предложил сделку? В Женевской конференции участвовали наблюдатели от Восточной Германии (после мучительных споров о форме стола, за которым они должны были сидеть вместе с наблюдателями от ФРГ) — это говорило о фактическом признании. Более того, Ульбрихт рассматривал встречу министров как достижение, что же до окончательного урегулирования (как он говорил Хрущеву в марте) — для этого потребуются годы, может быть, даже десятилетия. Хрущев, а не Ульбрихт, торопил созыв саммита[49]. Если очевидно, что урегулирования ждать еще как минимум год или два, — почему бы не гарантировать Западу, что о его правах никто не забудет?

Возможно, у Хрущева было искушение так и поступить. Согласно госсекретарю США Гертеру, до 7 июня позиция СССР была достаточно гибкой, а затем вдруг ужесточилась. После своих громких угроз Хрущев не мог сдать назад — это выглядело бы как сдача позиций. Из-за собственной тактики он оказался в ловушке; однако из этой ловушки виделся выход. Никакого кризиса нет, объявил он 7 июня. Если министры иностранных дел не придут к согласию, возможно, оно будет достигнуто на саммите. Если и там ничего не выйдет — что ж, пусть решает «мировое общественное мнение». «Если это необходимо, — великодушно добавил Хрущев несколько дней спустя, — я с удовольствием встречусь не один раз с главами правительств западных держав»[50].

23 июня Хрущев принял у себя Аверелла Гарримана и имел с ним еще один долгий разговор, начавшийся в Кремле в 13.00. Хрущев встречал гостя в мешковатом сером пиджаке с тремя наградами на груди — двумя слева и одной справа, — в галстуке в серый и красный горошек и с большими красными запонками на рукавах; выглядел он «усталым»[51]. Через полтора часа встречу перенесли на дачу Хрущева в Ново-Огарево, где она и продолжалась до половины одиннадцатого, причем последние пятнадцать минут Хрущев простоял в дверях, не желая, чтобы за гостем оставалось последнее слово.

В разговоре с глазу на глаз Хрущев был далеко не так безмятежен, как в публичных выступлениях. Зная, что Гарриман происходит из хорошей семьи и очень богат, он, по-видимому, ощутил необходимость защитить себя и потому начал с

характеристики своих бывших соперников и нынешних коллег. «Сам я шахтер», сообщил он, отец Микояна был «водопроводчиком», а Козлов, «хотя он и не из таких низов, как мы», был «беспризорником». Маленков — «дерьмо, цыпленок», Берия тоже «был дерьмом»; один Молотов заслуживал уважения. Многие считают Кириченко очевидным наследником Хрущева; однако Хрущев предостерег Гарримана от подобных умозаключений. «Я к своим прерогативам отношусь очень ревниво, — искренне объяснил он, — и буду руководить партией, пока я жив. Не надейтесь меня похоронить!»

— Но ведь ваше слово для Президиума закон, верно? — спросил Гарриман.

— Верно, — ответил Хрущев, — но нет такого закона, который нельзя было бы обойти.

Такую же пылкость он проявил и в международных отношениях. «Не думайте, что Советский Союз все еще в лаптях ходит, как в те времена, когда царь вам Аляску продал. Мы готовы драться». СССР хочет дружбы с Америкой, «но не от слабости. Если вы попытаетесь говорить с нами с позиции силы — мы ответим тем же».

Как обычно, от обороны Хрущев быстро перешел к нападению. Для Бонна «хватит» одной бомбы, для Англии, Франции, Испании и Италии — трех, четырех или пяти. Если Гарриман в этом сомневается, пусть сравнит грузоподъемность ракет: американская ракета поднимает боеголовку всего в 22 фунта, а советская — в 2860 фунтов.

К чести Гарримана, он не молчал. Угрозы Хрущева он назвал «чудовищно опасными». Он выразил надежду, что на следующей встрече министров, которая состоится 13 июля, господин Громыко будет более уступчив. На это Хрущев проворчал, что Громыко будет проводить позицию советского правительства — иначе его «уволят и назначат нового». И начался новый раунд угроз: Западную Германию «уничтожим за десять минут». Одной бомбы хватит: «Бонн и Рур — это вся Германия, Париж — вся Франция, Лондон — вся Англия. Вы окружили нас своими базами, но наши ракеты их уничтожат. Если вы начнете войну, мы, возможно, погибнем, но ракеты запустятся автоматически».

«Можете передать кому хотите, — продолжал Хрущев, — что мы никогда не признаем Аденауэра представителем Германии. Он — круглый ноль, ничтожество. Спустите с Аденауэра штаны и посмотрите на него сзади — увидите, что Германия разделена. Посмотрите спереди — увидите, что Германия не устоит».

И далее: «Да, мы намерены ликвидировать ваши права в Западном Берлине. Зачем вам в Берлине одиннадцать тысяч

вооруженных солдат? Если дойдет до войны, мы их проглотим одним глотком… Ваши генералы говорят, что будут защищать Берлин танками и пехотой. Да одна бомба от них ничего не оставит!»

На бумаге тирады Хрущева выглядят совсем по-гитлеровски. Однако, по рассказу Гарримана, советский лидер «во время разговора был настроен добродушно, постоянно улыбался, часто произносил тосты — пил он в основном коньяк, и в немалом количестве — и беспрерывно восхвалял [Гарримана] как великого капиталиста». И все же продолжал угрожать войной. Другой на его месте побоялся бы дразнить США — сам Сталин старательно избегал блефа, ставшего визитной карточкой его преемника, — однако Хрущев знал (или думал, что знает), как далеко можно зайти с Эйзенхауэром.

8 июля, когда состоялась пресс-конференция Эйзенхауэра, в прессе уже появились первые отчеты о встрече Гарримана с Хрущевым. Когда президента спросили, что он думает о поведении Хрущева, тот спокойно ответил: «Честно говоря, ничего об этом не думаю. Я не верю, что ответственный человек станет позволять себе что-то хоть отдаленно похожее на ультиматумы или угрозы. Таким путем мирные решения не достигаются»[52].

Правда, спокойствие президента было обманчивым. От непредсказуемости Хрущева его бросало то в жар, то в холод. Когда Макмиллан предлагал организовать встречу на высшем уровне, Эйзенхауэр заявил, что не позволит «силком тащить себя за стол переговоров». Однако, «судя по тому, что происходит, — добавил он 7 апреля своим советникам, — у нас нет надежды на будущее, если мы не достигнем успеха с помощью переговоров — а ведь со встречи в Женеве прошло уже четыре года»[53].

Эйзенхауэр не понимал поведения Хрущева. «Вы читали эту [хрущевскую] речь? — спросил он репортеров на пресс-конференции в феврале 1959 года. — Что он говорит о нашем народе!..» На вопрос, как оценивает президент поведение Хрущева во время визита Макмиллана, Эйзенхауэр ответил, что сам «долго искал ответ на этот вопрос»[54].

Президент гордился своим умением распознавать людей в беседе с глазу на глаз. Накануне визита Микояна он надеялся, что «мы проникнем в мысли друг друга и поймем, каковы наши истинные намерения. Скрываются ли за всем этим честные мотивы и искреннее стремление к миру? В самом ли деле для нас обоих столь тяжело бремя, которое мы несем, что мы хотим найти выход… из этой дилеммы?»[55] В марте он подумывал о том, чтобы пригласить Хрущева в Америку «для спасения ситуации». Вскоре

после этого президент приказал Госдепартаменту «с соблюдением строгой секретности» подготовить доклад о возможности пригласить Хрущева в США. В середине июня, когда переговоры в Женеве зашли в тупик, Эйзенхауэр сказал своей личной секретарше Энн Уитмен, что «ему осталось одно — пригласить господина Х. сюда и переговорить с ним с глазу на глаз». Месяц спустя, когда министры иностранных дел вновь собрались в Женеве, президент одобрил план приглашения Хрущева в Соединенные Штаты, надеясь, что этот визит «прорвет плотину» на конференции министров.

По плану Эйзенхауэра, приглашение зависело от достижения конкретных успехов в Женеве. Помощнику госсекретаря США Роберту Мерфи было поручено передать приглашение (вместе с условием) Козлову, присутствовавшему в Нью-Йорке на открытии Советской выставки научных и культурных достижений. 13 июля Козлов должен был вернуться в Москву. Мерфи предстояло сказать ему, что, если переговоры в Женеве пройдут успешно, два лидера смогут неофициально пообщаться в Вашингтоне, а затем, если Хрущев пожелает, ему организуют турне по стране. Однако Мерфи, что-то перепутав, передал приглашение безо всяких условий — а 21 июля Эйзенхауэр узнал, что Хрущев это приглашение принял. Президент оказался «в чрезвычайном затруднении», «не понимал, что теперь делать» — так сообщил он самому Мерфи 22 июля. Теперь ему придется участвовать во встрече, которая ему «глубоко неприятна», не понимая даже, «достижению каких целей она послужит»[56].

Поверить в эту историю трудно; некоторые историки и не верят[57]. Сам Хрущев был поражен, когда узнал о приглашении, которого безуспешно добивался уже несколько месяцев. В июле он в очередной раз сообщил делегации американских губернаторов, что не отказался бы съездить в Соединенные Штаты и в ответ принять американского президента в СССР[58]. Однако к этому времени, по словам Сергея Хрущева, его отец уже потерял надежду и «пал духом»[59].

Такова была ситуация июльским воскресным утром, когда вернулся из Нью-Йорка Козлов. Хрущев отдыхал у себя на даче: Козлов позвонил туда, а затем немедленно приехал. «Признаюсь, я сначала даже не поверил, — рассказывал позже Хрущев. — Это произошло так неожиданно, мы были вообще не подготовлены к этому. Наши отношения были тогда столь натянутыми, что приглашение с дружеским визитом главы советского правительства и первого секретаря ЦК КПСС казалось просто невероятным! Но факт оставался фактом: Эйзенхауэр пригласил правительственную делегацию, а я ее возглавлял… Как это

понимать? Что это, поворот в политике?»[60]

Хрущев принял новость «с глубоким удовлетворением», — вспоминал его сын. «Я бы даже сказал, с радостью. Он воспринял это как знак того, что США наконец-то признали нашу социалистическую страну. Он станет первым советским руководителем, официально приглашенным в США». Похоже, добавляет Трояновский, наметился тот самый «прорыв», которого ждал Хрущев, конкретный результат давления на западные державы по берлинскому вопросу[61].

Неудивительно, что переговоры, возобновленные министрами 13 июля, ни к чему не привели. Хотя о визите Хрущева в США официально не объявлялось до августа, всеобщее внимание переместилось из Женевы в Вашингтон. Главному аттракциону предшествовал визит в СССР вице-президента Никсона, проходивший с 23 июля по 2 августа.

Строгий и сдержанный Никсон был совсем не похож на открытого и вспыльчивого Хрущева. Однако имелось у них и кое-что общее: оба были чувствительны к малейшим знакам неуважения и полны решимости показать, что отступать от своих позиций не намерены. По дороге в Москву Никсон размышлял о том, «как мне вести себя с Хрущевым». Он понимал, что тот, скорее всего, попытается его запугать, однако не хотел «отвечать угрозами на угрозы и похвальбой на похвальбу». И все же он был «взвинчен и готов к бою…»[62].

Первый разговор Никсона с Хрущевым превратился во взаимное поливание грязью. За несколько дней до того конгресс США принял резолюцию «О порабощенных народах», осуждающую доминирование СССР в социалистических странах. Резолюция была рутинным делом, принималась она каждый год начиная с 1950-го, однако на этот раз Хрущев воспринял ее как попытку давления.

«От этой резолюции воняет, — объявил он на первой же встрече с Никсоном в Кремле. — Несет свежим конским навозом — хуже запаха на свете нет». — «Боюсь, председатель Совета министров ошибается, — отвечал на это Никсон. — Свиной навоз пахнет еще хуже»[63].

После такого начала отношения могли только улучшиться — хуже было уже некуда. Хрущев проворчал, что, поскольку Никсон — адвокат, а он сам — простой шахтер, Никсон всегда его переспорит. Похвастал мощью и точностью ракет, выдал очередной «секрет», о котором еще никто (кроме предыдущего визитера) не слышал, пригрозил в первый же день войны уничтожить Германию, Англию и Францию, а затем сообщил, что никому угрожать не собирается[64].

Обмен «любезностями» продолжался и во время посещения Американской выставки в Сокольниках (которую Никсон открывал как Козлов — Советскую выставку в Нью-Йорке). Выставка демонстрировала явное превосходство Америки. Здесь размещался семидесятивосьмифутовый купол, на стенки которого проецировались слайды с изображением американских городов, шоссе, супермаркетов, кампусов в сопровождении музыки и русского текста — так что не могло не возникнуть сомнений относительно того, что СССР действительно вот-вот догонит и перегонит США[65]. Особенно разозлил Хрущева павильон телекомпании Ар-си-эй с цветными телекамерами и мониторами. Хрущев, в мешковатом сером пиджаке и традиционной панаме, проворчал, что Советский Союз вот-вот поравняется со Штатами и «сделает им ручкой» (тут он выразительно помахал пухлой ладонью). Все еще раздраженный резолюцией конгресса, он обнял за плечи одного из посетителей выставки, рабочего: «Скажете, он похож на раба? Разве можно проиграть с такими людьми?»

Поначалу Никсон помалкивал. Однако резкие замечания Хрущева «били ему по нервам», тем более что близились президентские выборы, на которых Никсон собирался выставить свою кандидатуру от республиканской партии, и он понимал, что эту беседу увидят по телевизору миллионы избирателей. Выйдя из жаркой телестудии, где гости обливались потом, Никсон повел высокого гостя в модель шестикомнатного ранчо с «чудо-кухней». Здесь разгорелся новый спор: кухня, полная сверкающей суперсовременной утвари, задела Хрущева, и он заявил, что в СССР таких машин тоже полно. Скоро они с вице-президентом снова, по выражению Никсона, «начали перебранку», повышая голос и тыча друг в друга пальцами[66].

Излив душу и подобрев, вспыльчивый, но отходчивый Хрущев пригласил Никсона и его спутников (среди которых был и брат президента, доктор Милтон Эйзенхауэр) на обед в Кремль. Обед прошел весело: пили шампанское и после тостов бросали бокалы в камин. Во время ужина в резиденции американского посла Хрущев вдруг предложил американцам сейчас же ехать к нему на дачу, куда они собирались только на следующий день. «Самое роскошное поместье, какое я когда-либо видел, — рассказывает Никсон о даче Хрущева. — Особняк размерами больше Белого дома окружен тщательно ухоженными садами и лужайками; мраморная лестница спускается к Москве-реке». Во время двухчасового катания по реке (для которого Хрущев переоделся в вышитую украинскую косоворотку, в то время как Никсон в своем деловом костюме обливался потом) моторка по меньшей мере восемь раз останавливалась вблизи купальщиков и Хрущев

спрашивал: «Вот скажите, вы у нас порабощены? Вы рабы?» И, получив правильный ответ «нет», тыкал Никсона пальцем под ребра: «Вот видите, как живут наши рабы!»

Во время пятичасового полдника Хрущев вновь начал хвастать военной мощью Советского Союза. Никсон отбивал его атаки. «После полудня между нами вновь засверкала сталь», — замечает он. В пылу спора Хрущев продемонстрировал Никсону «набор жестов, которым позавидовал бы дирижер оркестра»: то «хлопал ладонью по столу, стараясь прихлопнуть мое утверждение, как муху», то нетерпеливо возводил глаза к потолку, «показывая, что уже слышал этот аргумент и больше его слышать не желает», то разводил руки, «словно призывая всех вокруг в свидетели своей правоты», то гневно махал руками, «словно приказывая невидимому оркестру играть громче»[67].

Все эти приемы Хрущеву вскоре предстояло испробовать на территории противника. А тем временем Америка успокаивала союзников. Внезапное объявление о визите Хрущева, сделанное 3 августа одновременно на пресс-конференциях в Москве и Вашингтоне, вызвало у лидеров западных стран глубокое недовольство. Недоверчивый Аденауэр опасался, что США предадут его в последний момент. Де Голль подозревал, что СССР и США намерены оставить его за бортом. Макмиллан возмущался тем, что, отвергнув его предложение о переговорах на высшем уровне, Эйзенхауэр «украл его идею». Президент «доставил мне величайшее разочарование, неудовольствие и даже тревогу, — сетовал премьер-министр. — Это произошло не из-за вероломства американцев (как, кажется, считают некоторые мои коллеги), а скорее, вследствие их глупости, наивности и некомпетентности… Теперь все поймут, что две мировые державы — Россия и США — собираются заключить сделку у нас над головами и за нашими спинами»[68].

Эйзенхауэр предложил до приезда Хрущева в США собрать «западный саммит». Де Голль его предложения не принял, и Эйзенхауэру пришлось объехать столицы всех стран-союзниц. Однако в результате переговоров он только яснее понял, сколь малое пространство оставлено ему для маневра. Все, что он услышал в Европе, убедило президента, что принятие любых решений по Германии и Берлину необходимо отложить на несколько лет.

Он старался снизить ожидания американцев. На пресс-конференции 3 августа президент заявил, что надеется лишь «немного растопить лед, заморозивший наши отношения с Советами». 10 сентября США выставили для созыва официального четырехстороннего саммита два условия: СССР должен проявить

уважение к правам Запада в Берлине и «дать понять любым возможным способом, что серьезные переговоры могут привести к снижению международной напряженности»[69].

Эти условия фактически означали отступление: прежде американцы требовали снижения напряженности перед саммитом, а не во время его. Более того, по мере приближения визита Хрущева Эйзенхауэр начал возлагать на его приезд большие надежды. Он ожидал, что сможет добиться если не политического, то хотя бы личного прорыва, выяснив наконец, «готов ли и стремится ли этот человек к мирным соглашениям». Кроме того, как заявил Эйзенхауэр на августовской пресс-конференции, в Америке Хрущев увидит, «как живут и трудятся свободные люди», и этот «урок», возможно, «возымеет какое-то действие»[70].

Для Хрущева, вспоминает Аджубей, предстоящее путешествие должно было стать «звездным часом», «признанием его личных заслуг» и в то же время «признанием его страны, ее места и влияния в международных отношениях». По словам Сергея Хрущева, отец «был в восторге и постоянно повторял своим слушателям: „Кто бы мог подумать двадцать лет назад, что самая могущественная капиталистическая страна в мире пригласит к себе коммуниста?! Невероятно. Теперь-то им приходится с нами считаться. Мы стали сильны, и они вынуждены признать наше существование и нашу мощь. Кто бы мог подумать, что капиталисты пригласят к себе меня, рабочего?! Посмотрите, чего мы достигли за эти годы“»[71].

Однако путешествие должно было стать и очередной проверкой. Хрущев боялся, пишет его сын, что американские «капиталисты и аристократы» будут смотреть на него, бывшего рабочего, как на низшее существо, с которым можно сесть за один стол только по крайней необходимости[72]. Поэтому ему нужно было держаться как нельзя лучше: разумно вести переговоры, тщательно подбирать слова и вести себя с безупречным достоинством.

Отъезду предшествовали тщательные приготовления. На черноморском пляже, под льняными тентами, защищающими от жаркого солнца, Хрущев, Громыко и их помощники разбирали материалы, подготовленные Министерством иностранных дел и КГБ, стремясь предусмотреть любые случайности. Спичрайтеры Хрущева тем временем сочиняли речи для всех возможных случаев: прибытий, отъездов, завтраков, обедов и ужинов, выступлений перед бизнесменами и журналистами. Позже, в Москве, в кремлевском кабинете Хрущева каждый день в девять

утра собирались его помощники и снова и снова перечитывали и правили эти речи — речи, которыми он так и не воспользовался[73].

Прежде всего необходимо было разработать стратегию переговоров. «Когда доходило до этих вопросов, — замечает Сергей Хрущев, — отцу приходилось решать самому». Не полагаясь на чужое мнение, он обдумывал стратегию сам. «Отец постоянно думал о предстоящих переговорах — загорая на пляже, купаясь со спасательным кругом, но больше всего на вечерних прогулках по так называемой „царской тропе“»[74].

Вернувшись с этих прогулок, Хрущев вызывал стенографисток и начинал диктовать им свои идеи. Он покажет американцам, что «мы не позволим собой помыкать или садиться себе на шею»! Но в то же время он стремился разрешить трудные вопросы и выйти за уровень минимально мирного существования. Такое сочетание амбициозных целей и нежелания уступать характерно для Хрущева — как и то, что его сын называет «напряженным и подозрительным вниманием» к протокольным сторонам визита. Советский посол в Вашингтоне Меньшиков, уже известный американцам как человек «ограниченный и подозрительный», превзошел самого себя, требуя составления маршрута, который удовлетворил бы его босса[75]. Однако Хрущев не переставал страшиться третирования и унижения.

Его опасения начинались с самого прибытия. Хрущев возглавлял и советское правительство, и коммунистическую партию, но для паритета с Эйзенхауэром требовалось, чтобы его принимали как главу государства. Американцы заверили, что так и будет; но Хрущев продолжал опасаться, что ему не окажут всех положенных по протоколу почестей, и это «нанесет нам моральный урон». На всякий случай он передал через Меньшикова предупреждение (будь у советского посла хоть немного здравого смысла, он не стал бы передавать его дальше): Эйзенхауэра в Москве примут точно так же, как Хрущева в Вашингтоне[76].

В расписании маршрута, который прислал из Москвы в Пицунду Громыко, значились переговоры в Кемп-Дэвиде. «Кемп-Дэвид? — подозрительно повторил Хрущев. — Что это?» Громыко не знал, что это такое, и просто перевел: «Лагерь Дэвид»[77]. — «Что еще за лагерь?! — воскликнул Хрущев. — Почему переговоры не будут проводиться в столице?» Пришлось навести справки в Вашингтоне: выяснилось, что Кемп-Дэвид — дача президента в Мэриленде.

Много лет спустя Хрущев рассказывал об этом недоразумении, желая показать, как мало знали друг о друге обе

стороны. Однако есть в его словах любопытный оттенок. Что, если, спрашивал он себя, Кемп-Дэвид — это «место, куда приглашают людей, которые не внушают доверия», «вроде какого-то карантинного учреждения, так что там только президент и будет со мной встречаться»? Ему приходили на ум Принцевы острова в Мраморном море, неподалеку от Стамбула, «место, где собирают бездомных собак» и где в 1919 году встречались с советской делегацией представители стран Запада[78].

Беспокойство вызывали и другие организационные моменты. Кто будет сопровождать Хрущева в Америку? На чем они полетят? В какое время прибудут? Некоторые кандидатуры (например, Громыко) сомнений не вызывали; но Хрущев хотел еще взять с собой лучшего из советских писателей, чтобы придать делегации культурную значимость. Лучшим современным писателем он считал Шолохова, но Шолохов злоупотреблял спиртным. Прежде Хрущев не хотел выпускать его за границу, говоря: «Мы не уверены, что ты не споткнешься и тем самым не нанесешь урон не только себе, но и всей нашей стране». Однако в Великобритании и Скандинавии Шолохов вел себя вполне прилично, так что решено было его взять[79].

Брать ли с собой семью? Вообще говоря, это было не принято. «Сталин очень ревниво относился к тому, если кто-нибудь брал с собой жену», — вспоминает Хрущев. И сами члены Президиума считали это «не то роскошью, не то чем-то обывательским, но не деловым актом». Однако Микоян, уже побывавший в Америке, выступал за присутствие Нины Петровны — отчасти, возможно, потому, что полагал, что присутствие жены окажет на вспыльчивого Хрущева успокаивающее действие. Микоян сказал, вспоминает Хрущев: «Я предложил бы, чтобы Хрущев взял с собой Нину Петровну и включил в делегацию также других членов семейства. Это будет хорошо расценено американскими обывателями, и это лучше для нас». Посол и миссис Томпсон с ним согласились, и Хрущев взял с собой не только жену, но и детей Юлию (дочь от первой жены), Раду, Сергея, Елену и внучку Юлию, которую он и Нина Петровна воспитывали как дочь.

На каком самолете лететь? Ил-18 требовал дополнительной посадки для дозаправки. Новый самолет Ту-114 способен был преодолеть расстояние от Москвы до Вашингтона без дозаправок, но первый его полет на дальнее расстояние был совершен только в мае, и после этого в моторе обнаружились микротрещины. Несмотря на возражения членов Президиума, министра обороны Малиновского и собственного личного пилота, Хрущев настоял на том, чтобы лететь на новом самолете. Он помнил триумфальное появление Ту-104 в Лондоне в 1956-м и рассчитывал на еще

большую сенсацию в Вашингтоне. Летом Козлов уже летал в США на этом самолете — и что же? У американцев не нашлось для него ангара с достаточно высоким потолком! «Вы посмотрите! Вот на что мы способны, — восхищался Хрущев, когда узнал об этом. — Пусть увидят, что мы можем!» Едва ли он знал — и никто не осмелился ему сказать — что необыкновенная высота самолета была вызвана желанием конструктора уберечь моторы от попадания камней и грязи с неухоженных взлетных полос советских аэродромов. Ему было известно только, что самолет Туполева — самый высокий в мире[80].

Сам Туполев горячо поддерживал Хрущева и даже отправил вместе с делегацией своего сына Алексея, чтобы доказать надежность своего творения. «Мы не сообщали, что с нами летит сын Туполева, — вспоминал Хрущев, — потому что это потребовало бы объяснений и могло нанести ущерб нашему престижу»[81].

Важно было прибыть вовремя. «Было рассчитано время пребывания в воздухе. Определили час вылета из Москвы, чтобы прибыть в США тоже к назначенному часу… В Вашингтоне будет подготовлена грандиозная церемония, поэтому надо не опаздывать, но и не спешить. Если подлетим раньше, то можно будет в воздухе сделать несколько лишних кругов, чтобы дотянуть до обусловленной минуты. Но если запоздаем, то нанесем ущерб нашему престижу»[82].

Нервозность Хрущева была скрыта от чужих глаз: на публике он старался вести себя спокойно и с достоинством, как подобает руководителю великой державы. Однако на пресс-конференции 3 августа он дважды сорвался. Когда репортер процитировал высказывание Аденауэра, заявившего, что теперь Хрущев увидит, как сильны США, Хрущев отрезал, что перед Америкой «колени гнуть не станет», а Аденауэра назвал «дряхлым» и «больным человеком». Другой репортер спросил: будет ли Эйзенхауэр во время ответного визита приглашен на советские ракетные базы? Хрущев почувствовал в этом вопросе подтекст: «Не хотите ли вы напугать Айка советской мощью?» — и резко ответил: «Вы стараетесь придать нашей встрече дурной оттенок». Если он пригласит Эйзенхауэра на ракетную базу, добавил Хрущев, президент будет иметь полное право спросить: «Что это, он запугать меня хочет?»

В конце пресс-конференции Хрущев попросил у журналистов «снисхождения», если он «оговорился, неточно выразился». Он лишь хотел сказать, что советская делегация едет в Америку «с открытой душой и чистым сердцем». Если «какое-либо из моих сегодняшних высказываний может быть воспринято в ином духе,

то прошу обращаться ко мне, и я разъясню, что имелось в виду, потому что я не хочу, чтобы агрессивные силы могли использовать что-либо из сказанного здесь в интересах усиления холодной войны»[83].

Наконец, 15 сентября, в семь часов утра Ту-114 отправился в путь. Через двенадцать часов он должен был приземлиться на военном аэродроме Эндрюс близ Вашингтона. Кроме Хрущева и его спутников, в особом, отгороженном углу салона летели специалисты-механики: с помощью специального аппарата, напоминающего помесь стетоскопа с электрокардиографом, они проверяли пульс моторов. Зеленый огонек на аппарате означал, что все в порядке, красный был сигналом тревоги[84].

Внизу, в море, тоже было неспокойно. КГБ предлагал отправить по маршруту полета крейсера и эсминцы, на случай если самолет потерпит крушение над морем, но Хрущев отверг этот план как дорогой и бесполезный. Однако Комитет государственной безопасности все же разместил в море от Исландии до Вашингтона танкеры и рыбацкие траулеры[85].

«О многом я думал, пока летел из Москвы на Запад, — вспоминал Хрущев. — Самые разные мысли вертелись у меня в голове, пока я глядел на океан внизу». Прежде всего он испытывал законную гордость: «Из разоренной, отсталой и неграмотной России мы превратились в Россию, поразившую мир своими успехами». И однако, «не скрою, меня беспокоила новая встреча с президентом». Отчасти волновало его то, что в первый раз он должен встретиться с президентом США лицом к лицу, «с глазу на глаз»[86]. И потом — впереди Америка! «Экзамен общения с капиталистами я уже выдержал и в Индии, и в Бирме, и в Англии. Но это все же Америка! Американскую культуру мы не ставим выше английской, однако мощь страны в те времена имела решающее значение. Поэтому надо было достойно представлять СССР и с пониманием отнестись к партнеру. А спор-то возникнет у нас, бесспорно, возникнет, но надо, чтобы без повышения голоса… не унизиться и не позволить себе сказать лишнее, недопустимое при дипломатических переговорах».

«Нам все это казалось очень сложным, тем более что Сталин вплоть до самой своей смерти убеждал нас, что мы… негодные люди, что мы не сможем устоять против сил империализма, что при первом же личном контакте не сумеем достойно представлять свою Родину и защищать ее интересы, что империалисты нас просто сомнут». Пока самолет мчался к Вашингтону, «его слова проносились в моем сознании, но не угнетали, а наоборот, мобилизовывали силы. Я морально и психологически готовился к встрече… Америка, хорошо

описанная и поданная… нашими писателями — это одно; Америка, к которой мы сами приближались — уже реальность. Все нас настораживало, возбуждало и напрягало нервы»[87].

В Вашингтоне стоял жаркий летний день; на небе не было ни облачка. Легкий ветерок развевал флаги обеих стран, на начищенных до блеска пятидесяти шести инструментах военного оркестра сверкало солнце. Несмотря на все свои старания, Хрущев опоздал на час. Президент США вместе с госсекретарем и другими высшими лицами государства терпеливо ждал его на жарком солнце. Впечатлил ли их огромный самолет, показавшийся наконец на горизонте, — мы никогда не узнаем; но в советской книге «Лицом к лицу с Америкой», живописующей поездку Хрущева в США, мы читаем восторженные отзывы Аджубея и его коллег: «Казалось, что не только подъемная сила стреловидного крыла, могучая тяга двигателей, превосходящих по мощности турбины иных гидростанций, подняла в воздух самолет Н. С. Хрущева, перенесла его за океан, но и заботливая, бережная сила миллионов советских тружеников, всех прогрессивных людей земли, их неукротимая, страстная тяга к миру»[88].

Американцы подготовили пышную церемонию: красный ковер, гимны обеих стран и салют из двадцати одного орудия. Церемониал встречи Хрущеву понравился. «Все там блистало, сверкало, было сделано изысканно и со вкусом. Мы делали не так, а просто, по-пролетарски, даже небрежно. У них же все было сделано основательно, продуманно, все на своем месте». Он был тронут: «Получить почести доставляло нам особое удовлетворение. Не оттого, что меня так встречают, а потому, что так встречают представителей великой социалистической страны»[89].

На Хрущеве был элегантный черный пиджак со звездами Героя Социалистического Труда. С некоторым удивлением увидел он Эйзенхауэра не в военной форме, а в гражданском костюме. Ожидая, что президент сразу начнет демонстрировать ему мощь своей страны, Хрущев приготовил «ответный удар». Несколькими днями ранее Москва запустила ракету на Луну. Хрущев решил преподнести Эйзенхауэру миниатюрную модель этой ракеты, намекнув тем самым на превосходство Советского Союза в космосе. Он буквально облизывался, предвкушая, как вручит свой подарок перед телекамерами прямо на аэродроме Эндрюз. Однако Трояновский и другие помощники уговорили его подождать с преподнесением модели до Овального кабинета. Согласно официальному американскому отчету о встрече, «президент принял подарок с интересом и благодарностью». На

самом деле Эйзенхауэр был взбешен, но скрыл свой гнев. «В конце концов, — говорил он позже своему сыну, — вполне возможно, что он это сделал от чистого сердца»[90].

После церемонии в аэропорту Хрущев и его жена втиснулись вместе с президентом на заднее сиденье открытого лимузина и направились в Вашингтон, до которого было 15 миль. Некоторые зрители у дороги улыбались и махали ему рукой, но большинство стояли молча и с каменными лицами. Хрущев потом заявлял, что за несколько минут до них по дороге проехал специальный автомобиль с плакатом: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ХРУЩЕВА И АПЛОДИРОВАТЬ!» Как писала газета «Правда», «такого моря людей улицы города не видели со времен Второй мировой войны… Миллионы американцев знают и верят, что руководитель великого Советского государства приехал с открытой душой и самыми благородными намерениями…»[91].

Так началось путешествие, которое советские хроникеры именовали «выдающимся историческим событием», «триумфальной поездкой», «не имевшей прецедента в истории»[92]. Во многих отношениях поездка Хрущева и вправду была успешной: он проник в цитадель капитализма, заслужил симпатию многих простых американцев, наконец, добился определенного прогресса в вопросе о Берлине — президент дал согласие на саммит, которого так долго добивался Хрущев. Впрочем, последний успех был скорее воображаемым, чем реальным. Личные промахи Хрущева подрывали его дипломатию. Он чувствовал себя неуверенно, во всем вокруг видел «провокации» или скрытые оскорбления, опасался, что над ним смеются — и, реагируя в свойственной ему манере, в самом деле ставил себя в смешное положение.

Помощники Хрущева пытались «объяснить ему американский плюрализм мнений», говоря, что «обструкции ему устраивает все-таки меньшинство и что большая часть американцев… ему сочувствует»[93]. Однако сами они (как и Хрущев) полагали, что все недружественные выступления были подготовлены заранее. «Его это глубоко задевало, — вспоминает Трояновский. — В конце концов, он — глава страны; а ему задают неудобные вопросы, перебивают, открыто и резко возражают. Все это сильно его раздражало. Свойственный ему комплекс неполноценности проявлялся особенно сильно, когда он чувствовал, что оскорблен не только он сам, но и страна, которую он представляет»[94].

Конечно, советский лидер был и хорошим актером. По меньшей мере один американский дипломат, сопровождавший его в поездке, не сомневался, что бурные проявления его темперамента — хорошо продуманные спектакли, призванные

заставить Эйзенхауэра защищаться[95]. Самолюбие Хрущева страдало. Он твердо решил «не удивляться, не показать себя завистливым простачком». Для этого необходимо было сдерживать свое природное любопытство; однако каждый вечер он расспрашивал других членов делегации, в том числе министра образования Вячеслава Елютина и председателя Днепропетровского областного совнархоза Николая Тихонова, об их впечатлениях от прошедшего дня[96].

Необходимость постоянно сдерживать и свой темперамент, и свое любопытство, писал позже Аджубей, заставляла Хрущева быть «постоянно начеку»; еще более «беспокоились и волновались» его помощники. Каждое утро они просматривали газеты, ища как положительные сообщения, о которых можно было доложить начальству, так и промахи, ответственность за которые можно было возложить на противную сторону. (Те из членов семьи Хрущева, кто читал по-английски, также просматривали газеты. Один раз, увидев в газете карикатурный рисунок толстой женщины, Нина Петровна решила, что американцы высмеивают ее фигуру, и обиделась. «Если бы я знала, что здесь будут такие рисунки, — жаловалась она Джейн Томпсон, — ни за что бы не поехала!»[97]) Помощники вздыхали с облегчением, когда «природное умение Никиты Сергеевича держаться естественно в любой обстановке» шло ему на пользу и завоевывало ему друзей — даже на чопорных приемах и ужинах, где собирались сливки общества во фраках и их жены в вечерних туалетах. Однако, пишет Аджубей: «Садясь за стол, где возле тарелок лежали всякие ложки, ложечки, вилки, вилочки, я, бывало, с опаской поглядывал, как Хрущев справляется со всем этим»[98].

Поначалу Хрущев держался почти идеально. Когда президент показывал ему с вертолета «ряды симпатичных чистеньких домов» и запруженные автомобилями шоссе в часы пик, Хрущев не проявил ни восхищения, ни зависти. На торжественном приеме, куда американцы пришли во фраках и вечерних нарядах, а русские — в деловых костюмах и платьях, которые Мэйми Эйзенхауэр назвала «уличными», где подавалась традиционная индейка в клюквенном соусе, а Фред Уэринг со своими «Пенсильванцами» играл «Там, за радугой» и «Боевой гимн республики», в официальном тосте Хрущева скромность («Я не претендую на глубокое знание истории») смешалась с его обычным хвастовством («Это верно, сейчас вы богаче нас. Но завтра мы будем так же богаты, как вы. А послезавтра? Еще богаче! Скажете, плохо?»)[99].

На следующее утро в Исследовательском центре

Государственного департамента сельского хозяйства в Белтсвилле, Мэриленд, где сотни журналистов поджидали его у входа, а сотрудники центра в белых халатах буквально висели на окнах, высокий гость похвалил «очень хороших коров» хозяев, однако, «не желая умалять ваших успехов», заметил, что в СССР за последние три года «средний удой на корову увеличился на 600 литров»[100].

В тот же день в Национальном пресс-клубе Хрущев произнес речь, знаменательную как мягким и конструктивным тоном, так и особой заботой о том, чтобы его верно поняли: «Если я вдруг как-либо неудачно выражусь, попросите меня повторить… потому что я не хочу, чтобы неверно понятые слова встали между тем, что я хотел сказать, и тем, за что я борюсь»[101]. Но первый же вопрос, заданный Хрущеву, касался его роли в сталинском терроре: верно ли, что однажды, получив анонимный вопрос на эту тему, Хрущев попросил задавшего вопрос встать, а когда никто не поднялся с места, сказал: «Вот вам, товарищ, и ответ на ваш вопрос». Этот вопрос был тем более обиден, что, когда он был задан, раздался смех. Хрущев побагровел, глаза его сузились; отвечал он с жаром, однако и с твердой решимостью не поддаваться на провокацию: «Вы, очевидно, хотите поставить меня в неловкое положение и заранее надо мной смеетесь. У нас в России говорят: „Хорошо смеется тот, кто смеется последним“… Могу только добавить, что, хотя у лжи длинные ноги, за правдой ей не угнаться»[102].

Еще одна очевидная (по крайней мере в восприятии Хрущева) провокация касалась его фразы, произнесенной в 1956-м, в пылу гнева, по поводу Венгерского и Суэцкого кризисов. На приеме в честь Гомулки в польском посольстве Хрущев обрушился на западных дипломатов: «Хотите вы того или нет, история на нашей стороне. Мы вас похороним»[103]. Речь шла о победе в политической и экономической областях, однако многие на Западе поняли эту фразу буквально. «Если вы не говорили этого, — заметил корреспондент из Национального пресс-клуба, — так и скажите; а если говорили — объясните, что имелось в виду». Хрущев отклонил вызов шуткой: «Если бы такое и случилось, мне жизни бы не хватило, чтобы похоронить вас всех»[104]. Но, отвечая на другой вопрос — о советской интервенции в Венгрию, он не смог сдержать гнева. «Так называемый венгерский вопрос, — раздраженно проговорил он, — у некоторых людей застрял в горле, как дохлая крыса, — и противно, и выплюнуть не получается». Согласно советским хроникерам, «этот прямой ответ покорил слушателей естественной комбинацией теоретической глубины и приземленной простоты, известной на Западе как „хрущевский

стиль“»[105].

После нескольких мероприятий в Вашингтоне — осмотра городских памятников, знакомства с Комитетом по иностранным делам сената США (где Хрущев, в числе прочих, встретился с Джоном Ф. Кеннеди), приема и ужина в советском посольстве — на следующий день в 8.22 Хрущев и его спутники отбыли специальным поездом в Нью-Йорк, который оставил у Хрущева впечатление «очень большого и шумного города. Поражали световая реклама, насыщенность автомобильным движением, сопровождаемым отравленным, испорченным газами воздухом, который душит людей»[106]. Оставив жену и дочерей в отеле «Уолдорф-Астория», Хрущев отправился на ужин с 1600 высокопоставленными нью-йоркцами в отеле «Коммодор». Речи мэра города Роберта Ф. Вагнера и представителя США в ООН Генри Кэбота Лоджа переводчики Хрущева интерпретировали как очередные «провокации»[107]. Однако Хрущев спокойно ответил: он «не обратится в вашу капиталистическую веру», поскольку прекрасно понимает — «всякий кулик, по русской пословице, свое болото хвалит»[108].

Позже в тот же день Аверелл Гарриман собрал у себя в особняке на Восточной Восемьдесят Первой стрит тридцать человек, состояние каждого из которых составляло не менее ста миллионов. Здесь были Джон Дж. Макклой, неофициальный лидер восточного истеблишмента, Джон Д. Рокфеллер III, Дин Раск из «Фонда Рокфеллера», Дэвид Сарнофф, владелец Ар-си-эй, а также главы «Метрополитен лайф», «Ситиз сервис» и «Первой бостонской корпорации». Рядом с этими титанами почетный гость Гарримана выглядел инородным телом. Гарвардский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт, далеко не столь состоятельный, но приглашенный на вечер благодаря старой дружбе с Гарриманом, позже вспоминал «бесформенного человечка в бесформенном пиджаке, с большой круглой розовой головой и коротенькими ножками, сидящего у камина под большим полотном Пикассо»[109].

На взгляд Хрущева, гости Гарримана выглядели как «типичные капиталисты, но отнюдь не фигуры со свиноподобными физиономиями, как изображали их на наших плакатах времен Гражданской войны». Коктейль на американский манер Хрущеву понравился: «Прием был не за столом: в большом зале люди сидели или ходили и беседовали друг с другом». Однако не понравилось, что «в зале плавал табачный дым». Сквозь этот дым «многие подходили ко мне и перебрасывались фразами. Велось прощупывание: что это за человек? С чем он приехал?»[110]

Желая отойти от уже сложившейся схемы, Гарриман

предложил Хрущеву не отвечать на вопросы, а самому спрашивать о том, что его интересует. Однако Хрущев твердо решил не выказывать чрезмерного интереса к капиталистической жизни, а кроме того, опасался, что гости Гарримана начнут его «поучать». Когда выяснилось, что они также не намерены выслушивать лекции и не собираются давить на Вашингтон ради развития торговли с СССР, Хрущев распрощался с хозяином и гостями и вернулся в «Уолдорф», где его ждал торжественный ужин с еще одной группой бизнесменов.

В большом зале нью-йоркского Экономического клуба собралось почти две тысячи человек: дополнительные столы были установлены даже на балконе соседнего бильярдного зала. Хрущев произнес довольно мягкую речь о пользе торговли и мирного сосуществования; однако, когда настало время отвечать на вопросы, первый же интервьюер, издатель журнала «Лук» Гарднер Коулз, поинтересовался, как соотносится идея мирного сосуществования с советским догматом о неизбежной победе коммунизма. Хрущев принялся разъяснять Коулзу хитросплетения марксистской диалектики, но с балкона послышался крик: «Это не ответ на вопрос!» Когда Хрущев ушел от ответа на вопрос о том, почему граждане СССР не могут читать американские газеты и слушать «Голос Америки», снова раздались возгласы: «Отвечайте на вопрос!»

«Бросались, как львы на решетку», — вспоминал позже Хрущев. А тогда он ответил: «Если не хотите меня слушать — хорошо. Я — стреляный воробей, вы меня криками не запугаете. Не хотите слушать — могу уйти. Я в США приехал не милостыню просить. Я представляю великое Советское государство»[111].

Расписание визита предусматривало автомобильную поездку в здание «Эф-ди-ар» в Гайд-парке, визит в Эмпайр-стейт-билдинг, беседу с губернатором Нельсоном Рокфеллером и появление в ООН. По дороге в Гайд-парк Хрущев выглядел недовольным. Он признался Лоджу, что «не знает, как оценить» ужин в Экономическом клубе: речь ему удалась, а вот вечер в целом определенно не удался[112].

19 сентября Хрущев и его спутники встали до рассвета, чтобы по дороге в аэропорт осмотреть Гарлем и прибыть в Лос-Анджелес до обеда. Долгий жаркий день («в Лос-Анджелесе пекло, как в Сахаре», — вспоминает Лодж) окончился речью Хрущева, произнесенной около полуночи. К этому времени советский руководитель едва держался на ногах от усталости.

В аэропорту советскую делегацию встречали мэр и другие высокопоставленные лица. Помощник мэра Виктор Картер,

русский эмигрант, которому было поручено сопровождать Хрущева, говорил по-русски «с заметным акцентом, примерно так, как говорят евреи, живущие в СССР», вспоминал Хрущев. Узнав, что Картер вырос в Ростове, где до 1917 года жили лишь богатые евреи, Хрущев заключил (и сообщил Лоджу), что отец его, должно быть, был богатый торговец, один из тех, с кем Красная Армия, в рядах которой воевал в окрестностях Ростова сам Хрущев, «не успела разобраться после революции»[113].

За обедом в «Кафе де Пари» на студии «XX век Фокс» собрались сливки Голливуда — Керк Дуглас, Фрэнк Синатра, Гэри Купер, Элизабет Тейлор. Рональд Рейган от приглашения отказался. Мэрилин Монро, которую организаторы попросили надеть «самое обтягивающее и сексуальное платье» и оставить дома мужа, потом рассказывала горничной: «Я определенно понравилась Хрущеву. Когда нас знакомили, мне он улыбался намного шире, чем всем остальным…»[114]

Обед оплачивала компания «Фокс»[115]. Поэтому роль хозяина приема играл Спирос Скурас, киномагнат греческого происхождения; в своей речи он решил объяснить высокому гостю, что такое американская мечта на собственном примере, поведав, как он выбился из нищеты. «Словом, — умозаключали авторы книги „Лицом к лицу с Америкой“, — его речь строится по тому самому кем-то и где-то определенному плану: во что бы то ни стало переспорить, переспорить Н. С. Хрущева!» После обеда слово взял Хрущев. К этому времени, вспоминает Лодж, «от жары, вызванной погодой, низким потолком в помещении и обилием прожекторов, находиться в зале стало почти невыносимо»[116]. Тем не менее Хрущев был полон решимости переиграть Скураса. «Я начал работать, как только научился ходить. До пятнадцати лет я пас телят, потом овец, а потом коров у помещика… Потом работал на фабрике, принадлежавшей немцам, а потом — в шахте, принадлежавшей французам… а теперь я — премьер-министр великого Советского государства».

— Так мы и знали! — крикнул кто-то.

— И что с того? — воскликнул в ответ Хрущев. — Я своего прошлого не стыжусь!

Раскрытие своих скромных корней перед голливудскими знаменитостями, по всей видимости, принесло Хрущеву двойственные ощущения — и стыд, и удовлетворение. Он собирался, сообщил он слушателям, произнести «короткую и не слишком эмоциональную речь» — однако «не могу молчать, когда кто-то наступает на мою любимую мозоль, пусть и через ботинок»[117].

В Диснейленд Хрущева не пустили, заявив, что полиция Лос-

Анджелеса не может гарантировать его безопасность, если только дирекция не согласится на время посещения советской делегации закрыть от посетителей весь огромный парк. Советская служба охраны согласилась с американцами, но это не смягчило удар[118].

С мезонина, выходившего на съемочную площадку номер 8 киностудии «Фокс», чета Хрущевых наблюдала съемки фильма «Канкан» с участием Фрэнка Синатры, Ширли Маклейн и Мориса Шевалье. Не выдержав, Хрущев спустился вниз: поначалу он широко улыбался, затем, спохватившись, постарался принять вид сурового достоинства. Телекамеры канала Кей-ти-эл-эй запечатлели его рядом с танцовщицами: выглядит он очень довольным. Однако фотографам, которые попросили одну из девушек приподнять юбки, Хрущев сделал выговор: «У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задами»[119]. На следующий день во время бурной встречи с лидерами профсоюзов Сан-Франциско, когда разговор перешел на повышенные тона, Хрущев встал, повернулся к собеседникам задом и, подняв полу пиджака, изобразил канкан. «Вот что у вас называется свободой — свобода показывать задницу! А у нас это называется порнографией!»[120]

«Она стояла рядом со мной, — вспоминал Хрущев, — и, видимо, тот тип просто хотел получить более пикантный снимок… Мы не привыкли к такому жанру и считали его непристойным. Почему же я на этом должен фокусировать свое внимание?.. Фотографию же мы, кажется, получили»[121]. Раз Хрущев не отказался от «непристойной» фотографии — возможно, она не так уж его возмутила. Во всяком случае, у переводчика из Госдепартамента США Александра Акаловского, находившегося в это время рядом с Хрущевым, сложилось впечатление, что советский лидер «был в полном восторге»[122].

Поскольку с Диснейлендом ничего не вышло, советская делегация убивала время до ужина, по его словам, практически бесцельно катаясь два часа по пригородам Лос-Анджелеса в бронированном «кадиллаке»[123]. В какой-то момент они заметили на тротуаре женщину, одетую в черное, с черным флагом и плакатом: «СМЕРТЬ ХРУЩЕВУ, ПАЛАЧУ ВЕНГРИИ!»

— Если Эйзенхауэр позволяет меня оскорблять, — раздраженно заметил Хрущев, — зачем он вообще пригласил меня в Соединенные Штаты?

— Неужели вы думаете, что этот протест согласован с президентом? — возразил Лодж.

— В Советском Союзе эта женщина могла бы появиться на улице только по моему распоряжению, — ответил Хрущев, едва ли понимая, насколько саморазоблачительно звучат его слова.

Эта встреча усилила его дурное расположение духа: Хрущев ворчливо заметил, что ничто в США его не удивило и не потрясло — он прекрасно знал, с чем здесь столкнется. Его разведка сообщает обо всем, что происходит в Соединенных Штатах, даже о конфиденциальных посланиях Эйзенхауэра к главам других государств. Лодж, «наверное, и не знает», что во время китайско-индийского пограничного конфликта Эйзенхауэр направил секретное послание Неру. А он, Хрущев, не только знает, но и может «сделать для вас копию». Что же касается «мистера Аллена Даллеса» — Хрущеву приходится просматривать столько его «писанины», что, «право, иногда думаешь, лучше бы какой-нибудь хороший роман почитать»[124].

В тот же вечер сливки Лос-Анджелеса собрались в бальном зале отеля «Амбассадор». «Обстановка была парадной, — писал позже сам Хрущев, — столы накрыты, зал нарядно убран, горели свечи». Справа от него сидела женщина средних лет, которая, «видимо, была как раз человеком богатым и обладала крупным капиталом, иначе не смогла бы попасть туда». Высказывалась она «по-доброму и в адрес делегации, и в мой лично», вспоминает Хрущев, однако «хотела посмотреть на гостя, как на экзотического медведя из России, где их по улицам водят. Ее удостоили сидеть с ним рядом, а он почему-то не рычит»[125].

Хрущев и так был не в лучшем расположении духа, и мэр Лос-Анджелеса Норрис Поулсон, несомненно, совершил большую ошибку, в своей «приветственной» речи напомнив о его пресловутой фразе: «Мы вас похороним». «Вам не удастся нас похоронить, господин Хрущев, — предупредил мэр, — и не стремитесь к этому. Если будет нужно, мы будем сражаться насмерть»[126].

«Я возмутился, — вспоминал Хрущев. — Поскольку речь его адресовалась мне, я имел право сделать вид, что я не понял. Но решил демонстративно отреагировать и дать ему публично отпор, чтобы объясниться тут же»[127]. Начал он так: «Вы знаете, что я приехал сюда с добрыми намерениями, но некоторые из вас, по-видимому, не относятся к этому всерьез». Возможно, кому-то он сам и его делегация представляются «бедными родственниками, приехавшими просить мира». Может быть, его сюда пригласили, чтобы «„поставить на место“, показать… силу и мощь Соединенных Штатов, чтобы… колени подогнулись». Если так — его здесь ничто не держит. В конце концов, отсюда до СССР всего десять часов лету[128].

По залу пробежал шепоток ужаса — слишком уж реальными выглядели угрозы Хрущева. Позже, у себя в роскошном «президентском» номере отеля, Хрущев сбросил пиджак и, собрав

вокруг себя семью и помощников, принялся обсуждать с ними прошедший ужин. «Он не скупился на резкие фразы, — вспоминает Сергей Хрущев. — Временами голос его повышался до крика; казалось, ярость его не знает границ». Наконец он встал, смахнул пот со лба и приказал Громыко «идти к Лоджу и передать ему все, что я сейчас сказал».

Было уже далеко за полночь. Лодж диктовал ежедневную телеграмму Эйзенхауэру о событиях этого дня, когда к нему в номер постучался Громыко — в пиджаке и брюках поверх кальсон, растрепанный и явно смущенный. Нет сомнений, что он не стал передавать Лоджу послание своего патрона слово в слово[129].

Позднее Хрущев объяснял свое поведение так: «Я-то как раз держал свои нервы в руках и просто выражал возмущение для ушей хозяев. Я ведь был убежден, что там поставлены подслушивающие аппараты и что Лодж, расположившийся в той же гостинице, слушает меня в своем номере»[130].

То, что казалось «взрывом эмоционального человека», на самом деле представляло собой «холодный расчет», подтверждает Сергей Хрущев. Но если так, почему, когда Громыко отправлялся к Лоджу, его жена Лидия умоляла его: «Андрюша, будь с ним повежливее!» — а потом бросилась искать для Хрущева валерьянку? И чего «испугалась» дочь Хрущева Рада?[131]

Конечно, Хрущев хорошо понимал, что делает; но трудно сомневаться и в том, что он действительно испытывал гнев — гнев не только на американцев, но и на свой собственный промах. В конце концов, неудачная фраза «Мы вас похороним», которую теперь швыряли ему в лицо, действительно принадлежала ему. Это подтверждает и Аджубей: по его словам, «после всех многочисленных объяснений Хрущеву вновь навязывали эту тему, спекулировали на его оплошности — вот как он это понял»[132].

Приступ ярости Хрущева принес некоторый положительный эффект: правда, на следующее утро никто из лос-анджелесской администрации не явился на вокзал его проводить, но само путешествие поездом до Сан-Франциско прошло как нельзя лучше. «Мы решили организовать ваш маршрут по образцу поездок кандидатов в президенты», — объяснял Лодж. Так оно и получилось. В Санта-Барбаре и Сан-Луис-Обиспо «кандидат» целовал детей, любезничал с дамами, пожимал руки мужчинам и сиял улыбкой при аплодисментах толпы. «Видите, простым американцам я понравился! — гордо говорил он Лоджу. — Не нравлюсь я только ублюдкам из окружения Эйзенхауэра». Когда поезд проезжал мимо Ванденберга и из окон открылся вид на базу ВВС США, Хрущев воспринял эту «провокацию» совершенно

спокойно — а потом «по секрету» сообщил журналистам, что «у нас таких баз больше, чем у вас, да и оборудованы они лучше»[133].

Ко времени, когда поезд достиг Золотых Ворот, мэр Поулсон остался для Хрущева лишь забавным воспоминанием. «Хотел пукнуть, да только штаны обмарал», — заметил о нем Хрущев Лоджу[134].

Мэр Сан-Франциско Джордж Кристофер встретил высокого гостя куда гостеприимнее, чем его лос-анджелесский коллега[135]. Запланированные мероприятия — в том числе посещение завода «Ай-би-эм» и торжественный банкет — прошли как нельзя лучше, хотя директор «Ай-би-эм» Томас Уотсон, выполняя рекомендации, полученные из Вашингтона, старался не улыбаться в ответ на шутки гостя. Хрущев совершенно успокоился и даже позволил себе выразить восхищение — не компьютерами «Ай-би-эм» (компьютеров, сказал он, и у нас хватает), а сияющими пластмассовыми покрытиями на столах в заводской столовой, так не похожими на вечно серые и заляпанные скатерти в заведениях советского общепита. «Смахиваешь крошки, протираешь тряпкой — и стол снова чистый!» — восторгался Хрущев[136].

Единственным мероприятием, прошедшим не совсем гладко, стала встреча с президентом Объединения рабочих автомобильной промышленности Уолтером Рейтером и другими профсоюзными лидерами. Когда Хрущев обвинил Соединенные Штаты в эксплуатации других стран, ему ответили, что он сам эксплуатирует восточногерманских рабочих. «Имеете ли вы право говорить от лица рабочих всего мира?» — поинтересовался Рейтер. «А вы какое имеете право совать нос в Восточную Германию?» — отвечал Хрущев.

Собеседники заговорили на повышенных тонах, перебивая друг друга и перескакивая от темы к теме. «Болтаете такую чепуху — и уверяете, что представляете рабочих! — восклицал Хрущев, обращаясь к главе профсоюза портовых грузчиков Джозефу Каррену. — Что у нас здесь — дискуссия или базар?»

— Вы, кажется, боитесь моих вопросов? — съязвил Рейтер.

— Ни черта я не боюсь! Велика вы птица — вас бояться! — презрительно отвечал Хрущев[137].

И много лет спустя Хрущев оставался в обиде на Рейтера. «Этот человек предал классовую борьбу, — писал он, — он боролся за свою выгоду, а не за победу рабочего класса». На Хрущева произвел самое невыгодное впечатление председатель союза пивоварных рабочих, «старый и, похоже, выживший из ума», с золотыми часами на обеих руках; всю встречу он «пил пиво, лил его в себя, как в бочку, поедал абсолютно все, что лежало на столе», и производил впечатление «мещански

ограниченного человека, с которым вести какие-либо разговоры бесполезно». Встреча с профсоюзными лидерами не была публичной (хотя впоследствии американцы опубликовали стенограммы выступлений), так что Хрущев позволил себе выпустить пар, не опасаясь реакции широкой публики. Как ни парадоксально, «предательство» американских рабочих он воспринял куда спокойнее, чем презрение могущественных капиталистов.

Из Сан-Франциско Хрущев отправился в Айову, на ферму к Росуэллу Гарсту. Журналисты осаждали Гарста и его гостя, не давая им покоя даже на кукурузном поле: кончилось тем, что взбешенный Гарст начал швырять в толпу репортеров кукурузными початками. Оттуда Хрущев вылетел в Питсбург, а затем, 24 сентября, вернулся в Вашингтон, чтобы отправиться оттуда в Кемп-Дэвид, где должно было определиться дипломатическое значение его путешествия.

25 сентября, в пятницу, после полудня, оба лидера великих держав вылетели на вертолете в Мэриленд. Эйзенхауэр был простужен и чувствовал себя «паршиво». Хрущев, плохо спавший прошлой ночью, с наслаждением вдыхал прохладный воздух Кейтоктинских гор. Поужинали ростбифом с красным перцем; затем Эйзенхауэр показал гостю документальный фильм о Северном полюсе, отснятый с американской ядерной подводной лодки «Наутилус» — несомненная «шпилька», пусть и не такая грубая, как демонстрация фильмов о ядерных взрывах, которую устроил Хрущев для Тито. В полночь, пожелав друг другу спокойной ночи, оба политика разошлись по своим спальням.

На следующее утро Хрущев поднялся рано, надел брюки и вышитую украинскую рубашку и вместе с Громыко отправился прогуляться по лесу, а заодно обсудить тактику переговоров (говорить об этом в помещении он опасался, предполагая, что там имеются подслушивающие устройства). За обильным завтраком с Эйзенхауэром в Аспен-Лодж в 8.15 утра советский руководитель много и оживленно рассказывал о своих военных приключениях, но почти ничего не ел. Позже он пожаловался Джону Эйзенхауэру на свои больные почки и другие недомогания[138].

В 9.20 оба лидера и их ближайшие помощники начали обсуждение германской проблемы. Хрущев сразу заявил, что главная проблема — не в Берлине. Да и формального признания ГДР от Соединенных Штатов тоже не требуется. Им достаточно подписать с Западной Германией мирный договор, а СССР подпишет такой же договор с обеими Германиями. Эйзенхауэр отвечал столь же уступчиво: Соединенные Штаты не станут

возражать против подписания Москвой договора с обеими Германиями, «если мы получим гарантию, что это не изменит нашего положения в Берлине». Однако Хрущев назвал это условие «неприемлемым». Он может гарантировать лишь то, что, став «вольным городом», Западный Берлин останется «мирным и процветающим». Но, возможно, стоит заключить промежуточное соглашение, которое «снимет с повестки дня берлинский вопрос, не нанося ущерба престижу США».

Хрущев напомнил Эйзенхауэру о происходящих в СССР реформах. Настойчиво, но не повышая голоса, он перечислил вопросы, по которым нынешнее правительство «изменило курс, принятый Сталиным», напомнил об отставке Молотова и других консерваторов, о повороте во внутренней политике и закрытии лагерей. И вот теперь он, лидер-реформатор, облеченный народным доверием и поддержкой, приехал в США, «чтобы улучшить отношения между нашими двумя странами, а также с вами лично». Слишком долго переговоры по ключевым вопросам — таким, как разоружение — «не сходили с мертвой точки». Что касается германской проблемы — до сих пор, когда о ней заходила речь, США смотрели на Советский Союз «свысока». Настало время для прорыва: именно стремясь к прорыву, советское правительство установило для решения берлинской проблемы временной срок.

После этой пространной и, по-видимому, искренней речи Эйзенхауэр предложил сделать получасовой перерыв. Хрущев пригласил президента прогуляться, но Эйзенхауэр отклонил предложение: «погода сегодня не слишком хороша», а он все еще чувствует себя больным и хотел бы использовать перерыв для посещения врача[139].

После перерыва, за столом для игры в бридж в углу террасы, Эйзенхауэр представил своему собеседнику проект «постоянного консультационного механизма», включающего в себя регулярные саммиты и встречи министров иностранных дел — не только по Германии и Берлину, но и по многим другим вопросам. Предварительным условием для таких встреч являлся «отказ от односторонних действий, способных нарушить процесс мирных переговоров»[140].

Хрущеву это предложение не понравилось. Что же получается — «ничего нельзя будет сделать, пока министры иностранных дел не покопаются в своих архивах»? Ведь это означает, что «решение проблем будет отложено лет на десять — пятнадцать, а то и навсегда». Говоря попросту, президент требует, чтобы Советский Союз не подписывал мирный договор с Германией. И кто же теперь ставит «ультиматум»?

Реакция Хрущева была понятна и объяснима, хотя и довольно наивна по форме. Да, ему нужен был «прогресс» по берлинскому вопросу — но кто сказал, что Эйзенхауэр обязан идти навстречу его желаниям? В конце концов, заметил президент, если он даже согласится по истечении какого-то срока уйти из Берлина, ему «придется немедленно выйти в отставку», ибо «это предложение неприемлемо для американского народа».

Собеседники помрачнели, хотя никто не повышал голоса. За обедом Никсон, желая снизить напряжение, спросил, как предпочитает охотиться Хрущев — с винтовкой или с ружьем. Вице-президент не знает, о чем говорит, раздраженно отвечал советский лидер: на птиц охотятся только с ружьем, на лосей и оленей — только с винтовкой. Досталось и Громыко, которого Хрущев обвинил в том, что тот «в магазине покупает» уток, которыми потом хвастает как своей охотничьей добычей. Громыко возразил: его жена бывала с ним на охоте и видела, как он стрелял уток, — на что Хрущев ответил, что и жене его не доверяет[141].

Эйзенхауэр поспешил перевести разговор на другую тему: пожаловался, что ему и во время отпуска докучают беспрерывными телефонными звонками, спросил, как с этим обстоит дело у Хрущева. Тут Хрущев, «совершенно разъярившись, объявил, что у него на даче телефоны установлены даже на пляже, где он купается, и что он может нас заверить, очень скоро в СССР телефонов станет больше и они будут лучше, чем в Америке»[142].

Хрущев готов был взорваться. Эйзенхауэр, вспоминает советник Белого дома по научным вопросам Джордж Кистяковски, «был очень сердит и с трудом держал себя в руках». Громыко и его помощники «сидели с каменными лицами»[143].

После обеда президент отправился вздремнуть. Хрущев тем временем мрачно мерил шагами сад. Выйдя из дому около четырех часов дня, президент пригласил гостя посетить его ферму в Геттисберге. В президентском вертолете «все были погружены в уныние, — писал позднее Кистяковски. — Было чувство, что переговоры закончились полным провалом и скорее ухудшили, чем улучшили отношения между двумя странами»[144].

Но Геттисберг помог разрядить напряжение. Хрущев восхитился домом Эйзенхауэра («дом богатого человека, но не миллионера»), его скотом (одного бычка президент попросил «прямо здесь и сейчас» принять в подарок) и его внуками (которых Хрущев пригласил в СССР вместе с дедом). В половине седьмого, когда оба лидера вернулись в Кемп-Дэвид на коктейль и ужин, Хрущев казался «куда более спокойным и довольным»[145].

Однако на следующее утро после завтрака все началось сначала. Заместитель госсекретаря Дуглас Диллон заверил Хрущева, что товары, в импорте которых заинтересована Москва (в том числе оборудование для производства обуви), не имеют стратегического значения и потому доступны для продажи. В ответ Хрущев заявил, что приехал в Соединенные Штаты «не для того, чтобы учиться тачать ботинки или делать колбасу». Это советский народ и так умеет, «может, еще получше американцев». А если мистер Диллон в этом сомневается, пусть взглянет на ботинки Хрущева и увидит сам[146].

В десять пятнадцать президент и председатель Совета министров вместе со своими помощниками снова сели за стол переговоров. Сперва беседа коснулась ядерной войны (причем Хрущев заявил, что не боится ее, а Эйзенхауэр ответил: «А я боюсь — и считаю, что всем нам следует ее бояться»), затем советский лидер упомянул о Китае. Вместо того чтобы сыграть на советско-китайских разногласиях, Эйзенхауэр повторил стандартные американские обвинения в адрес Китая, вынудив Хрущева принять сторону своего союзника; взгляды руководителей СССР и США на Китай, — заметил, выслушав его, президент, — настолько расходятся, что «нет смысла обсуждать вопрос подробнее». Единственным результатом этого разговора стала реплика Хрущева, вскоре обострившая его и без того натянутые отношения с Мао: он заявил, что ничего не знает о пятерых американских летчиках, которых Пекин держит в заключении, однако пообещал «выяснить этот вопрос с китайским руководством»[147].

Но что будет с Берлином и всей Германией? В конце концов двое лидеров вроде бы пришли к соглашению. Хрущев отозвал свой ультиматум, а Эйзенхауэр заявил, что готов к переменам в положении Берлина. Как подытожил Эйзенхауэр, Соединенные Штаты «не пытаются удержать берлинскую ситуацию в ее нынешнем состоянии, а господин Хрущев соглашается не выдавливать западные державы из Берлина силовыми методами»[148]. Кроме того, президент согласился участвовать в четырехсторонней конференции лидеров мировых держав — от чего в предшествующие несколько месяцев отказывался, требуя предварительного достижения дипломатического прогресса. Теперь же он заявил, что «достижение ситуации, в которой он не должен действовать под давлением, может рассматриваться как прогресс»[149].

Договорившись об этом, двое лидеров тут же снова заспорили — на сей раз из-за совместного коммюнике. Эйзенхауэр предложил обойтись без коммюнике, поскольку переговоры были

заявлены как неформальные. Хрущев настаивал на демонстрации результатов. После обеда он потребовал, чтобы из текста была исключена главная его уступка — отказ от ультиматума по Берлину. По существу он на это согласен, заявил Хрущев, но опасается, что включение этого пункта в коммюнике приведет к «предвзятым и неверным истолкованиям», особенно со стороны Аденауэра, который хотел бы затянуть переговоры лет на восемь и теперь начнет кричать о своей «великой победе»[150].

Теперь взорвался Эйзенхауэр: «С меня хватит! Если так, я не поеду ни на саммит, ни в Россию!»[151] Президент твердо стоял на своем, и Хрущев предложил компромисс: Эйзенхауэр устно сообщит о том, что фиксированный срок решения берлинской проблемы отменен, а он (Хрущев) не станет это опровергать. Президент неохотно согласился.

Установленное время визита подошло к концу: двое лидеров уже выбились из расписания. На лимузине президента они поспешили в Вашингтон, пожали друг другу руки на ступенях Блэр-Хауз, где остановился Хрущев, тепло попрощались до следующей весны. Тем же вечером Хрущев обратился к американцам по телевидению: назвал их «добросердечным и дружелюбным народом», а президента (который уже назвал Хрущева «своим другом») — «человеком, который искренне желает улучшения отношений между нашими странами», и заключил по-английски, с сильным акцентом: «До свидания! Удачи, друзья!»

В тот же вечер советская делегация вылетела в Россию.

Не отрицать, что ультиматум, по крайней мере на время, отменен — вот все, на что согласился Хрущев в Кемп-Дэвиде. Неудивительно, что у Эйзенхауэра «был вид человека, который побывал в проруби: он вымок, и с него стекает вода»[152]. Но чего достиг Хрущев? Согласия Эйзенхауэра на четырехсторонние переговоры было недостаточно: требовалось еще согласие его союзников. И все же Хрущев наслаждался своим триумфом[153]. В сущности, слово «триумф» слишком слабо для того, как было обставлено в СССР его путешествие и торжественное возвращение домой. Он не просто позволил советской пропагандистской машине нарисовать фантастическую картину своих состоявшихся достижений и будущих перспектив, но и сам в это поверил.

Утомительное путешествие по Америке было окончено. Впереди ждала столь же изнурительная поездка в Китай. Однако даже в самолете Хрущев не стал предаваться отдыху: едва Ту-114 поднялся в воздух и взял курс на Москву, глава государства вызвал двух стенографисток и принялся за работу. Через час

после прибытия, в 16.00 по московскому времени, он должен был «отчитаться» о своей поездке перед тысячами москвичей на стадионе «Лужники».

Во Внуковском аэропорту Хрущева встречал весь Президиум. И не только Президиум: казалось, здесь собрался едва ли не весь партийно-государственный аппарат вместе с дипломатическим корпусом. Пионеры преподнесли Хрущеву и его родным букеты цветов. Десятки тысяч москвичей махали из окон многоэтажек правительственному кортежу, мчавшемуся по Ленинскому и Ломоносовскому проспектам. «Я видел, какой гордостью светилось лицо Хрущева, — вспоминает Аджубей. — Он даже отказался заехать отдохнуть после полета»[154].

Толпы москвичей ожидали Хрущева на стадионе. После исполнения гимна СССР и приветствия от первого секретаря Московского горкома с приветственными речами выступили: рабочий автомобильного завода («Никита Сергеевич с мощью ледокола разбивает лед холодной войны»), знатная доярка («Тучи холодной войны рассеиваются; и жить, и трудиться становится веселее»), академик и студент — «от лица всей советской молодежи»[155].

В своей речи, ровно пятьдесят раз прерванной бурными аплодисментами, Хрущев обещал слушателям новую эру мира и процветания. Эйзенхауэр, сказал он, проявил «государственную мудрость», «мужество и решимость». Президент пользуется «полной поддержкой своего народа» (заявление, радикально противоречащее официальной коммунистической пропаганде). Разумеется, Эйзенхауэр и Хрущев не могли «решить все проблемы холодной войны за один присест». «Силы зла» в Америке «вертятся, как черти на раскаленной сковороде», чтобы не допустить улучшения отношений между двумя странами. Однако президент «искренне желает положить холодной войне конец» и «готов употребить все свои силы на достижение между нашими странами соглашения».

Хрущев совершил серьезную политическую ошибку — возбудил у народа ожидания, которые едва ли могли исполниться. Однако психологически его слова очень понятны. По свидетельству сына, после путешествия в Америку он находился в такой «эйфории», что надеялся разрешить все противоречия с Китаем, просто обменявшись несколькими словами с Мао[156].

Переговоры с китайцами обернулись полным провалом, но это Хрущева не смутило — напротив, упрочило желание доказать, что его «личная дипломатия» приносит достойные плоды. Самым драматическим следствием этой эйфории стало заявление

Хрущева в январе 1960 года о сокращении Советской Армии еще на миллион человек. Кроме того, он предсказал, что вопрос Западного Берлина будет улажен «на основе мирного соглашения». А в феврале Политический консультативный совет стран Варшавского договора объявил, что мир вошел в «фазу переговоров», призванных уладить все «глобальные международные проблемы»[157].

Если бы такие заявления делались только «для внешних» целей, их можно было бы списать на пропаганду. Однако то же самое говорилось и дома, особенно с началом подготовки к ответному визиту Эйзенхауэра. Предполагалось, что президент США прибудет 10 июня, проведет в России неделю, посетит Москву, Ленинград, Киев и Иркутск, затем поплывет на корабле вниз по Ангаре и 19 июня морем прибудет в Токио.

За подготовкой к приему высокого гостя надзирал лично Хрущев. Обычно он скупился на строительство правительственных зданий и дач для элиты, однако теперь распорядился возвести новые роскошные особняки везде, где будет останавливаться президент. Одну из таких построек — деревянный охотничий домик на берегу Байкала — местные жители до сих пор называют «Эйзенхауэровой дачей». Твердо решив превзойти то гостеприимство, которое было оказано ему в Кемп-Дэвиде, Хрущев не знал, где принимать гостя: у себя на подмосковной даче или в новом правительственном доме для гостей в Огареве. Дача больше похожа на Кемп-Дэвид — ведь это загородное владение самого Хрущева: однако в ней маловато ванных комнат.

Гольф в Советском Союзе был неизвестен, но Хрущев приказал разбить одно поле для гольфа — специально для высокого гостя. Когда Эйзенхауэр высказал пожелание передвигаться по СССР на собственном самолете, Хрущев пошел на это, проигнорировав возражения военных. КГБ опасался, что с самолета будут сделаны фотографии советских мостов, шоссе и железных дорог — и опасался справедливо: в днище президентского самолета, стоявшего в секретном ангаре на военно-воздушной базе Эндрюз, уже вделали фотокамеры с высоким разрешением[158].

В основном приготовления к визиту Эйзенхауэра велись без огласки: но кое-что доходило и до простых людей. Целые районы в Москве и Ленинграде подвергались косметическому ремонту: в срочном порядке укладывался новый асфальт, перекрашивались фасады и т. п. Полную перестройку осуществили и в маленькой деревушке в глубине страны, в которую как-то заехал один американский дипломат. Деревня лежала вдалеке от

утвержденных маршрутов Эйзенхауэра; однако вдруг президент захочет туда заглянуть? «Пусть приезжает, — говорил председатель местного сельсовета, — мы его примем так, как ни одного вождя в Советском Союзе не принимали!»[159]

Много десятилетий москвичи предпочитали не звонить по телефону американцам, живущим в Москве, опасаясь прослушивания. Теперь американцы вдруг начали получать от своих советских друзей звонки с предложениями встретиться. Искренний энтузиазм советских граждан на глазах перерастал в проамериканские настроения: сообразив это, чиновники от идеологии забили тревогу. Образ Соединенных Штатов как «классового врага», тщательно культивируемый сорок лет, расползался на глазах.

По словам Сергея Хрущева, его отец тоже был обеспокоен. «Теперь все его надежды связывались с приближающимся саммитом и еще более — с визитом президента Эйзенхауэра в Советский Союз». Он заложил фундамент новой эры, и «было особенно важно не споткнуться с первого же шага, когда нервы у всех натянуты. Одно неловкое движение, один неверный шаг — и все его труды пойдут прахом»[160].

Глава XVI
ОТ У-2 НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ ДО БОТИНКА НА НЬЮ-ЙОРКСКОМ СТОЛЕ: АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 1960

Рассвет 1 мая 1960 года выдался солнечным и ясным. В 6.00, когда Хрущев еще спал в своей резиденции на Ленинских горах, ему позвонил министр обороны Малиновский и сообщил: американский самолет-разведчик У-2 только что пересек границу СССР с Пакистаном и двигается вглубь советской территории.

За завтраком Хрущев выглядел угрюмым, молчал и задумчиво постукивал ложечкой по краю стакана с чаем. Домашние знали, что, когда он в таком настроении, вопросов лучше не задавать: захочет — сам расскажет. Допив чай, он вышел на улицу, где уже ждал лимузин. Обычно по праздникам родные Хрущева ехали вместе с ним на Красную площадь, чтобы, по традиции, установившейся при Сталине, наблюдать за праздничной демонстрацией и парадом с трибун по левую сторону Мавзолея. Однако в тот день им пришлось добираться до центра самим. Хрущев спешил на экстренное заседание Президиума ЦК КПСС.

— Они снова летают над нами, в том же районе, — хмуро объяснил Хрущев сыну, провожавшему его до машины.

— Мы его собьем? — спросил Сергей.

— Глупый вопрос, — отрезал отец. Малиновский клялся, что ракеты и самолеты-перехватчики наготове; однако самолетов было слишком мало, а возможности ракет ограничены. — Все зависит от того, что там происходит.

— Где самолет сейчас? — спросил Сергей.

— Над Тюратамом, — ответил Хрущев. — Но кто знает, куда он повернет дальше. — С этими словами он сел в машину и уехал[1].

Это был не первый американский полет над советской территорией. Разведывательные полеты вдоль советских границ начались в 1946-м, а уже с 1952 года американские и британские самолеты не единожды вторгались в советское пространство, залетая далеко вглубь советской территории и фотографируя с воздуха такие города, как Мурманск, Владивосток и Сталинград[2]. 4 июля 1956 года первый самолет-разведчик У-2, стартовав из Висбадена, пролетел над Польшей и Белоруссией, сделал два круга над Москвой, затем ушел на север, в сторону Ленинграда и

вновь пересек границу над Прибалтикой. На той же неделе было совершено еще шесть вылетов У-2 — над Центральной Россией и Украиной. После некоторого перерыва в ноябре 1956 года полеты возобновились.

Эйзенхауэр, лично одобрявший каждый разведвылет, понимал, на какой риск идет. Сам он однажды признал, что «ничто не могло привести к объявлению войны так легко, как нарушение нашими ВВС советского воздушного пространства»[3]. Однако он считал необходимым наблюдать за развитием советских ракетных баз (по поводу которых подвергался резкой критике соперников-демократов, считавших, что республиканское правительство не обеспечивает безопасность США) и полагал, что новые самолеты У-2, летающие на большой высоте, неуязвимы для советских средств противовоздушной обороны. Подбадривало его и то, что после нескольких случаев в 1956 и 1958 годах советское правительство больше не подавало протесты против разведполетов, как будто с ними примирилось.

После встречи с Хрущевым Эйзенхауэр в течение семи месяцев воздерживался от санкционирования разведвылетов, опасаясь помешать грядущему саммиту. Однако ЦРУ настаивало на продолжении программы: разведчики указывали на то, что новые У-2 оборудованы более мощным мотором, позволяющим летать еще выше, и на то, что в Кемп-Дэвиде Хрущев ни словом не упомянул об американском шпионаже — и в конце концов 9 апреля 1960 года Эйзенхауэр дал разрешение на вылет.

Однако Эйзенхауэр глубоко ошибался в оценке намерений Хрущева. Тот вовсе не примирился со шпионажем, и если не упоминал о нем в Кемп-Дэвиде, то лишь для того, чтобы избежать унижения. На самом деле американские самолеты превратились для него в навязчивую идею. В разговорах с сыном он то и дело возвращался к этой теме: Сергею казалось даже, что отец с нетерпением ждет появления нового разведчика, чтобы его сбить. «Таких наглецов надо учить, — говорил Хрущев, — и учить кулаками. Пусть только попробуют еще раз сунуть сюда нос!»[4]

9 апреля 1960 года Хрущев был у себя на даче в Крыму, принимал представителей советского генералитета и руководителей промышленности. В это время У-2 поднялся с аэродрома в Пакистане и устремился на север — в СССР. Он пролетел над сверхсекретным ядерным полигоном близ Семипалатинска, испытательным полигоном противовоздушной обороны в Сары-Шагане, на берегу озера Балхаш, и над ракетным полигоном Тюратам (впоследствии — знаменитый Байконур). Советские ВВС и силы воздушной обороны пытались остановить чужака — однако перехватчик МиГ-19 потерпел крушение, так и

не сумев приблизиться к американцу, а пока более совершенные Т-3 получали из Москвы разрешение воспользоваться секретным семипалатинским аэродромом, шпион уже скрылся. Что же касается ракет — в Сары-Шагане не было необходимого оборудования, а ракеты из Тюратама не смогли поразить цель[5].

После отъезда гостей Хрущев и его сын Сергей в мрачном молчании прогуливались по берегу моря. Сергей спросил, как же шпиону удалось уйти; Хрущев чертыхнулся в ответ. Придется, сказал он, проглотить эту «горькую пилюлю». Протестовать нет смысла: жалобы лишь укрепят самоуверенность империалистов, ибо «слабый жалуется на сильного, а сильный не обращает на него внимания и продолжает свое черное дело»[6].

Хрущев терялся в догадках, кто санкционировал полет. Конечно, не его «друг» Эйзенхауэр — не мог же он сделать такое накануне саммита, открывающегося в Париже 16 мая! Должно быть, Аллен Даллес в преддверии переговоров решил продемонстрировать Советскому Союзу силу США. Хрущев распорядился сурово наказать нескольких генералов и других офицеров, виновных в нерасторопности, и потребовал у Малиновского, чтобы следующий американский самолет был сбит во что бы то ни стало[7].

В этом же месяце Эйзенхауэр дал разрешение на еще один полет. Даллес и Ричард Бисселл, курировавший программу У-2 в ЦРУ, настаивали на необходимости сделать свежие фотографии Тюратама, военных заводов близ Свердловска, а также Плесецка, в котором, по сообщениям, готовили к испытаниям первые советские межконтинентальные ракеты. Фотографии необходимо было сделать в течение трех месяцев, пока не изменился угол падения солнечных лучей в северных широтах — иначе все пришлось бы отложить до следующего года. Поколебавшись, Эйзенхауэр дал разрешение на полет до 25 апреля; но помешала погода, и вылет пришлось перенести на 1 мая. Это было опасное решение. Появление в советском небе шпиона в праздник Первомая скорее всего (как оно и случилось) могло быть воспринято советским руководством как наглое оскорбление, плевок в лицо. Кроме того, впервые У-2 должен был пролететь надо всей территорией СССР. Операция, получившая кодовое название «Большой взлом», включала в себя вылет из Пакистана, пролет над Тюратамом, Свердловском, Плесецком (в тысяче километров к северу от Москвы) и приземление на аэродроме Бодё в Норвегии[8].

Лимузин Хрущева мчался к Кремлю, а на командном пункте сил ПВО СССР царила паника. Не только Малиновский, но и сам Хрущев подтвердил: еще одна неудача в деле с американскими

самолетами-разведчиками — и полетят головы. Однако из-за праздника ПВО находились в состоянии крайне низкой боевой готовности, и похоже было, что катастрофы не избежать.

Когда самолет Фрэнсиса Гэри Пауэрса достиг Свердловска, местное командование распорядилось поднять в воздух единственный высотный перехватчик, случайно оказавшийся на близлежащей базе ВВС Кольцово, куда он прилетел по какому-то другому поводу. Пилот Т-13 капитан Игорь Ментюков в парадной форме стоял на остановке и ждал автобуса; тут к остановке подлетел автомобиль с военными номерами, и его повезли обратно на базу. Ни высотного костюма, ни кислородной маски при нем не было, а сам самолет был лишен какого-либо оружия. На высоте двадцать километров Ментюков почувствовал, что задыхается; однако ему было приказано догнать У-2 и пойти на таран. К счастью для Ментюкова, он так и не смог догнать Пауэрса и вернулся на базу невредимым[9].

Не столь повезло старшему лейтенанту Сергею Сафронову. Его МиГ-19 был сбит ракетой, предназначенной для Пауэрса. К этому времени и сам У-2 был подбит или, точнее, развалился на части — его разнесла мощная ракета, сдетонировавшая прямо позади него. Однако по показаниям радаров еще несколько минут создавалось впечатление, что полет продолжается: поэтому в Пауэрса было выпущено несколько дополнительных ракет, одна из которых подбила Сафронова[10].

Хотя ЦРУ было убеждено, что при крушении У-2 пилот выжить не может, Пауэрс выбросился с парашютом и благополучно приземлился на территории советского колхоза. Оправившись от изумления, колхозники препроводили его в КГБ. Пленение пилота и его признания должны были стать катастрофой и для Эйзенхауэра, и для Хрущева; однако Эйзенхауэр пока ничего не знал (и узнал только через несколько дней), а Хрущев, получив это известие, был на вершине блаженства. Он наблюдал демонстрацию на Красной площади (с лозунгами типа «Больше удобрений на поля!» и «Требуем немедленного подписания мирного договора с Германией!»), когда маршал Сергей Бирюзов, командующий ВВС, взошел на трибуну и протиснулся к Хрущеву. На нем не было парадной формы — по этому признаку иностранные дипломаты поняли, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Микрофон перед Хрущевым не уловил всего разговора, однако вся площадь услышала, как Хрущев воскликнул: «Отлично сработано!»[11]

Вернувшись в тот вечер домой, Хрущев, по рассказу сына, был «необычайно доволен. Наконец-то он чувствовал себя отомщенным». Однако месть была еще не завершена: предстояло

скрыть от американцев, что самолет и пилот находятся у него в руках, посмотреть, что за историю они придумают для прикрытия, а затем разоблачить их ложь. Тогда-то, пояснял Сергей, Хрущев отплатит своим мучителям «за все годы унижений»![12]

Хрущев по-прежнему считал, что ответственность за происшедшее несет не Эйзенхауэр, а бесчестные военные и разведчики. В другое время это бы его встревожило, но сейчас только ободряло. Шпионаж шпионажем, объяснял он сыну, а дипломатия — дело другое, так что долгожданный парижский саммит откроется в назначенное время. Хрущев полагал, что, когда ловушка захлопнется, Эйзенхауэру придется публично извиниться и, возможно, даже примириться с показательным судом над пленным пилотом[13].

Однако Хрущев перехитрил самого себя: хитро разработанный план обернулся против него самого. Как он признался посетителю-американцу в 1969 году, история с У-2, в сущности, стала для него началом конца. Доктор А. Мак-Гихи Харви приехал в Москву для осмотра дочери Хрущева Елены, страдавшей от коллагеноза. За ужином в доме у Хрущевых (организовать который было не так-то легко — Хрущев жил, в сущности, под домашним арестом) доктор Харви спросил, как Хрущев лишился власти. «Все было хорошо, пока не случилась одна вещь, — ответил Хрущев. — Мы подстрелили над советской территорией Гэри Пауэрса, и после этого все пошло наперекосяк». После этого «те, кто считал, что Америка нам угрожает и что главное в нашем мире — военная сила, получили подтверждение своей правоты, и я не мог более их сдерживать»[14].

Хрущев сказал правду — хотя и не всю, как мы увидим далее.

Чтобы лучше понять масштабы урона, нанесенного международным отношениям происшествием с У-2, необходимо коснуться общего положения в международной политике этого периода.

В западных странах надежды, возбужденные визитом Хрущева в Америку, вскоре угасли, а к апрелю 1960 года эти надежды, по-видимому, не разделял уже и сам Хрущев.

Эйзенхауэр старался сдержать обещание, данное в Кемп-Дэвиде. По словам посла Томпсона, в январе 1960 года «в Кемп-Дэвиде нами было принято решение добиваться согласия наших союзников приложить усилия для разрешения берлинской проблемы»[15]. Первоначально Эйзенхауэр назначил саммит на декабрь 1959 года. Президент «спешил», замечает по этому поводу Макмиллан, — но отнюдь не спешили де Голль и Аденауэр. Французский президент не видел после визита

советского лидера в США результатов, оправдывающих такую спешку; кроме того, перед четырехсторонней встречей ему нужно было уладить собственные дела. Де Голль стремился к паритету с западными партнерами: перед саммитом он считал необходимым взорвать первую французскую атомную бомбу, организовать поездку Хрущева по Франции, аналогичную поездке по США, а также «предварительную» консультацию с западными партнерами. Если это означало отсрочку до весны — тем лучше, поскольку де Голль не ожидал от саммита ничего, кроме «хора медоточивых заверений в своей доброй воле и уклончивых заявлений, чередуемых с критикой в адрес друг друга и объяснениями, почему каждому из нас нечего бояться»[16].

Аденауэр еще меньше стремился к проведению конференции, в которой ему даже не пришлось бы участвовать. Любое соглашение с Хрущевым, по которому положение Западного Берлина будет изменено, он рассматривал как капитуляцию. В марте западногерманский канцлер так упрямо сопротивлялся всем предложениям США, что Эйзенхауэр (какое-то время он готов был примириться с тем, чтобы сделать Западный Берлин «чем-то вроде вольного города», безопасность которого будет гарантирована США или всеми четырьмя державами) посетовал, что Аденауэр «проявляет признаки дряхлости»[17]. Однако и сам Эйзенхауэр, хотя и признавался Макмиллану, что «задержка его угнетает», «не был расположен к новым спорам». Это подтвердило ощущение Макмиллана, что «искренних сторонников саммита только двое — Хрущев и я»[18]. Правда, и энтузиазм английского премьер-министра не был совсем безоблачным. Когда в декабре 1959 года де Голль признался Макмиллану, что ожидает приезда Хрущева «без особой радости», англичанин в ответ пробормотал лишь, что в последнее время Хрущев стал «заметно менее утомителен и общаться с ним теперь приятнее»[19].

В результате глухого сопротивления союзников позиция Вашингтона по вопросу о Берлине постепенно сместилась к той, что была до визита Хрущева. Несколько лучшие перспективы представлял вопрос о запрете ядерных испытаний: хотя предстояло решить разногласия по поводу частоты инспекций, состава контрольных комиссий и использования ядерной энергии в мирных целях, «все предзнаменования по этой проблеме, — замечает Макмиллан, — были благоприятными». В апреле он полагал, что мир стоит «на пороге большого шага вперед»[20]. Де Голль смотрел на вещи более трезво и «не ожидал от парижской встречи особых результатов»[21].

Сразу после путешествия в Америку Хрущев был уверен, что и соглашение по Берлину, и запрет ядерных испытаний — дела

почти решенные[22]. Это объясняет предпринятое им новое сокращение вооружений — увольнение из Советской Армии почти 1,2 миллиона человек, в том числе 250 тысяч офицеров. Меморандум, отправленный им в Президиум 8 декабря, лучится оптимизмом и энтузиазмом. «С таким широким выбором ракет, как у нас, и с таким их качеством мы можем буквально потрясти мир!» — заявлял он, забывая о том, что на тот момент у СССР имелись всего четыре межконтинентальные ракеты на ракетодроме в Плесецке. На случай, если «некоторые товарищи» станут возражать против одностороннего сокращения вооружений, Хрущев пояснял, что западные державы теперь окажутся в ловушке: если они не последуют советскому примеру, им придется «выкачивать деньги из бюджета, подрывая национальную экономику», что приведет «к выигрышу для нашего строя». Хрущев мечтал даже о том, чтобы превратить Советскую Армию в своего рода добровольческие силы, служба в которых проходила бы «по территориальному принципу и без отрыва от производства».

Впрочем, тут же Хрущев добавлял, что к этому необходимо идти постепенно. «Конечно, я не могу предвидеть всего», — скромно замечал он. Однако он ожидал, что «в конце января или в феврале» сокращение будет одобрено. Так и случилось: 14 декабря Президиум одобрил это решение, две недели спустя ему дал свое благословение пленум ЦК, а в середине января Хрущев передал предложение о самом масштабном с 1924 года сокращении советских Вооруженных сил на формальное одобрение в Верховный Совет[23]. Ни страны Варшавского договора, ни саму ГДР о согласии, разумеется, не спрашивали. Хрущев признавался послу Томпсону, что «ему пришлось приложить все силы, чтобы убедить в своей правоте советских военных, но теперь все они с ним согласны»[24].

На праздновании Нового года в Кремле Томпсон имел случай лично убедиться в радужном настроении Хрущева. Праздник был пышным, как и в прошлом году: были приглашены едва ли не все представители советского истеблишмента и дипломатического корпуса, столы ломились от яств и напитков, сверкала украшениями огромная елка. Около двух часов ночи, когда еще произносились тосты и в центре зала танцевали пары в вечерних костюмах, Хрущев пригласил Томпсона, его жену, французского посла с женой и итальянского коммуниста Луиджи Лонго в соседний зал, поменьше, зато с фонтаном. Он хотел также позвать с собой британского и немецкого послов, однако они уже ушли домой, и вместо них Хрущев пригласил Микояна и Козлова. Праздник продолжался в интимной, подогретой алкоголем

атмосфере. Хрущев объявил (как докладывал Томпсон в Вашингтон на следующий день), что «чрезвычайно доволен поездкой в США и просто очарован лично президентом Эйзенхауэром», добавив, что не сомневается «в успешном разрешении наших проблем». «Неоднократно и торжественно» повторив, что «при нынешних ужасных средствах вооружения» война стала бы самоубийством, Хрущев похвастал, что на Францию нацелены тридцать советских ядерных ракет, а на Англию — пятьдесят. «А на США?» — спросила Джейн Томпсон. «А это секрет», — ответил Хрущев. Затем Хрущев снова предупредил, что, если на саммите стороны не придут к соглашению по Германии, он подпишет с ГДР сепаратный договор, который положит конец правам западных держав в Берлине. Козлов и Томпсон несколько раз порывались распрощаться, однако разошлись по домам только к шести утра[25].

В тот же вечер Хрущев сделал Томпсонам необычное предложение: пригласил их с детьми и помощника посла Бориса Клоссона, также с супругой и детьми, к себе на дачу на выходные. В пятницу вечером черные лимузины привезли американских дипломатов в Подмосковье, где охранники катали детей на санках с горки. На следующее утро, в шубе и шапке-ушанке, приехал на дачу сам Хрущев. Программа дня включала катание на арабских скакунах на близлежащем конезаводе («Только выбирайте тех, что посмирнее», — предупредил Хрущев конюха), а затем — долгий веселый обед, во время которого Микоян произносил тосты, Аджубей ставил на проигрыватель одну пластинку за другой, Громыко открыто и искренне улыбался (таким Клоссон видел его впервые), а его жена предупреждала американцев, что обед затянется надолго, потому что Хрущев «говорит не умолкая». «Если бы нас сейчас увидел Сталин, — заметил Микоян, — он перевернулся бы в гробу!»[26]

В таком же приподнятом настроении Хрущев встретил Генри Кэбота Лоджа, посетившего Москву в начале февраля. Советский руководитель попросил передать Эйзенхауэру, что тот сможет побывать в СССР «везде, где захочет», даже на секретных военных объектах, что Хрущев с нетерпением ждет не только его самого, но и его внуков и что прием будет столь дружеским, что службе охраны президента не придется предпринимать никаких мер предосторожности. Когда Лодж выразил сожаление, что визит Хрущева в Лос-Анджелес прошел «не вполне гладко», тот, махнув рукой, ответил, что давно об этом забыл: «Со временем мои воспоминания об этой поездке становятся все приятнее»[27].

Несмотря на такой оптимизм, Хрущев не мог не замечать, что реальность мало соответствует его ожиданиям. В последующие

три месяца он, очевидно, разрывался между надеждой и беспокойством — это видно по той лихорадочной деятельности, которой он старался занять себя, словно опасаясь оставаться наедине со своими мыслями. «Как будто прорвало плотину, — замечает Сергей Хрущев, описывая бесконечные поездки и встречи отца в эти месяцы. — Он крутился, как белка в колесе»[28].

Вскоре после встречи с Лоджем Хрущев в сопровождении сына Сергея, дочерей Юлии и Рады и внучки Юлии отправился в турне по Азии. 11 февраля он прибыл в Индию, 16-го — в Бирму, 18-го — в Индонезию, 2 марта — в Афганистан, а 5 марта вернулся в Москву. Это путешествие должно было укрепить связи СССР с развивающимися странами, однако, учитывая, что три из четырех перечисленных стран он уже посещал пять лет назад, а также то, что расписание Хрущева состояло не столько из переговоров, сколько из приемов и осмотра достопримечательностей, можно сказать, что поездка носила скорее развлекательный характер, а также призвана была укрепить имидж Хрущева как «народного политика», личным обаянием завоевывающего друзей по всему миру.

В конце этого путешествия, когда один западный корреспондент спросил, верны ли слухи, что перед саммитом состоится тайная встреча Хрущева с Эйзенхауэром, тот шутливо ответил: «А мы уже встречались. Вчера. Да-да, он прилетал ко мне сюда, в Индонезию, мы хорошо, по-дружески поговорили, а сегодня он улетел домой»[29]. В этой шутке заключалась доля истины: несомненно, Хрущев хотел бы еще раз встретиться и «хорошо, по-дружески поговорить» с Айком. Через час после прилета в Москву Хрущев, по своему обыкновению, рассказал о поездке нескольким тысячам москвичей, собравшимся на стадионе в Лужниках. А десять дней спустя улетел на полторы недели во Францию. Можно сказать, что в феврале и марте он, в сущности, почти не был в Москве.

Франция — это, конечно, не Бирма. Де Голль был одним из «большой четверки», и своим союзникам он доставлял не меньше неприятностей, чем Советский Союз. Если бы Хрущеву удалось убедить его занять на предстоящем саммите те же позиции, что у Эйзенхауэра и Макмиллана, Аденауэр оказался бы в изоляции[30]. Кроме того, де Голль был не только ярким политиком, но и яркой личностью. «Чем-то он привораживал Хрущева, — вспоминает его зять и уточняет далее: — Мне представляется, волевой устойчивостью»[31]. Восхищался Хрущев и другими его качествами. Повторяя мнение Сталина, он оценивал де Голля как «одного из самых умных государственных деятелей в мире, по крайней мере

среди буржуазных лидеров». Нравились ему «трезвость ума и воля» де Голля. Французский лидер как-то обронил, что «не нуждается в комментариях Министерства иностранных дел» по внешнеполитическим вопросам. Немного смущали открытого и импульсивного Хрущева «невероятное спокойствие и неторопливость» прославленного француза[32].

Де Голль отзывался о своем госте намного сдержаннее, но в целом благожелательно. За исключением «одной довольно бурной речи, — рассказывал он Макмиллану, — господин Хрущев был очень любезен». Он «горд и внимательно следит за тем, какое действие производят его слова» — хотя ему и не всегда удается добиться желаемого эффекта. Хрущев — «человек умный, проницательный, всего добившийся своими силами»; однако, хотя в целом он хорошо разбирается в обсуждаемых проблемах, он «не всегда внимателен к деталям» и «для каждого вопроса выработал определенные формулы, которые повторяет по многу раз»[33].

Сам де Голль вел переговоры в совершенно иной манере. «В вопросах межгосударственных отношений у него проявились оттенки, которые мы не могли объяснить, — вспоминал позже Хрущев. — Какие-то особенности его личных политических взглядов, которые он не раскрывал публично». Де Голль разделял мнение Хрущева, что объединенная Германия может представлять угрозу («Если такое случится, — пообещал он, — мы будем с вами»), и определенно не был сторонником объединения. Однако для достижения соглашения по Германии, настаивал он, необходимо снизить напряженность, которую давление Хрущева по берлинскому вопросу только повышает. Если мы сумеем достигнуть реального равновесия сил в Европе, продолжал де Голль, «то не будем больше нуждаться в США». Однако, согласно де Голлю, для достижения равновесия Западная Германия должна быть прочно присоединена к западному лагерю — что совершенно не устраивало Хрущева. Вежливо, но достаточно внятно де Голль дал понять, что считает дипломатию Хрущева грубой и неумелой, а в одном случае даже упрекнул его, как ребенка: «Ваш тон в германском вопросе меня удивляет». Хрущев прав в том, продолжал он, что решение германской проблемы без достижения соглашения по Берлину невозможно — однако это не значит, что давление по берлинскому вопросу приведет к подписанию договора с Германией[34].

Помимо переговоров с де Голлем, затронувших также вопрос разоружения в Африке, Хрущев совершил турне по Франции. И в Париже, и в провинции его принимали пышно и торжественно, оказывая ему всевозможные знаки уважения. Когда Хрущев узнал, что в провинциях его будут сопровождать местные префекты,

помимо всего прочего курирующие полицию, его «слегка покоробило»: «Как же так? Нас будет принимать полицейский начальник, и мы потом будем проживать под крылышком у французской полиции? Нет ли тут какого-то ущемления?» Однако лидер французской компартии Морис Торез объяснил ему, что «это считается проявлением внимания со стороны президента. Префект — представитель президента, поэтому он и принимает его гостей»[35]. И Хрущев успокоился.

В своих речах Хрущев хвастал, что СССР скоро обгонит Запад по всем статьям, однако, помня американский урок, больше не заводил разговоров о том, кто кого похоронит. Его поразили красота Парижа и Лувр, напомнивший ему о том, как еще в тридцатых годах, будучи в Ленинграде, он попытался осмотреть за один день весь Зимний дворец: «Бегло прошел по нему. Это отняло у меня целый день. Потом у выхода я буквально свалился на какую-то скамейку, чтобы передохнуть. Тогда я был молод и крепок, но так утомился…»[36] Неприятных моментов было немного. Когда в Реймсе губернатор Луи Жакино упомянул об «агрессорах, вторгшихся во Францию», Хрущев поправил его: «Говорите прямо — немцы!» В таких вопросах лучше проявлять терпение и выражаться осторожнее, заметил Жакино. «Иногда я жалею, что у меня не было возможности пройти дипломатическую школу», — с неудовольствием отвечал Хрущев. Однако он, бывший шахтер, предпочитает выражаться «резко, как принято у рабочих, без приглаженных фраз и выражений, за которыми ничего не разберешь». В отличие от своих дипломатичных хозяев, он предпочитает «называть вещи своими именами». Однако «хочу вам заметить, что терпение у меня есть. У меня крепкие нервы. Я умею терпеть, в сущности, я сейчас веду себя очень терпеливо»[37]. В другой раз, на импровизированной пресс-конференции в поезде из Лилля в Руан, в ответ на острые вопросы корреспондента Си-би-эс Дэниела Шорра Хрущев принялся его распекать: «Пишите свои ядовитые статейки, пока все не начнут плевать вам в лицо… Когда меня бьют по правой щеке, я левую не подставляю — я бью в ответ, да так, чтобы у обидчика голова с плеч покатилась!»[38] Хрущев вернулся домой 4 апреля. По воспоминаниям Аджубея, поездка во Францию «вполне могла создать у Хрущева иллюзию полного и блестящего восхождения к мировому признанию» и вызвать «самоупоение успехами», которое уже начало тревожить некоторых из его ближайшего окружения[39]. Однако на этот раз Хрущев проявил удивительную выдержку — обратился к народу не сразу по приезде, а только на следующий день, причем признал, что перед этим провел бессонную ночь, размышляя о том, «как я представил

нашу великую страну и сумел ли достойно выразить и защитить интересы советского народа»[40].

Тем временем в СССР нарастало тщательно подавляемое беспокойство. Январское сокращение армии вызвало глубокое недовольство среди военных, и теперь это недовольство начали разделять все более широкие партийные и правительственные круги. Из-за рубежа приходили сообщения, что Аденауэр протестует против любых западных уступок по германскому вопросу и что США снова склоняются к мысли обеспечить его ядерным оружием. Посол Меньшиков предупреждал из Вашингтона, что позиция Соединенных Штатов колеблется. Кроме того, «консерваторы» опасались, что политика Хрущева в отношении США посеет раздор с Китаем и, хуже того, возбудит прозападные симпатии в самом СССР. Последнее начало беспокоить и самого Хрущева. «Не внушаем ли мы избыточные надежды всем этим людям? — говорил он одному из своих помощников. — А что, если нам не удастся… добиться такой разрядки, которая позволит значительно поднять жизненный уровень народа?»[41]

Члены Президиума разделяли эти опасения. В январе 1960 года Брежнев, как сообщают, задавал Хрущеву вопросы по поводу сокращения войск[42]. На заседании Президиума 7 апреля в отношении политики Хрущева высказывались критические замечания. Стоит вспомнить, как боялись члены Президиума противоречить своему главе, чтобы понять: свои опасения они выразили в общих, обтекаемых фразах, так что он не мог их не разделять. Еще более усилились общие опасения после появления самолета-шпиона 9 апреля, а также после двух сделанных в апреле заявлений вашингтонской администрации. И госсекретарь Гертер (4 апреля), и его заместитель Дуглас Диллон (20 апреля) вернулись к докемп-дэвидской риторике по вопросу о Западном Берлине (разговоры об «освобождении» Западного Берлина абсурдны — он и так свободен), а также предупредили, что Хрущев «ступает по тонкому льду» и что от предстоящего саммита не стоит ожидать «серьезного прогресса»[43]. В довершение к этому, 22 апреля Мао опубликовал статью под названием «Да здравствует ленинизм!», в которой обвинял Москву в заигрывании с Эйзенхауэром и предательстве дела коммунизма. На случай, если Хрущев этого не заметил, китайская политическая газета «Жэньминь жибао» перечислила тридцать семь агрессивных действий США после Кемп-Дэвида, заключив: «Мы не видим коренных перемен ни в военной политике империалистов в целом, ни в позиции Эйзенхауэра»[44].

25 апреля тон Хрущева изменился. Выступая в Баку, он внезапно начал подчеркивать препятствия к достижению соглашения и выразил лишь слабую надежду, что по окончании переговоров на совещании в верхах и отъезда участников совещания из Парижа «отношения между представленными странами будут лучше, чем они были до этого, а не наоборот»[45]. «По-видимому, — писал позже Трояновский, — происходила смена настроений, довольно типичная для Никиты Сергеевича, когда эйфория постепенно уступала место более трезвому взгляду на вещи»[46].

Оглядываясь назад, бывший работник ЦК Федор Бурлацкий, ветеран-американист Георгий Арбатов и консультант «пресс-группы» Хрущева Мэлор Стуруа полагают, что он использовал неудачный полет У-2 как предлог для срыва саммита, понимая, что тот не ответит его ожиданиям. Однако те, кто стоял ближе к Хрущеву, это отрицают. Вечером 1 мая, разговаривая с Трояновским, Хрущев еще не сомневался, что Эйзенхауэр спасет саммит, объявив, что ничего не знал о разведвылете, и возложив вину на других. Возможно, президент даже принесет извинения, — и тогда Хрущев на саммите окажется в выгодном положении. По рассказу его сына, Хрущев мечтал загнать Белый дом в ловушку и «наслаждался игрой», хотя и не вполне представлял, к чему она должна привести[47].

Вашингтон в этой ситуации держался не лучшим образом. Ему следовало бы молчать — или тщательно составить свою версию и придерживаться ее; вместо этого администрация Эйзенхауэра выдала неуклюжую ложь, от которой сама же потом отказалась. 3 мая, когда в ЦРУ узнали, что (как осторожно выразился заместитель Даллеса Роберт Эмори) «одна из наших машин потерпела крушение», НАСА выступило с заранее подготовленной сказкой о том, что один из самолетов якобы проводил метеорологические исследования над Турцией и потерпел катастрофу в восточной части страны[48]. Это была очевидная ложь, однако Эйзенхауэр полагал, что Хрущев закроет на нее глаза, как закрывал глаза на прежние вторжения в советское воздушное пространство. Даже если русские сбили самолет, рассуждал президент, нет сомнения, что пилот погиб. Хрущев пока молчал — хотя в тот же день в Москве поразил египетскую делегацию свирепым антиамериканским выступлением[49].

Утром пятого мая, в четверг, Хрущеву предстояло держать речь перед Верховным Советом. Поначалу ничто не предвещало беды. Посол США Томпсон не подозревал, зачем Громыко

пригласил его посетить заседание и, мало того, сесть в первом ряду дипломатической галереи; американская журналистка Присцилла Джонсон была так очарована дружелюбной атмосферой в кулуарах, что пересела к восточноевропейским коммунистическим журналистам. Первая часть речи Хрущева была посвящена внутригосударственной программе, в которой отразились тенденции разрядки: он говорил о приоритете потребительских товаров, о сокращении рабочей недели, об отмене с 1965 года некоторых налогов. И вдруг, посреди долгой и скучной речи, сообщил о злосчастном У-2 (но не о судьбе пилота), который, по его словам, поставил всю программу под угрозу[50]. Американский дипломат Владимир Туманов, сидевший рядом с Томпсоном, хорошо запомнил этот момент: день был пасмурный, зал плохо освещен, и лицо Хрущева казалось серым и мрачным; но, когда он заговорил о самолете, лучи солнца внезапно пробились сквозь облака и озарили его оживленное лицо[51].

Его откровения превратили зал заседаний в настоящий сумасшедший дом. Под аккомпанемент свистков и гневных возгласов Хрущев клеймил двуличие Америки. Несомненно, говорил он, американцы отправили шпиона, чтобы «нажать на нас», попытаться «запугать», «согнуть наши колени и нашу спину путем нажима»[52]. Но затем он объяснил, как Эйзенхауэр может спасти саммит: если «этот акт агрессии был произведен милитаристами из Пентагона без ведома президента», Хрущев поедет в Париж «с чистым сердцем и добрыми намерениями» и не пожалеет усилий, чтобы достичь «соглашения, удовлетворяющего обе стороны». Эти слова, как подметила Присцилла Джонсон, он произнес «низким, хриплым, усталым голосом»[53].

В тот же вечер на дипломатическом приеме в посольстве Эфиопии заместитель министра иностранных дел Яков Малик допустил большой промах. В ответ на вопрос шведского посла, к какой статье хартии ООН намерен СССР отнести это происшествие, Малик ответил: «Точно не знаю, мы еще не кончили допрашивать пилота». Эту реплику услышал Льюэллин Томпсон: он немедленно бросился к себе в посольство и отправил в Вашингтон сверхсрочную телеграмму. Она прибыла через четыре минуты после того, как пресс-секретарь НАСА официально заявил, что самолет, сбитый над территорией СССР, — очевидно, тот самый, что проводил метеорологические исследования в Турции и пропал со связи в воскресенье. Приди телеграмма на несколько минут раньше — и США удалось бы если не избежать катастрофы, то по крайней мере несколько смягчить удар.

Промах Малика сыграл Хрущеву на руку[54]. Вновь собралось

заседание Верховного Совета. Сперва Хрущев пересказал во всех деталях историю, сочиненную НАСА, а затем, с улыбкой и «конспиративно» понизив голос, объявил: «Товарищи, я должен вам рассказать один секрет. Когда я доклад делал, то умышленно не сказал, что летчик жив и здоров, а части самолета находятся у нас. *(Смех. Продолжительные аплодисменты.)* Это мы сделали сознательно, потому что, если бы мы все сообщили сразу, тогда американцы сочинили бы другую версию. *(Смех в зале. Аплодисменты.)*»[55]

И дальше торжествующий Хрущев, как говорится, отыгрался на американцах по полной программе. Фотографии с У-2, попавшие в руки советских чекистов, великолепны, однако «должен сказать, что наши фотоаппараты лучше делают снимки, более четкие...*(Смех в зале.)*». Пилот, Пауэрс, в случае провала должен был покончить с собой, уколовшись отравленной булавкой. «Вот какое варварство! *(Шум в зале. Возгласы: „Позор!“)* Вот этот инструмент, последнее достижение американской техники для убийства своих же людей. *(Хрущев показывает снимок отравленной ядом булавки.)*» При обыске у Пауэрса обнаружили семьдесят пять советских сторублевок. Может быть, он летел «обменять старые рубли на новые деньги? *(Взрыв смеха. Бурные аплодисменты.)*» Кроме собственных наручных часов, Пауэрс имел при себе две пары золотых часов и семь женских золотых колец. «Зачем все это нужно было ему в верхних слоях атмосферы? (*Смех в зале. Аплодисменты.)* Или, может быть, летчик должен был лететь еще выше — на Марс и там собирался соблазнять марсианок? *(Смех в зале. Аплодисменты.)*»

Впрочем, даже жестоко высмеивая американцев, Хрущев оставлял Эйзенхауэру пространство для маневра — он по-прежнему готов был выслушать признание, что президент «ничего не знал об этом инциденте». Однако такое признание могло обернуться для Эйзенхауэра еще бóльшим унижением — ведь это означало бы, что он не хозяин в собственной стране и не имеет понятия о важных операциях собственных спецслужб. В данном случае Хрущев действовал вполне разумно: как замечал позже Трояновский, «если бы он [Хрущев] не отреагировал достаточно жестко, ястребы в Москве и Пекине использовали бы этот инцидент — и не без основания — как доказательство того, что во главе Советского Союза стоит лидер, готовый снести любое оскорбление со стороны Вашингтона»[56].

В секретной телеграмме на имя госсекретаря США, отправленной вечером 7 мая, посол Томпсон предостерегал президента от признания, что вылеты совершались с его ведома[57]. Однако на следующий день Эйзенхауэр приказал своим

помощникам признать его участие, заявив, что разведка была необходима для предотвращения внезапного удара со стороны СССР, и отрицать только, что он знал о сроках и маршрутах конкретных вылетов — в том числе злосчастного вылета 1 мая[58].

Хрущев не облегчал Эйзенхауэру задачу — 9 мая он продолжил насмешки над американцами. На приеме в чехословацком посольстве он заявил, что американский Госдепартамент оказался в сложном положении: «нельзя, говорят, признаться, нельзя и отказаться. Получается как в известном анекдоте: вроде девица, но и не девица — ребенок есть. *(Смех, аплодисменты.)* Что же это за государство, если военщина делает то, против чего правительство?.. Да если бы у нас кто-либо из военных позволил себе такое, мы бы его взяли за ушко, да и на солнышко. *(Веселое оживление.)*»[59] Однако тут же он объявил о предстоящем новом (после января 1960 года) сокращении Вооруженных сил и даже пошутил над сопротивлением советских военных. «Вон товарищ Жадов чешет затылок — опять, мол, сокращение. *(Веселое оживление.)* Нет, это не сейчас будет, товарищ генерал, а позднее… *(Веселое оживление, смех.)*»

На этом приеме советские генералы, обычно крайне редко разговаривавшие с Томпсоном, намекнули ему, что Хрущев «ввязался в опасную игру и сильно рискует»[60]. Да и сам Хрущев понимал, что разразившийся кризис угрожает не только положению Эйзенхауэра, но и его собственному. «Мне нужно с вами поговорить, — улучив момент, шепнул он Томпсону. — Эта история с У-2 и меня поставила в ужасное положение. Вы должны помочь мне из него выбраться»[61].

Томпсон обещал попытаться — но, увы, было слишком поздно. В тот же день пресс-секретарь Госдепартамента Линкольн Уайт сделал четвертое за пять дней заявление по поводу У-2, в котором признал, что вылет был «санкционирован президентом». Хуже того — в заявлении не отрицалась возможность повторения подобных вылетов в будущем. Эйзенхауэр решил дать такие пояснения на случай, если Хрущев будет настаивать на отказе США от таких вылетов впредь как на условии своего участия в саммите[62].

Прочтя это заявление, вспоминает его сын, Хрущев «просто вскипел. Если они хотели вывести его из себя, то своего добились»[63]. Это было «предательство со стороны генерала Эйзенхауэра, человека, которого он называл своим другом, с которым совсем недавно сидел за одним столом… предательство, поразившее его в самое сердце. Он так никогда и не простил Эйзенхауэру этого самолета»[64].

Сам Хрущев описывал ситуацию так: «Президент сам лишил

себя возможности выгородиться из пикантной истории перед встречей в Париже… Теперь мы не щадили и президента, потому что он сам подставил свой зад, и мы раздавали американцам пинки, сколько угодно и как только возможно»[65]. Однако и в пылу гнева Хрущев продолжал готовиться к саммиту — отчасти стремясь переложить бремя его отмены на Запад, отчасти надеясь унизить своих мучителей на грандиозной парижской сцене, но отчасти и потому, что отмена саммита стала бы провалом политики, которую он проводил уже несколько лет.

10 мая в парке Горького открылась необычная выставка: в том же павильоне, где во время войны демонстрировались трофейное оружие и снаряжение немцев, теперь показывали обломки У-2 и личные вещи Пауэрса, в том числе пресловутые золотые часы, деньги для подкупа русских и неиспользованную отравленную иглу. С утра на выставку повалили толпы любопытных. В 16.00 охранники очистили зал: в павильон явился сам Хрущев. Вслед за ним вошли несколько сотен журналистов, только что «подготовленных» на брифинге министром иностранных дел Громыко, и началась «импровизированная» пресс-конференция, во время которой Хрущев стоял на стуле, чтобы его видели и слышали все.

Хрущев сообщил, что известие о прямом участии президента в подготовке шпионских вылетов его «потрясло»: «Бесстыдство, просто бесстыдство!» Ему это напомнило разбойников, которые в дни его юности в Юзовке грабили беззащитных прохожих. «Но мы — не беззащитные прохожие. Наша страна сильна и могуча». По словам Присциллы Джонсон, основным чувством, звучавшим в речи Хрущева, был не гнев, не презрение и не насмешка, а «разочарование и сожаление о порушенной дружбе». Когда Хрущева спросили, что теперь будет с запланированным визитом Эйзенхауэра в СССР, он задумался и молчал целых полминуты. «Что я могу сказать? — ответил он наконец. — Поставьте себя на мое место и ответьте за меня… Я человек, и у меня есть человеческие чувства». Несмотря на это, ни саммит, ни визит Эйзенхауэра не отменялись; Хрущев гарантировал, что приложит все усилия, чтобы «вернуть международные отношения на нормальные рельсы», и просил журналистов не писать ничего такого, что могло бы привести к усилению напряженности[66]. Присцилле Джонсон показалось, что Хрущев ведет диалог с самим собой, «как бы стараясь отговорить себя от участия в саммите»[67]. По впечатлению Трояновского, Хрущев «сам не мог определиться в этом вопросе»[68].

12 мая на заседании Президиума некоторые его члены предлагали отменить саммит, однако Хрущев продолжал

надеяться, что Эйзенхауэр в последнюю минуту сделает какой-либо жест примирения, который позволит встрече состояться. Он даже говорил сыну, что мог бы прилететь во Францию на день-два раньше намеченного срока, чтобы дать президенту возможность встретиться и помириться с ним лично[69]. Накануне отъезда, во время долгой прогулки по даче, Хрущев вспоминал поездку в Геттисберг, на ферму Эйзенхауэра. Обязательно, говорил он, надо будет привезти президента сюда, показать ему, как колосится пшеница на полях соседних колхозов, покатать на моторке по Москве-реке. И все же мысль о том, что сделали американцы, не оставляла Хрущева в покое. «Тот факт, что перед самой встречей был сбит У-2, постоянно присутствовал в моем сознании, — вспоминал он в своих мемуарах. — Я убеждался, что мы можем выглядеть несолидно: нам преподнесли такую пилюлю, а мы сделаем вид, что ничего не понимаем и идем на совещание, как будто ничего не произошло?»[70]

Хрущев утверждает, что уже на пути в Париж принял решение сорвать саммит. Скорее, как нам кажется, решение было принято перед отлетом из аэропорта «Внуково-2». Хрущев, Громыко, Малиновский и другие члены делегации заняли свои места в самолете. (В общей сложности в Париж летели двадцать один советник, пять разведчиков, восемь переводчиков, пять шифровальщиков, десять стенографистов, четыре специалиста по коммуникациям, четыре водителя, двадцать восемь телохранителей и других членов обслуживающего персонала, в том числе специалисты по финансам и врачи.) Делегацию провожали члены Президиума — сперва в стеклянном павильоне, затем под крылом самолета. Вскоре после взлета Хрущев сообщил своей свите, чего намерен потребовать от президента: пусть Эйзенхауэр извинится, накажет виновных и пообещает никогда больше такого не повторять. Скорее всего, продолжал Хрущев, президент сочтет такие условия невозможными, так что саммит окончится, едва начавшись. «Это достойно сожаления, — добавил он, — но у нас нет выбора. Полеты У-2 — это не только циничное нарушение международного законодательства, но и грубое оскорбление Советского Союза».

Трояновский слушал молча: сердце у него сжималось при мысли о возвращении к худшим временам холодной войны. В советском посольстве на улице Гренель в Париже обычно невозмутимый заместитель министра иностранных дел Валериан Зорин мерил шагами холл, бормоча себе под нос: «Ну и ситуэйшен!» Единственный, кому план Хрущева пришелся по душе, по словам Трояновского, был министр обороны Малиновский. По его насупленному виду во время саммита

западные наблюдатели даже сделали вывод, что он был отправлен с Хрущевым как представитель «жесткой линии», дабы проследить, чтобы Хрущев не проявил излишнюю мягкость. Согласно Трояновскому, об этом беспокоиться не приходилось. Страшиться следовало другого — что Хрущев проявит излишнюю резкость. Уже в Париже, когда Громыко упомянул в разговоре об увечье госсекретаря США Гертера, передвигавшегося на костылях, Хрущев громко проворчал: «А что, если при случае сказать: бог шельму метит?» — и Громыко, и Трояновский, ужаснувшись, принялись упрашивать Хрущева, чтобы он не вздумал сказать это Гертеру в лицо[71].

14 мая, когда самолет советской делегации приземлился в аэропорту Орли, Хрущев был крайне взвинчен: «Мы были напичканы аргументами взрывного характера… К нам нельзя было притронуться: тут же проскакивала искра. Таково было тогда наше состояние»[72].

Хрущев, как и намеревался, прилетел на день раньше, чтобы дать Эйзенхауэру время для примирения — однако сразу же ясно дал понять, что примирение едва ли возможно. Советскую делегацию поселили в бывшем королевском охотничьем домике, теперь приспособленном под дипломатическую резиденцию. После утренней прогулки, на которой он «помог» какому-то французскому крестьянину сгребать сено вилами, Хрущев принял телефонный звонок от де Голля. Пятиминутный формальный обмен любезностями — обычная дань вежливости — превратился в то, что де Голль позднее назвал «настоящей сценой». Хрущев сообщил французскому президенту о своем ультиматуме Эйзенхауэру. На замечание де Голля, что сама история с У-2 ясно свидетельствует о необходимости провести саммит, последовал «поток гневных возражений». Нынешний Хрущев совсем не походил на человека, с которым де Голль встречался в марте: «раньше я думал, что такие перемены случаются только в русских романах», — заметил позже французский президент[73].

В тот же день при встрече с Макмилланом Хрущев был несколько более «сговорчив» — однако смысл его слов не изменился. Зачитав заранее подготовленное заявление — то же, что уже слышал де Голль, — он «разразился речью, полной самых резких выражений в адрес США, Эйзенхауэра, Пентагона, а также реакционных и империалистических сил вообще». По ходу дела заметил, что Макмиллан — «аристократического происхождения», а он, Хрущев — «по происхождению простой шахтер». В молодости ему случалось «ловить воробьев, и эти птахи клевали его в ладонь»; однако советский народ — «не

воробьи, они достаточно сильны, чтобы нанести сокрушительный удар по каждому, кто попытается развязать войну». Эйзенхауэр в Кемп-Дэвиде называл Хрущева своим «другом», даже научил его этому слову по-английски; и вот теперь, говорил Хрущев, «его *френд* (он снова и снова с горечью повторял это слово), его друг Эйзенхауэр его предал»[74].

Западные державы на сетования Хрущева реагировали по-разному. Если Хрущев сорвет саммит, заявил де Голль, «Франции придется подчиниться неизбежному»; в конце концов, не она «так долго добивалась созыва этой конференции». Эйзенхауэр был разгневан, однако еще искал способ спасти саммит. Макмиллан, как всегда, готов был примкнуть к большинству, хотя и замечал, что «стать городом Объединенных наций — не такая уж ужасная судьба для Берлина»[75].

В понедельник 16 мая Хрущев и его делегация первыми прибыли в Елисейский дворец. Де Голль провел их по широкой мраморной лестнице в просторный зал с высоким потолком и зелеными стенами, окна которого выходили в сад. Посреди зала стояли, образуя квадрат, несколько столов. Вскоре появилась британская делегация; Хрущев и Макмиллан пожали друг другу руки. Эйзенхауэру Хрущев руки не подал[76].

Четыре делегации сели за стол: французы и американцы сидели друг напротив друга, по правую руку от американцев — русские, напротив них — англичане. «Мы собрались здесь на конференцию четырех держав, — заговорил де Голль, призвав собрание к порядку. — Вчера я получил от одного из участников, господина Хрущева, заявление, которое устно передал другим участникам, президенту Эйзенхауэру и господину Макмиллану. Хочет ли кто-нибудь что-нибудь сказать по этому поводу?»

Господин Хрущев заверил, что хочет. То же желание высказал и президент Эйзенхауэр. Де Голль предложил, чтобы Эйзенхауэр как глава государства и одновременно глава правительства говорил первым. Хрущев сердито возразил, что все руководители делегаций имеют равные права и что он попросил слова первым. Де Голль поднял брови и вопросительно взглянул на Эйзенхауэра; тот угрюмо кивнул.

Хрущев снова встал и, как позже рассказывал Макмиллан, «с жестикуляцией, как у мистера Микобера», извлек «из кармана толстую пачку отпечатанных на машинке листков бумаги» и принялся «поливать Айка (как Микобер Урию Типа[1]) смесью из официальных заявлений, саркастических замечаний и откровенных оскорблений»[77].

Советский руководитель зачитывал свою речь около сорока пяти минут (включая перевод). «Именно зачитал, — вспоминал он

позднее, — потому что в таких случаях никакое вольное изложение недопустимо. При вольном изложении могут появиться лишние слова, не так построится фраза, все это будет зафиксировано, а потом трудно исправить. Если допустить лишнее слово, тем более лишнюю фразу, появится возможность иного толкования текста — в пользу наших противников»[78].

Говорил он громко, изредка останавливаясь, чтобы отхлебнуть воды; левая бровь у него подергивалась, руки дрожали[79]. Поскольку президент Эйзенхауэр отказался осудить вылет У-2 и дал понять, что подобные полеты будут продолжаться, заявил Хрущев, советская делегация не может принимать участия в конференции и предлагает отложить ее «приблизительно на шесть — восемь месяцев» — то есть (хотя прямо об этом и не говорилось) на срок, в течение которого в Белом доме сменится хозяин. Визит президента в СССР, разумеется, тоже откладывается на неопределенный срок[80].

Увлекшись, Хрущев говорил все громче. В какой-то момент де Голль заметил: «В этом зале прекрасная акустика. Мы все слышим господина председателя. Ему нет нужды повышать голос». Хрущев бросил на него сердитый взгляд поверх очков, но снизил тон. Американскому переводчику Вернону Уолтерсу показалось, что советский лидер «накручивает себя до умоисступления». К окончанию речи, писал позже сам Хрущев, «настроение у меня было боевое, наступательное и приподнятое, хотя я знал, что США не согласятся на горькую пилюлю, которую мы приготовили и заставляем их проглотить»[81].

Чем дальше говорил Хрущев, тем сильнее багровел Эйзенхауэр. Однако его ответная речь прозвучала довольно сдержанно. Хотя Соединенные Штаты «не могут снять с себя ответственность за обеспечение безопасности страны в случае неожиданного нападения», разведывательные полеты «после этого инцидента были прекращены, и возобновлять их мы не намерены». Американская делегация готова продолжать конференцию. Кроме того, президент готов «в ходе конференции провести двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и СССР»[82].

Макмиллан, совершенно убитый, принялся уговаривать коллег вспомнить французскую поговорку: «Что отложено — считай, потеряно». Де Голль, выслушавший речь Хрущева со скучающим видом, снова принялся выговаривать советскому руководителю, словно проштрафившемуся подростку: «После того как вы подбили самолет и до того как вы вылетели из Москвы, я поручил своему послу спросить у вас, не считаете ли вы нужным отложить встречу. На тот момент вы знали все, что знаете и

сейчас. Вы сказали моему послу, что откладывать конференцию не следует и что, на ваш взгляд, она будет полезна… Ради вас господин Макмиллан прилетел сюда из Лондона, а генерал Эйзенхауэр — из США, ради вас я взял на себя труд организации и проведения этой конференции, которая, как теперь выясняется, может быть сорвана по вашей вине…»[83]

Далее он упрекнул Хрущева за то, что тот поднимает такой шум из-за какого-то самолета, когда «не далее как вчера советский спутник, запущенный перед самым вашим отлетом из Москвы, чтобы произвести на нас впечатление, пересек небо над Францией без моего позволения восемнадцать раз. Откуда мне знать, что на борту у него нет камер?»

— Видит бог, — отвечал на это атеист Хрущев, — мои руки чисты.

— Вот как? Тогда как же вы добыли фотографии обратной стороны Луны, которые с такой законной гордостью нам показывали?

— На том спутнике были камеры.

— Ах, на том были!

После этого обмена репликами руки у Хрущева начали дрожать еще сильнее. В какой-то момент он обратился напрямую к Эйзенхауэру: «Не знаю, стоит ли употреблять это выражение, но мы не понимаем, какой дьявол вас втянул в эту провокацию прямо накануне конференции. Не будь этого, мы бы приехали сюда в самой дружеской атмосфере… Бог мне свидетель, я собирался сюда с чистыми руками и чистой душой».

Хрущев позволил себе выразить частичную удовлетворенность тем, что Эйзенхауэр отказался от разведвылетов в будущем. Однако, когда де Голль предложил не публиковать заявления, сделанные на этом заседании, чтобы сохранить рабочую атмосферу саммита, Хрущев с этим не согласился. Если он не опубликует свое заявление, «общественное мнение» СССР может решить, что «США поставили Советский Союз на колени», заставив вести с ними переговоры «перед лицом угрозы». Угроза и оскорбление стали известны всему миру — значит, мир должен узнать, что Хрущев приехал в Париж «не пощады у НАТО просить».

Де Голль не видел иного выхода, кроме как закончить встречу. Когда Макмиллан попытался предложить расписание на «следующее заседание», Хрущев его поправил: «Это не начало саммита. Саммит еще не начался. Мы рассматриваем эту встречу как предварительную»[84].

— С меня хватит! Я сыт по горло! — восклицал Эйзенхауэр, вернувшись в резиденцию американского посла в Париже. Этот

«сукин сын» Хрущев просто старается произвести впечатление на своих кремлевских коллег! Вечером, зайдя навестить президента, Макмиллан заметил, что Эйзенхауэр «выглядит глубоко потрясенным», в отличие от де Голля, находившегося «в свойственном ему циническом настроении». Его, заметил он, совершенно не удивляет «такое окончание дела». Макмиллан со слезами на глазах принялся уговаривать коллег позволить ему попытаться спасти саммит. Его срыв будет означать «поражение или почти поражение» политики, которую вел Макмиллан последние несколько лет. «Невозможно описать этот день, — записывал он тем же вечером у себя в дневнике. — Это самый трагический день в моей жизни». В половине десятого он поехал в советское посольство — и застал Хрущева в самом радужном расположении духа: тот оживленно болтал о том, как поймал Эйзенхауэра «на месте преступления» и убедился, что тот царствует, но не правит. Хрущев был «вежлив, но совершенно непоколебим»; Малиновский «даже не моргал»; Громыко тоже «хранил молчание». Покидая посольство, Макмиллан проворчал: «Может быть, русские и умеют делать спутники, но вот более простым вещам явно еще не научились»[85].

Западные лидеры все же назначили второе заседание — без особой надежды на продолжение саммита, просто для того, чтобы полностью переложить ответственность за его срыв на Хрущева. Сам он тем временем наслаждался жизнью. На следующее утро он и Малиновский в сопровождении орды журналистов отправились полюбоваться французской глубинкой. По дороге на поле битвы при Марне Хрущев остановился, чтобы «помочь» команде дорожных рабочих распилить и убрать упавшее поперек дороги дерево. Затем они заехали в деревню Плер-сюр-Марн, где был расквартирован Малиновский во время Первой мировой войны, будучи простым солдатом. Весть о том, что Хрущев, по словам Макмиллана, «с наслаждением ораторствует везде, где хоть несколько крестьян собираются его послушать», «не улучшила настроения моих коллег». В ожидании, пока Хрущев ответит на письменные предложения касательно второго заседания, де Голль возмущенно говорил: «Он, пожалуй, теперь целую неделю будет разъезжать по стране и трезвонить во все концы». Поведение Хрущева «показало, какой он негодяй», мрачно добавлял Эйзенхауэр. Настало время «укоротить ему хвост»[86].

Наконец помощник советского лидера сообщил, что Хрущев отказывается от дальнейших встреч. «Скажите ему, — ледяным тоном ответил де Голль, — что у цивилизованных людей принято отвечать на письменные предложения в письменном виде»[87]. Несколько минут спустя советский представитель сообщил, что

Хрущев напишет ответ, но не будет появляться на заседаниях, пока американцы не выполнят его предварительных условий. Возможно, Хрущев все еще надеялся, что Эйзенхауэр сделает шаг к примирению. «Кто же должен был взять на себя инициативу? — спрашивал он в своей речи после возвращения в Москву. — Любому ясно, что тот, кто разорвал добрые отношения, начавшие складываться между двумя нашими странами. Нет, он ждал, что я начну его просить о встрече!»[88]

Перед отъездом из Парижа Хрущев провел в Пале де Шайо пресс-конференцию перед почти тремя тысячами журналистов, которая длилась два с половиной часа. Стоя между серолицым Громыко и мрачным густобровым Малиновским, Хрущев, по выражению Трояновского, «полностью потерял самообладание». В ответ на крики и свистки, по его мнению, исходившие от западногерманских журналистов, он, потрясая кулаками, разразился гневной речью: «Если остатки недобитых фашистских захватчиков будут „укать“ против нас, как это делали гитлеровские разбойники… то мы так их „укнем“, что они костей своих не соберут». Когда за этим последовало еще большее возмущение в зале (которое «Правда» описывала так: *«Бурные аплодисменты. Возгласы: „Правильно! Да здравствует мир!“ и отдельные неодобрительные выкрики»*), Хрущев напомнил слушателям, с кем они имеют дело: «Я являюсь представителем великого советского народа, который под руководством Ленина, под руководством Коммунистической партии совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию…» Еще больше выкриков и свистков. Снова Хрущев: «Меня радуют эти злобные выкрики, потому что они свидетельствуют о ярости врагов нашего святого дела».

«Я хорошо помню свою мать, — добавил он вдруг, — своего отца, который работал на руднике. Мать редко имела возможность покупать сметану. Но когда случалось, что у нас на столе была сметана, а кот иной раз слизывал эту сметану, то она брала кота за уши, трепала его, потом тыкала носом в остатки сметаны, затем еще трепала и опять носом тыкала. Так обучали кота, который залез туда, куда не позволено»[89].

Впрочем, выступление Хрущева не было таким от начала до конца. По крайней мере на одного репортера он произвел впечатление «добродушного человека с чувством юмора» да и закончил не угрозами войны, а призывами к миру[90]. В сущности, учитывая обстоятельства, он держался очень неплохо — и лишь потом, на встрече с восточноевропейскими послами, позволил гневу и обиде прорваться наружу.

По просьбе польского посла во Франции Станислава

Гаевского в советском посольстве был организован прием для посланников восточноевропейских стран. В роскошный зал, блистающий позолотой, красными коврами и кожаными диванами, вошел Хрущев в сопровождении Громыко и Малиновского — раскрасневшийся и чрезвычайно воодушевленный. Заказав себе и своим спутникам по рюмке коньяку, он рассказал такой анекдот. В царское время гарнизонные офицеры, снедаемые невыносимой скукой, развлекались необычными «концертами»: напившись до невменяемости, они вызывали к себе солдата, и командир гарнизона пинал его под зад, заставляя пукать в ритме «Боже, царя храни». Но однажды, когда командир давал «концерт» для гостей из соседнего гарнизона, у солдата ничего не получалось. Он очень старался, и наконец, продолжал Хрущев, «не смог больше сдерживаться: „Ну вот, хотел пернуть, а вместо этого обосрался!“ — воскликнул он. Вот так и с Эйзенхауэром случилось. Хотел пернуть, а сам обосрался. Так, дорогие товарищи, и доложите вашим правительствам».

Хохотали все, кроме Громыко, — тот, как обычно, сидел с непроницаемым лицом. А правда, поинтересовался Хрущев у своего министра иностранных дел, что как раз сейчас (было восемь вечера) англичане надевают вечерние костюмы и садятся ужинать? Громыко смущенно кивнул.

— Значит, Макмиллан сейчас ужинает в смокинге или в вечернем костюме, — заключил Хрущев. — А давайте пригласим его сюда прямо сейчас! Сколько времени уйдет на то, чтобы доставить его сюда? — уточнил он у советского посла Владимира Виноградова. Около получаса, ответил тот. — Тогда позвоните ему и вызовите сюда, — потребовал Хрущев. — Скажите, что я хочу с ним поговорить — именно здесь и именно сегодня вечером, и чтобы был здесь не позже чем через сорок минут. Особенно подчеркните время: хочу посмотреть, как он примчится, роняя на смокинг крошки омлета.

Смущенный Громыко наклонился к уху босса и что-то ему прошептал. Хрущев, раскрасневшийся, с бесовским огнем в маленьких глазках, разразился хохотом. «Андрей Андреевич недоволен, что я такое говорю при вас, — объявил он. — А почему бы и нет? У меня нет секретов от союзников»[91].

По-видимому, Хрущев скоро передумал звать на прием Макмиллана — по крайней мере, никаких следов этой встречи история не сохранила. Однако, как говорится, важно намерение, — а намерение в данном случае весьма красноречиво. Добраться до Эйзенхауэра Хрущев не мог и потому решил выместить свой гнев и свое унижение на элегантном, но уязвимом

Макмиллане, заставив его пережить те же эмоции.

Посол Гаевский был настолько поражен, что в беседе с репортером «Нью-Йорк таймс» С. Л. Сульцбергером не удержался от замечания, что Хрущев «несколько неуравновешен». Западногерманский канцлер Аденауэр в интервью тому же корреспонденту выразился резче и прямее: «Хрущев с ума сошел»[92]. Американский посол в Великобритании Джон Хей Уитни заметил, что Хрущев в Париже вел себя «как сварливая женщина»[93]. Довольны были только китайцы. Они давно предупреждали, что «американским империалистам» верить не стоит, и теперь надеялись (как заявляли в письме в Москву в 1963 году), что «товарищи, столь громко возносившие хвалы так называемому духу Кемп-Дэвида, усвоят этот урок…»[94]. Восточная Германия напряженно ждала, что будет дальше. На обратном пути из Парижа, заехав в Восточный Берлин, Хрущев произнес речь в Зееленбиндер-Холле перед десятью тысячами немецких коммунистов. Многие из них ожидали, что теперь-то будет произнесено предложение, перед которым трепетал Запад — о заключении с ГДР сепаратного мирного договора, который положит конец правам западных держав на Берлин. «Американский президент меня предал! — кричал Хрущев. — Да-да, предал!» Однако заключение договора снова было отложено. «Мы хотели бы верить, — заметил Хрущев, — что через шесть — восемь месяцев совещание в верхах состоится. В этих условиях имеет смысл подождать еще немного… От нас это не уйдет. Подождем, лучше созреет»[95].

Кремлевские коллеги Хрущева также сомневались если не в его душевном здоровье, то по крайней мере в правильности его тактики. «Все, что я могу сказать, — говорил по этому поводу Шелепин, — шпионы всегда были и всегда будут. Так что ему следовало найти другое время и место, чтобы объяснить Эйзенхауэру, что он о нем думает»[96]. Многие советские дипломаты были недовольны и по другим причинам. Вместо того чтобы добиться хоть какого-то прогресса по неотложным вопросам, Хрущев порвал с Эйзенхауэром, разорвал (по крайней мере на какое-то время) отношения с Западной Германией, оттолкнул от себя восточногерманских интеллектуалов, надеявшихся на сближение с Западом, и подтолкнул Вальтера Ульбрихта к новым интригам вокруг Берлина[97].

По дороге в Москву в самолете Хрущева царило мрачное настроение. И, прилетев домой, он не бросился, как обычно, в Лужники докладывать о своих успехах советскому народу.

«Так нельзя было поступать с Эйзенхауэром, — рассказывает

Микоян. — …Из-за того, что наши ракеты случайно сбили У-2, Хрущев устроил непозволительную истерику… Он виновен в том, что отодвинул разрядку лет на пятнадцать…» Согласен с ним и Трояновский: «Хрущев превзошел самого себя, призывая гнев Божий на голову президента Эйзенхауэра». Трояновский сожалеет о том, что не попытался тактично отговорить босса от этой затеи. Позже Нина Петровна упрекала его и другого помощника Хрущева в том, что они не пытаются влиять на ее мужа: «Почему вы не поправляете его? Если вы не будете обращать внимание на его оплошности, кто же тогда будет?»[98]

Сам Хрущев тоже не был вполне доволен своим парижским выступлением; по свидетельству Сергея Хрущева, хотя в начале рассказа о том, какой переполох он устроил в Париже, глаза у отца возбужденно блестели, «скоро они приняли настороженное выражение, став из карих почти черными»[99]. Возможно, именно поэтому в своих мемуарах он горячо настаивает, что принял верное решение: «Есть народная поговорка: „Дай коготкам увязнуть, весь влезешь в тину“. Если бы мы не проявили мужества и не встали на защиту своей чести тогда, следовательно, согласились бы с США в том, что их самолеты имеют право летать над закрытыми территориями любых государств»[100].

Такая бравада характерна для Хрущева. Надо отметить и то, что поиски разрядки были лишь одной стороной его внешней политики — стремясь к разоружению, он не переставал соревноваться с капиталистическими странами в экономике, осыпать Запад угрозами и «ставить на место» высокомерных западных лидеров. Однако летом 1960 года Хрущев испытывал заметное недовольство собой, проявлявшееся во многом — и в лихорадочной активности, и в мрачном тоне, каким он говорил об Эйзенхауэре, но особенно — в поспешных и непродуманных действиях против Мао Цзэдуна, нанесших советско-китайским отношениям огромный и непоправимый ущерб.

Летнее расписание Хрущева включало в себя десять дней в Румынии (с 18 по 27 июня), девять в Австрии (с 30 июня по 8 июля) и три в Финляндии (со 2 по 4 сентября), а также инспекционную поездку по Астраханской области и визит в Калиновку, которую он в 1959 году как-то ухитрился объехать. Везде он хвастал прогрессом во внутренних и внешних делах, однако в выступлениях его ясно слышались оборонительные нотки. Он отрицал, что его надежды на саммит были преувеличены. Объяснял, зачем вообще поехал в Париж («чтобы продемонстрировать свое самообладание»), почему не встретился с Эйзенхауэром наедине (по вине президента), почему до мая не подавал протестов по поводу американских полетов над СССР

(потому что американцы хвастали, что русские не умеют сбивать их самолеты), почему по приезде в Москву не организовал обычную «встречу с народом» (потому что только что выступил перед немецкими коммунистами)[101].

3 июня на пресс-конференции он произнес в адрес Эйзенхауэра такую диатрибу: если после отставки ему понадобится работа, «мы могли бы нанять его директором детского сада. Я уверен, с детьми он плохо обращаться не будет». Об отмене визита президента США в СССР он сказал: «Нельзя, чтобы человек ел там же, где нагадил». На этой же пресс-конференции Хрущев сообщил, что после выборов президента надеется улучшить отношения с Америкой, однако вновь подтвердил, что намерен подписать сепаратный мирный договор с ГДР. «Ясно я говорю?» — поинтересовался он у четырех сотен корреспондентов.

«*Возгласы:* — Ясно!

Н. С. Хрущев: — По-моему, тоже ясно. *(Оживление в зале.)* А если не ясно, еще повторим. Когда заключим мирный договор, тогда будет еще яснее»[102].

9 июля на съезде учителей, рассказывая о недавней поездке в Австрию и о том, как католическая церковь настраивала против него верующих, Хрущев употребил слово «паства» с ударением на первом слоге — и тут же спросил аудиторию, правильно ли он произносит это слово. «Признаюсь, выступая перед вами, я все время волнуюсь, потому что знаю свои недостатки в произношении некоторых слов, ведь я нахожусь перед таким строгим судом… Не хочу на своих учителей сваливать ответственность. Мои учителя были очень хорошие люди, особенно одна учительница, которую я никогда не забуду, — это Лидия Михайловна. Но, видимо, среда, в которой я жил, наложила свой отпечаток. Так все-таки па́ства или паства́?»[103]

Помощники Хрущева немедленно разыскали учительницу и привезли ее в Москву на свидание с бывшим учеником. Хрущеву, должно быть, приятно было видеть, как ревностно приспешники стремятся ему угодить. Однако провал парижского саммита по-прежнему не давал ему покоя. В июне глава КГБ Шелепин порекомендовал Хрущеву длинный список грязных трюков, в том числе подделку документов, для дискредитации ЦРУ, Аллена Даллеса и самого президента Эйзенхауэра. Неизвестно, что из этого списка было реально выполнено и имел ли к нему какое-то касательство сам Хрущев. Однако резонно предположить, что и в этом случае подчиненные Хрущева стремились угадать его невысказанные желания[104].

Настроение Хрущева передалось и его зятю, редактору

«Известий» Аджубею. Однажды в Австрии, чересчур много выпив, Аджубей принялся кричать на какого-то американца: «С вами, американцами, покончено, хотя вы и не желаете этого признавать. Мы вас раздавим вот так!» — и с этими словами раздавил в руке горлышко бутылки. Американец ответил на это, что Аджубей разговаривает как Гитлер; тот так разъярился, что соотечественники поспешили его увести. «Нет, нет, — кричал он, — я хочу сказать этому американцу все, что думаю о его правительстве! Оно состоит из идиотов, слабаков и предателей!»[105]

О Мао и его людях Хрущев думал ненамного лучше. Провал саммита положил конец заигрываниям Москвы с Вашингтоном, что не могло не радовать китайцев. Сблизившись с Пекином, Хрущев доставил бы удовольствие тем в Москве, кто опасался «потерять Китай». Однако слишком быстрое и охотное сближение дало бы сторонникам Китая в Москве повод настаивать на возрождении дружеских отношений на таких условиях, которые для Хрущева были неприемлемы. Ситуация была непростая: необходимо было взвесить все возможности и сделать разумный, обдуманный выбор. Вместо этого Хрущев сорвал на Мао свой гнев, не задумываясь о последствиях.

20 июня в Бухаресте должен был открыться съезд Румынской коммунистической партии. 18-го Хрущев вдруг объявил, что намерен присутствовать на съезде. Его примеру последовали все лидеры «братских» компартий, кроме — красноречивый жест — Мао и его нового союзника албанца Энвера Ходжи. Явившись на съезд, Хрущев поразил делегатов пламенным антикитайским выступлением.

В официальной речи Хрущев утверждал, что, несмотря на парижскую неудачу, стремится к мирному сосуществованию. Тем временем советская делегация распространила восьмидесятистраничное «Информационное послание», в котором жестко критиковалась внешнеполитическая позиция Китая. Пэн Чжэнь, глава китайской делегации, заявил, что считает это послание крайне оскорбительным; в то же время он сам пустил в оборот советское послание ЦК КПК, не подлежащее огласке. По словам одного западного корреспондента, видевшего это частное письмо, оно «источало желчь, охватывало широкий круг вопросов и состояло из слабо связанных между собой тематических отрывков, чем весьма напоминало речи самого Хрущева»[106].

Возможно, Хрущев надеялся поразить китайцев, однако тот факт, что они сделали достоянием гласности частное письмо, поразил его самого. На заключительном заседании съезда он отшвырнул заготовленную речь и разразился яростной

филиппикой. Согласно одному из отчетов, он критиковал лично Мао за то, что тот «не считается ни с чьими интересами, кроме своих собственных, и выдумывает теории, оторванные от реалий современного мира». По другим сообщениям, он называл Мао «Буддой, который сидит и высасывает теории из пальца», а также «старой калошей»[107].

Пламенное выступление Хрущева, весьма напоминающее парижскую пресс-конференцию, вызвало резкий ответ Пэна, насмешливо заявившего, что во внешней политике Хрущева кидает то в жар, то в холод. Возмущенный Хрущев «отомстил» — на следующий же день отозвал из Китая всех советских советников. По заявлению Пекина, Москва отозвала 1390 экспертов, разорвала 343 контракта, подвесила 257 научно-технических проектов — и все это «за какой-то месяц»[108]. Помимо экономического урона (в 1961 году объем советско-китайской торговли уменьшился более чем наполовину, а в 1962-м советский экспорт в Китай составлял лишь четверть от объема 1959 года[109]), необдуманный ход Хрущева лишил Москву бесценных разведданных, получаемых от советских экспертов.

Советский посол в Китае Степан Червоненко был «изумлен» этой новостью и попытался предпринять некоторые шаги, чтобы предотвратить отзыв экспертов. «Мы отправили телеграмму в Москву. Писали, что это нарушение международных конвенций. Если мы решили прекратить помощь Китаю, то надо хотя бы дать советникам доработать до окончания контрактов. Мы надеялись, что тем временем все как-нибудь уладится»[110]. Ошибку Москвы Червоненко приписывал импульсивности Хрущева. По-видимому, так же отнесся к этому решению и Брежнев, бывший помощник которого Александров-Агентов относит начало раскола между Хрущевым и его протеже к серии «импульсивных внешнеполитических решений, нанесших ущерб нашей собственной стране. Достаточно вспомнить неожиданный отзыв из Китая наших не только военных, но и экономических советников — и это несмотря на существующие соглашения и контракты»[111].

Бывший работник ЦК Лев Делюсин рассказывает, как было принято это решение. Он слышал, что начальство подумывает об отзыве экспертов, и полагал, что убедил Юрия Андропова, ответственного за отношения с братскими компартиями, в серьезной ошибочности такого шага. Андропов поручил Делюсину подготовить об этом служебную записку. Однако, рассказывает Делюсин, не успел он сесть за работу, как «мы получили из секретариата Хрущева звонок о том, что он уже подписал указ об отзыве. Думаю, это была одна из серьезнейших

ошибок Хрущева. Разумеется, это привело к дальнейшему ухудшению отношений. Неужели он полагал, что от этого что-то изменится к лучшему?»[112].

В сущности, Москва и Пекин все же сделали шаг к перемирию до ноября 1960 года, когда в Москве, на Совещании коммунистических и рабочих партий, куда съехались со всего мира представители восьмидесяти одной компартии, после резкого обмена репликами была подготовлена и подписана обеими сторонами компромиссная декларация[113]. Однако, по замечанию переводчика Мао Ян Минфу, «это было лишь временное перемирие. В сущности, события уже вышли из-под контроля»[114].

После Парижа Хрущев заявлял, что для возобновления переговоров на высшем уровне должно пройти шесть — восемь месяцев. Его предположение, что наследник Эйзенхауэра немедленно после выборов (в ноябре) или инаугурации (в январе) согласится вести с ним переговоры, было, конечно, чересчур оптимистично. А тем временем в начале июня Хрущев начал обдумывать возможность посетить Генеральную ассамблею ООН. К середине июля он твердо решил ехать, а 10 августа об этом было сделано официальное заявление. Декларируемой целью Хрущева была поддержка излюбленных им тем — разоружения и деколонизации. Но были, по свидетельству его сына, и более личные мотивы: «взять реванш за происшедшее в Париже» — заставить западных лидеров против их воли оказаться с ним за столом переговоров, разоблачить перед целым светом Соединенные Штаты и их президента, предложить перенести штаб-квартиру ООН. По Трояновскому, Хрущев больше всего мечтал «появиться непрошеным гостем при дворе „князя тьмы“, каким он стал представлять себе Эйзенхауэра, и тем самым унизить его»[115].

Осторожный Громыко предупреждал, что другие главы государств останутся дома и компанию Хрущеву в Нью-Йорке будут составлять только лидеры коммунистических стран-союзниц. Поэтому, когда другие лидеры последовали его примеру, Хрущев, по воспоминаниям сына, «ликовал», а когда американцы объявили, что членам советской делегации не будет разрешено покидать Манхэттен без позволения принимающей стороны, он «так и рвался в бой»[116].

Хрущев решил отправиться в Нью-Йорк по морю. Он мечтал появиться в Америке, как первые поселенцы, о которых он читал в юности, а кроме того, хотел избежать остановок для дозаправки (поскольку Ту-114, на котором он летал в США, находился в

ремонте). Однако радостное предвкушение поездки чередовалось с минутами подавленности: по словам Сергея Хрущева, «отец начал все чаще заговаривать о смерти». Вслух он беспокоился о том, что «страны НАТО предпримут какие-либо диверсионные акции против нашего корабля»[117], однако в глубине души, возможно, боялся и того, что его поездка станет лишь слабой заменой того дипломатического триумфа, от которого он отказался в Париже.

Вечером 9 сентября, в сопровождении руководителей Венгрии, Румынии, Болгарии, а также Украины и Белоруссии (на включении которых в ООН как независимых государств настоял в 1945 году Сталин), Хрущев отплыл с военно-морской базы в Балтийске близ Калининграда. Его корабль, изготовленный в 1940 году по немецкому заказу на верфях Амстердама, первоначально назывался «Балтика»; после войны он был получен СССР в качестве репарации и переименован в «Вячеслава Молотова», но после разоблачения «антипартийной» группы вновь получил свое исконное имя[118]. В воспоминаниях Хрущева о его первом и единственном путешествии через океан возбуждение мешается с тревогой: тревога — от размышлений о том, как примут его американцы, возбуждение — от удовольствия сочетать полезное (чтение документов и консультации с восточноевропейскими лидерами) с приятным (нескончаемые шутки над теми, кто, в отличие от самого Хрущева, страдал морской болезнью), а также от «особого чувства», связанного с тем, что «воды там видимо-невидимо»[119].

Помощники и эксперты[120] по очереди читали Хрущеву донесения разведки. Дмитрий Горюнов, один из помощников Хрущева, вспоминает, что «на корабле он был очень спокоен, хотя вообще он человек очень импульсивный»[121]. Зато Громыко пришел в ужас, когда Хрущев надиктовал ему ремарки, обостряющие выступления, подготовленные для него в Москве Министерством иностранных дел: «Резче отметить односторонность действий аппарата ООН… Стоит подумать, чтобы ООН перенести (штаб-квартиру) в Швейцарию, в Австралию или в СССР… В ответ на ноту США… надо действовать наоборот: в зубы дал и сказать извините, я этого не хотел сделать, но войдите в мое положение, я был вынужден это сделать, потому что вы зубы подставили…»[122]

В течение долгого путешествия Хрущев часто общался с моряками, развлекая их шутками и разными историями. Другие восточноевропейские лидеры вечерами играли в карты в баре, но он предпочитал смотреть кино, хотя иногда выпивал вместе с ними. Самодеятельное представление, подготовленное командой

корабля, они смотрели вместе. Днем, когда старшие члены делегаций, страдавшие от морской болезни, сидели по своим каютам, а младшие чиновники ухаживали за официантками и машинистками, Хрущев любил проводить время с молодыми дипломатами — например, с Аркадием Шевченко. В разговорах с ним он жаловался на свое незнание западной литературы, однако шутливо замечал, что, прежде чем учить иностранные языки, «ему бы русским как следует овладеть». Когда заходила речь о лидерах западных держав, Хрущев выражал уверенность, что с помощью пропагандистских заявлений о всеобщем и полном разоружении сумеет добиться того, чтобы западные лидеры смягчили свои позиции в отношении ограничения вооружений. «Всякому овощу свое время», — добродушно замечал он[123].

19 сентября «Балтика» бросила якорь в порту Нью-Йорка. Какое отличие от триумфального прибытия Хрущева в Америку год назад! Теперь на американской земле Хрущева встречала демонстрация профсоюза портовых грузчиков с плакатами типа: *«Холодно осенью, летом жара, Сталин подох — тебе тоже пора!»*

«Было множество ряженых людей, в разных цветных костюмах, — вспоминал Хрущев, — с плакатами и лозунгами. Они что-то выкрикивали в репродукторы… Мы все высыпали на палубу, смотрели на чучела и смеялись. Для нас это было чем-то вроде шутовского карнавала»[124].

Чем дальше, тем хуже. Для советского корабля отвели док номер 73 — старый, полуразрушенный ангар на Ист-Ривер. Корреспондент «Правды» Геннадий Васильев отправил в редакцию отчет о прибытии заблаговременно, еще в море: в его репортаже с безоблачного неба ярко светило солнце, на берегу Хрущева встречали радостные толпы, со всех сторон летели цветы и добрые пожелания. На самом же деле было пасмурно, дождь лил как из ведра, и на причале, кроме советских официальных лиц с семьями, журналистов, полиции и охраны, «встречали» русских только венгерские эмигранты. Профсоюз портовых грузчиков бойкотировал «Балтику», и дипломатам пришлось самим разгружать свой багаж.

Шевченко полагал, что в таком приеме следует винить советских послов в США и в ООН, слишком буквально понявших приказ «не тратить народные деньги на шикарный пирс». В действительности этот приказ отдал сам Хрущев. Теперь он был уверен, что «некоторые американцы иронизировали над русскими», однако понимал, что «виноватого искать было нечего, это я сам был виноват».

Хрущев гордо сошел с корабля, твердо ступил на толстый восточный ковер, впитывавший дождь, как огромная губка, и

поинтересовался, не желает ли президент Эйзенхауэр присоединиться к нему на импровизированном саммите в ООН. Васильев успел позвонить в Москву и убрать из своего репортажа безоблачное небо и сияющее солнце, однако ликующие толпы остались[125].

Хрущев пробыл в Нью-Йорке до 13 октября и улетел в Москву на самолете. В общей сложности он отсутствовал в Кремле более месяца — даже по его стандартам срок немалый. Очевидно, на родной земле Хрущев чувствовал себя вполне уверенно и не боялся оставлять коллег без присмотра. Однако из-за одержимости своей миссией он задержался в США намного дольше необходимого.

В Нью-Йорке Хрущев занялся лихорадочной деятельностью. В ООН он произнес несколько речей и активно участвовал в дебатах. За стенами ООН — в Манхэттене и в резиденции советского посольства в Глен-Коуве, Лонг-Айленд — в любое время дня и ночи проводил бесчисленные пресс-конференции. Он встречался с мировыми лидерами, ораторствовал на официальных обедах и ужинах, появился в телешоу Дэвида Сасскинда и произвел переполох, когда, не сообщив полиции и охране (видимо, желая доказать, что имеет право ходить куда хочет без разрешения), отправился в Гарлем встретиться с Фиделем Кастро, с которым обнимался в переполненном холле отеля «Тереза». Стоя на балконе второго этажа здания советского посольства на пересечении Парк-авеню и Шестьдесят Восьмой стрит, он распевал перед журналистами «Интернационал». Когда кто-то из репортеров предупредил, что в белой рубашке на фоне красной стены Хрущев представляет собой соблазнительную мишень — тот расправил плечи, выпятил челюсть и, сжав кулак, продемонстрировал апперкот куда-то в сторону неба[126].

Советская пресса, разумеется, описывала эти события (по крайней мере большую часть) как победу. То же утверждал по возвращении и сам Хрущев. «Он считал себя победителем», — замечает его сын, добавляя, что заседание ООН «вознаградило его за срыв парижского саммита»[127]. Однако поведение Хрущева в Нью-Йорке было не просто непредсказуемым и экстравагантным: оно не лезло ни в какие ворота. Протестуя против речи Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, он начал стучать кулаком по столу и стучал до тех пор, пока к нему не присоединились сперва (после заметного колебания) Громыко, потом другие члены его делегации, а затем и делегации других коммунистических стран. Когда британский премьер-министр Макмиллан публично выразил сожаление о срыве парижского саммита, Хрущев вскочил на ноги и закричал: «Это вы посылали

на нашу территорию самолеты, это вы — агрессоры!» — и снова начал махать руками и стучать кулаком по столу. Обернувшись к председателю собрания, ирландцу Фредерику Х. Боланду, Макмиллан заметил, что, если господин Хрущев будет продолжать в том же духе, он хотел бы услышать перевод. Боланд призвал Хрущева к порядку, и советский руководитель успокоился — по крайней мере, на день.

11 октября, произнеся речь перед ассамблеей и возвращаясь на свое место, Хрущев заметил, что испанцы ему не аплодируют. Он бросился к ним, начал тыкать пальцем в лицо молодому испанскому делегату, поливать его бранью по-русски и, кажется, уже готов был броситься на него с кулаками. Только приближение охраны заставило Хрущева сесть на место.

Самый знаменитый инцидент — происшествие с пресловутым ботинком — имел место в последний полный день Хрущева в Нью-Йорке. Делегат от Филиппин обернул разговор о деколонизации против самого Хрущева, заявив, что Восточная Европа «лишена политических и гражданских прав» и «поглощена Советским Союзом». Сперва советский лидер колотил по столу обоими кулаками, а затем снял правый ботинок (точнее, башмак или сандалию, поправляет его сын, замечая, что отец терпеть не мог завязывать шнурки), угрожающе помахал им в воздухе и начал колотить по столу, все громче и громче, пока наконец все взгляды в зале не устремились на него и в публике не послышался изумленный шум[128]. У Громыко, сидевшего с Хрущевым рядом, на лице отражалось настоящее страдание. Наконец, «с гримасой решимости» и видом человека, «готового прыгнуть в ледяную воду», министр иностранных дел снял свой ботинок и принялся легонько постукивать им по столу, словно надеялся, что его босс это заметит, а все остальные — нет[129].

Сам Хрущев был в восторге от устроенного им представления. Узнав, что Трояновский при этом не присутствовал, он заметил: «Вы очень много потеряли! Это была такая умора! Ведь ООН — это своего рода международный парламент, где меньшинство должно подавать голос разными путями. Пока что мы в меньшинстве. Но ненадолго». Но другие отнеслись к этой выходке без всякого энтузиазма. Первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Кирилл Мазуров деликатно определил ее как «не совсем уместную». В советском посольстве, по рассказу Шевченко, в тот вечер «все были смущены и расстроены». У строгого и бесстрастного Громыко «губы побелели от волнения. Но Хрущев вел себя, как будто ровно ничего не произошло: громко смеялся, шутил и говорил, что нужно было „добавить жизни в чопорную атмосферу ООН“»[130].

В тот же вечер за ужином венгерский лидер Янош Кадар, известный своей ироничностью, деликатно дал понять Хрущеву, что недоволен его поведением: «Товарищ Хрущев, помните, вчера, после того как вы стучали ботинком по столу, вам пришлось выйти к трибуне?.. Так в этот момент наш министр иностранных дел товарищ Шик повернулся ко мне и спросил: „Как вы думаете, он успел надеть обратно ботинок или же пошел босиком?“» «Многие из сидевших за столом начали хихикать, — пишет Трояновский. — У меня было чувство, что в этот момент наш лидер, может быть, понял, что зашел слишком далеко»[131].

Если верить сыну Хрущева, эта выходка, ужаснувшая его собственную делегацию, выходка, которую припомнили ему соперники четыре года спустя[132] и за которую многие русские до сих пор поминают Хрущева недобрым словом, была заранее продуманным жестом, который Хрущев почерпнул из отчетов о предреволюционной Думе; он будто бы полагал, что в западных парламентах так делается и по сей день[133]. Однако трудно сомневаться, что в этом, как в зеркале, отразилась его растущая досада — ведь добиться поставленных перед собой целей Хрущев так и не смог. Он был доволен, когда Генеральная ассамблея согласилась обсудить деколонизацию, однако пришел в ярость, когда она подавляющим большинством голосов постановила передать вопрос о разоружении одному из мелких политических комитетов. Он нервно следил за событиями в Конго (где в это время советский ставленник Патрис Лумумба отбивался от прозападных соперников Моиса Чомбе и Жозефа Мобуту) и был очень недоволен позицией ООН по этому вопросу. «Плевал я на ООН! — возмущался он на борту «Балтики», когда Трояновский зачитал ему очередные дурные вести из Конго. — Это не наша организация. Этот никчемный Хам [от «Хаммаршельд»] сует нос в важные дела, которые его не касаются… Ну, мы ему покажем!»[134]

Хрущев потребовал замены Генерального секретаря исполнительным комитетом из трех членов — представителей капиталистического мира, социалистического лагеря и нейтральных стран, — а также переноса штаб-квартиры ООН в Европу: в Швейцарию, Австрию или даже в СССР[135]. Эти сумасбродные проекты подрывали сами основы Организации Объединенных Наций и противоречили принятой в СССР политике по отношению к ООН, согласно которой Советский Союз отвергал любые попытки пересмотра ее конституционных основ. Реформам воспротивились не только большинство членов ООН, но и собственная делегация Хрущева. «Вдруг Хрущев начал настаивать на „тройке“, — вспоминал Георгий Корниенко, работавший в то время в Министерстве иностранных дел. — Это

была его собственная идея. По сути, идея провальная, абсолютно нереалистическая, и многие из нас уже тогда это понимали. Еще одна из его навязчивых идей, странных и непонятных с точки зрения здравого смысла»[136].

Сессия Генеральной ассамблеи продолжалась, но Хрущеву казалось, что «мое пребывание в Нью-Йорке затянулось»[137]. В частных беседах с Макмилланом он выглядел подавленным, продолжал сердиться на Эйзенхауэра, заявлял, что его урезанный рабочий день доказывает: «американцы прекрасно могут обойтись вообще без президента»[138]. 26 сентября на обеде с американскими бизнесменами Хрущев повторил вопросы, которые, по его словам, уже задавали ему другие: зачем он приехал? Стоило ли это делать? «Думаю, стоило», — был ответ Хрущева[139]. 7 октября на пресс-конференции ООН, получив тот же вопрос, он раздраженно ответил: «Те, кто считает, что наши усилия потрачены впустую, не понимают, что происходит»[140]. 20 октября, уже в Москве, начал свою «приветственную речь» такими словами: «Если спросить — стоило ли ехать в Нью-Йорк на эту сессию, — то можно сказать без всяких оговорок: не только стоило, но и необходимо было ехать». И далее добавил: «Мы старались с честью и достоинством представлять интересы Советского Союза. Времени напрасно мы не тратили, хорошо понимая, что ехали в Нью-Йорк не к теще на блины, а работать. *(Оживление в зале. Аплодисменты.)*»[141]

Работа, честь, достоинство… Что ж, одно можно сказать точно — работы хватало. Чем дольше Хрущев оставался в Нью-Йорке, тем больше покушений на свое достоинство ему приходилось отражать. В ответ на обвинение в интервенции в Венгрию и невыполнении собственных предложений о разоружении он заявил: «Мы не боимся таких вопросов. Мы белых побили, а вы хотите нас запугать какими-то громкими словами. Нет, господа, кишка у вас тонка»[142]. На телешоу Дэвида Сасскинда Хрущев выглядел усталым, а сам ведущий, отнюдь не интеллектуал-тяжеловес (до создания собственного шоу он был театральным продюсером), не раз перебивал его и ставил в тупик ядовитыми вопросами и замечаниями. «Не торопитесь так, — проворчал наконец Хрущев. — Вы, конечно, человек молодой, а я уже не молод, однако я вам не уступлю…» Когда Сасскинд заметил, что его гость «воет на луну», Хрущев возразил: «Воет? У вас в стране считается, что так говорить вежливо? У нас, знаете ли, это грубость. Я вам, молодой человек, в отцы гожусь, и недостойно с вашей стороны так со мной разговаривать. Я никому не позволю так к себе относиться. Я сюда не лаяться приехал. Я председатель Совета министров величайшей

социалистической страны в мире. Так что будьте любезны проявлять ко мне уважение…»[143]

Однако особого уважения Нью-Йорк к своему гостю не проявлял — скорее, глазел на него как на диковинку. «Кто бы ни присутствовал на встрече, — замечал один обозреватель, — все смотрят только на господина Х. Стоит показаться в дверях его приземистой фигуре с энергичной походкой и широкой улыбкой на устах — к нему сразу устремляется толпа любопытных»[144]. Все в Нью-Йорке раздражало Хрущева. В обычных прогулках по соображениям безопасности ему было отказано, и он «бродил туда-сюда, как тигр в клетке», и глотал свежий воздух на маленьком балкончике[145]. По ночам не давал спать «беспрерывный треск» полицейских мотоциклов. «Сплошная артиллерийская канонада. Цилиндры у дежурных мотоциклов были охлаждены, и, когда их заводили, начинались выстрелы с выхлопами, как будто рвутся снаряды, и все у меня прямо под окном. Тут, как бы ни хотелось уснуть и каким бы уставшим ни был, спать невозможно. Я просыпался и валялся на кровати в ожидании, пока вернется сон».

Даже переселение в роскошный особняк в Глен-Коув, квазианглийский замок под названием Кенилворт, прежде принадлежавший Гарольду Прэтту, а затем приобретенный семьей Рокфеллеров, не принесло ему облегчения. Погода стояла по большей части теплая и ясная, однако и на идиллических лужайках Кенилворта «не раз слышались свистки и автомобильные сигналы», выражающие «недовольство в связи с нашим пребыванием в Америке»[146].

Нервное напряжение Хрущева проявлялось отчасти и на публике, но в большой мере за закрытыми дверьми. Мохамеду Хейкалу, египетскому журналисту, хорошо знавшему Хрущева, показалось, что «в Нью-Йорке он был в необычном для себя настроении». Хрущев дважды встречался с Насером, один раз в Манхэттене, другой — в Глен-Коув, однако «встречи прошли неудовлетворительно, большая часть времени была потрачена на пережевывание старых споров»[147].

Насер и другие руководители стран третьего мира составляли естественную «партию Хрущева» в ООН. Хотя тот и был недоволен тем, что их поддержка не привела к должному результату, с ними ему приходилось сдерживать свой гнев. Однако с собственным министром иностранных дел он не считал нужным сдерживаться. Однажды в советском посольстве Хрущев сидел за столом между Громыко и представителем СССР в ООН Валерианом Зориным. «Кто из вас министр иностранных дел?» — поинтересовался Хрущев. «Андрей Андреевич, конечно», —

удивленно отозвался Зорин. «Ну нет! — проворчал Хрущев. — Дерьмо он, а не министр иностранных дел!»[148]

Так отплатил Хрущев Громыко за его преданность и многолетнюю верную службу.

Глава XVII
ХРУЩЕВ И КЕННЕДИ: 1960–1961

В середине октября, когда Хрущев вернулся из Америки, до президентских выборов оставался всего месяц. Хрущев ждал их с нетерпением, полагая, что с новым президентом сможет «все начать сначала». А тем временем ему пришлось столкнуться с разразившимся на родине сельскохозяйственным кризисом.

В августе Хрущев докладывал Президиуму о результатах своей инспекционной поездки по Астраханской области. Несмотря на жалобы народа на нехватку мяса, которые он приписал «преступной некомпетентности» местного руководства, перспективы урожая, по его словам, были самыми благоприятными — как и в Калиновке, где он в том же месяце провел два дня. Как отличался от этого бодрого рапорта тон его записки, направленной в Президиум 29 октября! Нынешний год оказался для сельского хозяйства худшим со времени смерти Сталина. Особенно горькое разочарование принесло любимое детище — целина, которую во время пребывания Хрущева в Америке инспектировал его помощник Андрей Шевченко. Мясо, молоко и масло повсюду были в дефиците. Все настолько худо, писал Хрущев, что «если мы не примем необходимых мер, то окажемся отброшены к ситуации 1953 года». После всех ожиданий, возбужденных и поддерживаемых Хрущевым, это вызвало бы не только экономический, но и политический кризис. «Думаю, все мы понимаем важность проблемы», — обращался он к коллегам. Однако предлагаемые им «необходимые меры» не представляли собой ничего нового: все те же бюрократические перетасовки (реорганизация партийной структуры на целинных землях), все та же кукуруза (а кроме того, новая порода уток, с которой он познакомился в Индонезии и теперь собирался разводить в дельте Волги), давление на крестьян с тем, чтобы они сдавали своих коров в колхозные стада, — и, разумеется, выставление в качестве примерного хозяйства, на которое должны равняться все колхозы его родной Калиновки[1].

За октябрьской запиской последовали пять месяцев лихорадочной кампании по оживлению сельского хозяйства. Хрущев назначил на январь специальный пленум ЦК и конец осени провел, диктуя пространный доклад. После пленума началась двухмесячная поездка, точнее, серия поездок: Хрущев метался по стране, словно по фронтам войны, стараясь мобилизовать советских крестьян и надзирающих за ними

функционеров[2]. Украина (28 января), Ростов (2 февраля), Тбилиси (7 февраля), Воронеж (11 февраля), Свердловск (2 марта), Новосибирск (8 марта), Акмолинск (14 марта), Целиноград (18 марта), Алма-Ата (31 марта): на каждой остановке он произносил пламенные речи, полные негодования в адрес никчемных и коррумпированных функционеров.

На пленуме ЦК в январе 1961 года он говорил, что Министерство сельского хозяйства позволяет «играть роль экспертов кому угодно. Картошку есть ему случалось — и уже воображает, что в сельском хозяйстве разбирается…». Кого же, по мнению Хрущева, можно было назвать настоящим экспертом? Трофима Денисовича Лысенко, сногсшибательным успехам которого была отведена немалая часть доклада[3]. Это не кукуруза у вас «на стебле гниет», бушевал Хрущев на Украине, — это «руководство ваше гниет, а на кукурузу сваливает». Вот сидит товарищ Кальченко, член ЦК и заместитель председателя Совета министров Украины: «Ему плевать, что он допустил ошибку — все как с гуся вода»[4]. Вдруг Хрущев припомнил, что пастухов и свинопасов прежде «считали людьми совсем никчемными… я это говорю, — продолжал он со смесью гордости и стыда, — потому что… и сам был пастухом, а теперь народ и партия сделали меня первым секретарем Центрального Комитета партии и Председателем Совета Министров СССР. Как видите, и среди пастухов есть стоящие люди. *(Продолжительные аплодисменты.)* Поймите меня правильно, товарищи, не вините меня, что я будто бы себя расхваливаю. *(Оживление, аплодисменты.)* В конце концов, я ведь не сам себя назначил — это вы меня выбрали, а вы бы не выбрали человека, не заслуживающего доверия. Я к вашему решению отношусь с уважением. Если вы меня выбрали, значит, я чего-то стою»[5].

В той же речи Хрущев сравнил нынешний урожай с урожаем 1949 года — не в пользу нынешнего. Еще один скрытый удар по его самолюбию: слушателям не нужно было напоминать, кто довел Украину до голода в 1949 году. По дороге в Воронеж Хрущев и его свита должны были проезжать мимо четверти гектара несжатой кукурузы: узнав об этом, местное начальство распорядилось привезти с близлежащей железной дороги рельс, прикрепить его к трактору и примять им кукурузу, чтобы она издали казалась убранной. «Ну-ну, товарищи, — прорычал, узнав об этом, Хрущев. — Какое новшество в сельскохозяйственной технике! Может быть, вам стоит запатентовать свое изобретение, товарищ Хитров?»[6]

В Казахстане Хрущеву преподнесли национальное угощение — баранью голову — и предложили разделить ее между гостями.

«Я отрезал ухо и глаз», — рассказывал он журналистам 4 июля на приеме в американском посольстве. То и другое передал казахскому руководству, а затем спросил: «А кто возьмет мозги?» Когда за мозгами потянулся один академик, Хрущев пошутил: «Академику действительно нужны мозги. А я работаю Председателем Совета Министров, я и без мозгов обойдусь»[7].

«Почему же вы не аплодируете? — спрашивал Хрущев весной на встрече в Москве. — Я не прошу, чтобы вы мне аплодировали. Нет, я уже не в таком возрасте, чтобы мое настроение определялось только тем, аплодируют мне или не аплодируют. В данном случае я хотел бы рассматривать, как ваше согласие с Центральным Комитетом партии в критике руководителей ваших областей, а также и вас самих за снижение производства зерна… Как, — изложив слушателям меры, необходимые для решения проблемы, — вы согласны с этим? *(Бурные аплодисменты.)* Значит, можно считать ваши аплодисменты как одобрение… *(Бурные аплодисменты.)*»[8].

31 марта 1961 года Хрущев отправил в Президиум еще одну записку, уже куда более оптимистическую, включавшую в себя программу по оживлению сельского хозяйства в пятнадцати пунктах. В длинном списке не хватало лишь одного — попытки анализа структурных недочетов, свойственных самой системе коллективных хозяйств. Вместо этого Хрущев, по обыкновению, полагался на энергию и трудолюбие «героического советского народа» и гневно клеймил тех, кто не желал поверить в чудеса.

Как до, так и после выборов в США Хрущев не переставал обдумывать германскую проблему. «Я много времени проводил в мыслях об этом», — вспоминал он позже. По словам его сына, это еще мягко сказано: «Вопрос о Германии не давал ему покоя. Его даже кошмары мучили из-за этого»[9].

Одной из основных целей Хрущева было стабилизировать положение в ГДР (как и в Восточной Европе в целом), заставив западные державы признать режим Ульбрихта. Но вместо этого кризис привел к дальнейшей дестабилизации ситуации. Все больше немцев бежали из Восточной Германии в Западную, что приводило к тяжелой нехватке рабочих рук. Ульбрихт просил прислать ему советских рабочих, но это предложение привело Хрущева в негодование, напомнив ему Гитлера, использовавшего рабский труд «перемещенных лиц». «В тот день он вернулся домой, кипя от негодования, — вспоминает Сергей Хрущев. — Несколько раз повторил: „Как только ему [Ульбрихту] такое в голову взбрело?“»[10]

Усугубляло ситуацию и то, что восточногерманские товары,

производимые с помощью дотаций от СССР и продаваемые по низким ценам, скупали процветающие западные немцы, тем самым увеличивая и дефицит в хозяйстве ГДР, и огромный долг Ульбрихта СССР. В довершение к этому, вместо того чтобы подождать, пока Хрущев осуществит свои берлинские угрозы, Ульбрихт начал односторонние действия. В сентябре и октябре 1960 года ГДР преподнесла Москве неприятный сюрприз, приняв решение подвергать западных послов паспортному контролю. 30 ноября на встрече с Хрущевым Ульбрихт заявил: «Сейчас нельзя повторять кампанию в защиту мирного договора, которую мы проводили перед парижским саммитом. Если мы хотим чего-то добиться, надо просто подписать договор». Жители Восточной Германии, добавил он, уже говорят: «Вы только говорите о мирном договоре, но ничего не делаете».

«Я думал, что после Парижа… вы согласились с нами, что мирный договор пока подписывать не следует, — возразил Хрущев. — Два года, прошедшие со времени нашего предложения, не потеряны даром: мы ослабили их позицию». Однако он признал, что «мы оба виноваты в том, что не обдумали все как следует и не разработали экономические меры».

Хрущев убедил Ульбрихта, что в 1961 году подписывать мирный договор преждевременно: сначала Москва должна предоставить ГДР помощь, достаточную для того, чтобы выстоять в неизбежно последующей за договором экономической блокаде со стороны Западной Германии. Однако это было слабое утешение — СССР мог предложить своему союзнику не так уж много. И сам Хрущев не мог не признать, что «если мы не подпишем мирный договор, то что же это получится? Если мы не подпишем его в 1961 году, наш престиж потерпит урон, а позиция Запада, особенно Западной Германии, усилится».

И так плохо, и этак нехорошо — вот в какой капкан завела Хрущева его тактика. «Надо хорошенько все обдумать», — поучал он Ульбрихта — однако сам, как видно, оказался на это неспособен. Восточная Германия, заявил он, должна научиться сама себя обеспечивать. Когда он призвал Ульбрихта полагаться на себя, тот в ответ упрекнул Советский Союз в нерешительности: «Если мы не подпишем мирный договор, а вместо этого опять вернемся к пропаганде, это дискредитирует нашу политику, и после этого мы не сможем восстановить наш престиж в течение одного-двух лет. Мы не можем действовать как в 1960 году»[11].

Это был не последний случай, когда восточногерманский «хвост» вилял — или, по крайней мере, пытался вилять — советской «собакой». 18 января 1961 года Ульбрихт вновь посетовал на то, как мало продвинулось дело со времени

ультиматума 1958 года[12]. Затем, внезапно и без предупреждения, восточногерманская делегация объявилась в Москве, заехав туда по дороге на переговоры с Китаем, и здесь продолжила давление[13].

Оказавшись в ловушке, Хрущев возлагал большие надежды на нового американского президента. «Мы сейчас начинаем деловое обсуждение этих вопросов с Кеннеди», — сообщил он Ульбрихту 30 января. Дипломатическая разведка показала, что новому президенту нужно время, чтобы разработать свою позицию. Однако «если мы с Кеннеди не придем к взаимопониманию, — продолжал Хрущев, — то, как и договаривались, вместе с вами выберем время для выполнения назначенных мероприятий», в том числе и для подписания мирного договора[14].

Во время предвыборной кампании в США Хрущев на публике тщательно соблюдал нейтралитет: на вопрос, кого он предпочитает, Кеннеди или Никсона, отвечал: «Рузвельта!» В действительности Хрущеву чрезвычайно не нравился Никсон: он считал его маккартистом, сторонником холодной войны, показавшим свое истинное лицо во время визита Хрущева в США в 1959 году. Поэтому, хотя с Кеннеди он встречался всего однажды, все в том же 1959-м, во время своего кратковременного появления в сенате (причем заметил ему, что для сенатора тот чересчур молодо выглядит), Хрущев предпочитал «болеть» за демократов. В феврале 1960-го, на встрече в Москве с Генри Кэботом Лоджем он сперва с явным недоверием встретил утверждение, что Никсон — не такой уж пламенный антикоммунист, каким предстает в своих предвыборных речах, а затем отверг просьбу освободить до выборов американских разведчиков, задержанных тем летом на территории СССР[15].

Победа Кеннеди 4 ноября, вспоминал Сергей, очень обрадовала Хрущева; он буквально «сиял от радости и шутил, что победа Кеннеди — лучший подарок ему к годовщине революции». И позже он настаивал на том, что никогда не жалел о победе Кеннеди. «Кеннеди лучше, чем Эйзенхауэр, понимал необходимость и разумность улучшения отношений между нашими странами»[16]. Однако отношения Хрущева и Кеннеди не были однозначными — ни в личном плане, ни в политическом.

В августе 1960 года Громыко передал своему боссу досье, подготовленное Министерством иностранных дел. В нем Джей Эф Кей описывался как прагматичный политик, выступающий за переговоры с Советским Союзом; отмечалось, что на месте Эйзенхауэра он, несомненно, извинился бы за полет У-2. Однако тот же Кеннеди поощрял военную промышленность и занимал «агрессивную» позицию по берлинскому вопросу. Многие детали

его личной биографии также содержали в себе скрытый вызов Хрущеву: семья Джей Эф Кей принадлежала к «семидесяти пяти самым богатым семьям в США», сам он учился в Гарварде, Принстоне, Стэнфорде и Лондонской экономической школе, а кроме того, обладал «острым, проницательным умом, способностью к быстрому пониманию и анализу ситуации…»[17].

Со временем Хрущев получил от советского посла в Вашингтоне Меньшикова и от своего зятя Алексея Аджубея иные, не столь лестные характеристики кандидата в президенты. В Министерстве иностранных дел ни для кого не было секретом, что Аджубей называл Джона и Роберта Кеннеди «мальчиками в коротких штанишках». Посол Меньшиков сообщал Хрущеву, что Кеннеди — «неопытный новичок», из которого едва ли получится хороший президент[18]. Эти уничижительные отзывы, должно быть, подогревали желание Хрущева схлестнуться с новым президентом: гордый своей способностью брать верх над более образованными и культурными лидерами западных держав, он, несомненно, с нетерпением ждал возможности поучить уму-разуму богатенького мальчишку, который «моложе моего собственного сына»[19]. Однако, если бы даже Кеннеди в самом деле оказался слаб и неопытен, — не следовало забывать, что за ним стояли «правящие круги» Америки, в том числе Уолл-стрит и военно-промышленный комплекс, которых Хрущев считал заклятыми врагами СССР. Возможно, именно эта мысль вызвала у него в последнюю минуту сомнения, которыми он перед самыми выборами поделился с послом Томпсоном: «Я бы предпочел, чтобы выиграл Никсон. С ним-то я знаю, как сладить. А вот Кеннеди для меня — неизвестная величина»[20].

Для Кеннеди Хрущев также был чрезвычайно значимой фигурой. Новый президент понимал: на суде истории его роль будет оцениваться прежде всего по тому, как он вел себя с лидером коммунистического мира. В дело могли вмешиваться и личные факторы: можно предположить, что Хрущев напоминал Кеннеди отца. Джон рос слабым, болезненным мальчиком; однако его отец требовал, чтобы сын во всем превосходил сверстников, а когда у него что-то не получалось, жестоко высмеивал. В конце концов Джон Кеннеди превзошел своего отца по всем статьям — не только как политик, но и как донжуан, светский лев и кумир публики. Однако необходимость напрягать все силы, чтобы оправдать ожидания отца, не могла не оставить в его душе серьезной травмы — тем важнее для него было успешное противостояние Хрущеву, тем сильнее он должен был переживать, когда поначалу потерпел поражение, и тем больше гордиться собой — когда победил (по крайней мере с точки зрения

очевидцев) в последовавшем затем кризисе[21].

Немедленно после выборов Хрущев принялся осаждать Кеннеди пробными заходами и предложениями. 11 ноября друг и прихлебатель Хрущева, украинский писатель Александр Корнейчук, сообщил Авереллу Гарриману, что советский руководитель хочет «начать все сначала, забыв инцидент с У-2 и все, что за ним последовало»[22]. Три дня спустя посол Меньшиков в беседе с тем же Гарриманом сказал: Хрущев надеется, что его отношения с Кеннеди «сложатся так же, как наши отношения с Рузвельтом в то время, когда господин Гарриман представлял США в России»[23]. 16 ноября Меньшиков сообщил Эдлаю Стивенсону, что вскоре после инаугурации Хрущев хотел бы провести «здесь или там» «дискуссию без стенографов и отчетов», «неформальные переговоры» по вопросу о запрете ядерных испытаний. Что касается Китая — хотя Москва не может заставить Пекин согласиться на признание «двух Китаев», но, когда речь идет о «китайской экспансии» [!], СССР «будет рад вам помочь»[24]. Стивенсон выслушал наши предложения с интересом, докладывал 21 ноября Меньшиков, и есть надежда, что «взгляды самого президента Кеннеди» будут для нас еще более благоприятны[25]. Но, к сожалению, вновь избранный президент «не может вести никаких переговоров до официального вступления в должность»[26].

«Что мы можем сделать, чтобы помочь новой администрации?» — спрашивал заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов советников Кеннеди Уолта Ростоу и Джерома Уайзнера, прибывших в Москву в конце ноября на встречу по вопросу разоружения. Ростоу предположил, что саммит в Нью-Йорке вполне возможен, если русские освободят захваченных летом американских пилотов, если будет достигнуто соглашение по запрету ядерных испытаний и если в Манхэттене Хрущев «не станет снимать ботинки»[27]. 12 декабря Меньшиков пригласил Роберта Кеннеди на обед. Два дня спустя он просил Гарримана «как можно скорее» организовать секретные неофициальные переговоры[28]. «Нельзя терять времени, — несколько раз повторил посол. — Мы и так потеряли уже год», и теперь Хрущев и Кеннеди должны встретиться «перед тем, как у тех, кто не хотел бы нашего соглашения, появится возможность действовать и помешать ему»[29]. 5 января дипломат Дэвид К. Э. Брюс получил от Меньшикова аналогичное послание вместе с подарками — русской водкой и икрой — и предложением о встрече: на встрече Меньшиков повторил то же, что и в письме[30].

Стоит вспомнить, как не терпел Хрущев выглядеть просителем, чтобы понять: происходило нечто экстраординарное.

Настойчивые просьбы о переговорах выдавали крайнее нетерпение Хрущева, усиленное затяжным германским кризисом и сельскохозяйственными проблемами на родине. Однако в американской политике он разбирался не лучше, чем в советском сельском хозяйстве. Очевидно было, что до формального вступления президента в должность никакие переговоры невозможны. И даже после этого новому главе государства требовалось определенное время, чтобы выработать свою позицию и подготовиться к грядущим испытаниям.

В день, когда Кеннеди принес присягу, Хрущев (в первый раз за все время) позвонил в американское посольство и попросил посла Томпсона зайти к нему. Он принял посла в своем кабинете на втором этаже Кремля, за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Советский руководитель выглядел усталым, голос его звучал хрипло. Он сказал, что прочел инаугурационную речь Кеннеди, увидел в ней «конструктивные моменты» и принял решение в знак уважения к новому президенту освободить американских летчиков[31].

Кеннеди ответил несколькими жестами доброй воли: прекратил государственный контроль за получаемыми в Америке советскими периодическими изданиями, приветствовал возобновление переговоров по вопросу о гражданской авиации, прерванных в 1960 году, приказал генералитету снизить тон и умерить антисоветские выпады в своих речах и отменил запрет на импорт советских крабов. Однако эти знаки благорасположения были омрачены зловещими предзнаменованиями с той и с другой стороны.

6 января на закрытой конференции идеологов и пропагандистов Хрущев делал доклад о Совещании коммунистических и рабочих партий, проходившем в Москве в ноябре 1960 года. Как и компромиссная декларация, завершившая совещание, его нынешняя речь была составлена тщательно и обдуманно. С одной стороны, в ней слышались отзвуки китайской позиции: мир идет по пути социализма, империализм слабеет как у себя на родине, так и за рубежом, страны третьего мира встают на путь революции. С другой стороны, противореча Мао, Хрущев заявил, что ядерная война принесет «неисчислимый ущерб» миру и «гибель миллионов». «Локальных войн» допускать тоже нельзя, поскольку они неизбежно будут перерастать в глобальные. Единственные войны, которые готов поддерживать Советский Союз, — это (кивок в сторону как маоистского, так и его собственного марксизма-ленинизма) «войны за национальное освобождение». Такие

войны, как, например, борьба алжирского народа против французского колониализма, «неизбежны» и «священны»[32].

Для советского внешнеполитического курса такие речи были типичны. Это понимал Эйзенхауэр, заметивший в частном разговоре, что для Хрущева решительные разговоры — не прелюдия к решительным действиям, а, скорее, их замена. Но не так смотрел на это Кеннеди. Согласно Артуру М. Шлезингеру-младшему, «агрессивная самоуверенность, пронизывающая остальную часть речи [кроме отказа от ядерной войны], и особенно прозвучавшая в ней вера в победу социализма благодаря мятежам, диверсиям и партизанским войнам, встревожила Кеннеди, несмотря на поступающие из Москвы знаки, свидетельствующие о дружелюбии». Проигнорировав предупреждение Томпсона о том, что эта речь представляет лишь одну сторону сложной личности Хрущева, Кеннеди воспринял ее как «серьезное изложение советских намерений», приказал своим помощникам «внимательно изучить» ее текст и сам в своей речи 30 января заявил: «Не следует убаюкивать себя уверенностью, что обе державы [СССР и Китай] отказались от планов мирового господства — планов, которые они обе совсем недавно подтвердили. Напротив, наша задача — убедить их, что агрессия и диверсия не станут выгодными путями к исполнению их планов»[33].

Два дня спустя США провели испытательный запуск первой межконтинентальной ракеты «Минитмен»; пресса назвала это прелюдией к серьезным испытаниям, которые будут проведены в середине 1962 года. 6 февраля секретарь по обороне Роберт С. Макнамара заявил, что пресловутая уязвимость США для советских ракет, на которой так настаивает Хрущев, — миф[34]. Между тем на просьбы Хрущева о саммите по-прежнему не поступало официального ответа, что вовсе не было напрямую направлено против Хрущева, — но он-то об этом не знал[35].

В частных беседах Кеннеди не проявлял особого беспокойства по поводу планов Хрущева — настолько, что после его встречи 11 февраля с советниками по советским делам Чарльз Болен встревожился: ему показалось, что президент недооценивает стремление Хрущева к мировому экспорту коммунизма. Или, возможно, тревога Кеннеди трансформировалась в то, что госсекретарь Дин Раск определил как чрезмерную готовность к переговорам с Хрущевым? «У Кеннеди создалось впечатление, — рассказывал позже Раск, — что, стоит ему сесть с Хрущевым за стол переговоров, из этого обязательно что-нибудь получится — наладится взаимопонимание и сблизятся позиции по различным вопросам». Сам Кеннеди говорил своему помощнику Кеннету

О'Доннелу: «Я хочу показать ему, что мы не слабее его. Через обмен посланиями это показать невозможно. Я хочу сесть с ним за один стол и показать ему, с кем он имеет дело»[36].

21 февраля, проведя еще одну встречу со своими советниками по советскому вопросу — Томпсоном, Гарриманом, Кеннаном и Боленом, — президент одобрил «неофициальный обмен взглядами» с Хрущевым и предложил провести его, как только позволит международное положение и расписание обоих лидеров. 27 февраля, вернувшись в Москву, посол Томпсон должен был передать Хрущеву письмо от Кеннеди и обговорить детали встречи. А тем временем, по словам Трояновского, надежды Хрущева на Кеннеди начали «таять» и он «занял выжидательную позицию», «не торопясь с ответом» на предложение президента о встрече и обмене мнениями[37].

Не помогало делу и развитие событий в Конго, откуда 13 февраля пришло известие об убийстве Патриса Лумумбы, ответственность за которое советский руководитель возложил на «западных колониалистов» и поддерживающего их Генерального секретаря ООН Хаммаршельда. Кроме того, западные страны продолжали упорствовать в вопросе о Германии и Берлине. 17 февраля СССР направил в Бонн меморандум, в котором указывалось, что прежде западные лидеры говорили: «„Подождем немного, сейчас не время. В США идет подготовка к президентским выборам. Подождем, пока там все закончится“. А после выборов они говорят: „Президент и новое правительство США только-только вступили в свои должности и еще не освоились со своими новыми обязанностями…“ Если позволить делу идти таким чередом, это может продолжаться до бесконечности»[38].

27 февраля Томпсон вернулся в Москву — а на следующий день Хрущев отправился в очередное сельскохозяйственное турне, не потрудившись перед этим его принять. Томпсон сумел передать письмо президента только 9 марта, поймав Хрущева в Новосибирске. Советский руководитель остановился в Академгородке, возведенном не так давно по его приказу. Академики, члены Сибирского отделения Академии наук, заметили, что председатель Совета министров чем-то недоволен. Томпсон пишет, что Хрущев «выглядел безмерно усталым, его вид поразил даже моих советских спутников»; и когда советский лидер узнал, что в письме Кеннеди нет ни слова о Берлине, его настроение, разумеется, не улучшилось[39].

С самой инаугурации Кеннеди старался избегать этой темы. Еще в феврале Томпсон предупреждал, что, если по германскому вопросу «не будет достигнут прогресс», Хрущев, весьма вероятно,

«пойдет на подписание сепаратного мирного договора», после чего, вполне возможно, ГДР попытается «затянуть удавку на шее» у Западного Берлина. Чтобы избежать этого, необходимо «проявить активность по германскому вопросу, дав понять, что реальный прогресс может быть достигнут после выборов в Германии»[40]. Однако президент отказался от этого плана и проинструктировал Томпсона не упоминать о Берлине в Новосибирске. Хрущев, сухо замечает Томпсон, сумел сдержаться лишь потому, что к этому времени уже потерял надежду выдоить молоко из камня: «…Хрущев заметил, что я не упомянул германский вопрос, который он хотел бы обсудить. Он сказал, что СССР высказал свою позицию в меморандуме к Аденауэру… Сказал, что детально объяснил свою позицию президенту Эйзенхауэру… Сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы президент Кеннеди с пониманием отнесся к советской позиции по германскому вопросу»[41].

На это Томпсон смог ответить лишь, что президент «пересматривает нашу политику в Германии и хотел бы обсудить ее с Аденауэром и другими союзниками, прежде чем приходить к каким-то выводам». Однако он не предвидит «больших перемен» с американской стороны. Он предупредил Хрущева, что, «если что-либо способно заставить нас увеличить расходы на вооружение в той мере, как это было во время Корейской войны, — это убежденность, что Советы хотят выдавить нас из Берлина…»[42].

Несколько дней спустя Томпсон предупреждал своих боссов: «Все мои коллеги-дипломаты… полагают, что, если не начать переговоры, Хрущев подпишет сепаратный мирный договор с Восточной Германией, что вызовет кризис в вопросе о Берлине»[43]. Он предположил даже, что Восточный Берлин будет отгорожен стеной, «дабы прекратить поток беженцев, с которым они не могут мириться». Но обе стороны не обращали внимания на его предупреждения. Заботясь о своем престиже, Хрущев не думал о престиже Кеннеди. Кеннеди же полагал, что раз Хрущев ждет уже три года — может подождать еще.

В середине апреля на даче в Пицунде Хрущева посетили американский журналист Уолтер Липман и его жена Хелен. Чередуя разговоры с прогулками, партиями в бадминтон (во время которых пожилой и грузный, но энергичный Хрущев разбил Липманов в пух и прах) и двумя роскошными обедами, Хрущев указывал на сепаратный мирный договор с Германией как на единственный выход для себя. «Я не хочу напряженности, — повторил он несколько раз. — Я знаю, что это создаст напряженность, и хочу ее избежать. Но, в конце концов, ничего другого мне не остается». Когда Липман заговорил об опасности

войны, Хрущев заявил: «Нет на Западе таких глупых политиков, которые могли бы развязать войну, где погибнут миллионы людей, из-за мирного договора с ГДР… Не родился еще такой идиот». Следуя подсказке из Вашингтона, Липман предложил пятилетний мораторий по берлинской проблеме. Хрущев посмотрел на него как на ненормального[44]. Месяц спустя, когда Томпсон предложил оставить Берлин «как есть», Хрущев резко ответил, что «ждать можно до осени-зимы нынешнего года, а потом будет поздно. Он напомнил мне, что первоначально пытался решить проблему за шесть месяцев — а прошло уже тридцать»[45].

После Новосибирска казалось, что саммит Хрущева и Кеннеди откладывается на неопределенный срок: однако не прошло и двух месяцев, как они встретились в Вене. За это время произошли еще два события, которые сделали еще менее вероятной возможность взаимопонимания. Полет в космос Юрия Гагарина и неудавшаяся интервенция США на Кубу укрепили уверенность Хрущева в том, что он сможет добиться от Соединенных Штатов всего, что ему нужно.

В те несколько месяцев, что предшествовали полету Гагарина, Хрущев очень переживал из-за крушений советских ракет. Еще в октябре 1960 года, сразу после его возвращения из Нью-Йорка, ракета Р-16 взорвалась на испытательном полигоне в Тюратаме, причем погибла почти сотня человек, включая и главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина: от него остались только один маршальский погон и полурасплавленные ключи от кабинета. Хрущев, вспоминает его сын, был в отчаянии[46]. Но вскоре после этого успех Гагарина поразил мир — поразил тем сильнее, что произошел незадолго до дня Первого мая. Сергей Хрущев, сам участвовавший в разработке советской космической программы, уверяет, что его отец не стремился подгадать даты запусков к «красным дням календаря» — однако никто из связанных с программой освоения космоса не сомневался, что она имеет прежде всего политическое значение[47].

О полете Гагарина было объявлено только после того, как первопроходец космоса успешно приземлился. Хрущев нервно расхаживал по своему кабинету, когда к нему вбежал с новостями Сергей Королев. «Просто скажите, он жив?!» — воскликнул Хрущев. Едва Гагарин оказался на земле, Хрущев бросился к телефону: «Пусть весь мир смотрит и видит, на что способна наша страна, что могут сделать наш великий народ, наша советская наука»[48].

Когда Сергей вечером позвонил отцу, тот был «в восторге». Он уже повысил Гагарина в звании со старшего лейтенанта до майора (пропустив звание капитана, которое предложил министр обороны Малиновский), наградил его звездой Героя Советского Союза, решил лететь в Москву, чтобы поздравить его лично, приказал объявить 12 апреля национальным праздником, организовать парад на Красной площади и грандиозный банкет в Кремле, чтобы отпраздновать это событие. Сергей беспокоился о здоровье отца: «Предыдущие месяцы сильно его утомили, он наконец вырвался отдохнуть на две-три недели — и вот всего через два-три дня собирается вернуться в Москву». Однако Хрущев не слушал никаких возражений и «рвался в Москву»[49].

Когда самолет с Гагариным в сопровождении четырех истребителей приземлился на аэродроме во Внукове, его уже ждал там Хрущев — вместе со всей партийной верхушкой, избранными министрами и маршалами, а также семьей космонавта. Гагарин сошел с самолета по красной ковровой дорожке, отрапортовал Хрущеву («задание выполнено», «отличные условия», «готов к любому новому заданию» и т. п.) и получил в ответ горячее объятие лидера страны[50]. В кинохронике, посвященной этому событию, мы видим, как Хрущев утирает белым платком выступившие слезы. После отставки Хрущева кадры с его изображением из фильма вырезали, оставив Гагарина рапортовать куда-то в пустоту.

Поначалу Хрущев хотел, чтобы во главе процессии, следующей по Ленинскому проспекту на Красную площадь, ехали только Гагарин с женой, — однако не смог удержаться от искушения покрасоваться рядом с ними в обвитом цветочными гирляндами открытом лимузине. Затем — ликующие толпы, безоблачные небеса, развевающиеся знамена, речи с трибуны Мавзолея, а в завершение дня — дипломатический гала-прием, на котором Хрущев снова обнимал Гагарина и радовался тому, каких успехов достигла страна. Прежде «мы ходили голые и босые», — ораторствовал Хрущев. — Высокомерные «теоретики» предсказывали, что «лапотная Россия» никогда не станет великой державой. И вот эта «когда-то безграмотная Россия», которую многие считали «варварской страной», первой проторила дорогу в космос![51] «Вот так, Юрка! — восклицал Хрущев, — Пусть знают все, кто точит когти против нас. Пусть знают, что Юрка был в космосе, все видел, все знает…»[52]

Четыре дня спустя Соединенные Штаты предприняли вторжение на Кубу. До сих пор победа в 1959 году Фиделя Кастро над диктатором Фульхенсио Батистой не привлекала особого внимания Хрущева. О бородатом революционере советская

интеллигенция знала только то, что рассказывали кубинские коммунисты, а они называли Кастро агентом ЦРУ. Однако, после того как высокопоставленные советские эмиссары, включая Микояна, установили, что Фидель — марксист, Хрущев загорелся идеей создать блокпост социализма под самым носом у дяди Сэма. Поначалу Москва действовала осторожно, опасаясь спровоцировать американцев. Но к концу 1960 года, вспоминает Сергей Хрущев, его отец не только пришел к мысли о необходимости помощи Кубе, но и «буквально влюбился» в самого Кастро, которого ласково называл «бородачом»[53].

В марте 1961 года советская разведка сообщила о подготовке американцами интервенции на Кубу. Это, согласно Трояновскому, была вторая причина, по которой Хрущев не спешил назначать дату двустороннего советско-американского саммита[54]; в то же время Кеннеди колебался с назначением даты высадки на Кубу, опасаясь, что вторжение кубинских эмигрантов развяжет Хрущеву руки в берлинском вопросе[55]. Наконец президент отдал приказ, однако отказался предоставить прикрытие с воздуха. В результате пехотинцы, высадившиеся на Кубе, были просто сметены с лица земли.

В первой публичной реакции Хрущева, переданной Кеннеди еще до того, как исход военных действий стал вполне ясен, слышатся нотки искренней тревоги: «Сейчас еще не поздно предотвратить непоправимое». Однако несколько дней спустя, когда опасность миновала, Хрущев перешел к своим обычным гневным штампам: «Агрессивные разбойничьи действия не могут спасти вашу систему. В историческом процессе развития человеческого общества каждый народ сам решает и будет решать судьбы своей страны»[56]. В частных разговорах настроение Хрущева «скакало» от радости к глубокому неудовольствию. Поначалу его поразило и разъярило то, что высадка на Кубу совпала с днем его рождения — 17 апреля. Кроме того, он был убежден, что американцы закончат начатое появлением флота и бомбежкой острова с воздуха. «Я не понимаю Кеннеди, — заметил он сыну, когда президент не сумел добиться победы. — Что с ним такое? Как можно быть таким нерешительным?»[57] По словам Трояновского, подумав, Хрущев пришел к двум умозаключениям: во-первых, между президентом-республиканцем и президентом-демократом нет ровно никакой разницы (что он мог бы почерпнуть и из трудов классиков марксизма-ленинизма), а во-вторых, теперь, когда Кеннеди проявил слабость, самое время с ним встретиться. Следуя той же логике, он полагал, что президент постарается избежать встречи. Однако Кеннеди его удивил[58].

Сразу после кубинской катастрофы Кеннеди был подавлен и удручен. По словам его друга Лемойна Биллингса, президент «постоянно винил в кубинском фиаско себя». Другой его друг, Чарльз Сполдинг, замечает: «Он не мог думать ни о чем другом, и все мы старались его отвлечь». Кеннеди боялся, что его «кубинская ошибка» поощрит коммунистов действовать «все смелее и смелее», вступая с ним в конфронтацию «во всех частях света»[59]. Особенно беспокоили его сообщения о том, что после кубинского поражения американцев Хрущев сделался смелее и задиристее, чем когда-либо ранее[60]. Вот почему Кеннеди чувствовал настоятельную необходимость встретиться с советским лидером, хотя внутренне и не был готов к этой встрече. «Ввязываться в драку между коммунистами и антикоммунистами на Кубе или в Лаосе — одно дело, — говорил он О'Доннелу. — Но сейчас настало время дать ему [Хрущеву] понять, что отношения между США и Россией — это нечто совсем иное»[61].

12 мая Хрущев принял долгожданное предложение Кеннеди: переговоры были назначены на 3–4 июня в Вене. Желая до саммита продемонстрировать свою силу, 25 мая Кеннеди обратился к нации, потребовав увеличения расходов на оборону, включая трехкратное увеличение расходов на ракетные вооружения. Так же вел себя и Хрущев: незадолго до саммита он предупредил посла Томпсона, что заключение договора с Германией — вопрос почти решенный[62].

Назначив саммит, Кеннеди начал к нему готовиться: изучал стенограммы предыдущих саммитов, беседовал с теми, кому уже доводилось общаться с Хрущевым. «Он вовсе не глуп, — заключил президент. — Он умный человек. Он… — Тут, не находя подходящего слова, президент взмахнул кулаком в воздухе… — Он крепкий орешек!»[63] Гарриман с этим согласился, но предупредил Кеннеди, что хвастовство и угрозы Хрущева не стоит воспринимать слишком серьезно: «Не позволяйте ему вас уболтать. Он постарается вас запугать и запутать, но не обращайте на это внимания… Его стиль — сперва ввязываться в драку, а потом смотреть, что из этого выйдет. А вы не ввязывайтесь туда, куда он вас втягивает, а вместо этого посмейтесь над ним».

По дороге в Вену, когда Кеннеди и его команда остановились в Париже, де Голль дал президенту тот же совет: «Если бы Хрущев хотел войны из-за Берлина, он бы ее уже начал». Французский лидер предупредил также, что Хрущев попытается проверить Кеннеди на прочность («Ваша задача, господин президент, — заставить Хрущева поверить, что перед ним человек, готовый к драке. Держитесь стойко… будьте жестким, проявляйте силу»),

поскольку у него есть причины в этом сомневаться: после поражения на Кубе де Голль и сам обеспокоен тем, что Кеннеди «в некотором смысле проявил слабость», и опасается, что «столь молодой человек» не сможет противостоять Хрущеву по берлинскому вопросу[64].

Советники Кеннеди предупреждали его также, что в идеологические споры с Хрущевым ввязываться не стоит. Все эти советы усиливали нервозность и напряжение президента накануне саммита. В довершение всего, ему не давали покоя тщательно скрывавшиеся от американской публики проблемы со здоровьем. На людях Кеннеди старался производить впечатление сильного, здорового, энергичного человека; в действительности же он был так слаб, что часто по полдня проводил в постели. Кроме того, он страдал от болезни Аддисона и болей в спине, из-за которых временами мог передвигаться только на костылях. Во время пребывания в Вене 3 июня он принимал кортизон, от которого у него опухло лицо; с этим же лекарством были связаны резкие колебания настроения. Кроме того, он пил прокаин — анальгетик от болей в спине, — а также таинственную смесь амфетаминов, витаминов, энзимов и бог знает чего еще, назначенную ему (в последние минуты перед первым заседанием саммита) эксцентричным нью-йорским врачом Максом Джейкобсоном, которого его пациенты из высшего общества прозвали доктором Айболитом[65].

Хрущев прибыл в Вену поездом на день раньше. Среди встречавших был его старый враг Молотов, теперь представлявший СССР в Международном агентстве по атомной энергии. Молотов к саммиту не имел никакого отношения, однако его присутствие напомнило Хрущеву, сколь многое зависит от этой встречи не только в международных отношениях, но и в вопросе его престижа. 3 июня, вскоре после полудня, Хрущев и Кеннеди пожали друг другу руки на ступенях американского посольства. Стройный Кеннеди возвышался над приземистым Хрущевым почти на полголовы.

От последовавших затем двухдневных переговоров волосы вставали дыбом. По крайней мере, так оценивал их сам Кеннеди. «Самое тяжелое испытание в моей жизни, — рассказывал он немедленно по возвращении домой корреспонденту „Нью-Йорк таймс“ Джеймсу Рестону. — Думаю, он так себя вел из-за нашей неудачи на Кубе. Видимо, решил, что с человеком, ухитрившимся ввязаться в такую историю, легко будет справиться. Решил, что я молод, неопытен и слаб духом. Он меня просто отколошматил… У нас серьезнейшая проблема. Если он считает, что я неопытен и слаб — я обязан его в этом разубедить, иначе мы так никуда и не

двинемся. Так что мы должны действовать»[66].

После саммита, в Лондоне, где Кеннеди имел долгий приватный разговор с Макмилланом, британский премьер заметил, что его собеседник «совершенно подавлен грубостью и безжалостностью» Хрущева. Он, писал Макмиллан у себя в дневнике, производил впечатление человека, «впервые встретившегося с Наполеоном в расцвете его могущества и славы». Или «лорда Галифакса или Невилла Чемберлена, пытающихся вести переговоры с господином Гитлером»[67]. Дин Раск позже писал об этом так: «Кеннеди был очень расстроен. Он оказался не готов к лобовому столкновению с Хрущевым…» Гарриман нашел президента «потрясенным». Линдон Джонсон хмуро заметил друзьям: «Хрущев до смерти напугал мальчишку»[68].

Видел ли Хрущев в своем партнере слабого и неподготовленного юнца, которого можно безнаказанно запугивать? Сергей Хрущев утверждает, что нет, что Хрущев рассматривал Кеннеди как «серьезного партнера»[69]. На первый взгляд это подтверждается и воспоминаниями самого Хрущева. Кеннеди произвел на него впечатление «лучшего политика, чем Эйзенхауэр», пишет он. Как и его предшественник, Кеннеди «не хотел войны»; но он был «эластичным человеком» и, «кажется, лучше Эйзенхауэра понимал идею мирного сосуществования». Кеннеди, продолжает Хрущев, был «умным человеком», из тех, кто «не станет принимать поспешных решений, способных привести к военному конфликту»[70].

Разумный, гибкий, страшащийся войны, готовый избегать конфликтов… К сожалению, все эти качества предполагали, что президент готов пойти на многое, лишь бы избежать конфронтации — особенно если Хрущев на него надавит. Позитивный тон отзыва о Кеннеди в мемуарах Хрущева отражает умозаключения, к которым автор пришел позже. До Вены — и некоторое время после — он был убежден, что сможет вертеть Кеннеди, как захочет. На заседании Президиума за десять дней до начала саммита Хрущев объявил, что намерен надавить на президента в берлинском вопросе. В ответ на просьбу Микояна быть поосторожнее Хрущев с улыбкой заметил, что на Кубе Кеннеди проявил слабость, которую просто грех не использовать[71]. Вернувшись в советское посольство после первого дня саммита, он выглядел еще более уверенным в себе. «Ну что вам сказать? — обратился он к Трояновскому и другим советским дипломатам, ждавшим его возвращения. — Это очень неопытный, может быть, даже незрелый человек. По сравнению с ним Эйзенхауэр — это глубоко мыслящий деятель, с серьезными

взглядами на действительность»[72].

Были минуты, особенно к концу второго дня встречи, когда Кеннеди собирался с силами и противостоял Хрущеву на равных. Однако перед этим президент упрямо и необъяснимо цеплялся за те самые идеологические аргументы, которых ему советовали избегать, поскольку Хрущев любит идеологические споры и умеет брать в них верх. Президенту рекомендовали не углубляться в идеологию, не обращать внимания на угрозы и хвастовство, предложить перейти прямо к обсуждению германских проблем, а если Хрущев откажется, холодно распрощаться, добавив, что переговоры возобновятся, когда Хрущев будет к ним готов[73]. Однако именно этого он и не сделал.

Хрущев поначалу сам старался избежать вопросов, связанных с идеологией. Когда Кеннеди обвинил Советский Союз в «стремлении уничтожить свободные режимы в важных для нас регионах», Хрущев сперва начал возражать, но потом добавил: «Впрочем, это не повод для спора и тем более для войны». Вместо того чтобы уловить этот намек, Кеннеди продолжал рваться в бой: он объявил, что Москва поддерживает прокоммунистические меньшинства, «не выражающие волю народа», поскольку «СССР верит, что это исторически неизбежно». «Соединенные Штаты пытаются возвести плотину, преграждающую путь развитию человеческого разума и сознания», — отвечал на это Хрущев[74].

На бесплодные перепалки такого рода ушло почти все первое заседание. После обеда (на котором Хрущев заметил, что завидует молодости президента, но и в свои шестьдесят семь лет «соревнования не боится») и прогулки вместо того чтобы перейти к обсуждению заранее подготовленного списка вопросов — Лаос, Берлин и запрет ядерных испытаний, — Кеннеди снова начал спор о коммунизме и капитализме. Это привело к долгим бесплодным дебатам о том, за кем же в конечном счете будущее.

Нельзя сказать, что этот разговор был вовсе лишен практического значения. Кеннеди старался показать, как опасно может быть идеологическое соперничество в ядерный век. Однако его предупреждение против *дальнейшей* экспансии коммунизма подразумевало, что со всеми уже существующими коммунистическими режимами Америка смирилась. Советский дипломат Георгий Корниенко, прочтя стенограмму заседания, был изумлен уступчивостью президента. Кеннеди не только неимоверно затянул «философскую часть» переговоров, но и говорил так, «будто целиком согласен с тем, что капитализм идет к закату и будущее принадлежит социализму». Позиция Кеннеди удивила Корниенко; он даже заподозрил, что приспешники

Хрущева подредактировали стенограмму ему в угоду[75].

Позже Кеннеди прояснил свою позицию: он не возражает против социальных перемен как таковых, однако протестует, если такие перемены угрожают нарушить геополитическое равновесие, втягивая нейтральные государства в советский блок. Однако такую позицию Хрущев не принял. Когда американцы попытались раздавить Фиделя Кастро — разве это не была попытка нарушить сложившееся положение? Не говоря уж о том, что сам он приложил немало усилий, чтобы вытащить из западного блока Западный Берлин. Более того, Кеннеди высказал свои опасения в такой форме, какую Хрущев счел не только политически неприемлемой, но и лично для него оскорбительной[76]. Президент предупредил, что нерасчетливость с обеих сторон может привести к самым печальным последствиям. Хрущев в ответ заявил, что нерасчетливость — «очень неудачный термин». У него складывается впечатление, что Соединенные Штаты «хотели бы поучать СССР, как школьника». Однако Советский Союз не позволит отговорить себя от защиты своих интересов[77].

Звучит достаточно сильно, однако дипломатичный американский стенограф смягчил истинные выражения Хрущева. В тот же вечер в американском посольстве, прогревая в ванне больную спину, Кеннеди рассказывал Кеннету О'Доннелу: «Хрущев просто взбесился. Начал орать: „Нерасчетливость! Нерасчетливость! Нерасчетливость! Только это и слышно от вас, и от ваших журналистов, и от ваших друзей в Европе и повсюду — везде это проклятое слово, нерасчетливость! Засуньте его в морозилку и никогда больше не употребляйте! Меня тошнит от него!“»[78]

Внезапная вспышка гнева советского лидера была вызвана не только тем, что именно в нерасчетливости обвинял его в свое время Молотов, но и тем, что это обвинение было справедливо. В конце концов, как иначе можно назвать его политику по германскому вопросу? Однако Кеннеди, пораженный гневом Хрущева, поспешил признать, что и Америка порой проявляла нерасчетливость (например, в Корейской войне, когда американцы не подумали о возможности китайской интервенции, или в недавней истории с Кубой), и Хрущев воспринял это как знак слабости — ибо сильный человек, по его мнению, не стал бы признавать свои ошибки в разговоре с противником.

Впрочем, на прогулке, последовавшей за ланчем, Кеннеди проявил уже вполне однозначную слабость. Он признал, что его положение в родной стране довольно шатко (что, как он объяснил, связано с победой небольшим числом голосов и недостатком поддержки в конгрессе), и попросил Хрущева не

требовать уступок, способных еще сильнее подорвать его позицию. Хрущев ответил на это пространной речью о Берлине, в которой чувствовалось и желание надавить на президента, и опасение, что американские реакционеры, в свое время заставившие Эйзенхауэра свернуть разрядку, теперь проделают то же с его наследником[79].

Вечернее заседание прошло ненамного лучше, однако Хрущев остался доволен. Кеннеди признал, что Соединенные Штаты рассматривают «существующий баланс между советско-китайскими [!] силами и силами США и западноевропейских стран как более или менее равновесный». Хрущев воспринял это как подтверждение того, на чем так долго настаивал: что СССР достиг примерного паритета в вооружениях с США и новая мировая война теперь немыслима[80].

В 18.45 договаривающиеся стороны распрощались. Корреспонденту «Санди таймс» Генри Брэндону, хорошо знавшему президента, Кеннеди показался «ошеломленным». «Это всегда так?» — спросил Кеннеди посла Томпсона. «Зависит от обстоятельств», — отвечал посол, «очень расстроенный» тем, что президент не внял его совету не затрагивать идеологические вопросы.

Возможно, среди прочих советов Кеннеди следовало послушать и совета своей жены. Проведя с Хрущевыми вечер (ужин в Шенбруннском дворце и посещение оперного театра), Жаклин Кеннеди верно заключила, что госпожа Хрущева — «крепкий орешек» и что хотя и говорят, что Аджубей имеет на своего тестя большое влияние, Хрущеву тот «по-настоящему не нравится» и он «не особенно с ним близок»[81]. Миссис Кеннеди, с которой Хрущев сидел рядом за столом, показалась ему «языкастой». Когда он начал хвастать, что на Украине сейчас больше учителей, чем было до 1917 года, она прервала его: «О, господин председатель, давайте не будем о статистике — это так скучно!» «В разговоре находчива: с ней не связывайся — обрежет!» — вспоминал позже Хрущев. Ах, если бы можно было сказать то же самое и о ее муже![82]

4 июня, в воскресенье, в 10.15 в советском посольстве продолжились переговоры. Кеннеди наконец перешел к делу. Обе стороны согласились, что в Лаосе необходимо прекратить огонь и сформировать нейтральное правительство. Однако замечание Кеннеди об интересах США в Азии вызвало со стороны Хрущева новый взрыв гнева. Соединенные Штаты, заявил он, «так богаты и могущественны, что приписывают себе какие-то особые права и не считают нужным признавать права других». Пусть президент извинит Хрущева за прямоту, но это «мегаломания» и «бред

величия». СССР не позволит, чтобы ему указывали: «Не суй нос туда, не суй нос сюда», — особенно в то время, когда Соединенные Штаты «распространяют свое влияние повсюду». Конечно, западные люди «искуснее восточных умеют бросаться тонко замаскированными угрозами»; но, когда американцы говорят о приверженности определенным установкам, это значит, что они «и Крым готовы захватить — ведь это тоже улучшит их положение»![83]

Обмен мнениями о запрете ядерных испытаний также ни к чему не привел. Хрущев все еще предпочитал всеобщее и полное разоружение (которое, легковесно заметил он, «при наличии доброй воли» можно провести за два года). Высказываясь по вопросу о Берлине и Германии, он начал вежливо, но твердо. То, что он хочет сделать, «повлияет на отношения между нашими двумя странами», особенно «если США неверно поймут советскую позицию». Он хочет достигнуть соглашения с президентом (он подчеркнул слова «с вами»), однако, если Соединенные Штаты не ответят взаимностью, СССР «подпишет мирный договор» с Восточной Германией, положив тем самым конец всем оккупационным договоренностям, в том числе и о доступе западных держав к Берлину. Это утверждение Хрущев повторил раз десять, словно стараясь убедить не только Кеннеди, но и самого себя. «Никакая сила в мире» его не остановит. Сколько еще можно ждать? Еще шестнадцать лет? Или еще тридцать?

На этот раз президент, собравшись с силами, отвечал холодно и по делу. Берлин — не Лаос. Это «одна из основных проблем, волнующих США». Соединенные Штаты пришли туда «не по чьей-то милости. Мы прорвались туда с боем… Западная Европа необходима нам для обеспечения нашей национальной безопасности, и мы поддерживали ее в двух мировых войнах». Господин Хрущев, продолжал президент, назвал его «молодым человеком», «но он не так молод, чтобы принимать предложения, явно враждебные интересам США».

В ответ на столь резкий отпор Хрущев поначалу проявил раздражение: судя по тому расширенному толкованию, которое Кеннеди придает понятию национальной безопасности, «США могут и Москву оккупировать — ведь это улучшит их позиции!». Однако затем, смягчившись, начал заверять Кеннеди, что «престиж США не пострадает и все это поймут». В конце концов он снова «завелся» и заметил, что, если Соединенные Штаты хотят начать войну за Берлин — «пусть начинают сейчас», пока не изобретены какие-нибудь еще более ужасные средства массового уничтожения. Эти слова так напугали стенографов, что советский заменил их на «пусть Соединенные Штаты примут на себя полную

ответственность за это», а американский — просто на «пусть так и будет»[84].

Обед превратился в затишье перед новым штормом. Хрущев пообещал не возобновлять ядерные испытания, пока этого не сделают Соединенные Штаты (это обещание он тем же летом нарушил), похвалил саммиты, на которых каждый «может выслушать позицию другого», и с улыбкой заверил Кеннеди, что, хотя мирный договор с Восточной Германией и может вызвать «большую напряженность», в конце концов «облака рассеются и снова выглянет солнышко».

В 15.15 лидеры двух стран встретились в последний раз: на этом заседании присутствовали только переводчики. Кеннеди предупредил, что не следует втягивать Соединенные Штаты в ситуацию, «глубоко затрагивающую наши национальные интересы». Хрущев понял это так, что «США хотят унизить СССР, а это неприемлемо». Он предложил заключить по Берлину промежуточное соглашение, защищающее «престиж и интересы обеих стран», однако дал понять, что рано или поздно со своими правами в Берлине американцам придется распрощаться. Когда Кеннеди заметил, что СССР предлагает выбор между отступлением и конфронтацией, Хрущев ответил: «Если США хотят войны — это их проблема». Советское решение подписать мирный договор «твердо и непоколебимо, и, если Соединенные Штаты откажутся от промежуточного соглашения, Советский Союз подпишет договор в декабре».

— Если это правда, — проговорил Кеннеди, заканчивая саммит, — нас ждет холодная зима[85].

«Никогда еще не встречал такого человека, — рассказывал Кеннеди после возвращения из Вены корреспонденту «Тайм» Хью Сайди. — Я ему говорю, что ядерная война убьет семьдесят миллионов человек за десять минут, а он смотрит на меня и отвечает: „Ну и что?“» Роберт Кеннеди никогда не видел брата «таким расстроенным». Президент снова и снова перечитывал стенограммы саммита, в особенности диалогов по берлинскому вопросу[86]. В меморандуме, переданном президенту в Вене, Хрущев назначил новый шестимесячный срок. Надеясь, что меморандум не будет предан огласке, Кеннеди не упоминал о нем в телевизионном выступлении перед народом, заявив, что, хотя «эти два дня стали серьезным испытанием», «никаких угроз или ультиматумов ни с той, ни с другой стороны не было»[87].

Однако 11 июня Хрущев опубликовал меморандум, а 15 июня в телевизионном обращении к советскому народу повторил заявление о шестимесячном сроке. Несколько дней спустя, на

церемонии в Кремле, посвященной двадцатилетию вторжения фашистских захватчиков, Хрущев (одетый ни больше ни меньше, как в форму генерал-лейтенанта) произнес еще одну суровую речь. Западных лидеров, стремящихся «проверить силу» СССР на почве германского вопроса, «постигнет судьба Гитлера», — заявил он, впрочем, поспешив добавить: «Пожалуйста, не воспринимайте эти слова как угрозу. Это призыв к здравому смыслу»[88]. А неделю спустя воскликнул: «Не пытайтесь нас запугать, господа, в любом случае договор будет подписан!»[89]

Кеннеди не дал на ультиматум Хрущева немедленного ответа: он попросту не знал, что сказать. Он спросил совета у бывшего госсекретаря Дина Ачесона, и тот порекомендовал публично объявить об увеличении как ядерных, так и обычных вооружений, перебросить в Западную Германию две-три дивизии и ввести в стране чрезвычайное положение. Если Хрущев не поймет намека и блокирует Берлин, Вашингтон сможет прорвать блокаду, одновременно продемонстрировав свою готовность к применению в случае необходимости ядерного оружия. Другие советники, в том числе и посол Томпсон, рекомендовали наращивать вооружения, не объявляя об этом на весь свет, и готовиться к возобновлению переговоров после выборов в Западной Германии, назначенных на сентябрь.

Президент решил оставить открытыми все возможности: он приказал готовиться к неядерной защите Берлина, но и от переговоров не отказывался. Роберт Кеннеди предупреждал советского разведчика Георгия Большакова, с которым вел секретные переговоры с мая, что его брат умрет, но не покорится; то же передавали Меньшикову Пол Нитце и Уолт Ростоу. Однако посол, думавший только о том, как угодить Хрущеву, передал в Кремль, что братья Кеннеди «петушатся», однако, когда дойдет до подписания договора с Восточной Германией, они «первые наложат в штаны»[90].

19 июля Кеннеди одобрил увеличение расходов на вооружение на 3,5 миллиарда долларов, однако чрезвычайное положение объявлять не стал. Он обратился к конгрессу с предложением утроить регулярный призыв в армию, объявить о призыве запаса и подготовить бомбоубежища на случай ядерной войны. Все эти меры наряду с мрачной речью, произнесенной 25 июля, превзошли ожидания Хрущева. В Большом театре на выступлении Марго Фонтейн советский руководитель подошел к британскому послу сэру Фрэнку Робертсу и предупредил его, что может разместить в Германии в сто раз больше войск, чем западные державы, и что, если начнется ядерная война, шести водородных бомб для Англии и девяти для Франции будет

«вполне достаточно»[91].

В конце июля Хрущева навестил на черноморской даче Джон Дж. Макклой. Макклой, основной «переговорщик» Кеннеди по вопросам разоружения, был с женой и дочерью в Москве, когда их внезапно вызвали в Пицунду. Очевидно, Хрущев узнал, что 25 июля Кеннеди произносит речь, и хотел иметь возможность дать на нее немедленный и прямой ответ. До того, как прочесть ее, он был в прекрасном расположении духа, предложил Макклою поплавать, одолжив ему купальный костюм, фотографировался с ним в обнимку, играл в бадминтон и шутливо сравнивал дипломатию с перекидыванием мяча туда-сюда[92].

Однако на следующее утро, прочтя и обдумав речь Кеннеди, Хрущев «просто взбесился» и «начал выражаться воинственно и грубо». Назвав речь, «по сути, объявлением войны», поскольку в ней ему выносится «ультиматум», Хрущев разразился уже известными угрозами: он подпишет мирный договор, несмотря ни на что; он перережет западные коммуникации с Западным Берлином; если Запад применит силу, война будет термоядерной; Соединенные Штаты и СССР, возможно, выживут, но европейские союзники США будут уничтожены полностью[93]. О Кеннеди Хрущев отзывался так, что Эйзенхауэр в сравнении с ним казался ангелом. Во время переговоров Хрущев с похвалой отозвался о бывшем президенте и намекнул, что готов возобновить приглашение в СССР, которое столь бесцеремонно отменил в разгар «самолетного» кризиса. «Разумеется, я не поеду, — заметил потом Эйзенхауэр сыну, — но то, что Хрущев об этом заговорил, меня, можно сказать, ошеломило меня»[94].

Через неделю Хрущев подытожил разговоры с Макклоем в длинной сумбурной речи в Москве, на секретном саммите стран Варшавского договора: «Пожалуйста, передайте вашему президенту, что мы принимаем его ультиматум и его условия и ответим соответствующим образом… На войну мы ответим войной». Дальше Хрущев заявил: «Я — командующий Вооруженными силами, и, если начнется война, я сам отдам приказ». Если Кеннеди начнет войну — он станет «последним президентом Соединенных Штатов»[95].

Речь Хрущева, обращенная к Макклою, знаменовала собой кульминацию кампании по запугиванию Кеннеди. Однако в ней отразилась и трудность его собственного положения. Неожиданная твердость, проявленная Кеннеди, не поколебала убеждения Хрущева, что американским президентом можно управлять. Напротив, он опасался, что президент по слабости позволит американским реакционерам втянуть себя в войну. «Что я могу сказать? Ультиматум принимаем. Прошу передать вашему

президенту: если вы объявляете нам войну, принимаем и эти условия, отвечаем вам войной… Мы встретим вашу войну войной со своей стороны». Дальше Хрущев заявил: «Я главнокомандующий, и если начнется война, я отдам приказ войскам, и мы встретим вас». Если Кеннеди начнет войну — он станет «последним президентом Соединенных Штатов».

Соединенные штаты — «это плохо управляемое государство», сообщил Хрущев своим союзникам по Варшавскому договору. «Кеннеди сам очень мало влияет на ход и развитие политики США… Американский сенат или другие органы очень похожи на наше древнее новгородское вече. Когда собирались бояре, они кричали, орали, за бороды друг друга таскали и таким способом решали, кто прав». Учитывая нестабильность американской политики, «от США всего можно ожидать. Может быть и война. Они могут развязать ее». Даже Даллес боялся войны, но если об этом скажет Кеннеди, «его могут обвинить в трусости». Кеннеди — «неизвестный человек в политике, [и я выражаю ему сочувствие, потому что он] слишком легок и для республиканцев, и для демократов, а государство слишком большое, сильное государство, и поэтому это представляет известную опасность»[96].

Лучший способ урезонить Америку, по-видимому, полагал Хрущев — запутать ее. Для этого он решил нарушить свое обещание не проводить ядерных испытаний, пока их не возобновят американцы. Публичное заявление об этом появилось в конце августа, однако Хрущев сообщил о своих намерениях еще в июле на секретном совещании в Кремле. Разумеется, не предполагалось, что приглашенные туда ученые начнут протестовать: однако один из них, Андрей Сахаров, осмелился возвысить голос — сперва устно, а затем написав Хрущеву записку, где указывал, что одностороннее нарушение моратория «сыграет на руку США», поскольку «нарушит переговоры о запрете испытаний, помешает делу разоружения и мира во всем мире». Хрущев не отвечал вплоть до ужина, последовавшего за встречей. Там, подняв бокал за ученых, он разразился получасовой лекцией — «поначалу спокойной», вспоминал Сахаров, «но затем — с нарастающим волнением, покраснев и повысив голос».

«Он сует свой нос в то, что его не касается… Политика — это как старый анекдот о двух евреях, которые едут в поезде. Один спрашивает другого: „Ты куда едешь?“ — „В Житомир“. „Вот хитрая лиса, — думает первый еврей. — На самом деле он едет в Житомир, но мне сказал, что едет в Житомир, чтобы я подумал, будто он едет в Жмеринку“. Оставьте политику нам — специалистам… Нам приходится вести политику с позиции

силы… Другого языка наши противники не понимают. Смотрите, мы помогли Кеннеди выиграть выборы в прошлом году. Потом встретились с ним в Вене — эта встреча могла бы стать поворотным пунктом… А он что говорит? „Не просите у меня слишком многого. Не загоняйте меня в ловушку. Если я уступлю слишком много, меня выставят из Белого дома“. Вот так история! Явился на встречу, которую не может провести! На кой черт он такой нам нужен? Зачем тратить время на переговоры с ним? Сахаров, не пытайтесь нам указывать, как нам себя вести и что делать. В политике мы разбираемся. Я был бы размазней, а не Председателем Совета Министров, если бы прислушивался к таким, как Сахаров!»

Гневная тирада Хрущева вызвала замешательство. «В комнате царила тишина, — вспоминал Сахаров. — Все словно приросли к месту: одни отводили взгляд, другие сидели с каменными лицами»[97]. Однако этот словесный поток отразил смятение и самого Хрущева. Если он такой умный — зачем же «помог выбрать» Кеннеди? Если американского президента контролируют враждебные силы — почему Хрущев поначалу на него рассчитывал?

Направление, в котором развивались события, тревожило не только самого Хрущева, но и — еще более — тех, кому приходилось воплощать его непредсказуемые решения в жизнь. 19 мая советский посол в Восточной Германии Михаил Первухин (тот самый, что поддерживал Молотова, Маленкова и Кагановича в 1957 году) направил Громыко письмо, в котором указывал на риск заключения мирного договора с Ульбрихтом. Чтобы избежать весьма вероятной экономической блокады со стороны Запада, Первухин предлагал заключить промежуточное соглашение, срок истечения которого *не приведет* к автоматической отмене прав западных держав в Берлине, — то есть нечто вроде того, что отверг Хрущев в Вене. 4 июля Первухин описывал «самые серьезные последствия, которые возникнут после подписания мирного договора» (то есть установление контроля ГДР над воздушными и наземными сообщениями с Западной Германией и Западным Берлином), в таком ключе, что из его изложения становилось очевидно: заключать договор нельзя[98].

По словам Юрия Квицинского, дипатташе в Восточной Германии, «мы в посольстве и Третий Европейский отдел [Министерства иностранных дел] чувствовали и повторяли немцам снова и снова, что нам необходимо проявлять больше сдержанности…». Корниенко и других русских в Вашингтоне

больше всего беспокоило, что сам Хрущев сдержанность проявлять не будет[99].

Было встревожено и советское военное командование, отвечавшее за возможное выполнение угроз Хрущева. В результате его похвальбы западные расходы на вооружение росли, а поражающая способность межконтинентальных ракет СССР, в сущности, равнялась нулю. «Как бы мы ни уважали межконтинентальные ракеты, — жаловался маршал Сергей Варенцов полковнику Олегу Пеньковскому, — у нас по-прежнему ни черта нет. Все только на бумаге, а в реальности — ничего». Самое печальное, что Пеньковский был уже завербован американцами и, разумеется, немедленно передал сказанное Варенцовым своим западным хозяевам. Зимой 1961 года, пока Хрущев носился по стране, пытаясь наладить дела в сельском хозяйстве, его маршалы встретились с членами Президиума Микояном и Сусловым, у которых просили увеличить расходы на вооружение. «Сталин просто стукнул бы кулаком по столу — и все было бы сделано!» — говорил Варенцов Пеньковскому. Однако ничего сделано не было.

25 июня Варенцов пригласил нескольких близких друзей к себе на дачу отпраздновать свое повышение по службе. В частной беседе с Пеньковским он заметил, что намерение советского руководства поддержать ГДР в вопросе перегораживания основных шоссейных дорог, соединяющих две части Берлина и две части Германии, рискованно. Оно основано на предположении, что Запад не осмелится начать войну — а если и начнет, то война будет локальной. К масштабной войне, как слишком хорошо знали маршалы, Советский Союз был не готов[100].

Ни недовольные дипломаты, ни недовольные военные не составляли открытой оппозиции: однако их недовольство, несомненно, в какой-то форме доходило до Хрущева. Сомнения других, прибавляя веса собственным колебаниям, увеличивали его стремление разрешить берлинский вопрос — любым способом, только быстрее! В конце июля Хрущев выделил время для отпуска в Крыму, как обычно, превратившегося в серию неформальных встреч и бесед с различными лоббистами и функционерами, прежде всего с конструкторами ракет. Новости были в основном хорошими: работы над созданием орбитальной бомбы и самолета с атомным мотором шли полным ходом. Однако, по словам Сергея Хрущева, «отец не переставал думать о Германии. В Вене он сделал последнюю отчаянную попытку запугать Кеннеди и надавить на него: однако его угрозы лишь побудили Кеннеди к ответным действиям»[101]. Тем временем

поток беженцев из Восточной Германии все увеличивался. Только за первую половину 1961 года сбежали более сотни тысяч человек — на шестнадцать тысяч больше, чем в первую половину 1960-го. За один июнь 1961 года в Западный Берлин перебежали почти двадцать тысяч, а в июле, когда Хрущев объявил, что повышает советский оборонный бюджет на одну треть, число беглецов достигло двадцати шести тысяч[102].

Уже в марте 1961 года Ульбрихт предложил разгородить два Берлина стеной. Сперва Хрущев отверг эту идею как чересчур опасную, но затем передумал. Несколько сигналов из Вашингтона (в том числе повторяющиеся призывы Кеннеди защитить *Западный* Берлин и заявление сенатора Дж. У. Фулбрайта от 30 июня, в котором тот, по сути, публично примирился с существованием внутригерманской границы) убеждали его, что американцы особенно протестовать не будут, однако полной уверенности в этом не было. Нервозность Хрущева проявилась в строгой секретности, которой были окружены приготовления к постройке стены: даже в секретных советских стенограммах саммита стран Варшавского договора, где обсуждается во всех подробностях заключение мирного договора и его последствия, о стене нет ни слова. Перед тем как подписать проект, Хрущев даже посетил инкогнито и Восточный, и Западный Берлин. «Поездил с советским комендантом города по Западному Берлину, не выходя из машины, — вспоминает он. — Просто ездил, чтобы составить себе какое-то представление»[103].

Волнение Хрущева отразилось и в публичных заявлениях, в которых воинственность странно сочеталась со страстными призывами к спокойствию. «Наш народ не дрогнет перед испытаниями, — заявил он в телевизионном выступлении 7 августа. — На силу мы сможем ответить силой и отразим натиск любого агрессора». Однако в той же речи он призывал западных лидеров «сесть, как честные люди, за стол переговоров, не нагнетать атмосферу, не создавать военного психоза, положиться на разум, а не на термоядерное оружие». Четыре дня спустя, на встрече с румынской делегацией, Хрущев предупредил, что в ядерной войне «могут погибнуть сотни миллионов». В Италии могут погибнуть «не только апельсиновые рощи, но и культурные ценности, и люди, которые их создали, возвеличили культуру и искусство Италии». То же может случиться с «Акрополем и другими историческими памятниками Греции». Что же касается Западной Германии — «возможно, объединять будет уже нечего». Однако не стоит терять надежду: «Я обращаюсь к тем, кто не утратил способности спокойно и здраво мыслить и от кого зависит развитие международной обстановки… Давайте не пугать

друг друга; не будем выискивать то, что нас разделяет, углублять и без того достаточно глубокие разногласия… Ведь есть же у нас общие потребности и интересы, раз нам приходится жить на одной планете!»[104]

Сергей Хрущев подтверждает, что «дома отец был настроен далеко не так решительно, как казалось по телепередачам». В разговорах с сыном Хрущев выражал опасение, что «у Кеннеди сдадут нервы и он наделает глупостей».

В качестве особой меры предосторожности Хрущев потребовал, чтобы стену возводили поэтапно: сперва — изгородь с колючей проволокой и лишь затем, если Запад промолчит, — бетон. 13 августа СССР затаил дыхание, ожидая реакции американцев. В Министерстве иностранных дел царили напряжение и тревога[105]. Когда стало ясно, что стену не снесут, писал позднее Сергей Хрущев, «отец вздохнул с облегчением: обошлось». Хрущеву пришлось понервничать немного позднее, когда Кеннеди направил в Западный Берлин полторы тысячи американских морских пехотинцев в полной боевой выкладке. «Нервозность отца передалась и мне», — пишет Сергей. Вечером, когда отец с сыном прогуливались в окрестностях резиденции Хрущева, вдруг появился запыхавшийся охранник с сообщением — ситуация не совсем обычная. Хрущев, рассказывает его сын, застыл на месте; однако тревога оказалась ложной. Кеннеди не стал сражаться за свободу восточных немцев: в сущности, он никогда этого и не обещал.

«Отец был очень доволен, — вспоминает Сергей. — Он полагал, что от установления контроля над границами ГДР выиграла даже более, чем от подписания мирного договора»[106]. Однако помощник Хрущева по внешнеполитическим делам Трояновский считал иначе. По его словам, возведение стены стало «спасением лица» Хрущева, «молчаливым признанием того, что ему не удалось достичь своей цели», которой он добивался уже несколько лет — «заставить западные державы пойти на выгодный для ГДР компромисс»[107].

Уступчивость Кеннеди в вопросе со стеной имела и другое следствие: Хрущев уверился, что на американского президента можно и нужно давить — и вскоре эта его уверенность привела к Карибскому кризису, поставившему мир на грань уничтожения.

Глава XVIII
«НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ»: 1961–1962

Летом 1961 года, когда Хрущев вел переговоры с Кеннеди, а затем вместо мирного договора с Германией возводил Берлинскую стену, сельскохозяйственный кризис, беспокоивший его прошлой зимой, казалось, рассеивался. В мае Хрущев проверил ситуацию на Кавказе. Конец июня застал его в Казахстане. Повсюду он критиковал местное начальство, но уже не так жестко, как раньше, а временами даже посмеивался над собой. Когда в Казахстане ему предложили отведать конины, Хрущев посетовал на то, что мясо недостаточно жирное, но тут же добавил: «Правда, может быть, мне это показалось, так как я сужу о жирности мяса, учитывая свою комплекцию»[1].

Впереди виделись хорошие перспективы на урожай. «Мы живем в удивительное время», — объявил Хрущев своим казахским слушателям. Записка от 20 июля, в которой Хрущев описывал результаты инспекций в некоторых других регионах, разительно отличалась от предыдущей, написанной в марте. В то время казалось, что Украина движется к катастрофе: теперь же, радостно рапортовал Хрущев, положение выправилось — отчасти потому, не забыл добавить он, что больше земли отведено под кукурузу[2]. После двух лет урожаев «ниже наших возможностей», добавил он 7 августа, нынешний обещает быть «лучшим за все годы существования Советской власти». Радовали его и успехи промышленности, и достижения советской науки, ознаменованные полетом в космос Германа Титова[3]. 10 сентября в Сталинграде Хрущев торжественно открыл новую гидроэлектростанцию. «Мы живем с вами, товарищи, в счастливое время, когда осуществляются самые заветные мечты лучших сынов человечества»[4].

Самой заветной мечтой была, конечно, мечта о коммунизме — высшем периоде человеческой истории, когда, согласно «Коммунистическому манифесту», «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»[5], когда изобилие, созданное «каждым — по способностям», будет свободно распределяться «каждому по потребностям». Согласно Ленину, коммунизму должна предшествовать длительная стадия социализма, в течение которой мощное государство, диктатура

пролетариата, подготовит мир к будущей свободе. Сталин в 1936 году объявил, что «основы социализма» заложены: однако ему хватило ума не объявлять о полном и безоговорочном построении социализма и тем более заявлять о наступлении коммунизма в ближайшем будущем. Именно это пообещал Хрущев в своей новой программе партии.

Старая программа была принята в 1919 году. Необходимость ее пересмотра была признана еще в 1934-м: тогда XVII съезд партии организовал для этого комиссию, возглавляемую Сталиным, — но помешала война. Сохранился неопубликованный черновик 1948 года, в котором упоминается «построение в СССР коммунизма в течение двадцати-тридцати лет» — что доказывает, что Хрущев был не единственным утопистом в советском правительстве. Однако Сталин не рисковал связывать свои мечты с какой-либо конкретной датой.

Сам Хрущев любил поговорить о «строительстве коммунизма» еще в тридцатых. В 1952 году он назвал это одной из главных задач партии, а на XX съезде заявил, что «мы поднялись на вершину, с которой открывается широкая дорога к нашей главной цели — коммунистическому обществу». По его предложению XX съезд принял решение о подготовке новой программы[6].

Хрущев зажегся энтузиазмом, который, как выяснилось впоследствии, оказался для него губительным; однако это не значит, что программа составлялась абы как. Работа над ее созданием велась — по крайней мере с виду — тщательно и методично. В 1958 году был образован обладающий большими полномочиями комитет во главе с руководителем международного отдела ЦК КПСС Борисом Пономаревым. Комитет рассылал запросы правительственным, научным и другим учреждениям, собирая сведения обо всех областях как советской, так и зарубежной жизни. Основные разделы составляли ведущие советские экономисты, Евгений Варга и Станислав Струмилин: особое внимание они уделили сравнительным экономическим перспективам СССР и США в ближайшие десять — пятнадцать лет. Струмилин предварил свою часть предупреждением против «поспешных попыток решения проблем в отсутствие необходимых условий».

Первоначальный набросок был закончен осенью 1958 года. За работой надзирал сам Хрущев: в июле он отдал Пономареву распоряжение сделать программу «ясной, четкой и вдохновляющей, как стихи, однако в то же время реалистичной, жизненной и охватывающей широкий круг проблем». В октябре, прочтя черновик, Хрущев приказал убрать оттуда излишнюю детализацию, нарушающую ее «глубокий и всеохватный

характер».

На XXI съезде партии в 1959 году Хрущев заявил, что СССР завершил «полное и окончательное построение социализма». Иными словами, на очереди — коммунизм. В марте он провел долгую встречу с Пономаревым, а в июле Президиум запросил у еще более широкого круга экспертов, институтов и организаций их планы и предсказания на будущее. Особое внимание было уделено независимым оценкам Госкомстата и Государственного экономического совета. И тот и другой совершили ошибку, предположив, что экономический бум середины и конца пятидесятых будет продолжаться еще два десятилетия[7].

В начале 1960 года Федор Бурлацкий присоединился к группе Пономарева, жившей и работавшей в роскошных условиях — в Подмосковье, в санатории, расположенном в сосновом бору. Позже он вспоминал жаркие споры о том, стоит ли включать в программу конкретные прогнозы относительно советской и зарубежной экономики. Включить этот раздел предложил ведущий советник Хрущева по экономике Александр Засядько, однако буквально все члены комиссии, и экономисты, и неэкономисты, отвергли его текст как «поверхностный и ненаучный». Предложенные оценки экономического развития СССР и США были «взяты с потолка — одни благие пожелания», вспоминал Бурлацкий. Однако, когда Засядько принес на заседания восьмидесятистраничную рукопись в голубой обложке и открыл на первой странице, где вслед за словами «включить в программу» шла всем известная подпись Хрущева, — дело было кончено: в программу вошли статистические «доказательства» того, что СССР вот-вот догонит и перегонит США. «Энтузиазм был велик, — рассказывает Бурлацкий, — но, как говорили в аппарате, энтузиазм энтузиазмом, а без патронов не обойтись»[8].

Текст программы редактировал сам Хрущев. 20–21 апреля, а затем 18 июля 1961 года он надиктовал в общей сложности сорок шесть страниц замечаний и поправок. Некоторая часть его правки (убрать лишнее прилагательное, исправить анахронизм и т. п.) была чисто редакторской: должно быть, он получал немалое удовольствие, поправляя академиков. Другие «улучшения» делали текст еще более утопичным (хотя, казалось бы, это и невозможно); так, Хрущев настоял на заявлении, что к 1970 году СССР обгонит США по производству всех видов продукции на душу населения.

Некоторые поправки Хрущева носили более реалистичный характер: через два десятилетия обеспечение населения отдельными квартирами будет достигнуто лишь «в основном»; хотя охрана материнства и детства — дело хорошее, лучше не

перечислять подробно «роддома, женские консультации, детские больницы и санатории, летние лагеря и т. п., как будто наши возможности неисчерпаемы». Однако эти внезапные всплески реалистичности только подчеркивали утопический характер основных пунктов программы.

«Из средства к существованию», — говорилось в черновике, — работа превратится в «творческую деятельность», что позволит каждому «участвовать в труде для того, чтобы удовлетворять все материальные и духовные запросы человека». Этой фразой Хрущев остался недоволен: вдруг люди решат, что теперь вместо работы свободны «пойти на пляж»? Вдруг начнут говорить: «Пусть другие работают — а я работать не буду, лучше полежу»? Разумеется, заключал он, «рабочий день должен быть короче, а отпуска дольше — но кто будет за все это платить, китайцы»?[9] Хрущев достаточно ясно понимал, что представляют собой окружающие люди — однако не мог и помыслить о том, что человеческая природа преградит путь к обещанному коммунистическому раю. Признавал он и то, что усложнение международных отношений может привести к «задержке» выполнения обещаний программы — однако ни за что не признал бы, что в нагнетании международной напряженности виноват он сам.

Несмотря на свое часто выражаемое презрение к пустопорожней теоретической болтовне и любовь к практическим решениям, Хрущев как лидер СССР обязан был придерживаться четко выдержанной идеологической линии. Маркс и Ленин использовали выражение «диктатура пролетариата» для обозначения кратковременной ситуации, когда победивший рабочий класс экспроприирует собственность экспроприаторов; Сталин, в противоположность Марксу, сулившему «отмирание государства», утверждал, что диктатура пролетариата сохранится и дальше. Хрущев не решился столь радикально пересматривать концепцию основателей — он просто заменил «диктатуру пролетариата» новым термином, «всенародное государство». Это решение он обосновывал как идеологически («диктатура пролетариата необходима и ее нужно всемерно укреплять, когда существуют эксплуататорские классы», и потому непонятно, откуда диктатура, если больше нет таких классов), так и исходя из здравого смысла. Обычные люди не понимали (исходя из утверждения Ленина, что большинство должно диктовать свою волю меньшинству), как диктатура может быть демократической. «Но в чем выражается эта диктатура, — с подкупающей откровенностью признавался Хрущев, — если меня спросят, я вам не объясню, думаю, что и вы мне не объясните»[10].

Президиум получил черновик программы 6 мая и одобрил его (с минимальными изменениями) 24 мая. 19 июня Хрущев представил программу ЦК, произнеся речь, в которой наобещал еще больше, чем значилось на бумаге. Через двадцать лет, объявил он, «коммунизм в нашей стране будет в основном построен». За эти годы СССР будет «неуклонно завоевывать победу за победой» в соревновании с США. Пройдет два десятилетия — и Советский Союз «поднимется на такую высоту, по сравнению с которой главные капиталистические страны останутся далеко внизу, останутся позади». Советская деревня будет процветать; «деревни и села будут преобразовываться в укрупненные населенные пункты городского типа с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием, бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями, чтобы в конечном счете по условиям жизни сельское население сравнялось с городским»[11].

Мэлор Стуруа, один из редакторов текста программы, пытался удержать Хрущева от излишних обещаний. Зная темперамент босса, Стуруа постарался облечь свои возражения в идеологическую оболочку: он перечислил стадии исторического развития по Марксу, напомнил, что они следуют друг за другом в предсказуемом порядке и что не стоит торопить их приближение. В ответ Хрущев, смерив смуглого грузина грозным взглядом, ответил: «Слушай, дорогой, эти твои дилетантские штучки к истине не имеют никакого отношения». И расписание явления манны небесной осталось неизменным[12].

30 августа 1961 года проект программы был опубликован, и началось то, что советские пропагандисты называли «всенародным обсуждением»: в этом обсуждении на партийных и всеобщих собраниях приняло участие около 4,6 миллиона человек. В общей сложности около трехсот тысяч писем, статей, заметок были переданы двадцати двум рабочим группам, которые тщательно проанализировали четырнадцать тысяч и включили в окончательный текст сорок поправок[13]. Именно этот текст Хрущев представил 18 октября 1961 года на XXII съезде партии. Через десять лет, обещал он, все население СССР будет «обеспечено материально». Еще скорее все и каждый будут «питаться полезными высококачественными продуктами». Магазины будут завалены потребительскими товарами, а нехватке жилья придет конец «уже в этом десятилетии»[14].

Съезд партии одобрил новую программу единодушно и без колебаний.

На самом деле, вспоминал позднее Микоян, Хрущев «не

любил статистику». Ему, продолжает Микоян, «был нужен эффект для народа. Он не понимал, что народ потребует выполнения или объяснения»[15].

Разумеется, Микоян перечислил не все мотивы Хрущева. Возможно, глава государства надеялся «подстегнуть» бюрократов, ответственных за выполнение обещанного в намеченный срок, а кроме того, улучшить собственный имидж. К тому же он искренне не мог дождаться, когда наконец советский народ, принесший столь много жертв, сможет насладиться благополучной жизнью.

Как ни парадоксально, та же искренняя забота о благе народа стала причиной гонений на религию, начатых Хрущевым примерно в это же время. Разумеется, религию большевики всегда рассматривали как величайшее зло: начиная с 1917-го и до 1940-х годов в стране разрушались церкви, арестовывались священники, преследовались верующие. Однако во время и сразу после Великой Отечественной войны Сталин изменил государственный курс — хотя, скорее всего, лишь для того, чтобы сплотить народ и произвести впечатление на западных союзников. Число регистрируемых государством православных приходов, вновь открываемых церквей и монастырей, крещений, отпеваний, число посетителей церковных служб и студентов семинарий — все эти цифры на протяжении сороковых — пятидесятых годов неуклонно росли[16].

Первые раскаты грома грянули в конце пятидесятых, а в 1961 году борьба с религией достигла апогея: была усилена антирелигиозная пропаганда, подняты налоги на религиозную деятельность, началось массовое закрытие церквей и монастырей. В результате число православных приходов сократилось с более чем пятнадцати тысяч в 1951-м до менее восьми тысяч в 1963 году[17].

Неясно, сам ли Хрущев начал новые гонения на религию: но, несомненно, они происходили с его одобрения. Возможно, борьбу с религией он рассматривал как новый этап десталинизации — отход от сталинского компромисса с церковью, возвращение к воинственной и непримиримой ленинской позиции. Не случайно гонения на веру совпали по времени с подготовкой новой партийной программы. Когда же и избавлять народ от «пережитков прошлого», как не в миг, когда перед ним распахиваются сияющие горизонты коммунистического будущего! Если же, как утверждает его помощник Андрей Шевченко, Хрущев и вправду сохранил остаточные религиозные убеждения — тем сильнее было снедающее его чувство вины и тем настоятельнее необходимость клеймить религию и отрекаться от нее на публике[18].

XXII съезд партии открылся 17 октября 1961 года в роскошном мраморном зале только что выстроенного в Кремле Дворца съездов. Строительство производилось в большой спешке и было завершено в самый последний момент. То, что съезд происходил в специально для него выстроенном здании, придало мероприятию особую торжественность. Помимо почти пяти тысяч советских делегатов, на съезде присутствовали лидеры братских компартий. Со времени последнего очередного съезда (XXI был внеочередным) прошло пять лет; настало время пересмотреть положение СССР и мирового коммунизма с 1956 года.

Если бы съезд имел реальную власть и влияние, ему нашлось бы немало работы. Хрущев заслуживал критики и за промахи в сельском хозяйстве, и за германскую политику, и за отношения с Китаем и с собственной интеллигенцией. В 1961 году в его способности грамотно управлять страной сомневались уже многие — от простых колхозников до высокопоставленных генералов. Однако Хрущев обладал абсолютной властью, и потому съезд превратился в сплошное восхваление его достижений.

Тон задала новая программа партии. Хрущев сделал общий доклад от имени ЦК, а затем изложил содержание программы: в общей сложности обе речи заняли больше десяти часов. («Невольно возникает вопрос, — вопрошал в октябре 1964 года на пленуме член Политбюро Дмитрий Полянский, — неужели наша 10-миллионная партия не могла выделить из своей среды другого докладчика?»[19]) Перед закрытием съезда Леонид Брежнев произнес хвалу «неукротимой энергии и революционной страстности товарища Хрущева, [которые] вдохновляют всех нас на боевые дела», а Николай Подгорный, два года спустя присоединившийся к Брежневу в антихрущевском заговоре, восхвалял «деятельность товарища Н. С. Хрущева, его неисчерпаемую кипучую энергию, подлинно революционный, ленинский подход к решению сложных вопросов теории и практики, его неразрывную связь с народом, человечность и простоту, умение постоянно учиться у масс и учить массы»[20].

Внимательное чтение материалов съезда показывает, что степени восхищения Хрущевым у разных ораторов были весьма различны. Западные советологи даже прослеживали в этом признаки тайной борьбы за власть[21]. Однако, если бы на этот момент и существовала реальная оппозиция Хрущеву, она бы долго не протянула. «Настоящие проблемы» у Хрущева начались позже, вспоминает Петр Демичев: во время XXII съезда «не было еще ни облачка». Первый секретарь Московского горкома

Николай Егорычев вспоминал: «Надо было видеть, как все поддерживали Никиту Сергеевича!»[22]

Однако в одном отношении съезд стал неожиданностью: на нем возобновилась странно противоречащая общему триумфальному тону атака на Сталина.

С 1957 года Хрущев почти не упоминал о Сталине; по большей части молчала о нем и новая программа. Член Политбюро Отто Куусинен предложил включить в программу хотя бы какое-то упоминание о «культе личности» — на случай, если Мао в Китае попытается придать ему второе дыхание, — и Хрущев принял предложение. Поправка Куусинена, намного более мягкая, чем формулировки знаменитого закрытого доклада, в окончательный текст так и не вошла[23]. Однако первоначальный безоблачно-радостный тон съезда буквально захлебнулся в потоке антисталинских речей.

К открытию съезда тело тирана еще лежало в Мавзолее рядом с Лениным, и город-герой Сталинград, как и тысячи других городов, поселков, улиц и учреждений, носил его имя. И вдруг на имя Сталина — как и на имена Молотова, Маленкова и Кагановича — полились потоки грязи. Редактор «Правды» Павел Сатюков охарактеризовал Молотова и его приспешников как «кучку фракционеров, привыкших к затхлой обстановке культа личности». По мнению Хрущева, Молотов и прочие не желали разоблачения Сталина, поскольку «боялись ответственности за свои злоупотребления властью». Вспоминая казнь своего друга, генерала Якира, Хрущев вспомнил и о том, что в пятидесятых годах Молотов, Каганович и Ворошилов приветствовали его реабилитацию. «Но вы же и казнили этих людей. Так когда же вы действовали по совести: тогда или сейчас?»[24]

Подобные обвинения он высказывал и в 1956 и в 1957 годах, однако впервые вынес их на публику. Он намекнул даже, что именно Сталин организовал убийство Кирова в 1934-м, и предложил возвести в центре Москвы памятник жертвам сталинского террора. В предпоследний день работы съезд принял (единогласно, разумеется) резолюцию о «недопустимости дальнейшего нахождения в Мавзолее саркофага с телом И. В. Сталина»; резолюция была принята после того, как одна старая большевичка, вступившая в партию в 1902 году, заявила: «Вчера я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии»[25].

В ту же ночь тело Сталина вынесли из Мавзолея. Под покровом тьмы, за оцеплением, призванным оградить Красную площадь от любопытных взоров, гроб с телом сняли с мраморного

постамента и зарыли позади здания. «Несли даже не горизонтально, — вспоминал Шелепин, — а под углом 45 градусов. Мне казалось, он вот-вот откроет глаза и спросит: „Вы что же это, сволочи, со мной делаете?“» Вместо земли власти приказали засыпать гроб несколькими слоями цемента[26].

Помимо светлого коммунистического будущего и ужасов сталинизма еще одной темой съезда стало предложенное Хрущевым ограничение срока руководства для коммунистических лидеров. Он хотел ограничить коммунистов двумя-тремя сроками — разумеется, сделав исключение для тех, кто, как он сам, «благодаря своему общепризнанному авторитету и выдающимся политическим, организаторским и другим качествам» может служить народу «в течение более долгого периода»[27]. Однако по-прежнему непонятно, почему Хрущев позволил антисталинизму доминировать на съезде, почти перекрывая остальные темы. По мнению Сергея Хрущева, отец «не мог сдержаться», а взрывы его гнева побуждали других ораторов поспешно следовать его примеру. Другие утверждают, что Хрущев сознательно заставлял своих коллег присоединяться к антисталинистскому хору[28]. Оба объяснения вполне возможны; не исключено, что мы имеем дело со столь свойственной Хрущеву комбинацией показной самоуверенности и скрытой неуверенности в своей правоте.

После всех неудач во внутренней и внешней политике у Хрущева было немало причин беспокоиться о том, как примет его съезд. Еще до его начала Молотов направил в ЦК очередное «Я обвиняю» — письмо, в котором нападал на новую программу как на «дискредитирующую коммунистов». Содержались ли в письме слова (высказанные позже в разговорах с друзьями), что Хрущев «понесся, как саврас без узды» и «продиктовал программу левой ногой», — мы не знаем[29].

Письмо Молотова спровоцировало Хрущева на выступление против «антипартийной группы»; вскоре после съезда все ее члены были исключены из партии. В том, что традиционно послушный съезд поддержит Хрущева, можно было не сомневаться — но откуда такой энтузиазм? Так или иначе, окончательное низвержение Сталина вместе с принятием новой программы укрепило положение Хрущева: теперь власть его была намного сильнее и авторитарнее, чем в 1956-м или даже в 1957 году.

В речах и замечаниях Хрущева чувствовались и удовольствие от поддержки аудитории, и горечь оттого, что полностью избавиться от неуверенности в себе ему так и не удалось. Оба чувства ярко проявились в тот момент, когда новый ЦК, избранный съездом, начал выбирать свой Президиум. В огромном

зале, где только что сидели несколько тысяч делегатов и гостей, остались лишь несколько сот членов ЦК. Начать заседание должен был руководитель КПСС Хрущев: однако он долго хранил молчание, словно желая показать, что без него не начнут. «Вам слово, Никита Сергеевич!» — окликнул его кто-то из зала. Хрущев с притворным удивлением поинтересовался, не хочет ли выступить кто-нибудь еще. Поднявшись наконец на трибуну, он долго рылся в карманах, извлек клочок бумажки и пошутил: «Если бы я потерял эту бумажку, пришлось бы нам обходиться без Президиума». Эта фраза ясно показывала, что список кандидатов он составил сам. Но на случай, если кто-то не понял, Хрущев добавил: «Я тут посидел с карандашом…» С этими словами он принялся зачитывать список кандидатов — а члены ЦК с волнением ждали, прозвучат ли их фамилии. Когда он не назвал собственной фамилии, раздался хор голосов: «А как же Хрущев?.. Мы выдвигаем Хрущева»[30].

XXII съезд стал отправной точкой и в другом смысле. Не стесненный больше ни Сталиным, ни Молотовым или другими соперниками, сосредоточив в своих руках верховную и единоличную власть, Хрущев вновь обратился к проблемам, давно не дававшим ему покоя[31]. И одной из них, разумеется, стало сельское хозяйство. Несмотря на благоприятное лето, урожай 1961 года стал большим разочарованием: общий объем сельскохозяйственных продуктов на рынке возрос всего на 0,7 %, мяса получили меньше, чем в 1959 и 1960 годах, а урожай зерновых на целине оказался самым низким за последние пять лет. Какой убийственный контраст с программой партии, обещавшей «цветущее, высокоразвитое, высокопродуктивное сельское хозяйство» и «изобилие высококачественных продуктов питания для народа и сырья для промышленности»![32]

У неудач в сельском хозяйстве было много причин: одна из них — завышенные требования, на фоне которых даже успехи казались провалами. Однако предложение постоянно отставало от спроса, и простые люди страдали из-за дефицита продуктов. 30–31 декабря в Чите было обнаружено несколько плакатов с текстами: «Внутренняя политика Хрущева — гнилье!», «Долой диктатуру Хрущева!» и «Болтун Хрущев, где твое изобилие?»[33].

Реакция Хрущева на этот кризис несколько отличалась от предыдущих и последующих. В 1953 году он не сомневался, что предложенные им реформы положат конец дефициту. В 1963-м — в сущности, отчаялся найти выход. Зимой же 1961/62 года он был раздосадован и сердит, однако все еще полагал, что решение проблемы ему известно, — осталось лишь применить его на деле.

Как обычно, инстинкт позвал его в дорогу. Через две недели после съезда он уже встречался с узбекскими хлопкоробами. Оттуда направился на целину и в Сибирь, а в середине декабря вернулся в Москву. Неделю спустя был уже в Минске, а в середине января — в Киеве. В марте состоялся пленум ЦК, посвященный сельскохозяйственным вопросам. Во время этих поездок Хрущев по-прежнему настаивал на неких панацеях, долженствующих, по его мнению, преобразить сельское хозяйство страны, — однако нетрудно было заметить в нем раздражение и растерянность.

Вот как встретил Хрущев просьбу своих ташкентских слушателей вкладывать в производство хлопка больше средств: «Что же мы должны сейчас — выворачивать карманы, чтобы деньги считать? Я могу вам вывернуть свои карманы и показать, что они пусты… У меня ничего нет и я ничего вам не привез, кроме добрых пожеланий»[34]. Партийному лидеру Казахстана, заметившему, что в 1961 году республика «сократила» свой вклад в освоение целины, Хрущев сердито заметил: «Это еще мягко сказано. Вы не сократили производство зерновых — вы его прекратили!»[35] В Новосибирске осуждающе отозвался о принятой практике, по которой около четверти пахотных земель находились под паром или зарастали травой — это практиковалось в тридцатых годах для ликвидации последствий внесения в почву сильнодействующих удобрений и гербицидов. Возможно, простаивало и вправду слишком много земли; однако Хрущев потребовал немедленно распахать всю оставленную землю и засеять ее кукурузой и другими культурами, требующими интенсивного ухода, — решение, губительное с агрономической точки зрения[36].

На московской конференции 14 декабря Хрущев также произнес много «горьких слов». «Всыпать нужно ученым», защищающим травопольную систему, заявил он, «нужно за уши вытащить из болота, затащить в баню и хорошенько намылить им шею». В некоторых колхозах земля простаивает «совершенно преступным образом». В ответ на молчание присутствующих чиновников, не знавших, как реагировать на такую критику, Хрущев воскликнул: «Что-то не особенно дружно вы аплодируете!» Но хуже всего, продолжал он, что «в некоторых городах ощущается недостаток мяса», и при этом директора совхозов «живут припеваючи, зарплату регулярно получают… Нет, так дальше не может продолжаться»[37].

Киевская речь Хрущева прозвучала не столь резко — возможно, возвращение на Украину смягчило его сердце; однако в Минске он вновь развернулся в полную силу. Много лет он

хвастал повышением производительности колхозов, однако теперь вдруг отказался от этой риторики: «В стране выросло население, намного увеличился спрос на продукты питания. Поэтому надо сравнивать рост производства не только с 1953 годом… Я должен вам сказать правду в глаза. Кто же будет говорить, если я не скажу?» Что-то слушатели сидят с постными лицами, продолжал он: «Некоторые могут сказать: что же это, Хрущев приехал затем, чтобы раскритиковать, разнести нас? А вы что думали, я приехал вам стихи Пушкина читать?»[38]

На пленуме в марте 1962 года присутствовали чиновники, не являвшиеся членами ЦК. Присутствие этих «гостей» — еще одно «демократическое» новшество, введенное Хрущевым, — вызвало раздражение Центрального Комитета. Когда он гневно заговорил о партийных чиновниках, ожидающих, что «крестьяне будут кукурузу топорами рубить, пока комбайны стоят в гаражах нечиненные», — зал встретил его угрюмым молчанием. «Аплодируйте, товарищи, — подбодрил Хрущев аудиторию. — Что же вы не аплодируете?» Досталось и самим крестьянам, которые, «выходя сеять, снимают шапку, крестятся на восток, говорят: „Господи, помоги“, а потом уж принимаются за сев», и агрономам, тратящим время на сочинение никому не нужных трактатов под заглавиями типа «Исследование микроклимата в помещениях для крупного рогатого скота колхозов Эстонской ССР». В книге этой, по словам Хрущева, имелся даже раздел «Химический состав воздуха». «Да любой, у кого обоняние не отшибло, едва войдет в хлев — сразу разберется, какой там состав воздуха!»

Открывая мартовский пленум, Хрущев призвал вкладывать в сельское хозяйство больше средств, в частности, объявил о создании трех новых заводов по производству сельскохозяйственной техники. Однако четыре дня спустя заявил, что колхозам придется обходиться тем, что есть. Отступление было столь резким, что Хрущев вынужден был, в противовес очевидности, его отрицать («Это вовсе не значит, что я беру свое слово назад…»). Очевиден был и его смысл: как бы тяжко ни приходилось сельскому хозяйству, тяжелое машиностроение и ВПК ресурсами делиться не станут[39].

Вместо улучшения финансирования Хрущев предложил новую поспешную и непродуманную административную реформу. Еще с двадцатых годов за состояние колхозов и совхозов, как и за деревенскую жизнь вообще (дороги, образование, здравоохранение и т. п.) отвечали райкомы. Сам Хрущев в 1925–1926 годах занимал многократно воспетую в соцреалистической литературе должность секретаря райкома (точнее, укома)

Петрово-Марьинского уезда. Теперь же он предложил дополнить прославленные райкомы «территориальными производственными администрациями», каждая из которых должна обслуживать территорию двух-трех бывших районов. Таким образом, между столицей и деревней вырастала еще одна бюрократическая стена[40].

Тем временем ждало своей очереди еще одно нелегкое решение. 17 мая 1962 года Президиум одобрил проект указа, вступавшего в силу с 1 июня, о повышении цен на мясо и птицу — на 35 %, а на масло и молоко — на 25 %. Эта мера имела смысл. Закупочные цены государства, хотя и повышавшиеся с 1953 года несколько раз, все еще не покрывали себестоимости продукции: в результате чем больше производил колхоз или совхоз, тем большие нес убытки. Введенные Хрущевым ограничения на содержание индивидуального домашнего скота усугубляли ситуацию. Повышение цен позволило бы больше платить колхозникам и таким образом стимулировать их производительность. Однако оно резко расходилось с ожиданиями населения, уверенного, что после смерти Сталина цены должны идти вниз, а никак не вверх[41].

В довершение всего повышение цен совпало с решением повысить нормы заводской выработки — то есть фактически снизить рабочим зарплату. Поначалу Хрущев сопротивлялся этой мере, однако поддался на аргументы своего заместителя Алексея Косыгина.

Даже помощник Хрущева по внешней политике Трояновский, не имевший никакого отношения к сельскому хозяйству, уговаривал своего начальника дистанцироваться от этих непопулярных мер. Однако Хрущев взял всю ответственность на себя[42].

Повышение цен вступило в силу с 1 июня 1962 года. Почти немедленно по всей стране появились рукописные листовки и плакаты с протестами; в Москве, Киеве, Ленинграде, Донецке и Челябинске послышались призывы к забастовкам. Волнения происходили и в других городах[43]. По-настоящему трагические события развернулись на огромном электролокомотивном заводе имени Буденного в нескольких километрах к северу от Новочеркасска[44]. В результате повышения норм выработки заработная плата рабочих упала на 30 %. Рабочие также жаловались на плохие условия работы (однажды в одном корпусе заболели сразу 200 человек), высокие цены на жилье, дефицит и дороговизну в городских магазинах[45]. В ответ власти сняли прежнего директора завода, проработавшего в этой должности

много лет и пользовавшегося уважением и доверием рабочих, и заменили его человеком со стороны. Когда рабочие заявили, что из-за снижения зарплаты больше не могут покупать себе в заводской столовой пирожки с мясом, новый директор, совершенно в духе Марии Антуанетты, отвечал: «Ну что ж, ешьте пирожки с капустой». Эти «пирожки с капустой» облетели весь город и стали ироническим лозунгом забастовки[46]. Даже КГБ в одной из своих записок вынужден был признать, что недовольство рабочих было оправдано, а местные партийные функционеры не смогли предвидеть и предотвратить надвигавшуюся бурю[47].

1 июня в 7.30 утра группа рабочих, только что пришедшая на завод, отказалась приступить к работе. Вскоре и другие покинули рабочие места и вышли во двор, где уже собирались возмущенные рабочие из других корпусов. Директор попытался их успокоить, но, не преуспев в этом, ретировался к себе в кабинет. Рабочие отправились к зданию администрации, а оттуда двинулись на улицу. К этому времени их было уже несколько сотен. Секретарь обкома, выйдя на балкон, попытался отстоять перед рабочими повышение цен; тем временем работники КГБ старались аккуратно рассеять толпу, наводняя ее старыми членами партии. Однако на выступление партийного босса рабочие отвечали криками: «Мяса! Мяса! Поднимите зарплату!» Когда над головой у обкомовца просвистела пустая бутылка, а затем несколько камней, он и его подчиненные скрылись. В тот же день возбужденная толпа перекрыла ближайший железнодорожный путь и остановила поезд, нарушив железнодорожное сообщение на линии Саратов — Ростов. На захваченном тепловозе кто-то написал мелом: «Разделаем Хрущева на мясо!»; кто-то залез в кабину и нажал на гудок, призывая рабочих с близлежащих заводов и жителей соседних домов.

К этому времени работа на заводе полностью прекратилась, а численность толпы достигла нескольких тысяч человек. Согласно отчету КГБ, «пьяные хулиганы» срывали со стен административного здания «некоторые портреты». Даже в сверхсекретном отчете автор не решился уточнить, что это были за портреты; очевидцы свидетельствуют, что люди сорвали со стен, сложили в кучу и сожгли портреты Хрущева[48]. В середине дня захваченный поезд был освобожден силами КГБ и местной милиции, но тут же снова отбит разъяренной толпой. Партийные чиновники пытались зачитать перед людьми постановление ЦК, оправдывавшее повышение цен, но им не давали говорить. «Сами читали, грамотные! — кричали в толпе. — Лучше скажите, как мы жить будем, когда зарплата упала, а цены выросли!»[49]

В 18–19 часов вечера на завод прибыло около двухсот

милиционеров, однако вскоре им пришлось бежать. То же случилось и с солдатами, приехавшими на пяти грузовиках и трех боевых машинах пехоты. Согласно отчету КГБ, тех, кто пытался «восстановить законность и порядок», демонстранты избивали[50]. Стихийный митинг на заводе продолжался всю ночь, а утром к нему присоединились вновь пришедшие рабочие, и 2 июня около восьми утра вся огромная толпа направилась в город.

В Кремле, разумеется, о беспорядках узнали сразу. В отчете КГБ, представленном Хрущеву и его коллегам, упоминались также протесты в других городах — Москве, Тбилиси, Новосибирске, Ленинграде, Днепропетровске и Грозном — однако заверялось, что для предотвращения дальнейших «антиобщественных манифестаций» приняты все необходимые меры[51]. Так, в Новочеркасске на подмогу местной милиции были вызваны несколько армейских подразделений и войска МВД. Командир Северо-Кавказского военного округа Исса Плиев, бывший на маневрах, около 17 часов первого июня вернулся в город; примерно в то же время прибыли более сотни спецсотрудников КГБ[52]. По свидетельству Аджубея, Хрущев «рвался» поехать в Новочеркасск: его «едва отговорили»[53]. Тогда он попросил отправиться туда Микояна и Козлова, не прислушавшись к возражению Микояна, что в такой ситуации ответственность должен взять на себя кто-то один, а не двое. Вместе с ними он отправил в Новочеркасск еще троих членов Президиума — Кириленко, Шелепина и Полянского — а также секретаря ЦК Леонида Ильичева и помощника председателя КГБ Петра Ивашутина[54].

Тем временем к новочеркасским демонстрантам присоединялись все новые люди, в том числе женщины и дети. Во главе колонны несли красные флаги, портреты Маркса, Энгельса и Ленина. Вадиму Макаревскому, офицеру, подчиненному Плиева, эта сцена напомнила дореволюционные рабочие демонстрации, как они изображались на полотнах советских художников[55]. Некоторые потом сравнивали новочеркасскую демонстрацию с Кровавым воскресеньем. Как и в предыдущий день, демонстрация была мирной; однако партийные чиновники и силовые структуры, уже получившие выговоры за оторванность от народа, были заинтересованы в том, чтобы представить демонстрантов бандой хулиганов.

Чтобы попасть в центр города, колонне нужно было пересечь реку Тузлов; обнаружив, что мост перегорожен танками, многие перешли мелкую реку вброд, другие же двинулись прямо через танки, обходя их или смело карабкаясь по ним. Солдаты почти не пытались их остановить. В половине одиннадцатого толпа,

достигшая теперь десяти тысяч человек, вышла на площадь Ленина. Призывы к партийным руководителям выйти и держать ответ перед народом остались без отклика: тогда несколько смельчаков ворвались в здание горкома, вышли на балкон, сорвали красные флаги и портрет Ленина и призвали народ захватить здание милиции и освободить демонстрантов, арестованных накануне. Солдаты дали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но толпа не рассеивалась. И вдруг загремели новые выстрелы. Когда огонь прекратился, оказалось, что двадцать три человека (в основном в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет) убиты и восемьдесят семь ранены; некоторые из них позднее умерли от ран. Среди убитых были две женщины и один мальчик школьного возраста. Впоследствии власти, желая изгладить из памяти жителей эту трагедию, заново заасфальтировали площадь, чтобы уничтожить следы крови, и похоронили погибших на пяти разных кладбищах в дальних концах Ростовской области[56].

Кто отдал приказ стрелять — и был ли вообще такой приказ — так и осталось неясным. В то время КГБ утверждал, что стрелять приказали «военные». Макаревский утверждает, что стрельба началась случайно, когда один из демонстрантов попытался отнять у солдата винтовку. Военная прокуратура, проведшая расследование почти тридцать лет спустя, предположила, что первыми начали стрельбу снайперы из госбезопасности. По словам Микояна, Козлов неотступно требовал у Хрущева разрешения применить силу — и в конце концов его получил. Хрущев, как утверждал Микоян, боялся, что возмущение перекинется на другие рабочие регионы, в том числе на Донбасс[57].

Стрельба на площади Ленина и последующие жесткие меры переломили хребет восстанию, хотя на следующее утро в центре города все же собралось несколько сот человек, привлеченных главным образом криками женщины, потерявшей сына[58]. В ответ на новую демонстрацию власти выкатили громкоговорители и начали транслировать записанную накануне речь Микояна. В тот же день Козлов в своем радиообращении пообещал улучшить условия, приведшие к забастовке. Повышение цен он оправдывал, однако уверял, что это временная мера, которая через каких-нибудь два года приведет к изобилию[59]. Тем временем милиция арестовала 116 демонстрантов; над 14 зачинщиками был устроен скорый публичный суд, напоминавший процессы тридцатых годов. Семеро, в том числе одна женщина, были приговорены к смерти, остальные — к десяти — пятнадцати годам тюрьмы. Публика в зале суда встретила приговоры возгласами типа:

«Собакам собачья смерть!» и «Пусть получат по заслугам!»[60].

Новочеркасская демонстрация была не единственной, которую пришлось подавлять силой: тем же летом в столкновениях с милицией погибли несколько человек в Муроме и Александрове Владимирской области[61]. Козлова пролившаяся кровь не лишила аппетита — сразу после новочеркасской трагедии Макаревский слышал, как, разговаривая по телефону с Сусловым, Козлов жаловался на качество местного питания: «Чертова дыра! Распорядись, чтобы сюда что-нибудь прислали. И не забудь: мне нужен отпуск, ты обещал меня поддержать». Хрущев, по-видимому, воспринял известие о трагедии намного тяжелее. Он пытался оправдать силовые действия, заметив Козлову, что, поскольку «миллионы уже погибли ради торжества Советской власти, мы имели право применить силу». В происшедшем он винил всех, кроме себя, — и самих рабочих, и «местных идиотов, которым вздумалось стрелять», и коллег из Президиума. Сергей Хрущев утверждает, что «воспоминания о Новочеркасске мучили отца до конца дней. Именно поэтому он ничего об этом не написал в своих воспоминаниях». Не стоит удивляться и тому, что после трагедии не было проведено серьезного анализа ее причин[62].

2 июня, выступая перед советской и кубинской молодежью (до или после известия о новочеркасской трагедии — неясно), Хрущев, отложив в сторону заранее заготовленный текст, сравнил нынешнюю ситуацию в стране с трудностями, возникшими сразу после Гражданской войны. Решение поднять цены далось нелегко, заявил он; но «как быть, какой найти выход? И мы решили сказать правду народу, партии… Да, у нас есть трудности, не хватает мяса, не хватает масла», — продолжал он. Но «через год-два» повышение цен «благотворно скажется на всей экономике страны», а сельское хозяйство отныне «будет подниматься, как на дрожжах»[63].

Два дня спустя шеф КГБ Семичастный передал Хрущеву секретный доклад о реакции народа на его выступление. Некоторые интеллигенты (интересно, что все — с еврейскими фамилиями) встретили его восторженно: «Да, это действительно речь!»; «Другие страны должны завидовать нам, что мы имеем такого премьера!» (Ничего удивительного, эти люди умели распознавать в собеседниках агентов КГБ.) Однако сообщил Семичастный и о «некоторых нездоровых настроениях», исходивших, в частности, от военных. «Культ личности как был, так и остался», — заявил один офицер. «Какой ни плохой был Сталин, — заметил другой, — он ежегодно снижал цены, а сейчас, кроме повышения цен, ничего не сделано». А третий

заключил: «Если сейчас народ будет бунтовать, то мы своих не пойдем усмирять»[64].

После Новочеркасска начатая в марте 1962 года административная реформа сельского хозяйства выглядела отнюдь не панацеей. В конце июня Хрущев снова побывал в Калиновке — и на сей раз вынес оттуда неприятные впечатления: крестьяне по-прежнему, совсем как в далеком детстве, сгребали сено вилами и грузили на телегу, запряженную сонной клячей[65]. Тем же летом и осенью он направил в Президиум еще девять записок, посвященных сельскому хозяйству. 4 августа Хрущев заявил, что территориальные администрации, введенные в марте, «оправдываются жизнью» — однако всего месяц спустя посетовал, что «мы еще не нашли правильной системы управления непосредственно в сельском хозяйстве»[66].

В августе, когда Хрущев отдыхал на даче в Крыму, его осенила еще одна гениальная идея. Со времен Ленина партия ревниво следила за своей монополией на власть, централизуя свои ряды — особенно собственную бюрократию. Теперь же Хрущев предложил разделить партию на две ветви, с тем, чтобы одна из них специализировалась по промышленности, а другая — по сельскому хозяйству. Он был убежден, что местные руководители отмахиваются от сельских проблем, и решил таким способом заставить их сосредоточить свои заботы на обеспечении народа провизией[67].

Сергей Хрущев слышал, как отец изложил свою идею Брежневу, Подгорному и Полянскому. Поплавав в Черном море, они сидели на пляже под тентом. «Все поддержали идею с энтузиазмом и в один голос», — рассказывает Сергей. «Что за великолепная мысль! Так и надо сделать, и немедленно!»[68] На самом же деле коллеги Хрущева пришли в ужас. Еще до того Брежнев «тихо негодовал» по поводу ликвидации сельских райкомов[69]. Геннадию Воронову, главному специалисту по сельскому хозяйству в Президиуме, идея показалась «нелепой». Но вслух никто из высшего руководства не возражал[70]. «Нужно понимать, в какой обстановке все это происходило, — рассказывал позже Шелепин. — После Сталина пришел Хрущев… Следующий хозяин. Ни у кого не хватало смелости протестовать»[71].

«Мне с трудом удалось сохранить от раздела КГБ. Хрущев все приставал, приставал ко мне с разделением КГБ, мне это надоело, и я как-то рассказал ему анекдот о МВД, который тогда появился (МВД разделили): подбирая на улице пьяных, милиционеры принюхиваются — если несет сивухой, отправляют в деревенские

органы МВД, если коньяком — в городские. И добавил: „А как мне делить шпионов на сельских и городских?“»[72] Вполне возможно, что на самом деле Семичастный не проявлял такой гражданской смелости. Егорычев и его коллеги по Московскому горкому партии «не понимали этой затеи. И нам казалось, что это неправильно, потому что речь шла всегда у нас о союзе рабочего класса и крестьянства, и вдруг создаем по сути дела две партии». «После XXII съезда Хрущев обладал большим авторитетом… и находился на вершине власти»[73].

В январе 1963 года Хрущев признался Фиделю Кастро, посетившему СССР, что поначалу сам сомневался в правильности своей идеи. Однако, к его удивлению, все вокруг единогласно его поддерживали. Только позже он услышал мнение тех, «кто говорил, что мы разрушаем партию. Знаете, я и по сей день не уверен, что был прав»[74].

Однако ни по записке Хрущева от 10 сентября 1962 года, касающейся разделения партии, ни по его последующему поведению нельзя было заключить, что его терзают сомнения. К концу сентября, когда он был в длительной поездке по Средней Азии (откуда отправил еще пять записок о состоянии сельского хозяйства там и в других регионах), Президиум, очевидно, уже дал согласие, однако пленум ЦК не мог состояться раньше ноября. Хрущев говорил о реформе как о решенном деле и заодно выдвинул еще одно предложение (создать в ЦК Среднеазиатское бюро), которое у Президиума даже не было возможности обсудить[75]. Все это припомнили ему коллеги два года спустя.

В 1962 году достигла своего апогея вновь развернувшаяся антисталинская кампания. Разумеется, это не могло произойти без одобрения Хрущева; однако очевидно, что главной движущей силой был не он. Либеральная интеллигенция, имевшая своих сторонников в аппарате Хрущева, воспользовалась XXII съездом как путем к продвижению своих идей и победе над своими соперниками из консервативных кругов.

Твардовский слишком хорошо знал переменчивую натуру Хрущева. Ознакомившись с материалами ЦК, он нашел в них немало внушающего тревогу — например секретное распоряжение о регулярных поставках мяса в Москву и Ленинград. «Значит, худо, — замечал он, — если о других городах речи нет». В своем внутреннем кругу Твардовский не раз ругал Хрущева за то, что тот указывает крестьянам, что, как и когда им сеять. Неужели, говорил он, у главы государства более важных дел не нашлось? Повышение цен 1 июня подтвердило опасения Твардовского. Знал он и о том, что Леонид Ильичев,

главный помощник Хрущева по идеологии, не столько поддерживает либералов против консерваторов, сколько из каких-то своих соображений старается удержать их от открытой войны друг с другом[76].

Летом — осенью 1962 года либералы одержали ряд побед, но консерваторы отчаянно сопротивлялись[77]. Это объясняет, почему, получив повесть провинциального учителя Солженицына «Щ-854» (впоследствии переименованную в «Один день Ивана Денисовича»), Твардовский продвигал ее медленно и осторожно, несмотря на то, что сам безоговорочно признал книгу шедевром.

Повестью Солженицына восхитился не только Твардовский, но и помощник Хрущева Владимир Лебедев, которому Твардовский показал рукопись. Лебедев потребовал кое-что изменить — например, приглушить комические черты в облике члена партии капитана Буйновского и подать его образ в положительных тонах; убрать унижительные ремарки в адрес лагерных надзирателей; а также — что очень позабавило самого Солженицына — хотя бы раз упомянуть, что во всем виноват Сталин. После некоторого колебания автор принял большую часть поправок. Тем временем Хрущев уехал в Пицунду, где 7 сентября 1962 года встречался с Робертом Фростом, американским поэтом, приехавшим в Россию по культурному обмену[78]. С 9 по 14 сентября Лебедев читал Хрущеву вслух фрагменты повести[79].

Хрущеву книга понравилась. Особенно привлекло его то, что лагерь описывается в повести глазами простого крестьянина. Хрущеву и Микояну, которого Хрущев также пригласил послушать, особенно понравилась «производственная» сцена. Сперва, придя в бурный восторг, Хрущев захотел немедленно пригласить Солженицына к себе на дачу, но затем передумал. Вспомнил он и о том, что перед одобрением публикации должен посоветоваться с коллегами. 16 сентября Лебедев позвонил Твардовскому и объявил, что дело в шляпе; однако пять дней спустя затребовал двадцать три копии рукописи — очевидно, для членов Президиума.

В конце сентября Хрущев вернулся из Средней Азии. В начале октября Президиум дважды собирался для обсуждения произведения Солженицына. Были некоторые сомнения; по словам Хрущева, «при обсуждении раздавались разные голоса. Вернее, только один голос — Суслова». «Боялся, как народ воспримет? Как он поймет?! Народ поймет правильно. Народ всегда правильно поймет. Хорошее от плохого он отличит всегда, сможет разобраться!»[80]

15 октября Лебедев неофициально сообщил Твардовскому о

результате заседаний. 20 октября Твардовский был на приеме у Хрущева. «Я понял, что произошла какая-то общая подвижка льдов, — сообщил он после этого своим коллегам по «Новому миру». — Меня встретили с такой благожелательностью, как никогда раньше». Сам Хрущев был от «Ивана Денисовича» в восторге, хотя и признался, что не все коллеги разделяют его мнение. Он добавил, что специальная комиссия уже подготовила три тома материалов о преступлениях Сталина и расследование убийства Кирова продвигается полным ходом. «Мы должны сказать правду об этом времени, — добавил Хрущев. — Нас будут судить будущие поколения, и пусть они знают, в каких условиях нам пришлось работать, что за наследство мы получили».

Хрущев поведал гостю историю о смещении Берии, признал, что секретный доклад 1956 года был рискованным для него самого («Точно вам говорю, так оно и было!») и намекнул, что партаппарат сопротивляется его мерам по искоренению культа личности. Твардовский поднял вопрос о цензуре, заметив, что не понимает, почему над главным редактором «Нового мира», кандидатом в члены ЦК, стоит какой-то «неграмотный цензор» — и Хрущев, казалось, с ним согласился. Ведь «Ивана Денисовича» в цензуре бы зарезали, продолжал Твардовский. «Зарезали бы, зарезали — жизнерадостно, со смехом подтвердил Хрущев. — Это надо обдумать. Может быть, вы и правы»[81].

На следующий день после этого знаменательного разговора в «Правде» появилось, без объяснений и комментариев, стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина», которое уже некоторое время ходило по рукам без всякой надежды оказаться напечатанным.

Безмолвствовал мрамор.
Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул,
на ветру бронзовея,
А гроб чуть дымился.
Дыханье из гроба текло,
когда выносили его
из дверей Мавзолея.

Покуда наследники Сталина
живы еще на земле,
мне будет казаться,
что Сталин — еще в Мавзолее[82].

Решение о публикации «Ивана Денисовича» и появление в

печатном органе Центрального Комитета КПСС «Наследников Сталина» знаменовали собой величайшую победу либеральных литераторов. Однако близилась катастрофа, о которой далекие от политики люди пока даже не подозревали и которой суждено было повлиять не только на внешнеполитическое, но и на внутреннее положение страны.

22 октября 1962 года президент США Кеннеди публично заявил, что Хрущев тайно размещает на Кубе ядерное оружие.

Глава XIX
КУБИНСКАЯ ПАНАЦЕЯ: 1962

14 октября 1962 года над Кубой пролетел американский самолет-разведчик У-2. В ту же ночь привезенные им фотоснимки, снятые с высоты шестидесяти пяти — семидесяти тысяч футов, настолько подробные, что на них были отображены объекты всего в полфута длиной, были проанализированы в исследовательском центре ЦРУ. На снимках было видно, что Советский Союз монтирует на Кубе пусковые установки для баллистических ракет, способных достичь Соединенных Штатов. На следующий день сообщение об этом прочел советник по национальной безопасности Макджордж Банди; президент Кеннеди получил информацию лишь утром 16 октября, вернувшись из предвыборной поездки. Он сидел на кровати в халате и домашних тапочках, когда Банди сообщил ему дурную весть. Просмотрев снимки, президент сказал: «Возможно, придется их разбомбить»[1].

Кеннеди и его советники были поражены и озадачены. Сообщения о советском военном строительстве на Кубе приходили с начала июля, однако Кеннеди, Банди, Раск, Макнамара и другие не могли поверить, что СССР разместит на Кубе ракеты, нацеленные на США. В августе новый шеф ЦРУ Джон Маккоун, получив сообщение, что на Кубу прибыли советские ракеты «земля-воздух», начал догадываться о намерениях противника. Но Кеннеди не желал прислушиваться к его догадкам — отчасти потому, что республиканцы во главе с сенатором Кеннетом Китингом кричали об опасности советского проникновения в Западное полушарие и обвиняли администрацию в недостатке бдительности. Кроме того, Белый дом просто не мог поверить, что Хрущев решится грозить Соединенным Штатам на их собственном «заднем дворе», особенно после того, как много раз клялся этого не делать. Роберт Кеннеди отреагировал на новость 16 октября в совершенно недипломатическом стиле: «Черт побери, ну и дерьмо! Сукины дети эти русские!» Раск усомнился, что Хрущев «вполне разумен». Президент Кеннеди в тот же день сказал своим советникам, что Хрущев «играет в Господа Бога»; но «Почему он… может быть, эксперты по России могут нам сказать, почему они…» — и заключил: «Черт побери, для меня это полная загадка»[2].

Кеннеди и его помощники (окрестившие себя

Исполнительным комитетом при Совете национальной безопасности) тайно встречались в течение нескольких дней, обсуждая проблему и пытаясь найти решение. Перед объявлением блокады Кубы, последовавшим 22 октября, и в течение следующих шести дней (до кризиса, разразившегося 28 октября) они старались понять мотивы Хрущева и угадать, что он станет делать дальше. Возможно, он отправил на Кубу ракеты, чтобы компенсировать превосходство американцев в ядерном вооружении. Это объяснение устраивало высших военных чинов, настаивавших на том, что кубинские ракеты могут сыграть большую роль во время ядерного конфликта; но секретарь по обороне Макнамара возражал им, говоря, что от этого хода Москва не получает никаких особых преимуществ. Другая гипотеза, выдвинутая бывшими послами Боленом и Томпсоном, гласила, что Хрущев хочет посчитаться (и, возможно, поторговаться) за американские ракеты, расположенные в Турции и нацеленные на СССР[3]. Самому Кеннеди более привлекательной казалась версия, что появление ракет связано с Берлином. Томпсон, всего три месяца назад покинувший Москву и знавший Хрущева лучше, чем кто-либо из американцев, полагал, что лидер СССР хочет таким образом усилить свою позицию в предстоящих переговорах. «Мистер президент, — сказал Томпсон Кеннеди 22 октября, — в нашем последнем разговоре он ясно дал мне понять… что не отступит от занятой позиции. Он зашел слишком далеко… Он дал мне понять, что время уходит…» По мнению Томпсона, Хрущева заботил «главным образом берлинский вопрос»[4].

Президент Кеннеди видел и другие связи между Берлином и Кубой. Если Соединенные Штаты не смогут добиться вывоза ракет с Кубы, мировое сообщество усомнится в способности Вашингтона защитить Берлин. Если Америка блокирует Кубу, русские в ответ могут блокировать Берлин. Если Соединенные Штаты вторгнутся на Кубу или нанесут ей удар с воздуха, Москва захватит Берлин — и европейцы будут винить в этом американцев, испугавшихся опасности, с которой Западная Европа живет бок о бок уже много лет. Кеннеди невольно «восхищался советской стратегией», признался он 22 октября своему старому другу, британскому послу Дэвиду Ормсби-Гору. «Они открыто бросили Соединенным Штатам вызов, прекрасно понимая, что, если американцы ответят на него силой, у русских появится идеальная возможность захватить Западный Берлин. Если же, с другой стороны, он [президент] ничего не сделает, союзники США в Латинской Америке и в других местах почувствуют, что Вашингтон не может защитить их от

распространения коммунизма и что на него лучше не полагаться»[5].

Раск высказал еще одну гипотезу: возможно, за происшедшее ответствен не Хрущев, а «твердолобые сторонники эскалации напряжения»[6]. Единственное объяснение, не пришедшее в голову никому в Белом доме, было самым простым и близким к истине: если верить русским, они просто-напросто хотели защитить своего союзника Фиделя Кастро от нападения США. Впрочем, этим история не исчерпывалась.

Помимо стратегии Хрущева, Кеннеди и его советники пытались разгадать его тактику. «Нам следует исходить из того, — заявил Кеннеди 22 октября, перед тем, как сделать публичное заявление о ракетах, — что Хрущеву известно, что мы знаем о его ракетах, а значит, он уже подготовил свой ответ». 26 октября Кеннеди откровенно восхищался тем, как ловко Хрущев пользуется своей репутацией агрессивного и несговорчивого упрямца: «Если уж ты — сукин сын, то всякий раз, как ты проявишь хоть какую-то уступчивость, все вокруг размякают от радости»[7].

Однако, если приписывать Хрущеву такую сообразительность, — почему же он, по выражению Раска, «столь безумно недооценивал значимость Кубы для Вашингтона»? Почему не спрятал ракеты? Зачем оставил в открытом поле, где их неминуемо должны были заметить американские разведывательные самолеты? «Может быть, когда-нибудь потом русские мне объяснят, — сказал Кеннеди 25 октября, — почему они их не закамуфлировали, зачем спешно камуфлируют сейчас и на что вообще они рассчитывали». Не говоря уж о том, почему 26 октября Хрущев предложил способ выхода из кризиса, а на следующий же день передумал. «Как можно иметь дело с человеком, который меняет свое решение прежде, чем мы успеваем ответить, — жаловался 27 октября Макнамара, — и публично объявляет о своих предложениях прежде, чем отправить их нам?»[8]

Очевидно, Хрущев не продумывал свое поведение и не готовил тактических планов. Реакция американцев оказалась для него неожиданностью: он начал импровизировать, и всему человечеству очень повезло, что кризис окончился благополучно. Что же касается Кеннеди — сперва его угрозы Кубе повлекли за собой кризис, который он не смог предвидеть, а затем он почти прижал Хрущева к стенке, несмотря на риск войны. По счастью, в конце концов обоим хватило мужества отступить и кризис окончился примирением: но в эти несколько дней мир ближе, чем когда-либо, подошел к угрозе ядерной войны.

Историкам Карибского кризиса еще предстоит ответить на важнейшие вопросы. Зачем Хрущев отправил на Кубу ракеты? Что собирался с ними делать, если бы их не обнаружили? Почему не позаботился об их маскировке? Наконец, как смог найти мужество отступить?

Ответы на эти вопросы необходимо начать с самой Кубы. Предположение, что в деле играли свою роль берлинский вопрос и ядерный баланс двух держав, тоже верно, но не совсем в том смысле, как это понимал Вашингтон. Кроме того, необходимо учитывать внутриполитическое положение Хрущева в 1962 году: со всех сторон окруженный проблемами, он испытывал растущее раздражение, остро чувствовал необходимость доказать (как себе самому, так и другим) свою дееспособность и перехватить инициативу, даже если ради этого придется пойти на большой риск. В этом смысле кубинские ракеты были для него панацеей — правда, панацеей, в конечном счете ничему не помогшей и никаких недугов не исцелившей.

Поначалу Куба не представляла для Москвы никакого интереса. Сталин смотрел на Латинскую Америку в целом как на далекое захолустье, не стоящее ни малейшего внимания. Хрущев приветствовал революции, приносившие СССР новых союзников в развивающихся странах, но в январе 1959-го, когда силы Фиделя Кастро высадились в заливе Сьерра-Мадре и захватили Гавану, в Москве не знали, кто они такие и за что сражаются. Даже выяснив, что брат Фиделя Рауль — коммунист, и подозревая, что сам Фидель симпатизирует коммунизму, Москва не знала, стоит ли подавать ему руку помощи. В сентябре 1959-го, пока Хрущев был в Соединенных Штатах, Президиум по совету Министерства иностранных дел решил не предоставлять Кубе военную помощь — решение, принятое из страха перед реакцией США. Однако, вернувшись домой, Хрущев заявил, что силы Варшавского договора должны отправить в Гавану вооружение[9]. Та же ситуация повторилась три года спустя: коллеги Хрущева проявляли разумную осторожность, но он безрассудно отметал их предупреждения.

В 1960–1961 годах Москва и Гавана очень сблизились и, соответственно, военная помощь Кубе выросла. В феврале 1960-го Кубу посетил Микоян. Кастро совершенно его очаровал, и Микоян вернулся в Москву вполне убежденным: «Да, он революционер. Такой же, как мы. Я чувствовал себя так, словно вернулся в дни юности»[10]. То же самое чувствовал и Хрущев, особенно после объятий с Кастро в Гарлеме. Для него Куба стала «прожектором, желанным маяком для всех обездоленных и ограбленных народов

латиноамериканских стран»[11]. Когда отношения Кубы и США омрачились и Кастро начал опасаться американского вторжения, Хрущев сделал еще один шаг навстречу кризису: 9 июня 1960 года, перед встречей с советскими учителями, на которой присутствовала и его бывшая учительница из Калиновки, он объявил, что Советский Союз готов защищать Кубу ядерным оружием: «…если агрессивные силы в Пентагоне осмелятся вторгнуться на Кубу, советские артиллеристы поддержат ее ракетным огнем»[12].

Пока что угрозы Хрущева были чисто риторическими; однако они оправдали себя. Правда, они не предотвратили вторжение США, поскольку к таким мерам вашингтонская администрация была еще не готова: начальные ее действия — например, поддержка с воздуха мятежников в провинции Орьенте в сентябре 1960 года — были очень слабыми и неуверенными. Однако Кастро был благодарен СССР и потому готов перейти в советский лагерь. В ноябре он заявил (искренне или нет — неясно), что со студенческих лет был марксистом. Незадолго до инаугурации Кеннеди в январе 1961-го снова возникла угроза американского вторжения: однако и на этот раз ничего не произошло, как полагали в Москве и Гаване, — благодаря советским угрозам[13].

Вторжение, которого так долго ждали, наконец состоялось: это ни для кого не стало сюрпризом, но многих удивило то, что вместо собственных морских пехотинцев американцы отправили в атаку кубинских эмигрантов и не решились поддержать их военной силой. Кастро одержал верх; однако Хрущев опасался, что Кеннеди предпримет вторую, лучше подготовленную попытку. Военно-морская база США на Гуантанамо давала прекрасный предлог: достаточно было заявить, что кубинцы напали на базу, а затем нанести удар ради «самозащиты». Когда Хрущев спросил своего министра обороны, сколько времени понадобится американцам для победы над армией Кастро, Малиновский ответил: «Два-три дня»[14].

Американцы в самом деле планировали агрессию. Вслед за неудачным вторжением Вашингтон развернул против Кубы политическую и экономическую «войну», организовал в Карибском море агрессивные маневры и подготовил план «Мангуст», включавший в себя диверсионные рейды, попытки убийства Кастро и, в конечном счете, вторжение на Кубу в октябре 1962 года. Правда, администрация Белого дома одобрила лишь те меры из списка «Мангуста», которые не могли «вызвать в этом регионе народные возмущения, могущие потребовать интервенции вооруженных сил США». Однако ни СССР, ни Куба об этом не знали[15]. Если Хрущев и сомневался, что Соединенные

Штаты намереваются покончить с Кастро, его сомнения рассеял сам Кеннеди в своем интервью, данном Алексею Аджубею в Вашингтоне 30 января 1962 года. Согласно американским сообщениям об этой встрече, Кеннеди заявил, что Соединенные Штаты психологически не готовы к наличию у себя под боком недружелюбного соседа, заметил, что «СССР реагировал бы так же, если бы в непосредственной близости от его границ вдруг объявилось враждебное государство», и «в этой связи напомнил о советской реакции на венгерское восстание». Аджубей, вернувшись в Москву, пересказал Хрущеву реплику Кеннеди в куда более живых красках: по его словам, Кеннеди рассказал, как после неудачного вторжения на Кубу вызвал к себе шефа ЦРУ Аллена Даллеса и распек его в таких выражениях: «Я ему говорю: учитесь у русских. Когда у них в Венгрии начались сложности, они покончили с конфликтом в три дня… Но вы, Даллес, никогда не были на это способны»[16]. Вполне возможно, что Аджубей несколько преувеличил пафос Кеннеди; так или иначе, Хрущев был обеспокоен и ожидал худшего.

В феврале 1962 года началось массированное развертывание на Кубе советской военной помощи. Поскольку КГБ доложил, что вторжения американцев в ближайшие месяцы не ожидается, поставки ракет СА-5 «земля — воздух» поначалу были отменены. Однако два месяца спустя Хрущев вновь поднял вопрос о размещении на Кубе ракет средней дальности. В то же время произошли еще два тревожных события: во-первых, американцы начали в Карибском море масштабные маневры, и во-вторых, в результате ссоры Фиделя с соратником — просоветским коммунистом Анибалем Эскаланте — появилась опасность, что Фидель сблизится с Мао Цзэдуном[17]. И то и другое страшило Хрущева. Потеря Кубы — «это был бы большой удар по марксистско-ленинскому учению, и это отбросит нас от латиноамериканских стран, понизит наш престиж». Поражение Кастро Хрущев рассматривал «как свое собственное», вспоминал позднее Сергей Хрущев. По словам Трояновского, на Хрущева «постоянно давило опасение, как бы США и их союзники не вынудили СССР и его друзей отступить». Тогда «ответственность за это пала бы на него». Он часто повторял предсказание Сталина, что империалисты передушат его наследников «как котят». Масла в огонь, по мнению Трояновского, подливали постоянные обвинения в «капитулянтстве перед империализмом»[18], на которые не скупился Мао Цзэдун.

Но если Хрущев хотел защитить Кубу, почему он не использовал обычные вооружения? Почему просто не разместил

там советские войска (как американцы — свои войска в Европе), которые при попытке вторжения превратили бы конфликт в советско-американский? Если, наконец, ему хотелось непременно использовать ядерное оружие — почему бы не ограничиться ракетами малой дальности, вполне способными защитить Кубу от интервенции? Вашингтон поразило именно использование ракет средней дальности, риск применения которых столь явно превышал любую выгоду. Администрация Кеннеди так и не поняла логики Хрущева — а логика была проста:

«Я пришел к выводу, что если мы все сделаем тайно и американцы узнают про это, когда ракеты уже будут стоять на месте, готовыми к бою, то перед тем, как принять решение ликвидировать их военными средствами, они должны будут призадуматься. Эти средства могут быть уничтожены США — но не все. Достаточно одной четверти, даже одной десятой того, что было бы поставлено, чтобы сбросить на Нью-Йорк одну-две ядерные ракеты, и там мало что останется… Я не говорю, что там все погибли бы. Нет, не все бы погибли, но трудно сказать, сколько не погибло бы… Думалось, что это сможет удержать США от военных действий»[19].

Как видим, Хрущев действовал согласно своей излюбленной стратегии: ракеты предназначались не для реальных боевых действий, а для шантажа и запугивания противника. Возможно, Эйзенхауэр его бы понял — он и сам не отказывался от шантажа такого рода. Но не таков был Кеннеди: он относился к угрозе ядерной войны вполне серьезно и стремился достичь в гонке вооружений существенного превосходства. Хрущев же рассуждал проще: пока у Москвы остается хотя бы минимум ядерного оружия, способного поразить территорию США, американцы будут его бояться. Пока это оружие будет размещено на Кубе — американцы ничего не сделают ни с Кубой, ни с самим Кастро.

До 1962 года Хрущев постоянно хвастал массовым производством в СССР межконтинентальных ядерных ракет, способных разнести США в клочки. Фотографии с самолетов этого не подтверждали, однако американская разведка не решалась разоблачать блеф Хрущева до середины 1961 года, когда снимки со спутника-шпиона «Корона» и показания советского перебежчика Олега Пеньковского подтвердили, что межконтинентальных ракет у СССР — всего ничего. К этому времени военная промышленность США уже обеспечила значительное превосходство над СССР в области ракетно-ядерных вооружений[20].

30 октября 1961 года Советский Союз произвел испытание 50-мегатонной ядерной бомбы, по мощности десятикратно

превышающей бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки[21]. Однако Кеннеди еще до этого решил объявить миру, что Хрущев блефует. 21 октября помощник секретаря по обороне США Росуэлл Гилпатрик заявил, что «Соединенные Штаты способны ответить на ядерный удар Советов не менее мощным ударом». В феврале 1962-го Макнамара сообщил сенатскому Комитету по международным отношениям, что «в случае масштабного ядерного конфликта США обладают серьезным преимуществом», а месяц спустя президент отверг устоявшееся мнение, что «США ни за что не нанесут ядерный удар первыми… Хрущеву следует знать: если будут затронуты наши жизненные интересы, мы можем проявить инициативу»[22].

Советская сторона реагировала на эти заявления бурно и раздраженно. И в сердитом отрицании превосходства США, и в яростном клеймении президента Кеннеди за готовность развязать войну чувствовалась глубокая досада Хрущева — тем более глубокая, что он считал решающим даже небольшой стратегический перевес. А тут вдруг оказалось, что все его четырехлетние усилия тщетны — американцы выигрывают гонку вооружений, и ядерный баланс склоняется в их пользу.

Особенно болезненной стала для Хрущева его личная неудача. Ведь именно он настаивал на сокращении обычных вооружений в пользу ядерных (хотя межконтинентального ядерного оружия у Кремля, в сущности, еще не было). Теперь же на кону стояла не только Куба, но и военное превосходство СССР. Неудивительно, что в марте 1962-го в беседе с Анатолием Добрыниным он заявил, что американцы «совершенно обнаглели», и добавил: «Самое время укоротить им руки!»[23]

В феврале 1962 года, отдыхая в Пицунде, Хрущев параллельно готовился к важному заседанию Совета обороны страны. На даче у него собрались члены Президиума, высшее военное командование и ведущие конструкторы ракет. Хрущев, в летнем костюме (зеленый пиджак и серые брюки), резко контрастировавшем со строгими костюмами остальных, председательствовал: угрюмо выслушал он признание генералов, что советские межконтинентальные ракеты не в силах противостоять американским. Р-16 (известную на Западе как СС-6) необходимо готовить к запуску несколько часов, а американский «Минитмен» — всего несколько минут. «Пока мы ее запустим, — заключил маршал Москаленко, — от нас уже мокрого места не останется». Хуже того: если Р-16 и не уничтожат американцы, велика вероятность, что она взорвется сама. Чтобы избежать этой опасности, необходимо в течение тридцати дней подсушивать ее жидкое топливо. У «Минитмена», работающего на

твердом топливе, такой проблемы нет — он готов к запуску в любой момент. «Отец мрачно оглядел комнату, — вспоминал Сергей Хрущев. — Снова его замысел обернулся неудачей… Он обратился к присутствующим с предложением подумать, как нам максимально быстро догнать американцев»[24].

В отличие от межконтинентальных ракет, которых было явно недостаточно, ракетами малой и средней дальности Москва была обеспечена. Размещение их на Кубе по меньшей мере вдвое увеличило бы число советских ракет, способных поразить Вашингтон, Нью-Орлеан, Даллас, Атланту и другие крупные американские города[25]. Трояновский прямо указывает, что эти ракеты были призваны «скорректировать в пользу Советского Союза соотношение сил в области ракетно-ядерного оружия, где большой перевес в это время был на стороне Соединенных Штатов». Как заметил в беседе с Хрущевым Юрий Андропов: «Тогда мы сможем держать под прицелом мягкое подбрюшье американцев»[26]. «Если бы сложилось так, — признает в своих мемуарах и сам Хрущев, — то было бы неплохо: получилось бы в какой-то степени „равновесие страха“… Тут американцы сами бы испытали, что означает такое положение. Мы-то уже привыкли к этому. Мы за последние полвека провели на своей земле три большие войны… а США войн на своей территории давно не имели. Они во многих войнах участвовали, но при этом обогащались, затрачивая минимальное количество крови своих людей, а наживали миллиарды и грабили весь мир…»[27]

Трояновский, достаточно осведомленный в этом вопросе, утверждает, что никакого отношения к Берлину Карибский кризис не имел. Бывший помощник Хрущева уверяет, что с постройкой Берлинской стены германский вопрос, в сущности, был закрыт. Разумеется, продолжались «дипломатический обмен мнениями и публичные заявления с обеих сторон — агрессивные или сдержанные, в зависимости от обстоятельств». Однако это были уже «последние волны затихающего шторма… По крайней мере, так это выглядело с нашей стороны. Ясно, что Хрущев не мог „выключить“ конфликт по своей воле: восточногерманские лидеры заглядывали ему через плечо и требовали дальнейших силовых действий. Но он уже в основном сражался с тенью»[28].

Некоторые факты, касающиеся обсуждения берлинского вопроса, подтверждают заявления Трояновского. Так, 17 октября 1961 года Хрущев отозвал свой последний ультиматум по Берлину, выдвинутый сразу после саммита в Вене. Драматическое противостояние в Берлине советских и американских танков несколько дней спустя выглядело весьма впечатляюще, но

никакой реальной опасности не представляло[29]. Переговоры по берлинскому вопросу, проводившиеся сперва между Громыко и послом Томпсоном, затем между Раском и новым послом в Вашингтоне Добрыниным, ни к чему не вели — однако советская сторона, казалось, была этим вовсе не обеспокоена. В январе 1962 года Томпсон был «поражен тем, что Громыко не проявляет ни малейшего нетерпения, как будто ему неважно, сколько еще продлится нынешнее положение дел». В феврале, по словам Раска, стало ясно, что Москва «почти готова заморозить этот вопрос». Несмотря на неуступчивость американцев, Громыко не проявлял желания прервать переговоры или делать какие-либо публичные заявления. Напротив, как сообщил удивленный Раск 28 февраля Совету национальной безопасности, «русские, похоже, готовы снова и снова крутить одну и ту же долгоиграющую пластинку»[30].

Трояновский подтверждает свое мнение еще одним эпизодом, произошедшим во время Карибского кризиса. Когда заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов предложил в ответ на американскую блокаду Кубы начать блокаду Берлина, Хрущев резко отверг это предложение: «Мы только начинаем выпутываться из одной авантюры, а вы предлагаете нам влезть в другую!»[31] Однако это — еще не доказательство того, что германский вопрос не играл никакой роли в возникновении кризиса; напротив, многое свидетельствует об обратном.

С сентября 1961 года до самого кризиса Хрущев и Кеннеди вели секретную переписку. Кеннеди не желал уступать в берлинском вопросе, что, по-видимому, приводило Хрущева в ярость. В письме Хрущева от 9 ноября имеется пассаж, который припомнили советники Кеннеди, когда разразился кризис: «Поймите же, я не могу больше отступать, за моей спиной — обрыв»[32]. В своем ответе от 2 декабря Кеннеди никак на это не отреагировал: тогда Хрущев обвинил США в «мегаломании» и заявил: «Мы должны заключить мир с Германией, и мы его заключим и без вашего согласия»[33].

В середине мая 1962-го в Москву для обмена информацией с советскими чиновниками прибыл пресс-секретарь Белого дома Пьер Сэлинджер. К его удивлению, Хрущев пригласил его к себе на дачу, где американец гостил два дня. Гость и хозяин проводили время в обычных развлечениях: вкусно ели, много пили, катались на лодке, стреляли в мишень. Хрущев шутил, рассказывал разные истории, сравнивал себя со Сталиным (который «понимал только марксизм-ленинизм. Как обращаться с промышленностью и сельским хозяйством, он не знал. У него не было практической хватки. Хотел бы я, чтобы он посмотрел на

этот [соседний с дачей] колхоз! Тогда бы он понял, что я прав») — и снова и снова возвращался к Берлину. Если они с Кеннеди не сумеют договориться, заявлял он, то окажутся «перед серьезным испытанием». Хрущев, по-видимому, не сомневался, что «драться за Западный Берлин Штаты не станут — нужен он им, как собаке пятая нога»[34].

26 июля советский лидер распрощался с послом Томпсоном, возвращавшимся в США. Его он тоже предупредил, что мирный договор с Германией «не может ждать до бесконечности», и при этом выглядел «серьезно озабоченным»[35]. В сентябре Хрущев пригласил к себе в Пицунду секретаря по внутренним делам США Стюарта Юделла, совершавшего туристическую поездку по России. Ситуация в Германии, заявил он, «становится нестерпимой». Если Кеннеди не хватает «смелости», Хрущев «поможет ему решить проблему. Мы поставим его перед выбором — или война, или мирный договор… Вам нужен Берлин? Да черта с два он вам нужен!.. Это раньше вы нас секли, как мальчишек, а теперь мы сами можем надрать вам задницу»[36].

16 октября Хрущев сообщил преемнику Томпсона Фою Коулеру, что планирует посетить в ноябре Генеральную Ассамблею ООН и надеется, что сумеет при этом встретиться с президентом и прийти с ним к соглашению по вопросу о Западном Берлине[37]. Лучшего времени и выбрать было нельзя: как раз в этот момент американцы узнали о ракетах на Кубе!

Позже Микоян говорил Кастро, что Москва использовала берлинский вопрос «как дымовую завесу», чтобы отвлечь внимание США от Кубы[38]. Однако трудно поверить, что беспокойство и раздражение Хрущева по этому поводу были от начала до конца напускными. Если, как уверяет Трояновский, после постройки Берлинской стены кризис закончился — почему же Хрущев так давил на американцев в этом вопросе? В 1999 году, когда я задал ему этот вопрос, Трояновский ответил: «Он должен был на что-то давить. В конце концов, шла холодная война»[39].

Это, по-видимому, подтверждается тем, что говорил сам Хрущев своим восточным союзникам. В октябре 1961 года он заметил польскому лидеру Владиславу Гомулке, что от заключения мирного договора соцлагерь только «проиграет», поскольку Запад «может объявить экономический бойкот СССР и социалистическим странам». Учитывая эту опасность, «не следует обострять ситуацию»; «надо вести свою игру… и продолжать давление». В феврале 1962-го Хрущев спрашивал Ульбрихта: «Что нас заставляет спешить с мирным договором? Да ничего. До 13 августа [дата возведения стены] мы ломали голову, как

продвинуться вперед. А теперь-то о чем беспокоиться? Границы закрыты»[40].

Тем не менее, когда Хрущев инструктировал Добрынина — нового посла СССР в США, — «ясно было, что он [Хрущев] рассматривает германский и берлинский вопросы как принципиальные для советско-американских отношений и хочет, чтобы они были решены в соответствии с принципами, которые он изложил Кеннеди в Вене». По словам Добрынина, Хрущев «надеялся изменить положение в Берлине в свою пользу»[41].

Может быть, Хрущев лукавил для того, чтобы Добрынин правильно сыграл свою роль? Или Берлин и Куба все же были для него связаны каким-то необъяснимым образом, о чем и не подозревал Трояновский? Правда ли, что Хрущев постоянно менял свои решения? Может быть, никто не мог разгадать его мысли и предугадать действия, потому что он действовал наугад, сам не зная, чего хочет добиться? Первый секретарь Московского горкома Николай Егорычев, не имевший никакого отношения ни к Берлину, ни к Кубе, возможно, подскажет нам принцип действий Хрущева: «Даже когда Хрущев совершал ошибку и даже когда понимал, что ошибся — может быть, тогда-то в особенности, — ему не хватало духу это признать. Так происходило отчасти потому, что он был руководителем партии и правительства, но отчасти и из-за его характера»[42].

Что бы ни думал Хрущев о Берлине, он не мог не замечать, что советско-американские отношения в 1961–1962 годах зашли в тупик, а советско-китайские между тем продолжают ухудшаться. В своей речи на XXII съезде Чжоу Эньлай вежливо, но твердо провел прежнюю китайскую линию, а затем уехал, не дожидаясь реакции Хрущева. Выступая на Красной площади, Чжоу Эньлай отдал должное не только Ленину, но и Сталину. В ответ Хрущев заявил китайцам, что, хотя «голос китайской коммунистической партии был для нас тогда [в 1956 году] важен, теперь мы намерены идти своим путем»[43]. В 1962-м было предпринято несколько попыток исправить положение, но напряженность продолжала расти. Так что тайное размещение ракет на Кубе было призвано не только утереть нос Кеннеди, но и убедить социалистических союзников Хрущева, что его политика — жесткость в сочетании с гибкостью — приносит интересам коммунизма больше выгоды, чем жесткий, ригористический догматизм Китая.

«Хрущев обладал богатым воображением, — писал в 1994 году Трояновский, — и, когда им овладевала какая-либо идея, он начинал видеть в ней не только легкое решение какой-то определенной проблемы, но и панацею» от многих проблем сразу.

«В таких случаях он даже вполне разумные идеи доводил до абсурда»[44].

Если верить самому Хрущеву, решение послать на Кубу ракеты принималось им не единолично, но совместно с «товарищами». Только после двух или трех продолжительных дискуссий все согласились, что стоит рискнуть. С самого начала, уверяет Хрущев, он «хотел заручиться согласием своих товарищей по Центральному Комитету КПСС и правительству». Он «не хотел форсировать это решение, чтобы оно выкристаллизовалось в сознании каждого и каждый бы, понимая его последствия, знал, что оно может привести нас к войне с США… Решение было принято единодушно»[45].

Однако эти слова далеки от реальности. В апреле 1962 года Хрущева навестил на Черном море министр обороны Малиновский. С собой он привез удручающий доклад о стратегическом балансе и сообщение, что американцы закончили размещение ядерных боеголовок «Юпитер» в Турции. По всей видимости, Малиновский хотел попросить дополнительных ассигнований на оборону; результат его жалоб оказался неожиданным для него самого. «Родион Яковлевич, — хитро усмехнувшись, спросил вдруг Хрущев, — а что, если запустить в штаны дяди Сэма нашего ежа?»[46]

Еще прежде Хрущев делился своей идеей с Микояном, которого после его поездки на Кубу считал экспертом по этой стране. Этот разговор произошел во время прогулки старых товарищей по территории хрущевской резиденции на Ленинских горах. Хрущев предложил «очень быстро» разместить ракеты в сентябре-октябре, а затем, после ноябрьских выборов в конгресс США, сообщить об этом Кеннеди — лучше всего лично, когда он будет в Нью-Йорке на сессии Ассамблеи ООН. Хрущев полагал, что США отнесется к этой новости спокойно — «ведь у них в Турции есть ракеты, нацеленные на Советский Союз». Микоян усомнился, что ракеты можно перевезти через полмира и разместить втайне, и выразил опасение, что это может спровоцировать кризис. И потом, заметил он, такие вещи не делаются без согласия Фиделя Кастро — а он, вполне возможно, будет возражать. Микоян несколько раз повторил, что план Хрущева очень опасен. «Это я и сам сразу высказал», — замечает по этому поводу Хрущев[47].

Если бы Хрущев серьезно отнесся к советам Микояна, возможно, кризиса бы не случилось. По крайней мере он был бы готов к тому, что произошло. Следовало бы ему проконсультироваться и с Добрыниным и Трояновским, которые

много знали о Соединенных Штатах, — однако он не сделал и этого. Вместо того чтобы тщательно взвесить и обсудить все контраргументы, Хрущев поведал о своем плане небольшой группе советников: членам Президиума Микояну и Козлову, Малиновскому, Громыко, а также командующему ракетными войсками маршалу Бирюзову. Изложив свою мысль, Хрущев задал Малиновскому гипотетический вопрос: «Предположим, в ста сорока километрах от наших берегов лежит остров, который нам нужно захватить и подчинить себе, несмотря ни на какое сопротивление. Мы можем использовать любое оружие, кроме ядерного. Сколько времени нам на это потребуется?» Четыре-пять дней, самое большее — неделя, ответил Малиновский. «Вот видите! — воскликнул Хрущев. — Что же нам делать [чтобы помочь Кубе]? В любом случае, мы просто не успеем отправить помощь на другой конец света. А после драки кулаками не машут». И вопрос был закрыт.

Если у Малиновского и имелись какие-то сомнения, он их не высказывал. Что касается Бирюзова — с какой стати он стал бы возражать, если Хрущев предлагал ему нацелить ракеты средней дальности на США? Микоян повторил свои возражения, но Хрущев их отмел: «Пусть сперва маршал Бирюзов и другие специалисты рассмотрят возможность разместить ракеты на Кубе так, чтобы об этом не пронюхали американцы, а потом пусть они передадут лично Фиделю послание с вопросом, согласен ли он». Микоян был уверен, что по обоим вопросам ответ Бирюзова будет отрицательным[48].

В октябре 1959 года на Кубу прибыл советский журналист Александр Алексеев — высокий человек в очках. На самом деле Алексеев был разведчиком. Зная испанский язык и хорошо понимая психологию латиноамериканцев, он скоро сошелся с Фиделем и Эрнесто (Че) Геварой куда ближе, чем советский посол Сергей Кудрявцев — чопорный дипломат, не выходивший на улицу без целой армии телохранителей. В начале мая Алексеева вызвали домой, в Москву. 7 мая, перед встречей с Хрущевым, ему объявили, что хотят назначить его послом на Кубе: неудивительно, что после такого посула Алексеев готов был выполнить любое распоряжение начальства. На первой встрече Хрущев о ракетах не заговаривал. Вместо этого он засыпал Алексеева общими вопросами о Кубе и ее правительстве; несколько раз во время разговора он снимал телефонную трубку и приказывал обеспечить Кубу той или иной помощью. Алексеев был приятно удивлен большими познаниями Хрущева о Кубе и его теплыми чувствами к Кастро: по его словам, «не успевал я рот открыть, а он уже угадывал, что я хочу сказать»[49].

Несколько дней спустя советники Хрущева собрались в том же составе, но на этот раз — еще и с Шарафом Рашидовым, кандидатом в члены Президиума и первым секретарем ЦК компартии Узбекистана, который уже не раз ездил по странам третьего мира, демонстрируя собственным примером, как преобразилась Средняя Азия при социализме. Алексеев и Микоян изложили свои взгляды на кубинскую ситуацию: Хрущев не раз прерывал их, подчеркивая, какой опасности подвергается Кастро. И вдруг задал Алексееву вопрос, от которого тот «остолбенел»: что скажет Кастро, если СССР предложит разместить на Кубе ядерные ракеты?

Алексеев, не подумав, выпалил, что Кастро не согласится — не захочет отталкивать от себя другие латиноамериканские страны. Малиновский возразил: если республиканская Испания в 1930-х не стеснялась принимать помощь от СССР, «с какой стати революционная Куба будет упускать такой случай»?

Не позволяя разгореться спору, Хрущев начал пространную речь в защиту своей идеи. Американцы планируют полномасштабную военную интервенцию на Кубу. Сдержать их можно только ядерными ракетами. Операцию нужно проводить в секрете, поскольку в США идет избирательная кампания. Как только ракеты будут размещены и готовы к бою, СССР сможет разговаривать со Штатами на равных. Прагматичные американцы едва ли станут особенно возмущаться — не возмущался же СССР, когда они разместили свои ракеты в Турции и Италии! И затем, так и не дав Президиуму обсудить свое предложение, Хрущев объявил, что Алексеев, Бирюзов и Рашидов полетят на Кубу, чтобы «объяснить Фиделю Кастро нашу позицию»[50].

Сам Хрущев вместе с Громыко тем временем отправился в недельную поездку по Болгарии. Но и там, вспоминал он позднее, мысли о Кубе «неотвязно сверлили мозг»[51]. И произнесенные в Болгарии речи — полные упоминаний об американских ракетах в Турции, о несговорчивости Запада и о том, что пора заставить Вашингтон разговаривать с Москвой на равных, — вполне это подтверждают; а по раздражительности Хрущева во время этой поездки легко судить, как он мучился, не имея возможности поделиться обуревающими его мыслями с лидером болгарской компартии Тодором Живковым[52].

20 мая, по дороге в Москву, Хрущев обсудил свой план с министром иностранных дел. Он настаивал, что размещение ракет необходимо, и хотел только услышать мнение Громыко. Тот прекрасно понимал, что, если станет возражать, Хрущев может «вспылить» — знаменательное признание, само по себе показывающее, как мало склонен был Хрущев слушать от

подчиненных неприятные истины. Однако Громыко, если верить его воспоминаниям, все же воспротивился: «…Завоз на Кубу наших ядерных ракет вызовет в Соединенных Штатах политический взрыв. В этом я абсолютно уверен…» Против ожидания, Хрущев не вспылил. »Вместе с тем я ощутил определенно, что свою позицию он не собирается изменять»[53].

На следующий день состоялось заседание Совета обороны СССР. Председателем этого высшего военно-гражданского органа страны был сам Хрущев, членами — секретари КПСС Козлов и Брежнев, члены Президиума Микоян и Косыгин (занимавший также должность первого заместителя председателя Совета министров), а также Малиновский, его первый заместитель маршал Андрей Гречко и генерал Алексей Епишев, начальник Главного политического управления Советской Армии. Присутствовал также генерал-полковник Семен Иванов из Генерального штаба — он выполнял обязанности секретаря. Предполагалось, что встреча будет посвящена докладам военных о том, что происходило в армии, пока Хрущев был в Болгарии. Однако Иванов вернулся в Министерство обороны «в таком волнении», в каком его помощник, генерал Анатолий Грибков, никогда его не видел. «Еще в дверях он протянул мне несколько листков бумаги и закричал: „Анатолий Иванович, вот это немедленно переписать начисто! От руки! Никаких машинисток!“»

Из сверхсекретных записей Иванова, по рассказу Грибкова, следовало, что «наша верховная власть решила разместить на Кубе ракеты малой и средней дальности…». Решение было еще не окончательным — требовалось одобрение Совета обороны и Президиума ЦК. К их объединенному заседанию 24 мая от Грибкова требовалось вчерне подготовить детальный план «создания, транспортировки и поддержки военного отряда, аналогичного по составу и функциям (если не по размерам) [советским военным силам], размещенным в Восточной и Центральной Европе».

Следующие три дня и три ночи Грибков не выходил из кабинета; спал он на раскладушке. 24 мая Малиновский предъявил составленный им план, который Хрущев одобрил. Коллеги Хрущева «то ли разделяли его энтузиазм, — вспоминал Грибков, — то ли просто боялись подать голос». Хотя окончательное решение зависело от реакции кубинского руководства, Совет обороны единогласно проголосовал за «размещение на острове Куба группы советских вооруженных сил, состоящих из войск всех типов…»[54].

Первые признаки неуверенности проявились уже тогда, когда

генерал Иванов начал собирать подписи членов Президиума. По традиции, напротив подписи каждый должен был поставить слово «за». Однако в данном случае Микоян (а, возможно, и не только он) ограничился только подписью, а кандидаты в члены Президиума не подписали документ вообще. Строго говоря, этого и не требовалось, поскольку они не имели формального права голоса; однако Хрущев приказал Иванову «объехать их дачи. Они подпишут». После звонка Хрущева Микоян добавил слово «за»[55].

27 мая, в воскресенье, члены Президиума собрались на даче Хрущева, чтобы дать указания делегации, отъезжающей на Кубу. Был теплый, солнечный весенний день; гости Хрущева пили чай и угощались пирожными. Теоретически Рашидов и Бирюзов должны были узнать мнение Кастро относительно предложения Хрущева — однако реально «предложение» являлось, скорее, приказом. «Единственный способ спасти Кубу — разместить там ракеты», — объявил Хрущев. Кеннеди «умный человек и не станет развязывать ядерную войну». Правда, у СССР уже имеются ракеты большой дальности, нацеленные на Соединенные Штаты — однако «оружия, размещенного в непосредственной близости от США, они сильнее испугаются». «Постарайтесь объяснить это Фиделю», — добавил Хрущев[56].

Члены делегации вылетели втайне, без документов и под фальшивыми именами (так, маршал Бирюзов именовался «инженером Петровым»): их строго предупредили о недопустимости связи с Москвой — даже через шифрованные радиопередачи[57]. Кастро сразу понял: затевается что-то серьезное. «В первый и единственный раз за восемь лет, — вспоминал Алексеев, — я увидел, что кубинцы пришли на встречу с блокнотами и что-то записывают». Кастро был благодарен за предложение, однако опасался испортить свой имидж революционера в глазах соседей-латиноамериканцев и еще более усугубить напряженность в отношениях с США. Кроме того, он полагал, что ракеты не нужны — ведь у СССР уже есть сотни ракет, нацеленных на Соединенные Штаты. Однако, заключил он, если Советский Союз, гораздо более опытный в международных отношениях, полагает, что «эта мера необходима для защиты всего социалистического лагеря», — у Кубы «нет права решать вопрос, исходя только из собственных, узко понимаемых интересов».

Годы спустя Кастро, как и его бывшие враги из администрации Кеннеди, продолжал гадать о мотивах Хрущева. «Разумеется, правда, что Никита очень любил Кубу. Можно сказать, просто обожал. У него была, так сказать, слабость к Кубе — чисто эмоциональная слабость». Однако «он был вполне

способен говорить одно, а думать другое». Даже во время своего визита в СССР в 1963 году, пообщавшись с Хрущевым и его коллегами несколько недель подряд, Кастро «не мог сказать, что понял истинные причины этого решения». При встречах наедине он спрашивал членов Президиума: «„Как было принято это решение? Какие приводились аргументы?“ И не мог ни единого слова добиться в ответ. Они просто переводили разговор на другое. А я, сами понимаете, не мог настаивать: „А ну-ка, не увиливайте, отвечайте на вопрос!“»[58]

Пока Кастро гадал о мотивах Хрущева, Бирюзов объехал остров, присматривая места, где бы можно было спрятать ракеты от любопытных взоров ЦРУ. Решение, разумеется, скоро было найдено: почему бы не замаскировать ракеты среди пальм, прикрыв боеголовки пальмовыми листьями? Бирюзов «был не слишком умен, — вспоминал Микоян. — Я сам видел эти пальмы: спрятать под ними ракетную установку было невозможно»[59].

10 июня делегация, вернувшись в Москву, сделала доклад членам Президиума. Оба сообщения — Рашидова о реакции Кастро и Бирюзова о возможностях маскировки ракет — внушали безоблачный оптимизм. В план Грибкова от 24 мая были внесены соответствующие изменения. Малиновский зачитал записку Министерства обороны с кратким изложением плана, и Президиум единогласно подтвердил решение, принятое тремя неделями ранее.

Вот так было принято это решение: Хрущев настаивал на своем, а его коллеги послушно подчинялись. Возражать осмелился один Трояновский — и то потому, что Хрущев «практически никогда не повышал голос на своих непосредственных подчиненных«, «предпочитая срывать зло на ком-нибудь другом»[60]. Трояновский узнал об этом плане в конце мая от своего коллеги Владимира Лебедева. Тот начал разговор так: «Олег Александрович, вам лучше сесть, потому что то, что вы сейчас услышите, ошеломит вас. Обсуждается вопрос о размещении наших баллистических ракет на Кубе». Трояновский «был потрясен»: он всегда стоял за улучшение отношений с США, и эта «кошмарная» новость поразила его в самое сердце. Дождавшись подходящего момента, он заговорил об этом с Хрущевым и изложил ему свои возражения. Надо отдать должное Хрущеву — он выслушал помощника терпеливо и внимательно, но затем заявил, что не делает с американцами ничего такого, чего бы они не делали с СССР. Разве они не разместили свои ракетные базы у самых советских границ? «Он не понимал нынешних настроений в США и не желал слышать о возможной реакции Штатов, — замечает Трояновский. — Для меня до сих

пор остается загадкой, как, принимая во внимание масштаб предприятия, можно было надеяться сохранить его в тайне — а ведь именно от этого зависел успех всего дела»[61].

Примерно в то же время узнал о плане Сергей Хрущев: ему рассказал об этом сам отец тихим весенним вечером, во время прогулки по берегу Москвы-реки. Сергею идея виделась очень сомнительной, о чем он сейчас же и сказал отцу; ему показалось даже, что Хрущев-старший поведал ему о своих планах специально, желая услышать возражения, на которые не осмелились Микоян и прочие. Однако мог ли сын заменить Хрущеву кабинет министров, Совет обороны, Президиум, советников, обладающих полной информацией, имеющих широкие возможности и не опасающихся говорить главе партии и правительства правду в лицо?[62]

За плохо продуманным решением последовало столь же непродуманное исполнение. Хрущев хотел отправить на Кубу небольшой экспедиционный корпус, достаточный (по его понятиям), чтобы удержать американцев от нападения на ракетную базу, однако такой, чтобы он мог прибыть и разместиться на Кубе незамеченным. Вместо этого туда были отправлены крупные военные силы, вполне способные привлечь внимание американцев. Основу их составляли ракеты: тридцать шесть ракет средней дальности (1200 морских миль) и двадцать четыре — бóльшей дальности (2200 морских миль). Ядерные боеголовки ракет первого типа весили от двух до семи тысяч килотонн (в 10–35 раз больше американской бомбы, поразившей Хиросиму); вес боеголовок ракет второго типа колебался от двух до восьми тысяч килотонн. Каждое из пяти ракетных подразделений имело собственную мобильную базу техподдержки, в том числе грузовики для транспортировки боеголовок из подземных хранилищ к ракетам.

К ядерным ракетам были прикомандированы войска всех родов, предназначенные для их охраны и защиты: три подразделения ракет типа «земля-воздух», два полка с крылатыми ракетами (по 80 ракет в каждом), 33 боевых вертолета, эскадрон из восьми бомбардировщиков Ил-28, укомплектованных обычным оружием, и еще шесть самолетов с ядерными бомбами на борту; одиннадцать транспортных самолетов, четыре подразделения моторизованной пехоты, по две с половиной тысячи человек в каждом, тридцать четыре танка, а также несколько подводных лодок, крейсеров, авианосцев и патрульных судов, также оснащенных ракетами.

4 июня план был одобрен Малиновским, а три дня спустя

Хрущев лично распорядился о перемещении на Кубу 50 тысяч 874 человек — включая персонал госпиталей, полевых кухонь, авторемонтных мастерских и других вспомогательных служб, а также трехмесячного запаса провизии и топлива. В сентябре число командированных на Кубу было снижено до 45 тысяч 234 человек; когда разгорелся кризис, 3322 из них находились еще в море и вынуждены были повернуть обратно. Таким образом, на Кубе высадились 41 тысяча 902 советских военных: как видим, американская разведка сильно заблуждалась, в докладе от 26 октября оценивая их число в 10 тысяч человек.

Наибольшую опасность для Вашингтона представляли ракеты средней дальности, способные достичь территории США. Однако использование их представлялось маловероятным: ясно было, что запуск хотя бы одной такой ракеты развяжет глобальную ядерную войну. Реальная опасность исходила от тактических ракет, которые Хрущев распорядился в случае появления американских военных сил использовать без согласования с Москвой. 22 октября этот устный приказ был отозван — но мог ли кто-либо быть уверен, что в суматохе нападения американцев на Кубу советские военные об этом вспомнят? Контроля над этими ракетами у самого Хрущева не было. В случае нападения США, писал много лет спустя маршал Грибков, «кто мог гарантировать, что американцы найдут и обезвредят советские ракеты прежде, чем те удастся пустить в ход? Что наша сторона не запустит хотя бы одну ракету типа „Луна“, мощность которой составляет одну десятую бомбы, сброшенной на Хиросиму? Если бы такая ракета поразила корабль или отряд пехоты США, если бы тысячи американцев погибли от ядерного взрыва — был бы это последний залп кубинского кризиса или первый залп глобальной ядерной войны?»[63]

Опаснейшее задание требовало надежнейшего командира. Однако Хрущев и Малиновский отвергли первое предложение Генерального штаба — генерал-лейтенанта стратегических ракетных войск Павла Данкевича — в пользу давнего товарища, генерала Иссы Плиева, не так давно расстрелявшего демонстрацию в Новочеркасске. Престарелый Плиев воевал еще в Гражданскую, в годы Великой Отечественной командовал одной из дивизий, защищавших Москву, сражался под Сталинградом, а затем — в Венгрии и против японской императорской армии в Маньчжурии. Коллеги по Северо-Кавказскому военному округу считали его «спокойным, твердым, разумным, не склонным к риску человеком». Хрущев любил его и ему доверял: кроме того, Плиев был для него живым напоминанием о Великой Отечественной. В то время Хрущев лишь выполнял приказы

Сталина — теперь же сам предложил смелую операцию, сам наблюдал за разработкой плана, сам отдал приказ о перемещении войск, совсем как Сталин в годы войны. Можно также предположить, что старик Плиев напоминал Хрущеву Кутузова, как он изображен в «Войне и мире». Однако старый генерал с самого начала проявил решительность и упрямство (он отказался принять заготовленный для него псевдоним «Иван Александрович Павлов»), быстро перессорился со своими помощниками, а во время самого кризиса «темпераментный спор Плиева с Кастро углубил и заострил взаимное непонимание, существовавшее между Кастро и Хрущевым»[64].

План доставки войск на Кубу был столь же сомнителен, как и выбор командующего. Операция, получившая кодовое название «Анадырь», была замаскирована под переброску войск и вооружения в Заполярье. Поэтому вместо шорт и рубашек с короткими рукавами многих солдат снабдили лыжами, валенками и меховыми унтами. Конечно, недостаток летней одежды не мог сорвать операцию — однако и лишний груз не облегчал задачу.

В середине июля в кубинском порту Кабанья встал на якорь корабль «Мария Ульянова» — первый из восьмидесяти пяти пассажирских и грузовых судов, которым предстояло сделать в ближайшие три месяца около ста пятидесяти рейдов туда и обратно. Людей и вооружение тайно доставили в шесть советских портов, от Севастополя до Североморска: перевозили их ночами, под охраной, о месте назначения не сообщали, запрещали отправлять письма и телеграммы родным. В портах солдат селили в охраняемых бараках, отбирали партийные и комсомольские билеты, спарывали с формы все воинские знаки различия. Командам кораблей было строго запрещено сходить на берег и связываться с родными.

Поднявшись на борт, ракетчики превращались в плотников (сколачивали на нижних палубах деревянные настилы и прикрывали ими ракеты, маскируя их под детали судна) и грузчиков (загружали разобранные танки, самолеты и наиболее крупные ракеты в огромные трюмы). Все легко опознаваемое оружие было спрятано в трюмах и прикрыто листами железа, защищавшими от инфракрасной съемки, а на палубах размещены автомобили, грузовики, тракторы и прочее не вызывающее подозрений сельскохозяйственное оборудование.

Ракетчики должны были изображать «специалистов по сельскому хозяйству» — поэтому им выдали гражданскую одежду, в том числе одинаковые рубашки, в которых они отличались от кубинцев так же явственно, как если бы носили советскую

военную форму. Однако даже в гражданском им разрешалось появляться на палубе (группами не более пяти-шести человек) только ночью. Едва корабли достигали Багамских островов, где действовало американское наблюдение с моря и воздуха, солдаты вынуждены были целыми днями прятаться в трюмах, где температура поднималась до тридцати пяти градусов. Впрочем, теперь они по крайней мере знали, куда плывут: сведения о пункте назначения вручались капитанам в порту, в двух запечатанных конвертах, и вскрывались по выходе в Атлантический океан в присутствии старшего по званию офицера и представителя КГБ.

Плавание по тропическим широтам, при других обстоятельствах желанное и завидное для привыкших к холодному климату русских, обернулось кошмаром: восемнадцать — двадцать дней ракетчики прятались в душных трюмах, питались исключительно по ночам, а на некоторых судах — ходили в туалет по расписанию. Да и по прибытии Куба оказалась для них отнюдь не курортом. «Мария Ульянова» бросила якорь 26 июня; в следующие четыре дня прибыли еще девять советских кораблей. Солдаты вместе со своим секретным грузом сходили на берег по ночам, прятались в кузовах грузовиков и ухабистыми проселочными дорогами добирались из одиннадцати портов назначения на военные базы, расположенные в глубине страны. Все команды отдавались по-испански; переговоры по радио были запрещены. Связь между полевыми частями и советским командованием в Гаване осуществлялась устно, через связных, безостановочно носившихся туда и обратно.

Добравшись наконец до пунктов назначения, русские обнаружили, что кубинские базы плохо подготовлены к приему как их самих, так и вооружения. Влажная жара, тучи москитов и (в Восточной Кубе) ядовитые деревья гуарако делали жизнь почти невыносимой. Копать обычные рвы и котлованы оказалось невозможно: прямо под верхним слоем почвы пролегали подземные воды. Работая по десять — двенадцать часов в сутки то на жаре, то под проливным дождем (на Кубе шел сезон дождей), солдаты возвели земляные насыпи и окружили их колючей проволокой.

Из пальмовых листьев, как и предполагал Микоян, камуфляжа не вышло. Будь пальм даже в десять раз больше, они не смогли бы скрыть «огромное число зданий, ряды танков и грузовиков и сотни метров кабеля, окружавшие бетонные ангары, где хранились ракетные установки. После размещения оборудования [продолжает генерал Грибков] его еще можно было бы скрыть от зрителя, смотрящего с земли или с моря; но с

воздуха все было заметно с первого взгляда».

Ракеты средней дальности прибыли в середине сентября, а их ядерные боеголовки, путешествовавшие под особой охраной КГБ, — 4 октября. Когда разразился кризис, корабль, нагруженный тактическими ракетами, был еще в море: он немедленно повернул обратно. Боеголовки же для этих ракет уже прибыли и всю кризисную неделю пролежали на складе в кубинском порту. К 14 октября, когда на Кубу с инспекционным визитом вылетел генерал Грибков, на остров прибыли также восемьдесят боеголовок для крылатых ракет, шесть атомных бомб для бомбардировщиков Ил-28 и двенадцать боеголовок типа «Луна». Эти боеголовки хранились в охраняемых бункерах поблизости (впрочем, на самом деле недостаточно близко) от ракет и самолетов, с помощью которых их следовало использовать, если бы началась война.

Работы несколько затянулись: генерал Плиев (он в то время страдал от болезни почек — возможно, его неприветливость и неуживчивость были связаны с дурным самочувствием) доложил инспекторам Генерального штаба, что размещение ракет отстает от графика. Однако это оказалась еще не самая дурная новость: в день появления Грибкова и его подчиненных над ракетными базами был замечен американский самолет-разведчик У-2[65].

У-2 фотографировали Кубу с начала 1962 года, и СССР было это известно. Однако Хрущев не желал об этом задумываться — притом что видел снимки, сделанные 1 мая 1960 года Фрэнсисом Гэри Пауэрсом и прекрасно представлял себе возможности самолетов-разведчиков. Когда перед самым одобрением посылки ракет на Кубу советский военный представитель в Гаване генерал-майор Алексей Дементьев попытался поднять вопрос о разведке с воздуха, министр обороны Малиновский пнул его ногой под столом, чтобы заставить замолчать[66].

Удивительно не то, что советские ракеты обнаружили буквально через несколько дней после размещения, а скорее то, что Хрущеву удалось так долго удерживать в тайне свой план. Много позже адмирал Николай Амелько утверждал, что сохранение ракет на Кубе в секрете было попросту невозможно: «Ракеты были видны, когда их сплавляли по водным путям в Одессу, чтобы погрузить на суда. В Одессе все только и говорили о том, что мы отправляем ракеты куда-то за море. Ракеты были видны, когда их сгружали с кораблей и везли на базы по кубинским дорогам». Короче говоря, «план был обречен с самого начала»[67].

«Ни один специалист» из тех, с кем разговаривал позднее

ветеран-дипломат Георгий Корниенко, «не считал возможным сохранить это в тайне»[68]. «Очень важно было, — добавляет генерал Грибков, — чтобы наличие ракет сохранялось в секрете по крайней мере в течение месяца после их прибытия на Кубу»[69]. «Не могу понять, — удивляется и Трояновский, — как… можно было серьезно надеяться сохранить все это в тайне — при том, что в секретности заключался весь смысл мероприятия»[70]. «Честно говоря, — замечает Добрынин, — у меня нет впечатления, что все было продумано, как в шахматах, от первого до последнего шага. Безусловно, существовала общая концепция, были разработаны основные этапы, но в деталях все отдано на волю импровизации»[71]. Согласно свидетельству члена кубинского Политбюро Хорхе Рискета, «мы видели, что товарищ Хрущев не продумал все возможные шаги, которые может предпринять противник, и те возможные шаги, на которые придется пойти в этом случае нам самим…»[72].

Непродуманные действия были для Хрущева типичны, особенно в последние годы его правления. Четкого плана действий у него действительно не было, однако имелись кое-какие предположения: если американцы обнаружат советские ракеты до того, как те будут готовы к бою, Хрущев начнет переговоры и как-нибудь выкрутится. «Из-за своей уверенности, что Кеннеди не осмелится начать войну, — замечает Аджубей, — он считал все предприятие относительно безопасным»[73]. Хрущев словно забыл собственное мнение, сложившееся у него об американском президенте: что Кеннеди слаб, не хозяин в собственном правительстве, что он живет в страхе перед реакционерами, для которых размещение на Кубе советских ракет вполне может стать предлогом для полномасштабной интервенции.

Не только Микоян и Трояновский предупреждали Хрущева об опасности. Обеспокоены были и кубинцы. В начале июля две недели в Москве провел Рауль Кастро: он приехал для заключения договора на пять лет, регулирующего положение советских войск на Кубе. Договор, привезенный в Гавану в августе новым советским послом Алексеевым, был пересмотрен и в конце августа возвращен Че Геварой в Москву. В эти два месяца кубинцы настаивали на том, чтобы опубликовать договор (за вычетом статей о количестве и типах вооружения). Когда Рауль отправился в Москву, вспоминает Фидель, «я попросил его задать Хрущеву один-единственный вопрос: что будет, если об операции узнают до ее завершения? Вот все, что я хотел узнать». Перед отъездом Че Гевары Фидель сказал ему: «Если наш договор легален, более того, если он правилен — зачем мы делаем то, что

может вызвать скандал? Зачем скрываемся, прячемся, будто совершаем что-то дурное, для того, чтобы сделать хорошее дело?»[74]

Возможно, конечно, что открытое размещение ракет также вызвало бы кризис. Однако, по мнению ветеранов администрации Кеннеди, было «очень маловероятно, чтобы правительство США решилось — и смогло — заставить СССР отменить свое решение и предотвратить размещение ракет»[75]. Хрущев с легкостью необыкновенной отмел кубинские сомнения. «Вам не о чем беспокоиться, — заявил он Че Геваре. — Большого шума со стороны США не будет. А если все-таки будет — вышлем Балтийский флот».

«Он говорил совершенно серьезно, — вспоминает помощник Че Гевары Эмилио Арагонес. — Когда он это сказал, мы с Че переглянулись, подняв брови. Однако спорить не приходилось: ведь советские товарищи имели куда больше опыта в общении с американцами, да и информации к ним поступало больше, чем к нам»[76].

Даже горячие кубинцы кое-что понимали в геополитике: на Балтийский флот они не полагались, куда больше доверяя воле и решимости Москвы, подкрепленным глобальными ядерными силами. Польский лидер Гомулка, с которым Хрущев поделился своими планами, так же не выразил особой уверенности в успехе, и тогда Хрущев рассказал ему такую историю: в прежние времена бедные крестьяне (как семья самого Хрущева в Калиновке) зимой забирали всю домашнюю живность из хлева к себе в отапливаемую избу. Пахло от скотины ужасно, но крестьянская семья скоро привыкала к вони и уже ее не замечала. Вот так и Кеннеди «придется привыкнуть к запаху наших ракет»[77].

Хотя Карибский кризис лежит в основном на совести Хрущева, Кеннеди мог бы его избежать. 4 сентября президент сделал предупреждение: если появятся данные, свидетельствующие «о появлении на Кубе организованных боевых сил из стран советского блока… или о размещении ракет класса „земля-земля“, или о наличии другого значительного наступательного оружия под кубинским или советским военным командованием… последствия будут самыми серьезными»[78]. Скажи он это на несколько месяцев раньше, в апреле — возможно, Хрущев бы отступил.

В середине августа самолеты ЦРУ сделали с воздуха фотографии советских судов, необычно высоко сидящих в воде: создавалось впечатление, что в просторных трюмах этих кораблей перевозятся громоздкие, но довольно легкие грузы. Беглец,

приплывший с Кубы в Майами, описал конвой грузовиков перед рассветом 5 августа: «К каждому третьему грузовику была прицеплена плоская платформа, которую тянул механизм на колесах вроде трактора. Над каждым „трактором“ возвышался огромный цилиндр, высокий, как пальма, и покрытый промасленным брезентом». По всей видимости, это были SA-2; Госдепартамент США и высшие военные чины предположили, что они призваны защищать Кубу от вторжения. Только шеф ЦРУ Маккоун, в котором пламенная ненависть к коммунизму сочеталась с трезвым и приземленным умом бизнесмена, предположил, что SA-2 должны защитить нечто куда более ценное — ракеты «земля-земля», способные достичь территории США[79]. Именно страхи Маккоуна, вместе с язвительной критикой сенатора Кеннета Китинга, вызвали предупреждение президента от 4 сентября. Однако, как писал Джордж Макбанди: «Мы сделали это [предупреждение] из внутриполитических соображений, никак не предполагая, что СССР в самом деле решится на такой безумный шаг, как размещение на Кубе советского ядерного оружия»[80].

Хрущева, однако, заявление Кеннеди сильно встревожило. Еще в июле он начал опасаться, что его замысел раскроется[81]. После предупреждения Кеннеди перспектива разоблачения, казалось, стала еще вероятнее. Теоретически Хрущев мог бы отменить операцию: к 5 сентября ни одна ракета «земля-земля» и ни одна ядерная боеголовка еще не прибыли на Кубу. Но вместо этого он предпринял несколько шагов, сделавших кризис еще более опасным: во-первых, приказал ускорить ход операции; во-вторых, увеличил число перемещаемых на Кубу единиц тактического ядерного оружия; и в-третьих, забросал американцев лживыми уверениями, что ничего подобного не делал, не делает и делать не собирается[82].

Ракеты средней дальности прибыли на две недели раньше установленного срока. Дополнительное оружие, о поставке которого Хрущев отдал приказ 7 сентября, включало в себя шесть атомных бомб для бомбардировщиков Ил-28, а также двенадцать ракет класса «Луна» с ядерными боеголовками. Правда, Хрущев отверг предложение об увеличении числа ядерных ракет средней дальности, а две недели спустя отменил дополнительную отправку на Кубу военных кораблей и подводных лодок. Однако, если уж он предчувствовал неизбежность кризиса, следовало понимать, что любое увеличение числа ядерных вооружений, отправляемых на Кубу, в таких обстоятельствах бесцельно и безрассудно.

Такой же непродуманностью отличались и заверения

Хрущева. 4 сентября Добрынин сообщил «очень взволнованному» Роберту Кеннеди, что «никаких ракет „земля-земля“ или иного оружия нападения» на Кубе размещено не будет, поскольку «Хрущев не станет предпринимать ничего, что могло бы в предвыборный период испортить отношения между двумя нашими странами». Председатель Совета министров «глубоко уважает и ценит президента Кеннеди и не хочет ему вредить», продолжал Добрынин. Когда Роберт Кеннеди заметил, что «председатель выбрал весьма странный способ выразить свое восхищение», добавив, что «размещение советских ракет на Кубе привело бы к тяжелейшим последствиям», Добрынин заверил, что «этого никогда не случится». О планах Хрущева посол ничего не знал и потому говорил убежденно и искренне. «Я даже вообразить себе не мог, чтобы мы решились разместить ракеты на Кубе», — рассказывал он позднее[83]. Два дня спустя Добрынин зачитал Теодору Соренсену личное послание Хрущева к Кеннеди: «До выборов в Американский Конгресс не будет предпринято ничего такого, что могло бы осложнить международное положение или усилить напряженность в отношениях между нашими странами»[84]. 11 сентября, когда Кеннеди уже запросил сенат о возможности призвать в армию США 150 тысяч резервистов, советское правительство торжественно заверяло: «Советский Союз не видит никакой необходимости в переброске в другие страны — например на Кубу — оружия, предназначенного для нападения». Войска, недавно отправленные на Кубу, предназначены «исключительно для целей обороны»[85].

Возможно, Хрущев полагал, что Кеннеди этому поверит. Но более вероятно, что он давал ему благопристойный повод «отвернуться» и заняться другими делами, дабы не накалять обстановку как перед выборами, так и перед возможным после выборов саммитом. В конце августа тайный эмиссар СССР Большаков встретился с президентом, который выглядел «усталым и несколько обеспокоенным». Хрущев жаловался, что американские самолеты кружат над советскими теплоходами, направляющимися на Кубу. «Скажите ему, — ответил Большакову Кеннеди, — что я приказал прекратить эти полеты». Эта уступка давала основание предположить, что Кеннеди пытается избежать конфликта. Тем же духом были проникнуты и другие замечания президента: «американо-советские отношения находятся сейчас в хорошем состоянии»; Кеннеди надеется «в ближайшем будущем» снова встретиться с Хрущевым. Роберт Кеннеди, с которым также встречался Большаков, умолял Хрущева не осложнять положение брата: «Черт возьми, Георгий, неужели Хрущев не понимает, в каком положении президент? Неужели не знает, что у президента

есть и друзья, и враги? Поверьте, об американо-советских отношениях мой брат говорил то, что думает. Но каждый шаг навстречу Хрущеву требует от него огромных усилий. Пусть председатель Хрущев поставит себя на место президента — тогда он поймет»[86].

Через несколько дней, когда Большаков прилетел в Пицунду, Хрущев — «загорелый и улыбчивый», в соломенной шляпе — «забросал его вопросами, касающимися Кубы». Председателя Совета министров интересовало, «пойдут ли Соединенные Штаты на вооруженное столкновение» с Кастро. Большаков ответил, что это возможно, подчеркнув, что президент находится «под сильным давлением» со стороны реакционеров, жаждущих сокрушить Кастро. Однако Кеннеди «знает, что пытаться бесполезно, — заметил Хрущев. — Куба уже не та, что была». Если бы решение находилось целиком в воле Кеннеди, ответил Большаков, скорее всего, он постарался бы найти компромисс. Однако он вынужден считаться со многими факторами. Здесь он привел слова Роберта Кеннеди о его страхе за положение брата. «Ерунда какая-то, — проворчал Хрущев. — Президент он или нет? Если он сильный президент, ему бояться некого. У него в руках все правительственные силы, а его брат — генеральный прокурор». Однако на деле Хрущев вовсе не был столь уверен в Кеннеди. Большакову он приказал, вернувшись в США, тщательно наблюдать за собеседниками и подмечать их реакции: «Замечайте все — тон, жесты, слова. Мы в Москве должны знать все, особенно в такое время, как сейчас»[87].

4 и 6 октября Большаков вновь встретился с Робертом Кеннеди — и тон последнего не внушал особых надежд. Генеральный прокурор разговаривал с ним сухо и формально: он попросил Большакова повторить устное заверение Хрущева, что отправленные на Кубу ракеты преследуют исключительно оборонные цели, записал эти слова и приказал секретарю их напечатать. На следующий день вашингтонский журналист и друг Кеннеди Чарльз Бартлетт пригласил Большакова на обед и за обедом попросил его еще раз продиктовать все хрущевское послание, чтобы его мог прочесть президент.

Еще два разговора на эту тему состоялись непосредственно перед тем, как президент Кеннеди узнал правду. 15 октября в беседе с Честером Боулзом Добрынин отрицал, что на Кубу переправляются морем бомбардировщики Ил-28. А на следующий день в Москве Хрущев заверил посла Коулера, что «ни в коем случае не станет предпринимать ничего, что могло бы повредить президенту во время кампании»[88]. Несколькими днями ранее Хрущев отправился в Ташкент, возможно, желая скрыть свою

нервозность по поводу кубинского предприятия. Оттуда он позвонил генералу Иванову, желая узнать, «как идут перевозки». Услышав, что «Луна» и Ил-28 уже в пути, Хрущев ответил: «Все ясно. Благодарю. Желаю успеха»[89]. Примерно в то же время еще один разговор о ракетах состоялся у Хрущева с Трояновским. Все лето Трояновский чувствовал себя, «словно в автомобиле, который потерял управление». И вот однажды, когда они с Хрущевым остались вдвоем в кремлевском кабинете, тот внезапно выпалил: «Скоро разразится буря».

«„Как бы лодка не перевернулась“, — заметил Трояновский. — Несколько секунд, — вспоминает он, — Хрущев молчал, погруженный в собственные мысли. „Теперь уже поздно что-либо менять“, — сказал он наконец»[90].

На первой же встрече по Карибскому вопросу, состоявшейся 16 октября в 11.50, Кеннеди и его советники единогласно приняли решение: советским ракетам на Кубе не место. Каковы бы ни были мотивы Хрущева — если смириться, он продолжит ту же тактику в других областях. И вполне возможно, что следующей его мишенью станет Берлин.

Сыграли свою роль и внутренние, и личные мотивы. «В Индиане только что выбрали Кейпхарта [республиканца], — заметил Кеннеди О'Доннелу, просматривая первые кубинские снимки, — и очень возможно, что следующим президентом США станет Кен Китинг». Если он и шутил, то это была горькая шутка[91]. Кеннеди и прежде беспокоило нелестное мнение Хрущева о его силе и решимости: но что подумает советский лидер о президенте, смиренно наблюдающем такой демарш или неспособном ему противостоять? Довольно с него Вены и поражения кубинских эмигрантов! На этот раз Хрущев сознательно пошел на обман, заморочил ему голову ложными заверениями в миролюбии — и самое неприятное, что, пойдя у него на поводу, Кеннеди начал успокаивать ничего не значащими заверениями своих граждан.

Советники Кеннеди также не были намерены принимать сложившееся положение как должное. Идею начать переговоры Исполнительный комитет отверг сразу, понимая, что Хрущев использует их для накаления обстановки и мобилизации общественного мнения против Вашингтона. Между тем на 18 октября была назначена встреча президента с Громыко. Чего ожидать от этой встречи? Заговорит ли Громыко о ракетах? Если нет — можно ли пожимать ему руку? Кеннеди решил хранить молчание, пока не определит собственную позицию. Однако чего стоят переговоры, оба участника которых обходят молчанием

серьезнейшую проблему, равно занимающую обоих?

Встреча состоялась в Овальном кабинете в пять часов вечера. Громыко заметил, что Кеннеди и Раск напряжены; государственный секретарь был «красен, как рак». Заметил он и папку на столе у президента и позже спрашивал себя, не лежали ли в ней те самые фотографии (на самом деле они хранились у Кеннеди в ящике стола). После обычного обмена любезностями Громыко заговорил о вопросах, не связанных с Кубой: после ноябрьских выборов Москва будет *вынуждена* (это слово Громыко повторил дважды) подписать мирный договор с Германией. Так что, если в конце ноября Хрущев прибудет в Нью-Йорк, им с президентом, «возможно, будет полезно» провести переговоры о Берлине. Кеннеди отверг возможность вести официальные переговоры, но на неофициальные согласился. Однако уже после ухода Громыко президент приказал передать Добрынину (через Томпсона), что считает подобную встречу «не вполне удобной».

Далее Громыко заговорил о том, что американцы напрасно так боятся Гаваны: Советский Союз ручается за то, что Кастро никому не угрожает. «Будь по-другому, — продолжал министр иностранных дел, перефразируя предупреждение Кеннеди от 4 сентября, — советское правительство не стало бы оказывать ему помощь».

В ответ Кеннеди зачитал вслух свое заявление от 4 сентября. Согласно записям Громыко, президент охарактеризовал ситуацию как «самую опасную со времен войны» и заметил, что «не имеет представления, чем все это кончится». Он добавил, что не намерен вторгаться на Кубу и старается сдерживать тех, кто выступает за такое развитие событий.

Вопрос о ракетах так и не был затронут, хотя оба подошли к нему очень близко. Громыко позднее писал, что, еели бы Кеннеди «заговорил о ракетах впрямую, я дал бы ему ответ, о котором мы условились в Москве: господин президент, Советский Союз предоставил Кубе незначительное число ракет для обороны. Они никому не угрожают и никогда угрожать не будут!» По словам Раска, Кеннеди дал Громыко «возможность признаться». Он подводил разговор к ракетам хотя бы для того, чтобы «услышать такое количество наглой лжи, какого я никогда прежде не слыхивал»[92].

Годы спустя Хрущев восхищался ловкостью своего министра иностранных дел: «Громыко, конечно, все отрицал. На то он и дипломат… Потом американцы нас упрекнули, что мы вели себя нечестно, обманули их. Что значит обманули? Каждый имеет свои стратегические планы, и мы их друг другу никогда не докладывали и докладывать не будем»[93]. Однако по сути Громыко

сослужил своему хозяину дурную службу. Конечно, положение его было не из легких. Беседа с Кеннеди, вспоминал он позднее, стала «самой трудной» из всех его встреч с девятью американскими президентами, с которыми ему пришлось иметь дело[94]. К тому же настоящие трудности только начинались. Громыко, конечно, почувствовал, что Кеннеди знает о ракетах. Требовалось немалое мужество, чтобы сообщить эту дурную весть в Москву. Кроме того, как сообщить о своих подозрениях, не раскрыв персоналу посольства секрет, который следует хранить пуще зеницы ока?

В конце концов Громыко послал в Москву две каблограммы. В одной, отправленной в день встречи, он описывал беседу в Овальном кабинете — точно, подробно, и так, что эта запись не могла не встревожить человека, который, как Хрущев, знал о развертывании советских ракет и умел читать между строк. Второе, датированное 19 октября, призвано было смягчить впечатление от первого: встреча в Белом доме «подтвердила», что ситуация на Кубе «вполне удовлетворительна»; Соединенные Штаты не собираются вторгаться на Кубу, а намерены ограничиться экономическим бойкотом; сдержанность американцев вызвана «смелостью» русских в помощи Кастро; антикубинская кампания в Вашингтоне идет на убыль; сейчас, когда на носу перевыборы в конгресс, «военное вторжение на Кубу совершенно немыслимо»[95].

Сергей Хрущев «никогда раньше не видел отца таким обеспокоенным»[96]. Однако благодаря предосторожностям Громыко истинный масштаб западни, в которую Хрущев сам себя загнал, пока оставался для него неясен.

Вашингтону предстояло принять решение. Некоторое время президент колебался между решением уничтожить ракеты с воздуха (возможно, одновременно с военным вторжением на Кубу) и объявить блокаду. Вечером 18 октября Исполнительный комитет одиннадцатью голосами против шести проголосовал за блокаду. Но на следующее утро мнение высокопоставленных политиков склонилось в сторону бомбардировки. Тщательно соблюдая установленное расписание, Кеннеди отправился в предвыборную поездку. В его отсутствие Роберт Кеннеди, выполняя волю брата, настоял на «карантине»: это слово означало то же, что и «блокада», но, в отличие от последнего, не имело агрессивных коннотаций. Бывший госсекретарь США Дин Ачесон настаивал на более решительных действиях, ссылаясь на характер Хрущева: «Помните, вы имеете дело с сумасшедшим!» Если Хрущев и впрямь ненормальный, тем более нужно избегать любых резких действий, способных разжечь в нем желание войны[97].

20 октября, в субботу, президент вернулся в Вашингтон, под предлогом простуды прервав предвыборную поездку. Ему предстояло принять окончательное решение: карантин или бомбардировка? Первое оставляло Хрущеву пространство для маневра. Но после обсуждения в Исполнительном комитете 21 октября стало очевидным, что все склонялись к бомбардировке. К чести Кеннеди, он придерживался более мирного решения и настоял на своем. На следующее утро Кеннеди сообщил обо всем бывшему президенту Эйзенхауэру, затем в тот же день — конгрессменам и лидерам союзных государств. По расписанию, в этот день в семь вечера президент должен был выступать по телевидению: к шести часам в Госдепартамент был вызван посол Добрынин. Добрынин знал, что разразился какой-то кризис, но не представлял, связан ли он с Кубой или Берлином. На встрече Раск вручил ему текст речи президента, отказавшись его комментировать или отвечать на какие-либо вопросы. Во время разговора Раск заметил, что «Добрынин постарел лет на десять»[98].

Тем временем в Москве Коулер получил от Раска каблограмму, в которой содержалось письмо Кеннеди к Хрущеву. В нем президент упрекал адресата в нерасчетливости (тщательно избегая самого этого слова, на которое Хрущев так бурно отреагировал в Вене), заявлял, что США знает о «размещении ракет и других систем наступательного вооружения на Кубе» и что «Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы эта угроза безопасности всего полушария была устранена»[99].

Ранним утром 23 октября, во вторник, американский дипломат Ричард Дейвис вручил это письмо вместе с текстом речи президента чиновникам советского МИДа. В речи Кеннеди вопрос о ракетах рассматривался более детально, делался акцент на «сознательном обмане» со стороны Москвы (в том числе упоминались лживые заявления Громыко четырехдневной давности), в качестве начального шага Вашингтон устанавливал «карантин» острова; Хрущева президент призывал «остановиться, устранить эту безрассудную и провокационную угрозу миру во всем мире и вернуть отношения между нашими странами в прежнее русло»[100].

22 октября (в Москве было около семи вечера, в Вашингтоне — полдень) Пьер Сэлинджер объявил, что вечером президент Кеннеди обратится к народу. Хрущев только что вернулся с прогулки и снимал пальто, когда раздался телефонный звонок. Повесив трубку, Хрущев, не раздеваясь, снова вышел на свежий воздух. «Похоже, они обнаружили наши ракеты, — сказал он

сыну. — Больше это ничем не объяснишь. В Берлине все тихо. Если бы они хотели напасть на Кубу, тоже бы помалкивали». Что же теперь будет? — спросил Сергей. «Хотел бы я знать, — ответил Хрущев. — Ракеты еще не приведены в боевую готовность. Они беззащитны, их можно стереть с лица земли одним воздушным ударом».

Однако, если бы американцы собирались бомбить Кубу, едва ли стали бы объявлять об этом заранее. Может быть, Кеннеди хочет переговоров? «Ладно, завтра утром все узнаем, — сказал Хрущев сыну и прибавил: — Не приставай, мне надо подумать». Прогулка продолжалась в молчании. Вернувшись домой, Хрущев снял трубку кремлевского телефона: «Обзвоните всех [членов Президиума] и скажите, чтобы через час собрались в Кремле. Что такое? Я им сам скажу. Еще пригласите Малиновского и Кузнецова [заместитель министра иностранных дел; сам Громыко еще не вернулся в Москву]».

Повесив трубку, Хрущев приказал подать машину. «Не ждите меня, вернусь поздно», — сказал он Сергею[101].

Формально на повестке дня Президиума значился лишь один вопрос: «Обсуждение дальнейших мер по Кубе и Берлину» — еще одно свидетельство того, что в сознании Хрущева эти две «горячие точки» были как-то связаны. Помимо членов и кандидатов в члены Президиума, а также секретарей ЦК, на заседание были приглашены руководители МИДа и Министерства обороны. Хрущев выглядел «красным и взволнованным». Сообщив коллегам о предстоящей речи Кеннеди и о том, что, по всей видимости, президент собирается говорить о Кубе, Хрущев взглянул на Малиновского. «Это вы все продули!» — рявкнул он. Грузный министр приподнялся в кресле, собираясь оправдываться… «Сидите! — махнул рукой Хрущев. — Все равно вам сказать нечего!»

Малиновский попытался успокоить шефа. «Не думаю, что они что-то предпримут немедленно», — заметил он. Если американцы решили вторгнуться на Кубу, для подготовки вторжения потребуется не меньше двадцати четырех часов. Однако Хрущев прервал его: «Мы не собираемся развязывать войну. Все, что нам нужно, — припугнуть антикубинские силы». Он упомянул о двух «сложностях»: «Мы еще не разместили все, что собирались, и не опубликовали договор [между СССР и Кубой]». Это «просто трагедия», продолжал Хрущев. Его план, рассчитанный на предотвращение войны, теперь может стать ее причиной. «Они могут напасть, — говорил он, — и тогда нам придется защищаться. Все может кончиться большой войной». Есть один выход, впрочем, больше напоминающий соломинку для

утопающего: Кремль может заявить, что «ракеты принадлежат кубинцам, а кубинцы объявят, что берут ответственность на себя». Угрожать Соединенным Штатам ракетами средней дальности Кастро, разумеется, позволять нельзя; но он может пригрозить «использовать тактические ракеты»[102].

Вопрос был в том, готов ли Советский Союз к использованию ядерного оружия. И на этот вопрос советское руководство не могло ответить определенно. В ожидании речи Кеннеди Президиум составил приказ Плиеву, предназначенный для того, чтобы избежать случайного начала ядерной войны: в случае нападения на Кубу советские и кубинские войска должны защищаться всеми средствами, «за исключением объектов, находящихся под командованием Стаценко и Белобородова». Генерал-майор Игорь Стаценко командовал ракетами средней дальности, полковник Николай Белобородое отвечал за ядерные боеголовки. Но тут же Президиум пересмотрел свое решение: во втором приказе Плиеву значилось, что он может использовать тактическое ядерное оружие, не должен лишь без прямого приказа из Москвы направлять ракеты на территорию США. И тут же — новый поворот: на Кубу был отправлен не второй приказ, а первый[103].

Примерно за час до выступления Кеннеди (около часа ночи по московскому времени) МИД СССР получил по телефону текст его речи. Трояновский перевел его на русский язык. Первой реакцией Хрущева, вспоминает он, было «скорее облегчение, чем тревога». Морская блокада Кубы поначалу была воспринята как нечто неопределенное, тем более что президент назвал блокаду карантином, а это создавало иллюзию еще большей неопределенности. Во всяком случае, речь как будто не шла об ультиматуме или прямой угрозе удара по Кубе. Настроение Хрущева мгновенно переменилось. «Ну что же, видимо, можно считать, что мы спасли Кубу!» — воскликнул он. И тут же принялся составлять резкий ответ струсившему, как ему показалось, президенту[104].

В письме Хрущева, отосланном в тот же день, действия Кеннеди именовались «серьезной угрозой миру и безопасности», «агрессивными действиями против Кубы и СССР». Хрущев требовал, чтобы Кеннеди отказался от проводимых им действий, «которые могут привести к катастрофическим последствиям для мира во всем мире». Черновик письма он продиктовал глубокой ночью, в присутствии коллег. Утром МИД подготовил беловую версию. Хрущев попросил коллег провести остаток ночи в своих кремлевских кабинетах — иначе иностранные корреспонденты и другие заинтересованные лица могут заметить, что в Кремле

состоялось незапланированное ночное совещание, и заключить, что советские лидеры нервничают. Никто не возражал, хотя почти у половины собравшихся своих кабинетов в Кремле не было. Хрущев лег у себя в кабинете, а те, кто обычно работал в здании ЦК на Старой площади, устроились в креслах в зале заседаний Президиума.

В 10 утра заспанные члены Президиума вновь собрались на совет. Помощники Хрущева зачитали его письмо к Кеннеди и черновик заявления Совета министров. Заявление было одобрено, письмо к Кеннеди подверглось правке. В 15.10 Кузнецов вручил это письмо послу США Коулеру. Через пятьдесят минут по московскому радио было зачитано заявление Совета министров, из которого советские граждане узнали о действиях Кеннеди (о размещении советских ракет, ставшем причиной этих действий, ничего сказано не было) и о мерах повышения боевой готовности Советской Армии, в том числе отмене увольнений и отпусков для солдат и офицеров[105].

На вечер у Хрущева было запланировано посещение театра: вместе с румынской делегацией он должен был слушать в Большом американскую постановку «Бориса Годунова». Стремясь скрыть тревогу, он отправился в театр, был весел, энергичен и подчеркнуто дружелюбен после спектакля во время беседы с американскими артистами[106]. Однако перед оперой Хрущев заезжал домой, и сын Сергей заметил, что он подавлен и недоволен. Очевидно, американцы знают о ракетах, сказал он Сергею: но что именно им удалось узнать? Может быть, они полагаются на слухи? А с другой стороны, неужели они пошли бы на столь решительные действия, если бы не были полностью информированы?

В подобном состоянии пребывал и Кеннеди в Вашингтоне. Он тоже радовался, что не произошло худшего: но что же дальше? ЦРУ сообщало, что на острове и вокруг него кипит активность: советские корабли на всех парах движутся к Кубе, спешно монтируются пусковые установки — однако советские и кубинские боевые самолеты спокойно стоят в ангарах, словно ждут, чтобы их разбомбили[107].

Письмо Хрущева к Кеннеди дошло до адресата 23 октября после полудня. В тот же вечер Кеннеди отправил сухой и краткий, всего из двух абзацев, ответ. В нем президент призывал обе стороны к терпению и сообщал Хрущеву, что режим карантина вступит в силу следующим утром[108].

К вечеру 23 октября советский посол Добрынин еще не получил никаких указаний из Кремля — яркий симптом смятения в советском руководстве. Только двадцать четвертого советские

послы в некоммунистических странах получили из Москвы официальную версию происходящего. Двадцать третьего Добрынин сообщил в Москву, что американцы «нервничают» и «готовы достаточно далеко зайти в испытании силы СССР». В тот же вечер в его рабочий кабинет на третьем этаже советского посольства зашел Роберт Кеннеди. По рассказу Добрынина, генеральный прокурор был, «очевидно, очень взволнован; он говорил, повторяясь и глотая слова». Кеннеди заявил, что на советские заверения относительно Кубы его брат «поставил свою политическую карьеру». Он вынудил Добрынина признать, что даже ему не было известно о размещении ракет. Уже уходя, Кеннеди поинтересовался, как отреагируют капитаны советских судов на распоряжение о карантине. «Они никому не позволят в нарушение международного права останавливать и обыскивать свои корабли», — ответил Добрынин.

— Тогда не знаю, чем все это кончится, — воскликнул Кеннеди, — потому что мы твердо намерены их остановить!

— Это означает объявление войны, — заметил Добрынин. Кеннеди молча покачал головой и вышел[109].

«После некоторого колебания», вспоминает Добрынин, он сообщил об этой беседе в Москву. «Я передал слово в слово все резкие заявления Роберта Кеннеди, в том числе и крайне нелестные для Хрущева и Громыко. Хотелось дать Москве понять, какое волнение царит в близких к президенту кругах… чтобы Кремль ощутил нервозную атмосферу, царящую в Вашингтоне». Позже Добрынин узнал, что Громыко пересказал его доклад Хрущеву (возможно, опустив нелестные эпитеты Роберта Кеннеди), но другим членам руководства ничего о нем не сообщил»[110]. То, что сам посол не получил ответа ни от Хрущева, ни от Громыко, можно списать на их личное раздражение. Однако более глубокой причиной молчания Москвы, по мнению Кузнецова, была «растерянность» Хрущева. Не зная, что делать, он «лишь прикрывался бравыми публичными заявлениями и составленными в таком же духе первыми двумя письмами… Кеннеди (от 23 и 24 октября)»[111].

24 октября Добрынин позднее назвал «самым памятным днем» за три десятилетия его работы послом в Соединенных Штатах[112]. В это утро, вспоминал Роберт Кеннеди, «волнение президента достигло высочайшей степени». Пока Исполнительный комитет ожидал известий от морских патрулей, «президент то поднимал руку к лицу и прикрывал ею рот, то сжимал пальцы в кулак. Голубые глаза его сделались стальными: сидя за столом напротив меня, он не отрывал от меня

напряженный взгляд»[113].

В 10.00 по вашингтонскому времени, когда формально начиналось действие карантина, Стратегическое военно-воздушное командование США объявило о боевой готовности DEFCON-2 — на одну ступень ниже военного положения. Впервые в истории в боевую готовность были приведены все американские ракетные установки и бомбардировщики[114]. Чтобы быть уверенным, что Москва поняла намек, командующий ВВС США генерал Томас Пауэр, действуя по собственному разумению, без разрешения президента передавал приказы без кодировки[115].

Тем временем в Москве, в 6.00 по московскому времени, Ричард Дейвис передал в Министерство иностранных дел официальное уведомление о начале карантина. Поднимаясь на верхний этаж здания МИДа — сталинской высотки, — он заметил человека в допотопном противогазе и с канистрой времен Второй мировой войны. Возможно, служащие МИДа хотели таким способом показать американцу, что к войне готовы? В тот же день, вспоминал позднее Дейвис, советские чиновники, с которыми он разговаривал, как правило, «высокомерные и даже грубые», сделались вдруг «пугающе вежливыми», беспрерывно звонили ему (что само по себе было необычное и спрашивали: «Мистер Дейвис как поживает миссис Дейвис? Как ваши дети? Как здоровье? Все ли у вас в порядке? Всем ли вы довольны?»[116]

Поведение Хрущева, чередовавшего угрозы с отступлениями, вполне соответствовало ответу мидовских чиновников на объявление DEFCON-2 — извлеченному из какого-то чулана старому противогазу[117]. Накануне вечером он отдал приказ советским судам продолжать двигаться на Кубу (а подводным лодкам — если по ним будут стрелять, отвечать огнем); однако теперь, узнав о разговоре Добрынина с Кеннеди, засомневался. Утром двадцать четвертого на заседании Президиума Хрущев предложил остановить хотя бы некоторые корабли: все необходимое оружие уже достигло Кубы, сказал он, хотя ракеты малой дальности еще не пришли. Позже в тот же день он не знал, приказать ли продолжать движение танкерам, которым придавалось особое военное значение. Наконец, перед самой границей карантинной зоны все советские корабли остановились или повернули вспять[118].

Ранее в тот же день Уильям Нокс, президент «Вестингауз электрик компани», находившийся в Москве с деловым визитом, был вызван к Хрущеву, с которым познакомился в Нью-Йорке два года назад. Хрущев показался ему «спокойным, дружелюбным, открытым — без всякого шутовства», однако «очень усталым». Слова его показывали, что его охватывает то страх, то гнев, ибо

он не понимает, что делать: то ли заверять Кеннеди в своих благих намерениях, то ли обрушиться на него с упреками и угрозами. Уже готовый приказать советским кораблям остановиться, он, однако, предупредил Нокса, что, если американцы попытаются остановить и обыскать советские суда, он прикажет советским субмаринам их потопить. Затем пожаловался, что президент его «предал» (звучало это почти комично, если учесть, что хладнокровным обманщиком в этой истории был он сам). Даже Эйзенхауэр, сетовал Хрущев, в такой ситуации повел бы себя более зрело. «Как мне вести дела с человеком, который моложе моего сына?!» — воскликнул он[119].

Достойного ответа он не нашел. Два дня спустя советский представитель в ООН Валериан Зорин по-прежнему отрицал наличие на Кубе советских ракет. Зато Хрущев заверил Нокса, что ракеты находятся под советским, а не кубинским контролем. Хрущев настаивал, что «не заинтересован в том, чтобы нарушить мир — однако, если мы хотим встретиться в аду, решение зависит только от нас». Правда закончил он, в сущности, мольбой о встрече с президентом, говоря, что «будет рад увидеть его в Москве, будет рад встретиться с ним в Вашингтоне, или в море на корабле, или в любом другом нейтральном месте, неофициально, без фанфар — просто для того, чтобы найти пути решения наиболее серьезных проблем между нашими странами»[120].

В тот же день Хрущев отправил Кеннеди еще одно сердитое письмо. «Кто вас просил делать это?» — спрашивал он, как будто молодой президент не способен был сам принять решение. Кеннеди «выдвигает ультиматум» и «хочет запугать нас». Однако, замечал Хрущев, «думаю, что внутренне вы признаете мою правоту. Убежден, что на моем месте вы поступили бы так же… Представьте себе, что мы поставили бы вам те ультимативные условия, которые вы нам поставили своей акцией», — настаивал человек, чья неспособность поставить себя на место противника и предвидеть его действия привела к страшнейшему в истории кризису. Советский Союз не смирится с блокадой Кубы, предупреждал Хрущев — всего за несколько часов до того, как сам с этим смирился.

И все это время продолжались лихорадочные работы на кубинских ракетных базах[121].

В четверг, двадцать пятого октября, в середине утра пришел холодный, но спокойный ответ от Кеннеди. Не он «бросил первым вызов», писал президент. Он сожалеет о том, что кризис «вызвал ухудшение в наших отношениях», и надеется, что действия Хрущева «позволят восстановить существовавшее ранее

положение»[122]. По рассказу сына, Хрущев был приятно удивлен и даже «тронут». Сергей считает, что именно это письмо убедило его отца согласиться на компромисс. Помог делу и DEFCON-2. По словам Сергея, его отец рассматривал введение военного положения как «блеф», однако принял его во внимание[123].

На послеобеденном заседании Президиума Хрущев отказался от дальнейшего «обмена резкостями» с Кеннеди, подтвердил распоряжение о том, чтобы корабли, нагруженные ядерным оружием, повернули к дому, и заявил, что хочет положить кризису конец. «Мы должны убрать ракеты и превратить Кубу в зону мира», — сказал он своим коллегам. Он даже готов был позволить ООН проинспектировать военные базы. Именно на этих условиях в конце концов и был положен конец кризису. Однако в тот момент Хрущев был к этому еще не готов. Перед тем как убирать ракеты, он хотел «осмотреться», убедиться, что на меньшее Кеннеди не согласен. Коллеги Хрущева, как обычно, с ним согласились: большинство выказывали полную поддержку, лишь Громыко и Малиновский не проявляли особого энтузиазма[124].

В тот же вечер, вернувшись домой, Хрущев вышел с сыном на обычную прогулку. Сергей выразил опасение, что компромиссное решение приведет к «национальному унижению». Отец старался его подбодрить: Сергею показалось, что он стремится убедить и самого себя. На Кеннеди оказывается сильнейшее давление: его призывают вторгнуться на Кубу. Если он это сделает — чем ответить? Напасть на американцев в Берлине? Но это глупо, это ничего не решит; а если начнется война, ее уже не остановить.

В прошлом Хрущев не раз использовал ядерный шантаж для решения внешнеполитических проблем. Он много раз блефовал — и теперь настало время отвечать за блеф. В подобных обстоятельствах другой правитель мог бы попытаться похоронить вместе с собой весь мир, как Гитлер, или просто сломаться, как Сталин в июне 1941 года. Но Хрущев был не похож ни на Гитлера, ни на Сталина. Крушение честолюбивых замыслов его не останавливало: стоило оказаться несостоятельным одному, как он тут же брался за осуществление другого. Вот и теперь он мечтал спасти Кубу — и не только Кубу, но и весь мир, который его собственное безрассудство привело на край пропасти.

Вернувшись домой, Хрущев выпил, как обычно, чашку чая с лимоном, рассеянно перелистал газеты (в тот день «Правда» вышла с кричащим заголовком: «ЗАЩИТИМ И УКРЕПИМ МИР НА ЗЕМЛЕ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ КУБЫ!») и медленно поднялся по лестнице к себе в спальню.

26 октября, в пятницу, на юго-востоке США сконцентрировалось величайшее количество вооруженных сил со времен Корейской войны. Командование требовало воздушного удара и вторжения на Кубу. На острове продолжалась лихорадочная установка ракет и сборка бомбардировщиков Ил-28. Москва потерпела неприятное поражение в ООН, где Эдлай Стивенсон в ответ на заверения все отрицавшего советского представителя Зорина продемонстрировал фотографии ракетных баз, сделанные с У-2. Однако генеральный секретарь ООН У Тан играл на руку СССР: он предложил мораторий от двух до трех недель как на карантин, так и на советские военно-морские перевозки[125]. А Хрущева в то утро ожидала на рабочем месте серо-голубая папка с материалами, подготовленными советской разведкой.

То, что нашел Хрущев в этой папке, его поразило. Согласно хорошо осведомленному американскому источнику, администрация Кеннеди решила «покончить с Кастро». План вторжения продуман «до последней детали», и «военные действия могут начаться в любой момент». Это заключение подтверждалось и другими известиями — например, о том, что военные госпитали США подготовлены к массовому приему раненых. Кузнецов позже говорил своему коллеге, что, прочтя эти материалы, Хрущев «наклал в штаны». Теперь он был готов предложить Кеннеди компромисс, идею которого сформулировал днем раньше перед своими коллегами[126].

На самом деле записка ввела Хрущева в заблуждение. Она была основана на беседе между двумя американскими журналистами, подслушанной барменом — русским эмигрантом — в среду вечером в Национальном пресс-клубе. Уоррен Роджерс из «Нью-Йорк геральд трибюн» значился в утвержденном Пентагоном списке журналистов, призванных освещать вторжение, если и когда оно состоится. Бармен по имени Джонни Проков услышал, как Роджерс говорит: «Я вылетаю завтра ночью», — и сделал вывод, что начало боевых действий намечено на послезавтрашнее утро. Около часа ночи в четверг он рассказал об этом Анатолию Горскому, корреспонденту ТАСС и агенту КГБ. Советское посольство сделало все возможное, чтобы получить какое-либо подтверждение этой новости. Один из сотрудников посольства, чтобы завязать разговор с Роджерсом, помял бампер его машины на автостоянке возле отеля «Уиллард». Дипломат Георгий Корниенко пригласил его на обед. И у того, и у другого сложилось впечатление, что вторжение начнется с минуты на минуту. Об этом советское посольство и КГБ и сообщили в Москву[127].

Получив эти известия, Хрущев начал диктовать Кеннеди длинное взволнованное письмо. Традиционный ядерный шантаж был отброшен. Война, писал Хрущев, станет «бедствием для всех народов». «Вы угрожаете нам войной. Можете не сомневаться в этом отношении, мы вполне понимаем и отдаем себе отчет в том, что, если мы первыми нанесем удар, вы ответите тем же, — но и вы получите то же, что пошлете нам… Если уж война разразится, то не в нашей власти будет ее задержать, остановить, ибо такова логика войны… Война кончается тогда, когда она прокатится по городам и селам, сея повсюду смерть и разрушение… Нам с вами не следует сейчас тянуть за концы веревки, на которой вы завязали узел войны, потому что чем сильнее мы с вами будем тянуть, тем сильнее будем затягивать этот узел… пока не придется его разрубить. А что это значит, не мне вам разъяснять, потому что вы сами отлично понимаете, какими грозными силами обладают наши страны».

Чтобы ослабить узел, Хрущев сделал следующее предложение. Он не вступает в торги, не предлагает сделку. Он даже не станет называть все условия. Не будет вмешивать в это дело Фиделя Кастро (хотя сорок восемь часов спустя он именно это и сделал). Суть дела проста: если на Кубе не будет американцев — не будет и ракет.

Это письмо Хрущев продиктовал, не совещаясь с Президиумом. В 16.42 текст его был передан в американское посольство (минуя Министерство иностранных дел, через которое обычно передавались подобные документы): в тексте имелись некоторые поправки, сделанные от руки теми же фиолетовыми чернилами, что и подпись: «Н. Хрущев». Тем временем помощники Хрущева разослали копии письма членам Президиума и секретарям ЦК. Поскольку накануне они одобрили изложенный в общих чертах план Хрущева, персонального одобрения письма от них не требовалось[128].

Работники посольства разделили письмо Хрущева на несколько частей для ускорения перевода и, переведя, отправили в Вашингтон. США получили его через восемь часов, в 18.00 по вашингтонскому времени. Встреча Исполнительного комитета для обсуждения письма была назначена на завтра, на 10 утра. Тем временем в Москве Хрущев и его помощники отправились на еще один запланированный по расписанию концерт, на этот раз — выступление кубинских артистов. Ночь Хрущев снова провел у себя в кабинете.

27 октября, в субботу, Хрущев проснулся, когда Вашингтон еще только ложился спать. За ночь настроение его переменилось.

Накануне он боялся, что вторжение на Кубу неминуемо, — теперь же заявил Президиуму: «Думаю, они на это не осмелятся». Если до сих пор американцы не напали на Кубу, значит, «просто не готовы к этому — так мне думается». А это значит, что «принятые нами меры правильны». Однако, добавил он, «гарантий у нас нет». Чтобы принять правильное решение, «нельзя быть твердолобыми». Оглядываться назад Хрущев не собирался: «Совершили ли мы ошибку или нет? Об этом можно подумать и позже». А пока что он предложил на рассмотрение коллегам еще одно письмо к Кеннеди, в котором к выставленному условию добавлялось новое: американцы должны убрать ракеты из Турции.

Это новое письмо Хрущев продиктовал в присутствии Президиума. Оно (позже отредактированное помощниками) звучит куда спокойнее и официальнее послания от двадцать шестого. «Мы готовы удалить с Кубы средства [вооружения], которые вы называете наступательными». Соединенные Штаты, «в свою очередь, должны удалить аналогичные средства из Турции». Советское правительство «ответственно обязуется… не вторгаться в Турцию», а правительство США должно «сделать такое же заявление в отношении Кубы». Представители обеих сторон должны встретиться в Нью-Йорке: они получат «исчерпывающие инструкции с тем, чтобы быстрее договориться»[129]. Поскольку предыдущие письма шли из Москвы в Вашингтон непозволительно долго, это будет зачитано по московскому радио.

Зачем понадобилось второе письмо? «Если мы дополнительно добьемся ликвидации баз в Турции, — объяснил Хрущев Президиуму, — то выиграем»; кроме того, он полагал, что и сами американцы об этом подумывают. 23 октября в беседе с Большаковым двое американских журналистов, тесно связанных с Кеннеди, Фрэнк Хоулман и Чарлз Барлетт, подняли вопрос о турецких базах, 25 октября Уолтер Липпман посвятил свою колонку аналогиям между ситуацией на Кубе и в Турции, и еще один американский журналист выразил то же мнение в беседе с агентами КГБ, отчет о которой был передан в Москву 27 октября[130]. Хотя Хрущев и прибавил дополнительное условие, публикация письма (в частности, первое публичное признание советской стороны в том, что ракеты на Кубе действительно есть) показывала, что он действительно ищет соглашения. По словам Трояновского, Хрущев опасался, что письмо от 26 октября покажется американцам чересчур расплывчатым. «Никому не пришло в голову, — пишет Трояновский в своих мемуарах, — что придание гласности турецкого аспекта сделки создаст

дополнительные трудности для Белого дома»[131].

«Трудности» — это еще мягко сказано! В субботу утром, узнав о последнем послании Хрущева, Кеннеди и его советники были поражены. Письмо Хрущева от 26 октября, замечал Макнамара, не содержало в себе никаких конкретных предложений. «Двенадцать страниц отвлеченных рассуждений. Ничего точного. Нет договора, который можно подписать, точно зная, что подписываешь». Однако «не успели мы дочитать это чертово послание до конца, как все переменилось — *совершенно* переменилось»[132].

Хрущев снова не смог предвидеть реакцию противника: придание огласке нового предложения буквально гарантировало, что оно будет отвергнуто, что Вашингтон увидит в нем свидетельство коварства русских и, возможно, перейдет к военным действиям. По счастью для Хрущева, президент, в отличие от большинства членов Исполнительного комитета, был склонен согласиться. Турецкие ракеты никогда не имели для Вашингтона большого значения, и Кеннеди уже подумывал о том, чтобы их убрать[133]. «Мне кажется, — заговорил он теперь, — нам следует… поступать разумно… Может быть, в самом деле вывести ракеты из Турции?»[134] Пока он решил проигнорировать второе письмо Хрущева и ответить лишь на первое: если Советский Союз выведет «все виды оружия, находящиеся на Кубе и имеющие наступательный характер», то, после соответствующей проверки, США «быстро отменят меры карантина, применяющиеся в настоящий момент», и «дадут заверение в отказе от вторжения на Кубу»[135].

Ответ президента был отправлен в субботу около восьми часов вечера, а получен советским Министерством иностранных дел в воскресенье около десяти утра. К этому времени произошли три события, снова изменившие настроение Хрущева. Утром двадцать седьмого У-2, вылетевший с Аляски с целью «сбора образцов воздуха», сбился с курса и залетел в советское воздушное пространство над Чукотским полуостровом. По счастью, ему удалось улететь невредимым. Территория Чукотки не имела стратегического значения, так что даже сам Хрущев пришел к выводу, что злого умысла здесь не было. Однако нервы его были напряжены, и это происшествие подлило масла в огонь[136].

Второй инцидент был куда серьезнее. 27 октября, около полудня, еще один У-2 был сбит над Кубой, а его пилот, майор Рудольф Андерсон, убит. Накануне Кастро приказал своим противовоздушным силам сбивать любой самолет, который вторгнется в воздушное пространство Кубы; однако, поскольку

ракет «земля-воздух» у кубинцев не было, а радары имели весьма ограниченный радиус действия, до утра двадцать седьмого никого сбить им не удавалось. Генерал-лейтенант Степан Гречко, командовавший советскими ПВО на Кубе, знал, что генерал Плиев приказал привести советские ракеты «земля-воздух» в полную боевую готовность, и запросил у Москвы разрешения стрелять по американским самолетам, пролетающим над советскими базами. Ответ из Москвы еще не пришел, когда над одной из ракетных баз появился У-2 Рудольфа Андерсона. Не сомневаясь, что война вот-вот начнется (если уже не началась), Гречко — или кто-то другой — приказал открыть огонь[137].

Известие о сбитом самолете поразило и Вашингтон, и Москву. Американские высокопоставленные лица, в том числе и в Белом доме, требовали возмездия, однако Кеннеди наложил вето на любые действия. Хрущев страшился того же сценария, который описывал в Вашингтоне Макнамара: «Мы отправляем разведывательные самолеты. Их молча сбивают. Так не может продолжаться. Мы должны ответить… Нужно спешно готовиться к вторжению на Кубу… Если мы бросим все силы на Кубу и оставим без присмотра ракеты в Турции, Советский Союз может напасть на наши турецкие базы — и, скорее всего, так и сделает… Мы не можем этого позволить»[138].

Именно в этот момент, рассказывал Хрущев сыну, он «нутром» понял, что ракеты не удержать. Если боевой офицер принимает решение об использовании ракеты «земля-воздух», замечал позднее Трояновский — значит, «одной искры достаточно, чтобы полыхнул взрыв». Первый взрыв уже грянул: Малиновский объявил, что, поскольку связь с Москвой требует времени, советские офицеры ПВО приняли решение подчиняться указаниям Фиделя Кастро. «Да чья это армия?! — взревел Хрущев. — Советская или кубинская?! Если Гречко служит в Советской Армии, почему готов подчиняться чужим приказам?!»[139]

Но больше всего потрясло Хрущева третье событие, связанное с самим Фиделем Кастро. До 26 октября Кастро надеялся, что дело кончится миром. Но вечером двадцать шестого уверился, что американское вторжение неминуемо состоится в ближайшие два-три дня. Около двух часов ночи 27 октября он явился на квартиру к советскому послу Алексееву. Как следует подкрепившись сосисками с пивом, он провел остаток ночи за сочинением письма Хрущеву. Фидель продиктовал Алексееву не меньше десяти версий письма, которые тот, не будучи профессиональным переводчиком, записывал и переводил сам. «Я диктовал, он записывал, а я потом редактировал, — вспоминал позднее

Кастро. — Говорил, например: „Уберите это слово, добавьте это, измените то“. Все это происходило 27-го, глубокой ночью… Еще за сутки до того мы не видели никакого выхода. Ни единого возможного решения»[140].

«Поначалу, — вспоминает Алексеев, — мне трудно было понять, что скрывается за его сложными формулировками». Неужели Кастро требует, чтобы Советский Союз нанес по США превентивный ядерный удар? «Нет, — ответил Кастро. — Я не хочу говорить этого напрямую: но при определенных обстоятельствах нам не следует отдавать инициативу империалистам, позволив им нанести первый удар и, возможно, стереть Кубу с лица земли»[141].

Позже Кастро заверял, что пытался объяснить Хрущеву: американское нападение неизбежно, и советские войска должны отвечать на него сразу, без колебаний. Нельзя пропускать первый удар, как случилось с СССР в 1941 году. «Если такое случится, — пояснял свою мысль Кастро, — колебаться нельзя. Мы не можем позволить повторения событий Второй мировой войны». Вот почему «я решился написать Никите письмо, которое должно было его подбодрить. Таково было мое намерение. Я хотел морально его поддержать, поскольку понимал, что он глубоко страдает. Мне казалось, что я хорошо его знаю»[142].

Послание, которое Кастро в конце концов отправил в Москву, звучало так: «Если… империалисты вторгнутся на Кубу с целью ее оккупации, опасность подобной агрессивной политики для всего человечества будет столь велика, что в этом случае Советский Союз ни при каких обстоятельствах не должен позволять империалистам первыми нанести ядерный удар». Вместо этого необходимо будет «раз навсегда уничтожить эту угрозу законным и морально верным актом обороны. Как бы тяжко и ужасно ни было такое решение, другого выхода нет»[143].

Алексеев связался с Москвой и сообщил о послании Кастро; само оно пришло в Москву двадцать восьмого около 1.10. Трояновский, в эти дни ночевавший в здании ЦК на Старой площади, получив телеграмму, позвонил Хрущеву домой и зачитал ему текст Кастро. Несколько раз Хрущев прерывал его, прося повторить ту или иную фразу[144].

Письмо Кастро не «подбодрило» Хрущева, как того хотел кубинский лидер, — напротив, поразило и оттолкнуло. Хрущев понял его в том смысле, что Кастро предлагает «немедленно нанести первыми ракетно-ядерный удар по США». Это показывало, что «Фидель совершенно не понял нашей цели»: ведь СССР стремится не завоевать США, а «только исключить вторжение на Кубу»[145].

Масла в огонь подлило еще одно событие — вечером в субботу состоялась долгая беседа Роберта Кеннеди и советского посла Добрынина. Генеральный прокурор передал послу те добавления, которые президент счел нужным сделать к своему письму. Во-первых, если кубинские ракеты не будут вывезены незамедлительно, США оставляют за собой право применить силу. Во-вторых, на вывоз ракет из Турции Кеннеди согласен, однако публично об этом объявлено не будет (чтобы у Турции и других союзников США по НАТО не сложилось впечатление, что Соединенные Штаты сдали Турцию под давлением Москвы). Но президент дает слово: не будет ракет на Кубе — не будет и в Турции[146].

Встреча состоялась в 19.45 в Департаменте юстиции. В шифрограмме, отправленной в Москву той же ночью, Добрынин сообщал, что брат президента «был очень взволнован — в таком состоянии я видел его впервые». («Да и мы выглядели не намного лучше», — заметил позже Хрущев своему сыну.) От любых рассуждений и споров Роберт отказывался, лишь повторял: «Время уходит. Нельзя терять наш единственный шанс».

Генеральный прокурор упомянул о сбитом У-2. Американское военное командование требует, чтобы разведывательные полеты продолжались, и в следующий раз на огонь будут отвечать огнем. Правительство США готово нанести по ракетным базам удар с воздуха; в этом случае начнется страшная цепная реакция, которая приведет к ядерной войне. Американцы этого не хотят — и русские, видимо, тоже. Однако «и среди генералов, и в других местах есть горячие головы, жаждущие драки». Необходимо достичь соглашения на условиях, указанных в послании Хрущева от 26 октября и ответе Кеннеди. Хотя Добрынин не видел полного текста письма Хрущева от 27 октября и не получал из Москвы указаний относительно турецкого вопроса, он решился спросить: «А что будет с Турцией?» Если это — единственное препятствие к соглашению, ответил Роберт Кеннеди, то президент согласен уступить. Разумеется, на подготовку мероприятия уйдет несколько месяцев, и соглашение необходимо будет сохранить в строгом секрете. Во всем Вашингтоне об этом будут знать лишь два или три человека, не считая самих братьев Кеннеди.

В заключение Роберт заявил, что президент хотел бы получить ответ Хрущева завтра же. Нет, это не ультиматум — просто «настоятельная просьба». Президент «надеется, что глава советского правительства понимает, что имеется в виду». Кроме того, Кеннеди особенно просит Хрущева не писать больше «длинных писем», а отвечать коротко и по существу. На прощание Роберт дал Добрынину телефонный номер для прямой связи с

Белым домом[147].

В воскресенье, 28 октября, рано утром Хрущев получил известие о сбитом над Кубой У-2. Кроме того, в кабинете на столе его ожидало письмо от Кеннеди. Президиум собрался в полдень на подмосковной даче в Ново-Огареве (той самой, где три десятилетия спустя Михаил Горбачев и лидеры союзных республик пытались спасти СССР заключением нового союзного договора). Время от времени Хрущев использовал эту дачу для приема иностранных гостей или для неформальных встреч Президиума. Но в этот день, вспоминает Трояновский, атмосфера была «в состоянии достаточно высокой наэлектризованности». Говорил, по сути, один Хрущев — лишь иногда вставляли свои замечания Микоян и Громыко. Другие «предпочитали помалкивать, — рассказывает Трояновский, — как бы давая понять: сам нас втянул в эту историю, сам теперь и расхлебывай»[148].

Начал Хрущев с напоминания об одном из тяжелейших поражений Ленина — Брестском мире. «Это решение было продиктовано нашими интересами — мы должны были спасти Советскую власть. Теперь мы оказались лицом к лицу с опасностью войны и ядерной катастрофы… Чтобы спасти мир, мы должны отступить. Я собрал вас здесь, чтобы посоветоваться и обсудить, готовы ли мы к такому решению»[149].

Прежде чем обсудить (или, точнее, принять без обсуждения) предложение Хрущева, Президиум разработал инструкции для генерала Плиева. Предыдущим утром Плиев сообщил, что в случае нападения американцев готов использовать «любые средства противовоздушной обороны», и поначалу Хрущев и Малиновский одобрили его решение. Однако позже в тот же день, примерно в то же время, когда послание Хрущева звучало по московскому радио, Плиеву было «запрещено» использовать ядерное вооружение «без специальных указаний из Москвы». Теперь же, двадцать восьмого, Президиум решил позволить Плиеву отвечать ударом на удар, однако не отменил предыдущее распоряжение о запрете на использование ядерного оружия[150].

Затем Хрущев попросил Трояновского зачитать вслух письмо Кеннеди от двадцать седьмого числа, копии которого в белых конвертах лежали перед каждым членом Президиума. Перед подписью Кеннеди в конце письма не было обычного «искренне Ваш» — зловещий признак. Когда Трояновский закончил, Хрущев спросил, что думают об этом члены Президиума. Но ответить никто не успел. Трояновского попросили к телефону: звонили из МИДа, где только что получили отчет Добрынина о беседе с

Робертом Кеннеди. Трояновский пересказал отчет; когда он кончил, его попросили повторить еще раз. «Весь тон высказываний» Кеннеди, писал позже Трояновский, показывал, что «час расплаты наступил». После этого «собравшиеся довольно быстро пришли к согласию в том, что условия президента Кеннеди следует принять». Еще одно свежее сообщение от разведки помогло понять, что о согласии Хрущева Кеннеди должен узнать как можно быстрее. Агент КГБ в США сообщал, что в тот же день в 17.00 по московскому времени президент намерен обратиться к нации. Президиум предположил, что Кеннеди собирается объявить о воздушном ударе или вторжении на Кубу. (Впоследствии выяснилось, что предполагалось повторение речи президента от 22 октября.)[151]

Хрущев снова вызвал стенографистку и начал диктовать: «Уважаемый господин президент! Получил ваше письмо от 27 октября с. г. Выражаю свое удовлетворение и признательность за проявленное Вами чувство меры и понимание ответственности, которая сейчас лежит на нас…» Хрущев принял условия Кеннеди (как и просил президент, ни словом не упомянув о Турции). Советское правительство «отдало распоряжение о демонтаже вооружения, которое вы называете наступательным, и о возвращении его в Советский Союз»[152].

Письмо Хрущева было «выправлено» (как называли эту работу редакторы) и передано Михаилу Смирновскому, главе американского отдела МИДа, для передачи в американское посольство; другой экземпляр письма секретарь ЦК Леонид Ильичев передал в радиокомитет с тем, чтобы оно было оглашено до пяти часов. Перед посольством Смирновскому пришлось остановиться из-за толпы демонстрантов, скандировавших: «Руки прочь от Кубы!» Ильичев доставил свой экземпляр на радио вовремя. Обычно диктору давали время заранее просмотреть текст, но в этот раз Ильичев приказал немедленно дать его в эфир[153].

Помимо публичного письма, Хрущев отправил Роберту Кеннеди секретное послание, в котором предупреждал его, что о положительном ответе Москвы будет сообщено по радио. Сообщили об этом и Фиделю Кастро, который, разумеется, пришел в ярость, узнав, что судьба его родины решалась без его совета и согласия. Хрущев даже не стал отсылать ему копию письма, заявив: «Этот текст сейчас читается по радио, и вы, конечно, его слушаете». Далее Хрущев призывал своего горячего кубинского друга «не поддаваться эмоциям» — как вчера, когда «вы сбили один из американских самолетов», поддавшись таким образом на явную провокацию. Почему Хрущев обвинил Фиделя в

том, что, как ему было точно известно, сделали советские ПВО, — неясно.

Тем временем семью Хрущева перевезли из особняка на Ленинских горах на подмосковную дачу, располагавшуюся всего в десяти минутах езды от Ново-Огарева. Часы тянулись томительно. Нина Петровна стоически смотрела телевизор, Сергей бесцельно бродил по дому. Когда по радио в исполнении знаменитого Левитана прозвучало наконец послание Хрущева, Сергей воспринял его как «постыдное поражение»[154].

Хрущев и его коллеги в Ново-Огареве тоже слушали радио. По окончании передачи Хрущев предложил всем поехать в театр. Трояновский просмотрел театральные афиши в газетах: решено было отправиться на выступление болгарских артистов. По пути Хрущев заехал к себе на дачу за родными и в дом на Ленинских горах, чтобы переодеться. Уже после спектакля он вновь забеспокоился о том, что не упомянул в своем послании о турецких ракетах, — и ночью подготовил еще одно секретное письмо президенту, в котором просил подтверждения, что «вы согласились решить вопрос о ваших ракетных базах в Турции согласно с тем, что писал я в своем письме от 27 октября и что заявили вы в тот же день через Роберта Кеннеди на встрече с послом Добрыниным»[155].

Русский текст этого последнего письма был отправлен в советское посольство в Вашингтоне в 5.15 утра 29 октября. Хрущев стремился получить от президента письменные гарантии, чтобы при необходимости иметь возможность опровергнуть обвинения в «капитуляции перед империалистами». Однако, когда Добрынин передал это письмо Роберту Кеннеди, брат президента подтвердил договоренность устно, но принять письмо отказался.

Ночь с субботы на воскресенье стала самой напряженной и в Вашингтоне. Пока Хрущев не уступил, вторжение на Кубу казалось неминуемым. В «черную субботу», как прозвали ее американские политики, многие из них спрашивали себя, проживут ли еще неделю. Не меньше тревожились и Добрынин со своими помощниками: по их информации, первая бомбардировка Кубы должна была начаться самое позднее в ночь с 29 на 30 октября.

Воскресная встреча Исполнительного комитета была назначена на 10.00. Кеннеди еще лежал в постели, читая «Нью-Йорк таймс», когда пришло известие, что по московскому радио будет передано важное сообщение. В 9.00 советский диктор прочел послание Хрущева. Смысл его был ясен и однозначен:

«Демонтаж… возвращение в Советский Союз…» К полудню президент составил ответное письмо, в котором благодарил Хрущева за «важный вклад в дело обеспечения мира»[156].

Кризис остался позади. Впереди ждали нелегкие переговоры об исполнении соглашения, жаркие споры о том, кто же выиграл и кто проиграл. Сам Хрущев 28 октября чувствовал себя победителем, едва ли не спасителем мира: немало времени понадобилось, чтобы горькая истина проникла в его сознание, став одной из причин бесславного конца его

Глава XX
РАЗВЯЗКА: 1962–1964

Итак, Хрущев согласился убрать с Кубы советские ракеты, и это отступление в Москве было объявлено победой. «Мудрость и хладнокровие» советского правительства спасли мир от «ядерной катастрофы»! — восклицала «Правда» от 30 октября. А 12 декабря сам Хрущев произнес перед Верховным Советом СССР пространную и воодушевленную речь о своем триумфе. Соединенные Штаты «перед лицом всего мира» дали обещания, что не станут нападать на Кубу. Советский Союз и «силы мира и социализма» «утвердили мир. *(Продолжительные аплодисменты.)*» «Разум восторжествовал», и «победило дело мира и безопасности всех стран. *(Бурные аплодисменты.)*»[1]

Федор Бурлацкий, редактировавший речь Хрущева, присутствовал при ее произнесении. «Он просто сиял. Ни укоров совести, ни чувства вины… Лицо… человека, который спас мир». Однако из тех же воспоминаний Бурлацкого явствует, что не все было так гладко. Один из разделов речи, надиктованной Хрущевым, пришлось смягчить — речь в нем шла о критике Пекином советской политики на Кубе, в которой, по словам Мао, «авантюризм» сменился «капитулянтством». «Ясно было, — пишет Бурлацкий, — что эта критика глубоко его задела. Он был глубоко оскорблен, был в ярости и негодовании»[2].

Так верно ли, что Хрущев испытывал ничем не омраченную радость? 12 ноября посол Великобритании Фрэнк Робертс заметил, что Хрущев «выглядит усталым и озабоченным». Правда, во время разговора с послом он «разогрелся и вернулся в обычную хорошую форму», «как самозаряжающийся аккумулятор». Однако в конце долгой оживленной беседы, не удержавшись, проворчал, что «с обеих сторон есть идиоты, так и не понявшие» кубинского компромисса[3]. 23 ноября, на пленуме ЦК КПСС, он откровенно оправдывался: «А что, мы должны были вести себя, как офицеры в царское время — пукнул на балу и застрелился от позора?» «Помощь» Кубе от китайцев можно расценить только как издевательство: китайские дипломаты предложили в случае необходимости сдать для кубинцев кровь — «Что за дешевый демагогический ход!» То ли дело Советский Союз: «Наши противовоздушные орудия стреляли дважды и сбили американский У-2. Отличный выстрел! И в обмен мы получили от США обещание не соваться на Кубу. По-моему, неплохо!»[4] 3 декабря на заседании Президиума он обвинил в собственной

скоропостижной капитуляции… Кастро: «Фидель Кастро открыто советовал нам применить ядерное оружие. А теперь отступает и нас за собой тянет». Генерал-полковник Иванов, разработавший операцию «Анадырь», был отправлен в отставку, и Президиум поручил военной разведке расследование его роли в создании предпосылок для кризиса[5].

По мнению Добрынина, советское руководство восприняло исход кубинского кризиса как «унизительный удар по своему престижу»[6]. Так же, по словам бывшего коллеги Хрущева Петра Демичева, переживал свое поражение и сам Никита Сергеевич. «Он делал хорошую мину при плохой игре, однако по его поведению, особенно по раздражительности, ясно было, что он чувствует себя побежденным»[7].

Проблема была не только в том, что Хрущев сдался, но и в том, что последовало за капитуляцией. Кеннеди настоял на том, чтобы соглашение по турецким ракетам держалось в секрете — в результате со стороны казалось, будто Хрущев пошел на уступки в одностороннем порядке. Кроме того, Кеннеди, использовав как предлог нежелание Кастро пускать на Кубу американских инспекторов, так и не дал формального, письменного обещания не нападать на «Остров свободы»[8]. Этого мало: американцы потребовали убрать с острова не только советские ракеты, но и бомбардировщики Ил-28. Такую цену пришлось заплатить Хрущеву за то, что во время кризиса он не желал называть ракеты ракетами, обтекаемо именуя их «оружием, которое вы рассматриваете как наступательное». Узнав об этом, Кастро пришел в ярость. «Сукин сын… ублюдок… сволочь… *no cojones* [мужик без яиц]… *maricon* [педераст]!» — так отзывался он в частном разговоре 28 октября о «человеке, который спас мир»[9].

В тот же день в Гавану пришла телеграмма от Хрущева, в которой он обвинял в гибели американского самолета кубинцев — что, конечно, не улучшило настроения Фиделя. Два дня спустя последовало пространное письмо. В ответ на упреки кубинцев, что их мнения никто не спрашивал, Хрущев заявлял, что проконсультировался с Кастро с помощью шифрограммы в ночь с 26 на 27 октября. Однако Фидель отрицал и это, и то, что якобы предлагал нанести превентивный ядерный удар по США. Кроме того, он выдвинул пять условий примирения: прекращение американской экономической блокады, отмена экономических санкций против Кубы, прекращение вторжений в территориальные воды и воздушное пространство острова, уход военно-морских сил США из залива Гуантанамо — то есть пошел в своих требованиях намного дальше Хрущева[10].

Особенно больно задело Хрущева то, что в своей критике

действий СССР Куба явно сближалась с Китаем. На Китай, более важный в идеологическом и геополитическом отношении, Хрущев давно махнул рукой; но Кастро он считал наследником своего революционного дела, чуть ли не кем-то вроде приемного сына. Теперь же его «сын» смотрел на него как на «предателя» (по выражению Сергея Хрущева). Возможно, эта ситуация напоминала Хрущеву разочарование в собственном отце или нелегкие отношения с собственным старшим сыном; так или иначе, ссора с Кастро, по словам Сергея, «ранила отца до глубины души»[11].

Хрущев решил отправить в Гавану специального эмиссара. Выбор, естественно, пал на Микояна. В это самое время у Микояна умирала жена Ашхен, с которой он прожил сорок лет. Хотя Анастас Иванович и привык ставить государственные дела выше семейных, теперь он колебался. Хрущев настаивал, говоря, что Ашхен уже ничем не поможешь и что сейчас Микоян нужнее на Кубе. «Анастас, — говорил он, — не беспокойся. Если дойдет до самого худшего, мы обо всем позаботимся»[12].

Кубинцы встретили Микояна холодно — как в аэропорту, так и на самих переговорах, начавшихся 3 ноября. Через несколько дней после его приезда в Гавану пришла телеграмма о смерти его жены. «Возвращаться ли на похороны — смотри сам», — писал старому другу Хрущев. Микоян решил остаться, отправив домой вместо себя своего сына Серго[13]. Такое решение глубоко тронуло Кастро, и переговоры пошли живее. Но сам Хрущев в данном случае проявил редкую бесчувственность. По рассказу Серго, он обещал быть на похоронах — однако не появился. Родственники обратились к Нине Петровне, и та попросила отложить отъезд на кладбище, надеясь, что муж все-таки придет. Хрущев так и не приехал. А через несколько дней, встретившись с Серго, он как ни в чем не бывало заметил, что не любит ходить на похороны: «Это ведь не на свадьбу прийти, верно?»[14]

Каковы бы ни были причины решения Хрущева, этот эпизод, по словам Трояновского, «оставил горький привкус». Когда Анастас Микоян вернулся в Москву, Хрущев громко восхвалял его успехи на Кубе. «Только он, с его воловьим упорством, мог добиться успеха, — говорил Хрущев Серго Микояну. — Я бы уже давно хлопнул дверью и улетел!» Однако позже он говорил Кастро: «[Микояну] я доверяю меньше всех. Он — хитрый кавказский лис; на него нельзя полагаться. И в 1953-м, когда мы арестовывали Берию, и в 1957-м, с антипартийной группой, я больше всего опасался Микояна»[15]. Микоян никогда не упрекал Хрущева за то, что тот не попрощался с его женой, — но этого ему не простил[16].

В общей сложности Микоян провел на Кубе двадцать два дня.

Фидель заставил его понервничать: осыпал упреками, затем на несколько дней сказался больным. На совместном советско-кубинском праздновании 7 ноября советские офицеры отказались пить за здоровье Кастро, а глава кубинской военной разведки в ответ поднял тост за Сталина. Последнее так разъярило Хрущева, что он потребовал у Микояна допросить всех советских военных, присутствовавших на этом застолье, и всерьез подумывал о том, чтобы прекратить всякую помощь Кубе. «Или они будут сотрудничать, — говорил он 16 ноября на заседании Президиума, — или мы отзовем наших людей». Наконец, 16 дней спустя, Кастро смирился с вывозом советских бомбардировщиков — однако на американские инспекции так и не согласился. Особенно обижало его то, что СССР и США договорились, не спросив его мнения[17].

Не помогало делу и поведение американцев. Кеннеди был осторожен и не называл в публичных выступлениях выход из кризиса «своей победой». Многие, особенно военные, в самом деле полагали, что потерпели поражение. Однако средства массовой информации восхваляли мудрость президента (например, в двухчасовой передаче Си-би-эс разрешение кризиса было названо «решительным поражением советской политики»), а сам Кеннеди и его люди в «частных» беседах (при явном попустительстве Белого дома неизменно становившихся достоянием общественности) открыто говорили о своем успехе. В одной такой неформальной беседе слова Кеннеди о Хрущеве забавно совпали с бранью Кастро. «Я как следует врезал ему по яйцам», — сказал американский президент[18].

Последние два года у власти стали временем судорожных метаний и почти нескрываемого отчаяния Хрущева. После бесславного конца кубинской авантюры он обратился к решению других международных проблем — но здесь ему везло еще меньше. Правда, летом 1963-го Хрущев добился некоторых дипломатических успехов; однако прежняя энергия и изобретательность его покинули. Он наконец понял, что блеф и угрозы ведут в тупик, — но так и не научился действовать иначе[19].

Внутренние проблемы также требовали решительных действий. Желая вдохнуть новую жизнь в советское сельское хозяйство, Хрущев разделил надвое систему управления — однако этим лишь раздражил чиновников, а увеличения урожая так и не добился. Неудачи на сельскохозяйственном фронте удручали Хрущева сильнее всего: он злился, метался в поисках решения, бросался от одного решения к другому — и винил в своих поражениях кого угодно, только не себя.

В октябре 1962-го казалось, что в литературе поднимается очередная антисталинская волна. Однако эта волна скоро захлебнулась — Хрущев пошел на попятный. Обрушивая свой гнев на писателей и художников, он, в сущности, вредил самому себе. Встречи Хрущева с интеллигенцией и в лучшие его дни проходили нелегко и напряженно — теперь же превратились в настоящие позорища. Во время трех таких встреч зимой и весной 1962–1963 годов он, что называется, шел вразнос. Позже, стремясь восстановить равновесие, сделал некоторые примирительные шаги в сторону Твардовского и других либералов, но открыто и недвусмысленно поддержать их так и не решился. В результате либеральная интеллигенция присоединилась к растущему числу его врагов.

Хрущев по-прежнему стремился к реформам. В 1961-м была создана очередная комиссия по расследованию сталинских преступлений под руководством члена Президиума Николая Шверника; в феврале 1963-го комиссия представила Президиуму свой доклад; однако ни к каким реальным последствиям ее заключения не привели[20]. Хрущев обдумывал радикальные экономические реформы и готовил проект новой советской конституции, предполагавшей выборы в советы из нескольких кандидатов и широкую огласку действий государственных органов; однако и эти проекты не вышли из стадии разработки. Словно чувствуя, что в Москве ему никто не рад, Хрущев постоянно ездил — то по стране, то за границу. Однако и эти путешествия не приносили результатов, а иногда, как случилось с поездкой в Египет в 1964 году, оборачивались против него.

Чем дальше, тем больше Хрущев настраивал против себя свое окружение — тех, кому был обязан победой в 1957-м. Он все сильнее замыкался, ограничиваясь общением лишь со своими помощниками и советниками, избегал коллег, действовал, не советуясь с ними, насмехался над ними в узком кругу и бранил на публике, взваливая на них ответственность за свои ошибки.

Переговоры с США по Кубе Хрущев решил использовать для решения более глобальных вопросов. В письмах к Кеннеди от 27, 28 и 30 октября он предложил провести переговоры по запрету ядерных испытаний, ликвидации военных баз и даже «всеобщему и полному разоружению». Что же касается германского вопроса, заверял Хрущев президента, — то он уже практически решен. Хрущев предлагал как можно скорее организовать саммит, а в дополнении к письму от 30 октября торопил Кеннеди, призывая «выбрать из представленного списка вопросов те, которые вы готовы обсуждать», и «встретиться, возможно, в США или в любом

другом, более удобном для вас месте»[21]. Всего через два дня после кульминации кризиса — и за несколько недель до того, как он был разрешен окончательно — Хрущев наконец согласился на отношения, предложенные Кеннеди в Вене. По словам Трояновского, сомнения шефа в воле и уме американского президента полностью рассеялись. Теперь он готов был не запугивать Кеннеди, а разговаривать с ним честно и на равных.

30 октября советник и спичрайтер Хрущева, бывший обозреватель «Правды» Юрий Жуков, отправился из Андовера (Массачусетс), где участвовал в конференции по советско-американским отношениям, в Вашингтон. Там он переговорил с Томпсоном, Гарриманом, Сэлинджером и еще несколькими лицами, близкими к президенту. Жуков предлагал организовать в ноябре саммит по вопросам разоружения, запрета испытаний и договора о ненападении между НАТО и странами Варшавского договора. (Последнее предложение заместитель министра иностранных дел Кузнецов повторил послу Стивенсону[22].) Микоян, заехав в Вашингтон по пути домой с Кубы, также сообщил Кеннеди, что «необходимо провести переговоры по наиболее неотложным вопросам» и что Москва «ждет конструктивных предложений» США по Берлину[23]. По словам Юрия Жукова, Хрущев хотел показать китайцам, что уступки по Кубе ведут к соглашениям с Вашингтоном. Да и сам советский руководитель в декабре именно так объяснил свои намерения редактору «Сатердей ревью» Норману Казинсу. «Китайцы говорят, я испугался, — заметил Хрущев (выглядел он отлично — темно-синий пиджак, белая шелковая рубашка, серый галстук с маленькой булавкой, изящной и дорогой, и золотые французские запонки; впечатление портили только проглядывающие в разрезах манжет рукава теплой нижней рубахи). — Конечно, я испугался. Надо быть сумасшедшим, чтобы не бояться войны». Однако теперь, когда страх «помог избежать безумия», «есть одна вещь, которую мы с президентом должны сделать немедленно», — а именно: запретить ядерные испытания и сделать все, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Казинс (перед отъездом в Москву он повидался с президентом) ответил Хрущеву, что Кеннеди «искренне желает прекращения испытаний»[24]. Ободренный этим, пять дней спустя Хрущев пошел навстречу США по ключевому вопросу об инспекциях ядерных полигонов. До сих пор СССР отказывался от инспекций вообще, считая их прикрытием для шпионажа, а американцы настаивали на восьми — двенадцати проверках в год. По словам Хрущева, 30 октября представитель США Артур Дин сообщил Кузнецову, что Вашингтон готов удовлетвориться тремя-

четырьмя инспекциями в год. Если так, заявил Хрущев, то на две-три он, пожалуй, может согласиться — и надеется заключить договор уже к концу года[25].

Однако надежды Хрущева, и без того довольно скромные, теплились недолго. Кеннеди отдал своим представителям распоряжение в следующие два месяца «говорить только о Кубе и устранении ракет», а на другие советские предложения «не отвечать, пока не будет разрешена ситуация на Кубе»[26]. В письмах от 3 и 6 ноября президент упоминал о предложениях Хрущева лишь одним-двумя словами, а в письме от 15 ноября и вовсе о них промолчал. Вернулся к этой теме он только 14 декабря — но не самым приятным для Хрущева образом: как бы невзначай поинтересовался, «что думают о запрете на ядерные испытания в Пекине», и возразил Хрущеву, утверждавшему, что берлинская проблема, в сущности, почти решена[27]. А 28 декабря президент объявил, что США по-прежнему настаивают на восьми — десяти инспекциях; что же до обещаний Дина — должно быть, господин председатель его неправильно понял[28].

Хрущев был в ярости. В феврале он прервал переговоры по запрещению испытаний, а уже в конце марта советский посол в США Добрынин передал Роберту Кеннеди гневное письмо. Вместо обсуждения вопросов, важных для обеих сторон, писал Хрущев, президент «пытается на нас давить». Вместо того чтобы противостоять «агрессивным кругам» в Вашингтоне, Кеннеди требует от СССР уступок, «потакая дурному настроению какого-то аризонского сенатора [Барри Голдуотера]…». В первые два года своего правления Кеннеди «еще только осваивался» и потому не мог принимать важные решения, — а теперь, оказывается, опять не может, «потому что боится проиграть выборы»! Роберт Кеннеди назвал письмо оскорбительным и отказался его принять; от него не укрылось, что Добрынин был смущен своей миссией[29].

В середине марта иностранные дипломаты, беседовавшие с Хрущевым, удивлялись необычной «скованности» его манер и поведения. Принимая финского премьер-министра, он «почти не проявлял своей обычной живости» и «монотонно, без выражения» зачитывал заранее приготовленные речи. На конференции выглядел «удрученным», словно «человек, угнетенный тяжелой ношей»[30].

Даже любимая Пицунда не придала ему бодрости. Приехав туда в апреле, Норман Казинс нашел хозяина «подавленным, даже изможденным». Правда, Хрущев был, как всегда, гостеприимен: возил гостя по окрестностям, с азартом играл с ним самим в бадминтон, а с его маленькими дочками — в медведя (залезал под огромную медвежью шубу, покрывавшую его целиком, а

потом, страшно рыча, оттуда выскакивал). Однако, оставшись с Казинсом наедине, с горечью говорил о том, чего ему стоило уломать коллег хотя бы на три инспекции — и для чего же? Чтобы получить от американцев плевок в лицо? «Оказывается, ни на три, ни даже на шесть они не согласны, — говорил он. — А согласны на восемь. И снова меня выставили дураком. Но точно вам говорю: больше такое не повторится»[31].

Конечно, Хрущев слегка кривил душой: даже после поражения на Кубе раболепные коллеги едва ли осмелились бы ему противоречить. Он говорил об этом, надеясь пристыдить американцев и вызвать у них чувство вины. Однако гнев и досада его были непритворными. В январе, выступая в ГДР, он говорил: «Некоторые могут сказать, что время вроде бы потрачено впустую, что социалистические страны ничего не добились, остро ставя вопрос о германском мирном договоре». Не говоря уж о тех, кто «утверждает, что в карибском конфликте Куба и Советский Союз потерпели поражение»[32]. Разумеется, у Хрущева на все вопросы нашлись ответы: но характерно и то, что он вообще счел нужным об этом заговорить и что в речи его ясно слышится попытка самооправдания. Позже, выступая в Москве перед своими «избирателями», он поблагодарил их «за то, что вы собрались здесь, чтобы, если можно так сказать, подкрепить мое моральное состояние»[33].

В марте 1963 года Совет обороны собрался под Москвой на выездное заседание, посвященное двум программам по разработке новых межконтинентальных ракет. Гуляя по выставке ракет, Хрущев непринужденно беседовал с генералами и конструкторами, восхищаясь тем, как далеко шагнула под его руководством военная техника. Он «говорил без остановки, — вспоминает сын. — Присутствующие внимательно слушали, хотя все это слышали уже не в первый раз».

Собравшиеся на заседание имели возможность выторговать у него что-то для себя. Маршал Гречко продвигал идею увеличения удельной доли тактического ядерного оружия (у американцев его полно, сетовал он, а в Советском Союзе почти нет) и во время своей речи придвигался все ближе и ближе к Хрущеву. «Отойдите-ка на несколько шагов, ладно? — проворчал Хрущев, который терпеть не мог смотреть на рослого Гречко снизу вверх. — И не старайтесь меня уговорить. Нет у меня денег, и взять их неоткуда». Малиновский пожаловался на нехватку солдат, связанную с падением рождаемости в годы войны. Гречко поддержал его и предложил увеличить срок армейской службы с двух до трех лет, а службы во флоте — с трех до четырех.

«Кто кому служит?! — рявкнул Хрущев, переводя взгляд с одного генерала на другого. — Армия народу — или народ армии? Неужели вам не приходило в голову, сколько пользы могут принести стране молодые люди за этот „лишний“ год? При Николае I в армии служили двадцать пять лет— это ваш идеал, маршал Гречко?»

Гречко попытался улыбнуться. Малиновский мрачно уставился в пол. «Вы ничего не понимаете! — продолжал Хрущев распекать своего собеседника. — Если бы понимали, то таких глупых вопросов не задавали бы. Ничего себе, хорошо придумано: мы тратим миллиарды на подготовку нужных стране специалистов — а вы предлагаете их взять за шкирку и отправить маршировать!»

В зале было жарко, и по лицу Хрущева струился пот. Гречко возразил, что вузовская программа военной подготовки ничего не дает, и предложил вместо этого срочную службу для студентов. Если все попадут в армию, — взорвался в ответ Хрущев, — кого эта армия будет защищать? Отправлять служить студентов, которые могли бы стать ключевыми специалистами в своих областях — это «преступное разбазаривание, пустая трата государственных ресурсов». Более того, это — тут Хрущев припомнил одиозное обвинение, обычное в тридцатые годы, — «вредительство»!

Самих этих угроз было более чем достаточно; но Хрущев продолжал унижать своих генералов. Словно размышляя вслух, он заметил, что вообще-то Советский Союз больше не нуждается в многочисленной армии, что стране достаточно нескольких ракет, минимального обслуживающего персонала — и «народного ополчения», которое живет дома, время от времени проходит переподготовку по месту жительства и превращается в армию только в военное время. Тем более, добавил он, что глобальной войны все равно не будет. Сами эти мысли не были новыми: но впервые Хрущев собрал их воедино и высказал в лицо тем самым людям, которые в случае такой реформы остались бы без работы. Возможно, в перспективе Хрущев был прав: его предложения предвосхитили масштабные сокращения Российской армии при Горбачеве и Ельцине. Однако в марте 1963 года шла холодная война. О чем же думал Хрущев? Либо он не понимал, какое действие произведут его слова на собеседников, — либо об этом не заботился[34].

Предложение Хрущева разделить партию на индустриальное и сельскохозяйственное крылья на пленуме ЦК в ноябре 1962 года было принято единогласно. Глава отдела культуры ЦК

Дмитрий Поликарпов вернулся домой обескураженным: новая система не оставляла места для управления идеологической пропагандой, культурой и образованием. «Знаете, — заметил ему кто-то из коллег, — если это — его уровень компетентности, то любой из нас сможет управлять страной не хуже Никиты!»[35] Журналист Николай Барсуков, бродивший по коридорам в дни пленума, не слышал «о реорганизации ни одного доброго слова — только выражения недоумения и открытого неприятия». Однако когда началось голосование, предложение было принято единогласно и встречено «бурными аплодисментами»[36].

Большинство коллег Хрущева держали свои сомнения при себе, однако первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Кирилл Мазуров осмелился заговорить с Хрущевым в санатории в Беловежской Пуще (том самом, где почти тридцать лет спустя лидеры трех республик подписали соглашение, положившее конец существованию Советского Союза). Когда Мазуров напомнил своему высокому гостю, что на единстве партии настаивал сам Ленин, Хрущев «взорвался». Собственно говоря, взгляды Ленина никакой проблемы не составляли: как раз в это время «Правда» опубликовала очень вовремя «найденную» статью покойного вождя, в которой он ставил экономические задачи партии выше политических и идеологических[37]. Однако возражений от коллеги Хрущев слышать не желал. «Мы так разругались, — рассказывает Мазуров, — что он вызвал своего шофера, сел в машину и уехал. А на следующее утро мне звонит из Москвы Козлов и говорит: „Слушай, какого черта ты там натворил? Мне только что позвонил Никита и попросил подыскать на твое место кого-нибудь другого!“»[38]

В конце концов Мазуров остался на своем месте — однако ни с ним, ни с кем-либо еще из молодых политиков, поддержавших Хрущева во время борьбы с «антипартийной» группой, глава страны больше считаться не желал. А ведь разделение партии напрямую угрожало интересам руководителей на местах: они теряли контроль над своими областями в целом, теперь каждый из них управлял либо только промышленностью, либо только сельским хозяйством. Они могли потерять и места в ЦК на следующем съезде партии. Вместо идеологических вопросов, в которых они были специалистами, теперь они вынуждены были заниматься куда более сложными и опасными экономическими материями. Реформа Хрущева не предполагала создания двухпартийной системы, однако, на взгляд многих аппаратчиков, он двигался именно в этом направлении. Неудивительно, что Секретариат ЦК всеми силами затягивал исполнение его воли, так что примерно в трети регионов СССР партийное разделение

так и не было проведено до его отставки[39].

Может быть, Хрущев сознательно подрывал существующий аппарат, стремясь создать для себя новую политическую базу? Именно так полагает (возможно, судя по себе — сам он также пробовал сделать нечто подобное) Михаил Горбачев[40]. Основная цель Хрущева, без сомнения, заключалась в «оживлении» экономики, особенно сельского хозяйства, и «профессионализации» надзирающих за ним руководителей. Урожай 1962 года удался, несколько лучше, чем в 1961-м[41], однако Хрущев остался недоволен; несколько месяцев спустя он в очередной раз гневно клеймил экспертов, «которые рожь от ячменя не отличают»[42]. Единственным результатом разделения партии стало то, что теперь Хрущев мог смело винить во всех своих неудачах партийные кадры: «идеальная система» заработала, и, если и теперь ситуация была далека от идеальной — значит, всему виной нерадивость исполнителей.

Раздражительность Хрущева, за которой скрывалась неуверенность в себе, проявлялась не только в вопросах сельского хозяйства. Кто только не попал ему на язык в апреле 1963-го, в речи перед руководителями промышленности и ведущими конструкторами! Главу военной индустрии Дмитрия Устинова только что сместили и заменили более молодым человеком — теперь же Хрущев обещал «с таким же успехом трясти его, как трясли товарища Устинова». Досталось и обычным нарушителям общественного порядка — «ворам, мошенникам и прочим мерзавцам», которых надо «давить, как тараканов», и литераторам, которые «копаются в мусорной яме, выкапывают мусор, сосут его и, конечно, плюются», и писателям, которые увидели за границей «невиданной у нас расцветки панталоны для своей жены и стали вздыхать — вот она какая, Америка, она панталоны лучше нас делает…».

Хрущев по-прежнему верит в чудеса, — сообщил он слушателям далее. Вспомним, как возродилась Юзовка после ужасов Гражданской войны! Все, что нужно людям — грамотное руководство. В связи с этим (как и в некоторых других выступлениях 1963 года) он с похвалой отозвался о восточногерманском документальном фильме «Русское чудо»: «На экране босые люди, для которых даже лапти — недоступная роскошь. Формы нет, приклады у винтовок подвязаны веревочками. Но наш рабочий класс идет вперед… в битву за революцию… и побеждает!»[43]

В ноябре 1962 года свободомыслящие писатели и художники еще рассчитывали на продолжение «оттепели». Самой

значительной победой этого периода стала публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Сам Хрущев публично поддержал издание этой повести на том самом пленуме, который одобрил разделение партии[44]. Однако не прошло и месяца, как началась реакция. Правда, в журналах еще публиковалась «лагерная проза» — однако консерваторы, ждавшие только случая натравить Хрущева на своих врагов-либералов, воспользовались его кубинской неудачей и начали активную игру.

26 ноября 1962 года, в понедельник, в московской студии художника Элия Белютина открылась выставка авангардного искусства. Формально она была закрыта для публики; однако выставку посетили несколько сотен специально приглашенных гостей, в том числе советские чиновники от культуры и западные корреспонденты — и еще несколько сот человек толпились снаружи, надеясь попасть внутрь. Три дня спустя в гостинице «Юность» должна была открыться вторая такая же выставка — однако она была в последний момент отложена. И вдруг выставку перенесли в огромный выставочный зал Манежа, напротив Кремля, где всего месяц назад проводился вернисаж традиционных художников-реалистов под названием «Тридцать лет московского искусства»[45].

Некоторые неортодоксальные художники поверили, что их «еретическое» искусство наконец-то признано властью. Борис Жутовский и другие всю ночь без отдыха развешивали в зале свои полотна и расставляли скульптуры. Скульптора Эрнста Неизвестного обуревали сомнения: он обратил внимание на важную деталь, которой не заметили другие, — ни одна из работ не получила обязательного предварительного одобрения партийных органов. Неизвестный подозревал провокацию — и, как вскоре выяснилось, был прав[46]. Глава Союза художников Владимир Серов и секретарь ЦК Леонид Ильичев уже «подготовили» Хрущева должным образом, сообщив ему, что некоторые художники дают своим работам аллегорические, высмеивающие его названия: «Иван-дурак на троне», «Кукурузник», «Болтун». Позднее Жутовский слышал, как Серов говорил коллеге: «Отлично мы все придумали! Все прошло великолепно!»[47]

Неизвестно, что в точности наговорили Хрущеву консервативные чиновники от искусства: однако они убедили его посетить выставку. Перед тем как он появился с большой свитой, чиновники выстроили художников в два ряда для встречи с ним, причем в первый ряд поставили людей с ярко выраженными еврейскими чертами. Хрущев вошел, обвел взглядом зал — и

выражение его лица (этот момент запечатлен на кинопленке) начало меняться: от усталости — к любопытству, от любопытства — к недоумению и неуверенности в себе, от неуверенности — к раздражению, от раздражения — к ярости. Художники зааплодировали Хрущеву, однако он заставил их потрясенно замолчать первыми же своими словами: «Дерьмо собачье!.. Осел хвостом мажет лучше!»[48] Затем он набросился на одного молодого художника: «Ты же с виду хороший парень, как ты можешь такое рисовать? Снять бы с тебя штаны да всыпать крапивой, пока не поймешь свои ошибки. Как не стыдно! Ты *пидарас* или нормальный мужик? Хочешь уехать? Пожалуйста, мы сами тебя проводим до границы… Мы тебя можем отправить лес валить, пока не вернешь государству все, что оно на тебя потратило. Народ и правительство столько с тобой возились — а ты им платишь таким дерьмом!»[49]

«Кто все это устроил?!» — громовым голосом поинтересовался Хрущев. Вперед вытолкнули Белютина вместе с Неизвестным — широкоплечим, кряжистым человеком, в прошлом парашютистом-десантником. Этого богатыря Хрущев тоже обвинил в нетрадиционной сексуальной ориентации. Повернувшись к министру культуры Екатерине Фурцевой (единственной женщине в свите Хрущева), Неизвестный извинился перед ней за то, что вынужден сейчас сказать, а затем рявкнул: «Никита Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я вам докажу, какой я гомосексуалист!»

После такого пришлось замолчать даже Хрущеву. По крайней мере, на несколько секунд. Пока Неизвестный не попытался объяснить премьеру, что его помощники играют на его невежестве в вопросах искусства. Это вывело Хрущева из себя: «Был я шахтером — не понимал, был я политработником — не понимал, был я тем — не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю?! Для кого же вы работаете?»[50]

К счастью для потомства (но не для репутации Хрущева), свидетелям удалось буквально записать следующие его реплики: «Дмитрий Степанович Полянский [член Президиума] рассказывал мне пару дней назад: когда дочь у него выходила замуж, ей на свадьбу подарили картину. Якобы был изображен лимон. Так вот, вместо лимона там было какое-то месиво из желтых линий: выглядело, извините меня, как будто ребенок, когда мать отвернулась, сделал свои дела на холст, а потом растер рукой.

Не люблю джаз. У меня от него колики начинаются… Или возьмите эти новомодные танцы. Они же совершенно неприличные! Танцоры вертят, извините за выражение, определенной частью тела. Это же непристойно! Мне Коган

однажды сказал: „Я двадцать лет женат и до сих пор не подозревал, что *это* называется фокстрот!..“

Пусть рисует, пусть продает, если кому-то это нравится, — но нам такие картины не нужны. Неужели, вы думаете, мы потащим эту мазню с собой в коммунизм?

Кто нарисовал вот это? Я хочу с ним поговорить. Ну и зачем нужна такая картина? Унитаз ею закрывать?

Голландские мастера писали по-другому. На их картины можно смотреть через увеличительное стекло — и все равно восхищаться. А от ваших картин блевать хочется, извините за такое выражение!»[51]

После выступления Хрущева в Манеже на важные посты в области культуры были возвращены несколько известных сталинистов. Ободренные консерваторы стремились закрепить успех. Однако либералы не сдавались без боя: семнадцать ведущих интеллектуалов (в том числе двое лауреатов Нобелевской премии, писатели Эренбург, Чуковский и Симонов, композитор Шостакович и кинорежиссер Ромм) обратились к Хрущеву с просьбой «прекратить откат в области искусства к прошлым методам, глубоко чуждым духу нашего времени»[52].

Такова была ситуация 17 декабря, когда во Дворце культуры на Ленинских горах, неподалеку от резиденции Хрущева, собрались четыреста специально приглашенных гостей. Либеральные писатели и художники надеялись, что гнев Хрущева остыл, и то, что они увидели в коридоре здания, подогрело их надежды. На стенах рядом с соцреалистическими полотнами висели абстракционистские картины того же типа, что и на злополучной выставке. Главный зал украшали скульптуры в том же стиле, в том числе и работы Неизвестного. Столы ломились от яств и напитков; вокруг сновали официантки в белых передничках[53].

Хрущев и в самом деле хотел помириться с интеллигенцией. 15 декабря он приказал Черноуцану подготовить для этого собрания две речи. Одну, «в таком же резком тоне, что и у них», он поручил Ильичеву, вторую, умиротворительную, намеревался произнести сам. Да и на самом собрании он поднял тост за Солженицына (тоже здесь присутствовавшего), что недвусмысленно свидетельствовало о его добрых намерениях[54]. Характерно и то, что в перерыве между банкетом и речами Хрущев встал в общую очередь в туалет, чем поверг впереди стоявших в замешательство: они не понимали, «что делать? Уступить место? Вроде подхалимаж. Не уступить — тоже неловко». Слышались возгласы: «Проходите, Никита Сергеевич,

пожалуйста, Никита Сергеевич, проходите!» — но Хрущев скромно отвечал: «Да нет, что вы, что вы, я постою»[55].

Однако послеобеденная речь Хрущева — если ее вообще можно назвать «речью» — отнюдь не носила примирительного характера. Говорил он не меньше двух часов, затем постоянно перебивал говоривших, а в конце собрания снова завладел микрофоном. По рассказу Неизвестного, сидевшего у самого стола президиума, перед Хрущевым лежал текст — однако тот, ни разу в него не заглянув, экспромтом выдал такое, отчего не только у интеллигентов глаза полезли на лоб, но и на лицах многое повидавших членов Президиума отразился нескрываемый ужас[56].

При входе в зал Хрущев дружески помахал Неизвестному рукой; однако теперь именно скульптор стал мишенью жестокой атаки. «Что это — лошадь или корова? — спрашивал Хрущев, указывая на его работу. — Ясно одно: это издевательство над благородным животным». И далее: «Чтобы так смотреть на женщину, надо быть педерастом. А мы за это сажаем на десять лет»[57].

От Михаила Ромма, сидевшего поблизости и внимательно наблюдавшего за Хрущевым, не укрылось, что тот изо всех сил старается «соответствовать ситуации». «Трудно ему было необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, то есть ну ничего решительно. И так он старался объяснить, что такое красиво и что некрасиво, что такое понятно для народа и непонятно для народа. И что такое художник, который стремится к „коммунизьму“, и художник, который не помогает „коммунизьму“»[58].

Но, как ни старался Хрущев держаться на высоте, скоро он съехал к излюбленным туалетным метафорам. «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет… И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!»

Можно предположить, что двигало Хрущевым. «Считаете меня хамом? — как бы говорил он слушателям. — Да вы настоящего хамства еще не слышали! Думаете, вы умнее меня? Так я, дурак необразованный, сейчас вас сконфужу!» В глубине души, возможно, он понимал, что несправедлив к художникам и что гневные упреки разумнее было бы обратить к себе самому. Не было ли во всем этом представлении подсознательной саморазоблачительной тенденции, стремления, не щадя себя, «показать свое истинное лицо»? Не случайно по крайней мере

один из слушателей Хрущева, художник Жутовский, наряду с шоком и отвращением испытывал к нему жалость.

На смешанные и противоречивые чувства, владевшие Хрущевым, указывает и то, что в своей речи он прошелся по ключевым эпизодам своей биографии. Сперва на сцену явился старый юзовский приятель Пантелей Махиня, шахтер и поэт-самоучка. С Махини Хрущев почему-то перешел на евреев, причем торжественно заверил слушателей, что никогда в жизни не был антисемитом. Затем долго говорил о Сталине, причем озвучил мысль, которую никогда не осмелились бы высказать ему в лицо собравшиеся в зале либералы: «Вот смотрите вы на меня сейчас и думаете: „А ведь ты, Хрущев, и есть первый сталинист!“» Явился на сцену даже Пиня, герой прочитанного Хрущевым в детстве рассказа — тихий сапожник, героически возглавивший побег политзаключенных. «Раз уж мне лезть первым, я буду командовать: ты делай то-то, ты — то-то, то-то, — и стал над ними начальником. Так вот, я — маленький Пиня, и теперь я вами командую!» Самое удивительное, что, если следовать этой аналогии, роль тюремщиков, от которых бежал Пиня, сейчас выполняли… те самые интеллигенты, которых так жестоко распекал Хрущев[59].

Хамство Хрущева встретило некоторое сопротивление. Когда он проворчал, что «горбатого могила исправит», Евгений Евтушенко выкрикнул с места: «Никита Сергеевич, прошло время, когда ошибки исправляла могила!»[60] Некоторое пассивное сопротивление продолжалось и после этого выступления. Когда Ильичев пригласил 140 писателей и деятелей искусства в ЦК, многие под разными предлогами отказались прийти. Михаил Ромм сказался больным, а затем написал в ЦК письмо, в котором отстаивал свои взгляды, уже подвергшиеся критике[61].

Новый скандал разразился 7 марта 1963 года. На сей раз ареной стал Свердловский зал в Кремле — величественное помещение с белоснежными колоннами и высоким синим куполом. Здесь собралось более шестисот человек: помимо писателей, художников и артистов, присутствовали партийные и комсомольские функционеры, а также специалисты по идеологии и пропаганде, съехавшиеся со всей страны. На этот раз банкета не было: слушатели чинно сидели рядами перед сценой, на которой располагался президиум[62].

С самого начала встречи присутствующих поразил резкий контраст между Хрущевым и его подчиненными. Брежнев, Суслов и прочие сидели неподвижно, с каменными лицами; Никита Сергеевич, казалось, с трудом мог усидеть на месте, в любой

момент готовый взорваться.

Общение власти с интеллигенцией продолжалось два дня. Поначалу Хрущев старался держаться спокойно и гостеприимно. Он извинился за отсутствие накрытых столов, но пообещал гостям, что в перерывах будет работать буфет, и добавил: «Так что, пожалуйста, угощайтесь». Он похвалил Солженицына и Твардовского и заметил, что сталинские лауреаты, хоть и не были чистыми «лакировщиками», все же, конечно, немало «приукрашивали» действительность. «Мы и сейчас думаем, что Сталин был предан коммунизму», — заметил он; однако «в последние годы жизни Сталин был тяжело больным человеком, страдал подозрительностью и манией преследования»[63].

Как и в декабре, помощники подготовили для Хрущева взвешенную и умеренную речь — и, как и в декабре, он «не взял оттуда ни слова»[64]. Поприветствовав гостей, он сделал такое объявление: «Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал». И уточнил: речь идет о «холуях буржуазной прессы», передавших иностранным корреспондентам содержание его декабрьской речи, результатом чего стали нелестные материалы в органах западной печати. «Я понимаю, вам неудобно так сразу встать и объявиться; так вы во время перерыва, пока мы все тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?»[65]

Во время встречи Михаил Ромм осмелился выступить в защиту фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», вызвавшего горячие споры и неприятие консерваторов. Юный герой фильма видит во сне своего отца, погибшего во время войны, и спрашивает у него, как ему жить. «Сколько тебе лет?» — спрашивает отец. И, услышав, что сыну двадцать два, отвечает: «А мне — всего двадцать», — и исчезает. Смысл этой сцены, объяснил Ромм, в том, что юноша должен жить своим умом, как его отец, который в его возрасте уже сражался и погиб за Родину.

— Не-ет, нет-нет-нет, — запротестовал Хрущев. — Это вы неправильно трактуете, товарищ Ромм, неправильно трактуете. Тут совсем другой смысл… Даже кошка не бросит котенка, а он в трудную минуту сына бросает. Вот какой смысл.

Быть может, в этот момент Хрущеву вспомнился собственный отец — или собственный сын? Ромм попытался защитить свою точку зрения, но Хрущев обиженно перебил его:

— Что я, не человек? Свое мнение не могу высказать?[66]

Еще более экстравагантный диалог произошел после того, как старая приятельница Хрущева Ванда Василевская пожаловалась на двух писателей, осмелившихся в интервью

польской газете с похвалой отозваться о Пастернаке. Вначале она их не назвала, но Хрущев потребовал огласить имена. Это оказались Андрей Вознесенский и Василий Аксенов. В зале раздались крики: «Позор!»; послышались требования, чтобы «преступники» показались народу. На сцену поднялся Вознесенский. Свое выступление он начал с цитаты из Маяковского — но не успел прочесть и двух строк, как его прервали возгласы из президиума:

— Клевета!.. Клеветник!.. Что вы тут делаете?.. Смотрите на советскую власть из туалета!.. Не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери… Мы вас не держим… Вам нравится там, за границей, у вас есть покровители — катитесь туда! Получайте паспорт, в две минуты мы вам оформим. Громыко здесь? Здесь. Оформляйте ему паспорт, пусть катится отсюда![67]

Выступающие на сцене стояли к президиуму спиной, и Вознесенский не сразу понял, кто кричит. Когда он обернулся, ему показалось, что Хрущев «не в своем уме»: он орал, «вращая глазами и брызгая слюной, как в истерическом припадке»[68]. Вознесенский пытался продолжать, но Хрущев не давал ему сказать ни слова. Когда Вознесенский начал декламировать свое стихотворение о Ленине, Хрущев снова взорвался:

— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей? Три с половиной миллиона. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы — ничто, вы только один из этих трех с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто![69] — И добавил: — Вам поможет только скромность. Вскружили голову. Родился принцем. В двадцать девять лет я был ответственным, а вы безответственный![70]

В середине этой инвективы Хрущев вдруг прервался и начал тыкать пальцем куда-то в задние ряды. Ему показалось, что он узнал Аксенова.

— Эй, вы! Вон вы, агент [с ударением на первом, слоге]! Вот тот тип в красном свитере и в очках. Да не вы — он!

Это был не Аксенов. Хрущев указывал на художника Иллариона Голицына, добропорядочного и благонамеренного реалиста.

— Так это вы — Аксенов! — кричал Хрущев. — Я знаю, что вы делаете — мстите нам за смерть своего отца!

Хрущев думал, что отец Аксенова погиб в сталинских чистках. Родители Аксенова действительно провели много лет в лагерях, но оба остались живы: его мать, Евгения Гинзбург, впоследствии рассказала о пережитом в знаменитой книге

«Крутой маршрут».

— Нет, я не Аксенов, — возразил Голицын.

— Как не Аксенов? — проворчал Хрущев. — Кто вы?

— Я… Я — Голицын!

— Что, князь Голицын?

— Да нет, я не князь, я… я — художник Голицын, я… художник-график… я реалист, Никита Сергеевич, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать…

— Не надо! Ну, говорите.

— А что говорить?

— Как — что? Вы же вышли, говорите!

— Я не знаю, что говорить… я… не собирался говорить.

— Но вы понимаете, почему вас вызвали?

— Да… я не понимаю…

— Как — не понимаете? Подумайте..

— Может быть, потому, что я стихотворению товарища Вознесенского аплодировал?

— Нет, — отрезал Хрущев.

— Не знаю.

— Подумайте и поймете, — повторил Хрущев.

— Никита Сергеевич, — пробормотал совершенно потерявшийся Голицын, — можно мне работать?

— Можно, — великодушно разрешил первый секретарь ЦК КПСС[71].

По залу пронесся истерический смех. Пробормотав что-то в адрес людей, которые и одеваться прилично не умеют, и аплодируют не вовремя, Хрущев отпустил «лже-Аксенова» и начал новый абсурдистский диалог, уже с настоящим Аксеновым.

— Вам что, не нравится советская власть?

— Да нет, — отвечал Аксенов. — Я стараюсь писать правду, то, что думаю.

— Вы нам мстите за отца, верно? Поэтому вы клевещете на нас. Что ж, он погиб, мы о нем скорбим.

— Мой отец жив.

— Как это жив? Как это жив?

— Мои родители были репрессированы при Сталине, но после XX съезда реабилитированы. Мы связываем это событие с вашим именем[72].

Эти слова натолкнули Хрущева на еще одну излюбленную и болезненную тему — собственную роль при Сталине. В своей пространной речи он, противореча самому себе, объяснил, что, во-первых, ничего не знал о репрессиях; во-вторых, знал, но, как и все, молчал из страха перед Сталиным; а в-третьих, молчать все же не мог…[73] Речь его становилась все более путаной,

производила впечатление бессвязного бреда. Михаилу Ромму показалось, что Хрущева «подогревали» напитки, которые ставил перед ним каждые десять минут молчаливый помощник и которые Хрущев опрокидывал в себя одним глотком. С тяжким недоумением слушали своего былого кумира либеральные интеллигенты; и даже на лицах консерваторов, у которых были все основания для радости, отражались нескрываемое отвращение и презрение к Хрущеву.

Весной — летом 1963 года Хрущев несколько приободрился. Причиной душевного подъема стало прежде всего примирение с Фиделем Кастро. Однако даже в присутствии Кастро Хрущеву не удавалось скрывать резкие «скачки» настроения, свидетельствовавшие о глубоком душевном неблагополучии.

В январе 1963 года советский лидер, желая восстановить добрые отношения с Кубой, направил Кастро письмо на двадцати семи страницах, в котором приглашал его в СССР. Фидель не сразу принял приглашение, но, прибыв в Москву 25 апреля, пробыл в Советском Союзе полтора месяца и объехал полстраны, от Мурманска до Средней Азии. По воспоминаниям Николая Леонова, офицера КГБ, переводчика у высокого гостя, официальные переговоры Кастро с советским руководством занимали незначительную часть в программе по сравнению с митингами, застольями, осмотром достопримечательностей и неформальными беседами. Хрущев организовал для гостя торжественный прием на Красной площади и парадный автопробег по Москве. Руководители почти все время проводили вместе — в особняке Хрущева на Ленинских горах, на подмосковной даче, в охотничьем заказнике Завидово, примерно в ста километрах от столицы. Сохранилось множество фотографий, на которых Кастро позирует рядом с Хрущевым и членами его семьи, а также снимков Хрущева и его родных, сделанных самим Кастро.

Чтобы сгладить напряжение в отношениях, вызванное Карибским кризисом, Хрущев был готов на все. Кастро хочет увидеть ракетные базы, запретные даже для иностранных коммунистов? Пожалуйста! Орден Ленина для высокого гостя? Носите на здоровье! Во время переговоров о военной помощи Кубе при упоминании о числе единиц поставляемой техники Хрущев приказывал Малиновскому: «Добавьте от меня лично еще один». Получив список вооружений, отправляемых на Кубу, члены Генерального штаба были немало удивлены хаотичному набору танков, артиллерии и других видов оружия[74].

Первого мая Кастро вместе с советскими руководителями

наблюдал с трибуны Мавзолея за праздничной демонстрацией. Затем последовал роскошный обед в Кремле — и во время обеда, на глазах у перепуганных коллег, Хрущев начал вдруг на повышенных тонах спор о том, кто с кем не проконсультировался во время Карибского кризиса. В самый разгар перепалки Леонов опрокинул бутылку, облив коньяком трезвенника Суслова. Это позволило Хрущеву смягчить напряжение, заметив, что «у нас посуда бьется только к счастью».

В Завидове, после охоты на кабанов, двое лидеров уединились в охотничьем домике на острове, чтобы просмотреть переписку Хрущева с Кеннеди во время недавнего кризиса. «Читайте вслух, — приказал Хрущев Леонову — единственному, кто при этом присутствовал. — Переведите для Фиделя все от начала до конца». Через несколько часов Хрущев спросил Кастро: «Вы удовлетворены?» Кастро ответил: «Да», — и больше к этому вопросу не возвращался[75].

Хрущев делился с Кастро своими соображениями по всевозможным вопросам: о причинах советско-китайского конфликта (которые и для самого Хрущева оставались «неясны»), о советско-албанском конфликте (в котором оказался виноват Сталин, «в последние годы жизни уже душевнобольной человек») и даже о роковых чертах собственной страны: «Вот ты думаешь небось, что я, первый секретарь, могу что-нибудь изменить в этом государстве. Черта с два! Какие бы реформы я ни предлагал и ни проводил, в основе своей все остается по-прежнему. Россия — как кадушка с тестом: сунешь в нее руку до самого дна — и вроде ты хозяин положения, а вынешь — и останется едва заметная ямка, да и та на глазах затянется, и останется ноздреватая рыхлая масса»[76].

Чтобы править в России, надо быть безжалостным. «И через сорок лет после Октябрьской революции нам пришлось применять силу» в Тбилиси и в Новочеркасске. Он советовал своему собеседнику «давить [антиправительственную деятельность] быстро и решительно», даже «открытым огнем», и, если нужно, не останавливаться перед уничтожением врага на чужой территории. «Бывают ситуации, — говорил Хрущев, — когда службы безопасности вынуждены уничтожать лидеров контрреволюции в изгнании». Несомненно, он имел в виду убийство агентами КГБ Степана Бандеры, совершенное в октябре 1959 года[77].

А вот с интеллигенцией, напротив, нужно обходиться мягко: «Труднее всего иметь дело с писателями и художниками. Они воображают, что смогли бы управлять государством лучше, чем партия. Они поучают нас, что и как делать, им нравится быть

духовными вождями общества. Но они понятия не имеют о дисциплине. С такими людьми надо быть очень осторожным, не забываться, потому что они только и ждут возможности выставить тебя в дурном свете»[78].

На охоте в Завидове маршал Гречко стрелял лучше Хрущева, а тот в отместку грубо высмеивал его, словно старшина новобранца. Когда Брежнев, председатель Президиума Верхового Совета, вручил Кастро золотую звезду Героя Советского Союза, Хрущев подошел, демонстративно снял награду с широкой груди Кастро и прикрепил ее заново, на сантиметр или два повыше. Однажды на даче, во время стрельбы по мишеням, когда никому не удалось попасть в цель, Хрущев крикнул: «Позовите Леню [Брежнева]! Ни на что другое он не годен, но по тарелочкам стрелять умеет!»[79]

Леонов заметил, что поведение Хрущева «смущало» его коллег. «Это их расстраивало. Это было очевидно. Но они не возражали — только прятались друг у друга за спиной и старались не попадаться ему на глаза»[80].

Даже в июне 1963 года Хрущев продолжал уверять себя, что Карибский кризис окончился его победой. Через неделю после отъезда Кастро он сообщил Президиуму о результатах переговоров с кубинцем. «Будь мы трусами, — говорил он кубинскому лидеру, — неужели стали бы вообще размещать на Кубе ракеты? Разве это трусость? Нет. Разве это поражение? Нет. Это шаг вперед». Конечно, «лучше было бы, если бы нам не пришлось убирать ракеты — это и дураку ясно». Однако «американцы хотели стереть вас с лица земли. Так кто же потерпел поражение? Кто не получил того, чего хотел? Мы добились своей цели: значит, мы выиграли, а они проиграли»[81].

После памятного выступления Хрущева, когда он обрушился на либеральных писателей и художников, консерваторы удвоили свои усилия. Единственный способ их остановить, говорил друзьям Твардовский, — поговорить с Хрущевым; впрочем, он опасался, что и это не поможет. В апреле сталинистский журнал «Октябрь» опубликовал разгромную статью о Солженицыне. «Как они себе это позволяют? — спрашивал себя помощник Твардовского Владимир Лакшин. — Не может быть, чтобы вещь, одобренную Президиумом ЦК и Хрущевым [то есть «Один день Ивана Денисовича»], так спроста стали бы разносить»[82].

В июне состоялся пленум ЦК по идеологии и культуре: на мероприятие, продолжавшееся несколько дней, съехались со всей страны более двух тысяч человек. Поначалу Хрущев старался сохранять равновесие и контроль над собой. Он с похвалой

отозвался о Твардовском, произнес несколько инвектив в адрес Сталина и довольно положительно охарактеризовал состояние российской экономики; однако нервозность его ярко проявилась в раздражительности. Так, заметив, что двое членов ЦК шепчутся во время его речи, Хрущев набросился на них: «Минуточку! Вы что здесь ухмыляетесь? Что вам тут смешно? Вы находитесь на заседании ЦК, надо уметь вести себя прилично… Как вы позволяете вести себя в присутствии членов Центрального Комитета партии! Бе-зо-бра-зи-е!»[83]Разумеется, все остальное время работы пленума те просидели, как каменные.

Но спектакль был еще не окончен. Когда Суслов и Ильичев готовы были подвести итоги, Хрущев вдруг снова вышел к микрофону, заявив, что хочет произнести еще одну небольшую речь. Небольшая речь растянулась на два с половиной часа: касалась она самых разнообразных предметов — от писателей, которых следовало бы исключить из партии, до Мао Цзэдуна, который пытался унизить Хрущева демонстрацией своих способностей пловца. После этого, когда членам ЦК осталось лишь единодушно одобрить принятые на пленуме резолюции, Хрущев в припадке демократического великодушия призвал всех гостей — две тысячи человек — проголосовать вместе с ними. Члены ЦК были неприятно поражены; гости, как вспоминает Михаил Ромм, тоже. «И все поднимают, как один человек, руки за резолюцию, которую никто не читал… Вот такой был человек этот Хрущев»[84].

В июле того же года едва не разразился еще один скандал, на этот раз на ниве кинематографии. В Москве проходил Третий международный кинофестиваль, жюри которого, где из тринадцати человек девять представляли коммунистические страны, присудило первый приз модернистскому, сюрреалистическому фильму Федерико Феллини «Восемь с половиной». Ильичев хотел вмешаться в решение жюри, но опасался международного скандала. Глава Госфильмофонда Алексей Романов тоже не знал, что делать. «Убирайтесь, — заорал Хрущев на пришедшего к нему за советом Романова, — и пришлите мне этот фильм! Я его сам посмотрю, раз уж вы ничего в своем деле не понимаете»[85].

Хрущев смотрел «Восемь с половиной» у себя на даче. Поначалу его сын пытался комментировать фильм, объясняя гениальность Феллини, — но, по словам Сергея, «отец пришел в ярость: „Убирайся и не мешай. Я здесь не для развлечения сижу“». Позже он сознался Сергею: «Я ничего не понял, но международное жюри присудило ему первый приз. Что же я могу сделать? Они в этом разбираются лучше, чем я, на то они и

специалисты. И почему это вечно сваливают на меня? Я уже позвонил Ильичеву и велел ему не вмешиваться. Пусть решают профессионалы»[86].

Что ж, в этом случае Хрущев проявил похвальное здравомыслие. Временами создавалось впечатление, что роль критика искусств, навязанная ему враждующими литературно-художественными лагерями, его тяготит. Консультант ЦК по культуре Георгий Куницын вспоминает случай, когда украинское партийное руководство уволило нескольких киевских чиновников за одобрение фильма Киры и Александра Муратовых «Наш честный хлеб», который партийным боссам показался чересчур либеральным. Не сообщив никому о том, что произошло в Киеве, Куницын показал фильм Хрущеву. Тому фильм понравился. Когда об этом узнали в Киеве, решение было немедленно отменено, и в Москве о нем даже не слышали[87]. С другой стороны, как рассказывает Микоян, консерваторы, такие, как Суслов и Ильичев, восстанавливали Хрущева против либералов, пользуясь его «необразованностью». В результате, заключает Микоян, Хрущев «с удивительной легкостью настраивал против себя интеллектуалов»[88].

Тем же летом, когда известия о том, что в Москве творится какой-то идеологический погром, достигли Запада, советники Хрущева по культуре решили доказать, что это не так. Они организовали в Ленинграде конференцию по современному роману, на которой должны были присутствовать писатели как из коммунистических, так и из западных стран. Конференция проходила под эгидой ЮНЕСКО и «левого» Объединения европейских писателей. В качестве почетного гостя был приглашен Илья Эренбург, ветеран советской литературы, много лет проживший в Европе и имевший прочные культурные связи с Западом. На встрече с интеллигенцией 7 марта от Хрущева досталось и Эренбургу («Вы едите наш русский хлеб, а мечтаете о французских пирожных. Может быть, ваше место там, а не здесь?»[89]) — однако, когда Эренбург отказался участвовать в конференции, Хрущев сам уговорил его поехать.

На встрече с Эренбургом Хрущев держался идеально. Не поучал, не перебивал — спокойно дал выговориться. Предыдущие их столкновения приписал непониманию и дурным советам помощников и с добродушной улыбкой попросил Эренбурга «не держать на него зла». Когда Эренбург выступил в защиту Евтушенко и Вознесенского, Хрущев не стал спорить. Он даже предложил Эренбургу проходить цензуру лично у него: «Мы с вами старики, какая нам нужна цензура?» С усмешкой рассказал, как «поставил на место» китайцев — и буквально просиял, когда

Эренбург заметил, что благодаря разоблачению сталинских беззаконий его имя войдет в историю[90].

Хрущев хотел сам поехать в Ленинград, но потом передумал и вместо этого пригласил небольшую группу писателей (в том числе британцев Энгуса Уилсона и Уильяма Голдинга и французов Алена Роб-Грийе и Натали Саррот) после конференции к себе в Пицунду. Стоял чудесный солнечный август. Хозяин гордо показывал гостям свою виллу, бассейн со стеклянными стенами, в порядке светской беседы клеймил империализм, китайцев и даже своих западных гостей. Закончил он так: «Вы, интеллектуалы, конечно, служите буржуазии и поддерживаете ее, но мы на все это плюем. У нас тоже поначалу не все писатели присоединились к революции, но мы их призвали к порядку. Можете называть нас варварами, но мы в своей политике вам угождать не собираемся. Помните об этом и не пытайтесь заставить нас плясать под свою дудку»[91].

Лидер французских коммунистов Морис Торез заметил Хрущеву, что никто из французских коммунистических писателей в Пицунду приглашен не был. При этих словах, вспоминает помощник Хрущева, «лицо его омрачилось». В результате роскошный обед продолжался мрачно, почти в полном молчании. Помощники Хрущева растерянно переглядывались, не понимая, как им исполнить отрывистый приказ шефа, потребовавшего, чтобы на поэтических чтениях, назначенных после обеда, «никаких буржуев» не было. Им удалось отправить домой лишь одного шведского писателя, еще до обеда узнавшего, что кто-то из членов его семьи внезапно заболел. Сами поэтические чтения, продолжавшиеся сорок минут с перерывом на перекур (в присутствии Хрущева курить не разрешалось), спасли положение. Твардовский прочел смелую антисталинскую поэму «Теркин на том свете», не прошедшую цензуру. Хрущев слушал внимательно, иногда хмурился, но часто улыбался и даже смеялся, а после чтения пожал Твардовскому руку. Несколько дней спустя поэма была опубликована в «Известиях» — но не раньше, чем Хрущев проконсультировался с Игорем Черноуцаном, и тот торжественно заверил его, что ничего антисоветского в стихах Твардовского нет[92].

К середине 1963 года значительно улучшились отношения с Вашингтоном. В июне президент Кеннеди произнес в Американском университете Вашингтона речь, в которой с похвалой отозвался о «многочисленных достижениях русского народа» и признал, что во время Второй мировой войны русские пострадали более всех прочих — «разрушения, постигшие Россию,

для нас были бы равнозначны полному опустошению страны к востоку от Чикаго». И Советский Союз, и Соединенные Штаты находятся «на одной маленькой планете. Все мы дышим одним воздухом. Все мы волнуемся за будущее наших детей. И все мы смертны». Кеннеди призвал к пересмотру отношений с СССР, предложив начать с запрета на испытания ядерных вооружений, и пообещал, что скоро в Москве состоятся советско-американо-британские переговоры на высшем уровне[93].

Для Хрущева речь Кеннеди стала настоящим бальзамом: много позже он назвал ее «лучшей американской речью со времен Рузвельта». Трояновский и другие помощники советовали шефу ответить любезностью на любезность[94]. Несколько дней спустя СССР и США подписали договор об установке прямой телефонной линии для переговоров в кризисных ситуациях. А в последние две недели июля Хрущев, Аверелл Гарриман и англичанин лорд Хейлшем заключили наиболее важное соглашение по контролю над вооружениями со времен начала холодной войны — Договор о запрещении ядерных испытаний в воздухе, под водой и в космическом пространстве.

За те десять дней, пока шли переговоры, Гарриман успел приглядеться к Хрущеву. В апреле Хрущев показался ему «старше своих лет, вялым, уставшим». В июле он, казалось, приободрился; однако Гарриман обратил внимание, как зло тот высмеивал своих генералов, именуя их «умниками», которые на службе только и умеют, что сорить деньгами, а выйдя в отставку, все как один пишут мемуары. За обедом с Гарриманом и венгерским руководителем Яношем Кадаром Хрущев так наскакивал на Гречко (уверяя, что собирается его уволить и заменить каким-нибудь американским генералом), что тот не мог скрыть обиды и злости.

23 июля Хрущев, Брежнев и Кадар вместе с женами неожиданно появились на стадионе в Лужниках, где Гарриман смотрел соревнования по легкой атлетике между советской и американской сборными. Когда после соревнований русские и американцы промаршировали по стадиону рука об руку, на глазах у Хрущева выступили слезы. В тот же вечер он, совершенно игнорируя Кадара, потчевал Гарримана рассказами о Сталине; американец заметил, что, «несмотря на обвинения в адрес Сталина, Хрущев, несомненно, питает к нему определенное почтение»[95].

Во время переговоров Хрущев пробовал прощупать почву для дальнейшего взаимодействия, намекая на заключение между НАТО и странами Варшавского блока договора о ненападении. Он так давил на американцев по этому вопросу, что Гарриман начал

опасаться за ход переговоров. Как писал Хрущев в письме Кеннеди от 27 июля, пакт о ненападении «станет не только важным шагом к нормализации всей мировой ситуации, но и обозначит начало грандиозного поворота в истории современных международных отношений…»[96]. Однако западная сторона возражала, утверждая, что пакт о ненападении сам по себе не исключает возможность агрессии. Самое большее что обещал Гарриман — снова поднять этот вопрос после заключения договора о запрещении ядерных испытаний.

Хрущев неохотно согласился. Он надеялся, что подписывать договор приедет в Москву сам Кеннеди; однако тот прислал вместо себя Раска (с делегацией сенаторов), дав ему указание «поддерживать настрой, установленный Гарриманом», но не предпринимать никаких конкретных шагов.

Торжественная церемония подписания договора в беломраморном Екатерининском зале Кремля смягчила неудовольствие Хрущева — как и последовавший затем грандиозный банкет с яствами, напитками, речами и знаменитой гершвиновской «Love Walked In» в исполнении советского симфонического оркестра. Хрущев пригласил Раска и его спутников в Пицунду, где госсекретарь США проявил чудеса дипломатической обходительности: неизменно проигрывал Хрущеву в бадминтон (хотя был куда моложе и здоровее его), неуклюже барахтался в бассейне, однако, когда речь зашла о Берлине, не уступил ни на йоту[97].

На встрече 5 августа Хрущев показался английскому министру иностранных дел «усталым, но довольным». «Даже Громыко старался улыбаться, — продолжает министр, — и общая атмосфера была удивительно приятной и располагающей»[98]. По словам Сергея Хрущева, его отец был не просто «очень доволен» — он был буквально «счастлив». Счастье его происходило главным образом из уверенности в будущем: отношения с Кеннеди наладились, и впереди их ждали (если Кеннеди изберут на второй срок) шесть лет плодотворного партнерства[99].

Хрущев нуждался в Кеннеди и полагал, что и Кеннеди в нем нуждается. В долгой беседе с Добрыниным 26 августа президент высказался в пользу мер, способных предотвратить внезапное нападение, и за запрет на оружие массового уничтожения в космическом пространстве. 15 ноября Роберт Кеннеди предложил провести еще одну встречу Хрущева с президентом, где оба лидера могли бы «спокойно посидеть два-три дня и все обсудить». «Если бы Кеннеди остался жив», замечает Добрынин, отношения между двумя странами, несомненно, улучшались бы и дальше, тем более что «Хрущев не хотел повторения неприятной и

бесполезной встречи 1961 года в Вене». «Двух неудачных саммитов» он позволить себе не мог; ему «необходимо было продемонстрировать [советской] общественности успехи на дипломатическом фронте»[100].

22 ноября, окончив вечернее чтение документов, Хрущев уже поднимался к себе в спальню, как вдруг зазвонил правительственный телефон. Звонки в такое время случались нечасто, и, как правило, Хрущев не объяснял родным, кто и по какому поводу звонил. Однако сейчас, повесив трубку, он сообщил: из США пришло известие о покушении на президента Кеннеди. Сидя за столом вместе с Ниной Петровной, Сергеем и Леной, он ждал, когда перезвонит Громыко. Хрущев приказал ему связаться с послом и проверить информацию, однако растерявшийся Громыко, вместо того чтобы позвонить Коулеру, пытался связаться через океан с Добрыниным. Наконец ошибка была исправлена, и в особняк на Ленинских горах пришла страшная весть: президент убит.

Хрущев был потрясен. Трояновский заметил, что он воспринял эту новость как «личный удар». На следующий день Хрущев приехал в Спасо-Хаус, чтобы расписаться в книге соболезнований; многие видели, что по щекам его текли слезы. К официальному письму с выражением соболезнования он присовокупил личную записку к вдове президента[101].

Глава КГБ Семичастный заверил Хрущева, что предполагаемый убийца Кеннеди Ли Харви Освальд, почти три года проживший в СССР, не работал на советскую разведку. Хрущев подозревал, что убийство организовано реакционными кругами США для прекращения разрядки. В рапортах КГБ говорилось, что новый президент Линдон Джонсон «придерживается консервативных и реакционных взглядов»; согласно советским источникам, кто-то из друзей семьи Кеннеди отзывался о Джонсоне как о «калифе на час», «неспособном реализовать незаконченные планы Кеннеди»[102]. На самом деле, возможно, Джонсон был непрочь установить добрые отношения с Москвой, однако его отвлекали другие проблемы — прежде всего выборы и Вьетнам. Кроме того, СССР относился к нему без той теплоты и доверия, которые снискал Кеннеди. С Кеннеди, говорил Хрущев сыну, я готов был идти на риск; но теперь, когда у власти Джонсон, «все пойдет по-другому»[103].

Вместе с надеждами на советско-американскую разрядку рухнули и надежды на улаживание отношений с Мао. После нелегкой зимы, в продолжение которой Москва и Пекин обменивались обвинениями на различных партийных конгрессах,

решено было организовать переговоры, которые начались в Москве 5 июля[104]. Переговоры эти представляли собой нечто среднее между ритуальным танцем, во время которого каждая сторона произносила инвективу в адрес другой, а затем терпеливо ждала, пока другая ответит тем же, и бурной склокой, во время которой Хрущеву аукнулись его обвинения в адрес Сталина. «Убийца, преступник, бандит, дурак, идиот, дерьмо — сколько грязных и бранных слов мы слышали из уст товарища Хрущева!» — восклицал, китайский делегат Кан Шэн. Неужели Хрущев полагает, что «дурак» сумел бы обеспечить страну ядерной бомбой? Могли ли коммунисты всех стран позволить «куску дерьма» собой руководить? Хрущев обвиняет Сталина во всех возможных грехах — но неужели сам он «абсолютно чист»?[105]

Дэн Сяопин, глава китайской делегации, держался спокойнее и порицал Хрущева в основном за тщетное стремление к разрядке. Всякий раз, «хватаясь за соломинку», предложенную ему Эйзенхауэром или Кеннеди, Хрущев «выходил из себя от радости и от гнева» на братские компартии, не желавшие следовать за ним. Однако, продолжал Дэн, «когда ваша ошибочная политика приводила к поражениям, вы впадали в ярость… и жертвовали интересами всего социалистического лагеря, чтобы ублажить империалистов и реакционеров…»[106].

20 июля советско-китайские переговоры прервались. А несколько дней спустя был заключен Договор о запрещении ядерных испытаний. Пекин уже много раз выступал против подобных договоров, ограничивающих свободу Китая в совершенствовании ядерной бомбы, и теперь Мао не стеснялся в выражениях, именуя договор «грязным трюком», «обманом» и «предательством». СССР отвечал соответственно. Началась настоящая пропагандистская война, затронувшая и другие компартии и скоро перекинувшаяся на международные организации. Хрущев и Мао перебрасывались бранью и личными обвинениями; поднимался даже взрывоопасный вопрос о спорных участках советско-китайской границы[107]. Однако быстро нараставшее отчуждение имело и свои положительные стороны. Во-первых, Хрущеву не приходилось больше беспокоиться о том, как бы угодить Пекину. По мнению Трояновского, разрыв с Китаем «дал ему гораздо больше пространства для поисков взаимопонимания с Соединенными Штатами и другими западными странами»[108]. Впрочем, наладить взаимопонимание Хрущев уже не успел.

Во-вторых, разрыв был «выгоден» тем, что коллеги волей-неволей были вынуждены сплотиться вокруг Хрущева — даже

если винили в происшедшем его самого. В начале 1963 года посол СССР в Китае Червоненко был «вызван на ковер» за излишнюю мягкость. Вместо того чтобы отчитать проштрафившегося посла, Хрущев поручил это Козлову: тот вежливо выслушал Червоненко, в сущности, совершенно его не критиковал, но Хрущеву потом доложил, что «задал ему хорошую трепку». Мораль этой истории, заключает Червоненко, в том, что Козлов и его коллеги «не разделяли позиции Хрущева по Китаю. Почему они ему об этом не говорили? А это другой вопрос»[109].

Разумеется, возражать в открытую Хрущеву подчиненные боялись; однако он чувствовал их недовольство. В декабре 1963 года на пленуме, посвященном разрыву советско-китайских отношений, он объяснил, почему, по его мнению, китайцы так «наседают на Хрущева» (он говорил о себе в третьем лице): «Наверное, здесь мама виновата [то есть мать Мао Цзэдуна. — *У. Т.*]. Если мама ума не дала, никто не добавит *(смех в зале)*, даже школа… Тут, может быть, некоторые товарищи со мной не согласятся, — продолжал Хрущев, — но я не хочу вступать в спор, просто выражаю свое мнение». Китайские руководители «думают: вот пройдет пленум ЦК, прочитают они решение и вдруг увидят, что пленум постановил вывести Хрущева из состава ЦК или что-нибудь другое в этом роде. Что можно сказать по этому поводу? Товарищи! Мне уже идет семидесятый год. Я не для себя работаю, а для партии, для народа. Партии и народу решать — быть мне на этом посту или нет». Однако «есть еще, как говорится, порох в пороховницах! *(Все встают. Бурные продолжительные аплодисменты.)*»[110]

Суслов не жалел красноречия для защиты Хрущева: хотя китайцы и стараются «поссорить Хрущева с Центральным Комитетом», их «грязная игра» обречена на неудачу[111]. Девять месяцев спустя Суслов будет председательствовать на пленуме, отправившем Хрущева в отставку.

Летом 1963 года Хрущев открыл для себя очередную панацею: минеральные удобрения. Американцы производят 35 миллионов тонн удобрений на 118 миллионов гектаров пахотной земли, а Советский Союз на свои 218 миллионов гектаров — только 20 миллионов тонн. Необходимо в ближайшие четыре года увеличить производство удобрений вчетверо. Повышения мощности существующих заводов для этого мало — нужно построить 60 новых. Конечно, шесть миллиардов рублей — деньги немалые; однако освоение целины стоило стране 5,3 миллиарда, и эти вложения в конечном счете себя оправдали[112]. Через несколько дней после изложения этой программы в

Президиуме Хрущев принимал госсекретаря США по сельскому хозяйству Орвилла Фримена. В беседе с ним он (без всякого утверждения своих планов Президиумом и пленумом) повысил нужное количество удобрений до сотни миллионов тонн, а вкладываемые средства — до 10 миллиардов рублей. Кроме того, Хрущев благодушно поведал американцу, что планирует дальнейшее сокращение расходов на оборону[113].

Той же осенью почти по всей территории России разразилась засуха. Через два года после обещаний молочных рек с кисельными берегами люди выстроились в очереди за хлебом. В центральные газеты полетели взволнованные письма, но Брежнев и прочие боялись показывать их «старику»[114]. Когда, наконец, на совместном обеде членов Президиума Косыгин решился открыть Хрущеву глаза на положение в стране, тот поначалу спокойно продолжал есть, как будто не понял; взорвался он, когда Косыгин предложил закупить зерно за границей. На эту меру пришлось пойти, когда министр сельского хозяйства доложил, что страна буквально осталась без хлеба: Хрущев закупил 6,8 миллиона тонн пшеницы в Канаде, 1,8 миллиона тонн в Австралии, почти 2 миллиона в Соединенных Штатах и даже 400 тысяч тонн в нищей Румынии[115].

Всю осень Хрущев метался в поисках выхода. 5 сентября он преподнес Президиуму записку, в которой клеймил «варварское отношение к удобрениям» и «нашу бесхозяйственность, неповоротливость, неумение распорядиться своими богатствами [минеральными удобрениями][116]. То, что он увидел несколько дней спустя в Волгодонском колхозе, его «не порадовало». Проблема, жаловался он местным чиновникам, в том, что «в сельском хозяйстве нередко каждый профан может не только сам работать, где ему хочется, но и берется учить других, хотя сам в деле толком ничего не понимает»[117]. На следующей остановке, в Краснодаре, Хрущев обнаружил, что местные колхозники нерационально расходуют удобрения: «Это невероятно для американского фермера. Он же деньги платит за удобрения и знает: если их не использует, то, как говорится, вылетит в трубу»[118]. Некоторое время спустя на столах у членов Президиума появилась новая записка, один из пассажей которой звучал зловещим предсказанием: многие руководители колхозов и совхозов «изрежили себя» и не понимают, что им давно пора уступить место молодым[119].

Урожай 1963 года был катастрофически низок: всего 107,5 миллиона тонн зерна (в 1958-м урожай составлял 134,7 миллиона тонн). Целинные земли дали самый низкий урожай за восемь лет, хоть площадь их с 1955 года и увеличилась на десять

тысяч гектаров. В Кремле всерьез подумывали о введении карточек[120]. Однако и в феврале 1964-го Хрущев продолжал уповать на «чудотворцев» вроде Трофима Лысенко и Росуэлла Гарста и клеймить «дубиноголовых» министров[121].

«Отец не понимал, что же он делает не так, — писал Сергей Хрущев. — Нервничал, сердился, бранился, искал выхода — и не находил. Возможно, где-то в глубине души, в подсознании, он начинал понимать, что проблема — в самой системе; однако изменить своим убеждениям не мог»[122].

Впрочем, у Хрущева еще сохранились надежды на будущее. Он увлекся идеями харьковского экономиста Евсея Либермана, статьи которого вдруг начали появляться в «Правде»[123], и Ивана Худенко, председателя колхоза в Казахстане, который ввел у себя контрактную систему, увеличив производительность буквально за один день. Кроме того, Хрущев подумывал о введении гласности и о выборах в органы власти из нескольких кандидатов[124]. Во время визита в Югославию в конце лета 1963 года он проявил интерес к югославскому «самоуправлению», основанному на «рабочих советах». Однако, когда Тито рассказывал гостю о югославской экономической модели, Хрущев слушал его невнимательно: куда больше его интересовала новая игрушка — карманные часы в виде фотоаппарата[125]. В августе 1963-го, во время встречи с правительством Украины в Межгорье, на вилле, где он жил в тридцатых — сороковых годах, Хрущев держал при себе включенный переносной радиоприемник, постоянно вертел ручку настройки, слушал новости, которые передавали западные радиостанции, а затем пересказывал изумленным собеседникам то, что услышал[126].

Тем же летом, проезжая мимо городка, предназначенного для обслуживания недавно завершенной Кременчугской гидроэлектростанции, Хрущев заметил у дороги табличку, гласящую, что городу присвоено название «Хрущев». При Сталине называть населенные пункты в честь руководителей страны было обычной практикой, но Хрущев всегда горячо ее осуждал. На этот раз, впрочем, он промолчал — и только в последний момент, уже садясь на теплоход в Днепропетровске, вдруг взорвался: «Вы разве не читали резолюций Центрального Комитета?! Или думаете, что они для вас необязательны?! Я настоял на запрете называть города в честь руководителей. И что же я здесь вижу? Свое имя! Вы понимаете, в какое положение вы меня поставили?»[127]

Но местные руководители знали, что делают. И в прежние годы Хрущев легко поддавался на лесть: теперь же это искушение сделалось для него непреодолимым. Когда помощники показали ему льстивый документальный фильм под названием «Наш

Никита Сергеевич», рисующий его биографию в житийных тонах, он просмотрел фильм в молчании, не стал его хвалить, но и не запретил к показу[128].

В начале мая 1964 года Хрущев поехал в Египет на торжественное открытие Асуанской плотины. Перед отъездом он принял в Москве египетского журналиста и доверенного человека Насера Мохаммеда Хейкала, которого «шеф» (так называл своего тестя Аджубей) хотел расспросить о Египте. Хейкал провел целый день у Хрущева на даче и еще четыре дня — с ним на теплоходе, плывущем в Александрию. «Спрашивать буду я, а не вы», — пообещал Хрущев — однако вместо этого без перерыва говорил обо всем на свете, начиная с победы при Суэце и кончая действиями Сталина в годы войны. На третье утро плавания он наконец задал Хейкалу вопрос о сельском хозяйстве, однако почти сразу прервал его: «Все это ерунда. Вы попусту тратите время. Знаете, что вам нужно? Химические удобрения — вот ответ!» И еще гидропоника, вполне способная заменить орошение пустыни: «Не нужно вам орошать пустыню. Просто расставьте контейнеры с водой. Как вы думаете, президент Насер знает о гидропонике? У меня есть об этом статья и фильм, могу ему прислать. Это вам поможет лучше любой плотины!»[129] Только на четвертый день пути Хрущев наконец начал задавать вопросы о религии, языке, обычаях и политике Египта.

В перерывах между беседами с Хейкалом Хрущев готовился к переговорам с Насером. Другие члены делегации умирали от желания поиграть в домино, но в его присутствии не осмеливались. «Игры любого рода отец не одобрял, — вспоминает Сергей Хрущев, тоже входивший в состав делегации. — Считал их пустой тратой времени. На бильярд, домино или карты у него никогда не было времени». Сергей вспоминал, как в другой поездке Брежнев, Подгорный, Гречко и другие доставали домино, едва Хрущев скрывался у себя в каюте, и прятали, как только он оттуда выходил[130].

В прошлом между Москвой и Каиром существовали трения, и Хрущев опасался, что его примут без особой пышности. Однако прием превзошел его ожидания: когда «Армения» вошла в порт и Хрущев увидел многотысячную толпу, собравшуюся на причале, на глаза его навернулись слезы. Переговоры с египтянами прошли не вполне успешно, однако все разногласия (Насер хотел получить больше денежной и военной помощи, чем могла себе позволить Москва; Хрущев требовал, чтобы Египет жил в мире с соседями) померкли перед торжественным открытием плотины. Хрущев и Насер нажали кнопку; потоки нильской воды с

громовым ревом рванулись вперед; все высокопоставленные гости (в том числе президенты Ирака, Йемена и Алжира) получили памятные золотые медали. Хрущев гордо принял «Ожерелье Нила» — высшую награду ОАР. В ответ он наградил Насера и маршала Абделя Хакима Амера звездами Героев Советского Союза. В октябре 1964 года Дмитрий Полянский присовокупил к прочим прегрешениям Хрущева и то, что тот вручил высшую советскую награду человеку, отправлявшему коммунистов в концлагеря[131].

Большую часть времени Хрущев наслаждался поездкой. Он с готовностью играл роль благодетеля, одаривая благодарный египетский народ помощью и добрыми советами, а антикоммунистических лидеров — например, иракского президента Арефа — с удовольствием ставил на место. Египетские оазисы напоминали ему рай — как представлял он его себе мальчишкой на уроках в церковно-приходской школе. Однако стояла невыносимая жара, и вид Нила с самолета наводил на Хрущева тоску: позже он вспоминал, что вид реки посреди «огромного безводного пространства» напомнил ему о смерти[132].

К концу визита многие начали замечать, что Хрущев стал раздражителен и груб. Недовольный тем, что Ареф отправляется в круиз по Красному морю, он рассказал анекдот времен Русско-японской войны. На одном корабле капитан был «дурак и мерзавец», а его помощник — хороший моряк и разумный командир, всеми любимый. Когда корабль затонул, матросы радовались гибели капитана и оплакивали гибель его помощника. Вдруг пришло известие, что капитан выжил. «Знаете, что сказали матросы? — продолжал Хрущев. — Золото тонет, а дерьмо плавает!» И, словно опомнившись, поспешно добавил: «Я, конечно, не говорю о присутствующих»[133].

Визит длился почти три недели. Несколько дней Хрущев провел в летнем дворце короля Фарука в Александрии. Однажды за обедом он вдруг воскликнул: «А что это все молчат?! Как-то скучно у нас! Где музыка?.. Вы играйте», — приказал он Громыко, протягивая ему тарелку и барабаня по ней вилкой. Затем обернулся к Гречко: «А вы, маршал, танцуйте!» Громыко со слабой улыбкой взял тарелку; на лице Гречко отразились смятение и обида. Эта сцена странно напоминала последние годы жизни Сталина, когда тот издевался над Хрущевым, заставляя его танцевать[134].

Что-то глодало Хрущева изнутри. Еще до отъезда в Ялту Хейкал был поражен тем, как он «полушутя-полусерьезно» высмеивал своих коллег. Когда киевский партийный босс Петр

Шелест торжественно заверил, что обо всем позаботится в его отсутствие, Хрущев оборвал его: «Товарищ Шелест, вы так говорите, словно я не вернусь… Но я вернусь, и когда вернусь, вы мне дадите полный отчет…»

Несколько раз в Египте Хрущев называл себя «простым мужиком». Ел и пил он действительно по-мужицки — однажды умял в один присест шесть больших пирожных, хотя дочь Рада шепотом умоляла его остановиться, в другой раз налил суп в соусницу и выхлебал без помощи ложки. Однако в день отъезда из Египта Хрущев признался, что огорчен, узнав, что Хейкал описал его в очерке как «простого крестьянина».

— Но, господин председатель, — возразил Хейкал, — вы же сами говорили, что этим гордитесь!

— Вы написали, что я похож на мужика из романов Достоевского. Почему Достоевского, а не Толстого?

Едва ли Хрущев так хорошо знал обоих авторов, чтобы сравнивать концепцию изображения народа у того и другого. Скорее, Толстому, «зеркалу русской революции», он доверял, а вот от Достоевского — подозрительного «реакционно-мистического писателя» — не ждал для себя ничего хорошего.

25 мая Хрущев покинул Египет, а уже 16 июня отправился в поездку по странам Скандинавии. Позже он признавал, что эта поездка «не имела особого политического значения». Поехал он туда главным образом потому, что этот запланированный визит уже несколько раз откладывался и оттягивать его дальше было бы неудобно. «Погода стояла солнечная, — вспоминает Аджубей, — однако что-то грустное чувствовалось в этом путешествии». Хрущев был странно рассеян: всегда чрезвычайно чувствительный к тому, как его принимают, теперь он не обращал внимания на церемониал. В Швеции его поначалу не хотели приветствовать двадцать одним оружейным залпом, поскольку официально Хрущев не являлся главой государства, однако советские дипломаты настояли на протоколе встречи на высшем уровне. Когда «Башкирию» при входе в стокгольмский порт приветствовал слитный гром церемониальных выстрелов, Хрущев спросил: «Чего они палят?» — и, не дожидаясь окончания канонады, скрылся у себя в каюте[135].

Речам, которые произносил Хрущев в Скандинавии, недоставало обычной энергии и огня. Ритуальный отчет перед советским народом по возвращении звучал скучно и вяло. В мемуарах глава о путешествии в Скандинавию напоминает рассказ обыкновенного туриста: Хрущев рассказывает, как побывал на судостроительном заводе и как Нина Петровна, по

обычаю, разбила о борт только что отстроенного корабля бутылку шампанского; о том, что дочь датского короля — «совсем девчонка, и, я бы сказал, очень красивая», и о том, что человек, встретивший его у дверей королевского дворца в Осло, «в военном френче цвета хаки», проведший Хрущева в кабинет и предложивший ему кресло, оказался королем. «А внешне выглядел так, что его можно было принять за садовника», — удивляется Хрущев[136].

Официальные стенограммы бесед Хрущева с первыми лицами государств также не вдохновляют. Так, королю Дании «Н. С. Хрущев рассказывал о замечательных условиях для охоты в различных регионах СССР». Королева Ингрид и наследница трона принцесса Маргрете беседовали с высоким гостем «о состоянии советского театра, музыки и балета»[137]. Даже те важные уроки, которые он получил в Скандинавии, оставили горький привкус. И много лет спустя Хрущев, закрывая глаза, видел перед собой сельскохозяйственные «чудеса» маленькой Дании. «Да, я понимаю, что это чудеса — для нас, — добавляет он, — а для других стран тут уже давно завоеванные позиции, и никаких чудес нет». В Норвегии он понял, почему местные коммунисты столь непопулярны. «Дело в том, — объяснили ему, — что у нас многие рабочие имеют дома, морские катера, другую собственность»[138].

Хрущев начал подумывать об отставке: он часто заговаривал об этом и дома, и в Кремле. «Мы — старики, свое отработали, — говорил он коллегам по Президиуму. — Пора уступить дорогу другим. Надо дать молодежи шанс поработать». Но те полагали, что Хрущев шутит или проверяет их лояльность, как любил делать в конце жизни Сталин. Не испытывая никакого желания уходить на пенсию, они отвечали: «О чем вы говорите, Никита Сергеевич? Вы прекрасно выглядите! Вы гораздо крепче, чем большинство молодых».

Хрущева, несомненно, волновал вопрос о наследнике. В Советском Союзе не существовало установленной процедуры передачи власти. После смерти Ленина и Сталина разворачивались битвы за власть, потрясавшие всю систему. Ограниченный срок пребывания у власти и четко разработанная процедура смены лидеров могли бы помочь делу, но ограничили бы самого Хрущева. Он мог бы попытаться вырастить себе преемника — но наследник, скорее всего, начал бы угрожать его собственной власти. А попытка снизить такую опасность, избрав двух потенциальных наследников, соперничающих друг с другом, грозила масштабной борьбой за власть после его смерти.

Первый заместитель Хрущева Алексей Кириченко уже проявил агрессивность и нетерпимость к возможным соперникам. Когда он попытался самостоятельно перевести Шелепина из Москвы в Ленинград, Хрущев взорвался. Стуча кулаком по столу, он орал на него по телефону: «Ты что?! Эта номенклатурная должность не обсуждалась! Ленинград — это моя личная номенклатура!..»[139]

За Кириченко шел Фрол Козлов. Этот бывший инженер-металлург, ставший партийным боссом, обращал на себя внимание тщательно завитыми светлыми волосами и безупречным костюмом. «Он все-таки не такая деревенщина, как мы», — замечал Хрущев Гарриману в 1959 году[140]. По воспоминаниям его потенциального соперника Шелепина, Козлов был «очень ограниченный человек. Единственное сильное место — голосовые связки… Он вообще не работал. Придешь к нему — на столе ни бумаги, ни карандаша нет — чисто! И это второй человек в партии!» Микоян считал Козлова «неумным человеком, просталински настроенным реакционером, карьеристом»[141].

Вплоть до начала 1963 года Козлов был послушным орудием Хрущева, но с этого времени, как вспоминает Сергей Хрущев, «начал действовать относительно самостоятельно». К этому времени, по рассказу Петра Демичева, другие члены Президиума смотрели на Козлова как на второго человека в партии. Никакой организованной оппозиции не существовало: напротив, вспоминает Сергей, «отцу Козлов нравился… То, что он иногда спорил с отцом и возражал ему, вызывало у отца не раздражение, а уважение»[142]. Однако Козлов временами допускал промахи, как, например, в мае 1963 года, когда позволил себе включить в ритуальное приветствие КПСС союзным коммунистическим партиям по случаю Первого мая намек на изменение отношений с Югославией. Хрущев в это время отдыхал в Пицунде: там он и заметил, что Югославия в документе именуется страной, «строящей» социализм, а не «заложившей основы социализма». Различие кажется ничтожным, однако в свете стремления Хрущева всемерно укрепить отношения с Тито оно имело большое значение.

В присутствии Сергея Хрущев позвонил Козлову и потребовал исправить фразу, однако наткнулся на возражения. В какой-то момент «отец начал кричать на Козлова, обвинял его в пристрастном отношении…»[143]. И, конечно, употреблял самые резкие выражения. Шелепин вспоминает сцену на охоте в Беловежской Пуще: Хрущев и Козлов выстрелили одновременно в одного и того же кабана, которого загонщики выгнали прямо на них. Каждый был уверен, что кабана убила именно его пуля, и ни

один не хотел уступать. Наконец Хрущев приказал разрезать кабана и достать пули. Когда выяснилось, что подстрелил кабана именно он, Хрущев потребовал пулю себе, сохранил ее и на заседаниях Президиума порой доставал из кармана, постукивал ею по столу и как бы невзначай вертел перед носом у Козлова[144].

Однако вскоре — неизвестно, вследствие каких-либо событий или в результате давних недомоганий — Козлов перенес тяжелый инсульт, и вопрос о нем как о преемнике отпал сам собой. Нужно было искать другого кандидата. Шелепин, говорил Хрущев сыну, не готов принять власть, первый секретарь ЦК компартии Украины Николай Подгорный — «узколобый человек», да и Брежнев «тоже не годится». У него, правда, имеется опыт практической и аппаратной работы, однако «перед войной, когда он был секретарем в Днепропетровской области, наши ребята прозвали его „балериной“, потому что им любой мог вертеть, как хотел».

Борьба за власть была самым священным кремлевским секретом. Никогда прежде — и никогда после — этого разговора Хрущев не обсуждал с сыном кадровые проблемы. «Как же, должно быть, одиноко ему было, — замечает Сергей, — если в конце концов, не выдержав, он поделился этими мыслями со мной!»

В тот же вечер Хрущев снова заговорил об отставке: «Силы у меня уже не те, что были, пора уступить дорогу молодым. Дождусь XXIII съезда — и подпишу заявление об уходе на пенсию… Когда я вошел в Политбюро, мне было сорок пять. Хороший возраст для работы: сила еще есть, и много времени впереди. А в шестьдесят лет о будущем уже не думаешь. Пора внуков нянчить»[145].

Однако решиться на уход Хрущев так и не смог. Вместо этого, по словам Микояна, он «снова и снова говорил при всех о том, что необходимо расширить Президиум, ввести в него молодежь». Эти разговоры очень напоминали его коллегам сталинские преобразования 1952 года; они опасались, что следующим шагом может стать их увольнение. «Он как будто нарочно создавал себе врагов», — замечает Микоян[146].

Семидесятый день рождения Хрущева ознаменовался новыми потоками лести: на радио — бесконечные поздравления от советских граждан и иностранцев, в журналах и газетах — восхваления «великого десятилетия», на груди — еще одна золотая звезда Героя Социалистического Труда[147]. Рано утром 17 апреля охранники внесли в гостиную хрущевского особняка огромную радиотелевизионную консоль с табличкой: «От Ваших

товарищей по работе в Центральном Комитете и Совете Министров». Подарок был нарушением собственных правил Хрущева. «Никаких подарков!» — требовал он обычно. Но ни родные, ни коллеги этому правилу не подчинялись, прекрасно зная, что возмущается и ворчит он лишь для виду.

С девяти утра начали появляться гости: родные, члены Президиума, секретари ЦК. Остаток дня предстояло посвятить публичному празднованию, а пока товарищи могли поздравить Хрущева в частном порядке. Не смея достать сигареты (Хрущев не терпел курящих), они спокойно поджидали появления шефа — в элегантном темном костюме, с тремя звездами Героя Социалистического Труда на груди. Все расселись за большим столом в столовой, и начались речи. Брежнев как председатель Верховного Совета (и формальный глава страны) зачитал поздравительный адрес: «Дорогой Никита Сергеевич! Мы, ваши товарищи по оружию, члены и кандидаты в члены Президиума и секретари Центрального Комитета, поздравляем Вас, нашего лучшего друга и товарища, с семидесятилетним юбилеем».

Смахнув слезу, Брежнев обнял Хрущева и преподнес ему только что прочитанный адрес — в красивой кожаной папке, с подписями всех гостей. Во время пространных тостов Брежнев и Суслов заметно нервничали. Немного посидев за столом, гости заявили, что не хотят утомлять Никиту Сергеевича, и начали расходиться, хотя, по словам Петра Шелеста, «чувствовалось по настроению Хрущева, что он не хотел и не ожидал такого поспешного удаления» гостей[148].

Фотограф, присутствовавший на этом неформальном собрании, запечатлел выразительную сцену: Хрущев, поднявшись из-за стола, с бокалом в руке обращается к своим коллегам. Говорит он, по-видимому, уже долго. Напротив сидит Брежнев со скромно опущенными глазами: по лицам Нины Петровны, дочери Хрущева Елены и Анастаса Микояна ясно видно, что настроение у них отнюдь не праздничное[149].

К этому времени Хрущева уже едва терпели. Еще в начале марта Брежнев и Подгорный начали «прощупывать» членов Президиума[150]. В июне Брежнев строил планы ареста Хрущева сразу после его возвращения из Скандинавии[151]. Однако он и его сподвижники опасались судьбы, которая постигла соперников Хрущева в 1957 году, и потому решили заручиться поддержкой большинства членов Президиума, а затем действовать наверняка.

У Брежнева было много общего с Хрущевым: скромное происхождение, недостаток образования и общей культуры (как рассказывают, что якобы он не читал ничего, кроме официальных

документов и журнала «Крокодил»), обаяние, открытая и дружелюбная манера общения. Брежнев не отличался сильным характером, но был тщеславен, и скромная роль формального главы государства его не удовлетворяла. Кроме того, его выводили из себя снисходительно-пренебрежительное отношение Хрущева и его постоянные насмешки. В июле 1964 года Хрущев сделал Брежнева и Подгорного своими заместителями, однако продолжал насмехаться над ними, в частности, спрашивал других членов Президиума (которые, конечно, передавали эти слова Брежневу и Подгорному): «Неужели вы всерьез считаете, что эти двое способны управлять страной?» Брежнев скрывал свое негодование и усиленно льстил Хрущеву, доходя даже до восторженно-подхалимских записей в собственном календаре (например, «Встреча с Никитой Сергеевичем — жду с нетерпением») на случай, если туда кто-нибудь заглянет[152].

Пленум ЦК в июле 1964 года обернулся новой ступенью в падении Хрущева. Руководитель страны вел себя так, что ни он сам, ни его наследники не решились опубликовать документы пленума, и в советский фольклор он вошел как «пленум, которого не было»[153]. Хрущев потребовал, чтобы Академия сельского хозяйства была перенесена из Москвы в деревню, «поближе к практике»[154]. Призвал распустить Академию наук, блистательная история которой восходит к XVIII столетию. Первый секретарь Московского горкома Николай Егорычев сидел в зале рядом с президентом академии Мстиславом Келдышем. «Это невозможно! — бормотал Келдыш. — Невозможно! Я уйду в отставку, но на это не соглашусь!» Вскоре после пленума Егорычев спросил Суслова, вместе с которым летел в Париж, действительно ли руководство обсуждало решение о роспуске Академии наук. «О чем вы говорите, товарищ Егорычев?! — воскликнул обычно невозмутимый Суслов. — О чем вы говорите?! Конечно, нет. Нет, нет, нет!»[155]

Из академиков Хрущев уважал только печально знаменитого Лысенко. Вскоре после смерти Сталина он было поверил, что Лысенко — шарлатан и «замешан в грязных делах»; однако тот вновь нашел путь к его сердцу, выиграв спор с другим академиком, Николаем Циниым. Оба утверждали, что нашли способ увеличить производство зерновых. Соревнование происходило на колхозном поле неподалеку от дачи Хрущева: он регулярно навещал колхоз и узнавал, как растут посевы. У Цицина пшеница взошла раньше, но у Лысенко она была выше и качественнее[156].

Как «эксперимент» это мероприятие было бессмысленно — за посевами не велось научного контроля; однако «результаты»

убедили Хрущева и заставили его поверить, что Лысенко способен на чудеса. В апреле 1963 года двое лысенковцев получили Ленинскую премию, причем Хрущев заставил комитет, присуждавший премии, изменить свое первоначально негативное решение. В июне он попытался пропихнуть троих последователей Лысенко в Академию наук. Однако известные физики Андрей Сахаров, Игорь Тамм и другие, выступив на заседании академии, обвинили Лысенко и его последователей в шарлатанстве, а одного из номинантов — в доносе на великого генетика Николая Вавилова, погибшего в ГУЛАГе, и номинирование не состоялось[157].

Такова была подоплека вспышек ярости Хрущева на июльском пленуме. Однажды вечером на даче Сергей и Рада Хрущевы (Рада имела биологическое образование, хотя потом окончила журфак и работала в журналистике) попытались поговорить с отцом о Лысенко. Они сидели на веранде с видом на Москву-реку, когда Хрущев, ни к кому не обращаясь, проворчал, что Лысенко преследуют всякие «антинаучные идеалистические вейсманисты-морганисты». Возятся с какими-то мухами, только время зря тратят: то ли дело Лысенко — он ставит опыты сразу на коровах! В ответ Рада начала защищать исследования на дрозофилах. Вместе с Сергеем она высмеяла заявление Лысенко о том, что «генов никто не видел». Атомов тоже никто не видел — но это не помешало СССР создать атомную бомбу! То, что произошло дальше, Сергей описывает так: «Этот разговор по-настоящему рассердил отца. Он никогда не кричал на родных, никогда не ругался и не повышал голос… Но тут он вспылил и принялся на повышенных тонах повторять старые, хорошо известные нам аргументы: что нечистоплотные люди используют нас в своих целях, а мы ничего не понимаем и лишь повторяем их слова. Наконец, совершенно выйдя из себя, заявил, что носителей чуждой идеологии у себя в доме не потерпит и если мы не передумаем, можем к нему на порог не являться». Присутствовавший при этом Серго Микоян добавляет, что Хрущев топал ногой, стучал кулаком по столу и приказывал дочери «заткнуться»[158].

Одно из первых правил тирана — не покидать столицу, если в ней остаются соперники. Однако в 1963 году Хрущев провел вне Москвы 170 дней, а в первые девять с половиной месяцев 1964 года — 150[159]. В середине июля 1964-го он отправился в Варшаву на празднование двадцатилетия Польской Народной Республики. Половину августа провел в путешествии по сельскохозяйственным регионам, от Саратовской области до

Средней Азии. Сделав короткую передышку, с 27 августа по 4 сентября побывал с визитом в Чехословакии.

Спичрайтеру Федору Бурлацкому, бывшему в Чехословакии вместе с ним, Хрущев показался «счастливым, всем довольным, на подъеме сил»[160]. Андрей Шевченко лучше изучил своего шефа. Однажды во время августовского тура по провинции Хрущеву позвонили среди ночи из Москвы: на Кипре начались беспорядки, и требовалось утвердить заявление советского МИДа по этому поводу. На следующий вечер, перед тем как лечь спать, Хрущев подозвал Шевченко: «Устал, — говорит, — чертовски. Пойду отдохну. Если и война, не будите»[161].

Прежде поездки на целину радовали Хрущева. Теперь же, по воспоминаниям партийного функционера Федора Моргуна, «он был раздражен, не шутил, избегал разговоров. Казалось, он чем-то очень озабочен»[162]. В этой же поездке Хрущев в первый раз накричал на своего многолетнего верного помощника Шевченко. Примерно в то же время Шевченко стал свидетелем громкой ссоры Никиты Сергеевича с Ниной Петровной[163].

В конце августа, в воскресенье, получили взбучку двое других его подчиненных. Хрущев заехал в подмосковный санаторий, где отдыхали московские руководители Николай Егорычев и Владимир Промыслов. Он поинтересовался, из какого материала делаются сиденья унитазов в новых московских квартирах, и, услышав, что из дерева, сердито возразил: «Вот, я так и знал. Вы расточители! Сколько древесины тратите на это дело?! Я вот что скажу: надо сиденья изготавливать из пластмассы. Вот я недавно был в Польше. В особняке жил. Садишься на такой толчок, и тебе не холодно. Вот ты поезжай, посмотри и давай внедряй в Москве». С такими словами он сел в машину и отбыл на дачу. «Это, — меланхолически замечает Егорычев, — были последние указания Хрущева о том, как решать вопросы в Москве»[164].

В начале сентября Хрущев побывал на военной базе в подмосковной Кубинке, на демонстрации новых танков, артиллерии и вертолетов. Маршалы гордо доложили ему о проделанной работе и планах на будущее, но Хрущев в ответ устроил им жесточайший разнос. «Мы что, собрались кого-то завоевывать?» — гневно поинтересовался он у министра обороны Малиновского. И сам ответил на свой вопрос: «Нет. Так зачем же нам все это вооружение?» В наше время война может быть только ядерной, однако ядерная война невозможна: значит, нужно обходиться минимумом вооружений, тем более что расходы на оборону истощают госбюджет. «Иначе, — заключил он, — из-за вас мы все без штанов останемся».

Эта шутка, сопровождаемая дружеским тычком

Малиновскому под ребра, должна была разрядить напряжение. Однако, по словам Сергея Хрущева, «шутка не удалась. Малиновский выдавил кислую улыбку. Все промолчали»[165].

Проведя десять дней на космодроме в Тюратаме, Хрущев вернулся в Москву, принял президента Индонезии Сукарно и снова укатил — на этот раз на юг. Несколько дней он осматривал Крым: первый секретарь ЦК компарии Украины Петр Шелест заметил, что его высокий гость выглядит подавленным и обеспокоенным. Хрущев неприязненно отзывался о Суслове («человек в футляре») и презрительно (в числе других «краснобаев и кривляк») — о Микояне[166]. В Крыму Хрущев собирался провести отпуск, однако там было пасмурно и дождливо, и он перебрался в Пицунду. Отпуск Хрущева официально начался 3 октября. До его отставки оставалось десять дней.

Глава XXI
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ: 1964–1971

В течение двух дней советские средства массовой информации молчали об отставке Хрущева. Слухи, разумеется, начали распространяться почти сразу, и на следующий же день имя Хрущева было изъято из новостей; однако только 16 октября в «Правде» появилось официальное сообщение, а 17-го — редакционная статья под названием «Незыблемая ленинская генеральная линия КПСС». Имя Хрущева в ней не упоминалось, но немало говорилось о «субъективизме в коммунистическом строительстве», «прожектерстве, скороспелых выводах и поспешных, оторванных от реальности решениях и действиях… нежелании считаться с тем, что уже выработали наука и практический опыт»[1].

Утром пятнадцатого числа охрана, прослужившая Хрущеву много лет, была заменена. Все правительственные телефоны отключили — остались лишь местная линия и связь с флигелем охраны. На рассвете огромный черный ЗИЛ, предназначенный для трех первых лиц — главы партии, председателя Совета министров и председателя Верховного Совета — был заменен «чайкой»; в тот же день отобрали и «чайку» и заменили ее обыкновенной черной «волгой», низведя таким образом Хрущева на уровень среднего функционера, одного из тех, кто роптал на него за отмену партийных льгот.

Хрущев привык вставать рано, чтобы к девяти утра уже быть у себя в кремлевском кабинете. 15 октября он как обычно рано спустился в столовую. Накануне кремлевский врач Владимир Беззубик посоветовал принять снотворное — но и таблетки не помогли ему заснуть. «Лицо его за ночь осунулось и как-то посерело, — вспоминает Сергей Хрущев, — движения замедлились».

За завтраком Хрущев почти не прикоснулся к еде. Потом вышел во двор, медленно обошел вокруг дома. У ворот встретил его новый начальник охраны Сергей Мельников, спросил, не хочет ли Хрущев отправиться на дачу.

— Скучная вам досталась должность, — заметил бывший советский лидер. — Я теперь бездельник, сам не знаю, чем себя занять. Вы со мной с тоски зачахнете. А впрочем, чего тут сидеть. Поехали.

На даче, куда Хрущев приехал с сыном и Мельниковым, их также встретила новая охрана. В нерешительности постояв у

дверей, Хрущев двинулся вниз по склону холма, мимо рощи, через неширокую речку, к ближайшему колхозному полю. Тем летом на поле росла кукуруза — председатель колхоза старался произвести впечатление на высокопоставленного соседа. Теперь кукурузу уже убрали, лишь кое-где из сырой комковатой земли торчали голые стебли. Трое мужчин шли вдоль поля по узенькой тропке. Хрущев заговорил о сельском хозяйстве: постепенно увлекся, начал приводить статистику, горячо защищать свои излюбленные методы. Мельников вежливо поддерживал беседу. Вдруг Хрущев умолк на полуслове.

— Никому я теперь не нужен, — изменившимся голосом сказал он. — Что я буду делать без работы, как жить — не представляю[2].

Нина Петровна Хрущева отдыхала вместе с Викторией Петровной Брежневой в Карловых Варах, в Чехословакии. Почти сразу после отставки Хрущев забеспокоился о том, как сообщить эту новость жене. Пытались позвонить — и тут выяснилось, что никто в семье не умеет звонить по обычному международному телефону. Наконец охранник набрал нужный номер, и Никита Сергеевич попросил жену срочно вернуться домой, не объяснив причин. О его отставке она узнала по телефону от советского посла в Чехословакии Михаила Зимянина: по недоразумению приняв ее за жену Брежнева, он принялся расписывать ей во всех подробностях смещение Хрущева, не забыв упомянуть, как сам «врезал ему» на пленуме, откуда только что вернулся, и закончил поздравлениями в адрес «дорогого Леонида Ильича». Потрясенная Нина Петровна молчала: поняв наконец свою ошибку, Зимянин смутился и повесил трубку.

Хрущев беспокоился о том, кто встретит Нину Петровну в аэропорту: это вызвался сделать Мельников. Вечером пятнадцатого, прижимая к груди цветы, которые вручили ей в Праге перед отъездом, она прибыла в особняк на Ленинских горах — и сразу занялась домашними делами, спокойная и собранная, как и в тридцатые, когда каждый стук в дверь мог означать для нее конец, и в пятидесятые, когда ей приходилось играть роль первой леди. По словам Сергея Хрущева, мать «следила, чтобы все были накормлены, чтобы отец надел свою неизменную белую чистую рубашку, а вещи не расползались с привычных мест… Казалось… просто Центральный Комитет принял очередное решение, на сей раз об отставке ее мужа, и она, как всегда, приняла его к исполнению. Мама привыкла беспрекословно подчиняться этим решениям, всегда регламентировавшим нашу жизнь»[3].

Возможно, после отставки Хрущева Нина Петровна испытала бы облегчение, если бы не страдания мужа. После его смерти она вспоминала о «переживаниях» и «долгих ночных монологах», адресованных Брежневу. «Вот так, за спокойной приветливостью, она лучше нас умела скрыть свои переживания»[4].

Следующие несколько месяцев, почти до самого лета, свергнутый правитель пребывал в глубокой депрессии. Чего только не делали родные в надежде его подбодрить! Но все было напрасно. В былые времена Хрущев каждый день внимательно прочитывал газеты; теперь — в лучшем случае рассеянно проглядывал. Прежде из-за множества дел он не успевал читать книги; теперь «механически пролистывал страницы, откладывал книгу и снова отправлялся в свои бесконечные прогулки»[5]. Стараясь развлечь отца, дети привозили и показывали ему новые фильмы. «Но и это не помогало», — рассказывает Сергей. Даже «Председатель», фильм, живописующий энергичного председателя колхоза, немало напоминающего самого Хрущева, не вывел его из уныния. «Хороший фильм», — только и сказал Хрущев[6].

Не спасали и гости — тем более что их было немного. У бывших коллег и подчиненных не было ни причин, ни желания встречаться с опальным правителем. Другие старые друзья боялись нежелательных последствий — охрана вела учет посетителей. Должно быть, Хрущева неотвязно мучил вопрос: а были ли у него настоящие друзья? Последние товарищи, с которыми он общался на равных, остались в Донбассе двадцатых годов.

Впоследствии в доме Хрущевых начали появляться некоторые из его старых знакомых; но это случилось не сразу. Пока же в доме бывали лишь друзья детей Хрущева, которых Сергей, Рада, Елена и Юлия приглашали, чтобы «развеять отца, отвлечь его от грустных раздумий». Поначалу это срабатывало, особенно когда Хрущев-старший повел гостей в недавно выстроенную на даче гидропонную теплицу. Там он начал было пламенную речь в защиту гидропоники — но вдруг, вспоминает Сергей, «Никита Сергеевич умолк на полуслове, и глаза его померкли. „Это больше не мое дело. Да и вообще, вы ничего в этом не понимаете“»[7].

Той же осенью Хрущеву приказали освободить особняк и правительственную дачу, ему выделили другую дачу, в Петрово-Дальнем. Новая городская квартира (в которой он почти не жил) располагалась по адресу: Староконюшенный переулок, 19, в доме, построенном в тридцатые годы для функционеров ЦК. Пятикомнатная квартира с просторной прихожей была по

советским меркам роскошной — но как отличалась она от его прежних резиденций! Однако Хрущев не возражал. «Его вообще мало интересовало теперь, где он будет жить»[8].

Времени у Хрущева отныне было хоть отбавляй, и целыми днями он бесцельно бродил по территории, иногда в сопровождении сына или Мельникова, чаще один и почти всегда — в молчании. «Молчание угнетало, — вспоминает Сергей. — Мы пытались отвлечь отца от его мыслей, затевали разговоры о каких-то нейтральных московских новостях, но отец не реагировал. Иногда он нарушал молчание и с горечью повторял, что жизнь его кончена, что он жил, пока был нужен людям, а сейчас жизнь стала бессмысленной. Бывало, на глаза его наворачивались слезы. Мы, конечно, волновались, но Владимир Григорьевич просил нас не пугаться. „Это одно из последствий потрясения“, — объяснял он. И снова продолжались бесконечные прогулки, отец по-прежнему был замкнут…»[9]

Владимир Григорьевич Беззубик, личный врач Хрущева, не покинул своего пациента. Он разговаривал с ним часами, прописывал ему снотворное и успокоительное. Пока что родные не опасались самоубийства (этот страх появился несколько лет спустя). Когда школьная учительница спросила одного из внуков Хрущева, чем занимается на пенсии его дед, мальчик ответил: «Дедушка плачет»[10]. Повар Хрущева много лет спустя ответил на тот же вопрос так: «Что он делал? Сидел и плакал. Просто сидел и плакал»[11].

Новый, 1965 год застал Хрущевых еще на старой даче, хотя они уже знали, что ее скоро придется покинуть. Вся обстановка дачи принадлежала государству и должна была остаться здесь, поэтому столовая выглядела как обычно: стол темного дерева, за которым свободно могли рассесться человек тридцать — сорок, у стен — неудобные диваны, обтянутые черной кожей, в дальнем конце комнаты — камин, который никогда не топили. В первый раз за много лет Хрущев справлял Новый год в окружении лишь родных. Все, кроме него, старались выглядеть бодрыми и веселыми. «Отец сидел спокойно, безучастно взирая на происходящее», — рассказывает Сергей Хрущев[12].

То и дело раздавались телефонные звонки, но по большей части к телефону просили детей Хрущева. Было несколько звонков от старых донбасских товарищей и от ветеранов Московского электролампового завода, где работала в тридцатые годы Нина Петровна; Никиту Сергеевича к телефону не просил никто. Лишь один раз, ближе к утру, ему позвонили. Поколебавшись, Хрущев медленно поднялся и подошел к телефону, стоявшему в соседней комнате. Звонил Микоян.

Некоторое время Хрущев молча слушал, затем проговорил сильным, почти прежним голосом: «Спасибо, Анастас! И тебя поздравляю с Новым годом. Передай мои поздравления семье… Спасибо, бодрюсь. Мое дело теперь пенсионерское. Учусь отдыхать…»

Хрущев возвращался к столу с улыбкой, однако, едва сел за стол, вспоминает Сергей, — «глаза его снова потухли».

Этот звонок потребовал недюжинного мужества: Микоян оставался в руководстве страны и ему было что терять. Позже Серго Микоян узнал, что вскоре после этого звонка стенографистка и секретарша его отца начала передавать ему «разные глупости», которые якобы говорил о нем Хрущев своему шоферу. Секретарша, по всей видимости, работала на КГБ, но Микоян ей поверил. Он и прежде был убежден, что Хрущев ему завидует, что он «часто не соглашался со мной лишь из нежелания признать, что я прав». Теперь же он поверил, что Хрущев бранит его за то, что Микоян не смог вовремя раскрыть и остановить заговор, — иными словами, добавляет его сын, не сделал того, что следовало бы сделать самому Хрущеву. Если вспомнить, что и прежде отношения их были далеко не безоблачны, не стоит удивляться, что никогда уже больше Микоян не звонил Хрущеву[13].

Отрезанный от мира, погруженный в уныние, Хрущев ни для кого не представлял опасности. Однако его бывшие коллеги не хотели рисковать, особенно после того, что произошло 23 октября. В этот день в Москве торжественно встречали космонавтов. Церемониал начался во Внуковском аэропорту: оттуда автомобильная процессия двинулась по Ленинскому проспекту на Красную площадь, а за грандиозным митингом на главной площади страны последовал банкет в Кремле. Хрущевы сидели перед телевизором в своем особняке на Ленинских горах. Вдруг Никита Сергеевич встал, пробормотал, что не хочет больше на это смотреть, и вышел из дома.

Не в силах усидеть на месте, он подозвал охранника и попросил отвезти его на дачу. Проблема была в том, что дорога пролегала в сторону Красной площади. Услышав, что Хрущев едет в Кремль, Брежнев и присные запаниковали: однако не успели они ничего предпринять, как машина повернула на запад — на дачу Хрущева. В тот же вечер Мельников получил приказ: следующим же утром Хрущев должен переехать на дачу и оставаться там до дальнейших распоряжений. Остальные члены семьи могут пока остаться в Москве. На следующий день вся семья перебралась на дачу, где и жила до переезда в Петрово-

Дальнее[14].

Дом в Петрово-Дальнем был куда скромнее прежней дачи Хрущева: одноэтажный, бревенчатый, крашенный темно-зеленой краской, он стоял на высоком, поросшем соснами берегу Истры, недалеко от места ее впадения в Москву-реку. У дома сосны уступали место яблоням, вишням и клумбам с цветами, отделенным друг от друга извилистыми дорожками. Крутая деревянная лестница вела вниз, на берег Истры, где была устроена купальня. Недалеко от высокого забора, огораживавшего участок, располагалась открытая поляна с видом на реку и на поля соседнего колхоза: там стояла скамейка, на которой вскоре полюбил отдыхать Хрущев.

Дом, вспоминает Сергей Хрущев, был «просторным и уютным»[15]. Здесь были отдельные спальни для Никиты Сергеевича и Нины Петровны, комната Елены и ее мужа, молодого химика Виктора Евреинова, кабинет Нины Петровны с большим письменным столом, кухня, бывшая бильярдная с видом на вишневый сад, которую Нина Петровна превратила в столовую. Были веранда, на которой особенно полюбил сидеть Хрущев, отдельная летняя кухня, а у ворот — отапливаемый флигель, где круглосуточно дежурили охранники с подслушивающими устройствами[16].

Комната Хрущева имела два выхода, на веранду и в сад. Здесь стояли кровать, несколько столиков, личные вещи (в том числе фигурка девушки из черного дерева — подарок Неру, английский проигрыватель в деревянном корпусе — подарок президента Ганы Нкрумы и красно-желтое кресло — из Финляндии, от Кекконена), а также сейф, в котором Хрущев привык хранить секретные документы. Теперь, конечно, никаких секретных документов не осталось, а партбилет Хрущев держал в ящике стола, и огромный, аляповато раскрашенный под дуб сейф стоял пустым.

Все хлопоты по организации переезда легли на плечи Нины Петровны. Чаще всего, замечает сын, переезжать ей приходилось «не по собственному желанию. Она даже грустно шутила, что сделалась профессиональной упаковщицей»[17]. В этот раз переезд еще более омрачила болезнь мужа: поначалу врачи даже подозревали у Хрущева рак поджелудочной железы. Диагноз не подтвердился, однако болезнь подорвала его силы и замедлила выход из депрессии.

После переезда семья старалась развлечь Хрущева новыми увлечениями. В свое время в Киеве рыбная ловля его не занимала, но теперь он решил попробовать сызнова. Прочтя несколько книг по рыболовству, Хрущев сел на берегу Истры, привязал к удилищу, привезенному сыном из Москвы, леску, подаренную

когда-то Вальтером Ульбрихтом, и забросил удочку в реку. Время шло, рыба не клевала, а ждать Хрущев никогда не любил. «Сидишь, чувствуешь себя полным дураком! — жаловался он. — Так и слышится, как рыбы в воде над тобой потешаются. Не по мне это»[18].

Раньше, по словам Сергея, Хрущев «называл нас бездельниками, заставая у телевизора». Теперь он сам пристрастился к теле–, радионовостям и газетам. Лишенный докладов подчиненных и рапортов разведки, он каждое утро, не выходя из спальни, прочитывал «Правду», брал с собой на прогулку переносное радио и установил в доме коротковолновый приемник «Зенит», подаренный ему в пятидесятые годы американским бизнесменом Эриком Джонстоном. Он слушал и музыкальные передачи, и новости, как по московскому радио, так и по «Голосу Америки» и Би-би-си. Новости его не радовали: реформы, которые он так пылко продвигал, после его отставки пошли на спад. Теперь Хрущев на собственной шкуре ощутил давление партийной пропаганды. «Жвачка… — бормотал он над страницами «Правды». — Разве можно так писать? Какая это пропаганда? Кто в это поверит?»[19]

Поселок Петрово-Дальнее состоял из нескольких домов, отделенных друг от друга высокими зелеными заборами. Кроме Хрущева, здесь жили заместители председателя Совета министров Михаил Лесечко и Игнатий Новиков, а также бывший министр финансов Арсений Зверев. При встрече с Хрущевым они терялись, не знали, что сказать, и зачастую начинали отчитываться перед ним о своей работе, как будто до сих пор видели в нем начальника. По словам Сергея, такие встречи «тяготили отца, и он старался избегать контактов со своими бывшими подчиненными». Поэтому он не бывал в сельском клубе, где несколько раз в неделю показывали кино.

Вместо этого он гулял по полям близлежащего колхоза. Глядя, как колхозники убирают скудный урожай ячменя и овса, Хрущев изнывал от желания приказать им бросить зерновые и выращивать овощи для поставок в Москву — дело куда более выгодное. Поначалу он говорил об этом только с родными; затем начал наблюдать за полями в бинокль и однажды, увидев, что на поле появился кто-то из колхозного начальства, поспешил туда, чтобы дать ему совет. Разумеется, соседи не приняли его советов, сославшись на распоряжения вышестоящего начальства; Хрущев был рассержен, но «больше с тех пор с советами не лез, по-прежнему продолжая сетовать на вопиющую бесхозяйственность»[20].

Прежде Хрущев увлекался только охотой: и в Киеве, и в

Москве (за исключением 1950–1953 годов, когда Сталин перестал поощрять это увлечение своих приближенных) он регулярно охотился в государственных заказниках. У него имелась коллекция из нескольких дюжин охотничьих ружей, винтовок и карабинов — подарки советских и иностранных гостей. В гардеробе красного дерева, в элегантном деревянном футляре хранились парабеллум, вальтер и еще один пистолет — подарки КГБ к семидесятилетию. До отставки Хрущев часто показывал гостям свою коллекцию оружия. Но после падения он никогда уже не охотился и на оружие почти не смотрел. А в 1968 году раздарил почти всю коллекцию — сыну, внукам, врачу, даже охранникам — со словами: «Пусть достанется хорошим людям. И память у них обо мне сохранится. А то их после моей смерти разворуют»[21].

Весной — летом 1965 года, по мере того как к Хрущеву возвращалось душевное равновесие, у него появились другие занятия. С вершины холма неподалеку от дома, который его внуки прозвали Ужиной горкой, потому что ранней весной туда выползали погреться на солнышке ужи, он мог любоваться окрестностями. Скоро он познакомился с отдыхающими из ближайшего дома отдыха: эти простые люди не имели причин дрожать за свою карьеру и потому не боялись общаться с опальным властителем. Сперва они просто здоровались через забор; потом поселковая администрация разрешила прорезать в заборе калитку, и теперь отдыхающие постоянно толпились вокруг Хрущева, фотографировались с ним и слушали его истории. Постепенно «встречи с Хрущевым» стали неофициальным, но обязательным элементом «культурной программы». На домашней кинопленке, отснятой Сергеем летом 1969 года, мы видим, что во время такой встречи Хрущев оживлен, широко улыбается, говорит много и энергично, помогая себе жестами — совсем как в старые времена. Но вот люди расходятся — и он, утомленный, тяжело опускается на складной табурет, который всегда носит с собой.

Единственной связью с прошлым оставались письма, приходившие Никите Сергеевичу изо всех уголков страны и мира — до конца 1970 года, когда после конфликта Хрущева с кремлевским руководством (о котором мы расскажем далее) шеф КГБ Юрий Андропов распорядился о том, чтобы большая часть писем перестала доходить до адресата[22]. Однако Хрущев не проявлял интереса к письмам — возможно, они слишком напоминали о его нынешнем положении. Нина Петровна сортировала почту, некоторые письма читала мужу вслух, на некоторые писала ответы (собирателям автографов она никогда

не отвечала) и отдавала их на подпись мужу.

Постепенно Хрущев начал читать. Он не любил военных мемуаров — говорил, что генералы слишком уж преувеличивают собственные подвиги (и слишком мало пишут о его вкладе). Да и другие воспоминания, которые приносил ему сын — Черчилля, де Голля, русских государственных деятелей XIX столетия, — откладывал в сторону со словами: «Потом почитаю». Он предпочитал художественную классику — Толстого, Тургенева, Лескова, Куприна, Салтыкова-Щедрина — а также научно-техническую литературу[23]. Когда Сергей принес ему потрепанный самиздатовский экземпляр «Доктора Живаго», Хрущев долго изучал книгу, а потом заметил: «Зря мы ее запретили. Надо было мне тогда самому ее прочитать. Ничего антисоветского в ней нет»[24]. В этих словах отразился его растущий скептицизм по отношению к идеологическому правоверию. Кроме того, должно быть, Хрущеву было приятно ознакомиться — пусть и с запозданием — с полным иллюзий романом и прийти к собственному независимому мнению о нем.

Ободренный реакцией отца на «Доктора Живаго», Сергей принес ему «Раковый корпус» и «В круге первом» Солженицына, а также роман Оруэлла «1984». Но тут Хрущев поставил точку. «Эти книги ему не понравились», — пишет Сергей.

Когда стало ясно, что в сельском клубе Хрущев появляться не станет, Сергей раздобыл югославский проектор и немецкий экран, переоборудовал коридор на даче в маленький кинозал и начал показывать отцу кинофильмы, взятые напрокат или полученные от друзей, привозивших их из-за границы. Хрущев предпочитал развлекательные фильмы, помогавшие ему забыть о своих горестях; особенно он любил исторические ленты, такие как «Шестое июля», фильм о событиях 1918 года, снятый по пьесе драматурга-антисталиниста Михаила Шатрова.

Фильм так понравился Хрущеву, что он решился «выйти в свет» — отправиться в театр «Современник» на пьесу Шатрова «Большевики». К этому времени Хрущев стал плохо слышать и не всегда разбирал реплики актеров: к тому же «доставлял неудобство интерес к нему со стороны публики — он чувствовал себя каким-то диковинным экспонатом». Однако после спектакля он зашел за кулисы и с удовольствием развлекал актеров воспоминаниями об исторических деятелях, которых они только что играли. Заметив, что среди членов СНК в пьесе не хватает Бухарина и Каменева, Хрущев добавил: «Они были хорошие люди. Мы бы их обязательно реабилитировали, только времени не хватило»[25].

Со временем в Петрово-Дальнем стали появляться гости.

Бывала здесь старая приятельница семьи Вера Александровна Гостинская, в 1928 году жившая вместе с Хрущевыми в Киеве, на Ольгинской улице. Бывал Петр Якир, сын расстрелянного командарма; он в конце шестидесятых был арестован как диссидент. Сергей Хрущев приглашал на дачу коллег — ракетных конструкторов — с семьями. Юлия Хрущева, дочь Леонида, познакомила деда с Шатровым и Борисом Жутовским, одним из тех художников, которых он распекал в Манеже. Бывал здесь и кинорежиссер Роман Кармен с женой Майей (которая развелась с ним и вышла замуж за Аксенова, еще одну «жертву» хрущевского темперамента). В 1970 году Юлия ввела в дом Евгения Евтушенко, либерального поэта, для которого Хрущев в свое время не жалел бранных слов, и молодого барда Владимира Высоцкого. Хрущев извинялся перед ними за свои вспышки ярости в 1962–1963 годах и признавал, что они были правы. На домашней киносъемке мы видим, как Хрущев и Евтушенко сидят рядом на скамейке: сжимая руку собеседника, Хрущев что-то оживленно ему втолковывает, на лице его — улыбка, чуть смущенная и в то же время лукавая, как у человека, который убежден, что сказал нечто важное, но не хочет, чтобы собеседник подумал, будто он задается. Выражение его лица напоминает кинохронику тридцатых годов[26].

Но гости приезжали по выходным, а будние дни Хрущев и его жена проводили в одиночестве. В молодости, в Донбассе, у Хрущева была фотокамера; перед войной он носил с собой «Лейку», но в 1941 году оставил ее в Киеве. В 1947-м, поправляясь после воспаления легких, Хрущев вновь занялся фотографией. И теперь он вернулся к старому увлечению, причем пленки проявлял сам, в ванной. Скоро он переключился на слайды, которые с удовольствием показывал детям, внукам и гостям. Некоторое время носил камеру (вместе с приемником) с собой на прогулки и снимал бесконечные пейзажи. Однако, как замечает Сергей, «фотодело по-настоящему не захватило отца. Скорее, это было простое времяпрепровождение… А когда прошло несколько лет и отец неоднократно перефотографировал все вокруг, это занятие ему окончательно надоело»[27].

Больше привлекло Хрущева садоводство. Дочь Елена, сама увлеченный садовод, принесла ему книгу под названием «Промышленная гидропоника»: Хрущев внимательно ее изучил, всю испещрив пометками, заметками на полях, сделав множество закладок. По всем правилам он подготовил питательную смесь для растений, построил во дворе теплицу и начал эксперимент. Гидропоника ожидаемых результатов не дала, и Хрущев обратился к традиционным методам: у себя на дачном участке он

выращивал укроп, картофель, редис, тыкву, подсолнечник и, конечно, кукурузу. Сам он работал в саду до изнеможения и призывал к себе на помощь всех, кто оказывался поблизости, — родных, гостей, даже тех охранников, что помоложе (пока новое начальство не запретило им помогать Хрущеву). Каждую неделю он разрабатывал план на следующие выходные и в субботу отправлял на огород всех, кто не мог изобрести уважительной причины для отказа или не доказал уже (нарочно или нечаянно) свою неспособность к огородничеству, выполов вместо сорняков огурцы. Самым верным помощником Хрущева стал его десятилетний внук Никита. Бывшему слесарю, кажется, особенно нравилось «командовать» помощниками с высшим образованием. «Я вам сейчас покажу, как это надо делать, — говорил он, раскладывая перед собой слесарные инструменты. — Инженерами называетесь, а трубы ни согнуть, ни привернуть не можете»[28].

Но больше всего Хрущев любил жечь костры. «В любую погоду, даже если шел дождь», вспоминает Сергей, он надевал зеленовато-бежевую накидку, подарок французского капиталиста, собирал хворост, разжигал костер и «часами смотрел на огонь». В будние дни единственным его спутником был пес Арбат, немецкая овчарка, а когда пес умер — дворняжка Белка. («Дворняжки и умнее, и преданнее, и неприхотливее, — замечал Хрущев. — Зачем мне оболтус с родословной?»[29]) По выходным вокруг костра собирались родные и друзья и слушали его бесконечные истории о молодости в Донбассе, о том, как он мечтал стать инженером и своими руками собирать «умные» машины. «Костер догорал, и заканчивались истории», — пишет Сергей. Хрущев жег костры в любое время года, но больше всего любил весну. «Осень ему не нравилась. В сущности, он ее терпеть не мог. Темнота и завывание ветра его угнетали, а сосны, угрюмо качающие темными ветвями, напоминали ему о смерти»[30].

Хрущев был не единственным лидером, впавшим в депрессию после внезапной потери власти. То же самое произошло, например, с Ричардом Никсоном. Уныние, охватившее обоих политиков, ясно свидетельствует о том, что значила для них публичная жизнь, как тесно их представления о себе были связаны с обладанием властью[31]. Однако в определенном смысле отставка Хрущева принесла ему облегчение. На людях Хрущев всегда демонстрировал непоколебимую уверенность в себе, и никто не знал, что в глубине души он — самый суровый критик собственных недостатков. Только теперь, освободившись от груза амбиций, он приобрел свободу признаваться в своих ошибках и даже просить за них прощения. Он сожалел о том, что не

реабилитировал Бухарина, что в 1962–1963 годах нападал на интеллигентов. Он осуждал власть за арест в 1966-м Даниэля и Синявского, предупреждал о недопустимости реабилитации Сталина, критиковал вторжение в Чехословакию в 1968-м. О «советском рае», границы которого были закрыты на замок, высказывался так: «Рай — это такое место, где люди хотят остаться навсегда, а не из которого бегут! А у нас все двери закрыты и заперты. Что это за социализм? Какого черта мы держим народ в цепях? Что это за порядки? Меня некоторые ругают за то, что временами я открывал двери. Но, если бы бог дал мне продолжать, я бы и двери, и окна настежь распахнул»[32].

Он стал «добрее, внимательнее и откровеннее» по отношению к детям. Прежде Хрущев никогда не рассказывал Юлии о ее отце и матери — а тут однажды во время прогулки сказал ей: «Своим отцом ты можешь гордиться — он был отважный летчик. А мать твоя ни в чем не была виновата»[33]. Внуков Хрущев всегда обожал, но теперь у него было больше времени и возможностей для выражения своей привязанности. На домашней киносъемке запечатлена трогательная сцена: маленький Никита вдруг, оторвавшись от прополки огорода, бежит обнять дедушку, и тот нежно обнимает и целует его в ответ.

Но прежде всего Хрущев посвятил себя созданию мемуаров — Геракловой задаче, целиком занявшей последние годы его жизни. С 1966-го, когда он оправился от болезни поджелудочной железы, близкие начали уговаривать его взяться за перо, да и гости, приезжавшие в Петрово-Дальнее по выходным, постоянно спрашивали, пишет ли он воспоминания. Поначалу Хрущев сопротивлялся: он помнил, как КГБ предлагал запретить работу над мемуарами маршалу Жукову, и понимал, какой фурор вызовет известие о том, что воспоминания пишет опальный советский лидер. В конце концов гордость и желание оправдать себя взяли верх, и он решился рассказать о том, как видится ему прошедшая жизнь.

В августе 1966 года Хрущев был готов начать работу. Он и до этого часто рассказывал домашним и друзьям о прошлом, особенно о войне и о последних годах жизни Сталина, однако избегал любых разговоров о своих наследниках, тем более о том, как они постепенно сводят на нет его реформы. Именно их сопротивление хрущевским реформам, замечает Сергей, а также реальная возможность реабилитации Сталина и придали Хрущеву решимости. Не последнюю роль сыграли, конечно, и обвинения его в «волюнтаризме» и «субъективизме» — а проще говоря, в неспособности управлять страной[34].

Однажды теплым утром, в августе 1966 года, Хрущев вместе с

мужем внучки Юлии журналистом Львом Петровым сел в саду перед магнитофоном и начал диктовать свои воспоминания. Поначалу он просто пересказывал истории, которыми развлекал гостей. В первый день, по рассказу Петрова, он говорил о Карибском кризисе. Скоро Хрущев установил себе расписание: он надиктовывал свои рассказы на пленку в течение нескольких часов утром и нескольких часов после обеда, как в присутствии слушателей, так и без них.

Поначалу мысль его беспорядочно «скакала» от темы к теме. Позже с помощью сына он составил план и перед диктовкой тщательно продумывал, о чем будет говорить. Отец с сыном составили список тем в порядке их важности: этому списку Хрущев и следовал, вычеркивая темы по мере их освещения и дописывая новые. Сергей мог собрать опубликованные речи и другие материалы, но Хрущев всегда предпочитал работать с людьми, а не с бумагами и полагался на свою в самом деле замечательную память. Доступа к архивным материалам у него, разумеется, не было — все архивы находились под контролем КГБ.

Сначала пленки расшифровывал Лев Петров, но Хрущев остался недоволен результатом: в отредактированном тексте было слишком много Петрова и слишком мало Хрущева. Потом за распечатку и редактуру взялась Нина Петровна: но она работала медленно и непрофессионально, печатала одной рукой[35]. Сергей предлагал отцу обратиться в ЦК, чтобы ему выделили секретаря-машинистку, но Хрущев отказался: «Не хочу их ни о чем просить. Если сами предложат — не откажусь. Но они не предложат — мои воспоминания им не нужны. Только помешать могут»[36].

Сергей нашел у себя в конструкторском бюро машинистку, которая согласилась распечатывать пленки на дому. Полученный текст он редактировал сам. Работа была нелегкая: Хрущев говорил «как думает», неправильно строил фразы, пропускал подлежащие или сказуемые, ставил слова в неверном порядке. В обшей сложности его воспоминания составили 250 часов магнитофонной записи и три тысячи пятьсот машинописных страниц.

Прежде всего, говорил Хрущев Сергею, «я хочу рассказать… о Сталине, о его ошибках и преступлениях. А то я вижу, опять хотят отмыть с него кровь и возвести на пьедестал». Во вторую очередь, говорил он, «хочу рассказать правду о войне. Уши вянут, когда слушаешь по радио или видишь по телевизору жвачку, которой пичкают народ. Надо сказать правду»[37]. Поэтому он сначала сконцентрировался на тридцатых годах, которые провел в Москве и на Украине, а затем перешел к войне. Покончив с войной,

рассказал о послевоенных годах, о смерти Сталина и аресте Берии — и на этом остановился. О собственном правлении он поначалу рассказывать не хотел — во-первых, чтобы избежать конфликта со своими «наследниками»; а во-вторых, как полагал Сергей, «считая это нескромным».

Позднее Хрущев все же надиктовал несколько сотен страниц о своих внутренне– и внешнеполитических достижениях. Некоторые темы остались в его мемуарах почти совершенно неосвещенными: во-первых, детство и семья; и, во-вторых, бурные отношения с творческой интеллигенцией (этой теме посвящен последний надиктованный им отрывок, которым он остался недоволен и хотел стереть)[38].

Несмотря на все попытки избежать конфликтов с новым руководством, первые тучи сгустились над головой опального Хрущева летом 1967 года, когда американская женщина-кинорежиссер Люси Джарвис сняла (видимо, не без помощи родных Хрущева) документальный фильм о нем, который был показан по каналу Эн-би-си. В основном фильм построен на старых кинопленках, однако есть в нем и кадры Хрущева-пенсионера, сидящего в своем зеленом французском плаще у костра. На его голос наложена речь диктора, однако можно расслышать, что он рассказывает о Карибском кризисе. Разгневанные власти уволили Мельникова, начальника охраны Хрущева, и заменили его другим, бессердечным и мелочно-придирчивым человеком, доставившим Хрущеву много огорчений[39].

Хрущев был сильно раздосадован и ускорил работу над мемуарами. Об этом стало известно, и — потому ли, что Брежнев питал к Хрущеву личную зависть и злобу, как предполагает Сергей Хрущев, или из общих соображений безопасности режима — в Кремле решено было подвергнуть Хрущева «проработке». Этим занимались трое его бывших подчиненных: член Политбюро Андрей Кириленко, в свое время работавший под началом Хрущева на Украине, а потом бывший его заместителем в бюро ЦК компартии Российской Федерации, Арвид Пельше, председатель Комитета партийного контроля, ответственного за соблюдение партийной дисциплины, и Петр Демичев, теперь первый секретарь Московского горкома партии.

Не тратя время на приветствия, Кириленко перешел прямо к делу: «Центральному Комитету стало известно, что вы уже в течение длительного времени пишете свои мемуары, в которых рассказываете о различных событиях истории нашей партии и государства». Интерпретация Новейшей истории — «дело

Центрального Комитета, а не отдельных лиц, тем более пенсионеров. Поэтому Политбюро ЦК требует, чтобы вы прекратили свою работу над мемуарами, а то, что уже надиктовано, немедленно сдали в ЦК».

«Я не могу понять, товарищ Кириленко, — спокойно ответил Хрущев, — чего хотите вы и те, кто вас уполномочил. В мире, в том числе и в нашей стране, мемуары пишет огромное число людей. Это нормально. Мемуары являются не историей, а взглядом каждого человека на прожитую им жизнь».

И, повысив голос, продолжал: «Я считаю ваше требование насилием над личностью советского человека, противоречащим конституции, и отказываюсь подчиняться. Вы можете силой запрятать меня в тюрьму или силой отобрать мои записи. Все это вы можете со мной сегодня сделать, но я категорически протестую».

Кириленко попытался настоять на своем. В ответ Хрущев воскликнул, что с ним поступают, как Николай I с Тарасом Шевченко, которого тот отправил на двадцать пять лет в армию, запретив ему писать и рисовать: «Вы можете у меня отобрать все — пенсию, дачу, квартиру. Все это в ваших силах, и я не удивлюсь, если вы это сделаете. Ничего, я себе пропитание найду. Пойду слесарить, я еще помню, как это делается. А нет, так с котомкой пойду по людям. Мне люди подадут. А вам никто и крошки не подаст. С голоду подохнете».

Пельше напомнил Хрущеву, что решения Политбюро обязательны для всех членов партии и что «враждебные силы» могут использовать его мемуары в своих целях. Хрущев возразил, что никаких «американских шпионов» не пришлось бы опасаться, если бы Политбюро выделило ему стенографистку и машинистку и хранило бы копию мемуаров в ЦК.

Он начал было успокаиваться, но снова разъярился, припомнив еще одно оскорбление: вместо того чтобы помочь ему в работе, «в нарушение конституции, утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердеж подслушивать».

Завершив свою речь более возвышенным образом («Я хочу, чтобы то, что я описываю, послужило на пользу советским людям, нашим советским руководителям и государству. Пусть события, которым я был свидетель, послужат уроком в нашей будущей жизни»), Хрущев поднялся и вышел. Кириленко и прочие были посрамлены — но и для самого Хрущева эта бурная сцена стала тяжелым испытанием[40].

«Он был очень взволнован и сразу ушел прогуляться вдоль реки», — вспоминала его жена. Она пошла с ним, но он ни о чем

не стал рассказывать[41]. На следующий день, когда на дачу приехал Сергей, «отец выглядел усталым, лицо его посерело и постарело». Он сидел на опушке леса, грелся на солнце: предупрежденный Ниной Петровной, Сергей не стал расспрашивать его о разговоре в ЦК, но это и не понадобилось — Хрущев начал разговор сам.

«Мерзавцы! — кипел он. — Я сказал им все, что о них думаю. Может быть, хватил лишнего, но ничего — это пойдет им на пользу. А то они думают, что я буду перед ними ползать на брюхе!» На протяжении следующих нескольких месяцев он снова и снова вспоминал об этом разговоре — и почти ничего не диктовал до самого конца 1968 года[42].

Едва начав работать над мемуарами, Хрущев беспокоился о судьбе своей рукописи. «Напрасно все это, — не раз говорил он Сергею. — Пустой труд. Все пропадет. Умру я, все заберут и уничтожат или так похоронят, что и следов не останется».

Сергей сделал несколько копий рукописи и хранил их в надежных местах; однако еще до вызова в ЦК отец и сын обсуждали возможность выслать рукопись за границу. Поначалу Хрущев опасался, что, попав за рубеж, мемуары могут быть использованы против СССР: можно добавить, что сам он в свое время за такой же шаг затравил и едва не довел до самоубийства Бориса Пастернака. Но в конце концов он разрешил Сергею переправить рукопись за границу и даже подготовить к публикации за рубежом в случае, если в СССР она будет изъята. Так бывший руководитель Советского государства превратился в диссидента, едва ли не в политического преступника.

Как пленки и рукопись перебрались за рубеж, кто организовал переправку, были ли у этого противозаконного мероприятия тайные союзники в верхах — ответы на все эти вопросы почти тридцать лет держались в строжайшем секрете[43]. По рассказу Сергея, Лев Петров, журналист, работавший на советскую военную разведку, познакомил его с Виктором Луи — еще более сложной и загадочной фигурой: этот Луи в конце сороковых — начале пятидесятых годов был в лагерях, вышел на свободу после XX съезда, затем стал московским корреспондентом «Лондон ивнинг стандарт» и выполнял поручения КГБ — например, передал одному западному издательству обрезанную и отредактированную версию мемуаров дочери Сталина, дабы предотвратить выход к пятидесятилетней годовщине революции полной версии. Луи был женат на англичанке, работал на английскую газету, и предполагалось, что передача мемуаров Хрущева за границу не составит для него большого труда. Хрущев не только одобрил пересылку, но и

попросил доставить мемуары в какое-либо западное издательство, подготовить к публикации и опубликовать по его сигналу. Луи заключил соглашение с «Тайм» и «Литтл, Браун», по-видимому, получив за хлопоты неплохое вознаграждение. Сам Хрущев от гонорара отказался: еще не хватало, чтобы о нем говорили, что он «на жалованье у капиталистов»![44]

Некоторое время все шло гладко. «Тайм» и «Литтл, Браун» хотели иметь подтверждение, что мемуары действительно получены от Хрущева: они попросили Луи преподнести Хрущеву в подарок две широкополые шляпы, красную и черную, купленные в лондонском магазине «Шляпник Локк» на Сент-Джеймс-стрит. Для подтверждения того, что Хрущев одобряет публикацию, американские партнеры просили его сфотографироваться в этих шляпах и передать им фотографии. Сергей привез шляпы отцу в Петрово-Дальнее и объяснил, что от него требуется. Нина Петровна, не посвященная в заговор, была неприятно поражена клоунским видом и кричащими цветами шляп и не сомневалась, что муж ни за что их не наденет. Однако Хрущев, явно наслаждавшийся этой игрой, громко заявил, что хочет взглянуть, как они будут сидеть. Сергей сфотографировал его в обеих шляпах, и снимки отправились в «Тайм» и «Литтл, Браун».

Надо сказать, что в Москве у Луи имелся высокопоставленный друг — не кто иной, как сам Юрий Андропов, занявший в 1967 году пост председателя КГБ. Луи сообщил Сергею Хрущеву, что познакомил Андропова со своими планами и даже предложил показать ему рукопись. Андропов с улыбкой отказался; однако благодаря его вмешательству советская контрразведка не препятствовала Луи и — по крайней мере до времени — не вмешивалась в историю с мемуарами. Это может показаться невероятным, однако известно, что Андропов тоже был «сложным» человеком: гноя диссидентов в лагерях и психиатрических больницах, он в то же время сопротивлялся реабилитации Сталина, которую не терпелось начать кое-кому из его коллег[45].

Летом 1968 года, пока Хрущев, ни о чем не подозревая, увлеченно работал в саду, те партийные авторитеты, которых Андропов не хотел или не мог контролировать, усилили давление на членов семьи персонального пенсионера союзного значения. Алексей Аджубей был при Хрущеве чем-то вроде неофициального политического эмиссара, он мог даже надеяться сменить Громыко на посту министра иностранных дел[46]. После отставки тестя он был лишен всех своих званий и нашел себе убежище в журнале «Советский Союз». Теперь же ему начали настоятельно советовать

найти себе работу на Дальнем Востоке. Аджубей отказался уезжать из Москвы, но посоветовал тестю прекратить работу над мемуарами. Сергея Хрущева заставили уйти из конструкторского бюро Владимира Челомея; он перешел на работу в НИИ компьютерного управления. Осенью 1968 года Хрущев возобновил работу над мемуарами, а в 1969-м вошел в прежний ритм. К лету того года он закончил воспоминания о Сталине, рассказал о XX съезде, о женевском саммите, советско-китайских отношениях. Летом перечитал все, что получилось, остался недоволен редактурой и поручил Сергею найти профессионального редактора: им согласился стать Вадим Трунин, сценарист знаменитого фильма «Белорусский вокзал».

Осенью 1969 года стало ясно, что кто-то наверху не забыл и не простил Хрущева. Когда в Москву приехал американский врач А. Мак-Гихи Харви, которого Хрущевы пригласили к дочери Елене, страдающей системной волчанкой, он вместе с женой побывал у Хрущева на даче. Несколько дней спустя, седьмого ноября, когда чета Харви вместе с Сергеем Хрущевым сидела в номере гостиницы «Националь» с видом на Манеж, ожидая начала парада, внезапно туда ворвались агенты КГБ и перерыли весь багаж иностранцев, тщетно разыскивая микрофильмы с рукописью Хрущева. Сергей Хрущев подозревал, что на американцев указал Виктор Луи, желая отвести подозрение от себя. Так или иначе, в начале 1970 года Хрущев занимался мемуарами активнее, чем когда-либо, чередуя их лишь с садовыми работами. Доктор Беззубик предупреждал, что у пациента развивается атеросклероз, и 29 мая, после активной работы в саду в жаркий день, у Хрущева произошел тяжелый сердечный приступ. Десять дней его состояние оставалось критическим, и большую часть летних месяцев он провел в элитной кремлевской больнице на улице Грановского. Болезнь он переживал мужественно, едва придя в себя, начал полушутливо-полусердито упрекать Сергея за то, что тот навещает его каждый день: «Тебе что, делать нечего? Тратишь свое время и мне мешаешь. Я здесь постоянно занят: то укол делают, то врачи с осмотром приходят, то температуру меряют. Времени скучать не остается»[47].

По совету врачей Сергей сообщал отцу только хорошие новости. Хрущев не знал, что над делом, которому он посвятил остаток жизни, сгущаются тучи. Еще в марте Андропов сообщил Политбюро, что в мемуарах Хрущева содержатся сведения, являющиеся государственной тайной, потребовал усилить надзор КГБ и порекомендовал еще раз вызвать и припугнуть Хрущева[48]. По-видимому, Андропов либо колебался, либо вел двойную игру:

Виктора Луи он так и не остановил. Однако Сергея начали повсюду преследовать контрразведчики. Агенты КГБ обыскивали квартиру его машинистки, допрашивали Юлию о Льве Петрове, который к тому времени уже умер, и наконец позвонили самому Сергею и напрямую потребовали рукопись мемуаров. Зная, что несколько копий рукописи хранятся в надежных местах как в СССР, так и за границей и опасаясь, что сопротивление будет иметь для него дурные последствия, Сергей сдал рукописные материалы и пленки. В то же время он передал «Литтл, Браун» условный сигнал, и публикация мемуаров была намечена на начало 1971 года.

В конце августа 1970 года бледный, сильно ослабевший Хрущев вышел из больницы. Когда он окреп настолько, что смог выходить на прогулки на свою любимую Ужиную горку, Сергей рассказал ему, что произошло. Хрущев одобрил решение о публикации, однако, несмотря на слабость, жестоко разбранил Сергея за то, что тот отдал рукопись КГБ: «Дело тут не в том, что текст пропадет. Тут дело в принципе. Они нарушают конституцию. А ты взял на себя смелость распорядиться тем, чем не имеешь права распоряжаться! Немедленно свяжись с этим человеком, заяви решительный протест от моего имени. Требуй, чтобы все вернули!»[49] С этими словами он вытащил пачку таблеток и проглотил успокоительное.

Сергей попытался выполнить приказ отца, однако, когда он потребовал рукопись, контактировавший с ним агент КГБ, прежде обещавший вернуть материалы по выздоровлении Хрущева, отказался это сделать. Материалы, заявил он, переданы в ЦК, и КГБ к ним больше никакого отношения не имеет.

— Ну их!.. — воскликнул Хрущев, когда Сергей передал ему эти слова. — Ничего теперь с ними не сделаешь. И не ходи туда больше![50]

Осенью 1970 года на Западе появились сообщения о предстоящей публикации книги «Хрущев вспоминает». Сразу после празднования годовщины революции на даче Хрущевых раздался телефонный звонок: звонил Пельше, который потребовал, чтобы Хрущев немедленно, в тот же день, явился в КПК. За ним, сказал он, уже едет машина из Кремля.

В Кремле, где ждали Хрущева Пельше и двое его помощников, состоялся необычный разговор — из ряда вон выходящий не только потому, что Хрущев в самых резких выражениях высказал партийным функционерам свое неодобрение, но и потому, что, увлекшись и забыв о сдержанности, раскрыл перед ними всю глубину своего

отчаяния[51]. О мемуарах он почти не спорил: отрицал, что передавал их за границу или поручал кому-либо сделать это («Никогда никому никаких воспоминаний не передавал и никогда бы этого не позволил»), но подписал заявление, в котором мемуары именовались «фабрикацией» и «фальшивкой».

Этим Пельше остался доволен; правда, во второй части разговора[52] Хрущев дал оценку действиям нынешнего партийного руководства; он сравнил своих наследников с Николаем I, назвал «сталинистами», обвинил их в том, что они загубили реформы и «проели» все, чего он добился в Египте и на Ближнем Востоке[53]. Пельше напомнил Хрущеву, что он «в партийном доме», и потребовал «вести себя как положено». Когда Хрущев заявил, что его наследники губят страну, Пельше возразил, что тот перекладывает на других собственные ошибки. Хрущев воскликнул, что Пельше «в сталинском стиле» его перебивает, на что Пельше отрезал: «Это ваши привычки». — «Да, я тоже заразился от Сталина, — ответил Хрущев, — но я от Сталина освободился, а вы нет».

Реплики Хрущева на этой встрече выдают его жалость к себе: «Я совершенно изолирован и фактически нахожусь под домашним арестом… Помогите моим страданиям… Когда уйдете на пенсию, тогда узнаете, что это адские муки…» — но и его непреклонность в отношении сталинизма: «Убийц надо разоблачать». Он вспоминает одного историка, а также коммуниста, работавшего в Коминтерне: «Сталин расстрелял их обоих… Сколько тысяч людей погибло! Сколько расстреляно!»

А сам Хрущев?! Разве он не был к этому причастен? Быть может, чувство вины заставило его обратиться к Пельше со страшной мольбой: «Пожалуйста, арестуйте, расстреляйте. Мне жизнь надоела. Когда меня спрашивают, я говорю, что я не доволен, что я живу. Сегодня радио сообщило о смерти де Голля. Я завидую ему… Может быть, своим вызовом сюда вы поможете мне скорее умереть. Я хочу смерти… Я хочу умереть честным человеком… Мне 77-й год. Я в здравом разуме и отвечаю за все слова и действия… Готов нести любое наказание, вплоть до смертной казни… Я готов на крест, несите гвозди и молоток… Это не фразы. Я хочу этого. Русские говорят: от тюрьмы и сумы не зарекайся. Я всегда в другом положении был и за всю свою политическую деятельность в порядке допрашиваемого в партийных органах никогда не был…»

Страшное и жалкое впечатление производят эти бессвязные, почти безумные стенания умирающего старика. («Каждый сумасшедший считает, что он не сумасшедший, — заметил Хрущев на той же встрече. — Я не считаю себя сумасшедшим.

Может быть, вы по-другому оцениваете мое состояние».) Примерно в то же время в беседе с Хрущевым Михаил Шатров спросил его, о чем он больше всего сожалеет. «Больше всего — о крови, — ответил Хрущев. — Руки у меня по локоть в крови. Это самое страшное, что лежит у меня на душе»[54].

К концу встречи Хрущев был совершенно измучен. «Я сделал то, что вы хотели, — тихо проговорил он. — Я все подписал. А теперь хочу уехать домой. Я устал, у меня в груди болит».

Беседа в КПК в самом деле ускорила смерть Хрущева. Вскоре после этого у него произошел новый сердечный приступ, перед самым Новым годом снова уложивший его в больницу. Разместили его не в кардиологическом отделении, а в неврологическом, где в это время не было других пациентов. Однажды, вскоре после того как Хрущеву стало лучше, доктор Прасковья Мошенцева, зайдя в палату, застала его за чтением «Правды». Она хотела выйти, чтобы не мешать, но он заговорил с ней, со смехом сказал, что читает о социализме — «в общем, одна вода». Пока врач возилась с капельницей, Хрущев рассказал ей историю о партийном агитаторе, который произносил перед равнодушными колхозниками пламенную речь о социализме и выпил за это время три стакана воды. Когда он наконец закончил и спросил, будут ли вопросы, из заднего ряда поднялся невысокий мужичок. «Уважаемый лектор, — сказал он. — Скажите, пожалуйста, вот вы читали про социализм целых три часа, выпили три графина воды, и ни разу ссать не сходили. Как же это?»

Доктор Мошенцева так и обмерла — а пациент расхохотался. «Теперь вам ясно, что такое социализм? — заключил он. — Вода!»

Трудно поверить, что в конце жизни, посвященной воплощению социалистических идеалов, Хрущев настолько разочаровался в своей вере. Трудно — но не невозможно, если вспомнить, сколько тяжелейших ударов нанесла жизнь, в том числе и его руками, по тем самым идеалам, которым он служил.

Как-то доктор Мошенцева застала Хрущева в комнате медсестер: вся больничная смена, собравшись вокруг него, внимала его шуткам и историям. «Уважаемая Прасковья Николаевна! — обратился он к ней с широкой улыбкой. — Очень прошу никого не наказывать: это я им приказал. Учтите: это последнее мое распоряжение. Теперь ведь я — никто»[55].

Домой Хрущев вернулся настолько ослабевшим, что не мог без отдыха дойти от дома до своего любимого луга. Несмотря на слабость, в феврале 1971 года он снова принялся диктовать. В апреле отпраздновали его семьдесят седьмой день рождения: Хрущев принимал гостей в строгом темном костюме, белой

рубашке, с двумя звездами на груди и любимым портативным радиоприемником, с которым теперь не расставался. Работать в саду он больше не мог, но 2 июля, на день рождения Сергея, с удовольствием провел его гостей по саду, потом пригласил их к себе в комнату, дал послушать пластинки — русские и украинские народные песни — на английском проигрывателе и сфотографировал их всех своим «Хассельбладом», а затем вся компания вышла в сад и посидела у костра. Это был последний большой прием в Петрово-Дальнем.

В эти дни Хрущев снова начал горько сетовать на то, что никому не нужен. «Просто брожу без всякой цели. Если я повешусь, никто и не заметит». Когда он несколько раз упомянул о самоубийстве, врач посоветовал родным не оставлять его одного. Доктор Беззубик полагал, что в депрессии Хрущева повинен атеросклероз, но родные понимали: дело не только в этом. Как бы то ни было, август сменился сентябрем, и тучи, казалось, начали рассеиваться.

5 сентября, в воскресенье, Хрущев навестил Аджубеев на их даче на реке Икше, к северо-западу от Москвы, недалеко от канала, соединяющего Москву-реку с Волгой. Он приехал часов в одиннадцать, и в обед вся семья ела приготовленный Радой суп из пакетика. Ее отец в первый раз попробовал такой суп, и ему понравилось. «А твоя мать лишила меня этого удовольствия, — шутливо пожаловался он. — Скольких вкусных вещей я никогда не пробовал!»[56]

После обеда вся компания отправилась на прогулку. Еще не дойдя до опушки леса, Хрущев остановился и попросил внука Алешу сбегать домой за складным стулом. Нина Петровна дала мужу таблетку. Алексей Аджубей и садовник, работавший на даче по найму, остались с Хрущевым; остальные разбрелись по лесу. Садовник нашел тринадцать грибов и принес их Хрущеву.

— Тринадцать… — пробормотал Никита Сергеевич. — Чертова дюжина, несчастливое число.

Садовник скрылся за деревьями в поисках четырнадцатого гриба, а Хрущев повернулся к Аджубею: «Когда я уйду из жизни, ненависть к тебе угаснет. Они мстят моим родным из-за меня. Не жалей, что жил в бурные времена и что работал со мной в Центральном Комитете. Нас с тобой будут помнить».

Аджубей молчал. Никогда еще Хрущев не говорил с ним так дружески и откровенно. Именно тогда он рассказал зятю историю, приведенную нами в начале книги — о том, как мальчиком в Калиновке встретил таинственную старуху, предсказавшую ему великое будущее.

Вернувшись в Петрово-Дальнее, Хрущев принял еще одну

таблетку, и несколько дней, казалось, все было нормально. Однако две или три ночи спустя у него появилось чувство давления в груди, стало тяжело дышать. Разбудив жену в четыре часа утра, он прошептал: «Посиди со мной, мне как-то тяжело»[57]. Нитроглицерин облегчил его состояние, и Никита Сергеевич попросил жену лечь, но оставить открытой дверь в его спальню, как делалось уже полторы недели. «Может быть, он стал бояться темноты, — подумала она, — но не хочет в этом признаваться»[58].

На следующее утро врач посоветовал больному лечь в больницу, однако особенно не настаивал, рассматривая это как предосторожность. Однако в тот же день у Хрущева случился еще один сердечный приступ. Теперь Беззубик сказал, что в больницу следует отправляться немедленно, разрешив больному ехать не на «скорой помощи», а на обычной машине. «Терпеть не могу „кареты“, — ворчал Хрущев. — Чувствуешь себя в них уже почти покойником». Без посторонней помощи он сел в «волгу» доктора Беззубика, попрощался с поваром и садовником, работавшими на даче, по дороге шутил с водителем. Переезжая по мосту через Москву-реку, он обратил внимание, что кукуруза на близлежащем поле посажена «не так», а в Москве, на Калининском проспекте, указав на зеленеющие каштаны, с гордостью похвастал, что эти деревья появились здесь в тридцатые годы по его настоянию, несмотря на возражения других руководителей[59].

В больницу Хрущев также вошел без посторонней помощи. Добродушно здоровался с медсестрами и санитарами, которых знал по своим предыдущим пребываниям здесь. Нине Петровне велел ехать домой, а в тот же вечер прогнал от себя Сергея: «Нечего время тратить. У тебя что, дел нет? Иди домой, передавай привет своим и вообще, не мешай, видишь, я делом занят: таблетки пора принимать, температуру измерять. Нам тут скучать не дают. Завтра придешь — принеси что-нибудь почитать».

В ту же ночь произошел новый тяжелейший приступ. В среду состояние оставалось тяжелым, но Хрущев еще нашел в себе силы поворчать, когда дочь Елена принесла ему гладиолусы («Зачем мне цветы? Лучше бы себе оставила»), и переадресовать букет медсестре. В четверг ему стало хуже. Кончилось время шуток: Нина Петровна, сидя у постели мужа, целовала его ладонь, а он гладил ее по щеке. В пятницу, казалось, ему стало немного получше, и еще лучше — в субботу утром, когда в больницу приехали Нина Петровна и Рада. Он попросил пива и соленых огурцов, пожаловался, что пиво скверное, а когда Нина Петровна вышла из палаты, чтобы зайти к своему врачу, помахал ей рукой на прощание. Двадцать минут спустя, когда она вернулась,

Хрущев был при смерти. «Как он?» — бросилась она к врачу, вышедшему из его палаты. «Плохо», — лаконично ответил доктор. «Хуже, чем в четверг?» — спросила Нина Петровна. Помедлив, врач ответил: «Он умер»[60].

Обычно сдержанная Нина Петровна разрыдалась. Когда Сергею разрешили войти в палату, он увидел, что «у отца стало совершенно другое, незнакомое лицо: нос заострился, появилась горбинка. Нижняя челюсть подвязана бинтом. Простыня прикрывает его до подбородка. На стене алеют капли крови, целая полоса. Следы усилий реаниматоров»[61].

Немного оправившись, Нина Петровна решила устроить мужу достойные похороны. Масштаб церемонии зависел от государства, а оно не торопилось с ответом. Всю субботу родные Хрущева слышали только: «Подождите».

Опасаясь, что Кремль не пожелает сообщать о смерти Хрущева, Сергей позвонил Виктору Луи и попросил его распространить эту новость. Тем временем в Петрово-Дальнем сотрудники КГБ опечатали дом, поставили у дверей охранника и едва пропустили внутрь Нину Петровну. Кабинет Хрущева тоже был опечатан, и перед ним выставлен еще один охранник. В тот же вечер двое из ЦК обыскали кабинет и забрали с собой все магнитофонные пленки — не только с мемуарами, но и те, на которых был записан комплекс гимнастических упражнений и которые Нина Петровна хотела сохранить, потому что запись начиналась со слов инструктора: «Доброе утро, Никита Сергеевич! Как вы сегодня спали?»

Бумаг у Хрущева почти не осталось: все официальные документы давно хранились в ЦК, а мемуары были уже конфискованы. Тогда агенты госбезопасности перешли к книгам, грамзаписям, обыскали гардероб и стенной шкаф. Обнаружив машинописную рукопись со знаменитым стихотворением Мандельштама о Сталине, подаренную Хрущеву одним физиком-ядерщиком, конфисковали ее. Елена Хрущева громко возмущалась действиями пришельцев, но они не обращали на нее внимания: в конце концов она со слезами на глазах выбежала из комнаты. Незваные гости методично продолжали свое дело: отобрали и цветистое поздравление Хрущеву от Президиума по случаю его семидесятилетия, и почетные грамоты, выданные ему в тридцатых — сороковых годах и подписанные тогдашним «советским президентом» Калининым.

Наконец из Кремля пришло высочайшее решение о похоронах. Разумеется, никакой Красной площади: скромная частная церемония на Новодевичьем кладбище в понедельник, в

двенадцать часов. Перед этим, в десять — прощание в кунцевском морге. Все расходы брал на себя Центральный Комитет. Официально о смерти Хрущева было объявлено только в понедельник, в десять утра — несомненно для того, чтобы на похоронах были только родные и приглашенные ими друзья.

Выразит ли соболезнования кто-нибудь из бывших коллег Хрущева? — спрашивали себя члены семьи. Нет, никто не позвонил. Но в тот же вечер новость распространилась за границей, и в дом начали приходить письма с соболезнованиями от глав государств и лидеров коммунистических партий. Власти не знали, что делать с этим потоком писем. В конце концов случайно некоторые (хотя и не все) доходили до адресатов в грязных и разорванных конвертах.

В понедельник, 13 сентября, семья Хрущевых поднялась на рассвете, чтобы попасть в Кунцево к десяти часам утра. Было пасмурно, моросил дождь. Родственники, приехавшие из других городов, ночевали в городской квартире Хрущевых и на диванах и кушетках в Петрово-Дальнем. В утренней «Правде» не было некролога — лишь заметка на последней странице «с прискорбием» извещала о кончине на 78-м году жизни «бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР, персонального пенсионера Никиты Сергеевича Хрущева».

Прощание состоялось в унылой комнатке непрезентабельного кирпичного здания. Снаружи, на обочинах пустых улиц и за заборами, виднелись грузовики, полные автоматчиков; их командиры переговаривались между собой по рации. Несмотря на все усилия властей, на церемонию пришло несколько храбрецов, лично не знавших Хрущева, но пожелавших отдать ему последний долг. Владимир Лакшин, коллега Твардовского по «Новому миру», вспоминает, как капитан милиции долго допрашивал его, кто он такой и куда идет, — но вопросы эти, по-видимому, не имели практической цели, так как Лакшина с женой беспрепятственно пропустили. У открытого гроба стояли венки от родных, друзей и еще один, скромный — от Центрального Комитета и Совета министров. Из стареньких динамиков с шипением и скрипом несся «Траурный марш». Вокруг гроба стояли члены семьи и несколько старых донбасских товарищей Хрущева. Несколько дипломатов и иностранных корреспондентов ждали снаружи. Перед отъездом на кладбище посторонние вышли, и члены семьи на несколько минут остались наедине с покойным: «рыдающие Юля-старшая и Юля-младшая, окаменевшая Рада и обессилевшая мама»[62].

Похоронный автобус въехал на кладбище (это было сделано в нарушение правил, чтобы не привлекать внимания к похоронам

Хрущева), проехав мимо таблички *«Кладбище закрыто на санитарный день»*. Для погребения Хрущева выделили участок у дальней стены, поодаль от дорожек. Тем из скорбящих, кто не приехал на автобусе вместе с семьей, выпала нелегкая задача: выходы из ближайших станций метро были закрыты, и автобусы и троллейбусы, чьи маршруты проходили мимо кладбища, в этот день не останавливались на соответствующих остановках. Само кладбище было оцеплено милицией, и прорваться через оцепление, назвав себя родственниками или друзьями семьи, удавалось лишь самым настойчивым.

Хотя власти дали понять, что произнесение речей нежелательно, Нина Петровна не могла себе представить, что бывшего первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР опустят в землю без единого слова. Поэтому еще в кунцевском морге Сергей Хрущев переговорил с некоторыми из прибывших и попросил их выступить. Сам он, поднявшись на холмик земли неподалеку от могилы, сказал несколько слов о покойном отце и муже. Надежда Диманштейн, маленькая седая женщина, знавшая Хрущева в двадцатых, а в тридцатых, как многие другие коммунисты, репрессированная, поблагодарила его от имени миллионов реабилитированных и возвращенных из лагерей и ссылок. Третьим выступил коллега Сергея: Хрущева он почти не знал, но его отец погиб в лагере. Он поблагодарил Хрущева за то, что тот вернул его отцу доброе имя, и сказал, что дети Хрущева должны им гордиться.

Речи были окончены. Агенты спецслужб в гражданском попытались помешать собравшимся — всего их было около двух сотен человек — подойти к гробу, но члены семьи упросили их не мешать прощанию. Когда толпа отхлынула, гроб опустили в могилу и Сергей бросил на него первую горсть земли. Могильщики уже закапывали гроб, когда к месту упокоения подбежал запыхавшийся молодой человек с новым венком: «Никите Сергеевичу Хрущеву от Анастаса Ивановича Микояна». Единственный из советских небожителей, Микоян счел нужным отдать последний долг своему старому товарищу.

ЭПИЛОГ

Лишь через четыре года после смерти Хрущева семья получила разрешение поставить на могиле памятник. После бесконечных отсрочек и отговорок (чиновники на разных уровнях не говорили «нет», но явно боялись сказать «да») вдова Хрущева позвонила председателю Совета министров Алексею Косыгину и получила у него разрешение на мемориал[1].

Памятник работы Эрнста Неизвестного — того самого скульптора, которого Хрущев так жестоко «разносил» в 1962 и 1963 годах, — состоит из чередующихся блоков белого мрамора и черного гранита: на одном из них возвышается бронзовая голова Хрущева с суровым, напряженным лицом. Так художник изобразил человека, в характере которого сплелось множество контрастов: «последний романтик» — и приземленный реалист; оппортунист — но со своими принципами; страшащийся войны — но готовый ходить по краю бездны; малограмотный рабочий — и руководитель великой державы; человек, замешанный в страшнейших преступлениях эпохи, — и принесший своей стране много добра.

Почти двадцать лет — до начала перестройки — этот яркий, многосторонний, противоречивый человек оставался у себя на родине в забвении: казалось, о нем прочно забыли. Умение вычеркивать неугодных политиков из истории не было новым: сперва его успешно применял Сталин, потом — Хрущев по отношению к самому Сталину. Кроме того, Брежнев и его коллеги питали ненависть даже к мертвому Хрущеву. Уже в 1984 году, на заседании Политбюро, где было принято решение восстановить в партии Молотова, присутствующие обменялись репликами о Хрущеве. Министр обороны Дмитрий Устинов: «…его скандальные заявления… в адрес Сталина… Никакой враг не причинил бы нам столько вреда, как Хрущев…» Председатель Совета министров Николай Тихонов: «Он мазал грязью нас и нашу политику…» Министр иностранных дел Андрей Громыко: «Он нанес непоправимый урон положительному образу Советского Союза в глазах всего мира»[2].

Обычные граждане ни в октябре 1964 года, ни позже не имели возможности выступить в защиту Хрущева, хотя многие вспоминали о нем с благодарностью. Как пишет Рой Медведев: «Одно то, что в годы его правления были реабилитированы около двадцати миллионов человек — пусть многие из них посмертно, — перевешивает все ошибки и промахи Хрущева»[3]. Однако многие другие, для кого его имя было связано с хлебными

очередями, международными кризисами, бескультурьем и экстравагантным поведением, пятнающим достоинство России, были рады его уходу.

Михаил Горбачев, начавший свою политическую карьеру во времена Хрущева, с ностальгией вспоминал о его открытости и оптимизме. Хотя при преемниках Хрущева он сделал блестящую карьеру (от областного партийного чиновника в 1964 году до секретаря ЦК и члена Политбюро в 1980-м), для него «брежневщина — не более чем консервативная реакция на попытку реформ Хрущева…». Поколение Горбачева, продолжает он, «считало себя „детьми XX съезда“» и почитало своим долгом «возобновить процесс перемен и пойти дальше»[4].

Реформы Горбачева и Ельцина зашли гораздо дальше реформ Хрущева, однако и эти политики не сумели выполнить свои обещания — отчасти из-за того, что во всяком случае вначале Горбачев разделял наивную веру Хрущева в приверженность советских людей к коммунизму, а Ельцин «унаследовал» от своего далекого предшественника импульсивность и непредсказуемость. Что же до самого Хрущева — в конце восьмидесятых — начале девяностых он стал необычайно популярной в обществе фигурой. О нем публиковались воспоминания (в том числе и его собственные), ему посвящались выставки, о нем снимались документальные фильмы. Однако после крушения СССР интерес к нему быстро схлынул.

Большинство нынешних жителей России, поглощенных актуальными проблемами, не слишком интересуются историей, тем более — историей неудавшихся коммунистических реформ. Фонд Горбачева организовал и провел две конференции, посвященные Хрущеву: по случаю столетия со дня его рождения (1994) и к сорокалетнему юбилею XX съезда[5]. Время от времени вокруг имени Хрущева вспыхивают споры. Так, в 1996 году один из идеологов КПРФ осудил Хрущева за доклад на XX съезде с его «во многом необъективной, а то и прямо клеветнической оценкой» деятельности Сталина. С другой стороны, представители русских националистических сил порой восхваляют Хрущева не только за смелое противостояние врагам России в Венгрии в 1956 году и на Кубе в 1962-м, но даже за печально знаменитый ботинок на столе в ООН[6].

На пороге двадцать первого столетия мнение русских о Хрущеве противоречиво. Согласно данным опросов, проведенных социологом Юрием Левадой, в двадцатом веке имеются лишь два периода, оцениваемые современными россиянами позитивно: царствование Николая II и правление Хрущева[7]. Во время исследования в мае 1998 года молодых людей в возрасте от 18 до

29 лет попросили оценить деятельность правителей России в двадцатом веке. По мнению большинства опрошенных, не только Ленин, Сталин и Брежнев, но и Горбачев и Ельцин принесли стране больше вреда, чем пользы. Единственным лидером, заслужившим позитивную оценку, стал Николай II. Что же касается Хрущева — мнения резко разделились[8].

Сильнейшие и опаснейшие из соперников Хрущева надолго его пережили. Молотов, восстановленный в партии в 1984 году, умер два года спустя. Маленков и Каганович дожили, соответственно, до 1988 и 1991 года. После смерти Хрущева его дача в Петрово-Дальнем была снесена — видимо, из опасения, что родные превратят ее в мемориал. Нина Петровна переехала в городскую квартиру в Староконюшенном переулке; последние семь лет она прожила в деревянном дачном домике в подмосковном поселке Зубовка, где обитал и Молотов. Она всегда любила гулять и работать в саду, а в последние месяцы жизни, когда, ноги ей отказали, часами сидела в одиночестве на веранде и смотрела вдаль. Умерла она 9 августа 1984 года.

Дочь Никиты и Нины Хрущевых Елена умерла в 1972 году. Юлия Никитична Хрущева, дочь Хрущева от первой жены, — в 1981-м. В 1991-м Сергей Хрущев переехал в США, в город Провиденс, где проживает и по сей день: он работает в Институте международных отношений Томаса Уатсона при Браунском университете, читает курсы по международным отношениям, проблемам России, текущим отношениям между постсоветскими государствами и пишет книги о своем отце. В 1999 году Сергей и его жена Валентина получили американское гражданство, что произвело крайне неблагоприятное впечатление на многих русских. Даже тем, кто не питает симпатий к коммунизму, печально видеть, что похвальба Хрущева обернулась столь позорным поражением: он уверял, что внуки американцев будут жить при коммунизме, — вместо этого его собственный сын предпочел жизнь при капитализме.

Дочь Хрущева Рада много лет проработала в журнале «Наука и жизнь». Ее муж Алексей Аджубей, особенно тяжело воспринявший падение Хрущева — ведь и сам он пал вместе с тестем, — умер в 1993 году. Юлия Леонидовна, дочь Леонида, служила литературным консультантом в знаменитом Вахтанговском театре. У ее дочери Ксении, названной в честь матери Хрущева, двое детей, и одного из них зовут Никитой. Вторая дочь Юлии, Нина, защитила в Принстонском университете диссертацию по сравнительному литературоведению и сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Брата Юлии по отцу Юрия

Хрущева, летчика-испытателя, уже нет в живых; большую часть жизни он посвятил попыткам прояснить судьбу своего отца, Леонида Хрущева. Вдова Леонида Любовь — до сих пор яркая, жизнерадостная женщина, несмотря на все перенесенные ею испытания, — живет в Киеве. Ее сын Анатолий, о печальном детстве которого мы рассказали в главе VII, окончил Киевский политехнический институт, работал инженером, умер в 2000 году. У него остались две дочери.

Внук Хрущева Никита Сергеевич (сын Сергея) работает в газете «Московские новости» и помогает отцу собирать материал для книг о дедушке. Второй сын Сергея, тоже Сергей — биолог. У Рады и Алексея Аджубеев трое сыновей: Никита — экономист, Иван и Алексей — биологи. Алексей живет и работает в Западной Европе.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

[1] «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» от 13 октября 1960 года сообщали, что накануне Хрущев стучал ботинком по столу на заседании ООН, и другие источники подтверждают это на основании собственных свидетельств или разговоров со свидетелями. Однако Джеймс Ферон, молодой корреспондент «Таймс», присутствовавший на заседании, но не давший материала в газету, впоследствии утверждал: «Я ясно видел, что Хрущев не стучал ботинком». Согласно Ферону, Хрущев «нагнулся, снял башмак, угрожающе помахал им в воздухе и опустил на стол», но «не стучал им по столу». Видеозаписей инцидента найти не удалось. Существуют фотоснимки, запечатлевшие Хрущева с ботинком в руке и ботинок на столе, однако по этим фотографиям трудно понять, что произошло в действительности. Служащая ООН, присутствовавшая (с ее слов) на историческом заседании, утверждает, что Хрущев не снимал ботинок «и не мог его снять», ибо «внушительный живот» мешал ему нагнуться под стол. На самом деле ботинок свалился сам, когда какой-то чересчур усердный репортер наступил Хрущеву на ногу. По словам служащей, она подняла ботинок и подала его Хрущеву — после чего тот действительно стучал им по столу. Исследовав эти противоречивые сообщения, я со всем смирением историографа должен заметить, что разделяю общепринятую точку зрения, согласно которой ботинок не только парил в воздухе, но и барабанил по столу. Воспоминания Джеймса Ферона см.: *Грин Д.* Westchester Q&A: James Feron, Turning Outpost into Career Milestone // New York Times. 1997. 5 октября. С. 3; беседа автора с Джеймсом Фероном и его женой Джин Ферон. Воспоминания не названной по имени служащей ООН цитируется у: *Зенькович Н. А.* Собрание сочинений: тайны ушедшего века: власти, распри, подоплека. М.: Олма-пресс, 2000. Т. 1. С. 283. Символическое значение, которое приобрел в массовом сознании экстравагантный жест Хрущева, ярко иллюстрирует недавний выход книги Роя Андерхилла «Ботинок Хрущева и другие способы привлечь внимание аудитории» (Khrushchev's Shoe and Other Ways to Captivate an Audience from 1 to 1000. Cambridge, Mass.: Perseus, 2000).

[2] Год, проведенный в МГУ, я описал в книге «The View from Lenin Hills: Soviet Youth in Ferment» (NY.: Coward-McCann, 1967).

[3] Stalin's American Policy: from Entente to Detente to Cold War. NY.: Norton, 1982.

[4] Строительство социализма в СССР и развитие сельского

хозяйства. М.: Госполитиздат, 1962–1964. В 8 т.; далее: Строительство социализма в СССР.

[5] Khrushchev Remembers / Пер. и под ред. С. Тэлбота. Boston: Little, Brown, 1970; далее: HX1; Khrushchev Remembers: The Last Testament / Пер. и под ред. С. Тэлбота. Boston: Little, Brown, 1974; далее: HX2.

[6] *Хрущев С.* Пенсионер союзного значения. М.: Новости, 1991; далее: СХ1; *Аджубей А.* Те десять лет. М.: Советская Россия, 1989. Khrushchev Remembers: the Glasnost Tapes / Пер. и под ред. Дж. Л. Шлехтера, В. Лучкова. Boston: Little, Brown, 1990; далее: HX3; Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. 1990. № 2–12; 1991. № 1–12; 1992. № 1–3, 6–9, 11–12; 1993. № 2–10; 1994. № 1–8, 10–12; 1995. № 2–6. Далее: HX4, с номером и годом выпуска.

[7] *Хрущев С.* Khrushchev on Khrushchev: An Inside Account of the Man and His Era / Пер. и под ред. У. Таубмана. Boston: Little, Brown, 1990. Далее: СХ2. Книга Аджубея не была опубликована в США, однако дополнительный материал, полученный в ходе наших бесед, Аджубей включил в свою следующую книгу «Крушение иллюзий» (М.: Интербук, 1991).

[8] Я обращался к трудам Зигмунда Фрейда (The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud / Под ред. Дж. Стрейчи. London: Hogarth Press, 1953–1974), Альфреда Адлера (The Individual Psychology of Alfred Adler. NY.: Basic Books, 1956), Карен Хорни (Neurosis and Human Growth: The Struggle toward Self-Realization. NY.: Norton, 1950) и Эрика Х. Эриксона (Childhood and Society. NY: Norton, 1963).

[9] Полный русский текст воспоминаний Хрущева вместе с альтернативными вариантами надиктованных пленок, примечаниями и иллюстративными документами опубликован в России: Н. С. Хрущев: воспоминания — время, люди, власть. М.: Московские новости, 1999. В 4 т.; далее: HX5. На сегодняшний день эта версия является наиболее полной, хотя, согласно Сергею Хрущеву, она незначительно сокращена по соображениям удобства печати. Я стремился по возможности цитировать мемуары Хрущева по англоязычным изданиям, дабы облегчить доступ к источникам для читателей, не владеющих русским языком.

[10] Магнитофонные пленки с записями воспоминаний Хрущева и их дословные расшифровки в США доступны в Собрании устной истории, университет Колумбия, и в Библиотеке Джона Хея, Браунский университет. Аналогичные материалы хранятся в Центральном архиве общественных движений в Москве, в тексте — ЦАОД и в Российском государственном архиве социально-

политической истории, в тексте — РГАСПИ в Москве.

ПРОЛОГ

[1] Дипломатические приемы в СССР в 1946–1949 годах описывает Уолтер Биделл Смит, посол США в те годы, в своей книге «My Three Years in Moscow» (Philadelphia: Lippincott, 1950. С 98–101). О приемах в пятидесятые годы см.: *Фрэнкел М.* The Times of My Life and My Life with the Times. NY.: Random House, 1999. С 149–150; 157–158. О дипломатических приемах с участием Хрущева автору рассказали Марвин Кэлб и Дэниел Шорр.

[2] Согласно спичрайтеру Хрущева Федору Бурлацкому, который также слышал от него эту историю, Хрущев прочел рассказ в учебнике для начальной школы, озаглавленном: «Учимся читать и пересказывать». См.: *Бурлацкий Ф.* Khrushchev: The Era of Khrushchev through the Eyes of His Advisor / Пер. Дафны Скиллен. NY.: Scribner's, 1991. С. 39.

[3] Khrushchev — A Personality Sketch. OCI, № 2391/61. С 1–2. Недатированная копия, предоставленная автору Отделом истории ЦРУ США.

[4] *Винниченко В.* Творі. Т. 9 Київ, 1919.

[5] *Доктор Брайант Уэдж.* Khrushchev at the Distance: A Study of Public Personality. Transaction. Октябрь 1968 г. С 24–28. Сам доклад не был опубликован, по всей видимости, в связи с нежеланием ЦРУ раскрывать свои методы составления психологических портретов лидеров иностранных государств. («Гипомания» здесь соответствует тому, что в русской психиатрической традиции называется «гипертимной акцентуацией характера». — *Прим. пер.*)

[6] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3-е изд. Washington, D.C.: American Psychiatric Assosiation, 1980. С. 206–207.

[7] *Мак-Уильямс Н.* Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process. NY.: Guilford Press, 1994. С 248.

[8] Цит. по: НХ5. Т. 1. С. 4.

ГЛАВА I

[1] Это описание создано по различным источникам, включая беседы автора с сыном Хрущева Сергеем, домашние кинофильмы, переданные автору Сергеем Хрущевым, воспоминания Нормана Казинса *«The Improbable Triumvirate: John F. Kennedy, Pope John XXIII, Nikita Khrushchev»* (NY.: Norton, 1972), интервью с дочерью Казинса, Андреа Казинс, которая посещала Пицунду в 1964 году вместе со своим отцом, а также детальный отчет Эрика Джонстона, побывавшего в Пицунде в 1958 году и подробно описавшего это место в своем рапорте Госдепартаменту США. Рапорт Джонстона получен из Public Record Office, Kew, London, U. K. (далее: PRO), Foreign Office (далее: FO) 371/143419.

[2] *Аджубей А.* Крушение иллюзий. М.: Новости, 1991. С. 288. Далее: *Аджубей.*

[3] По воспоминаниям бывших коллег Хрущева Александра Шелепина и Владимира Семичастного в интервью с Николаем Барсуковым от 27 марта и 12 мая 1989 года: «Беседа с Шелепиным А. Н. и Семичастным В. Е.» // Неизвестная Россия: XX век. Т. 1. М.: Историческое наследие, 1992. С. 279. (Далее: Неизвестная Россия.)

[4] *Cousins.* Improbable Triumvirate. С. 85–86.

[5] *Микоян А.* Так было: размышления о минувшем. М.: Вагриус, 1999. С. 614.

[6] Сведения об этом разговоре расходятся. По рассказу Сергея Хрущева *(Хрущев С.*.. Далее: СХ2. С. 133–134), из Кремля позвонил не Брежнев, а главный партийный идеолог Михаил Суслов. Однако Петр Шелест и Владимир Семичастный подтверждают, что звонил Брежнев. См.: *Шелест П.* Да не судимы будете: дневниковые записки, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. М.: б/и, 1995. С. 224 (далее: *Шелест);* беседа автора с Семичастным.

[7] *Хрущев С.* Никита Хрущев: кризисы и ракеты. М.: Новости, 1994. Т. 2. С. 272–274 (далее: СХ3).

[8] СХ2. С. 108.

[9] СХ3. Т. 2. С. 498.

[10] Там же. С. 490–491.

[11] Этот и другие примеры паники Брежнева Семичастный привел в интервью В. А. Старкову, главному редактору «Аргументов и фактов» // Аргументы и факты. 1989. 20–26 мая. Автор имел возможность прочесть полную неопубликованную запись интервью. См. также: СХ2 и *Шелест.* С. 191.

[12] Беседа с Н. Г. Егорычевым Николая Барсукова от 19

сентября 1990 года // Неизвестная Россия. Т. 1. С. 291.

[13] СХ2. С. 124–125.

[14] *Алексеев В.* Человек из тени // Правда. 1993. 18 марта. С. 5.

[15] Неизвестная Россия. Т. 1. С. 279.

[16] Неопубликованная запись интервью В. Семичастного В. Старкову. С. 11. Беседа автора с Семичастным.

[17] СХ2. С. 138. [Цит. по: *Хрущев С.* Хрущев. М.: Вагриус, 2001. Далее: СХ-рус. С. 149.]

[18] Неопубликованная запись интервью В. Семичастного В. Старкову. С. 8.

[19] Беседа автора с Семичастным.

[20] Последующий рассказ создан на основе воспоминаний нескольких участников исторического заседания Президиума. Владимир Малин, глава общего отдела ЦК, тайно вел записи, которые несколько десятилетий хранились в секретных партийных архивах и были опубликованы в журнале «Источник» (1998. № 2. С. 125–135). В записках кратко, без сохранения колорита речи, пересказана большая часть выступлений и реплик. Кандидат в члены Президиума Леонид Ефремов опубликовал более живые воспоминания: Как снимали Хрущева // Диалог. 1993. № 7. С. 47–55. Назовем также интервью, взятое Андреем Карауловым у Петра Шелеста 15 июня 1989 года: Брежневу я так и сказал // Театральная жизнь. 1989. № 17. С. 28–32; интервью В.А.Старкова с Семичастным (как опубликованный текст, так и неопубликованную запись, ставшую доступной автору). См. также: Неизвестная Россия. Т. 1. С. 281–284.

[21] *Ефремов.* Как снимали Хрущева // Диалог. 1993. № 7. С. 51.

[22] Там же.

[23] Неопубликованная запись интервью В. Семичастного В. Старкову. С. 9. См. также: СХ2. С. 150.

[24] СХ2. С. 149–154.

[25] Диалог. 1993. № 7. С. 52.

[26] Там же. С. 53; *Александров-Агентов А.* (бывший советник Брежнева по внешней политике). Брежнев и Хрущев // Новое время. 1993. № 22. С. 40.

[27] Стенографическая запись этой речи не сохранилась, а доступные источники, перечисленные выше, различаются в деталях. Автор создал «сводный вариант» на основе различных источников. [Отчасти цит. по: СХ-рус. С. 167.]

[28] Стенографическая запись речи Суслова, вместе с другими документами Пленума от 14 октября 1964 года, опубликована в: Как снимали Н. С. Хрущева: материалы Пленума ЦК КПСС, октябрь 1964 г. // Исторический архив. 1993. № 1. С. 3–19. Поведение Хрущева во время речи Суслова описал в беседе с

автором член ЦК Александр Ляшко.

[29] СХ2. С. 160.

[30] Русские комментаторы спорят о том, являлся ли антихрущевский заговор противозаконным мероприятием или же он вполне соответствовал уставу партии (дающему ЦК право назначать членов Президиума и избирать партийного руководителя), но готовился втайне, чтобы не позволить Хрущеву его сорвать. Вопрос этот едва ли имеет большое значение, если учесть, что речь идет об истории государства, основанного в результате государственного переворота и в течение всего своего существования не придававшего особого значения строгой законности.

[31] *Трояновский О.* Через годы и расстояния. М.: Вагриус, 1997. С. 263. Далее: *Трояновский.*

[32] С Хрущевым обошлись довольно жестко, но ему повезло по сравнению с теми, кого «убирали» с высоких постов в сталинские времена.

[33] СХ2. С. 161–162. [Цит. по: СХ-рус. С. 173.]

ГЛАВА II

[1] Сам Хрущев всегда отмечал день рождения 17 апреля. Однако в книге записей гражданского состояния в Архангельской церкви его родной Калиновки дата рождения Хрущева — 15 апреля. См.: НХ5. Т. 1. С. 722: сообщение из архива Курской области.

[2] СХ2. С. 238. [Цит. по: СХ-рус. С. 257.]

[3] По словам Дмитрия Шепилова, много лет (до неудачного путча 1957 года) проработавшего рядом с Хрущевым, тот не любил говорить о своем крестьянском происхождении и старательно избегал разговоров о своем образовании. Шепилову не всегда можно доверять, поскольку он ненавидел своего бывшего начальника: однако это его свидетельство звучит правдоподобно. См.: *Шепилов Д. Т.* Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 4. С. 18–19.

[4] Автор совершил это путешествие в 1991 году вместе с сыном Хрущева Сергеем и его женой Валентиной Голенко.

[5] *Пайпс Р.* Russia under the Old Regime. NY.: Scribner, 1974. С. 167–168. Далее: *Пайпс.*

[6] *Степняк С.* The Russian Peasantry: Their Agrarian Condition, Social Life and Religion. Westport, Conn.: Hyperion, 1977. С 142–143.

[7] *Мейнард Дж.* Russia in Flux / Под ред. С. Х. Геста. NY.: Macmillan, 1948. С. 50.

[8] Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. Курск: Типография губернского правления, 1892. С. 20.

[9] The village of Viryatino: An Ethnographic Study of a Russian Village from before the Revolution to the Present / Пер. и ред. С. Бенет. Garden City, NY.: Anchor Books, 1970. С 58–62.

[10] *Степняк.* С. 160.

[11] Viryatino. С. 122.

[12] Устное сообщение от 31 августа 1959 года // Хрущев Н. С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. М.: Политиздат, 1963. Т. 4. С. 47. Далее: Строительство коммунизма в СССР. См. также: Правда. 1962. 19 мая. С. 3.

[13] Беседа с Росуэллом Гарстом и Джоном Кристалом // Строительство коммунизма в СССР. Т. 8. С. 6.

[14] НХ1. С. 266. В английском тексте эта фраза относится к жизни Хрущева в Юзовке, однако в оригинале речь, несомненно, идет о Калиновке.

[15] Строительство коммунизма в СССР. Т. 4. С. 47.

[16] The village of Viryatino. С. 143–144.

[17] Там же. С. 151.

[18] В земских школах в 1907 году учились 3,8 миллиона детей (в церковно-приходских в 1906-м — 2 миллиона).

[19] В какую школу и как долго ходил Хрущев, из его собственных слов не совсем ясно. По-видимому, вначале он посещал церковно-приходскую, а затем начал ходить в государственную школу в Калиновке. См.: НХ3. С. 5. По словам Шепилова, Хрущев рассказывал ему, что регулярно посещал школу только одну зиму, следующей зимой ходил нерегулярно, а затем вовсе бросил учиться. См.: *Шепилов.* Воспоминания. С. 19.

[20] The village of Viryatino. С. 150.

[21] Там же. С. 151–152.

[22] Цит. по: *Мартин Г.* Back to the Beginning of the Tumultous Life of Nikita Khrushchev // Saturday Evening Post. 1964. 7 ноября. С. 19.

[23] НХ3. С. 4.

[24] Речь Хрущева в Калиновке от 28 июня 1962 года цит. по: Foreign Broadcast Information Service // Daily Report: Foreign Radio Broadcasts (далее: FBIS). 1962. 3 августа. С. CC7.

[25] См.: НХ5. Т. 1. С. 722–723.

[26] НХ3. С. 4.

[27] *Воробец К. Д.* Peasant Russia: Family and Community in the Post-Emancipation Period. Princeton: Princeton University Press, 1991. С. 79.

[28] НХ3. С 4–5. Хрущев указывает, что они с матерью и сестрой сопровождали отца во время одного из его путешествий в Юзовку и прожили там полтора года, а затем снова вернулись в Калиновку.

[29] Там же. С. 6.

[30] Беседа автора с Радой Аджубей, дочерью Хрущева.

[31] *Аджубей.* С. 150.

[32] The village of Viryatino. С. 22.

[33] Рассказ о почетном шахтере: Н. С. Хрущев в Донбассе. Сталино: Книжное издательство, 1961. С. 11.

[34] Saturday Evening Post. 1964. 7 ноября. С. 19.

[35] НХ1. С. 269.

[36] Беседа автора с Любовью Сизых.

[37] Беседа автора с Ниной Ивановной Кухарчук.

[38] Беседа автора со старожилами Калиновки.

[39] Цит. по: *Палоши-Хорват Дж.* Khrushchev: the Making of a Dictator. Boston: Little, Brown, 1960. С 13.

[40] НХ3. С. 8–9.

[41] Беседа автора с Любовью Сизых.

[42] *Аджубей.* С. 151.

[43] Там же.

[44] Беседа автора с помощником Хрущева Андреем Шевченко.

[45] *Джонс Э.* The Life and Work of Sigmund Freud. NY.: Basic Books, 1961. С 6.

[46] *Лассуэлл Г.* Power and Personality. NY.: Norton, 1948. С 50.

[47] Согласно Нэнси Мак-Уильямс, мальчики, подобные Хрущеву, — живые, энергичные, общительные, склонные к познанию нового, — нуждаются в авторитетной фигуре отца, который должен объяснить им, как устроен мир, и научить умерять и организовывать «фантазию и агрессивный напор». Если такого отца нет рядом, мальчик начинает искать «фигуру, заменяющую отца». См.: *Мак-Уильямс Н.* Mothering and Fathering Processes in the Psychoanalytic Art // Psychoanalytic Review. 1991. Т. 78. № 4. С 527–530.

[48] НХ3. С. 5.

[49] Там же. С. 5.

[50] Там же. С. 5–6.

[51] *Аджубей.* С. 18.

[52] НХ1. С. 22.

[53] Там же.

[54] Выступление перед профсоюзными активистами. 1960. 31 марта // Правда. 1960. 2 апреля. С. 2.

[55] Цит. по: *Бешлосс М.* The Crisis Years: Kennedy and Khrushchev. 1960–1963. NY.: HarperCollins, 1991. С 82.

[56] Антирелигиозная политика Хрущева подробно описана в главе XVIII.

[57] Беседа автора с Андреем Шевченко.

[58] *Фейер Л.* Marx and Engels: Basic Writing on Politics and Philosophy. Garden Sity, NY.: Anchor Books, 1959. С 11, 18.

[59] См.: *Козлова Н. Н.* Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М.: Институт философии, 1996. С. 131–134.

ГЛАВА III

[1] Хрущев не уточнял, когда и сколько раз он бывал в Юзовке. Одно из упоминаний о его прежних посещениях Юзовки см. в: НХ4. 1990. № 6. С. 88.

[2] См.: *Пистрак Л.* The Grand Tactician: Khrushchev's Rise to Power. NY.: Praeger, 1961. С. 5; *Франкленд М.* Khrushchev. NY.: Stein and Day, 1967. С 17.

[3] НХ1. С 403. [НХ5. Т. 2. С. 269–270.]

[4] *Куромия Х.* Donbas Miners in War, Revolution and Civil War // Making Workers Soviet: Power, Class and Identity / Под ред. Льюиса Х. Сигелбаума, Р. Г. Сьюни. Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1994.

[5] Цит. по: *Фридгат Т. Х.* Yuzovka and Revolution. Т. 1: Life and Work in Russia's Donbass, 1869–1924. Princeton: Princeton University Press, 1989. С 73.

[6] Викентий Викентьевич Вересаев. Цит. по: Рассказ о почетном шахтере. С. 12.

[7] Интервью Хрущева газете «Фигаро» // Правда. 1958. 27 марта. С. 2.

[8] См.: *Томпсон У.* Khrushchev: A Political Life. NY.: St-Martin's, 1995. С. 6.

[9] Рассказ о почетном шахтере. С. 22.

[10] НХ2. С. 88. [НХ5. Т. 4. С. 42–43.]

[11] *Фридгат.* Т. 1. С. 274.

[12] В 1958 году, в разгар хрущевской кампании в пользу саммита «большой четверки», Хрущев сравнивал своих несговорчивых партнеров с юзовскими шахтерами, требовавшими, чтобы им выплачивали жалованье в конце месяца. Однако они не уточняли, *какого* месяца, — и в результате некоторые оставались без жалованья. Интервью Хрущева газете «Таймс» // Правда. 1958. 16 февраля. С. 1.

[13] Хрущев сравнивал слухи о холере с теми, что возникли в 1952 году, когда кремлевских врачей ложно обвинили в отравлении советских руководителей.

[14] Цит. по: *Фридгат.* Т. 1. С. 73.

[15] См.: *Мосс Дж. И.* Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. NY.: Oxford University Press, 1990. С 159–181.

[16] *Куромия.* С. 142–143.

[17] *Фридгат.* Т. 1. С. 83, 93–94.

[18] *Куромия.* С. 241.

[19] *Фридгат.* Т. 1. С. 173, 333–334; *Пистрак.* С. 5.

[20] *Фридгат.* Т. 1. С. 330.

[21] Там же. С. 256–257.

[22] *Крэнкшоу Э.* Khrushchev: A Career. NY.: Viking Press, 1966. С. 11–12.

[23] О важности выбора профессии и супруга и о том, что говорит этот выбор о личности человека, см.: *Левинсон Д. Дж.* The Seasons of A Man's Life. NY.: Knopf, 1970. Особ. с. 22, 71–83, 90–93, 101–111.

[24] О том, как бывший товарищ Хрущева по этой работе описывал ее, см.: Saturday Evening Post. 1964. 7 ноября. С. 23.

[25] НХ3. С. 6–7.

[26] Там же.

[27] Речи Хрущева в «Правде» от 10 марта, 28 и 31 августа 1963 года. С. 1.

[28] Фото из: Рабочая биография: фотоальбом о Донецком машиностроительном заводе имени Ленинского комсомола Украины. Киев: Мистецьтво, 1989.

[29] См.: The Russian Worker: Life and Labor Under the Tsarist Regime / Под ред. В. Э. Боннелл. Berkeley: University of California Press, 1983. С. 10.

[30] Там же. С. 45–46.

[31] Там же. С. 50.

[32] *Фридгат.* Т. 1. С. 304.

[33] НХ2. С. 86. [НХ5. Т. 4. С. 7.]

[34] Беседы автора с Ольгой Косенко. Донецк, июнь 1991-го и июль 1993-го.

[35] Там же.

[36] См. НХ5. Т. 1.С. 727–729.

[37] *Шаповал Ю. И.* Н. С. Хрущев на Украине. Киев: Товариство «Знания», 1990. С. 6; Довидкова картка. 1971. 24 декабря. Центральний Державний Архив Громадских Об'еднань Украини (далее: ЦДАГУ). Папка 39. Дело 4, № 223. Л. 28–29.

[38] Рассказ о почетном шахтере. С. 22. Сообщения «рассказа» выдержаны в хвалебно-льстивом тоне, однако этому, как думается, можно верить.

[39] НХ3. С. 8.

[40] Рассказ о почетном шахтере. С. 22.

[41] Беседа автора с Ниной Бармут, племянницей первой жены Хрущева.

[42] Хрущев и его вторая жена Нина Петровна поддерживали близкие отношения с семьей Писаревых. В 1929 году Хрущевы пригласили сестру Ефросиньи Анну поселиться с ними в Киеве, чтобы заботиться о племяннице и племяннике, Юлии и Леониде Хрущевых. На протяжении многих лет Хрущевы-старшие помогали Писаревым различными способами, прежде всего

посылками книг. Нина Петровна не забывала об их днях рождения, а Никита Сергеевич навещал их в их доме неподалеку от Сочи — в результате чего дорогу, ведущую к их отдаленному домику в горах, заасфальтировали, и местные жители прозвали ее «Хрущевкой». Сведения получены из беседы с Ниной Бармут.

[43] *Аджубей.* С. 152.

[44] *Бешлосс.* С. 294.

[45] *Аджубей.* С. 89.

[46] НХ2. С. 87. [НХ5. Т. 4. С. 40.]

[47] *Периско Дж. Э.* The Imperial Rockefeller: A Biography of Nelson Rockefeller. NY.: Simon and Shuster, 1982. С 86.

[48] Рассказ о почетном шахтере. С. 16.

[49] Там же.

[50] Там же.

[51] Беседы автора с Юрием (июль 1993) и Сергеем Хрущевыми.

[52] Беседа автора с Юлией Леонидовной Хрущевой.

[53] Рассказ о почетном шахтере. С. 25.

[54] НХ3. С. 10–11.

[55] Рассказ о почетном шахтере. С. 16.

[56] Статья Хрущева, перепечатана в НХ5. Т. 1. С. 732–733.

[57] НХ3. С. 7–8.

[58] Этот вопрос задал Хрущеву после его отставки советский драматург Михаил Шатров. См.: Н. С. Хрущев (1894–1971): Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева. М.: РГГУ, 1994. С. 39.

ГЛАВА IV

[1] О событиях в Донбассе во время Гражданской войны см.: *Куромия Х.* Freedom and Terror in the Donbas: A Ukrainian — Russian Borderland, 1870s–1990s. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1998. С 71–150.

[2] Беседа Хрущева с драматургом Михаилом Шатровым. См.: Н. С. Хрущев (1894–1971): Материалы конференции… С. 39.

[3] См.: *Куромия.* Freedom and Terror… а также: *Куромия.* Donbas Miners…

[4] *Куромия.* Donbas Miners… С. 151.

[5] Должности Хрущева упоминаются в «Рассказе о почетном шахтере» (С. 34–39). Копия протокола заседания Рутченковского совета от 29 мая 1917 года хранится в Державном архиве Донецкой области (далее: ДАДО). Документы, подписанные Хрущевым как председателем Рутченковского совета 17 и 19 мая 1917 года, см. в: НХ5. Т. 1. С. 729–730.

[6] *Чуев Ф.* Сто сорок бесед с Молотовым. М.: Терра, 1991. С. 352.

[7] НХ3. С. 11.

[8] Там же. С. 9.

[9] *Куромия.* С. 151–152.

[10] Рассказ о почетном шахтере. С. 42–43.

[11] См.: *Модсли И.* The Russian Civil War. Boston: Allen&Unwin, 1987. С 29.

[12] Большевики с самого начала осуждали войну как внутренний конфликт империалистов, в то же время способствующий победе пролетарских революций в воюющих государствах. Придя к власти, Ленин попытался немедленно заключить перемирие, однако отверг жесткие требования Германии, включавшие в себя оккупацию Польши, Украины, Литвы и Западной Латвии. Во время советско-германских переговоров в Брест-Литовске народный комиссар иностранных дел Лев Троцкий поразил германских партнеров объявлением политики «ни войны, ни мира». «Unerhört!» [«Неслыханно!»] — ответил на это представитель немецкого высшего командования. Украина оставалась оккупированной немцами до апреля 1918 года.

[13] *Куромия.* Freedom and Terror… С. 99–103.

[14] В «Рассказе о почетном шахтере» (С. 44) утверждается, что прогерманское украинское правительство объявило Хрущева вне закона и начало на него охоту: совсем как в голливудском фильме, он спустился в шахту, прополз по тоннелям, вышел где-

то в степи и бежал на восток. Большевистские документы того времени сурово осуждают рабочих и солдат, бегущих с фронта, шахт и заводов. Однако в дезертирстве Хрущева не обвинял даже Молотов — из чего можно заключить, что, возможно, в сведениях, приводимых в «Рассказе…», есть доля истины.

[15] Рассказ о почетном шахтере. С. 45.

[16] См.: *Аткинсон Д.* The End of the Russian Land Commune, 1905–1930. Stanford: Stanford University Press, 1983. С 165–185, а также: *Пайпс Р.* The Russian Revolution. NY.: Knopf, 1990. С 714.

[17] См.: *Куромия.* Donbas Miners… С. 154–155; *Куромия.* Freedom and Terror… С. 103–114.

[18] А. Критский. Цит. по: *Пайпс Р.* Russia under the Bolshevik Regime. NY.: Knopf, 1993. С 86.

[19] *Модсли.* С. 195.

[20] *Хаген М. фон.* Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and The Soviet Socialist State, 1917–1939. Ithaka, NY.: Cornell University Press, 1990. С 92.

[21] Цит. по: *Модсли.* С. 62.

[22] НХ1. С. 15.

[23] НХ2. С. 88. [НХ5. Т. 4. С. 41.]

[24] Там же. С. 83–84.

[25] Из речи Хрущева в Лос-Анджелесе в сентябре 1959 года. Цит. по: Рассказ о почетном шахтере. С. 50.

[26] НХ2. С. 88.

[27] НХ3 С 12

[28] См.: *Хаген.* С. 129–130.

[29] НХ3. С. 12.

[30] Точная дата и обстоятельства смерти Ефросиньи неизвестны.

[31] Мамины тетради. Неопубликованные записи, написанные от руки и затем напечатанные на машинке Ниной Петровной Хрущевой для своих детей и внуков. Предоставлены автору Сергеем Хрущевым.

[32] *Кроан П. Э.* The Peasant from Makeyevka: Biography of Bishop Piu Neveu, A.A.. Worcester, Mass., 1982. С. 56.

[33] *Фицпатрик Ш.* The Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press, 1982. С 85.

[34] *Фридгат.* Т. 2. С. 430.

[35] *Кроан.* С. 56. Иосиф Флавий — иудейский священник и историк, находившийся в Иерусалиме во время восстания Иудеи против Рима. В 70-м году он поселился в Риме и вскоре после этого написал историю войны.

[36] *Бородин Н. М.* One Man in His Time. London: Constable, 1955. С 39–40.

[37] *Медведев.* Khrushchev. С. 9–10.

[38] *Фридгат.* Т. 2. С. 398. В середине 1919 года во всем Донбассе было 3198 большевиков. На бывшем заводе компании «Новороссия» в Юзовке в 1920 году было 70 большевиков (из 6000 рабочих).

[39] *Куромия.* Donbas Miners… С. 155–156.

[40] Только в 1923 году имели место почти двести забастовок, в которых приняли участие более шестидесяти тысяч рабочих. См.: *Куромия.* Freedom and Terror…

[41] См.: *Шапиро Л.* The Communist Party of the Soviet Union. NY.: Random House, 1960. С 278–279.

[42] *Фридгат.* Т. 2. С. 456. Существует широко распространенная в Донецкой области легенда (процитированная, например, в «Комсомольской правде» от 19 мая 1989 года), что до переименования в Сталино в 1924-м город целый год носил имя Троцкого; однако Фридгат сообщает, что не обнаружил в донецких архивах никаких следов этого первого переименования.

[43] Цит. по: *Медведев.* Khrushchev. С. 10–11.

[44] Рассказ о почетном шахтере. С. 63–64.

[45] НХ2. С. 87.

[46] См.: НХ4. 1993. № 8. С. 82; Saturday Evening Post. С. 24.

[47] НХ3. С. 13.

[48] См. *Фицпатрик Ш.* Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. NY.: Oxford University Press, 1999. С 16–18, 80–82, 88–92.

[49] Цит. по: *Шаповал Ю.* The Ukrainian Years // Nikita Khrushchev / Под ред. У. Таубмана, С. Хрущева, А. Глисона. New Haven: Yale University Press, 2000. С. 11.

[50] *Фицпатрик Ш.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1979. С 14. Эта дискуссия описывается на страницах 9–14. Согласно Фицпатрик, Ленин терпимо относился к программам повышения образования рабочих, хотя вообще был против «кастовости» в образовании. Будучи сам высокообразованным человеком, в этом смысле на голову выше большинства своих соратников, он не стыдился своего образования и не чувствовал необходимости за него извиняться. Популярная в то время концепция «новой пролетарской культуры» не встречала у него понимания. Чем скорее, полагал он, русские рабочие и крестьяне получат доступ к образованию и культуре в старом, буржуазном смысле этих слов, тем лучше для будущего революции и страны. Однако поначалу необходимо было идти на компромисс.

[51] Там же. С. 49.

[52] Рассказ о почетном шахтере. С. 81.

[53] См. следующие интервью с Антониной Гладкой: Khrushchev, Poor Pupil // Hartford Courant. 1959. 18 июля. С. 1; Manchester Woman Once Taught Khrushchev // Hartford Times. 1962. 22 августа. С. 37; Woman Becomes Citizen // Hartford Courant. 1963. 15 июня. С. 5; Nikita Khrushchev's First Teacher // High Point [North Carolina] Enterprise. 1989. 28 февраля.

[54] *Франкленд.* С. 32; *Пистрак.* С. 17.

[55] Беседа автора с сотрудниками Донецкого политехнического института (ранее техникума), июнь 1991. См. также: *Медведев.* Khrushchev. С. 11.

[56] Рассказ о почетном шахтере. С. 79.

[57] Будучи в 1991 и 1993 годах в Донецке, я видел анкету, заполненную Хрущевым в 1926-м в связи с участием в сталинской губернской партконференции. В рубрике «Образование» он написал: «Окончил рабфак». Однако музейный архивист выразила по этому поводу сомнение: по ее словам, никаких документов, подтверждающих, что Хрущев действительно *окончил* рабфак, обнаружить не удалось.

[58] В 1924 году Сталин провозгласил свое учение о построении социализма в одной отдельно взятой стране (в противоположность Ленину и Троцкому, полагавшим, что революция восторжествует лишь когда охватит весь мир). Высокоинтеллектуальные последователи Троцкого полагали, что сама эта формулировка противоречива (социализм интернационален по определению) и попросту смехотворна. («Значит, социализм можно построить в одной стране? — шутил Карл Радек. — А почему же не в одном районе или на одной улице?») Об этом см.: *Джонг А. де.* Stalin and the Shaping of the Soviet Union. NY.: Morrow, 1986; рецензия Джона Кипа в «Times Literary Supplement». 1986. 24 октября.

[59] НХ4. 1990. № 4. С. 77. [НХ5. Т. 1. С. 132.]

[60] *Фридгат.* Т. 2. С. 456.

[61] Историю отношений Хрущева с Марусей рассказала автору в 1991 году дочь старого друга Хрущева Ольга Косенко. Она утверждает, что знает об этом от двоюродной сестры Маруси и от врача, который лечил Марусину дочь. Эти сведения подтвердил автору Захар Глухов, в течение тридцати пяти лет занимавший должность секретаря райкома неподалеку от Юзовки, где жил и работал в 1925 году Хрущев.

[62] Дети Никиты и Нины Хрущевых связывают позднюю регистрацию их брака со свойственным коммунистам презрением к «буржуазным предрассудкам». (По тем же причинам Анастас Микоян и его жена вообще не регистрировали свой брак. См.: *Микоян.* С. 19.) Однако мы знаем, что в более старшем возрасте

Хрущев обычно настаивал на соблюдении подобных норм.

[63] Беседа автора с Юлией Леонидовной Хрущевой.

[64] Приведенные здесь сведения основаны на записях, надиктованных Ниной Петровной в преклонном возрасте для своих детей и внуков. Выдержки из них мы встречаем у Аджубея (С. 43–59); полный текст в переводе на английский приводит Сергей Хрущев (Nikita Khrushchev and the Creation of a Superpower. University Park.: Penn State Press, 2000; далее: СХ4. С. 6–21). Та же информация содержится в «Маминых тетрадях». [Выдержки из записок Н. П. Хрущевой цитируются по: *Аджубей.* С. 43–58]

[65] Беседа автора с Сергеем Хрущевым. Калиновка, 1991.

[66] *Хрущева Н.* Мамины тетради.

[67] Количество членов партии в Юзовке. См.: *Шаповал.* Н. С. Хрущев на Украине. С. 9.

[68] *Мартин.* С. 25.

[69] Воспоминания С. Я. Прядниковой. ЦЦАГУ.

[70] НХ1. С. 20–21. [НХ5. Т. 1. С. 22.]

[71] *Мартин.* С. 25. См. также: *Франкленд.* С. 33.

[72] Цит. по: *Крэнкшоу.* С. 37. В октябре 1925 года Хрущев написал в «Правду» письмо, ярко иллюстрирующее его подход к работе. В письме он сетовал на то, что газету доставляют в Петровку на лошадях с железнодорожной станции, отстоящей от города на 60 километров: на это путешествие уходит несколько дней, а зимой («когда дороги раскисают») и дольше. В результате число подписчиков «Правды» в городе за год упало с 500 до 285. Если же, продолжает Хрущев, газету будут доставлять на харьковском поезде, который останавливается ближе к Петровке, он гарантирует увеличение числа подписчиков до 500–600 человек; кроме того, это позволит прекратить «справедливое раздражение и негодование рабочих по поводу этих сложностей с доставкой газеты». Письмо Хрущева хранится в ЦЦАГУ.

[73] НХ5. Т. 1. С. 19. Нина Петровна в «Маминых тетрадях» пишет, что впервые ее муж побывал в Москве в 1924 году на похоронах Ленина, но сам Хрущев этого не подтверждает.

[74] Буквальная запись мемуаров Хрущева, переданная на Запад в 1970 году и хранящаяся в Браунском университете (далее: НХ6). С. 47–48.

[75] НХ5. Т. 1. С. 735–737.

[76] Это замечает Лазар Пистрак — см. с. 31.

[77] НХ1. С. 31. [НХ5. Т. 1.С. 34. В русском тексте — «Кошерович».]

[78] НХ3. С. 10.

[79] НХ5. Т. 1. С. 34. Каганович подтверждает, что использовал псевдоним Кошерович. См.: *Каганович Л.* Памятные записки. М.:

Вагриус, 1996. С. 96.

[80] Точную дату и обстоятельства своей встречи в 1925 году Каганович и Хрущев излагают по-разному. См.: НХ3. С. 10; *Каганович.* С. 565.

[81] Секретные протоколы заседаний бюро Сталинского горкома, включающие в себя одобрение смертных приговоров, от 11 января и 30 июня 1927 года хранятся в ДАДО. Заседание, на котором были приняты резолюции против Троцкого, Зиновьева и их сторонников, отражено в «Рассказе о почетном шахтере» (С. 123).

[82] Протоколы 13 и 14 заседаний бюро Сталинского горкома хранятся в ДАДО. Выдержку из первого протокола см. в: НХ5. Т. 1. С. 740.

[83] Цит. по: Донбасс. 1991. № 2. С. 191. Такие скандалы были нередки (ср. аналогичную историю, повлекшую за собой чистку, в 1928 году в Смоленске), особенно в местностях, где партийные чиновники чувствовали себя изолированными от народа и скоро научились прикрывать грехи друг друга. См. статью Георгия Маленкова в журнале «Партийное строительство» (1930. № 2). Цит.: *Крэнкшоу.* С. 43.

[84] НХ4. 1990. № 2. С. 83. [НХ5. Т. 1. С. 18–19.]

[85] *Каганович.* С. 565.

[86] По репликам Хрущева на пленуме ЦК в июне 1957 года. См.: Последняя антипартийная группа: стенографический отчет июньского пленума (1957 г.) ЦК КПСС // Исторический архив. 1993. № 3–6; 1994. № 1–2. Реплики Хрущева см. в № 2 (1994). С. 43–44.

[87] По-видимому, Строганов погиб во время террора тридцатых годов. См.: НХ6. С. 55–56. [НХ5. Т. 1. С. 33.]

[88] Там же. С. 60. [НХ5. Т. 1. С. 33.]

[89] НХ4. 1990. № 2. С. 90–91. [НХ5. Т. 1. С. 33.]

[90] НХ6. С. 60.

[91] *Каганович.* С. 565.

[92] НХ4. 1990. № 2. С. 90–91. [НХ5. Т. 1. С. 35.]

[93] НХ6. С. 61–62. [НХ5. Т. 1. С. 37.]

[94] НХ4. 1990. № 2. С. 92. [НХ5. Т. 1. С. 37.]

[95] См.: *Нахайло Б., Свобода В.* Soviet Disunion: A History of the Nationalities Problem in the USSR. NY.: Free Press, 1990. С 44–67.

[96] См.: *Куромия.* Freedom and Terror. С 145–146.

[97] ЦЦАГУ.

[98] НХ6. С. 63. [НХ5. Т. l.С. 38.]

[99] Там же. [НХ5. Т. 1. С. 38.]

[100] Там же. [НХ5. Т. 1. С. 39.]

[101] Многое из нижеследующего основано на беседе автора с

Верой Николаевной Гостинской.

[102] Беседа автора с Радой Аджубей. См. также: *Васильева Л.* Кремлевские жены. М.: Вагриус, 1993.

[103] Даже после ареста и тюремного заключения в 1937 году Гостинская сохранила веру в коммунизм. После своего освобождения в пятидесятых она возобновила дружбу с Хрущевыми и после отставки Хрущева в 1964-м, когда они потеряли почти всех друзей, не боялась открыто встречаться с ними. Я встречался с ней в начале 90-х в посткоммунистической Польше: она жила очень скромно (рано вставала, делала гимнастику, прибиралась в квартире, а затем читала и перечитывала книги и документы — она занималась редакцией и изданием документов по советско-польским отношениям) и была по-прежнему предана делу коммунизма.

ГЛАВА V

[1] Образовательный уровень новых студентов, большинству из которых было уже далеко за двадцать и даже за тридцать, был низок. На 1927 год только 8,7 % всех коммунистов и 4 % членов партии, принадлежавших к рабочему классу, имели за спиной оконченную среднюю школу. Партийные служащие в среднем учились не более четырех-пяти лет. См.: *Фицпатрик.* С. 182.

[2] Там же. С. 305; *Пономарев А. Н.* Н. С. Хрущев: путь к лидерству. М.: Знание, 1990. С. 7.

[3] Беседа автора с Адой Федерольф-Шкодиной. Федерольф-Шкодина преподавала английский язык в ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории), в 1938 году была арестована. В 1991-м проживала в доме престарелых на окраине столицы.

[4] НХ4. 1990. № 2. С. 94. [НХ5. Т. 1. С. 39.]

[5] *Каганович.* С. 565–566. Об авторитете Бухарина и других правых лидеров в 1929 году см.: *Хлевнюк О. В.* Политбюро: механизмы политической власти в 1930-е годы. М: РОСПЕН, 1996. С. 21.

[6] В 1929 году была образована Московская область — огромный регион, созданный из четырех бывших губерний (Московской, Рязанской, Тульской и Тверской) плюс 60 % территории Калужской губернии. См.: *Колтон Т.* Moscow: Governing the Socialist Metropolis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. С 188.

[7] *Медведев.* Khrushchev. С. 19.

[8] В мемуарах Анастаса Микояна, отредактированных и изданных его сыном, историком Серго Микояном, сталинский террор и роль в нем самого Микояна отражены более полно и искренно. См.: *Микоян.* Особ. с. 14–15, 352–375.

[9] НХ1. С. 44.

[10] Это замечание Хрущев сделал в беседе с Михаилом Шатровым. См.: Н. С. Хрущев (1894–1971). С. 38.

[11] См.: *Конквест.* С. 118; *Такер.* С. 178.

[12] См.: *Хлевнюк.* С. 18–20, 53–60; *Такер.* С. 178, 189; *Колтон.* С. 215–216.

[13] НХ4. 1990. № 2. С. 96; № 3, 1990. С. 61. См. также: НХ1. С. 72. [НХ5. Т. 1.С. 43.]

[14] Текст речи, произнесенной на советско-польской встрече в Москве 15 апреля 1964 года // FBIS. 1964. April 16. BB40.

[15] НХ1. С. 73–74. [НХ5. Т. 1. С. 71.]

[16] См.: *Дэвис Р. У.* Soviet Economy in Turmoil, 1928–1930. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989; *Томпсон.* С. 30.

[17] *Такер.* С. 206–207.

[18] Такер (С. 211–212) и Конквест (С. 24–25) причисляют Кирова и Орджоникидзе к оппозиции. По утверждению Хлевнюка (С. 74–79), это не подтверждается документами, недавно открытыми в советских архивах. Так или иначе, вместо расстрела Рютин получил десять лет: однако несколько лет спустя Сталин все же уничтожил самого Рютина, его жену и двоих сыновей — выжили только двадцатилетняя дочь Рютина и ее маленький сын.

[19] НХ3. С. 20–21. См. также: *Такер.* С. 250.

[20] НХ3. С. 18. [НХ5. Т. 1. С. 80.]

[21] Там же. С. 20; см.: *Такер.* С. 260. [НХ5. Т. 1. С. 80.]

[22] Из закрытого доклада Хрущева на XX съезде партии: см. НХ1. С. 573.

[23] НХ3. С. 20.

[24] НХ1. С. 39. [НХ5. Т. 1.С. 40–41.]

[25] Там же. С. 38. [НХ5. Т. 1. С. 40, 68.]

[26] Там же. С. 38–39. [НХ5. Т. 1. С. 81–82.]

[27] *Аджубей.* С. 154.

[28] Беседа автора с Адой Федерольф-Шкодиной.

[29] Беседа автора с Виктором Евреиновым, вдовцом дочери Хрущева Елены.

[30] Из «Маминых тетрадей» Н. П. Хрущевой. [Цит. по: *Аджубей.*]

[31] НХ1. С. 37. [НХ5. Т. 1. С. 40.]

[32] То же требование сформулировали московские партийные лидеры в секретной директиве, принятой по настоянию Молотова. См.: *Пономарев А. Н.* Н. С. Хрущев: начало карьеры // Неизвестная Россия: XX век. Т. 3. С. 120–121.

[33] См.: Надежде Сергеевне Аллилуевой лично от Сталина // Источник. 1993. № 0. С. 9–22.

[34] НХ4. 1990. № 2. С. 95. [НХ5. Т. 1. С. 41.]

[35] Цит.: *Пономарев.* С. 8.

[36] НХ1. С. 39.

[37] Там же. С. 40–41. Статья, опубликованная в «Правде» 26 мая 1930 года, воспроизведена в: НХ5. Т. 1. С. 748–750. [НХ5. Т. 1. С. 44–45.]

[38] *Пономарев.* С. 121–122.

[39] НХ4. 1990. № 5. С. 56.

[40] Цит. по: *Пономарев.* С. 13.

[41] Протоколы заседаний бюро от 9 июня до 27 декабря 1930 года. ЦАОД.

[42] Там же; *Пономарев.* С. 13.

[43] Цит. по: *Пономарев.* С. 14.

[44] Там же. С. 16.

[45] НХ1. С. 42. [НХ5. Т. 1. С. 67.]

[46] По этому пропуску Хрущев проводил друзей, что показывает относительную демократичность тогдашних нравов и относительную беспечность охраны.

[47] Об их знакомстве см.: НХ4. 1990. № 2. С. 98.

[48] НХ1.С. 43. [НХ5. Т. 1.С. 53.]

[49] НХ4. 1990. № 2. С. 99, 101. [НХ5. Т. 1. С. 53–54.]

[50] НХ4. 1990. № 2. С. 100 [С. 21].

[51] С кем именно провел эту ночь Сталин, неясно. В своих мемуарах (НХ3. С. 16) Хрущев называет эту женщину женой военного по фамилии Гусев. Однако в советских войсках того времени служили по меньшей мере три высокопоставленных Гусева. Кроме того, Хрущев (НХ3. С. 16) выражает сомнение в самоубийстве Аллилуевой и предполагает, что, возможно, ее убил Сталин. Об этом см.: *Волкогонов.* Сталин. С. 154–155; *Медведев.* Let History Judge: The Origin and Consequences of Stalinism. NY.: Columbia University Press, 1989. С 298–303; *Аллилуева С.* Twenty Letters to a Friend. NY.: Harper and Row, 1967. С 106–110. Надежда Аллилуева похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве; могила ее находится неподалеку от могилы Хрущева.

[52] Такое предположение высказывает в своих мемуарах бывший секретарь Сталина Борис Бажанов. См.: Континент. 1976. № 9. С. 391. Однако Анастас Микоян тоже полагает, что Аллилуева хвалила Хрущева Сталину. См.: *Микоян.* С. 614.

[53] *Пономарев.* С. 18.

[54] Материалы XI районной партконференции, 1–7 января 1931 г. ЦЦАО; *Пономарев.* С. 17.

[55] *Томпсон.* С. 36.

[56] Цит. по: *Пономарев.* С. 19.

[57] Там же. С. 20–21.

[58] Там же. С. 20.

[59] НХ1. С. 48. [НХ5. Т. 1. С. 73.]

[60] Анонимного чиновника цитирует А. Н. Пономарев в статье «Интриги и репрессии — по правилам игры» // Российская газета. 1995. 29 июля. С. 10.

[61] НХ1. С. 58–61. [НХ5. Т. 1. С. 62–63.]

[62] Там же. С. 57. [НХ5. Т. 1. С. 73.]

[63] *Кольман А. (Э.)* Мы не должны были так жить. NY.: Chalidze Publications, 1982. С. 192.

[64] Протоколы заседаний Московского горкома партии от 10 июня до 21 августа 1933 года. ЦЦАО.

[65] НХ1. С. 63–64. [НХ5. Т. 1. С. 79.]

[66] *Кольман.* С. 191–194.

[67] *Томпсон.* С. 47.

[68] См.: НХ1. С. 68–70.

[69] Там же. С. 64. [НХ5. Т. 1. С. 73.]

[70] *Томпсон.* С. 45–46.

[71] НХ5. Т. 1.С. 76.

[72] Цит. по: *Пистрак.*

[73] НХ2. С. 89. [НХ5. Т. 1. С. 82–83 — совпадение неполное.]

[74] Беседа автора с Борисом Агаевым.

[75] *Пономарев.* С. 33–34.

[76] «Мы с Булганиным за работу взялись решительно, — писал Хрущев. — Лично осматривали здания и дворы. Даже милицию призвали на помощь. Позднее Сталин поручил нам установить в Москве чистые, современные туалеты». И заключение Хрущева: «Этот эпизод, возможно, тривиальный, показывает, как Сталин, вождь мирового рабочего класса, не стеснялся тратить время на такие важные детали, как общественные туалеты». См.: НХ1. С. 62–63. [НХ5. Т. I. С. 59–60.]

[77] Стенограмма пленума, проходившего в феврале-марте 1937 года, опубликована в: Материалы февральского — мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. 1993. № 6. С. 20.

[78] Стенограмма IV Московской партийной конференции от 23–24 мая 1937 года. ЦАОД.

[79] *Яковлев А.* Цель жизни: записки авиаконструктора. 4-е изд., испр. М.: Политиздат, 1974. С. 180–182.

[80] XVII съезд ВКП(б): стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934. С. 145.

[81] Убийство Кирова часто приписывалось Сталину. Сам Хрущев не сомневался, что за этим стоял Сталин (НХ3. С. 24). Однако, хотя Эми Найт приводит много улик, связывающих это преступление со Сталиным, прямых доказательств, что убийство было совершено по его приказу, так и не найдено. См.: *Найт Э.* Who Killed Kirov? The Kremlin's Great Mystery. NY.: Hill & Wang, 1999. *Хлевнюк* (С. 141) подтверждает, что ответственность Сталина так и не доказана.

[82] *Конквест.* С. 41.

[83] *Медведев.* Khrushchev. С. 340.

[84] *Такер.* С. 305.

[85] Многие из вычищенных обвинялись в том, что «не овладели» деталями партийной программы. И здесь, как и во многих других случаях, Хрущев показал себя бóльшим сталинистом, чем сам Сталин. Устав партии требовал от рядовых партийцев согласия с программой партии, а вовсе не «овладения» ею; поэтому позже Московская парторганизация подверглась критике и вынуждена была восстановить в партии около четырех

тысяч исключенных. См.: *Пономарев.* С. 33.

[86] *Конквест.* С. 87–105.

[87] Правда. 1936. 10 июня. С. 2.

[88] Цит. по: *Пистрак.* С. 121–122.

[89] На этот раз судили бывших «левых оппозиционеров»: Георгия Пятакова, которого Хрущев знал по Украине и которого Ленин в «Завещании» назвал своим возможным преемником; Григория Сокольникова, бывшего кандидата в члены Политбюро; Карла Радека, яркого и остроумного пропагандиста, и бывшего секретаря ЦК Леонида Серебрякова.

[90] Правда. 1937. 30 января.

[91] По словам самого Сталина, одни члены ЦК голосовали за суд и десять лет тюремного заключения, другие — только за суд, не называя меры наказания, третьи предлагали вернуть дело на доследование в НКВД. Чем был вызван такой «плюрализм», неясно: возможно, Сталин еще не принял решения или же ему хотелось услышать, что скажут другие. Сам он склонился к третьему решению, однако это ненадолго отсрочило развязку.

[92] Материалы февральского — мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. 1993. № 6. С. 18–21.

[93] Там же. Т. 6. С. 7–8, 17.

[94] Протокол голосования воспроизведен в: *Гетти, Наумов.* The Road to the Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks. New Haven: Yale University Press, 1999. С. 144. О том, что обвинения ложны, не знал никто, кроме Сталина, Ежова и ближайших помощников последнего. Однако Хрущев не мог об этом не подозревать. Бухарина он впервые увидел на митинге в 1919 году и был им «совершенно очарован»: Бухарин «всем нравился своим характером, своим демократизмом». Еще большее впечатление на Хрущева произвели «рассказы простых коммунистов из Москвы, моего же уровня и политического развития. Они говорили, что он с ними вместе живет в общежитии, в столовой питается с ними из одного котелка, и прочее». Однако в мемуарах Хрущев настаивает, что узнал о сфабрикованности обвинений только после смерти Сталина. См.: НХ1. С. 29–30; НХ3. С. 41. [НХ5. Т. 1. С. 25.]

[95] Цит. по: *Пистрак.* С. 117.

[96] *Конквест.* С. 214.

[97] Цит. по: *Пономарев.* С. 41.

[98] Стенограмма IV Московской партконференции. ЦАОД.

[99] *Пономарев.* С. 46.

[100] См. также: *Томпсон.* С. 57; *Колтон.* С. 288–289; *Медведев.* С. 410.

[101] НХ4. 1990. № 4. С. 65–66. Также см.: НХ3. С. 27–28. [НХ5.

Т. 1. С. 115.]

[102] О системе «троек» см.: *Конквест; Хлевнюк.* Согласно Наталье Геворкян (Встречный план по уничтожению собственного народа // Московские новости. 1992. 21 июня. С. 18), Хрущев должен был участвовать в «тройках», однако, возможно, Сталин освободил его от этой обязанности, желая уберечь (ибо члены «троек» зачастую попадали в мясорубку вслед за теми, кого обрекали на смерть). Однако это освобождение, несомненно, было временным и касалось только крупных московских процессов. Хрущев, как и другие областные руководители, обязан был подписывать смертные приговоры.

[103] См.: Доклад ЦК «Об антиконституционной практике 30–40-х и начала 50-х годов», 25 декабря 1988 года // Источник. 1995. № 1. С. 126; также: *Наумов.* Repression and Rehabilitation. С. 90.

[104] *Конквест.* С. 286; беседа автора с Арсением Рогинским, московским исследователем, имеющим доступ в архивы КГБ; *Геворкян.* С. 18; *Колтон.* С. 841.

[105] Некоторые жертвы, согласно А. Н. Пономареву, «до или уже после ареста обращались за помощью к Хрущеву, который лично знал их по совместной работе. И почти не было случая, чтобы руководитель московских большевиков вступился за своих товарищей по партии, попытался поручиться за них или хотя бы попросил перепроверить обвинение. Факт этот единодушно подтверждали безвинно репрессированные москвичи, реабилитированные после XX съезда КПСС». С. 47.

[106] *Колтон.* С. 289.

[107] Жена Кольмана была исключена из комсомола и уволена с работы. Однако, хотя самому Кольману грозила немалая опасность (он выпустил математическое сочинение, посвятив его жене, которая оказалась в опале, и по этому поводу уже разгорелся скандал), Хрущев «только добродушно посмеялся над всем этим», а несколько дней спустя Кольман получил должность помощника председателя недавно созданного Всесоюзного комитета высших учебных заведений. См.: *Кольман.* С. 196–197.

[108] Об антиконституционной практике… С. 124.

[109] Владимир Наумов, бывший работник ЦК КПСС, а затем исполнительный секретарь комиссии по расследованию репрессий в СССР, широко знакомый с материалами государственных архивов, сообщает, что «на ордерах на арест видных московских функционеров, как правило, стоит подпись Хрущева». См.: *Наумов.* С. 90.

[110] НХ1. С. 82. [НХ5. Т. 1. С. 127–128].

[111] Там же. [НХ5. Т. 1. С. 128.]

[112] Там же. С. 78–79.

[113] По рассказу самого Хрущева, он обратил внимание Сталина на некоторые чрезмерно эмоциональные выражения в тексте, указав на возможную опасность того, что по этому образцу будут составляться речи по всей стране. По его словам, Сталин сам вычеркнул из резолюции наиболее зажигательные фразы, тем самым убедив Хрущева, что «не хотел ненужного обострения, не хотел лишней крови» (НХ4. 1990. № 4. С. 78–79.) [НХ5. Т. 1. С. 134–135.]

[114] НХ4. 1990. № 3. С. 70–71. [НХ5. Т. 1. С. 85.]

[115] НХ3. С. 27–28. [НХ5. Т. 1. С. 113.]

[116] *Волковинский В.* Иона Якир // Политика и время. 1991. № 5. С. 77.

[117] *Конквест.* С. 188–195.

[118] НХ5. Т. 1. С. 117.

[119] Воспроизведена с факсимиле документа в НХ5. Т. 1. С. 752–753.

[120] НХ4. 1990. № 4. С. 64–67. [НХ5. Т. 1. С. 113.]

[121] Там же. С. 65. См. также: *Колтон.* С. 289. [НХ5. Т. 1. С. 115.]

[122] Беседа автора с Юлией Леонидовной Хрущевой. Дочь Корытного Стелла (племянница Якира) много лет провела в лагерях, а после освобождения покончила с собой. *Лакшин В. Я.* «Новый мир» во времена Хрущева: Дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 195.

[123] НХ4. 1990. № 4. С. 65–73. [НХ5. Т. 1. С. 114–115.]

[124] Там же. С. 68. [НХ5. Т. 1. С. 118.]

[125] *Крэнкшоу.* С. 97.

[126] НХ4. 1990. № 4. С. 77–78. [НХ5. Т. 1. С. 132–133.] Каганович рассказывает, что Хрущев явился к нему «в слезах» и что со Сталиным разговаривал он сам. См.: *Чуев Ф.* Так говорил Каганович: Исповедь сталинского апостола. М.: Отечество, 1992. С. 99.

[127] НХ4. 1990. № 4. С. 65–73. [НХ5. Т. 1. С. 126.]

[128] *Чуев,* Сто сорок бесед с Молотовым. С. 364.

[129] Опись стенограмм выступлений товарища Н. С. Хрущева (1935–1949). ЦАОД.

[130] Подобные сцены вновь и вновь повторяются на фотографиях того времени. Каждый из лидеров культивировал свой отличительный имидж: в случае с Хрущевым городской лоск (темное пальто) лишь подчеркивал провинциальные (вышитая украинская рубашка) и рабочие (кепка) корни. Рабочую кепку из руководителей носил только Хрущев: остальные предпочитали фуражки или (как Молотов) фетровые шляпы.

[131] НХ4. 1990. № 3. С. 74. [НХ5. Т. 1. С. 92.]

[132] НХ1. С. 50. [НХ5. Т. 1. С. 80–81.]

[133] Беседа автора с Петром Демичевым.

[134] Посетители кремлевского кабинета И. В.Сталина (1932–1933) // Исторический архив. 1995. № 2. С. 156, 187; № 3. С. 127, 130, 162, 166.

[135] НХ1. С. 62; НХ4. 1990. № 2. С. 105. [НХ5. Т. 1. С. 59.]

[136] НХ1. С. 62. [НХ5. Т. 1.С. 49.]

[137] НХ5. Т. 1. С. 54.

[138] Уже летом 1934 года Хрущев отдыхал вместе с Кагановичем, Молотовым и Ворошиловым на даче в Воронцовском дворце в Крыму. См.: *Чуев.* Так говорил Каганович. С. 62.

[139] *Волкогонов.* Сталин. С. 204–205.

[140] Согласно посмертному медицинскому осмотру, рост Сталина составлял 160 сантиметров.: Акт патолого-анатомического исследования тела Иосифа Виссарионовича Сталина от 6 марта 1953 года. Собрание Дмитрия Волкогонова. Библиотека конгресса США.

[141] *Конквест.* С. 53.

[142] Там же. С. 61. Описание личной библиотеки Сталина и комментариев, сделанных им на полях книг, см.: *Илизаров Б.* Сталин: штрихи к портрету на фоне его библиотеки и архива // Новая и новейшая история. 2000. № 3. С. 182–208; № 4. С. 152–166.

[143] НХ1. С. 34. [НХ5. Т. 1. С. 74.]

[144] Там же. С. 94, 96, 98. [НХ5. Т. 1. С. 181.]

[145] Там же. С. 34. Хрущевские похвалы в адрес Ежова, возможно, отчасти обоснованы. Писатель И. А. Сац рассказывает: «Когда он [Ежов] работал в провинции, то производил впечатление нервного, но хорошо воспитанного и внимательного человека, свободного от высокомерия и бюрократических замашек. Возможно, это была лишь маска. Но более вероятно, что в мясника его превратила сталинская система и личное влияние самого Сталина». Цит. по: *Медведев.* Khrushchev. С. 358.

[146] НХ1. С. 96. [НХ5. Т. 1. С. 140.]

[147] Личный шофер, возивший Хрущева в тридцатые годы, вспоминал о нем с бóльшей теплотой, чем о ком-либо еще из своих высокопоставленных боссов. По воспоминаниям шофера Белова, Хрущев держался просто, как обычный рабочий, часто приглашал его пообедать со своей семьей. См.: *Солженицын А. И.* Архипелаг ГУЛАГ.

[148] *Шатуновская Л.* Жизнь в Кремле. Нью-Йорк: Изд-во Чалидзе, 1982. С. 66.

[149] Беседа автора с Любовью Сизых, июнь 1993-го.

[150] НХ1. С. 57. [НХ5. Т. 1. С. 81.]

[151] Там же. С. 61.

[152] *Колшан.* С. 193.

[153] НХ4. 1990. № 4. С. 64. Беседа автора с Радой Аджубей, июль 1993.

[154] Беседа автора с Марией Сорокиной.

[155] Беседа автора с Виктором Евреиновым, вдовцом дочери Хрущева Елены.

[156] Из «Маминых тетрадей» Н. П. Хрущевой, с комментарием Сергея Хрущева в СХ4. С. 16.

[157] Беседа автора с Марией Сорокиной. Дима Сорокин не поступил в летную школу: вместо этого он начал изучать литературу, а затем стал кинооператором, однако сохранил дружбу с Леонидом Хрущевым, а затем и с его женой Любовью.

[158] Беседа автора с Юрием Хрущевым, июнь 1991. По словам Сары Бабенышевой, познакомившейся с Эсфирью Эттингер в 1945 году, после войны она вынуждена была шить на заказ, чтобы прокормиться. Беседа автора с Сарой Бабенышевой, февраль 1996, Бостон.

[159] НХ1. С. 83. [НХ5. Т. 1. С. 56–57.]

[160] История Розы неясна. Кинокритик Майя Туровская, учившаяся вместе с Розой после войны, вспоминает, что та носила фамилию Хрущева и уверяла, что у нее от Леонида есть сын. По сообщениям русских журналистов, сын действительно был, однако к Леониду он не имел никакого отношения. Брак Леонида и Розы подтвержден документом Министерства обороны, подготовленным после его гибели в 1943 году. В качестве даты заключения брака там указано 11 ноября 1937 года. Фотокопия недатированной справки, подписанной неким Даниловым, предоставлена автору Юрием Леонидовичем Хрущевым.

[161] Цит. по: *Васильева Л.* Кремлевские жены. М.: Вагриус, 1993. С. 438.

[162] Из «Маминых тетрадей».

[163] *Аджубей.* С. 53.

ГЛАВА VI

[1] [НХ5. Т. 1. С. 146–147.] НХ1. С. 105–106.

[2] Беседа автора с Василием Костенко, июнь 1991.

[3] Беседа автора с Захаром Глуховым.

[4] [НХ5. Т. 1. С. 199.] НХ4. № 6. С. 91. См. также: *Конквест.* Great Terror. С. 232–233.

[5] Функционеры, арестованные в 1938–1940 годах, перечислены в докладе комиссии Политбюро ЦК КПСС, возглавлявшейся А. Н. Яковлевым. См. также: Массовые репрессии. С. 127; *Чуев.* Сто сорок… С. 433. Документ, подписанный Хрущевым, подробно рассматривается далее.

[6] *Конквест.* Great Terror. С. 228.

[7] См.: *Конквест.* Harvest of Sorrow.

[8] Постышев занимал должность второго секретаря ЦК компартии Украины, в соответствии с практикой, согласно которой должность первого секретаря в национальных республиках занимал представитель коренной национальности, однако реальная власть находилась в руках второго секретаря — русского. До назначения в Киев Постышев был секретарем ЦК ВКП. Его назначение, как и снятие трех членов украинского Политбюро и Секретариата ЦК, было произведено без согласования с Киевом, то есть с нарушением устава партии.

[9] *Конквест.* Great Terror. С. 228–229.

[10] Николаенко была студенткой выпускного курса Института истории, входившего во Всеукраинскую Ассоциацию марксистско-ленинских институтов. В 1936 году ее исключили из партячейки института, которую возглавляла жена Постышева. В январе 1937-го она встретилась в Киеве с Кагановичем и после этого была восстановлена в партии. Впоследствии, на июньском пленуме ЦК 1957 года, где разоблачалась «антипартийная группа», Хрущев обвинил Кагановича в том, что тот натравливал Николаенко на украинских руководителей; Каганович отвечал, что все было наоборот: Сталин отправил его в Киев, чтобы расследовать обвинения Николаенко. См.: Последняя антипартийная группа. 1993. № 5. С. 43–44, 77. См. также: *Шаповал Ю. И.* Л. М. Каганович на Украине. Киев, 1993. С. 24; *Джетти, Наумов.* Road to Terror. С. 359.

[11] После смещения Постышев был назначен первым секретарем Куйбышевского обкома, а затем, 21 февраля 1938 года, арестован в Москве. См.: *Конквест.* Great Terror. С. 178, 247.

[12] НХ3. С. 32.

[13] *Конквест.* Great Terror. С. 232, 247, 419–420, 435–436.

[14] Цит. по: *Пистрак.* Great Tactician. С. 148. Другой взгляд отражен в: *Медведев Р.* Хрущев: политическая биография. Benson, Vt; Chalidze Publications, 1986. С. 30.

[15] *Наумов.* Repression and Rehabilitation. С. 91. См. также: *Томпсон.* Хрущев. С. 60–64. Цифры арестов за 1939–1940 годы см. в докладе ЦК «Об антиконституционной практике». См. также: НХ5. Т. 1. С. 763–763. Участие Хрущева в терроре после 1937 года не ограничивалось Украиной. Он, очевидно, был замешан в казни своего московского преемника Александра Угарова, которого Сталин использовал как козла отпущения за дефицит продуктов питания и других необходимых товаров. Вызванный в ноябре 1938 года в Москву Хрущев сообщил на секретном общем пленуме городского и областного комитетов, что Угаров «арестован и во всем признался: он — старый враг, завербованный троцкистами и правыми», и много лет вел в Ленинграде и Москве «вражескую работу». В феврале 1939 года Угарова расстреляли. См.: *Колтон.* С. 291.

[16] Тексты некоторых речей сохранились в ЦДАГУ. В 1949 году Хрущев затребовал свой украинский архив в Москву, зачем — не совсем ясно. Возможно, эти документы уцелели и хранятся сейчас в Президентском архиве, доступ к которому после развала СССР строго ограничен. См.: М. С. Хрущев і Україна. Київ: Национальна Академія Наук України, 1995. С. 181–190.

[17] Беседа автора с Василием Костенко, июнь 1991.

[18] [НХ7. С. 81.] НХ4. № 6. С. 90–91.

[19] Выдержки из дела Усенко, в том числе фотокопию приказа Хрущева, можно найти в НХ5. Т. 1. С. 757–761. Дело Усенко хранится в Державном Архиве Службы безопасности Украины (далее: ДАСБУ). Это распоряжение отдано через несколько дней после ареста, что подтверждает, что инициатива в таких случаях исходила от НКВД.

[20] Беседа автора с Ольгой Косенко, август 1993.

[21] Там же, июнь 1991 и август 1993.

[22] Дневник Коваленко. Цит. по: *Шаповал Ю. И.* Хрущев и Украина: влияние украинского опыта на его деятельность в 50–60-е годы. Доклад на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Хрущева. Декабрь 1994, Браунский университет. С. 16–17.

[23] С арестом главы НКВД Ежова террор несколько утих.

[24] [НХ5. С. 72–73.] НХ4. 1990. № 6. С. 84.

[25] [НХ5. С. 64.] НХ4. 1990. № 5. С. 52.

[26] НХ4. 1990. № 6. С. 78–79. [НХ5. Т. 1. С. 243.]

[27] НХ1. С. 115. [НХ5. С. 147, 172–173.]

[28] [НХ5. Т. 1. С. 181–182.] НХ4. 1990. № 5. С. 47, 63–64.

[29] ЦДАГУ.

[30] ЦДАГУ.

[31] Георгий Маленков также пытался обелить себя: он уверял сына, что пытался замедлить маховик террора, предупреждая исполнителей, что рано или поздно мясорубка поглотит их самих. Из беседы автора с Андреем Маленковым.

[32] НХ1. С. 109–110.

[33] [НХ5. С. 54.] Там же. С. 110; НХ4. 1990. № 5. С. 60.

[34] Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993.

[35] *Глотова Т.* Встречи на марше // Вечерний Донецк. 1991. 1 июля. С. 2.

[36] Беседа автора с Александром Ляшко.

[37] См., например, выступление Хрущева на пленуме ЦК 28–30 октября 1940 года, стенограмма которого хранится в ЦДАГУ.

[38] НХ1. С. 120–124; НХ4. 1990. № 7. С. 77–80. [НХ5. Т. 1. С. 214–217.]

[39] *Пистрак.* С. 179; *Салливан Р. С.* Soviet Politics and the Ukraine. NY.: Columbia University Press, 1962. С 226–233.

[40] Речь Хрущева на XIV съезде компартии Украины. ЦДАГУ.

[41] Беседа автора с Василием Костенко.

[42] *Лукий Дж. С. Н.* Literary Politics in Soviet Ukraine. Durham: Duke University Press, 1990. С 33, 110, 166.

[43] [НХ5. Т. 1. С. 148.] НХ4. 1990. № 5. С. 47.

[44] Беседа автора с Ниной Бажан.

[45] Об этом писал, например, в 1988 году Станислав Тельнюк. См.: *Лукий.* С. 255.

[46] Alexander Dovzhenko: The Poet as Filmmaker / Под ред. М. Карынника. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1973. С. xx, xxiii.

[47] Там же. С. xxiii–xxiv. См. также выдержки из дневника Довженко в: *Латышев А.* И. В. Сталин: об антиленинских ошибках и националистических извращениях в киноповести Довженко «Украина в огне» // Искусство кино. 1990. № 4. С. 85.

[48] В феврале 1935 года, на церемонии вручения ордена, Сталин заметил: «Теперь ему надо снять украинского „Чапаева“» (Alexander Dovzhenko… С. 87).

[49] Беседы автора с архивистами Музея Довженко в Киеве.

[50] [НХ5. Т. 1. С. 200–205.]

[51] *Джоравски Д.* The Lysenko Affair. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970. С 58, 62, 85, 91.

[52] *Медведев Ж.* The Rise and Fall of Lysenko. NY.: Columbia University Press, 1969. С 17.

[53] *Джоравски.* С. 111; *Пистрак.* С. 230.

[54] Приглашение в Москву Хрущев вспоминает в НХ4. 1990. № 6. С. 78.

[55] Правда Украины. 1938. 29 января. С. 1.

[56] Там же. 1938. 21 июня. С. 2.

[57] Беседа автора с Василием Костенко. Переместившись вместе с Хрущевым в Москву, Коротченко изменил свою украинскую фамилию на русский лад и сделался «Коротченковым».

[58] Эти и другие фотографии публиковались в «Правде Украины» 20 июня, 8 июля, 23 июля, 26 июля, 11 августа, 12 августа и 15 августа 1938 года.

[59] НХ1. С. 127. [НХ5. Т. 1. С. 226.]

[60] Там же. С. 127–128. [НХ5. Т. 1. С. 226.]

[61] Цит. по: *Гросс Дж. Т.* Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Bielorussia. Princeton; Princeton University Press, 1988. С 108.

[62] Правда Украины. 1939. 4 октября. С. 1.

[63] Указы Политбюро Украины, относящиеся к новым территориям, цитируются в: *Шаповал.* С. 79. Указ, осуждающий «неправильное отношение» к бывшим польским коммунистам, см. в: НХ5. Т. 1. С. 766–767.

[64] Надо заметить, что объединение Украины было благотворно даже с точки зрения украинских националистов — ведь именно оно позволило Украине в 1991 году, после развала СССР, начать существование в качестве целостного независимого государства.

[65] НХ1. С. 142. [НХ5. Т. 1. С. 245.]

[66] Там же. С. 144. [НХ5. Т. 1. С. 241.]

[67] *Судоплатов.* Special Tasks. С. 107–108.

[68] Выдержки из рапорта Серова см. в: НХ5. Т. 1. С. 764–766.

[69] НХ1. С. 145. [НХ5. Т. 1. С. 238–239.] *Йозеф Пилсудский* — первый президент независимой Польши (1918–1922).

[70] Там же. С. 145–146; НХ4. 1990. № 4. С. 66. [НХ5. Т. 1. С. 247.]

[71] *Микоян.* С. 386.

[72] НХ4. 1990. № 8. С. 55. [НХ5. Т. 1. С. 264–265.]

[73] Там же. С. 67. [НХ5. Т. 1. С. 213, 258, 282.]

[74] НХ1. С. 164. [НХ5. Т. 1. С. 280.]

[75] Беседа автора с Любовью Сизых.

[76] НХ1. С. 99–100.

[77] Там же. С. 159. [НХ5. Т. 1. С. 277.]

[78] НХ4. 1990. № 8. С. 70. [НХ5. Т. 1. С. 286–287.]

[79] НХ1. С. 151.

[80] Там же. С. 155; НХ3. С. 54. [НХ5. Т. 1. С. 251, 255.]

[81] Там же. С. 154. [НХ5. Т. 1. С. 257.]

[82] Там же; НХ4. 1990. № 8. С. 57–62, 70–73. [НХ5. Т. 1. С. 267,

289, 290.]

[83] Этот особняк был разрушен во время войны, но затем восстановлен. В 1991 году в нем размещался пресс-центр Министерства иностранных дел Украины. См. также описание в: СХ4. С. 4–5.

[84] Беседы автора с Любовью Сизых и Радой Аджубей; *Аджубей.* С. 5. Рада Аджубей вспоминает, что жены всех трех руководителей дружили, а дети вместе играли в волейбол.

[85] *Хрущева Н.* Мамины тетради. [Цит. по: *Аджубей.* С. 54.]

[86] Во время оккупации Польши Хрущев позвонил жене с фронта и сообщил, что ее родная деревня Василев должна отойти немцам. Помощник Хрущева Михаил Бурмистенко организовал для нее и еще двух женщин-партработниц поездку во Львов. Чтобы их не останавливали по пути, Бурмистенко достал им милицейскую форму и оружие. Муж Нины Петровны был неприятно удивлен ее появлением в таком виде («Им десятилетиями внушали, что мы насильники, а вы с вашими револьверами подтверждаете эту клевету», — говорил он); переодевшись, она продолжила свой путь. Ни вновь назначенная советская администрация, ни советские военнослужащие, размещенные в Василеве, не знали, что, согласно пакту Молотова — Риббентропа, эта территория должна отойти к Германии. Однако, вспоминает Нина Петровна, «мне разрешил т. Тимошенко сказать, почему я приехала за родителями».

Переночевав в родительской избе, охраняемой советским танком, Нина Петровна вместе с родителями, братом и его семьей собрала вещи и погрузила их в грузовик. Семья отправилась в имение богатого помещика неподалеку от Львова, где был расквартирован Хрущев. Нина Петровна вспоминает, как, увидав в первый раз в жизни водопровод, ее отец начал звать жену: «Поди посмотри — вода льется из трубы!» Петр Кухарчук поначалу принял за своего затя Тимошенко. Однако, замечает Нина Петровна, «я не заметила, чтобы он разочаровался», поняв свою ошибку. *Хрущева Н.* Мамины тетради. [Цит. по: *Аджубей.* С. 56–58.]

[87] *Хрущева Н.* Мамины тетради; СХ4. С. 21–22. Костным туберкулезом в семье болели также родители и брат Нины Петровны; от него все они и умерли.

[88] Воспоминания Рады Аджубей цит. по: *Васильева.* Кремлевские жены. С. 437.

[89] Беседа автора с Любовью Сизых, январь 1993.

[90] С вдовой Леонида Хрущева автор познакомился в Киеве в 1991 году и затем общался с ней как в Киеве, так и в Москве. Эта женщина поражает своим оптимизмом и жизнерадостностью:

глядя на нее, нелегко поверить, что судьба ее сложилась трагически. Это тем более удивительно, что, по рассказам Любови Сизых, детство у нее тоже было совсем нерадостным. Наш рассказ о жизни семьи Хрущева в 1938–1941 годах основан главным образом на беседах с ней.

ГЛАВА VII

[1] НХ4. 1990. № 9. С. 84. [НХ7. С. 92.]

[2] См.: *Волкогонов.* Сталин. С. 370–371; *Эриксон Дж.* The Road to Stalingrad. NY.: Harper&Row, 1975. С 79.

[3] *Волкогонов.* Сталин. С. 368; *Лакер У.* Stalin: The Glasnost Revelations. NY.: Scribner, 1990. С 213–214; Stalin and His Generals: Soviet Military Memoirs of World War II / Под ред. С. Бялэр. NY.: Pegasus, 1969. С. 59–62; Чего стоят полководческие качества Сталина: Непроизнесенная речь маршала Г. К. Жукова//Источник. 1995. № 2. С. 144–145.

[4] НХ1. С. 158–159. [НХ7. С. 98.]

[5] *Волкогонов.* С. 391; НХ1. С. 588–589; НХ3. С. 56; *Конквест Р.* Stalin: Breaker of Nations. NY: Viking, 1991. С 235; Источник. 1995. № 2. С. 145–146. По словам Микояна, Сталин не ожидал нападения Гитлера ранее 1943 года и полагал, что Черчилль стремится втянуть Россию в войну, пока она к ней еще не готова. (*Микоян.* С. 377, 382.)

[6] НХ4. 1990. № 9. С. 85; *Волкогонов.* С. 407–408; *Медведев.* Let History Judge. С. 753.

[7] *Жуков Г.* Воспоминания и размышления. М.: Новости, 1992. Т. 2. С. 15.

[8] Источник. 1995. № 2. С. 147; *Радзинский Э.* Stalin: the First In-Depth Biography Based on Explosive Documents from Russia's Secret Archives / Пер. Х. Т. Уиллетса. NY.: Doubleday, 1996. С 408; *Волкогонов.* С. 408–410.

[9] *Волкогонов.* С. 505.

[10] См.: *Зубкова Е.* Общество и реформы: 1945–1964. М.: Россия молодая, 1993. С. 16–25.

[11] НХ1. С. 593.

[12] Об этом говорит Константин Симонов, цитируя маршала Жукова. См.: *Симонов К.* Глазами человека моего поколения: размышления о И. В. Сталине. М.: Книга, 1990. С. 328. См. также: *Байалер.* С. 34 и далее; *Волкогонов.* С. 415, 451, 456, 466, 474.

[13] НХ4. 1990. № 12. С. 87. [НХ5. Т. 1. С. 405.]

[14] О пьянстве Жданова и его склонности к паникерству см.: *Микоян.* С. 562–563. См. также: *Берия С.* Beria, My Father: Inside Stalin's Kremlin. London: Duckworth, 2001. С 75. Серго Берии не во всем следует верить, особенно когда он пишет о своем отце, однако многие из его описаний других помощников Сталина, в том числе Жданова, подкреплены другими свидетельствами.

[15] *Волкогонов.* С. 415.

[16] Там же. С. 419.

[17] Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993. О нежелании Хрущева смотреть фильмы и читать мемуары о войне см. также: СХ2. С. 211.

[18] Беседа автора с Дмитрием Волкогоновым. «Аттестация за период с 21/VII/1930 по 1/IX/1930 на комиссара запаса К-7 Хрущева Никиту Сергеевича» предоставлена автору работниками архива Министерства обороны.

[19] НХ1. С. 169. [НХ5. Т. 1.С. 362.]

[20] *Симонов.* С. 317. То, что во время войны Сталин прислушивался к советам других, подтверждает и Микоян. См.: *Микоян.* С. 464.

[21] Последующий рассказ основан на продолжительных беседах со многими членами семьи Хрущевых: детьми Хрущева Радой и Сергеем, вдовой Леонида Хрущева Любой и ее детьми Юлией Хрущевой и Анатолием Лежненко; племянницей Нины Хрущевой Ниной Кухарчук и другими. См. также: СХ4. С. 21–26.

[22] Юлия Никитична Хрущева, дочь Хрущева от первой жены, провела годы войны в Алма-Ате вместе с мужем Виктором Гонтарем. Позднее Виктор Гонтарь был директором Киевского драматического театра им. Леси Украинки, затем — Киевского театра оперы и балета.

[23] *Эренбург И.* The War: 1941–1945 / Пер. Т. Шебуниной. Cleveland: World Publishing, 1965. С. 18.

[24] *Гроссман В.* Жизнь и судьба. М.: Книжная палата, 1988. С. 111–112.

[25] Свидетельство Сергея Хрущева в этом пункте противоречит рассказу его двоюродной сестры: он утверждает, что после войны Ирина Сергеевна часто бывала у Хрущевых на даче и, по сути, именно там, на диване, умерла от инсульта. Другие члены семьи Хрущевых тоже не советуют слишком серьезно относиться к рассказам Роны Кобяк. Моя беседа с ней и вправду проходила странно. Она отказалась со мной встретиться и вначале не желала говорить и по телефону. Сказала, что сама пишет книгу о Хрущеве (по-английски, заявила она, добавив, что много лет работала переводчиком и по-английски пишет увереннее, чем на родном языке). Однако в результате проговорили мы довольно долго, причем в речи Роны беззастенчивое самовосхваление («Я не очень-то много читала, но литературный талант у меня определенно есть») перемежалось со столь же беззастенчивой бранью и инсинуациями в адрес других Хрущевых. Отчасти, по ее собственным словам, это было связано с тем, что с конца шестидесятых родные не желали с ней знаться. (Сами они говорят, что Рона сама прекратила всякие контакты после отставки Никиты Сергеевича, преувеличив семейную вражду,

чтобы оправдать свое поведение.) Однако корни вражды уходят в 1941 год и даже дальше. К счастью, о взаимоотношениях Ирины Сергеевны и семьи ее брата я мог расспросить не только Рону.

[26] Беседа автора с Сарой Бабенышевой.

[27] Личное дело Леонида Никитовича Хрущева. Документ из архива Министерства обороны был предоставлен автору Юрием Леонидовичем Хрущевым.

[28] Выписка из донесения начальнику штаба ВВС 22-й армии, № 012/со от 16.7.41. Документ из архива Министерства обороны был предоставлен автору Юрием Леонидовичем Хрущевым.

[29] Боевая характеристика на пилота 134 СБП лейтенанта Хрущева Леонида Никитовича. Документ из архива Министерства обороны был предоставлен автору Юрием Леонидовичем Хрущевым.

[30] Правда. 1941. 26 июля.

[31] Об этом вспоминала Нина Кухарчук.

[32] Степан Микоян в телевизионной программе «Как это было». См. также: *Жирнов Е.* Советский принц // Комсомольская правда. 1994. 25 ноября, 2 декабря, 9 декабря.

[33] Воспоминания Степана Микояна, цитируемые в СХ4. С. 23. То же рассказывает и Любовь Сизых. Теперь она винит себя за то, что не попыталась остановить мужа; правда, в то время и сама она была такой же сорвиголовой, обожающей прыжки с парашютом и мотоциклетные гонки.

[34] Воспоминания Степана Микояна, цитируемые в СХ4. С. 23. То же рассказывает и Любовь Сизых.

[35] Копия письма хранится в Центральном архиве Министерства обороны, Подольск. Далее: ЦАМО.

[36] НХ1. С. 190.

[37] Например, бывший генерал-майор КГБ Вадим Удилов. См.: Независимая газета. 1998. 17 февраля. См. также: *Колесников А.* Летчик Л. Н. Хрущев // Военно-исторический журнал. 1989. № 11; 1990. № 41. С. 79.

[38] *Чуев.* Сто сорок… С. 351, 352.

[39] В 1990 году консервативный «Военно-исторический журнал» поручил двум исследователям провести розыск в архивах. Они не нашли ни единого документа, подтверждающего версию, что сын Хрущева попал в руки к немцам, однако сообщили, что в просматриваемых ими архивных папках уже кто-то покопался и что исчезли почти две тысячи страниц протоколов допросов пленных. Беседа автора с майором Ю. Старковым (одним из исследователей). См. также: Военно-исторический журнал. 1990. № 41. С. 80.

[40] Признание Заморина, сделанное в письменном виде уже во

времена Брежнева, цитируется в: *Иванов С.* Признание перед смертью // Новая газета. 2000. 4 апреля. С. 11. В 1994 году под Брянском, примерно в сорока километрах от того места, где в последний раз видели самолет Леонида, нашли останки самолета. Едва ли это самолет Хрущева — это противоречит признанию Заморина. См.: Брянский рабочий. 1995. 20 января.

[41] Беседа автора с Сарой Бабенышевой. Амхерст, Массачусетс, февраль 1996.

[42] С 1946 по 1951 год Абакумов занимал пост министра госбезопасности СССР.

[43] На самом деле Юлия уже знала правду от Нины Буденной, дочери маршала Буденного, проживавшей в одном доме с Хрущевыми. В 1954 году, когда Люба вернулась в Москву, начальник КГБ генерал Серов «пригласил» ее на Лубянку и попросил не пытаться встретиться с Юлией, пока она не станет постарше.

[44] «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — спрашивала Толю Ксения Ивановна. «Генералом!» — отвечал Толя. «А где будешь служить?» — «В Кремле». — «Ну молодец! Славный мальчуган растет!» Беседа автора с Любовью Сизых, июль 1993.

[45] О словах Сталина, о его «бегстве» из Москвы и испуганном виде при встрече с коллегами рассказывает Микоян (С. 390–391). См. также: *Волкогонов.* С. 410; *Радзинский.* С. 468. В письме, написанном после ареста, в июле 1953 года, Берия утверждает, что заслуга «возвращения Сталина к жизни» принадлежит Молотову. См.: Источник. 1994. № 34. С. 7. Воспоминания Хрущева об этом периоде см. в: НХ4. 1990. № 10. С. 79. [НХ7. С. 98; НХ5. Т. 1. С. 320.] Радзинский предполагает, что Сталин разыгрывал растерянность, желая проверить реакцию своих подчиненных. Однако, учитывая масштаб катастрофы и ответственность за нее Сталина, это представляется маловероятным.

[46] *Жуков Г.* Воспоминания и размышления. 11-е изд. М.: Новости, 1992. Т. 2. С. 126–127. Русское одиннадцатое издание включает некоторые пассажи, отсутствующие в предыдущих — в том числе и в переводе.

[47] *Жуков.* Т. 2. С. 137.

[48] Цит. по: *Байалер.* С. 386.

[49] Цитата в саркастическом пересказе Туликова приведена по: *Байалер.* С. 394–399.

[50] НХ1. С. 171. |НХ5. Т. 1. С. 325.]

[51] Этот эпизод рассказывает Владимир Шамберг (сын работника ЦК) в статье «Stalin's Inner Circle» (Harriman Review. Т. 10. 1997. № 1. С. 34).

[52] *Жуков.* Т. 2. С. 137.

[53] *Эриксон.* С. 251–298.

[54] *Жуков.* Т. 2. С. 287.

[55] Баграмян понимал, что позиция Хрущева обусловлена не столько военными соображениями, сколько естественными чувствами человека, юность которого прошла в этих местах. «Мы понимали, — вспоминал Баграмян, — что они руководствуются не чисто военно-стратегическими целями, а военно-политической необходимостью отобрать у врага „кладовую“ страны — Донбасс и крупный индустриальный центр — Харьков». См.: *Баграмян И. Х.* Так шли к победе. М: Воениздат, 1977. С. 49, 51, 54. См. также: *Гобарев В.* Хрущев и военные: историко-философский анализ. Providence, R.I., Brown University, международная конференция в честь 100-летия со дня рождения Н. С. Хрущева, декабрь 1994. С. 23–24.

[56] На этом заседании присутствовали также Ворошилов, Жуков и Шапошников. Шапошников резко возражал против этого плана, Ворошилов, напротив, горячо его поддерживал. Остальные молчали. См.: *Жуков.* Т. 2. С. 287–288. В более ранних изданиях имя Хрущева среди присутствовавших на заседании не упоминается. См. также: *Баграмян.* С. 59–61; *Василевский Л. М.* Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1974. С. 190–191.

[57] *Эриксон.* С. 344; НХ4. 1990. № 11. С. 72.

[58] *Василевский.* С. 191.

[59] *Эриксон.* С. 346.

[60] Это подтверждает Баграмян, заявляя, что и он тоже пытался убедить Тимошенко остановить войска вечером семнадцатого. См.: *Баграмян.* С. 116.

[61] См.: *Эриксон.* С. 346; *Василевский.* С. 192; Успешное наступление войск Юго-Западного фронта на Харьковском направлении: наши трофеи: письмо товарищу Сталину от Н. Тимошенко и Н. Хрущева, 17 мая 1942 года. ЦАМО.

[62] «Не знаю, действительно ли сказал Тимошенко в разговоре со Сталиным, что это я навязал решение прекратить наступление, — замечает Хрущев в своих воспоминаниях. — Я, признаться, сомневаюсь, чтобы Тимошенко так сказал. Этого не могло быть. Думаю, что Сталин просто хотел меня несколько уколоть и осадить мою настойчивость». НХ1. С. 184–186. [НХ5. Т. 1. С. 361–368.]

[63] *Жуков.* Т. 2. С. 291–292. Не вполне ясно, насколько соответствует реальности рассказ самого Жукова. Независимо от того, присутствовал ли он при разговоре Сталина с Тимошенко 18 мая, очевидно, что Жуков, не входивший в круг приближенных Сталина, не мог присутствовать на даче, когда туда звонил

Хрущев.

[64] В серии статей, опубликованных в 1989–1990 годах, этот журнал старался опровергнуть сообщение Хрущева — отсюда общее название цикла «Вот где правда, Никита Сергеевич!». Однако статьи написаны с точки зрения сегодняшнего дня: неспособность предвидеть катастрофу в них объясняется недостатком «объективного» или «строго научного анализа». См.: Военно-исторический журнал. 1989. № 12. С. 17–18; 1990. № 1. С. 16–18; № 2. С. 35–36.

[65] *Баграмян.* С. 117; *Василевский.* С. 192. Стенограммы двух бесед Хрущева и Тимошенко, с одной стороны, и Василевского — с другой, от 15.35 и 15.50 19 мая, вполне подтверждают сказанное. См.: НХ5. Т. 1. С. 777–779.

[66] Потери в технике составляли 652 танка, 3278 орудий, 143226 винтовок, 9053 автомата, 1646 других единиц огнестрельного оружия и (красноречивый показатель состояния советских военных технологий весной 1942 года) 57626 лошадей. См.: Военно-исторический журнал. 1990. № 2. С. 41.

[67] *Василевский. С. 193.*

[68] НХ1. С. 187–189. См. также: НХ4. 1990. № 11. С. 83–85. [НХ5. Т. 1. С. 371–373.]

[69] По свидетельству дочери маршала Жукова Маргариты, эту историю рассказал ей маршал Баграмян. (Беседа автора с Маргаритой Жуковой.) В июне 1942 года, после заседания Генштаба, затянувшегося до двух часов ночи, Сталин остановил Василевского и сказал: «Подождите-ка. Я хочу кое-что сказать о харьковском поражении: пусть получат наказание те, кто это заслужил». И тут же продиктовал письмо командованию Юго-Западной армии от имени ГКО. Помимо ошибок Баграмяна, писал он, существует и «вопрос об ошибках, допущенных Военным Советом, и прежде всего товарищами Тимошенко и Хрущевым. Если нам придется объявить стране полный масштаб разразившейся и все еще продолжающейся на фронте катастрофы, с потерей восемнадцати — двадцати дивизий, боюсь, люди плохо встретят эту новость». См.: *Волкогонов.* С. 432–433. Вскоре после войны, когда Микоян однажды похвалил Хрущева за попытки предотвратить харьковский разгром, Сталин метнул на него такой взгляд, словно готов был придушить на месте. Хрущев вспомнил об этом случае в речи на октябрьском пленуме ЦК КПСС, когда отправлял в отставку маршала Жукова. Стенограмму пленума см. в Российском государственном архиве новейшей истории (далее: РГАНИ).

[70] *Баграмян.* С. 131.

[71] НХ4. 1990. № 11. С. 80. [НХ5. Т. 1. С. 366.]

[72] Беседа автора с Радой Аджубей.

[73] НХ4. 1990. № 11. С. 79–80, 88.

[74] В своих воспоминаниях Хрущев пользуется обтекаемыми фразами: «Не помню, кому принадлежала инициатива в организации всей операции. Возможно, что я проявил инициативу. Я Сталину отвечал: „А командующий? Мы же вместе с командующим приняли решение“. — „Ну, командующий вам поддался“. — „Командующий поддался? Вы же знаете Тимошенко. Чтобы он вдруг согласился с другим, если придерживается иного мнения? У нас, как говорится, решение было принято тихо и гладко“. Баграмян и разрабатывал в деталях операцию», — добавляет Хрущев. НХ1. С. 184. [НХ5. Т. 1. С. 360.]

[75] *Жуков.* Т. 2. С. 268.

[76] *Эриксон.* С. 402, 436.

[77] См.: НХ4. 1990. № 11. С. 93; 1990. № 1. С. 69–75. См. также: *Томпсон.* Khrushchev. С. 81.

[78] НХ1. С. 190. [НХ5. Т. 1.С. 402.]

[79] Там же. С. 199. [НХ5. Т. 1. С. 459.]

[80] *Карынник.* Александр Довженко. С. 89.

[81] По словам той же Малиновской, командующие армией под Сталинградом — Еременко, Чуйков и другие — восхищались личной храбростью и неиссякаемой энергией Хрущева и продолжали тепло вспоминать о нем даже после его отставки, когда это стало небезопасно. Цит. по: *Гобарев.* Хрущев и военные. С. 28, 30.

[82] Стенограмма пленума ЦК КПСС, октябрь 1957 года. РГАНИ.

[83] НХ4. 1990. № 1.С. 80.

[84] Там же. С. 92; стенограмма пленума ЦК КПСС, октябрь 1957 года. РГАНИ. Не обходил молчанием Хрущев и тех экспансивных заявлений (Эриксон именует их «смешными», «тенденциозными» и «мифическими»), которые делал о нем в своих воспоминаниях Еременко. См.: *Эриксон.* С. 429, 560–568.

[85] *Жуков.* Т. 2. С. 99. В беседе с автором Дмитрий Волкогонов подчеркнул, что мемуары Жукова — более надежный источник, чем воспоминания Хрущева. Готовя контрнаступление под Сталинградом, Василевский «ездил от одной армии к другой, от одной позиции к другой, и повсюду в одной машине со мной ездил Хрущев. Никогда он не садился в другую машину: всегда где я, там и он. Однако почитайте официальную историю [написанную во времена Хрущева] — и увидите там: „Товарищ Хрущев посетил такую-то и такую-то позицию“, „Товарищ Хрущев посетил расположение такого-то и такого-то корпуса“, „Товарищ Хрущев сказал то-то и то-то“ и так далее. А о главе Генштаба никто и не вспоминает». Василевского цитирует Симонов (С. 410).

[86] *Симонов.* С. 418. Василевского, как и Жукова, Хрущев вынудил уйти в отставку, поэтому у него был повод отзываться о последнем не лучшим образом. По-видимому, как часто бывает в таких случаях, правда находится «где-то посередине».

[87] НХ1. С. 196. [НХ5. Т. 1. С. 399.]

[88] Там же. С. 196–197. [НХ5. Т. 1. С. 400.]

[89] НХ4. 1990. № 12. С. 83–87. [НХ5. Т. 1. С. 402.]

[90] Там же. 1991. № 2–3. С. 74.

[91] Там же. С. 71.

[92] Копии рапортов Хрущева Сталину хранятся в ЦАМО.

[93] НХ4. 1990. № 1.С. 89.

[94] *Жуков.* Т. 3. С. 10.

[95] *Волкогонов.* С. 467.

[96] *Эриксон.* The Road to Berlin. Boulder, Colo.: Westview Press, 1983. С 101.

[97] См.: *Эриксон.* Stalingrad. С. 65, 93; *Эриксон.* The Road to Berlin. С 65, 97.

[98] [НХ5. Т. 1. С. 488.] «Обычно он был резок, угловат, — добавляет Хрущев, — даже при хорошем настроении. Черт его знает почему. Будто его постоянно кто-то за нитку дергает, связанную с главным нервом, и выводит из равновесия. Хотя иной раз он умел сдержать себя и маскировал свое настроение». НХ1. С. 210. [НХ5. Т. 1. С. 488.]

[99] Там же. С. 209–211. [НХ5. Т. 1. С. 487–488.]

[100] Беседа автора с Д. М. Сухановым.

[101] По сообщению украинского историка Юрия Шаповала. Когда Шаповал сказал об этом в присутствии сына Хрущева Сергея, последний возразил, что помощники сильного лидера — как правило, посредственности, чья задача — выполнять приказы, не обсуждая. Возможно, так оно и есть; однако несомненно и то, что Хрущев не желал видеть среди своих помощников людей, умом, образованием или силой характера превосходящих его самого.

[102] Беседы автора с Василием Костенко в июне 1991-го и августе 1993-го. «Эта история доказывает, — добавил он со вздохом, — что Хрущев знал правду задолго до XX съезда — еще за десять лет до смерти Сталина. И это не единственный такой случай, их было много».

[103] Список Галочки, датированный 31 октября 1943 года, и ответ Шевченко, датированный 6 января 1944 года, хранятся в ЦДАГУ. Этот эпизод описан и проанализирован также в неопубликованной статье Юрия Аксютина «Украинский синодик Никиты Хрущева».

[104] Примеры писем и других обращений к Хрущеву, а также

его ответов, см. в: НХ5. Т. 1. С. 769–775, 781–782, 790–791, 810–812, 817–818.

[105] *Шаповал.* Н. С. Хрущев на Украине. С. 30.

[106] В 1941 году Довженко получил Сталинскую премию за фильм о Гражданской войне «Щорс» (1939). 3 августа 1942 года, на следующий день после публикации в газете «Красная звезда» рассказа Довженко, кинорежиссер получил от самого Сталина «благодарность за рассказ, в котором говорится именно то, что нужно сейчас сказать армии и народу». См.: *Латышев.* И. В. Сталин: об антиленинских ошибках. С. 88.

[107] Выдержки (в переводе на английский) из дневника Довженко см.: *Карынник.* Александр Довженко. С. 67–68. Выдержки по-русски см.: *Латышев.* И. В. Сталин: об антиленинских ошибках. С. 88.

[108] Там же. С. 93–94.

[109] Там же. С. 88.

[110] Там же.

[111] Там же. С. 89. Филиппика Сталина занимает в статье Латышева почти шесть страниц — в две колонки и мелким шрифтом. См. также: Выдержки из дневника Довженко в: *Озеров Л.* Человек, земля и звезды // Огонек. 1987. № 43. С. 3–6.

[112] Украина в огне: киносценарий Александра Довженко / Пер. А. Марцелюк. Zhaba Productions, 1997. С. 14, 24. *Карынник.* С. 95.

[113] Выдержки из дневника Довженко цит. по: *Шаповал.* Украинские годы. С. 29–30.

[114] См.: резолюцию Политбюро Украины от 12 февраля 1944 года в: Александр Довженко: «Я противен вам и чем-то опасен» // Источник. 1993. № 0. С. 126. Хрущев утверждает, что старался сделать резолюцию «так, чтобы было не очень больно». См.: НХ4. 1991. № 11. С. 53. Архивист киностудии им. Довженко со слов вдовы режиссера Юлии Солнцевой утверждает, что Хрущев обеспечивал опальному Довженко некоторый минимум защиты; Сергей Хрущев добавляет, что его отец стремился взять «распекание» Довженко на себя, чтобы сохранить контроль над ситуацией. Встречи и беседы автора в Киеве, июль 1991-го.

[115] НХ1. С. 172–173. См. также: НХ4. 1991. № 11. С. 52–53. [НХ5. Т. 2. С. 38.] По словам Хрущева, его сбило с толку то, что Сталин прежде хвалил работы Довженко и что Маленкову сценарий тоже понравился.

[116] В 1956 году, уже после смерти Довженко, его вдове Юлии Солнцевой было разрешено закончить его фильм «Поэма о море», который Хрущев смотрел на «Мосфильме» по ее приглашению.

[117] НХ1. С. 200. [НХ5. Т. 1. С. 462.]

[118] Там же. С. 200–205.

[119] Там же. С. 215. [НХ5. Т. 1. С. 542–543.]

[120] Там же. С. 211.

[121] *Симонов.* С. 414–415, 418.

[122] См.: *Эриксон.* The Road to Berlin. С. 128, 141. Однако, по Хрущеву, освобождение Киева накануне годовщины Октябрьской революции было совпадением. См.: НХ1. С. 216.

[123] Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс, который автор посетил в 1991 году. Экскурсовод сообщил мне, что еще в 1985-м среди снимков военных, участвовавших в штурме, Хрущева не было и имя его упоминать запрещалось.

[124] НХ1. С. 216–217. [НХ5. Т. 1. С. 544–545.] Фото см. там же. С. 214. Беседа автора с Василием Костенко, август 1993-го. П. Т. Тронько, возглавлявший киевскую комсомольскую организацию и ехавший вместе с Костенко, также вспоминает, что Хрущев постоянно утирал слезы. *Тронько П.* Мои встречи с Н. С. Хрущевым // М. С. Хрущев на Украине. Пер. на русский.

[125] *Тронько П.* Мои встречи с Н. С. Хрущевым.

[126] НХ4. 1990. № 6. С. 50.

[127] НХ4. 1991. № 7–8. С. 100.

[128] Записка Хрущева Сталину от 8 ноября 1943 года приводится в НХ5. Т. 1. С. 793–795. Его воспоминания об этом см. в: НХ4. 1991. № 6. С. 59. [НХ5. Т. 1. С. 546.]

[129] После взятия Киева Сталин отнесся к поздравлению Хрущева гораздо теплее, даже напечатал его письмо в «Правде», хотя и полушутливо упрекнул за то, что тот отправил шифровкой то, что потом оказалось возможным напечатать в газете. См.: НХ4. 1991. № 7–8. С. 100. [НХ5. Т. 1. С. 594, 546–547.]

ГЛАВА VIII

[1] Доклад Вознесенского пересказывается в: *Волкогонов.* С. 504.

[2] *Субтельный.* Украина. С. 479–480; *Марплс Д.* Stalinism in Ukraine in the 1940's. NY.: St Martin's, 1992. С 62.

[3] Цит. по: *Конквест.* Stalin. С. 269. Подробнее о послевоенных настроениях см.: *Зубкова.* Общество и реформы. С. 25–44.

[4] НХ4. 1991. № 11. С. 43.

[5] Цит. по: *Салливан.* Soviet Politics and the Ukraine, 1917–1957. С. 248.

[6] Цит. по: НХ1. С. 596.

[7] НХ4. 1991. № 7–8. С. 76, 98. [НХ5. Т. 1. С. 590.]

[8] НХ1. С. 218. [НХ5. Т. 1. С. 593.]

[9] *Марплс.* С. 59; *Армстронг Дж. А.* Ukrainian Nationalism. 3-е изд. Englewood, Colo.: Ukrainian Academic Press, 1990. С 175–176; НХ1. С 228.

[10] НХ1. С 229. [НХ5. Т. 2. С. 7.]

[11] НХ4. 1991. № 7–8. С. 11. [НХ5. Т. 1. С. 558.]

[12] Стенограмма конференции секретарей обкомов по вопросам кадровой политики 20–22 апреля 1944 года. ЦДАГУ.

[13] Беседа автора с Ольгой Косенко.

[14] Доклад Хрущева Сталину от 26 июля 1944 года. Копия предоставлена Юрием Шаповалом.

[15] Стенограмма пленума ЦК Украины 12–14 декабря 1945 года. РГАСПИ.

[16] Рассказ о почетном шахтере. С. 163–164.

[17] Беседа автора с Захаром Глуховым. См. также: *Глотова.* Встречи в Марьинке. С. 2.

[18] Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993-го.

[19] Беседы автора с крестьянами во время посещения Калиновки летом 1991-го.

[20] Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993-го. См. также: *Стреляный А.* Последний романтик // Свет и тени великого десятилетия: Н. С. Хрущев и его время. Л.: Лениздат, 1989. С. 238–239.

[21] Беседа автора с Андреем Шевченко, октябрь 1993-го.

[22] Записка Хрущева Сталину приводится в НХ5. Т. 1. С. 819–820. См.: НХ4. 1991. № 7–8. С. 89. [НХ5. Т. 1. С. 594.]; *Шаповал.* Украинские годы… С. 27.

[23] Письмо Хрущева Сталину. Украинский партийный архив. ЦДАГУ; *Шаповал.* С. 27.

[24] *Кнышевский П.* Штрихи к портрету кремлевской галереи //

Новое время. 1994. № 9. С. 54. О решении Хрущева передать Крым Украине см.: *Волкогонов Д.* Семь вождей. М.: Новости, 1995. Т. 1. С. 358–368. См. также: *Лаба Р.* The Russian-Ukrainian Conflict: State, Nation, Identity// European Security. 1995. Т. 4. № 3. С 463–468.

[25] *Медведев.* Khrushchev. С. 42; *Шаповал.* Украинские годы… С. 43.

[26] Эта статья была опубликована в «Правде Украины» 17 апреля 1944 года. С. 1.

[27] Поздравления Хрущева с юбилеем хранятся в ЦДАГУ.

[28] Беседы автора с Радой Аджубей, Ниной Кухарчук и Василием Костенко, июнь 1991-го.

[29] Описание семейной жизни Хрущевых в Киеве основано на беседах автора с Юлией Леонидовной Хрущевой, Радой Аджубей, Ниной Кухарчук и Юрием Хрущевым, а также на СХ4. С. 26–28. В июне 1991 года автор посетил как предвоенную, так и послевоенную резиденции Хрущева.

[30] Охотничьи привычки Хрущева описывает бывший егерь Василий Маковецкий в: Дача Хрущева. Киев, 1990. С. 110–113.

[31] *Казинс.* The Improbable Triumvirate. С. 52–53.

[52] По словам Юрия Хрущева, он бывал в гостях у родных раз в год, пока они жили в Киеве, и раз в неделю, когда переселились в Москву. Однако другой член семьи (подтвердивший, что Юрий напоминал Нине Петровне Толю) настаивает, что в Киеве Юрий был у Хрущевых всего один раз, а в Москве — раза три-четыре. Юрий сообщает также, что Хрущев помог его матери, когда она заболела, однако никогда не пытался с ней увидеться.

[13] *Мак-Даффи М.* The Red Carpet: 10000 Miles through Russia on a Visa from Khrushchev. NY.: Norton, 1955. С 200.

[34] Рукопись Мак-Даффи «Russia after Stalin». С 30/19. Библиотека редких книг и рукописей Колумбийского университета.

[35] *Джилас М.* Conversations with Stalin / Пер. М. Б. Петровича. NY.: Harcourt, Brace&World, 1962. С. 120–124.

[36] *Субтельный.* С. 444; *Марплс.* С. 49–58.

[37] Униатская церковь была образована в 1596 году, когда православные епископы Украины и Белоруссии (входивших в то время в состав Речи Посполитой) признали главенство папы римского в обмен на гарантии, что папа оставит без изменений византийские церковные обряды, употребление церковно-славянского языка и восточное каноническое право, допускающее для священников брак. После присоединения части Украины к России в 1654 году царская власть приложила все усилия, чтобы привести униатов, оказавшихся на российской территории, в лоно

Православной церкви. Однако в Галиции, присоединенной к Австрии, Греко-католическая церковь продолжала существовать и укрепляться: к началу XX века она стала основным проводником идеи независимости Украины.

[38] См.: *Боцюркив Б. Р.* The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State: 1939–1950. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1996.

[39] *Марплс.* С. 101, 112; *Томпсон.* С. 88.

[40] Доклад Хрущева Сталину от 17 января см. в: М. С. Хрущов і Україна. С. 159–164. Телеграмма от 21 марта приводится в НХ5. Т. 1. С. 802–803. Доклад от 15 ноября цит. по: *Шаповал.* Никита Хрущев и Западная Украина. С. 83. Резолюции Политбюро Украины за 1945 год цит. по: *Сергейчук В. И.* Микита Хрущов проти ОУН—УПА // М. С. Хрущов и Україна. С. 47–51.

[41] Организованное сопротивление потеряло силу после убийства командующего УПА Р. Шухевича (5 марта 1950 года), однако отдельные выступления продолжались до середины пятидесятых. См.: *Шаповал.* Никита Хрущев и Западная Украина. С. 84.

[42] *Бердс Дж.* The Early Cold War in Soviet West Ukraine, 1944–1948, № 1505 // The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2001. С 8.

[43] *Шаповал.* Украинские годы… С. 38.

[44] См.: *Бердс Дж.* AGENTURA: Soviet Informants' Network and the Ukrainian Rebel Underground in Galicia, 1944–1948 // East European Politics and Societies. Т. 11. 1997. № 1. С 89–130.

[45] Владимир Наумов сообщает, что в 1953 году видел в архиве документ, подписанный Хрущевым, в котором было указано число репрессированных: 600 тысяч человек. Беседа автора с Владимиром Наумовым, март 1998-го. Согласно Юрию Шаповалу («Никита Хрущев и Западная Украина». С. 15), с 1939 по 1955 год Западную Украину покинуло более 2 миллионов человек, то есть около 20 % населения. В докладе КГБ 1980-х годов приводятся следующие цифры: 77751 высланный — за 1947 год, 8984 высланных — за 1951 год. См.: Мероприятия по выселению являлись чрезвычайной мерой. С. 137–139.

[46] См.: Докладная записка о фактах грубого нарушения советской законности и деятельности т. н. спецгруппы МВД от 15 февраля 1949 года Н. С. Хрущеву от военного прокурора МВД Украины Кошарского. ЦДАГУ. Также см.: *Бердс.* AGENTURA. С. 1, 5–6; *Шаповал.* Никита Хрущев и Западная Украина. С. 85; Записка Хрущеву от главы украинского НКВД Рязного от 24 августа 1945 года. ЦДАГУ.

[47] *Марплс.* С. 61, 78–79; *Бердс.* С. 22–23.

[48] Цит. в: *Шаповал.* Никита Хрущев и Западная Украина. С. 83–84. Согласно Шаповалу, тройка организована не была, однако казни имели место.

[49] Стенограмма заседания ЦК от 22–24 ноября 1944 года. РГАСПИ.

[50] Стенограмма конференции секретарей обкомов, председателей облсоветов и глав областных отделений МВД и НКВД от 10 января 1945 года. Державный архив Львовской области; далее: ДАЛО. Выражаю благодарность Марку Крамеру, предоставившему мне полный текст.

[51] Стенограмма собрания секретарей райкомов, председателей райсоветов, глав районных отделений МВД и НКВД. Львов, 15 мая 1945 года. ДАЛО. Выражаю благодарность Джеффри Бердсу, предоставившему мне этот документ.

[52] См.: *Боцюркив.* С. 146.

[53] Там же. С. 102–188.

[54] Советское правительство и РПЦ обвиняли в этом украинских националистов и «агентов Ватикана». Однако вдова о. Костельнюка вспоминает, что власти требовали от него прекратить ссылки на положение церкви, а также что незадолго до гибели у него сняли охрану. См. там же. С. 205–206.

[55] Там же. С. 221–222.

[56] *Судоплатов* (Special Tasks. С. 252–253) пишет, что приказ об убийстве отдал непосредственно Хрущев. *Боцюркив* (С. 22) приводит свидетельство базилианской монахини сестры Феофилы, ставшей свидетельницей расправы.

[57] Одно из немногих упоминаний относится к его визиту в Ровно зимой 1944 года. Хрущев отправился туда, чтобы обсудить сопротивление националистов советским войскам, освобождающим Украину; хотя местные военачальники уверяли его, что район вполне безопасен, он не решился остаться ночевать. Направляясь на север вдоль бывшей польской границы, он остановился перекусить на местной базе снабжения — и вдруг заметил, что «в помещении страшно много народу. Окинул я их взглядом и подумал: „Сколько же тут переодетых бандеровцев? И они тут подкармливаются, обогреваются, а заодно шпионят“. Меня заранее предупредили, что… здесь орудуют бандеровские силы». См.: НХ1. С. 218. [НХ5. Т. 1. С. 582.]

[58] Об этом см.: *Бердс.* С. 29–30. О том, что в Советском Союзе знали о той помощи, которую оказывают бандеровцам западные спецслужбы, см.: *Бердс.* Early Cold War.

[59] О судьбе родственников Нины Петровны, в том числе и ее племянника, убитого, как она говорила, «польскими бандитами», сообщает Сергей Хрущев. О генерале Ватутине — см. речь

Хрущева, посвященную памяти Ватутина в Киеве, отмеченную необычно глубоким личным чувством. См.: НХ5. Т. 1. С. 798–801.

[60] См.: *Мак-Нил Р. Х.* Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union. Т. 3. С 226–232.

[61] *Судоплатов.* С. 254.

[62] См.: *Таубман У.* Stalin's American Policy. С. 73–165.

[63] См.: *Зубкова Е.* Russia after the War: Hopes, Illusions and Disappointments, 1945–1957 / Пер. и ред. Х. Рэгсдейла. Armonk, NY.: M. E. Sharpe, 1998. С. 35–39, 74–98.

[64] См.: *Медведев.* Khrushchev. С. 786–787; *Волкогонов.* С. 510; *Салливан.* Soviet Politics. С. 257.

[65] *Жуков.* Т. 2. С. 339.

[66] *Аллилуева.* С. 188–191.

[67] *Джилас.* С. 147–161.

[68] Цит. по: *Салливан.* С. 252.

[69] Цит. по: *Пистрак.* С. 228.

[70] «Особые» доклады НКВД — НКГБ, хранящиеся в ЦДАГУ.

[71] Правда Украины. 1946. 1 и 5 сентября. См. также: *Пистрак.* С. 181–183.

[72] Коммунист. 1957. № 12. С. 26.

[71] То, что Хрущев использовал именно такую тактику, подтвердили в беседе с автором архивисты музея Максима Рыльского в Киеве. Да и сам Хрущев в своих мемуарах пишет о том же (НХ4. 1991. № 11. С. 53).

[74] НХ1. С. 229. [НХ5. Т. 2. С. 8.]

[75] *Томпсон.* С. 91.

[76] См.: *Веселова О. М.* М. С. Хрущов і голод в Україні 1946–1947 // М. С. Хрущов і Україна.

[77] НХ1. С. 232. [НХ5. Т. 2. С. 8.]

[78] Весь этот год Политбюро Украины проводило ежедневные заседания по текущим вопросам сельского хозяйства. Осенью Хрущев потребовал у областных руководителей ускорить сбор урожая. Многие председатели колхозов за поздний урожай попали в тюрьму как «саботажники» и «вредители».

[79] Позже домоправительница Валечка рассказала об этом дочери Сталина. «Как им только не стыдно было! — говорила она со слезами. — Так обманывать вашего отца! А теперь его же и винят во всем». *Аллилуева.* С. 189–190.

[80] НХ4. 1991. № 11. С. 37. [НХ5. Т. 2. С. 9.]

[81] Беседа автора с Захаром Глуховым.

[82] НХ1. С. 232–235. [НХ5. Т. 2. С. 11.]

[83] *Аджубей.* С. 30; НХ4. 1991. № П. С. 38. [НХ5. Т. 2. С. 11.]

[84] См.: *Веселова.* С. 6–7; Письмо Хрущева Сталину от 1 декабря 1946 года. ЦДАГУ; Письмо Хрущева Сталину от 17

декабря 1946 года. ЦДАГУ.

[85] НХ1. С. 233–234; НХ4. 1991. № 11. С. 38. [НХ5. Т. 2. С. 10.]

[86] *Шаповал.* С. 36.

[87] «Это было сказано при Маленкове, — пишет Хрущев. — Причем абсолютно правильно. Удивительно только, как Сталин, зная Маленкова, поручил ему заниматься сельским хозяйством. Это меня давно интересовало. Ответить трудно. У Сталина все могло быть…» НХ1. С. 236. [НХ5. Т. 2. С. 12.]

[88] НХ1. С. 236–240; НХ4. 1991. № 11. С. 38–40. [НХ5. Т. 2. С. 12–13, 15.]

[89] Стенограмма пленума 10–13 марта 1947 года в ЦДАГУ. Как пример обычного поведения Хрущева на подобных мероприятиях можно привести стенограмму пленума 5–8 июля 1945 года, там же.

[90] Беседа автора с Радой Аджубей. См. также: *Аджубей.* С. 31.

[91] СХ4. С. 26.

[92] НХ1. С. 230–241; НХ4. 1991. № 11. С. 40–41.

[93] Беседа с Радой Аджубей. Каганович позже утверждал, что, хотя смещение «расстроило и оскорбило Хрущева», он «встретил меня радостно, словами: „Очень рад, что именно вас назначили первым секретарем“». *Каганович.* Памятные записки. С. 566.

[94] НХ1. С. 243. [НХ5. Т. 2. С. 18.]

[95] То, что за атакой на Рыльского стоял именно Каганович, явствует из его примечаний к тридцатитрехстраничной разгромной статье о поэте, написанной Ф. Еневичем, а также из письма Еневича к Кагановичу, в котором он упоминает, что написал свою статью согласно указаниям последнего. То и другое хранится в ЦДАГУ. Об этой стороне деятельности Кагановича см. также в: Комсомольское знамя. 1990. 6 ноября. С. 4–5.

[96] *Шаповал Ю.* Н. С. Хрущев: начало биографии и карьеры, годы на Украине, 1894–1949. Доклад. С. 38–39.

[97] *Глотова.* Встречи в Марьинке. С. 2.

[98] Согласно бывшему руководителю комсомольской организации Украины Василию Костенко, об этом случае рассказал ему сын Сталина Василий. Беседа автора с Василием Костенко, август 1993-го.

[99] НХ1. С. 243–244. [НХ5. Т. 2. С. 18–19.]

[100] В 1961 году партийный руководитель Украины Николай Подгорный так описывал поведение Кагановича в Киеве: «Каганович окружил себя бандой беспринципных доносчиков. Он истреблял преданные партии кадры, мучил и терроризировал высшее руководство республики. Каганович садистски наслаждался мучениями активистов и представителей интеллигенции, унижал их, угрожал арестом и тюрьмой. Не

случайно даже сейчас многие партийные и советские работники вспоминают об этом времени как о „черных днях“ для Украины. Товарищ Хрущев, опираясь на уважение и поддержку рабочего народа Украины, делал все, что мог, чтобы положить конец провокациям Кагановича» (Правда. 1961. 20 октября. С. 3).

[101] См.: *Медведев Р.* Khrushchev. С. 46; *Томпсон.* С. 95–97; *Марплс.* С. 112–126, 147.

[102] Обращение Хрущева к пленуму ЦК Украины 9—11 марта 1948 года, ЦДАГУ. Речь Хрущева на XVI съезде КП(б)У. Там же. Письма Хрущева к Сталину 1,948 и 1949 годов. Там же.

[103] *Аджубей.* С. 29–30.

[104] НХ1. С. 244; НХ4. 1991. № 11. С. 43. [НХ5. Т. 2. С. 20.]

[105] Письмо Хрущева с предложением принять указ «против тунеядцев». ЦДАГУ. Текст самого указа там же. Письмо Хрущева от 17 апреля 1948 года (на восемнадцати страницах). Там же.

[106] *Шаповал.* Украинские годы… С. 41.

[107] *Шаповал.* Н. С. Хрущев — начало биографии. С. 32.

ГЛАВА IX

[1] *Аллилуева С.* Only One Year. NY.: Harper&Row, 1969. С. 422. Ее высокое мнение об Аджубее разделяли далеко не все его знакомые — особенно после того, как, женившись на Раде, с помощью своего могущественного тестя он «пошел в гору» и начал постоянно публиковаться в Советском Союзе, а также представлять СССР за рубежом. Однако следует заметить, что в начале своего романа и Рада, и Аджубей проявили незаурядную смелость.

[2] *Аджубей.* С. 16. Автор несколько раз беседовал с Аджубеем на эту тему в 1989–1991 годах. Серго Берия вспоминает жену Маленкова как «властную женщину» и приводит предупреждение своего отца: «Она опасна, это настоящий жандарм в юбке… по характеру гораздо сильнее мужа» (*Берия С.* С. 160).

[3] *Аджубей.* С. 96.

[4] Там же. С. 16, 77–78.

[5] Там же. С. 24.

[6] В июле 1944 года, когда Хрущев попросил Корнейчука оставить почетный, но чисто номинальный пост министра иностранных дел Украины и вместо этого стать председателем Комитета искусств Украины, избалованный Корнейчук «категорически отказался»; в результате в разгар войны Хрущев вынужден был обратиться к Сталину с просьбой позволить Корнейчуку совмещать эти две должности. См. два письма Хрущева к Сталину 1944 года в НХ5. Т. 1. С. 810–812.

[7] *Аджубей.* С. 24–25.

[8] НХ1. С. 248; НХ4. 1991. № 11. С. 44. [НХ5. Т. 2. С. 22.]

[9] *Аджубей.* С. 29.

[10] НХ1. С. 246; НХ2. С. 95.

[11] НХ4. 1991. № 11. С. 44. [НХ5. Т. 2. С. 21–22.]

[12] См.: *Парриш М.* The Lesser Terror: Soviet State Security, 1939–1953. Westport, Conn.: Praeger, 1996. С 215.

[13] НХ1. С 250.

[14] НХ4. 1991. № 12. С. 55; НХ1. С. 289. [НХ5. Т. 2. С. 62.]

[15] Аджубей пытается воспроизвести мысли Хрущева следующим образом: «Уверен, что в последние годы жизни Сталина, приглядываясь внимательно не только к стареющему вождю… но и к тем, кто готовился стать его преемниками, Хрущев решил, что у него хватит сил расшвырять их». *Аджубей.* С. 159.

[16] См.: *Зубкова.* Общество и реформы. С. 90—102.

[17] *Конквест.* Stalin. С. 269; *Найт А.* Beria: Stalin's First

Lieutenant. Princeton, Princeton University Press, 1993. С 144.

[18] *Аллилуева.*Twenty letters…С. 193, 196–197.

[19] Согласно Ю. Н. Жукову, в последние шесть лет жизни Сталина Политбюро в полном составе собиралось лишь дважды и эти заседания продолжались менее часа. См.: *Жуков Ю.* Борьба за власть в руководстве СССР в 1945–1952 годах. VI. 1995. № 1. С. 28.

[20] Эти сцены запечатлены в фильме Андрея Кончаловского «Ближний круг».

[21] НХ1. С. 297. [НХ5. Т. 2. С. 104.]

[22] Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich / Под ред. С. Волкова; Пер. А. У. Буи. NY.: Harper&Row, 1979. С. 251–252.

[23] НХ1. С. 298, 300; НХ4. 1992. № 1. С. 53. [НХ5. Т. 2. С. 105. С. 42.]

[24] *Аллилуева.* Twenty letters… С. 20–22, 205; *Колтон.* С. 323; *Джилас.* С. 75; *Радзинский.* С. 545–546; *Шепилов.* Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 3. С. 5–6.

[25] *Шепилов.* Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 3. С. 5.

[26] НХ1. С. 300–301. [НХ5. Т. 2. С. 42, 57.]

[27] *Аллилуева.* Only One… С. 385.

[28] *Чуев.* Сто сорок… С. 255.

[29] *Микоян.* С. 353; НХ1. С. 301. [НХ5. Т. 2. С. 41, 56.]

[30] НХ5. Т. 2. С. 56.

[31] Там же.

[32] *Берия С.* С. 141; *Аллилуева.* Only One… С. 385–386.

[33] Беседа автора с бывшим помощником Хрущева, который просил не называть своего имени. Москва, август 1993-го.

[34] *Торанска Т.* Them: Stalin's Polish Puppets / Пер. А. Колаковски. NY.: Harper&Row, 1987. С. 305.

[35] НХ1. С. 301.

[36] Там же. С. 302–303. [НХ5. Т. 2. С. 120.]

[37] Там же. С. 304–305. [НХ5. Т. 2. С. 57–58.]

[38] Там же. С. 303. [НХ5. Т. 2. С. 57.]

[39] Там же.

[40] НХ4. 1991. № 11. С. 49, 54; 1992. № 1. С. 55; 1992. № 2–3. С. 76. [НХ5. Т. 2. С. 143, 109, 41.]

[41] Норберт Элиас описывает подобные сцены при дворе Людовика XIV (*Элиас Н.* The Court Society / Пер. Э. Джекотта. NY.: Pantheon Books, 1983. С. 104).

[42] В тридцатых годах Сталин и Молотов казались Хрущеву «неразлучными, ближайшими друзьями; они всегда ездили отдыхать вместе». НХ4. 1991. № 12. С. 65.

[43] *Чуев.* Сто сорок… С. 415. Даже после жаркой схватки с

Молотовым, заклеймив его как ярого сталиниста, Хрущев отзывался о нем с уважением: «Я считал Молотова очень опытным человеком, особенно в вопросах внешней политики. Он часто рассказывал при мне о внешнеполитических вопросах и всегда говорил логично, разумно и со знанием дела». НХ1. С. 309.

[44] *Аллилуева.* Only One… С. 406–407.

[45] *Васильева.* С. 136–159; *Судоплатов.* Special Tasks. С. 327.

[46] *Чуев.* Сто сорок… С. 466. См. также: *Васильева.* С. 136–160. Когда Сталин сообщил Политбюро о том, что на Жемчужину «имеется материал», «у меня ноги подкосились», вспоминал Молотов (*Чуев.* Сто сорок… С. 473). При голосовании по вопросу об исключении его жены из партии он воздержался, но затем написал Сталину письмо, в котором отрекался от нее. См.: *Данилов А.* Сталинское Политбюро в послевоенные годы // Политические партии России. М.: Изд-во МГУ, 2000. С. 210–211. Шмуэль Микунис, руководитель компартии Израиля, встретившись с Молотовым в кремлевской больнице в 1955 году, «подошел к нему и спросил: „Как могли вы, член Политбюро, позволить им арестовать вашу жену?“ Он смерил меня холодным взглядом и поинтересовался, кем я себя воображаю. Я ответил: „Я — генеральный секретарь коммунистической партии Израиля, поэтому и спрашиваю вас — и не только вас, мне хотелось бы спросить об этом и Центральный Комитет. Почему вы позволили арестовать Полину Жемчужину?“ Ни один мускул на его стальном лице не дрогнул. „Потому что я член Политбюро, — ответил он, — и обязан подчиняться партийной дисциплине…“» Цит. по: *Медведев Р.* All Stalin's Men. Garden City, NY.: Anchor, 1984. С 99. [НХ1. С 309. [НХ5. Т. 2. С. 129.]

[48] Цит. по: *Медведев Р.* All Stalin's Men. С. 19.

[49] *Аллилуева.* Only One… С. 402–403.

[50] НХ1. С. 308. [НХ5. Т. 2. С. 128.] По утверждению Хрущева, он вместе с другими коллегами ответил: «Вы сами его назвали, и он был избран». Так ли это — неизвестно.

[51] *Аллилуева.* Only One… С. 404–405.

[52] Цит. по: *Радзинский.* С. 549–550.

[53] НХ1. С. 309–310. [НХ5. Т. 1. С. 105, 102.] Микоян подтверждает, что Молотов и сам он были приговорены к «физическому уничтожению». См.: *Микоян.* С. 580.

[54] В том, что расстановка сил в послевоенном правительстве была именно такова, согласны большинство исследователей — от Конквеста (С. 272–274) до Судоплатова (С. 315). Андрей Маленков, сын Маленкова, настаивает, что его отец враждовал с Берией и лишь прикидывался его другом (беседа автора с Андреем Маленковым). Однако, исходя из логики ситуации, мы,

как и сказано в тексте, полагаем, что все приближенные Сталина приходились друг другу одновременно «друзьями» и врагами.

[55] *Зубок В., Плешаков К.* Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushchev. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996. С 140–143; *Найт Э.* Beria. С. 15; *Медведев Р.* С. 140–147.

[56] *Чуев.* Сто сорок… С. 336.

[57] *Аллилуева.* Only One… С. 414, 420.

[58] Там же. С. 412. Как и Андрей Маленков, Серго Берия полностью на стороне своего отца: он изображает его прекрасным семьянином и тайным приверженцем реформ, ненавидевшим Сталина и с нетерпением ожидавшим его смерти. См.: *Берия С.* С. 237. См. также русское издание книги: *Берия С.* Мой отец — Лаврентий Берия. М.: Современник, 1994.

[59] *Аджубей.* С. 107–108.

[60] Согласно Аджубею, одна из двухсот «соблазненных» стала затем его неофициальной, но постоянной любовницей; некоторое время она даже проживала на улице Качалова вместе с Ниной Теймуразовной. Позже, по словам Аджубея, эта женщина уверяла, что любила Берию, что с ней он был «чрезвычайно мил, любезен, ласков» (см.: *Аджубей.* С. 166–168).

[61] *Джилас.* С. 108.

[62] *Аллилуева.* Only One… С. 376.

[63] Впервые Хрущев заметил страх Сталина после войны на одном ужине, когда Сталин, оглядевшись вокруг, неожиданно спросил, «откуда набралось вокруг него столько грузин». Берия попытался что-то объяснить, но Сталин прервал его и приказал немедленно уволить всю грузинскую обслугу. «И все грузины и грузинки исчезли из его окружения». НХ1. С. 311 [НХ5. Т. 2. С. 55.] По утверждению Серго Берии, его отец сознательно демонстрировал Сталину, что готов «объявить ему открытую войну, если Сталин решит его ликвидировать». [НХ5. Т. 2. С. 55.]

[м] Там же. С. 313.

[65] Маленков был выведен из Секретариата после ареста руководителя авиационной промышленности И. В. Шахурина. См.: Лаврентий Берия: «Через 2–3 года я крепко исправлюсь…» // Источник. 1994. № 4. Примеч. 14. С. 11–12. Имеются даже сообщения, будто бы Маленков был выслан в Узбекистан; однако записи в книге посещений показывают, что все это время он часто бывал в Кремле. См.: *Данилов.* Сталинское Политбюро. С. 201–202.

[66] Будучи заместителем председателя Совета министров, Берия продолжал надзирать за органами безопасности, а кроме того, принял контроль над сталинской программой создания ядерного оружия. Однако Абакумов, занявший пост министра

госбезопасности, не был близок к Берии — по крайней мере поначалу. Об изменении положения Берии более подробно пишут: Конквест (Stalin. С. 274), Р. Г. Пихоя («О внутриполитической борьбе в советском руководстве, 1945–1948 гг.» // Новая и новейшая история. 1995. № 6. С. 5), Судоплатов (С. 315). В отличие от названных авторов, Эми Найт рассматривает эту перемену как «изменение к лучшему», поскольку, не потеряв контроля над органами НКВД, Берия «завоевал положение полноценного государственного деятеля». См.: *Найт.* С. 140.

[67] Цит. по: *Радзинский.* С. 528. Микоян называет Вознесенского «высокомерным», «великорусским шовинистом», а Кузнецова описывает как «не столь амбициозного», «обаятельного и искреннего». (*Микоян.* С. 549, 564.)

[68] Об этом писал Берия в письме к Маленкову из тюрьмы 1 июля 1953 года. См.: Источник. 1994. № 4. С. 6.

[69] См.: *Микоян.* С. 563–568; *Пихоя.* С. 6; *Пэрриш.* С. 215–221; *Радзинский.* С. 528, 534–535; *Найт.* С. 151–152; *Волкогонов.* Stalin. С. 522; *Ваксберг.* Prosecutor and the Prey. С. 355. Серго женился с благословения отца, несмотря на угрозу, нависшую над отцом невесты. И Андрей Маленков, и Серго Берия отрицают описанную мной роль их отцов в «ленинградском деле».

[70] Цит. по: *Конквест.* С. 310.

[71] *Чуев.* Сто сорок… С. 326.

[72] См.: *Микоян.* С. 568, 579. Каганович позже настаивал, что подобных планов не существовало. См.: *Чуев.* Так говорил Каганович. С. 175–176.

[73] НХ4. 1991. № 11. С. 46–51.

[74] НХ1. С. 246–249. [НХ5. Т. 2. С. 22–24.] Сталин поднял вопрос о Попове, пишет Хрущев, и «смотрит внимательно на меня… у него была такая привычка: посмотрит на тебя, потом носом дернет вверх и спросит…». Выслушав ответ Хрущева, он «выругался, и на том все кончилось» [НХ5. Т. 2. С. 23].

[75] НХ4. 1991. № 12. С. 72. [НХ5. Т. 2. С. 99–100.]

[76] См.: *Судоплатов.* С. 316, 326; *Авторханов А.* Загадка смерти Сталина: Заговор Берии. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1976. С. 75; *Антонов-Овсеенко А.* The Time of Stalin: Portrait of a Tyranny. NY.: Harper&Row, 1981. С 298; *Чуев.* Сто сорок… С. 323. См. также: *Ханн В. Г.* Postwar Soviet Politics: The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation, 1946–1953. Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1982. С 38, 48, 50.

[77] *Колтон.* С. 298–299.

[78] О секретных назначениях см.: *Найт.* С. 158; *Судоплатов.* С. 338. Андрей Маленков цитирует своего отца в: *Маленков А.* О

моем отце Георгии Маленкове. М.: Технэкос, 1992. С. 58. Рассказ Хрущева об этом см. в НХ1. С. 279–280.

[79] *Аджубей.* С. 33–34.

[80] Беседа автора с Василием Костенко, август 1993-го.

[81] НХ1. С. 313–314; СХ4. С. 30; беседа автора с Владимиром Шамбергом (бывшим зятем Маленкова).

[82] Беседа автора с Радой Аджубей.

[83] Беседа автора с Андреем Маленковым.

[84] НХ1. С. 314.

[85] *Аджубей.* С. 97.

[86] Там же. С. 96–99; НХ4. 1992. № 1. С. 64.

[87] *Чуев.* Сто сорок… С. 255, 323, 332.

[88] *Аджубей.* С. 98, 159.

[89] НХ4. 1992. № 2–3. С. 87, 89. [НХ5. Т. 2. С. 157.]

[90] НХ1. С. 311. [НХ5. Т. 2. С. 156 — но в оригинале этой фразы нет.]

[91] Цит. по: *Аджубей.* С. 106.

[92] *Волкогонов.* С. 517; *Медведев Р.* Khrushchev. С. 51–52; *Пономарев.* Н. С. Хрущев. С. 53.

[93] См.: НХ2. С. 96–98.

[94] *Пономарев.* С. 53.

[95] *Медведев Р.* С. 52; *Он же.* Let History Judge. С. 797–801.

[96] Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993-го.

[97] «Хорошо, — замечает Рой Медведев, — что такие эксперименты проводились лишь в ограниченном масштабе». *Медведев Р.* Khrushchev. С. 52–53.

[98] НХ2. С. 117–118.

[99] Там же. С. 116.

[100] Цит. по: *Пономарев.* С. 56.

[101] Стенограмма партконференции 5 апреля 1950 года. ЦАОД.

[102] О сталинской и постсталинской политике в области колхозного строительства более подробно в: Второй и важнейший этап // Отечественная история. 1994. № 1. С. 27–50.

[103] Речи Хрущева от 16 и 31 мари были скомбинированы и опубликованы в «Правде» 25 апреля 1950 юла. Речь на московском партийном пленуме цит. по: *Пономарев.* С. 58. См. также: *Пистрак.* С. 239–240; *Медведев Р.* Khrushchev. С. 52–53.

[104] *Уитни.* Khrushchev Speaks. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1963. С 38–53.

[105] Шевченко в беседе с автором в августе 1993 года упомянул о звонке Сталина.

[106] Письмо Хрущева воспроизведено в: Отечественная история. 1994. № 1.С. 44.

[107] Испытание сталинщиной // Вечерняя Москва. 1994. 15

апреля. С. 4. Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993-го. Беседа автора с Петром Демичевым. *Чуев.* Сто сорок… С. 362; *Пистрак.* С. 242.

[108] *Бенедиктов И. А.* О Сталине и Хрущеве // Молодая гвардия. 1989. № 4. С. 58. Отметим, что брат Бенедиктова Алексей заявил о том, что большая часть интервью — фальшивка. См.: Огонек. 1989. № 37. С. 8.

[109] *Пономарев.* С. 60; *Чуев.* Сто сорок… С. 362; беседа автора с Анатолием Пономаревым.

[110] Указ от 1 апреля 1958 года с цитатами из указа от 2 апреля 1951 года см.: Отечественная история. 1994. № 1. С. 49–50.

[111] Беседа автора с Алексеем Аджубеем.

[112] НХ1. С. 277–278. [НХ5. Т. 2. С. 96.]

[113] Там же. С. 285–286.

[114] *Аджубей.* С. 87–88.

[115] НХ4. № 1. 1992. С. 53. [НХ5. Т. 2. С. 106.]

[116] *Аджубей.* С. 87–89.

[117] *Чуев.* Сто сорок… С. 268, 325, 347, 367, 428. [118] *Аджубей.* С. 86.

[119] Там же. С. 40, 86–88; СХ4. С. 31.

[120] Беседа автора с Радой Аджубей. Говоря о себе и других детях Хрущева, она добавляет: «Мы об этом не думали: на что-то закрывали глаза, о чем-то и не знали — просто жили и радовались. Теперь мой старший сын говорит: „Неужели ты не замечала, не чувствовала, что происходит? Быть такого не может!“ Но это правда: мы ничего такого не чувствовали».

[121] *Аджубей.* С. 75, 86.

[122] Беседа автора с Радой Аджубей; *Аджубей.* С. 76.

[123] *Аджубей.* С. 40–41. Сам, по сути дела, отказавшись от семьи, Сталин того же требовал и от коллег. Появление жен и детей на кремлевских приемах не приветствовалось.

[124] Там же. С. 87, 36.

[125] Там же. С. 41, 88.

[126] Там же. С. 40.

[127] Там же. С. 41.

[128] Там же. С. 82.

[129] *Волкогонов.* С. 525.

[130] Там же. С. 42; *Аджубей.* С. 42.

[131] *Уитни.* С. 20.

[132] Беседа автора с Дмитрием Горюновым.

[133] *Аджубей.* С. 42–43; Беседа автора с Алексеем Аджубеем.

[134] НХ4. № 12. 1991. С. 69.

[135] НХ1. С. 289–290. [НХ5. Т. 2. С. 62–63.]

ГЛАВА X

[1] НХ1. С. 316. [НХ5. Т. 2. С. 129.] Волкогонов (Stalin. С. 571), не цитируя источник, утверждает, что Сталин в тот вечер был сердит на своих помощников. А. Т. Рыбин, бывший охранник Сталина, со слов своего товарища рассказывает, что в ту ночь за столом у Сталина пили только сок. См.: *Рыбин А. Т.* Рядом со Сталиным // Социологическое исследование. 1998. № 3. С. 92.

[2] *Конквест.* Stalin. С. 311; *Волкогонов.* С. 572; НХ1. С. 316 (небольшие отличия в деталях). См. также: Социологическое исследование. 1998. № 3. С. 92–93.

[3] *Волкогонов.* Сталин. С. 572; *Радзинский.* Stalin. С. 571–575.

[4] *Волкогонов.* Семь вождей: галерея лидеров СССР. М.: Новости, 1995. Т. 1. С. 315; *Волкогонов.* Stalin. С. 572; Берия: конец карьеры. М.: Издательство политической литературы, 1991. С. 130; Социологическое исследование. 1998. № 3. С. 93.

[5] НХ4. 1992. № 2–3. С. 90–93. [НХ5. Т. 2. С. 129–130.] Его поддерживает сын в СХ3. Т. 1. С. 25. Точку зрения охраны см.: Социологическое исследование. С. 93.

[6] НХ4. 1992. № 2–3. С. 91. [НХ5. Т. 2. С. 130.]

[7] *Волкогонов.* Семь вождей. С. 323.

[8] Molotov Remembers: Conversations with Feliks Chuev / Под ред. А. Ризиса. Chicago: Ivan R. Dee, 1993. С 233, 237, 326. По словам Молотова, если Сталин в самом деле был убит, «едва ли к этому приложил руку Хрущев».

[9] *Радзинский.* С. 567–568, 574.

[10] *Волкогонов.* Семь вождей. С. 313, 324. Осенью 1947 года Олег Трояновский, тогда молодой переводчик Министерства иностранных дел, проведя несколько дней на даче Сталина в Сочи, с удивлением узнал, что там нет врача, только фельдшер, способный оказать лишь самую элементарную медицинскую помощь, см.: *Трояновский.* Через годы и расстояния. С. 157–158.

[11] Рассмотрение гипотезы о том, что Берия отравил Сталина или каким-либо иным образом вызвал у него инсульт см.: *Авторханов А.* Загадка смерти Сталина: Заговор Берии. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1976.

[12] См.: НХ4. 1992. № 2–3. С. 91. [НХ5. Т. 2. С. 130.]; *Радзинский.* С. 575; *Волкогонов.* Семь вождей. С. 318; *Александров Е.* Смерть тирана // Независимая газета. 1993. 4 марта. С. 5. Заключение медицинской комиссии, осматривавшей Сталина, имеется в Архиве Волкогонова.

[13] См.: Molotov Remembers. С. 236; НХ4. 1992. № 2–3. С. 92. [НХ5. Т. 2. С. 131.]; *Радзинский.* С. 576.

[14] НХ1. С. 323. [НХ5. Т. 2. С. 131, 178.]

[15] *Симонов.* С. 228. Перед распределением должностей Маленков сообщил, что Сталин пока борется за жизнь, однако, даже если он выживет, состояние его останется очень тяжелым. Поскольку страна не может остаться без руководства, продолжал он, необходимо сформировать новое правительство. См.: *Радзинский.* С. 577–578.

[16] *Аллилуева.* Twenty Letters… С. 8, 10.

[17] НХ1. С. 322. [НХ5. Т. 2. С. 177.]

[18] Там же. С. 318, 323. [НХ5. Т. 2. С. 133.]; *Аллилуева.* Twenty Letters… С. 6, 12; *Волкогонов.* Сталин. С. 574; *Шепилов.* Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 3. С. 23.

[19] *Симонов.* С. 229.

[20] См.: *Шепилов.* Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 3. С. 12.

[21] Правда. 1953. 10 марта. С. 2.

[22] *Барсуков Н. А.* Аналитическая записка: позиция послесталинского руководства в отношении политических репрессий 30–40-х и начала 50-х годов. Неопубл. статья. С. 28–29.

[23] По всей видимости, немедленно после смерти Сталина Берия уничтожил ключевые документы, а после его ареста уничтожение компрометирующих документов продолжили его соперники. См.: Протокол допроса телохранителя Берии Рафаила Саркисова от 1 июля 1958 года в Архиве Волкогонова. См. также: *Наумов.* Repression and Rehabilitation. С. 103. Наумов не предоставляет конкретной информации об уничтожении документов, однако некоторые бывшие должностные лица заявляли, что знали об этом и даже непосредственно в этом участвовали. См.: Последний сталинский расстрел // Вечерняя Москва. 1994. 26 сентября. С. 3.

[24] *Барсуков.* С. 72; *Солженицын А.* The Gulag Archipelago. NY.: Harper&Row, 1978. Т. 3. С. 279–331.

[25] НХ2. С. 79. [НХ5. Т. 4. С. 283.]

[26] Речь Хрущева на сентябрьском пленуме ЦК опубликована в «Правде» 15 сентября 1953 года; *Зубкова Е.* The Rivalry with Malenkov; *Стреляный А.* Khrushchev and the Countryside // Nikita Khrushchev / Под ред. Таубмана, Хрущева и Глисона. С. 69, 113.

[27] *Трояновский О.* The Making of Soviet Foreign Policy // Nikita Khrushchev / Под ред. Таубмана, Хрущева и Глисона. С. 209. О внешней политике Сталина в послевоенный период см.: *Таубман У.* Stalin's American Policy и *Геддис Дж.* We Now Know: Rethinking Cold War History. NY.: Oxford University Press, 1997.

[28] НХ2. С 39–40. [НХ5. Т. 4. С. 190.] Беседа автора с Сергеем Хрущевым. Об эволюции советской военной стратегии и развитии

советских вооружений см.: *Фридман Л.* The Evolution of Nuclear Strategy. NY.: St Martin's, 1981.

[29] НХ2. С 46. [НХ5. Т. 4. С. 190–191.] Возможно, поэтому Хрущев был так доволен, когда его сын Сергей стал ракетным конструктором.

[30] Там же. С. 35, 220. [НХ5. Т. 4. С. 442.] О шпионских полетах американских самолетов см.: *Педлоу Г. У., Уэлзенбах Д. Э.* The CIA and U-2 Program, 1954–1974. Washington D.C.: Central Intelligence Agency, 1998. С 2–4; *Холл Р. К.* The Truth About Overflights // Quaterly Journal of Military History. 1997 (весна). С. 25–39. Автор беседовал с пилотом, совершавшим подобные полеты для ЦРУ в 1953 году: он подтвердил, что благодаря превосходству в возможности использования самолетов в ночное время и в нелетную погоду он сам и его коллеги без труда нарушали воздушные границы Советского Союза.

[31] НХ2. С. 194. [НХ5. Т. 4. С. 168.]

[32] Позже Хрущев рассказывал, что в давке около Дома Профсоюзов погибли 109 человек. См. его речь на съезде польских рабочих в марте 1956 года. Архивум Акт Новых, Польска Зъедносчона Партия Роботнича. Варшава, Польша; далее: ААН ПЗПР.

[33] *Симонов.* С. 236–237.

[34] Контроль Берии над документами обсуждается в: *Наумов.* С. 103–104; *Барсуков.* С. 25–26. О наличии у Берии компромата на Маленкова упоминалось на июльском пленуме ЦК 1957 года, когда Хрущев окончательно разделался с «антипартийной группой». См. стенограмму пленума в: Последняя антипартийная группа. 1993. № 3. С. 22; 1994. № 1. С. 57. На Маленкова, как утверждают, имелись «показания», указывавшие на его роль в планировании убийства Кагановича.

[35] В своей речи на пленуме ЦК в июле 1953 года (посвященной смещению Берии) Хрущев пересказал — точно или нет, неизвестно — ответ Берии на вопрос главы компартии Венгрии Матьяша Ракоши, заданный около месяца назад. Ракоши спросил, как можно разделить функции полиции между ЦК и Советом министров. «А что такое Центральный Комитет? — ответил Берия. — Пусть Совет министров все решает, а ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой». См.: *Старков Б.* Сто дней лубянского маршала // Источник. 1993. № 4. С. 88. См. также: *Найт.* Beria. С. 183.

[36] *Симонов.* С. 247. Беседа автора с Петром Демичевым. Беседа автора с Серго Микояном, октябрь 1987-го. Согласно Серго Берии, его отец рассматривал партию как «сверхструктуру, которая ничем конкретным не занимается, но всем руководит и за

все отвечает». *Берия С.* Beria, My Father. С. 295.

[37] Краткое описание реформ Берии см.: *Берия С.* С. 259–268. Более объективно тот же вопрос освещен у Найта.

[38] *Судоплатов.* Special Tasks. С. 314.

[39] Берия прекратил расследование «мингрельского дела», которое неминуемо подставляло под удар его самого, и, зачитав слезное письмо в Президиум одного депортированного приволжского немца, предложил пересмотреть судьбу ссыльных немецкой национальности. Документы собраны в: Новый курс Л. П. Берии // Исторический архив. 1996. № 4. С. 132–164. Об амнистии, убийстве Михоэлса и «деле врачей» более подробно: *Барсуков.* С. 24, 30, 33–34. После апрельской амнистии Москву и другие города наводнили сотни тысяч выпущенных на свободу уголовников. Соперники Берии и некоторые историки позже обвиняли его в сознательном нагнетании криминальной обстановки, требующей постоянного присутствия в городах боевых частей МВД. Однако другие выражают сомнение в этом. См.: *Медведев Р., Медведев Ж.* Khrushchev: The Years in Power. NY.: Columbia University Press, 1976. С. 9; *Барсуков.* С. 30. Этот исторический эпизод стал сюжетной основой фильма Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего».

[40] *Симонов К.* Страшный человек // Берия: конец карьеры. С. 188–189.

[41] *Кротков Ю.* Я выполнял приказ Берии // Берия: конец карьеры. С. 257.

[42] Записка Берии Президиуму от 8 июня об этническом составе МВД Белоруссии приводится в: Новый курс. С. 157–159. Более подробно о национальной политике Берии см.: *Старков.* С. 87–88; Социологическое исследование. С. 11. Описание действий Берии в отношении Западной Украины см.: *Найт.* С. 188–189; их истолкование — *Судоплатов.* С. 357. О звонке Строкачу рассказывал на июльском пленуме 1953 года Маленков; см.: Дело Берии: пленум ЦК КПСС, июль 1953 года — стенографический отчет // Известия ЦК КПСС 1991. № 1. С. 141–142. Не все обвинения против Берии, выдвинутые на этом пленуме, достаточно обоснованы, однако это подтверждается информацией Судоплатова.

[43] Текст письма см.: *Старков.* С. 86.

[44] Стенограмма советско-венгерских переговоров от 13 июня 1953 года сохранилась в Центральном архиве Венгрии, опубликована Дьердем Т. Варга в «Multunk» (1992. № 2–3. С. 234–269).

[45] Стенограмма заседания от 27 мая не сохранилась, и нам приходится полагаться на воспоминания его участников и

близких к Берии людей. Так, Судоплатов (С. 364) сообщает, что Берия поручил ему провести тайное прощупывание общественного мнения Запада по этому вопросу. Слова Берии на заседании 27 мая приводят Молотов (*Чуев.* Сто сорок… С. 333), Андрей Громыко (Memoirs. NY.: Doubleday, 1989. С. 317), Микоян (Так было. С. 584) и Шепилов (Воспоминания. VI. 1998. № 8. С. 13).

[46] Записку Берии Хрущеву цитирует Барсуков: Хрущев: основные вехи эскалации власти. Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Хрущева. Браунский университет, Провиденс, декабрь 1994 года. С. 10. О телефонных разговорах сообщает Судоплатов (С. 354).

[47] *Чуев.* Сто сорок… С. 332, 436.

[48] НХ4. 1992. № 2–3. С. 94; НХ1. С. 325. [НХ5. Т. 2. С. 160.]

[49] Стенограмму июльского пленума 1953 года см. в: Дело Берии. С. 158. Полную и неотредактированную стенограмму см. в: Лаврентий Берия — 1953: стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Международный фонд «Демократия», 1999.

[50] Берия: конец карьеры. С. 256.

[51] *Судоплатов.* С. 358–359, 372–373.

[52] Характеристику Хрущевым позиции Берии по германскому и национальному вопросам см. в: Дело Берии. С. 153, 157. Записка Хрущева «О ситуации в Латвии» обсуждается у Зубковой. Эпизод с ВЛКСМ вспоминает Александр Шелепин в статье «История — учитель суровый» (Труд. 1991. 14 марта. С. 4). Воспоминания Симонова см. в: *Симонов.* Глазами человека моего поколения. С. 250–251.

[53] Беседа автора с Петром Демичевым.

[54] Последний — в беседах с сыном (беседа автора с Андреем Маленковым).

[55] «Все-таки Хрущев тут был очень активным и хорошим организатором, — вспоминает Молотов. — В его руках была инициатива. Как организатор, безусловно, хороший». Маленков же «занимал несамостоятельную позицию. Слабоват был насчет воли, слабоват. Я считаю и до сих пор не жалею, наоборот, считал и считаю это заслугой Хрущева». *Чуев.* Сто сорок… С. 343, 345: *Микоян.* С. 586.

[56] НХ1. С. 331. [НХ5. Т. 2. С. 166.]

[57] Стенограмма в: Дело Берии. С. 155. См. также: НХ4. 1992. № 2–3. С. 94–95. Предложение Берии от 15 июня 1953 года вместе с проектом резолюции Президиума см. в: Новый курс… С. 160–161.

[58] НХ4. 1992. № 2–3. С. 94. [НХ5. Т. 2. С. 161.] Версию

Молотова см.: *Чуев.* Сто сорок… С. 332–336. Позиция Маленкова разными авторами изображается по-разному: Хрущев пишет, что Маленков изначально был на стороне Берии, Андрей Громыко — что Маленков поддерживал Молотова (С. 317–318). Громыко вообще достаточно объективен, однако к Хрущеву питает такую неприязнь, что даже не упоминает о его присутствии на заседании. Скорее всего, Маленков занимал двойственную позицию, которую участники заговора трактовали по-разному.

[59] По словам Молотова, к нему Хрущев подошел всего за два дня до ареста Берии. См.: *Чуев.* Сто сорок… С. 343.

[60] НХ1. С. 331. [НХ5. Т. 2. С. 166.] Возможно, Хрущев рассчитывал, что массовые беспорядки в Восточной Германии 17–20 июня 1953 года потребуют присутствия Берии в Берлине. Об этих беспорядках более подробно см. в главе XII.

[61] Беседа автора с Андреем Маленковым. См. также: *Маленков А.* О моем отце. С. 66. Свидетельства Андрея Маленкова не вполне надежны, однако это его сообщение кажется достоверным.

[62] НХ1. С. 332. [НХ5. Т. 2. С. 167.]

[63] Хрущев рассказывает об этом со слов Маленкова: см. НХ4. 1992. № 2–3. С. 99.

[64] НХ1. С. 334. [НХ5. Т. 2. С. 169.]

[65] Там же. С. 333; НХ4. 1992. № 2–3. С. 98. [НХ5. Т. 2. С. 167–168.]

[66] НХ1. С. 337. [НХ5. Т. 2. С. 169.] По рассказу Хрущева, Микоян сперва защищал Берию, утверждая, что он еще может быть полезен. См.: *Микоян.* С. 586–587. Беседа автора с Серго Микояном, октябрь 1987-го. СХ4. С. 35–36. Хрущев сообщает также, что Сабурова «завербовать» было несложно, но другой младший член Президиума, Первухин, проявил большую осторожность. Самое большее, чего смог добиться от него Маленков — туманного обещания «подумать». Хрущев надавил на него — и это оказалось более продуктивно. «Если бы мне Маленков все сказал так, как ты, — сказал Первухин Хрущеву, — так и вопросов у меня не возникло бы. Я полностью согласен и считаю, что другого выхода нет». [НХ5. Т. 2. С. 169.]

[67] Стенограмма пленума. См.: Дело Берии. С. 158.

[68] Стенограмма пленума. См.: Дело Берии. С. 173.

[69] НХ4. 1992. № 2–3. С. 99. [НХ5. Т. 2. С. 170.] См.: *Найт.* С. 196; *Жуков Ю.* Борьба за власть в партийно-государственных верхах СССР весной 1953 года // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 56.

[70] НХ1. С. 335–336. [НХ5. Т. 2. С. 170.]

[71] Наш рассказ основан на: *Жуков Г. К.* Рискованная операция; *Москаленко К. С.* Как был арестован Берия // Берия: конец

карьеры. С. 281–288; *Москаленко В.* Июнь 1953-го // Журналист. 1991. № 7. С. 64; *Найт.* С. 196–197; *Судоплатов.* С. 370; НХ4. 1992. № 2–3. С. 99, 101. См. также неопубликованную главу из мемуаров маршала Жукова «Я пишу как было, я никого не щажу» (Исторический архив. 1999. № 3. С. 45–46).

[72] В распоряжении исследователей имеется черновик речи Маленкова с заметками на полях; однако, что именно из написанного реально произнес Маленков, остается неясным.

[73] НХ1. С. 336–337; [НХ5. Т. 2. С. 172–173.]; *Микоян.* С. 588. Микоян и некоторые другие члены Президиума, которых не предупредили об аресте Берии, были потрясены. См. рассказ одного из офицеров, производивших арест, Ивана Зуба: Задание особого свойства: история и судьбы // Красная звезда. 1988. 19 марта. С. 6.

[74] *Крамер.* The Early Post-Stalin Succession Struggle. № 2. С. 34–35; *Найт.* С. 198–199; СХ4. С. 36.

[75] *Маленков А.* С. 66–67. То же самое рассказывал Маленков в беседе с автором. Его рассказ подтверждает Д. Суханов.

[76] О том, что квартиры Маленкова и Хрущева на улице Грановского были нашпигованы «жучками», говорилось на июньском пленуме ЦК 1957 года, во время смещения «антипартийной группы» (см. стенограмму в: Последняя антипартийная группа…. 1994. № 3. С. 25). Предположение о роли Серова делает в своих мемуарах Аджубей (С. 99, 101).

[77] НХ4. 1992. № 2–3. С. 99.

[78] *Волкогонов.* Семь вождей. С. 346–348, 353–354; *Найт.* С. 201–203, 222; *Чуев.* Сто сорок… С. 340; НХ4. 1992. № 2–3. С. 102. [НХ5. Т. 2. С. 175.] Три письма Берии к Маленкову и другим приводятся в: Социологическое исследование. С. 3–14.

[79] См.: *Волкогонов.* Семь вождей. С. 353; *Найт.* С. 217–219.

[80] О суде над Берией и его казни см.: *Крамер.* С. 35–38; *Антонов-Овсеенко А.* Путь наверх // Берия: конец карьеры. С. 138–139; *Радзинский.* С. 580; *Судоплатов.* С. 428, прим. 9. Серго Берия убежден (хотя и не приводит никаких доказательств), что его отца убили 26 июня 1953 года, а в декабре был расстрелян двойник Берии. (См.: *Берия С.* С. 271.)

[81] *Симонов.* С. 246–247.

[82] Беседа автора с Радой Аджубей; СХ4. С. 38–41.

[83] *Аджубей.* С. 100, 117.

[84] Сцена на крымском пляже известна нам по неопубликованным воспоминаниям Игоря Черноуцана, заведующего литературным отделом ЦК, предоставленным нам его семьей. Свидетелем инцидента 1960 года стал Федор Бурлацкий, рассказавший об этом в «Khrushchev». (С. 35–40).

Бурлацкий сообщает, что Юрий Андропов, присутствовавший при этом разговоре, «не знал, куда смотреть, — ему явно было стыдно за Хрущева».

[85] Беседа автора с Серго Микояном, октябрь 1987-го. *Бенедиктов.* О Сталине и Хрущеве. С. 52. По словам бывшего зятя Маленкова Владимира Шамберга, помощники Маленкова убедили его поддержать выдвижение Хрущева. См.: *Шамберг.* Stalin's Last Inner Circle. С. 40–41.

[86] См.: СХ4. С. 60–63. Описания особняков и их территорий (позднее в этих домах располагались посольства Таиланда и республики Гвинея) основаны на личных впечатлениях автора при посещении в 1993 году.

[87] *Шамберг.* С. 41. Возможность союза Хрущева и Маленкова, как и вопрос о том, почему этот союз не удался, рассматривает Зубкова в «The Rivalry with Malenkov». Другую версию тех же событий см. в: *Зубкова Е. Ю.* Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства // Отечественная история. 1995. № 4. С. 99–115.

[88] См.: *Томпсон.* С. 125, 130; *Шамберг.* С. 40.

[89] *Томпсон.* С. 130.

[90] Беседа автора с Геннадием Вороновым. *Бенедиктов.* О Сталине и Хрущеве. С. 47, 52. *Шелепин А.* История — учитель суровый // Труд. 1991. 14 марта.

[91] *Чуев.* Сто сорок… С. 359. Николай Егорычев, по его собственному признанию, восхищался «героической» победой Хрущева над Берией и его дальнейшей борьбой со сталинизмом (беседа автора с Н. Егорычевым, август 1993-го). Кириллу Мазурову, в ноябре 1953 года занявшему пост главы правительства Белоруссии, импонировала смелость, с которой Хрущев атаковал колхозное «крепостничество», из-за которого крестьяне «влачили самое жалкое существование» *(Мазуров К.* Я говорю не только о себе // Советская Россия. 1989. 18 февраля). Каганович заключает: «Если бы этот стиль первого года работы Хрущева как Первого секретаря ЦК сохранился бы в 1955–1956 годах и далее, результаты были бы иными» (*Каганович.* Памятные записки. С. 502).

[92] См. обмен репликами на июньском пленуме ЦК 1957 года // Исторический архив. 1993. № 3. С. 22; 1994. № 1. С. 57.

[93] *Наумов.* С. 103.

[94] См.: *Зубкова.* С. 77–78.

[95] *Маленков А.* С. 73; *Медведев Р.* All Stalin's Men. С. 157.

[96] Выступления Маленкова в августе 1953-го и марте 1954-го цит. по: *Зубок, Плешаков.* Inside the Kremlin's Cold War. С. 155, 166.

[97] Описание Федора Бурлацкого цит. по: *Маленков А.* С. 71.

[98] *Чуев.* Сто сорок… С. 358; *Микоян.* С. 599–600. В своих мемуарах Хрущев утверждает, что Маленков настаивал на том, чтобы он принял на себя руководство сельским хозяйством. Хрущев отказывался, поскольку не имел конкретных предложений; однако знал, «как плохо он [Маленков] подготовлен в области сельского хозяйства», тем более что и «сам Маленков признавал свои пробелы в этой области» (НХ2. С. 119). Основное обвинение Хрущева в адрес Маленкова, руководившего сельским хозяйством страны в последние годы жизни Сталина, состояло в том, что в 1952 году он объявил проблему зерновых «решенной». Однако это было мнение скорее самого Сталина, чем Маленкова; Елена Зубкова полагает, что к 1953 году Маленков был лучше других лидеров информирован о реальном положении сельского хозяйства СССР. В своей книге она внимательно прослеживает историю сельскохозяйственных реформ Маленкова. См.: *Зубкова.* The Rivalry with Malenkov. С. 77–79.

[99] *Стреляный А.* Последний романтик. С. 193–195.

[100] Записка Президиуму от 22 января 1954 года цит. в: Строительство социализма в СССР. Т. 1. С. 85–87. Восемь томов этой работы содержат речи и записки Хрущева, касающиеся сельского хозяйства.

[101] Как Андрей Маленков (в беседе с автором), так и Елена Зубкова (цит. соч. С. 81) указывают на коллективистские убеждения Хрущева как на подтверждение того, что основным автором сельскохозяйственных реформ был не он, а Маленков. Однако к этому времени деревня была в отчаянном положении, и в борьбе за власть Хрущев не мог позволить себе ориентироваться на идеологические предрассудки.

[102] Речи в Саратове от 18 марта 1955 года и Ленинграде от 12 апреля 1955 года цит. по: Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 27, 126–127.

[103] Рассказ о целине базируется в основном на беседах автора с Андреем Шевченко в августе и октябре 1993-го. О столкновении с казахским партийным руководством рассказывает сам Хрущев (НХ2. С. 120–121).

[104] В своих мемуарах Хрущев упоминает родственников, в 1908 году переселившихся из Калиновки в Сибирь. См.: НХ4. 1994. № 12. С. 102. |НХ5. Т. 4. С. 86.]

[105] Принимая за средний урожай 10–11 центнеров с гектара, Хрущев полагал, что новые земли уже в 1954 году дадут не менее 70 миллионов пудов дополнительно. См.: Записка Президиуму от 22 января 1954 года// Строительство коммунизма в СССР. Т. 1. С. 89.

[106] *Медведев Р., Медведев Ж.* The Years in Power. С. 59.

[107] СХ4. С. 50–51; *Аджубей.* С. 119–120.

[108] *Барсуков.* Аналитическая записка. С. 60–63.

[109] *Волкогонов.* Семь вождей. С. 360; *Барсуков.* The Rise to Power // Nikita Khrushchev / Под ред. Таубмана, Хрущева и Глисона. С. 51–52; *Опенкин А.* Оттепель: как это было (1953–1955 гг.). М.: Знание, 1991. С. 53–56.

[110] СХ4. С. 62–63; беседа автора с Андреем Шевченко, октябрь 1993-го.

[111] Проект резолюции пленума ЦК КПСС от 25–31 января 1955 года. РГАНИ. Выдержки из речей Хрущева, Молотова и Кагановича. РГАНИ.

[112] По словам его сына, Маленков был так потрясен предательством Хрущева, что никогда не упоминал о январском пленуме 1955 года. См.: *Маленков А.* С. 75–76.

[113] Большая часть обвинений не была оглашена; Маленков был смещен и замещен Булганиным. Он сам прочел перед Верховным Советом униженное заявление, в котором просил заменить его «другими товарищами, имеющими больше опыта в государственных делах». См.: *Опенкин.* Оттепель. С. 58–60. По рассказу Северина Бялера, вскоре занявшего место в ЦК компартии Польши, «мы были возмущены тем, как отстранили от должности Маленкова — с ним поступили как со школьником, а не как с главой правительства великой страны…». Объяснение, предложенное иностранным коммунистам в специальном секретном послании из Кремля, Бялер и его друзья сочли «нелепым». Как может Маленков нести ответственность за кризис сельского хозяйства, если «житницей Советского Союза» заведовал Хрущев? Если Маленков мало знает о сельском хозяйстве, неужели Булганин, который «никогда не имел ничего общего с крестьянским трудом», сможет стать ему достойной заменой? Простые советские коммунисты тоже выражали недовольство — вот, например, слова одного директора завода: «По моему мнению, товарищ Маленков взял на себя слишком много вины. Не один же он виноват в допущенных ошибках. Все рабочие у меня на заводе плохо восприняли его заявление [Верховному Совету]. Слова о недостатке опыта люди не воспринимают серьезно. Лучше было бы сослаться на состояние здоровья». Конгресс США, сенат, комиссия по правосудию, подкомиссия по расследованию соблюдения Акта о внутренней безопасности и других законов о внутренней безопасности. On the Scope of Soviet Activity in the United States. Слушания от 8, 11 и 12 июня 1956 года. С. 1559.

[114] Об этом свидетельствует Олег Трояновский, который в то время работал с Молотовым, а позже стал помощником Хрущева

по внешней политике. См.: *Трояновский.* С. 176.

[115] Об этом упоминали Хрущев и Сабуров на июльском пленуме ЦК 1955 года, на котором Молотов подвергся уничтожающей критике. Реплики Сабурова во время вечернего заседания 11 июля 1955 года; Заключительная речь Хрущева на утреннем заседании 12 июля 1955 года. РГАНИ.

[116] Заключительная речь Хрущева на июльском пленуме 1955 года. РГАНИ.

[117] *Чуев.* С. 346.

[118] НХ2. С. 122. [НХ5. Т. 4. С. 76.]

[119] Заключительная речь Хрущева на июльском пленуме 1955 года. РГАНИ.

[120] *Чуев.* С. 346.

[121] НХ2. С. 98–101. [НХ5. Т. 4. С. 37.]

[122] НХ1. С. 377–378. [НХ5. Т. 3. С. 146.]

[123] Там же. С. 377–379. [НХ5. Т. 3. С. 148.]

[124] Этот визит детально описан в главе XIII.

[125] Обмен репликами Молотова и Хрущева произошел во время выступления Молотова на вечернем заседании 9 июля 1955 года. РГАНИ. Слова Хрущева о Корее имеются в машинописном черновике стенограммы.

[126] Так, в перебранку включился Булганин: «Молотов постоянно на нас нападал, заявлял, что мы не ленинцы, что мы оппортунисты, особенно товарищ Хрущев». Молотов: «Вы меня тоже критиковали». Хрущев: «Да, мы вам спуску не давали».

[127] Речь Кагановича на вечернем заседании 12 июля 1955 года. РГАНИ.

[128] Речь Молотова на утреннем заседании 12 июля 1955 года. РГАНИ.

[129] Заключительная речь Хрущева. РГАНИ.

[130] Тем временем, однако, пленум выдвинул украинского помощника Хрущева Кириченко в члены Президиума и заменил Шаталина, человека Маленкова в Секретариате, тремя «хрущевцами», в том числе редактором «Правды» Дмитрием Шепиловым. Не прошло и года, как Шепилов сменил Молотова на посту министра иностранных дел.

[131] Заключительная речь Хрущева. РГАНИ.

ГЛАВА XI

[1] *Конквест Р.* Power and Policy: The Study of Soviet Dynasties (NY.: St.Martin's Press, 1961). С 277.

[2] Правда. 1956. 15 февраля. С. 1.

[3] *Видали В.* Diary of the Twentieth Congress of the Communist Party of the Soviet Union / Пер. Н. Э. Каттонар, А. М. Эллиот (Westport, Conn.: Lawrence Hill & Co., 1974). С. 15.

[4] Там же. С. 20.

[5] Правда. 1956. 18 февраля. С. 4.

[6] *Видали.* С. 26, 39. Депутаты, находившиеся в зале, никак открыто не реагировали на намеки, прозвучавшие в речах Хрущева и Микояна; однако съезд получил одну телеграмму от некоего чешского коммуниста, осуждающую выступление Микояна, и две телеграммы в его поддержку: одну — от IV (троцкистского) Интернационала в Париже, вторую — из Мексики от вдовы Троцкого Натальи Седовой-Троцкой. Третья телеграмма в поддержку выражения «культ личности» пришла, по слухам, не от кого иного, как от Василия, «блудного» сына Сталина. См.: Василий Сталин за отца отвечать не хотел // Общая газета. 1996. 15–21 февраля. С. 9.

[7] О культе личности и его последствиях: доклад первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 131, 133, 137, 145–146, 155. Черновик доклада в РГАНИ.

[8] Там же. С. 149, 154, 159, 160.

[9] На Западе многие годы велись дискуссии о том, предал ли Сталин Ленина или, напротив, воплотил в жизнь завещанные им тоталитарные принципы. Подобные же споры начались и в России с приходом к власти Горбачева. Сейчас, думается, можно сказать (хотя ортодоксальные коммунисты с этим, возможно, и не согласятся), что этот вопрос разрешен не в пользу мнения Хрущева.

[10] Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 162–164.

[11] Там же. С. 165.

[12] Воспоминания Семичастного в: Тайна закрытого доклада // Совершенно секретно. 1996. № 1. С. 4. Беседа автора с Захаром Глуховым. Беседа автора с Дмитрием Горюновым. Яковлева цитирует В. Аксютин в своем выступлении на конференции Горбачев-фонда по XX съезду, см: «Реплика», «XX съезд: материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС» (М.: Апрель-85, 1996. С. 127). Беседа автора с Александром

Яковлевым.

[13] Неопубликованные рукописные воспоминания Черноуцана. С. 8–9. Официальная версия этих слов — См.: О культе личности. С. 149.

[14] Алексей Аджубей, рассказывая об этом, ссылается на Нуриддина Мухитдинова, кандидата в члены Президиума. См.: *Аджубей.* Крушение иллюзий. С. 159. См. также: *Мухитдинов Н.* Годы, проведенные в Кремле. Ташкент: Издательство народного наследия им. Абдуллы Кадыри, 1994. С. 169–176. Яковлев вспоминал, что коллеги Хрущева выглядели «подавленными» (беседа автора с Яковлевым).

[15] *Черноуцан.* С. 8–9.

[16] Там же. С. 10.

[17] *Бурлацкий.* Khrushchev. С. 35–36, 39–40, 63–64.

[18] *Конквест.* С. 279.

[19] См.: *Наумов В.* К истории секретного доклада Н. С. Хрущева // XX съезд: материалы конференции. С. 12–13.

[20] Цифры и сведения о родственниках приводятся по: *Барсуков.* Аналитическая записка. Ч. 1. С. 24, 85. История К. Б. Богомоловой-Гамарник рассказывается у Наумова. С. 98–99.

[21] Цит. по: *Барсуков.* Аналитическая записка. Ч. 2. С. 2, 5.

[22] Об этом пишет Аджубей. С. 167.

[23] НХ1. С. 344–345. [НХ5. Т. 2. С. 178, 181.]

[24] Микоян, также заявлявший, что не знал «истинных масштабов незаконных арестов», пишет, что был особенно потрясен личными воспоминаниями о пытках. См.: *Микоян.* С. 589.

[25] Документы Президиума и ЦК, в которых содержится решение о созыве XX съезда, в РГАНИ. О пересмотре дел см.: *Наумов:* Repression and Rehabilitation. С. 99. О беседе Хрущева и Руденко см.: *Барсуков Н.* XX съезд в ретроспективе Хрущева // Отечественная история. 1996. № 4. С. 172. В другой статье «Утвердить докладчиком товарища Хрущева» (Московские новости. 1996. № 5. 4—11 февраля. С. 34) Наумов высказывает предположение, что к 1956 году Хрущев уже уничтожил большую часть документов, подтверждающих его участие в преступлениях Сталина, и потому чувствовал себя свободно. Наумов цитирует заявление Волкогонова о том, что «Хрущев уничтожил одиннадцать бумажных мешков, набитых бумагами», из архивов Берии и что Серов провел «большую чистку архивов». Однако ни тот ни другой не приводят убедительных доказательств — ни того, что Хрущев действительно уничтожал компрометирующие его документы, ни того, что именно этим был обусловлен выбор времени и места «разоблачения». Сергей Хрущев настаивает, что

до 1956 года его отец не обладал властью, необходимой для тайного уничтожения важной документации, и что глава КГБ Серов, хотя и был близок к Хрущеву, никогда не решился бы на это без решения Президиума. Письмо Сергея Хрущева автору от 6 марта 1996 года.

[26] История Снегова рассказана в СХ2 (С. 11–13), а также, более детально, у Аджубея (С. 161–167). Микоян (С. 589–593) подчеркивает ключевые роли Снегова и еще одной бывшей заключенной, Ольги Шатуновской. Материал, присланный Снеговым Хрущеву 1 февраля 1956 года, упоминается в «Василий Сталин за отца отвечать не хотел». Серго Микоян ссылается на Ольгу Шатуновскую, в 1930-х годах работавшую в Московском горкоме партии (см.: XX съезд: материалы конференции. С. 41), и на З. Л. Серебрякову, писательницу, пережившую лагеря и вспоминавшую о том, как летом 1955 года она вместе с сыном была выслана из Москвы (см.: XX съезд: материалы конференции. С. 91).

[27] *Микоян.* С. 591. Серго Микоян утверждает, что Хрущев и его отец работали вместе. См.: XX съезд: материалы конференции. С. 42.

[28] См.: *Наумов.* Борьба Н. С. Хрущева за единоличную власть // Новая и новейшая история. 1996. № 2. С. 14; *Волкогонов.* Семь вождей. С. 369.

[29] См.: *Наумов.* Утвердить докладчиком товарища Хрущева; *Волкогонов.* Семь вождей. С. 369–370; НХ3. С. 42. [НХ5. Т. 2. С. 181.]; *Барсуков Н.* Записка Поспелова и доклад Хрущева, в: XX съезд: материалы конференции. С. 50. Кроме Поспелова, в комиссию входили секретарь ЦК Аверкий Аристов, глава профсоюзов Николай Шверник и Петр Комаров, заместитель председателя Комитета партийного контроля. Микоян (С. 591–592) вспоминает, что предлагал ввести в комиссию Молотова, Ворошилова и себя самого, однако Хрущев ответил, что в комиссию не должны входить члены Президиума, близкие к Сталину при его жизни.

[30] См.: *Волкогонов.* Семь вождей. С. 370–371; О культе личности. С. 145; *Наумов.* К истории секретного доклада. С. 19. В том же 1956 году Военной коллегией Верховного суда СССР Родос был приговорен к расстрелу.

[31] *Наумов.* Утвердить докладчиком товарища Хрущева.

[32] См.: Стенограмма июльского пленума 1957 года в: Последняя «антипартийная» группа. 1993. № 4. С. 81, прим. 93; *Наумов.* Борьба Н. С. Хрущева. С. 15; *Микоян.* С. 592.

[33] *Наумов.* К истории закрытого доклада. С. 21.

[34] См.: *Наумов.* Утвердить… С. 15. Реплики Хрущева на

пленуме ЦК имеются в неправленой стенограмме пленума, которую видел автор. Отредактированная версия той же стенограммы хранится в РГАНИ. В своих мемуарах (НХ4. 1992. № 6–7. С. 85) Хрущев указывает, что сперва предложил выступить с докладом Поспелову, но другие члены Президиума настояли, что это должен сделать он сам. Микоян утверждает, что Поспелова предложил он, но Хрущев возразил: «Если доклад будет делать кто-то другой [а не он сам], подумают, что секретарь ЦК уходит от ответственности». Оглядываясь назад, Микоян полагает, что Хрущев «оказался прав». См.: *Микоян.* С. 594.

[35] Воспроизведенная здесь хронология, основанная на документах и воспоминаниях участников, ставит под сомнение воспоминания Хрущева и Кагановича: согласно их мемуарам, доклад был одобрен непосредственно перед произнесением. Хрущев утверждает, что пригрозил, если не последует одобрение Президиума, сделать доклад без него (воспользовавшись пунктом партийного устава, согласно которому во время съезда партии, после общего доклада Центрального Комитета, каждый партиец имеет право подняться на трибуну и высказать свое мнение) и так вынудил своих коллег дать согласие. Каганович рассказывает, что в последнюю минуту, когда делегаты уже ждали в зале, Хрущев предъявил коллегам свой доклад в красной обложке и потребовал одобрения. По-видимому, оба имеют в виду одобрение не доклада как факта (которое было дано еще 13 февраля), а самого текста. См.: НХ4. 1992. № 6–7. С. 84; *Каганович.* Памятные записки. С. 508–509. Другую точку зрения выражает Юрий Аксютин: «Новые исследования о XX съезде КПСС», воспр. в: НХ5. Т. 2. С. 780.

[36] *Наумов.* К истории закрытого доклада. С. 21; черновик Поспелова хранится в РГАСПИ.

[37] Текст, надиктованный Хрущевым, и черновик Поспелова — Аристова приводятся в: О культе личности и его последствиях // Источник. 2000. № 6. С. 83—108. См. также: *Наумов.* К истории секретного доклада. С. 26; *Барсуков.* XX съезд. С. 174; *Волкогонов.* Семь вождей. С. 373–374. По словам Наумова, видевшего записи, не вошедшие в окончательный текст, в одной из них Хрущев рассказывал случай, когда на заседании Политбюро он сел напротив Сталина, почти скрывшись за высокой стопкой бумаг. «Что это вы за бумагами прячетесь? — спросил Сталин. — Не бойтесь, мы вас пока арестовывать не собираемся».

[58] *Барсуков Н.* Интервью с Д. Т. Шепиловым (23 февраля 1989 года) // Огонек. 1996. № 7. С. 66. См. также: И примкнувший к ним Шепилов: правда о человеке, ученом, воине, политике. М.: Звонница-МГ, 1998. С. 27.

[39] Копия текста от 26 февраля 1956 года, в том числе листы с рукописными пометками (не всегда разборчивыми), в РГАНИ. См. также: «Василий Сталин за отца отвечать не хотел»; *Аксютин Ю.* Новые документы бывшего архива ЦК // XX съезд: материалы конференции. С. 125.

[40] *Аксютин.* Новые документы… С. 124–125.

[41] Беседа автора с Петром Демичевым.

[42] XX съезд: материалы конференции. С. 6.

[43] См.: НХ4. 1992. № 6–7. С. 84; СХ4. С. 93.

[44] Из всех членов ЦК, вошедших в 1956 году в его состав, 79 были кандидатами в члены ЦК с 1952 года, а 39 — избраны заново. Из 193 человек, избранных на съезде кандадатами в члены ЦК, 71 были совершенно новыми людьми. См.: *Конквест.* С. 398, 413, 423; *Томпсон.* С. 161.

[45] *Чуев.* Сто сорок… С. 349–350.

[46] *Сахаров А.* Воспоминания // Знамя. 1990. № 11. С. 147. По словам Сахарова, его коллега Игорь Тамм согласился с ним, но только отчасти: «Да, Хрущев и мне нравится: он не такой, как Сталин. Но лучше было бы, если бы он сильнее от него отличался».

[47] По рассказу Сергея Хрущева, когда Маленков предложил возвести на Ленинских горах новые правительственные резиденции, Хрущев сначала колебался — не слишком ли дорого? — но потом согласился. СХ2. С. 53.

[48] Поначалу Хрущев жил в центральной резиденции на Ленинских горах. Три года спустя его семья переехала в крайний особняк слева, с видом на центр Москвы. Автор побывал в этом доме и описывает именно его; следует заметить, что и по архитектуре, и по обстановке резиденции были очень похожи друг на друга, так что наше описание в полной мере относится и к первой.

[49] Хрущев хотел сохранить содержание своего доклада в тайне; и это ему удалось. Немногие знали, что ожидается дополнительный доклад, а из этих последних никто не смог бы сказать, о чем он. Так говорил Хрущев Алексею Аджубею. См.: *Аджубей.* С. 145.

[50] СХ4. С. 99.

[51] Некоторые пассажи были исключены из отредактированного варианта, а другие — помечены как чересчур смелые. К первым относилось утверждение, что Сталин планировал военные операции на глобусе (преувеличение, впоследствии настроившее против Хрущева многих генералов), и упоминание о словах Булганина: «Отправляясь к Сталину, не знаешь, куда поедешь от него — домой или в тюрьму». Среди

последних была фраза Хрущева о том, что военные просчеты Сталина «стоили миллионов жизней». Кроме того, при редактуре было усилено заключительное предупреждение о том, что «не стоит давать оружие в руки нашим врагам», «обнажая перед ними наши раны». См.: Василий Сталин за отца отвечать не хотел; *Наумов.* К истории секретного доклада. С. 30–31.

[52] Указ Президиума цит. по: Источник. 2000. № 6. С. 166.

[53] Беседа с бывшим советским школьным учителем.

[54] *Остерманн К. Ф.* East Germany and the Hungarian Revolution (Budapest: «Hungary and the World, 1956: The New Archival Evidence» 26–29 сентября 1996, рукопись, подготовленная к публикации). С. 3–6.

[55] *Глущовски Л. В.* The Struggle against «Great-Power Chauvinism»: CPSU — PUWP Relations and the Roots of the Sino-Polish Initiative of September — October 1956. (Hong Kong: «New Evidence on the Cold War in Asia», январь 1996), рукопись, подготовленная к публикации.

[56] Не вполне ясно, как именно копия доклада попала в Израиль. Рассказывают, что некий молодой польский журналист еврейского происхождения увидел текст на столе у своей возлюбленной, тоже еврейки, работавшей в польской парторганизации, попросил почитать, сумел сделать копию и переправить ее в израильское посольство. См.: *Рабинович А.* The Man Who Touched History // Jerusalem Post (международное издание). 1995. 9 декабря. С. 20–21; *Мельман Й., Равив* Д The Leak of the Century//Washington Post. 1994. 27 марта. Другие версии см.: *Глущовски Л., Налепа Э. Я.* The Soviet-Polish Confrontation of October 1956: The Situation in the Polish Internal Security Corps. Тетрадь № 17. (Международный проект истории Холодной войны, Международный центр исследований им. Вудро Вильсона, апрель 1997); *Блэк Я., Моррис Б.* Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services (NY.: Grove, Weidenfield, 1991). С 168–171; *Рейнлоу Дж.* The Agency: The Rise and Decline of the CIA (NY.: Simon & Shuster, 1987). С 286; *Даллес А.* The Craft of Intelligence (NY.: Harper & Row, 1963). С 81–82; *Гроуз П.* Gentleman Spy: The Life of Allen Dulles (Boston: Houghton Mifflin, 1994). С 189; *Торанска.* С. 173–174.

[57] НХ1. С. 351.

[58] *Мичунович В.* Moscow Diary / Пер. Д. Флойда (Garden City, NY.: Doubleday, 1980). С. 18, 22, 26, 36.

[59] Беседа автора с Радой Аджубей.

[60] *Аджубей.* С. 145.

[61] *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. 1952–1962. Париж: ИМКА-пресс, 1980. С. 137.

[62] Сообщение об инциденте в термотехнической лаборатории и других подобных инцидентах приводит Юрий Аксютин в: Khrushchev / Под ред. Таубмана, Хрущева и Глисона. С. 182–192. О случае в МГУ см.: *Берг Р.* Суховей: воспоминания генетика: NY.: Изд-во Чалидзе, 1983. С. 175–176. Эпизод в Кабардино-Балкарии упоминает Барсуков в «Reverse Side of the Thaw» (Moscow: «New Evidence of Cold War History», январь 1993. С. 8–9, рукопись, подготовленная к публикации). Русская версия той же статьи: Оборотная сторона «оттепели» (Историко-документальный очерк) // Кентавр. 1993. № 4 (июль-август). С. 129–143. О студенческом собрании в Сибири см.: *Злобин Н. С.* Хороших диктаторов не бывает // XX съезд: материалы конференции. С. 99.

[63] Доклад КГБ цит. по: Василий Сталин за отца отвечать не хотел; *Горбачев М.* Вступительное слово // XX съезд: материалы конференции. С. 4; *Горбачев.* Memoirs (NY.: Doubleday, 1995). С. 61–63. Описанная Горбачевым «парадоксальная» реакция простых людей была довольно характерна. См.: *Фицпатрик Ш.* How the Mice Buried the Cat: Scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces// Russian Review. Т. 52. 1993. № 3 (июль). С. 299–320.

[64] См.: Не допустили критики Сталина // Источник. 1995. № 6. С. 62–68; СХ1. С. 163; *Мичунович.* С. 29–30, 33–34. Плакаты и лозунги упоминаются в: Оттепель 1953–1956: страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий, 1989. С. 463. Число жертв приводится по: *Козлов В. А.* Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 — начало 1980). Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999. С. 160.

[65] Резолюция так и не была опубликована, однако была разослана всем партийным организациям страны вместе с указанием мер по предотвращению беспорядков. См.: *Наумов.* Борьба Н. С. Хрущева. С. 16.

[66] Резолюция ЦК от 30 июня переведена в: The Anti-Stalin Campaign and International Communism // Под ред. Русского Института Университета Колумбии. NY.: Columbia University Press, 1956. С. 275–306. В июле ЦК отдал распоряжение всем партийным организациям бороться с теми, кто «неверно» понял происшедшее на XX съезде. См.: *Наумов.* Борьба… С. 16.

[67] См.: *Барсуков Н.* Записка Поспелова и доклад Хрущева. С. 52–53; *Барсуков Н.* Аналитическая записка. Ч. 2. С. 12. Микоян, возглавлявший комиссию по реабилитации, предложил создать выездные «тройки», на этот раз не для осуждения, а для освобождения людей. См.: *Микоян.* С. 595–596.

[68] Помимо Молотова, Кагановича и Ворошилова, в работе комиссии участвовали «хрущевцы» Аристов, Фурцева и Руденко.

См.: *Барсуков.* Аналитическая записка. Ч. 2. С. 26–27.

[69] См.: НХ1. С. 353.

[70] *Мичунович.* С. 38, 43–45. Перед этим Мичунович слышал немало критики в адрес Хрущева: «Говорят, что он груб, несдержан, чересчур прям и неделикатен и что такой человек не может стоять во главе великого Советского государства». По результатам неформального «опроса», проведенного югославским послом, выходило, что «русские предпочитают таких политиков, как Молотов и Маленков — они дальше от народа и потому более привлекательны… в отличие от Хрущева, который весь как на ладони: он такой же, как все».

[71] Там же. С. 59–75.

[72] *Крамер М.* New Evidence on Soviet-Decision Making and the 1956 Polish and Hungarian Crises // Бюллетень международного исторического проекта «Холодная война» (далее: CWIHPB). № 8–9 (зима 1996/97). С. 360; *Глущовски.* С. 44.

[73] *Гати Ч.* Hungary and the Soviet Bloc. Durham, N.C.: Duke University Press, 1986. С 133–136.

[74] См.: интервью со Сташевским у: *Торанска.* С. 155–156.

[75] Там же. С. 164.

[76] См.: НХ4, № 5 (1994). С. 73. О реакции польских руководителей см.: *Глущовски.* С. 6—11. Охаб цитируется по: *Торанска. С.* 55. Реакцию простых поляков анализирует Тони Кемп-Уэлш «Khrushchev's „Secret Speech“ and Polish Politics: The Spring of 1956» (Europe-Asia Studies. Т. 48. 1996. № 2. С 181–206).

[77] О развитии событий в Венгрии см.: *Крамер.* New Evidence. С. 363.

[78] Заметки, сделанные на заседаниях Президиума 9 и 12 июля 1956 года Владимиром Малиным, председателем Генерального отдела ЦК, цит. по: Как решались «вопросы Венгрии»: Рабочие записки Президиума ЦК КПСС, июль — ноябрь 1956 г. // Исторический архив. 1996. № 2. С. 77.

[79] Неправленая стенограмма речи Хрущева от 20 марта 1956 года хранится в ААН. Английский перевод выдержек из речи с предисловием Лешека Глущовски см.: в: Khrushchev's Second Secret Speech // CWIHPB. 1988. № 10. С. 44–49.

[80] *Торанска.* С. 169–172.

[81] НХ4. 1994. № 4. С. 74; НХ2. С. 200.

[82] НХ2. С. 200. О том, что Хрущев попросил его говорить, Микоян вспоминает в рассказе об этой поездке, надиктованном 28 мая 1960 года. Часть этого текста имеется в архиве Волкогонова. Этот текст также цитирует Серго Микоян в рукописном труде «Дипломатия Микояна». Воспоминания Охаба см.: в: *Торанска.* С. 75–76. Воспоминания Гомулки см.: Глущовски

Л. Khrushchev, Gomulka and the «Polish October» // CWIHPB. 1995. № 5. С 40.

[83] Описание переговоров в «Бельведере», сделанное Гомулкой, см.: в документах, переведенных Глущовски: цит. соч. С. 40.

[84] О мобилизации советских и польских войск см.: Глущовски, Налепа «The Soviet-Polish Confrontation of October 1956». Слова Гомулки в пересказе Хрущева см.: в: НХ4, № 4, 1994. С. 75–76. [НХ5. Т. 3. С. 239.]

[85] Возвращение домой и бурное заседание Президиума описывает в своих записях от 28 мая 1960 года Микоян. Реплики Хрущева на заседаниях 21 и 22 октября цит. по запискам Малина в: СССР и Польша: октябрь 1956-го: Постановления и рабочие записи заседаний Президиума ЦК КПСС // Исторический архив. 1996. № 5–6. С. 182–183. Реплики Хрущева на заседании 24 октября цит. по: *Крамер М.* Hungary and Poland, 1956: Khrushchev's CPSU CC Presidium Meeting on East European Crises, 24 October 1956 // CWIHPB. 1995. № 5. С 53–54.

[86] Наш рассказ о кризисе в Венгрии основывается в основном на: Крамер. New Evidence.

[87] Заметки Малина от 23 октября 1956 года в: Исторический архив. 1996. № 2. С. 82–83.

[88] См.: *Крамер.* New Evidence. С. 367.

[89] См.: заметки Малина в: Исторический архив. 1996. № 2. С. 88–95.

[90] Там же. С. 97–102.

[91] СХ4. С. 185, 188. [НХ5. Т. 3. С. 255.]

[92] *Мичунович.* С. 133–134.

[93] Хрущев утверждает, что он и его коллеги приняли решение подавить революцию до получения совета Мао. См.: НХ1. С. 418–419. Ян Минфу, позднее служивший переводчиком Мао во время переговоров с Хрущевым, в своих замечаниях, сделанных на конференции «Китайско-советские отношения и холодная война» (Пекин, октябрь 1997), что это произошло позднее. См. также: Крамер. С. 373; Чен Цзянь. Beijing and the Hungarian Crisis of 1956. (Budapest «Hungary and the World, 1956: The New Archival Evidence», доклад; 26–29 сентября 1996).

[94] См.: Исторический архив. 1996. № 3. С. 87.

[95] См.: *Крамер.* С. 369–370; Исторический архив. 1996. № 2. С. 92.

[96] См.: НХ4. 1994. № 5. С. 80; СХ4. С. 195–197. [НХ5. Т. 3. С. 264.]

[97] *Микоян.* С. 598. См.: Исторический архив. 1996. № 3. С. 94–108.

[98] НХ1. С. 430–421. [НХ5. Т. 3. С. 257.]
[99] *Мичунович.* С. 131, 141, 144.

ГЛАВА XII

[1] *Мичунович.* С. 148.

[2] См.: Исторический архив. 1996. № 3. С. 111–112, 117.

[3] *Мичунович.* С. 159, 177–178, 205.

[4] Там же. С. 187, 196.

[5] См.: Строительство коммунизма в СССР. Т 1. С. 273.

[6] См., например: Правда. 1956. 1 декабря. С. 1.

[7] См.: *Аксютин.* Popular Responses to Khrushchev. С. 192–193; *Леонгард В.* The Kremlin Since Stalin / Пер. Э. Уискеманн и М. Джексон. NY.: Praeger, 1962. С. 231; Буковский В. To Build a Castle: My Life as a Dissenter/ Пер. М. Скэммела. NY.: Viking, 1979. С. 110.

[8] См.: *Аксютин.* С. 193.

[9] Доклад Ф. Козлова Н. С. Хрущеву, б/д; Доклад В. Чураева, зав. отделом партработы по РСФСР в ЦК, от 12 февраля 1957 года. РГАНИ.

[10] Другие члены комиссии: председатель КГБ Серов, генеральный прокурор Руденко, Маленков и два других секретаря ЦК.

[11] Цит. по: *Наумов.* Борьба Н. С. Хрущева. С. 17.

[12] *Наумов.* Repression. С. 109; *Барсуков.* Аналитическая записка. С. 41–45; Барсуков. Reverse Side of the Thaw. С. 19–22, 32–36.

[13] Этот урожай спас страну от продовольственной катастрофы, которая могла быть вызвана засухой в европейской части СССР — в тех самых областях, которые рекомендовал развивать (вместо освоения целины) Молотов.

[14] *Томпсон.* С. 172–174.

[15] *Мичунович.* С. 192–193.

[16] Наш рассказ основан на: *Томпсон.* С. 174–178; *Томпсон У. Дж.* Nikita Khrushchev and the Territorial Apparatus, 1953–1964. Докторская диссертация. Оксфордский университет, 1991. С. 148–166; *Томпсон У. Дж.* Industrial Management and Economic Reform under Khrushchev // Nikita Khrushchev / Под ред. Таубмана, Хрущева и Глисона. С. 140–146.

[17] Беседа автора с Петром Демичевым, в 1957 году бывшим первым секретарем Московского горкома партии.

[18] Цит. по: *Чуев.* Сто сорок… С. 347. См.: *Каганович.* Памятные записки. С. 512. Позже, в беседе с Мичуновичем, Хрущев брал всю ответственность за реформу на себя: *Мичунович.* С. 239. После поражения «антипартийной группы» Хрущев обвинял Первухина и Шепилова в несогласии с ним по вопросу регионализации экономики. См.: Исторический архив. 1994. № 2. С. 20.

[19] Стенограмма (недатированная) беседы Козлова с партийными работниками. РГАСПИ.

[20] *Мичунович.* С. 241.

[21] Шепилов Д. Т.: Я был причастен к докладу о культе личности. Беседа Н. Барсукова. С. 67.

[22] См.: *Стреляный А.* Khrushchev and the Countryside. С. 113–115. Цитаты из речи Хрущева воспроизводятся по радиопередаче, переведенной на английский (расшифровка в FBIS). 1957. 24 мая.

[23] *Каганович.* С. 513–514.

[24] Стенограмма (недатированная) собрания московских партийных активистов, полученная автором в Москве.

[25] Текст интервью в FBIS. 1957. 4 июня.

[26] Беседа автора с Майей Туровской.

[27] См.: *Леонгард.* С. 77–79.

[28] Там же. С. 213–217; Суэйзи Г. Political Control of Literature in the USSR, 1946–1959. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962. С 165–179; Спешлер Д. Permitted Dissent in the USSR: Novy Mir and the Soviet Regime. NY.: Praeger, 1982. С 66.

[29] *Суэйзи.* С. 189.

[30] *Каверин В.* Литературная Москва // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 209–212.

[31] Тот же Корнейчук присутствовал, когда Игорь Черноуцан представлял Хрущеву проект замечаний по роману Дудинцева «Не хлебом единым», подготовленный по распоряжению Шепилова. По рассказу Черноуцана, его текст звучал взвешенно и достаточно беспристрастно, и Шепилов остался им доволен. Однако на следующий день Хрущев произнес «громогласную свирепую речь, в которой честил Дудинцева и обвинял во всех возможных грехах». Когда Черноуцан спросил у Шепилова, что произошло, тот «сердито и раздраженно от меня отмахнулся».

[32] *Черноуцан.* Неопубл. рукописные мемуары.

[33] *Аджубей.* С. 205.

[34] *Черноуцан.* Неопубл. рукописные мемуары; *Тендряков В.* На блаженном острове коммунизма // Свет и тени хрущевского десятилетия. С. 293–295; *Бабенышева С.* Цена прозрения // СССР: Внутренние противоречия. № 2. С. 276–277; *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 571. Тендряков относит эту сцену к июлю 1960 года, однако в сборнике документов «Оттепель 1957–1959: Страницы русской советской литературы» (М.: Московский рабочий, 1989. С. 380–381) мы находим доказательства того, что встреча состоялась 19 мая 1957 года.

[35] Реплики Молотова на пленуме ЦК в июне 1957 года. См.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 73. Его воспоминания об этом в: *Чуев.* Сто сорок… С. 347.

[36] Согласно Кагановичу, поведение Хрущева вполне соответствовало пословице: «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке». *Каганович.* С. 514–515.

[37] Цит. по: *Барсуков.* Персональное дело антипартийной группы. Неопубл. статья. С. 58–59.

[38] См.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 72; 1994. № 2. С. 9.

[39] Цит. по: *Барсуков.* XX съезд КПСС и его исторические реальности. М.: Политиздат, 1991. С. 47.

[40] См.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 57. Беседа автора с Андреем Маленковым.

[41] «По сути я согласен с Климентом Ефремовичем, — заметил Хрущев, — но как же можно такое говорить иранскому послу?». См.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 74.

[42] Там же. С. 57. Огонек. 1996. № 7. С. 67.

[43] *Мичунович.* С. 272.

[44] *Вишневская Г.* Galina: A Russian Story (NY.: Harcourt Brace Iovanovich, 1984). С 139, 145–148, 161–170.

[45] Исторический архив. 1994. № 2. С. 39.

[46] Там же. 1994. № 1. С. 35.

[47] Там же. 1993. № 3. С. 63; 1994. № 1. С. 50.

[48] Там же. № 3 (1993). С. 57–58, 60.

[49] *Черноуцан.* Неопубл. рукописные воспоминания.

[50] *Шепилов.* Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 18.

[51] *Мичунович.* С. 210.

[52] Исторический архив. 1994. № 2. С. 10.

[53] Там же. 1993. № 4. С. 69.

[54] Стенограмма собрания ленинградских партийных активистов от 2 июля 1957 года. РГАСПИ.

[55] *Хейкал М.* The Sphinx and the Comissar: The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East. NY.: Harper & Row, 1978. С 92.

[56] Исторический архив. 1994. № 2. С. 47.

[57] Свидетельство внука Шепилова Дмитрия Косырева. См.: И примкнувший к ним Шепилов. С. 29.

[58] Огонек. 1996. № 7. С. 67.

[59] *Болен Ч.* Witness to History, 1929–1969. NY.: Norton, 1973. С. 497.

[60] О беседах Жукова с Маленковым см.: Исторический архив. 1999. № 3. С. 50. О разговорах с Булганиным см.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 29, 36, 48–49.

[61] Огонек. 1996. № 7. С. 67. По словам Шепилова, Жуков так и не простил Хрущеву высмеивание военных талантов Сталина. Это звучит странно, однако похоже на правду: известно, что во время войны приказы Ставки и лично Сталина встречали полное

одобрение генералитета.

[62] См.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 65.

[63] Там же. 1993. № 5. С. 50.

[64] *Мичунович.* С. 278–279.

[65] *Микоян.* С. 597–598. Серго Микоян, узнав, что о позиции его отца Хрущев сказал, будто она была «на грани предательства», был возмущен: «Как он может такое говорить! Ведь это отец спас его шею!»

[66] См.: Исторический архив. 1993. № 4. С. 28–29; 1994. № 1. С. 64.

[67] 250 лет основания города было в 1953 году, однако празднество было отложено до июня 1957 года.

[68] *Барсуков.* Персональное дело. С. 33.

[69] СХ4. С. 231–232; Исторический архив. 1999. № 3. С. 49.

[70] Беседа автора с Петром Демичевым.

[71] Стенограмм этого и последовавших за ним заседаний Президиума не сохранилось. Наш рассказ основан по большей части на тех описаниях заседаний, которые давали их участники. Этим описаниям, разумеется, вполне доверять нельзя; это касается в равной мере как Хрущева и его сторонников, так и побежденных — Молотова и Кагановича. Тем не менее такие историки, как Наумов и Барсуков, считают возможным основываться на воспоминаниях участников. Мы постарались исключить наиболее тенденциозные и неправдоподобные свидетельства, сохранив лишь те, которые выглядят более или менее достоверно и хорошо сочетаются с общей ситуацией и характерами действующих лиц. О заседании Президиума 18 июня см.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 14, 55; № 4. С. 29–31; № 5. С. 4, 8. См. также: *Барсуков.* Провал антипартийной группы // Коммунист. 1990. № 6. С. 100.

[72] *Чуев.* Сто сорок… С. 354.

[73] См.: *Каганович.* С. 518–521.

[74] Сообщает В. Наумов в «Борьбе Н. С. Хрущева». С. 21.

[75] Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993-го.

[76] Беседа автора с Владимиром Наумовым (сентябрь 1997-го) и Серго Микояном (май 2000-го). Последний во время кризиса видел Хрущева на даче у своего отца.

[77] Исторический архив. 1999. № 3. С. 53.

[78] *Микоян.* С. 599.

[79] См.: Исторический архив. 1994. № 1. С. 31; 1993. № 3. С. 55, 60.

[80] Эту беседу описывает Андрей Маленков, слышавший телефонный разговор отца с Булганиным. См.: *Маленков А.* О моем отце. С. 77.

[81] См.: Исторический архив. 1993. № 3. С. 7; № 4. С. 56–57; СХ4. С. 237.

[82] *Мичунович.* С. 252, 260.

[83] Исторический архив. 1993. № 4. С. 32; 1994. № 1. С. 50. Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993-го. СХ4. С. 239–243. Беседа автора с Геннадием Вороновым. 12 лет с Хрущевым: беседа с Н. А. Мухитдиновым // Интервью Нуриддина Мухитдинова «Аргументам и фактам». 1989. № 44. С. 6. *Каганович. С.* 52.

[84] См.: *Барсуков.* Провал антипартийной группы. С. 102; Исторический архив. 1993. № 3. С. 12, 14–15; № 4. С. 43, 60; № 5. С. 32, 72;. № 6. С. 26; 1994. № 2. С. 81.

[85] *Наумов.* Борьба Н. С. Хрущева. С. 22.

[86] Беседа автора с Владимиром Наумовым, март 1998-го.

[87] Исторический архив. 1993. № 3. С. 13–20.

[88] Каганович также настаивал, что верил в справедливость обвинений — несмотря даже на то, что в сообщничестве с Якиром обвиняли его самого. Там же. С. 25, 43–44.

[89] Там же. С. 74–87.

[90] Исторический архив. 1993. № 4. С. 19; *Мичунович.* С. 273.

[91] Исторический архив. 1993. № 4. С. 23, 35, 43, 63, 74, 81.

[92] Заключительная речь Хрущева там же. 1994. № 2. С. 8–59. Реплики Молотова, Маленкова и Кагановича там же. 1993. № 3. С. 26, 42, 85.

[93] Об этом вспоминает Олег Трояновский в «The Making of Soviet Foreign Policy». С 215.

[94] Огонек. 1996. № 7. С. 68.

[95] *Мичунович.* С. 280.

ГЛАВА XIII

[1] Этой фразой я обязан покойному Эрлу Лэтему, бывшему преподавателю политологии в Амхерст-колледже. По словам Анастаса Микояна, Хрущев «после смерти Сталина был поглощен внешней политикой» (*Микоян.* С. 604).

[2] НХ2. С. 150. [НХ5. Т. 3. С. 531.] Украинские коллеги Косиора, по всей видимости, относились к его национальности более щепетильно, чем Хрущев — особенно с начала тридцатых, когда Сталин начал кампанию против «украинского национализма».

[3] НХ3. С. 128–129. [НХ5. Т. 3. С. 278–279.]

[4] НХ2. С. 237. [НХ5. Т. 3. С. 29.]

[5] НХ4. 1994. № 6. С. 121; 1993. № 8. С. 84–85. [НХ5. Т. 2. С. 229–230.]

[6] Там же. С. 162–163. [НХ5. Т. 3. С. 222.]

[7] Там же. С. 158.

[8] Там же. С. 159. [НХ5. Т. 3. С. 209.]

[9] НХ3. С. 130–131; НХ1. С. 362. [НХ5. Т. 3. С. 281.]

[10] НХ2. С. 185, 188–189; НХ3. С. 145–146; НХ1. С. 481. [НХ5. Т. 3. С. 114.]

[11] *Голль Ш. де.* The Complete War Memoirs of Charles de Gaulle. NY.: Da Capo Press, 1984. С 756.

[12] НХ2. С. 347–349. [НХ5. Т. 2. С. 383.]

[13] НХ1. С. 361.

[14] Эта ситуация напоминала Хрущеву «анекдот, который я в детстве слышал от шахтеров: поп выходил из алтаря на амвон и показывал толстую Библию: „Читали эту книгу?“ Верующие молчат. „Раз так, то и я читать вам не буду“». НХ2. С. 351–352. [НХ5. Т. 2. С. 354.]

[15] НХ4. 1994. № 6. С. 115; 1993. № 8. С. 74–75; 1992. № 8–9. С. 90; 1994. № 8. С. 76; 1995. № 2. С. 78. См. также: НХ3. С. 133; НХ2. С. 28; НХ1. С. 372–373.

[16] НХ2. С. 165, 174. [НХ5. Т. 3. С. 319.]

[17] Там же. С. 184, 186.

[18] НХ3. С. 99–100. [НХ5. Т. 3. С. 299.]

[19] НХ1. С. 223–224; НХ2. С. 191, 352–353. [НХ5. Т. 3. С.13, 168.]

[20] НХ2. С. 355–356.

[21] НХ1. С. 220–222. [НХ5. Т. 2. С. 284, 353; Т. 3. С. 286.]

[22] У Сталина были причины испытывать симпатию к Эйзенхауэру. Во-первых, в последние дни войны Эйзенхауэр, командовавший англо-американскими войсками в Германии,

отказался рваться к Берлину наперегонки с русскими. Не выполнил он и требование своих коллег оставить войска в тех районах оккупированной Германии, которые по договору должны были войти в зону влияния русских. Впоследствии, с началом холодной войны, Эйзенхауэра много критиковали за эти решения. Однако у него были и военные, и политические, и даже правовые причины так поступить: он не желал без нужды рисковать жизнью своих солдат, стремился придерживаться заключенных во время войны соглашений и, главное, хотел показать русским, что ему можно доверять, и завоевать их ответное доверие и доброжелательство. [НХ5. Т. 1. С. 611–612.]

[23] Из дневника А. Г. Соловьева, опубликовано в: Тетради красного профессора // Неизвестная Россия: век XX. Т. 4. 1993. С. 204.

[24] НХ4. 1995. № 2. С. 78. [НХ5. Т. 4. С. 169.]

[25] Там же. С. 76. [НХ5. Т. 4. С. 163.]

[26] [НХ5. Т. 2. С. 83.] Ситуацию в Корее спасло только вторжение Китая. См.: НХ1. С. 368–370, НХ3. С. 146–147; НХ4. 1995. № 2. С. 77. [НХ5. Т. 2. С. 86–88.] Сообщение Хрущева о том, что до вступления в войну Китая Сталин готов был прекратить оказывать поддержку Северной Корее, подтверждается документами.

[27] См.: *Словинский Б.* The Soviet Occupation of the Kurile Islands and the Plans for the Capture of Northern Hokkaido / Japan Forum. Т. 5. № 1 (апрель 1993). С. 97–98.

[28] НХ2. С. 11, 35, 58; НХ1. С. 362; НХ3. С. 100; НХ4. 1995. № 2. С. 77. [НХ5. Т. 4. С. 442, 168, 166.]

[29] О внешней политике Берии и Маленкова см.: *Зубок, Плешаков.* Inside the Kremlin's Cold War. С. 138–173.

[50] *Александров-Агентов А. М.* От Коллонтай до Горбачева. М.: Международные отношения, 1994. С. 55.

[31] См.: *Болен.* С. 377–379; *Трояновский.* Через годы. С. 138, 170; *Громыко.* Memoirs. С. 315, 377.

[32] *Трояновский.* С. 177; *Джексон С. Д.* Заметки: ужин с Молотовым (пятница, 29 января 1954). Собрание Джексона, Библиотека Эйзенхауэра. Эйбилин, Канзас. Далее: DDEL.

[33] См.: *Рихтер.* Khrushchev's Double Bind. С. 30–81.

[34] Беседа автора с Георгием Корниенко.

[35] *Мак-Даффи.* Red Carpet. С. 202–212.

[36] Отчеты лейбористов о поездке в СССР хранятся в архиве PRO.

[37] *Болен.* С. 369–370; дипломатический отчет Болена о праздновании 7 ноября 1954 года в: Foreign Relations of the United States, 1952–1954. Т. 8. Washington, D.C.: Government Printing

Office, 1988. С 1255. Далее: FRUS.

[38] Основные проблемы между СССР и Китаем были связаны со статусом портовых городов Далянь и Порт-Артур, а также Маньчжурской железной дороги, которой СССР и Китай владели на паях. Сталин несколько расширил права Китая в отношении железной дороги, однако отказался целиком передать дорогу Китаю. Кроме того, в обмен на советские кредиты он добился организации советско-китайских компаний по разработке китайских природных ископаемых. О возвращении Китаю Даляня и Порт-Артура Мао даже не заикался. Под угрозой нападения США и Японии он готов был согласиться на любые условия.

[19] См.: *Мансуров А.* Stalin, Mao, Kim and China's Decision to Enter the Korean War / CWIHPB. № 6–7 (зима 1995/96). С. 94–107.

[40] НХ4. 1992. № 11–12. С. 73–74. [НХ5. Т. 3. С. 23, 35.]

[41] *Голдстейн* С. The Sino-Soviet Alliance, 1937–1962: Ideology and Unity. Неопубл. статья. С. 24–26.

[42] Там же. С. 31, 40. *Зубок, Плешаков.* С. 216–217.

[43] Выступления Кирби и Ян Минфу на Международном симпозиуме по китайско-советским отношениям и холодной войне. Пекин, 1997, октябрь.

[44] НХ1. С. 466; НХ2. С. 247; НХ4. 1992. № 11–12. С. 70. [НХ5. Т. 3. С. 47, 44.]

[45] *Коваль К. И.* Переговоры И. В. Сталина с Чжоу Эньлаем в 1953 г. в Москве, и Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном в 1954 г. в Пекине // Новая и новейшая история. 1989. № 5. С. 107–113.

[46] О происшествии во время обеда рассказывает китайский переводчик Ши Чже, цит. по: *Зубок, Плешаков.* С. 218. О чаепитиях вспоминает сам Хрущев. НХ4. 1992. № 11–12. С. 79. [НХ5. Т. 3. С. 41–42.]

[47] Беседа Мао с советским послом Юдиным 31 марта 1956 г. Стенограмма в CWIHPB. № 6–7 (зима 1995/96). С. 164–167. *Ли Чжисуй.* The Private Life of Chairman Mao / Пер. Т. Хунчао. NY.: Random House, 1994. С. 115–118. Замечание Ли Юэрена и Яна Минфу на Международном симпозиуме. Пекин, 1997, 22–25 октября.

[48] См.: *Чен Янг.* Chinese Politics. С. 259–266; *Прозуменщиков, Шевчук.* Soviet-Chinese Relations. С. 10–11.

[49] Об этом совете Мао подробно рассказывается в главе XI.

[50] Речь Мао 1956 года цит. Голдстейн. С. 37–38. Текст речи 27 января 1957 г. приводится в CWIHPB. № 6–7 (зима 1995/96). С. 152–153.

[51] Выступление Делюсина на пекинском симпозиуме.

[52] Выдержки из доклада Чжоу от 24 января 1957 г. в CWIHPB. № 6–7 (зима 1995/96). С. 153–154.

[53] Визит Ворошилова и реплики Пен Дехуая описал Ян Минфу в своем выступлении на пекинском симпозиуме.

[54] *Шенгальс М.* Document: Mao Zedong: Speeches at the 1957 Moscow Conference / Journal of Communist Studies. Т. 2. № 2 (июнь 1986). С. 123.

[55] *Мичунович.* С. 322.

[56] Цит. по: *Шенгальс.* С. 121–122.

[57] Там же. С. 119; НХ4. 1992. № 11–12. С. 67; НХ2. С. 256–257. [НХ5. Т. 3. С. 55, 79.]

[58] См.: *Ли Чжисуй.* С. 218–225. Другие детали восстановлены по выступлениям Льва Делюсина, Ян Минфу и бывшего телохранителя Мао Вэн Цзинсяна на пекинском симпозиуме.

[59] См.: *Бжезинский З.* The Soviet Bloc: Unity and Conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967. С 168–180.

[60] НХ3. С 112, 138.

[61] НХ1. С 379; *Мичунович.* С. 3; *Аджубей.* С. 126.

[62] НХ4. 1994. № 7. С. 81–82. [НХ5. Т. 3. С. 147–148.J; СХ4. С. 80, 103; *Крэнкшоу.* С. 15–16.

[63] *Крэнкшоу.* С. 16; См.: *Вишневская.* С. 147.

[64] *Крэнкшоу.* С. 19–20.

[65] *Мичунович.* С. 59–60, 66–79.

[66] Там же. С. 72–74.

[67] Там же. С. 81–82.

[68] Там же. С. 93, 97, 113, 125.

[69] Основные положения речи Тито в Пуле: на XX съезде не были вскрыты истинные причины сталинизма, в преступлениях сталинской эпохи повинен не столько Сталин, сколько сталинистская система, пережившая его; СССР сам спровоцировал венгров на восстание; вторая и решительная интервенция Советов в Венгрию, неохотно одобренная югославами, стала необходима только вследствие первой интервенции — ошибочной и вредной. См.: *Мичунович.* С. 159.

[70] *Мичунович.* С. 164–165, 177–181, 205, 211.

[71] Сталин понимал значение ядерного оружия для обороны страны, однако не сумел интегрировать стратегию и тактику его использования в советскую оборонную доктрину. Правда, разработка ядерного оружия в сталинские годы велась в СССР активно. На публике Сталин преуменьшал значение ядерного оружия: в этой тактике он дошел до того, что даже не объявлял публично о создании собственной бомбы в 1949 году (и тем более не хвалился этой победой).

[72] О состоянии советских ядерных вооружений на 1953 год см.: *Харитон Ю. Б., Бриш А. А.* Ядерное вооружение // Советская военная мощь от Сталина до Горбачева / Под ред. А. В. Минаева.

М.: Военный парад, 1999. С. 167. О неспособности советских бомбардировщиков в 1956 году достигнуть США и вернуться сообщает С. Хрущев: The Military-Industrial Complex//Nikita Khrushchev / Под ред. Таубмана, Хрущева и Глисона. С. 255–257.

[73] Цит. по: *Хейкал.* С. 129. См. также: *Хрущев С.* Military-Industrial Complex. С. 247.

[74] СХ4. С. 108; *Хрущев С.* Military-Industrial Complex. С. 257–258.

[75] *Трояновский. С.* 200; *Трояновский.* Making the Soviet Foreign Policy. С. 214.

[76] *Пэррот.* Serpent and the Nightingale. С 65–74; *Хейтер.* Kremlin and the Embassy. С. 36, 42, 46. О реакции Жукова на выступление Хрущева мы упоминали в главе XII.

[77] НХ4. 1993. № 8. С. 76–78. 1НХ5. Т. 2. С. 219.]

[78] Там же. С. 80–81. [НХ5. Т. 2. С. 221–222.]

[79] Заметка С.Д.Джексона от 11 июля 1955-го. См.: FRUS, 1955–1957. Т. 5. С. 301–302. Впрочем, Роберт Боуи, глава отдела политического планирования Госдепартамента США, сомневается в том, что Даллес делился своими сомнениями с Джексоном. Беседа автора с Робертом Боуи.

[80] По словам Анатолия Добрынина, Хрущев, однако, был готов принять проект «Открытое небо» из тактических соображений. Полагая, что Эйзенхауэр блефует, а если и нет, конгресс США ни за что не разрешит советским самолетам летать над американской территорией, Хрущев рассчитал, что Вашингтон сам возьмет свое предложение назад. Однако, пишет Добрынин, Президиум отверг тактику Хрущева. См.: *Добрынин А.* In Confidence: Moscow's Ambassador to America's Six Cold War Presidents. NY.: Times Books, 1995. С 37–38.

[81] *Болен.* С. 386; *Хейтер.* С. 118; *Добрынин.* С. 38. Советский Союз в самом деле подавал заявку на вступление в НАТО: об этом заговорил Молотов на конференции министров иностранных дел в Берлине в 1954 году, возможно, сделав такое предложение как жест вежливости. Энтони Иден не менее вежливо отвечал на это, что вступление СССР в организацию само по себе не может гарантировать его добрых намерений по отношению к другим членам НАТО.

[82] НХ1. С. 393. Замечания Хрущева от 4 июля см.: FRUS, 1955–1957. Т. 5. С. 258–259. СХ4. С. 82.

[83] НХ1. С. 394. [НХ5. Т. 2. С. 248.]

[84] НХ4. 1992. № 8–9. С. 71; НХ1. С. 395. [НХ5. Т. 2. С. 248–249.]

[83] Обстановку на саммите описал Ливингстон Т. Мерчант, помощник госсекретаря по европейским делам, в секретном

отчете для членов американской делегации. Бумаги Ливингстона Т. Мерчанта, Библиотека Силли-Мадд. Принстонский университет, Принстон, Нью-Джерси. С. 26–27.

[86] НХ1. С. 399. [НХ5. Т. 2. С. 255.]

[87] FRUS. Т. 5. С. 369, 398; *Болен.* С. 383; *Мерчант.* С. 39; Записка Ливингстона Мерчанта от 18 июля 1995 года (Принстон). Верил ли Хрущев в то, что говорил, или просто дурачил западных коллег — неясно.

[88] *Макмиллан Г.* Tides of Fortune, 1945–1955. NY.: Harper & Row, 1969. С 622. Пинэ цит. по: *Бешлосс.* Mayday: Eisenhower, Khrushchev and U-2. NY.: Harper & Row, 1986. С. 104. Учитывая частые перемены в составе французского республиканского правительства, Хрущев «не считал нужным оказывать французской делегации серьезное внимание». Он был бы неприятно удивлен, если бы узнал, что Эдгар Фор, которого он «прозвал Эдгаром Федоровичем» и оценил как «человека очень обтекаемого, если можно так выразиться, умеющего расположить к себе», сохранил о нем далеко не лучшие впечатления. См.: НХ1. С. 399. [НХ5. Т. 2. С. 256.]

[89] FRUS. Т. 5. С. 376; *Мерчант.* С. 58; НХ1. С. 400. По словам Роберта Боуи, Эйзенхауэр не ожидал от женевской встречи каких-либо серьезных прорывов, однако готов был дать шанс разрядке, к которой призывали СССР и Великобритания. Даллес опасался, что дружеская атмосфера саммита «убаюкает» Запад, однако Эйзенхауэр считал необходимым дать понять, что тяготится холодной войной и ищет ей альтернативу. Кроме того, он хотел заставить советских руководителей понять, что использование ядерного оружия самоубийственно. Беседа автора с Робертом Боуи.

[90] НХ4. 1992. № 8–9. С. 73; *Добрынин.* С. 38. [НХ5. Т. 2. С. 254.]

[91] СХ4. С. 86.

[92] *Аджубей.* С. 127; НХ4. 1992. № 8–9. С. 75.

[93] *Бешлосс.* С. 105.

[94] Речь и телевизионное выступление Даллеса 18 ноября 1955-го; речи Хрущева от 24 и 26 ноября 1955-го // Правда. 1955. 26 ноября. С. 2; 28 ноября. С. 1.

[95] НХ4. 1993. № 9. С. 77. В частных разговорах Аденауэр готов был смириться с долговременным существованием двух Германий, однако на публике твердо стоял за воссоединение. [НХ5. Т. 2. С. 260.]

[96] НХ4. 1994. № 8. С. 75; *Хейкал.* С. 92.

[97] Описание путешествия Хрущева по странам Востока см.: в НХ4. 1994. № 8. С. 75–92; № 10. С. 77–83.

[98] Хрущев замечает, что Молотов возражал против возвращения баз финнам: См.: НХ2. С. 222–25.

[99] *Болен.* С. 390.

[100] Идеи пригласил Хрущева и Булганина в Англию для «всестороннего обсуждения на досуге многих проблем, волнующих мир», и «возможности для наших гостей посмотреть страну». Гневные антиколониальные речи Хрущева в Азии и по возвращении в Москву не поколебали гостеприимства английского премьер-министра. «Резкость слов господина Хрущева, — объяснял позднее Иден, — демонстрировала лишь отсутствие у него познаний о нашей стране: я не видел причин отказывать ему в возможности увидеть Англию своими глазами и узнать о ней больше». См.: *Иден Э.* Full Circle: The Memoirs of Anthony Eden. Boston: Houghton Mifflin, 1960. С 307, 355.

[101] НХ4. 1992. № 8–9. С. 77.

[102] СХ4. С. 112–116; НХ1. С. 406–407. [НХ5. Т. 2. С. 276.] Маленкова в Англии принимали с уважением, но главу КГБ Серова англичане встретили пикетами и протестами. На британского посла Хейтера Ту-104 снаружи произвел хорошее впечатление — «гладкие и обтекаемые современные формы», зато салон был, «как сказала мисс Нэнси Митфорд о другом советском самолете, обставлен в стиле коттеджа: много красной плюшевой обивки и фарфоровых фигурок на застекленных полочках». *Хейтер.* С. 135.

[103] СХ4. С. 121–122; *Райт П.* Spycatcher: The Candid Autobiography of a Senior Intelligence Officer. NY.: Viking, 1987. С 72.

[104] Записка «Булганин и Хрущев», сост. Т. Браймлоу и У. Баркером. 28 апреля 1956-го. PRO; НХ4. 1992. № 8–9. С. 81. [НХ5. Т. 2. С. 277–278.]

[105] Записка Браймлоу и Баркера; *Трояновский.* С. 198–199.

[106] НХ1. С. 405–407. [НХ5. Т. 2. С. 275–276.]

[107] *Хейтер.* С. 136.

[108] *Гейтскелл Х.* The Diary of Hugh Gaitskell, 1945–1956 / Под ред. Ф. М. Уильямса. London: Jonathan Cape, 1983. С. 497, 508.

[109] *Иден.* С. 360.

[110] Там же. С. 357, 360–361; *Макмиллан.* Riding the Storm, 1956–1959. London: Macmillan, 1971. С. 95; *Трояновский.* С. 196.

[111] *Мичунович.* С. 76–77, 86, 127, 133.

[112] Обращение к нации 31 октября 1956 года.

[113] *Гриффит У. Э.* RFE and the Hungarian Revolution and the Polish October; *Хайнц П. Б.* Recollections of Radio Free Europe // Hungary and the World, 1956: The New Archival Evidence. 26–29 сентября 1996. Статьи, подготовленные к печати.

[114] *Иволд У. Б.* Eisenhower the President: Crucial Days, 1951–1960. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981. С 121.

[115] *Мичунович.* С. 156. [116] *Хейкал.* С. 69–71.

[117] Там же. С. 69–71.

[118] НХ1. С. 435. О ревности Хрущева к Булганину см.: СХ4. С. 209.

[119] *Мичунович.* С. 154; СХ4. С. 211.

[120] О точном времени получения советских и американских предупреждений см. комментарии Эдварда Крэнкшоу в НХ1. С. 436. *Хейкал.* С. 73, 82, 98, 128.

ГЛАВА XIV

[1] НХ4. 1995. № 3. С. 69.

[2] *Колкович Р.* The Soviet Military and the Communist Party. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967. С 130.

[3] *Мичунович.* С. 310–311.

[4] СХ4. С. 249.

[5] Цит. Хрущевым в его речи на четвертом заседании пленума ЦК 28–29 октября 1957 года. РГАНИ.

[6] Беседа автора с Владимиром Наумовым, который разбирал документы, касающиеся дела Жукова, март 1998-го. См. также: *Наумов.* Дело маршала Жукова, 1957 год // Новая и новейшая история. 2000. № 5. С. 87–108; 2000. № 6. С. 71–91.

[7] Эти слова Хрущева, имеющиеся в неотредактированной версии стенограммы октябрьского пленума 1957 года, сместившего Жукова, процитированы автору Владимиром Наумовым. Март 1998-го.

[8] НХ4. 1995. № 3. С. 72. [НХ5. Т. 2. С. 208.1

[9] Выступление Фурцевой на собрании актива Московской партийной организации 31 октября 1957 года. РГАСПИ. По словам Хрущева, этот секретный отряд включал в себя 2500 спецназовцев.

[10] *Аджубей.* С. 196.

[11] Стенограмма третьего заседания пленума ЦК 29 октября 1957 года РГАНИ.

[12] Реплики трех маршалов были сделаны 31 октября 1957 года на послепленумной встрече с московским партийным активом. РГАСПИ.

[13] Недовольство Жуковым коллег-генералов берет свое начало со времен войны, когда между Генеральным штабом (который часто представлял Жуков) и командующими фронтами постоянно возникали трения. Возмущали их и попытки Жукова представить себя в виде главного героя войны.

[14] Об этом случае сообщили на третьем заседании пленума Микоян и маршал Захаров. РГАНИ. Ту же историю рассказывал Хрущев югославскому послу Мичуновичу (*Мичунович.* С. 305). Версия Жукова изложена в: Исторический архив. 1999. № 3. С. 60.

[15] Неотредактированная стенограмма выступления Хрущева на четвертом заседании пленума. РГАНИ.

[16] См. выше, главу XII. Обвинения Шепилова в адрес Жукова цит. также в: И примкнувший к ним Шепилов. С. 38. Обвинение Булганина см. в неотредактированной стенограмме июньского пленума 1957 года в: Молотов, Маленков, Каганович, 1957:

Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Международный фонд «Демократия», 1998. С. 26, 75. Замечания Сабурова о том, что Жуков угрожал «свалить» Серова, если тот будет преследовать за критику Хрущева, см. в отредактированной стенограмме июньского пленума // Исторический архив. 1993. № 3. С. 58. Владимир Наумов, имеющий доступ к широкому кругу документов по делу Жукова, полагает, что Жуков «активно продвигал идею упразднения поста первого секретаря».

[17] Об одобрении Хрущева и исчезновении этой его фразы из отредактированной стенограммы см.: Молотов, Маленков, Каганович, 1957. С. 20. Реплика Микояна на третьем заседании октябрьского пленума цит. по экземпляру, хранящемуся в РГАНИ. Отредактированный вариант стенограммы впервые был опубликован лишь в 1993 году, после развала СССР.

[18] Жуков являлся председателем комиссии по реабилитации политзаключенных; его роль подробно описана в: Незаконченное сражение маршала Жукова // Исторический архив. 1995. № 2. С. 108–110.

[19] Исторический архив. 1999. № 3. С. 55–56; *Аджубей.* С. 195–196.

[20] Буквальная стенограмма выступления Хрущева хранится в РГАНИ. Жуков «не оканчивал никаких военных училищ, — замечал после пленума Баграмян, — думаю, что у него и высшего образования-то нет. В этом нет ничего дурного — не всем и не всегда выпадает возможность получить образование; но с нашими военными училищами и военными академиями он обращается невероятно по-хамски». Встреча с московским партийным активом в октябре 1957 года. РГАСПИ.

[21] См.: Правда. 1959. 30 января. С. 5; 1959. 1 февраля. С. 4; 5 февраля. С. 8.

[22] Беседа автора с Николаем Егорычевым, июнь 2000-го.

[23] *Томпсон.* С. 198.

[24] См.: *Эвангелиста.* Why Keep Such an Army? С. 17–18.

[25] *Воронов Г. И. Немного* воспоминаний // Дружба народов. 1989. № 1.С. 194, 200.

[26] *Бенедиктов.* О Сталине и Хрущеве. С. 47; *Шелепин.* История — учитель суровый; *Микоян.* С. 601–602. Двое других сотрудников Хрущева, Николай Егорычев и Кирилл Мазуров, относят его «перерождение» к 1961 году. См.: Интервью Николая Егорычева Леониду Плешакову// Огонек. 1989. № 6. С. 7.

[27] Беседа автора с Георгием Корниенко.

[28] Беседа автора с Олегом Трояновским, июнь 1991-го.

[29] Беседа автора с Радой Аджубей, июнь 1991-го.

[30] *Трояновский.* Через годы. С. 205–206; *Аджубей.* С. 189; СХ4. С. 710.

[31] СХ4. С. 246–247.

[32] *Мичунович.* С. 405.

[33] НХ2. С. 18. [НХ5. Т. 2. С. 208.]

[34] *Маленков.* С. 82–88.

[35] Огонек. 1996. № 7. С. 68.

[36] *Чуев.* Сто сорок… С. 518.

[37] «Нельзя так себя вести со страной, о которой еще Ленин говорил, — замечал Молотов. — Надо поправить это дело». Там же. С. 450.

[38] Копия письма Молотова от 21 мая 1959 года в РГАНИ.

[39] *Чуев.* Сто сорок… С. 467. Кроме того, Молотов называл «наивными» мечты Хрущева о «мирном сосуществовании с Западом». Как замечал он много позже: «Мы как бы просили: Пожалуйста, дайте мир! Они, конечно, нам не давали никакого мира». *Чуев.* Сто сорок… С. 496, 498.

[40] Доклад Контрольной комиссии по этому вопросу см. в РГАНИ.

[41] *Мичунович.* С. 355.

[42] Там же. С. 355–356.

[43] Молотов был сослан на свою дачу в Подмосковье, где и жил до самой смерти.

[44] *Маленков.* С. 82–88. Беседа автора с Андреем Маленковым.

[45] О поведении Кагановича рассказывал Хрущев на XXII съезде партии. См.: XXII съезд: стенографический отчет. М., 1961. Т. 2. С. 588. Об ответе Хрущева Кагановичу рассказывает со слов своего отца Серго Микоян (беседа с автором, май 2000-го).

[46] См.: И примкнувший к ним Шепилов. С. 203, 238, 240–250. О распоряжении Сталина относительно книг сообщил автору Сергей Хрущев.

[47] *Барсуков.* Персональное дело антипартийной группы. С. 71–72.

[48] *Микоян С.* The Red Emperors: A Kremlin Insider's View. Неопубл. рукопись, предоставленная автору Микояном; *Микоян.* С. 607; *Аджубей.* С. 198. См. также: *Петров Н.* Первый председатель КГБ генерал Иван Серов//Отечественная история. 1997. № 5. С. 23–43.

[49] Выступление на Всесоюзной конференции работников сельского хозяйства 5 февраля 1954 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 1. С. 170.

[50] Правда. 1956. 15 февраля. С. 7.

[51] *Уитни.* Khrushchev Speaks. С. 101.

[52] Выступления на пленуме ЦК компартии Украины 26

декабря 1957 года и на съезде сельскохозяйственных работников Белоруссии 22 января 1958 года//Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 498, 526.

[53] См.: *Зубкова.* The Rivalry with Malenkov. С. 80–81; *Стреляный.* Последний романтик. С. 242.

[54] СХ4. С. 335–336.

[55] *Ли Г.* Roswell Garst: A Biography. Ames: Iowa State University Press, 1984. С. 167, 179, 182.

[56] *Стреляный.* Последний романтик. С. 198–199. [Цит. по: НХ5. Т. 4. С. 491.]

[57] *Ли.* С. 188–190, 222.

[58] НХ4. 1994. № 12. С. 111. [НХ5. Т. 4. С. 142, 140.] [5'] НХ2. С. 132–133. [НХ5. Т. 4. С. 149.]

[60] Выступление перед сельхозпартактивом. Ленинград, 12 апреля 1955 года//Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 119.

[61] Выступление перед сельхозпартактивом Урала 20 июня 1956 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 239.

[62] Выступление 13 августа 1958 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 3. С. 272.

[63] Выступление 11 июня 1959 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 4. С. 19.

[64] Выступление перед сельхозпартактивом. Саратов, 18 марта 1955 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С, 28.

[65] Из речи на XX съезде партии // Правда. 1956. 15 февраля. С. 6.

[66] Выступление перед сельхозпартактивом черноземных областей. Москва, 30 марта 1957 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 439.

[67] Выступление в Воронеже 30 марта 1957 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 57.

[68] Выступление в феврале 1960 года //Строительство коммунизма в СССР. Т. 4. С. 112.

[69] Там же. Т. 3. С. 8.

[70] *Торанска.* С. 155–158.

[71] Выступление 11 мая 1959 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 3. С. 520.

[72] Выступление в Воронеже 3 апреля 1957 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 380.

[73] Выступление перед сельхозпартактивом 15 февраля 1954 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 1. С. 193.

[74] Выступление 30 марта 1957 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 376.

[75] Выступление перед сельхозпартактивом 8 апреля 1957 года

// Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 405.

[76] Выступление перед секретарями райкомов. Горький, 9 апреля 1957 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 425.

[77] Выступление перед партсельхозактивом. Москва, 7 апреля 1955 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 75.

[78] НХ2. С. 126. [НХ5. Т. 4. С. 126.]

[79] Выступление на пленуме ЦК компартии Украины 26 декабря 1957 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 2. С. 500; и 27 марта 1958 года. Т. 3. С. 132.

[80] Менее чем через год после формального объявления реформы из восьми тысяч машинно-тракторных станций осталось 385, а к концу 1959 года — только 34. *Медведев Ж.* Soviet Agriculture. NY.: Norton, 1987. С. 178.

[81] *Медведев Р.* Khrushchev. С. 161.

[82] Там же. С. 96.

[83] Беседа автора с Андреем Шевченко, октябрь 1993-го.

[84] *Медведев Р.* Khrushchev. С. 96–97. Выступление Хрущева см.: Правда. 1959. 29 декабря. С. 1.

[85] Выступление в Рязани 13 февраля 1959 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 3. С. 490–491.

[86] Правда. 1959. 17 октября. С. 1.

[87] Правда. 1959. 18 ноября. С. 1.

[88] Пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, 22–25 декабря 1959 года: Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1960. С. 39, 92, 172; Правда. 1959. 23 декабря. С. 4; 24 декабря. С. 1.

[89] Наше изложение основывается на: *Медведев Р.* Khrushchev. С. 96–101. См. также: *Шундик Н.* Чудо, которого не было // Труд. 1988. 18 декабря.

[90] Выступление перед избирателями Калининского района. Москва, 14 марта 1958 года. Цит. по: *Хрущев Н.* For Victory in Peaceful Competition with Capitalism. NY.: Dutton, 1960. С 157–158.

[91] СХ4. С. 260.

[92] Цит. по: *Хрущев Н.* For Victory… С. 23, 309.

[93] *Мичунович.* С. 301, 311, 340–341; СХ4. С. 264–265.

[94] Khrushchev Interview on Wide Range of Issues between East and West // New York Times. 1957. 10 октября. С. 10.

[95] НХ2. С. 48. [НХ5. Т. 4. С. 195.]; *Хрущев* С. Military-Industrial Complex. С. 258; СХ3. Т. 1. С. 384.

[96] Подробнее о сокращениях советских Вооруженных сил при Хрущеве и их причинах см.: *Эвангелиста.* Why Keep Such an Army?

[97] Замечание Хрущева, сделанное 26 июля 1959 года // FRUS. Т. 9. С 38

[98] НХ2. С. 31–33. [НХ5. Т. 4. С. 175–187.]

[99] *Эвангелиста.* С. 4–5.

[100] *Шевченко А.* Breaking with Moscow. NY.: Knopf, 1985. С. 93.

[101] СХ3. Т. l.С. 409.

[102] НХ2. С. 49.

[103] СХ3. Т. 1.С. 388–392, 405–407, 468. Эта система была поставлена на поток только в 1963–1964 годах.

[104] Там же. С. 407.

[105] СХ3. Т. 1. С. 408–409.

[106] Наше описание жилищной реформы базируется на: *Филцер Д.* Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the Modern System of Soviet Production Relations, 1953–1964. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1992. С. 51–52; *Филцер Д.* The Khrushchev Era: De-Stalinization and the Limits of Reform in the USSR, 1953–1964. London: Macmillan, 1993. С 33–34.

[107] *Филцер.* Khrushchev Era. С 33–37; *Медведев Р.* С. 144; *Хрущев Н. С.* О коммунистическом воспитании. М.: Изд-во политической лит-ры, 1964. С. 47.

[108] *Аджубей.* С. 186–187.

[109] Здесь мы отчасти основываемся на: *Стайте Р.* Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1992. С 123–147.

[110] *Аджубей.* С. 207–208.

[111] См.: *Флейшман Л.* Boris Pasternak: The Poet and His Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990. С. 281.

[112] *Лакшин В.* «Новый мир» во времена Хрущева: дневник и попутное (1953–1964). М.: Изд-во «Книжная палата», 1991. С. 24.

[113] *Твардовский А.* Из рабочих тетрадей (1953–1960)//Знамя. 1989. № 8. С. 135–140.

[114] В своем рассказе мы основываемся на: *Флейшман.* С. 247–314.

[115] См.: *Конквест Р.* Courage of Genius: The Pasternak Affair. London: Collins and Harvest Press, 1961. С 127–136, 176–178.

[116] СХ2. С. 208–209; НХ2. С. 77.

[117] НХ2. С. 76–77. [НХ5. Т. 4. С. 275–276.] Согласно Аджубею, Хрущеву «книга не понравилась, показалась скучной. Сложная вязь повествования, герои, чуждые по духу и биографиям. Многое, как он говорил, было для него несущественным, не входило в круг его интересов. Но тогда же он пожалел, что роман этот в свое время не был напечатан, и с какой-то грустью признался: „Ничего бы не случилось…“». Крушение иллюзий. С. 212–213.

[118] Интервью Владимира Семичастного К. Светицкому и С. Соколову // Огонек. 1989. № 24. С. 24. Сергей Хрущев замечает

по этому поводу, что не представляет себе отца, что-то вписывающего в чужую речь.

[119] Правда. 1959. 24 мая. С. 2.

[120] Беседа автора с Сарой Бабенышевой. Амхерст, Массачусетс, февраль 1996-го.

[121] *Черноуцан.* Неопубл. рукописные мемуары.

[122] Правда. 1959. 24 мая. С. 3.

[121] *Лакшин.* С. 33.

[124] *Твардовский А. Из* рабочих тетрадей (1953–1960) // Знамя. 1989. № 9. С. 182, 183.

[125] Там же. С. 183.

[126] См.: Оттепель 1953–1956. С. 120.

[127] *Мичунович.* С. 423, 438.

[128] См.: *Голдстейн.* Sino-Soviet Alliance. С. 38; *Зубок В.* Советско-китайские переговоры на высшем уровне 31 июля — 3 августа 1958 года и октября 1959 года. Неопубл. статья. Согласно Сергею Хрущеву, его отец передал китайцам чертежи ракеты Р-12, а также выслал прототипы ракеты Р-15 и ракет береговой охраны «Комета», с тем чтобы китайцы могли производить их на заводах, построенных с помощью СССР. См.: СХ4. С. 266. См. также: *Петров М.* Ракетное оружие ракетных войск стратегического назначения. М.: Виоланта, 1999. С. 73.

[129] В октябре 1997 года в Пекине Ян Минфу, один из переводчиков Мао на переговорах с Хрущевым, подтвердил время возникновения напряженности на симпозиуме по советско-китайским отношениям.

[130] НХ2. С. 258. [НХ5. Т. 3. С. 74.]

[131] Запись беседы между Мао и послом Юдиным от 22 июля 1958 года, в переводе на английский, приводится в CWIHPB. № 6–7 (зима 1995/96). С. 155–159.

[132] *Кван Янчжи.* Mao Zedong yu Xeluxiaofu. [Мао Цзэдун и Хрущев] Пекин, 1998. Перевод китайского текста выполнен для автора.

[133] НХ1. С. 465. [НХ5. Т. 3. С. 74.|

[134] *Кван.*

[135] СХ3. Т. 1.С. 349.

[136] *Кван.*

[137] Русские записи переговоров Хрущева и Мао от 31 июля и 3 августа имеются в собрании Волкогонова. Однако некоторые наиболее острые моменты и резкие выражения в них опущены и восстановлены по книге Квана.

[138] *Кван.*

[139] Там же.

[140] Там же.

[141] *Ли.* Private Life. С. 261.

[142] НХ2. С. 259. |НХ5. Т. 3. С. 74.]

[143] Цит. по: *Ромм М.* Устные рассказы. М.: Киноцентр, 1991. С. 154.

[144] Об этом см.: *Суслов М. А.* О поездке советской партийно-правительственной делегации в Китайскую Народную Республику. Текст речи на пленуме ЦК КПСС 22–26 декабря 1959 года // Материалы к протоколу № 15 заседания пленума ЦК КПСС. РГАНИ; *Чен Янг.* Chinese Politics. С. 271; *Зубок, Плешаков.* Inside the Kremlin's Cold War. С. 220–227.

[145] См.: *Гордон Х. Ченг.* Friends and Enemies: The United States, China and the Soviet Union, 1948–1972. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1990. С 186–188.

[146] *Громыко.* Memoirs. С. 252.

[147] *Ли.* Private Life. С. 261.

[148] *Голдстейн.* Sino-Soviet Alliance. С. 43; *Зубок, Плешаков.* С. 228; *Чен Янг.* С. 45.

[149] Беседа автора с бывшим послом СССР в Китае Степаном Червоненко. Речь Хрущева см. в: *Хрущев Н. С.* Мир без оружия — мир без войн: выступления по вопросам внешней политики СССР и международного положения, интервью и беседы с иностранными деятелями. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 2. С. 312.

[150] Записи переговоров 2 октября 1959 года с русской стороны хранятся в коллекции Волкогонова и цитируются в: *Волкогонов.* Семь вождей. С. 423–425. Выдержки из китайских записей в английском переводе см.: *Воллф.* One Finger's Worth. С. 64–66. Наше изложение основывается также на воспоминаниях Ли Юэжэня и Ян Минфу, представленных на конференции по советско-китайским отношениям в Пекине в 1996 году.

[151] Через неделю после подавления китайским руководством восстания в Лхасе далай-лама бежал через границу в Индию.

[152] Беседа автора со Степаном Червоненко.

[153] *Зубок, Плешаков.* С. 230. О том, что Хрущев называл Мао «старой калошей», говорили переводчики Мао на конференции в Пекине в 1997 году.

[154] Об этом рассказывал Делюсин на конференции в Пекине в 1997 году.

[155] Конференция в Пекине в 1997 году.

[156] О том, как выглядел Хрущев, покидая Пекин, вспоминает в беседе с автором Степан Червоненко. Далее: беседа автора с офицером ВМФ в отставке Николаем Говорушко. См. также воспоминания Н.А. Говорушко «Почетный посетитель» // Боевая вахта. 1990. 28 февраля; 1 марта.

ГЛАВА XV

[1] *Хрущев.* For Victory. С. 738.

[2] Шифрограммы Томпсона в Вашингтон от И и 14 ноября 1958 года. FRUS, 1958–1960. Т. 8. С. 47–48, 62. Телефонный разговор Эйзенхауэра и Хертера — там же. С. 114.

[3] Эту сцену описывает Олег Гриневский в статье «Берлинский кризис 1958–1959 гг.» (Звезда. 1996. № 2. С. 127). Внешний вид и поведение Хрущева описала в беседе с автором Присцилла Джонсон Макмиллан. См. также: *Бешлосс.* Mayday. С. 162.

[4] *Бешлосс.* С. 162–163. FRUS, 1958–1960. Т. 8. С. 143, 173.

[5] Мотивы Хрущева анализирует его бывший помощник Олег Трояновский в книге «Через годы» (С. 209–213). См. также: *Зубок, Плешаков.* Inside the Kremlin's Cold War. С. 195–200. Все три автора указывают на беспокойство Хрущева по поводу неизбежного появления у ФРГ ядерного оружия. Однако Гриневский приводит реплику Хрущева, в которой тот выражает сомнение в том, что Аденауэр хочет обладать ядерным вооружением и что ему это позволят — поскольку, по его словам, это встревожит не только СССР, но и западноевропейские державы. См.: *Гриневский.* Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М.: Вагриус, 1998. С. 26–28.

[6] Доклад Хэмфри послу Томпсону в телеграмме Томпсона госсекретарю США № 1208 от 3 декабря 1958 года. Президентский архив (далее: POF), Библиотека Джона Кеннеди. Бостон, Массачусетс (далее: JFKL). Микоян (С. 604–605) добавляет, что Хрущев «проявил удивительное непонимание сложности проблем», связанных с Берлином. Отношение Громыко к Хрущеву характеризует Анатолий Добрынин в «In Confidence». С. 32. См. также: *Александров-Агентов.* От Коллонтай до Горбачева. С. 71. В. М. Фалин сообщает, что, когда Хрущев запросил у отдела информации ЦК сведения по Берлину, Г. М. Пушкин осмелился выразить сомнения по поводу плана главы государства; Хрущев объявил его возражения «ерундой» и в дальнейшем уже не обращался в отдел информации. См.: *Фалин В.* Без скидок на обстоятельства: политические воспоминания. М.: Республика; Современник, 1999. С. 22, 79–80.

[7] *Трояновский.* Через годы. С. 211–213.

[8] СХЗ. Т. 1. С. 416. Существуют свидетельства, что польский руководитель Гомулка видел текст речи 10 ноября и был потрясен. См.: *Селведж Д.* New Evidence on the Berlin Crisis, 1958–1962 // CWIHPB. № 11 (зима 1998). С. 200.

[9] Телеграмма № 1773 от 9 марта 1959 года. Цит. по: The

Berlin Crisis / Под ред. У. Барра. Washington, D. C: National Security Archive/ Chadwyck-Healey, 1991.

[10] DSB. Т. 37. № 940. 1957. 1 июля. С. 15; № 964. 1957. 16 декабря. С. 989.

[11] FBIS. 1959. 14 мая. С. BB1, 4, 6–7, 10.

[12] Правда. 1957. 19 ноября. С. 2.

[13] Беседа автора с Джейн Томпсон.

[14] Выдержка из отчета мистера Джона Кэрри о беседе с Юрием Гвоздевым 22 января 1958 года. Архив президента Дуайта Д.Эйзенхауэра. Папка Энн Уитман. Далее: AWF. На экземпляре меморандума стоит подпись Эйзенхауэра, показывающая, что он ознакомился с докладом и был в курсе желаний Хрущева. См. также: *Бешлосс.* Crisis Years. С. 153–154.

[15] DSB. Т. 37. № 970 (27 января 1958). С. 122–127; № 974 (24 февраля 1958). С. 291.

[16] Несколькими днями позже Мичунович предупредил его, что западные круги, не желающие переговоров, могут использовать его «резкую» минскую речь для «дальнейшего нагнетания напряженности». Однако Хрущев не сомневался, что «резкие слова с обеих сторон скоро забудутся». *Мичунович.* С. 337–338.

[17] Интервью Хрущева польским корреспондентам от 10 марта 1958 года // Правда. 1958. 12 марта. С. 2. 3 марта советский посол Меньшиков сообщил Эйзенхауэру и Даллесу, что его правительство «не будет возражать против встречи глав наших правительств в Соединенных Штатах, в городе, который выберет для этой цели принимающая сторона». FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 152.

[18] Работников американского посольства заранее предупредили о «стихийной» демонстрации и пообещали, что «все будет в порядке». Однако «демонстранты» разбили окна в посольстве Западной Германии, посол которой Кролль гордился дружескими отношениями с Хрущевым. Обстановка напоминала Мичуновичу ноябрь 1956 года, после советского вторжения в Венгрию; однако Хрущев успокоил его и заверил, что все под контролем. См.: *Мичунович.* С. 401.

[19] СХЗ. Т. 1. С. 396; *Хейкал.* С. 97–99.

[20] 8 октября Мичунович нанес Хрущеву прощальный визит. Он вспоминает, что Хрущев упивался своими победами (в том числе отступлением англичан в Ливане) и видел в них знак того, что «капитализм заметно слабеет». Хрущев и его коллеги «были очень довольны развитием ситуации в Ливане и не скрывали этого». *Мичунович.* С. 432.

[21] Выдержки из отчета Эрика Джонстона о беседе с

Хрущевым. FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 189–205.

[22] *Трояновский.* Через годы. С. 208–213; *Трояновский.* Making of Soviet Foreign Policy. С. 216–217.

[23] *Гриневский.* С. 23.

[24] В августе 1958 года Макмиллан расспрашивал своего посла в России о «мании величия» Хрущева, интересуясь, в частности, «способен ли Хрущев на такие же безумства, как Гитлер». Ответ британского посла Рейли от 25 августа: «На мой взгляд, „мания величия“ у Хрущева совершенно несравнима с гитлеровской и едва ли когда-нибудь станет столь же опасна. Во-первых, Хрущев — нормальный человек с нормальной семейной жизнью. (Более того, он потерял на войне сына.) Во-вторых, у него нет гитлеровской *харизмы*». См.: PRO, PREM 11/5115.

[25] Дневник Эйзенхауэра, 23 января 1956 года // Дневники Дуайта Эйзенхауэра. DDEL.

[26] Стенограмма телефонного разговора Эйзенхауэра с Алленом Даллесом 8 июля 1957 года. Архив Джона Фостера Даллеса, Библиотека Сили-Мадд, Принстонский университет.

[27] Телефонный разговор Эйзенхауэра с Даллесом 9 февраля 1958 года. Там же.

[28] *Барр У.* Avoiding the Slippery Slope: The Eisenhower Administration and the Berlin Crisis, November 1958 — January 1959 // Diplomatic History. Т. 18. № 1 (зима 1994). С. 9–10, 21.

[29] Рассказ о встрече Хэмфри с Хрущевым основывается на записях Хэмфри, как сделанных во время беседы, так и надиктованных позже, на стенограмме его интервью журналу «Лайф» и позднейших отчетах Госдепартаменту. См.: FRUS, 1958–1960. Т. 8. С. 149–153.

[30] См.: *Сульцбергер С. Л.* The Last of the Giants. NY.: Macmillan, 1970. С 860.

[31] *Бешлосс.* Crisis Years. С 154.

[32] СХ4. С. 306. *Трояновский.* Через годы. С. 214–215.

[33] См.: СХ4. С. 307; *Трояновский.* Через годы. С. 215; *Микоян.* С. 605.

[34] *Трояновский.* Через годы. С. 216.

[35] Однажды Микоян вступил в оживленную перепалку с Даллесом по берлинскому вопросу, однако не преминул заметить Эйзенхауэру, что, если бы Хрущев имел право голосовать на американских президентских выборах 1956 года, то голосовал бы за нынешнего президента. См.: Стенограммы переговоров. FRUS, 1958–1960. Т. 8. С. 233–239, 270–281; Т. 10. Ч. 1.С. 207–258.

[36] СХ4. С. 307.

[37] *Гирсон Дж.* Я. С. Macmillan and Berlin, 1958–1961 // Washington, D.C.: Nuclear History Project Berlin Study Conference.

Май 1993. Подготовлено к печати. С. 10. Сам Макмиллан утверждал, что едет «не на переговоры»; вместо этого, писал он в своем дневнике, он хочет «попытаться понять, что на уме у советского руководства». *Макмиллан.* Riding the Storm. С. 585.

[38] *Бешлосс.* Mayday. С. 173.

[39] *Макмиллан.* Riding the Storm. С. 598.

[40] Там же. С. 603.

[41] *Хорн А.* Macmillan. London: Macmillan, 1988. Т. 2. С. 125.

[42] СХ4. С. 308; *Макмиллан.* С. 619; *Джирсон.* С. 14.

[43] *Макмиллан.* С. 610–611.

[44] Visit of the Prime Minister and the Foreign Secretary to the Soviet Union, February 21 — March 5, 1959. Высшая степень секретности. PRO. PREM 11/2690. С. 31.

[45] См. два отчета Д. П. Рейли Селвину Ллойду от 9 и 16 марта 1959 года. PRO. FO 371/143439, а также PREM 11/2690.

[46] Из достоверного источника, пожелавшего остаться неизвестным.

[47] СХ4. С. 308.

[48] Правда. 1959. 12 мая. С. 4.

[49] СХ3. Т. 1. С. 422.

[50] Правда. 1959. 20 июня. С. 3.

[51] В своем рассказе мы основываемся на «Diary of Gov. Harriman's Soviet Trip: May 12 — June 26, 1959» и на стенограмме переговоров Гарримана с Хрущевым от 23 июня 1959 года в собрании Гарримана, Вашингтон.

[52] Public Papers of Presidents of the United States: Dwight D. Eisenhower, 1959. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1960. С 507.

[53] FRUS, 1958–1960. Т. 8. С 521; FRUS, 1958–1960. Т. 1. 4. 1. С 264.

[54] Public Papers: Eisenhower, 1959. С 172–173, 209.

[55] Там же. С. 27.

[56] Наше изложение основывается на документах из FRUS, 1958–1960. Т. 8. С. 971–977, 1027–1043 и FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 309–325, а также на рассказе самого Эйзенхауэра (*Эйзенхауэр Д. Д.* Waging the Peace 1956–1961. NY.: Doubleday, 1965. С 405–407) и изложении Бешлосса (Mayday. С. 177–178).

[57] См.: *Крейг К.* Destroying the Village: Eisenhower and Thermonuclear War. NY.: Columbia University Press, 1998. С. 105; *Гирсон.* С. 105.

[58] Public Papers: Eisenhower, 1959. С 153.

[59] СХ3. Т. 1. С 442.

[60] НХ2. С. 369. [НХ5. Т. 2. С. 294–295.]

[61] СХ3. Т. 1.С. 442–443; *Трояновский.* С. 208.

[62] *Никсон Р. М.* Six Crises. Garden City, NY.: Doubleday, 1962. С 244–245.

[63] *Никсон Р. М.* Leaders. NY.: Warner Books, 1982. С 182.

[64] *Никсон.* Six Crises. С. 264–266. Меморандум встречи см.: FRUS, 1958–1960. Т. 8. С. 336–345.

[65] Описание и анализ выставки и реакции на нее советского общества см.: *Хиксон У.* Parting the Curtain: Propaganda, Culture and the Cold War. NY.: St. Martin's, 1996. С 174–180.

[66] Подробнее о «кухонном споре» см.: *Эмброуз С. Э.* Nixon: the Education of a Politician, 1913–1962. NY.: Simon and Shuster, 1987. С 524–525.

[67] Об этом путешествии вспоминает Никсон в «Six Crises». С. 235–291 и в «Leaders». С. 177–200.

[68] Цит. по: *Бешлосс.* Mayday. С. 184.

[69] Public Papers. С. 560; DSB. Т. 61. № 1057 (28 сентября 1959 г.). С. 437.

[70] Public Papers. С. 592.

[71] *Аджубей.* С. 215; СХ2. С. 356.

[72] СХ4. С. 326–327.

[73] СХ3. Т. 1.С. 336; *Аджубей. С.* 216, 220. В «мозговом штурме» участвовали помощники Хрущева Шуйский, Лебедев и Трояновский, глава отдела пропаганды ЦК. Леонид Ильичев, пресс-секретарь МИДа Леонид Замятин, Аджубей и талантливый молодой переводчик Виктор Суходрев.

[74] СХ3. С. 446.

[75] *Робертс Ч.* First Rough Draft: A Journalist's Journal of Our Times. NY.: Praeger, 1973. С 158.

[76] НХ4. 1993. № 4. С. 36. [НХ5. Т. 2. С. 296.]

[77] СХ4 С 327

[78] НХ4. 1993. № 4. С. 37. [НХ5. Т. 2. С. 298–299.]

[79] НХ2. С. 371. [НХ5. Т. 2. С. 297.]

[80] СХ4. С. 329. Одной из причин высоты самолета были гигантские пропеллеры (беседа автора с Сергеем Хрущевым). [НХ5. Т. 2. С. 296.]

[81] НХ2. С. 373.

[82] Там же. [НХ5. Т. 2. С. 299–300.]

[83] Правда. 1959. 6 августа. С. 3–7.

[84] СХ4. С. 329.

[85] Там же. С. 330.

[86] «С глазу на глаз» — выражение фигуральное: предполагалось, что Хрущева повсюду будет сопровождать Громыко. Однако Хрущев не пожелал «на ухо с ним советоваться», подобно Эйзенхауэру, который «проделывал это в Женеве, читая вслух записки, которые ему составлял и подкладывал под руку

государственный секретарь Даллес». [НХ5. Т. 2. С. 300–301.]

[87] НХ4. 1993. № 4. С. 38–39; НХ2. С. 373–375. [НХ5. Т. 2. С. 301–302.]

[88] Лицом к лицу с Америкой. История визита Н. С. Хрущева в США, 15–27 сентября 1959 года / Под ред. М. Харламова. М., 1960. С. 52.

[89] НХ2. С. 377; НХ4. 1993. № 4. С. 40. [НХ5. Т. 2. С. 303–304.]

[90] *Трояновский.* Через годы. С. 210; *Бешлосс.* Mayday. С. 190; *Эйзенхауэр Дж. С. Д.* Strictly Personal. Garden City. NY: Doubleday, 1974. С 257.

[91] *Бешлосс.* Mayday. С. 189–190.

[92] Лицом к лицу с Америкой. С. 5.

[91] *Аджубей.* С. 220.

[94] Беседа автора с Олегом Трояновским, февраль 1993-го.

[95] Беседа автора с Ричардом Т. Дейвисом.

[96] *Аджубей.* С. 220–221.

[97] Беседа автора с Джейн Томпсон.

[98] *Аджубей.* С. 220.

[99] DSB. Т. 41. № 1058 (5 октября 1959 г.). С. 478; *Бешлосс.* Mayday. С. 193–194.

[100] Лицом к лицу с Америкой. С. 95.

[101] Khrushchev in America: Full Texts of the Speeches Made by N. S. Khrushchev on His Tour of the United States, September 15–27, 1959. NY.: Crosscurrents Press, 1960. С 18.

[102] Там же. С. 26. См. также: *Бешлосс.* Mayday. С. 194.

[103] Times (London). 1956. 19 ноября. С. 8. Неудивительно, что в русском тексте речи Хрущева, опубликованной в «Правде», этой фразы нет. Ранее в тот же вечер, на приеме в Кремле, Хрущев назвал правительства Англии, Франции и Израиля «фашистами» и «бандитами», чем вынудил послов этих государств покинуть зал.

[104] Khrushchev in America. С. 31.

[105] Там же. С. 28.

[106] НХ2. С. 381. [НХ5. Т. 2. С. 332.]

[107] Лицом к лицу с Америкой. С. 157.

[108] Khrushchev in America. С. 48.

[109] *Гэлбрейт Дж. К.* The Day Khrushchev Visited the Establishment // Harper's Magazine. 1971. Февраль. С. 73.

[110] НХ2. С. 382–383. [НХ5. Т. 2. С. 331–332.]

[111] Khrushchev in America. С 65; *Бешлосс.* Mayday. С. 198.

[112] Записка о беседе Хрущева с Генри Кэботом Лоджем от 18 сентября 1959 года. FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 417.

[113] НХ4. 1993. № 4. С. 43; НХ2. С. 385. [НХ5. Т. 2. С. 308.]; FRUS, 1958–1960. Т. 8. С. 433.

[114] Лицом к лицу с Америкой. С. 223; *Бешлосс.* Mayday. С. 199.

[115] *Ричард Т.Дейвис.* Неопубл. воспоминания, предоставленные автору мистером Дейвисом.

[116] Лицом к лицу с Америкой. С. 244; *Лодж Г. К.* The Storm Has Many Eyes: A Personal Narrative. NY.: Norton, 1973. С 163.

[117] Именно во время этого выступления Хрущев рассказал уже процитированную нами историю о том, как во время Гражданской войны останавливался на постой в интеллигентном доме, хозяева которого сперва смотрели на него свысока, но потом прониклись уважением к его решимости принести культуру в массы.

[118] НХ2. С. 385. [НХ5. Т. 2. С. 307–308.]

[119] Лицом к лицу с Америкой. С. 247. Пленку, отснятую KTLA, автор видел в Музее радио и телевидения в Нью-Йорке. Эпизод закончился тем, что танцовщицы отказались поднимать юбки. Узнав об этом, Эйзенхауэр попросил Лоджа выразить им письменную благодарность.

[120] Из стенограммы встречи Хрущева с лидерами профсоюзов от 20 сентября 1959 года в Уитни // Khrushchev Speaks. С. 342–343.

[121] НХ2. С. 386. [НХ5. Т. 2. С. 309.]

[122] Беседа автора с Александром Акаловским.

[123] Лицом к лицу с Америкой. С. 250; *Лодж.* Storm. С. 166.

[124] *Лодж.* Storm. С. 165–166. Хрущев говорил правду — об этом см.: *Эндрю К., Гордиевский О.* KGB: the Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev. NY.: Harper Collins, 1990. С 450–455.

[125] НХ2. С. 388. [НХ5. Т. 2. С. 310.]

[126] Лицом к лицу с Америкой. С. 253.

[127] НХ2. С. 388. [НХ5. Т. 2. С. 310–311.] См. также: *Лодж.* Storm. С. 167. Лодж, заранее просмотревший текст речи, просил мэра исключить этот пассаж, объясняя, что Хрущев воспримет это как оскорбление от имени правительства США.

[128] Khrushchev in America. С. 119–121.

[129] СХ2. С. 358; *Лодж.* Storm. С. 167; *Робертс.* First Rough Draft. С. 159.

[130] НХ2. С. 389. [НХ5. Т. 2. С. 312.]

[131] СХ2. С. 358; НХ2. С. 389. Рада Аджубей настаивает, что гнев ее отца был «совершенно искренним». Беседа автора с Радой Аджубей, июнь 1991-го.

[132] *Аджубей.* С. 222.

[133] *Лодж.* С. 169–170; Лицом к лицу с Америкой. С. 242.

[134] *Робертс.* С. 160.

[135] Кристофер рассказывает, что «разбил лед» на вокзале, шутливо заметив, что «настоящими главами» советской

делегации и комитета по встрече являются Нина Петровна Хрущева и миссис Кристофер. В ответ на это Хрущев с улыбкой сказал: «А вы мне нравитесь! Вы совсем другой». Письмо Кристофера Сергею Хрущеву от 9 июля 1999 года.

[136] СХ4. С. 334. По возвращении в Москву Хрущев распорядился переделать столы в заведениях общепита по образцу столовой «Ай-би-эм», а кроме того, организовать магазины самообслуживания по образцу того, что ему показали в Сан-Хосе.

[137] Стенограмма встречи в собрании Уолтера Рейтера. Государственный университет Уэйн. Детройт, Мичиган.

[138] Наше изложение основывается на: FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 35–53; FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 459–485, а также: *Бешлосс.* Mayday.

[139] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 35–41.

[140] FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 467–468.

[141] *Кистяковски Дж. Б.* A Scientist in the White House: The Private Diary of President Eisenhower's Special Assistant for Science and Technology. Cambridge: Harvard University Press, 1976. С 90.

[142] Там же. С. 93.

[143] Там же. С. 91, 93.

[144] Там же. С. 92.

[145] Там же. С. 93.

[146] FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 470–476. См. также: *Бешлосс.* Mayday. С. 209.

[147] FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 479.

[148] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 42.

[149] Когда Хрущев спросил, что президент имеет в виду под «давлением», Эйзенхауэр ответил: «Ситуацию, в которой одна из сторон готова предпринимать односторонние действия без учета мнения других государств». Хрущев заявил в ответ, что «никогда не стремился давить на своих партнеров». FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 44.

[150] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 47.

[151] *Эйзенхауэр Д. Д.* С. 447.

[152] НХ2. С. 212. [НХ5. Т. 2. С. 369.]

[153] Трояновский позже охарактеризовал результаты переговоров как «неоднозначные». Громыко, обиженный на Хрущева, утверждал, что «реального сдвига в отношениях не произошло». Сам Хрущев позднее, в мемуарах, изменил свой взгляд на эту поездку, заявив, что и сам был «расстроен» ее результатами, хотя и не так, как Эйзенхауэр: «Я ехал в Соединенные Штаты без всяких иллюзий, прекрасно понимая, что о заключении соглашения думать еще рано». См.: *Трояновский.* С.

218; *Громыко А. А.* Памятное. М.: Политиздат, 1988. Т. 1. С. 379; НХ2. С. 412.

[154] *Аджубей.* С. 223.

[155] Khrushchev in America. С. 216.

[156] СХ4. С. 346.

[157] Правда. 1960. 5 февраля. С. 1.

[158] *Бешлосс.* Mayday. С. 228–229; СХ3. Т. 1. С. 477–478.

[159] Беседы автора с Владимиром Тумановым, ноябрь 1986-го и июнь 2000-го.

[160] СХ3. Т. 1. С. 476–478.

ГЛАВА XVI

[1] СХ3. Т. 2. С. 12–13; СХ4. С. 369–370.

[2] О предыдущих полетах самолетов У-2 над советской территорией и в непосредственной близости от советских границ подробнее см.: *Холл.* The Truth About Overflights. С. 25–39.

[3] Цит. по: *Биссел-мл. Р.,* руководитель программы У-2 в ЦРУ. Reflections of a Cold Warrior: From Yalta to the Bay of Pigs. New Haven: Yale University Press, 1996. С 123.

[4] СХ3. Т. 1. С. 484.

[5] СХ4. С. 365–367; *Михайлов Г. А., Орлов А. С.* Тайны закрытого неба // Новая и новейшая история. 1992. № 6. С. 105.

[6] Так Хрущев охарактеризовал мышление империалистов в своей речи, произнесенной на заседании Верховного Совета СССР 5 мая 1960 года и опубликованной в «Правде» 6 мая 1960 года. С. 5.

[7] СХ3. Т. 2. С. 8–10; *Михайлов, Орлов.* С. 106.

[8] *Бешлосс.* Mayday. С. 241–242; *Биссел.* С. 125–126.

[9] *Михайлов, Орлов.* С. 107; СХ4. С. 372–373.

[10] *Михайлов, Орлов.* С. 107; СХ3. Т. 2. С. 20–21, 27.

[11] *Михайлов, Орлов.* С. 108.

[12] СХ3. Т. 2. С. 23.

[13] Там же.

[14] *Харви М.-Г. А.* Conversation with Khrushchev: The Beginning of His Fall from Power//Life. 1970. 18 декабря. С. 48В.

[15] Телеграмма посла США в Госдепартамент от 2 января 1960 года. FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 162.

[16] Пресс-конференция де Голля 10 ноября 1959 года // Documents on International Affairs, 1959 / Под ред. Дж. Кинг. London: Oxford University Press, 1963. С. 463.

[17] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 218–219.

[18] *Макмиллан Г.* Pointing the Way: 1959–1961. NY.: Harper & Row, 1972. С 94–95.

[19] Запись беседы в Елисейском дворце от 21 декабря 1959 года // PRO/PREM 11/2991. Далее в той же беседе Макмиллан заметил, что «Хрущев — человек без всякого образования и воспитания и потому очень обидчив». — «В самом деле, господина Хрущева можно только пожалеть, — отвечал де Голль. — Большую часть жизни его оскорбляли, унижали и обращались с ним без всякого уважения: по-настоящему достойное положение он занял только сейчас».

[20] *Макмиллан.* С. 179, 191, 195.

[21] *Голль Ш. де.* Memoirs. С. 243.

[22] *Гриневский.* Тысяча и один день. С. 102, 113.

[23] Меморандум Хрущева от 8 декабря 1959 года цит. по: *Зубок В.* Khrushchev's 1960 Troop Cut: New Russian Evidence // CWIH PB, № 8–9 (зима 1996/97). С. 416–420.

[24] FRUS, 1958–1960. Т. 10. Ч. 1. С. 499.

[25] Отчет Томпсона о праздновании Нового года в Кремле с анализом замечаний Хрущева см.: FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 159–161, 162–165. Эту сцену также описывает Гриневский. С. 118–119.

[26] Беседа автора с Борисом Клоссоном. См. также: *Гриневский.* С. 119–122.

[27] FRUS, 1958–1960. Т. 10. С. 507–509.

[28] СХЗ. Т. 1. С. 478.

[29] В своих воспоминаниях Хрущев жалуется на то, что из-за своего «несколько театрального характера» индонезийский президент Сукарно устроил ему чересчур помпезный прием: однако, будучи в Индонезии, он не возражал. См.: НХ2. С. 304–305, 313–314. [НХ5. Т. 3. С. 371.]

[30] См.: *Александров-Агентов.* С. 105.

[31] *Аджубей.* С. 230.

[32] НХ2. С. 439–442. [НХ5. Т. 2. С. 399, 415.]

[33] Запись беседы президента де Голля и премьер-министра в Букингемском дворце от 5 апреля 1960 года // PRO, PREM 11/2978.

[34] Советская стенограмма переговоров Хрущева и де Голля. Цит. по: Н. С. Хрущев — Шарль де Голль: встречи в Париже, 1960 г.// Исторический архив. 1996. № 1. С. 27–40 и № 2 (1996). С. 105–132. [НХ5. Т. 2. С. 399.]

[35] НХ2. С. 429. [НХ5. Т. 2. С. 390.]

[36] Там же. С. 428. [НХ5. Т. 2. С. 396.]

[37] Правда. 1960. 29 марта. С. 1.

[38] Там же. С. 2.

[39] *Аджубей.* С. 229.

[40] FBIS, 5 апреля 1960 г. С. ВВ5.

[41] *Трояновский.* С. 220–222. См. также: *Гриневский.* С. 123–129, 144–158.

[42] *Александров-Агентов.* Брежнев и Хрущев. С. 39.

[43] DSB. Т. 42. № 1087 (25 апреля 1960). С. 635–640; № 1089 (9 мая 1960). С. 723–729.

[44] *Бешлосс.* Mayday. С. 240.

[45] Правда. 1960. 26 апреля. С. 5.

[46] *Трояновский.* С. 221.

[47] *Бурлацкий.* Хрущев. С. 156–157; *Арбатов Г.* The System: An Insider's Life in Soviet Politics. NY.: Times Books, 1992. С 96. Стуруа сообщил о своем мнении на конференции, посвященной столетию

со дня рождения Хрущева, в университете Браун в декабре 1994 года. См. также: СХ4. С. 381–382.

[48] *Бешлосс.* Mayday. С. 39.

[49] *Хейкал.* С. 112–113.

[50] При этом Хрущев отчасти признал шаткость своей позиции по вопросу разоружения: «Некоторые товарищи могут спросить: „Не слишком ли мы спешим отменять налоги и вкладывать средства в развитие легкой промышленности? Не ослабляем ли мы этим… обороноспособность нашей страны?“»

[51] Беседа автора с Владимиром Тумановым, июнь 2000-го.

[52] Об этой сцене рассказывала Присцилла Джонсон Макмиллан на конференции в университете Браун в декабре 1994 года. Речь Хрущева была опубликована в «Правде» от 6 мая 1960 года. С. 5.

[53] Беседа автора с Присциллой Джонсон Макмиллан. Наше изложение основывается также на неопубл. рукописи Присциллы Джонсон Макмиллан «How They Took the Bad News», предоставленной ею автору.

[54] Поначалу Хрущев был «в ярости»: он приказал уволить Малика с занимаемой должности и исключить из партии, однако затем, смягчившись, ограничился требованием публичного «покаяния» провинившегося. Оно состоялось в переполненном конференц-зале МИДа: кающийся грешник лепетал со сцены: «Товарищи, я никогда раньше не выдавал государственных тайн!» — а его коллеги прикрывали рты руками, чтобы сдержать смех. Реакцию своего отца описывает Сергей Хрущев в: СХ3. Т. 2. С. 25. О дальнейшей судьбе Малика рассказывает Аркадий Шевченко в «Breaking with Moscow» (NY.: Knopf, 1985). С. 94. См. также: *Трояновский.* Через годы. С. 223–224; *Гриневский.* С. 217–222.

[55] Правда. 1960. 8 мая. С. 2; *Болен.* Witness to History. С. 466.

[56] *Трояновский.* Через годы. С. 225.

[57] FRUS, 1958–1960. Т. 10. С. 515.

[58] Там же. С. 252–253.

[59] Правда. 1960. 10 мая. С. 1.

[60] О своих контактах с советскими генералами Томпсон рассказывал позднее, на заседаниях Комитета национальной безопасности, посвященных решению Карибского кризиса. Советские военные старались «успокоить» Томпсона, тем самым подразумевая, что и Хрущеву неплохо было бы успокоиться. См.: *Мэй Э. Р., Зеликоу Ф.* The Kennedy Tapes: Inside the White House During the Cuban Missile Crisis. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1997. С. 151.

[61] FRUS, 1958–1960. Т. 10. С 519–520, без упоминания цитаты. Цит. по: *Сейлсбери Г. Э.* A Journey for Our Times: A Memoir. NY.:

Harper&Row, 1983. С 489–490.

[62] *Бешлосс.* Mayday. С. 257–258.

[63] СХ3. Т. 2. С. 26.

[64] СХ3. Т. 2. С. 36.

[65] НХ2. С. 448. [НХ5. Т. 2. С. 429.]

[66] Правда. 1960. 13 мая. С. 1–2; *Джонсон.* Цит. рук. С. 18. Хрущев так опасался нагнетания международной напряженности, что иностранным журналистам не разрешали передавать сообщения, пока они не получили на руки отцензурированную официальную стенограмму речи, из которой исчезло упоминание о том, что Хрущев «потрясен» поведением Эйзенхауэра и изменил свое мнение о президенте. См.: *Бешлосс.* Mayday. С. 261–263.

[67] Беседа автора с Присциллой Джонсон Макмиллан; *Джонсон.* Цит. рук. С. 17–19.

[68] *Трояновский.* Через годы. С. 225. Неудивительно, что американцы также не понимали, состоится ли саммит. Сотрудники ЦРУ склонялись к мысли, что состоится, посол Томпсон — что нет. См.: *Бешлосс.* С. 266.

[69] СХ3. Т. 2 С. 32

[70] НХ2. С. 451.'[НХ5. Т. 2. С. 430.]

[71] *Трояновский.* Через годы. С. 225–226; *Гриневский.* С. 250.

[72] НХ2. С. 452. [НХ5. Т. 2. С. 432.]

[73] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 422; *Голль Ш. de.* Memoire. С. 248; *Бешлосс.* С. 277.

[74] Запись беседы между премьер-министром и господином Хрущевым в посольстве Великобритании от 15 мая в 16.30 // PRO. PREM 11/2992. С. 15. См. также: *Макмиллан.* Pointing the Way. С. 202.

[75] *Голль Ш. де.* С. 248; FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 417–422, 433, 435.

[76] Помещение, где проходили переговоры, описывает американский переводчик Вернон Э. Уолтерс «Silent Missions» (Garden City. NY.: Doubleday, 1978). С 342. См. также: *Бешлосс.* С. 263. О том, кто — Эйзенхауэр или Хрущев — первым дал понять, что не намерен пожимать противнику руку, мнения расходятся: См.: *Уолтерс.* С. 343; НХ2. С. 454; *Громыко.* Т. 1.С. 380.

[77] *Макмиллан.* Pointing the Way. С. 205.

[78] НХ2. С. 454. [НХ5. Т. 2. С. 433.]

[79] *Уолтерс.* С. 344. См. также: *Гриневский.* С. 270.

[80] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 444–445.

[81] *Уолтерс.* С. 344; НХ2. С. 455. [НХ5. Т. 2. С. 434.]

[82] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 444–445.

[83] Там же. С. 445.

[84] FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 448–452.

[85] *Бешлосс.* С. 290, 292, 295; Конференция глав государств и правительств // PRO, PREM 11/2992. С. 34; FRUS, 1958–1960. Т. 9. С. 470, 475; *Хорн.* Macmillan. Т. 2. С. 228; *Джирсон.* С. 25–26.

[86] *Макмиллан.* С. 210. Конференция глав государств и правительств. С. 41–46.

[87] *Уолтерс.* С. 347.

[88] *Бешлосс.* С. 306. Самому Хрущеву далеко не всегда удавалось угадывать настроение и желания своих оппонентов. Он верно разгадал настроение Макмиллана, но ничего не понял в настроении де Голля, который, по его мнению, «больше сожалел о случившемся. Видимо, он возлагал большие надежды на совещание, чем Макмиллан. Это чувствовалось». НХ2. С. 460. [НХ5. Т. 2. С. 437.]

[89] Правда. 1960. 19 мая. С. 2. См. также: *Бешлосс.* С. 299.

[90] *Сульцбергер.* Last of the Giants. С. 669.

[91] *Гаевский С.* Как Никита Сергеевич встречу в верхах сорвал // Киевские новости. 1993. № 1. «Если бы Хрущев просто не поехал в Париж, — замечает Гаевский, — все было бы нормально». Но когда он приехал, а затем «взорвал бомбу», «я был потрясен, как и другие мои коллеги-дипломаты».

[92] *Сульцбергер.* С. 672–673.

[93] Цит. по: *Эйзенхауэр Дж. Д.* Strictly Personal. С. 294.

[94] *Флойд Д.* Mao Against Khrushchev: A Short History of the Sino-Soviet Conflict. NY.: Praeger, 1964. С 82–83.

[95] Правда. 1960. 21 мая. С. 1–2.

[96] Интервью Александра Шелепина и Владимира Семичастного Николаю Барсукову (27 марта и 22 мая 1989 г.) // Неизвестная Россия: XX век. С. 282.

[97] Беседа автора с Олегом Трояновским, февраль 1993-го.

[98] *Микоян.* С. 605; *Трояновский.* Через годы. С. 228.

[99] СХ4. С. 391.

[100] НХ2. С. 461. [НХ5. Т. 2. С. 439.]

[101] Выступление перед московскими рабочими от 28 мая 1960 года // Правда. 1960. 29 мая. С. 1–2.

[102] Правда. 1960. 4 июня. С. 2.

[103] *Хрущев.* О внешней политике. С. 181; FBIS, 11 июля 1960 г. С. СС6.

[104] Записка Шелепина от 7 июня 1960 года цит. по: *Зубок В.* Spy vs. Spy. The KGB vs. the CIA, 1960–1962 // CW1HPB, № 4 (осень 1994). С. 22–33.

[105] Поведение Алексея Аджубея. Записка ЦРУ, от Ричарда Хелмса Хью С. Каммингсу-мл., цензурированная версия. Папка № 14. Ящик 126. POF, JFKL.

[106] *Крэнкшоу Э.* The New Cold War: Moscow vs. Pekin.

Harmondsworth, U.K.: Penguin Books, 1963. С 105.

[107] *Крэнкшоу*. С. 107, с пропуском наиболее грубых выражений. Точные выражения Хрущева цитировались на конференции в Пекине в октябре 1997 года.

[108] Обращение ЦК КПК к ЦК КПСС от 29 февраля 1964 года цит. по: Survey of the Sino-Soviet Dispute: A Commentary and Extracts from Recent Polemics, 1963–1967 / Под ред. Дж. Гиттингса. London: Oxford, Univerciry Press, 1968. С 139.

[109] Там же. С. 130–131; *Голдстейн.* Sino-Soviet Alliance. С. 54–55.

[110] Беседа автора со Степаном Червоненко.

[111] *Александров-Агентов.* Brezhnev and Khrushchev. С. 39.

[112] Об этом Делюсин рассказывал на конференции в Пекине в октябре 1997 года.

[113] Во время подготовки к конференции Хрущев и Дэн Сяопин неоднократно вступали в спор на повышенных тонах. Во время самой конференции Хрущев довольно резко атаковал Мао, впрочем, не называя его напрямую; на это Дэн Сяопин отвечал, что Хрущев, «по-видимому, сам не понимает, о чем говорит, как это слишком часто с ним случается». В другой раз Дэн Сяопин презрительно заметил, что в борьбе за мир коммунистам следует полагаться на собственных союзников, мировое коммунистическое движение и народы развивающихся стран, а не на «двух или трех буржуазных политиков». См.: *Крэнкшоу*. The New Cold War. С. 117, 133.

[114] На конференции в Пекине в октябре 1997 года.

[115] СХ3. Т. 2. С. 56; *Трояновский.* Через годы. С. 229.

[116] СХ3. Т. 2. С. 62–64.

[117] НХ2. С. 463; СХ4. С. 409. [НХ5. Т. 2. С. 445.]

[118] *Гриневский.* С. 326–327.

[119] НХ2. С. 464. [НХ5. Т. 2. С. 446.]

[120] Среди них были Аджубей, Трояновский, редактор «Правды» Сатюков, помощники Хрущева Шуйский и Лебедев.

[121] Беседа автора с Дмитрием Горюновым.

[122] *Волкогонов.* Семь вождей. Т. 1. С. 404–405.

[123] *Гриневский.* С. 331–332; *Шевченко.* С. 96—101.

[124] НХ2. С. 466. [НХ5. Т. 2. С. 449.]

[125] *Васильев Г.* Самая громкая сессия // Правда. 1990. 6 декабря. С. 5; *Аджубей.* С. 234; *Шевченко.* С. 105; НХ2. С. 466. [НХ5. Т. 2. С. 449.]

[126] См.: *Аджубей.* С. 235.

[127] СХ3. Т. 2. С. 73.

[128] Мы излагаем события в основном согласно отчетам «Нью-Йорк таймс» с 9 сентября по 15 октября 1960 года. О

происшествии с ботинком подробно рассказывает бывший генерал КГБ Николай Захаров, присутствовавший на этом заседании ООН, в интервью «Как Хрущев Америку покорял» (Аргументы и факты. 2000. № 52. С. 12).

[129] Сергей Хрущев приводит рассказ «дипломата или, точнее, человека, который в то время носил другое имя и был приставлен к нам для наблюдения», Георгия Животовского, в СХ3. Т. 2. С. 71–72. В «Нью-Йорк таймс» сообщалось, что во время выступления помощника госсекретаря США Фрэнсиса О. Уилкокса Хрущев снова снял с ноги ботинок, но стучать им по столу не стал.

[130] *Мазуров.* Я говорю только о себе; *Шевченко.* С. 108; *Трояновский.* С. 231.

[131] *Трояновский.* Через годы. С. 231.

[132] В речи, подготовленной для октябрьского пленума 1964 года, ратифицировавшего отставку Хрущева, Дмитрий Полянский указывал на этот инцидент как на «постыдное происшествие, которым он сам, кажется, до сих пор гордится» // Вестник. 1998. № 2. С. 117.

[133] СХ3. Т. 2. С. 57–58.

[134] *Шевченко.* С. 102.

[135] Khrushchev in New York: A Documentary Record of Nikita S. Khrushchev's Trip to New York, September 19 to October 13th, 1960. NY.: Crosscurrent Press, 1960. С 53.

[136] Беседа автора с Георгием Корниенко.

[137] НХ2. С. 479. [НХ5. Т. 2. С. 463.]

[138] Беседы Хрущева с Макмилланом имели место 29 сентября и 4 октября 1960 года. См.: PRO, PREM 11/2981. Визит премьер-министра и министра иностранных дел в Вашингтон и Нью-Йорк, сентябрь-октябрь 1960 года. Т. II: Беседы с г. Хрущевым и г. Громыко. С. 5, 15.

[139] Khrushchev in New York. С. 110.

[140] Там же. С. 153.

[141] Правда. 1960. 21 октября. С. 2, 4.

[142] Khrushchev in New York. С. 196.

[143] Текст интервью — там же. С. 165–184. Пленка с записью интервью хранится в Музее радио и телевидения в Нью-Йорке. Виктор Суходрев, переводчик Хрущева, замечает, что реплику Сасскинда, последовавшую за серией пропагандистских клише Хрущева, следовало бы перевести: «Вы ломитесь в открытую дверь». Однако интервью записывалось «вживую», и Суходрев, не успев подобрать соответствующую русскую идиому, перевел буквально, чем и вызвал раздражение своего патрона. *Суходрев В. М.* Язык мой — друг мой: от Хрущева до Горбачева. М.: АСТ, 1999. С. 52–53. Сасскинд извинился за свою реплику; затем извинился и

Хрущев, выразив надежду, что «не оскорбил» собеседника.

[144] *Гантнер Дж.* Procession. NY.: Harper&Row, 1965. С. 487.

[145] *Суходрев.* С. 49.

[146] НХ2. С. 469, 477. [НХ5. Т. 2. С. 450, 462.]

[147] *Хейкал.* С. 114.

[148] Советский источник, пожелавший остаться неназванным.

ГЛАВА XVII

[1] Записка Президиуму от 5 августа 1960 года и выступление в Калиновке 27 августа 1960 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 4. С. 137–150; 151–161.

[2] Записка Президиуму от 20 октября 1950 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 4. С. 160–184.

[3] См.: *Стреляный.* Последний романтик. С. 213.

[4] Правда. 1961. 21 января. С. 2.

[5] Там же. С. 4.

[6] Там же. С. 2.

[7] Правда. 1961. 19 февраля. С. 3.

[8] Об эпизоде в Казахстане рассказывает Волкогонов (Семь вождей. Т. 1. С. 402). Запись разговора в передаче корреспондента ТАСС хранится в Собрании Волкогонова.

[9] Правда. 1961. 1 марта. С. 2.

[10] НХ1. С. 454; СХ3. Т. 2. С. 92.

[11] СХ3. Т. 2. С. 92.

[12] Советская стенограмма переговоров Хрущева и Ульбрихта цит. по: *Харрисон.* Ulbricht and the Concrete «Rose». Приложение А.

[13] См.: *Харрисон.* Приложение В.

[14] Там же. С. 32.

[15] Там же. С. 32. Приложение С.

[16] *Бешлосс.* Mayday. С. 340; *Бешлосс.* Crisis Years. С. 33–35; НХ2. С. 489–491.

[17] СХ3. Т. 2. С. 88; НХ2. С. 491. [НХ5. Т. 2. С. 479.]

[18] Записка цит. по: CWIHPB. № 4 (осень 1994). С. 65–67.

[19] Об отзывах Аджубея и Меньшикова сообщил в беседе с автором Георгий Корниенко. О замечании Меньшикова см.: *Лебоу, Стейн.* We All Lost the Cold War. С 72.

[20] *Бешлосс.* Crisis Years. С. 34.

[21] Там же. С. 37.

[22] См.: *Гамильтон* Я. JFK: Restless Youth. NY.: Random House, 1992. С 42—158; *Херш С.* The Dark Side of Camelot. Boston: Little, Brown, 1997. С 13–60.

[23] Письмо Гарримана Джону Ф. Кеннеди от 15 ноября 1960 года. JFKL.

[24] То же, от 22 ноября 1960 года. JFKL.

[25] То же.

[26] Записка о беседе с послом Меньшиковым от 21 ноября 1960 года. JFKL.

[27] *Бешлосс.* Crisis Years. С. 49, 54.

[28] Беседа с послом Меньшиковым от 14 декабря 1960 года.

JFKL; *Бешлосс.* С. 42.

[29] Беседа с послом Меншиковым от 14 декабря 1960 года. JFKL.

[30] FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 9–12.

[31] *Бешлосс.* С. 49, 54.

[32] Коммунист. 1961. № 1. С. 16–19; № 2. С. 8–15, 24.

[33] *Шлезингер А. М.* A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House. Boston: Houghton Mifflin, 1965. С. 302–303; *Бешлосс.* С. 60–61.

[34] Два дня спустя президент попытался отыграть назад, заявив на пресс-конференции: «Было бы преждевременно делать заключения о том, уязвима ли наша оборонная система для ракет потенциального противника». Об отсутствии пробелов в системе обороны было официально объявлено лишь в октябре 1961 года. Стоит добавить, что уязвимость США для советских ракет изначально была важным положением в речах демократических ораторов, в том числе сенатора Джона Ф. Кеннеди.

[35] См.: *Бешлосс.* С. 65–66.

[36] *О'Доннел К. П., Пауэрс Д.* Johnny We Hardly Knew Ye: Memories of John Fitzgerald Kennedy. Boston: Little, Brown, 1972. С 286. См. также: *Бешлосс.* С. 70, 77.

[37] *Трояновский.* Через годы. С. 233–234.

[38] Правда. 1961. 4 марта. С. 3.

[39] FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 94. См. также: *Бешлосс.* С. 80–81.

[40] FRUS, 1961–1963. Т. 14. С. 7.

[41] Там же. С. 18.

[42] *Бешлосс.* С. 175.

[43] FRUS, 1961–1963. Т. 14. С. 30.

[44] *Стил Р.* Walter Lippman and the American Century. Boston: Little, Brown, 1980. С. 526–528; Conversations with Walter Lippman. Boston: Little, Brown, 1965. С 51; *Бешлосс.* С. 110–112, 176. Советская стенограмма переговоров хранится в Собрании Липмана, Йельский университет.

[45] FRUS, 1961–1963. Т. 14. С. 68.

[46] СХ4. С. 416–425. См. также: *Волкогонов.* Семь вождей. Т. 1. С. 389–390.

[47] *Бешлосс.* С. 112–113.

[48] Правда. 1961. 13 апреля. С. 2.

[49] СХ3. Т. 2. С. 100–101.

[50] По свидетельству Аджубея, когда Гагарин шел по красному ковру, у него развязались шнурки на ботинках: сам он шел осторожно, и журналисты с трепетом следили за тем, чтобы он не наступил на шнурок и не упал. См.: *Аджубей.* С. 275.

[51] Правда. 1961. 15 апреля. С. 2.

[52] Цит. по: *Волкогонов.* Семь вождей. Т. 1. С. 396.

[53] СХЗ. Т. 2. С. 58–61.

[54] *Трояновский.* Через годы. С. 233.

[55] *Бешлосс.* С. 121.

[56] Правда. 1961. 19 апреля. С. 1; 23 апреля. С. 3.

[57] СХЗ. Т. 2. С. 102–106.

[58] *Трояновский.* Через годы. С. 233–234.

[59] Цит. по: *Бешлосс.* С. 143–144.

[60] *Ривз Р.* President Kennedy: Profile of Power. NY.: Simon & Shuster, 1993. С 99.

[61] Там же. С. 286.

[62] См.: *Бешлосс.* С. 180; *Ривз.* С. 136; FRUS, 1961–1963. Т. 14. С. 68.

[63] Со слов Хью Сайди цит. по: *Ривз.* С. 136.

[64] FRUS, 1961–1963. Т. 14. С. 81; *Ривз.* С. 142; *Бешлосс.* С. 183.

[65] См.: *Бешлосс.* С. 178–191; *Ривз.* С. 42–44, 158–159; *Херш.* С. 236.

[66] См.: *Бешлосс.* С. 224–225; *Рестон Дж.* Deadline: A Memoir. NY.: Random House, 1991. С. 290–291.

[67] *Макмиллан.* Pointing the Way. С. 356–357.

[68] *Бешлосс.* С. 234.

[69] СХЗ. Т. 2. С. 112.

[70] НХ1. С. 458; НХ2. С. 491–498. [НХ5. Т. 2. С. 481–483.]

[71] *Добрынин.* In Confidence. С. 44.

[72] *Трояновский.* Через годы. С. 234.

[73] Здесь автор приводит мнение американского дипломата Владимира Туманова, высказанное в беседе с ним в июне 2000 года.

[74] FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 174–175.

[75] *Корниенко Г.* Холодная война: свидетельство ее участника. М.: Международные отношения, 1994. С. 58.

[76] См. замечания Александрова-Агентова в: От Коллонтай до Горбачева. С. 108.

[77] FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 187. См. также: *Бешлосс.* С. 202.

[78] *О'Доннел, Пауэрс.* С. 195; *Бешлосс.* С. 196.

[79] *Бешлосс.* С. 199.

[80] FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 187. См. также: *Бешлосс.* С. 202.

[81] См.: *Грэхем К.* Personal History. NY.: Knopf, 1997. С. 287.

[82] НХ2. С. 498–499. [НХ5. Т. 2. С. 486.] См. также: *Бешлосс.* С. 205–209. Вот что еще писал Хрущев о Жаклин Кеннеди: «Журналисты всегда выставляли ее красавицей, завораживающей своей красотой мужчин, но на меня она не произвела подобного впечатления. Да, молодая, энергичная, приятная, но без особого блеска… Впрочем, меня как главу советского государства

совершенно не трогало, какова она. Это дело мужа. Если ему нравится, на здоровье и ему, и ей». См.: НХ4. 1993. № 10. С. 65. [НХ5. Т. 2. С. 486.]

[83] FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 208–209.

[84] *Корниенко.* С. 63; FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 223.

[85] FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 229–230.

[86] Цит. по: *Херш.* С. 253–254. См. также: *Рестон.* С. 291–292; *Болен.* С. 483.

[87] *Бешлосс.* С. 230–231. См. также: *Ривз.* С. 181–183.

[88] Правда. 1961. 22 июня. С. 4.

[89] Правда. 1961. 29 июня. С. 2.

[90] *Корниенко.* С. 66. См. также: *Бешлосс.* С. 225.

[91] *Бешлосс.* С. 244.

[92] *Берд К.* The Chairman: John J. McCloy and the Making of the American Establishment. NY.: Simon&Shuster, 1992. С. 508; *Бешлосс.* С. 262.

[93] Телеграмма Макклоя госсекретарю США от 29 июля 1961 года. JFKL.

[94] *Эйзенхауэр Дж.* Strictly Personal. С. 293–294, 390–391.

[95] Стенограмма конференции первых секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий социалистических стран 3–5 августа 1961 года. РГАНИ. Полный текст опубликован в: Как принималось решение о возведении Берлинской стены // Новая и новейшая история. 1999. № 2. С. 63–75.

[96] Там же.

[97] *Сахаров.* Memoirs. С. 215–217.

[98] *Харрисон.* Приложения D и F.

[99] См.: *Корниенко.* С. 66–77; *Шлезингер.* С. 385–390.

[100] *Шехтер Дж. Л., Дерябин П. Э.* The Spy Who Saved the World: How a Soviet Colonel Changed the Course of the Cold War. NY.: Scrivener, 1992. С 80, 113, 126, 186, 205, 210.

[101] СХ3. Т. 2. С. 122–128.

[102] *Катудаль О. М.* Kennedy and the Berlin Wall Crisis: A Case Study in U.S. Decision Making. Berlin: Berlin Verlag, 1980. С. 164; *Бешлосс.* С. 264.

[103] НХ2. С. 506. [НХ5. Т. 2. С. 493.]

[104] Правда. 1961. 8 августа. С. 2; 12 августа. С. 3.

[105] *Шевченко.* С. 112.

[106] СХ3. Т. 2. С. 132–135.

[107] *Трояновский.* Через годы. С. 236.

ГЛАВА XVIII

[1] Правда. 1961. 25 июня. С. 4.

[2] Строительство коммунизма в СССР. Т. 5. С. 419–420.

[3] Правда. 1961. 8 августа. С. 1.

[4] Правда. 1961. 11 сентября. С. 3.

[5] *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии. М., Политиздат, 1966. С. 101. С. 29.

[6] Подготовка новой программы и сама программа изложена по двум неопубликованным статьям Николая Барсукова: «Коммунистические иллюзии Хрущева: о разработке третьей программы партии» и «Мысли вслух: замечания Н. С. Хрущева на проект третьей программы КПСС».

[7] *Барсуков.* Коммунистические иллюзии. С. 11, 34–35.

[8] *Бурлацкий.* Khrushchev. С. 130.

[9] Цит. по: *Барсуков.* Мысли вслух. С. 13–16, 51–53, 64–65.

[10] Там же. С. 37–42.

[11] Там же. С. 75–77.

[12] Эту историю Стуруа рассказал на конференции, посвященной столетию со дня рождения Хрущева, проходившей в декабре 1994 года в Браунском университете.

[13] *Барсуков.* Коммунистические иллюзии. С. 13–14.

[14] Правда. 1961. 19 октября. С. 5–6.

[15] *Микоян.* С. 613.

[16] См.: *Алексеев В. А.* Иллюзии и догмы. М.: Изд-во политической лит-ры, 1991. С. 364–365.

[17] Там же. С. 368–375. Беседа автора с Анатолием Красиковым.

[18] Рассказ Шевченко цитируется выше, в главе II.

[19] Текст речи Полянского, подготовленной, но не произнесенной на пленуме в октябре 1964 года, опубликован в статье «Таковы, товарищи, факты» (Источник. 1998. № 2. С. 121).

[20] Правда. 1961. 20 октября. С. 2; 21 октября. С. 2.

[21] См., напр.: *Tatu M.* Power in the Kremlin: From Khrushchev to Kosygin / Пер. Х. Кейтел. NY.: Viking Press, 1969. С 151–164.

[22] Беседа автора с Петром Демичевым. Выступление Егорычева на конференции, посвященной столетию со дня рождения Хрущева, в декабре 1994 года в Браунском университете.

[23] *Барсуков.* Мысли вслух. С. 6, 69–72.

[24] Правда. 1961. 27 октября. С. 7; 29 октября. С. 2.

[25] Там же. 31 октября. С. 1–2.

[26] Цит. по: *Медведев Р.* Khrushchev. С. 211.

[27] Цит. по: *Tatu.* С. 181–184.

[28] Ср.: СХ4. С. 463 и *Бурлацкий.* С. 133.

[29] Согласно выступлению Сатюкова, Молотов называл новую программу «контрреволюционной», «пацифистской» и «ревизионистской», заявляя, что Ленин никогда не верил в «мирное сосуществование», и призывал партию поддержать «революционную борьбу рабочего класса» по всему миру. Аджубей обвинил Молотова в «клеветнической болтовне об „уступках“ капиталистам». См.: Правда. 1961. 27 октября. С. 7 и 28 октября. С. 5. Позднейшие отзывы Молотова о программе см.: *Чуев.* Сто сорок… С. 355, 501. См. также: *Аджубей.* С. 247.

[30] Эту сцену описывает Аджубей. С. 248–249.

[31] Некоторые сюрпризы, которые преподнес членам Президиума список Хрущева, вполне укладывались в его обычную политику. Из Президиума были выведены трое протеже Хрущева: Кириченко, Мухитдинов и Фурцева. Это, по-видимому, указывало на то, что глава государства чувствовал себя в полной безопасности и не затруднялся наказывать «своих людей», если те чем-либо вызвали его недовольство. По рассказу Аджубея, Фурцева выбежала из зала в слезах («Что это за партийная позиция? — съязвил по этому поводу безжалостный Суслов. — У нас партия или институт благородных девиц?»). Далее Аджубей рассказывает, что Фурцева даже помышляла о самоубийстве, но восстановила душевное равновесие, когда Хрущев назначил ее министром культуры.

См.: *Аджубей.* С. 248–249. Микоян добавляет, что у Фурцевой случился сердечный приступ (С. 600).

[32] Для достижения целей, обозначенных в программе, необходимо было увеличить общее производство сельскохозяйственных продуктов на 150 % за следующие десять лет и на 250 % — за двадцать лет. Производство зерна в первое десятилетие должно было быть увеличено вдвое, а мяса — втрое. См.: Правда. 1961. 2 ноября. С. 5–6.

[33] *Медведев Р.* Khrushchev. С. 166. См. также: «Объединяйтесь вокруг Христа: большевики повысили цены»: отношение населения СССР к повышению цен на продукты питания в 1962 г. // Неизвестная Россия: XX век. Т. 3 (1993). С. 145; *Бешлосс.* Crisis Years. С. 356.

[34] Правда. 1961. 19 ноября. С. 1.

[35] Известия. 1961. 22 ноября. С. 3.

[36] Правда. 1961. 29 ноября. С. 1–3. См. также: *Медведев Р.* С. 167–168.

[37] Правда. 1961. 16 декабря. С. 1–3.

[38] Правда. 1962. 16 января. С. 1–3.

[39] См.: *Томпсон.* Khrushchev. С. 244; *Тату.* С. 215–216.

[40] К новым административным учреждениям приписывались лучшие агрономы области; функционеры для руководства ими присылались из областных центров или из Москвы. Предполагалось, что новая администрация начнет творить чудеса: однако реально возникло дублирование обязанностей и бюрократическая путаница, из-за которой управление сельским хозяйством сильно затруднилось. Об этом см.: *Медведев Р.* С. 169–170.

[41] См.: *Медведев Р.* Khrushchev. С. 170–171; *Волкогонов.* Семь вождей. Т. 1. С. 386; *Козлов.* Массовые беспорядки. С. 231.

[42] *Аджубей.* С. 278. Беседа автора с Олегом Трояновским.

[43] См.: *Волкогонов.* Семь вождей. С. 386–387; Объединяйтесь вокруг Христа… С. 146; Новочеркасская трагедия, 1962 // Исторический архив. 1993. № 1. С. ПО.

[44] Наиболее полный рассказ о новочеркасских событиях можно найти в: *Козлов.* Массовые беспорядки. С. 301–383.

[45] Доклад в ЦК КПСС заместителя председателя КГБ П. Ивашутина от 7 июня 1962 года. РГАНИ. См. также: Оттепель: 1960–1962. М.: Московский рабочий, 1990. С. 503–504.

[46] Письмо к автору от Вадима Макаревского, офицера, служившего в войсках, участвовавших в подавлении новочеркасских беспорядков, от 16 ноября 1992 года. «Оттепель: 1960–1962» (С. 503) предлагает немного другую версию происшедшего. Козлов (Массовые беспорядки. С. 309) пишет, что директор предложил рабочим есть «пирожки с ливером».

[47] Доклад П. Ивашутина. РГАНИ.

[48] Там же. С. 3. В «Оттепель: 1960–1962» (С. 504) цитируются воспоминания одного из демонстрантов, позднее приговоренного к двадцати годам тюремного заключения. Макаревский в письме к автору приводит лозунг «Хрущева на мясо!».

[49] Доклад П. Ивашутина. РГАНИ;

[50] Там же. С. 7.

[51] Доклад П. Ивашутина от 1 июня 1962 года. РГАНИ.

[52] См.: *Юрий Багаев* (помощник генерального военного прокурора России) и *Владислав Павлюткин* «Новочеркасск, 1962: трагедия на площади» (Красная звезда. 1995. 7 октября. С. 7). В этой статье, основанной на материалах повторного расследования, проведенного военной прокуратурой СССР в 1990–1991 годах, подробно описываются действия обеих сторон.

[53] *Аджубей.* С. 285.

[54] *Микоян.* С. 610.

[55] Беседа автора с Вадимом Макаревским.

[56] См.: *Багаев, Павлюткин; Беспалов Ю., Коновалов В.*

Новочеркасск, 1962 // Комсомольская правда. 1989. 2 июня. С. 4. См. также: *Волкогонов.* С. 388; Новочеркасская трагедия. С. 110–111; Доклады П. Ивашутина от 7 и 12 июня 1962 года; Доклад Семичастного Хрущеву от 14 июня. РГАНИ.

[57] Беседа автора с Вадимом Макаревским; Доклад П. Ивашутина от 7 июня 1962 года; *Микоян.* С. 610–611. Первый заместитель Плиева генерал М. К. Шапошников вспоминает, что Плиев приказал ему остановить демонстрантов, и когда Шапошников возразил, что для этого у него недостаточно людей, Плиев ответил: «Я отправил вам танки! Атакуйте их!» Атаковать гражданских, в том числе женщин и детей, танками?! Шапошников не верил своим ушам; однако Плиев повторил приказ, а затем подтвердил его письменно: «Используйте орудия!» См.: Оттепель: 1960–1962. С. 504.

[58] Доклад П. Ивашутина от 7 июня 1962 года. С. 7.

[59] Текст обращения Козлова от 3 июня 1962 года хранится в РГАНИ.

[60] *Волкогонов.* С. 388. Директор завода, не сумевший предотвратить забастовку, был уволен с занимаемой должности.

[61] См.: *Козлов.* С. 258–287.

[62] Беседа автора с Вадимом Макаревским; СХ4. С. 501; *Аджубей.* С. 285–286.

[63] Правда. 1962. 3 июня. С. 2.

[64] Доклад В. Е. Семичастного Н.С.Хрущеву от 4 июня 1962 года. Цит. по: Неизвестная Россия: XX век. Т. 3. С. 166–169.

[65] Речь в Калиновке 28 июня 1962 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 7. С. 111–112.

[66] Доклады от 4 августа и 5 сентября. Там же. С. 126, 151.

[67] Так объяснил Хрущев причины своих действий Фиделю Кастро, прибывшему в Советский Союз с визитом в январе 1963 года. Беседа с Николаем Леоновым, переводчиком на переговорах двух лидеров. Москва, август 1993 года.

[68] СХ2. С. 20.

[69] *Александров-Агентов.* Брежнев и Хрущев. С. 39.

[70] *Воронов.* Немного воспоминаний. С. 199.

[71] Беседа с Шелепиным и Семичастным Николая Барсукова. С. 277.

[72] Там же. С. 298.

[73] Беседа с Н. Г. Егорычевым Николая Барсукова. С. 298.

[74] Беседа автора с Николаем Леоновым.

[75] Речь в Ашхабаде 1 октября 1962 года и Ташкенте 3 октября 1962 года//Строительство коммунизма в СССР. Т. 7. С. 215, 220, 232.

[76] *Лакшин.* «Новый мир» во времена Хрущева. С. 54, 57–58.

[77] См.: *Макмиллан П.* Khrushchev and the Arts: The Politics of Soviet Culture. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1965. С 2–4.

[78] О поездке Фроста в Россию см.: *Рив Ф. Д.* Robert Frost in Russia. Boston: Little, Brown, 1963.

[79] См.: *Лакшин.* С. 63.

[80] НХ3. С. 198. [НХ5. Т. 4. С. 278.]

[81] *Лакшин.* С. 76.

[82] О том, как Алексей Аджубей уговорил Хрущева согласиться на публикацию стихотворения Евтушенко, рассказывает Сергей Хрущев. СХ4. С. 709.

ГЛАВА XIX

[1] См.: *Бругони Д. Э.* Eyeball to Eyeball: The Inside Story of Cuban Missile Crisis. NY.: Random House, 1991. С 182–220; FRUS, 1961–1963. Т. 11. С 29–30; *Мэй, Зеликоу.* The Kennedy Tapes. С 45–46; *Ривз.* President Kennedy. С 368–370.

[2] *Бругони.* С. 223; *Мэй, Зеликоу.* С. 60, 88, 99, 107.

[5] FRUS, 1961–1963. Т. 11. С. 97; *Мэй, Зеликоу.* С. 138.

[4] *Мэй, Зеликоу.* С. 236, 254.

[5] Там же. С. 207.

[6] Там же. С. 255. 'Там же. С. 211, 480.

[8] Там же. С. 61, 400, 509.

[9] *Фурсенко, Нафтали.* One Hell of a Gamble. С. 23–24.

[10] Там же. С. 39.

[11] НХ4. 1993. № 7. С. 93. [НХ5. Т. 2. С. 503.]

[12] Цит. у Фурсенко и Нафтали. С. 52.

[13] Там же. С. 71, 85.

[14] См.: НХ4. 1993. № 7. С. 91–94.

[15] Цит. по: *Гартнофф Р. Л.* Reflections on the Cuban Missile Crisis. Washington, D.C.: Brookings Institute, 1989. С 6–9.

[16] См.: FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 357; *Фурсенко, Нафтали.* С. 153.

[17] См.: *Фурсенко, Нафтали.* С. 160–169.

[18] НХ4. 1993. № 7. С. 95. [НХ5. Т. 2. С. 505.]; СХ4. С. 483; *Трояновский.* С. 239–240.

[19] НХ1. С. 494. [НХ5. Т. 2. С. 506.]

[20] См:. *Мэй, Зеликоу.* С. 32–33; *Гартнофф.* С. 21–26.

[21] См.: *Адамский В., Смирнов Ю.* Moscow's Biggest Bomb: The 50-Megaton Test of October 1961. CWIHPB, № 4 (осень 1994). С. 3, 19–21.

[22] См.: *Бругони.* С. 81; *Бешлосс.* Crisis Years. С. 370–371, 407.

[23] *Добрынин.* С. 52.

[24] СХ3. Т. 2. С. 158–159, 164.

[25] *Гэддис.* We Now Know. С. 268; Беседа автора с Сергеем Хрущевым.

[26] *Трояновский.* Через годы. С. 240.

[27] НХ1. С. 494. [НХ5. Т. 2. С. 506–507.]

[28] *Трояновский.* The Making of Soviet Foreign Policy. С 233.

[29] Этот инцидент начался с того, что американского дипломата и его жену, направлявшихся в театр, расположенный в Восточном Берлине, не пропустили через пропускной пункт «Чекпойнт Чарли». Началась эскалация напряженности: личный представитель президента Кеннеди генерал Люсиус Клэй

распорядился установить напротив «Чекпойнт Чарли» десять танков, а русские в ответ выставили десяток своих. 28 октября советские танки были отведены с занятой позиции, а полчаса спустя ушли и американские. Казалось, СССР дрогнул. Однако на самом деле отступлению советских танков предшествовали секретные переговоры, во время которых Кеннеди пообещал Хрущеву, что, если его танки отступят, американские сделают то же. Он был вынужден пойти на мирное решение проблемы, поскольку эскалация была вызвана провокационным поведением генерала Клэя.

Втайне от президента Клэй искал способ разрушить Берлинскую стену. Он возвел на американской военной базе секцию стены аналогичной толщины и состава и пытался снести ее с помощью специальных танков-бульдозеров. СССР знал об этом и расценил появление танков у Берлинской стены как следующий шаг генерала. Подробнее об этом инциденте см.: *Гартнофф Р. Л.* Berlin 1961: The Record Corrected // Foreign Policy. 1991. № 81. С 142–156.

[30] См.: FRUS, 1961–1963. Т. 14. С. 725, 808; Т. 15. С. 72, 91, 114.

[31] *Трояновский.* Через годы. С. 247.

[32] Посол Томпсон расценил это письмо как «резчайшее выражение позиции Хрущева… уничтожающее всякую надежду на решение берлино-германской проблемы в ближайшее время». FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 45–47.

[33] FRUS, 1961–1963. Т. 14. С. 634–635.

[34] *Сэлинджер П.* With Kennedy. Garden City, NY.: Doubleday, 1966. С 230–235.

[35] FRUS, 1961–1963. Т. 14. С 253–254.

[36] Там же. Т. 15. С. 309–310.

[37] Там же. С. 361, 371–372.

[38] Кубинская запись переговоров между Микояном и Кастро от 4 ноября 1962 года. Цит. по публикации в CWIHPB, № 8–9 (зима 1996/97). С. 340.

[39] Беседа автора с Олегом Трояновским, февраль 1999-го.

[40] Стенограммы бесед Хрущева из польских и восточногерманских архивов цит. по публикации в CWIHPB, № 11 (зима 1998). С. 222–229.

[41] *Добрынин.* С. 51–52, 64.

[42] Беседа автора с Николаем Егорычевым, июнь 2000-го.

[43] *Гиттингс Дж.* Survey of Sino-Soviet Dispute. London: Oxford University Press, 1968. С 156–157.

[44] *Трояновский.* Nikita Khrushchev and the Making of the Soviet Foreign Policy: рукопись, подготовленная к публикации. С. 39.

[45] НХ1. С. 499. [НХ5. Т. 2. С. 509.J

[46] См. *Волкогонов.* Семь вождей. Т. 1. С. 420; *Фурсенко, Нафтали.* С. 171.

[47] О разговоре с Микояном рассказывает Серго Микоян в книге Блайта и Уэлша «On the Brink» (С. 238); Анастас Микоян в своих воспоминаниях (С. 606); Хрущев в своих (НХ4. 1993. № 7. С. 97.) [НХ5. Т. 2. С. 508.]

[48] *Корниенко Г.* Холодная война. С. 85; *Блайт, Уэлш.* С. 331; беседа автора с Серго Микояном.

[49] *Алексеев А.* Карибский кризис // Эхо планеты. 1988. № 33. С. 27.

[50] Там же. С. 28.

[51] НХ1. С. 493. [НХ5. Т. 2. С. 505.]

[52] *Поптонев С.* Хрущев и генерал Тошев… // Досье. 1991. Апрель. С. 12.

[53] *Громыко А.* Карибский кризис: о гласности теперь и скрытности тогда // Известия. 1989. 15 апреля. С. 5.

[54] *Грибков, Смит.* Operation Anadyr. С. 7—10.

[55] Там же. С. 14. Сергей Хрущев (СХ3. Т. 2. С. 178–179) рассказывает, в общем, то же самое, но с некоторыми расхождениями в деталях.

[56] *Фурсенко, Нафтали.* С. 181–182.

[57] СХ3. Т. 2. С. 184.

[58] *Блайт, Уэлш.* Cuba on the Brink. С. 197–204.

[59] СХ3. Т. 2. С. 185–187; *Микоян.* С. 606.

[60] *Трояновский.* С. 235.

[61] Там же. Беседа автора с Олегом Трояновским. Москва, апрель 1993 года. *Трояновский.* The Caribbean Crisis: A View from Kremlin // International Affairs. 1992. April-May. С 147. (Через годы и расстояния. С. 238.)

[62] СХ3. Т. 2. С. 179–180.

[63] *Грибков, Смит.* С. 5–7, 24, 26–29.

[64] Там же. С. 25–26.

[65] Наш рассказ основывается в основном на: *Грибков, Смит.* С. 26–57, а также *Фурсенко, Нафтали.* С. 193, 267, 272; НХ4. 1993. № 7. С. 98. Предположение, что роль Хрущева в планировании операции представлялась ему аналогичной роли Сталина во время войны, делает Волкогонов (Семь вождей. Т. 1. С. 423). Отзывы коллег о Плиеве сообщены автору Вадимом Макаревским.

[66] См.: *Фурсенко, Нафтали.* С. 190–193.

[67] Неопубликованное интервью Ричарда Неда Лебоу с адмиралом Николаем Амелько. Москва, декабрь 1991 года. Предоставлено автору мистером Лебоу.

[68] Cuba Between the Superpowers. Стенограмма конференции

на Антигуа. С. 65.

[69] *Грибков, Смит.* С. 52.

[70] *Трояновский.* Caribbean Crisis. С. 150.

[71] *Блайт, Уэлш.* Back to the Brink. С. 84.

[72] Там же. С. 70.

[73] Беседа автора с Алексеем Аджубеем.

[74] *Блайт, Уэлш.* Cuba on the Brink. С. 83–85.

[75] *Гартнофф.* Reflections. С. 24.

[76] *Блайт, Уэлш.* С. 334.

[77] *Лебоу, Стайн.* We All Lost the Cold War. С 77.

[78] Там же.

[79] Цит. по: *Ривз.* С. 347.

[80] Цит. по: *Бешлосс.* С. 413.

[81] Там же. С. 420.

[82] *Фурсенко, Нафтали.* С. 192.

[83] Там же. С. 192, 196, 206.

[84] *Соренсен Т.* Kennedy. NY.: Bantam, 1966. С. 667–668.

[85] Правда. 1961. 12 сентября. С. 2.

[86] *Большаков Г.* The Hot Line: The Secret Communication Channel between John Kennedy and Nikita Khrushchev // New Times. 1989. № 5. С 3–4.

[87] Там же. С. 4.

[88] *Бешлосс.* С. 429, 438–439; *Гартнофф.* С. 28.

[89] Об этом разговоре сообщает Волкогонов в книге «Семь вождей» (Т. 1. С. 424).

[90] *Трояновский.* Через годы. С. 243–244.

[91] *Лебоу, Стайн.* We All Lost. С. 97.

[92] Американские записи переговоров Громыко и Кеннеди опубликованы во FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 533–534; Т. 7. С. 589–591; Т. 11. С. 110–114; Т. 15. С. 370–376. Выдержки из телеграммы Громыко от 18 октября 1962 года опубликованы в CWIHPB, № 8–9 (зима 1996/97). С. 279–282. См. также: *Бешлосс.* Crisis Years. С. 455–458; *Раск Д.* As I Saw lt. Беседы с Ричардом Раском / Под ред. Д. С. Паппа. NY.: Norton, 1990. С. 223.

[93] НХ3. С. 175. [НХ5. Т. 2. С. 517, 613.]

[94] *Громыко.* С. 179.

[95] Телеграмма Громыко от 19 октября 1962 года опубликована в CW1HPB, № 5 (весна 1995). С. 66–77.

[96] СХ3. Т. 2. С. 264.

[97] *Ривз.* С. 386.

[98] *Бешлосс.* С. 481.

[99] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 165–166. [Переписка Хрущева и Кеннеди цитируется по: НХ5. Т. 2, приложение. С. 813–826.]

[100] Цит. по: *Бешлосс.* С. 483–485.

[101] СХЗ. Т. 2. С. 265–266.

[102] Цит. по: *Фурсенко, Нафтали.* С. 240–242. См. также: СХЗ. Т. 2. С. 271.

[103] *Фурсенко, Нафтали.* С. 242–243.

[104] *Трояновский.* Через годы. С. 244–245.

[105] СХЗ. Т. 2. С. 273–274.

[106] См.: *Бешлосс.* С. 489.

[107] *Бешлосс.* С. 489–490; *Ривз*. С. 397–400.

[108] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 168.

[109] Автор имел доступ к текстам телеграмм Добрынина от 23 и 24 октября 1962 года. См. также: *Фурсенко, Нафтали.* С. 252–253; *Добрынин.* С. 81–82.

[110] Громыко не вернул текст телеграмм Добрынина своим помощникам (как делалось обычно), и много лет спустя Добрынин не обнаружил его в архивах. См.: *Добрынин.* С. 82; см. также: *Добрынин А.* Карибский кризис: свидетельство участника // Международная жизнь. 1992. № 7. С. 60.

[111] *Корниенко.* С. 91.

[112] *Добрынин.* In Confidence. С. 83.

[113] Цит. по: *Шлезингер А.* Robert Kennedy and His Times. NY.: Random House, 1978. С 514.

[114] *Мэй, Зеликоу.* С. 347.

[115] The Cuban Missile Crisis, 1962: A National Security Archive Documents Reader / Под ред. Л. Чанга, П. Корнблу. NY.: New Press, 1992. С. 371.

[116] *Ричард Дейвис.* Неопубл. стенограмма устных воспоминаний.

[117] Разумеется, в СССР также была объявлена повышенная боевая готовность. Однако разведка США не заметила «никаких значительных приготовлений к войне». См.: *Фурсенко, Нафтали.* С. 266.

[118] СХЗ. Т. 2. С. 282–288; *Бешлосс.* С. 498.

[119] Очевидно, Хрущев говорил о своем погибшем сыне Леониде, который родился в 1917 году.

[120] *Нокс У.* Close Up to Khrushchev During a Crisis // New York Times Magazine. 1962. 18 ноября. С. 32, 128–129.

[121] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 169–170.

[122] Там же. С. 171.

[123] СХЗ. Т. 2. С. 297–298.

[124] Цит. по: *Фурсенко, Нафтали.* С. 259–260.

[125] *Мэй, Зеликоу.* С. 440–441; *Фурсенко, Нафтали.* С. 266.

[126] Рапорт советской разведки цитируют Фурсенко и Нафтали. С. 261. Реплику Кузнецова приводит Корниенко. С. 96.

[127] См.: *Фурсенко, Нафтали.* С. 257–261. Ср. с рассказом

Корниенко. С. 87–88.

[128] Текст письма Хрущева от 26 октября приводится в: *Мэй, Зеликоу.* С. 485–491, пересказ содержания — в: *Бешлосс.* С. 516. О том, как составлялось письмо, рассказывают Фурсенко и Нафтали. С. 262–263. Сергей Хрущев утверждает, что письмо было продиктовано в присутствии Президиума, однако Фурсенко и Нафтали не находят этому никаких документальных подтверждений. См.: *Фурсенко, Нафтали.* С. 392, прим. 28.

[129] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 178–181.

[130] См.: *Фурсенко, Нафтали.* С. 249–250, 274–275, а также с. 393–394, прим. 66.

[131] *Трояновский.* Через годы. С. 248–249.

[132] *Мэй, Зеликоу.* С. 509, 585.

[133] См.: *Нэш Ф.* The Other Missiles of October: Eisenhower, Kennedy and the Jupiters. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997. С 110–112.

[134] *Мэй, Зеликоу.* С. 554.

[135] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 181–182.

[136] СХЗ. Т. 2. С. 335–336.

[137] *Грибков, Смит.* С. 65–67.

[138] *Ривз.* С. 418–419.

[139] См.: СХЗ. Т. 2. С. 334–335; *Трояновский.* Caribbean Crisis. С. 153. Реакция Хрущева на сбитый У-2 представляет собой некоторую загадку: в письме к Фиделю Кастро он писал: «Вы сбили самолет», однако и Грибков, и Сергей Хрущев сообщают, что он знал правду. О письме к Кастро см.: *Мэй, Зеликоу.* Прим. 91. С. 714. См. также: СХЗ. Т. 2. С. 334–336; *Грибков, Смит.* С. 67.

[140] *Блайт, Уэлш.* Cuba on the Brink. С. 108–111.

[141] Доклад Алексеева Министерству иностранных дел от 2 ноября цит. в: *Фурсенко, Нафтали.* С. 272–273.

[142] *Блайт, Уэлш.* С. 108–111.

[143] Там же. С. 481. Кастро, по-видимому, полагал, что Советский Союз обладает значительным превосходством над США в области ядерных вооружений. Возможно, он даже верил, что, если первый удар нанесет СССР, это позволит Кубе избежать гибели.

[144] *Трояновский.* Через годы. С. 249–250.

[145] НХЗ. С. 177. См.: СХЗ. Т. 2. С. 356–357. [НХ5. Т. 2. С. 521.]

[146] См.: *Банди.* Danger and Survival. С. 432–433.

[147] Автор имел доступ к отредактированной версии телеграммы Добрынина от 27 октября 1962 года. Эта телеграмма цитируется в: *Фурсенко, Нафтали.* С. 281–283. См. также: *Добрынин.* С. 87.

[148] *Трояновский.* С. 250; Он же. Caribbean Crisis. С. 153–154.

[149] Цит. по: *Фурсенко, Нафтали.* С. 284.

[150] Там же. С. 271–272, 276, 285.

[151] *Трояновский.* Через годы. С. 251–252.

[152] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 183–187.

[153] *Трояновский.* Caribbean Crisis. С. 155. Неопубликованные интервью Ричарда Неда Лебоу с Олегом Гриневским (Вена, октябрь 1991) и Леонидом Замятиным (Москва, декабрь 1991), предоставленные автору мистером Лебоу.

[154] СХЗ Т 2 С 367

[155] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 189–190.

[156] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 187–188.

ГЛАВА XX

[1] Правда. 1962. 13 декабря. С. 2.

[2] *Бурлацкий.* Khrushchev. С. 179–180.

[3] Телеграмма Робертса в Министерство иностранных дел Великобритании от 12 ноября 1962 года. № 2251. С. 5. PRO, PREM 11/3996.

[4] Цит. по: *Фурсенко, Нафтали.* С. 324–325.

[5] Там же. С. 314–315.

[6] *Добрынин.* С. 93.

[7] Беседа автора с Петром Демичевым.

[8] Добрынин указывает, что именно эти два момента позволяли президенту чувствовать себя победителем. См.: *Добрынин.* С. 91.

[9] Цит. по: *Бешлосс.* С. 543. См. также: *Алексеев.* Карибский кризис. С. 33.

[10] О позиции Кастро см.: *Блайт, Уэлш.* Cuba on the Brink. С. 485–491.

[11] СХ3. Т. 2. С. 378.

[12] СХ4. С. 643.

[13] Микоян просил лишь «немедленно и любыми средствами сообщить ему о дне и часе похорон жены». См.: *Фурсенко, Нафтали.* С. 295.

[14] Об этом эпизоде Серго Микоян вспоминал в предисловии к мемуарам своего отца (Так было. С. 13), а также в беседе с автором в мае 2000-го.

[15] *Микоян.* С. 17 (предисловие Серго Микояна). Беседа автора с Николаем Леоновым, переводчиком Фиделя Кастро во время его переговоров с Хрущевым в апреле 1963 года.

[16] СХ3. Т. 2. С. 390.

[17] *Фурсенко, Нафтали.* С. 295–406; *Алексеев.* С. 36–37.

[18] *Бешлосс.* С. 544–549.

[19] СХ3. Т. 2. С. 397.

[20] См. выдержки из доклада комиссии Шверника в: Массовые репрессии оправданы быть не могут. С. 117–122.

[21] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 190–198.

[22] Отчет о разговоре Юрия Жукова, Георгия Большакова и посла Томпсона 31 октября 1962 года. Собрание Гарримана. Доклад государственного секретаря США Льюэллина Томпсона от 31 октября 1962 года. Собрание Гарримана. Выдержки из телеграммы Жукова в МИД от 1 ноября 1962 года, предоставленные автору. Разговор Стивенсона с Кузнецовым цит. по: *Бешлосс.* С. 533.

[23] Цит. по: *Бешлосс.* С. 570.

[24] *Казинс.* Improbable Triumvirate. С. 46, 54, 56.

[25] Там же. С. 76.

[26] Протокол встречи исполнительного комитета Национального совета безопасности от 31 октября 1962 года. FRUS, 1961–1963. Т. 11. С. 333.

[27] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 233.

[28] Там же. С. 238–240.

[29] Там же. С. 250–265.

[30] Телеграмма посла Фоя Коулера от 16 марта 1963 года. FRUS, 1961–1963. Т. 5. С. 642–644.

[31] *Казинс.* С. 83–97. Беседа автора с Андреа Казинс.

[32] Правда. 1963. 17 января. С. 2.

[33] Там же. 28 февраля. С. 3.

[34] СХ3. Т. 2. С. 417–429; СХ4. С. 666–777.

[35] *Черноуцан.* Неопубл. рукописные мемуары.

[36] *Барсуков.* Rise to Power. С. 62.

[37] См.: Правда. 1962. 28 сентября.

[38] *Мазуров.* Я говорю не только о себе.

[39] Беседа автора с Александром Яковлевым. См. также: *Томпсон.* Khrushchev. С. 253–254.

[40] Об этом Горбачев говорил 19 апреля 1994 года в своем выступлении на московской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Хрущева. См.: Н. С. Хрущев (1894–1971). С. 4.

[41] Setbacks in Soviet Agriculture. Обзор ЦРУ от 4 января 1963 года. Библиотека Кеннеди.

[42] Правда. 1963. 14 марта. С. 3.

[43] Правда. 1963. 26 апреля. С. 1, 3, 5.

[44] *Макмиллан.* Khrushchev and the Arts. С. 5–6.

[45] Там же. С. 7–8.

[46] Беседа автора с Борисом Жутовским; *Неизвестный Э.* Мой диалог с Хрущевым // Время и мы. 1979. № 41. С. 174.

[47] По-видимому, этот инцидент был связан с соперничеством Ильичева и Суслова, каждый из которых старался выслужиться перед Хрущевым. Беседа автора с Георгием Куницыным, с 1961 года работавшим в отделе идеологии ЦК КПСС. Беседа автора с Борисом Жутовским. «Названия» картин приводятся у Бурлацкого. С. 140.

[48] *Неизвестный.* С. 176.

[49] *Макмиллан.* С. 101–105. Именно с легкой руки Хрущева в русский сленг вошло ругательство «пидарас».

[50] *Неизвестный.* С. 177.

[51] *Макмиллан.* С. 101–105.

[52] *Макмиллан.* С. 9.

[53] *Ромм М.* Устные рассказы. С. 125–128; *Жутовский Б.* Групповой портрет в казенном интерьере // Литературная газета. 1989. 5 июля. С. 8.

[54] *Ромм.* С. 128.

[55] *Ромм.* С. 127.

[56] *Неизвестный.* С. 186.

[57] *Черноуцан.*

[58] *Ромм.* С. 129.

[59] *Неизвестный.* С. 185–186; *Ромм.* С. 129–131.

[60] *Черноуцан.*

[61] *Ромм.* С. 132.

[62] Там же. *Аксенов В.* Зима тревоги нашей, или Как марксист Никита учил писателей партийной правде // Литературный курьер. 1986–1987. № 12. С. 10–11. *Вознесенский А.* Н. С. Хрущев: «В вопросах искусства я сталинист» // Никита Сергеевич Хрущев: материалы к биографии. М.: Изд-во политической лит-ры, 1989. С. 128. Беседа автора с Борисом Жутовским. Москва, апрель 1988 года.

[63] Правда. 1963. 10 марта. С. 2.

[64] Беседа автора с Георгием Куницыным.

[65] *Ромм.* С. 133.

[66] Там же. С. 137–138.

[67] *Ромм.* С. 141–142; *Вознесенский.* С. 128–131.

[68] Беседа автора с Андреем Вознесенским.

[69] *Ромм.* С. 142.

[70] Две встречи Н. С. Хрущева с представителями творческой интеллигенции // СССР: внутренние противоречия. № 6. С. 198–199.

[71] *Ромм.* С. 144. Беседа автора с Андреем Вознесенским. *Аксенов.* С. 16.

[72] *Ромм.* С. 145; *Аксенов.* С. 16; Две встречи. С. 200.

[73] *Ромм.* С. 147–149.

[74] *Леонов.* Лихолетье. С. 72–73. Беседа автора с Николаем Леоновым.

[75] *Леонов.* С. 71. Беседа автора с Николаем Леоновым.

[76] *Леонов.* С. 73.

[77] Цит. по: *Фурсенко, Нафтали.* С. 332–334.

[78] Беседа автора с Николаем Леоновым.

[79] Там же.

[80] *Леонов.* С. 71. Беседа автора с Николаем Леоновым. Особенно запомнилась Леонову «реакция Гречко, когда Хрущев начал его высмеивать: он стоял рядом с Малиновским, и видно было, что обоим очень не по себе».

[81] Цит. по: *Фурсенко, Нафтали.* С. 335.

[82] *Лакшин.* С. 124.

[83] *Ромм.* С. 152.

[84] Там же. С. 154–155.

[85] *Черноуцан.* Неопубл. мемуары.

[86] СХ2. С. 210–211.

[87] Беседа автора с Георгием Куницыным.

[88] *Микоян.* С. 628.

[89] *Черноуцан.* Неопубл. мемуары.

[90] *Лакшин.* С. 145–148, 215–216; *Черноуцан.*

[91] *Черноуцан.*

[92] Там же.

[93] Цит. по: *Бешлосс.* С. 598–599.

[94] *Трояновский.* С. 256–257.

[95] FRUS, 1961–1963. Т. 6. С. 301–301.

[96] Там же. Т. 5. С. 726.

[97] «Никогда не понимал, — заметил раздосадованный Хрущев, — почему вы, американцы, так цепляетесь за Берлин. Де Голль не хочет войны за Берлин, и Макмиллан ее не хочет. Только вы. Почему?» — «Считайте, что мы вот такие странные чудаки», — ответил на это Раск. См.: *Бешлосс.* С. 631.

[98] Телеграмма премьер-министру № 1767 от 7 августа 1963 года. PRO, PREM 11/5123.

[99] СХ3. Т. 2. С. 458–459.

[100] *Добрынин.* С. 106–107.

[101] СХ3. Т. 2. С. 463–465; СХ2. С. 51; Беседа автора с Олегом Трояновским, февраль 1993-го.

[102] О подозрениях Хрущева см.: *Добрынин.* С. 111. См. также: *Фурсенко, Нафтали.* С. 343–353.

[103] СХ3. Т. 2. С. 465.

[104] См.: *Гиттингс.* С. 184–186.

[105] Цит. по: *Зубок.* Deng Xiaopin. С. 158.

[106] Там же. С. 158–159.

[107] См.: *Гриффит* У The Sino-Soviet Rift. Cambridge: MIT Press, 1964. С 169.

[108] *Трояновский.* Making of Soviet Foreign Policy. С 238.

[109] Беседа автора со Степаном Червоненко.

[110] Выдержки из речи Хрущева на пленуме 13 декабря 1963 года. РГАНИ.

[111] Речь Суслова на пленуме 14 декабря 1964 года. РГАНИ.

[112] Записка Хрущева от 12 июля 1963 года // Строительство коммунизма в СССР. Т. 8. С. 22–39.

[113] Стенограмма беседы Хрущева с Фримэном. Там же. С. 44–61.

[114] *Аджубей.* С. 279.

[115] Беседа с Леонидом Ефремовым. См. также: *Бешлосс.* С. 644–645.

[116] Строительство коммунизма в СССР. Т. 8. С. 245.

[117] Правда. 1963. 18 сентября. С. 1.

[118] Там же. 2 октября. С. 1.

[119] Строительство коммунизма в СССР. Т. 8. С. 245.

[120] См.: *Томпсон.* С. 264.

[121] Речь на сельскохозяйственной конференции 28 февраля 1964 года // Правда. 1964. 7 марта. С. 1.

[122] СХ4. С. 700–701.

[123] См.: *Томпсон.* Industrial Management and Economic Reform. С. 139–140; 151–153; 155–159.

[124] СХ2. С. 18–19.

[125] *Смирнов Г. Л.* Маленькие секреты большого дома // Неизвестная Россия: XX век. Т. 3 (1993). С. 378–379; СХ2. С. 23. См. также: *Микоян.* С. 617–618.

[126] *Бурлацкий.* Khrushchev. С. 122.

[127] Беседа автора с Александром Ляшко.

[128] СХ2 С 48

[129] *Хейкал. С.* 122–123; СХ2. С. 56–58.

[130] СХ2. С. 59.

[131] *Егорин А. Е.* Н. С. Хрущев — Г. А. Насер: история отношений // Обозреватель. 1993. № 16. С. 100; *Хейкал.* С. 135.

[132] НХ4. 1994. № 1. С. 75–97.

[133] *Хейкал.* С. 20–22.

[134] Там же. С. 136–137.

[135] *Аджубей.* С. 287.

[136] НХ2. С. 515–527.

[137] О визите в Данию на высшем уровне в 1964 году // Дипломатический вестник. 1994. № 7–8 (апрель). С. 71.

[138] НХ4. 1994. № 2. С. 77–90.

[139] Беседа с А. Н. Шелепиным и В. Е. Семичастным Николая Барсукова. С. 287. Согласно Микояну, Кириченко был ничем не хуже Брежнева и других потенциальных преемников, однако Хрущев отверг его, несмотря на то, что проработал с ним двадцать лет. См.: *Микоян.* С. 600.

[140] Записка о беседе Хрущева с Гарриманом от 23 июля 1959 года. С. 17. Собрание Аверелла Гарримана. См. также: *Бешлосс.* Crisis Years. С. 583–584.

[141] Беседа с Шелепиным и Семичастным. С. 287–288. *Микоян.* С. 609.

[142] СХ4. С. 678. Беседа автора с Петром Демичевым. Западные советологи также считают Козлова более консервативным, чем

Хрущев (см. напр.: *Tatu.* Power in the Kremlin. С. 207).

[143] СХ4. С. 680.

[144] Беседа с Шелепиным и Семичастным. С. 287.

[145] СХ2. С. 30–32.

[146] *Микоян.* С. 602.

[147] *Томпсон.* Khrushchev. С. 267–268.

[148] *Шелест.* Да не судимы будете. М., Edition «q», 1995. С. 194.

[149] *Томпсон.* С. 52–56.

[150] *Шелест.* С. 173–193.

[151] Беседа автора с Владимиром Семичастным.

[152] Шелест вспоминает, как Хрущев распекал Брежнева по телефону (С. 186). По словам бывшего помощника Брежнева, его начальник и Николай Подгорный были особенно недовольны поведением Хрущева на саммитах 1960 и 1961 годов, а также отзывом советских консультантов из Китая. Кроме того, их возмущало сокращение военного бюджета, однако они держали свои возражения при себе. См.: *Александров-Агентов.* От Коллонтай до Горбачева. С. 115–130.

[153] Беседа с Шелепиным и Семичастным. С. 277.

[154] *Воронов.* Немного воспоминаний. С. 198–199; Интервью Николая Егорычева Леониду Плешакову.

[155] Беседа с Н. Г. Егорычевым Николая Барсукова. С. 292–293.

[156] СХ2 С. 36.

[157] *Медведев Ж.* Rise and Fall of T. D. Lysenko. С. 197–220.

[158] СХ2. С. 44–45. Беседа автора с Серго Микояном, май 2000-го.

[159] См.: *Полянский.* Таковы, товарищи, факты. С. 116.

[160] *Бурлацкий.* Khrushchev. С. 201–202.

[161] *Стреляный.* Последний романтик. С. 262.

[162] Беседа автора с Федором Моргуном.

[163] Беседа автора с Андреем Шевченко, август 1993-го.

[164] Беседа с Егорычевым Николая Барсукова. С. 299–300.

[165] СХ4. С. 719–720.

[166] *Шелест.* С. 219.

ГЛАВА XXI

[1] Правда. 1964. 17 октября. С. 1.

[2] СХ2. С. 168–169. [СХ6. С. 177–179. СХ6; *Хрущев* С.Хрущев. М.: Вагриус, 2001.]

[3] Там же. С. 186.

[4] Там же. С. 187. [СХ6. С. 198.]

[5] Там же. С. 186.

[6] Там же. С. 169. [СХ6. С. 180.]

[7] Там же. С. 188.

[8] Там же. С. 190. [СХ6. С. 202.]

[9] Там же. С. 195. [СХ6. С. 206.]

[10] *Медведев Р.* Khrushchev. С. 249.

[11] Беседа автора с А. Г. Дешкант.

[12] СХ2. С. 197.]СХ6. С. 207–208.]

[13] *Микоян.* С. 12, 603. Беседа автора с Серго Микояном, май 2000-го.

[14] По рассказу Сергея Хрущева, его родители жили на даче безвыездно, и зимой, и летом. У их детей были в Москве собственные квартиры, и они приезжали на дачу лишь время от времени. Кроме того, у дедушки с бабушкой часто гостили внуки.

[15] СХ2. С. 192. [СХ6. С. 203.]

[16] О том, как Сергей узнал о подслушивающих устройствах, он рассказывает там же. С. 193. [СХ6. С. 204.]

[17] Там же.

[18] Там же. С. 200. [СХ6. С. 210.]

[19] Там же. [СХ6. С. 210.]

[20] Там же. С. 203. [СХ6. С. 212.]

[21] Там же. С. 215–217. [СХ6. С. 223.]

[22] Записка Андропова в ЦК с предложением «ограничить» «иностранную корреспонденцию» Хрущева см. в: НХ5. Т. 3. С. 632–633.

[23] СХ2. С. 206–207. [СХ6. С. 216.]

[24] Там же. С. 208. [СХ6. С. 216.]

[25] Там же. С. 220. [СХ6. С. 226.]; *Козаков М.* Актерская книга. М.: Вагриус, 1997. С. 187–188. Беседа автора с Галиной Волчек.

[26] Беседа автора с Евгением Евтушенко. Домашняя кинопленка, предоставленная автору Сергеем Хрущевым.

[27] СХ2. С. 228–229. [СХ6. С. 235.]

[28] Там же. С. 230–231. [СХ6. С. 237.]

[29] Там же. С. 229, 306. [СХ6. С. 335.]

[30] Там же. С. 229–230.

[31] См.: *Энсон Р. С.* Exile: The Unique Oblivion of Richard M.

Nixon. NY.: Simon & Shuster, 1984. С 26–38.

[32] НХ3. С. 203.

[33] *Аджубей.* Рукопись книги «Крушение иллюзий».

[34] *Хрущев С.* Рукопись переиздания СХ1.

[35] *Аджубей.* Крушение иллюзий. С. 320, со слов Нины Петровны.

[36] СХ2. С. 235. [СХ6. С. 252.]

[37] Там же. С. 238–239. [СХ6. С. 257.]

[38] СХ2. С. 240.

[39] *Хрущев С.* Рукопись переиздания СХ1.

[40] СХ2. С. 245–248. [СХ6. С. 265–267.]

[41] *Аджубей.* С. 320.

[42] СХ2. С. 245–248. [СХ6. С. 265.]

[43] Наше изложение основывается на цит. рукописи Сергея Хрущева и беседах автора с Сергеем Хрущевым и Джерольдом Шлектером. [СХ6. С. 256.]

[44] Беседа автора с Сергеем Хрущевым.

[45] См.: *Медведев Р.* Неизвестный Андропов: политическая биография Юрия Андропова. М.: Права человека, 1999.

[46] Хотя Аджубей был близок к центральным фигурам антихрущевского заговора — Шелесту и Семичастному, — крайне маловероятно, чтобы он сам участвовал в заговоре. Нелицеприятную характеристику Аджубею дает его деверь в СХ4. С. 706–713.

[47] СХ2. С. 274. [СХ6. С. 301.]

[48] Записка КГБ от 25 марта 1970 года. № 745-А/ов (из Архива президента). Собрание Волкогонова.

[49] СХ2. С. 300. [СХ6. С. 327.]

[50] Там же. С. 301. [СХ6. С. 328.]

[51] Официальная стенограмма встречи: НХ5. Т. 3. С. 611–622.

[52] Заявление Хрущева от 13 сентября 1970 года и записка Пельше от того же числа, где поведение Хрущева описывается как «неискреннее, неправильное». Собрание Волкогонова. [СХ6. С. 332–333.]

[53] СХ2. С. 304.]СХ6. С. 332.]

[54] Н.С.Хрущев (1894–1971). Материалы конференции, посвященной 100-летию. С. 39. В главе III мы рассказывали о другом признании Хрущева: второе, о чем он сожалел всю жизнь, было отсутствие у него образования и культуры.

[55] *Мошенцева Я.* Тайны кремлевской больницы. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1998. С. 190–196.

[56] *Аджубей.* Цит. рукопись.

[57] СХ2. С. 328. [СХ6. С. 375.]

[58] Из «Маминых тетрадей».

[59] Там же. [СХ6. С. 376.]

[60] Там же.

[61] СХ2. С. 331. [СХ6. С. 380.]

[62] Там же. С. 349. [СХ6. С. 398.] Беседа автора с Владимиром Лакшиным.

ЭПИЛОГ

[1] CX2. С. 361–398.

[2] Запись заседания Политбюро 12 июля 1984 года. Перевод в CWIHPB, № 4 (осень 1994). С. 81.

[3] *Медведев Р.* Хрущев: политическая биография. С. 303.

[4] *Горбачев.* Memoire. С. 138; Н. С. Хрущев (1894–1971). С. 6.

[5] Н. С. Хрущев (1894–1971); XX съезд: материалы конференции.

[6] Взгляд современных коммунистов на Хрущева см.: *Косолапов Р.* Оттепель дала распутицу: XX съезд КПСС — взгляд через 40 лет // Правда. 1996. 15 февраля. С. 3. «Патриотические» похвалы Хрущеву цитирует Юрий Аксютин в неопубликованной статье «Отношение к XX съезду КПСС и Хрущеву».

[7] Беседа автора с Юрием Левадой.

[8] *Добсон Р. Б.* Young Russians' Lives and Views: Results of a May 1998 USIA Survey. Office of Research and Media Reactions. USIA, сентябрь 1998. С. 16.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. С. ХРУЩЕВА

«Основные даты жизни и деятельности Н. С. Хрущева» и «Указатель имен» составлены Ириной Гыскэ.

1894, 15 апреля — в селе Калиновке Курской губернии в семье бедных крестьян Сергея Никаноровича и Ксении (Аксиньи) Ивановны Хрущевых родился сын Никита.

1908 — Семья переехала в Юзовку (с 1924-го — Сталино, с 1961-го — Донецк), где Сергей Хрущев работал на шахте. Никита пасет коров, работает в саду у местного помещика, затем трубочистом, учеником слесаря на заводе.

1912, май — Никита Хрущев собирает пожертвования в помощь семьям погибших ленских рабочих, за что его увольняют. Устраивается слесарем по ремонту оборудования на шахту № 31. Распространяет социал-демократические газеты, участвует в организации групп по изучению марксизма.

1914 — Переходит на машиноремонтный завод, обслуживающий десять шахт. Женится на Ефросинье Писаревой (р. 1896).

1915 — Рождение дочери Юлии.

Март — Участие в массовой забастовке на Рутченковской шахте.

1916 — Организовывает антивоенные забастовки.

1917, март — Кровавые столкновения на шахтах.

29 мая — Единогласно избран председателем Рутченковского совета.

Октябрь — Рождение сына Леонида.

7(20) ноября — Центральная Рада объявляет Донбасс частью независимой Украинской народной республики.

Декабрь — Юг Донбасса занимает Белая армия. Казнь шахтеров в Ясиновке. Столкновение частей генерала Каледина с рутченковским красногвардейским батальоном под предводительством Ивана Данилова и Никиты Хрущева.

1918, февраль — Войска генерала Каледина разбиты Красной Армией.

Апрель — Поражение Центральной Рады.

Вступление немецких войск в Юзовку. Казнь шахтеров. Незадолго до немецкой оккупации Хрущев с семьей уезжает в Калиновку. Участие Хрущева в деятельности Калиновского комитета бедноты. Знакомство с Л. М. Кагановичем.

Конец года — Вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков.

Конец 1918 — начало 1919 — Никита Хрущев мобилизован в Красную Армию. Служба политкомиссаром батальона, затем инструктором политотдела Девятой армии. Знакомство с Косиором.

1919 — Во время эпидемии тифа умирает Ефросинья Хрущева.

1922 — Хрущев возвращается в Юзовку. Работает комиссаром трудбригады. Женится на Марусе. Становится заместителем директора шахты по политическим вопросам. Расстается с Марусей. Пишет заявление о поступлении на рабфак. Знакомится с Ниной Кухарчук и женится на ней.

1922, осень — 1924 — Учеба на рабфаке.

1923, декабрь — Представляет свою партячейку на конференции Юзовского губкома. Входит в состав губкома. Увлечение троцкизмом.

1924, конец года — Публичное отречение от троцкистских взглядов.

1925, июль — Избран вторым секретарем Петрово-Марьинского райкома. Делегат IX съезда компартии Украины.

18–31 декабря — Делегат XIV съезда ВКП(б). Первая встреча со Сталиным.

1926, декабрь — Возглавляет орготдел Сталинского обкома.

1927 — Рождение дочери Нади, которая через три месяца умирает.

19 декабря — Делегат XV съезда ВКП(б).

1928, март — По инициативе Кагановича назначается заместителем заведующего орготделом ЦК КП(б) Украины и переезжает в Харьков, столицу республики. Перевод на партийную работу в Киев.

1929, начало года — Пишет заявление о поступлении на учебу в Промакадемию.

4 апреля — Рождение дочери Рады.

Сентябрь — Зачислен в Промакадемию. Знакомство с Н. С. Аллилуевой.

1930, 28 мая — Избран секретарем бюро ячейки Промакадемии. Активно борется с «правыми» уклонистами.

26 июня — 13 июля — Присутствует на XVI съезде ВКП(б) по гостевому пропуску ЦК.

Лето — Переезд в Москву Нины Петровны с детьми.

20 ноября — Партбюро академии под руководством Хрущева принимает резолюцию о недоверии к «покаянию» Бухарина. Через два дня, после статьи в газете «Правда», бюро резолюцию

отменяет.

1931, январь — Первый секретарь Бауманского райкома; через полгода — первый секретарь Краснопресненского райкома.

1932, январь — Избран секретарем Московского горкома.

1932–1933 — Голод на Украине.

1934, начало года — Первый секретарь горкома, член ЦК.

26 января — 10 февраля — Делегат XVII съезда, на котором произносит речь, восхваляющую Сталина. Переезд в новую квартиру в Доме на набережной.

1 декабря — Убийство С. М. Кирова.

1935, январь — Арест Каменева и Зиновьева.

Начало года — Хрущев становится первым секретарем МК и МГК ВКП(б).

1 мая — Пущены первые поезда московского метро.

2 июля — Рождение сына Сергея.

1936, 19 августа — Новый суд над Каменевым и Зиновьевым, приговоривший их к расстрелу. Хрущев еще до решения суда выступает за смертную казнь.

5 декабря — Принятие новой советской конституции, вошедшей в историю как «сталинская», но написанной в основном Н. И. Бухариным. На демонстрации в честь этого события портрет Хрущева несут вместе с портретами других руководителей партии.

1937, январь — Новый показательный процесс. Хрущев на Красной площади произносит обвинительную речь перед тысячами москвичей против «троцкистской клики».

Февраль — Пленум ЦК, посвященный деятельности Бухарина и Рыкова. Хрущев голосует за суд, но без предварительного утверждения смертного приговора.

Май — Арест Якира.

17 июля — Рождение дочери Елены.

Лето — Активно выступает за беспощадную расправу с «врагами народа».

11 ноября — Сын Леонид женится на Розалии Трейвас.

Декабрь — Председательствует на Московской партийной конференции, где выступает Сталин.

1938, январь — Назначен первым секретарем ЦК КП(б) Украины. Кандидат в члены Политбюро. Болезнь и смерть отца, Сергея Никаноровича Хрущева. Переезд в новую квартиру на улице Грановского, которая осталась за Хрущевыми и после отъезда в Киев. Проводит политику русификации Украины.

Весна — Посещает своего прежнего товарища, Илью Косенко, добровольно вышедшего из партии, которого заверяет, что в репрессиях не участвует. Леонид женится на Любови Сизых.

1939, март — Вместе с семьей приезжает в Москву для участия в работе XVIII съезда партии. Член Политбюро. Награжден орденом Красного Знамени.

Июль — Активно поддерживает Т. Д. Лысенко.

Август — Руководит организацией работы украинского павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве.

22 сентября — Распекает высших чинов украинского НКВД за недостаточно жесткую борьбу с «врагами народа».

1940 — Рождение у Леонида и Любови дочери Юлии.

1941, весна — Болезни детей: Сергей заболевает туберкулезом, давшим осложнение на ноги, и два года проводит в гипсе; Юлия переносит операцию на легких.

21 июня — Хрущев возвращается в Киев из Москвы, куда ездил по делам.

22 июня — Нападение фашистской Германии на СССР. Начало войны.

3 июля — Семья Хрущева покидает Киев и отправляется в Куйбышев.

26 июля — Самолет Леонида, атакованный немецкими истребителями, терпит крушение. Леонид с серьезной травмой ноги лежит в госпитале, затем долечивается в Куйбышеве.

29 июля — За предложение сдать Киев Г. К. Жуков освобожден от обязанностей начальника Генерального штаба Красной Армии.

Август — Хрущев заверяет Сталина, что Киев ни при каких обстоятельствах не будет оставлен.

10 сентября — Большая группа немецких танков вклинивается в позиции Юго-Западной армии. Сталин запрещает отступление.

15 сентября — Тимошенко и член Военного совета Юго-Западного направления Хрущев устно отдают приказ оставить Киев.

1942, март — Сталин на заседании ГКО предлагает нанести ряд упреждающих ударов по противнику.

12 мая — Начало наступления Юго-Западной армии под Харьковом.

17 мая — Немецкие войска прорвали оборону армии на южном фланге и на севере.

18 мая — Командование Юго-Западной армии решает приостановить наступление, однако Ставка настаивает на продолжении.

Хрущев безуспешно пытается связаться со Сталиным по телефону. Разгром советских войск под Харьковом.

Сталин направляет Хрущева в Военный совет Сталинградского фронта.

19 ноября — Начало успешного контрнаступления советских войск под Сталинградом. Леонид сдает экзамен на управление истребителем.

1943, 12 февраля — Хрущеву присвоено звание генерал-лейтенанта.

Март — Сталин звонит Хрущеву на Воронежский фронт и, по словам Жукова, резко отчитывает за неспособность противостоять контрударам врага, напомнив все его прошлые просчеты.

11 марта — Лейтенант Леонид Хрущев вылетает с калужского аэродрома на свое последнее задание.

Июнь — Арестована Любовь Сизых. Приговор: пять лет лагерей. Девятилетнего Анатолия Нина Петровна отдает в детский дом.

Июль — Битва на Курской дуге.

Лето — Довженко знакомит Хрущева со своим сценарием фильма «Украина в огне».

3—13 ноября — Войска 1-го Украинского фронта под командованием Н. Ф. Ватутина взяли Киев. Хрущев вновь становится первым секретарем компартии Украины.

1944, январь — Сталин на заседании Политбюро резко критикует сценарий фильма Довженко «Украина в огне». Хрущев отстраняет Довженко от работы. Дружба с Р. Я. Малиновским. Хрущев назначен председателем Совета народных комиссаров УССР. Переезжает в особняк в центре Киева. Объезжает несколько освобожденных областей и докладывает Сталину, что там нет крупных националистических формирований.

Апрель — По случаю пятидесятилетия Хрущева на первых страницах всех газет появляются его фотографии и поздравления от трудящихся и интеллигенции.

Лето — Советская Армия достигает границы, проложенной в 1939 году в соответствии с пактом Молотова — Риббентропа.

Сентябрь — Семья Хрущева вновь поселяется в Киеве.

Осень — Инкогнито посещает Закарпатье, изучая возможность присоединения этого района к Украине. В письме Сталину предлагает, чтобы трибуналы НКВД приговаривали вооруженных националистов к смерти через повешение; также предлагает создавать «тройки» с правом выносить смертные приговоры и немедленно приводить их в исполнение.

Конец года — Хрущев занимается восстановлением разрушенного войной хозяйства Украины. Лично контролирует работы, постоянно ездит из области в область.

1945, январь — Политбюро ЦК КП(б) Украины приняло

решение использовать зимние месяцы для завершения разгрома и ликвидации националистических банд.

Февраль — Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за успешное выполнение плана по сельскому хозяйству на 1944 год.

9 мая — Жуков принимает от командования вермахта Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

24 июня — Парад Победы в Москве на Красной площади.

1946 — Голод на Украине.

15 октября — Пишет письмо Сталину, в котором просит снизить для Украины цифры поставок зерновых.

1 декабря — Докладывает Сталину о том, что ситуация с продовольствием крайне напряженная.

17 декабря — В письме Сталину просит о помощи. Через Берию и Маленкова предлагает ввести для крестьян распределение продуктов по карточкам.

1947, февраль — Пленум ЦК по сельскому хозяйству. Сталин решает оказать помощь Украине.

Март — Постановление ЦК компартии Украины о разделении партийной и государственной работы. Первым секретарем ЦК КП(б) Украины избран Каганович. Хрущев остается председателем Совета министров УССР.

Лето — Рада поступает в МГУ на факультет журналистики и встречает своего будущего мужа А. И. Аджубея.

26 декабря — Восстановление Хрущева в должности первого секретаря ЦК компартии Украины. Правительство возглавил Коротченко.

1948, февраль — Верховный Совет УССР, по инициативе Хрущева, принимает указ «О выселении из Украинской ССР лиц, злонамеренно саботирующих трудовую деятельность в сельском хозяйстве и ведущих антисоциальный паразитический образ жизни». Любовь Сизых выходит на свободу и еще пять лет живет в ссылке в Казахстане. По случаю тридцатилетней годовщины УССР Хрущев наряду с другими высшими руководителями Украины награжден орденом Ленина.

1949, январь — На XVI съезде компартии Украины Хрущева встречают продолжительной овацией. Во время празднования десятилетия присоединения Западной Украины первые полосы газет украсили тройные портреты Ленина — Сталина — Хрущева.

Март — На посту министра иностранных дел В. М. Молотова сменяет А. Я. Вышинский.

Апрель — Арест жены Молотова Полины Жемчужиной.

Весна — Хрущев знакомится с Аджубеем на своей даче в Подмосковье.

Лето — Семья Хрущева отдыхает в Ливадийском дворце, где в феврале 1945 года проходила встреча Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Здесь же отдыхает Светлана Аллилуева со своим вторым мужем Юрием Ждановым.

Август — Арест А. А. Кузнецова в кабинете у Маленкова.

31 августа — Охранник из службы безопасности сопровождает Раду и Алексея в районный загс.

Октябрь — Арест Н. А. Вознесенского.

Осень — Сталин предлагает Хрущеву вновь вернуться в Москву, став первым секретарем Московского горкома и секретарем ЦК.

Декабрь — Хрущев переезжает в Москву и отдает распоряжение перевезти туда стенографические отчеты со своими выступлениями за все годы пребывания на Украине.

21 декабря — Торжественное празднование 70-летия Сталина. Хрущев сидит возле юбиляра в президиуме на сцене Большого театра.

1950, сентябрь — Члены Политбюро, включая Хрущева, подписывают смертный приговор Кузнецову, Вознесенскому и нескольким другим фигурантам «ленинградского дела».

1951, 18 января — Хрущев выступает за создание агрогородов. Текст выступления перепечатывает «Правда». После звонка Сталина редакция публикует заметку о том, что статья Хрущева является дискуссионной. Оперативники Берии пытаются обыскать рабочий кабинет Хрущева в здании Мосгорисполкома. Главой МГБ становится Игнатьев.

Апрель — Политбюро принимает резолюцию, в которой признает ошибочной идею создания агрогородов.

Конец года — Аресты на родине Берии партийных работников мингрельского происхождения.

1952, октябрь — На XIX съезде партии Маленков зачитывает отчетный доклад, в котором критикует «некоторых руководителей» за предложение снести дома колхозников и создать на их месте агрогорода. После съезда Сталин заменяет Политбюро расширенным Президиумом. Хрущев становится членом Президиума.

1953, январь — Аресты по «делу врачей».

28 февраля — Сталин и его «внутренний круг» смотрят в Кремле фильм, затем ужинают на Ближней даче.

1 марта, вечер — Становится известно, что Сталина постиг удар.

3 марта — Консилиум врачей приходит к заключению, что положение безнадежно.

5 марта — На собрании ЦК, Совета министров и президиума

Верхового Совета под председательством Хрущева Сталина смещают с поста главы правительства. Вечером Сталин умирает.

9 марта — Похороны Сталина. Берия освобождает Полину Жемчужину и лично передает ее мужу.

10–13 марта — Берия приказывает пересмотреть фальсифицированные дела, в том числе «дело врачей».

14 марта — Хрущева назначают секретарем ЦК.

17 марта — Берия предлагает передать значительную часть объектов МВД гражданским службам.

20 марта — Берия предлагает приостановить стройки, на которых используется труд заключенных.

28 марта — Берия предлагает передать лагеря из ведения МВД в ведение Министерства юстиции.

27 мая — Берия предлагает отказаться от идеи построения социализма в Восточной Германии.

Лето — Из тюрем и лагерей отпущены десятки тысяч заключенных, сидевших по уголовным статьям сроком до пяти лет. На встречах советских руководителей с руководителями ГДР и Венгрии последние подверглись критике за проведение массовых репрессий в своих странах.

Июль — Арест Берии.

Сентябрь — Хрущева избирают первым секретарем ЦК.

Ноябрь — Маленков обвиняет высших партийных чиновников в коррумпированности и предлагает вывести органы государственной власти из-под их контроля. Хрущев не поддерживает его инициативы.

Декабрь — Расстрел Берии.

1954, весна — Первые эшелоны добровольцев приезжают на целину.

Апрель — Посмертно реабилитированы Кузнецов, Вознесенский и другие фигуранты «ленинградского дела».

Лето — Ссора в Крыму с Маленковым.

Август — Хрущев возглавил советскую делегацию в Китай. Он не позволяет Любови Сизых встретиться со своей дочерью Юлией, которую они с женой удочерили.

Декабрь — По предложению Хрущева в Кремле впервые проводится детская новогодняя елка. Несколько позднее Кремль открывают для посетителей. В прессе широко отмечается семьдесят пятая годовщина со дня рождения Сталина.

1955, январь-февраль — На пленуме ЦК и затем сессии Верховного Совета Маленкова из председателя Совета министров переводят в министры электрификации.

Май — Визит Хрущева в Югославию.

Июль — Поездка на саммит в Женеву. Обострение

разногласий Хрущева с Молотовым на пленуме ЦК.

1955–1957 — СССР сокращает численность Вооруженных сил на два миллиона человек.

1956, январь — Продолжены сокращения в Советской Армии: уволены в запас 300 тысяч военных. Хрущев и Булганин посещают Великобританию.

14 февраля — В Большом Кремлевском дворце открылся XX съезд КПСС.

15–20 февраля — Создан новый черновик закрытого доклада.

23 февраля — С окончательной версией знакомятся члены Президиума.

25 февраля — Хрущев выступает перед делегатами съезда с закрытым докладом, посвященным разоблачению культа личности Сталина. Недовольство Мао Цзэдуна и других лидеров компартий.

1 марта — Члены Президиума одобряют отредактированную версию доклада и ее распространение по партийным организациям в виде брошюры с пометкой «Не для печати».

Март — Волнения в Польше. Поездка Хрущева в Варшаву на похороны Берута.

4 июля — Разведывательный полет американского самолета У-2 над Москвой и Ленинградом. Хрущев вместе с коллегами присутствует на приеме, который устраивает американский посол в честь Дня независимости.

Октябрь — Поездка в Польшу во главе партийно-правительственной делегации.

23 октября — Беспорядки в Венгрии. Вооруженные столкновения с милицией.

24 октября — В Будапешт вошли советские танки и пехота. Ожесточенные столкновения на улицах города. Есть убитые и раненые, в том числе среди советских солдат. В Венгрии генеральным секретарем компартии избран Янош Кадар. Сформировано новое правительство.

Консультации Хрущева с Лю Шаоци, представлявшего позицию Мао Цзэдуна. Встречи с Гомулкой в Бресте и руководителями Румынии и Чехословакии в Бухаресте. Визит в Софию и на остров Бриони для встречи с Тито.

3 ноября — Возвращение в Москву.

5 ноября — Советская Армия сокрушает венгерскую революцию. Погибли и ранены около двадцати тысяч венгров и полутора тысяч советских солдат.

Декабрь — Секретные письма ЦК ко всем партийным органам об усилении бдительности.

1957, январь — Начало индустриальной реформы,

призванной «догнать и перегнать Америку». Начало охлаждения отношений с Китаем.

Февраль — Хрущев предлагает упразднить некоторые министерства и заменить их региональными экономическими советами.

10 мая — После непродолжительной дискуссии принят закон об упразднении министерств.

13 мая — Встреча Хрущева с членами Союза писателей.

Июнь — Пикник на даче Хрущева для творческой интеллигенции. Заговор против Хрущева.

Лето — Международный фестиваль молодежи и студентов проводится в Москве.

16 июня — Свадьба Сергея Хрущева. Присутствует все партийное руководство. Близкие Хрущева замечают что-то неладное.

18 июня — Заседание президиума Совета министров, на котором должен был произойти переворот. Хрущева вызывают на заседание. Председательствует Булганин.

19 июня — Продолжение заседания. Хрущев срочно собирает поддерживающих его членов ЦК.

22–28 июня — Проходит пленум ЦК, который завершается разгромом «антипартийной» группы. С наиболее серьезными разоблачениями выступает Жуков.

Август — Хрущев посещает ГДР.

4 октября — Запуск первого советского искусственного спутника Земли. Жуков отбывает в Югославию.

19 октября — Президиум принимает резолюцию, осуждающую Жукова.

26 октября — Жуков освобожден от обязанностей министра обороны СССР.

Ноябрь — Визит Мао Цзэдуна в Москву на празднование 40-летия Октябрьской революции. Демонстрация им недовольства внешней и внутренней политикой Хрущева.

Конец года — Хрущев предлагает расформировать МТС и передать технику колхозам и совхозам.

1958, начало года — Хрущев становится председателем Совета министров СССР. Отозвана резолюция Политбюро от апреля 1951 года об ошибочности идеи создания агрогородов.

27 февраля — Постановлением Совета министров СССР маршал Жуков отправлен в отставку.

17 июня — Повешен находившийся в заключении Имре Надь.

Лето — Новое обострение отношений с КНР.

Октябрь — Серьезные разногласия между руководством СССР и Югославии.

В течение года — Многочисленные выступления Хрущева по вопросам управления сельским хозяйством. Пропаганда кукурузы как уникальной культуры, с помощью которой можно обогнать США по производству мяса и молока.

10 ноября — Хрущев заявляет о том, что, если Запад не признает ГДР, СССР готов передать ей свои полномочия по Западному Берлину. Начало противостояния с Западом по берлинскому вопросу.

Осень — Тайваньский кризис.

Ноябрь — Визит в СССР Владислава Гомулки.

1 декабря — Переговоры Хрущева в Кремле с сенатором Губертом Хэмфри.

1959, начало января — Поездка в Вашингтон Микояна. Переговоры с Эйзенхауэром.

27 января — 5 февраля — Проходит внеочередной XXI съезд КПСС. С отчетным докладом выступает Хрущев. Съезд утверждает контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы.

21 февраля — Визит в СССР британского премьер-министра Гарольда Макмиллана.

11 мая — Встреча в Женеве министров иностранных дел четырех держав.

18 мая — Выступление Хрущева на III съезде писателей СССР.

Лето — Новый кризис советско-китайских отношений.

23 июня — Встреча в Кремле, затем в Ново-Огареве с Авереллом Гарриманом.

13 июля — Ф. Р. Козлов возвращается в Москву с приглашением Эйзенхауэра, полученным через Роберта Мерфи.

21 июля — Эйзенхауэр узнает, что Хрущев принял его приглашение.

23 июля — 2 августа — Визит в СССР вице-президента США Ричарда Никсона.

3–17 августа — В Москве проходит I Международный кинофестиваль.

20 августа — СССР заявил, что не намерен передавать Китаю образец атомной бомбы.

15–27 сентября — Визит Хрущева в США. Переговоры с Эйзенхауэром, поездки по стране. Эйзенхауэр принимает приглашение посетить СССР с 10 по 19 июня 1960 года.

18 сентября — Хрущев выступает на Генеральной Ассамблее ООН, вносит на рассмотрение ООН Декларацию о всеобщем и полном разоружении.

1960, январь — Советская Армия сокращена еще на 1 миллион 200 тысяч человек, в том числе 250 тысяч офицеров.

1 мая — Над территорией СССР сбит ракетой американский самолет-разведчик У-2. Пилот Пауэрс остался жив.

12 мая — Некоторые члены Президиума предлагают Хрущеву отменить саммит. Хрущев ожидает извинений от Эйзенхауэра.

16 мая — Эйзенхауэр отказывается принести публичные извинения, и Хрущев срывает встречу на высшем уровне в Париже. Визит Эйзенхауэра в СССР не состоится.

8–27 июня — Визит в Румынию. Участие в работе съезда румынской компартии.

30 июня — 8 июля — Визит в Австрию.

Июль — США вводят эмбарго против Кубы. СССР обязуется покупать кубинский сахар.

10 августа — Официально объявлено о намерении Хрущева участвовать в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

2–4 сентября — Визит в Финляндию.

9 сентября — Хрущев вместе с лидерами ряда государств Восточной Европы отбывает в Америку на эсминце «Балтика».

19 сентября — 13 октября — Пребывание Хрущева в Нью-Йорке.

11 октября — Хрущев выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее — инцидент с ботинком.

На испытательном полигоне в Тюратаме взорвалась ракета Р-16. Погибли несколько десятков человек, в том числе главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения М. И. Неделин.

4 ноября — В США на президентских выборах побеждает кандидат от демократической партии Джон Фицджералд Кеннеди. В Москве проходит Совещание коммунистических и рабочих партий.

1961, 31 марта — Хрущев направляет в Президиум записку с программой оживления сельского хозяйства.

12 апреля — В СССР осуществлен успешный запуск космического корабля «Восток-1». Первый в мире космонавт Юрий Гагарин находится в космосе 108 минут и благополучно возвращается на Землю.

18 апреля — Высадка десанта на Кубе в заливе Плайя-Херон.

12 мая — Хрущев принимает предложение Кеннеди о переговорах в Вене.

3–4 июня — Переговоры между Хрущевым и Кеннеди в Вене.

Август — Возведение Берлинской стены.

Сентябрь — Начало секретной переписки Хрущева и Кеннеди.

17 октября — Хрущев выступает во Дворце съездов на XXII съезде КПСС с новыми разоблачениями преступлений Сталина и объявляет, что коммунизм будет построен к 1980 году. Приняты

новые программа и устав партии. Съезд завершил работу 31 октября.

30 октября — Произведено испытание 50-мегатонной ядерной бомбы. Тело Сталина вынесено из Мавзолея. Вскоре после этого город Сталинград переименован в Волгоград.

1962, февраль — Начало развертывания на Кубе советских войск.

17 мая — Президиум одобрил проект указа о повышении с 1 июня цен на мясные и молочные продукты.

20 мая — Хрущев обсуждает свой план размещения ракет на Кубе с министром иностранных дел.

27 мая — Члены Президиума дают последние указания делегации, отъезжающей на Кубу.

1–2 июня — События в Новочеркасске. Расстрел рабочей демонстрации солдатами.

10 июня — Вернувшаяся с Кубы делегация подтверждает возможность осуществления секретного плана.

4 сентября — Советский посол Добрынин уверяет Роберта Кеннеди, что наступательного оружия на Кубе нет.

10 сентября — Хрущев вносит предложение о разделении партийных организаций на промышленные и сельскохозяйственные отделы.

4 и 6 октября — Встречи Георгия Большакова с Робертом Кеннеди.

18 октября — Кеннеди принимает Громыко, который заверяет, что со стороны Кубы США ничто не угрожает.

21 октября — При обсуждении вопроса о необходимых мерах против Кубы Кеннеди настаивает на карантине, хотя подавляющее большинство членов Исполнительного комитета выступают за бомбардировку.

22 октября — Президент США публично заявляет, что СССР тайно размещает на Кубе ядерное оружие. Устный приказ о применении советского тактического ядерного оружия в случае появления американских военных сил отозван. Ответное письмо Хрущева.

23 октября — Кеннеди получает письмо Хрущева и пишет краткий ответ о вступлении в силу карантина.

26 октября — На юго-востоке США сконцентрирована группировка войск, командование которой требует нанести воздушный удар и принять решение о вторжении на Кубу. Хрущев пишет письмо Кеннеди.

27 октября — Хрущев пишет еще одно письмо Кеннеди, где выдвигает требование о взаимных уступках. Текст письма зачитывают по московскому радио. Самолет У-2 сбит над Кубой

ракетой «земля-воздух», пилот погиб. Фидель Кастро диктует письмо Хрущеву, в котором допускается возможность нанесения превентивного ядерного удара. Позиция президента Кеннеди доводится до советской стороны через Добрынина.

28 октября — По радио зачитывается послание Хрущева, в котором советская сторона соглашается на демонтаж и возвращение в Советский Союз ядерного оружия.

3 ноября — На Кубу прибывает Микоян для ведения переговоров. На пленуме ЦК единогласно принимается предложение Хрущева о разделении партии на два крыла.

Выставка в Манеже. Хрущев устраивает разнос художникам.

17 декабря — Во Дворце культуры на Ленинских горах собралась творческая интеллигенция для встречи с Хрущевым.

1963, 7марта — Встреча с творческой интеллигенцией в Свердловском зале в Кремле.

25 апреля — Фидель Кастро по приглашению Хрущева приезжает в СССР.

Июнь — Пленум ЦК по идеологии и культуре.

20 августа — 3 сентября — Пребывание Хрущева на отдыхе в Югославии.

22 ноября — Хрущев узнает о покушении на президента Кеннеди.

26 ноября — Президиум Верховного Совета ратифицирует Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Декабрь — Пленум ЦК, посвященный советско-китайским отношениям.

1964, 13–23 января— Пребывание в СССР Фиделя Кастро.

2 февраля — Пленум ЦК принимает постановление «Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений».

9–25 мая — Визит Хрущева в Египет.

16–29 июня — Пребывание в Дании, Швеции и Норвегии.

Середина июля — Визит в Польшу.

27 августа — 4 сентября — Визит в Чехословакию.

3 октября — Отъезд на отдых в Пицунду. Брежнев экстренно вызывает Хрущева в Москву.

14 октября — Пленум ЦК освобождает Хрущева от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС по его просьбе в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Первым секретарем ЦК избран Л. И. Брежнев.

15 октября — Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу Хрущева об освобождении его от обязанностей председателя Совета министров СССР. На эту

должность назначен А. Н. Косыгин.

1965, 1 января — В последний раз Микоян звонит Хрущеву, чтобы поздравить его с Новым годом.

Конец 1960-х годов — Хрущев диктует свои воспоминания.

1967 — Хрущева вызывают в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС и требуют, чтобы он прекратил работу над мемуарами. Хрущев на какое-то время прекращает диктовку. Ю. В. Андропов становится председателем КГБ СССР. При нем записи воспоминаний Хрущева беспрепятственно переправляются за границу.

1970, март — Андропов сообщает Политбюро, что в мемуарах Хрущева содержатся сведения, являющиеся государственной тайной, требует усилить надзор КГБ и рекомендует еще раз вызвать Хрущева в КПК.

29 мая — У Хрущева тяжелый сердечный приступ. Почти все лето он проводит в больнице на улице Грановского.

Осень — На Западе появляются сообщения о предстоящей публикации книги «Хрущев вспоминает».

10 ноября — Хрущева вызывают в Комитет партийного контроля. По поручению Политбюро от него требуют объяснений по поводу слухов о готовящейся на Западе книге его воспоминаний. От Хрущева требуют также письменной расписки, что он не имеет к этому тексту никакого отношения. Хрущев такую расписку дает.

Декабрь — Перед самым Новым годом Хрущев вновь попадает в больницу.

1971, февраль — Снова принимается диктовать воспоминания.

5 сентября — Тяжелый сердечный приступ, за ним еще один.

11 сентября — Хрущев умирает в больнице.

13 сентября — Похороны Хрущева на Новодевичьем кладбище.

БИБЛИОГРАФИЯ

АРХИВЫ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТСЯ ИСТОЧНИКИ

Amherst Center for Russian Culture, Amherst College, Amherst, Massachusetts.

Archive of Labor History and Urban Affairs, Wayne State University, Detroit, Michigan.

Walter P. Reuther Collection.

Archiwum Akt Nowych, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Warsaw, Poland.

Bodleian Library, Oxford University, U. K.

Dwight D. Eisenhower Library, Abilene, Kansas.

Papers of Dwight D. Eisenhower as President (Ann Whitman File).

Ann Whitman Diary Series.

C. D. Jackson Papers.

Dwight D. Eisenhower Diary Series.

W. Averell Harriman Collection, Washington, D. C.

John Hay Library, Brown University, Providence, Rhode Island.

John F, Kennedy Library, Boston, Massachusetts.

National Security Files.

Presidential Office Files.

Library of Congress, Washington, D. C.

Dmitri Volkogonov Collection.

Minnesota Historical Society, Minneapolis, Minnesota.

Hubert Horatio Humphrey Papers.

Museum of Television and Radio, NY.

National Security Archive, Washington, D. C.

Oral History Collection, Columbia University, NY.

Public Record Office, Kew, London, U. K.

Foreign Office; Political Correspondence.

Prime Minister's Office File.

Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, NY.

Seeiey Mudd Library, Princeton University, Princeton, New Jersey.

John Foster Dulles Papers.

Adlai E. Stevenson Papers.

Livingston T. Merchant Papers.

Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven, Connecticut.

Walter Lippmann Papers.

United States National Archives, Washington, D. C.

Государственный архив Российской Федерации, Москва.

Государственный архив Донецкой области, Донецк.

Государственный архив Львовской области, Львов.

Государственный архив Службы безопасности Украины, Киев.

Российский государственный архив новейшей истории, Москва.

Российский государственный архив социально-политической истории, Москва.

Центральный архив Министерства обороны, Подольск.

Центральный государственный архив общественных объединений Украины, Киев.

Центральный архив общественных движений, Москва.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ

Примечание: Издания перечислены в алфавитном порядке по фамилии автора, составителя/редактора или названию сборника.

«A Typical Pragmatist»: The Soviet Embassy Profiles John F. Kennedy, 1960 // CWIHPB. 1994. № 4.

«Готов на крест, берите гвозди и молоток»: Беседа с Хрущевым в Комитете партийного контроля // Источник. 1994. № 4.

«Объединяйтесь вокруг Христа: большевики повысили цены». Отношение населения СССР к повышению цен на продукты питания в 1962 г. // Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1993. Т. 3.

1925–1936. New Haven: Yale University Press, 1995.

Back from the Brink: Cuban Missile Correspondence between John F. Kennedy and Nikita S. Khrushchev. October 22 through December 4, 1962 // Problems of Communism. V. 41 (Special Issue — Spring 1992).

Chang L., Kornbluh P., eds. The Cuban Missile Crisis, 1962: A National Security Archive Documents Reader. NY.: New Press, 1992.

«Conference» // Journal of Communist Studies. V. 2. 1986. № 2.

Dallin A., ed. Diversity in International Communism: A Documentary Record, 1961–1963. NY.: Columbia University Press, 1963.

Dobson R. B. Young Russians' Lives and Views: Results of a May 1998 USIA Survey. Office of Research and Media Reaction, U. S.

Information Agency. September 1998.

Documents on International Affairs, 1954, éd. Denise Folliot. London: Oxford University Press, 1957.

Documents on International Affairs, 1959, ed. Gillian King. London: Oxford University Press, 1963.

Dovzhenko A. Ukraine in Flames: A Film Scenario by Aleksandr Dovzhenko. Trans, and with introduction by Abigail Marceluk. Zhaba Productions, 1997.

End of Stalinism, NY.: Nova Science Publishers, Inc., 1992.

Foreign Relations of the United States. 1952–1954, V. 8. Eastern Europe; Soviet Union; Eastern Mediterranean.Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1988.

Foreign Relations of the United States. 1952–1954. V. 2. Pt. 1. National Security Affairs. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1984.

Foreign Relations of the United States. 1955–1957. V. 5. Austrian State Treaty; Summit and Foreign Ministers Meetings, 1955. Washington, D. C: U. S, Government Printing Office, 1988.

Foreign Relations of the United States. 1958–1960. V. 9. Berlin Crisis 1959–1960; Germany; Austria. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1993.

Foreign Relations of the United States. 1961–1963. V. 10. Cuba 1961–1962. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1993.

Foreign Relations of the United States. 1961–1963. V. 11. Cuban Missile Crisis and Aftermath. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1996.

Foreign Relations of the United States. 1961–1963. V. 14. The Berlin Crisis 1961–1962. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1993.

Foreign Relations of the United States. 1961–1963. V. 15. Berlin Crisis 1962–1963. Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office, 1994.

Foreign Relations of the United States. 1961–1963. V. 5. Soviet Union. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1998.

Foreign Relations of the United States. 1958–1960. V. 10. Pt. 1. Eastern Europe Region; Soviet Union; Cyprus. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1993.

Foreign Relations of the United States. 1958–1960. V. 8. The Berlin Crisis 1958–1959. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1993.

Foreign Relations of the United States. 1961–1963. V. 6. Kennedy-Khrushchev Exchanges. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1996.

Garthoff R. L. New Evidence on the Cuban Missile Crisis: Khrushchev, *Gittings J., ed.* Survey of the Sino-Soviet Dispute: A Commentary and Extracts from *Gluchowski L. W.* Khrushchev's Second Secret Speech. CWIHPB. 1988. № 10.

Khrushchev in New York: A Documentary Record of Nikita S.Khrushchev's Trip to New York. September 19 to October 13th, 1960. NY.: Crosscurrents Press, 1960.

Khrushchev N.S. For Victory in Peaceful Competition with Capitalism, NY.: Button, 1960.

Khrushchev Nikita S. in America: Full Texts of the Speeches Made by N. S. Khrushchev on His Tour of the United States. September 15–27, 1959. NY.: Crosscurrents Press, 1960.

Khrushchev's Nuclear Promise to Beijing during the 1958 Crisis // CWIHPB. Winter 1995–1996. № 6.

Kramer M. Hungary and Poland, 1956: Khrushchev's CPSU CC Presidium Meeting on East European Crises, 24 October 1956 // CWIHPB. Spring l995. № 5.

Kramer M. The «Malin Notes» on the Crises in Hungary and Poland. 1956 // CWIHPB Winter 1996/97. № 8–9.

Lift L. T., Oleg V. Naumov, and Oleg V. Khlevnuik, eds. Stalin's Letters to Molotov, Mao Zedong's Handling of the Taiwan Straits Crisis of 1958: Chinese Recollections and Documents // CWIHPB. Winter 1995 — 1996. № 6.

May E. R, Zelikow P., eds. The Kennedy Tapes: Inside the White House during the Cuban Missile Crisis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.

McNeal R. H. Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union. V. 3. The Stalin Years: 1929–1953. Toronto: University of Toronto Press, 1974.

Nuclear Weapons and the Cuban Missile Crisis. CWTHPB. 1998. № 11.

Ostermann Ch. F., ed. Uprising in East Germany, 1953: The Cold War, the German Question, Upheaval behind the Iron Curtain. Budapest: Central European University Press, 2001. Памятная книжка Курской губернии на 1892. Курск: Типография Губернского Правления, 1892.

Public Papers of the Presidents of the United States: Dwight D. Eisenhower, 1959. Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1960.

Recent Polemics, 1963–1967. London: Oxford University Press, 1968.

Russian Documents on the Cuban Missile Crisis // CWIHPB. Winter 1996/97. № 8–9.

Russian Foreign Ministry Documents on the Cuban Missile Crisis

// CWIHPB. Spring 1995. № 5.

Schoenhals M. Document: Mao Zedong: Speeches at the 1957 Moscow. *Selvage D.* The End of the Berlin Crisis, 1961–1962: New Evidence from the Polish and East German Archives // CWIHPB. 1998. № 11.

Stickle D. M., ed. The Beria Affair: The Secret Transcripts of the Meetings Signaling the The Anti-Stalin Campaign and International Communism / Russian Institute of Columbia University. NY.: Columbia University Press, 1956.

The Mikoyan — Castro Talks, 4–5 November 1962: The Cuban Version // CWIHPB.

U. S. Department of State. United States Department of State Bulletin. U. S. Congress. Senate. Committee on the Judiciary. Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws. On the Scope of Soviet Activity in the United States: Hearing. 84th Cong., 2d sess., June 8, 11, and 12, 1956.

Whitney T. F., ed. Khrushchev Speaks. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1963.

Winter 1996/97. № 8–9.

XVII съезд коммунистической партии (б): Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934.

XVIII съезд коммунистической партии (б), 10–21 марта 1939 г.: Стенографический отчет. М., Госполитиздат, 1939.

XXII съезд КПСС: Стенографический отчет. М.: 1961.

Zubok V. M. Khrushchev's 1960 Troop Cut: New Russian Evidence // CWIHPB.Winter 1996/97. № 8–9.

Zubok V. M. Khrushchev's Secret Speech on the Berlin Crisis. August 1961 // CWIHPB. 1993. № 3.

Zubok V. M. Spy vs. Spy: The KGB vs. the CIA, 1960–1962 // CWIHPB. 1994. № 4.

Александр Довженко: Я противен вам и чем-то опасен // Источник. 1993. б/н.

Две встречи Н. С. Хрущева с представителями творческой интеллигенции (декабрь 1962 г. и март 1963 г.) // СССР — внутренние противоречия. № 6.

Дело Берии: Пленум ЦК КПСС 1953 года: Стенографический отчет // Известия ЦК КПСС. 1991. № 1.

Записки В. Малина на заседании Президиума ЦК КПСС // Источник. 1998. № 2.

Как принималось решение о возведении Берлинской стены // Новая и новейшая история. 1999. № 2.

Как решались вопросы Венгрии: Рабочие записи президиума ЦК КПСС. Июль-ноябрь 1956 г. // Исторический архив. 1996. № 2–

3.

Как снимали Н. С. Хрущева: Материалы пленума ЦК КПСС, октябрь 1964 г. // Исторический архив. 1993. № 1.

Лаврентий Берия: «Через 2–3 года я крепко исправлюсь…» // Источник. 1994. № 4.

Лаврентий Берия: 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Международный фонд «Демократия», 1999.

Латышев А. И. В. Сталин: Об антиленинских ошибках и националистических извращениях в киноповести Довженко «Украина в огне» // Искусство кино. 1990. № 4.

Массовые репрессии оправданы быть не могут // Источник. 1995. № 1.

Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года. 1993. № 2, 6; 1994. № 1.

Мероприятия по выселению являлись чрезвычайной мерой // Источник. 1996. № 1.

Молотов, Маленков, Каганович, 1957: Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: Международный фонд «Демократия», 1998.

Н. С. Хрущев — Шарль де Голль: встречи в Париже. 1960 г. // Исторический архив. 1996. № 1–2.

Не допустили критики Сталина // Источник. 1995. № 6.

Незаконченное сражение маршала Жукова // Исторический архив. 1995. № 2. Новочеркасская трагедия: 1962 // Исторический архив. 1993. № 1.

Новый курс Л. П. Берии // Исторический архив. 1996. № 4.

О визите в Данию на высшем уровне в 1964 году // Дипломатический вестник. 1994. № 7–8.

О культе личности и его последствиях // Источник. 2000. № 6.

О культе личности и его последствиях: Доклад первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3.

О массовых беспорядках с 1957 года // Источник. 1995. № 6.

Об антиконституционной практике 30—40-х — начала 50-х годов // Источник. 1995. № 1.

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, 22–25 декабря 1959 года: Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1960.

Посетители кремлевского кабинета И.В.Сталина (1932–1933) // Исторический архив. 1995. № 2, 3.

Последняя «антипартийная группа»: Стенографический отчет

июньского пленума ЦК КПСС 1957 г. // Исторический архив. 1993. № 3–6; 1994. № 1–2.

Соловьев А. Г. Тетради красного профессора // Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1993. Т. 4.

СССР и Польша: Октябрь 1956-го. Постановления и рабочие записи заседаний Президиума ЦК КПСС // Исторический архив. 1996. № 5–6.

Таковы, товарищи, факты // Источник. 1998. № 2.

Твардовский А. Из рабочих тетрадей. 1953–1960 // Знамя. 1989. №. 8, 9.

Хрущев Н. С. Мир без оружия — мир без войн. Выступления по вопросам внешней политики СССР и международного положения. Интервью и беседы с иностранными деятелями. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 2.

Хрущев Н. С. О внешней политике Советского Союза. 1960 год. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 1.

Хрущев Н. С. О коммунистическом воспитании. М.: Госполитиздат, 1964.

Хрущев Н. С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. М.: Госполитиздат, 1962–1964. В 8 т.

Чего стоят полководческие качества Сталина: Непроизнесенная речь маршала Г. К. Жукова // Источник. 1995. № 2.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«Леонид Никитович Хрущев: Личное дело». Из архива Министерства обороны. Предоставлен автору Ю. Л. Хрущевым.

United States. Central Intelligence Agency. «Khrushchev: A Personality Sketch». OCI. № 2391/61. Расшифрованная недатированная копия предоставлена автору историческим сообществом.

Аттестация за период с 21 /VI1/1930 по 1/IX/30 на комиссара запаса (К-7) Хрущева Никиту Сергеевича. Предоставлена автору архивом Министерства обороны.

Боевая характеристика на пилота 134 SBP лейтенанта Хрущева Леонида Никитовича. Из архива Министерства обороны. Предоставлена автору Ю. Л. Хрущевым.

Выписка из донесения начальнику штаба ВС 22 армии, исх. № 012/30 от 16.7.41. Из архива Министерства обороны. Предоставлена автору Ю. Л. Хрущевым.

Запись (недатированная) собрания московского партактива.

Отчет Хрущева Сталину от 26 июля 1944 года. Предоставлен автору Ю. Шаповалом.

Рассекреченная шифротелеграмма Жукова в Министерство иностранных дел. 1 ноября 1962 года.

Рассекреченная шифротелеграмма за номером 1224–1235. МИД. 30 октября 1962 года.

Рассекреченная шифротелеграмма министра иностранных дел Громыко в ЦК КПСС. 19 октября 1962 года.

Рассекреченная шифротелеграмма министра иностранных дел Громыко о его встрече с президентом Кеннеди. 18 октября 1962 года.

Рассекреченная шифротелеграмма посла Добрынина в Министерство иностранных дел. 23 и 24 октября 1962 года.

Рассекреченная шифротелеграмма посла Добрынина в Министерство иностранных дел. 27 октября 1962 года.

Справка Министерства обороны, без даты, подпись: Данилов. Фотокопия предоставлена автору Ю. Л. Хрущевым.

ВОСПОМИНАНИЯ

Alexeyeva L., Goldberg P. The Thaw Generation: Coming of Age in the Post-Stalin Era. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993.

Alliluyeva S. Only One Year. NY.: Harper & Row, 1969.

Alliluyeva S. Twenty Letters to a Friend / Trans. Priscilla Johnson McMillan. NY.: Harper & Row, 1967.

Arbatov G The System: An Insider's Life in Soviet Politics. NY.: Times Books, 1992.

Beriia S. Beria, My Father: Inside Stalin's Kremlin. London: Duckworth, 2001.

Bisset! R. Jr. Reflections of a Cold Warrior: From Yalta to the Bay of Pigs. New *Bohlen* C. Witness to History, 1929–1969. NY.: Norton, 1973.

Bolshakov G. The Hot Line: The Secret Communication Channel between John Kennedy and Nikita Khrushchev // New Times. 1989. № 5.

Borodin N. M. One Man in His Time. London: Constable, 1955.

Bukovsky V. To Build a Castle: My Life as a Dissenter / Trans. Michael Scammell. NY.: Viking, 1979.

Burlatsky F. Khrushchev: The Era of Khrushchev through the Eyes of His Advisor/ Trans. Daphne Skillen. NY.: Scribner, 1991.

Dobrynin A. In Confidence: Moscow's Ambassador to America's Six Cold War Presidents. NY.: Times Books, 1995. ed. Solomon Volkov /

Trans. Antonina W. Bouis. NY.: Harper & Row, 1979.

Eden A. Full Circle: The Memoirs of Anthony Eden. Boston: Houghton Mifflin, 1960.

Ehrenburg I. The War: 1941–1945 / Trans. Tatiana Shebunina. Cleveland: World Publishing, 1965.

Eisenhower D. A Waging the Peace 1956–1961. NY.: Doubleday, 1965.

Eisenhower, John S. D. Strictly Personal Garden City. NY.: Doubleday, 1974.

Frankel M. The Times of My Life and My Life with the Times. NY.: Random House, 1999. *Gaitskell H.* The Diary of Hugh Gaitskell. 1945–1956 / Ed. Philip M. Williams. London: Jonathan Cape, 1983.

Gaulle Ch. de. The Complete War Memoirs of Charles de Gaulle. NY.: Da Capo Press, 1984. *Djilas M.* Conversations with Stalin, trans. Michael B. Petrovich. NY.: Harcourt, Brace & World, 1962.

Gates D. F. Chief: My Life in the LAPD. NY.: Bantam, 1992.

Ginzburg E. S. Into the Whirlwind / Trans. Paul Stevenson and Manya Harari. London: Collins, Harvill, 1967.

Ginzburg E. S. Within the Whirlwind / Trans. Ian Boland. NY.: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.

Gorbachev M. Memoirs. NY.: Doubleday, 1995.

Gribkov A. I., Smith W. V. Operation Anadyr: U.S. and Soviet Generals Recount the Cuban Missile Crisis / Ed. Alfred Friendly, Jr. Chicago: edition q, inc., 1994.

Gromyko A. Memoirs. NY.: Doubleday, 1989.

Harvey A. McGehee. A 1969 Conversation with Khrushchev: The Beginning of His Fall from Power // Life. 1970. December 18.

Haven: Yale University Press, 1996.

Hayter W. Sir. The Kremlin and the Embassy. NY.: Macmillan, 1966.

Heikal M. The Sphinx and the Commissar: The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East. NY.: Harper & Row, 1978.

Hoxha E. The Artful Albanian / Ed. Jon Halliday. London: Chatto and Windus, 1986.

Hoxha E. The Khrushchevites: Memoirs. Tirana, Albania: 8 Nenteri Publishing House, 1980.

John Fitzgerald Kennedy. Boston: Little, Brown, 1972.

Kaganovich L. Памятные записки. М.: Вагриус, 1996.

Khrushchev Nikita S. Khrushchev Remembers / Trans, and ed. Strobe Talbott. Boston: Little, Brown, 1970.

Khrushchev Nikita S. Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes / Trans, and ed. Jerrold L. Schecter with Vyacheslav Luchkov. Boston: Little, Brown, 1990.

Khrushchev Nikita S. Khrushchev Remembers: The Last Testament

/ Trans, and ed. Strobe Talbott. Boston: Little, Brown, 1974.

Khrushchev S. N. Nikita Khrushchev and the Creation of a Superpower. University Park: Penn State Press, 2000.

Khrushchev. NY.: Norton, 1972.

Kistiakowsky G. B. A Scientist at the White House: The Private Diary of President Eisenhower's Special Assistant for Science and Technology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.

Kennedy Robert F. Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis. NY.: Norton, 1969. *Kharlamov M., ed.* Face to Face with America: The Story ofN. S. Khrushchev's Visit to the *Lippmann W.* Conversations with Walter Lippmann. Boston: Little, Brown, 1965.

Lodge H. C The Storm Has Many Eyes: A Personal Narrative. NY.: Norton, 1973.

MacDuffie M. The Red Carpet: 10,000 Miles through Russia on a Visa from Khrushchev. NY.: Norton, 1955.

Macmillan H. Pointing the Way: 1959–1961. NY.: Harper & Row, 1972.

Macmillan H. Riding the Storm: 1956–1959. London: Macmillan, 1971.

Macmillan H. Tides of Fortune: 1945–1955. NY.: Harper & Row, 1969.

Micunovic V. Moscow Diary / Trans. David Floyd. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1980.

Molotov Remembers: Conversations with Feliks Chuev / Ed. Albert Resis. Chicago: Ivan R. Dee, 1993.

Nixon R. M. Leaders. NY.: Warner Books, 1982.

Nixon R. M. Six Crises. Garden City, NY.: Doubleday, 1962.

O'Donnell K. P., Powers D. «Johnny We Hardly Knew Ye»: Memories of *Parrott C* The Serpent and the Nightingale. London: Faber & Faber, 1977.

Quan Yanchi. Mao Zedong yu Xeluxiaofu (Mao Zedong and Khrushchev). Jilin: Jilin remin chuban she. Informal English trans, of the Chinese text prepared for the author.

Reston J. Deadline: A Memoir. NY.: Random House, 1991.

Roberts Ch. First Rough Draft: A Journalist's Journal of Our Times. NY.: Praeger, 1973.

Rusk D. As I Saw It, as told to Richard Rusk and ed. Daniel S. Papp. NY.: Norton, 1990.

Sakharov A. Memoirs / Trans. Richard Lourie. NY.: Knopf, 1990.

Sakharov A. Воспоминания // Знамя. 1990. № 11.

Salinger P. With Kennedy. Garden City, NY.: Doubleday, 1966.

Salisbury H. E. A Journey for Our Times: A Memoir. NY.: Harper & Row, 1983.

Salisbury H. E. Heroes of My Time. NY.: Walker, 1993.

Schorr D. Staying Tuned: A Life in Journalism. NY.: Pocket Books, 2001.

Shamberg V. Stalin's Last Inner Circle // Harriman Review. 1997. V. 10. № 1.

Shevchenko A. N. Breaking with Moscow. NY.: Knopf, 1985.

Shostakovich D. Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich, related to.

Smith W. B. My Three Years in Moscow. Philadelphia: Lippincott, 1950.

Solzhenitsyn A. I. The Gulag Archipelago 1918–1956: An Experiment in Literary Investigation. V. I–II / Trans. Thomas P. Whitney. NY.: Harper & Row, 1973, 1974.

Solzhenitsyn A. I. The Gulag Archipelago. NY.: Harper & Row, 1978. V. 3.

Solzhenitsyn A. I. The Oak and the Calf: Sketches of Literary Life in the Soviet Union / Trans. Harry Willets. NY.: Harper & Row, 1980.

Sorensen T. C Kennedy. NY.: Bantam, 1966.

Sudoplatov P., Sudoplatov A. Jerrold L., Schecter L. P. Special Tasks. Boston: Little, Brown, 1994.

Sulzberger C L. The Last of the Giants. NY.: Macmillan, 1970.

Taubman W. The View from Lenin Hub: Soviet Youth in Ferment. NY.: Coward — McCann, 1967.

Toranska T. Them: Stalin's Polish Puppets / Trans. Agnieszka Kolakowska. NY.: Harper & Row, 1987.

U.S. A, September 15–27, 1959. Moscow: 1960.

Vidali V. Diary of the Twentieth Congress of the Communist Party of the Soviet Union / Trans. Nell Amter Cattonar and A. M.. Elliot. Westport, Conn.: Lawrence Hill and Co., 1974. *Vishnevskaya G.* Galina: A Russian Story. NY.: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.

Walters V. A. Silent Missions. Garden City, NY.: Doubleday, 1978.

Watson T. J. Father, Son and Co.: My Life at IBM and Beyond. NY.: Bantam, 1990.

Weit E. Eyewitness: The Autobiography of Gomutka's Interpreter / Trans. Mary Schofleld. London: Deutsch, 1973.

Wright P. Spycatcher: The Candid Autobiography of a Senior Intelligence Officer. NY.: Viking, 1987.

Zhisui Dr. Li. The Private Life of Chairman Mao / Trans. Tai Hung-Chao. NY.: Random House, 1994.

Zhukov G Reminiscences and Reflections. Moscow: Progress Publishers, 1985. 2 v.

Аджубей А. Крушение иллюзий. М.: Интербук, 1991.

Аджубей А. Те десять лет. М.: Советская Россия, 1989.

Аксенов В. Зима тревоги нашей, или Как марксист Никита учил писателей партийной правде // Литературный курьер.

1986/87. № 12.

Александров-Агентов А. М. Брежнев и Хрущев // Новое время. 1993. № 22.

Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М.: Международные отношения, 1994.

Бабенышева С. Цена прозрения // СССР; Внутренние противоречия. № 2.

Баграмян И. Х. Так шли к победе. М.: Воениздат, 1977.

Бажанов Б. Побег из ночи // Континент. 1976. № 9.

Белютин Э. Хрущев в Манеже // Дружба народов. 1990. № 1.

Берг Р. Суховей: Воспоминания генетика. NY.: Chalidze Publications, 1983.

Берия С. Мой отец — Лаврентий Берия. М.: Современник, 1994.

Василевский А. М. Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1974.

Васильев Г. Самая громкая сессия // Правда. 1990. 6 декабря.

Вознесенский А. Н. С. Хрущев: «В вопросах искусства я сталинист» // Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М.: Политиздат, 1989.

Воронов Г. И. Немного воспоминаний //Дружба народов. 1989. № 1.

Гаевски С. Как Никита Сергеевич встречу в верхах сорвал // Киевские новости. 1993. № 1.

Говорушко Н. А. Почетный посетитель // Боевая вахта. 1990. Февраль, март.

Громыко А. Карибский кризис: О гласности теперь и скрытности тогда // Известия. 1989. 15 апреля.

Громыко А. Памятное. М.: Политиздат, 1988. Т. 1.

Добрынин А. Карибский кризис: Свидетельство участника // Международная жизнь. 1992. № 7.

Ефремов Л. Как снимали Хрущева // Диалог. 1993. № 7.

Жуков Г. К. Рискованная операция // Берия: Конец карьеры. М.: Политиздат, 1991.

Жуков Г. К. Я пишу как было, я никого не щажу // Исторический архив. 1999. № 3.

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3 т. М.: Новости, 1992.

Жутовский Б. Групповой портрет в казенном интерьере // Литературная газета. 1989. 5 июля.

Захаров И. Как Хрущев Америку покорял // Аргументы и факты. 2000. № 52.

Зуб И. Задание особого свойства: История и судьбы // Красная звезда. 1988. 19 марта.

И примкнувший к ним Шепилов: Правда о человеке, ученом,

воине, политике. М.: Звонница-МГ, 1998.

Капица М. С. На разных параллелях: Записки дипломата. М.: Книга и бизнес, 1996.

Козаков М. Актерская книга. М.: Вагриус, 1997.

Кальман А. Мы не должны были так жить. NY.: Chalidze Publications, 1982.

Корниенко Г. Холодная война: Свидетельство ее участника. М.: Международные отношения, 1994.

Короткое Ю. Я выполнял приказ Берии // Берия: Конец карьеры. М.: Политиздат, 1991.

Лакшин В. Я. «Новый мир» во время Хрущева: Дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991.

Леонов Я. Лихолетье. М.: Терра, 1997.

Мазуров К. Я говорю не только о себе // Советская Россия. 1989. 18 февраля.

Маленков А. О моем отце Георгии Маленкове. М.: Технекос, 1992.

Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. 1990. № 2-12; 1991. № 1-12; 1992. № 1–3, 6–9, 11–12; 1993. № 2-10; 1994. № 1–8, 10–12; 1995. № 2–6.

Микоян А. Так было: Размышления о минувшем. М.: Вагриус, 1999.

Мошенцева П. Тайны кремлевской больницы. М.: Совершенно секретно, 1998.

Москаленко К. С. Как был арестован Берия // Берия: Конец карьеры. М.: Политиздат, 1991.

Москаленко В. Июнь 1953 // Журналист. 1991. № 7.

Мухитдинов Н. Годы, проведенные в Кремле. Ташкент: Изд-во народного наследия им. Абдуллы Кадыра, 1994.

Неизвестный Э. Мой диалог с Хрущевым // Время и мы. 1979. № 4.

Ромм М. Устные рассказы. М.: Киноцентр, 1991.

Рубин А. Т. Рядом со Сталиным // Социологическое исследование. 1988. № 3.

Семичастный В. Тайна закрытого доклада // Совершенно секретно. 1996. № 1.

Симонов К. Страшный человек // Берия: Конец карьеры. М.: Политиздат, 1991.

Смирнов Г. Л. Маленькие секреты большого дома // Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1993. Т. 3.

Суходрев В. М. Язык мой — друг мой: От Хрущева до Горбачева. М.: АСТ, 1999.

Тендряков В. На блаженном острове коммунизма // Свет и

тени великого десятилетия: Н. С. Хрущев и его время. Л.: Лениздат, 1989.

Трояновский О. Через годы и расстояния. М.: Вагриус, 1997.

Фалин В. М. Без скидок на обстоятельства: Политические воспоминания. М.: Республика; Современник, 1999.

Хрущев Н. С. Воспоминания: Время, люди власть. М.: Московские новости, 1999. В 4 т.

Khrushchev S. N. Khrushchev on Khrushchev: An Inside Account of the Man and His Era / Trans, and ed. William Taubman. Boston: Little, Brown, 1990.

Хрущев С. Я. Н. С. Хрущев: Кризисы и ракеты. М.: Новости, 1994. В 2 т.

Хрущев С. Н. Пенсионер союзного значения. М.: Новости, 1991.

Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М.: Терра, 1991.

Чуев Ф. Так говорил Каганович: Исповедь сталинского апостола. М.: Отечество, 1992.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. P.: YMCA Press, 1980. V. 2. 1952–1962.

Churchill W. The Second World War. V. 4. The Hinge of Fate. Boston: Houghton Mifflin, 1950.

Cousins N. The Improbable Triumvirate: John F. Kennedy, Pope John XXIII, Nikita.

Шатуновская Л. Жизнь в Кремле. NY.: Chalidze Publications, 1982.

Шелепин А. История — учитель суровый // Труд. 1991. 14 марта.

Шелест П. Е. …Да не судимы будете: Дневниковые записки, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. М.: Изд-во Q, 1995.

Шепилов Д. Т. Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 3—12.

Яковлев А. Цель жизни: Записки авиаконструктора. 4-е изд., испр. М.: Политиздат, 1974.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Davies R. T. Unpublished transcript of oral history. Передан автору мистером Дэвисом. *MacDuffie M.* Russia after Stalin. Неопубликованный набросок воспоминаний.

McMillan P. J. How They Took the Bad News. Неопубликованный набросок воспоминаний. Передан автору миссис Макмиллан.

Макаревский В. Письмо У. Таубману от 16 ноября 1992 года.

Микоян С. Дипломатия Микояна. Предварительный заголовок к неопубликованному наброску воспоминаний. Главы переданы автору мистером Микояном.

Микоян С. Красные императоры: Взгляд кремлевского обитателя. Неопубликованный набросок семейных воспоминаний. Передан автору мистером Микояном.

Хрущев С. Н. Набросок для исправленного издания книги «Пенсионер союзного значения». Передан автору мистером Хрущевым.

Хрущев Н. С. Стенограмма записи воспоминаний, переданная на Запад в 1970 году и хранившаяся в Русском институте, а затем в Собрании устной истории Колумбийского университета.

Хрущева Н. П. Мамины тетради. Неопубликованный дневник, набросок воспоминаний и заметок, написанных для детей и внуков. Передан автору С. Н. Хрущевым.

Черноуцан И. Неопубликованный набросок воспоминаний. Передан автору семьей Черноуцана.

СПИСОК ТЕХ, У КОГО АВТОР ВЗЯЛ ИНТЕРВЬЮ

Примечание: В тех случаях, когда я встречался с интервьюируемым не один раз, я указываю в примечаниях дату и место, где было дано интервью. В остальных случаях дата и место указаны только здесь.

Davies R. T. March 1983, Washington.
Thompson J. March 1983, Washington.
Klosson B. May 1983, Washington.
Kalb M. December 1992, Cambridge, Massachusetts.
Schorr D. May 1993, Washington.
Turovskaya M. March 1995, Amherst, Massachusetts.
Shamberg V.April 1997, Amherst, Massachusetts.
Cousins A. May 1998, Northampton, Massachusetts.
McMillan P.J.December 1998, Cambridge, Massachusetts.
Schecter J. April 2000, Washington.
Garthoff R. L. May 2000, Washington, D.C.
Bowie R. June 2000, Washington.
Toumanoff V. November 1986 and June 2000, Washington.
Feron James and Jeanne. January 2002, Hightstown, New Jersey.

Аджубей А. И. Несколько интервью в Москве и обширная переписка на протяжении 1989–1991 годов.

Аджубей Р. Н. Несколько интервью между 1989 и 2000 годами, Москва.

Акаловски Александр. Март 1983, Вашингтон.

Бабенышева С. Февраль 1996, Бостон, Амхерст, Массачусетс.

Бажан Н. Май 1991, Киев.

Бармут Н. Май 1991, Киев.

Вознесенский А. Апрель 1988, Москва.

Волкогонов Д. Декабрь 1991, Вашингтон.

Волчек Г. Январь 1993, Москва.

Воронов Г. Июнь 1991, Москва.

Глухов З. Н.Август 1993, Петрово-Марьинское, Украина.

Говорушко Н.А.Август 1993, Киев.

Горюнов Д. Июнь 1991, Москва.

Гостинская В.А.Август 1993, Варшава, Польша.

Демичев П. Н.Август 1993, Москва.

Дешкант А. Г. Июнь 1991, Москва.

Евреинов В. Июнь 1991, Москва.

Евтушенко Е. А. Май 1988, Переделкино.

Егорычев Н. Г. Август 1993 и июнь 2000, Москва.

Ефремов Л.Август 1993, Москва. Это интервью по просьбе автора взял Валерий Алексеев.

Жукова М. Август 1993, Москва.

Жутовский Б. Апрель 1988, Москва.

Кобиак Р. Июнь 1991, Москва, по телефону.

Корниенко Г. Ноябрь 1990, Москва.

Косенко О. Май 1991, июль 1993 и август 1993, Донецк.

Костенко В. Май 1991 и август 1993, Киев.

Красиков А. Апрель 2000. Вашингтон.

Куницын Г. И.Август 1993, Москва.

Кухарчук Н. И. Июнь 1991, Киев.

Лакшин В. Я. Июль 1991, Москва.

Левада Ю. Апрель 2000, Вашингтон.

Лежненко А. Август 1993, Киев.

Леонов Н.Август 1993, Москва.

Ляшко А. Июль 1993, Киев.

Макаревский В.Август 1993, Москва.

Маленков А. Г. Январь 1993, Москва.

Микоян С. А. Октябрь 1987, Нью-Йорк и Май 2000, Вашингтон.

Моргун Ф. Апрель 1994, Москва.

Наумов В. Сентябрь 1997 и март 1998, Москва.

Пономарев А. Июль 1993, Москва.

Рогинский А. Сентябрь 1992 и сентябрь 1993, Москва.

Семичастный В. Июнь 2000, Москва.

Сизых Л. Май 1991, Киев; январь 1993, Москва; июль 1993, Киев.

Сорокина М. Июнь 1991, Москва.

Старков Ю.Август 1993, Москва.

Суханов Д. М. Июнь 1991, Москва.

Трояновский О. Июнь 1991, Москва; февраль 1993, Вашингтон; апрель 1993, Москва; февраль 1999, по телефону.

Федерольф-Шкодина А.А. Июнь 1991, Москва.

Хранители Музея Довженко. Май 1991, Киев.

Хранители Музея Рыльского. Май 1991, Киев.

Хрущев С. Н. Несколько интервью между 1989 и 2001 годами, Москва, Калиновка, Донецк, Providence, Amherst, Massachusetts.

Хрущев Ю. Л. Июнь 1991 и июль 1993, Москва.

Хрущева Ю. Л. Несколько интервью между 1988 и 2000 годами, Москва.

Червоненко С. В. Январь 1994, Москва.

Шевченко А. Август 1993 и октябрь 1993 (интервью взял по просьбе автора Юрий Крутогоров), Москва.

Яковлев А. Н. Март 1998, Москва.

Ян Минфу. Октябрь 1997, Пекин.

ДРУГИЕ ИНТЕРВЬЮ

Gladky A. Khrushchev Poor Pupil // Hartford Courant. 1959. July 18.

Gladky A. Manchester Woman Once Taught Khrushchev // Hartford Times. 1962. August 22.

Gladky A. Nikita Khrushchev's First Teacher // High Point (North Carolina) Enterprise. 1989. February 28.

Gladky A. Woman Becomes Citizen // Hartford Courant. 1963. June 15.

Амелько Н. Неопубликованное интервью Ричарду Неду Лебоу. Москва, 1991. Передано автору мистером Лебоу.

Бенедиктов И. А. О Сталине и Хрущеве // Молодая гвардия. 1989. № 4.

Беседа с Н. Г. Егорычевым Николая Барсукова // Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1992. Т. 1.

Гриневский О. Неопубликованное интервью Ричарду Неду Лебоу. Вена, октябрь 1991. Передано автору мистером Лебоу.

Егорычев Н. Г. Направлен послом. Интервью Леониду Плешакову // Огонек. 1989. № 6.

Замятин Л. Неопубликованное интервью Ричарду Неду

Лебоу. Москва, декабрь 1991. Передано автору мистером Лебоу.

Мао Цзэдун. Три интервью председателя Мао Анне Луизе Стронг // China Quarterly. 1985. № 103.

Мухитдинов Н. Двенадцать лет с Хрущевым // Аргументы и факты. 1989. № 44.

Семичастный В. Как смещали Хрущева. Интервью В. Старкову // Аргументы и факты. 1989. 20–26 мая.

Семичастный В. Неопубликованная полная запись интервью В. Старкову.

Семичастный В. Я бы справился с любой работой. Интервью К. Светицкому и С. Соколову // Огонек. 1989. № 23.

Хрущев Н. С. Интервью польским журналистам. Опубликовано в «Правде» 12 марта 1958.

Хрущев Н. С. Интервью Джеймсу Рестону // Нью-Йорк таймс. 1957. 10 октября.

Хрущев Н. С. Интервью газете «Фигаро». Опубликовано в «Правде» 27 марта 1958.

Хрущев Н. С. Интервью лондонской газете «Таймс». Опубликовано в «Правде» 16 февраля 1958.

Шелепин А., Семичастный В. Беседа с ними Н. Барсукова от 27 марта и 22 мая 1989 // Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1992. Т. 1.

Шелест П. Брежневу я так сказал. Интервью А. Караулову от 15 июня 1989 // Театральная жизнь. 1989. № 17.

Шепилов Д. Т. Я был причастен к докладу о культе личности… Беседа с ним Н. Барсукова от 23 февраля 1989 // Огонек. 1996. № 7.

ЛИТЕРАТУРА

Adler A. The Individual Psychology of Alfred Adler. NY.: Basic Books, 1956.

Akhtar S. Broken Structures: Severe Personality Distorders and Their Treatment. Northvale, N. J.: Jason Aronson, 1992.

Allyn B., Blight J. G., Welch D., eds. Back to the Brink: Proceedings of the Moscow Conference on the Cuba Missile Crisis, January 27–28, 1989 // CS1A Occasional Paper № 9. Lanham, Md.: University Press of America, 1992.

Ambrose S. Eisenhower. NY.: Simon & Schuster, 1983–1984. V. 1. and ed. Hugh Ragsdale. Armonk, NY.: M. E. Sharpe, 1998.

Andrew C, Gordievsky O. KGB: The Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev. NY.: HarperCollins, 1990.

Andrew C, Mitrokhin V. The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. NY.: Basic Books, 1999.

Anson R. S. Exile: The Unique Oblivion of Richard M. Nixon. NY.: Simon & Schuster, 1984.

Antonov-Ovseenko A. The Time of Stalin: Portrait of a Tyranny. NY.: Harper & Row, 1981.

Armstrong J. A. Ukrainian Nationalism. 3d ed. Englewood, Colo.: Ukrainian Academic Press, 1990.

Atkinson D. The End of the Russian Land Commune. 1905–1930. Stanford, Calif: Stanford University Press, 1983.

Ball D. Politics and Force Levels: The Strategic Missile Program of the Kennedy Administration. Berkeley: University of California Press, 1980.

Baron S. Bloody Saturday in the Soviet Union: Novocherkassk 1962. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2001.

Bell C. Survey of International Affairs, 1954. London: Oxford University Press, 1957.

Beschloss M. Mayday: Eisenhower, Khrushchev and the U-2 Affair. NY.: Harper & Row, 1986.

Beschloss M. The Crisis Years: Kennedy and Khrushchev. 1960–1963. NY.: HarperCollins, 1991.

Bialer S., ed. Stalin and His Generals: Soviet Military Memoirs of World War II. NY.: Pegasus, 1969.

Bird K. The Chairman: John J. McCloy and the Making of the American Establishment. NY.: Simon & Schuster, 1992.

Black I., Morris B. Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services. NY.: Grove Weidenfeld, 1991.

Blake P., Hayward M., eds. Half-way to the Moon: New Writing from Russia. NY.: Holt, Rinehart and Winston, 1963.

Blight J. G., Allyh B. J., Welch D. A. Cuba on the Brink: Castro, the Missile Crisis, and the Soviet Collapse. NY.: Pantheon, 1993.

Blight J. G., Welch D. A. On the Brink: Americans and Soviets Reexamine the Cuban Missile Crisis. 2d ed. NY.: Noonday Press, 1990.

Bociurkiw B. R. The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State: 1939–1950. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1996.

Bonnell V. E., ed. The Russian Worker: Life and Labor under the Tsarist Regime. Berkeley: University of California Press, 1983.

Breslauer G. Khrushchev and Brezhnev as Leaders: Building Authority in Soviet Politics. Boston: Allen & Unwin, 1982.

Brugoni D.A. Eyeball to Eyeball: The Inside Story of the Cuban Missile Crisis. NY.: Random House, 1991.

Brzezinski Z. The Soviet Bloc: Unity and Conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967.

Bundy McG. Danger and Survival: Choices about the Bomb in the First Fifty Years. NY.: Random House, 1988.

Carynnyk M., ed. and trans. Alexander Dovzhenko: The Poet as Filmmaker. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1973.

Catudal H. M. Kennedy and the Berlin Wall Crisis: A Case Study in U.S. Decision Making. Berlin: Berlin Verlag, 1980.

Chang G. H. Friends and Enemies: The United States, China and the Soviet Union, 1948–1972. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1990.

Cohen S. F. Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917. NY.: Oxford University Press, 1985.

Cotton T. J. Commissars, Commanders and Civilian Authority: The Structure of Soviet Military Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979.

Cotton T. J. Moscow: Governing the Socialist Metropolis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

Conquest R. Courage of Genius: The Pasternak Affair. London: Collins and Harvill Press, 1961.

Conquest R. Power and Policy: The Study of Soviet Dynasties. NY.: St. Martin's, 1961.

Conquest R. Stalin: Breaker of Nations. NY.: Viking, 1991.

Conquest R. The Great Terror: A Reassessment. NY.: Oxford University Press, 1990.

Conquest R. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. NY.: Oxford University Press, 1986.

Craig C. Destroying the Village: Eisenhower and Thermonuclear War. NY.: Columbia University Press, 1998.

Crankshaw E. Khrushchev: A Career. NY.: Viking, 1966.

Crankshaw E. The New Cold War: Moscow v. Pekin. Harmondsworth, U.K.: Penguin Books, 1963.

Croghan P. A. A. The Peasant from Makeyevka: Biography of Bishop Piu Neveu. A.A.Worcester, Mass., 1982.

Davies R. W. The Soviet Economy in Turmoil, 1928–1930. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3d ed. Washington: American Psychiatric Association, 1980.

Dulles A. The Craft of Intelligence. NY.: Harper & Row, 1963.

Elias N. The Court Society, trans. Edmund Jephcott. NY.: Pantheon, 1983.

Erickson J. The Road to Berlin. Boulder, Colo.: Westview Press, 1983.

Erickson J. The Road to Stalingrad. NY.: Harper & Row, 1975.

Erikson E. H. Childhood and Society. NY.: Norton, 1963.

Ewald W. B. Eisenhower the President: Crucial Days, 1951–1960.

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981.

Feuer L., ed. Marx and Engels: Basic Writing on Politics and Philosophy. Garden City, NY.: Anchor Books, 1959.

Filtzer D. Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the Modern System of Soviet Production Relations, 1953–1964. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1992. *Fitzpatrick S.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, U. K: Cambridge University Press, 1979.

Filtzer D. The Khrushchev Era: De-Stalinization and the Limits of Reform in the USSR, 1953–1964. London: Macmillan, 1993.

Fitzpatrick S. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. NY.: Oxford University Press, 1999.

Fitzpatrick S. The Russian Revolution. Oxford, U. K: Oxford University Press, 1982.

Fleishman L. Boris Pasternak: The Poet and His Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.

Floyd D. Mao against Khrushchev: A Short History of the Sino-Soviet Conflict. NY.: Praeger, 1964.

Frankland M. Khrushchev. NY.: Stein and Day, 1967.

Freedman L. The Evolution of Nuclear Strategy. NY.: St. Martin's, 1981.

Freud S. The Standard Edition of the Complete Psychological Works / Ed. James Strachey. London: Hogarth Press, 1953–1974.

Friedgut T. H. Yuzovka and Revolution. V. 1. Life and Work in Russia's Donbass, 1869–1924. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989.

Friedgut T. H. Yuzovka and Revolution. V. 2. Politics and Revolution in Russia's Donbass, 1869–1924. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994.

Fursenko A., Naftali T. «One Hell of a Gamble»: Khrushchev, Castro and Kennedy, 1958–1964. NY.: Norton, 1997.

Gaddis J. L. The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations. NY.: Oxford University Press, 1992.

Gaddis J. L. We Now Know: Rethinking Cold War History. NY.: Oxford University Press, 1997.

Garthoff R. L. Reflections on the Cuban Missile Crisis. Rev. ed. Washington, D. C: Brookings Institution, 1989.

Gati C. Hungary and the Soviet Bloc. Durham, N.C.: Duke University Press, 1986.

Gearson J. P. S. Harold Macmillan and the Berlin Watt Crisis, 1958–1962: The Limits of Interest and Force. NY.: St. Martin's, 1998.

Getty J. A., and Naumov O. V. The Road to the Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks. New Haven: Yale University

Press, 1999.

Gittings J. Survey of the Sino-Soviet Dispute: A Commentary and Extracts from the Recent Polemics 1963–1967. London: Oxford University Press, 1968.

Gramont S. de. The Secret War: The Story of International Espionage since World War II. NY.: Putnam, 1962.

Greenstein F, I. The Hidden-Hand Presidency: Eisenhower as Leader. NY.: Basic Books, 1982.

Griffith W. The Sino-Soviet Rift. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1964.

Grose P. Gentleman Spy: The Life of Allen Dulles. Boston: Houghton Mifflin, 1994.

Gross J. T. Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988.

Grossman V. Life and Fate: A Novel / Trans. Robert Chandler. NY.: Harper &Row, 1985.

Günther J. Procession. NY.: Harper & Row, 1965.

Hahn W. G. Postwar Soviet Politics: The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation, 1946–1953. Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1982.

Hamilton Л'. JFK: Restless Youth. NY.: Random House, 1992.

Heller M., Nekrich A. Utopia in Power: History of the Soviet Union from 1917 to the Present. NY.: Summit Books, 1986.

Hersh S. The Dark Side ofCamelot. Boston: Little, Brown, 1997.

Hewett E. A. Reforming the Soviet Economy: Equality vs. Efficiency. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1988.

Hixson W. Parting the Curtain: Propaganda, Culture and the Cold War. NY.: St. Martin's, 1996. *Holloway D.* Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956. New Haven: Yale University Press, 1994.

Homey K. Neurosis and Human Growth: The Struggle toward Self-Realization. NY.: Norton, 1950.

Jones E. The Life and Work of Sigmund Freud. NY.: Basic Books, 1961. Joravsky, David. The Lysenko Affair. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.

Klessmann C, Stover B. 1953: Krisenjahr des Katien Krieges in Europa, Cologne: Boehlau, 1999.

Knight A. Beria: Stalin's First Lieutenant. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993.

Knight A. Who Killed Kirov? The Kremlin's Greatest Mystery. NY.: Hill and Wang, 1999.

Kolkowicz R- The Soviet Military and the Communist Party. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967.

Kuromiya H. Freedom and Terror in theDonbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s—1990s. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1998.

Laqueur W. Stalin: The Glasnost Revelations. NY.: Scribner, 1990.

Lasswell H. Power and Personality. NY.: Norton, 1948.

Lebow Я N., Stein J. G. We All Lost the Cold War. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994.

Lee H. Roswell Garst: A Biography. Ames: Iowa State University Press, 1984.

Leonhard W. The Kremlin since Stalin / Trans. Elizabeth Wiskemann and Marian Jackson. NY.: Praeger, 1962.

Levinson D. J. The Seasons of a Man's Life. NY.: Knopf, 1970.

Luckyj G S. N. Literary Politics in the Soviet Ukraine. Durham, N.C.: Duke University Press, 1990.

М. С. Хрущов и Україна. Київ: Национална Академіа Наук Україні, 1995.

Maïia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. NY.: Free Press, 1994.

Marples D. Stalinism in Ukraine in the 1940s. NY.: St. Martin's, 1992.

Mawdsley E. The Russian Civil War. Boston: Allen & Unwin, 1987.

Maynard J. Sir. Russia in Flux. ed. and abr. S. Haden Guest. NY.: Macmillan, 1948.

McCauley M., ed. Khrushchev and Khrushchevism. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

McMillan P. J. Khrushchev and the Arts: The Politics of Soviet Culture, 1962–1964. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965.

Me W. N. Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process. NY.: Guilford Press, 1994.

Medvedev R. All Stalin's Men. Garden City, NY.: Anchor, 1984.

Medvedev R. Khrushchev / Trans. Brian Pearce. Garden City, NY.: Doubleday/Anchor, 1983.

Medvedev R. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism / Rev. and expanded ed. trans. George Shriven. NY.: Columbia University Press, 1989.

Medvedev R., Medvedev Z. Khrushchev: The Years in Power. NY.: Columbia University Press, 1976.

Medvedev Z. A. The Rise and Fall of T. O. Lysenko / Trans. I. Michael Lerner. NY.: Columbia University Press, 1969.

Medvedev Z. Soviet Agriculture. NY.: Norton, 1987.

Miller R. E. Feher F., eds. Khrushchev and the Communist World, London and Canberra: Groom Helm, 1984.

Mosse G. L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. NY.: Oxford University Press, 1990.

Nahaylo B., Swoboda V. Soviet Disunion: A History of the Nationalities Problem in the USSR. NY.: Free Press, 1990.

Nash P. The Other Missiles of October: Eisenhower, Kennedy and the Jupiters, 1957–1963. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.

Paloczi-Horvath G. Khrushchev: The Making of a Dictator. Boston: Little, Brown, 1960.

Parrish M. The Lesser Terror: Soviet State Security, 1939–1953. Westport, Conn.: Praeger, 1996.

Pedlow G. W., Welzenbach D. E. The CIA and the U-2 Program, 1954–1974. Washington, D.C.: Central Intelligence Agency, 1998.

Persico J. E. The Imperial Rockefeller: A Biography of Nelson Rockefeller. NY.: Simon & Schuster, 1982.

Pipes R. Russia under the Bolshevik Regime. NY.: Knopf, 1993.

Pipes R. Russia under the Old Regime. NY.: Scribner, 1974.

Pipes R. The Russian Revolution. NY.: Knopf, 1990.

Pistrak L. The Grand Tactician: Khrushchev's Rise to Power. NY.: Praeger, 1961.

Radzinsky E. Stalin: The First In-Depth Biography Based on Explosive New Documents from Russia's Secret Archives / Trans. H. T. Willetts. NY.: Doubleday, 1996.

Ranelagh J. TheAgency: The Rise and Decline of the CIA. NY.: Simon & Schuster, 1987.

Reeve F. D. Robert Frost in Russia. Boston: Little, Brown, 1963.

Reeves R. President Kennedy: Profile of Power. NY.: Simon & Schuster, 1993.

Richter J. G. Khrushchev's Double Bind: International Pressures and Domestic Coalition Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.

Scammell M. Solzhenitsyn: A Biography. NY.: Norton, 1984.

Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. NY.: Random House, 1960.

Schecter J. L., Deriabin P. A. The Spy Who Saved the World: How a Soviet Colonel Changed the Course of the Cold War. NY.: Scribner, 1992.

Schlesinger A. M., Jr. A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House. Boston: Houghton Mifflin, 1965.

Schlesinger A. M., Jr. Robert Kennedy and H is Times. NY.: Random House, 1978.

Schoenbaum T. J. Waging Peace and War: Dean Rusk in the Truman, Kennedy and Johnson Years. NY.: Simon & Schuster, 1988.

Seaborg G. T. Kennedy, Khrushchev and the Test Ban. Berkeley: University of California Press, 1981.

Siegelbaum L. H., Suny R. G., eds. Making Workers Soviet: Power,

Class and Identity. Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1994.

Snyder J. Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition. Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1991.

Soyfer V. N. Lysenko and the Tragedy of Soviet Science / Trans. Leo Gruliow and Rebecca Gruliow. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1994.

Spechler D. Permitted Dissent in the USSR: Novy Mir and the Soviet Regime. NY.: Praeger, 1982.

Steel R. Walter Lippmann and the American Century. Boston: Little, Brown, 1980.

Stepniak S. The Russian Peasantry: Their Agrarian Condition, Social Life and Religion, Westport, Conn.: Hyperion, 1977.

Stiles R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1992.

Subtelny O. Ukraine: A History'. 2d ed. Toronto: Toronto University Press, 1994.

Sullivant R. S. Soviet Politics and the Ukraine. NY.: Columbia University Press, 1962.

Suny R. G. The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States. NY.: Oxford University Press, 1998.

Swayze H. Political Control of Literature in the USSR, 1946–1959. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962.

Tatu M. Power in the Kremlin: From Khrushchev to Kosygin, trans. Helen Katel. NY.: Viking, 1969.

Taubman W. Stalin's American Policy: From Entente to Detente to Cold War. NY.: Norton, 1982.

Taubman W., Khrushchev S., Gleason A., eds. Nikita Khrushchev. New Haven: Yale University Press, 2000.

The Village of Viriatino: An Ethnographic Study of a Russian Village from Before the Revolution to the Present / Trans, and ed. Sula Benet. Garden City, NY.: Anchor, 1970.

Tompson W. J. Khrushchev: A Political Life. NY.: St. Martin's, 1995.

Trachtenberg M. A Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945–1963. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999. *Tucker R. C* Stalin in Power. NY.: Norton, 1990.

Ulam A. Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy, 1917—73. NY.: Praeger, 1974. *Underbill R.* Khrushchev's Shoe and Other Ways to Captivate an Audience of i to 1000. Cambridge, Mass.: Perseus, 2000.

VaksbergA. The Prosecutor and the Prey: Vyshinsky and the 1930s Moscow Show Trials / Trans. Jan Butler. London: Weidenfeld & Nicolson, 1990.

Vasilieva L. Kremlin Wives / Trans. Cathy Porter. NY.: Arcade Publishing, 1994.

Volkogonov D. Stalin: Triumph and Tragedy. NY.: Grove Weidenfeld, 1988.

Von Hagen M. Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State, 1917–1939. Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1990.

Westad O. A., ed. Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945–1963. Washington, D. C: Woodrow Wilson Center Press, 1998.

Worobec C. D. Peasant Russia: Family and Community in the Post-Emancipation Period. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.

Wyden P. Watt: The Inside Story of Divided Berlin. NY.: Simon & Schuster, 1989.

Yanov A. The Drama of the Soviet 1960's: A Lost Reform. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1984.

Zubkova E. Russia after the War: Hopes, Illusions and Disappointments, 1945–1957/Trans.

Zubok V., Pleshakov C Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushchev. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.

XX съезд: Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. М.: Апрель-85, 1996.

Авторханов А. Загадка смерти Сталина: Заговор Берии. Frankfurt am Main: Posev, 1976.

Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М.: Политиздат, 1991.

Барсуков Н. XX съезд КПСС и его исторические реальности. М.: Политиздат, 1991.

Берия: Конец карьеры. М.: Политиздат, 1991.

Васильева Л. Кремлевские жены. М.: Вагриус, 1993.

Великому Сталину: Народні пісні та думы. Київ, 1949.

Винниченко В. Творі. Київ: Відень, 1919. Т. 9.

Волкогонов Д. Семь вождей: Галерея лидеров СССР. М.: Новости, 1995. Т. 1.

Гончаренко Н. Октябрь в Донбассе. Луганск: Луганское областное издательство, 1961.

Гриневский О. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М.: Вагриус, 1998.

Зенкович Н. А. Собрание сочинений. Тайны ушедшего века: власть, распри, подоплека. М.: ОЛМА-пресс, 2000. Т. 1.

Зубкова Е. Общество и реформы: 1945–1964. М.: Россия молодая, 1993.

Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и

Брежневе (I953 — начало 1980-х). Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999.

Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора. М.: Институт философии, 1996.

Максудов С. Потери населения СССР. Benson, Vt: Chalidze Publications, 1989.

Медведев Р. Неизвестный Андропов: Политическая биография Юрия Андропова. М.: Права человека, 1999.

Медведев Р. Хрущев: Политическая биография. Benson, Vt: Chalidze Publications, 1986.

Н. С.Хрущев (1894–1971): Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1994.

Население Советского Союза: 1921–1992. М.: Наука, 1993.

Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М.: Политиздат, 1989.

Оклянский Н. Роман с тираном. М.: Московский рабочий, 1994.

Опенкин А. Оттепель: Как это было (1953–1955 гг.). М.: Знание, 1991.

Оттепель 1953–1956: Страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий, 1989.

Оттепель 1957–1959: Страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий, 1990.

Оттепель 1960–1962: Страницы русской советской литературы. М.: Московский рабочий, 1990.

Петров М. Ракетное оружие Ракетных войск стратегического назначения. М.: Виоланта, 1999.

Политические партии России. М.: Изд-во МГУ, 2000.

Пономарев А. Н. Н. С. Хрущев: Путь к лидерству. М.: Знание, 1990.

Рабочая биография: Фотоальбом о донецком машиностроительном заводе имени Ленинского комсомола Украины. Киев: Мистецьтво, 1989.

Рассказ о почетном шахтере: Н. С. Хрущев в Донбассе. Сталино: Книжное издательство, 1961.

Свет и тени великого десятилетия: Н. С. Хрущев и его время. Л.: Лен-издат, 1989.

Симонов К. Глазами человека моего поколения: размышления об И. В. Сталине. М.: Книга, 1990.

Хлевнюк О. В. Политбюро: Механизмы политической власти в 1930-е годы. М.: РОСПЭН, 1996.

Шаповал Ю. М. С. Хрущев на Украшь Ки'гв: Товарищтво «Знания», 1990.

Шаповал Ю. Каганович на Украине. Киев, 1993.

Энциклопедический словарь народонаселения. М.: Большая российская энциклопедия, 1994.

СТАТЬИ

Adamsky V., Smimov Y. Moscow's Biggest Bomb: The 50-Megaton Test of October 1961 // CWIHPB. 1994. № 4.

Aksiutin Y. Popular Responses to Khrushchev // Nikita Khrushchev / *Taubman W., Khrushchev S., Gleason A., ed.* New Haven: Yale University Press, 2000.

Barsukov N. The Rise to Power // Nikita Khrushchev / Ed. William Taubman, Sergei Khrushchev and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Burds J. Agentura: Soviet Informants' Networks and the Ukrainian Rebel Underground in Galicia, 1944–1948 // East European Politics and Societies. V. 11. 1997. № 1.

Burds /The Early Cold War in Soviet West Ukraine, 1944–1948. № 1505 // Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2001.

Burr W. Avoiding the Slippery Slope: The Eisenhower Administration and the Berlin Crisis, November 1958 —January 1959 // Diplomatic History. V. 18. 1994. № 1.

Chen J, Kuisong Y. Chinese Politics and the Collapse of the Sino-Soviet Alliance // Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945–1963 / Ed. Odd Arne Westad. Washington, D. C: Woodrow Wilson Center Press, 1998.

Evangelista M. «Why Keep Such an Army?» Khrushchev's Troop Reductions // Working Paper № 19. Cold War International History Project. December 1997.

Fitzpatrick S. How the Mice Buried the Cat: Scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces // Russian Review. V. 52. 1993. № 3.

Fursenko A., Naflali T. The Pitsunda Decision: Khrushchev and Nuclear Weapons // CWIHPB. 1998. № 10.

Galbraith J. K. The Day Khrushchev Visited the Establishment // Harper's Magazine. 1971. February.

Garthoff R. L. Berlin 1961: The Record Corrected // Foreign Policy. 1991. № 81.

Garthoff R. L. Khrushchev, Nuclear Weapons and the Cuban Missile Crisis // CWIHPB. 1998. № 11.

Garthoff R. L. U. S. Intelligence in the Cuban Missile Crisis //

Intelligence and National Security. V. 13. 1998. № 3.

Geitkt. Letter from Paris // New Yorker. 1960. June 4.

Getty J. A., Rittersporn G. T., and Zemskov V. N. Victims of the Soviet Penal System in the Prewar Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence // American Historical Review. V. 98. 1993. № 4.

Gibianskii L. Soviet-Yugoslav Relations and the Hungarian Revolution of 1956 // CWIHPB. 1998. № 10.

Gluchowski L. W. Khrushchev, Gomulka and the «Polish October» // CWIHPB. 1995. № 5.

Gluchowski L. W., Nalepa E. Y. The Soviet-Polish Confrontation of October 1956: The Situation in the Polish Internal Security Corps // Working Paper № 17. Cold War International History Project. Woodrow Wilson International Center for Scholars, April 1997.

Hall R. C The Truth about Overflights // Quarterly Journal of Military History. 1997. Spring.

Harrison H. M. Driving the Soviets Up the Wall: A Super-Ally, a Superpower, and the Building of the Berlin Wall, 1958–1961 // Cold War History. V. 1. 2000. № 1.

Harrison H. M. Ulbricht and the Concrete «Rose»: New Archival Evidence on the Dynamics of Soviet-East German Relations and the Berlin Crisis, 1958–1961 // Working Paper № 5. Cold War International History Project. Woodrow Wilson International Center for Scholars. May 1993.

Hershberg J. G. Before the Missiles of October: Did Kennedy Plan a Military Strike against Cuba? // Diplomatic History. V. 14. 1990. № 2.

Kaple D. A. Soviet Advisers in China // Brothers in Arms: The Rise andFatt of the Sino-Soviet Alliance, 1945–1963 / Ed. Odd Arne Westad. Washington, D. C: Woodrow Wilson Center Press, 1998.

Keep J. Review of Stalin and the Shaping of the Soviet Union, by Alex De Jonge // Times Literary Supplement. 1986. October 24.

Kemp-Welch T. Khrushchev's «Secret Speech» and Polish Politics: The Spring of 1956 // Europe-Asia Studies. V. 48. 1996. № 2.

Khrushchev S. N. The Military-Industrial Complex // Nikita Khrushchev / Ed. William Taubman, Sergei Khrushchev, and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Knox W. Close Up of Khrushchev during a Crisis // New York Times Magazine. 1962. November 18.

Kramer M. New Evidence on Soviet Decision-Making and the 1956 Polish and Hungarian Crises // CWIHPB. Winter 1996/97. № 8–9.

Kramer M. The Early Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in East-Central Europe: Internal-External Linkages in Soviet Policy-Making. Parts 1–3 // Journal of Cold War Studies. V. 1. 1999. № 1, 2, 3.

Kramer M. The USSR Foreign Ministry's Appraisal of Sino-Soviet Relations on the Eve of the Split, September 1959 // CWIHPB. Winter 1995/96. № 6–7.

Kuromiya H. Donbas Miners in War, Revolution and Civil War// Making Workers Soviet: Power, Class and Identity / Ed. Lewis H. Siegelbaum and Ronald Grigor Suny. Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1994.

Laba R. The Russian-Ukrainian Conflict: State, Nation, and Identity // European Security. V. 4. 1995. № 3.

Mansourov A. Y. Stalin, Mao, Kim and China's Decision to Enter the Korean War, September 16 —October 15, 1950: New Evidence from the Russian Archives // CWIHPB. Winter 1995/96. № 6–7.

Martin H. H. Back to the Beginning of the Tumultuous Life of Nikita Khrushchev // Saturday Evening Post. 1964. November 7.

McWilliams N. Mothering and Fathering Processes in the Psychoanalytic Art // Psychoanalytic Review. V. 78. Winter 1991. № 4.

Melman Y., Raviv D. The Leak of the Century // Washington Post (Outlook Section). 1994. March 27.

Moskalenko V. Июнь 1953-го // Журналист. 1991. № 7.

Naumov V. P. Repression and Rehabilitation // Nikita Khrushchev / Ed. William Taubman, Sergei Khrushchev, and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Rabinovich A. The Man Who Touched History // Jerusalem Post (International Edition). 1995. December 9.

Rigby T. H. Khrushchev and the Rules of the Games // Khrushchev and the Communist World / Ed. R. F. Miller and Feher. London and Canberra: Groom Helm, 1984.

Selvage D. New Evidence on the Berlin Crisis, 1958–1962 // CWIHPB. Winter 1998. № 11.

Shapoval Y. The Ukrainian Years // Nikita Khrushchev / Ed. William Taubman, Sergei Khrushchev and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Slavinsky B. N. The Soviet Occupation of the Kurile Islands and the Plans for the Capture of Northern Hokkaido // Japan Forum. V. 5. 1993. № 1.

Smith G. A. E. Agriculture // Khrushchev and Khrushchevism / Ed. Martin McCauley. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

Strelianyi A. Khrushchev and the Countryside // Nikita Khrushchev / Ed. William Taubman, Sergei Khrushchev, and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Taubman, Sergei Khrushchev, and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Tompson W. J. Industrial Management and Economic Reform

under Khrushchev // Nikita Khrushchev / Ed. William Taubman, Sergei Khrushchev, and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Tompson W. J. The Fall of Nikita Khrushchev // Soviet Studies. V. 43. 1991. № 6.

Troyanovsky O. The Caribbean Crisis: A View from the Kremlin // International Affairs. 1992. April-May.

Troyanovsky O. The Making of Soviet Foreign Policy // Nikita Khrushchev / Ed. William

Wedge B. Khrushchev at a Distance: A Study of Public Personality // Transaction. 1968. October.

Wolff D. In Memorium: Deng Xiaoping and the Cold War // CWIHPB. 1998. № 10.

Wolff D. One Finger's Worth of Historical Events: New Russian and Chinese Evidence on the Sino-Soviet Alliance and Split, 1948–1959 // Working Paper № 30. Cold War International History Project. Woodrow Wilson International Center for Scholars. 2000. August.

Zubkova E. The Rivalry with Malenkov // Nikita Khrushchev / Ed. William Taubman, Sergei Khrushchev, and Abbott Gleason. New Haven: Yale University Press, 2000.

Zubok V. Deng Xiaoping and the Sino-Soviet Split, 1956–1963 // CWIHPB. 1998. № 10.

Аксютин Ю. В. Новые документы бывшего архива ЦК // XX съезд: Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. М.: Апрель-85, 1996.

Аксютин Ю. В. Новые исследования о XX съезде КПСС // Перепечатаны в НХ5. Т. 2.

Аксютин Ю. В. Реплика // XX съезд: Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. М.: Апрель-85, 1996.

Алексеев А. Карибский кризис // Эхо планеты. 1988. 12–18 ноября.

Алексеев В. Человек из тени // Правда. 1993. 18 марта.

Антонов-Овсеенко А. Путь наверх // Берия: Конец карьеры. М.: Политиздат, 1991.

Баграев Ю., Павлюткин В. Новочеркасск, 1962: Трагедия на площади // Красная звезда. 1995. 7 октября.

Барсуков Н. XX съезд в ретроспективе Хрущева // Отечественная история. 1996. № 4.

Барсуков Н. Оборотная сторона оттепели. Историко-документальный очерк // Кентавр. 1993. № 4.

Барсуков Н. Провал «антипартийной группы» // Коммунист. 1990. № 6.

Беспалов Ю., Коновалов В. Новочеркасск, 1962 // Комсомольская правда. 1989. 2 июня.

Василий Сталин за отца отвечать не хотел // Общая газета. 1996. 15–21 февраля.

Волховинский В. Иона Якир // Политика и время. 1991. № 5.

Вот где правда, Никита Сергеевич! // Военно-исторический журнал. 1989. № 12; 1990. № 1, 2.

Второй и важнейший этап // Отечественная история. 1994. № 1.

Геворкян Н. Встречные планы по уничтожению советского народа // Московские новости. 1992. 21 июня.

Глотова Т. Встречи в Марьинке // Вечерний Донецк. 1991. 1 июля.

Горбачев М. Вступительное слово // XX съезд: Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. М.: Апрель-85, 1996.

Гриневский О. Берлинский кризис 1958–1959 гг. // Звезда. 1996. № 2.

Данилов А. Сталинское Политбюро в послевоенные годы // Политические партии России. М.: Изд-во МГУ, 2000.

Егорин А. Е. Н. С. Хрущев — Г. А. Насер: История отношений // Обозреватель. 1993. № 16.

Жирное Е. Советский принц // Комсомольская правда. 1994. 25 ноября, 2, 9 декабря.

Жуков Ю. Н. Борьба за власть в партийно-государственных верхах СССР весной 1953 года // Вопросы истории. 1996. № 5–6.

Жуков Ю. Н. Борьба за власть в руководстве СССР в 1945–1952 годах // Вопросы истории. 1995. № 1.

Записка Поспелова и доклад Хрущева // XX съезд: Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. М.: Апрель-85, 1996.

Злобин Н. С. Хороших диктатур не бывает // XX съезд: Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. М.: Апрель-85, 1996.

Зубкова Е. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства // Отечественная история. 1995. № 4.

Иванов С. Признание перед смертью // Новое русское слово. 2000. 4 апреля.

Илизаров Б. Сталин: штрихи к портрету на фоне его библиотеки и архива // Новая и новейшая история. 2000. № 3, 4.

Испытание сталинщиной // Вечерняя Москва. 1994. 15 апреля.

Каверин В. Литературная Москва // Вопросы литературы. 1989. № 5.

Коваль К. И. Переговоры И. В. Сталина с Чжоу Эньлаем в 1953 году в Москве и Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном в 1954 году в Пекине // Новая и новейшая история. 1989. № 5.

Колесников А. Летчик Л. Н. Хрущев // Военно-исторический журнал.

1989. № 11.

Косолапое Р. Оттепель дала распутицу: XX съезд КПСС — взгляд через 40 лет // Правда. 1996. 15 февраля.

Маковецкий В. Дача Хрущева // Радуга. Киев, 1990.

Михайлов Г. А., Орлов А. С. Тайны закрытого неба // Литературный архив. 1992. № 6.

Наумов В. П. Борьба Н. С. Хрущева за единоличную власть // Новая и новейшая история. 1996. № 2.

Наумов В. П. Дело маршала Г. К. Жукова, 1957 г. // Новая и новейшая история. 2000. № 5, 6.

Наумов В. П. К истории секретного доклада Н. С. Хрущева // XX съезд: Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. М.: Апрель-85, 1996.

Озеров Л. Человек, земля и звезды // Огонек. 1987. № 43.

Первый секретарь // Московская правда. 1989. 9 апреля.

Петров Н. Первый председатель КГБ генерал Иван Серов // Отечественная история. 1997. № 5.

Пихойя Р. Г. О внутриполитической борьбе в советском руководстве. 1945–1948 // Новая и новейшая история. 1995. № 6.

Погиб? Пропал без вести? Жив? // Военно-исторический журнал.

1990. № 4.

Пономарев А. Н. Интриги и репрессии — по правилам игры // Российская газета. 1995. 29 июля.

Пономарев А. Н. Хрущев: Начало карьеры // Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1993. Т. 3.

Последний сталинский расстрел // Вечерняя Москва. 1994. 26 сентября.

Старков Б. Сто дней лубянского маршала // Источник. 1993. № 4.

Стреляный А. Последний романтик // Свет и тени великого десятилетия: Н. С. Хрущев и его время. Л.: Лениздат, 1989.

Сын Н. С. Хрущева погиб на Брянщине // Брянский рабочий. 1995. 20 января.

Удилов В. За что Хрущев отомстил Сталину // Независимая газета. 1998. 17 февраля.

Утвердить докладчиком товарища Хрущева // Московские новости. 1996. М 5.

Харитон Ю. Б., Бриш А. А. Ядерное вооружение // Советская военная мощь: от Сталина до Горбачева / Ред. А. А. Минаев. М.: Военный парад, 1999.

Шаповал Ю. Хрущев и Западная Украина // Свободная мысль.

1996. № 6.

Шундик Н. Чудо, которого не было // Труд. 1988. 18 декабря.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РУКОПИСИ И СТАТЬИ

Goldstein S. M. The Sino-Soviet Alliance, 1937–1962: Ideology and Unity.

Harrison H. M. Soviet Policy toward Germany: March — August 1953.

Johnson P. How They Took the Bad News.

Laurier C. de. The Ultimate Enemy: Kennedy, Johnson and the Chinese Nuclear Threat, 1961–1964. Senior essayio Department of History. Yale University. April 2000.

Tompson W. J. Nikita Khrushchev and the Territorial Apparatus, 1953–1964. Ph. D. dissertation. University of Oxford, 1991.

Аксютин Ю. Отношение к XX съезду КПСС и Хрущеву.

Аксютин Ю. Украинский синодик Никиты Хрущева.

Барсуков Н. А. Аналитическая записка: позиция послесталинского руководства в отношении политических репрессий 30—40-х — начала 50-х годов.

Барсуков Н. А. Коммунистические иллюзии Хрущева: о разработке третьей программы партии.

Барсуков Н. А. Мысли вслух: замечания Н.С.Хрущева на проект третьей программы КПСС.

Барсуков Н. А. Персональное дело «антипартийной группы».

Зубок В. Советско-китайские переговоры на высшем уровне 31 июля — 3 августа 1958 года и 1 октября 1959 года.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Barsukov N. The Reverse Side of the Thaw. Moscow: New Evidence on Cold War History. January 1993.

Burr W. Eisenhower and the Diplomacy of the Berlin Crisis, 1958–1960. Washington, D. C: Cold War International History Project / Nuclear History Project. Conference on the Berlin Crisis. 1993.

Chen J. Beijing and the Hungarian Crisis of 1956. Budapest: Hungary and the World, 1956. The New Archival Evidence. September 26–29, 1996.

Cuba between the Superpowers. Transcript of meetings on Antigua, January 3–7, 1991. Ed. James G. Blight, David Lewis, and

David Welch. 1991.

Gearson J. P. S. Macmillan and Berlin, 1958–1961. Washington, D. C: Nuclear History Project. Berlin Study Conference. May 1993.

Gluchowski L. W. The Struggle Against «Great-Power Chauvinism»: CPSU — PUWP Relations and the Roots of the Sino-Polish Initiative of September — October 1956. Hong Kong: New Evidence on the Cold War in Asia. January 1996.

Griffith W. E. RFE and the Hungarian Revolution and the Polish October. Budapest: Hungary and the World. 1956. The New Archival Evidence. September 26–29, 1996.

Heinze P. B. Recollections of Radio Free Europe. Budapest: Hungary and the World, 1956. The New Archival Evidence. September 26–29, 1996.

Ostermann C. F. East Germany and the Hungarian Revolution. Budapest: Hungary and the World, 1956. September 26–29, 1996.

Prozumenshchikov M. Ю., Shevchuk I. N. Soviet — Chinese Relations. Moscow: New Evidence on Cold War History. January 1993.

Troyanovsky O. Nikita Khrushchev and the Making of Soviet Foreign Policy. Paper prepared for delivery. Providence, R. I.: Brown University. Khrushchev Centennial Conference. December 1994.

Zubok V. Unacceptably Rude and Blatant on the German Question. Potsdam: The Crisis Year 1953 and the Cold War in Europe. November 10–12, 1996.

Гобарев В. Хрущев и военные: Историко-психологический анализ. Доклад. Providence, R. I.: Brown University. Khrushchev Centennial Conference. December 1994.

Н. С. Хрущев: Начало биографии, карьеры, годы работы на Украине (1894–1949). Providence, R. I.: Khrushchev Centennial Conference. December 1994.

Шаповал Ю. Хрущев и Украина: Влияние украинского опыта на его деятельность в 50—60-е годы. Доклад. Providence, R. I.: Brown University. Khrushchev Centennial Conference. December 1994.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ксения Ивановна Хрущева, мама Никиты Сергеевича.

Учительница начальной школы Лидия Шевченко.

Юзовка. *Фото начала XX в.*

Хрущев с женой Ефросиньей. *Юзовка. 1916 г.*

Дом Ильи Косенко, где Хрущев бывал в юности и в зрелые годы. *Донецк. Фото автора.*

Хрущев (*в центре в черной папахе*) — политработник Девятой Кубанской армии. *1920 г.*

Хрущев — в первом ряду пятый слева — секретарь Рутченковского райкома партии. *1922–1923 гг.*

С дочерью Юлией и сыном Леонидом. *Сталино. 1924 г.*

Хрущев (*в центре*) — студент рабфака. *1924 г.*

Мандат делегата XIV съезда РКП(б).

У стен Большого Кремлевского дворца: И. В. Сталин, Г. К. Орджоникидзе, Н. С. Хрущев.

Никита Сергеевич и Нина Петровна с детьми Юлией, Радой, Леонидом. *Киев. 1929 г.*

Дом Правительства (Дом на набережной). *Современное фото.*

У Мавзолея на Красной площади.

Делегаты VIII Чрезвычайного съезда Советов, на котором утверждена новая Конституция СССР. *Сидят слева направо:* А. А. Андреев, Н. И. Ежов, Н. С. Хрущев, А. А. Жданов, Л. М. Каганович. *Декабрь 1936 г.*

Первый секретарь горкома Н. С. Хрущев в частях Московского гарнизона. *1936 г.*

Среди рабочих Метростроя. *Москва.*

Дом на улице Грановского. *Фото автора.*

Дача Хрущева в Межгорье под Киевом. *1938 г.*

Первый секретарь ЦК ВКП(б) Украины Н. С. Хрущев в президиуме торжественного заседания, посвященного 125-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. Справа — секретарь ЦК КП(б)У Д. С. Коротченко. *Киев. 1939 г.*

Любовь Сизых с сыном Толей. *1941 г.*

Леонид Хрущев. *Москва. 1940 г.*

Леонид Хрущев (*справа*) и Рубен Ибаррури. *Куйбышев. 1942 г.*

Член Военного совета фронта Н. С. Хрущев в танковых частях. *Воронеж. 26 апреля 1942 г.*

Хрущев обсуждает с руководителями отрядов украинских партизан положение дел за линией фронта. *Москва. 1943 г.*

Сталинград после налета немецкой авиации. *23 августа 1942 г.*

Командующий Сталинградским фронтом генерал армии А. И. Еременко и член Военного совета Н. С. Хрущев. *9 октября 1942 г.*

В освобожденном Киеве. *6 ноября 1943 г.*

Н. С. Хрущев и заместитель председателя СНК Украины В. Ф. Старченко с горожанами на Крещатике. *Киев, 1943 г.*

Вернувшаяся из эвакуации Нина Петровна с дочерьми Радой (*справа*) и Леной в квартире на улице Грановского. *1943 г.*

М. И. Калинин вручает Н. С. Хрущеву орден Суворова I степени. *1943 г.*

Н. С. Хрущев в годы воины.

На испытаниях движущейся противотанковой мины. *Июль 1943 г.*

Командующий Юго-Западным направлением С. К. Тимошенко, Н. С. Хрущев и начальник Оперативного управления штаба И. Х. Баграмян.

Н. С. Хрущев и В. М. Чураев осматривают лежащий в руинах Харьковский тракторный завод. *24 августа 1943 г.*

С ранеными бойцами на Воронежском фронте. *3 августа 1943 г.*

7 ноября 1943 года в Киеве. Парад принимают командующий Первым Украинским фронтом Н. Ф. Ватутин и член Военного совета первый секретарь ЦК КП(б) Украины Н. С. Хрущев.

С генералами К. С. Москаленко (*справа*) и А. А. Епишевым. *Западная Украина. 1944 г.*

С Л. М. Кагановичем (*в центре*) и Д. З. Мануильским. *Межгорье. 1 мая 1947 г.*

Вилла в Киеве, где Хрущев с семьей жил после войны. *Фото автора.*

Н. С. Хрущев, И. В. Сталин и В. М. Молотов на трибуне Мавзолея. *1952 г.*

Л. П. Берия, Г. М. Маленков, П. К. Пономаренко, И. В. Сталин, Л. М. Каганович. *Кремль. Начало 1950-х гг.*

В. М. Молотов, Г. М. Маленков, А. Н. Поскребышев, Н. С. Хрущев. А. И. Микоян на Ближней даче.

Похороны Сталина. *В первом ряду слева направо:* В. М. Молотов, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Чжоу Эньлай, Л. П. Берия, Н. С. Хрущев.

Хрущев на трибуне XX съезда КПСС.

С министром обороны СССР маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым в кулуарах Большого Кремлевского дворца. *1956 г.*

С Кагановичем и Булганиным в Подмосковье. *1956 г.*

С П. Е. Шелестом на кукурузном поле. *Украина.*

С членами Президиума на охоте в Завидове.

С премьер-министром Великобритании Гарольдом Макмилланом. *В центре* — переводчик В. М. Суходрев. *1959 г.*

С вице-президентом США Ричардом Никсоном. *Москва. Лето 1959 г.*

Н. С. Хрушев, М. Эйзенхауэр, Н. П. Хрущева и Д. Эйзенхауэр.

С фермером из Айовы Росуэллом Гарстом.

В Голливуде с исполнительницей канкана.

Встреча с рядовыми американцами.

Булганин, Мао Цзэдун и Хрущев. *Пекин. 1954 г.*

С Иосипом Броз Тито и его супругой Йованкой. *Белград. Май 1955 г.*

Н. С. Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер. *Нью-Йорк. Сентябрь 1960 г.*

Н. С. Хрущев с супругой в гостях у президента Франции Шарля де Голля. *Елисейский дворец. Март 1960 г.*

На пресс-конференции после срыва Парижского саммита. *Справа* — Р. Я. Малиновский.

На сессии Верховного Совета Хрущев разоблачает лживые

заверения правительства США относительно сбитого американского самолета У-2.

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Н. С. Хрущев.

На борту теплохода «Балтика» по пути на XXV сессию Генеральной ассамблеи ООН. *Осень 1960 г.*

Выступление в ООН. *Сентябрь 1959 г.*

С Ниной Петровной и генеральным секретарем ООН Дагом Хаммаршельдом.

В окружении высшего командного состава Советской Армии накануне заседания, посвященного 20-летию начала Великой Отечественной войны.

Торжественная встреча первого космонавта планеты Юрия Гагарина. *Москва. 14 апреля 1961 г.*

На трибуне Мавзолея: с Юрием Гагариным в 1961 году.

На трибуне Мавзолея: с Валентиной Терешковой в 1963 году.

Руководство ЦК КПСС с Юрием Гагариным и его родителями у Мавзолея Ленина.

С Джоном Кеннеди. *Вена. Июнь 1961 г.*

Советское гражданское судно «Металлург Аносов» с ракетами на борту в порту Гаваны под разгрузкой.

Советская военная техника на борту гражданского судна по пути на Кубу. Над палубой барражирует американский самолет-разведчик.

На катере по Дону с М. А. Шолоховым.

Встреча с писателями в Кремле. *В центре* Н. С. Хрущев и поэт А. Т. Твардовский.

На выставке в Манеже. Н. С. Хрущев и М. А. Суслов в сопровождении руководства Союза художников обсуждают картины Бориса Жутовского (*рядом с Хрущевым*).

На встрече с деятелями литературы и искусства в Кремле. *1962 г.*

С первым секретарем ЦК СЕПГ Вальтером Ульбрихтом. *Июль 1963 г.*

С сыном Сергеем и внуками Никитой и Алексеем Аджубеями. *Начало 1960-х гг.*

С первым секретарем ЦК ПОРП Владиславом Гомулкой во время пребывания в ПНР.

Семья Хрущева. *Слева направо:* зять Алексеи Аджубей, дочь Елена Хрущева, дочь Рада Аджубей, Нина Петровна, внук Никита Аджубей, Никита Сергеевич, сын Сергей Хрущев, невестка Галина Шумова, внуки — Алексей Аджубей, Иван Аджубей, Никита Хрущев.

С Фиделем Кастро в Грузии. *Май 1963 г.*

В день семидесятилетия. *Слева от Хрущева* Нина Петровна,

Елена, Микоян и Брежнев. *17апреля 1964 г.*

Дача в Петрово-Дальнем, где Н. С. Хрущев прожил последние семь лет жизни.

С ручным грачом Каной и восточноевропейской овчаркой Арбатом.

С Ниной Петровной. *1969 г.*

С дочерью Радой в последний день рождения. *17апреля 1971 г.*

Памятник на могиле Н. С. Хрущева на Новодевичьем кладбище. *Работа скульптора Э. Неизвестного.*

notes

Сноски

1

Персонажи романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим». — *Прим. ред.*